

ВИТАЛИЙ ДИКСОН

АВГУСТЕЙШИЙ
СЕЗОН

Виталий Диксон

АВГУСТЕЙШИЙ СЕЗОН,
или
КНИГА РОССИЙСКИХ КАЛЕНД



Настоящее издание
выпущено ограниченным тиражом
в 500 экземпляров;
первые 50 экземпляров
пронумерованы и подписаны автором.

Экз. № ____

В настоящем сочинении — российское многовековое, по прихоти автора сгущённое, уплотнённое, возможно, что и уложенное прокрустово — в четыре времени одного года. Впрочем, это уложение — не подобие «чёрной дыры». Что такое для России век-другой? «Тыща лет для России, — оговаривается автор, — ещё не срок, а всего лишь условное наказание».

Парижский критик из «Русской мысли», решительно не принимая прозу Диксона, сконфуженно заметил, что «в тексте В.Диксона вглядываться приходится в каждое слово». Московский «новомирский» критик, вглядевшись, констатировал: «Иногда Диксон... начинает такое стилистическое камлание, что невольно теряешься... То, что хотелось бы забыть, автор сам собрал под одной обложкой». Новосибирский критик, не теряясь, назвал антидиксоновскую статью, перемигнувшись с Пушкиным: «Жанровый преступник, или „Свободы деятель пустынный...“» К востоку от «Сибирских огней» литературных критиков вообще никогда не было, климат не способствует, но природа не терпит пустоты и сохраняет поэтов; один из них вынес своё суждение в столичном «Знамени»: «В прозе Диксона много поэзии, в поэзии Диксона множество заразительных заблуждений». Возможно, поэт имел в виду «энергию заблуждения» беспокойного В.Б. Шкловского?

Составитель аннотации (или автореферата?), он же и сочинитель романа, ограничивается вышеизложенным и не берёт на себя ответственности чётко, ясно и общедоступно обозначить: о чём же новая книга? Во-первых, вопрос вообще дурацкий, поскольку тема любой словесности изначально обречена на одно и то же: война и мир. Во-вторых, в противном случае краткое, по определению, примечание, *annotatio*, развернулось бы в *opus* (год!): дескать, вот тогда и поговорим, не спеша, после чтения «аннотации» — о чём? о кратких примечаниях к «Летам исподним».



Виталий Диксон

**АВГУСТЕЙШИЙ СЕЗОН,
или
Книга российских календ**

Роман положений



Иркутск
2008

УДК
ББК

Д45

Художник
Николай Статных

Книга издана при финансовой поддержке
ООО «Байкальский Центр» (г. Иркутск)

Д45 **Диксон В.А.**

Августейший сезон, или Книга российских календ: Роман положений
/ Виталий Диксон; Худож. Н.Статных. — Иркутск, 2008. — 1216 с.,
илл.

ISBN 978-5-91344-046-4

Детям младшего, среднего и старшего школьного возраста, лицам до 16 лет и старше, вплоть до пенсионного возраста и выше, от рассвета и до послеполуночи — рекомендовано в качестве лицедейского чтения, за столом, в положении книги на чистом, желателен ручной выделки (handmade), полотенце с петушками, вышитыми красным крестиком.

ISBN 978-5-91344-046-4

© Островская В.В., 2008
© Статных Н.С., илл., 2008

Предисловие-ретро

МАСТЕРСКАЯ

Мы обычно проводим свою жизнь, так или иначе получая у неё уроки мастерства. Мастерим то, что умеем и как умеем. В любом случае – стремимся к воображаемому идеалу, к придуманному совершенству. Отчего и совершенствуемся в своём мастерстве воображения день ото дня, миг от мгновенья. Но коль скоро идеал нельзя изменить, вогнать в удобную нам самим форму – он, как некая константа, идеален, и его не достигнешь, – то получается: смысл-то как раз не в том, чтобы достигнуть, а – в движении к нему, в попытках сотворения, в стремлении делать то, что должно приблизить. Наверное, это и есть мастерство. Не высшая точка, а движение к ней.

Каждый движется своим путём. И если человек достигает некоторой точки Мастерства, прежде прочего вызывает интерес то, каков был этот путь. Ещё, естественно, личность Мастера. Но есть ещё и третья сторона настоящего Мастерства – та, что сопутствовала мастеру на его пути, что помогла ему пройти путь, что создала ту атмосферу, в которой всё и случилось. Речь идёт о Мастерской.

Слово «мастерская» предполагает несколько смыслов и значений. Например, «творческая мастерская», к которой иногда используют кулинарно-бытовой синоним «кухня». Тут – приёмы, методы, «фирменные фишки», собственные системы и привычки, помогающие в достижении цели. Ещё – мастерская, место, где человек занимается ремеслом. Само по себе слово «ремесло» хорошо звучит и вкусно пахнет: стружками, лаком, масляными красками, тестом, раскалённым металлом, папиросным дымом и крепкозаваренным кофе, сыромятной кожей, любым другим делом, которое ремесло.

Наконец, третий вариант мастерской – сплав-слияние-симбиоз творчества и ремесла. Тем более мастерство предполагает творчество как Ремесло и ремесло как Творчество. В такой мастерской мастер не просто занимается своим делом, но идёт по пути Мастерства. И тогда происходит нечто странное: вещи и предметы, находящиеся тут же

(то, что называется под рукой), перестают быть вещами в бытовом смысле. У них, естественно, остаются какие-то личные предметные функции: любимым карандашом можно написать слово, любимым ножом отрезать хлеб, но...

Вот это «но» мы и попробуем понять и осмыслить. Мы примем во внимание именно третий вариант мастерской, в котором есть место и «творческой кухне», и рабочему кабинету, и студии, и любой другой, но – Мастерской.

Попытаемся посмотреть на неё глазами её самой, то есть с точки зрения тех предметов и вещей, которые там живут и предназначение которых – помогать мастеру следовать по пути Мастерства. Конечно, личность Мастера не может не влиять на мастерскую, но и она влияет на своего хозяина в той же степени.

Потому сегодня – не о писателе Виталии Диксоне, а о его мастерской.

«...У вещей свои судьбы, особые, как и у людей, их создавших. Одни исчезают молниеносно; другие переживают надолго своего родителя, мудрителя и владельца; третьи, случается, и вовсе приобретают бессмертное существование... вечные вещи вещи – они имеют иное происхождение, чем табакерка или лафитник, и будущее должны иметь грандиозное и полезное – как у египетских пирамид, что поставлены для опровержения догм: смотрите, люди! я стою! кто сказал, что недолговечен дом, построенный на песке?..» Цитата ещё не закончена, мы к ней обязательно вернёмся. Чуть позже. А пока войдём в мастерскую, разместившуюся в обыкновенной небольшой комнате городской квартиры. Окинем беглым взглядом почти полное отсутствие стен как таковых – везде книги, а где не книги, там – картины. Сделаем пару шагов, скользя взглядом по вещам и вещицам, предметам и предметикам, заполнившим пространство, и окажемся в самом центре рабочего кабинета, в эпицентре мастерской. Но дело в том, что эпицентров, как эпических, эпохальных, эпизодических центров, в мастерской не один и не два. Их вообще невозможно сосчитать. Потому что из каждой точки, в том числе и зрения, возникает своя картинка или даже картина на стене. И подобное многообразие ракурсов идёт от многообразия окружающих предметов.

Изберём одним из первых эпицентров – красное кресло-качалку. В нём можно наблюдать мастерскую с закрытыми глазами, когда сядешь, откинувшись, так, чтобы качнулось легонько и скрипнуло, воспринимая человека. В таком кресле хорошо думать о судьбе русской интеллигенции или хотя бы просто уснуть, завернувшись в клетчатый плед.

На первый взгляд закрытых глаз кажется: ничто не нарушает тишину кабинета. Всё замерло и – тихо. Ти-хо. Ти хо. Ти... хо... И тогда начинается эхо тишины, волнами расходящееся по кабинету, откликающееся на мысли. Например, о Тихе – греческой богине судьбы

и случая, счастливого, но и злого рока, которая по своей прихоти вышывает или ниспровергает. И не только людей, но и вещи, у которых есть и своя судьба, и злой рок, и возвышение до драгоценной оправы или стеклянной полки, и падение в бездны хлама.

Но, пожалуй, есть вещи, которым хламом стать не суждено – слишком они наполнены внутренней силой, благородно их происхождение, которое не вытравить никакой ржавчиной. Пора открывать глаза и смотреть на Ножи. Их называют «холодное оружие», что эмоционально неверно: горяч абхазский красавец-кинжал, суров офицерский кортик, элегантна сабля. Они везде в мастерской, рядом с книгами и картинами. Они созвучны друг другу: кортики и картины, кинжалы и книжки. Это созвучие от сопричастности, царящей в мастерской, и даже деепричастности, то есть не простой причастности-привязанности предметов, а деятельной, действующей, существующей во взаимном действии. И это действие – жизнь внутри Мастерской. Своеобычная, то есть обычная, но по-своему. Когда уживаются рядышком стальные бюсты, которые, возможно, и выпущены на одном заводе, но в подобном сочетании – бородатый Фидель и лысый Маяковский – они могут жить только здесь, только так, как близнецы-братья, и ещё надо разобраться, «кто более матери-истории ценен». Здесь – ценны оба, как два глобуса: один – поменьше, другой – побольше, и в конечном итоге оба они стоят на самом большом. Как и все мы, крепко стоящие на этой земле. Как и четыре стола, два письменных, два журнальных.

Переведём дух и взгляд и перенесём эпицентр на письменный стол. Только вот на который из двух? Тот, что с печатной машинкой, или тот, где под стеклом картонка от папирос «Казбек»? Но и там, и там есть пресс-папье – настоящие, для тех мгновений, когда в ходу чернила из непроливайки, стоящей тут же, на столе, что ближе к окну. Ещё «колокольная» (в форме колокола) чернильница, массивная, старая, медная. И наконец – галантнейший чернильный прибор. Перед ним хочется, стесняясь собственной неумелости, сделать реверанс: такой он изысканный и возвышенный. Не для того ли на нём стоят две малюсенькие гирьки – чтоб не улетел. Да и Дон-Кихот рядом, на страже, со шпагой, похожей на большую штопальную иглу.

Не новая мысль о том, что вещи живут своей собственной жизнью, когда их никто не видит. Не новая, но какая захватывающая: очень хочется застать врасплох самолетик № 207, который забрался под самый потолок. Ведь если посмотреть на него – он ещё весь в полете, ещё не остыли его двигатели, ещё не выпущены шасси. Скажи, китайская обезьянка родом из города Сухуми, живущая на столе между чернильницами, соседка Дон-Кихота, ты не видела, как он летает? Молчит обезьянка. Она ничего не видела, ничего не слышала. Ей – нельзя.

Но мы отвлеклись, сделали небольшой крюк в сторону в своём путешествии по столу. Повернёмся теперь от чернил к карандашам.

Они живут здесь же. Отточенные много раз и навсегда, тесно сидящие в медной монгольской пузатой чашечке, отчего та становится похожа на ёжика. Другие, те, что подлиннее, прижились в старой ступке. Ступок, как и промокашек, тоже две. Одна с карандашами, другая с песком. Не она ли выпестовала многие и многие образы, не она ли навела на мысль о цветах, у которых нет тычинок? На диковинные цветы в чугунной вазе похожи карандаши из второй ступки. Как диковинка же – ножи в рюмке. Ножи – разные: и для разрезания бумаги, и перочинные с выпущенными лезвиями. Рюмка – старая, на большой, солидный глоток, такие рюмки подносили на серебряном подносе, чтобы – «пей до дна, пей до дна...» Кстати, здесь же лежит большой аметист, который, говорят, от пьянства помогает.

Элегантнейшие бутылки – стеклянное великолепие. Вряд ли вспомнишь, каково на вкус то, что в них было, – они и без того очаровательны в своей неповторимой причудливости форм: неужто такие бывают, неужто продаются в магазинах? Такие – не продаются, они живут в мастерской в качестве самодостаточных художественных форм.

Сделав плавный переход от формы к содержанию, следует проследовать к книгам. И начать со шкафа, массивного, похожего на сейф, с неожиданно стеклянной дверцей, сквозь которую видно его нутро. Там живут книги, непохожие на все остальные ни толщиной, ни форматом, ни размером букв. И «Подёнщина» (книга публицистики – так значится на корешке), и «Человек для субботы» (роман-хроника в двух частях) – практики, рукописи, отстуканные на машинке с карандашно-чернильного черновика, на котором пометы в виде закорючек, птичек, сносок и вставок.

Шкаф-сейф – визави многочисленной «всемирки», где соседствуют Константин Федин и Африканская поэзия. А внизу, на журнальном столике, на стопке книг, которые топорщатся закладками, лежит томик из Полного собрания сочинений Майкова, 1893 года издания, раскрытый на четверостишии:

*И русскій людъ, передъ которымъ
Вотще слеза не пролита,
Который, подъ земнымъ позоромъ,
Въ убогомъ нищемъ – чтитъ Христа...*

История русского люда собралась в мастерской старыми наручниками с Александровского централа, штыком от трёхлинейки; почти кукольными пуантами – неужели бывают ножки такого размера; картой города Иркутска, год издания 1903; карманными часами, остановившимися на половине второго и ожидающими свою жилетку; собранием советских плакатов. Наконец, она – история русского люда – во фразе мастера: «Здесь подделок нет». Это значит, что одинаково настоящие офицерский планшет, висящий на спинке стула, и тут же повязанный красный пионерский галстук. Да и перо, вынутое из гу-

синого крыла, вполне годится для письма – только очини, тем более ножей для этого предостаточно.

Действительная история, история свершившихся фактов, не имеет качества – хорошо, плохо, лучше, хуже – она просто была и есть. А человеку отводится не всегда благодарная роль интерпретатора, который и привносит в случившийся факт «хорошо, плохо, лучше, хуже». Достигнуть же относительной объективности если и можно, то просто собрав Историю воедино. И тогда Полное собрание сочинений В.И. Ленина мирно соседствует с грустным Чарли Чаплиным в арестантской робе. А портреты автора Полного собрания сочинений, который – плечом к плечу со своим бородатым учителем, умещаются между Спасителем и Лермонтовым.

Медленно и верно в своём путешествии по мастерской, через форму вещей и содержание книг, мы приблизились к лицам. Среди которых прежде – Галич. На одном снимке – грустный, на другом – курит. Вот и на балконе, куда можно попасть прямо из мастерской, – гитарный гриф. Памятью воспоминаний. Трагичный Галич, трагичный гриф, как бы – над. Так же как Булат Шалвович – над глазуновским множеством исторических лиц и личин, несмотря на то, что они – рядышком стоят прямо на полу, прислонившись спинами к книжным полкам. Антон Павлович из Иркутска с коричневой картины смотрит на нынешнюю пёструю картину Иркутска чуть поверх пенсне. Рядом с картиной – ледоруб, побывавший на Вершине. Однако с точки зрения мастерской, ледоруб не просто рядом с картиной. Это не так должно звучать. Всё равно что рассматривать фотографии и рассказывать о них так: это я, а рядом со мной муж, а тут рядом – дети. Не говорят о близких и родных: я с мужем, я с детьми. Если рядом – то с кем-то чужим. А с родственниками, с родными друг другу душами – не рядом, а вместе. Как вместе собрались под одну рамку, словно под одну крышу, целых пятнадцать маленьких фотографий – некоторые с удостоверенческим уголком, некоторые старые, верней, старенькие.

Свойство лиц из мастерской: хочется обращаться к ним в общепринятой русской традиции – по имени-отчеству. Свойство лиц исторических: понятно, о ком речь, и без фамилии. Михаил Юрьевич, Владимир Ильич, Михаил Афанасьевич, Антон Павлович, Александр Валентинович... Ещё – хозяин мастерской, в разные поры, в разном порыве, с разным поворотом головы. Но может, не хозяин, а сосед всем прочим обитателям, от перчатки-держателя, вцепившейся в стопку газетных вырезок, до «чемоданных» книг, то есть рукописей, ждущих своего часа в обыкновенном стареньком чемодане, стоящем тут же? Не хозяин, а приятель-сосед. Или даже друг. И в том числе тому маленькому картонному билету с дырочкой в центре, какие раньше давали в электричках, прилепившемуся в самый уголок картины со свечами, висящей ещё над одним письменным столом. У билетика тоже есть своя история. Но не будем спрашивать о ней. Будем уважать его личную

тайну и историю. Потому что вещи... Пожалуй, пришла пора окончить цитату.

«Правда, – за каждодневными уроками в Египет не набегаясь. И в комнате своей человеку не поставишь призматического титана для жизненного образца и подобию. И человек отдаёт себя во власть обыденных, притёртых к взаимному сосуществованию вещей, у которых нет к человеку особых, вечных претензий. Они удобны вообще – как удобна жизнь без вещей, жизнь без вранья и притворства. Наверное, без них тоже не обойтись человеку. Они властительно неназойливы, точно боги, и застенчивы, как нечаянные соседи, а по ночам, когда человеку снится Большая Пирамида, они живут своей особой, собственной жизнью: заливаются молодым румянцем старый хрустальный бокал, по-девичьи бледнеют прапрабабушкины кружевные алансоны и смущённо похрипывает–покашливает оканчивающая свой гвардейский срок пенковая трубка...»

...Цитата любезно предоставлена Виталием Диксоном из его романа «Пятый туз».

Анастасия ЯРОВАЯ
г. Иркутск
«Труд-7»
24 апреля 1998 г.

*Памяти
Андрея Донатовича Синявского*

**АВГУСТЕЙШИЙ СЕЗОН,
или
КНИГА РОССИЙСКИХ КАЛЕНД**

Роман положений



С КАЖДЫМ ДНЕМ ВСЕ РАДОСТНЕЕ ЖИТЬ!

**Роман требует *болтовни*;
высказывай всё начисто.**

Из частного письма
(XIX в., первая четверть)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ДРУГИЕ СТЕЧЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Заюшкин – простой советский человек; возраст значения не имеет, потому что и Заюшкин, и все другие персонажи есть дети времени, значит, и возраст у них соответственный.

Игорь Святославович – тоже простой советский человек; в дальнейшем мы, с вашего позволения, опустим эти высокие имена прилагательные, поскольку все действующие лица попадают, точно под машину времени, под это ёмкое определение; градусы простоты – от «просто ты» до «просто я», или, как сформулировано в детской песенке способного композитора Шаинского, я, ты, он, она – вместе целая страна.

Кувыкин...

Мошонкин Вадим...

Помиранцев Семён Семёнович...

Хлюстаков Иван Александрович – из тех товарищей, кого, как в известном сочинении писателя Гоголя, называют «господами средней руки», но что это за рука такая, об этом речь впереди, по ходу действия мало-помалу прояснится.

Хома – чёрный пудель, 5 лет...

Щитовидов Фёдор Эдмундович.

В театральных программках принято обозначать исполнителей действующих лиц. Исполнитель здесь один – Сочинитель с простой русской фамилией Островитянин, он же Алексеич. Скорпион, родившийся в год Обезьяны. Впрочем, с этим Сочинителем одна беда. То он якает, то говорит о себе как о лице совершенно постороннем. Однако по-человечески его, наверное, можно и даже нужно понять: ему чертовски хочется иногда посмотреть на себя со стороны, и вот тогда он прекращает своё эгоистическое яканье и говорит о себе в третьем лице. Всё, что было до Сочинителя, является, тем не менее, историей его собственной жизни. А история эта началась, как помнится, примерно 6000 лет назад...

Помимо этих действующих лиц в повествовании имеется множество других. Так сказать, проходящие персонажи – в поисках автора.

Да, достопочтенная публика, народу много. Так ведь не больше, чем людей! Вот представьте себе: идёт по городу человек. Навстречу ему люди – в толпе и поодиночке, леди и джентльмены, мужики and бабы, знакомые и незнакомые, нужные и ненужные, человеки и их тени (тень, кстати, иногда не знает своего места), в общем, простые и непростые советские граждане, а если бог даст, то даже интуристы попадают... С кем-то наш человек ещё повстречается во времени и пространстве, кого-то больше никогда не увидит... Так и в книге.

В романе английского писателя Диккенса «Крошка Доррит» (1858) сказано: «На нашем жизненном пути мы встретимся со всеми, кому суждено встретиться с нами, и сделаем для них, как и они сделают для нас, всё, что должно быть сделано... Вы можете быть уверены, что уже вышли в путь те мужчины и женщины, которые должны столкнуться с вами. Да, без сомнения, столкнутся».

Сочинитель очень надеется, что столкновения должников произойдут безаварийно и безболезненно. Однако же, будем бдительны. Ибо: довольно часто встречаются люди, которые так и норовят выскочить на главную роль, в лица действующие. Например, скрипач Изя Несчастливщиц. Но вы его героизму не верьте. Не годится Изя в герои. Он скрипку свою пропил.

А ещё нам встретятся: собаки, фонари, лошади и вороны. И скрипка. У неё чудный голос: лирико-драматическое сопрано.

Наконец, среди действующих лиц может, если пожелает, оказаться сам читатель. Для него зарезервировано персональное место. Найдите его и займите. В долг. Который не потребует возвращения.

Время действия

А вот это ровным счётом не имеет для судьбы человечества никакого решающего значения.

Счастливые люди, вопреки расхожему мнению, очень даже наблюдают часы и даже минутки с мгновениями, несчастные негодуют на вечность, но, между тем, мгновение неуловимо и каверзно, а вечность ещё никогда никого не подводила.

Возможно, вы подумаете: совершенное безвременье. Думайте, как хотите. Но при этом имейте в виду, что безвременье – это тоже время, точнее – то же время.

– Какое время на дворе? – спросил однажды Поэт и в форточку высунулся. – Какое тысячелетье?

И что же он там увидел, за форточкой?

Нет тысячелетья. Не ощутишь его – ни глазом, ни ухом, ни брюхом, ни кончиком языка или пера... А на дворе трава. На траве дрова. И чем больше дров, тем дальше лес.

Время действия – разве это так уж важно?

Впрочем, можно было бы определиться эпически точно: на дворе стояла чудная кайнозойская эра, четвертичный период, послеледниковая эпоха, иначе именуемая «голоцен», XX век, середина, допустим, XI пятилетки, год 7491-й от библейского сотворения мира и 1983-й от рождения Христова, Год Белого Кабана, месяц январь, первая декада, вторая неделя, день десятый, тяжёлый, понедельник, под вечер, часу этак в пятом пополудни... Ну, и что? Вам легче от этого?

Конечно, можно было бы именно так обозначить время действия. Можно. А – зачем?

Мы не помним времени смены правительств и премьеров. Мы помним смену времён года. Это в нас ещё язычество и крестьянство живут и вздыхают, и эхают попеременно: природный земледельческий календарь, календариум, «долговая книга».

– Да, это только у нас! – горделиво подбочениваясь, восклицают российские патриоты-профессионалы.

Ах, господа досточтимые почвенники, не надо, не обманывайте себя и других, не обижайте природу своей сугубой горделивостью.

Заглянем в «Глобус» за опытом.

В чём тайна шекспировских драм?

В той лёгкой и изящной дерзости, с которой автор использовал исторические первоисточники? Возможно. Если бы он был более добросовестным драматургом, то принц Датский так и остался бы персонажем малодоступных и непопулярных хроник Самсона Грамматика. А нам это надо?

Так в чём же тайна? В темноте и многослойности языка? В обилии смысловых уровней? В абсурдно-несуразной роскошной избыточности, в которой живут партер с галёркой и тени античного хора, рождённые метафорами? Или же – в предельной конкретности самих метафор?

Посмотрим, послушаем. Вот фея Титания из «Сна в летнюю ночь» обвиняет короля эльфов Оберона в том, что их супружеские неурядицы стали причиной нарушения общей гармонии в природе, привели окружающий мир к разладу – и потому обрушились времена года, смешалась естественная смена сезонов и распалась – как в «Гамлете» – связь времён:

*Весна и лето,
Рождущая осень и зима
Меняются нарядом, и не может
Мир изумлённый различить времён!*

Поэтическая метафора? Ага! Но вот что свидетельствует строгая наука. Директор ленинградского Института теоретической астрономии Глеб Александрович Чеботарёв утверждает, что эллипс, по которому движется наша планета, непрерывно деформируется. Несколько миллионов лет назад орбита Земли была абсолютно круглой. Что это зна-

чит? А то, что времена года, конечно же, существовали, однако в северном и южном полушариях никакой разницы между летом и зимой не было!

Вот я и говорю: почтеннейшая публика, есть ли резон в этих сезонах, есть ли смысл в том, чтобы педантично определяться во временах года, когда на дворе трава, дрова, пир на весь мир?

Кстати, о пирах. У Языкова в стихотворении «Мы любим шумные пиры...» есть замечательная строчка:

Наш Август смотрит сентябрём...

Так вот же вам, разлюбезные, и время искомое: август, месяц цезарей. Он когда-то в самой серёдке года блистал – на юлианский манер да на языческий лад; и когда-то год венцом замыкал – по-византийскому счёту; а потом на восьмое место в григорианском расписании месяцев переместился, сделавшись правильным октетом Октавиана; да вот и, на языковский лад, на место сентября примеривался; а потом он, октет своенравный, вообще неприличный фокус выкинул: оборотился Великим Октябрём новой эры человечества и перескочил на десятое место, но то десятое место стали отмечать в ноябре, и всё бы ничего, но тут усы растопорцил декабрь с днём рождения Отца всех времён и народов, и описатель тёмного русского леса Леонид Максимович Леонов, царство ему небесное, призвал общественность к новой реформе: а давайте, говорит, сочиним Рождество товарища Отца всех времён и народов и от этого Рождества плясать будем в светлое будущее?.. Вот он какой месяц цезарей, август блуждающий, коего ни цезари, ни сочинители, ни законопослушные граждане так и не раскусили до конца, не сумев поймать ни за одно место...

– Кажется, – говорит мне бабушка Мария, вся в чёрном, а лицо молодое, – кажется, это было из того же времени года, но год был другой.

– А может, – спрашиваю, – тогда, когда вам кажется, все времена года были августейшими?

– Почему же были? – улыбается бабушка Мария чистыми губами и глазами ясными. – Они и посейчас такие. Любовь – сила космическая. Это она, а не будильники, правит миром...

Ну вот, не забавно ли: Сочинитель убеждает вас, граждане, что о времени действия не стоит говорить, но сколько, однако же, времени ему понадобилось для этого убеждения! А вот пришла бабушка Мария, вся в чёрном, а лицо молодое, – и в двух словах всё по-шекспировски затемнила.

Место действия

Прежде, чем место покрасит человека, человек сам должен это место покрасить, да ещё и табличку вывесить: осторожно, дескать, окрашено! Не так ли? Так. Но мы, персонажи и читатели, сделаем это

сообща и не сразу. А куда поставим желаемую точку над средой обитания: имеет место быть глубоко провинциальный город Хибаровск и прилегающие к нему окрестности. И Море. Море во всех его режимах. Ведь даже зимнее Море, замёрзшее Море – всё равно Море, а не сумма кристаллов.

Погода

Включайте радио. Как скажут – так и жить будем, то есть: что будет – то и будет. Всё равно «что-то» начинается одинаково:

– ... в районе Диксона...

Метеосводку можно прокомментировать стихами Роберта Рождественского:

Нет погоды над Диксоном.

Есть метель.

Ветер есть.

И снег.

А погоды нет.

Нет погоды над Диксоном третий день.

Третий день подряд

мы встречаем рассвет

не в полёте,

который нам по душе,

не у солнца,

слепящего яростно,

а в гостинице.

На втором этаже...

Стихи не комментируются. На то они и стихи.

Погода тоже стихийна. Её все обещают, обещают, обещают... А она – стоит! Иногда она всё же меняется, но в основном пребывает в стоячем положении.

А в той погоде — идёт снег. И дождь идёт. И время идёт. И процессы идут. И – процессии. И проценты набегают. И глаза бегают... Всё – в погоде. Движимое в недвижимом. Наутилус, понимаете ли, помпилус.

Объяснение за кулисами

Кю всему вышеуказанному и нижеупомянутому Сочинитель считает своим неперменным долгом сообщить между-прочим-изложенное: всеобщее терпение должно (кому – неважно...) быть рассчитано аж на целых четыре действия.

Почему, спросите, именно четыре, а не три или пять? А потому! Прелесть такая, потому что. Четыре стороны света и четыре времени

года. Четыре камеры сердца и четыре такта непревзойдённого покуда двигателя. Четыре угла дома и четыре масти игрально-гадательных карт. А музыкальная четверть с незабвенной четвертинкой? А високосные годы, определяемые как все годы, цифровое обозначение которых делится на четыре? И четыре ветхозаветные Книги Царств. И четыре новозаветные Евангелия, наконец...

Другой вопрос: почему на церковном соборе в Лаодикее в 374 году из множества евангелий, существовавших в то время, были отобраны и объявлены каноническими только четыре? Слово для справки представляется основоположнику вольтерианства:

– Главным аргументом, согласно святому Иринею, послужило то, что существуют только четыре ветра, что бог сидит на херувимах, а херувимы имеют четыре формы. Святой Жером в предисловии к евангелию от Марка присовокупляет к четырём ветрам и к четырём животным ещё четыре кольца, бывшие на палках, на которых несли ящик, называемый ковчегом завета. Феофил Антиохийский доказывает, что так как Лазарь был мёртв четыре дня, то, следовательно, нельзя допустить более четырёх евангелий.. Святой Киприан доказывает то же с помощью четырёх рек, орошавших рай. Надо было быть очень нечестивым, чтобы не уступить таким аргументам.

Можно, конечно же, поспорить, перечеркнуть старые аргументы новыми фактами, быть святее Папы, казаться просвещённой Вольтера и осведомлённее всех четырёх святых мужей христианства... А оно нам надо?

Ну, вот, кажется, и все пространные ремарки.

Занавес открывается.

Драма первая

В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ:

КОЛЛАЖ



ДЖИНН ИЗ БУТЫЛКИ

...Свет электрических лампочек есть мёртвый, механический свет. Он не гипнотизирует, а только приглушает чувства. В нём есть ограниченность и пустота американизма, машинное производство жизни и тепла. Его создала торгашеская душа новоевропейского дельца, у которого бедны и нетонки чувства. В нём есть какой-то пафос количества наперекор незаменимой и ни на что несводимой стихии качества, какая-то принципиальная серединность, умеренность, скованность, отсутствие порывов, душевная одеревенелость и неблагоуханность. В нём нет благодати, а есть хамское самодовольство полужнания; нет чисел, про которые Плотин сказал, что это – умные изваяния, заложенные в корне вещей, а есть бухгалтерия, счетоводство и биржа; нет теплоты и жизни, а есть канцелярская смета на производство тепла и жизни; не соборность и организмы, но кооперация и буржуазный по природе социализм.

Электрический свет – не интимен, не имеет третьего измерения, не индивидуален. В нём есть безразличие всего ко всему, вечная и неизменная плоскость; в нём отсутствуют границы, светотени, интимные уголки, целомудренные взоры. В нём нет сладости видения, нет перспективы. Он принципиально не выразителен. Это – таблица умножения, ставшая светом, и умное делание, выраженное на балалайке. Это – общение душ, выраженное пудами и саженьями, жалкие потуги плохо одарённого недоучки стать гением и светочем жизни.

Электрическому свету далеко до бесовщины. Слишком уж он неинтересен для этого. Впрочем, это, может быть, та бесовская сила, про которую сказано, что она – скучища пренебрежительная. Не страшно и не гадливо, и даже не противно, а просто банально и скучно. Скука – вот подлинная сущность электрического света. Он родни ньютоновской бесконечной вселенной, в которой не только два года скачи, а целую вечность скачи, ни до какого атома не доскачешься. Нельзя любить при электрическом свете; при нём можно только высматривать жертву. Нельзя молиться при электрическом свете, а можно только предъясвлять вексель.

Едва теплеющая лампадка вытекает из православной догматики с такой же диалектической необходимостью, как царская власть в государстве или как наличие просвирни в храме и внимание частиц при литургии. Зажигать перед иконами электрический свет так же нелепо и есть такой же нигилизм для православного, как летать на аэропланах или наливать в лампаду не деревянное масло, а керосин. Нелепо профессору танцевать, семейному человеку обедать в ресторане и еврею – не исполнять обряд обрезания. Также нелепо, а главное, нигилистично для православного живой и трепещущий пламень свечи или лампы заменить тривиальной абстракцией и холодным блюдом пошлого электрического освещения. Квартиры, в которых нет живого огня – в печи, в свечах, в лампадах – страшные квартиры.

Алексей Фёдорович ЛОСЕВ

I. Момент истины, или Истина момента	24
II. Голоса из подполья	25
III. Удержание державы, или Репортаж с петлёй Мёбиуса на шее	27
IV. Посторонние лица	29
V. Удержание державы – 2	31
VI. Сражённые очередью	34
VII. До востребования: здесь и сейчас	37
VIII. Ничего!	38
IX. Три минуты молчания	40
X. С подлинным верно	41
XI. Этот странный тип с арбалетом	42
XII. До и после оваций	45
XIII. Вопрос на засыпку, да сон нейдёт	57
XIV. Перешагнуть порог	58
XV. Спокойной ночи, страна!	59

- XVI. Про белую ворону как феномен отдельных
недостатков в отдельно взятой стране
64
- XVII. Ноктюрн для доктора Штукарского
65
- XVIII. Та же ночь: сольная партия Персека
в сопровождении КПСС
74
- XIX. Краткий очерк истории
мировой культуры
78
- XX. Трактат о Крепком Орешке
78
- XXI. Час аперитива с педагогической поэмой
о многожёнстве,
плавно переходящем в танковый полк
83
- XXII. Старый титан, новый мальчик и «Огни коммунизма»
90
- XXIII. Если прислушаться к подушке...
94
- XXIV. Первое послание к почитателям
94
- XXV. Сантехнический роман-с.
Из Полного Собрания Сочинений Помиранцева С.С.
98
- XXVI. О социалистическом реализме
104
- XXVII. Триптих о боге, умершем дважды
105
- XXVIII. Феликс Хворобушкин, вольный стрелок –
к вашим услугам, сэр!
107
- XXIX. Драма с собачкой
113
- XXX. Ода зимняя в форс-мажоре
125

Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно...

«Стоп, стоп! Куда ж это меня попёрло? Нет, так начинать не годится. Такое начало уже было, было. Так нельзя!»

– Да отчего же нельзя? – хохочет Александр Сергеевич. – И очень даже лъзя и весьма прилично, сударь мой.

– Да как же? Знать не знаю никакого Нарумова...

– Так уж и не знаете? Да, впрочем, бог с ним, с Нарумовым. Карты-то хоть были?

– Были карты.

– И зима была?

– И зима, и ночь. А конногвардейца не было!

– Да что ж за дело! Кто был-то?

– Коневладелец. Частный извозчик Николаша, цыганский барон.

– Ах, цыганы! Прелестно!

– Однако такое начало в сочинении уже было! У вас было, Александр Сергеевич!

– И у меня было, как нынче есть! И как нынче есть, так и впредь будет. И не смущайтесь того, любезный, что ловили бога за бороду, а поэта за бакенбард поймали!

– Учтите, ловлю на слове!

– Да на каком же, сударь, меня поймали?

– На последнем...

I

... поймали-таки, поймали!

Газеты Союза Советских Социалистических Республик торжественно провозгласили: «В соответствии с извещением Центрального бюро международной службы вращения Земли в ночь с 31 декабря 19.. года на 1 января 19.. года в 0 часов по всемирному времени, в 3 часа по московскому, введена дополнительная секунда в шкалу координированного времени».

Поймали малышку! Это ж надо так изловчиться! Ведь кто-то вычислил её по таблицам или с помощью хитромудрых приборов. По ничтожным мгновениям собрали её, секундочку, из многих и разных

лет и пристегнули к четвёртому кварталу уходящего года: не пропадать же ей!

А в сущности, что это такое – секунда? Много это или мало?

Трудно, почти невозможно ответить вот так сразу, без умственно-го потужения и вызубренно, как отвечают учителю первые ученики. Обывателю в суждениях и оценках не хватает астральности или, если хотите, астрономизма. Единственное, что ещё можно утверждать с изрядной долей уверенности: секунды вполне достаточно, чтобы произвести «да» или «нет» а это, согласитесь, уже немало. Два слова, два слога, два полюса, вольтова дуга вечной жизни...

Вот и получается, как в известном кинофильме про Штирлица: не думай о секундах свысока...

Так пусть же не останется она, маленькая, без вести протикавшей, потому что – ну, кто же ещё проживёт её, кроме нас? Никто.

II

Никто в мире так не обожает подполья, как среднестатистический русский мужчина.

А в подполье – как в подполье: на главном месте – политика. Гонят её, сучку, в первую очередь, а уж во вторую – самогон, тюльку, прокламации...

– А что? Правильно генеральный секретарь говорит, – сказал Щитовидов, сантехник 5-го, самого высокого разряда. Сказал и поправил настроение антенне подвального расхристанного телевизора марки «Снежок». – Вчерась, например, этот атомный академик Сахаров, может быть, взял и отменил к чёртовой матери какой-нибудь важный закон Ньютона. А сегодня он засобирается отменить уголовные законы нашей родины. А завтра, допустим, убежит за границу просить убежища. Так, что ли? Ну, нет! Правильно говорит генеральный секретарь, что с такими академиками надо разбираться и определяться...

В том капканном декабре, прищемившем секунду, наша компания заседала, как видите, перед телевизором. Мы уже были почти невменяемы от депутатской дурости и потому грустны, и каждому из нас хотелось выйти к трибуне, но трибуны в жэковской подвальной слесарке не предусмотрено; предусмотрено был только один стакан – на всех.

А полный состав полуночного заседания был таков: Помиранцев Семён Семёнович, Вадя Мошонкин, Иван Хлюстаков, вышеупомянутый Щитовидов, Кувыкин, Заюшкин, Игорь Святославович по прозвищу Князь – сантехники на все руки, да ещё ваш покорный слуга народа Островитянин, сочинитель печальных историй, плюс верный пёс Хома, умный и красивый. Всего, стало быть, девять рыл, потерявших совесть, если верить мнению наших ближайших родственников. Однако, как вы понимаете, этому мнению можно, конечно, верить, но бесконечно молиться на него и, тем более, прислушиваться вряд

ли целесообразно. А, во-вторых, как утверждает Иван Александрович Хлюстаков, не одной женой жив человек...

– Вот, например, ты, Князь, за границей был. Так ведь или не так ведь? – спросил Щитовидов. – Какие, например, у тебя антисоветские мысли возникали на какой-то там Фефелевой башне?

– Не приставай к человеку, Щитовидов, – вмешался Мошонкин. – Неужели не видишь, что человека воспоминания дают. Лучше ты со мною поговори.

– С тобой я говорить не намеренный. У меня от твоей выпившей рожки тоже разные воспоминания.

– Да ну! Это ж какие? – обиделся Мошонкин.

– А такие, что ты вчера в жэке лозунги прибывал на стенку. Помнишь какие? Три штуки. Я читал. «За мир на весь мир!» – раз. «За ускорение!» – два. «За социализм!» – три. Так? А завтра, может быть, ты новый приколотишь. Например, «За границу!». Это получают белоэмигрантские настроения.

– Я вообще-то за такие слова и по сопатке могу, – сказал Мошонкин. – Ага.

– Не надо по сопатке, – подал голос Князь и вздохнул: вспомнил, как он сосредоточенно блевал с «Фефелевой» башни на головы парижан и их многочисленных гостей. – Но если вы, Фёдор Эдмундович, всерьёз интересуетесь, то я, разумеется, могу ответить. Да, я был за границей. Не раз, не два. Того, кто хочет туда съездить, ни в коем случае не осуждаю. Вообще-то, на Западе для русских ещё много места. Но это для живых. А для покойников уже не хватает. Хоронят в чужих могилах. Грубо говоря, на подселение.

– Как это? – ахнули восемь рыл, включая Хому.

– Элементарно. В Париже, на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа к старым гробам подселили барда Галича, писателя Некрасова, режиссёра Тарковского, все они эмигранты последних лет... И я туда больше не хочу, в Париж и так далее. Да меня, по правде говоря, и не пустят. Какие мне там арии исполнять? Ленского? Ленина? Леннона? Извините, господа...

Вмешиваться в чужой монолог, конечно, неприлично. Но тут самое место сообщить, что Игорь Святославович некоторое, неопределённое нами, время назад проживал в столице и служил артистом в самом знаменитом театре не только страны, но и мира. А каким образом Игорь Святославович оказался в сантехническом подвале Краснознамённого ЖЭКа № 25 – это уже отдельная история...

– А хочу я, – продолжил Князь, – одного-единственного: уехать насовсем в Подмосковье, к моему Шурику. Там выживу. Другой вопрос: под какой крышей? На каких правах? На птичьих? У птиц права есть. У меня – только автомобильные, да и те просрочены. Снять дом под дачу? Но дачи там, как крепости, не сдаются. Максим Горький очень остроумно заметил насчёт этого: если крепости не сдаются... А

может, дом купить? Увы. Фига в кармане, и это единственное, что мне сегодня по карману. Вот если бы землю получить, кусочек хотя бы...

– Значит, опять помещики и капиталисты? – нахмурился Помиранцев, старый коммунист. – Снова прибавочная стоимость?

– Боже мой, – улыбнулся Князь, – Семён Семёнович, да что вы такое говорите? Нынче такому государству, как наше, уже нечего терять, кроме своих пролетариев. Пролетариев и физического труда, и умственного. Вот сейчас демократов приспособили на манер домкратов, чтобы Россию хотя бы на вершок с карачек приподнять, а вы... Эх, вы!

Князь сердито махнул рукой и заплакал. Хома заскулил и, выбравшись из-под скамейки, воткнул морду меж княжеских колен.

– Да мы что же? – пожал плечами Хлюстаков. – Мы ж не бабы какие-нибудь. Мы ничего...

– Мы согласные, – сказал обычно молчаливый Заюшкин.

– А давайте, мужики, дальше телек смотреть, – сказал Мошонкин. – Ага! Поглядим да послушаем, да, может быть, и определимся насчёт текущего момента и на чём наша несгибаемая вечность держится!

III

Вечность держится на пустячках.

Вот колесо. Пустячок. Пустота. По существу, дырка. Но это такая дырка и такое существо, от которых зависит: повезёт человеку или не повезёт? Впрочем, колесо не только для везенья предназначено.

Вот умопомрачительная в своей простоте лента Мёбиуса. Вот зеркало. Вот песочные часы – эти сиамские близнецы, сионские мудрецы, два братика, два сопряжённых вулканчика, два изверга гефсиманской тоски, двусмысленно взвешенное коромыслице легкомыслия, высокомерные весы... уж не безмен ли? а почему бы и не безмен! – когда по англо-курдюковскому разумению безмен – это женщина без мужчины, а чисто французское *baise-main* есть «целование рук», этакая малость, в которой любая негоция является уже делом десятым...

Вот почтовый рожок – мелочь, скорее символ, чем мелодия. Бах сочинил опус, тему которого и задал звук почтового рожка, и сочинение не умаляет ни рожок, ни Баха; оно публику умоляет: послушайте же...

Вот две женщины: одна в шубе, другая в слезах... робко, опасливо, по-пластунски или короткими перебежками слеза слезает по щеке, пощекотала щёку – точно мама погладила, – и начала самостоятельную жизнь, словно улитка, самое серьёзное из всех земных существ.

Впрочем, одна улитка – это просто улитка. Две улитки, да ещё если они укрылись в ушных раковинах, – уже являются центром равновесия человека. Не я определил. Физиологи.

А улитке подражает тучка. Ползёт, не торопится, не просыхает.

Вот книжные полки, пропахшие летучей смолой капитанского табака.

Глиняный горшочек с цветущим цикламеном – очарования полный, как заброшенный сад Плюшкина.

А вот ещё: вьюга и вьюшка, музыкальный клапан печного органа; всего-то и разницы, что вьюга – большая, самобытная и сама по себе да для самой себя разыгрывается, а вьюшка – маленькая, рукодельная и домовитым людям поёт, способствует.

Пурга и пурген, он и она. Премия Букера тому, кто выявит характерное сходство этой родственной парочки!

Вот голуби на насытных карнизах.

Четвероногие друзья: пудель, стол, времена года...

Вот дудочка по имени «жалейка». А она сама едва не плачет.

Последние известия. Барабанные палочки. Барабанные перепоночки... О, эти последние известия! Словно известью, гасят они, припорошивают уходящие в небытие четыре октавы бытия. Но ведь даже пудель рвётся с поводка, чтобы поскорее ознакомится с ними, со свежайшими утренними новостями, написанными на уголке дома... Пустячки!

Пустячки держатся на взаимности.

Церковный совет недоволен Бахом. Так ведь и Бах недоволен церковным советом! Бах на баш. То есть, баш на бах.

Утро июльское, настоящее, розовощёкое: землю зазнобило, небеса зазяблило...

Вот дорога под бродягой. А у бродяги – шестиструнный серафим на поводке: гитара. Два нимба, два полушария – гетера ивановна, полублудница, полу-монашенка...

Вот электричка свистнула. В Хибаровском крае её называют полагерному нежно: «передача». Удачные дачники, надсадные садисты, огородники городские, земляки, сельхозугодники.

Вот танцорка со славою звёздной – вся из космических тайн, солнечного ветра, межгалактического тумана, и быстрый-быстрый лепет божественных носочков по дощатой сцене, па-де-бурэ, скороговорка шаловливого ангела... Вот космодром – с наинейшей железобетонностью точек опоры – весь как стальная арроgiatura на пуантах... Оба – Плисецкие. Авиа-Мария. Аэр-Авель. Ave! Здравствуй и прощай, моя Майя. Привет тебе, раскумаченный первоймай.

Два Ключевских. Воспоминатели истории – человеческой и планетарной. Человек-сопка: фаталистическое свойство. Точно так же стали когда-то свойственниками и породнились беспечные вьюги с печными вьюшками, помните?

Земля. Скрипит, но вертится в неисчислимых фуэте. Она делает своё дело – вертеться. А скрипление Бог простит. Это уже его дело

– прощать: и планету старенькую, и фрактальную геометрию Бенуа-Мандельбротта, которая нахально проникает в замысел Божий.

Вот моление ленивое, моление... Не молния осиянная, но – смиренный дождь, обречённый исповедальным глаголом: дождь наш насущный – даждь – нам – днесь – отныне и присно – не Красную Преню, но опреснок, хлеба предложения.

De facto – de jure.

Торжественно-чеканные латы латыни – и тихое слово еврейских местечек, вскрикивающее напоследок, окончательным слогом своим...
Послушайте!

IV

– Слушайте, – говорит Несчастлившиц. – Где эти факты? Где эта юра? Вот вам они? Скрипка пропита? Зима-таки пришла? Снежинки порхают? А в хибаре своей не имею чего кушать? Здравствуйте?

– Ничего, – отвечает Хворобушкин, параллельный хибаровчанин. – Зачем тебе, Изя, кушать? Ты же ж не гейний какой-нибудь. Ты у нас, Изя, из ритуального оркестра.

– Первая скрипка? – уточняет Несчастлившиц.

– И последняя, – ставит точку Хворобушкин.

И два физических лица располвинивают трубку мира и рюмку дружбы. Всего у них поровну. Сообщающиеся сосуды. Снежинки. Плач о проигранной скрипке – ненаучное примечание к истории провинциального мегаполиса, составленного из золотой орды орденоносных хибарок. И – загибание пальцев на темы воспоминаний из «Книги о вкусной и здоровой пище»... Венгерский гуляш – из меню измен тысяча девятьсот пятьдесят шестого года. Венский шницель. Вальсок на три такта. Так-то! Фаршированная щука, невыездная. Котлетка с косточкой по-пражски, дегустация на Красной площади, а уж растегаи – нигде кроме, как в Моссельпроме...

И вот уже два физических лица наполняются, точно надувные шары, воздухом отчаянного либерализма и чувствуют себя в кухонной кубатуре совершенно свободно и раскованно, как священные коровы в Пенджабе.

– Слушайте? – говорит Несчастлившиц. – Вот и жизнь встаёт совсем в ином разрезе, и большое понимаешь через ерунду? Так по-маяковски обожал выражаться мой покойный друг патологоанатом Яша Якобсон, человек с очень сложным жизненным перегаром? Я, бывало, спрашивал его вопросами: «Так-таки так?» А он мне теми же вопросами отвечал: «Так-таки так, уважаемый Изя»? Гениально? И я ему верил? А почему мне ему не верить? Он засунул своего комсомольского сына Гогу в синагогу, а сам что? А сам служил простым прозектором в анатомичке мединститута и плюс в горморге подрабатывал? Он был худой, длинный, но бесперспективный? В утробе, как в пустыне Гоби,

ничего материального, один буддизм? Но товарищи говорили ему по-товарищески: вступайте, товарищ, в первичную коммунистическую организацию – и тогда будете не проголодавши? И что же, вы думаете, сказал Яков? Он сказал: нет, нет и нет? Вижу жизнь, говорил Яков, совсем в ином разрезе?.. Гениально? Так и помер беспартийным?

– Пустячок, а приятно, – сказал Хворобушкин. – Как жил, так и помер.

И сказал Несчастливщиц...

Стоп! Вот теперь я, Сочинитель, вынужден вмешаться, и я вмешаюсь, чтобы самолично сказать вам, милостивые государи, как сказал Несчастливщиц. Он сказал так:

– Как помер? Так и жил? Гениально? Здравствуйте?

Так сказал Несчастливщиц. Он всегда говорит так, вопросами. И такое вопрошение началось у него с тех пор, когда он начал говорить, т.е. спрашивать с первых слов «мама?» и «папа?». А теперь представьте: каково жилось Изе от младых ногтей до развитого социализма? Кошмар... Действительно, какую оценку могла поставить юному Изяславу учительница пения, когда он, музыкально одарённый ребёнок, умудрялся удивляться даже в самых неподходящих для удивления местах, то есть там, где, вроде бы, все вопросительные интонации были заведомо излишними, например, при разучивании текста советского гимна? Но Изя говорил и пел так: «Союз? Нерушимый? Республик? Свободных? Сплотила? Навеки?...» – пел мальчик и ставил под сомнение святость марксизма-ленинизма, ЦК КПСС и Сергея Владимировича Михалкова, баснописца... Так что, уважаемые, учтём это обстоятельство, будем иметь в виду, что человек с вопросами есть человек неудобный, иногда даже более опасный для государственных устоев, чем человек с ружьём на большой дороге к светлому будущему. Кроме того, на каждого вероятного Изю не столько ответов, сколько самих вопросительных знаков в типографиях и кодексах не напасёшься, а пастухи-то наши вполне резонно могут обнаружить обидную несправедливость по отношению к гражданам невопрошающим, поскольку наш девиз – свят и нерушим: все знаки – поровну!.. И посему договоримся на будущее повествование о ненормативной жизни и пунктуации сроду удивлённого скрипача из ритуального оркестра: слово пишем, знак в уме, – в противном случае, чистописание превратится в чернокнижие, а чтение – в сущий кошмар.

И, значит, так сказал Несчастливщиц Хворобушкину относительно безвременной кончины Яши Яковсона, неперспективного патологоанатома:

– Как помер, так и жил. Гениально! Здравствуйте...

Так-таки так! Заливаются физические лица. Скрипка пропита. Зима пришла. Снежинки порхают.

– Во, блин, погодка! – говорит, упираясь, подобно Поэту, в окно, хибаровчанин Подгузников, лицо историческое. – То дожди были жидкие, а вот теперь уже и снежинки порхатые... И это называется Россия? О, в лоб твою мачеху! Где правда в жизни? Ни одна человеческая женщина не станет жить на такой вилипутской жилплощади, как у меня. А в телевизоре, например, сидит чмо в малиновом пинжаке с золотыми пуговками. Вы думаете, что это новый русский? Нет. В новом русском всегда старый еврей сидит. Давайте, говорит он, предаваться восторгам, господа. Ток-шоу, называется. А на моей жилплощади уже полгода току нету, на динаме сажу, на батарейках. Что делать? Кто виноват? Эх и ещё раз эх! Был бы ток, а шоу всегда будет. Но судьи кто?

И подался Подгузников на площадь, центральную, городскую. А там уже Несчастливщиц с параллельным Хворобушкиным и прочие горожане, лица физические, исторические, юридические... Все они становились на площади лицами химическими, плавно перетекающими в электорат... Все как один. Это – не толпа человек. Правильнее сказать так: человек толпы.

Редкий камень долетит до середины площади. Редкий – если меткий. Но ворошиловские стрелки в Хибаровске давно повымерли. И вообще на площади никогда ничего особенного не приключалось. Однако персональный, вне толпы, хибаровчанин всегда хочет убедиться в этом самолично. Он такой. Он оставляет на чёрный день всё, вплоть до самых светлых надежд.

V

Взаимность держится на самой надёжной надежде – на общей, когда уже одной – своей, личной, собственной – не хватает.

И вот однажды он приходит, подельник-понедельник.

И встаёт обида былинная.

– Это вы! – восклицает Апогей Почечуйский и худым перстом указывает на людей в белых халатах. – Это всё вы, дымократы хлёбанные, довели меня до такого висячего факта, что стал как пижама. Меня! У которого шевиотовый синий пинжак весь в рыгалиях Советского Союза, что даже нету свободного места для следующей награды родины...

– Успокойтесь, больной, – говорят люди в белых халатах. – Вот мы вас сейчас отвезём, укольчик поставим, баиньки спать положим...

– А между прочим, – говорит Почечуйский, – вы медведя в зоопарке видели? Мотается в клетке, ревёт, башкой крутит, худо ему, брюхо болит, драться охота, когтями скребёт... Так это буду вылитый я! Кушать хочется? Хочется. Такая первобытная традиция. Из этой традиции произошёл человек, конкретно – я. Не считая крупный рогатый скот. Коровы тоже мычат, дотаций просят. А в израильских киббуцах, между прочим, коровы доятся в аккурат по Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, без всяких дотаций. Это как понимать прикажете? Дальше.

Капиталисты в России – полный приватизец. Кто они такие, эта молодая золотёжь, эти новоявленные новорикши и мультимиллионеры? Кого они везут в будущее? Нашу Россию? Херушки! Сами себя везут, включая тещу. Спид развели, голую мопассань на сто процентов. На новорикшиных бабах сплошные бриллианты и мех сквозь слёзы трудового народа. А почему? Потому что другие люди, которые прочие, каждый день гибнут за минтай, за пачку ленинградского беломора, за бутылку жигулёвской жажды, а не то чтобы иметь какие-то заморские бананности. И это вы называете жизнью?

Люди в белых халатах делают своё дело и приговаривают:

– Вот мы какие умненькие, вот мы какие послушненькие...

– Теперь конкретно дальше, – продолжает Апогей Почечуйский. – Жизнь и смерть, а посередине Минздрав с приёмным покоем. Кому оно нужно, такое здравоохранение, когда нету никакой разницы между приёмным покоем и вечным? Когда промежуток между ними такой коротенький, что едва успеешь сказать: ох, вздох – и писец?! Нет, хватит, эскулапы! Пишите адрес, товарищи белые люди с красными крестами: дорогая моя столица, золотая моя орда, улица Шарикоподшипниковская, мне лично в руки под расписку. Уеду! А чтоб мне дальше тут так вошкаться... Да лучше провалиться мне на этом самом месте к чёртовой матери!

Смирительная рубашка не помешала Апогею Почечуйскому плюнуть, топнуть, шаркнуть, фыркнуть и провалиться. Точно и вовсе не было человеческого Апогея.

И хор гор отпел его античными голосами.

А потом стало оглушительно тихо. Тихо-тихо.

И небо над медкорпусом вздохнуло... Значит, пролетел кто-то. Может, ангел? Если чёрт не шутит, может и ангел. По пути, например, из Анголы в Англию, по неотложным душевспасительным делам. А может – Янгель, ракетный академик Михаил Кузьмич, сын земли Сибирской. Может, смотрел, смотрел свысока – да и матюгнулся грустно из своего космического далека... О чём? Неужели о ...

– Ужели, ужели, сударики мои разлюбезные! Ибо невыносимо печально видеть мне, что на каком-то засраном Западе путь человека сформулирован – как резцом по мрамору: через тернии к звёздам. А у нас? А у нас всё через... многоточие. А как сформулировано? Господи! Как серпом по ... многоточиям. Шоу-ток, говорите? Жалко мне вас, земляк Подгузников, что ваши градоначальники весёленькую жизнь вам устроили: где шоу – там ток, а где должен быть ток – так там обязательно шоу. Грустно мне. Потому что всё осталось – как вчера...

А что же было вчера? Ах, да... Вспомнили. Точно. Вчера сверху летели два кирпича, особенно правый, а левый упал-таки и давай, и давай себе валяться... Многие считают, что это анекдот. Нет, господа хибаровчане, не анекдот. Это последние известия.

А сегодня сверху упало перышко – и давай, и давай выписывать!

Вчера сказали бы про него: вечное перо.

Но сегодня мы уже точно знаем, что перо не может быть вечным. Огонь – тоже.

Перо и свет – сами по себе. А писатели и памятники – по себе сами.

И очи чёрные... Ах, да неужели можно подумать, что речь идёт всего лишь о цвете глаз?

Очарование, очаг, очищение...

Белые одежды надежды.

Надежда держится на остраниии.

Ёжик в тумане. Скрипач на крыше. Или рояль в кустах. Или в иле премудрый пескарь. Чёртик в табакерке. Смольный на проводе. Казённый дом. Дальняя дорога. Нечаянный интерес...

*Два туза, а между –
Кралечка вразрез.
Я имел надежду,
А теперь я без...*

Да может ли быть осмыслен людьми их ноющих ковчег как видение, а не как автоматическое узнавание? Услышат ли Слово люди обречённые?

Или же останется всё – как вчера, как после вчерашнего, где – ласковая, рафинированная, сосредоточенная на самой себе злоба... цивилизные циники – цинковые гении, шоколадные шакалы, и погибельно насвистывающий рак, и рок безрукий, карамболь после полуночи из шариков-роликов, крестиков-ноликов... – всё это утончённое, припудренное сумерками, мерками, номерками, меркантильными ображениями и прочей фиолетовой дрянью, о которую разбил-таки свою бедную голову царь-горох...

А царю – и титул подобающий, презельно державный: «Горошек зелёный мозговых сортов. Сорт столовый. ГОСТ 15842-83. Госагропром РСФСР. ГКО Белгородагроплодоовощпром. Белгородский консервный комбинат. Масса нетто 370 г. Цена: I пояс – 20 коп., 2 пояс – 21 коп., 3 пояс – 23 коп. Химический состав на 100 г продукта: белок – 3,1 г, углеводы – 6,5 г. Энергетическая ценность – 40 ккал. Срок хранения 2 года со дня изготовления».

Ну-с, граждане хибаровчане, так на чём же держится держава царя-гороха и её острейшее остранение?

Вы угадали: на волоске.

То есть, на вечности.

А что такое вечность – так вам любая кухарка скажет, что это – гора немытой посуды. И любая прачка добавит:

– Вечно эта куча нестираного белья!

... и зубная боль, и долбёжь кухонного крана, и журчание неис-

правного сливного бачка в уборной, и грязные руки дорогого чада, с отвращением поглощающего вчерашний суп... и фетровые стариковские, с беззаботной пряжечкой, боты по имени «прощай, молодость»...

Очень просто.

Потому что ещё не вечность.

Не вечер.

Не вече...

Ненужное – зачеркнуть.

Но кто совершит выбор? Да всё они же, сражённые очередью. Так что, напрасно вы спрашиваете...

VI

– Вы спрашиваете: чего у наших парламентариев не хватает?

– Я не спрашиваю, тем более у тебя. Я и сам знаю, чего у них не хватает. А также знаю, чего у тебя самого не хватает.

– Извините, это некорректно. Вы мне лучше скажите, чего именно не хватает?

– Я скажу! У меня не заржавеет. Только у тебя от моего сказа зубы от волнения вспотеют, не только что чо. Конкретно говорю: культурности, ёптыть, не хватает.

– Да ну!

– Хрен гну. Один только и был культурный депутат. Гена, зовут, Фильшин. Помнишь такого?

– Ну-ну...

– Опять гну. А я как щас помню, выйдет Гена, избранник наш все-народный, на всесоюзную деревянную трибуну, с тылу у него генсек с партийной сотней заседают, как в засаде, а нашему Гене на эту засаду – ни в зуб ногой и ни в одном глазу! Этак головку свою набочок наклонит и говорит презрительно: мне представля-а-а-ется...

– И что толку от того представления?

– Был толк. Да скоро вышел. Предали Гену. Зато щас совсем не такие парламентарёры, чтобы себе головку набочок, а как раз наоборот, чтобы другому свернуть. В телевизоре-то всё достоверно кажут, как у них там на заседаниях око за око заходит и зуб на зуб не попадает. А это отчего, я тебя спрашиваю? От злости. От страха. Одно полное блядство и некультурный мат.

– Опять загибаете!

– А ты возьми и разогни.

– Хорошо. Давайте конкретно. Во-первых, где оно... то, чего вы так говорите? В чём оно выражается?

– Блядство, что ли?

– Скажем иначе, секс.

– Да ради бога! Загляните в телевизор. Сплошные ж дебаты! Не

трибуны – три буквы! «Надо, – говорят, – вернуть нашу конституцию в лоно!» А это что такое, я тебя спрашиваю? Это ж всё равно, если бы я тебе выразился: пошёл ты... Понял?

– Стоп, товарищ! Что такое лоно, это каждый понимает по-своему.

– Ой, не надо! По-своему... Ты у бабы своей спроси, она тебе это дело наглядно объяснит. Есть у тебя баба?

– Ну, вот опять вы не с той стороны в женский вопрос углубляетесь...

– Кто? Я углубляюсь? Ты меня замумукал, гражданин! Это не я углубляюсь. Это парламентёры углубляются. Они потому что сами собой – как вылитые бабы на базаре, а бабы-парламентёрши – так те и вовсе на завмагов похожие, все как одна, вылитые друг в дружку. Короче, на кой мне такая власть, если ихние советы мне никак не соответствуют ни по мясу, ни по молоку, ни по профилю характера? Если все ихние советы – против моей шерсти?! Нет уж! Долой, как говорится. Вот моё последнее слово насчёт ихней культурности. Как выразался Александр Невский, на том всё наше стояло и стоять будет...

– Муцины! Я вас предупреждаю, что здесь имеются женщины! А вы тут распустились до мозга костей и выражаетесь, как дети малые! Да ещё под прикрытием Александра Невского! А тут всё-ж-таки женщины-покупательницы находятся!

– Ну, и что? Без женщин сексу не бывает.

– Да, коллега, вы правы, не бывает, точно так же, как и политики не бывает без прекрасного пола. Политика – это, извините, дело такое, что буквально каждая мелочь в ход идёт: где-то нужен кольт, а где-то и декольте требуется.

– А я про что говорю? Про то же самое... Висюльки разные, на шее...

– Это колье называется.

– Он самый. Я и говорю. Бабы с бриллиантовыми кольями из золота...

– А мужики с кольями из забора...

– Это которые шибко активные.

– Да. И чересчур. Но от той активности, кстати, у президента только рейтинг поднимается...

– Муцины! Я вас в обратный раз предупреждаю...

– А ты, женчина, губы-то свои не шибко раскатывай, не надо. Промеж нас с тобой никакой гражданской разницы нету, к тому же – не на кухне у себя находишься...

– А чего вы тут безобразия хулиганите?

– Мы не безобразия...Мы дебаты... Так вот, коллега. Накануне было у нас такое дело. Обыкновенная советская семья. Чин чинарём, можно сказать. Дочка в парике, мамуля уже в панике, отец ещё в пижамах, очень подозрительно полосатой...

– Про что это вы намекаете?

– Да про активность же, ёлки-палки! Слушай дальше. На следующий день, в воскресенье, как щас помню, ушёл тот отец на всенародный выбор референдума. До сих пор не вернулся. Три месяца где-то голосует.

– Уж не вы ли?

– Выли, выли, ещё как выли! Особенно я.

– Ну, вы даёте, милейший...

– Даю. А что поделать? Без активности скучно.

– А вы не скучайте, друг мой. У активности альтернатива имеется. Вон она, стоит, дожидается. Видите полочку на витриночке? Там прохлаждается, вас дожидается бутылочка преотличного «Амаретто».

– Знаю. Широкоплечая такая.

– Именно. Возьмите стопочку и пейте, сколько влезет, чтоб не очень соскучиваться.

– Обижаетесь, товарищ. Нам, чтобы не соскучиваться и сколько влезет, штук десять таких плечистых требуется. Ферштейн меня?

– Тогда каким-нибудь другим душевным делом займитесь.

– Пробовал. Активность всё-равно не проходит.

– В люди идите! Как, например, писатель Горький или наш местный прозаик Валютин. Люди не обманут. Люди подскажут. На чистую воду выведут...

– Да был я там, в людях-то... Показалось не оченно.

– А как?

– Значит, пришёл...

– Дальше, дальше. Не стесняйтесь, говорите, как демократ демократу.

– Сказали: дурак.

– Прямо так сразу?

– Прямо.

– И что же?

– Ништо! Откудова они всё про меня знают?

– А они такие... Они такие, что всё на свой лад перетолкуют. Истолкуют, так сказать, в своей ступе. Понимаете?

– Конечно, ферштейн. Но я не об себе пекусь. Я об президенте пекусь в первую очередь. Как встану с койки, так и думаю.

– Конкретно?

– Об рейтинге евоном. Пусть он его антистатиком каждый день с утра побрызгает, в обед, а также вечером... Упадёт, подлец, и больше не встанет. Проверено.

– Вы это серьёзно?

– Говорю же: проверено, мин нет.

– Да ведь рейтинг же, извините, совсем не то, что вы думаете, а, как бы сказать, сколько очков!

– Ну, ёшкин кот, дались тебе мои очки... Ты что, в самом деле меня за дурака считаешь? Я ему фигурально говорю, а он... Рей-

тинг, понимаешь, стоит, не стоит... Вот ты тут стоишь в очереди – и стой себе!

– Музины! Я вас в неоднократный раз предупреждаю...

– Да ты чего тут раздухарилась, женщина? Ты перед продавщицей духарись, когда она тебе новые цены скажет. Будет тогда тебе полная авоська-нихераська.

– Го-о-осподи... Да ведь генеральный президент обещал же: не повышу, говорил, цены, на рельсы лягу...

– Наивная ты женщина! На рельсы надейся, но сама не плошай. А президент России – это тебе, между прочим, не какая-нибудь Анна Каренина, чтобы на рельсы... Ну, вот! Слава богу, и очередь подошла, кажись... Значит, так! Буженинки полкило... Сырочку полкило... Маслица два кила... Копчёной колбаски палочку... Вон тую рыбину, красную... Ага! Эту, эту! Как её зовут? Кета? Давай, милая, пеленай того кита целиком и полностью, с головы до ног. И ещё вон то, которое с негром... Янкель Бемс? Опять еврейские штучки? Ах, не штучки! Соус? Из негров! Да я и сам знаю. Пошутил, пошутил... По телевизору этих прокламаций с прибабасами столько, что голова закружится... Всё! Большой ферштейн. Сколько с меня?

– Стоп, мотор! – закричал режиссёр. – Туши свет! Все свободны! Оператор – ко мне!

Через пятнадцать минут павильон киностудии хроникально-документальных фильмов опустел. Массовка, из своих же студийцев, получила по три рубля на нос за съёмку и с сумками наперевес испарилась по тёмным углам.

После распродажи по случаю артистов ещё долго будут отлавливать и возвращать на рабочие места.

Через месяц на всесоюзный экран выйдет киножурнал. Голос за кадром зазвучит убедительно и проникновенно:

– Трудящиеся Хибаровского края горячо обсуждают итоги и решения очередного внеочередного пленума... год от года растёт и повышается...

Режиссёр Арнольд Бефстроганов решит завить горе верёвочкой. Приладит верёвочку ко крючку, на котором люстра болтается, перекрестится, в первый и последний раз оглядит свысока окружающую обстановку... – ёлки-палки! на верху шифоньера две бутылки «Столичной» стоят, красавицы непочатые, целочки... судя по запылённости стеклотары, жена, больше некому, ещё с прошлого года укрыла подальше от пронизательных хроникально-документальных глаз... ну, кино! ладно, проживем ещё, а там видно будет – сколько...

VII

... сколько себя помню, никак не могу себя забыть. Это во-первых...

VIII

Во первых строках своего письма спешу уведомить тебя, досто-почтенный читатель, что январь отметелил славный российский город Хибаровск совершенно по-хулигански: со свистом и улюлюканьем, по-чёрному и по-белому...

Разгулялись, стало быть, земля и небо. Что по этому поводу го-ворит Гидрометеоцентр – мы знаем. Что по этому же поводу говорят мужи российской словесности?

ПРО ЭТО И ПРО ФЕТА-ПОЭТА

*Кот поёт, глаза прищуря,
Мальчик дремлет на ковре,
На дворе играет буря,
Ветер свищет на дворе...*

Ну, что ж, Фет так Фет.

У Фета имелась идея-фикс: звёзды. Образ навязчивый, прилипчи-вый, как банный лист. У Фета есть статичные, безглагольные стихи, и в этом недвижимом пессимизме он почти совпал с Шопенгауэром, которого переводил не без удовольствия – с того света на этот, пере-язычивал, стало быть.

А земная страсть у Фета-поэта – землеустройство: помещичий быт, усадьба, конюшня, озимые-яровые...

И вот этот метафизический Фет сорок лет – содрогнись, Моисей! – потратил на то, чтобы заполучить титул потомственного дворянина. Добился-таки.

И вот дуются они как-то в карты, Фет-поэт и граф Лев Толстой. Крепко режутся в вист, азартно, деньги солидные грудятся на столе, у Фета-поэта губы сохнут, и руки дрожат, а одна небольшенькая ассиг-нация фыркнула со стола и, не витая, улетучилась куда-то под ноги игроков. И тут же мигом опустился Фет-поэт на колени, принялся нашаривать по полу, а граф Толстой запалил от свечи сотенный билет да и посветил искателю...

Ау, юноша бледный, обдумывающий жизнь в XXI (картёжно-очко-вом) веке, и читающий эти недемократические строки в паузе между www и сторублёвым пирожком с абрикосовым повидлом! Ку-ку! Прими к сведению, к сведению счетов, к сведению концов с концами: «Что упа-ло, то пропало», как на два счёта голосит русская народная пословица. Это – раз. А, во-вторых, в период проклятого российского абсолютизма во время карточной игры совершенно категорически не принято было поднимать что-либо с пола: неприлично! А под стол же игроки бросали пропонтированные, то есть, сыгранные, разово использованные колоды, кои поутру вместе с денежными бумажками собирали облизывающиеся слуги, лакеи, казачки; опосля того они тактично заседали в дворниц-кую комнату и резались «в дурачка» со щёлканием по носу.

Так-то. На два такта.

...А потом обрушилась на населённый пункт оглушающая тишина. Чёрно-белые дни и ночи. Санитарный покой. Гипсовая неподвижность. И тяжелейшее давление от того, что вдруг начинаешь понимать: в стерильности ничто не рождается – ни Анна, ни ангина, ни ангидрит натрия... всё какие-то прапорщики цвета хаки да известия как гашёная известь.

И лишь в воскресенье, в чёрный вечер, на замершие и изнурённые ожиданием кварталы снизошёл бесшумный, как свет, снег – белый вальс, совершенно растерянный вальс нашей юности акварельной, хрупчайшие звёздочки царя Давида, условно выпавший в осадок поэт Додик Звенигородский... И зазвенел город от той великосветской снежности.

Снег шёл встречными потоками. Неуверенный в себе, он обычно падает. А уверенный – о, это ещё тот снег, скажу я вам! Он воспаряет от земли к небесам, по кратчайшему пути, словно пузырьки в боржоми.

Белое наваждение ложится неосмотрительно, но вполне основательно, как гексаметр.

И подбоченились сугробы молодые, дебелье.

И опустил на город Хибаровск дивный свет, и мир, и благоволение в человецех.

– Ну, как? – спрашивают.

– Ничего, – отвечают.

– Ну, давай!

– Пока...

Перевести на иностранный язык такой диалог можно примерно так:

– Как живёте?

– Удовлетворительно.

– Прощайте!

– До свидания...

«Ничего!» Так, к слову сказать, король Франции Людовик XVI отметил в своём дневнике день 14 июля 1789 года. В этот день парижане захватили Бастилию и началась Великая Французская революция... Ничего себе, да! Восклицательный знак.

С тем и живём, озадачивая французов, немцев и прочих иноземных заморышей.

– Привет.

– Кому?

– Тебе.

– От кого?

– От меня.

– А-а-а... Ну, здорово.

– Аналогично.

Расхожие, странные, самые что ни на есть народные русские сло-

вечки. Одному из них всю жизнь удивлялся германский канцлер «железный» Бисмарк и даже приказал выгравировать это магическое слово на крышке своего серебряного призового портсигара:

«Ничего»...

Сантехник Хлюстаков с Бисмарком согласен.

– Безнадёга – это раз. Бесколбасье – это два. В народе стёрты все права и все приличия безо всякого стирального порошка и тому подобных приспособлений. Мыла для трудящихся масс вообще отсутствует. А что такое мыло? С мылом, как говорится, и в шалаше рай. Вот почему я настаиваю, чтобы такое правительство, как в нашем городе, немедленно покинуло своё кресло. На мыло!

Вообще-то, зима пришла совсем неожиданно. В автобусах и трамваях сразу стало тесно. Пассажиры неловко улыбались, ворочаясь в непривычных тяжёлых шубах и пальто, и охотно извинялись друг перед другом, прекрасно понимая, что чуть-чуть позже они начнут с такую же охотой ругаться...

– Как со снабжением-то?

– Ничего.

И наступает удовлетворённое, сытое молчание. Ровно на три минуты.

IX

Три минуты молчания в конце каждой четверти часа...

На западе Тихого океана свирепствует тайфун Джэф. С очень сильными ливнями и ветрами, достигающими 30 метров в секунду, он обрушился на Приморский край. В ближайшее время тайфун будет смещаться в район Сахалина и Курильских островов. Штормит также и на северо-востоке Тихого океана. В районе Алеутских островов и залива Аляска ветры 20-22 метра в секунду. Высокие волны, 4-7 метров, густые туманы ухудшают видимость в этих районах. Юго-Восток Тихого океана бороздят два тропических шторма Линда и Кевин. Линда находится в 15 градусов северной широты и 135 градусов западной долготы, шторм теряет свою силу. В ближайшие сутки скорость ветра не будет превышать 15-17 метров в секунду...

Три минуты молчания. Это очень много и очень нужно.

...Тропический шторм Кевин находится к северо-западу от островов Ревилья-Хихеда, смещается на северо-запад со скоростью 8 узлов, максимальная скорость ветра в нём 25 метров в секунду. В Атлантике в ближайшие сутки штормовая погода с ветрами 20-25 метров в секунду будет удерживаться на подходах к Великобритании, высота волн здесь 4-6 метров. На Северном, Норвежском и Баренцевом морях ветер сильный, высота волн 3-4 метра. В районе Ньюфаундлендской банки с юго-запада выходит циклон. Здесь ожидаются очень сильные ветра с волнением до 5 метров...

Три минуты молчания. Погода океанов звучит как музыка.

Каково же сердечку романтического мальчишки из российского сухопутья?

Провинциальная тоска.

Мальчишечка ещё безусый, но он уже понимает: в родной Ивантеевке ему никак невозможно без Босфора и Дарданелл. Но пусть покуда об этом не знают ни мамка, ни папка, уж не говоря про весь городок...

Х

Городок наш Хибаровск – не Арзамас какой-нибудь тихий с пыльными курями, а совсем наоборот: поведением индустриальный, орденосный, а соцпроисхождением – загадочный весьма. Историки с топонимиками до сих пор головы ломают относительно его названия.

Кто такой средний хибаровчанин? Об этом ещё Пушкин очень хорошо сказал, давно сказал, но и для нынешних времён точно да к тому же и коротко, так, словно бы российский гений лично посетил наши палестины, элизиумы и вавилоны с пепелищами; включишь уют, а от туда всенепременное: Пушкин, Пушкин, наш вкладчик неопенимый... Любит Пушкина средний хибаровчанин, хотя именно о нём и говорил когда-то вкладчик неопенимый: не мог он ямба от хоррея... и так далее, тут уж мы сами можем успешно продолжить аттестацию среднестатистического хибаровчанина: не мог хоррея от еврея, не мог еврея от Харлея, не мог он Гегеля от Канта, не мог костюмчик от Диора, не мог он бабу от души, не мог он свадьбы без баяна, не мог он спирт без стакана... Короче, как мы ни бились – а уж бились-то мы как! – но он, наш хибаровчанин, не мог. Много чего не мог позволить, чтобы как-то отличиться хотя бы себе самому. И покуда ничего не домогается, потому что недомогается-то в первую голову ему самому. На всё способен, но ни на что не годится, потому что хоть и готов на всё, но не знает: на что именно? Вот такой он немогучий, человек в обстоятельствах, а обстоятельства такие, что дай Бог не каждому. Немогучий – и точка: капитанская точка, точка зрения, точка опоры, точка невозвращения, точка над Я... Так жизнь идёт и проходит. А поступь тяжёлая, точно у Командора известного, и губы обветрены, как паруса, и душа невесо-невесёлая. В общем и целом, обыкновенный среднестатистический российский доброхот. В сущности, – тот же Дон Кихот, только Дульси-нея у него Тобольская. А завивы доброхота – не от безумия, наоборот, от ума, но ума ленивого и нелюбопытного, перегруженного: уж слишком много прошлого в его текущем настоящем.

Просвещение, конечно же, есть. Обязательное просвещение! В Ленинских комнатах, в бытовках, в бендешках, в красных уголках, прямо в обеденные перерывы.

– Курить-то хоть можно?

– Курите, – разрешает платный лектор из общества «Знание» и заводит речь: о положении в Китае, о госстрахе, о войне в Афганистане, о внеземных цивилизациях, о сущности жизни со ссылками на Шекспира и Мандельштама...

А уж действительно, много чего всякого разного творится в этом прекраснейшем и яростном мире! Не всё в нём понятно уму среднего хибаровчанина, к тому же и жизнь весьма лукавая, жизнь раскидистая – и с точки зрения вечности, и в смысле снабжения, и в разрезе колбасы. Да и сам лектор ещё туману напускает.

– Пусть, – говорит, – пепел Клааса стучит в ваше сердце!

А уж потом, после лектора, начальник ЖЭКа тов. Сперанский своих похмельных жэков и жэчек дрючит-вразумляет на завтрашней утренней летучке:

– Скоты безрогие! Пепел какого класса у вас стучит?

– Рабочего, – за всех, от имени всех отвечает Вадя Мошонкин.

– Но уже не стучит. Ага.

– Вот я и вижу это самое, что не стучит, – устало грозит начальник. – С завтрашнего числа накладываю вето на отмечание дней рождения в рабочее время. А то совсем озверели...

Господи, а сам-то вчера, после лекции, пуце всех надрался, реформатор херов, на руках домой отнесли.

– Ладно уж, – миролюбиво соглашаются жэки и жэчки, – пусть озверели. Но это у нас от большого советского чувства локтя, для использования в мирных целях. А что эту вету наложил, так этот факт ещё ничего, а то ведь мог еще чего-нибудь наложить, похуже. Ничего! Как наложил, так и отложит, когда похмелиться захочет: пить, дескать, или не пить, как завещал писатель Мандельштамп.

– Шекспирт, – слышится поправочка из самого тёмного, непросвещённого угла.

А в другом углу, в светлом, вздыхает Князь – шумно вздыхает, точно лошадь:

– О, времена! О, нравы!

XI

...И тихий, пожилой ангел-хранитель фондов Художественного музея не выдержал-таки однажды:

– О, tempora! О, mores! – воскликнул он, осердясь не на шутку, но на вполне серьёзную констатацию факта. – Вы только вообразите, милостивый государь, что мы слышим на наших улицах? «Сядешь на Чехова, доедешь до Терешковой, с неё пересаживайся на Грибоедова, проскочишь две остановки и упрёшься прямо в Ленина, а от Ленина до вашего кладбища – рукой подать». Ну и ну!

А что – ну? Ясно же, что не в названиях улиц дело... Вечные вопросы уводят нас к поколениям – жившим и живущим, и поочерёдно

сходящим, сходящим – на нет, в могилу, с ума, на следующей станции – и нет, очевидно, конца и края тому безостановочному снисхождению: рок времени – Сизиф наоборотный! – скатывает камни судеб под уклон житейской горы, а они, таинственные и неукротимые, вновь возвращаются к вершине, чтобы начать всё сызнова – с новым поколением.

А тишайший ангел-хранитель уж и вовсе осерчал – на весь черно-белый свет, на «миру мир во всём мире», на Третий Рим, на историю, на учебники истории...

– Эти детсадовские альбомчики для раскрашивания! Эти потёмкинские деревни с расписными фасадами и гнилым нутром! Точь-в-точь как нынешний Арбат! Как вам это видится? – спрашивает он гневно и приценивается к вероятному ответу с умиленным коварством сурожского торгового гостя... и прицеливается к невидимой мишени подобно рыцарю с арбалетом, и в прищуре его глаз сквозят средние века...

Конечно, мне видится. Ещё бы! Мне уже тридцать лет видится, ибо в столице для меня Арбат – место особое. Я всегда прихожу к церкви Большого Вознесенья у Никитских ворот, в которой обречённый на счастье Пушкин венчался с Натали, с этой *aîné de dentelles*, кружевной душой, как называли современники поэта его избранницу. Я прихожу к андреевскому виноватому Гоголю. Покатый Гоголь – детская горка – единственный послушник в стране Советов, поникший в печали возле дома Талызина, в котором он собственноручно предал огненной казни лучшую, может быть, половину своей поэмы. Вспоминаю его аристократическую могилу. И сразу же – могилу Чехова, маленькую и скромную. И до явственной жути хочется мне оживить обоих гениев, дать волю фантазии, чтобы воскресли все губернаторы и ревизоры, и сравнить их с сильными и слабыми мира сего, и лично, из первых уст, узнать, почему же дерзким подрезают крылья, и почему некоторые книги попадают в костёр, и почему тосковали в провинции три сестры, когда надежда была уже на пороге... Прямо подо мною, в начале Суворовского бульвара – известный всем бывший Дом печати, нынешний Центральный Дом журналистов; из этого здания много лет назад унесли Есенина на Ваганьково; небольшая могила, словно в ней похоронен мальчик; памятник с барельефом, ива с многочисленными нарезными надписями, которые регулярно замазываются вишнёвой смолой... Всё это так. Но я не могу представить стариком ни Пушкина, ни Есенина – как бы они выглядели, скажем, в лет семьдесят? Я не знаю. И Ким не знает – арбатская легенда бродячая, бард узкоглазый, с прищуром не расовым, но от иронического прицела. Ах, этот Кимушка, Ким! Вечный Коммунистический Интернационал Молодёжи вкупе с биполярной вселенской Кореей... Слава богу, живёт, сочиняет, переводит время, деньги и забавные сюжеты с революционного футурума на исторический плюсквамперфектум. И полуночные кухонные слушатели с благодарностью отвечают ему:

*Как Ким ты был – так Ким ты и остался,
Орёл степной, казак лихой...*

А дальше – знаменитый в своё время моссельпромовский дом в Калашном переулке, там – мастерская Художника. Там вечная поза – борода в кулаке, что означает одно из двух: либо человека больно таскали за бороду, либо он шибко думает. И я вспоминаю, как печально говорил Художник о том, что вот, дескать, москвичи пытаются вернуть городу старые названия – Остоженку и Хамовнический вал, а сами вовсе не понимают, из-за чего весь этот сыр-бор разгорелся, и, считая вал городской границей между чистой публикой и хамами, пытаются решить спор не властью аргументов, но аргументами власти; и ещё того не понимают, бедные, что хаму всегда находится место в ковчеге, что Хамы – во все времена есть Хамы, категория хоть и вечная, но ничего общего не имеющая с хамовниками – ткачами, полотнянщиками, скатерниками, которые жили в этом районе бок о бок с высокородным графом Лёвом Николаичем.

– Некрасиво это: увековечивать одно, разувекочивая другое, – говорил Художник.

И ещё он говорил о том, что нынешний Арбат офонарел не в том смысле, что уличными торшерами обзавёлся, но в том смысле, что нету смысла в этой перестройке.

Я слушал – и вспоминал мой провинциальный город, в котором масса Советских улиц, а Коммунистический тупик прямёхонько выводит на Ново-Ленинское кладбище. И ещё я думал о тех недоумках, которые подмахивают, не глядя, любую бумагу, бледную от магии властных росчерков пера, от ненависти, от бессилия бороться с тем, что на ней, на чистой бумаге, изображено машинописной серописью, а потом какой-то другой чин, рангом повыше, с языком, онемевшим от высокой ответственности, говорит по этой бумажке речь перломуторную, точнее, читает, и читает не потому, чтобы не забыть сказать самое главное, самое важное и необходимое, но чтобы – не дай Бог! – не сболтнуть чего-нибудь лишнего, от себя, вышедшего из сусеков собственного мозга и ещё незавизированного вышестоящим начальством... а в ответ оному чину ласково отвечают: ура!.. О, эти чины, эти эмиссары истины в последней инстанции с вечно прищуренными взглядами и со своими аршинами в портфелях! Увы и ах! Им плевать на то, что в их затылки прадеды глядят, что за пустыми словами нет ничего, кроме простой деловой фанеры – подобие наглядной агитации на наших дорогах, как-будто бы специально созданной для передач по цветному телевидению, но вот – серой мышкою прошмыгнёт месяц-другой – и все лозунговые слова выгорают на солнечном свете, и остаются на щитах одни лишь красные люминисцентные губы обесцвеченных, исчезнувших ударников, как оказывается, не вечно улыбающихся...

А ведь что надо-то, чтобы дать название городу или человеку? Все-

го-то чуточку собственной фантазии и уважения к живым и мёртвым – вот и родится слово. Но к такому явлению, как слово, необходимы осторожность и бережение. Вот, попробуйте сказать неосведомлённому человеку: «Фундук!» – бьюсь об заклад, что этот человек представит себе нечто похожее на рундук, на сундук дубовый, на дундука дундуковича, одним словом, на дурака смахивающее, да ещё и обидится на вас, на ваше обзывание. А фундук есть безобидный орех, очень хороший, вкусный, шесть рублей кило в Сухуми, сам покупал...

Мы – нация скромная, и в названиях наших улиц мы не строптивы, не чопорны, нам не нужны бульвары Капуцинов, но вот Сиреневые – сами по себе живут, правда, незаконно, без утверждения в инстанциях. Очень хочется, чтобы так было: нечопорные мы, нестроптивные. А то ведь что получается? Чиновнику хорошо, и ему кажется, что всем хорошо, разве вот что какой-нибудь старик со средневековым прищуром мучается от не современных ему названий, в газеты пишет, жалуется, так это не беда, мучиться старику недолго осталось, скоро помрёт, и отвезут его на кладбище единственной верной дорогой – Коммунистическим тупиком. ...

От всего этого паскудства иной раз хочется проклясть всё на свете и отречься, уйти от самой жизни, приобретающей в немоте фатально безрадостную, бессмысленную законченность.

И проклял бы, и отрешился бы, когда бы... И если бы не оставалась надежда, что на долгое августейшее существование обречены как раз вещи и явления незаконные: Художник, биполярный Ким, Арбат, арба лет, и этот странный тип с арбалетом, и арбалет как знак вопрошения... – вечной занозой в сердце сидит, занозой, звенящей воспоминанием о тугой тетиве, о стреле оперённой, о полёте обречённом – на ещё один последний раз.

ХII

В последний раз Князь приезжал к Шурику в прошлом году, всего-то несколько месяцев назад. На рейсовом белоголубом автобусе №147, посреди осени, уже к началу заморозков, когда по утренним лужам можно было шествовать аки посуху, а разъезженное в сплошную грязь пространство напоминало стиральную доску, гигантскую, до самого горизонта.

Князь молча и морщась пил свою водку из плоской бутылочки, а Шурик не пил и молчал просто так, за компанию. Точнее говоря, Князь не просто пил, нет, он напивался, как тучка, до посинения, после чего плакал, дёргал руками и никак не мог сыскать носового платка, покуда Шурик не приходил на помощь: отыскивал душистую тряпицу в правом кармане княжеского пиджака.

– Голубчик ты мой, – говорил Князь, утирая глаза. – Вот ты, наверное, думаешь, что я тебя не понимаю. Боже мой, неужели ты и

вправду так думаешь? Нет, я не верю. Я не вер-р-рю...

В огородах коченела капуста. Деревья стояли уже с редкостными подгоревшими листьями, лишь одна палисадниковая сирень не сдавалась, сопротивлялась подступающим холодам изо всех своих сиреневых сил, и этак из года в год не догуливала своего желаемого срока, красавица.

Уже и печи топили, а кое-кто из богатеньких и неэкономных распочинал верхние ряды белейших, пахнущих морожеными яблоками, полениц, возведённых к зимней осаде.

Само же село, в каких-то полутора часах езды от столицы всего Советского Союза, будто бы вымирало в такие дни. Народ суровый, с утра, что называется «не пимши, не емши, не похмелимши», вываливался с крылечек и уходил на передовую, на поля сражений, где с переменным успехом шли последние в сезоне битвы с урожаем...

А Шурик в это время оставался один во всём мире. Правда, ему не бывало очень уж грустно, он привык ждать, он был терпеливым Шуриком и в подходящее к сроку время точно знал: вот-вот явится князь, напится, словно тучка, и скажет: «Голубчик, ты, наверное, думаешь, что я тебя не понимаю...»

...Шурик вздохнул и на выдохе опустил голову.

– Это кошмар, – сказал Князь, – когда тебя не понимают. И всё же наберись терпения и послушай меня ещё раз, может быть, последний. А мне станет легче.

Князь булькнул горлышком и закрыл глаза.

– Так вот. Когда я был маленьким мальчиком, тогда моя бедная мама-белошвейка привела меня за ручку в драматический кружок при городском Доме пионеров. Помню, я очень упирался. Я даже плакал и описался. Я не хотел, Шурик. Клянусь! Мне нравилось совсем другое. Например, гонять во дворе резиновый мячик. Он был наполовину красный, наполовину синий, а посередке шла белая полосочка. Это было похоже на рыболовный удочкин поплавоч... Да, то было прелестное занятие! Но я стал ходить в драмкружок, мне было очень стыдно обижать маму. И вот однажды в этом кружке придумали такой номер самодеятельности: двое мальчиков под одной шкурой из крашеной простыни изображали лошадь, а третий мальчик – князя Игоря из древней российской истории. Так вот, голубчик мой, клянусь тебе памятью моей мамы-покойницы, что не лгу: я как раз и сидел в той лошадиной шкуре. Я знаю, что это такое и как там. Я исполнял роль задницы...

Князь промокнул глаза и продолжил:

– У моей мамы был чудный голос, колоратурное сопрано, а она на швейной машинке «Зингер» всю свою жизнь прострочила. Бедная мама... Она говорила мне: мой мальчик, закрой рот, не то простудишь гланды. И ещё она утешала меня: не огорчайся, мальчик, это место... которое ты занимаешь в лошадиной шкуре, это место

называется «задние плечи», а совсем не так, как его называют невоспитанные дети... Интересно получается, да? Жопа есть, а слова такого нету... Ну, ладно. Заднее место – это и была моя первая роль. Я всегда вспоминаю о ней, это волнительно, Шурик, потому что через тридцать лет я действительно оказался на коне. На белом коне триумфа! На первых ролях! В первом театре страны! Я пел партию князя Игоря. Но не успел я своей партии сыграть даже до половины, как вдруг понял, что оказался там, где начинал. В «заднем плече», то есть. Уже умерла мама, а другие утешения мне не нужны были. Они вообще сделались для меня ненужными, ничьи утешения, потому что я на собственной шкуре испытал знание: в искусстве – не одни только боги, на одного Аполлона приходится четвёрка лошадей. Ты помнишь?

Доходя до этого места, Князь обычно становился в позу и протягивал руку, призывая стихи:

*Триумф когда-то горнего орла –
Звероподобье, в коем умерла
Пробраза божественная часть –
Над зверем человеческая власть...*

– Ты чувствуешь тут бронзу, Шурик? – спрашивал Князь...

*Колёса не прибавили коню
Величия. С квадригой не сравню
Пегаса, распластавшего крыла
Превыше бронзы, лавра и орла...*

– Ты помнишь?

Ну, вот, опять дались Князю эти лошади... Конечно же, Шурик помнил, как с портика здания рвалась в небо четвёрка золотых коней, увлекая за собою колесницу с божественным наездником. Квадрига, называется. А здание – совсем не конюшня. Там – театр. Там деревянные и металлические инструменты истаивают на глазах почти почтеннейшей публики и превращаются в звук. Там идёт ежевечерний сумеречный обмен веществ: жизнь – на игру, игра – на жизнь. Сцены жизни – и смерть на сцене. Волнительный обмен. Пленительный обман. И по обе стороны ramпы – такие блистательные игроки... «О, дайте, дайте мне свободу!» – умолял Князь, устремляя руки к золотисто-малиновой ложе, и на невинную княжескую ложь отвечали из «малины» не менее арийскими жестами... Ну, выпросили свободу. И что же? «Не верю!» – рычит Князь, как прежде рычал знаменитый Станиславский, создатель системы в системе. А между тем, Зигмунд Фрейд, крестный отец психоанализа, мог бы обоим подсказать: «Чтобы верить, нужно встать на колени». Ибо: без веры худо. С верой ещё хуже. Акт веры – аутодафе. Потому что веротерпи-

мости в нашем доме очень и очень неуютно – как «маленькой Вере» в доме терпимости. И оттого столь тернист и долог путь от маленькой веры к Вере большой, к той самой, что означает не имя одной несчастной кино-девочки в фате фатализма, но – воздух, необходимый всему человечеству, помогающий душе дышать необременительно, а на пределе жизни позволяющий понять, наконец, что никем и ничем не защищён ты, кроме своей светоносной души... О, эта вера, эта Вера, душа, фея феерическая, свободная, дерзкая и нахальная, как звук, удравший от струны.

– Может, пригубишь? – спросил Князь, нашаривая глубоко под мышкою. – У меня, Шурик, ещё есть. Вот. Виски. «Белая лошадь», называется. Специально для тебя берегу...

А выпивать Шурик не любил. Здоровье не позволяло. Он пробовал всего лишь однажды, шампанское, да и то под натиском игривой весёлости Князя и его душистой свиты. Впрочем, на той пробе всё и закончилось, раз и навсегда. Слаб оказался Шурик в коленках. Вот Князь – тот да, тот квасил – будь здоров, иван петров! Теперь-то уж что говорить? И Князь не тот, и борозда не та. Раньше, бывало, после премьеры: ах, ах, опять мигрень? где мой линолеум? – а ему вместо элениума – парочку «Абрау Дюрсо» и розу в бокале. Шутка такая, уважительная. А нынче никаких абрау, кроме мигрени, и никто шуток не понимает, не выдаст на здоровье трояк или червонец до полочки, и не осталось сил бороться со своими слабостями, и стал, понимаете ли, совсем как мятый пиджак на спинке стула, а пиджачок – совершенно к стати княжеской, худенький, и пальтишко по крайчикам бахромится, и баритон треснул, а на руках высыпала стариковская «гречка», и глаза в лице утонули, и смешной – когда плачет... У каждого, видать, свой возраст старения, так ведь? А у артиста двойная жизнь, а значит – вдвое сокращает его, артистово, земное существование... Теперь Князь с Шуриком подравнялись возрастом, хотя лет Шурику раза в три поменее, и вполне возможно, что в один день могут копыта отбросить. Князю, конечно, потяжелее приходится: время уравнило двух сценических партнёров в обстоятельствах жизни, но не смогло уравнивать в готовности существовать в этих обстоятельствах... Да. Жизнь такая: до и после оаций – по капле никотина выдавливать из себя лошадь.

Из театра Шурик ушёл раньше Князя. Не скажешь, что – по бездарности или по старости, скорее – по дурости, из-за той самой дюжины шампанского, которое стало концом для Шурика и началом конца для Князя. Шурик плохо понимал, что именно тогда произошло на сцене. Помнит лишь, что вместо смиренного, почтительного стояния он ударился чуть ли не впрыска, и в толпе, окружавшей Князя, случилось сразу же какое-то испуганное кружение, давка, свалка, писк, визг, а потом бешено понёсся занавес, и Князь, не допевший арии, кричал: или я – или эта скотина!.. Бедный Князь, ездит вот теперь к

Шурику, регулярно, каждый год по осени, виноватится, плачет, кается: прости, дескать, меня, старого мерина, за прошлое моё скотство, за то, что напоил тебя, Шурик, гусарской порцией, а потом ход конём сделал, предательство совершил... Квадригу вспомнил, золотых коней в голубом небе. А при чём тут, собственно, лошадиная тема, когда в жизни ясно обозначено, человеческим языком в музыкальном сопровождении: пленительный обман, волнительный обмен... Всё обыкновенно, как сено: Князь и Шурик просто-напросто поменялись ролями, жизнь продолжается, жизнь стремительно скачет к финишу, и помощи, Боже, чтобы он был счастливым... Бедный, бедный Князь. Профиль лорда, а с фасаду – морда, это и есть актёрское лицо, истёртое гримом, истерзанное заёмными страстями. Авоська с бутылкой кефира, пребывание в каком-то невразумительном, семисезонном пыльном пальто... – всё это, конечно, мелочь несущественная, потому что талантливый человек, а уж тем более гений, может позволить себе любую внешность. Был бы талант...

Ах, если бы между ними, двумя артистами, находился в это время всемогущий, всесторонне образованный и триединый во всех четырёх измерениях бог Саваоф! Всё-то он видит, всё он слышит, всё до каждой пылинной мелочи знает, хотя и не скажет, подобно официально-государственной статистике, о своём знании никогда-никому-ничего – ни о чём – ни за что. Земной душе, во всяком случае, не скажет. Наверное, в этом молчании и состоит поднебесная тайна его высокомерия. Но если бы вдруг случилось явленное чудо, и если бы он, велемудрый, заговорил, то сказал бы непременно, намоленное и ожидаемое: да будет вам, ребятишки! полно вам маяться, довольно казнить и терзать друг дружку взаимными попрёками! живите так, как было задумано в первые дни творения...

Но в той огромной стране, где жили-служили Князь и Шурик, не было Саваофа. Был Досааф, который не признавал никаких объяснительных мерехлюндий ни на низком, ни на высоком уровнях. Он, если хотите, являлся кузницей кадров. До церемоний ли в кузнице, до мелочей ли жизни, когда позарез нужно подковать миллионы юных бойцов-ворошиловцев?! У него лишь одно в цене, у Досаафа-то: тренаж, номер, прицел – рви победу!

И поскольку в этой стране Бог – уже и ещё – не присутствовал, а в душу всё-таки лезли странные органы, и не за Словом лезли, но за показаниями, а вынужденные показатели в карман лезли – за фигуршкой или за помятой трёшкой... – поскольку-постольку посредником между двумя списанными артистами вынужден оказаться Сочинитель, с писаниною повязанный честным словом и частным делом, навреде кучера, если так можно выразиться, с его личной ответственностью перед лошадью и седоком... Правда, Сочинитель в квадрагах ничего не смыслит, зато водит близкое знакомство с другими знаками чело-

веческого бытия, в котором, как известно, творец и тварь рядышком живут, и стоптанный каблучок порой провоцирует спонтанный вывих: с одной стороны, понимаете ли, пашешь, пашешь, как лошадь, а с другой обратно получается, что от работы кони дохнут, и где тут логика, ёлки-моталки? Какой тут, к чёртовой бабушке, может быть счастливый конец? И, наконец, возможен ли он быть у жизни таковым – счастливым? Сочинитель не знает, как – у жизни, но вот у людей – так сплошь и рядом получается, что в момент смерти счастливый человек и человек несчастный действительно обмениваются ролями. Волнительный обмен, чего уж там... И того, и другого жалко, а более всего – времени убиенного... О, как мы убиваем его!

Во всех пределах-беспределах убиваем мы время, по большому счёту и по мелочам, просто так, за фук, за фиг с маслом, всегда и везде. Но, кажется, только в России образно убиенное время так взаправдашно кровоточит: «неостановимо, невозстановимо хлещет жизнь». Потому как – и попили, и попели, и полютовали всласть, и настрадались, и Нострадамус со своими мрачайшими пророческими катренами вовсе не причастен к скорби городов каменных и деревянных деревушек, хотя и попал в нас своим угаданием самым банальным образом, методом элементарного тыка, и попал точь-в-точь, тютелька в тютельку. Попасть-то не сложно: Россия – тютелька преогромная, в неё невозможно-таки не попасть – как пальцем в небо, как в овчинку, стоящую выделки, как мифотворцу – в золотое руно аргонатов... Ах, кабы не эта вязкая неохватность, возможно, и досталась бы России участь быть страной вечных и жизнерадостных мифов – от «родины слонов» до «лампочки Ильича». Однако, её чудовищная безбрежность небрежна и неодолима, и любые мифы, рождённые в ней, оказываются не вечными – увечными, с одного боку их жарким песочком заносит, с другого – жгучим льдом охватывает... Какой Васко-да-Гама отважится на плаванье по такому средиземному горю? Какой Леонардо-да-Винчи решится на масляные штудии в зоне рискованного земледелия? Лишь Иван-да-Марья, да конь-работяга, понурый от понуканья, да всеобщая кормилица Лизка, со звёздочкой во лбу, круторогая и крутобокая, точно каравелла, и с глазами мадонны, у которой украли ребёночка, а взамен подкинули вечность – чтобы страдать о нём... Роковой урок. Не урок даже – урочище. Урочище Всех Скорбящих. Бездна. Без дна. Без крыши. Светлое пятно в чёрной дыре. Космические ветражи, от сильных до умеренных. Ветренный путь мимолётных снежинок. Россия... Судьба.

А коли судьба, так, значит, и нету никакого смысла ночную сигарету гасить горючей, самовоспламеняющейся слезой, и нет проку с небесами переглядываться: свет мой, зеркальце, скажи... Посмотри в зеркальце! Узнаёшь? Узнал. А теперь дыхни, не стесняйся, не в гаишную трубку дуешь. Помутнело? Ага, помутнело. Значит – жив. Ещё есть вопросы? Нет вопросов. Вот теперь и решай, как миленький,

надобно ли обращаться к судьбе, как к нарсудье: дескать, милостивый нарсударь и нарсударыня, рассудите вы меня, дурака... Чтобы кем-то себя чувствовать, полагается, как минимум, кем-то быть.

А как быть, когда ещё жив, но уже не больно? Тут такое дело: дело деликатное. Дело в принципе – как камень в почке. Когда любому живому существу больно, оно забивается в нору, подальше от посторонних, пусть даже и сочувствующих, глаз, – и зализывает свои раны. Что ж, мы хуже собаки? Нет, не хуже, но и не лучше. Однако только лишь человек способен срывать с себя бинты единственно для того, чтобы явить миру свои язвы, нанося при этом, не замечая того, ближнему своему не только душевную боль сопереживания, но и физические страдания; так у глубоко верующих при виде распятия появляются кровоточащие раны от воображаемых гвоздей, на самом деле пронзивших руки и ноги Христа...

А что же – мир? А ничего. Ровным счётом: ничего. Мир равнодушен – до тебя, при тебе, после тебя. Он никуда не ведёт и ни к чему не призывает. Он – мир. Он – словно стенка баскской пелоты, игры в мяч с отскоком, которую любил Хемингуэй: мир, подобно стенке, возвращает человеку его же собственное первородное скотство...

О, Сочинитель мог бы ещё многое порассказать: дорога-то длинная, и весьма. Об искусстве, например. О том, как великий князь Николай Николаевич, дядюшка последнего русского царя, будучи главкомом под Барановичами, по воскресеньям хаживал в местную церквушку, где по его августейшему желанию служебное песнопение исполнялось на мотивы из бородинской оперы «Князь Игорь»; сей новации не противился – попробуй тут противиться! – даже главный армейский протопресвитер Шавельский... Сочинитель мог бы рассказать со слов Коли Заболоцкого о сияющих лицах лошадей. И – о табуне, погибающем в морском кораблекрушении, которое вряд ли понапрасну придумал Боря Слуцкий... И ещё о том мог бы рассказать Сочинитель, что – «лошадь, не надо, лошадь, послушайте – чего вы думаете, что вы их плоше? Деточка, все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь...» Последнее, между прочим, совершенная неправда, потому что есть глупости, до которых ни одна лошадь не додумается. И Сочинитель подкрепил бы это суждение фактом международного звучания и значения. О том, как доминиканский диктатор генералиссимус Трухильо воздвиг на улицах и площадях столицы сотни памятников самому себе, любимому, однако чего-то ему всё-таки не хватало, возможно, что ума, о чём совесть, несомненно, подсказывала, а ведь могла бы и прямо сказать, без намёков: не будь дураком, генералиссимус! но совесть промолчала, она у генералиссимусов застенчивая, и диктатор поставил ещё одну статую – в честь коня своего, получившего от хозяйина чин полковника Генерального штаба... Не смешно. А между тем, среди земного шара, на одной шестой части света, на пяти шестых тьмы... кажется, на веки вечные расположился засиженный голубями,

сороками и совами монумент – в бронзе, в граните, в тоске, в партийно-партикулярном облачении. Неважно, что на постаменте буквально обозначено: Орджоникидзержинский, Авербухарин или ещё какой-нибудь рыбакинский комиссар. Важно, что – стоит. Каменный Гость. Кость в горле. Губы спаяны. Ах, если бы ухо его могло говорить! Оно рассказало бы, а уж сороки переведут его каменную речь – с того света на этот...

«На днях, товарищи, меня посетило сомнение в правильности одного широко известного постановления: не боги горшки обжигают. Мне кажется, оно в корне неверно, особенно в части всего того, что относится к театру. Почему? Зри в корень, – учил товарищ Прутков. Так вот: в корне слова «театр» мы имеем греческое «тео», то есть бог. Иначе говоря, в театре, хотим мы того или не хотим, присутствует именно божественное начало. Горшки в театре, разумеется, могут быть ненастоящими. Но боги – никогда! Любимых артистов обожают, их боготворят, их возносят от земли и почитают кумирами. В конце концов, в этом нет ничего удивительного. Такие олимпийские игры, которые вытворяет театр, доступны лишь богам и людям с божьим даром. А теперь, товарищи, вытекает вопрос: как же мы ценим своих кумиров? Отвечаю: несоответственно. Не по божеским расценкам... Весь мир есть театр. Это было замечено ещё задолго до революционных бурь двадцатого века. И посему я умолкаю. И да простится мне этот спич или, выражаясь в духе времени, маленький лингвистический путч в честь Большого театра...»

О, если бы ухо могло ухахатываться! Нет, не может, не его это дело.

Сорочинская ярмарка утихает, когда совы прячутся, боги на горшках обжигаются, государство озаряется свежим утром, а Князь засыпает, пьяненький, мокрощёкий... уплывает на своём ковшичке-ковчеге в любезный миф, в мир яркочасочный, громкоголосый и стремительный, как «стипл-чез», steeplechase, «колокольня-погоня», скачка с препятствиями, от церкви до церкви... Карусель. Эта забава с деревянными лошадками или лодочками, изобретённая Великой французской революцией одновременно с гильотиной... Эта бесконечная гонка по полосе, замкнувшейся в кольцо, в ленту приснопамятного Мёбиуса... святая троица – строй – новостройки – тройки, от костюмчика до трибунальчика – три танкиста в соображении на троих – трибуна как символ вечно живого обморока – трое великопостных старцев в именительном наречии, в винительном падеже – падение Трои к подножию пустопорожнего коня, начинённого гвардией – путешествие на три буквы – три торчали в подъезде и призывно помахивали пальцами – три топали на Плющихе и никого уже не призывали – а вон еще, в лодочке, на деревянной лошадке, серой, в яблоках, – кто-то с законченным триппером, кто-то с недописанным триолетом, кто-то со стеснительной конфигурацией из трёх пальцев, которая не обязатель-

но является знаком моления и благословения... а кто-то, баритонистый, вдохнул вдохновения, а выдохнул такую херню, что деревянная лошадка вздрогнула, осыпая на предместье белые яблоки со своих боков... Вот, кажется, ещё миг – и грохнут копыта, и капнут копытам! Но зато сбегут лошадки, и вырвутся на звенящую волю из цирка, где всего-то и дороги, что «от церкви к церкви», от колокольни до колокольни... Но – нет! Явился дядя, пьяненький, мокрощёкий, с родным фиолетовым глазом, и пошли за ним доверчиво лошадки, недалеко пошли, на дрова, и горели не хуже книжек...

Русская карусель – отсель и до завтрашнего упора.

... Ах, лицедей, увидев лицедея, не может не улыбнуться.

Князь плакал и каялся, уже засыпая.

Шурик не умел говорить. Он умел только слушать. Но это – как раз то самое, чего так катастрофически не хватает людям.

Бог по обыкновению отмалчивался.

Генсек нагрудил себя новой звездой.

А Сочинитель что же? Он ведь, ежели говорить откровенно, тоже не того... не вполне, так сказать... Вот и Пегас у него – конь ненормальный, с крылышками...

*Прекрасен и высок без седока
Сей конь, чьё беззаконье на века
Крылами попирает испокон
Звероподобный вздыбленный закон.**

Сочинитель – он навроде идалго и Росинанта в одном лице, в одном чине, со-чинитель, и ещё неизвестно, кому больше повезло и в какую сторону...

Ещё в государстве утро не наступило на веки спящим, а Сочинитель уже изгрыз янтарный мундштук и пару вкуснейших, кисленьких чехословацких «кохиноров», потом рюмочку крепкого пойла принял, закусивши чем Бог послал, а Бог послал ему удила, и вот он, мудила, закусив, значит, удила, попёр вдоль по Питерской, по Ямской-Тверской, по улице Ленина, плавно переходящей в Леннон-стрит... – попёр, как юный, полный желаний, ахалтекинец, как лошадиный бог – во весь опор, аллюр три креста, намётом, рысью, галопом, сам чёрт с чертенятами не разберут: куда Сочинителя повлекла душа невесомая, подбитая ветерком на этакое немислимое дело?.. А впереди – Шурик. Он идёт по земле, а уходит в небо, вслед за золочёной квадригой, единением бого-человека и лошадиного квартета, вместе они, воедино, а всё же лошади на целый корпус впереди Аполлона... Уходит Шурик. Он ещё, конечно, помнит, как выходил на авансцену и бережно опускался на левое переднее колено, склоняя в поклоне благородно-поч-

* В тексте приведено стихотворение Олега Охупкина «Квадрига»

тельную, почти пастернаковскую, голову, и трепетно вдыхал поздрами белый и красный запах из корзины. Как хороши, как вкусны были розы! Он выходил к рампе, свет смежал ему веки, ревел зал, люди были счастливы, и Шурик чуть ли не ржал от восхитительного ощущения их счастья... Теперь вот уходит, и виновато оглядывается через переднее плечо на заднее, и уже не зовёт никого за собою в свою лошадиную столицу, в какой-нибудь Конотоп, Ржев или Меринбург, где, может быть, на самой главной площади блистают конюшни, похожие на театр, а на проводах вместо ласточек сидят бемоли и нотки с забавными хвостиками, а мировой скрипач Изя Несчастлившиц стоит на пьедестале аннулированного генералиссимусора Иисуслова и играет «Цыганские напевы» Пашки Сарасатэ, и если тот, Изин, смычок – не смычка человека с поющим деревом, то... если это не так, значит, Сочинителю не остаётся ничего иного, как поверить в такую гипотетическую сонату «а ля фантази» как смычка города с деревней... а смычка эта – явление грустное и несуразное, вроде пригорода; при всей грусти и несуразности российских городов и деревень, пригород чудовищен уже только потому, что там народная песня сочетается браком с городским романсом и рождается какой-нибудь ущербный солист Рубашкин или, ещё пошлее, компания малининых с мармеладзе...

Мчался Сочинитель, и только свист в ушах! Мы – красные кавалеристы, и про нас былинные речистые ведут рассказ про то, как однозвучно гремит колокольчик, и мчится тройка почтовая, вьётся пыль изпод копыт... Сви-и-и-ист истовый! Когда я на почте служил ямщиком? Боже мой, неужели же целый век тому назад? А служба, помнится, была почтенная, и стаж почтительный, право слово... Сви-и-и-ист неистовый! Ямщик, не гони лошадей, им некуда больше... Сви-и-ист!

Мчался, почти летел Сочинитель – всё сбивался то на толстовского Холстомера, то на историйку, рассказанную позавчерашней газеткой, в которой сделана-таки попытка не смысл жизни искать, но – её оправдание: вот, дескать, мы – живые, а зачем, скажите на милость, люди добрые? Зачем эта редискотека? Зачем это колесо оборzenia?

И мысли вопросительные сопутствовали впристяжку. Да неужто Русь и взаправду была когда-то тройкою? Не трёшкой ли до полочки? Тут ведь, между прочим, или одно, или другое должно быть, не то что с Сочинителем. Или Россия – или Росинант, кляча, которую какой-нибудь очередной романтический придурок гонит на ветряные мельницы... А ещё – всерьёз ли сказано: какой же русский не любит быстрой езды в незнаемое? А дороги? Боже праведный, если то, что под нами, называется «дорога», так что же тогда означается словом «невезенье»? В России даже дорогам не везёт, ну, а ежели и развезёт, то вопрос «куда?» есть вопрос наиглупейший... Нам дороги эти забывать нельзя, равно как и везенье с невезеньем, и рай в районе, отдельно взятом за фук, западло, за рупь делов, за яблочко раздора... рай, где оружие пролетариата нашлось место всего лишь за пазухой да на душе, а до-

роги не булыжником вымощены – мощами нетленными святителей, несших вольный язык на неготовую к святости Русь, которая от той почесушно-раздумчивой неготовности поспешила разом впасть в пасть жуткого мира химер и василисков, в лапы нового, орденоносного языка – и променяла свободу на осознанную необходимость...

А по обочинам-то слободские граждане расположились, необходимо сознательные, готовые любому-каждому объяснить, кто он есть и с чем его есть нельзя... Преимущественно мясоеды. Тоскующие меломаны и крикливые мелиораторы. Девушка с веслом. Пионер с барабаном. Metallург с горном. Интеллигент с мясорубкой, инструментом наилюбимейшим. Джентльмен с «беломориной». Дама с «кэмэлиной»...

– О, дайте, – говорит она, – дайте нам свободу! И тогда мы собственных платонов, гогенов и вангогов вагон и маленькую тележку для отечества наплодим!

А ей – сердито:

– В гробу бы их видать, ваших жеребцов с тележкой! Весь подъезд, понимаешь, в конюшню превратили ваши гоги и демагоги!

А она – дискуссионно:

– Заткнись, сивый мерин!

– Сама кобыла!

– Я феминистка! – возражает «кэмэлина». – Женщина-профессионал!

– Откудова взялась? – интересуется «беломорина», сплёвывая.

– Оттудова, – отвечает «кэмэлина», сплёвывая. – Из Великой французской революции, когда отважная Олимпия де Гуж объявила декларацию прав женщины и гражданки. С тех пор начались проблемы феминизма. Понятно тебе, сивка-бурка?

– Не шибко. Например, вот чего. Если была Гуж, так, значит, и проблемы должны быть гужевые. Как, например, Карл Маркс, который марксизм-ленинизм придумал...

– А нам не нужны мужские кумиры! Нам и без них полный зер гут и даже вери гуд. Понял, конёк-горбунок?

– Не шибко, – сказала «беломорина» и задумалась на целую пятилетку. – Гут – оно, конечно, гут. Но если ты, например, взялась за гуж, так и не говори, что Маркс не муж. А что мужской пол от твоего гута имеет? Гуттаперчевость? Гуталин? Несогласные мы. А вам, кобылицам, только бы погужеваться за чужой счёт. Вот и весь ваш феминизм...

Летит Сочинитель. Расписался на листе, как на собственной слабости, и летит. И не в Сочи Сочинитель летит, нет, не к сочным кусочкам мясоедства и апельсинности. Нет. Туда летит, вдаль, в даль, где даль может быть не только протяжённостью пространства, но и фамилией достойного, трудно измеримого обычностью человека... Туда, где от сотворения времени и пространства задана обречённость душу травить утратами, творить ротозейные фуги и застольные травиаты, вытворяживать тревожно-озорное хармство и насмешливое ржанье

– над ложью, над ржою, над державчиной, над пропастью... Качаются колыбели в согласии с кораблями, баюкающими дальние моря. Корабельные сосны. Колыбельные сны. Причитания искони. Коньки-горбунки. Горькая попутная констатация: чем больше лошадиных сил приходится в государстве на душу населения, тем меньше остаётся лошадей. Уж редко-редко, точно в старой кинохронике, мелькнёт мужик с сивкой-буркой. И тот – не тот, и этот – не этот. Мужик-то ещё ничего, щёки аж со спины видны, навроде вещественных доказательств: не в коня корм пошёл, мужику достался...

И строгий вечный Учитель качает пальцем, словно шлагбаумом: ты что ж это, мальчик? небось, собрался перецеловать всё человечество? не насосёшь ли мозолей на губах, голубчик? ну, уж нет! знай своё место! ибо говорю тебе: самый скверный ад – это не найти своего места даже в аду и, значит, мыкаться из круга в круг, претерпевая незаслуженно чужие страдания; у каждого, говорю тебе, должно быть своё место: под солнцем, под крышей, под монастырём, под каблуком, под шофэ... а вывод? а вы вот всё гужуетесь табунами, всё раскачиваетесь да расплачиваетесь: мне, мол, нравилось не то, мне нравилось другое, меня мама за ручку привела... эх, вы! нету у вас причин, одни причиндалы, и нечего вам ручонками-то семафорить небесам! знаю я: рука у вас руку моет не потому только, что ногами сие делать неудобно...

А Русь нараспашку, как влюблённая девушка, летела навстречу – рысью! Россия: ласковая беспощадная росомаха, мать мятежа. Россия: росные лужайки, купоросные подвалы, просёлочные россыпи, улица Росси. Россия: рассеянные Руссо и русые русалки-щекотихи, похитители бардов. Россия – со своими Россини и Росинантами. Со своим керосином. Со своими английскими замками и булавками, французскими булками, брюссельской капустой, бенгальскими огнями, аргентинским танго, персидской сиренью. Россия – со своими американскими горками, немецкими овчарками и афганскими борзыми, шведскими спичками, стенками и сексом. Россия – со своими шпанскими мушками и армянским радио, канадскими затылками и индийскими гробницами, летучими голландцами и голландскими же сырами, берлинскими сажей и лазурью, колорадскими жуками и эзоповым языком. Россия – с собственной волынкой на темы шотландских материй. Россия – со своими римскими и арабскими цифрами, с «японским богом» и каплями датского короля, швейцарскими часами и швейцарцами на часах, финскими ножами, сказками Энского леса, вавилонским столпотворением, горем луковым и лукулловым пиратством, израильскими визами, византийскими визави, совковым селяви... и даже со своей вымученной китайской грамотой, в которой наших-то мудрецов ещё и конь не валялся... Ох, а уж те мудрецы, хитрованцы в наглухо засекреченных шёлковых халатах! Как же так стряслось, как же этак получилось, что не мы, урождённые скифские князи, а они, лакированные мандарины с косичками, догадались оживить календари своей

жизни скачущими, ползущими, летящими, плавающими собратьями меньшими и, возможно поэтому, придумали такое, от чего даже и не знаешь – то ли плакать, то ли рыдать: человек измеряется не с головы до пят, но с головы до неба...

Шёл Год Белой Лошади.

Время московское.

Лошадь ненастоящая. Год настоящий. И позавчерашняя газетка оказалась тогда в руках Сочинителя – тоже настоящая. Международное СМИ, «Мегаполис-Экспресс», 25 октября. В такие дни приключаются революции.

«...Около года назад появился в посёлке Крекшино под Москвой конный клуб «Уникум», названный так в честь своего старожила. Там нашли для себя приют двенадцать лошадей. Кто-то был «звездой», как, например, Состав, выступавший на сцене Большого театра. Кто-то брал призы на соревнованиях, а кто-то просто изо дня в день трудился в прокате, принося радость детишкам и взрослым. Лидия Васильевна Оспинникова, создатель лошадиного «дома престарелых», рассказывает, что помогают ей в основном люди пожилые, присылают по пять-десять рублей из своих небольших пенсий...»

Стоял Сочинитель. Ждал чего-то. Пронеслась мимо «Волга». Сто лошадиных сил в одной консервной банке. $1 \text{ л.с.} = 75 \text{ кгс} \times \text{м/с} = 736 \text{ Вт}$. И песенка из банки рявкнула – роковая, на слова Пушкина с его безысходным матюжком относительно перманентной кентавриады.

*...Катит по-прежнему телега;
Под вечер мы привыкли к ней
И дремля едем до ночлега.
А время гонит лошадей.*

За что гонит? От кого? Зачем? За чем?

Парусит по Руси обезумевший знак вопрошения.

Куда?

ХIII

– Куда? – так ставил вопрос премудрый Шекспир в печальной повести о влюблённых.

– Куда ж нам плыть? – спрашивал Пушкин в «Осени», в печальном стихотворении, которое так и не было напечатано при жизни поэта, а через пару лет он же и уточнил свой вопрос в «Страннике», также увидевшем свет только после смерти создателя: – Куда ж бежать?

– ...здесь и прыгай! – ответил Плутарх за всех, в том числе за полубогородного Эзопа.

Всем, всем, всем! – от Советского информбюро! до армянского радио – стало всё предельно понятно: здесь! безвыездно?

И только не очень понятливые граждане принялись интересоваться устно и письменно:

– А прыгать-то... за что?

– За красные дни календаря! – указали сверху вниз этим, отдельно взятым, гражданам.

Ладно. Праздники – это ещё, как говорится, куда ни шло. Но вот... куда?

Я очень надеюсь, что мы к этому вопросу ещё вернёмся. Отпрыгаем назначенное – и начнём всё с начала. Но не теперь...

XIV

Теперь надобно рассказать касательно нравов нашего города.

Нравы обыкновенные. Невозмутимые. Вот, например, как вчера.

На стоянке такси у желдорвокзала лицо кавказской национальности в кепке упрашивало шефа, зеленоглазого, в пашечках:

– Слушай, дарагой, щастя хочишь?

– Хочу, – отвечал зеленоглазый, зевая с хрустом, лицо невозмутимое.

– Я тоже хачу. Вези на базар.

– Не, неохота.

– Тогда, дарагой, я пешком пайду! – пригрозила кепка.

– Иди, дорогой.

– Я заморзну! – повысила голос кепка. – У мэня уже око за око и зуб за зуб! Вези, кому тебе говорю! Зураб Ркацители нэ шутит. Он заморзнэт!

– Это ты ркацители?

– Я!

– Тогда не замёрзнешь.

– Пэрсик заморзнэт! Памыдор прастудится!

– Ничего. Часик тута попрыгаешь, и персики твои акклиматизируются.

– Хочишь, зарэжу?

– Да ты не нервничай на меня, эскимос на палочке. У меня и без тебя душа утомлённая...

Всё. Говорить о последующем не более бессмысленно, чем не говорить.

Тоска.

Над железной крышей желдорвокзала синим светом горит:

ХИБАРОВСК–ПАССАЖ

Остальное не горит, потому что уже давно перегорело.

Тоска.

Свернуться бы червячком в материнском чреве – и не высовываться...

И я понял: довольно. Хватит валять дурака. Сорок лет – возраст критический. Ещё каких-нибудь десять годков – и шабаш, и пора сливать воду, и на мне поставят жирнящий крест, а не на мне, так надо мной. Любуйся тогда на своё благородство, на свой кристальный облик и стерильную нравственную чистоту. Пора, брат, пора. Необходимо принимать решение.

Я шумно выдохнул застрявшие в груди, где-то под ключицей, клочья сгоревшего табака, махнул самому себе на прощанье рукой, перешёл Рубикон и подался в негодяи.

С каждым такое может случиться. Но случилось, однако же, именно со мной. Кто виноват? Никто.

XV

Кто мне попался в тот вечер на перепутье – убей бог, не помню. Но наверняка знаю: не шестикрылый серафим, это точно.

И вот уже мы почти на нелегальном положении, ниже первого этажа, в подполье.

Многоэтажный, очень высотный дом. Угол улицы Всех Святых и Безбожного переулка.

Из низкого, на уровне земли, окошечка видно: идут снега, ноги... А мы сидим, поджав свои ходики, довольнёненькие, полные впечатлений и водки, покуриваем, пускаем в потолок дешёвый астральный дымок и завариваем в электрическом чайнике ячменно-желудёвый кофий по-чёрному.

За стенами убежища – за тридцать. Как там чувствуют себя нежные персики негоцианта Зураба Ркацители? При таком-то градусе, как тонко заметил Иван Хлюстаков, бритва не бреет, и руки не держат брюки, а такое положение означает: если снаружи под сорок, то и внутри должно быть соответственно.

– Друзья мои, – говорю, – этот северный постулат вряд ли годится для наших широт. Не правда ли?

– Неправда, – ответил Вадя Мошонкин.

А член КПСС Помиранцев Семён Семёнович отреагировал по-партийному:

– С одной стороны, оно, конечно, да. А с другой, может быть, и совсем наоборот. Фифти-фифти.

Заюшкин рывкнул, махнул рукой: э-э-э, дескать, что нам, пролетариям, с этими фифтями делать? – и ушёл, хлопнув дверь, пошёл искать консенсус, за тридцать рублей в обои руки – и в тот вечер не вернулся, как в водку канул, должно быть, под автолавку попал, а может спонсора не сыскал или же сам всё выпил единоутробно, ну, и ладно, порешили мы, и чёрт с ним, с этим Заюшкиным...

– Есть такая птица, – сказал Мошонкин, – трудолюбивая, работающая. Дятел ей наименование. Так вот! Как говорил Тарас Бульба, хер

с ней, с птицей, – перед коллективом стыдно. Где теперь Заюшкин с нашей бутылкой? Ни на секунду нельзя довериться этому Заюшкину.

– Не думай об секундах свысока, – заметил проникательный Щитовидов. – Раньше осени не придёт. У него характер такой.

Вдоль стены – шестёрка намертво сцепленных друг с другом кресел с откидными сиденьями. Из жэковского красного уголка приволокли после списания с баланса. Сидеть на них ещё можно, но вот полежать – увы...

– Наполеон говорил, – сказал Князь, – что столица родит хорошие манеры, зато провинция производит хорошие характеры. Может, наш Заюшкин вовсе не потерянный человек.

– Ага, – сказал Мошонкин. – Зануда, этот Заюшкин. Вечно ходил тут, по жэку, и всех спрашивал, в том числе и женщин: диван-кровать это что – он или она? Дурак какой-то...

На столе – копчёный омуль, амулет питейного братства. Он уже два года лежит, не разлагается, как и положено амулету. Высох весь, просто мумия фараона Рамзеса, нюхать ещё можно, но погрызть уже нельзя. Лежит так себе, для комфорта и домашности. А этого все хотят. Только стесняются.

Я понимаю – это приятно: лёгкое «суффино» в соломенных жилеточках, шелудивый чеснок, твердейшая миланская колбаса в серебряной оплётке... Но, боже мой! Какие жилетки в Хибаровске? Какие оплётки?

На стеночке приспособлена цветная репродукция из «Огонька». По причине мушиных отметок и сырых обомшелых разводов сразу и не разберёшь, кто там, на репродукции, персонально представлен: то ли известный писатель Салтыков-Щедрин, то ли кто-то из Политбюро...

– Политбюро бритое, – высказался Мошонкин. – А здесь висит Фридрих Энгельс, подельник Карла Маркса.

– Или Дзержинский, – прищурился Щитовидов.

– Тут одно из двух, – вступил в обсуждение Хлюстаков. – Или Салтыков, или Щедрин. Или Фидель Кастро.

– Или Дзержинский, – ещё более прищурился Щитовидов. – Но только не Фидель. Я этого Фиделя, между прочим, попервости очень даже уважал. Но потом оказалось, что Фидель защищал не простых кубинских трудящихся, а Плаю Хеврона. Оказалось, сионисты даже на Кубу просочились, под прикрытия свободной революции...

Князь промолчал, хотя желал сделать поправочку: Плайя-Хирон, уважаемый Фёдор Эдмундович, это не еврей, это всего лишь название торфяных болот в провинции Матансас...

Хома вильнул виновато хвостом и тоже промолчал: да сто́ит ли связываться с этим прищуренным Щитовидовым?

Сошлись на том, что репродуцированный Некто присутствует на стеночке заместо Сына Божьего, и давайте, наконец, любим друг

друга, как родные братья, а Заюшкин утром одумается и прискочит, как ни в чём не бывало, и будем жить дружно, пора уж...

– А я не согласный, – заявил Мошонкин. – Я вам не кот Матроскин. Я вам не стану говорить: давайте жить дружно. Нет! Я вам скажу по-рабочему: давайте жить. Или ещё короче: давайте. Ага? Или не ага?

На это заявление откликнулись все разом:

– Как?

– С кем?

– На какие деньги?

– А чего это вы все орёте, да ещё так испуганно! – спросил Вадя. – Деньги! Деньги! Чего вы их боитесь? Не надо, товарищи, пугаться того, чего у вас нету.

– А я боюсь, – сказал Щитовидов. – Каждую, можно сказать, секунду жизни.

– Не надо, – сказал Вадя, – не убивайся. Всё равно ведь не убьёшься. Ага. И вообще, мужики, это очень задушевный вопрос, когда вы говорите про деньги. Какие деньги, спрашиваю я вас? Эти бедные бумажки, на которых нарисован Ленин? И вы их называете деньгами? Фу и ещё раз фу! Эти бумажки курям на смех. Они их не клюют, потому что брезгают.

– А цены? – закричал Хлюстаков. – Цены договорные!

– С кем договорные? – усмехнулся Мошонкин. – Об чём я могу с курями договариваться или, например, с коровами? Какой-то бред собачий... Я извиняюсь за Хому. Но почему те же куры не несутся яйцами по государственной цене? Ага! Нет, не смеди меня, Щитовидов. Не в цене дело. Дело в принципе. Короче, дело в том, что рупь уважаться должен. Вот я расскажу случай. Дело было прошлым летом. В оценённых товарах, «Промтоварищ» называется, выставили велюровую шляпу. Вы видели меня когда-нибудь в шляпе? Вы думаете, она мне нужна? Нет, я никогда не носил шляпу, она мне не личит. Но тут гляжу: дешёвка, копейки какие-то несчастные! Короче, рупь с полтиной. И я беру товар из-за уважительности не к шляпе, а к рублю с полтиной. Такой вот неоспоримый факт. Ага. Это был, ребята, какой-то сумасшедший товарный фетишизм...

Подвал сантехнический спроектирован под бомбоубежище. Что и говорить, надёжное укрытие. Здесь можно было пить, не опасаясь ни жён, ни начальства. Здесь можно было говорить на чистом русском языке обо всём на свете, как в английском парламенте.

Много ли у нас в России этаких убежищ? Немало. Во-первых, сама Россия – убежище. Во-вторых, кухни, крохотные наши готовальни, где страждующих водки и слова принимают в ночь-полночь, однако же прикрывают форточки в целях нераспространения последующих воплей:

- Ой, лышенько?
- Ой, люшеньки-люли...
- Ой, слушайте, люди!

А кулисы, откуда уж давно двое жизнерадостных хмырей призывно помахивают троеперстиями? А кустик на бережку?.. Нет, что там ни говори, но не так уж и много этих убежищ. А сантехнический подвал уникален во всех смыслах: британский парламент и новгородское вече под одними сводами подзаконными, кабак и вытрезвитель в одной кубатуре.

Водка, конечно, есть враг народа. Но ведь прекрасно известно, что народ наш никогда врагов не боялся.

Кое-кто, из отщепенцев, скептически мудрствует:

– А ещё неизвестно, во что это выльется...

– Почему неизвестно? – говорит народ. – Известно! В стакан! А также: чего, сколько, и кому попало, и как пошло – всё известно!

Вот так: из хрустальной рюмочки, кристалла запотевшего; из горлышка; из принципа; из алюминиевого котелка; из одного стакана – без вопросов о санитарном состоянии единодушного коллеги...

О, эти гранёные берега замызанного стакана! О, море доверительности и сострадательного сочувствия-соучастия!

Два века назад – какая малость! – на четырнадцатый день своего августейшего правления российский император Павел Первый постановил ввести в армии прусские порядки, начиная от обмундировки и кончая гранёным стаканом, заменившим традиционную петровскую кружку. Полководец Суворов обиделся:

– Пудра не порох, букли не пушки, стакан не кружка, коса не тесак, а сам я не немец, а природный русак!

На что государь отвечал:

– Стакан Богу угоден, а, значит, и вам хорош.

И хоть не прижился гранёный стакан в армейской среде по причине хрупкости своей, зато стал любимой и нежной посудой для всех остальных россиян, цивилизных.

Водочка же, по научным наблюдениям химика Менделеева, автора рецепта классической сорокаградусной, пьётся из гранёного стакана особенно удачно, доверительно и задушевно: примешь с утра двести граммчиков – и весь день, как говорится, свободен, и душа твоя вся нараспашку, точно влюблённая девушка, и эхает душа твоим собственным голосом, и аукает, отзыва страждет...

Славянский фундаментализм: пить – так пить.

– Вышел это я в прошлом году на работу после старого Нового года, – рассказывает Вадя Мошонкин. – Ага. И что? Чувствую – не то. По чужим рожам сразу понял, что меня из электриков уволили. Не здороваются и вообще, сразу сочувствуют. Ну, я и поднял бунт. Ровно

на две недели. Как Пугачёв. Или, лучше сказать, как Стенька Разин. Ага. А потом к вам, ребята, подался. Тут у вас душевнее.

Помиранцев покачал головой:

– Ты вот, Вадим, всегда на рожон прёшь. Это нехорошо.

– Пру, – согласился Вадим. – У меня натура такая, что не могу мимо каждого рожона пройти.

– А дальше? После бунта чего?

– Дальше, как вы знаете, опять зóпил. За наше с вами знакомство. Это уж такой закон подлости. По непальскому гороскопу. Ага.

А между тем – больших тем и маленьких, первостатейных и второстепенных – образовалась, между тем, одна уж совершенно невзрачная, вроде велюровой шляпы из «Промтоварища»: рублик, рублишко, рваненький наш, сиротинушка... ужели и взаправду ты такой рыжий, что каждый ханыга может без внутреннего содрогания мять тебя, перемять?

– Рыжий, – сказал Рублишко. – Ети вашу мать.

А Салтыков-Щедрин, скажем так, поддал пару своим сатирическим голосом:

– Это, – говорит, – ещё хорошо, ежели за рупь станут давать полтинник. Хуже, – говорит, – ежели за рупь вам будут давать в морду.

– Не в морде счастье, – сказал Мошонкин. – В консолидации.

– Это как? – ошетибилась салтыковская борода, а может быть, то была дзержинская, кто её знает...

– Очень просто. Как сказал народный поэт, мышка за жучку, жучка за внучку, внучка...

– За «бабки»? – не утерпел Рублишко в последней надежде на внутреннее обновление.

– Внучка за бабку, – продолжил Мошонкин, – бабка за дедку, а уж дедка за кепку, в которой находился Владимир Ильич Ленин. Вот это и есть тот самый промтоварищ, товарный фетишизм, а также полный и окончательный социализм, который обжалованию не подлежит.

– И где теперь тая кепка, ети вашу мать? – всхлипнул Рублишко. – Где «бабки»?

Мошонкин разлил остатки королевы стола, «Московской особой», по майонезным баночкам, надел велюровую шляпу и повернулся к Помиранцеву:

– Наслаждаться подано, Семён Семёныч. Буш?

– Не буду. Мне хватит. Это раз. Во-вторых, не называй мне американского президента, который нагло устраивает бурю в пустыне...

– Да ладно тебе, Семёныч. Не бушуй. Буш в Иране, мы в стакане, шас про внешнюю политику говорить будем. Уважь компанию.

И затянул Мошонкин песню международную:

Не стареют душой миттераны...

И тут же Вадю поддержал телевизор мелодией заграничного композитора Буша – надо же, такое совпадение! – про «Красные розы для грустной леди».

Славно. Ничего сидим. Это значит, что уже ничего не осталось. Кроме международных отношений.

Помиранцеву уже неинтересно. Он вытягивает из инструментального шкафчика замурзанную амбарную книгу в картонной обложке. Красным карандашом печатными буквами на книге выведен заголовок в рамочке:

НАЩЁТ СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО И НАШЕЙ КУЛЬТУРНОСТИ.

Мысли старого коммуниста.

Полное собрание сочинений

С.С. Помиранцева.

Отсаживается ветеран коммунистической партии в сторонку. Дело начинается обычное: записывать очередную историю жизни. На этот раз – о том, как лично он, Помиранцев, в невыносимых условиях инфляции и эскалации напряжённости заказал для себя досрочный надгробный памятник, который буквально через два дня исполнители приволокли на удивление всем соседям, и теперь он стоит в прихожей, гостей пугает, но его приспособили под вешалку, и при всём при этом следует учесть и принять во внимание, что ведь умеют же у нас, в СССР, работать быстро, со знаком качества и с культурностью, если захотят...

Стране, разумеется, начхать на такие мысли. Страна спит уже. Спокойной ночи, страна...

И витает витийство витиеватое, гоголевское: «Благочестивые люди уже спят» – и секретари крайкомов, и простые налогоплательщики. Лишь одни бендешки, вроде нашей, бодрствуют. Да ещё, вероятно, армейские часовые... Бедные! Им и спать охота, и родину жалко. Однако, с другой стороны, получается, что чем больше спишь, тем меньше устав нарушаешь. И часовые идут спать,

А ничего особенного! Полстраны лежит. Полстраны сидит...

XVI

Сидит ворона на ели. Еле-еле сидит, едва не падает, голодная, неотоваренная, неудовлетворённая. В окружающем пейзаже сыр кончился: ни первого сорта, ни второго... Впрочем, это уже совсем лишнее – сорт, ассортимент, голландский, например, или вовсе пармезан, прости господи. В Советской России есть только один ассортимент: плавленый или не очень, и одно наименование: сыр. Наименование есть, а сыра нет.

И вот поэтому сидит ворона на ели, еле-еле душа в теле.

– Ели сыр? – спрашивает ворона у народонаселения.

– Нет, каркуша, отнюдь, отнюдь, – отвечают.

– От...чего?

– Отнюдь. И не каркай, пожалуйста. Не дай бог, ещё накаркаешь чего-нибудь нехорошего. А нам и без тебя чрезвычайно грустно... Ау-у! Где ты, гуманизм? Отзовись, наш нейтральный, но очень вкусный союзник, швейцарский сыр со слезой в каждой луночке! Можно даже и без слезы. Катись к нам уж какой есть, а слёз мы сами добавим, у нас этого добра по колено, из поколения в поколение...

– Да вы что, товарищи, совсем охренели? – возмутилась ворона. – Какой же гуманизм в этом сыре? Я ещё могу согласиться с тем, что сыр – единственный положительный персонаж в баснях дедушки Крылова Ивана Андреича. Но уж если призывать гуманитарную помощь, то я полагаю, что это будет нечто иное, чем сыр. Например, альбом Ван-Гога, изданный Нью-Йоркским музеем Метрополитен. Или, допустим, набор пластинок Малера. Или Библия. В крайнем случае, сборники стихов Иосифа Бродского, у нас – лагерника, а в Америке ставшего Нобелевским лауреатом. А вы вопите: сыр, сыр! И ведь даже не улыбнётесь при этом, лицедеи баснословные!

– Заткнись, шалава, – сказала народонаселение. – Ты бы прежде чем указывать... Короче, видишь – на осине штука висит? Радиовещание, называется. Оно молчит. Потому что наши связисты отоцали, залезть на осину не могут, чтобы включить. Так ты, каркуша, тюкни носом эту радиоканалью, если ты такая активная в смысле культурного пропитания и духовного окормления. А то разуказывалась тут: библия, Иосиф Бутербродский... Да был у нас уже один Иосиф, черноусый такой, знаем, накушались...

Тюкнула ворона – делов-то, господи! не с вороний нос, с гулькин! – и громкоговоритель с библейского дерева осины заурчал колокольно на всю Ивановскую площадь, край, державу:

– ...и в заключение выпуска – прогноз. В понедельник – в Нью-Йорке, во вторник в Вашингтоне, в среду в Чикаго, в четверг в Филадельфии – двадцать пять, в пятницу в Лос-Анджелесе двадцать шесть, в субботу в Детройте двадцать семь тысяч долларов в час. На следующей неделе Генеральный Секретарь ЦК КПСС ожидается с лекциями о новом политическом мышлении на европейском континенте. А теперь по просьбе радиослушателей передаём оперу Мусоргского «Хованщина»...

«Что же такое мы проворонили, братцы?» – подумала ворона и стала белой.

XVII

...И стала белой-белой овчинка с неба, сошедшая на город.

– Стой! Кто идёт?

– Снег.

Действительно, идёт себе и идёт, не обращая внимания на какую-то там обворожительную гидру из метеослужбы.

То не подозрительная труба запрокинута в хибаровские небеса под углом в сорок градусов. То наш друг Подгузников, лицо историческое, дует водку – из горла в горло, вроде искусственного дыхания получается. Наш друг взволнован. В обоих глазах мета маяты, а под правым так и вовсе фонарь светится, свеженький, как спелая слива. Кулачок-то у скрипача Несчастлившица маленький, но синяк получился большой.

Это пару часов назад угораздило Подгузникову сказать Изяславу:

– Эх, ты, нещаслифчик! Не видать тебе больше своей еврейской пиликалки! И я докажу тебе это путём очевидцев факта...

Зря он так сказал. Но это уже и ему самому наполовину очевидно.

Ночной самолёт в небе. Сладко спят пассажиры, багаж и экипаж. Автопилот не дремлет: техника на грани фантастики!

На рельсах с перестуком потягиваются ночные поезда. В них тоже все поголовно и поштучно дрыхнут: автоматика, чудо века!

Мигают на путях сообщения разноцветные лампочки, щёлкают релюшки, потрескивают переключатели, подпрыгивают на месте кнопки, штучки-дрючки эпохи научно-технического прогресса...

Почивает город, кроме исторического лица на свежем воздухе да нас в подвале дома на углу улицы Всех Святых и Безбожного переулка. О запропастившемся Заюшкине мы ничего сказать не можем. Что же касается до таких круглосуточных учреждений, как дурдом и партийный крайком, то туда мы доступа не имеем, информация, как говорится, на нуле.

Однако Сочинитель – на то он и Сочинитель, что достоверно знает: в эту самую минуту Апогей Почечуйский (ещё не забыли такого? вспомните!) сидит на корточках перед эмалированным тазом с водой. Сосредоточенно сидит, точно рыбак. В воде колышется отражение почечуйского лица, и Апогей пальцами морщинки разглаживает

– Ну-с, голубчик, как клюёт? – спрашивает мимоходный дежурный врач доктор Штукарский. – Много уже наловил?

– В тазу-то? – спрашивает Апогей. – Да ты что, дурной, что ли?

– В каком смысле? – спрашивает доктор Штукарский.

– А какие смыслы могут располагаться в нашем учреждении? – спрашивает новенький.

Sic! Пациент новенький, проблема старенькая: придумывается или нет?

И доктор Штукарский раздумывает. Во-первых, он раздумывает выпивать для храбрости мензурочку спирта с глюкозой. Во-вторых, он раздумывает идти выяснять отношения в сестринский кабинет, где его дожидается Софочка Бабореко, уже, вероятно, потерявшая всякую надежду когда-нибудь дожждаться... Бедная Софочка, ей бы в настоящее время только расти и расти в профессиональном смысле, а она вон чего удумала, дурочка, в доктора влюбилась, письма и записочки подбрасывает в карманы его халата, а на сегодняшнем приёме

нового больного, этого рыболова нахального, умудрилась – ни к месту, ни ко времени! – заверять доктора в том, что готова буквально на всё, лишь бы не было войны... Это в каком же смысле?

Доктор Штукарский уходит в кабинет и располагается за столом.

Штукарский смущён. Он вдруг ловит себя на мысли о том, что в последнее время стал слишком часто употреблять в своей устной речи и внутренних монологах слово-паразит. Более того, вопрос «В каком смысле?» сократился до вульгарного «В смысле?» – и это уже из рук вон плохо, это неграмотно, некультурно, но вот откуда взялась эта дурная привычка? Положим, обстановка в психиатрической больнице – не ахти, двадцать четыре «часа пик», руки психиатра – не рабочий инструмент, как у хирурга, психиатр всё больше языком и ушами трудится, да ещё в постоянной необходимости всё время что-то переспрашивать, перепроверять, уточнять – как для надобностей лечебной стратегии, так и для того, чтобы в два счёта, в крайнем случае – в три, отделить больного человека от здорового. Возможно, это – обратная сторона профессионального, что ли, романтизма или даже минус, и этот минус мог бы быть легко перечёркнут, если бы дурацкому русскоязычному вопросу нашёлся латинский аналог, но аналога нет и вряд ли сыщется, и слово-паразит начинает выскакивать из Штукарского даже за стенами спецучреждения Минздрава, в автобусе, например, когда просят пройти вперёд – и доктор тут же реагирует: в смысле?.. Позор, Штукарский! Чему тебя учили в средней школе и в высшем учебном заведении?

«Пора к станку», – решает Штукарский.

В сейфе, окрашенном традиционной белой масляной краской, уже притомился без пера Штукарского верный полуночный собеседник: огромная, талмудной комплекции, книга, в которой доктор уже несколько лет делает рабочие записи. Книга, озаглавленная по-гречески «Anamnesis vita», к служебным документам не имеет никакого отношения, своего рода дневник, журнал вахтенный, с которым доктор общается каждый день точно с живым и вполне здоровым человеком, рассказывает ему новости, спрашивает, советуется и доверяет сомнения. Не с доктором же Фаустовым откровенничать?

Вот, скажем, новенький пациент. Санитары привезли и доложили: гражданин Почечуйский считает себя медведем, у которого болит живот и драться охота. Что ж, бывает. Человек лицо потерял. Такое и у нормальных людей встречается. Но есть, однако же, вполне нормальная логика в том, что Почечуйский ищет лицо своё, как отражение в тазу с водой, и его рыболовство при этом есть дело чисто формальное... Завтра надо вызвать новичка на собеседование и прямо в глаза сказать ему: полноте, хватит прикидываться, готовьтесь к выписке... Такой приговор часто вразумляет. Механика проста. А позже видно будет, как дело повернётся.

Дальше. Относительно Коли-укольника, нынешнего санитаря и

бывшего пациента-наркомана. Ему Штукарский уже не единожды делал замечания: на вызовах не излишествовать, воздерживаться от применения внутримышечных инъекций, а уж тем более – от внутривенных, брать больного лаской да сочувственными разговорами... А что же Коля-укольчик? Садист какой-то, воркует, воркует ласково, а потом – бац! и сладострастно всадит укол сульфазина, это ж сера адова! больной корчится от боли, его ломает и трясёт, температура за сорок на два-три дня... Как же работать с таким пациентом? К удовольствию Штукарского, санитар начал исправляться. Больше того, стал сообщать доктору о некоторых особенностях в поведении больного, а это очень важно.

– Гражданин на вызове обижается на Минздрав, – доложил Коля-укольчик, – хочет в Москву ехать. Пришлось к сочувственным разговорам ещё смирительную рубашку добавить. Неизвестно ведь, чего он там в Москве наговорит! Вот и всё. После чего хор гор отпел его античными голосами. И стало тихо-тихо...

– В каком смысле? – спросил доктор.

– Да почём же я знаю? – спросил санитар. – Что слышал, то вам и передаю, навроде магнитофона.

– Спасибо, Коля. Это очень существенно.

...Штукарский раскрывает свой журнал на последней заполненной странице, где расположились строчки, выполненные безобразным, как у большинства врачей, почерком: самоанализ за прошедшую неделю, приблизительная формулировка темы будущей докторской диссертации, любопытные отрывки из бесед с пациентами (что-то уж они стали на анекдоты походить, даже с некоторым смыслом, в смысле уголовных статей...) и, наконец, полезные для предстоящей работы сведения из французской статистики о том, чем большей частью занят средний европеец при опять же средней продолжительности жизни в 70 лет; у нас таких сведений государственная статистика не выводит, не собирает, не обобщает, а если что-то и делается в этом направлении, то можно с уверенностью сказать: данные засекречены; так вот, если французские показатели подкорректировать с учётом развитого социализма и так далее, то можно составить замечательную сводную таблицу с выводами и рекомендациями, и это будет такая изюминка в диссертации!..

Значит, как говорил Коля-укольчик, хор гор отпел пациента античными голосами? И стало тихо-тихо?

Хорошо. Разберёмся, не суетясь. Со словарём. Со смыслом...

(Из журнала доктора Штукарского)

...20 января. Среднестатистический европеец на ногах проводит 30 лет, лежит 23 года, сидит (не в тюрьме, а на чём-нибудь) 17 лет, ходит 16 лет, проводит за работой 8–9 лет, за едой – 6–7 лет, в транспорте – от 3 до 6 лет, в зависимости от того, как далеко от

жилья находится место работы, в разговорах – 2 года, перед экраном телевизора – более 6 лет, за приготовлением пищи – 560 суток, учится 945 суток, болеет 920 дней, заполняет анкеты 305 суток, читает 250 суток, общается по телефону 180 суток, одевается 177 суток (мужчина) или 531 сутки (женщина); стоит в очередях 140 суток (столько же времени мужчина бреется); принимает ванну или душ 117 суток (мужчина) или 531 сутки (женщина); занимается сексом 110 суток, плачет 50 суток и смеётся 623 дня. Так и жизнь проходит.

21 января. Тиха, греч. – дочь Океана (вариант: Зевса) и титаниды Тефиды. Богиня случая и судьбы, символизирует неустойчивость и изменчивость мира, случайность любого факта жизни. Культ богини Т. особенно распространился в эллинистическую эпоху. В Риме отождествлялась с Фортуной, которая (при Империи) считалась покровительницей ряда городов. Тиха изображалась молодой женщиной, стоящей на шаре или колесе, с корабельным рулём в одной руке и с рогом изобилия – в другой.

Горы, греч. – богини, ведавшие сменой времён года, порядком в природе и человеческой жизни. Согласно Гомеру, не называвшему имён Гор, эти богини, прислужницы Зевса, открывали и закрывали облачные врата Олимпа, заботились о конях и колеснице Геры. В древности греки знали сперва только два, затем три и, наконец, четыре времени года. Соответственно с этим постепенно увеличивалось число Гор. Так, в Афинах первоначально почитали только двух Гор – Талло (Цветущая) и Карпо (Изобилующая плодами). Горы считались спутницами богини плодородия Афродиты. Гесиод упоминает трёх Гор: Эвномия (Законность), Дике (Справедливость) и Эйрена (Мир) – дочери Зевса и Фемиды. Имена Гор у Гесиода свидетельствуют, что богини времён года и порядка в природе становятся также охранительницами порядка и законности в человеческом обществе. Культ Гор был распространён в Афинах, Коринфе, Аргосе и других областях Греции. Одна из Гор, Эйрена (Пакс) пользовалась особым почитанием в Древнем Риме. Гор изображали девушками, украшенными плодами или держащими их в руках.

А что касается присутствия хора (или голоса из хора?), то это надо выяснить завтра, при беседе с больным.

И ещё очень важно: необходимо сделать выписку (реестр) из календаря всех январских праздников. Мне нужно решительно заявить доктору Фаустову, что пациентов в состоянии абстиненции я в дальнейшем принимать не намерен, пусть ими занимаются в медвытрезвителях, хотя, по правде говоря, кто там будет заниматься нетрезвыми людьми? Вопрос риторический. Кстати, сегодня умер В.И. Ленин, завтра будет начало первой русской революции, и наш народ отметит в своей жизни всё! Новый год, между прочим, начали отмечать ещё с прошлогоднего католического рождества, потом – Новый год, потом

– старый Новый год, а дальше будет отмечание по лунному календарю... Минувший декабрь был кошмарным. Красные даты: создание Международной демократической федерации женщин, провозглашение Лаосской народно-демократической республики, учреждение международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», День энергетика, образование Украинской ССР, где-то к концу декабря – ещё праздник: Совнарком принял декрет о ликвидации безграмотности среди населения, а перед самым Новым годом образовался СССР! Возникает вопрос непраздный: зависимость количества красных дат в календаре и частоты проявления астено-депрессивного синдрома, нарушений психо-эмоционального состояния населения в целом и церебрального кровотока в отдельно взятом человеке.

Продолжаю в этом году делать записи из разговоров с пациентами. Помещать эти записи в истории болезни смысла не имеет, другое дело – в приватный журнал с материалами для диссертации (неплохой получается учебник жизни и смерти). Надеюсь, что эти записи помогут мне (уже помогают!) в диагностике и выработке тактики стационарного лечения.

Фамилии рассказчиков, как делал раньше, называть не буду по соображениям их безопасности. Врачебный постулат «Не навреди» относится и к этой сфере отношений (когда между врачом и пациентом может возникнуть какой-нибудь правоохранительный орган). И вот почему. Много лет назад, в самом начале медицинской практики, я начал делать выписки из историй болезни, но с некоторых пор эти выписки стали всё более и более наполняться опасной (с точки зрения КГБ) социально-политической остротой (см. статьи 70 и 190 УК РСФСР об антисоветской пропаганде и агитации, дело подсудное). Это уже не смешно, и если раньше рассказы пациентов чаще всего смахивали на грустные анекдоты, то сейчас они похожи на притчи. Вывод: новые пациенты не причитают, новые пациенты притчами говорят, а притчами говорят мудрые, но, в таком случае, какие же они больные, эти новые душевнобольные?

№ 1044. Встречаются американский президент и наш генсек Л.И.Б. Заспорили: какому народу веселей живётся? Стали подсчитывать: в какой стране больше праздников? Американец загнул один палец насчёт июльского национального Дня независимости – и заткнулся, потом подумал и ещё один палец загнул: последний четверг ноября, День благодарения, в честь первых поселенцев... А тов. Л.И.Б. как начал сыпать красными датами!

У американца голова закружилась, упал в обморок со своим единственным пальцем. А тов. Л.И.Б. пинает его и приговаривает: «Да ещё День мелиоратора! Да ещё День работников коммунального хозяйства!..»

№1045. Разговор на приёме:

– Доктор, у меня ухо болит.

– Да у вас же там газета.

– Правда?

– Нет, «Известия».

№1046. *Беседуют два пациента:*

– А давно ли водка была по три шестьдесят две, а вино по рупь сорок две, а пиво по тридцать семь копеек...

– Да, было, было. Но мы-то хоть попили в своё время... А вот детей жалко.

№1047. *На утреннем обходе:*

– Что ж вы так рыдаете, больной?

– Продал родину.

– И так переживаете?

– Так ведь ни копеечки не заплатили.

Штукарский запер журнал в сейф, прилёг на кушетку и закрыл глаза.

Можно ли что-то видеть с закрытыми глазами? Можно...

– Можно войти? – спросил Штукарский и приоткрыл дверь.

– Заходи, – сказал Зевс. – Трусы есть?

– В каком смысле?

– У трусов нету смысла. Трусы предназначены для маскировки умысла. Повторяю вопрос: есть трусы?

– Естественно.

– Тогда раздевайся.

Штукарский нырнул за занавеску, разоблачился и предстал перед Зевсом первочеловеком по имени Адам.

– Не понял! – нахмурился Зевс. – Я что, разве неясно выразился? Раздевайся до пояса! А не до пола! Ты же не в бане находишься. Ты же в приёмном покое, голубь ты мой шизокрылый!

Штукарский вернулся за занавеску. Оделся, разделся – и вновь явился.

Зевс крикнул: на Штукарском из всей одежды был только брючной ремень.

Зевс хохотал гомерически, но успокоился, наконец.

– Пьёшь? – спросил Зевс. – Колешься?

– А есть? – спросил Штукарский.

– У нас всё есть. На что жалуешься?

– На Минздрав. На доктора Фаустова. А ещё у меня голова кругом идёт. Причём, довольно часто.

– Сейчас идёт?

– Идёт.

– Не вижу, чтоб ходила... Какая голова? На тебе вон лица нет, не только трусов.

– Есть трусы. Только дома.

- Чего ж не надеваешь?
- Берегу. Они у меня выходные.
- Куда? – заорал Зевс. – Куда выходные?
- Да это у нас такое правило, что кальсоны или вообще без кальсон – это, как бы, для повседневности, а трусы – это, как бы, по праздникам или в гости. Политэкономия такая, что в одежде всегда пара.
- Пара чистых, пара нечистых? Как в Ноевом ковчеге?
- Нет, у нас, извините, не в Ноевом, у нас – как в обыкновенном. Вот, например, сапоги. Одна пара, кирзовые, будут будничные, на каждый день. Другая пара, которые хромовые, это на праздник. Портянки то же самое. По серым дням можно на ноги всякую сволочь наворачивать, хоть даже газеты. А на красные даты назначены портянки праздничные, из байки, утюгом глаженные...
- Довольно, – сказал Зевс. – Тут тебе у нас не будет выходных и проходных. И одежду тебе выдадут непарную, в полосочку, как у моряков, только не поперёк, а вдоль, как у смертников.
- В смысле?
- Да что ты всё заладил: смысл, смысл... Смышлёный какой! Ты мне лучше ответь: где лицо потерял?
- Этого я сказать не могу. Затрудняюсь. Но второго нету, это точно.
- А зачем всё пишешь и пишешь?
- Это я в среднестатистическом россиянине разбираюсь. Жалко мне его.
- Жалобы, Штукарский, это первое проявление сутяжно-кверулянтного синдрома. Угнетение мелочами быта... – Зевс задумался, пальцы в бородину запустил, сам с собою в олимпийские игры пустился, зафилософствовал: – Так быт или не быт? Когда быт есть мусор, когда быт есть утиль, вторсырьё... Но, с другой стороны, без философии мусора, без эстетики утиля, без идеологии вторсырья вряд ли можно понять человеческие масштабы... Кому – на суд, кому – на судно... Значит, так будем определяться, новенький. Ты имеешь право требовать всё, что твоей душе угодно. Но прежде – сорок пять суток строгого режима без права переписки. Три раза в день – таблетки аминазина...
- До еды или после?
- Вместо! Дальше...
- Не-е-ет, товарищ Зевс, так не пойдёт! Так я не согласен и заявляю решительный протест.
- Чего же ты хочешь?
- Во-первых, отдельную палату с туалетом и телевизором. Во-вторых, отменить полосочки вдоль, ввести поперёк.
- Это можно, – ответил Зевс и зевнул. – Но ты всё какие-то мелочи желаешь, чепуху.
- В смысле?
- Я чистым греческим языком спрашиваю тебя: чего душе твоей угодно?

– Ну, так бы сразу и сказали... Персональную медсестру облегчённого поведения. Сорок пять бутылок шампанского, на каждый день...

– Душе, душе! – завопил Зевс.

– Десять блоков болгарских ароматизированных сигарет «Джебэл» по тридцать копеек за пачку...

– Стоп! Хватит! Пошёл вон!

– Нет уж, херушки, товарищ Зевс! Чего это я должен просто так из такого рая уходить?

– Уходи. Ты, новенький, чересчур заземлённый, и ничего возвышенного твоя башка не придумает. Потому она и ходит у тебя кругами адавыми. Потому и лица на тебе нет. Недостоин ты потустороннего мира и райской жизни. Сигарет тебе надо, бабёшку, трусы праздничные, того, сего... Пошёл вон! Живи дальше... Кто там следующий? Эй, на судне!

– Здесь я! – раздался жизнерадостный отзыв.

Это доктор Фаустов, сидя на горшке, голос подал. Как он, горшок-то, здесь оказался? С нашим инвентарным номером...

– Да не ты, – скривился Зевс. – Ты дурак. Где ковчег?

И тут из водопадной Зевсовой бороды выплыла лодочка, словно с карусели сошла, и поплыла, качаясь, лодочка по кляузе-реке, по страницам писаний доктора Штукарского... плыла, плыла и вдруг оказалось, что не лодочка, а Антиноев ковчег.

Красавец Антиной посередке сидит, штурвал в одной руке, рог с избытком виноградного вина – в другой, а жена брюхатая вёслами помахивает...

Сердится Зевс:

– Что же ты такое негуманное допускаешь, Антиной?

– А что? Пущай гребёт. Это её забота, чтоб гребстись. А я в текущий момент сижу и думаю, как дальше жить.

– Ты не думай. Ты дело делай. Раздумался тут... А жена в беременном виде гребёт за него.

– Ну, и что? Может, я сам в таком же положении.

– Трудно представить. Но – допустим, что в положении. И, значит, вёслами работать не можешь?

– Могу.

– Так в чём же твоё ехидное положение заключается? Бери в руки вёсла – и пошёл!

– Не могу.

– Вот сволочь какая... Что же ты можешь?

– Я думаю. Во-первых, такое вообщежитие мне никак не глянется. Во-вторых, было сказано свыше, что к двухтыщному году каждая советская семья получит отдельную благоустроенную квартиру.

– Врёшь, – сказал Зевс. – Я так не говорил.

– Ну, я не знаю... В газетах про это писали, а что в газетах, то и

свыше. И вот теперь я спрашиваю снизу вверх: у меня – каждая советская семья или не каждая?

– Так. Ясно. Что ещё беспокоит?

– Ищу рифму к слову «паспорт».

И тут в мужской разговор вмешалась жена Антиноя:

– Не верьте ему, боже мой. Он же весь пьяный.

– Не весь, – возразил Антиной. – Не скули, Антипатия. Не делай мне душевную ваву. А ты, товарищ Зевс, не реагируй. Я с Антипатией состою в гражданском конфликте. Я говорю ей: сделай мне такое телодвижение, чтобы у меня заместо пессимизма моментально образовалось всё наоборот. Так она что? Она берёт в руку швабру...

И Штукарский за занавесочкой не выдержал. Штукарский взорвался. Штукарский вознегодовал.

Но это ему только показалось, что он вознегодовал, взорвался и не выдержал.

Ведь сказал же Зевс: нет лица на докторе Штукарском. А лица нет, так, значит, ни покраснеть, ни крикнуть...

Штукарский возжелал закрыть место лица своего руками, но руки не поднимались на такое возжелание...

И в то же мгновение что-то невидимое, словно мысль, легонько постучало Штукарского по лбу:

– Тук, тук, можно войти?

– Войдите, – сказал Штукарский.

Штукарский сказал: «Войдите!» – и открыл глаза.

Опустившись на колени перед кушеткой, над ним склонилась Софочка Бабореко. Она одним пальчиком разглаживала сразу несколько морщин на докторском лбу.

– Это моё лицо? – тихо спросил Штукарский.

– Ваше. Очень помятое.

– В каком смысле?

– В том смысле, Штукарский, что вы большой подлец... Отвечайте же немедленно: о чём вы сегодня днём, во время приёма нового пациента, так красноречиво мне промолчали?

XVIII

– Так что же вы сегодня так красноречиво помалкиваете, товарищ Краснопресненский-Крестовоздвиженский? – спросил первый секретарь крайкома Сытников своего главного идеолога. – Очень непохоже на вас. И даже наше совещание не похоже на совещание без вашего слова.

У идеолога с такой сложно-сочинённой фамилией имеется негласная кличка: Кр-Кр. Но ведь совершенно ясно, что никто другой, кроме Сочинителя, таким сокращением воспользоваться не может...

Совещание подходило к концу. Итоги и задачи обсуждены и персонально поставлены. И вот персек Сытников решил-таки прилюдно объясниться с идеологом. А повод для объяснения был единственным, но весьма щекотливым: вчерашним поздним вечером Кр-Кр застукал, то есть обнаружил, персека в его кабинете за крайне неприличным с идеологической точки зрения занятием. Вопрос не в лёгком подпитии персека, подпитием в Сером Доме вряд ли кого можно удивить после 18 часов 00 минут. Вопрос в том, что товарищ Сытников, находясь на рабочем месте, крутил магнитофонные записи хрипатого подонка с сомнительной общественно-политической ориентацией и при этом даже подпевал.

Каким образом Кр-Кр просочился в кабинет без доклада охранника? Как случилось, что сам персек потерял на время бдительность? Возможно, подпитие было не таким уж и лёгким?

На все эти вопросы Сытников хотел бы получить исчерпывающие ответы. Но Кр-Кр помалкивал, преданно и многозначительно. Это был нехороший знак. И тогда персек решил самолично поставить точку в этом деликатном деле. И он сказал так же, как Кр-Кр помалкивал, – преданно и многозначительно:

– Чтобы бороться со своим, не побоюсь этого слова, идеологическим противником, надо его знать. Чтобы его знать, надо его изучить. Читайте Ленина, товарищи! Кстати, мне было бы весьма интересно отношение каждого из здесь присутствующих к так называемому творчеству Высоцкого. Прошу всех высказаться в письменном виде. А товарищ Краснопресненский-Крестовоздвиженский обобщит ваши отрицательные мнения и доложит мне лично. Не одному же мне во все дела влезать! Потрудитесь управиться за неделю. Все свободны.

О, этот лексикон партийного руководства! Кто же может быть свободным от исполнения служебных обязанностей, когда персек ещё находится в своём кабинете? А сидеть там он будет ещё долго, до поздней ночи или до раннего утра, потому что в это же время в столице нашей необъятной Родины кипит самый разгар дня.

И партийное руководство города Хибаровска с преувеличенной бодростью, с деловитым почёсыванием ладоней разбредается по кулуарам... Слоняются с озабоченным видом из кабинета в кабинет, сходятся на перекуры или «ещё по маленькой?» в общих холлах... Серый Дом надрывается голосом таганского актёришки, посмеявшего не только двусмысленно издеваться над Родиной в своих сказочках-былиночках, но ещё и жениться на актрисуле из Франции... а девка, между прочим, оторви да брось, блондиночка, любому патриоту голову заморочит... здесь, конечно, по линии минкульта не доглядели, да и гэбисты наши тоже промахнулись...

Первый секретарь крайкома Сытников – резкий, стремительный, напористый человек. Когда он идёт решительным партийным шагом по коридорам Серого или других домов, то кажется, что впереди себя

он гонит массу уплотнённого, туго сбитого воздуха. Других примет, тем более особых, нет. Такие, бесприметные, а не красавчики Штирлицы, очень подходят к службе во внешней разведке, в штате Первого главного управления КГБ, например, или в зарубежной резидентуре ГРУ Генерального штаба.

Персек ждёт ритуального телефонного звонка из Москвы.

И, конечно же, дожидается.

– Объект сдали? – слышится персеку кремнёвый кремлёвский голос.

– Видите ли, вопрос так ещё не стоял... Мы ещё даже не приступали, потому что...

– Стоп! Ты, товарищ Сытников, чуешь, как из телефонной трубки дым идёт?

– Извините, какой дым?

– А ты понюхай. Идёт?

– Совершенно верно, кажется, идёт...

– Так это уже горит твоя должность и членство в партии. Ручаюсь головой. Понятно тебе?

– Ясно.

– Так всё же мне не очень ясно, когда объект будет представлен к сдаче?

– Завтра.

– То-то! До свиданья.

– До свиданья...

Трудно быть персеком Сытниковым. Он всё-таки хоть и персек, но – хибаровчанин, а не тот ещё кремнёвый москвич, который всегда готов, как палач, ручаться головой, причём чужой головой, не своей, злыдень...

Знающие, то есть доверенные, люди однажды подсказали Сытникову: дескать, надобно бы ему, как советует епископ Хибаровский Хризантем, отложить на миг руку от партбилета и посоветоваться относительно своей судьбы с Рождественской звездой. И что же? Сытников всю ночь её прокараулил, так ничего и не увидел. Знающие люди потом объяснили: не из того окна смотрел на небо. Обидно.

Минувший день выдался, как всегда, напряжённым. Это нормально. Но выбивалось из нормы то, что сегодня творилось на центральной площади. Нет, там не жратва была единственной пищей для разговоров, нет! Как доложил генерал КГБ Поцелуйко, на площади не разговорчики были, там речи были, а одна из них и вовсе из рук вон: чтобы каждая идея умирала своей собственной смертью, без посторонней помощи. Суть этой декларации не смог толком разъяснить даже такой дока, как Краснопресненский-Крестовоздвиженский, который, впрочем, согласился, что так дальше жить нельзя. А кому так дальше жить нельзя, спрашивается? Вот ведь в чём главный вопрос. И вообще – как жить? Так, чтобы другим nepовадно было? Но это уже

попахивает запрещённым эмигрантским писателем-отщепенцем Бикфордовым...

Кулуары Серого Дома постепенно затихали.

Примерно в два часа ночи Кр-Кр окончательно разблевался со всеми своими оппонентами и, облегчённый, улёгся спать в своём кабинете.

И наступила тишина. Лишь изредка дребезжали, как цепные псы, охранники в своих доспехах. Молодцам из ведомства генерала Поцелуйко не запрещалось ворочаться на служебных сидячих местах.

И персек остался один на один. Но это было сущей неправдой.

Когда Сытников напивался, то никогда не спал, а напивался он всегда. И тогда к нему являлись посетители.

Сначала к персеку по ночам приходил Брежнев, снимал свои шикарные брови, наслюнивал их с изнанки и приклеивал под носом. После чего долго-долго смотрел на Сытникова жёлтым взглядом и медленно-медленно произносил одну и ту же фразу:

– Всю! Па-ашютылы и будет! На пэрвий-второй рассчитайсь!

Потом к Сытникову зачастил другой ночной гость. Усядется на голубиной приступочке с уличной стороны окна и начинает гулять:

– А давай-ка, Сытников, поговорим начистоту, по-партийному. Ведь это же ты меня съел...

Голубь мира, называется. Это был предшественник Сытникова на посту персека, Санников. Лысый, как колено. И не только сам лысый, но и жена его облысела от мужниных забот обо всей Хибаровщине, «земле Санникова», как тогда говорили. По сведениям из источников, заслуживающих безусловного доверия, на женской голове – ни одного волоска!

– А скажи мне, – гулял голубь мира, – почему Надежда Константиновна Крупская так глазыньки свои выпучила? Отчего? Догадываешься? То-то же! На семь-сорок рассчитайсь!

Тяжко Сытникову. Душно...

Нынче он под магнитофонные всхрипы запрещённого Высоцкого охерачил полтора литра «Еревана» и даже к лимончику не прикоснулся.

Встал из кресла размяться, в ночное небо поглядел агностически, проще говоря, протяжно и просительно...

Возвращается к рабочему столу, а там уже – он же сам сидит в кресле, собственной персоной.

– Ты это... чего? – спрашивает Сытников.

– А тебе чего? – спрашивает Сытников.

– Мне-то ничего. Да вот только ты откуда здесь взялся?

– Пришёл рассчитаться.

– Скотина! Щас я тебе сделаю большую ваву...

– Не надо ваву!

– Надо-о-о...

Вот что, товарищи, происходило нынешней ночью мало-помалу в большом Сером Доме среднего города Хибаровска. С этим нельзя не считаться.

И только одного в это время не мог знать всезнающий Сочинитель: что рукою одного из первых помощников персека, то есть третьего секретаря крайкома товарища Краснопресненского-Крестовоздвиженского «съёмная» характеристика на шефа уже была написана.

XIX

...и «Вертер», и кантата Баха о пользе кофейного напитка, и опера Верди в честь открытия Суэцкого канала, и опус Бетховена во славу картофеля, и роман в стихах, и поэма в прозе, и белая берёза, и женщина при берёзе – вся в чёрном, глаза чёрные и ясные, словно день и ночь в одних её глазах разом сошлись...

XX

Уже была написана «История Государства Российского». Читающая публика смотрелась в нея, как глядятся в зеркало: зыркала, плевалась, восхищалась, умилялась, корчила рожи, серчала, задумывалась, заглядывала по ту сторону, разбивала эту...

И как-то между прочим кто-то из призадумавшихся высказал преславному историографу Николаю Михайловичу Карамзину прелестное по своей кротости предложение: как бы этак устроить, милостивый государь, чтобы покороче, то бишь не распространяясь мыслью на двенадцати томах, но экстрактно и афористически, изобразить отечественную историю, а? Карамзин надолго задумался. Потом изобразил: – Воруют, господа, воруют.

Вопросы к такому ответу могли бы составить том тринадцатый. А самый скачущий на языке вопросец – вот он, точно чёртик лукавый: так чего же господа рот-то разевают, точно вороны?

О, не спешите, не спешите отвечать с уверенностью. Ибо в каждой вороне наверно вор сидит, а на воре случается шапка Мономахова, которая потому и не горит синим пламенем...

Увы и ах! С каким сладострастием, с каким расчётливым вождением, достигавшим порою подлинных вершин высокого художества, отдавалась Русь искусам воровского искусства! «Воруют!» – к этому, пожалуй, и добавить более нечего, кроме одного: и веруют. Пословицами да поговорками отмечено: вору не божиться, так и праву не быть; вор слезлив, а плут богомолен... Это уж так, так, куда ж денешься. Насколько воруют, настолько и веруют. В двух глаголах всего-то и есть разница, что две восхищённые буквы местами поменялись, однако же от сей рокировки буквальный смысл оборотился если уж не в роковой, то, по крайней мере, в самый что ни на есть романический: «На затуманенном стекле Заветный вензель О да Е»...

А между тем – локальных и глобальных, вялотекущих и животрепещущих – тема воровства стоит особнячком, да ещё и в стиле старорусского зодчества. Ибо вор на Руси – это ещё не тот, кто украл кошелек или корову свёл со двора. Вор, ворог, враг – из одного гнезда вывелись. И ежели враг внешний, «супостатище поганый», мог явиться или не явиться, то враг внутренний, «вор», всегда был, родимый, на своём месте.

Хроника многокрасочна...

Вояжёр из Британии Джильс Флетчер посетил Московию в XVI веке и пером невзыскательным начертал в мемориях: «Народ здесь предаётся лени и пьянству, не заботясь ни о чём более, кроме ежедневного пропитания...» Тут бы в самый раз сослаться на образ жизни христианских птичек, на библейское: живи одним днём, не помышляй о завтрашнем... Нет, не получается этакой ссылки, потому как народ московский никоим манером на птичек не смахивал, но, «будучи стеснён и лишаем всего, что приобретает, теряет всякую охоту к работе».

Ну, а как же с заповедным «не укради»? Никак. А что же с упованием «богоносного народа» на веру православную, на завет апостола Павла: «...ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют» – что? Тоже ничто. Хочу – проглочу, а не хочу, так и выблюю библию...

– Окстись! – возражает мне стародавний приятель Сэр, в миру более известный как Сергей.

Во времена армейской младости он, бывало, стоял предо мной чуть ли не по самой смирной стойке, с ладонью у козырька и с непременным вопросом на устах: «Разрешите обратиться?», но потом, после срочной службы как-то этак по-граждански созрел, отмаршировал к архиерею с прежним вопросом, и на архиерейский ответ, мол, пожалуйста, раб Божий, обращайтесь, слушаю вас внимательно... – Сэр обратился уже с конкретным любопытством: в какую веру посоветуете, батюшка?..

– Окстись! – возразил мне Сэр. – Как же ты этак нехорошо выражаешься, небравенько: выблюю, дескать, библию! Это ж будет уже совсем другая опера. Рыгалетто, называется. По-нашему, пьянство. Так при чём же здесь библия? Какая тут святость, скажи на милость?

– Ну, да, – отвечаю. – Конечно. И птички божии тут ни при чём. Ни вороны вороватые. Ни воробышки наши, жуликоватые поскокиши. Потому что, став голодным, даже архиерей украдёт. От скоромности то они не умирали...

В одно время с Флетчером побывал в Московии другой иноземец, дипломат Герберштейн. Записки о гостевании составил, а в тех записках – чёрным по белому рассказ о некоем властительном наместнике,

который поймал попа на воровстве и повесил его немедля на перекладине ворот, чем и вызвал великий гнев митрополита. «Да какой же он, к чёртовой бабушке, священник? – оправдывался наместник на дознании. – Вор и препаскудник!» Тут уж митрополит язык прикусил, потому как напрашивалась философия зело прелестная: ряса-то... она ведь того-самого... и ряска потрясная, и трясына... позволяет многое, а залезешь – так и засосёт с головою...

Лет через триста с лишним петербургские газеты оповещали россиян – как о деле обычном, привычном! – о воровской компании игуменьи Митрофании, в миру баронессы Розен. Крупная шайка-лейка получалась: предводители дворянства, чиновники, офицерство... Газеты писали, люди читали, но что бы ни предпринималось для искоренения очевидного зла, всё упиралось в тупичок, угловатый и бесперспективный, точно подбородок варвара. Может быть, и не построили бы никогда железной дороги из Москвы в Петербург, кабы не железный кулак немца-лютеранина Клейнмихеля?

Не пойман – не вор. Так всем удобно. Но уж пойманного не укоряли – карали жестоко, укорачивали, чаще всего с головы начиная: «Тяп!» – и нет криминала. Впрочем, головотяпы тоже люди и потому жалостливы. «Потерпи, родимый, – говорили тятляпцики, пытошных дел мастера. – Уж недолго тебе мучаться на этом свете осталось...»

Однако же «враг внутренний» так и не убывал. Никуда не убывал. Рос, паразит, как на дрожжах.

– Ты не патриот! – говорит мне Сэр. – Ты всё охуливаешь. У тебя к каким-то проходимым иностранным путешественникам оказывается больше доверия, чем к нашим сокровенным согражданам.

– Правильно заметил, – отвечаю. – Потому что свои – это тоже ещё те птички, что своё болото хвалят не только за гонорар, но и на голом энтузиазме. А насчёт патриотизма я тебе вот что скажу, милый друг и боевой соратник. Может быть, действительно я где-то в чём-то преувеличиваю. Но я делаю это, как сознательный микроскоп, чтобы такие вот, как ты, увидели, наконец, и осознали болезни, которыми страдает нация. И ещё: как только становится жрать нечего, так у нас сразу же начинают вопить о патриотизме, чести и достоинстве. О достоинстве, между прочим, совершенно по-Достоевскому. Отчего это у нас так водится? И почему как-то вдруг забыли про голодовку как испытанное средство политической борьбы пролетариата?

– Возьмём надежду у грядущего века, – вздохнул Сэр и перекрестился. Ему было нехорошо. Он в очередной раз искал символ веры.

Отечественная история, между прочим, оставила грядущим векам немало полезных, то есть самокритических, откровений. Иоанн Грозный, например, как-то раз жаловался английскому гостю: «Русские мои все воры...» При Петре Великом и воровство приняло великие

размеры. С первых вельмож оно начиналось, с «птенцов гнезда Петрова»: сибирского губернатора князя Матвея Гагарина повесили перед зданием Сената за утайку хлеба, назначенного к продаже за границу, а совокупно и за взятки, и за похищение якутских алмазов, приготовленных купцами-промышленниками в подарок императрице. Сенаторы-казнокрады Апухтин, Волконский, высокие вельможи Меншиков, Курбатов... Длинен, точно рубль сребролюбца, список сиятельных воров и рэкетиров.

Примечательно, что при Петровском Сенате была учреждена должность рэкетмейстера, который следил, чтобы жалобы на вымогательство и воровство своевременно и всенепременно доходили до государя. Увы, не помогло.

*Мы подавали королю прошение
С перечисленьем наших недовольств...
Разбором жалоб занимались те,
Кого мы в этих списках обвиняли.*

Так свидетельствовал один из персонажей исторической хроники Шекспира.

Очень, очень по-русски!

В блистательные времена Елизаветы Петровны открыто мошенничал Пётр Иванович Шувалов, военачальник и артиллерийский инженер, финансист и законодатель, землеустроитель и откупщик, и прочая, и прочая... Банк, основанный Шуваловым через подставных лиц, приносил неслыханные доходы, да ещё при взимании налогов и пошлин прибавка получалась солидная. Все об этом знали – и помалкивали: императрица, как и война, всё спишет, заступится за любимца своего.

В 1839 году Николай Первый признался гостю из Франции, маркизу де Кюстину: «В России только я не ворую!», а позже уточнил свою мысль в доверительном разговоре с сыном-наследником: «Мне кажется, что во всей России только ты да я не воруюем»...

Вот и подумаешь нынче: что же такое на Руси есть «вор в законе» – клеймо позора или почётный титул? А после череды послереволюционных правителей может показаться, мало сказать, напрасным, но ещё и совершенно диким стремление мало-мальски порядочного человека доводить до совершенства любую мелочь жизни, когда весь мир несовершенен. Не спокойней ли будет, в таком случае, обзавестись каким-нибудь уютным пороком и жить, обеспечивать себя как можно более мелкими недостатками; жить-поживать хоть и с печатью печали на челе, зато в неторопливом камерном величии, с видом на зарёванное, как плач палача, зарево предстоявшего, но так и не представшего светлого будущего. Да и зачем оно, это будущее, если уже имеется вполне достаточный прожиточный минимум: стеариновое свеченье,

лодка с весёлыми весёлышками, узаконенная вечная зависимость тени и эха.

...«Орешек не сдавался...» – вывела слабеющая рука Карамзина. Речь шла о крепости с таким названием.

Тем и закончился двенадцатый, последний том «Истории Государства Российского».

Том закончился. История продолжается

Так ведь и в самом деле, крепкий орешек – эти российские традиции. Бессменные. Бессмертные. Что ж держаться-то за них? Ведь бессмертие разное бывает: одно в награду даётся, другое – в вечное наказание.

– О! – восклицают одни совграждане. – Какие богатства у нас! Какое сырьё и вороны! А просторы? Степь да степь кругом, снег вокруг... Всё есть! Живи! Чего не хватает?

– Ума, – отвечают другие совграждане. – На каждое сырьё – своё ворьё. Стёб да стёб кругом, смех вокруг лежит...

Это эпоха похихатывает похотливо, и стёб расцветает махрово, как цветы, как халаты, как китайские полотенца...

– Да, это есть, насчёт некоторой халатности, – соглашаются третьи совграждане. – Но давайте не будем очернять белые пятна! То есть, обелять чёрные дыры...

Подзапутались совграждане. Потом ощупались, огляделись и обнаружили: ё-моё уже не моё, а соседское! и мойдодыр стал твой до дыр! Примитивное разделение: массы и боссы, точнее – боссы и босяки. Или – так, ещё точнее, как сказала моя знакомая Сара моему знакомому Сэру.

– Я думала, что ты босяк, – сказала Сара Сэру. – Но я глобально ошиблась, потому что с тобой жить – это всё равно как об стенку гороху накушавшись. Нет, ты не босяк! Ты просто идиёт...

А православный Сэр ничего и никого не желал слышать. Он сидел на кухне, к тёплой батарееке отопления притулившись. Он охранял холодильник «Бирюса», купленный накануне. «В рассрачку!» – уточняла Сара.

– Я, – сказала она, – на тебя удивляюсь и даже краснею, как девушка. Неужто всю ночь ты вот так и просидел с ружьём на своих куриных коленях?

– А что? Караулить-то вещь некому, а кому-то надо. Вдруг украдут.

– Ой, слушайте! Обратно идиёт. И где же это ты видел воров на нашей жилплощадке? Сколько живу, ни разу не встречала.

– Ничего, ещё встретишь, – успокоил Сару Сэр, задумчивый и грустный, точно опальный Меншиков в Берёзове. – Того быть не может, чтобы в своём отечестве – да без вора жить. Вор – он навроде пророка. А что ж это за страна такая получится, в которой красть нечего? Тогда уж и не страна вовсе, а местность. И никакого в ней могущества,

никакого закону в ней. А закон кто создаёт? Вор! Поняла, пролетарка штопаная?

– Идиёт, – сказала Сара и заплакала. – Дзержинского на вас нету...

– Не смей меня, мадам. Эти слёзы у тебя ещё от российской социал-демократической рабочей партии. Лучше с прессой ознакомься, – сказал Сэр и стволом ружья медвежачьего калибра указал на стол, где распласталась вчерашняя газетка.

А в газетке – позавчерашние новости. Вот одна из них. Пятидесятивосьмилетний врач, внук железного Феликса загремел на 7 лет тюрьмы и 15 лет изгнания из Швейцарии; присяжные Женевского суда признали его виновным в изнасиловании молоденькой пациентки и в мошенничестве: продал за 7 тысяч франков китайские дефицитные лекарства, которые на самом деле стоили всего 64 франка; пострадавшая, ко всему прочему больная эпилепсией, показала в суде, что господин Дзержинский склонил её к половой связи, угрожая своей принадлежностью к элите КГБ...

Мелочи дня.

Крупинки соли.

Проза жизни.

XXI

– Проза жизни, Ваня, это дело сурьёзное, – сказал Помиранцев Хлюстакову. – Так что ты не шибко этим увлекайся. Не поможет.

– Ты об чём это, Семёныч?

– Об твоём заявлении в профком, вот об чём. Но я тебе скажу: не поможет. Ни начальник ЖЭКа товарищ Сперанский, ни широкая общественность в моём лице в этом деле уже не способствуют. Потому что в личную жизнь трудящихся наша коммунистическая партия теперь не вмешивается, кроме разве что самых вопиющих фактов. Кажись, у нас сегодня уже не тридцать седьмой год с вытекающими последствиями.

– А у меня, Семёныч, как раз вопиющий, – сказал Иван. – И ты в мои заявления не суйся, если думаешь, что у меня с моей Раей возможна райская жизнь. Это неосуществимая фантастика. А во-вторых, откуда ты про моё заявление в профком знаешь?

– А это что такое? – прищурился Помиранцев и помахал перед хлюстаковским носом бумагой, сложенной наподобие фронтального треугольника. – Из профкома спустили до меня, просили по душам побеседовать и охладить твой дальнейший энтузиазм к дамскому полу.

– Про охлаждение я не писал, – пробурчал Хлюстаков и скрипнул нехорошо зубами: вспомнил жэковскую контору, четыре стены, четыре стола, четыре бабы и над каждой бабой – портрет Ленина в деревянной рамке под стеклом...

– Товарищи жэчки, – говорил Хлюстаков, – вы не думайте, что я три дня прогулял без работы за просто так. Дело сложное и даже, извиняюсь за выражение, крайне юридическое.

– Ой, как интересно, – сказала первая жэчка.

– Интересу здесь мало, что целых три месяца мучился и решил расписаться в акте половой капитуляции, а потом три дня отмечал освобождение от обязанностей.

– Ой, как заба-а-вно! – сказала вторая жэчка. – А потом?

– Забавного тут мало, что было потом, – грустно сказал Хлюстаков и вздохнул. – Потом вышел на свободную охоту.

– А потом? – настаивала вторая любознательная жэчка.

– Потом было ещё потее, чем до этого. И чаша переполнилась через все края...

Третья жэчка ничего не говорила и строила глазки, а четвёртая в это время читала хлюстаковское заявление в профком и взрыдывала, как певец Шаляпин в слове «блоха-ха-ха»...

– Ну, Иван, я не знаю, – сказал Помиранцев. – На твоё заявление в конторе уже выразили мнение. И мне подсунули выяснить и проработать в коллективе. Шибко ты тут перестарался, Ваня. Я даже и не знаю...

«...не знаю, – писал Хлюстаков в заявлении, – как написать, чтоб вы правильно поняли. Я не гений, а простой советский человек. Тридцать девять лет моим насущным хлебом и последним пинжаком был слесарный молоток. А сейчас жизнь вынудила меня бросить этот молоток на все четыре стороны и взяться за перо. Я не могу, как Лев Николаевич Толстой, по десять раз переписывать страницы, поэтому пишу сразу чистовиком. Конкретно, так. Я, Хлюстаков Иван Александрович, выношу на самый верховный суд общества самое дорогое в моей протекающей жизни, это – любовь. И на неоднократном примере заявляю: когда какая-нибудь женщина не разжигает сама собой домашний очаг и не создаёт в нём тёплый и умеренный климат, то через некоторое время любой сознательный гражданин может потерять своё мужское я. Что характерно: моя любовь предала меня. Добиваясь при жизни с законным мужем согласия на любовь, в чём ему было отказано, чтобы не иметь порочащих связей. А после фактического развода произошло улетучивание его высокого чувства с продолжительным стажем. И ведь что характерно: женщина 50-го размера при низком росте, глаз голубой, с волоса чёрная, всё на своём месте, выпуклости разные и впуклости. Из должностных мужчин с ней никто не убабывался больше года, хотя играли фибрами и т.д., чтобы произвести на неё аморальное влияние, и даже подносили от себя цветы розы и несколько пар вымирающей рыбы тунца. Но у ней нет сердца. К ночи

даже у меня каждый мышец стонал от её поведения, и поэтому жизнь стоила немало нерв. И вынужден был действовать. Поскольку жена моя вышла из пределов рамок и захватила власть в семье, что принудило меня к заявлению в устном виде: нет, вам этого не выйдет! В результате устояния против пути увлечения моральным разложением считаю, что в этом деле я, Хлюстаков И.А., сам собой себя воздвиг на правильную дорогу и соответственную высоту положения. Но мне не дают жить. Обзывают и тому прочее. И так постепенно я как бы стал со слов жены курировать женский пол куриным петухом в рабочем окружении нашего ЖЭКа под руководством тов. Сперанского. Но в один прекрасный день всё вылезло наружу по нечаянности и вызвало в коллективе сенсацию: что думали про меня одно, а вышло совсем другое. Ну, ладно. На руках моя уже бывшая жена воспитывает 20-летнего сына от первого мужа. Но сын заядлый троечник. И всё потому, что во дворе все дети подрастающего поколения пущены на самотёк. В газетах пишут, что у нас сейчас эмансипация. Я не возражаю. Но всё ж таки семьи надо создавать не стихийно, а конструктивно, путём изучения наследственности и естественного разбора. В заключение сообщая: исчезли из промтоваров тёрки, и которые живут не на своих зубах, те отказаны в возможности добывать себе пищу трением. И этим людям может получиться хана. О чём я, Хлюстаков И.А., повешенный в красном уголке ЖЭКа №25 и не раз премированный, считаю и заявляю категорически, в чём прошу не отказать. Также насчёт бывшей жены. Конкретно: когда уймётся? Продавая продавщицей в магазине «Промтоварищ», она каждый день меняет одежду, берёт с вешалки, поносит один день и на завтра обратно вешает и берёт новую. И один раз покупатель купил вещь и обнаружил в том кожаном пальте её личный паспорт, и она попалась. А сбил её с пути таксист машины ХИБ-72-39 с японским браслетом от кровяного давления. Жена Раиса пыталась скрыть и старалась подсунуть мне лучшую порцию во время обеда. Но я эту жертву не принимал, потому что она говорит, что от меня тошнит, но это всего лишь маскировка беременного положения то ли от шофёра, то ли от другого неизвестного мне поддонка и оципенца...

– Сурьёзная бумага, Ваня, – сказал Помиранцев. – И какую же резолюцию выносить будем?

Хлюстаков поёжился и каждый ёж сопровождал вздохом. Ему было жалко себя, жалко Раиску-аферистку, жалко пчёлку, которая укусила его в самую душу ровно неделю назад... А ведь всего лишь неделю назад жена Раиса Максимовна считалась ещё не бывшей, а Хлюстаков мёрз, как последний заяц, в засаде неподалёку от «Промтоварища», подкарауливал Раиску с таксистом, продрог и докараулился до полного нервного истощения, вдобавок получил по морде от громилы-таксиста, но Раиску не выпустил, цепко держал за воротник, и таксист,

матерясь, укатил, а Хлюстаков всё стоял и стоял на морозе, и вещественное доказательство, то есть жену в новом кожаном пальто, имел в сильной слесарной пятерне, и думал, думал Хлюстаков, размышлял: «И куда ж теперь девать это сокровище?» – а потом решительно воткнул Раису Максимовну в сугроб вниз головой: «Расти, икебана...» – и потопал домой уже холостяком...

– Ты, Ваня, не вздыхай так шибко и преднамеренно, – сказал Помиранцев, – а то ведь даже меня, старого коммуниста со стажем, слеза прошибает, и партбилет дыбом встаёт от твоих слов, а мне этого нельзя. Мне разобраться положено, как ты завяз в любви по колено. Это нехорошо. Вон, в конторе женщины говорят: Хлюстаков, дескать, неисправимый, но остался на бабах, а другие говорят, что не на бабах, а при бабах. И теперь у меня к тебе будет нескромный вопрос: как ты жить дальше намеренный, если такой прибабахнутый?

– Да как, как! – озлился Хлюстаков. – Ну, ты, Семёныч, прямо как дитё малое! Живу и живу! От горя уже отошёл. Вчерась взял инициативу жизни в свои руки.

– И как её зовут?

– Кого?

– Инициативу твою.

– Маша. Конкретно, Марья Ильинична. А что?

– Да мне-то, Ваня, ничто. Мне надо, чтобы моральный кодекс от твоей инициативы не пострадал, а всё остальное – это уж твоё личное текущее дело. Кажись, у нас не тридцать седьмой год... Ну, и как там она у тебя, Марья-то Ильинична?

– Вот и я ей про то же: как, говорю, тебе у меня? А мне, отвечает, хоть бы хны! Ладно. Купил ей в аптеке хны, в кульках продаётся. Так она – что б ты думал, Семёныч? – взяла и волосья намазала! Хлоп твою мать! Сегодня утром глаз открываю – что такое? Кто это там такой красный? Торшер, что ли, торчит и светится? А это она, Марья. Непостижимая женщина.

– Ты это не так, – сказал Помиранцев. – Ты не хны, а ты, дорогой Ваня, возьми да купи Марье Ильиничне букетик, и всё будет в норме. Хоть раз в месяц, после полочки.

– Эх, Семён Семёныч, наивный ты коммунист! Покупал я букетик – не берёт, не нюхает даже. На фиг, говорит, мне эти твои месячные? Не нуждаюсь, говорит. Ты мне лучше, говорит, книжку про куроводство купи, буду на балконе диетическое мясо разводить. А эти букетики, говорит, жрать мне, что ли? Вроде, говорит, ещё не корова.

– Ещё или пока? – уточнил Помиранцев.

– Дальше будем поглядеть, Семён Семёныч.

– Ну, смотри, Иван, тебе жить. Которая она у тебя по счёту?

– Двенадцатая, – чётко ответил Хлюстаков. – А что?

Помиранцев задумался, переносицу пощипал, на безмолвных губах примерил несколько вариантов одного деликатного вопроса:

– И куда же они все предварительные после тебя подались? Которых по счёту одиннадцать. Да ещё, наверняка с детьми. А?

– Бутылёк поставишь, так расскажу, – неожиданно покорно ответил Иван, и в глазах его ожили лютики-цветики и прочие фокусы-фикусы лазоревые, на которые так беззаветно-беззаботно слетались эскадрильи доверчивых бабочек.

И покуда накрывали стол чистой газеткой «Труд», да селёдочку чистили, а к селёдочке нашлось полголовки фиолетового репчатого лука – и хлебушек аккуратными дольками нарезали, и на каждую дольку – тоненький пластик солёного сальца с чесноком... пудель Хома тоже обожает такие бутербродики, он выбирается из своего закутка, с лежбища на старом ватнике, потягивается, аппетитно зевает, знает, умница, что если человеческие мужчины загоношились вокруг стола и газетку «Труд» с хрустом раскладывают, то сейчас и ему что-нибудь вкусненькое перепадёт, и он считает не только служебным, но и просто товарищеским долгом пособить мужчинам в их междусобойчиковых хлопотах, озабоченно-деловито вавкает и указывает мордочкой в сторону окошка, там, на холодном, на продуваемом подоконнике, в закрытой от паразитов алюминиевой кастрюльке ещё со вчера должны остаться две-три варёных «в мундирчиках» картошки плюс солёный огурец от Фёдора Эдмундовича Щитовидова... да ещё сполоснули майонезные баночки для питья, и омуль-амулет, знак питейного братства, учредили так, как положено, то есть поставили с бока на ребро... – так вот, покуда всё это приготовление совершалось, Хлюстаков поведал Помиранцеву краткую историю послеивановского периода жизни отставных жён.

Получалось: не так уж и плохо, как некоторые думают, складывался у тех жён этот период. А началось всё с того, что, вероятно, две-три первоначальные жены с детишками совместно обосновались для коллективного проживания за городом, в пионерском лагере имени (инвентарный номер утрачен) Конференции ВКП(б). Разведёнки состояли там при каких-то должностных местах, начиная от начальницы кончая кастеляншей, причём состояние это было не только летом, но весь круглый год. Потом к этим отставницам невероятным образом стали присоединяться другие, уж как они друг друга находили – Хлюстакову неведомо. Как пчёлки, что ли? А потом по всей нашей стране покатилося валом что-то вроде то ли кооперации, то ли приватизации, то ли замедления ускорения перестройки застоя, хрен поймёшь, но в результате всей этой хренотени пионерлагерь прекратил своё существование. Вокруг его фундаментального, в духе сталинской архитектуры, забора закужили деловитые энергичные люди с перспективным выражением лиц. Но ничего перспективного у них не вышло. Жёны с детьми не в «Зарницу» играли, нет! они стойко обороняли завоёванные позиции и дали деловитым людям полный отлуп от своих владений. Больше того, вскорости этот лагерь вдруг сделался гарнизоном, а

жёны опять же каким-то сказочным образом зарегистрировали самих себя как воинскую часть под секретным номером и встали на все виды довольствия в Министерстве обороны... Короче говоря, была когда-то послеивановская коммуна баб-разведёнок, стал – танковый полк!

– Ну, Ваня, ты даёшь! – ошеломился Помиранцев.

– Да это не я даю! Это они дают, Семёныч! Плюшевое знамя сшили из бордовой скатерти, с золотыми кисточками! Все в военной форме ходят, честь друг дружке отдают, порядок у них там, питание, баня, своё подсобное хозяйство с чушками... Даже наганы им выдали от каких-то ликвидированных вохровцев. Представляешь?

– Слушай, а с какой стати это... вдруг полк, да ещё танковый?

– А это они, Семёныч, поначалу так пошутили очень вульгарно. Мы, говорят, кто такие? Мы, говорят, все, как одна, поголовные однопалчане Ивана Хлюстакова. Это, говорят, финамен жизни. Так и пошло у них. Но потом палку всё ж таки на полк поменяли, неудобно всё ж таки перед общественностью. А что танковый, так это у них там посреди гарнизона настоящий танк стоит, Тэтридцатьчетвёрка, на постаменте. Его, видать, после войны списали с баланса и поставили как памятник. И выглядит – как будто бы и не воевал, как новенький.

– На ходу?

– Вот чего не знаю, того не знаю. Это у них военная тайна, Семёныч. Знаю только, что они эту тайну берегут как зеницу ока, каждый день подкрашивают, тряпочками обтирают, тампончиками, короче, маникюр наводят бронетехнике, веночками украшают, ленточками, а на башне белой краской надпись: «Синий платочек».

– Ну, дела, – развёл руками Помиранцев. – И ни одного мужика в гарнизоне?

– Представь, ни одного. Ну, сынишки не в счёт... Первая моя жена Таня у них там командиром, полковница по званию. Танькин полк, короче. Вторая жена – начальник штаба, третья – начальник тыла, и так дальше... А Раиска со своим оболтусом, клянусь, тоже, наверное, уже там прописалась на какую-нибудь должность, чтоб мне треснуть, если это не так! Но ты, Семёныч, смотри, будь бдительным насчёт этого полка бабского. Не надо об нём писать в твоих мемуарах коммуниста, он к жэковской истории касательства не имеет, он ведь уже по военной линии числится, так что ты имей в виду, что бывает за разглашение секретов... Ну, что, сели?

Сели за стол: Помиранцев, Хлюстаков, Хома.

И тут наш пудель повёл себя как-то не по-компанейски. Принял бутерброд с салом – и тотчас стремглав ринулся под своё кресло, к любимому ватнику. Так никогда не бывало, чтобы Хома досрочно покинул застолье, не поучаствовав в разговорах.

– Чего это он? – удивился Помиранцев. – Заболел, что ли? Хо-мушка! Собачка! Разливай, Ваня, а я Хомке ещё бутербродик дам. Не возражаешь?

– Нетоварищеский вопрос, Семёныч.

Подошёл Семёныч к пуделиной жилплощади, присел на корточки с допайком в руке – а из-под кресла вдруг Хомин рык: есть всё-таки, Семён Семёныч, неприкосновенность личного жилища, и ты лучше не лезь свой нос ко мне, а то ведь и укусить могу!

– Ба-а-атюшки мои! – ответил Семёныч.

Под креслом оказались не только Хома с любимым ватником. Там была ещё одна собачка, дрожащая и неухоженная.

– Вот, Ваня! Вот он, твой наглядный пример поведения для домашних животных!

Хлюстаков хмыкнул. А что ему ещё оставалось делать?

– И когда Хомка успел привести сюда уличную девку? Вот артист так артист...

Хома из-под кресла издал что-то виновато-оправдательно-угрожающее: давайте, товарищи, не будем хамить, обзывать и собачиться из-за бабы, я вас уважаю, так и вы меня уважайте...

– Ладно. С Хомкой и с этой... с каштанкой мы потом разберёмся. А тебе, Иван, надо сейчас всерьёз об себе позаботиться. Что вооружённым силам способствуешь в смысле комплектования по мере сил – это, может быть, и ничего. Может быть, даже и вовсе неплохо. Но во что это может вылиться?

– В стаканы, – буркнул Хлюстаков.

– Нет, Иван! Пора, пора тебе тормозить. Ты с меня лучше пример возьми. Всю трудовую жизнь с одной женщиной проживаю – и ничего, никаких заявлений с обеих сторон. Потому что не так важно – женский пол, мужчинский, не это главное, а главное то, что пол – это всего-навсего половина. А на крайний случай другой пример есть – Кувыкин. Как родился Кувыкин холостым, так и помрёт аналогично, потому что лютый женоненавистник. Но, с другой стороны, никаких ему хлопот, сам себе хозяин. Пора тебе, Ваня, завязывать с любовями, пора. Налить тебе ещё, что ли, с переживаний-то?

– Наливай, Семёныч. Пора уж, труба зовёт. Двенадцатый час, а у нас ещё ни в одном глазу. Это ты правильно выразился, что пора. А без поры – что ж? Без поры одна суета, беговня, сплошная суматоха, вечная поспешка и толкотня. Какое же в беговне может быть очарование жизнью? Никакого. Хоть ложись и помирай.

– Это да, – согласился Помиранцев. – Можно и помереть. Но наш человек, Ваня, всё ж таки должен помирать без буржуазных излишеств. Не для того ты родился.

– А я, Семёныч, сам знаю, для чего родился. Для принципа.

– Врёшь ты всё. Многожёнство у тебя и неполноценный комплекс.

– Нет, Семёныч, это ты врёшь, потому что партийный. А у меня не то, чтобы комплекс, но даже неоднократный принцип намечен на счёт жизни. Если, например, я родился, так, значит, обязан пособить

другому. Иначе мы все бы уже давно повымирили, так и не дождав-
шись огней коммунизма...

XXII

В «Огнях коммунизма» Помиранцева приветствовал самый глав-
ный человек: редактор Гений Иванович Будьтаков.

– Вы, – сказал он начинающему внештатному автору, – титан!

Семён Семёнович уже хотел было обидеться на такую аттестацию.
Но Будьтаков положил пухлую ладонь на амбарную книгу с названи-
ем «Нащёт светлого будущего и нашей культурности. Мысли старого
коммуниста С.С. Помиранцева. Том I», погладил том по обложке и
объяснил, что имел в виду вовсе не колонку для нагрева воды в ван-
ных комнатах старых домов.

– О, нет! – сказал он. – Титан – это, Семён Семёнович, челове-
ческая величина! Это Гораций, Шекспир...

– Вильям? – уточнил Помиранцев.

– Именно, Вильям! Однако же, почтеннейший Семён Семёнович,
наша газета, хоть и краевая, но по сравнению с вашей рукописью
слишком мала, и напечатать мемуары мы не можем при всем глубо-
ком уважении к вашему партийному стажу и заслуженным трудовым
мозолям.

– Я не согласный, – сурово заметил Помиранцев. – Это будет не
по-партийному и вообще. Жэковская стенгазета «Трубы зовут!» меня
не устраивает. Мне нужна большая пресса. Короче, вы мне тут запя-
тые подредактируйте и печатайте с продолжением следует. Гонорар
направим в защиту мира во всём мире.

– Извините...

– Ладно уж, – примирительно сказал Помиранцев, – с кем не
бывает.

– Да я не к тому говорю «извините», что извиняюсь, – улыбнулся
Будьтаков. – Я говорю «извините» к тому, что если ваше произве-
дение такое титаническое, так вы и редактируйте его сами, как это
делали Шекспир, Сервантес, Лев Толстой...

– Лев Николаич? – уточнил Помиранцев.

– Да, да, Николаич.

– Тогда хорошо, – согласился Семён Семёнович. – Я забираю. Но
скоро снова приду. Так что вы подготовьтесь.

И амбарная книга вернулась в шкафчик, под замочек. Но в тот же
день, ближе к вечеру, когда мы уже приняли «по второй», Помиран-
цев придвинулся к Сочинителю и поинтересовался его личным отно-
шениям к Шекспиру, Льву Николаевичу и другим титанам.

– Нормальное отношение, – сказал Сочинитель. – Такое же, как
в Москве, Лондоне и Париже.

– В Париже не бывал, – нахмурился Помиранцев. – Чего не бы-

вал, того не бывал. И ты со мной, Алексеич, не шути. Не надо. Нам, старым коммунистам, сейчас вовсе не до смеху, когда в стране назрели сплошные сурьезные вопросы...

Вопросы серьёзные одолели в последнее время и Геня Ивановича Будьтакова, главного редактора краевого официоза «Огни коммунизма».

Среди лиц города Хибаровска, лиц значительных и незначительных, исторических, ответственных, зависимых и независимых, юридических, потерянных, физических, без определённого места жительства, официальных и «других официальных», то есть сопровождающих лиц официальных, и прочих, и прочих, несть им числа... – Геня Иванович был лицом страдальческим. Не в переносном смысле – в буквальном. Уже не только коллеги-журналисты, но даже самые мелкие работнички из Серого Дома называют его не иначе, как «наш главный рыдактор» – в диапазоне оценок от большого минуса до большого плюса.

Однако и в переносном смысле страдальческое лицо Геня Ивановича имело место быть в прямом, как восклицательный знак, вопросе: что перенёс Геня Иванович от нуля лет до пятидесяти?

Ему, представьте себе, можно было начинать рыдать с того самого времени, когда молодые счастливые родители принесли из ЗАГСа свидетельство о рождении мальчика по имени Гениталий... Мамочка родная в роддоме наслушалась разных учёных медицинских слов, папочка родной послушался безоговорочно мамочку, и оба в двухстороннем порядке решили: модные Эдуарды, Арнольды и Артуры пуццай подавятся своим подавляющим большинством, но стратегическое преимущество останется за нашим мальчиком с таким неслыханным доселе иностранным именем, пуццай через годик-два новые Гениталии попрут косяком, но наш-то будет первым!

До самой школы называли мальчика: Геночка, Геночка... А как пришла пора в первый класс записываться да нужные документы представлять, так и схватились за голову: образованные педагоги объяснили родителям, что Гениталий – это вовсе не Геночка, а, как бы, совсем наоборот... Короче говоря, в первом классе Хибаровской средней школы №13 с первого сентября появился новый мальчик, вернее, старый мальчик с новым именем и старой фамилией: Геня Будьтаков.

Спасибо средней советской школе, спасла будущего гражданина Отечества от судьбоносного позора, который неизбежно и непреложно определяется былинной российской традицией: как назовут человека, так он и жить будет, или гением – или мудаком распоследним.

Но в то же время именно со школьной поры начались для Геня новые проблемы, именительно-родительно-винительные, словно падежи, и безусловно страдательные, точно русские глаголы. Эти пробле-

мы десять лет лепили невинного советского школьника на свой лад-приклад, то с одной стороны, то с другой стороны... в общем так: с одной стороны Гений образовался, грубо говоря, как бык или баран, то есть, упрётся рогами в землю – и ни в зуб ногой, с другой стороны. Гений, как ни старался, никак не мог понять: чего от него хотят?

Ещё будучи юным пионером, он был готов к борьбе за разные дела коммунистической партии.

...как завещал великий Ленин.

Проверим память, любезный читатель. Многие из нас говорили в своё время дрожащим голосом:

«Я, юный пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю: горячо любить свою Советскую Родину, жить, учиться и бороться, как завещал Великий Ленин, как учит Коммунистическая партия».

Дело нешуточное.

– Будьтаков, – обращались к юному Гению старшие товарищи.

– Всегда готов! – восклицал он и, дрожа на цыпочках, салютовал, как учили.

Старшие товарищи округляли глаза и говорили заботливо:

– Мальчик, не спеши с ответом, не торопись, подумай немножечко... Подумал?

– Угу.

– Вот и молодец. Тогда мы скажем так: будь готов!

– Всегда таков! – салютовал Гений, дрожа на цыпочках.

Старшие товарищи понемногу сходили с ума...

– Будьте такóвы! – призывали они пионерскую дружину.

И вся дружина салютовала, дрожа на цыпочках:

– Всегда готовы!

...Надобно ли вспоминать всё это Гению Ивановичу? Не надобно. Но он вспоминает. Он сидит за рабочим столом, уже в срок подписан в печать свежий, завтрашний, номер газеты, и у Гения Ивановича нет абсолютной уверенности в том, что на каком-то производственно-технологическом этапе движения газеты в ней, на последней полосе, в самом низу, не появится печально-фаталистический судьбонос: «Главный редактор Г.И. Будьготов»... Или «Будьздоров». В диапазоне оценок от большого минуса до большого плюса... А он, Гений Иванович, – Будьтаков! Это не он придумал! Это папина фамилия! Но вслед за судьбоносом последуют уже никому не нужные объяснения корректоров, ответственного секретаря, выпускающего редактора и... и вновь у Гения Ивановича не будет абсолютной уверенности в том, что на каком-то производственно-технологическом этапе... и т.д. Молчи, генеалогия!

В конце дня Гений Иванович принял решение: мемуары старого титана Помиранцева газета печатать не будет. Ни в коем случае! Ни под каким видом! И если в это дело вмешается, что не исключено, отдел партийной печати Серого Дома и лично товарищ Краснопресненский-Крестовоздвиженский, то Гению Ивановичу Будьтакову не остаётся ничего иного, как – печатать.

И стало ему вдруг так легко, как бывает запьяневшему человеку после рвоты.

Гений Иванович принял решение!

И он уже почти забыл о том, что старые коммунисты, вроде тудяги Семёна Семёновича Помиранцева, ничего не забывают, и если они пообещали снова зайти в редакцию, значит, зайдут. Возможно, завтра.

Но это завтра будет завтра. А завтра будет суббота. Гений Иванович пойдёт на центральный рынок за мясом для пельменей, и в одном ароматном торговом ряду его окликнет лицо кавказской национальности в кепке:

– Генацвале! Нэ прахады мимо! Пэрсик ждёт!

Гений Иванович вздрогнет и остановится.

Дальше будет вот что, чего сегодня никто ещё не знает, даже сам Гений Иванович.

Сначала у него появится чисто профессиональный интерес: кто таков сей славный кавказец, откуда и куда, каковы виды на будущий урожай, в чём состоят трудности транспортировки нежного товара в столь отдалённые края, и прочие, и прочие вопросы, свойственные добросовестным, то есть дотошным и любознательным журналистам... Знакомиться станут за руку.

– Зураб Ркацители, – скажет кавказец.

– Просто Гена, – скажет Гений Иванович.

– Будэшь просто генацвале. Друг, па-грузински. Бэри пэрсик. Бэз дэньги.

А потом новые знакомцы скрытно от рыночных блюстителей порядка, в чём и будет состоять особая прелесть момента, примутся за распитие спиртного напитка по имени «Кахетинское» и закусывать персиками и помидорами. И Гений Иванович станет благородно хмелеть и улыбаться: «Господи, как хорошо-то, как просто: генацвале, гена-цвале, друг, значит... О, цветущий язык лоз виноградных!..»

Домой он вернётся без мяса. Но с ящиком персиков и ящиком помидоров.

Жена будет в восторге. Она всплеснёт руками:

– Ты гений!

– С сегодняшнего дня, – заметит Гений Иванович, – зови меня просто генацвале...

– Смеёшься?

– Это не я смеюсь. Это цветущий язык лоз виноградных, которые

по-грузински называются маглари. А нам, старым коммунистам, сейчас вовсе не до смеху, когда в стране...

– ...когда в стране назрели сплошные сурьёзные вопросы, – сказал Помиранцев.

И в тот же вечер он вручил Сочинителю первый том полного собрания своих сочинений.

– Ты здесь того... запятые малость подредактируй, Алексеич. В газете ждут не дождутся, печатать хотят с продолжением следует. Потом я тебе еще подкину, том второй, там уже про мою личную автобиографию в молодости.

– А в этом про что?

– В общих чертах об нашем ЖЭКе. Есть конкретно про Кувыкина.

– Про нашего Кувыкина?

– Других Кувыкиных на сегодняшний день не ощущаю.

– Значит, сантехнический роман получается? Производственный жанр, так сказать?

– Вот это я не знаю. Может, роман. А может и романс какой-нибудь. Не в этом дело, Алексеич. Одно тебе могу сказать точно: чистейший реализм. Я думаю, это дело нужное, дело важное. О пережитках в нашей культуре и об наших задачах ведь кто-то же должен сказать первым?

XXIII

– Кто-то должен сказать первым, – нашёптывает подушка, переминаясь в смятении. – Давно, брат ты мой, давно пора сказать какому-нибудь человечку какую-нибудь приятность...

И, случается, подушковладелец говорит: по телефону, по секрету, по душе, наобум лазаря, в глаза, в лоб и по лбу, на ухо, на брудершафт... И после сказанного он чувствует себя обновлённым. И жить ему снова нестерпимо хочется, и кружку пива испить не отходя от очереди, и вернуться к поникшей покинутой женщине, и подраться с негодяем, которому ещё вчера вынужден был подавать руку...

XXIV

Досточтимые почитатели оттиснутых на бумаге гутенберговых литер! Дозвольте слово молвить – не в обвинение, не в защиту, но с доверчивой попыткой объяснения неожиданного факта, приключившегося в этой книге вопреки творческому замыслу и идеологическому умыслу самого Сочинителя.

Получается так: Сочинитель пишет то ли роман, то ли поэму об актуальных проблемах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), а в том романе-поэме герои нашего и вашего времени тоже начали активно пописывать, подчас оттесняя в сторонку Сочинителя.

Семён Семёнович Помиранцев всерьёз взялся за изложение многолетней истории родного Краснознамённого ЖЭКа №25, и каждый квартиросъёмщик вправе вознегодовать: у него краны протекают, батареи сочатся – а сантехники сантехнические романы сочиняют вместо того, чтобы гайки закручивать и прокладки сменять?!

Вот доктор Штукарский... Тут особая статья. Доктору, видать, самый главный медицинский бог повелел писчебумажного дела не чураться. Авторучка у доктора наравне с градусником и стетоскопом. И доктор пишет, пишет... Объяснением тому – «Скорбный лист». Так российские лекари издавна называли медицинский документ, персонально заводимый на пациента, изначально латинский «Anamnaes vitae», что в переводе означает «Воспоминание о жизни». В XX веке люди в белых халатах поставили было знак равенства между «Воспоминанием о жизни» и «Историей болезни», и хоть имелась в этом сопоставлении некоторая синонимическая близость, но равенства всё-таки не получилось, да и не могло получиться. Первое название вообще исчезло, второе осталось, но в нём, как в фокусе, собрались на одном листе все прежние значения: и скорбь, и жизнь, и воспоминания, и боль, и история... Вот и обречены они на долгое писание, врачеватели наши. Не только Штукарский. И доктор Чехов, и доктор Вересаев, и доктор Булгаков, и судовой врач Василий Павлович Аксёнов.

Уже пишет пространные исследования семейно-бытовой жизни Иван Александрович Хлюстаков. А у квартиросъёмщиков, как мы знаем, краны, трубы, батареи...

Ещё будут писать, дайте срок, распишутся: стишки – маэстро Хворобушкин и донесения – тайный агент по кличке Навуходносор...

Возникает резонный вопрос: не много ли сочинителей собралось в одной книге?

Нет, говорю вам, не больше, чем в жизни. А жизнь сложилась такая сказочная – сил нет: как назовём – так и будет, как скажем – так и станет. Что нам стоит дом построить? Нарисуем – будем жить. Как нарисуем, так и жить будем. Ко всему прочему, Россия ещё и писущая. И это – не столько графоманы с их граммофонами. И это – не только писчебумажная интеллигенция, в большей своей части ерундивированная во всех вопросах, без исключения. Если литература есть избыток/излишек Слова в человеке, то что такое письменное Слово? Отзывчивость. Но это отзывчивость не эха в горах, а, скорее, «скорой помощи»: это как раз то, что опережает и саму «скорую помощь» с красными крестами и полумесяцами, и любые прочие неотложки, и все строгие приказы, и нижайшие просьбы, и высочайшие призывы, и планы по оказанию помощи, и все пламенные речи об отзывчивости.

Итак, оттиснули литеру. Оттиснули на бумаге. Но не от жизни. Наоборот, дали ей, буквице, новую жизнь, долгую, во всяком случае, дольше звука. Это состояние можно было бы назвать непредсказуемостью. Но я воздержусь произносить это сердитое слово, рождённое до речи и

равнозначное мучительному молчанию: сказав его, я снял бы с себя всякую ответственность за то, что вполне предсказуемо может произойти, а «эпоха истмата» ещё не закончилась, и ужас соседствует с торжеством.

Однако же библейское «В начале было Слово» – это про нас, про язычников.

Что такое для язычника Бог, Апостол, Пророк? Всего лишь Слова, которыми обозначены бог, пророк, апостол и многое-многое другое, под ле обретающееся: человек и червь, небо и птица, зерно и камень... В каждом Слове, как в зерне и камне, наличествует своя душа.

... В одном из прозаических опытов известного поэта я наткнулся на фрагмент фразы: «... язык, русская речь, часть речи, равная человеку...» Наткнулся – и споткнулся. Спасибо поэту за эту спотыкачку. А я упоминаю о ней лишь для того, чтобы попытаться понять смысл высказывания в свете и духе христианской традиции.

Итак: часть речи есть, конечно же, слово. Но слово не может быть равным человеку, когда оно равно богу. Ибо сказано: «В начале было Слово, и Слово было Бог».

Речь дана человеку. Но Слово принадлежит Богу. Отсюда: возвыситься до Слова или до соответствия, подобия ему.

Во всём этом есть какая-то логическая незавершённость – не в поэтических конструкциях, но в строках самого Священного Писания.

Что следует?

Речь состоит из Слов. Каждое Слово – Бог.

Следовательно, речь состоит из множества Богов.

А что такое многобожие? Это язычество.

Значит, речь есть язычество – с поклонением слову как идолу или кумиру, не человеком созданному, но Богом.

Выходит, что язычник ближе к Богу, чем христианин?

Не поминай всуе, не бросай слов на ветер, слово не воробей... Ладно, не воробей. А – что?

Слово оно и есть Слово, само по себе, по себе само. Оно ни в чём не виновато, ибо оно выше человека.

Виновата речь, подвластная человеку.

В таком случае, что же такое для язычника бог, апостол и пророк? Слово – отец, речь – сын, язык – дух святой.

Вот на нём-то, на языке, и держится вся духовность наша.

Но вначале всё-таки – власть Слова.

В извечной тоске по государственности российский народ, как бечка в колесе, из века в век кружит по трём кругам ожиданий. Сначала он ждёт власти, потом – ждёт чего-то от власти, затем – уже ничего не ждёт, кроме новой власти, кроме круга первого. Но всякая власть приходит с вождями вожделенными и уходит с ними же, кроме власти Слова, лечащего и убивающего...

Незадолго до смерти великий физиолог Иван Петрович Павлов вывел довольно печальное суждение о русском народе: «Он имеет

такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами». Ничего себе, сужденьице-то...

О чём же идёт речь? О высшей нервной деятельности человека и, как об её составляющей, второй сигнальной системе. Благодаря этой самой системе, человек способен не только ощутить и воспринять окружающий реальный мир, но и складывать понятия о нём, абстрактно мыслить, познавать общее, всеобщее и необходимое.

Физиологи определили: у нормального современного человека первая и вторая сигнальные системы находятся в относительном равновесии. Исключение составляют люди русскоязычные, у которых вторая сигнальная система, то есть слово, абсолютно преобладает.

Что это означает в переводе с языка наукообразного на обыденный? А вот что.

Нетрудно представить банальную сценку: к горлу, например, франкоязычного мужика поднесли нож франкоязычные же грабители. Вселенский вопрос: что делать? Павловский ответ: что-то. Но прежде что-то-делания тому франкоязычному мужику нужно мозгами пораскинуть и сообразить: что происходит? А для такого соображения вполне достаточно почувствовать горлом острие приставленного ножа или услышать устную рекомендацию: раздевайся, месье, или мы сами... Такое мозговое соображение происходит, как правило, очень быстро, со скоростью нейронов. И лишь после этого франкоязычный (да и любой иной, кроме русского) мужик принимает решение: то ли кошелёк ему предпочесть, то ли жизнь.

А что же – мужик русскоязычный? О, у него другая система!

Для осознания подобных обстоятельств он нуждается в неременном слове. Ему просто позарез необходимо, чтобы в этот трогательный момент кто-нибудь словесно обозначил происходящее: «Грабят!», а если этот «кто-нибудь» отсутствует, тогда он сам, диким рёвом или испуганным шепотом, объявляет суть момента: «Грабят!» – и только после этого краткого, но всё же продекламированного манифеста, мужик действует, исходя из сложившихся обстоятельств.

Немцы на пожарах никогда не разговаривают, они молчаливо тупшат огонь, ибо они видят дым и пламя, унюхивают гарь, слышат треск и грохот разрушения, кожей ощущают жар. В России же пожар – не пожар, если об этом не объявлено во всеуслышание...

Россия – цивилизация Слова, в отличие от западной цивилизации действия.

«Не на деле, – говорят у нас, – так хоть на словах».

Этим многое, если не всё, сказано.

Условное слово. Рефлекс.

А уж после него... О, что бывает после него – иногда страшно вымолвить...

Послесловие, так сказать.

Вот, кстати, почему Россию, а не другие страны, так регулярно, с постоянством смены времён года, потрясают стихийные волны разного рода переименований: от названий городов, улиц и праздников – до беспредела?

Да всё потому же: российские правители без обновлённых словесных обозначений плохо ориентируются не только в пространстве, но и во времени.

И я очень удивляюсь, как это главный идеолог Хибаровского крайкома партии товарищ Краснопресненский-Крестовоздвиженский до сих пор ездит по улице имени идейно чуждого купца Калашникова или по проспекту имени уже осужденного историей КПСС «расстрельного» XIV съезда ВКП(б)? По логике второй сигнальной системы, товарищ Краснопресненский-Крестовоздвиженский в пешем виде давно бы уже должен был потеряться...

Вот и всё, что я хотел сообщить вам, досточтимые почитатели отпущенных на бумаге гутенберговых литер.

Впрочем, доктор Штукарский всегда к вашим услугам, он готов разъяснить медико-физиологическо-психологические подробности всем интересующимся. На то он и доктор, а не бог.

Обо всём ином, сопутствующем: см. русскую литературу. На то она и литература, а не пущенные в атмосферу слова. В XX веке – расцвет юрского периода советской литературы: Олеша, Тынянов, Трифонов, Казаков, Нагибин... Стишки писал всемогущий, второй после всевышнего, товарищ Андропов, а клоун Никулин – кое-что о фокусах жизни. Попадались в юрском периоде и динозаврики, куда ж без них-то, юрких. Но я – не о них. Я о другом. Случись такой юрский период этак тыщу лет назад – так вот вам и был бы готовенький миф: какой-нибудь былинный Алёша Казакулин, стихотворец, фокусник и оплот государственной безопасности по кличке Долгорукий. Но нынче мифа не получится. Не сложится миф. Гутенберговы литеры помешают мифу.

И прежде, чем вынести на свет страницы сочинений С.С. Помиранцева, обязан сказать следующее. В откровенной беседе со мной Семён Семёнович на один из моих ехидных вопросов ответил честно, по-партийному:

– Я вру чистую правду!

За сим имею особливую честь оставаться Вашим, милостивые государи и государыни российские почитатели, всепокорнейшим и преданнейшим слугою.

XXV

...Сидим это как-то раз за дворовым столиком, аккуратно домино раскладываем, как культурные люди. Лично я, Помиранцев Семён Семёнович. Со мной две коллеги из жэковской слесарки, Щитовидов и Кувыкин. Щас, думаю себе, заделаю вам «рыбу». И только собрался заделывать, как мимо шуршит жиличка из 53-й квартиры.

– Ну, что, – говорит, – всё доминируете, гегемоны?

На это постороннее замечание мы прореагировали соответственно.

Кувыкин сказал:

– Ага, щас дому запускать будем, гражданочка. Пусто-пусто.

Лично я сказал с чувством юмора:

– Фирма веников не вяжет.

И Щитовидов тоже сказал:

– Не думай об секундах свысока.

Между прочим, Кувыкин всегда заводится первым, с полоборота для всяких отвлекающих разговоров. Он у нас слесарит и одновременно кладовщиком служит. Самый фокус в том, что, наверное, никто к РСФСРе этого Кувыкина не мог, не может и никогда не сможет заменить на рабочем месте. С секретом работает Кувыкин. На полках, например, где у него таблички «Свёрла разные», на самом деле лежат плашки «семь на восемь», а там, где плашки, там и вовсе дворницкие веники. Поди тут, посторонний товарищ, разберись, где чего... Да ни в жизнь не разберётся! Потому что Кувыкин так всё замаскировал, что только персонально сам один и мог сообразить: где чего и для чего. Мы в трудовом коллективе неоднократно восхищались: вот ведь сволочь такая, Кувыкин, не шибко образованный, а сумел-таки додуматься! И от того своего секрета получил Кувыкин со стороны районных руководящих товарищей полный авторитет незаменимого передового труженика жилищно-коммунального хозяйства, в президиумы стали его высаживать, сидит там Кувыкин, как фикус, и любит на свое впечатление. Фотографируют Кувыкина на разные доски почёта, то же самое и в газету «Огни коммунизма». Шесть раз в почётные юные пионеры принимали, а похвальных грамот – так и вовсе! В слесарке всю стенку около своего шкафа оклеил. Вот такой есть Кувыкин, что кроме почёту никаких взысканий не имеет. Газетчики ему название дали: артист своего дела, и Кувыкин на это звание не возражает. Больше того, любит при всяком удобном и неудобном случае поговорить о культурности профессии, по-старому, ремесла: кто кого, например, перешибёт в своём деле – заслуженный артист или заслуженный слесарь-инструментальщик пятого разряда?

Вот и в тот раз, перед самой «рыбой», Кувыкин не смолчал.

– Это, – говорит, – кассирша из драмтеатра шуршит и нацёт гегемонов свой нос суёт. Во втором подъезде проживает. А вот знаете ли вы, синьоры, филармоничку из 113-й квартиры? Ряженка такая, что вся из себя, аж противно. К тому же, в бриллиантовых кольях на чём попало.

Я, само собой, знаю и могу сказать откровенно, по-партийному: хоть и в нарядах дорогих та филармоничка, но всё ж таки женщина засухарелая до последнего шанса. А я в женщинах хорошо разбираюсь. И потому я сказал:

– Не заостряй, Кувыкин. Щас рыба будет. И филармоничка Римма Леопольдовна тебя не спасёт, что ты опять будешь нашим вечным козлом отпущения в домине.

Только нашего Кувыкина хрена с два кто остановит, когда вдруг появляется возможность поговорить про искусство и культурность текущей жизни.

– И вот, – говорит он, не задумываясь о рыбе и козле, – прошлой зимой наметилась на филармоничкиной жилплощади будущая предтеча. Вся система погнила. Филармоничка – ко мне. Боже, говорит, боже, я вас по почётной фотокарточке, которая в жэке висит, сразу, с первого моего взгляда, опознала как ударника, передовика и артиста сантехнического производства, не откажите в любезности, на кухне батарея сочтется, скоро потоп будет. Боже ж мой, говорю я с восклицательным знаком, какие могут быть разговоры? Как, говорю, можно игнорировать собратьям по культурности ремесла? И вот я пошёл...

Эту аморальную историю Кувыкин уже разов пять или шесть перед нами мусолил. Но для полной характеристики Кувыкина теперь я сам расскажу чего он рассказывал, потому что Кувыкин такой, что на десятый раз всё позабудет наоборот или нарочно переверёт.

Значит, дело было так. Возится Кувыкин на кухне возле батареи водяного отопления со шведским ключом. Старается работать культурно, как требует начальник ЖЭКа товарищ Сперанский, то есть без мусора и с разговором.

– Между прочим, – говорит, – женский пол во Франции поголовно спит без подушек.

– Да? – удивилась Римма Леопольдовна. – Ну, и что же из этого факта следует?

– А ничего. Это я так, для знакомства. Разве не слышали? Очень такое спаньё помогает спать и полезно для кровообращения.

– Нет, – говорит филармоничка, – нет! Вы чего-то явно не договариваете! Вы на что-то такое намекаете, не правда ли?

– Ага, – говорит Кувыкин. – Неправда. Я уже скоро как пиисят лет никому не намекаю.

Хочочет Римма Леопольдовна, подмигивает обоими глазами, а также обоими ногами разные крепдешины выдрючивает, как молодая кобыла, а самой уж тоже, наверно, лет сто, ну, может быть, полсотни, их ведь не шибко на возрасте словишь, артисток этих.

Кувыкин на пробку паклю намотал, в сурик обмакнул, в батарею вкручивает и песенку мурлычет: «Болеет парень одинокий в тумане моря голубом...» Такая шутка у него для клиентов.

И вот с течением рабочего времени между ними образовался такой межальянс.

– Ну, вот, – сказал Кувыкин, – пошло дело без похмела. И даже могу, извиняюсь, о биде в туалете побеспокоиться по собственной иници-

циативе. Хотите? Если по доброму знакомству и взаимному согласию с договорённостью, так в два счёта заделаю.

Филармоничка плечиком повела, китайские драконы на халате языками погаными задёргали. Пришмалила она сигаретку с фильтром, дым пустила и прищурилась, как на злобу дня.

– Ах, – говорит, – зачем же так торопиться, друг мой, что на два счёта? Я прелестно вижу, что губа у вас не дура. А сами вы какой?

– Чего сами?

– Губа, говорю, не дура, а сами дурачок. Зачем же непременно в туалете, когда во всех развитых странах цивилизованные люди этим делом занимаются исключительно предпочтительно в спальном помещении?! Давайте, мой друг, сперва по чашечке ко-о-ффэ, расположитесь в креслах, а потом уж побеседуем по-светскому об вашей, извините, мужской беде. И потом... чего это вы такой принципиально серьёзный?

– Мы, – отвечает Кувыкин, – не привыкшие на работе улыбаться. Соцобязательства не предусматривают.

– А я научу! – сказала филармоничка. – Именно как раз в два счёта! Ну-ка, скажите протяжненько слово «сыр», друг мой.

И Кувыкин вынужден сказать клиенту:

– Сы-ы-ыр...

– Чудненько! Вот вы и улыбнулись!

– Это сыр улыбнулся, а не я, – обиделся Кувыкин. – Я этого вашего сыра со времён, можно сказать, нэпа в глаза не видел.

– А щас увидите, не торопитесь! И вообще, мой друг, с этим делом – вы понимаете меня? – спешить не следует. Мы же с вами не во Франции проживаем, а в Союзе Советских Социалистических Республик.

Опешил Кувыкин:

– Я, извиняюсь, наверно чего-нибудь не то ляпнул, так я за это извиняюсь. Дело не в деньгах, и вы меня не поняли...

– Почему же не то? Очень даже то! И я тебя поняла, Ателла! Казанова! Дон, как говорится, Жуан! Кесарю кесарево, а слесарю то же самое, не так ли? Ладно! Если уж пришёл и увидел, так бери и побеждай!

– Тогда, наверно, я сам малость не понял... За что очень извиняюсь и в новый раз подчёркиваю, что денег с вас брать не намеренный, а также готовый всегда служить квартиросъёмщикам за просто так, чисто по-любительски...

– Ах, ах! Ты считаешь, что у меня нет никакого физического состояния? О, как ты жутко стыдлив! Как ты коварен, Лоренс Оливье!

У Кувыкина от таких жалких слов голова помутилась, рабочие руки затрепетали, как у знаменитого балалаечника Аполлона Полведерского. Однако собрался с духом, всю свою передовую гордость в один кулак собрал.

– Стыдно, – говорит, – у кого видно. А у нас, синьора и синьо-

рита, какое никакое, а всё ж таки тоже имеется состояние нервной системы, чтобы ваши слова терпеть...

Тут филармоничка глаза закрыла, носом задышала, ноздри раздуваются, грудь ходуном ходит, драконы на халате извиваются.

– Тореадор... тореадор...

Кувыкин чуть на жопу не сел:

– Вы это того... не надо на меня так грудиться...

Куда там!

И взвыл Кувыкин:

– Что же вы со мною вытворяете, свирепая женщина? Зачем такое бычиное обхождение? У меня же ж разрыв сердца может запросто приключиться, на два счёта! У нас же ж, гегемонов, здоровье сношенное, и разум кипит возмущённый...

– Пусть кипит, пусть кипит, – шипит филармоничка и двумя своими перламутровыми пальцами «козу будущую» изображает, дразнится: – Тореадор, смеле-е-е-я в бой!

А Кувыкин почём зря отбивается:

– С вами-то, Римма Леопольдовна, за один раз не управисься. У вас же ж вся система давно поржавевшая...

И тут филармоничка вся поперхнулась. Встала столбом. На лице ультрафиолетовые пятна косяками пошли.

– У меня? Поржавевшая? – И очередной палец к двери на выход протянула. – Пошёл вон, мудака! Во Францию! Без подушек!

Кувыкин поскидал кое-как инструмент в сумку, неуютно ему, наверняка, чего-то такое некультурное брякнул, а сообразить, чего такое именно, никак не может, нервная система у него раздвоилась, расстроилась, и среднего образования не хватает. Только и достало нашего Кувыкина на то, чтобы сказать с невыразимой обидою:

– Очень напрасно вы обзываетесь, Римма Леопольдовна. Потому как сантехника – это вам не филармония, чтобы сперва салатом оливье обругивать, потом незаслуженно наградить бабской фамилией казанского происхождения, потом – тореадор смелее в бой, а на четвёртое и вовсе хуже некуда. И к тому же ж такое обзыванье никак не личит вашему художественному образу обличья.

– Хулиган!

– А хули всякие возводить на мастеров сферы обслуживания вообще нетактично, Римма Леопольдовна...

– Вон! – кричит филармоничка, – Дуй отсюда! Я тебя сразу раскусила, что ты всю жизнь «под мухой» и ни на что не способный!

– Лучше, – говорит Кувыкин, – под мухой, чем под тобой. Арривидэрчи, Рима!

С тем и удалился на дальнейшее производство, как джентльмен, но попросившись. И при всём том остался на весь текущий трудовой день в полном изумлении, из которого выбрался лишь назавтра, когда в трудовом коллективе товарищи разъяснили ему: всё, дескать, пра-

вильно, Кувыкин, мудака ты и есть самый натуральный в собственном соку, а филармоничка, видать по всему, ещё ничего бабёшка, хоть и засухарелая, но ещё способная, хотя, с другой стороны, оказывается, всего лишь первый раз в своей насыщенной жизни услышала от Кувыкина про такое излишество капиталистической гигиены и сантехники, как биде... вот и спутала, как говорится, хрен с пальцем, биде с бедою, а может быть, что и глуховатенька, просто ослышалась, дак того с кем не бывает?.. они же ж всё ж таки все такие, наши Маши, Даши, Клаши и тому подобные Риммы Леопольдовны, что настоящей сантехнической культурности глазом не видели, 'слухом не слыхивали, нюхом – то же самое... а вот ты, Кувыкин, и есть то самое слово, которым тебя назвали, не взирая на твой передовой культ личности и почётные пионеры...

Обычно Кувыкин заканчивал эту жалкую историю так:

– Короче, женщина оказалась очень индивидуальная и сама от этого шибко страдает. По соседским сведениям, сидит, например, дома абсолютно голодная. Зато кот у неё, Мурло называется, в это время обжирается всякими дефицитами, его филармоничка при свидетелях кормит диетическими сосисками по два сорок за кило: гляньте, дескать, какая я богатая! А сама слюни глотает, и мне такой ихний театр нипочём не постигнуть, потому что после того научно-фантастического романа у неё на вызове мне две сплошные недели снился жуткий кошмар. Это нечеловеческое зрелище... Пребываю будто бы я на секретном термоядерном атолле, голый остров в мировом океане, и сам я тоже голый, как мать родила. А на меня надвигается чёрный Ателла и «козу» из пальцев кажет со зверским выражением. А та «коза», как нам по телевизору известно, обозначает не быка и тореадора, или, например, чтоб детишек щекотать, а, совсем наоборот, знак победы над вражеским человеком, по-старинному виват и виктория. И вот этот ужасный чернокожий Ателла щекотит меня своим виватом. Чую: всё, кранты, вот-вот помру и напоследок обращаюсь к памяти трудового коллектива: синьоры и синьориты, говорю со слезами, будьте милосердны, скажите этому товарищу негру, что советские слесаря не приученные к такому веселью... Куда там! Ателла хохочет, как хочет, и при этом меня вынуждает: скажи, говорит, сы-ы-р, я тебя шибко скушать хочу! И тут вдруг вырастает посреди атолла термоядерный султан имени антисоветского академика Сахарова. И садится султан прямо на голову Ателле, и уже Ателла вовсе не Ателла, а свирепый аятолла Хомейни, иранский государственный поп, нехорошо ухмыляется: щас, говорит, сделаем тебе, Кувыкин, обрезание головы... Вот какое кино, братцы, что на всём протяжении – ни одной секунды из социалистического реализма...

– Да уж, – обычно заключает разговор наш третий доминошник Щитовидов, – куда уж... Сплошное международное положение, а не сон. Стало быть, ты не думай об секундах свысока, Кувыкин. Потому

что у каждого мгновенья, Кувыкин, имеется свой черёд. И у каждого черёда – свой Кувыкин...

XXVI

– Кувыкин-то хоть ознакомился с твоим произведением? – спросил я Помиранцева, возвращая ему первый том собрания сочинений с грехом пополам расставленными знаками препинания.

– Ему это дело недоступное, – сказал Семён Семёнович. – Кругозору в ём маловато. К женщинам вообще отношение нетоварищеское. К тому же, зачем ему щас читать? Пусть сюрприз ему будет, когда в «Огнях коммунизма» напечатают. Всё ж таки эта страница его жизни ещё в прессе неосвещённая. А как тебе показалось?

– Не ожидал от тебя, Семёныч. Честное слово, не ожидал.

– Вот видишь! Вы думали, что Семёныч только про сощобязательства заботится...

– Да ты погоди радоваться. Я тебя, наоборот, сейчас огорчу.

Помиранцев снял неизносимую шапку, вздохнул, побряхтел...

– Выкладывай, чего уж там...

И я выложил. Про то, что в своём сочинении Помиранцев предстаёт перед простым советским читателем уже не как обычный Помиранцев, а как необычный писатель Зоценко, которого сразу же после войны центральный комитет партии специальным постановлением осудил за пошлые сюжеты...

– Зоценко, значит? – спросил Помиранцев и прищурился.

– Зоценко.

– Михаил Михайлович?

– Он самый.

– Тем лучше. Вернее, тем хуже для Зоценки. Меньше славы ему будет. А с другой стороны, нащёт сюжетов я тебе вот чего скажу, Алексеич, чтоб ты не так волновался и субъективно не беспокоился. Не помню кто, но кто-то точно из писателей сказал: нет пошлых сюжетов!

– Есть плохие писатели?

– Есть плохие читатели! Которые про сюжеты думают вместо того, чтобы предложения читать, и читают партийные постановления вместо воспоминаний своих современников. Я, например, хочу и буду сочинять, как летописец Нестер: что было – то и было. А что цэка осудило, так рассудит время.

Пришло время и мне крякнуть.

– Ладно, Семёныч. А ещё кто читал твой мемуар?

– Князь читал.

– И что же Князь?

– Ничего. Сначала молчал, вздыхал, потом в обратный раз напился до посинения и начал плакать про своего Шурика. Между прочим, спро-

сонья сделал критическое замечание. Сказал, что Щитовидов абсолютно прав, когда об секундах нам постоянно напоминает, но надо, говорит, смотреть на это дело с точки зрения вечности...

XXVII

С точки зрения вечности, было это совсем недавно, какой-то миг вечности тому назад.

Жил-был бог. Молодой и весёлый, он по земле бродил, как бродит вино, по всем временам года босиком. Он обжигал горшки и очень любил посидеть в хорошей компании, где бывало много песен, женщин и смеха.

– Хорошо сидим! – восклицал он в кругу друзей, разливая молодое игристое вино.

И случилось так, что за пристрастие к выпивкам бог был сослан на поселение в Закарпатье.

– Там, – сказали ему на прощанье коллеги-олимпийцы, – есть такой удивительный камень, что если взобраться на него, то откроется шикарный вид. Этот камень лежит в центре Европы. Ты, брат, осваивай его помаленьку.

Когда доверчивый бог прибыл на место ссылки, он увидел чудесную страну, ставшую много-много позже селом Верхне Копане.

Бог гулял по карпатским склонам, любовался стадами овец и подолгу беседовал с чабанами – ведь и овцы, и чабаны в то время уже населяли землю. И, быть может, только одного не хватало богу: песен и музыки, к которым так привык он, бог веселья. Они ещё не родились, brave парни с трембитами.

Впрочем, и того, что обнаружил в этом краю бог, было уже предостаточно. Он бросил пьянство и занялся общественно-полезным трудом, производя вино и обучая этому игристому делу местных жителей. Особенно им всем удавалась сливянка – молодая и весёлая, как сам бог.

Пришло время, бог не состарился, но умер. Дело же его продолжало жить и побеждать, оно оказалось бессмертным.

Так ведь и в самом деле, неужели же непонятно, насколько это – божественно: терпкий запах имеретинских трав, гурийская капуста, восхитительное лобио, лёгкое кахетинское вино... Всё ложится на язык изящно, со вкусом и радостно сочетается подобно таким словесным парам, как Иисус и Сусанна, коктебельские халцедоны и ахалтекинские жеребцы... Чёрный бальзам. Красный портвейн «Ливадия». «Негру де Пуркаръ». Мускат «Массандра». «Ахашени». «Хванчкара». «Киндзмараули»...

– Вах, вах! – шумят усатые парни, и всего лишь одной, впрочем, довольно-таки глуховатенькой буковкой, не дотягивают свой восторг до имени весёлого бога. – Вах, вах!

– Ах, ах!

Продавщица винного отдела Вера-большая влетела в кабинет заведующей магазином – взволнованная до нервного тика.

– Ах, ах, тётя Хася! – затикала она. – Пойдёмте-ка скорей! Там иностранец какой-то! Верка-маленькая едва отбивается!

Завмаг тётя Хася прервала телефонный разговор, поправила синюю фирменную пилоточку и упрямый локон выпустила на свободу.

– Спокойно, девонька. Всё может быть. Может, иностранец. А может, обэхэээсовец. Пошли. Улыбка! Грудь вперёд!

По сию сторону прилавка оборону держала практикантка Вера-маленькая из торгового техникума. По ту сторону прилавка стоял грустный мужчина вполне европейской наружности.

– Кюрдамир алабашлы? – спрашивал он.

Вера-маленькая испуганно улыбалась и страдальчески семафорила бровками: не понимаю, дескать, товарищ зарубежный гость нашего орденоносного города Хибаровска...

Тётя Хася прислушалась.

– Бенедиктин шартрез токай малага? – вопрошал мужчина. – Мадера рислинг каберне? Акстафа кагор? Цоликаури вермут ркацителли?

– Ленин, партия, комсомол! – отвечала Вера-маленькая. – Вива Куба! Рот фронт!

– Плииска? – настаивал покупатель, теряя терпение.

– Плиз, пли-и-из! – пискнула Вера-маленькая. – Конечно, пожалуйста. Добро пожаловать в первенец нефтехимии! Миру мир! Родине – наш ударный труд! Понимаете, камрад?

Камрад вздохнул:

– Водяра-то хоть есть?

– Йес, йес! – отозвалась практикантка и тут же язычок прикусила.

– Стоп трёп! – энергично вмешалась тётя Хася и пальчиками своими золотыми-бриллиантовыми притянула мужчину к себе – за воротник, через прилавок. – Ты чего придуряешься, ханыга? Ты чего это иностранца из себя незаконно корчишь и р-р-рыкетируешь передовых работников торговли? Может, после твоёй гнусной провокации у продавщицы нехватка будет или выкидыш на нервной почве? Где твоя культурность, засранец? Вали отсюда, отморозок, а то сию минуту милицию позову!

Покупатель пожал плечами и вышел вон. А богини прилавка остались. Откуда ж им было знать, что этот недостойный потребитель и привереда лишь вчера обрёл свободу, отмотав по лагерям и ссылкам в общем-то ничтожный с точки зрения вечности срок: четверть жизни.

Продавщицы с восхищением глядели на заведующую. Вера-большая уже не тикала, она нормально светилась, как электронные часики:

– Тётечка Хасечка! Это ж как вы его прелестно откоммуниздили!

Вера-маленькая, умная, сметливая девочка, вывела практический урок:

– Псих какой-то ненормальный! Бенедикт шизанутый. Курдамир алабашлёбнутый! Ага же?

– Псих-то, конечно, псих, – согласилась тётя Хася, но голос её вдруг как-то выпал из сферы обслуживания, он сделался задумчивым и протяжным – словно русская речь на поминках, словно восточный тост на дастархане. – Псих, я говорю, само собой. Зато память-то какая, девоньки! А я вот старею, забывать стала многое...

И всё в той же молодой, светлой задумчивости, неожиданным образом украсившей лицо торговое, заведующая пошла к себе – походкой канатоходца. В ушах её звучала дивная музыка слов, какие-то белые вальсы, красные марши, сиреневое прощание сливянки... странная, полузабытая мелодия, но вот какая именно – этого тётя Хася понять не могла...

И тихий ангел вытянул крылышки по швам... ой, да какие же швы у ангела?.. – скажем так: ангел с крылышками, сложенными по стойке смирно, вылетел в вентиляционную трубу.

Он никому ничего не сказал. Говорить было нечего да и незачем, люди до сих пор не имеют ангело-русского словаря.

И тогда бог умер во второй раз. Уже окончательно.

О, бог мой! Бог молодой и весёлый! Как грустно, как неуютно без тебя на этой сумеречной земле! Ибо: никогда при джентльменском наборе из ста граммов на доньшке, солёного огурца и «беломорины» не получится более-менее приличной вакханалии.

Какие жеребцы, халцедоны и Сусанны? Какие трембиты? Какие овцы? Не смешите.

Новые пастыри. Новая жизнь.

А боги... Что же, боги лгут, говоря людям о вечной жизни, об искуплении, воскрешении... Боги совершенно точно знают, что ничего этого нет и в помине. Но! Безумно сострадая людям, боги лгут и лгут именно для того, чтобы люди продолжали жить, а не сошли с ума.

Боги живут на небе. Но умирают-таки на земле.

А у того босяка, у древнего, было, конечно, всё – как в Греции. Но только совсем наоборот. То есть, как в России.

Он был неправильный бог.

XXVIII

– Бог не выдаст, – сказал Хворобушкин, лицо физическое.

– Ты уверен? – спросил параллельный хибаровчанин, закадыка Изя Несчастливщиц.

– Полностью. На все сто пятьдесят. Потому что бог не фрайер. Это во-первых. А во-вторых, он ведь, кажется, даже и не заметил

вопиющего факта, что ты, музыкант, пропил свою скрипку неизвестно где, когда и с кем. Теперь, Изяслав, бери в подружки другую музу. Надо писать стихов. Дело пленительное, я знаю. Я сам поэт, хоть и гонимый...

Здесь мы покуда попросщаемся с Несчастливщицем, но он вас не оставит, судьба у него такая изысканная бог весть откуда: напоминать вам о самих же себе.

Пообщаемся с Хворобушкиным. Пора и ему на сцену, вольному стрелку, фрэйшицу. А то кое у кого от слов Хворобушкина уже и уши на макушке торчком встали.

С чего начать общение? С текущего времени? Или с начала течки?

Начнём с середины. Она ж золотая!

В самом начале своего писательского поприща Феликс Хворобушкин, недавний ударник комсомольско-молодёжной стройки, подрядился в Хибаровске при похоронном бюро сочинять эпитафии – ямбом и хореем, гекзаметром и на манер русского былинного эпоса, уж кто как закажет.

И случилось так, что вездесущий Изя Несчастливщиц подсунул Феликсу нашего Семёна Семёновича Помиранцева со смущённой просьбою: довести, так сказать, до последнего слова его досрочный памятник, который томится в домашнем коридоре и симулирует вешалку.

– Этот факт рвёт на куски моё сердце, – ответил Феликс и закрыл руками лицо, перекошенное беспредельным и неутешительным счастьем. – В таком деле думать надо. Заходите через два дня на третий.

Помиранцев вышел на цыпочках. На цыпочках же и пришёл в назначенное время. Гонорар пошёл в одни руки, эпитафия – в другие.

*Здесь лежит Семён Семёныч
Помиранцев! Коммунист!!!
Кончил он досрочной смертью!
Не смотря что сердцем чист!*

Семён Семёнович прослезился, никто ещё никогда не высказывал ему таких задушевных слов. И что трогательно – ни одной запятой.

А Хворобушкин руки потирал: муза попёрла, заказы повалили косяком, работы – как у негра, зато и гонорар, как у плантатора.

И только закадыка Несчастливщиц помалкивал и поёживался. Он считал, что с таким, как лично он и как все комсомольско-молодёжные поэты, многострадальным народом всякое в жизни может случиться, и ожидать от такого послесказуемого народа можно много всякого разного и неожиданного. Но чтобы потомственный еврей Изяслав Несчастливщиц когда-нибудь негром работал? Нет, с такими музами он не желал даже знакомиться.

Кстати, о знакомстве. Почему пару лет назад сошлись они, Изя и Феликс? Да потому, что однажды в какой-то задрипанной, прокурв-

ленной кафешке они вдруг услышали друг друга, отсиджая неопределённый срок хоть и в разных углах, но говоривших на одном языке: на одесском. И они потянулись навстречу собственным языкам, не в Киев же. Хотя, следует сразу сказать, Изя никогда не был в Одессе, а Феликс являлся для Хибаровска новожилом.

О, этот язык! Русско-украинский, в рассоле иврита-идиша, с добавлением молдавско-бессарабско-румынского и греческого, вперемежку с немецким и англо-французским... Смех сквозь незаметных слёз. Он же тигель. Он же котёл. Он же и «пулечка», то есть самое вкусное, что имеет курица, но у каждого куриного потребителя имеется своя «пулечка», излюбленная: для кого-то пупок, для кого-то крылышко...

После визита Помиранцева Феликс затаился в своей печальной конторе на целую неделю. Он сочинял поэму-эпитафию на случай досрочной кончины старенького и больного генсека. В конторе поговаривали, что если прежний генсек поддерживал своё партийно-государственное здоровье при помощи специальных батареек, то нынешний работал исключительно только от сети 220 вольт.

«Пошлю в центральную «Правду», – размышлял Феликс. – На первую полосу. В чёрной каёмочке. И два портрета, генсекин и мой...»

Утреннее радио ошеломило не только Феликса, но, наверняка, и весь Союз писателей СССР, и весь СССР, и весь мир.

– После тяжёлой и продолжительной болезни, – вещал металлический голос, – не приходя в сознание... генеральный секретарь... приступил к работе... Ограниченный контингент советских войск освободил от арабов город-герой Новосибирск...

Это был ещё тот удар! Хворобушкин рыдал. И вес пера вдруг стал равен весу пирамиды. Поэт разуверился в смерти и замолчал основательно и надолго, на целых три дня...

Так бывает: состояние человека между тишиной и звуком. Вот это и есть время истинного моления. А на русском языке так и вообще удобней молчать, потому что чужие боги охотнее всего внимают иноверцам.

Гражданин с Одессы Феликс Хворобушкин приехал в Хибаровский край непосредственно по зову сердца и призыву Центрального комитета ВЛКСМ. В крае разворачивалась гигантская стройка. Её объявили ударной комсомольско-молодёжной, хотя две трети работавших составляли зэки и ребята из стройбата.

Феликс на совесть трудился. Но слава нашла чернорабочего широкого профиля совсем не в том месте, где он рассчитывал. Именно здесь, на новостройке коммунизма, неожиданным для самого Феликса образом обнаружилось и публично проявило себя одно его, Хворобушкина, свойство, а именно: к любому слову, даже к иностранному на ста языках, Феликс мог моментально подобрать рифму. В качестве

основы новонайденного слова, рифмующегося со словом, заданным на испытание, Феликс использовал слово из трёх английских букв, озвучиваемых двумя русскими. Само собой, от спаривания алфавитов невыносимо наносило ароматом корабельных канатов, туманами Альбиона, портами всех стран мира, а также, разумеется, запахом акаций Дерibasовской улицы и платанов Приморского бульвара... и лодки, полные фекалий, и грубоватые шуточки до невозможности учтивых и сентиментальных бандитов.

Счастливую находку Феликс выдернул-таки из справочника «Кто есть кто», вопрос – ответ... да шоб я так жил, как они подавятся, и нехай себе давятся: who is who, ху из ху, кто из кто, кто из кого, а Феликс из Одессы, и вопрос назрелый, вопрос актуальный для немотствующих времён, а потому и справочники такие начали входить в моду, выпорхнув из дальнего зарубежья.

– Кто есть кто – это ещё не весь вопрос, но когда ху есть ху, тут уж отсутствует любых вопросов, – так Феликс теоретически обозначил свой метод.

И вот вся стройка мучилась, чтобы посадить Хворобушкина в калошу и в лужу, чтобы обескуражить и расписать в бессилии языкознания и, тем самым, развеять легенду о феноменальном даровании простого, к тому же и молодого, рабочего человека. При этом абсолютно все, очевидно и всеуслышно, прекрасно понимали, что в методе Хворобушкина нечто нахально выпирает и что-то ненормативно дребезжит, понимали даже – что именно дребезжит и выпирает, однако при всём том понимании делали внешний вид, притворщики, будто бы ничего и ничто не выпирает и не дребезжит, наоборот, чистая монета, высший класс языкотворчества, пилотаж в духе Алексея Кручёных и Велимира Хлебникова.

– Слушайте сюда, – говорили, – этот простой, как болт, Феликс, этот язычник, полиглот и энциклопедист, этот ху из Одессы... просто слов нету, как он чешет на всех языках, ходячий уникам!

Строительная многотиражка заикнулась было о Феликсе как о наследнике Вольфа Мессинга, но как заикнулась, так быстренько и заткнулась, идейная ошибочка у них вышла, потому что буквально на следующий же после заикания день выяснилось, что Мессинг – маг, фокусник, но, хоть и выдающийся в своём иллюзионном деле, не имеет никакого отношения ни к поэзии, ни, тем более, к марксизму-ленинизму.

Словно игра какая-то, лицедейство... Так ведь стройка же, ударная, не хухры-мухры! Не одни же только котлованы рыть, а другие закапывать! Здесь буча, боевая и кипучая, а не какая-то Москва с кабинетными энтузиастами, им-то хорошо, сидят себе на съездах и всем залом стоя скандируют «Ленин, партия, комсомол!», не понарошку заводятся, ударяются в коллективный оргазм, а потом идут в буфет и хохочут, а кто, спрашивается, котлованы рыть будет после речей пламенных? Пушкин, что ли?

Бригады состояли из ребят грамотных, башковитых, из всех пятнадцати союзных республик и трёх иностранных государств, побратимов по Варшавскому договору. И до каких же только изысков не додумывались эти головастые ребята!

– А скажи, Феликс, рифму на слово экзистенциализм.

– Whoизм, – отвечал Феликс небрежно, словно от мух отмухивался.

– А если, например, так: шибче жару и огня?

– Потому что всё whoйна.

– Это ж надо! – восхищались товарищи по ударному труду. – А, кстати, Куба?

– Whoюба.

Потом даже строительное начальство стало приглашать Хворобушкина для собственного развлечения и забавы, в баню или на день рождения с пикничком на природе, где Феликс блистал экспромтами.

– Начальник?

– Whoяльник !

– А заместитель?

– Whoемститель.

Whois'мы вылетали из Хворобушкина, как из пулемёта.

Постепенно Феликс наловчился складывать построчные стишки. Постепенно – но решительно и бесповоротно, как вылапливается из яйца ошибочно гадкий утёнок. И это был качественно новый этап. Это было уже кое-что. И кое-что даже стали печатать в строительной многотиражке.

И однажды случился вопиющий факт: сам товарищ Краснопресненский-Крестовоздвиженский дважды процитировал молодого рабочего поэта в своей речи на партконференции. А уж если сам товарищ Кр-Кр... – значит, всё! значит, хворобушкина Муза заголосила, и Пегаса замузычило, и он попёр во весь опор, пришпориваемый вольным стрелком, фрэйшицем.

По персональному приглашению Хибаровского Союза писателей приезжает Хворобушкин на конференцию МТС. Не понравилось ему на этой МТС. Во-первых, МТС оказалась совсем не то, что думал, а – «Молодость, творчество, современность», так могли бы и написать в пригласительном билете. Во-вторых, а чего это они все там прицепились с допросами?

В Доме писателей собеседование с Феликсом проводил маститый прозаик Равелин Валютин, единственный на весь край Герой социалистического труда Советского Союза. Официально он не занимал в писательской организации никаких постов, но неофициально, на общественных началах, возглавлял комиссию по чистоте рядов.

Валютин был ласков и строг, словно учитель начальных классов. Он – герой пронизательный.

– Это же какой нации, судырь, будут твои стишки? – спрашивал он.

Феликса так и подмывало по условному рефлексу вернуть рифмованное словечко, но застенялся живого писателя и сказал с достоинством, в прозе:

– Интернационал.

– Ну, ну... А я вот кумекаю, голубчик, – продолжал Валютин, – что без буквы ХЭ у вас фамилия получается воробьиная, а воробьи гвоздочки ко кресту Христову подносили, жидаы этакие, да ещё и чирикали: жив? жив? Нехорошие, однако, птички.

– Да я-то здесь при чём?

– Да ты-то покудова ни при чём. Но вот случается, что речешь яко жид. Почто? Али русскость в организме разжижена до полной жидкости?

– Щас-с! – ответил Феликс, что в переводе с одесского на великорусский означает «никогда». – В Одессе все так говорят, особенно на Молдаванке.

– Молдаванец, значит?

– Нет, это неродной папа у меня то ли бессараб, то ли зуботехник.

– А маманя?

– Полячка-таки. А сам я как бы немец.

– Погоди-ка, – всплеснул руками Валютин. – Как же этак вышло, что немец?

– А потому, товарищ Валютин, что немцы-таки до Польши домаршировали, исторический факт войны, и один из них мою маму как бы оккупировал.

– Почто как бы?

– Да тот немец был как бы хохол, из беглых от революции, но жил сначала на Балканах и считался то ли сербом, то ли хорватом, но потом перебрался то ли во Францию, то ли в Румынию, короче говоря, был греком по паспорту. А по мобилизационному предписанию – болгарин. Так выходит по неполным воспоминаниям моей мамы.

«Если это неполные, то что же тогда будет полным?» – подумал Валютин. Он был встревожен.

Но когда он снова взялся за маму, то Хворобушкин не выдержал, сорвался:

– У вас ведь, товарищ Валютин, имечко-то тоже дребезжит. Но я вас, как видите, про папу-маму почему-то не спрашиваю. Оно мне до фени.

Валютин поднял палец и торжественно произнёс:

– Равелин суть бастион крепости, твердыня и опора!

– Это, наверно, тут у вас, в Хибаровске, твердыня. А в Одессе это будет равви, еврейский учитель, таки да...

После собеседования председатель комиссии по чистоте рядов принял решение: ежели молодой и поддающий непомерного жару стихотворец в иной раз зайдёт в Дом писателей, то не выгонять, пуцай пообтёрхается, а там видно будет, куды направить.

Решение утвердил Большой Бэмс.

Таков в Союзе писателей порядок: и слово расценивается, и дело рассматривается.

XXIX

– Рассматривается дело нашего пуделя Хомы, – объявил Помиранцев. – Вылазь, Хома сапиенс.

– Ты бы это не надо, Семёныч, обзывать-то, – сказал Хлюстаков. – Сапиенс, сапиенс... Хома и так вылезет. Всё ж таки суд у нас будет товарищеский или какой?

Помиранцев сердито похлопал по столу, и показалось, что голубые татушки на его кистях, якоря и цепи, начали побрякивать.

– Иван, не усложняй и не заостряй. Фирма веников не вяжет. А суд у нас будет как бы товарищеский, но с намёком на некоторых человеческих товарищей, у которых в отдельных случаях встречается не просто спальное разложение, а, прямо скажем, сложное и аморальное. Итак, друзья, давайте ближе к делу. Все в сборе, кроме Заюшкина...

– И где он шляется, этот Заюшкин? – взвыл Мошонкин. – И где теперь наша бутылка?

Князь шумно вздохнул и полез в карман вышаривать платок.

Щитовидов пришивал новые ляпочки к малиновой нарукавной повязке с надписью «Народный дружинник», вечером настанет его черёд патрулировать улицы, переулки и дворы нашего квартала.

Кувыкин шевелил губами: готовил речь против развязных девушек-«двушек», а заодно и против Хлюстакова с намёком на Хому.

Пудель вылез из-под кресла, встряхнулся и небрежно пошёл к столу. Походочка меленькая, пританцовывающая, как у приבלатнённого фрайера, и вертикальный хвостик точно знак восклицательного вопроса: а что такое, чего это вы тут разгоношились? Лёг, лапы вытянул, зевнул с вежливой отрыжкой и весело уставился на Семёна Семёновича: а ещё друзьями называет... да какой же ты мне друг будешь после такого трибунала? тебе бы, Семёныч, ещё бы кулаки в руки взять – и снова будет тридцать седьмой год...

– Ну, что делать будем, сукин сын? Чего моргаешь?

«Чего моргаю-то? Да согласен я, согласен. Конечно, сукин. Ну, и что? Смотрите мне в глаза и читайте! Заявляю: Александр Сергеевич Пушкин сам себя сукиным сыном называл. С восхищением, между прочим. Это когда он трагедию про Бориса Годунова закончил сочинять. Но вам Пушкин не пример. У вас одна ругня и никаких трагедий. Вы, мне кажется, вообще литературу не уважаете. Обзываетесь. Исторических выводов не делаете. Мало вам того, что героя одной булгаковской пьесы Алексея Турбина ваши партийные театральные критики печатно назвали сукиным сыном со знаком минус. Они ещё

и про самого автора, Михаила Афанасьевича, выразились с презрением, что он, дескать, одержим собачьей старостью. Нет, Семёныч, что-то у вас не так, не по-человечески в литературе происходит. А что? Не знаете? А я знаю. Если хочешь, то пошли после трибунала к Серому Дому. Я там тебе один плакат покажу. «Коммунисты всегда там, где трудно!» Это правда. Я впервые в жизни такую самокритику встречаю... А Каштанку я вам в обиду не дам. Имею моральное право. У неё в марте щеночки народятся. Это я вам как на духу говорю. Чтобы наперёд знали и засвидетельствовали документально. И я тут не намерен по-пустому гавкать. Зачем? У Сочинителя есть образец, мой документ, пусть пошарится у себя дома, в письменном столе, выдвижной ящик справа, второй сверху. На бумаге чёрным по белому нарисовано, кто такой есть Хома, кто его заслуженные папа, мама и предки, вплоть до прапрадедов. Это я вам всем тоже как бы косточку с намёком подаю. А кому такая косточка не по зубам, например Хлюстакову Ивану Александровичу, так тому и вовсе могу разжевать, что Мефистофель, отбросив обличье чёрного пуделя, воочию являлся доктору Фаусту в одежде странствующего студента. Прошу обратить внимание: студента, а не какого-нибудь пэтэушника из кулинарного техникума. И доктор был потрясён. «Вот, значит, – воскликнул он, – чем был пудель начинён! Скрывала школяра в себе собака!» Я, конечно, допускаю, что про солнце немецкой поэзии вы ещё (или уже?) недостаточно просвещены. Немец всё-таки. Но про солнце русской поэзии Пушкина не знать стыдно. Стишки попадают-ся гениальные. Например, такие:

*И с царевной на крыльцо
Пёс бежит и ей в лицо
Жалко смотрит, грозно воет,
Словно сердце пёсье ноет,
Словно хочет ей сказать...*

О, как поэт знал собачью жизнь! Прекрасным сукам он посвятил немало трепетных строк. Наш брат, кобель, обычно фигурировал в эпиграммах и суровой прозе. В «Дубровском», например. Что послужило началом вражды между двумя помещиками-соседями? Напомню, если подзабыли. Дубровский-отец осматривает псарню Кирилы Петровича Троекурова и прямо-таки нечеловеческим, справедливым голосом возмущается: дескать, вряд ли людям нашим житьё такое же, как вашим собакам. И началась между ними война... В «Барышне-крестьянке» добрый пёсик знакомит Лизу и Алексея Берестова. Не было бы пёсика – не было бы и повести. А в «Капитанской дочке» нежно сказано про историческую собачку императрицы Екатерины Второй... Правда, солнце русской поэзии как-то подзабыло осветить в «Истории Петра» Тирана и Лизетту, которые после смерти императора умерли в одночасье от неутешной

тоски по хозяину... Но это всё как бы в литературе. А в жизни? Вот именно, что в жизни-то все они и были: Барс, Цербер, Полкан, Сбогар, Соколко, Лара, Гектор... Маленький Пушкин возился с датскими щенятами больше, чем с французскими книжками. Такая генетика, что в родительском доме обожали псов, и папа назвал любимого ирландского сеттера Русланом в честь человеческого героя из первой сыновьей поэмы... И вот я думаю: отчего же Александр Сергеевич такой великий? Думал я, думал – и придумал. Но вам не скажу. Сами думайте. Начинайте от собаки прокуратора Понтия Пилата. Сосредоточьтесь на Джиме, которого Сергей Александрович Есенин просил подать лапу на счастье. И уж потом, если язык поднимется, трибуналте, обзывайтесь и выносите ссору из избы. У вас ведь что сегодня на дворе? Социализм с человеческим лицом. Это сомнительный социализм. Во-первых, наш Сочинитель в одном только Хибаровске насчитал множество лиц, физических, исторических и тому подобных. Много лиц! Это должно означать, что людей много, всяких и разных. А один человек не звучит ни гордо, никак, вообще не звучит, и в поле он не воин, потому что – воевать-то ему с кем? не с кем, разве что самому себе морду набить. Кстати, о морде. У вас так заведено: если лицо – значит, хорошо, а ещё лучше, если оно вообще имеется. Это вы сами для себя придумали, для внутреннего употребления. А нам оставили морды. Ладно, пусть так. Но зачем нашими мордами обзываете друг друга? Что, наши морды вашим лицам физиономию исказили? Ну, я не знаю. Если у Князя и Шурика морды, так морды у того и другого, а если лица – так тоже у обоих. А теперь во-вторых: а что, при социализме с человеческим лицом уже и собак нету, и лошадей? К нашему счастью, покуда есть. Но если у вас так и дальше дело пойдёт, то, боюсь, в ближайшем будущем останетесь один на один со своим носом. Вот и любуйтесь на него. В заключение скажу лично про себя и про Каштанку. А если это любовь? Дело святое, товарищи...»

Сочинителю положили на ладонь чёрный комочек.

Таким Хома был пять лет назад.

Три года спустя Сочинитель привёл Хому в сантехническое общество, в подвал. И не потому, что Хоме дома жить не нравилось. Потому что Сочинитель подолгу не бывал в доме. А какой же Хоме дом без хозяина?

В письменном столе (спасибо Хоме, напомнил: выдвижной ящик справа, второй сверху) лежит свидетельство родословия.

Присовокупим его к рассмотрению по двум причинам. Во-первых, что ж за трибунал без бумажки? Во-вторых, дело святое...

Вот и начнём с последнего.

Владимир Ильич Ленин, родившийся ещё при боге, был лицом революционным и называл паспорт «жандармским документом». Ис-

торики комментируют так: старорежимный паспорт – всё равно что ошейник для свободного человека. «Беспаспортные», то есть бродяги беспортошные, аплодируют сему стоя.

Наследник Владимира Ильича Иосиф Виссарионович Сталин объявил автора стихов о советском паспорте лучшим и талантливейшим поэтом эпохи. Страна аплодирует сидя.

Зато в Библии, родившейся задолго до марксизма-ленинизма-сталинизма, к документациям подобного рода отношение почтительное. Может быть, даже архипочтительное. К удостоверению личности прилагаются многовековые генеалогические деревья.

Евангелист Матфей отметил 42 поколения (подумать только!) от Авраама до Иисуса Христа и о муже девы Марии, о плотнике Иосифе Яковлевиче, писал как о прямом потомке царя Давида.

Лука насчитал уже 55 поколений от Авраама до Иисуса, а ежели реестр выводить от первочеловека Адама – то у Луки выходит аж 75 поколений (стоит призадуматься...), при этом муж Марии уже Иосиф Ильич.

Получается, что евангелисты поднапутали уже в ближайшем окружении Христа, с его дедушкой. Что ж в таком случае говорить о прадедах? А всё, что угодно. Поди, проверь. Ага! – как говорит Мошонкин. Щас! – как выражается Хворобушкин, что означает «никогда». С канцелярским прилежанием в ветхозаветные времена дело было поставлено из рук вон плохо, не то что в новозаветные. Да ведь и в наши годы, компьютерные, дай-то бог деда своего с бабкой не забыть поимённо – и то хорошо. Так что, безответственность евангелистов вовсе не упрёк. Это к тому, что ответа от них уже действительно не дождёшься.

Что являлось главной задачей Луки и Матфея? Вывести родословие назаретского плотника Иосифа к корням царя Давида. Они старались и вывели. Но, спрашивается, зачем старались? Для кого? Иосифу это родословие не нужно. Богочеловеку – тем более. Дело-то логически наипростецкое. Если Иисус – сын Иосифа, значит, он из рода царя Давида, но это также означает, что он, Иосифович, не сын бога. А если всё-таки Иисус есть сын божий, так, значит, он не Иосифович и не из царского рода. Тогда зачем огород городить из полуста поколений?

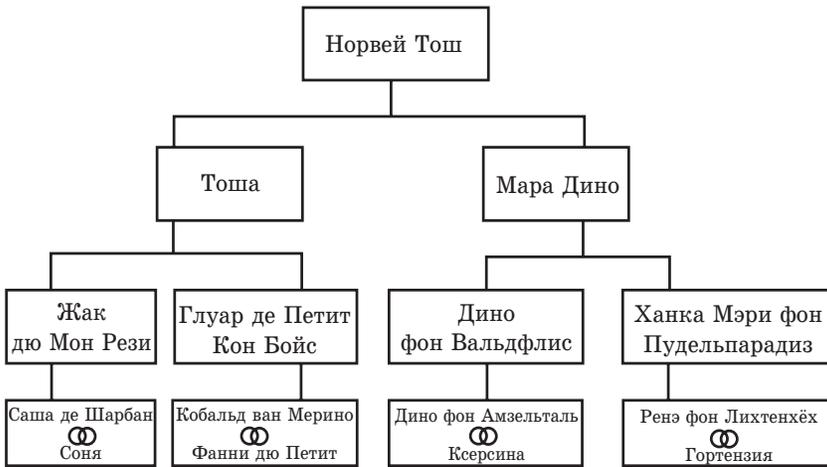
Вот такие святые дела.

Что же касается до любви, то мы, выше-ниже и со всех сторон подписавшиеся, кроме Заюшкина...

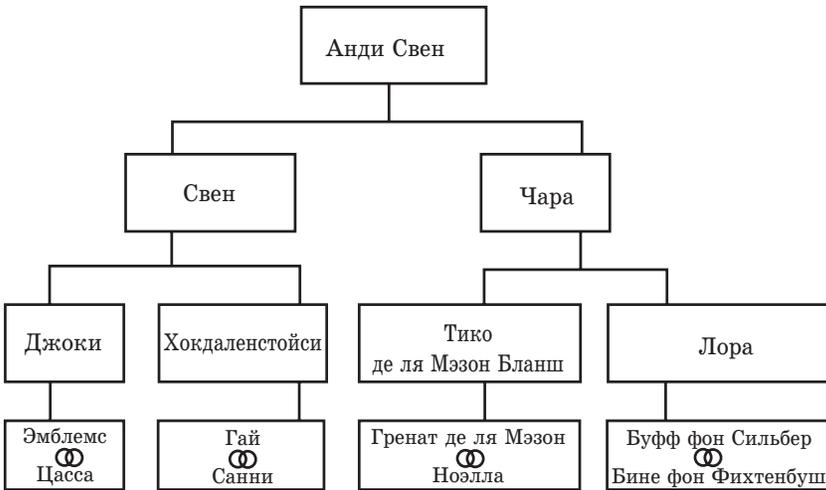
– Где теперь наш Заюшкин? – негодует Вадя Мошонкин. – Пропала наша бутылка!

Короче говоря, о любви говорить не будем. Нам эта материя знакома. Но в то же время мы единогласно считаем, что родство с гётевским пуделем – это Хомины фантазии. Врёт! А, может, и нет...

Вот документ №1 – о Хомином папе по имени Норвей Тош:



Вот документ №2 – о Хоминой маме по имени Анди Свен:



Вот документ №3 – портрет Хомя с Сочинителем, выполненный пером хибаровского художника-передвижника Валерьяна Мошкина; оригинал хранится в фондах Государственного Музея палеонтологии в городе Ленинграде, а как он туда попал – никто не знает, даже передвижник:

Теперь скажите, господа присяжные заседатели: разве такие парни могут быть простыми, безыдейными блядунами?



– Парни, парни, – запел Мошонкин, – это в наших силах землю от пожара уберечь...

– Какой пожар, Вадя? – нахмурился Помиранцев и постучал якорями. – Какую землю? Ты сначала про Хомку мнение выскажи.

– А что Хомка? С ним всё ясно.

Правильно оказал Мошонкин, что ясно. И не надо Семёнычу этот вопрос темнить. Потому что есть в нашем Хоме что-то такое царско-сельское, лицеистское, игривое и вдохновенно творческое, всегда восторг желанных встреч и кудри чёрные до плеч. Потому и Пушкина читает, что не читать ему нельзя. Пушкин-то наше всё остальное, кроме нас самих. И не только Пушкин.

Действительно, на нашу мусорную свалку чего только не выбрасывают! В том числе и полиграфический товар. С газетами пудель на месте разбирается, тут же, под кустиком. А журналы и книжки таскает в подвал, на ватнике читальню устроил, библиофил. За год умудрился собрать все 55 синих томов полного собрания сочинений Владимира Ильича. Заберётся под кресло, лежит, урчит, языком страницы перелистывает... Вот и сегодняшняя утренняя добыча – А. Кубенков, принципиальное солнце за тучами провинциальной поэзии. Вместо закладки помещена отполированная косточка:

*Когда проснусь от яркого огня
Капризной музыки, неподвластной мраку,
Люблю не женщину, спасавшую меня,
А женщину, спасавшую собаку...*

Так сказано. И если это не социализм с правильным человеческим лицом – тогда что?

Кувыкин перепирался с Хлюстаковым. С ними тоже всё ясно, как божий день. Кувыкин осуждает «межальянс». Хлюстаков воздерживается. В сущности, Хлюстаков такой же слесарь-лудильщик, как и Кувыкин. Только наоборот. И межальянс промеж них такой: удильщик – мудильщик, как говорили Карл Маркс и Фридрих Энгельс, единство и борьба противоположностей, то есть диалектический материализм, против которого не попрёшь.

А Щитовидов всё ляпочки свои пришивает суровой ниткой, намертво. Пришивает и помалкивает: какой тут, дескать, может быть Хома, когда родной сын, Семён Фёдорович, со своей походочкой семенящей, из головы нейдёт, упущение воспитания вышло с Семёной, до сих пор не женивши, но дети есть, потому как просеменил Семён всю эсэсэр, от Калининграда до Владика, и обременил своим автостопом неисчислимо население женского рода, а ведь был комсомольцем, учился с поведением без колдов и двоек в средней школе и половину института закончил...

– Ладно, с Хомычем всё понятно. Мы очень надеемся, Хома, что ты всё понял.

Пудель подмигнул Помиранцеву одним глазом.

– А теперь зови свою Каштанку на ковёр. Будем выяснять.

Хома обернулся и призывно тявкнул.

И Каштанка высунула мордочку. И вылезла из-под кресла. И виновато проковыляла к своему франко-германо-швейцарскому соблазнителю, аккуратно легла рядышком, бочок о бочок, так надёжней, и вот подбоченились они таким образом, и стало Каштанке нисколько не страшно, она подняла голову и широко-широко, как только могла, открыла глаза людям... навстречу людям – глаза настоящего кофейного цвета...

«О, покровители, блюстители и охранители! О, почтенные блюдены морального кодекса! Положа лапу на сердце, скажу вам: не очень люблю литературу. Я, как булгаковский Шарик, обожаю читать вывески. Встречаются вкусные. Например, «Мясо-колбаса». Это хорошо и просто, проще самой завалящей косточки, но зато как выполнено! Со вкусом – и никакой литературы.

Опять, некстати, о литературе... Нет, лучше всё-таки я буду излагать показания по порядку, с самого раннего утра. Чуть солнышко показалось – я уже на ходу. Две заботы утренние, наипервейшие. Какие в мире новости? К вашему сведению, они на каждом углу написаны, жёлтеньким. Вторая забота – чего-нибудь жевнуть. Это значит, надо поспеть к помойке раньше бича Вовы. Неаккуратный, кстати сказать, человек, не столько пищу добывает, сколько мусор ворошит в контейнере, разбрасывает, так что после него даже противно к мусорке подходить. Впрочем, жалко его. Больной, одинокий, бесприютный любитель всяких крепких напитков, ершистых и даже, говорят, щетинистых. Динка, серебристая пудла средней упитанности из второго подъезда, как-то раз говорила мне, что бича Вову она знает уже несколько лет, а бич Вова говорил ей, что, наконец, нашёл себя в жизни, но Динка ему не поверила, потому что эта находка была уже совсем другим человеком. Но мы с бичом Вовой не лаем. Динка ему правую лапу при встрече подаёт. Я такой же лапой честь отдаю по-военному. Он не замечает, холодный и голодный человек. Смолоду, как говорится, был молот, а под старость наковальной стал расплющенной. Такая слабость у людей сплошь и рядом, и всё это им запросто с лап сходит. Но наше племя такого себе позволить не может. Собака, зализывая раны, обязательно прячется от посторонних глаз. Ей нельзя быть слабой. Иначе нельзя. Иначе загрызут.

Ну, ладно. После помойки – культпрограмма. Иду это я по улице имени Ленина, со знакомыми обнюхиваюсь, вывески читаю, с чело-

веческим населением пытаюсь общаться. Последнее – дело архисложное. В чём причина? Трудно сообразить. Человек, конечно, существо деликатное, эволюция у него, как пишут, сложная, от обезьяны до коммуниста. У нас же развитие попроще, какими были при обезьянах, такими же и при коммунистах остались. Вот и говорим на разных языках с человеком, не понимая друг друга, хотя мы очень стараемся разнообразить речь свою: лаем, рычим, урчим, гавкаем, тьявкаем, скулим, воем, повизгиваем... – всё равно не понимают. Мы очень стараемся. Мы всегда стараемся. Ну-ка, вспомните, что именно в одном кинофильме говорил младший лейтенант Глазычев о своём Мухтаре. Глазычев говорил: «Он постарается!»... Ихнее киношное взаимопонимание – редкий случай, можно сказать, целое событие в млекопитающем мире. А теперь я вас спрошу: что такое событие? Это есть совместное бытие. Вы, конечно, поставили нам много памятников, это верно и справедливо, и большое спасибо. Но если бы мы научились говорить на вашем языке, то вы лишились бы последних друзей в этом мире.

Значит, иду себе, рассуждаю... Мимо клуба имени товарища Камикадзержинского. Афиша приглашает: собрание кинологов. Возле афиши стоит и матерится любитель кино... Мимо фонтана с бассейном. Здесь, исключая зиму, можно всегда водички попить. Хотя и печали при этом нахлебаешься. Здесь топят щенков из ближайших окрестностей. Буль-буль – и нет щенка. Бассейн-бультерьер, называется... Мимо цирка иду. В программе – дог-шоу и всё остальное. Знаю я это остальное. Вверху, под куполом совершаются немислимые человеческие полёты, а зрители внизу сидят, смотрят, ахают и верят в чудо неземное. А чудо-то со страховочкой по воздуху летает, с надёжной лонжей по проволоке ходит! Цирк, одним словом. Похоже на церковь. А ещё в цирке в прошлом году пони работал. Сначала думала, что жеребёнок. Потом узнала: нет, не жеребёнок, взрослый пони, понимающий пони. Его бродячие люди украли и сожрали. Только голову и шкуру с копытами нашли от того пони. Грустно, да?

А я иду дальше. Мимо слепого музыканта. У него красный нос от водки и мороза. Но у него есть тёплый шарф и перчатки, он играет на трубе и чихает на зарубежное слово асфальт, и за каждый чих с него берут налог подозрительные молодые люди в штатском.

На скамеечке возле урны, где лежал надкусанный пирожок с ливеркой, два пожилых человеческих барбоса анекдоты травят.

– Тоже неплохо! Так сказал зять после того, как бросил камень в собаку, но попал в тещу.

Пошлый анекдот, а другой ещё хлеще.

– Поймал Герасим Каштанку, – рассказывает второй барбос, – и стал топить. А Каштанка визжит: «Дурак! Ты что, совсем офо-

нарел? Чехова от Тургенева уже отличить не можешь?» Пошла вон, псина!

Это уже ко мне второй барбос обращается. И мне сразу поплохело. Вообще, всё это довольно странно. По два выходных дня имеют люди, но задумчивого редко среди них встретишь, и сказать что-нибудь умное им всё некогда и неохота. Нечего сказать. Вот потому и пишут много.

Кстати, о литературе... Нет, всё же пойду дальше, по порядку. А порядок такой, что никакого порядка у вас нет и в помине. Придумали новое мышление. И что же? Да не смешите вы других млекопитающих! Не мышление, а мышшь какая-то... Бежала, бежала, хвостиком вильнула – вот и все новые дела, и ничего не переменялось, и по-прежнему царит человек с высоты своего поражения, одиноконький и беспоконный... Жалко мне вас. Потому что люблю. Уже несколько тысяч лет люблю. Доля мне такая выпала, – соучаствовать. Соучастие есть, а вот сочувствия не наблюдается...

Иду. Справа – Музей щитовидной железы, слева – биологический институт, НИИБИ насекомых имени академика Колорадского. Дальше – институт шкурководения КРС. Стадион Нужники...

Я понимаю, можно не любить собак, но над некоторыми собачьими историями людям стоит задуматься. Вот первая. После войны в Ленинграде появилась афиша: «Выставка служебных собак и собак, уцелевших при блокаде». На почётном месте сидела овчарка Рита с оторванным ухом. Она обнаружила пять тысяч мин. Рита печально разглядывала посетителей и не понимала, для чего ей такая почесть, ведь она делала всего лишь то, что и люди делали, и при этом ещё легко отделалась, всего лишь одним ухом... Собак, переживших блокаду, было пятнадцать. Эта история плавно переходит в другую: о двух пуделях, Урсе и Кусе, которые жили у Ильи Александровича Груздева, биографа Горького, того самого Горького, который, услышав есенинские строчки о суке, потерявшей щенков, заплакал... ну, не буду, не буду, а то заскулю нечаянно... Так вот, жили, значит, два пуделя, Урс и Кус. Походочка у пуделей – вы ж знаете, как у Хомы, маленькая, семенящая, приבלатнённая. Да! В начале блокады жена Груздева принесла домой двухдневный хлебный паёк. Положила в передней на стул. В комнате телефон зазвонил. Побежала жена. Поговорила жена. Вспомнила вдруг жена с диким ужасом: собаки-то голоднущие, небось весь хлеб слопали! Кинулась жена в переднюю. Пудели стояли возле стула, смотрели на хлеб и давились слюной. У них оказалось больше выдержки, чем у иных людей. А в середине блокады Илья Александрович застрелил Урса. Часть варёного мяса досталась и Кусу. Он выжил, не погиб от голода, но стал угрюмым, недоверчивым к людям и вскоре умер не от старости – от горя...

Вот я и думаю: что же такое с нами и с вами вытворяется? То любят нас, то вдруг разлюбивают... Ищу ответ, стараюсь, как киношный Мухтар. В горсаду радиодинамик каждый день слушаю. Газеты читаю, под каждым кустом этих газет прорва. К человеческим разговорам интерес имею. В телерадиотовары иногда нелегально внедряюсь, там телевизоры целый рабочий день горят, новости разные, кино, мне очень артист один нравится, славный мужчина, морда породистая и фамилия подходящая, нашенская: Гафт, называется... Да, так вот, думаю я о странной фразе, которую кричал невозможный пессимист Шопенгауэр, когда злился на проделки своего пуделя: «Стыдись! Ты – человек!» Ну, я не знаю... Такое может сказать только человек, ошеломлённый собственной совестью. Но! Мне кажется, что сочинял Шопенгауэр всё же не для собак, а для людей. И на этом построена вся так называемая «собачья литература». Она слезу вышибает у людей, не у собак. И жалеет не нас, друзей человека. Нет. Литература людей жалеет. Открыто делать это она стесняется, вот потому-то и жалеет по-книжному: и пьяницу Луку Александровича – через Каштанку, и купринского дедушку Лодыжкина – через белого пуделя, ибо: ничто нечеловеческое людям не чуждо...

Ну, хорошо, заболталась я. Значит, иду себе дальше. Верной дорогой иду, по улице Ленина. Вдруг – бац! – новая вывеска: на вывеске – я, собственной персоной, в натуральную величину, читаю: «Каштанка», А.П. Чехов. Режиссёр Кокорин. Художник Шпирко. Композитор Соколов...

Спектакль, значит. Премьера. Я пошла, конечно. Интересно же на себя со стороны посмотреть. Опять же – культурное развитие, почти литература...

Кстати, о литературе. Знаю я этих писателей. Совсем от лап отбились. У нас во дворе есть один такой. Какой масти? Да никакой. Просто маститый – и всё, и понимай, как хочешь. По сведениям пудлы Динки, пишет исключительно для пропитания, и потому все его книжки рубчиком пропитались. Пахнут деньги, пахнут продажностью. Но маститый не соглашается.

– Кровью сердца пишу, – говорит. – Слезам своими! Потом солёным!

«Послушайте, – думала я, – кому они нужны такие мокрые дела, такая потная продукция, такое кровавое рукоделие? Разве ж ты мясник на скотобойне? Разве ж ты уже и пера от топора отличить не можешь?»

– Не гавкай, – сердился писатель. – Не твоего собачьего ума это дело.

«Да как же, – думала я, – не моего? Очень даже моего. Джек, например, Лондон своему Белому Клыку очень доверял. И Турге-

нев с Куприным. И Владимов прислушивался к верному Руслану. И Белый Бим Чёрное Ухо был первым, кто выдвинул на премию Гавриила Николаевича Троепольского. Так что ж ты, дворовый наш писатель, этак насекомись меня? Нехорошо. Не по-людски это. И поэтому, извини, не верю я тебе. И пишешь ты вовсе не кровью с потом и слезами, а слюнями, соплями и прочими мокрыми отходами жизнедеятельности организма. Получается, писсачка ты, а не писатель, и не литература у тебя, а уринотерапия, которую ты сам себе прописал. И жалко мне тебя. Потому что я любить обязана. А это трудно. Это почти что невыносимо. Помнишь? «Так жить нельзя, надо утопиться». Это не только я так думала. Это даже человеческая женщина Катерина из «Грозы» так считала... В конце концов, вопрос можно поставить ребром. Мы вам друзья? Безусловно, друзья. А вы кто? Вы же нас своим непониманием повсеместно уничтожаете раньше собачьего срока. А что после нас останется? Одна литература? Да, замечательная «собачья» литература. Ну, вот и гладьте её вместо нас...»

А на сцене тем временем обозначилось чёрно-белое пространство с одиноким фонарём. Меня изображала девочка, Анечкой звать. По-домашнему, Аня. По-уличному, Анка, наполовину я.

Не буду долго говорить. Скажу коротко: я плакала, и на моём месте так сделал бы даже самый глупый дворняга, адюльтерьер какой-нибудь беспородный.

Я плакала и говорила: «Миленькая ты моя каштанечка, не торопись войти в моё положение. Подумай прежде: как из него выйти? Ты же свободный человек, Анечка, так не бери на себя добровольно такой груз собачий. Это ж ведь только наш брат и сестра ошейнику радуются: гулять, дескать, будем...»

Анечка не слушала меня и отважно входила в роль.

Режиссёр с куриной фамилией Кокорин – сам из бомжей, и мне как бы родня, и бичу Вове – курировал роль то ли Гидрометеоцентра, то ли самого Архипатра небесного: он сидел где-то наверху, над сценой, и осыпал снегом театральное действие. Снег был ненастоящий, но зимняя тоска – настоящей, и даже очень.

И тогда случилось то, чего никто не заметил: ни зрители в зале, ни режиссёр, ни художник, ни композитор... Я ушла. Я ушла в Анечку – и после спектакля надела шубку, шапочку, сапожки и поехала на автобусе домой, к человеческой маме. А Анечка ушла в меня. Мы поменялись. Она незаметно подошла к режиссёру, принявшему поздравления, потёрлась об его профессиональную ногу и выскользнула с толпой на улицу, в чёрно-белое пространство с одиноким фонарём – ушла, чтобы уже не на сцене, а в жизни играть отсутствие самой себя...»

– Ну вот, так бы сразу и сказала. Ты же ж всё ж таки в коллектив влилась, – молвил Помиранцев, поглаживая столешницу, и якоря с цепями звенели мелодичными колокольчиками. – Всё, ребятки. Ступайте читать дальше. А мы тут с мужчинами потолкуем по второму пункту повестки злобы дня. Перейдём, значит, к праздникам и к текущим оттуда вопросам жизни...

Вернулись наши собачки на ватник, где их А.И. Кобенков поджидал:

*Я думаю, что пёс мой мог бы стать
поэтом, – если б я поэтом не был.
Он травку ест, он камешек целует,
он лапку поднимает,
как поэты
свои ладони к небу поднимают,
когда читают новые стихи...*

А праздники – это актуально. До конца зимы нашей жизни оставалось всего ничего, с гулькин нос. Но на этом, на гулькином, уместились самые форс-мажорные красные дни.

– День Советской Армии и Военно-Морского Флота, – сказал Помиранцев и вздохнул: – Дело святое...

– Святое, святое, – закивало сообщество.

– Да ещё день Аэрофлота, – добавил Мошонкин.

– Тебе-то что до Аэрофлота? – насторожился Семён Семёнович.

– Как что? Имею полное право! Летал потому что. И в новый раз, может быть, пожелаю, если захочу. Удобно, выгодно, надёжно. Всё выше, и выше, и выше стремим мы полёт наших птиц... В Париж, допустим. Ага?

– Куда? – ухмыльнулся Щитовидов.

– Во французский город Париж, Фёдор Эдмундович. А что? Наш Князь был, и я хочу. Устрицы всякие, шансонетки, и вообще... Эх, сколько раз я не бывал в том Париже?! Несчётное число...

– Брось, Вадим, шутки шутить, – сказал Семён Семёнович. – Короче, так, товарищи. Кому в праздники выпадет дежурная смена для аварийных вызовов, так тому быть, как стёклышко, тем более, если уже ногами ходить не можешь, и не позорить от жильцов весь наш Краснознамённый ЖЭК и лично товарища Сперанского.

– Стёклышки-то, – задумчиво произнёс Хлюстаков, – стёклышки тоже того...

– Чего того?

– Стёклышки, говорю, протирать надо, чтоб не запотели, например...

– Сто граммов! И ни больше.

– Не меньше! Имей совесть, Семёныч!

Постановили: сто пятьдесят при соблюдении полной боеготовности, как в Советской Армии и Военно-Морском, тем более, Флоте.

– И ещё вот чего, чуть не забыл, – сказал Помиранцев, – лично товарищ Сперанский и профком организуют при конторе по указке свыше добровольное первичное общество борьбы за трезвость. Вопрос назрелый: а оно нам надо?

Кувыкин завёлся с пол-оборота:

– Долой! Я уже раз восемь вступал в разные общества. Конкретно, в позапрошлом году заставили добровольно записаться в общество знаний. Двадцать копеек заплатил взносу. И что? Ни значка не дали, ни удостоверения, ни знаний.

– А тебе, Кувыкин, надо было в народную дружину вступить, – сказал Щитовидов. – Красную повязку выдадут и право документы проверять...

Постановили: товарища Сперанского всей душой чистосердечно поддерживаем, одобряем и поздравляем, но вступать в общество трезвости не намеренные по девяти причинам, а десятая – самая главная: отвлечение на посторонние дела коллективного производственного опыта и индивидуального здоровья ослабит неугасимый накал соцсоревнования и тем самым отрицательно повлияет на наш низкооплачиваемый труд по культурному обслуживанию квартиросъемщиков, при всём прочем труд ударный, без зазрения совести круглосуточный и, навроде авиации ПВО, всепогодный...

XXX

! о всепогодный
чёрно-белый граффити октав фортепьянных
в шахматном поле
вышеозначенный нижестоящий
мой до дыр чёрных до белых пятен
до псевдо-патин на псевдо-гипсе
о гой еси Гойи изгой
мойдья дясá мыхчэст ныхпра вил
Авель
Чернышевский Белинский
скажи кадя дяведь неда
да
полифонически вьюжный с живыми свистульками красногрудыми
на склеротических щупальцах обморочных кустов
сто сорок фаренгейтов
хлад
анатомный стерильный в извёстке и пудре атласный махровый мо-
херовый стёганый человеко-халат иль сугроб
о скрипучий искристый искренний честный кристалл

ристаллище гиперборея
и торжествует крестьянин пора пора для сугрева сугроба
топор дровосека в лесу раздаётся и щепки летят со стишками напе-
регонки для утоления жажды тепла
и стихает стихия
и стихарь на стишках весь подбитый сакральным снежком
а последняя спичка
всех вселенских сокровищ дороже
эта искра огня как мера мира
благословен будь
сезон августейший
сезам
се не зам Человечьего Сына стоит на пороге
се сам человек
век не снится покой а зачем ему сниться он есмь
покой дах всеи твари своеи
покой

Драма вторая

В ОЖИДАНИИ ЛЕТА:

мозаика



ДЖИНН ИЗ БУТЫЛКИ

...Ещё пришло ощущение, что эта бездна дерева, бревнистость Древней Руси соотносится с духом народа и характером нашей истории по цвету и на ощупь – сочетание угловатости и круглоты, вещественность телесная, тёплая, но не слишком долговечная, расслаивающаяся, выгорающая дотла, до пустого поля, и вновь растущая, как трава, по сравнению с камнем европейского средневековья наша деревянная древность ближе к живому нутру, бесформеннее и ненадёжнее, мало уцелела, не заботилась о накопленном, пробелы, невыявленность замысла, всякий раз заново, пусть и на старом месте, расплывчатые черты, лишь кое-где в океане бревна вдвинуты каменными островами соборы, Иван Грозный, Нил Сорский, посреди невнятных песен, лицо довольно аморфное, неопределённое, готовое принять первый попавшийся образ, топорное и нежное вместе, мечтательное и тупое, лишённое чёткости, вспомним Кавказ, чекан по металлу, очерченность гор и горцев, ястребинный нос, острие усов и бровей, острые пряности, перец, и деревянная наша еда – каша, которую не испортишь, всё воспримет, усвоит, финны, греки, татары, варяги, французский жаргон, Петербург, как масло, растворяются в каше, не теряем бесформенности, не гонимся за чистотой крови, переваривая любое добро, и нос картошкой, скульпы косяком, сойдёт, авось, Сократ в лаптях, мудрец под простеца, и в красоте древесная стёртость, твоё струящееся, растекающееся под взглядом лицо, как пейзаж, сероватое дерево, на фоне жухлого неба, в древесине тяжесть и лёгкость, воздушность линий, волокон, душевность, непостоянство, не то что камень, и это городское гнездо, сплетённое из брёвен с навозом, которым устилали дворы, подгребая, материнским тряпьем, укроешься с головкой, и мягко, и тепло на той мостовой.

Абрам ТЕРЦ

- XXXI. Паровой котёл в Кошкином Доме
131
- XXXII. Три туза в прикупе на мизере втёмную
134
- XXXIII. Ку-ку, Мария! или Тостующий стоит,
тостуемые бегут
134
- XXXIV. Баня – во весь голос
140
- XXXV. Птички-галочки на полях
152
- XXXVI. Второй концерт для дам с сюрпризом
155
- XXXVII. И вновь до востребования: здесь и сейчас
166
- XXXVIII. Нежность – и р-раз!
166
- XXXIX. Повесть о Джеке, который построил дом
167
- XL. Повесть о Доме, который построил ЖЭК
180
- XLI. Есть такое трудное слово «есть!», или Мы в своей тарелке
191
- XLII. Интересно девки пляшут!
207
- XLIII. Незабвенная тётя Хася и хасиды ея верныя и неразмен-
ныя
238
- XLIV. Сказки и были Жёлтого Дома
255
- XLV. Совершенная речь в защиту цинизма
280
- XLVI. Тысяча и одна «тэма» в Доме со львами
282

- XLVII. Как это было в сумерках: толковая азбука
для обречённых от шестнадцати
и до после полуночи
295
- XLVIII. Наступившие на крыло, или Голубиная книга
340
- XLIX. Глава, посыпанная пеплом
405
- L. Трактат с Большой Дороги, или Медитации
на средиземной речке Куде
405
- LI. Венчики встречных ромашек
421
- LII. Продавец веников. Из Полного Собрания Сочинений
С.С. Помиранцева
425
- LIII. Про майскую ночь, «утопленницу» и сорочинскую
ярмарку, а также про речи несвязные, взоры усталые
и народного дружинника Щитовидова
440
- LIV. Второе послание к почитателям
456
- LV. Жёлтый Дом, Фёдор Эдмундович и золотой
запас России
459
- LVI. Чаша по кругу: от Моисея до Изяслава
462
- LVII. Иван да Марья, а посредине Бог
463
- LVIII. Рог спасения – Прим
468
- LIX. Глаз Архипатра
479
- LX. Ода весенняя в форс-мажоре
482

В час жаркого весеннего заката на Патриарших прудах появилось двое граждан...

«Стоп, стоп! Так начинать нельзя. Нету прудов!»

– Как это нету?

– А так вот. Нету – и всё! Море есть, лужи есть, прудов нету.

– Но закат-то есть?

– Закат есть.

– И двое граждан есть.

– Да, двое.

– Значит, так и начинайте, благословясь: «В час жаркого...» и так далее.

– Но, извините, ведь такое уже у вас было, Михаил Афанасьевич!

– А вы думаете, что у вас будет как-то по-другому, по-особенному?

– Да я как-то не думаю, знаете ли...

– Зря. Пора бы.

XXXI

Пора бы на параболу всеоглядывания выходить...

Но это другая парабола. Это не та парабола, что прикидывается незамкнутой кривой, которая получается от пересечения прямого кругового конуса плоскостью, параллельной одной из его образующих... понимаете?.. иными словами, попроще: геометрическое место точек, каждая из которых равно удалена от одной точки-фокуса и одной прямой-директрисы... понимаете? У такой параболы и форма не сразу представимая, и скорость, знаете ли, соответствующая, а именно: вторая космическая, 11,2 км в секунду, вот как надобно разогнаться, чтобы преодолеть земное притяжение и, двигаясь по параболической траектории, навсегда покинуть нашу планету и стать отдалённо близким к предметам астрономо-математических размышлений космического философа Глеба Александровича Чеботарёва.

Нет, наша парабола не таковская. Она Землю не покидает. Она всего лишь *parabolē*: иносказание и притча. Тут вам и кривые прямые, и точки с многоточиями, и фокус сносшибательный со строгой директрисой, и даже пара гнедых для пущей скорости.

Пора, парабола!

Пора: пара... как «возле, при», как первая составная часть слож-

ных слов, обозначающая нахождение рядом, ближайшее соседство – и в то же время нарушительное отклонение от своего соседа;

пора: как парабеллум, parabellum, «готовься к войне»;

пора: парабиоз и парагенезис, парад парадигм и парадиз парадоксов;

пора: от паралича и паралогизмов, от паранойи и парамнезии – дальше, дальше, дальше, как завещал тов. Ленин, но всё-таки подальше и от демиурга Ленина, и от драматурга Михаила Филипповича Шатрова;

пора: к параллелям, параметрам и парафразам, родным сестричкам виртуозной фантазии;

пора: паратаксис с парахронизмом и параллаксом –

... и пара гнедых!

Высунули нос во двор, и увесистая капля с подъездного карниза по носу – шлёп! Весна, значит.

Весна на параболе. Месяц загадочный: какие-то женщины вспоминаются, Иды мартовские... Иуда повесился, Гагарин готов к вознесению, тиран помер, поэт А.И. Кобенков народился, в самый что ни на есть женский день, ничего себе – подарочек, луч света в томном царстве, луч утомлённый и себе ничего, но ведь человечество, дорогие товарищи, не может жить без людей исторических: в тот день, когда умер Микельанджело, родился Галилей.

Итоги превращаются в ручьи.

Март.

Мартиролог умирающей снежности.

Начальник 25-го Краснознамённого ЖЭКа товарищ Сперанский с утра до вечера взывает к совести дворников:

– Господа! Я вас умоляю, убирайте снег по-быстрому! А то ведь он растает! Чем я вам наряды закрывать буду, сучары поганые?

А мы всё сидим и сидим в сантехническом своём изоляционизме, где «сан» есть не только российская водопроводно-дерьмовая актуальность, но и японская учтивость, разбавленная парижской святостью.

– А Заюшкина с нашей бутылкой опять до сих пор нету, – задумчиво говорит техник-сан Мошонкин. – Нету нашей бутылки, коллеги. Как говорится, тю-тю. То есть, найн тринкен. А я как раз интересуюсь насчёт тринкен. Ага.

– Конечно, надо повторить, – сказал Кувыкин-сан, хлебной корочкой очищая консервную банку от следов пребывания в ней килек в томате. – Не мешало бы повторить. Памятник Семёнычу обмыли бы.

– О, нет! – воскликнул Мошонкин. – Обмылки неповторимы. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда... Ага же, Семёныч? Пришла весна, наступит лето, спасибо партии за это...

Мошонкин, между прочим, никогда не говорил про коммунистическую партию нормальным человеческим языком. Он выражался на-

учно: есть, дескать, такая птица, по-народному называется долбоёп, а по-научному дятел, и тут ты понимай Вадима как хочешь и далее как не хочешь...

Итак, весна. Каждый веселится в меру своих печалей. Лига Лигачёва Егора Кузьмича, члена Политбюро и первого трезвенника Советского Союза, начала бродяжить по всем пятнадцати союзным республикам, словно призрак по «ещё той» Европе, но, в отличие от «ещё той» Европы, проникала в сознание авитаминизированных граждан не через Европу, а, извините, совсем с другой стороны...

– Это неправильно, – покачал головой Щитовидов. – Это цинизм, что ты такое сейчас сказал про Егора Кузьмича и постановление об алкоголизме. Ты что, цианистого кала выпил? Не надо так про руководящие органы. И если тебя всё время интересуется выпить, как Мошонкина, так ты не туда пей...

Под окном сантехнического подвала кот бродит в поисках душевно-оздоровительного контакта со звездой Сириус. Ходит, паразит усатый, на мягких лапах, походкой вальсяжною, четырёхстопным ямбом, и мурлычет, точно в логарифмы играет, и журчит себе под нос что-то такое историческое, и считает себя, по-видимому, экстрасенсом. А вот я в подвале сомневаюсь на этот счёт, хотя и желаю душевно быть таким же свободным и нахальным, как этот котяра... я, говорю, сомневаюсь в том, что коты, даже самые разучёные, пусть даже учёней самых разучёных пушкинистов, способны разобраться в дремучести человеческого естества – естества, откровенно лживого, восторженно-лживого, как, например, Международный женский день 8 марта, который придумала Клара Цеткин и над которым потешается другая Клара, Новикова, эстрадная мастерица разговорчиков на публике. Пара пародисток... Впрочем, если по-честному, то женщина, это легкомысленное, совершенно прелестное существо с прозрачными пальчиками и острыми коготками, – эта женщина-мурлота к международной лжи и красной дате не имеет абсолютно никакого отношения. Такое бывает. Иногда. Или не бывает. Никогда...

Кот внизу, а одинокая мурмулетка выводит соло на мартовской трубе, заоблачно далёкой, нашего чудовищно высотного дома. Бог весть, как она, босячка, забралась туда, и выше нацелилась, и пушистым крючком уже зацепила рожок луны. Ах, гордячка! И осанка, и поворот головы – ну, прямо царица или поэтесса какая-нибудь... Кис-кис, Анна Лохматова!

*– Здравствуй, мурка, как дела?
Что же ты от нас ушла?
– Не хочу я с вами жить,
Хвостик негде положить.
Ходите, зевааете,
На хвостик наступаете...*

А что? Сочиним письмо – и в конвертик: Республика Мурлындия, Муромская область, город Мурманск, Кошкин Дом, Мурмулетке, в личные лапы... Дойдёт ли? Может быть, и дойдёт. Но нам от того легче не станет. Кто ж их поймёт, эти целеустремлённые кошачьи интересы и мировоззрения, на которых, возможно, сама луна держится?

XXXII

Луна держится на трёх котах. Первый – босяк мартовский. Второй – серо-стальной кат в сапогах, коверкот бессонный. Третий – болгарский Бегемот в галстуке и с биноклем в жёлтом глазу. Бегемот страждет служить человечеству в качестве трамвайного кондуктора и никогда не наливает дамам водки, только чистый спирт. Бегемот не отрывается от почвы, но подчас рассуждает с лунным-таки акцентом: «Положение серьёзное, но отнюдь не безнадежное. Больше того, я вполне уверен в конечной победе».

Земля держится на трёх китах. Первый кит – вечная молодость человечества, его перманентная, из поколения в поколение репетируемая сказка. Второй кит – «Музыкальное приношение» Баха. Этот шестиголосный ричеркар, Бах знает откуда изысканный, стал предтечей фуги и основан, как известно любому школьнику, на непрерывном, контрапунктически-разнообразном и изопрённом развитии одной темы со множеством вариаций. Третий кит – пора. Как хотите, так и понимайте: пора прощания, пора ожидания, пора тополиного пуха, пора... Диктую по буквам: Правда, Откровенность, Разум, Активность...

Россия держится на трех хитах. «Боже, царя храни» – это раз. «Вставай, проклятьем заклеимённый» – это два. На третье – «И Родина щедро поила меня берёзовым соком, берёзовым соком». Закуска обыкновенная: кухлянка. Это супчик такой, любимая еда якутов. Её придумал декабрист Кюхельбекер во время сибирской ссылки. Ага. Так, по крайней мере, предполагал живописец Н. Царствие ему небесное. Славный был мужик, хоть и неприметный. Самым ярким фактом его жизни была смерть: от водки сгорел, бедняга. Накануне, как говорят, всё собирался нарвать букетик оранжевых огоньков-жарков из газовой горелки, но там огоньков-жарков не оказалось, там были только васильки и голубые гвоздики...

XXXIII

Гвоздики – красные и белые, революционные и контрреволюционные – равно подскочили в цене в два раза. Тюльпаны жёлтые, ранние, тепличные – в три.

У мужчин глаза фосфорические. Что ж, всё правильно: на носу – 8 марта, день непонятого противоположного пола. Э, непонятность эта – как в многоэтажках: для одного квартироросъёмщика пол – он и есть

пол, по которому ходят и ползают, зато для другого квартиросъёмщика тот же самый пол является потолком.

Зураба Ркацители с его гвоздиками и тюльпанами из благоуханного далека встречал на желдорвокзале генацвале Будьтаков.

– Ах! – сказал Зураб.

– Вах! – подтвердил генацвале.

И вся станция приветствовала цветочный транспорт голубым неоновым миганием:

ХИБАРО ПАС

Таксист, конечно, за зиму не переменял своего характера. Как стоял в спячке, так и стоит, своего мгновения дожидается, часа, дня, удачного сезона... В кожаное автосиденье корни пустил, нервы седалищные, артерии сонные...

– Вэзи на базар!

– Не, неохота.

– А каво ахота?

– Клиента-миллионщика. Чтоб бабки заколотить сразу и много. А чего мне мотаться туда-сюда? Так не разбогатеешь...

– Какой бабки? Какой клиент?

– Всё! Базару нету...

И Зураб изумился в очередной раз. И Будьтаков в очередной раз изумился. И они наняли частного извозчика из мебельного магазина, цыганского барона Николашу. И покуда нанятые чернорабочие лихо-радочно загружали телегу поштучными ящичками с нежным товаром, два приятеля чокались аккуратными стаканчиками с кахетинским вином, и Будьтаков ощущал себя при деле важном и ответственном, покраснелся, декламировал с выражением весенние стихи и бесплатно раздавал проходящим женщинам красные, белые и жёлтые комплименты...

– Нэ давай, дарагой, памногу. Давай па аднаму цвэточку. А то нэ разбагатэю, генацвале.

Цыганский барон взмахнул вожжой – поехали!

И поехали. И запели «Сулико». Зураб по-грузински, Николаша по-русски, а Будьтаков по-азбуке... Непонятно? Поясняю. У первоклассника Гения Будьтакова имелась, как у каждого счастливого советского школьника, прекрасная книга, прекрасная уже потому, что это была первая книга, азбука. Она открывалась первой страницей с портретом генералиссимуса Сталина и текстом любимой песни вождя:

*Я могилу милой искал,
Но её найти нелегко.
Долго я томился и страдал,
Где же ты, моя Сулико?..*

На грузинскую мелодию первоклашки разучивали русскую азбуку... Уже забыта и находчивая учительница, и слова под портретом, но азбука... Азбука! Какой же русский дурак её забудет, тем более филолог и журналист? В общем, так и пели про бедную милую Сулико: Зураб по-грузински, цыганский барон Николаша по-русски, а Гений по-азбуке:

А – бэ – вэ – гэ – дэ – е – жэ – зэ,
и – кэ – лэ – мэ – нэ – о – пэ – рэ...

И цыганский конь Чапай через левое переднее плечо всё оглядывался на пассажиров и весело скалил золотые зубы: вот же, дескать, забавные какие, и где ж это они видали таких бабок, чтобы их было сразу много и много сразу?

А вокруг идёт судорожная подготовка к очередному празднику. В ЖЭКе намечается традиционный концерт художественной самодеятельности силами мужской части трудового коллектива. В кабинет товарища Сперанского завозят дефициты продуктовые, косметические и прочие – для торжественной распродажи перед собранием или после. Паёк, как обычно, может составляться в любом сочетании, по желанию и личному выбору. Например, губная помада из ГДР + польские тени под глаза + тушь для ресниц из Венгрии + маринованные помидоры или огурчики из Болгарии + советская красная рыба-горбуша в собственном соку из порта Находка + китайское полотенце (вариант исключительный: термос!) + ещё чего-нибудь, однако цена всего набора товаров не должна превышать 42 рубля 20 копеек...

Суэта, конечно же.

Итоги.

Ручьи...

А я вот что думаю.

Я о долгах наших думаю, о долгих долгах, о мужчинских.

На собрании мне, понятно, слова для выступления не дадут, да я и не прошу, потому что это слово сам, без никого, имею. Но если бы мне пришлось говорить... Что я скажу, товарищи?

Я скажу так.

Однако, прежде слóва, – вилочкой по рюмочке постучу, а когда восторжествует подобающая красной дате тишина, я возьму слово за слово и скажу, как какой-нибудь член из Политбюро, то есть, со всей ответственностью и полной откровенностью.

Я скажу так: прости меня, Сонечка, солнышко моё. Прости за то, что ты есть такая вечная Сонечка... Вон стоит она, Соня, заплаканная, омочившая слезами страницы «Войны и мира», та самая Соня, о которой Наташа Ростова, толкуя строчки из Евангелия «Имущему дастся, а у неимущего отнимется», говорит с тоскою: «Она неимущая: за что? не знаю; в ней нет, может быть, эгоизма, – я не знаю, но у

неё отнимется, и всё отнялось»... Да тут же и другая Соня рядом, из чеховского «Дяди Вани» Соня, скорбящая по себе самой: «О, как это ужасно, что я некрасива!» А поблизости – Соня из Достоевского «Преступления и наказания». Она отдала пьяному отцу последние тридцать копеек, заработанные на панели, и глядит тоскливо на отца своего, а отец сердцем стонет: «Так не на земле, а там... о людях тоскуют, плачут, а не укоряют...» Ненасытимое страдание увидел в глазах Сони Фёдор Михайлович, той Сони, о которой главный герой романа Родион Раскольников вынужден говорить: «Сонечка... вечная Сонечка, пока мир стоит!» Плачу по тебе, Сонечка, по всем Сонечкам, по всем мудрым Софиям на свете, не исключая даже «тёти Сони» из говорильного репертуара Клары Новиковой...

И вы, все на свете Клары, простите меня, грешного. За нашу, как говорится, жизнь бекову, а если точно выражаться, так и вовсе не бекову, никакую, потому что уже ни бэ, ни мэ, ни беков, ни меков, ни большевиков, ни меньшевиков, ни лигачёвых, ни гробачёвых, никаких таких в сугубо личной жизни уже нету. Сами по себе катимся. А по себе – это ж больно. Судьба как посуда. Сутки как суд. Утро стрелецкой казни – на слова Петра Алексеича. День Ивана Денисыча – на слова Александра Исаича. День за днём идут года, зори новых поколений – на слова куплетиста Лошанина. А потом – вечер на рейде, хороший такой, что песен не петь нам нельзя. Нельзя! И ночь коротка, спят облака, и лежит у тебя на ладони незнакомая чья-то рука, наручники защёлкивает. Нам же нечего терять, кроме цепей, кроме крови. И радио утреннее напоминает: не спи, вставай, кудрявая, в цепях звеня... Нас утро встречает прохладой. Холодок бежит за ворот. Шея холодеет и поёживается, как от ощущения близкого топора. Утро зовёт в новый поход...

Прости меня, Варя-Варюшка, пушистая варешка. Мы не увидели неба в алмазах. У нас другое небо получилось. Мясные мистерии. Грубая и невкусная страна Мясопотамия. Вместо алмазов небесных – летающие тарелки с чем-то животным, но несъедобным. На столе – тарелки нелетающие, но пустые. И снег, и ветер, и звёзд ночных полёт, и вихри враждебные... А в окошечко видно: колобок бежит. Круглый бес страха и упрёка. «Хау ду ю ду?» – кричит. Не наш колобок. Из канадской пшеницы. Да, ещё вот что, радость моя: буженина, к твоему сведению, это совсем не то, что ты думаешь. Это не женское имя и не что-то такое, связанное с коммунизмом. А корейка – это не из Кореи, а из коровы. Понятно тебе? Ты же всё-таки Варя, а не Авария, так что соответствуй, дорогая моя. И вот ещё прими, пожалуйста, для пополнения общеобразовательного аппетита выписочку из книги, которая называется многозначаче: «Краткая энциклопедия домашнего хозяйства», издана в городе Москве в 1984 году, страница 161. Запоминай, авось когда-нибудь для кроссвордов пригодится: «Окорок – это мясной продукт, изготовленный из тазобедренной части (Воронежс-

кий) и плечелопаточной части (Тамбовский). В быту окорок называют ветчиной...» Запомнила? И, ради бога, не горюй, не кручинься от того, что тамбовский окорок нам не товарищ, а вместо коровьего маслица нам предложили вологодский конвой, образцово-показательный, который шутить не любит, да ещё вкупе с предложением нам накручивают на уши безумную песенку «Вологда-гда»... М-да.

Прости, Ксения. За то, что руки простирали на весь мир: «Вперёд, – кричали, – жаре навстречу! В лучах заката! В руках лопата!» Что ещё провозглашать после эдакого? Как хороши, как свежи были рожки и позы на пиру победителей. Красный день календаря на весь год растянулся. День работника Балды. Строем топали, да. С мылом товарищи, в ногу! Духом окрепнем... Не вышло. Не получилось. Не окрепли. Потерялись. Позу сменили. Сырые, хреновенькие, простодырые и оплошные. Штаны на чреслах едва держатся, даже не в чем выйти из дому, не то что из партии. Пролетарии всех стран, говорим, не прибедняйтесь, подайте на пропитание, явите такую партийно-божецкую милость, мы же ж вас всё ж таки когда-то от Чингисхана спасли...

Прости, княгиня Ольга. Прости за то, что муж твой храпит пьяно за занавескою, а по огороду – по лучку! по морковочке! – железные танки ползут. Прости за то, что жизнь-жестянка, консервная банка. А на банке наклейка зело удивительная:

<p>САЛАТ из кукумари с морской капустой Масса нетто 230 г. ГОСТ 15-148-77 Калорийность 104 ккал.</p>
--

Понятные-то консервы где нынче сыскать? «Осётр в томате»? «Копчёная камбала в масле»? «Таллинские кильки в винном соусе»? Не надо смеяться. Мы же ведь только вождей своих научились хорошо мариновать. И вот поэтому гремим банками, и медленно, медленно, медленно обрастаем жестью жёсткой вместо кожи – прозрачной розовой человеческой кожи с абрикосовым пушком. Ну, ладно бы ещё – как тевтонские рыцари в латах, так нет же! – как бронтозавры обрастаем. А внутри – не сто, а ровно 104 ккал дерьма с нежным, утренним именем «кукумария»...

Ку-ку, Мария! Я вот сейчас встану и скажу всем, кто ещё не успел окончательно жестью покрыться: самое синее в мире Чёрное море моё, это совершенно справедливо, Мария, но мы же ж не вустрицы какие-нибудь, верно? А ты поддержи меня, Мария. На что нам с тобою морские ритмы, римские термы, мирские тернии, скоромные термины? Плевать нам также на совещание в Хельсинки, на нефтяные вышки в Кувейте, на участкового лейтенанта, на антиалкогольную кампанию и прочие генсековские шутки Мишутки Гробачова, на пустую бутылку сумасшедшего «Наполеона», в которой уже не осталось ни капельки

смысла. Из телевизора вон так и сыплется: рейтинг, ваучер, ноу-хау... А на кой хау нам эта ноу? Нет, ты мне надежду подай, Мария! Надежду на то, что – смелые мы, мужики, что отважные мы. Пусть даже такие, как безногий «афганец» со Свердловского рынка, на самокате летает, две дощечки, четыре шарикоподшипника, в руках два свинцовых кастета, чтоб кулаки в порошок не стереть... «Утюгом» его кличут, афганца того. Он даже трезвый беспредельно храбр и спокоен, он точно знает, безногий-то, что душа его уже никогда не уйдёт в пятки. Он поёт. Он заливается – пропойно, ласково, угрожающе:

*Ой, Марусь–Марусь,
не марусь меня,
не марусь меня,
твоего коня...*

А пропевшись до последней копейки, Утюг взывает:

– Маня!

– Аюшки!

Это уж из пивного ларька подаёт голос опохмельной надежды простая советская продавщица по имени Маруся, по кличке Маня-Маня, что на американском языке означает «деньги-деньги» и фигурально обозначается двумя перстами, большим и указательным: не надобно ими креститься, пошоркал один о другой – и всё понятно: денюжки! – то ли есть они, то ли нету, то ли будут когда-нибудь... Попиваем-то мы, черти полосатые. А что? Пить водку не стыдно. Стыдно, когда её нет. Учёные люди говорят, что истина в вине. Пусть так, не возражаю. Но другой вопрос: в чьей? Никто не отвечает. Никто не берёт на себя ответственности. Ждите ответа... ждите ответа... испорченный телефон... ах, поздно, поздно познакомились мы с тобою, Маня.

А покуда мы жнём и пашем только языком своим, да покуда некоторые светильники разума пекут, точно блины, былины про чёрное будущее и лучезарное прошлое, – светлое будущее успело поменяться местами с проклятым прошлым, а мы остались в сегодня, с голой новорожденной правдой – один на один. И снова торжество торжествует. И снова выстраиваются очереди, очереди, очереди... Стоим стоймя. И ты, милая моя, есть самый последовательный стоик, хотя ни в какой философии ни бум-бум. А лиц-то в тех очередях не увидишь, Маня, там лиц нету, в очередях вообще можно видеть только затылки, одни сплошные затылки. «Кто последний? Я за вами». Вот и вся очередная философия. А хорошо ли смеётся тот, кто последний? Хорошо. Но это уже к очередям не относится. Чтобы в наших очередях смеяться последним, надо стать автоматчиком или долго-долгожителем.

Ку-ку, Мария! Просто Мария. Ку-ку, Настя-ненастье. И восьмое чудо, Света. И Натаха, кружевная душа. И июльская Юлия. И актриска Раиска – из зоны риска. И Анфиска-телеграфистка. Ку-ку, девушки! Будем жить долго. Человек по душе – всё равно что смычок

по скрипке или по Сеньке шапка. Совет да любовь, говорите? О, нет! Не надобно нам Советов. Потому что они нужны только тем, у кого есть время. Тем, у кого времени нет или в самый обрез, Советы не нужны. Остаётся только любовь. Это есть наш последний и решительный бог! Ты да я, да Божье Око, глаз вопиющего в пустыне и испившего чашу свою до доньшка. Выпьем и мы. За то, что сидим друг с другом, авель-мария, напротив, но не супротив, и это очень замечательно, это так же обыкновенно, как и то, что Архимед сидел в ванне, Диоген в бочке, Ньютон под яблоней, а техник-сан Вадик Мошонкин – в медвытрезвителе. В конце концов, не место красит человека. Вот я, например, хочешь? – и стану служить вечной кукушкой на часах в доме твоём. Не хочешь? Ну, и не надо. Тоже правильно. Потому что нерентабельное это занятие, кукушкой-то. Тогда вздрогнем, что ли? Вздрогнем, Мария! Любви все возрасты покорны, её порывы не заштопать... Оттаивает сердце по весне. И однажды на одном стремительном и неудержимом порыве «пора!» приходит ясное, безбрежно перспективное доброе утро.

XXXIV

...Доброе утро, товарищи! Встали. Распрямили корпус. Прямее. Ещё прямее. Шагом ма-а-арш! А теперь прогнулись. Вот так! И выпрямились. Очень хорошо! Поставьте ноги на ширину плеч. Руки в стороны. И раз, и два, и три... Разводя руки, делаем глубокий вдо-о-ох. Вы-ы-ы-дох... А теперь переходите к водным процедурам...

– Пора!

Мошонкин плюхнулся на старый провальный диван, недавно подаренный нам жильцами к Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота.

Лежал Мошонкин и молчал до тех пор, покуда какая-то пружина не щёлкнула с обязательностью спускового крючка. И тогда Мошонкин ошарашил коллег неожиданной для самого себя нахальной декларацией:

– А не соорудить ли нам, дорогие друзья, яичный ликёр к ленчу?

Дорогие друзья переглянулись. Хома жалобно заскулил. Каштанка жалобу поддержала.

– Ты что это, Вадя, – спросил Щитовидов с тихой, неназойливой мужской озабоченностью, – намедни перегрёб на работе или, наоборот, недогрёб?

– Вот именно, – присоединился к озабоченности Кувыкин.

Мошонкин продолжал лежать, забросив руки за голову, и молчал выразительно и красноречиво: вот, дескать, и пусть теперь дорогие товарищи лаются, как хотят, пусть потешаются, обзываются, издеваются! им, конечно, удобно и не рискованно проживать в такой бес-

печной системе мер и весов, где: если борщ – так целым армейским бачком, если дрова – так в кубах, если выпивка – так децилитрами; он же, Вадим Мошонкин, хочет жить совершенно в ином пространстве, в многомерном, и ему, Вадиму Мошонкину, представьте себе, пришло в голову именно такое, скромное и весьма естественное, желание: в это ясное, мартовское, безбрежно перспективное утро накануне женского международного дня выпить серебряную рюмочку яичного ликёра, всего навсего, хочется – и всё тут! и пошли вы все на хрен, дорогие друзья, если вас не серебряная рюмочка приманивает, а водка в грубом стакане...

Почему с языка соскочил именно ликёр и почему именно яичный – этого Мошонкин сообразить не мог. Вроде бы, последний его сон был абсолютно безалкогольный, а бывшие выпивки в течение всей сознательной жизни ни на капельку и ни с какого боку не имели касательства к таким парфюмерным напиткам.

– По рюмочке, – грустно сказал Щитовидов, – оно бы и ничего. Но почему ликёр из яиц?

– Именно, – поддержал вопрос Кувыкин и стрельнул глазом в распахнутый мошонкинский инструментальный шкафчик: а вдруг там это оно уже стоит, сволочь, и прохлаждается?

Мошонкин по-прежнему молчал. Ему вдруг показалось, что он, лежащий, почему-то глядит на стоящих коллег свысока... А в принципе, чёрт его знает, почему яичный ликёр? Ну, не морду же мазать после бритья? Откуда в простом советском человеке такое парикмахерское настроение?

Но когда Мошонкин в своих размышлениях докатился до подобных вопросов, он тут же почувствовал, что назад возврата нету, никаких шуток, всё очень серьёзно и всамделишно: хочу – и баста. Тут уже упрямство. Тут нечто философское, а именно: кто-то пусть пьёт из стакана, кое-кто из горла, а он, Мошонкин, – только из принципа. А в принципе, чем недостижимей было желание, тем оно становилось желаннее, дороже, и Вадим шёл ему навстречу как танк, как целая дивизия танков – напролом, и ещё не было случая, чтобы не добивался своего.

– Вадя, – спросил Щитовидов, – ты подумай хорошенько. Может, ты насчёт ликёра как-то фигурально выразился? Или голова у тебя со вчерашнего на нездоровой почве?

– Именно подумай, – подхватил Кувыкин.

Оба дорогих товарища на глазах третьего катастрофически приходили в расстройство.

– Вадя, ты с нами не шути. Не надо, Вадя. Обижаешь. Трудимся с тобой, как душа в душу вон, как родные братья, так зачем же на голых нервах играть?

Мошонкин потянулся, хрустнул косточками и объявил:

– Надо, братцы-кролики, жить красиво. Надо! Пора уж. Если, конечно, вы хотите из серебряной рюмочки... Ага или не ага?

Кролики переглянулись, в глазах Щитовидова мелькнуло сомнение относительно драгметалла, но Кувыкин молча показал товарищу рабочий кулак, и оба враз кивнули: ага.

– Не слышу, – сказал Мошонкин.

– Хочем! – раздалось двойное восклицание.

Но Щитовидов всё же добавил:

– Что-то я не знаю таких магазинов...

Мошонкин рывком сел на диване:

– Прения прекратить. Магазины – не проблема. Ага. Есть проверенный рецепт, коллеги. Возьмите два яйца...

Щитовидов сунул руки в карманы штанов и нецензурно заржал от щекотки. А Кувыкин вздохнул:

– Где же их взять, Вадя?

– Взаимы, – чётко ответил Мошонкин, – а я пошёл за остальными компонентами.

В ближайшей «Гастрономии» люди в белых халатах спали, как лошади: стоя. Бодрствовали одни плакаты...

*Вместо пива пей нарзан,
Будешь прыгать, как Тарзан!*

– Водяра есть? – спросил Мошонкин.

– Кончилась. Вчерась, – ответила, не открывая глаз, хорошо знакомая Валя, а по-нежному Валюта.

– А коньяк?

– Ещё не начинался.

– Шампань?

– Слушай, Вадя! – проснулась-таки Валюта и в ней заговорило женское начало. – Не оскорбляй! Если я женщина, так, значит, всё можно?

После того, как Мошонкин обошёл несколько «спирт-товаров», уста его приустиали.

– И на устах его печать, – бормотал он стихи одного поэта на смерть другого поэта и умирал вместе с ними обоими.

Однако надежда ещё теплилась, крохотулечка. А между двух передних зубов имелась у Мошонкина замечательная природная щелочка, которой в детстве он страшно гордился, и все мальчишки ему завидовали: ещё бы! сквозь зубы можно было шикарно, совершенно по-блатняцки цыкать высокомерным плевком... И сейчас Мошонкин намертво сомкнул челюсти и, цыкая, шёл вперёд, к поставленной цели. Ликёра, по правде говоря, он уже не хотел. Ну его к чёрту! Шёл из одного лишь принципа. И от тоски. А тоска была чистая-пречистая и жгучая, точно неразведённый спирт... В баню!

В Хибаровске имеются Центральная баня и Вторая баня. Название второй бани свидетельствовало о том, что третьей бани в городе нет. И поэтому три года назад товарищ Краснопресненский-Крестовоз-

движенский, лично занимающийся именными вопросами в названиях площадей, улиц и учреждений краевого центра, решил и утвердил: быть Второй бане с именем Чернышевского-Белинского: так свежо и оригинально отражается процесс помывки тела из грязного в чистое и культура быта по типу Станиславского и Немировича-Данченко...

Так вот, в пивной при Второй бане имени Чернышевского-Белинского, в просторечии именуемой «мочалка», женщина в синем халате на каждый дверной хлопок отзывалась не очень-то дружелюбно:

– Очередь не занимать! Скоро закрываюсь!

Через полчаса Мошонкин индифферентно потягивал пиво. Но у стоявшего рядом грустного бородатого мужчины с сушёной рыбкой в руке, видать, душа не выносила позора мелочных обид.

– На кого ты руку поднимаешь, женщина? – неожиданно заревел он торжественным левитанским голосом. – Мы для тебя есть самый ценный кадр и невосполнимый клиент. Мы здоровьем своим, можно сказать, рискуем, чтобы у тебя в доме благолепие было и сыр в масле... Боже ж мой, ну и культура тут у вас...

– Это ты там, что ли, Феликс? – отозвалась буфетчица, но уже голосом иным, помягче, поделикатнее.

– Я!

– Головка от хвоста! Ты думаешь, что я от твоих слов растроганная сделаюсь и задарма тебе выставлю премию навроде бутылки? Нет, Феликс, не выйдет тебе, власть переменялась. Сымай к чёртовой матери свои ямбические плакаты и катись...

Мошонкин придвинулся к бородачу:

– Чего это она митингует?

Грустный мужчина махнул рыбкой и дёрнул бородою в сторону лжемраморной колонны, на которой был наклеен типографски исполненный партийно-пропагандистский призыв:

*Если хочешь сил моральных
И физических сберечь, –
Пейте соков натуральных:
Укрепляет грудь и плеч!*

Пониже текста на плакате улыбался жизнерадостный мужик неопределённого возраста, с могучими бицепсами, в руке зажат высокий бокал с чем-то жёлтеньким, соломинка в бокале, а по бокалу надпись вьющимся церковно-славянским шрифтом: «Лучшие в мире кубинские фруктовые коктейли!»

– Будем знакомы, – сказал бородач и протянул руку. – Феликс Хворобушкин. Поэт. Это буду я. А это мой столб нерукотворный. К нему не зарастёт!

Глухо чокнулись толстыми кружками, то есть поехали, как через несколько недель выразится первый космонавт планеты, и сушёную щепку-рыбочку распополамили...

Феликс Хворобушкин, здрастье вам, поэт, давненько не виделись!

Он отмечал веху, а именно: в ночь со вчера на сегодня он, слушайте, поставил последний восклицательный знак в капитальном труде по заказу Горплодоовощснабторга и Общества борьбы за трезвость. Это был перевод на поэтический лад сугубо прозаической, но тем не менее знаменитой книги о вкусной и здоровой пище. Писал целую неделю. Получилось тридцать томов: метафоры, сравнения, то, сё, к тому же строка стихотворная в три-четыре раза короче прозаической, вот и набежало тридцать, точнее, двадцать девять, а тридцатый том Феликс примкнул для ровного счёта, куда намеревался поместить автобиографический очерк «Детство, отрочество и юность», выбранные места из переписки с редакторами газет и журналов, свой дневник за 1984 и первую половину 1985 года, а также разную важную мелочь, как то: отзывы на свои сочинения, полученные в разное время от руководителей агропрома, райторгов и некоторых пицеточек, гастрономов, продовольственных баз, птицефабрики, молочного и хлебо-булочного комбинатов... Все в один голос хвалят: свежо, оригинально и даже где-то в чём-то как бы гениально. Раньше он, слушайте, сочинял эпиграфии, потом взял псевдоним «Райхер» и стал писать пародий, занятие лихое, муза покладистая, как положишь её – так и вздрючишь, а пишущая братия от Днестра до Камчатки оценила того Райхера весьма и весьма, на все сто, даже на сто пятьдесят. Разумеется, образовалась куча завистников. В результате, два члена Гэпэу, то есть Главного Писательского Управления, эти два лауреата в течение целой недели посменно уговаривали Феликса: товарищ, говорили, Райхер, товарищ Райхер! прекратите писать пародий, не сейте конфронтацию в среде инженеров человеческих туш, но творите, пожалуйста, на здоровье, вытворяйте своё собственное и оригинальное, у вас, товарищ Райхер, непременно получится, мы уверены в гэпэу! о, дайте, дайте, наконец, свободу вашей искре разгореться в пламя пожара, а потом, глядишь, тоже в лауреаты выйдете, а возможно и в Герои Социалистического Труда Советского Союза, если, конечно и кстати говоря, псевдоним свой перемените, и не спрашивайте – для чего и почему, потому что, как справедливо заметили наши товарищи-кураторы из комиссии государственного благочиния, ваш псевдоним «Райхер» содержит два абсолютно циничных антипартийных намёка: во-первых, он указывает на то, что именно обещает народу советская власть и наша родная Коммунистическая партия, и, во-вторых, на то, что именно из этого обещания вышло... И на этом повороте сломался Райхер. И вернулся к родимой папиной фамилии: Хворобушкин. И прекратил писать пародий, и этот переход – слушайте! – стал судьбоносным, как у генералиссимуса Суворова через Альпы, как у Александра Филипповича Македонского – через Рубикон... Тридцать томов! Вы думаете, у поэта Хворобушкина борода образовалась от любви к патриархальности, в

подражание допетровскому мужику? Нет! Ибо вам говорю: если вся ночь проходит в творческих муках, то на утро не хватает сил даже на бритвё, вот так и зарос постепенно... А почему возникла кулинарная книга, то это уже другое меню и другая арифметика. Райхер ответ на эту арифметику знает. Хворобушкин – увы, нет. Все великие поэты не знали. Вот, послушайте: когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая греха... Это Анна Андреевна заметила, Ахматова из города Одессы, а в городе Одессе понапрасну не говорят. А Артур Рембо из города Парижа? Слезу, плевков и битое стекло преобразил он в звезду, в цветок, в алмаз... Слушайте: слеза – и плевков! Естественные человеческие мокроты. А рассмотрим этот вопрос сверху вниз? Слёзы, сопли, слюна, пот и так ниже. Кто-нибудь, наконец, ответит человечеству: почему в поэзии одни только слёзы прижились да кровь? Целые моря слёз. Целые океаны крови. А – остальное? Загадка. Руки умывают. От брезгливости? Хворобушкин не знает. Никто не знает в этом мире крови и слёз, в этом мире лжи повседневной... Вы думаете, отчего буфетчица ведёт себя так нахально? Она ведёт себя так нахально потому, что её обманули. В сегодняшних газетах партия и правительство признались-таки, что антиалкогольная кампания – это шутки Мишутки и жмурки Егорки. И Феликса Хворобушкина тоже обманули. Куда теперь девать двадцать девять томов с картинками? Коту под хвост? Между прочим, избранные произведения уже изданы, у плакатов гигантские тиражи, гонорары колоссальные, можно даже посидеть с такими деньгами в международном вагоне-ресторане, от станции Хибаровск-пассажирский до станции Хибаровск-сортировочный, но там поэзия вряд ли кому нужна, там в душах царствует какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови... В общем, так: с сегодняшнего дня Райхер вновь и окончательно становится Хворобушкиным. Понятно, Вадя?

– Ну, всё! – объявила буфетчица. – Закругляйтесь, гады. Через две секунды закрываюсь. По семейным обстоятельствам.

– Врёт? – спросил Вадим поэта.

– Естественно. Что ей ещё остаётся, жертве правительственного обмана? Она сегодня в «мочалке» последний свой денёчек отрабатывает. А до этого денёчка было такое грустное дело. Слушайте, Вадичка. Когда здесь, в этой несовершенной бане, запретили водкой торговать, буфетчица два с половиной года с куска на кусок перебивалась. И вот не выдержала-таки, лопнула и подала с неделю назад заявление об уходе к неизвестной матери. Начальство подписало приказ. С сегодняшнего дня за прилавком должна возвышаться новая продавщица и благотельница. И что ж вы думаете, Вадичка, не знаю вас по отчеству, что ж вы думаете? Именно с сегодня из торгова поступило разрешение на продажу в «мочалке» чего-то спиртного. По моим неофициальным источникам, привезли что-то два ящика. Вам не пахнет из подсобки?

Нет? Ну, мы ещё проверим, чего привезли... Так вот, уволенная буфетчица хвостом круть-верть, да поздно, назад уже ходу нету. Разве ж ей не обидно? Но мы с вами должны держаться до последнего патрона, как на Колоколамском шоссе. С минуты на минуту появится новая хозяйка, мы её крестить будем. По сведениям от лиц, заслуживающих доверия, девушка ещё неопытная, холостая, два месяца как из деревни в город прикатила за женским счастьем...

Последние глоточки пива растягивали молекулярно, покуривали, вглядываясь в глубину, туда, где за стойкой возносился к самому потолку старинный, морёный под дуб, а может быть и в самом деле дубовый резной буфет.

– Слушайте, – сказал поэт, – вам не очень кажется, что это чудовищное сооружение похоже на храм? Эклектика, готика, чуть-чуть романский стиль, башенки какие-то, кукушечки только не хватает, прости господи...

– Там бутылки не хватает, – сказал Вадим. – С яичным ликёром, например.

– О, Вадичка, откуда у вас такая яичная пошлость! Нет, вы глядите сюда! Чистый Нотр-Дам, собор Парижской богородицы! Вы, Вадичка, были когда-нибудь в городе Париже?

– Нет, я извиняюсь, ещё не был и не знаю такой богородицы. И вообще у нас пиво кончилось. Сухо. Ага.

– Что ж, пойдёмте искать дорогу к этому храму. Пора. Новенькая наша мать, как видите, уже у руля.

К новенькой буфетчице успела выстроиться приличная очередь. Суровое молчание витало над обеими сторонами процесса купли-продажи. Очередь молчала и ничего покуда не требовала, чтобы невзначай не спугнуть новенькую. Новенькая же молчала, мыла кружки и не знала, с чего начинать знакомство со сплочённым в кровное братство коллективом клиентов «мочалки».

Оказалось: в подсобке имели место быть два ящика трёхзвёздочного коньяка, трижды героя, но в накладной, которую экспедитор вручил буфетчице, было строго указано: «Только для коктейлей».

– Обратите внимание, – сказал поэт, – на милом новеньком личике написано: какие такие коктейли? кто это такие и почему райторг устроил им по накладной такой откровенный блат, что народу в очереди коньяк не полагается, а этим коктейлям – всё можно? Ах, душа ситцевая... Слушайте, мы её сейчас проветрим! За мной! А ну-ка, граждане, не стойте поперёк горла!

– Куда прёшь? – глухо заурчала очередь.

– Ша, босяки, – сказал вдохновенный поэт. – Старый литератор имеет сказать пару маленьких слов.

Не обращая внимания на угрожающее шипение, Феликс протиснулся вперёд и шлёпнул на прилавок бумажную денежку:

– Одну бутылочку для поэта Хворобушкина.

Новенькая как-то враз растерялась, точно невыучившая урок девчонка, руки её бестолково пустились в догоняшки от кружек к переднику, от передника к счётам, от счёт к денежному ящику и, наконец, выдернули откуда-то из глубин заприлавочного пространства беленький скромный листочек.

– Вот, читайте, – сказала она.

Поэт стрельнул глазом по накладной и улыбнулся:

– Только для коктейлей? В этом вся загвоздка? Великолепно. Будем, друзья, пить только коктейли. Ибо говорю вам: коктейль это друг человека, это даже полезней, чем простая бутылка. Однако некоторые товарищи из очереди, которые здесь шипят и нарушают, абсолютно ни бум-бум в этом вопросе.

Товарищи пробно зарычали, готовые к бунту, но в целом сохраняли образцовый порядок. А новенькая озарилась надеждой:

– Вы, что ли, бум-бум?

– Мы, наша милая, всегда готовы бум-бум. Потому что поэты начинают день с коктейля и им же заканчивают. А весь фокус с коктейлями – в дозировке. Понимаете? Если, например, отпустить в обои руки по стакану коньяка, так это будет пьянка. Но если того же самого по пятьдесят граммов в одну руку, то это уже будет коктейль.

– В наших широтах допустимо и по сто грамм, – добавила из-за поэтова плеча неопознанная личность. – Север всё ж таки... другие граммы... другая грамматика...

Поэт негодуяще обернулся:

– Слушайте, гражданин! Думайте, что говорите, и слушайте сюда! Сто граммов – это предел!

– А вы меня, случаем, не обманываете? – жалобно улыбнулась новенькая.

– Я обманываю? – трагически, на всё помещение прошептал Хворобушкин. – Я, которого знают от днестровских виноградников до спорных островов Курильской гряды и дальше, до самой Кубы? Вы меня оскорбляете. И поэтому я удаляюсь. Даже не пивши.

– Куда-а-а? – дружно заревела очередь. – Стой, не уходи! Растравил, падла, а потом смываться? Травы дальше!

И Хворобушкин пошёл дальше, к последнему восклицательному знаку.

– Да, – сказал он, – поэт может что-нибудь присочинить для красноречия. Он даже обязан это сделать. Но вот он, – Феликс указал на Мошонкина, – он не солжёт никогда! Профессионал-дегустатор! С дипломом.

– Чего? – испуганно пискнула новенькая. – Не поняла...

– Дегустатор – это вроде проверяльщика. Где густо, а где не очень и к тому же нахально разбавлено. Ему вы должны верить во всём, а насчёт коктейлей в первую очередь.

– Ой, боюсь я чего-то... А вы не из органов?

– Не бойтесь, милая. Все мы вышли из органов и органами накрылись. Здесь все свои. Инвалиды войны Советского государства с пьянством и алкоголизмом. Правильно я говорю, джентльмены?

Очередь положительно загудела. И новенькая засветилась, и червь сомнения покинул её очарованную душу.

– Может, с вас и начнём, товарищ поэт? – спросила она с робкой улыбкой. – В первую очередь и пока ещё не поздно...

– С них, с них обоих, – согласилась очередь ангельскими голосами. – С поэта и проверяльщика. Доверяем. Хорошие люди. Заслужённые.

– Ах, чудная барышня, – сказал Феликс. – Давайте же начнём. Лучше поздно, чем никогда. Именно так думала Анна Каренина, глядя своей одинокой головой вслед уходящему поезду. Вы тоже так думаете, Вадим?

– Насчёт чего?

– Насчёт букета аромата коньяка и этой чудной барышни, которая стоит перед нами как гений чудной красоты и мимолётное виденье.

– Я думаю, – ответил Мошонкин, – что обои будут как букет икебаны. Ага.

– Ах, – воскликнула новенькая, – я совсем не из таких... при которых можно материться и предлагать! Меня не Анна и не букет, я здесь Марго.

– Чудно, чудно! – взвился поэт. – Ах, чудно! Слушайте, это даже какая-то мистика, что вы – и вдруг Марго, а мы с товарищем дегустатором как раз мастера. И вот мы все сошлись, наконец, в одном месте! Потому что каждому мастеру положена своя Маргарита! Чудная барышня! А какой наив! Знаете, Марго, что я вам скажу? Я вам скажу так: за каждый коктейль, полученный из ваших божественных ручек, мы будем платить вам высокой поэзией планетарной пробы!

– Большое мерси, – сказала Марго. – Но лучше деньгами. И ещё чтоб не материться и не предлагать.

Коктейли отпускались поэту и его спутнику, разумеется, вне очереди.

– Да, вы и взаправду мастер, – оказал Вадим, – чтобы мозги запудривать сельским девкам.

– А что вы хотите, Вадичка? Я ведь со словом работаю. А слово – это внушение. Тут до глубины дойти надо. Но, к сожалению, в нашем городе с индивидуальной глубиной дело дрянь.

– Например?

– Например, я могу внушить вам, что вы, Вадим, вовсе не Вадим, а настоящий Бетховен. И что будет после этого? Разве ж вы оглохнете после моего внушения, чтобы походить на великого маэстро или, в крайнем случае, на Тихона Хренникова? Нет, вы не оглохнете, чтобы походить на великого маэстро! Или, допустим, я сравню вас с Толстым Львом Николаевичем. Неужели ж вы возьмётесь за плуг и станете землю пахать? Дудки. Вы не сделаете ни того, ни другого, ни третьего.

Извиняюсь, сухой буду, но вы сейчас же попросите, чтобы я свои сравнения изложил на бумаге, поставил дату и подпись, заверил печатью в нотариальной конторе. И вы помчитесь с этой бумажкой стучаться в творческие союзы композиторов и писателей: «я – Бетховен, я – Толстой!» А между тем, Вадичка, пожалуйста, не обижайтесь, вы с трудом можете отличить голографию от порнографии или кинологов от кино-критиков. Не так ли?

...В последующем новые знакомцы сосредоточились на трёх важных жизненных вопросах. Во-первых, Хворобушкин, оказывается вчера бродил целый день по городу, искал с кем посоветоваться на жгучую тему – и не нашёл, представьте себе, это же полный кошмар, когда город наполнен советскими людьми, а совета попросить не у кого! Во-вторых, слово «кирять», подумать только! происходит от имени древнеперсидского царя Кира Второго Великого, который, по свидетельству тоже древнего Ксенофонта, был большим любителем пирушек с обильными возлияниями, что и дало повод современникам констатировать: «пришёл на пир, а там сплошной кир», представляете? В-третьих, что такое говорить по-товарищески, так, как мы сейчас говорим, без обиняков, напрямик, в открытую друг другу душу? Откуда оно вылезло и пристраивается к русскоязычной задушевности это уродливое слово – обиняк? Слушайте, я вас сейчас наповал укокошу, Вадичка, что это корявое слово имеет под собой чистый факт. Оно ведёт себя от имени французского писателя и театрального критика Франсуа д'Обиньяка, родился в одна тыща шестьсот четвёртом, представляете, году, и умер в одна тыща шестьсот семьдесят шестом, и вот этот, с позволения сказать, родитель поганого слова был на самом деле очень неплохим мужиком, без фрайерских замашек, исповедовал принципы классицизма, призывал всех художников ухватываться за вечные темы и пытался сгладить, как последний уют с одесского Привоза, политические противоречия современного ему общества...

– О, слово – это страшная штука, Вадичка! Вы были в Париже?

– Да я ж говорил, что не был. Зато мой коллега-певец был в Париже. Зато я не был... А что?

– Жаль, очень жаль. Я, между прочим, тоже ещё не был. Но я безумно люблю этот город, я просто обожаю его, Вадичка. Париж по-французски «пари». Чувствуете: вечный спор, азарт! Но поверьте мне, что даже в Париже вы не увидите того, что можно увидеть в краю родных берёз, дубов и осин. В прошлом году я нечаянно примкнул к французским писателям в их поездке по России. И вот в городе Улан-Удэ мы оказались перед будкой с вывеской «Позы. 1 руб. 20 коп.» Один мой спутник, великий знаток русского языка, немедленно оказался в сексуальном трансе: дева Мария, так дешёво? Предложил продавщице валюту. Короче, трахнулся не отходя от кассы за десять франков и насытился позами до отвала. Это пельмени такие, забайкальские, бурятские. Позы... Озвереть можно! Как у вас, кстати, в смысле секса?

– Да ну вас, – смутился Мошонкин. – Не знаю. Я только на политические темы зверею. А ещё когда за водкой в очереди. Или за какой-нибудь срочной закуской. Например, камбала жареная. Эта сволочь одноглазая! Ага. Зато мелких костей в ней нету. Но всё равно сволочь...

– Ну, это вы не скажите, Вадичка, не скажите. Супротив иной продавщицы так бывает, что и любая камбала – человек.

– А вы насчёт чего посоветоваться искали вчера?

– Тихо, – понизил голос Феликс и, прижав палец к губам, указал подбородком на розового мужчину, который по соседству чавкал, чавкал, а потом вдруг грохнул кулаком по столу: «Повторить!»

– Вы думаете, стукач?

– Я уже не думаю. Я уже догадываюсь. Чтобы так надраться с двух несчастных коктейлей? Извините, такого не бывает. Тем более, что такой амбал, биндюжник, конь гортоповский и сопит, как этот... как Сапун-гора.

– Сапун-гора не сопит. Это Ключевская сопка сопит. Я знаю. Я там в морской пехоте служил, ага.

– Ну, пускай будет, как Ключевская. Какая разница? Один хрен. В кармане-то у него, небось, уже наручники для нас заготовлены. Понимаете?

А чего ж Мошонкину не понимать? Понимал. Ещё с детсада, с нежного возраста, когда папу-маму насчёт бытового антисоветизма привлекали к откровенным разговорам гэбэшные следаки. Внучата-ильичата накануне играли в красный субботник, чокались компотом, а потом дедушку своего, вечно живого, поволокли, как бревно, в «живой уголок», к ёжику, но по дороге уронили и откололи гипсовый нос вместе с головой, и делов-то было тогда... – двадцать малолетних уголовников!

– Держите себя всегда на контроле, Вадим, – сказал поэт. – Я вот, живой пример, для чего иногда напиваюсь? Вы не поверите, клянусь мамой! Трезвый – настоящее ботало коровье. А как напьюсь – только тогда и держу себя под контролем. То есть, у меня моментально образуется то, что нужно держать.

– Так спиться можно, – мрачно произнёс Мошонкин.

– Можно. Но не нужно. Всегда вспоминайте: не пей, говорила сестрица Алёнушка братцу Иванушке, а братец не послушался, выпил и стал козлом. Кто за козла ответит? Вот, Вадичка, вопрос вопросов. А ещё – носки с дырками. Но для настоящего поэта это ерунда.

– Какие носки? – Мошонкин глаза округлил. – Какие дырки?

– Тих-ха! Враг подслушивает! Я говорю, важно, чтобы дырки на носках не совпадали с дырками в ботинках. Ясно вам?

– Это ясно, – ответил Вадим, и голова его слегка покруживалась от полноты неисчерпаемой поэтической мудрости. – Ясно, что носки с дырками. А дальше что?

– А дальше мы будем жить лучше, – выкрикнул поэт. – Мы будем петь и смеяться, как дети. Обязательно.

– Вы что это, неужели уезжать отсюда задумали?

– Тих-ха! – Феликс оглянулся на розового мужика. – Хочу посоветоваться. Вы, Вадик, не член коммунистической партии?

– Молодой ещё. Зато один мой коллега Помиранцев старый и заслуженный член. Зато я не состою, извините.

– Я тоже. И мой неродной папа в Одессе тоже состоял. Его ещё до войны приняли, но не за того, кого надо было. И вот он недавно, на старости лет, взял и вышел. И я его поддержал-таки в знак протеста.

– Против чего протеста?

– Сейчас поймёте, Вадичка, кто такой я. Месяц назад товарищи по внутренним делам буквально извлекли меня из дома и привезли в горморг. Опознайте, говорят, один труп еврейской национальности. Я спрашиваю: труп – это ещё еврей или уже нет? И ещё я спрашиваю: кто тут главнее для вас – труп или еврей, короче говоря, кто вам, товарищи, нужен для ваших внутренних дел: труп еврея или еврей трупа? И они мне говорят сквозь сжатых зубов...

И тут Хворобушкин с Мошонкиным услышали рыдание: розовый мужик трясся на кулаках, как ребёнок. Рыдал...

– А я знал! – скороговорным шёпотом заторопился досказать Феликс. – Я точно знал, что не было того, кого хотели в морге опознать. И не могло быть! Потому что он полгода назад как в Африку убежал и стало известно из Би-Би-Си, что сидит он там на сахарном песке и не греет по-чёрному не по дням, а по часам. Я вам это, Вадичка, уточняю, а когда вы уточнитесь, тогда это будет уже не кошмар, а полный абзац вопросительных знаков препинания...

Розовый мужик скрипел зубами.

Розовый мужик ненавидел собственные зубы, которые мешали ему выговорить про «выть на Волгу! чей стон раздаётся?» Розовый мужик уж целый час назад как вышел из «Волги» и не хотел туда возвращаться.

– Побалакаем позже, – сказал Хворобушкин, – без свидетельских показаний. Запишите себе на носу, Вадичка, мой телефон, кажется, 24-25-26, или 27, точно не помню, никогда сам себе домой не звонил, а вы звоните пока по этому номеру, а я как вспомню правильный, так вам перезвоню...

А очередь, между тем, начала волноваться: медленно продукт отпускаешь, дорогая Марго, тем более, что всего-то по сто несчастных грамм в одну руку...

А Марго уже вела себя смело, по-свойски, точно у себя в родной деревне, в сезон уборочный, в окружении зернотокующих мужиков:

– Чо волну гоните? У меня ж не десять рук, всамделе! Встаньте, если хотите, на моё место, я тогда посмотрю!

И поэт встал на её место.

Он разливал, как в аптеке. А Марго денежки считала-принимала и сдачу – вот дурочка! – сдавала.

Надвигался большой кир.

Но вместо него вдруг явились в «мочалку» крепкие парни с зырыками глазами.

– Здесь! – обрадовался один из них, заметив розового мужика за стойкой.

И парни окружили заботою того мужика, стали нежно отрывать его от стоячего столика, а мужик не желал отрываться и отпихивался:

– Прочь, негодяи... Не мешайте изучать народ, как своего врага... сколько можно повторять, уроды...

– Не повторяется, – запели парни на манер вокально-инструментального ансамбля «Бля-самоцветы!», – не повторяется такое никогда... Пошлите баиньки, товарищ Сытников... А то ваша жена весь крайком уже на уши поставила... Айда-те, товарищ Сытников, пожалуйте...

Так вот, ласково, и вывели мужика на улицу.

А там уж и «Волга» чёрная фырчала.

На следующий день персек Сытников устроил фирменный разнос генералу Поцелуйко.

– Вы что, с ума сошли? Выслеживать? Меня?

Генерал оправдывался:

– Ни в коем случае. Нам вы, как субъект профилактики, запрещены. А был обычный рейд сотрудников правоохранительных органов. Цель, вы знаете, спущена сверху: выяснять, кто из наших трудящихся чем занимается в рабочее время и почему? Профилактируем по кинотеатрам, по магазинам и разным прочим точкам. Документы проверяем. Бывает, задерживаем граждан до выяснения причин. Если, например, у гражданина отгул или на больничном сидит, так у нас претензий нет. Вот и в баню имени Чернышевского-Белинского заглянули, по плану-графику, а там вы ... а супруга ваша, уважаемая Слостёна Васильевна, говорит: в народ пошли, и уже не в первый раз...

– Врёшь, – сказал персек, – по глазам вижу, что врёшь.

– Вру, – сказал генерал. – Служба такая.

– Кто тебе на меня настучал?

Поцелуйко ничуть не смутился:

– А птица есть такая, товарищ Сытников...

XXXV

О, пернатые вы наши! Куда нам без вас?

Вот и Вадя Мошонкин – помните? – по случаю и без оного патетически восклицал: есть такая птица! Но Вадя не читал произведений товарища Ленина. А ведь товарищ Ленин раньше всех, раньше Вади, раньше генерала Поцелуйко патетически восклицал: есть такая

партия! Однако после товарища Ленина этот восклицательный вопрос свернули головой в неизвестную сторону, и в таком свихнувшемся виде политология пошла другим путём, в орнитологию, в литературу и искусство, в ненормативную лексику и фольклор...

*Да как на дубе, дубе,
Да на дубу высоком
Два сокола сидели,
Один сокол Ленин,
Другой сокол Сталин...*

И говорит Сочинитель пёрышку своему:

– Ну, что, гусятина, начнём нетленку, благословясь?

И гусятина гаркает по-мошонковски:

– Ага-га!

Было дело накануне 800-летия Москвы. Организаторы художественной выставки попросили молодого скульптора Орлова поучаствовать. Согласился парень, ещё бы не согласиться, такая честь! И принёс изваянную птичку. Организаторы поморщились, дескать, у Веры Мухиной рабочий с колхозницей – во какие! а это что? никакого размаху, никакого социалистического реализма! – но, отморщившись, всё-таки взяли птичку. Орлов раз пять ходил смотреть на своё творение, сидевшее в неприметном уголке. Стоял, громко восхищался, посетителей приманивал: «Какая замечательная птичка! И кто же тот гениальный ваятель, интересно бы узнать?»... Когда выставка свернулась, то вдруг обнаружилось, что птичка пропала. Орлов, естественно, устроил грандиозный скандал, и тогда организаторы доверительно, под подпиской о неразглашении, сообщили скульптору: на вернисаже побывал сам товарищ Сталин, ему птичка очень понравилась, и самый главный начальник Союза художников Советского Союза преподнёс эту птичку отцу народов в подарок, а что ему оставалось делать? зато какая честь вам выпала, товарищ Орлов! Но товарищ Орлов был то ли беспредельно глуп по-молодости, то ли, несмотря на молодость, беспредельно гениален: отдавайте, кричал, назад мою птичку!.. Крик докатился до вождя. И однажды в барак, где проживал Орлов, приехали военные товарищи, протянули телефонные провода, аппарат подключили и строго сказали: сидеть! ждать!.. Час сидел Орлов, два, четыре... Волнуется, а на двор по нужде выскочить невозможно, в чайник попрудит – и снова сидит, жмётся. И вот телефон аж подпрыгнул, звеня: «С вами, таварыщ Арлов, гаварыт таварыщ Сталин. Я нащёт вашей птычки...» Кончилось дело вот чем. Своё творение скульптор обратно так и не получил, зажил Сталин птичку, зато... Зато основоположник сталинизма лично поручил основоположнику птички Орлову высоколауреатскую работу над статуей основоположника Москвы Юрия Долгорукого.

А где-то за границей нарисовали голубя мира!

И Кремль всерьёз взялся за птичек. В чём дело? В том, что Москва всё больше и больше становилась помойкой. Известное дело: где помойка, там и серое вороньё. Но воронам оказалось мало простых помоек. Они, любопытные и хитромудрые, издавна, ещё со времён итальянских мастеров, полюбили кататься, словно со снежных горок, с куполов кремлёвских соборов. Это ещё полбеды, катайтесь – но зачем же гадить на месте развлечения? Дожди, конечно, смывают вороньи отходы, но уже поздно: позолота не выдерживает их ядовитости... Беда! Да ещё клумбы с голландскими тюльпанами топчут! Да ещё игрища устраивают непотребные и, прямо скажем, антигосударственные. Берёт, например, ворона камушек в клюв и в водосточную трубу бросает, и сидит, сволочь, слушает, как он там гремит, а потом поднимет вылетевший камушек с асфальта – и снова... А ведь в Большом Кремлёвском Дворце в это время государственные люди, может быть, думу думают!

И порешили государственные люди: птички – это хорошо, но надо же меру знать!

Первые охотники за воронами – соколы и ястребы – появились весной одна тыща девятьсот восемьдесят четвёртого года. Определили охотников на штатную службу в комендатуру Кремля, в Константино-Еленинской башне поставили шикарные вольеры. О пропитании у начальства голова не болела: ловите ворон и жрите.

Но соколы и ястребы – странные птички. Ну, собьёт ворону. Ну, сожрёт. Но, пожравши, уже не охотится: зачем, дескать? больше пуза не сожрёшь...

Собрались генералы во главе с заместителем коменданта Кремля Александром Васильевичем Гусевым. Стали думу думать: что делать? И придумали. На вооружение Отдельного Кремлёвского полка вскоре поступила новая секретная техника БАУ-8: акустическая установка для решения проблемы. Замаскирована в обычной «Волге». Включают установку – и синтезированный крик вороны, терзаемой ястребом, громко разносится над краснозвёздными башнями. А вороны, обладающие товарищеским чувством локтя, точнее – крыла, отовсюду спешат на помощь якобы попавшему в беду другу-подруге, и кружат над «Волгой», и кричат, и угрожающе пикируют, как бомбардировщики... И тут солдатики выпускают ястребов! Да тут же окна и форточки открываются, и государственные мужи лупят по воронам из мелкашек, славное развлечение, коим ещё Екатерина Великая в северной столице не пренебрегала...

Вот и подумаешь: да, есть такие птички...

Синицы в руках, которые лучше, чем журавли в небе, которые лучше, чем «утки» под кроватью, но утки газетные гаже всего...

«Дикие гуси» в камуфляже...

Кулики в своём болоте...

И гордо реет буревестник, а гагарам недоступно...

Сидит за решёткой орёл молодой, негербовый...

Кукушка хвалит петуха...

А у дороги чибис...

Надутые индюки...

Щеглы щеголеватые...

Лебеди...

И соловей мой, соловей...

И грач, птица весенняя...

Совы и жаворонки...

И политические ястребы, и политические голуби...

И дятел!

О, сколько их, пернатых, свили свои гнёздышки с птичьими правами на человеческих достоинствах и пороках!

– А птица есть такая, товарищ Сытников, – докладывает персеку генерал Поцелуйко. – Каркуша. Каркает всё, каркает... Кр-Кр!

– Спасибо за откровенность, генерал. Молодец. Полковником не будешь. Со своей женой я на днях разберусь по-партийному. А мы с тобой давай-ка за милых дам коньячку ереванского пригубим. По сто граммов. В народе коктейлем называется. А? К женскому дню, генерал, проведём генеральную репетицию...

XXXVI

На генеральную репетицию праздничного концерта самодеятельности Мошонкин не явился. Он должен был исполнять номер: художественный свист, попури на темы советских комсомольско-молодёжных песен.

– Вот же сволочь, – возмущался Помиранцев. – Вечно с этим Вадимом одни фокусы. Как в прошлом году.

– В прошлом году, – заметил Щитовидов, – не фокусы. В прошлом году Мошонкин вообще антисоветчину свистел.

– Не перегибай, Фёдор Эдмундович, это неправда. Хорошую песню свистел Вадим.

– А что наша почётная гостя из райкома сказала? Уже забыли? Так я напомним...

Помним, помним, не надо, Федя, напоминать про почётную гостью Вандею Властьевну Попадейкину, заведовавшую в райкоме партии вопросами культуры. После прошлогоднего концерта она даже на чаепитие с домашними тортами и московскими конфетами «Красный Октябрь» не осталась. А через три дня Вандея Властьевна проводила с нами урок политграмоты. В красном уголке, в обеденный перерыв...

– Давайте, – говорила Вандея Властьевна, – разберёмся досконально и пунктуально. В чём состоит неразборчивость вкуса и гражданская незрелость вашего пока ещё товарища Вадима Мошонкина? В том,

что он по своей неосознанной наивности поддался на крючок скрытой идеологической диверсии наших классовых врагов, апологетов антикоммунизма и антисоветизма. И чтобы не быть голословной, я на ваших глазах проанализирую содержание и замаскированный смысл его, Мошонкина, так называемой песни, которая странным, моему пониманию недоступным, образом пришла к нашему народу со всесоюзного экрана. Итак, допустим, есть какой-то океан, хотя каких-то океанов на нашей планете нет, у каждого океана есть своё название. Допустим, имеется в этом океане остров, абсолютно весь покрытый зеленью. О чём нам может говорить эта зелень? Эта зелень нам может говорить не только о флоре, но и о фауне, о загнивании, о плесени, об американской валюте...

– Позвольте, – сказал Князь, – но плесень может быть явлением весьма полезным для человечества. Пенициллин, например.

– Пенициллин, говорите? Но почему же, в таком случае, данный нам в ощущении и представлении остров называется островом Невезения? Подумайте, товарищи! С одной стороны, там живут несчастные люди-дикари, на лицо ужасные. Но с другой стороны, добрые внутри. Внешний облик, так сказать, и внутреннее содержание находятся в странном, противоестественном противоречии. Неужели вы думаете, что подобным образом на одном участке суши, ограниченном водой, могут уживаться диалектические единство и борьба противоположностей? Я сомневаюсь...

Князь стал как-то уж совсем по-чернорабочему переминыться на заднице, прокашливаться – это у него проба голоса такая! – за платочком в карман полез. И Кувыкин со своей культурной концепцией насторожился: сколько же можно от этих баб всяких ценных указаний терпеть? И даже Семёныч аккуратно загремел своими цепями-якорями: шалишь, Вандея Властьевна, мы нашего художественного свистуна в обиду не дадим! шас вот малость сообразим, чо к чему – а там и полундру сыграем...

– Объективно складывается следующая ситуация, – продолжала товарищ Попадейкина, – что весь труд, все благие начинания островных жителей пропадают зря, дела не идут, крокодил не ловится, не растёт кокос. И что же они предпринимают? Они богу молятся, не скрывая слёз! Допустим, научный атеизм до этих дикарей ещё не дошёл. Но они, прошу обратить особое внимание, только притворяются дикарями. Дикарство, необразованность, бескультурие и, извините за выражение, обыкновенная дурость на грани сумасшествия должны, по их мнению, избавить от ответственности за свои деяния. На самом деле, они не дураки и не бездельники и могли бы жить, как в нормальном цивилизованном обществе. Однако эти псевдо-дикари видят причину своих якобы неудач в том, что на проклятом острове – кем проклятом, спрашивается? – нет календаря! Но такого нонсенса быть не может. Прошу водички, товарищ Сперанский...

Товарищ Сперанский моментально услужил стаканчиком, и Вандея Властьевна, мастерица, видать по всему, агитационно-пропагандистских пауз, продолжила:

– Я понимаю, что для некоторых наших отдельно взятых трудящихся из колхозного крестьянства, рабочего класса и трудовой интеллигенции такой день недели, как понедельник, бывает днём тяжёлым. Но скажу вам, как женщина-мать, жена и ответственный работник райкома партии: пить надо меньше! А то лезут вам в голову разные причины да оправдания: дескать, в понедельник вас мама родила. При чём тут советская женщина? И ещё: почему вы вдруг вспомнили дни недели, если у вас календаря нет? Я вас спрашиваю, товарищ Мошонкин!

И Вадим встал. И начал, как всегда, с птички, потом перешёл на положительного режиссёра Гайдая с его «Бриллиантовой рукой», упомянул нехорошего домоуправа Нонну Мордюкову, потом попытался изобразить стилизную пляску на палубе отрицательного артиста Миронова... но при этом ничего не пел, только насвистывал и в свистопляске этой можно было угадать, что художественный свист идёт о чудо-острове Чунга-Чанга, на котором жить легко и просто...

А Сочинитель в это время перебирался мыслию по другим островам, с одного на другой – с Таинственного острова на Остров сокровищ, а потом – на Остров Отчаяния, к Робинзону с его козой и попугаем, а от Робинзона – к Хемингуэю с эпитафией из средневекового Джона Донна: «Нет человека, который был бы, как Остров, сам по себе, каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если Волной снесёт в Море береговой Утёс, меньше станет Европы, и также, если смочит край Мыса или разрушит Замок твой или Друга твоего; смерть каждого Человека умалывает и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе...» Джон-н-н... Дон-н-н... дон-н-н...

А Князь, слушая Вандею Властьевну, молчал о загадочно-неописуемом очаровании кружев, которые в сущности состоят – вот феномен искусства! – в гармоничном сочетании дырок... Это же вылитая Вандея Властьевна! Да ладно... Ещё Максим Горький назидал: нет красоты в пустыне, красота – в душе араба... Это к вечному вопросу о гармонично развитом человеке. О человеке в пейзаже. О человеке «золотого сечения», придуманном безумно гениальным Леонардо да Винчи. Но сечение – оно ведь тоже разное бывает. И далеко не золотое-бриллиантовое. Плаха с розгами, например, «кобыла». Такая гармония. И такие вот гармонисты с засученными рукавами, засученные гармонисты...

А Помиранцев что ж? Побрякивали на кулаках цепи и якоря. Деликатно побрякивали, чтобы не спугнуть нечаянные воспоминания о том, как давным-давно, в Москве дело было, встретился он по личному вопросу с самой Фурцевой Екатериной Алексеевной, министром тогдашней культуры всего Советского Союза, славная женщина, щас

таких, наверно, нету...

– Сядьте на место, товарищ Мошонкин, – сказала Вандея Властьевна. – И запомните: нет в мире таких островов, которые не взяли бы большевики. А это вот что значит, товарищи жилищно-коммунальные работники. Нашему населению, не искущённому в хитросплетениях изоцрётной вражеской пропаганды, с киноэкрана провокационно предлагается взять – и отменить понедельник. Я расцениваю это как призыв к свержению существующего политического и государственного строя. И вся песня, в сущности, есть грязные помои, льющиеся с экрана. Вредное иносказание, злостный намёк, злобная аллюзия, кривая парабола, демагогическая инсинуация, клеветническое измышление в адрес советского народа и социалистического государства! И вы, товарищ Мошонкин, публично распространили эту клевету! Вы сознаете?

– Я свистел! – вскочил Вадя. – Я ж ни одного слова не сказал, есть свидетели! Чо вы на меня вешаете?

– Вы сами на себя повешали, гражданин Мошонкин. Кто хочет понять, тот даже без слов всё поймёт. Вот почему ваше так называемое выступление на концерте является скрытой антисоветчиной. Три дня назад вы свистели, что вас не устраивает наш календарь, а завтра вы, может быть, засвистите, что трутся спиной медведи о земную ось...

И встал Князь. Горло прочистил. Позу принял. Пробаритонил:

– Значит, подрывная песенка?

– Однозначно, – ответила Попадейкина.

– Остановись, голубушка! Мы, простые советские люди, не желаем больше слушать ваши бредни. Вы или сумасшедшая, или ещё хуже. Как вы могли додуматься до того, что наша действительность развитого социализма идентична островному положению, изложенному в песне? И, наоборот, какое вы имеете моральное право и полномочия распространять островные идиотские ситуации на положение трудящихся в гармонично развивающейся советской стране? У вас имеются для этого основания? Наша жизнь напоминает вам ту, которая на острове Невезения? Да или нет? Отвечайте!

Вандея Властьевна сидела за кумачовым столом, и сливалась со столом, как будто бы исчезая, и с ужасом смотрела на Князя... на Помиранцева... на Сочинителя... на Владимира Ильича Ленина в портретном золочёном багете...

– Я требую ответа: да или нет? – гремел Князь. – В противном случае, я от имени всего трудового коллектива вынужден буду обратиться в компетентные органы за разъяснением. Ну?

– Н-н-нет, – прошептала Попадейкина. – Вы меня не так поняли, товарищи...

– Заткнитесь, мадам. Много вас тут развелось, моралистов в юбках, – грустно сказал Князь, и вдруг его голос ушёл в энергичную мелодию со словами, которые мы все с младенчества знали: что Сталин – наша слава боевая, Сталин – нашей юности полёт, с песнею борясь

и побеждая, наш народ за Сталиным идёт... – С кем вы бороться намерены, милостивая государыня? С песней? Песню победить? Слава богу, песню не задушишь, не убьёшь. Гиблое дело, мадам, сражаться с песней, неперспективное. Так подите же прочь...

Ошеломлённая Попадейкина ушла рыдать в кабинет товарища Сперанского.

А мы побрели в подвал. Победоносно молчали. Многозначительно молчали. Кувыкин телек включил. А там мушкетёр Боярский. Распеваает, провокатор, как будто бы нет на него никакой мало-мальской Вандеи:

*...Снится мне часто маленький остров,
Вы не ищите на карте его.
И никуда, никуда мне не деться от этого,
Ночь за окном, на дворе никого,
Только к утру станет зорькой рассветною
Остров детства, детства моего...*

А где-то в середине лета товарищ Сперанский лично наведился к нам в подвал и, между дел, сказал, что Вандея Властьевна из райкома ушла по собственному желанию и в настоящее время занимается частным приёмом граждан по личным вопросам, короче, ворожит-гадает по методу какой-то ассирийской Джуны из Грузии, которая из буфетчиц вдруг – раз! – и в московские дамки вышла...

На этот раз поздравлять жэковских женщин от имени райкома прибыл молодой человек из откуда-то, обаятельный, как ещё тот артист Боярский. Таких бабы любят, не анализируя. Или так можно сказать, пользуясь печальным выражением Хлюстакова: обожают, сломя голову.

– Гусейн Вуткинд, – представился он Сперанскому и жизнерадостно улыбнулся, вылитый мушкетёр и баболуб.

Нам такая демократия понравилась, хотя – кто ж их до конца разберёт, этих представителей власти? что у них внутри и чего они своей головой думают? Так предположил (мысленно) Сочинитель, на что Помиранцев соответствовал тоже мыслительно: у тебя, Алексеич, тоже голова, а что толку? до сих пор свои запятые в моих мемуарах о московской жизни не можешь до финиша поставить...

Концерт – это мы придумали два года назад как пунктик в социалистических обязательствах, которые, в свою очередь, вытекали из вышестоящих решений, постановлений и Морального кодекса строителя коммунизма: повышать свой уровень, активно участвовать в общественной жизни... Думали мы, думали – и придумали конкретный концерт. Спровоцировал нас на это богоугодное дело Князь, Игорь Святославович. Рассказывал как-то: в Большом театре артисты попивают, но вполне умеренно, а как выпьют – так снова поют, но за тех, которые

неумеренные, поют уже другие, заменители... Вот мы и сообразили: поём, когда пьём? поём! тогда почему же не спеть в красном уголке, и себе хорошо, и общественности, и соцсоревнованию. А насчёт уровня в нашем коллективе всё в порядке. Щитовидов с народной дружиной вечерами патрулём выступает, с красногвардейской повязкой. Помиранцев сочиняет на общественных началах полное собрание сочинений по истории родного ЖКХ. Заюшкин... он ещё зимой ушёл за бутылкой «на бис», но ничего, как вернётся, так мы его вразумим на всех уровнях. Вадя Мошонкин молодой ещё, но всяких идей у него – пруд пруди, наверное, потому, что ещё молодой. Тайное его хобби – перегонка плохого человека в хорошего – образовалось полгода назад из соединения технологии самогонварения и научного свидетельства о том, что каждый человек (пьющий и непьющий, хороший и нехороший, капиталистический и социалистический) на 90, что ли, процентов состоит из обыкновенной воды, и стоит только добавить в него чего-то и перегнать целеустремлённо, как мы Америку перегоняем, так что-то и будет, только вот – что? И задумался Вадя, и оставил чёртовой матери предыдущую идею уринотерапии как эффективного средства от похмелья, и принялся экспериментировать, как академик Павлов (или Бехтерев?), сначала, конечно, на себе, и при этом всё время наблюдает начало эксперимента, это очень важно, потому что конец его всегда оказывается в тумане, и Вадя запоминает, записывает, высчитывает, и однажды воскликнул, как Архимед Сиракузский: «Эврика!» Корень Вадиного открытия сидел глубоко и до сих пор сидит там же: поллитровка водки стоит 2-87, чекушка – 1-49, так! и если 1,49 возвести в степень 2,87, то получится число «пи» с точностью до нескольких знаков после запятой. Сейчас Мошонкин размышляет: куда, к чему присобачить эту многозначительную «пи»?.. Наконец, Кувыкин, уж на что, казалось бы, непримиримый в смысле женской любви, но на безлюбье и враг – подарок, и в смысле повышения уровня на соцобязательствах Кувыкина можно «галочку» поставить: любит Кувыкин, обожмя обожает не только свою работу, но и послерабочий интерес – собирать чугунные крышки от канализационных люков, из годов коллективизации и даже НЭПа попадаются экземпляры, а дело это тяжёлое на редкость, и таких, как наш Кувыкин, может быть, во всём Советском Союзе – он один, ну, полтора-два, от силы... А Хлюстаков, противный Кувыкину? Хлюстаков, который бескорыстно и безвозмездно помогает демографическим взрывом нашей Советской Армии и Военно-Морскому Флоту... А Сочинитель? Жэковская стенгазета «Трубы зовут!» – кровь, пот и слёзы Сочинителя! В сумме получается: добровольный концерт как бы подведёт под общий монастырь итоги нашего облика и уровня.

В красном уголке двумя канцелярскими шкафами, развёрнутыми перпендикулярно стенам, слева и справа выгородили узенькое пространство. Шкафы как бы кулисы. Пространство как бы закулисье.

Между шкафами натянули гардинную «струну» и повесили помиранцевские домашние шторы на родных колечках. Это будет занавес. На занавес пришили белую бумажную птичку. Это будет чайка. И маленький жэковский театр готов.

После торжественной части с вручением почётных грамот и материальных отрезков на платья наступил наш черёд.

Князь пел арии и романсы.

Электрик Славка Подвойский выжимал двухпудовую гирю, и весь зал дружно считал: сколько раз? Славке выпал, точно снег на голову, обалденный успех.

Супруги Помиранцевы исполнили песню о Северном флоте «Прощайте, скалистые горы».

Привлечённый газо-электросварщик Боря Бодунов показывал фокусы с картами, глотал горящие спички, выдувал изо рта пламя, как реактивный самолёт, а под конец и вовсе разошёлся: давайте, говорит залу, по рублю, после концерта возвращаю по три! Накидали ему бумажек с мелочью полную шапку, Бодунов объявил: «Начинается кинетика! Как в кино!» – и вылез в закулисное окно... Вообще-то, кинетика делается так... Впрочем, к чему эти тонкости для непосвящённых? А для посвящённых даже тонкостей никаких нет. В прошлом году, например, Боря хотел самовоспламениться. Не получилось. Никто, кроме Бори и Сочинителя, не догадался: почему прежние фокусы сходили Боре с рук, а этот – вдруг нет? Ответ простой, даже два ответа: во-первых, факир был пьян, и фокус не удался, банальный случай; во-вторых, все мы, более-менее фокусники и более-менее нефокусники, всегда хотим чего-нибудь только наполовину своего хотения, а чаще – так и вовсе не умеем хотеть, а когда очень-очень захотеть, тогда всё получается, и это очевидцы называют чудом, магией, волшебством, фокусом с присовокуплением зрительского катарсиса, то есть, душевной разрядки, испытываемой на правдоподобие при сопереживании; самый же сложный фокус удаётся – только перед вероятностью разочарования, когда фокусник работает на пределе возможности и в фокусы уже не верит, а верит в чудо; а если всё-таки провал? упаси бог, но – бывает, и фокус можно повторить, и он может получиться, однако никто им уже не восхитится, банальный случай... И Боря ушёл из филармонии. Он вовремя сообразил, что опыт не повторяется, равно как и пройденный этап. Но слово «этап» Боря не любил со времён, не столь уж отдалённых, и мест, где он научился беспроегрышно резаться в карты...

– Следующим номером нашей программы – сказка о Балде и работнике его Попе, – объявил отпевшийся, «отпетый князь», Игорь Святославович. – Эпиграф: «Религия есть опиум для народа». Карл Маркс и Фридрих Манифест... Извините, Фридрих Энгельс.

Накануне товарищ Сперанский и Щитовидов перепирались: кто из них будет Балдой, а кто – Попом? По тексту сказки получалось, что

Балда умный и хороший, к тому же символизирует триединую сущность Маркса, Энгельса и Манифеста. И Сперанский, конечно, хотел играть именно эту, положительную, роль. Но у сценариста и главного режиссёра постановки Щитовидова было иное мнение.

– Эту сущность на троих я беру себе, товарищ Сперанский. Вам за тремя не углядеть. И давайте смотреть на искусство по-трезвянке, это вам не дворниками и безвинными сантехниками командовать. А роль отрицательного Попа вам будет в самый раз потому, что ни один зритель не осмелится поверить, что вы есть отрицательный герой нашего времени. Так что, вам этот оригинальный жанр будет как бы игра по-нарошку. Потому что вы, товарищ Сперанский, в первую очередь есть уважаемый начальник Краснознамённого ЖЭКа и имеете знак почётного звания заслуженный строитель СССР. И давайте не будем!

– Я, Фёдор батькович, не СССР строил, – попытался возражать Сперанский. – Я дома строил. И звание мне дали за последний дом, вот этот самый наш, сверхвысотный. Ты, сказали мне, его строил, ты и мучайся обслуживать. И так я с вами, гадами, связался на свою голову.

– Искусство требует жертв головы, – сказал Щитовидов.

И Сперанский обречённо вздохнул. Но на сцену вышел-таки в поповской рясе со значком почётного строителя: кому больше веры будет – это ещё вопрос.

Верхний свет пригасили. Слева – освещённый пятачок с телефоном и Попом, справа – освещённый пятачок с телефоном и Балдой.

Балда крутит номерной диск.

*За кулисами Помиранцев изображает
телефонные звонки.*

Поп снимает трубку.

Балда. Это ты, твоё преосвященство?

Поп. Так точно, товарищ генеральный манифест Коммунистической партии.

Балда. Скажи пароль.

Поп. Пароль. Скажи отзыв.

Балда. Отзыв.

Поп. Какое чепэ в нашей епархии?

Балда. Что в твоей епархии, не знаю. А в моей намечается завтра совещание партактива прогрессивного человечества. А стульев опять на всех не хватает. Очень быстро растём. Прямо беда. Так ты, твоё преосвященство, не усугубляй вопрос. Я к тебе грузчиков за стульями отправлю.

Поп (раздумывает и вражески улыбается). Сколько же можно безжалостно эксплуатировать церковные ценности? Не тридцать седьмой год, однако! Так что, фиг тебе, а не стулья. Выкусил?

Балда. Если не дашь, то тебе будет фиг юных пионеров на крестный ход.

Поп. Тогда тебе будут фиг булочки с маком из нашей пекарни. Выкусил?

Балда. Да? Так я тебе фиг дам комсомольско-молодёжную бригаду комтруда на ремонт храма.

Поп. Да? Тогда фиг тебе тайну исповеди!

Балда. Да? Тогда положи на стол партийный билет!

Поп. Да? Тогда... сколько стульев-то надобно?

Балда. Вот так-то. А не гоняйся, поп, за дешевизной! Живи и помни, пепел какого класса стучит у тебя под рясой!

Оба кладут телефонные трубки.

Зажигается свет.

Балда и Поп сходятся на середине и, взявшись за руки, кланяются, кланяются...

Народ безмолвствует.

Занавес.

У народа, действительно, каменные лица. Он не знает: кому, за что, зачем хлопать и сколько?

И только один зритель при дверях ударил в ладоши и засмеялся: Мошонкин Вадя, явился, не запылится, голубчик!

Почётный гость Гусейн Вуткинд к нарядной соседке наклонил боярскую свою голову:

– Это кто такой?

– Который расхлопался? Да это сантехник. Мошонкин ему фамилия. А что, неправильно ведёт и реагирует?

– М-да, интересная драма получается, – хотел сказать почётный гость. – Это будет покруче фауст-патрона для диктатуры пролетариата и посерьёзней, чем бомба для председателя...

Почётный гость молчал, потому что говорить он хотел только наполовину.

А за занавесом артисты пантомимически отжестикулировали успех премьерной постановки. Как народ-то онемел, потрясённый! Пусть маленький триумф, но это будет похлеще, чем буря аплодисментов для Большого театра.

Кувыкин за шкафом лихорадочно распечатывал бутылки портвейна «777». Хлюстаков и Помиранцев заканчивали сервировку сцены к следующему номеру. Хома чуть слышно повизгивал, он тоже ждал выхода...

И Князь вышел к народу:

– И в завершение нашей программы – живая картина!

И пополз в стороны занавес.

И открылся вид.

Артисты расположились на сцене точь-в-точь как три мужика на жанровой картине Василия Григорьевича Перова «Охотники на привале».

Слева сидит Сочинитель с приклеенными бородой и усами, руки растопырил...

Посередке лежит Кувыкин, чешет голову и хитро лыбится...

Справа стоит на коленях Хлюстаков и толстую папиросу раскуривает...

А на заднем плане чёрный наш Хомчик, заднююхой повернувшись, как научили, изображал белого охотничьего пса-профессионала...

Кто ж её не видел, эту картину? Все видели. В рабочем кабинете товарища Сперанского висит, в дорогой раме, артикул 28-Р, цена 12 руб., отпечатана на Московской типографии Гознака.

И народ потеплел: вот это уже понятно... О, благодарная вибрация толпы!

А охотничья троица, перебивая друг дружку, сыпала анекдоты налево-направо, выпивала, закусывала...

Неба на живой картине, конечно, не было. Была голая стена с лозунгом: «С трудом мы славим Родину свою!» Нет неба – нет и картинных птичек в небе. Но всё остальное было.

Охотничья добыча, дичь и заяц, представлены детскими плюшевыми игрушками. Два ружья – настоящие. Газета «Правда», на которой варёные яйца, лук и хлебушек, – тоже всё настоящее. Сосиску одолжили у филармонички Риммы Леопольдовны. Солдатская фляжка, стаканчики, пионерская труба в роли охотничьего рожка, авоська... О, старые вещи российского быта! Где же вас нынче сыскать? Извините нас...

Зал радуется, пальцами показывает, комментирует ненаучно, но доброжелательно, по-соседски.

Артисты прикончили третью бутылку портвейна, и Кувыкин зашипел в сторону Помиранцева: выкатывай ещё, Семёныч, входим в роль... И выкатилась ещё бутылка, потом ещё... И Кувыкин снова шипит, а Семёныч за шкафом отчаянно руками машет: всё, хорош уже, кончай привал... У него в этой игре «в замри», обличающей крепостничество и мрачное российское прошлое, особая должность: ударом в барабан он обязан остановить всякое движение и трёп с выпиванием на сцене в том виде, каков он на картине Перова. А вид всё не наступал. Помиранцев предупредительно стукнул в барабан. Ноль внимания. Позабыли, что ли? Разыгались, что ли? И ещё удар! И ещё!

– Да погоди ты, – отмахивается Кувыкин. – Щас допьём и замрём...

Когда закрылся занавес с белой чайкой, к охотникам ринулся товарищ Сперанский. Сочинитель кормил Хому остатками сосиски. Хлюстаков раскуривал новую папиросу. Кувыкин сдирал с новой бутылки алюминиевую береточку.

– Вы что, позёры? Гады! Пьяницы!

– А что, товарищ Сперанский? По пять грамм... Зато натурально! По системе Станиславского...

– По пять грамм? В тротиловом эквиваленте? Это что за система?

Через пять минут товарищ Гусейн Вуткинд сказал товарищу Сперанскому:

– Весело живёте.

– Дак что ж... жить-то стало лучше, жить стало веселее...

– Значит, так. Лозунг там у вас, на стене. Снять.

– Как снять? Невозможно снять! Нам из самого крайкома список утверждённых лозунгов спущен, и этот из списка. Невозможно снять! Как же это снять? Говорят, что цитата из выступления на пленуме самого товарища Краснопресненского-Крестовоздвиженского. А эту цитату придумал поэт Хворобушкин и даже в газете напечатал...

– Так. Ясно. А куда испарился фокусник Бодунов?

Сперанский развёл руками: что, дескать, скажешь, когда фокус не удался... банальный случай... но мы этого Бодунова завтра же, с утра, прищучим, новые трубы привезли на замену старым, кто на газорезке работать будет, кроме Бодунова?..

Почётный гость засмеялся. Товарищу Сперанскому было не до смеха...

О, кролики перед змеей! Это целая философия. Человеку можно сколько угодно глядеть на змею и оставаться при этом в своём уме, потому что, если змея пожирает кролика, то это всего лишь её обед, не более того. Но никак невозможно долго смотреть на кролика перед змеей: кроличьи, остановившиеся в ужасе, глаза способны заразить безумием даже человека с воловьими нервами. Безумие заразительно.

– Ты где это фингал заработал? – спросили Мошонкина в подвале.

И он чистосердечно рассказал про «мочалку», про поэта Хворобушкина, про коктейли... При зачистке банной пивточки Вадя, так получилось, оказал неумышленное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, но в суматохе успел скрыться...

– Тебя уже ищут, – сказал Семёныч. – К нам ещё вчера приходили, спрашивали про тебя. Так что ты покуда дома посиди и нос не высывай, а мы твои наряды как-нибудь закроем... Вот он во что вылился, твой яичный ликёр в серебряной рюмочке и прочие несерьёзные фокусы!

– Свистят они, как пули, у виска, – угрюмо добавил Щитовидов.

– Да ладно вам, мужики, – отмахивался Мошонкин. – Если хотите знать, так я живого поэта Хворобушкина от смерти спас...

– Причём тут Хворобушкин? – скривился Семёныч. – Я Хворобушкина знаю. Читал я Хворобушкина. Конечно, гений. Но ты, Вадя, ещё не такой, чтобы гений. Ты со своей перегонкой человека зашёл в тупик и только себя самого заморочил. Так что, не надо других людей приплетать. Самогонка-перегонка на самом деле простая: не столько вина других, сколько себя...

XXXVII

...сколько себя помню, никак не могу себя забыть. Это во-первых. Во-вторых, попробуем пожонглировать цифирью. Согласно Пифагору, человеческая жизнь делится на четыре периода, соответствующих временам года. Весна – период становления, до 20 лет. Лето – молодость, до 40 лет. Осень – расцвет сил человеческих, до 60 лет. Зима – старость и угасание, до 80 лет. Гиппократ разделял жизнь на 10 периодов, по семь лет каждый, начиная с нулевого возраста. А современные английские физиологи выделяют пять периодов. Раннее детство – до 7 лет, позднее детство – до 14, молодость – до 25 лет, зрелость – до 60 лет, старость – после 60-ти. Вот такие они, сезоны поры человеческой, спорной поры. А что же Россия свидетельствует по этому поводу? Не слышно. Один только и отважился, дерзнул произнести по-писаному, да и тот стихотворец, Осип Эмильевич Мандельштам: «Когда бы грек увидел наши игры...» А что, действительно, подумал бы, увидев, Пифагор Самосский? И – оба Гиппократы, врач и геометр из Хиоса? Или даже – Пифия, прорицательная жрица храма Аполлона в Дельфах? Коим манером присобачить к российским сезонам роскошно-избыточные пифийские игры, праздники красоты и силы, торжество «золотого сечения»? С какого боку пристроить к нашим осиновым конструкциям гиппократову клятву, пифагоровы числа и «пифагоровы штаны», что на все стороны равны, о чём знает каждый школьник? И что сказали бы, увидев наши игры, составители периодической системы на берегах туманных Альбиона?..

XXXVIII

ТЛГ СРОЧНО ХИБАРОВСКИЙ КРАЙ ГОРОД ХИБАРОВСК ВОЕННЫЙ ГОРОДОК ПОЛКОВНИКУ ХЛЮСТАКОВОЙ ТАТЬЯНЕ ТЧК НАЩЁТ ПОЗДРАВИТЬ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬИМ ФЕВРАЛЁМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО ТИРЕ МОРСКОГО ФЛОТА МАЛОСТЬ ЗАПУРХАЛСЯ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗПТ НО ЛУЧШЕ ПОЗДНО ЗПТ ЧЕМ НИКОГДА ТЧК ЗАОДНО ПРИВЕТСТВУЮ И ПОЗДРАВЛЯЮ ВЕСЬ ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ВОСЬМЫМ МАРТОМ ЗПТ ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ БОЕВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЧК ХЛЮСТАКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ТЧК НА БАЗАРЕ МЕЖДУ ПРОЧИМ СВЕЖИЕ ЛИМОНЫ ТЧК

ТЛГ ХИБАРОВСКИЙ КРАЙ ГОРОД ХИБАРОВСК БЕЗБОЖНЫЙ ПЕРЕУЛОК НОМЕР ТРИНАДЦАТЬ ТИРЕ БИС КРАСНОЗНАМЁННЫЙ ЖЭК НОМЕР ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ САНТЕХНИКУ ХЛЮСТАКОВУ ТЧК ПОШЁЛ ТЫ САМ ЗНАЕШЬ КУДА ТЧК ПОЛКОВНИК ТАНКОВЫХ ВОЙСК ХЛЮСТАКОВА ТЧК

XXXIX

На берегах туманных Альбиона ни одна собака не знала, кто такой товарищ Сперанский, ни один лорд из соответствующей парламентской палаты слыхом не слыхивал о российском городе Хибаровске, ни один простой английский человек даже не догадывался о существовании, а уж тем более о принципах, социалистического соревнования.

Честь и слава британскому тред-юниону профессиональных строителей! Именно он заткнул-таки чёрную дыру незнания и неведения, пригласив в город Лондон представительную делегацию из Советского Союза, ударников коммунистического труда и победителей по итогам пятилетки.

Случилось это важное событие весной, в не очень далёком прошлом...

В Хибаровском крайкоме партии соцсоревнование понимали правильно, то есть по-ленински, по ленинской науке, по ленинским понятиям. Но на бытовом, крайне упрощённом, уровне соревнование можно было объяснить элементарно, чуть ли не на пальцах: отрапортовать вышестоящему начальству раньше других крайкомов-обкомов. Посевная, например. Один колхоз, допустим, засекает поля зерновыми 15 мая, другой участник соревнования должен отсеяться 14-го, третий обязан не позже 13-го числа, а четвёртый, отчаянный, к Первомаю, а пятый – в апреле, к дню рождения Владимира Ильича, а шестой так и вовсе в марте... Конечно, в сельхозпроизводстве таких безумных обязательств не бывает, как и в жизни их не бывает, они существуют лишь на бумаге, и вышеуказанный принцип состоятельности упомянут не как факт, но для пуццей наглядности.

Сам краевой центр соревновался с двумя городами-побратимами. Один на Псковщине, другой в Красноярском крае. Побратимов этих Хибаровск не выбирал. Ему их в Москве назначили: Плюсса и Минусинск, город положительный и город отрицательный.

Так вот, в том памятном году, ровно пять лет назад, Хибаровск по всем статьям обскакал своих побратимов. Особенные успехи были достигнуты в капитальном и жилищном строительстве.

Объектом внимания прессы стал новый, только что сданный в эксплуатацию высотный жилой дом №13 на пересечении улицы Всех Святых и Безбожного переулка. В местной и центральных газетах из номера в номер печатались коллективные письма жильцов дома со словами благодарности строителям и краевому руководству.

Москва в это время комплектовала сборную команду строителей СССР для поездки в Англию по приглашению тамошнего строительного профсоюза. И Хибаровский крайком получил разнарядку: выделить в состав делегации четырёх ударников-победителей. Но это ещё не всё. Товарища Краснопресненского-Крестовоздвиженского извес-

тили о том, что в Хибаровск вылетает группа киношников Центральной студии хроникально-документальных фильмов – освещать так освещать, с размахом, на всю страну, а, может быть, и шире.

И тогдашний персек Санников вздрогнул.

Казалось бы, всё шло гладко, как по-писаному. И проектно-сметная документация на дом №13, и производство-поставка строительных материалов, и организация работ, банковские бумаги, платёжки, счета, поручения, ведомости, отчёты... – всё в ажуре, после сдачи дома приёмной комиссии и заселения появилась ещё и жилищно-эксплуатационная контора №25, созданная исключительно для обслуживания новостроя. Малюсенькая, правда, контора: начальник, главбух и дворник Платонов, но, судя по всему, справлялась с объёмом работы. Дворник метелил. Главбух стучал костяшками счетов, оформлял наряды на производство текущего ремонта и принимал квартплату. Начальник занимался заявками от жильцов на техобслуживание и лично ходил по квартирам, слесарил. Оптимально малыми силами справлялись. Казалось бы, всё шло... Куда?

И персек Санников в один прекрасный день поехал в ЖЭК, чтобы лично позвать руки строителям, эксплуатационникам и жильцам.

Никого в назначенное время на месте не оказалось. И места не было. Вернее, место-то было: голый пустырь с девственными лопухами.

Куда всё ухнуло? В какую пропасть?

Мираж? Фантом? Виртуальность?

Вместо ожидаемых пифийских игр – миф, пиф-паф, дьявольская игра, игра в подкидного дурачка, игра, к которой не следует относиться слишком серьёзно, иначе, как говорят спецы, крыша поедет, фундамент тронется, человек сойдёт... Куда? А пусто место свято не бывает.

Но товарищ Санников был человеком серьёзным. И потому через пару дней его увезли в столицу и определили в клинику Института психиатрии имени Сербского.

А свято место пусто не бывает. На заседании бюро крайкома председательствовал товарищ Краснопресненский-Крестовоздвиженский.

Приняли секретное решение. Генерал Поцелуйко настоял на том, чтобы каждый из присутствовавших бюрократов дал подписку о неразглашении непротокольных дебатов. Бюрократов было двое: Кр-Кр и генерал, остальные бюллетенили.

Вопрос не стоял: был ли дом?

Вопрос пошёл: куда исчез дом?

– Какая-то мистика, – сказал генерал. – Как будто бы никого и ничего не было...

И все тени-бюллетени с ним согласились.

– Как это не было? – возразил товарищ Кр-Кр. – А дом? Как сквозь землю провалился...

И все тени-бюллетени ним согласились.

– Выходит, что никакой мистики, – сделал вывод генерал. – Наш край весьма уязвим в сейсмическом отношении.

– А что сейсмологи говорят? – спросил Кр-Кр.

– Пока не говорят. Наверное, паники населения бояться.

– Ну, так нельзя. Волков, знаете ли, бояться... Пусть они нам скажут.

– Хорошо. Сегодня же скажут. Что надо, то и скажут.

Так в завтрашних газетах появилось сообщение о том, что в результате пятибалльного землетрясения в подземную пустоту карстовой воронки провалился жилой дом №13, человеческих жертв удалось избежать, благодаря слаженным действиям краевого руководства.

Ночью в Москву ушла шифрограмма о стихийном бедствии и обращение к правительству о выделении финансово-гуманитарной помощи для ликвидации последствий.

А генералу Поцелуйке товарищ Кр-Кр сказал:

– Вы мне хотя бы одного живого человека найдите! Хотя бы дворника Платонова!

– Нет проблем, – ответил генерал.

– И ещё на пустыре пусть срочно выроют эту... как её? пустоту, куда дом улетел... Может, найдём чего-нибудь в раскопках...

– Карстовую воронку, значит. Глубокую?

– Пусть копают до тех пор, пока будет сохраняться возможность выбраться наружу.

У товарища Кр-Кр вертелся на языке подпоручик Кижее, выросший до генерала.

У генерала Поцелуйко вертелся на языке град Китеж, сгинувший в одночасье под землю.

Утром нашли двух Платоновых, но они не были дворниками. Один преподавал марксистско-ленинскую философию в пединституте, другой и вовсе не от мира сего, писатель-фантаст, вот его и назначили дворником с приличным окладом.

Поцелуйко проинформировал товарища Кр-Кр об утечке информации с заседания бюро двух бюрократов:

– Весь город только и говорит, что дом провалился.

– А люди уверены, что дом был?

– Да какая разница, был дом или не был? Народу это не интересно. Народу важно, что провалился.

– Ну, вот, значит, и подписки о неразглашении уже не нужны...

И две секретные партийные бумажки были засунуты в специальную машинку, которая из любого документа делала бумажную лапшу.

Котлован рыли днём и ночью, в свете прожекторов. Руководил работами прораб Сперанский. Тут же крутился некто Вавилов.

– Мэнээс Вавилов, – представился он.

Про Вавилова как-то сразу позабылось, мэнээс запомнился, потому

что вообще запоминается нечто невразумительное, и люди причастные истолковывали МНС всяк по своему: могила неизвестного солдата, мастер неопределённого спорта... – так и говорили: мэнээс, а на самом деле оказалось – младший научный сотрудник проектного института жилищного строительства.

Через месяц прораб Сперанский уже знакомился с проектом нового высотного дома №13-бис, выполненного под руководством Вавилова. Рядом с котлованом намечалось строительство. А котлован к тому времени уже не был котлованом, а стал прудом, который обслуживал дворник Платонов, который перестал сочинять фэнтэзи, и дворником, между прочим, уже не был, потому что в пруду поселились дикие гуси и утки, и товарищ Платонов стал штатным смотрителем пруда, рыбоводом и экскурсоводом по местам экологической катастрофы века.

Других пострадавших в этой провальной истории больше не оказалось. Если, конечно, не считать персека Санникова. Но он был далеко. Бедный, далеко от дома он искал в никуда исчезнувший, ни откуда потерянный дом.

Во всесоюзную профсоюзную делегацию строителей от Хибаровского края вошли товарищ Краснопресненский-Крестовоздвиженский, генерал Поцелуйко, прораб Сперанский и МНС.

Сперанского пригласили в Серый Дом.

– Говорите по-английски? – спросил инструктор крайкома.

– Только со словарём. С людьми стесняюсь.

Прорабу вручили вопросник-ответник для изучения и зазубрения.

– Готовьтесь к обмену опытом. Дело важное, международное.

Что ж, посидел несколько вечеров, изучил, зазубрил. А старшая дочь Сперанского в средней школе английский язык преподаёт! И взялась она за папину подготовку основательно и с большой охотой.

Что из этой основательной охоты вышло? Оглушительный вывод! Зачем, задавался вопросом Сперанский, надо было придумывать английский язык, когда уже есть русский, которым уже всё давным-давно сказано? Сказано конкретно, точно, лаконично – в отличие от английского, расплывчатого с намёком, лэнгвиджа. Вот, скажем, русский дом, который в Англии называют «хаос»...

– Хауз, – поправляла дочь, но поправка не проходила.

...который в Англии называют «хаос», который действительно почти что русский «дом»... Или вот, скажем, гостиница, по-английски получается «хотел», и это тоже почти что русская гостиница, в которой без блату местов нету, как бы кто чего хотел-не хотел. Вот, скажем, на все случаи жизни английский «окей», по-письменному выглядит ОЖ, а по-бурятски – ёк, что на всех трёх языках означает «хорошо». Или, например, английский «стол» как заместитель русского стойла и даже ларька. Или ихний «привет», который намекает на частную собственность и кидает камушек в наш огород, где личная земельная

огороженная собственность разрешена только на кладбищах. А тред-юнионы? Это они наш труд миллионов на свой лад исказили... Короче говоря, англичане очень многое, если не всё, позаимствовали из русского языка, так что язык общий, язык строительный тем более, найти всегда можно...

– А ещё, – сказала Сперанскому дочь-учительница, – ты, папа, должен выучить один английский стишок!

Папа поморщился.

– Надо, папа! Ты ведь будешь представлять Советский Союз! Так пусть твои иностранные коллеги узнают, что наши строители не одними только кирпичами сыты бывают и не одним цементом живы. Стишок тебе дам по профилю профессии. Сначала выучишь в русском переводе Самуила Яковлевича Маршака, а уж потом... Господи, мне бы так пощастило хоть одним глазком взглянуть на старую добрую Британию...

Стишок оказался детским и смешным. Про дом, который построил Джек. Это был забавный дом. Не дом, а хаос.

– Хауз, – поправляла дочь.

– Как же не хаос? – возражал Сперанский и выразительно декламировал концовочку стихотворения:

*А это ленивый и старый пастух,
который бранится с коровницей строгою,
которая доит корову безрогую,
лягнувшую старого пса без хвоста,
который за шиворот ловит кота,
который пугает и ловит синицу,
которая часто ворует пшеницу,
которая в тёмном чулане хранится,
в доме,
который построил Джек!*

Что мог знать прораб Сперанский о заморской стране Вообразилии, если даже сам Жюль Мишле, великий французский историк, начинал читать студентам курс лекций по истории Англии словами: «Англия – это остров. А теперь вы знаете об Англии ровно столько же, сколько и я» ?

Ах, если бы между прорабом Сперанским и дочкой-учительницей находился в это время Жюль Мишле! Кокетничает Жюль, жюльничает, когда говорит о своём ограниченном, словно остров – водою, знании. Ровесник Пушкина, он мог бы многое порассказать веку двадцатому из века девятнадцатого. Но в этой огромной стране, где жили-служили прораб и его дочка, романтическое мышление Мишле противоречило истмату марксистско-ленинской философии, пришлось явно не ко двору и, следовательно, не было никакого фантастического Жюля Мишле, идеолога мелкой буржуазии. Есть отечественный

полуобморочный... Кстати, и в Англии имеется аналог анекдотический, извольте: некоему титулованному лицу приснилось, будто бы он произносит речь в палате лордов, и тут он, оратор, проснулся и, к удивлению своему, обнаружил, что действительно произносит речь в палате лордов. Смешного тут мало. Но всерьёз говорить – получится смешней смешного... И поскольку в этой огромной стране, раз за разом переписывающей свою историю в угоду калифам на час... поскольку нет между старым учеником и молоденькой учительницей более-менее близкого человека, чем Сочинитель грустных историй, то является именно он, из сантехподвала, почти андеграундный, для которого безвизовые путешествия – всё равно что два пальца растопырить V-образно: то ли победной викторией, то ли символом блестящей эпохи викторианства, то ли латинской пятёрочкой за все четыре четверти учебного года... И говорит Сочинитель: да не суетитесь вы, ребятишки! представьте себе Джека, который строил дом, но построил историю, а история – не магистральная автострада, но дороги местные, просёлочные, узкие, извилистые, пусть даже и покрытые асфальтом... они петляют и петляют, можно подумать, что никто в стране лугов и овец даже не стремится попасть из точки А в точку Б по кратчайшему расстоянию, по прямому, как выстрел, пути, однако в той стране, на части суши, со всех сторон ограниченной водой, старые и молодые дороги рождены не замыслом инженеров, но самой историей, самым памятливым землеустроителем, и петляют дороги потому, что не преодолевают природный ландшафт, но следуют его чертам, а ещё потому, что огибают чьи-то давно исчезнувшие поместья и соединяют селения, давно переставшие существовать, так что, леди и джентльмены, по этим дорогам, словно по линиям ладони, можно узнать далёкое прошлое и далёкое будущее страны... из морских волн выступает она бело-зелёной линией на горизонте, и по мере приближения эта линия становится меловым обрывом острова, Белого Острова, Альбиона, как назвали его легионеры Юлия Цезаря...

Ещё до отъезда дочка-учительница вручила Сперанскому две школьные тетрадки в клеточку, по 24 страницы – с пояснением:

– Одна тетрадка – для отрицательных моментов, другая – для положительных. Всё записывай для памяти. А когда вернёшься, то мы тебя в школу пригласим. Выступишь перед учениками на общем классном часе...

Идею одобрил товарищ Краснопресненский-Крестовоздвиженский:

– Дочь ваша рассуждает совершенно правильно, в духе современных требований партии по линии комплексного подхода в вопросах идейно-политического воспитания новой исторической общности людей – советского народа. И эти ваши записки под общим названием «В логове империализма» мы можем даже напечатать в краевой газете.

Так и складывались впечатления, из положительных моментов и

отрицательных моментов, в логове... Сперанский не записывал. Времени не хватало. Но очень надеялся на память.

Гостиничный завтрак – овсяная каша и яичница с беконом – разумеется, факт со знаком минус. Настоящему строителю на завтрак нужно, как минимум, первое-второе-третье, а если по максимуму, так и стопочка водки не помешала бы. А бекон вообще еда несерьёзная. Лучше, когда мясо отдельно, и сало отдельно, с чесноком и красным перцем.

Зато партийный гимн лейбористов называется «Красный флаг». Это хорошо. Это даже как бы сближает народы.

Горничные заявляют в номер чуть свет и почти насильно всучивают так называемый «ваш ранний утренний кофе с молоком». За целый час до завтрака! Зачем такое архитектурное излишество?

В то же время эти англичане умеют, ничего не скажешь, наладить порядок не только по часам, но и весь год обставить нерушимыми национальными правилами. В декабре весь народ делает закупки рождественских подарков. В январе все платят подоходный налог. Февраль и март – месяцы гриппа со всеми вытекающими последствиями. Апрель – пасхальные каникулы – время визита советской делегации с хибаровчанами, которые так и не увидят майского финала кубка Англии по футболу. В июне стригут газоны, начинаются лошадиные скачки в Эскоте, теннисный турнир в Уимблдоне, гребная регата в Хэнли, цветочные выставки в Уэлси, конкурсы собак. С июля по сентябрь включительно – отпускной сезон. Октябрь – пора автомобильных выставок. Ноябрь – месяц самых непроницаемых туманов... Это хорошо, когда знаешь: что-где-когда и что-кто за кем-чем следует.

Но в жилых домах абсолютно не топят спальни, и народ помещается в постели с грелками. Отсутствие центрального отопления – это беда или не беда? В 43 году до нашей эры, когда в Лондоне хозяйничали римляне, центральное отопление имелось. Оно исчезло вместе с римлянами. Римляне уже не вернулись, отопление – лишь частично, в многоквартирные дома и отели. Так что же это такое – беда или не беда? Но лондонцы невозмутимы.

– А давайте Лондон в побратимы возьмём? – предложил Сперанский товарищу Кр-Кр. – Мы их по части центрального отопления во всех кварталах года победим.

– Не надо умничать, товарищ Сперанский, – ответил товарищ Кр-Кр. – Вам это не к лицу.

Дальше – больше. Если в посудной мойке или в ванне имеется пробка – это нормально и уму понятно. Но когда обязательная пробка ещё и в раковине умывальника – это большой вопрос. Англичане говорят: экономия воды, контроль расхода... Зачем? На части суши, со всех сторон окружённой водой! Где воды – хоть залейся, и снизу, и сверху! Нет, это какой-то таинственный остров сокровищ получается. Богатства планеты должны служить людям, а не наоборот. Но англи-

чане консервативны, как ослы. Им вынь да положь хоть маленький, но бассейн, поплескаться. Однако и советские люди тоже консервативны, как их предки. Мы всегда, испокон веку, умывались струёй – из ковша, из рукомойника с гениально подпрыгивающей пипкой, умываемся из-под крана со смесителем и будем умываться ещё сто лет. А в Англии смесителей горячей и холодной воды вообще нет. В ванной отсутствует гибкий шланг с душем... Беда для туристов из Советского Союза.

Зато иной сантехники – ассортимент, не поддающийся спокойному перечислению. В лондонском холле «Олимпия» ежегодно проводится выставка «Идеальный дом». Отделочные материалы, керамика, линолеум, красители, бытовые электроприборы, сантехника... Каждый сверкающий краник так бы и перецеловал! Такие унитазы надо на комод ставить, как цветочные вазы... Сперанский не мог пройти мимо... Струя ударила в фаянс, прожгла его и вышла наружу. Такой фаянс. Такой унитаз. Такая струя.

– Ты что, прораб, совсем охренел? – зашипел генерал Поцелуйко, он, как всегда, оказывался в ненужном месте в ненужное время. – Здесь экспонат, а не уборная. Давай гуд бай отсюда по-быстрому...

В Англии не понравился прорабу Сперанскому генерал Поцелуйко. В строительстве мало что понимает, но на каждом шагу одёргивает, по вечерам, если судить по утрам, крепко выпивает в своём отдельном номере. У товарища Краснопресненского-Крестовоздвиженского тоже отдельный номер. А Сперанский и МНС разместились в двухместном. Номер, как по-русски говорится, – чтоб я помер, а в еврейском смысле – чтоб я так жил: планировка, обстановка, человек двадцать разместиться могут, ежели спать на полу, телефон, кондиционер, телевизор, пробка в умывальнике...

Кстати, о пробках. Если генерал был в каждой дырке затычкой, то товарищ Кр-Кр к концу дружественного визита распоясался до полного панибратства. В чём фокус? Никакого фокуса. Преимущества социализма лицом к лицу с Великобританией оказались для него не требовавшими постоянных доказательств. А из преимуществ капитализма товарищ Кр-Кр приобрёл в личное пользование одно-единственное, утешившее страсть коллекционера: тёмно-синий галстук в тонкую голубую полоску, такие галстуки носят выпускники престижной Итонской школы, пополняющей английский истэблишмент государственными деятелями, политиками и крупными бизнесменами. Погряз в этом хобби «по шею» товарищ Кр-Кр, и в хибаровский платяной шкаф уедет итонский галстук к своим братьям из колледжей Винчестер, Регби и Харроу, особенно знаменитом ещё и тем, что полы в центральном здании колледжа сделаны из дубовой обшивки кораблей, участников Трафальгарского морского сражения... Оттого и повеселел товарищ Кр-Кр.

Ездили в Сохо, где посетили маленькую квартиру на Дин-стрит,

шесть лет там прожил Карл Маркс. Момент положительный. Зато память о проживании оказалась чистым иллюзионом, потому что в самом доме на Дин-стрит разместился никакой не музей, а ресторанчик с латинским названием «Quo vadis», что по-церковнославянски будет «Камо грядеши», а по-русски «Куда идёшь», вопрос провокационный, хотя и без вопросительного знака, и потому товарищ Кр-Кр горько усмехнулся: мы-то знаем, дескать, куда идём, а вот вы, господа, знаете ли?.. К могиле Маркса на Хайгейтском кладбище советская делегация приехала с венком. Живые цветы, алая лента, на которой накануне вечером МНС по распоряжению товарища Кр-Кр начертал архитектурно чёткими золотыми буквами: «Вставай, проклятем заклеимённый!» – и пониже вторая строчка: «Весь мир голодных и рабов.» Торжественно помолчали. Думы одолевали разные, но одинаково судьбоносные. При этом Сперанский успел-таки выяснить, что погребён Маркс рядом с могилой английского философа Спенсера, открыто считавшего социализм каторгой и рабством. Это был момент отрицательный. И не последний, между прочим. В Манчестере, напротив глазной клиники, на стене университетского общежития очень огорчила наших строителей английская надпись в голубом мемориальном овале: «Фридрих Энгельс (1820–1895), социолог, философ, писатель. Жил в доме №6 на Торнклифф-гроув, который стоял на этом месте»... Провалился он, что ли?

Вот так они и маялись, наши строители, в логове, между моментами отрицательными и моментами положительными. Прораб Сперанский всё порывался почитать хозяевам английской жизни ихний же народный стишок про дом, который построил Джек, но порыв как-то не получался, оказывался не к месту, оказывался не к английскому месту, а совсем к другому, и этот факт был – как краеугольный, как Сизифов камень на душе, который неожиданно завёлся, причём так завёлся, что даже требовал каких-то активных, решительных действий, чтобы снять его с души и положить, как булыжник пролетариата, на подобающее место, однако не только до действий, но даже до слов, дело не доходило, потому что и камень тяжеловесный оказывался каким-то легкомысленно порхающим, и место, и душа, и пролетариат... Почему?

И Сперанский определил, что главным отрицательным моментом является погода. Она в Англии не зависит от календаря, от времени года. Вот апрель – а выпал снег, а из-под снега торчат жёлтые нарциссы, а в парке Сент-Джеймс лондонцы в шезлонгах развалились, загорают, а минувшим Рождеством, как пояснили экскурсоводы, никто не удивлялся зелёным лужайкам с ромашками в Гайд-парке, где лебеди и утки, вообще лишённые способности чему-либо удивляться, вылазят из воды и ковыляют к человеку, а воробьи садятся на его ладонь, и белки попрошайничают без церемоний, подобно царственным гербовым львам Виндзорского зоопарка... Какой капитализм? Тут давно

полный коммунизм восторжествовал.

Средневековые стены Тауэра, здесь сидели величайшие преступники. Британский музей, здесь сидел товарищ Ленин. Национальная галерея. Монументальный купол собора святого Павла. Готические контуры Вестминстерского дворца с циферблатом Биг Бена на башне – дворцовые статуи, портреты, фрески, гобелены. Знаменитый тронный зал, где при короле Генрихе VIII судили смутьяна Томаса Мора, а при смутьяне Кромвеле судили короля Карла I, шесть веков существует этот зал, дух вечности витает в каждом его уголке, и поражается профессиональное воображение прораба Сперанского двадцатипятиметровым пролётом арочного перекрытия, опирающегося на сложную систему дубовых стропил... В таких музейного значения хороммах ещё вполне можно жить, в отличие от музеев хоромного значения, по которым можно ещё ходить в мягких тапочках, но жить уже нельзя.

«Пусть мой дом не очень удобный, зато он старый!» – говорят лондонцы, обожающие постоянно обновлять, переделывать свои жилища, подчас полностью, но так, чтобы старину, а фасад в особенности, оставить в неприкосновенности. Городской дом – это, в сущности, вертикально выстроенная квартира, но табличка с номером – обязательно является номером дома, а не квартиры: внизу жилые комнаты, гостиная, кухня, выше расположены спальни, которые за комнаты не считаются, а под самой крышей – мансарда для детей, и проскваживает всю эту конструкцию внутренняя лестница, предмет особой милости домовладельца. А выше мансарды лондонцы забираться не любят. Столица в основном трёхэтажная. В высотных многоэтажках Уэст-энда живут иностранцы, а небоскрёб Сентр-пойнт на оживлённейшем перекрёстке столицы вообще пустует... «Это они от жиру», – подумал Сперанский. «Это у них по причинам безопасности», – подумал генерал Поцелуйко. «Это у них от неуверенности в завтрашнем дне», – подумал товарищ Кр-Кр. А МНС ничего не подумал.

МНС обзирал чёрно-бело-красную графику города Лондона: фасады, белый снег, красные двухэтажные автобусы, и красные почтовые тумбы, и красные телефонные будки, и белый снег, и часовые у Букингемского дворца – чёрные медвежьи шапки, белые португепи, красные мундиры королевских гвардейцев, и белый снег...

МНС Вавилов в Ленинграде заканчивал курс на архитектурном факультете инженерно-строительного института.

МНС Вавилов в Хибаровске в рекордно короткий срок спроектировал высотный дом №13-бис на углу улицы Всех Святых и Безбожного переулка. «Стройка века» уже идёт.

МНС Вавилов в Англии побывал в Оксфорде, построенном из серебристо-серого камня, и в розовато-буром Кембридже.

МНС Вавилов на британском острове, в розовато-буром университетском Кембридже вдруг ни с того, ни с сего вспомнил родной Питер,

до слёз близкий, точнее – от слёз первых и до последних, и остров Голодай вдруг вспомнил МНС Вавилов, за речкой Смоленкой, к северу от Васильевского... Советская власть переименовала Голодай на остров Декабристов, там, по преданию, похоронили, засыпав известью и строительным мусором, пятерых повешенных на Кронверкском валу. Но Голодай упрямо оставался Голодаем, равно как и Мариинский театр оставался Мариинским, а не имени Кирова. Двести лет назад, опять же по преданиям, на Голодае было устроено место для отдыха горожан – роскошный парк, возникший по причине общественной надобности и личных трудов тогдашнего землевладельца болотистой местности Томаса Холлидэя, английского врача на русской службе. Забавно: фамилия врача означает праздник, святой день. Но ещё забавней – народная этимология, переосмысление малоизвестного слова и замена его более понятным, близким и родным: Холлидэй – Голлидэй – Голодай... Как так? А так! Диалектика такая: положительные моменты, отрицательные моменты – в одной очереди пыхтят, друг дружке в затылки дышат. Вот это очереди! Живые пока что, и в Лондоне, и в Хибаровске. Британцы же не могут жить без установленного порядка и способны создавать очередь даже из одного человека, из нескольких – тем более, без очереди как-то не по-цивильному получается, не продемонстрируешь свою порядочность, – и вот она змеится, вежливая очередища, по всему кварталу, пришёл очевидный день дешёвой распродажи в универмаге Харродз... – и что из этого? а ничего! спокойствие, леди и джентльмены, ибо: священный ритуал, законопослушная последовательность и принцип честной игры... О, люди, иже моменты положительные и отрицательные! Где у вас пропадает целиком и полностью чувство советского патриотизма? Все хибаровчане знают, кому не лень. А кому лень, те тоже знают.

...И до парламентской палаты общин добралась советская делегация. В экскурсионном виде, разумеется. Но прораба Сперанского не покидали порывы. Прораб Сперанский желал поставить вопрос, если можно, прямо с трибуны: имеются распивочные точки общепита, публичные пивные, так называемые пабы, заведения в общем приличные, чистые и аккуратные, камин там, дубовые стропила, медная утварь, чёрное ирландское пиво «Гиннес», дозированное не кружками, а пинтами... – момент, конечно, положительный, но куда смотрят профсоюзы, когда пабы закрываются с пятнадцати-ноль-ноль до восемнадцати-ноль-ноль? – никого, даже королеву, не допустят к пиву, хоть тресни! это что? это какая-то синица, которая ворует пшеницу! корова безрогая! ущемление прав английских трудящихся!.. Однако Сперанскому объяснили: пусть он не беспокоится о трудящихся, тем более о королеве, королева хорошо знает установленные порядки и, если пожелает, заглянет в паб только после перерыва, уж традиция такая, господин Сперанский.

А МНС Вавилов ухватил из сопроводительных пояснений экскурсовода вот что: спикер палаты общин имеет традиционное право получать от государства ежегодную мзду в виде двух гигантских, по 250 литров в российских мерах, бочек красного вина и двух оленей для ростбифа, самца и самку – с какой стати? о, тут статья – точно статья особенная, статья из кодекса или конституции! дело в том, что на иерархической лестнице британской власти спикер занимает ступеньку под №13 (и вздрогнул тут МНС Вавилов...), и с давних пор в обязанности спикера, по существу бесправного и ничего принципиально не решавшего, входил доклад королю о решениях, принятых парламентом – но это было сопряжено с огромным риском! не понравится королю решение – палач наготове, и голова с плеч долой! – (и снова вздрогнул МНС Вавилов!) – так что, немногие смельчаки отваживались претендовать на спикерское место... – и тогда королевская власть публично провозгласила: да, конечно, отсечение головы в системе законотворчества неконструктивно, но ведь для законотворчества нужны умные головы, а для умных голов королю ничего не жалко, ни вина, ни мяса, ешь-пей, спикер, не огорчай своего короля и его верноподданных, а по выходе в отставку по выслуге лет или по старости получишь ещё и титул виконта... И в третий раз вздрогнул МНС Вавилов: в его неглупой, как он полагал, архитекторской головушке забегали-зашмыгали-засуетились... сталкиваясь-ударяясь-разлетаясь... бесшумно-бесцельно-обречённо... нейрончики-муравьишки-человечки... тысячи-миллионы-мириады... – и все в одной голове, в одном доме №13-бис!

В хибаровской мастерской остался макет дома №13-бис... По ночам его заселяли крохотные человечки и начинали лихорадочно переделывать, перестраивать жилища на свой лад, расширять, надстраивать – всё выше и выше... куда? в никуда! – и утром архитектор не узнавал своего проекта, он становился вавиловским столпотворением, чудовищным, как сон, как эти повторяющиеся из ночи в ночь снотворные кошмары.

...Кульминация любого официального британского обеда – «тост верности».

– За её величество королеву Соединённого Королевства!

А уж потом пили: за успехи в освоении новых строительных технологий, за победу коммунизма во всём мире, за «Юнион Джек», гордо реющий над морями и океанами, за Коммунистическую партию, за святого Георга и розу как символы Англии, за социалистическое соревнование и его основоположника Ленина, за святого Андрея и чертополох как символы Шотландии, за коммунистические субботники и их основателя Ленина, за святого Давида и лук-порей как символы Уэльса, за Союз Советских Социалистических Республик, за святого Патрика и клевер-трилистник как символы Ирландии...

Английский ланч, русский отходняк или отвальная!

К господину Кр-Кр привязался один тип с вопросом: сохранилась ли в России псовая охота на зайцев? И господин Кр-Кр всё не мог никак уловить сути вопроса. Какие псы? Какие зайцы? В чём тут подвох и провокация? Наши зайцы давно уж косят трын-траву на поляне, на острове Невезения, так сказать...

МНС нашёл общий ломаный язык с другим типом. Оба позавчера в рамках культурной программы посмотрели модный кинофильм Антониони «Блоу-ап». Англичанин остался равнодушен к картине, МНС – наоборот.

– Но ведь вы смеялись в кинозале? – горячился МНС. – Почему смеялись?

– Нервы, – отвечал англичанин.

Действительно, было немножко нервно, в особенности в финале: юноша и девушка на теннисном корте. Они играют – без ракеток, без мяча. Они обозначают игру. Они имитируют игру. Они дурачатся? О, нет! Всё – как по-настоящему. Но как ведут себя болельщики? Болельщики заворожённо наблюдают за псевдоигрой! И вот как будто мяч как будто вылетел как будто за пределы корта, и девушка – жестом: подайте! – и болельщик охотно бежит, нагибается, округло загребаёт ладонью пустоту, размахивается, бросает пустоту на игровую площадку, и девушка ловит пустоту, и игра продолжается... Так болельщик включился в игру. В игру без мяча и ракеток. В жизнь без смысла, которая опасней, чем игра без правил. И кинозал нервно смеялся. Он – пятьдесят на пятьдесят – почти тоже включился в заразительную игру...

На отвальный ланч журналистов не допустили. Сделано это было по требованию советского посольства в Лондоне. Оказалось, что газетчики, следовавшие по пятам делегации, способны на любую гадость, эти шакалы пера, гиены и так далее, в духе Ильфа и Петрова. Вещественное доказательство тому: номер «Дэйли миррор», первая полоса, фотография с Хайгейтского кладбища, товарищи Кр-Кр и Поцелуйко возлагают венок на могилу Карла Маркса, а рядом – другая фотография: венок, крупный план, лента с надписью... – и журналистский (шакалий, гиенский и так далее) комментарий, отметивший педантичную, почти почтовую пунктуальность русских строителей, представителей рабочего класса, которые обозначают даже на кладбищенском венке своего адресата – кому? – «Вставай, проклятьем заклеимённый!» – и от кого: «Весь мир голодных и рабов».

На следующий день наши победители, передовики и ударники распрощались и с домом, который построил Джек, и с Джеком, который построил дом, и с аэропортом с нехорошим названием Хитроу, и с младшим научным сотрудником Вавиловым: утром в гостинице его не оказалось, исчез, как в воду канул.

Прораба Сперанского, как соседа по койке, наши люди в штатском

потрясли ещё в гостинице, но скоро отвязались от потрясения: прораб прикинулся непробиваемым дураком, и это было самым умным его решением в данной ситуации.

Большие неприятности имел по прилёте в Москву генерал Поцелуйко, но в своей хибаровской должности всё же усидел.

Слетел с места куратор делегации из центрального аппарата КГБ. В Лондоне он представлял союзный Госстрой.

А тем временем в Хибаровске полным ходом шло строительство дома №13-бис.

XL

Говорят: никто точно не знает, сколько в нашем доме этажей. Не правда! Кто-то знает. Проектировщик Вавилов, например. Но у Вавилова не спросишь. Сгинул МНС Вавилов как антисоветский элемент и тайну домостроительного проекта унёс с собой. А Краснознамённый ЖЭК №25 во главе с товарищем Сперанским – не в курсе. В конторе с уверенностью называют лишь два этажа: первый и последний. Дело в том, что этажность нашего дома – понятие весьма относительное. Этаж как таковой не делил здание по горизонтали, а, начиная с первого, завивался вверх спиралью, точно резьба на шурупе. Вот и поди тут, посчитай этажи!

Говорят: вершину нашего маленького Вавилона возводили не простые каменщики и монтажники-высотники, а верхолазы и альпинисты в кислородных масках. Может, – враньё. А может быть, и правда.

Дом №13-бис вознёсся гигантским, невероятным даже для книги рекордов Гиннеса, многогранным конусом. Так что, можно предположить: последний этаж – вовсе не этаж, а что-нибудь этакое символическое, в котором духу, конечно, обретаться можно, но человеку жить нельзя.

Ещё говорят:

1. что дом увенчан остроконечным нанайским чумом;
2. что собран этот чум не из оленьих шкур, а из листов какого-то сверхпрочного стратегического металла, вроде титана или чего-то другого, не менее титанического;
3. что в чуме якобы живёт аист редкостной породы, которой нет даже в «Красной книге»; но есть и другое «якобы»: в чуме укрывается не аист, а А-истребитель противовоздушной обороны, совершенно секретный, новейшей разработки; старики и старушки на дворовых скамеечках болтают разное, но Сочинителю удалось из досужих разговоров и разговорчиков составить, некоторым образом, сводное мнение об этом самом суперсекретном самолёте:

Размах крыла – 14,7 м,

длина – 21 м 90 см,

высота – 5 м 90 см,

взлётная масса – 22 500 кг,
максимальная скорость на высоте 11 км – 2500 км/час,
динамический потолок полёта – 24000 м,
дальность полёта – 3680 км,
силовая установка – два двигателя ТРДДФ АЛ-31Ф,
развивающих тягу при форсаже более 12 тонн каждый,
вооружение – 10 ракет класса «воздух-воздух», 38 бомб
ФАБ-100 и 30-мм пушка ГШ-301 на 150 выстрелов...

Дед Молитвин утверждал, что новый тип самолёта отличается от предыдущих обратной геометрией крыла и прутиком на песочке рисовал подобие трезубца.

А тётя Матрёша дополняла:

– У нашего самолётника, сынок, изменяемый вектор тяги. В ём-то всё и дело.

– Это как же понимать, тётя Матрёша? – спрашивал Сочинитель.

– А так, что реактивные соплы у самолётника поворачиваются туда, куда пилот пожелает. В этом вся военная тайна. Тока ты, сынок, никому про неё не говори. Враги не дремлют...

4. Наконец, в полном согласии с советской строительной традицией вроде железнодорожных «золотых костылей», венчающих дело триумфом, задумано было и в чумную верхушку воткнуть что-нибудь завершающее, но к тому времени уже ни один подъёмный механизм не мог дотянуться до столь рекордной высоты, а верхолаз в кислородной маске был в состоянии транспортировать наверх только одну иглу, впрочем, не простую иглу, золотую, и воткнул таки верхолаз иглу в предусмотренное отверстие – и полез по той игле выше, выше и выше, но скоро, говорят, игла кончилась, а верхолаз всё лез и лез, хватаясь уже неизвестно за что, да так и исчез в низкой облачности, пропал без вести, хотя внизу его ожидала высокая правительственная награда, и никто его больше не видел, того последнего героя всесоюзной новостройки, увы, безымянного, но такая увыйная безымянность в России тоже традиция, «золотой болт», священный, сакральный, массово-героический, в одном ряду с многочисленными серпасто-молоткастыми символами державного пятиугольного «Знака качества», дополненного на этот раз и чумом, и титаном, и иглой, и МНС-ом, то есть Монументом Неизвестному Созидателю.

В тот год, когда у парадного подъезда дома №13-бис разрезали алую финишную ленточку строительного марафона, страна отмечала 60-летие Советской власти. Тогда уже не только низы, но даже верхи понимали: 60 этажей новостройки – предел, дальше уже некуда, строить выше уже невозможно, ведь и без того количество этажей увеличилось вне проекта, произвольно, от праздника к празднику, от юбилея к юбилею, дом уже не только рос, но разветвлялся, словно фантастическое древо, отвечая не столько генеральной линии партии в области градостроительства, сколько прихотям постановлений текущего дня и

ведомственным интересам, от министерства обороны до клуба любителей-орнитологов: две гаубицы у парадного подъезда и полторы тысячи скворечников по периметру десятого этажа – вот их настоящий вклад в архитектурный дизайн... И тогда было официально решено: в этом юбилейном году на стройке века поставить точку и запустить объект в эксплуатацию. В Москве такое решение одобрили и даже учредили новый ежегодный государственный праздник: День работников жилищно-коммунального хозяйства, третье воскресенье марта.

Торжество, устроенное шестидесятилетней Советской властью в Хибаровске, на перекрестье улицы Всех Святых и Безбожного переулка, привлекло внимание всей страны. Конечно, тому торжественному вниманию предшествовали всесоюзные финансовые средства и людские ресурсы в форме ударных комсомольско-молодёжных бригад из всех пятнадцати союзных республик и примкнувших к этому громкому делу автономных национальных округов... Вот откуда чум-то взялся! То нанайцы или чукчи свою лепту успели внести в предпоследние горячие, предпусковые денёчки... Представители свыше ста национальностей получили каждая свою долю в общем «Доме Дружбы Народов» – да так и строили, каждая доля на свой манер, со своим колоритом, со своим строительным материалом, и закарпатский бук соседствовал с крымским ракушечником, и карельские граниты устраивались около армянского розового туфа, и прораб Сперанский сидел на глазах широкой общественности...

Разрезали, значит, алюю ленту.

– Чего наши деды не достроили – мы достроим, – пообещали юные пионеры-ленинцы. – Чего отцы не доделали – мы доделаем!

Сперанский вздрагивал.

Он надел парадный шевиотовый костюм. В этот день ему вручили нагрудный знак «Заслуженного строителя СССР» и назначили начальником только что созданной жилищно-эксплуатационной конторы №25.

– Вы строили дом, – сказали Сперанскому, – вот теперь и обслуживайте его. Вам и карты в руки!

Но вручили не карты, а красное знамя, плюшевое, непреходящее, на веки вечные, покуда дом будет стоять.

Ожидали приезда высоких гостей из библейского Междуречья, из тех самых знойных райских мест, где когда-то строили, да так и не построили легендарную Вавилонскую башню. А пусть, дескать, посмотрят, как это делается в Стране Советов! Но, по неофициальным слухам, вождя современного Ирака Саддама Хусейна не пустили в Советский Союз по причине того, что он накануне визита злодейски перерезал всех коммунистов и принялся за антикоммунистов, хотя нужно было делать всё наоборот.

Поэт Феликс Хворобушкин читал в микрофон новые стихи.

Режиссёр кинохроники Арнольд Бефстроганов пребывал в ударе.

Ему накануне этот удар отвесили: сначала в цензуре, куда Арнольд доставил для разрешительного штампа сценарную разработку документального фильма под названием «Репортаж с петлёй Мёбиуса», потом, через пару часов, – в управлении КГБ по Хибаровскому краю.

Сам генерал Поцелуйко поинтересовался:

– Ну, что, Арнольд Иннокентьевич, под Юлиуса Фучика косите?

– При чём тут...

– А при том, глубокоуважаемый режиссёр, что не надо. Давайте не будем намекать и совать шею в соблазнительные аллюзии. Коммунист Фучик нам не петлю с виселицей завещал, а призыв «Люди, будьте бдительны!» Не так ли?

На безукоризненно строгом генеральском столе одна, всего одна бумажка лежала, приковывавшая взгляд Арнольда. И товарищ Поцелуйко эту бумажку этак сверху, растопыренной пятернёй медленно вращал, вращал... разворачивал от себя на 180 градусов, навстречу жаждущему режиссёрскому взгляду, и они встретились, бумажка с арнольдовой точкой зрения, а на бумажке – единственная толстая рукопись красным карандашом: Лента МёбиUSA???

Бефстроганов сглотнул слюну и скороговорно принялся объяснять, что он вовсе не имел в виду фучиковский «Репортаж с петлёй на шее», о, нет! он имел в виду феноменальную, полную неразгаданных таинств, загадочную плоскость, названную по имени физика-теоретика Августа Мёбиуса, этакая, знаете ли, лента, без начала и без конца, этакий вираж... вот, извольте взглянуть, товарищ генерал... обыкновенная бумажная ленточка, один конец в левой руке, другой в правой, а теперь поворачиваем один конец относительно другого на сто восемьдесят градусов и соединяем концы... и что же мы видим? бесконечность, товарищ генерал, модель мироздания, космизм... вы эту бесконечность можете даже пальцем пощупать...

И ответил Поцелуйко:

– Кому лента, кому петля, кому вираж... А кого на виражах не заносит? Так что, идите, Арнольд Иннокентьевич, работайте и не петляйте понапрасну. А бумажку эту... оставьте... я подумаю...

Бефстроганов тоже подумал – и сменил прежнее название киносценария на новое: «Репортаж из Большого Дома». Он совершенно уверился в принципе: повешенному – висеть, неповешенному – сидеть, лежащего – не бить...

В пышном, искромётном торжестве Бефстроганов метался – как в той бесконечности, что хуже тупика. Он был в ударе.

Из Москвы и республиканских столиц накатило не только большое начальство. Большой театр пожаловал! Сам князь Игорь-Бородинский!

Заграницу представляли тихий жёлтый монгол Гуррагча и шумный чёрный американец Джон Голсуорсин, журналист и президент Лиги

защиты животных. По данным союзной госбезопасности, американец был расположен в нашу, советскую, пользу, но – профилактики ради – глаз с него не спускать: холодная война всё-таки, дело нешуточное.

– Эфиоп, твою мать, – констатировал генерал Поцелуйко и приказал: – Выше пятого этажа этого Джона не пускать. Тем паче чаяния, на крыше дома содержится суперсекретный объект. Короче говоря, придётся американца брать с поличным. Профилактики ради...

У центрального подъезда привинтили к стене бронзовую доску с надписью: «Образцовый дом коммунистического быта».

Гремел оркестр. Демонстративно полыхали красные галстуки. Грохнула о стену бутылка шампанского. Стена выдержала. Бутылка разбилась. Разрезали алую ленту...

В России, как известно, существует, множество способов борьбы с пьянством, но особо, выпукло и плодотворно, выделяется один: чтобы бороться с винопитием, надо этот процесс взять под контроль, то есть, возглавить его, руководить им. Как говорится, уж чего есть, того есть. Именно поэтому всё краевое начальство в этот день находилось в доме №13-бис.

Накануне служба ветеринарного надзора отловила по городу шесть десятков бродячих кошек. Посадили в клетки, разгрузили во дворе. И всю-то ночь из клеток раздавался дикий, отчаянный рёв свободолюбивых босяков и босячек. Им и в головы, драные и облезлые, не могло придти, что крайкомом КПСС им назначена судьба стать участниками торжественного ритуала, народной традиции, согласно которой в новый дом первым вступает не человек, но – кошка! Вот они и орали, заполошные, перепуганные. И доорались. Ветеринар в перчатках извлекал их – по одной на каждый этаж – и вручал лично товарищу Краснопресненскому-Крестовоздвиженскому, который троеперстием ухватывал кошку за шкурку, та прекращала орать и обречённо закрывала глаза: всё, конец... Но это был не конец. Она шлёпалась всеми четырьмя лапами на пол, замирала на несколько аналитических мгновений – и стремительно исчезала... какое ей дело до человеческих традиций, до ритуалов, до новостроек коммунизма, до риторических вопросов типа «Что такое советская власть?»...

– Что такое советская власть?! – восклицал товарищ Кр-Кр, разрезав очередные красные ленточки на лестничных площадках, с этажа на этаж этапируясь.

– Власть ваша говно, и партия ваша говно, и все вожди ваши то же самое, и сам ты...

Товарищ Кр-Кр не падал в обморок. О, нет! Товарищ Кр-Кр не падал в обморок, потому что я не говорил ничего подобного. Я говорил:

– Советская власть – это компас и свет в конце туннеля...

– Вот именно, – соглашался товарищ Кр-Кр. – Кто укрепит Россию? Кто спасёт её от прожорливой пасти империализма? Только КПСС! Это значит, только мы сами...

Чёрный американец Джон Голсуорсин вежливо толкал меня в бок: кто такие эти мысами и где они живут? Но это были уже другие вопросы, непартийные, вопросы на засыпку, и от таких вопросов правильные советские люди действительно не засыпают... бдят! а для тех, кто не бдит, и власть наша говно, и партия наша говно, и все вожди наши то же самое, и сам товарищ Краснопресненский-Крестовоздвиженский... хорошенькое дело! кому – нары, кому – Канары, крыша над головой поехала, вопрос-ответ ясный, как два пальца об асфальт, и только очень всё-таки жаль вас, товарищи Фучик и Мёбиус, за ваше безграничное недоверие к деклассированному элементу...

Ближе к вечеру, когда дом коммунистического быта засосал в свою фантастическую утробу всю уличную праздничную круговерть, во двор одна за другой стали въезжать красные пожарные машины. Сноровистые парни в брезентовом облачении разворачивали бухты шлангов и по телескопическим лестницам дотягивали «кишки» до окон девятого этажа, там кончались лестницы и начинались национальные особенности солнечных республик, и во всю кумачовую ширь размахнулся интернациональный лозунг:

*Русский, татарин, узбек и башкир –
Братья по классу против вампир!*

– Качай! – махнул рукой пожарный начальник.

Заурчали моторы, вздрогнули, зашевелились, точно удавы, шланги – и устремился наверх виноградный солнцедар – хванчкара, токай, молдовеняске...

Опорожнив цистерны, красные автомобили под завывание сирен умчались на дозаправку, на станцию Хибаровск-сортировочный, к цистернам железнодорожным, посланцам Грузии, Таджикистана, Молдавии... А новосёлы тем временем вычерпывали вино из ванн и вёдрами – по людской цепочке, из рук в руки – разносили по этажам...

Князь Игорь начинал оперную гастроль в концертном исполнении с первого этажа. Потерялся он предположительно где-то в районе третьего-четвёртого...

Забегая вперёд, скажем так: не будем забегать вперёд, потому что перед нами не стометровка разлеглась, перед нами время вытянулось, а бежать впереди времени всегда чревато крайне неприятными воспоминаниями о будущем. Скажем так: вначале предполагалось, что новорожденный красный день календаря закончится последующим утром, трезвым и целомудренным, с физзарядкой, бодрым чаем и трудовыми устремлениями. Дудки! Такие предположения антиисторичны. Красный день полыхал неделю. А что новосёлы вовремя не вышли на свои рабочие места, так то конь Чапай виноват, застрял в лифте, ни туда-ни сюда, а коневладелец, цыганский барон Николаша, своевременных мер не принял, вернее сказать, принял, но не ту, которую нужно, в

результате чего пассажирский лифт, честь и гордость ленинградских монтажников, вышел из строя – с той поры и поныне.

Дальше! Чёрного американца Голсуорсина, разумеется, наутро арестовали. Как не арестовать? Всё ходил среди праздничного гуляния и допытывался: «Куда поехала крыша?»... Американских негров мы уважаем, даже любим, рабы капитала всё ж таки, Поль Робсон, например. Но нельзя же, в конце концов, так откровенно проявлять себя и демонстрировать! По пятам за Голсуорсиным неотступно топали кошки и плечистые ребята из ведомства генерала Поцелуйко, и в карманах у ребят шуршали японские магнитофончики... «Куда поехала крыша?» Куда надо. Потому что под крышей дома – это нашего ума дело, честь и гордость советских авиастроителей!

Свежепосаженный в СИЗО УКГБ, американец продолжал неприкрыто и нагло интересоваться нашими оборонными секретами. И ещё вот что выяснили комитетские спецы. Этот якобы журналист и якобы президент Лиги защиты животных свободно читает: а) радиосхемы; б) нотные партитуры; в) топографические карты и г) даже книги для слепых с рельефно-точечным шрифтом Луи Брайля. Закономерный вопрос: как может такой человек-многочей не читать по-русски? А между тем господин Голсуорсин категорически отрицал знание русского языка. «Крыша», «мысами» – вот, дескать, и весь его словарный запас.

Этапировали арестанта спецконвоем в Москву, на Лубянку. А вскоре, по слухам, обменяли его на советского журналиста, незаконно задержанного в Соединённых Штатах, который, кстати, великолепно говорил по-английски, но не читал ни радио-схем, ни нотных партитур, ни топографических карт и книг с шеститочечными комбинациями.

Другой иностранный гость, тихий монгол Гуррагча – вроде бы даже и не иностранец вовсе по нашим, по советским понятиям. Недавно ведь говорят: курица не птица, Монголия не заграница. Так вот, в подарок от дружественного народа, охраняемого от агрессивно-великодержавных соседей группой советских войск, Гуррагча пригнал из Улан-Батора в Хибаровск несколько вагонов с рулонами войлока из овечьей и верблюжьей шерсти. На сносом русском языке пояснил: для благоустройства нового колоссального дома – обивки, обшивки, коврового покрытия и так далее – и скорпионы с тарантулами будут обходить этот дом за версту, потому что смертельно боятся войлочного запаха, многовековой опыт пастухов-кочевников является тому подтверждением...

– Какие скорпионы? – пожимал плечами Сперанский, предвидя новый этап хлопотной и непонятной, не предусмотренной работы. – Какие тарантулы? У нас здесь их сроду не было.

– Будут, – успокоил Гуррагча, – Чего будут, того будут. Я их вам с собой привёз для эффекта.

Действительно, привёз и вручил на торжественном открытии

новостроя целую коробку из-под ботинок московской фабрики «Скороход».

Эффект получился такой. Войлок сгрузили в жэковском складе, там он и лежит до сих пор, а коробку с ядовитыми степными гадами Сперанский, по горло занятый церемониальными хлопотами, засунул в какой-то стол в Красном уголке – да и позабыл про неё. Но это только Сперанский позабыл. А мерзкие твари очень даже не забыли, зачем, для чего, с какой просветительской миссией их сюда доставили. Через год они заполонили весь дом и акклиматизировались.

И тогда началась война, затяжная и изнурительная, словно хроническая болезнь. Война самая гражданская и самая отечественная из всех самых великих войн, которые знала мировая история. Война всех против всех. Люди, конь Чапай, тарантулы, скорпионы, отечественные тараканы, мухи, комары, кошки и мышки...

Война со всей своей многоплановой композицией:

тактика и стратегия;

рекогносцировка и инженерное обеспечение;

разведка и контрразведка;

фланговые обходы и фронтальные наступления;

сосредоточение главных сил и средств в одном нужном месте в нужное время;

атаки, контратаки и отступления, переходящие в бегство;

форсирование водных и прочих преград;

переходы через всё, что можно, невозможно и через не могу;

окружения, прорывы, расширение и укрепление плацдармов;

ночные вылазки и пленённые языки;

засады, дозоры и охранение;

генеральные сражения и бои местного значения;

паника и ура-патетика;

победы и поражения;

сводки информации и скрытки дезинформации;

награждения и наказания;

канонады и панихиды – стрельба из всех видов подручных средств, ракет, сигарет, пробок...

словом, на войне как на войне, всё было. И всё есть. Нет лишь одного. Нет смысла: за что воюем-то?

Кстати, о кошках. Расплодились в неисчислимом количестве. Бывшие бомжи и бомжихи числом 60, волею счастливого случая и народной традиции попавшие с помоек в человеческое общежитие, не только не одомашнились, но ещё более одичали.

Теперь конкретно о том, что произошло утром, после новосельной ночи.

Дворник Платонов, бывший писатель-фантаст, спозаранку опохмелился и вышел из дому к исполнению первейшего пункта своих служебных обязанностей: навести суконной тряпочкой подобающее

сияние на бронзовой мемориальной плите, после чего масляной ветошкой обслужить, как полагается, две гаубицы у центрального подъезда; метельные дела – пункт второй.

Итак, дворник Платонов в свежее мартовское утро понедельника вышел из дому, благостный и трудоспособный, потянулся с хрустом в плечах, широко зевнул – да так и остался в некотором времени с раззявленной пастью. Заклинило пасть: ни ахнуть, ни охнуть, ни, тем паче, выразиться на более-менее приличном литературном языке. А между тем, в голове Платонова, ещё не отвыкшей от собственно творческих манипуляций, забегали, запрыгали какие-то мозговые импульсы, защёлкали, заискрили нейрончики – и выдали нагорá лаконичную модернистскую фразу: «Доскать вам не передоскать...» А из горла: ы-ы-ы...

Бронзовая доска в честь открытия дома №13-бис, метр на полтора, с литыми и сверкающими, как золото, буквами: «Образцовый дом коммунистического быта», плита фундаментально-монументальная, много означающая сама по себе, даже без самого дома, ещё вчера украшавшая фасад и радовавшая, обещавшая и трубно зовущая ... где доска? Нет доски! Только четыре глубоких безобразных дырки для мощных крепёжных болтов остались от зова, обещаний и радости.

Гаубицы были на месте. Пока.

Шуму-трезвону, тревожного переполоху по поводу таинственной пропажи бронзового раритета было много. Приезжали на место чрезвычайного происшествия даже из крайкома партии и управления КГБ.

– Идеологическая диверсия? – испуганно предполагали партийцы, и правильно они пугались, потому что в вышестоящих органах это воровское событие расценили бы не иначе как вопиющие упущения в работе.

– Идеологическая диверсия! – со сдержанным торжеством утверждали чекисты, и правильно они делали, потому что центр зачёл бы им это воровское событие в разряд успешных итогов: раскрыли, обнаружили, молодцы, не дремлют боевые товарищи, а то ведь что происходит на отдельно взятых территориях? – тишь, да гладь, да божья, так сказать, благодать, где самые-то черти антисоветские и водятся... так держать! ухо остро, сердце горячо, ум холоден, руки чисты, язык на замке, болтун – находка для шпиона, враг не дремлет... Чёрный американец Голсуорсин уже воткнут в следственный изолятор, сидит, таращит свои будто бы ничего не понимающие глаза. Теперь же, с пропажей бронзовой идеологической плиты, арест американца оказывается уже не случайной акцией, а – цепью, агентурной разработкой, масштабной операцией! Потянем за эту цепь, авось, и крупную дичь вытянем, и тем паче чаяния, как любит приговаривать, философствуя, товарищ генерал Поцелуйко...

Ещё одна загадочная пропажа обеспокоила хибаровское начальс-

тво, хозяев всесоюзного жэкэховского праздника. Князя Игоря, будь он трижды неладен, на следующий день после торжественного мероприятия искали с утра до вечера, искали с собаками из угрозыска, с тихими матюгами из последних сил.

– Живого или мёртвого! – стучал кулаком по столу персек Сытников. – Мне уже дважды из Минкульта звонили, мол, как он там у вас, наш Игорь Святославович? Что я им должен отвечать?

– Мёртвого не надо, – ужасался администратор труппы Большого театра. – Что вы? Вопрос надо ставить в иной моральной плоскости! Трезвого или пьяного!

А товарищ Краснопресненский-Крестовоздвиженский напомнил персеку:

– Между прочим, я ведь предлагал в своё время альтернативу Большому театру...

– Не помню, – свирепо глянул на идеолога персек.

– Ну, как же, товарищ Сытников? У нас есть замечательный коллектив, сводный хор первых комсомольцев и последних пионеров, дипломант и лауреат...

– Пошёл ты в жопу со своим хором, – тоскливо огрызнулся персек, вяло, устало, немошно и стариковато. – Когда это было?

– Да что ж, вы забыли наш горячий разговор про товарища Ленину? Вы тогда ещё сказали: какая пакость, что Владимир Ильич впервые запел – и где? в Киеве! и ещё раз – где? на сцене, в опере Хренникова «В бурю»! А я тогда сказал, что товарищу Сталину опера понравилась...

Персек отмахнулся. Какая буря? Какой Хренников? Большой артист пропал, в конце концов, человек, а не бронзовая табличка, и если к утру... в общем, будет нам тут всем такая буря, что хрен слаще мёда покажется...

Упорно искали Князя Игоря, настойчиво – и безнадёжно, как иголку в стоге сена. Как же человека найти здесь, в этом чудовищном парадном чертоге, в котором десять-двадцать-тридцать самых Больших-Пребольших Театров запросто можно поместить, сокрыть, упрятать?

Труппа вернулась в столицу без ведущего солиста.

Остался вопрос: куда подевался народный и заслуженный артист?

– Ку-да-а-а? – как грозно, трубно спросил бы дед Молитвин. Однако же о них, отдельно о вопросе и отдельно о деде Молитвине, скажем ниже, в своё время.

Из других новостей послепраздничного дня, точнее, вечера. Ибо именно вечером Центральное телевидение прокрутило на всю страну документальную ленту кинорежиссёра Арнольда Бефстроганова «Репортаж с петлёй Мёбиуса». Немедленно в Москву из Хибаровска полетели, потрескивая, телефонные звонки: почему, зачем, откуда взялось это дикое, антигуманное название? ведь у хибаровских хроникёров было иное: «Репортаж из Большого Дома»... Столичный начальственный баритон

ответил насмешливо: Большой Дом в Советском Союзе находится в Москве, и мы тут решили поправить вас, переименовать, дать киноленте более точное и творчески оригинальное название... Разве мог режиссёр Бефстроганов знать-ведать об этих стремительных телефонных эскападах? Увы, не мог. И появление на голубом экране первоначально данного им лично, но отвергнутого местным надзором, названия повергло Арнольда в шок, в депрессию, и расценено как козни и катастрофа. Лента – Мёбиус – петля – крюк, на котором висела новенькая люстра с пластмассовыми висюльками под хрусталь... Крюк, к счастью, вылетел с корнем.

Такие вот дела.

И куда Бефстроганов пару дней будет залечивать шишки на голове спиртовыми бюллетенями вовнутрь, а Князь Игорь ещё пару месяцев будет спускаться вниз, на грешную землю, с этажа на этаж... – расскажем о том, братия, что случилось в доме на углу улицы Всех Святых и Безбожного переулка в третий день творения ЖКХ.

...Дворник Платонов, бывший писатель-фантаст, спозаранку опохмелился и вышел во двор, благостный и трудоспособный, потянулся, зевнул – да так и остался в некотором времени с раззявленным зевалом. Заклинило зевало: ни бекнуть, ни мекнуть, ни, тем более, выразиться на сочном лексиконе лондонского издания сочинения господина Флегона «За пределами русских словарей»...

О, поле, поле, кто тебя... уже за шеломянемъ мерси...

Между тем, в голове Платонова забегали, запрыгали мозговые нейрончики, защёлкали, заискрили – и выдали нагорá порцию афоризмов, аж три штуки. Первый: где одного убыло, там другого прибыло. Второй: красота требует жратв. И третий: хорошую закуску – не выблёвывай! А из горла только: ы-ы-ы...

Живая котлета на асфальте, не надкусанная даже – что это? Соцреализм или фантастика?

Россыпи зелёного горошка по бело-рисовому полю – это издевательство или наоборот?

Птичий базар с урчащими кошками и фыркающими собаками – на картофельных, с подзолоченной корочкой, равнинах, на вермишелевых холмах, на винегретовых рифах, на макаронных островах – да всё в прудах солнечных, с лучком, подливок, в соусных озерах – и какие-то рыбёшки в собственном соку...

Пора пера! Но – господи, боже мой милостивый, милосердный, помилуй мя, грешного, и укажи: где тот гусь, в котором вызревает-наливается крепким градусом и лёгкой крепостью раблезианское пиршественное перо?.. да, может быть, и вовсе не перо – Перун какой-нибудь, сам Перун, целый и невредимый, славяно-русский молниеносный бог, пионервожатый языческого пантеона – с его древней трепетностью крыла и прицельной основательностью истребителя-перехватчика...

ХЛІ

«Перехватить», «перекусить», «червячка заморить» – это несерьёзно. Это, получается, шутка такая, легкомысленная, к тому же вредная, потому что такими шутками можно заморить не только червячка, но и всё человечество, предварительно замороченное.

В начале начал или в конце концов, что мы имеем? Мы имеем государство, которое имеет нас (нас = усечённое население). Мы и оно расположились в неоднозначном и неодноимённом имении.

И в этом местоимении не с бухты-барахты, не с кондачка, но с миру по нитке, и с бору по сосенке, с язычка на язычок да в складчину собирался, густо замешивался и выпекался, точно прянички, населенческий эпос былинный: кухонный. Он и по сию пору перманентно завивается: стружки быта, завитки общежития, коммунальная кудреватость.

Кухня – это ведь не просто, так называемая, готовка щей, борщей и гуляшей с макаронами. О, нет! Кухня, если хотите и даже не хотите, – это не готовка, это готовальня с полным, острым и блестящим набором принадлежностей и инструментов для вычерчивания как внешних, так и внутренних признаков окружающей жизни во всех её занимательных (в долг, в том числе) конфигурациях.

Есть мнение насчёт глагола «есть»: какая страна – такая и кухня, какая кухня – такая и страна; наша же – похоже, и не страна даже, а, скорее, пространность.

Застольные разговоры о смысле жизни – предмет важности наисугубой. И даже если говорят об еде, то опять-таки исключительно «в смысле жизни» и непременно в смысле политическом. Кухарки нашей пространности, конечно, ещё не дотянулись до управления государством, о чём мечтал товарищ Ленин, однако порассуждать о государстве, вдоль и поперёк да снизу доверху, – хлебом не корми, а дай высказаться.

Мужские застолья основательней женских. Как правило, в том застолье всегда наличествуют три стороны. Один (обозначим его так: ~) молча разливает, двое спорят – с топотом и свистом, тут без свисту никак не обойтись: когда простой советский человек(+) произносит слово «марксизм» с двумя, тремя, а то и с четырьмя буквами «с», в это же время непростой советский человек (-), недостаточно усвоивший в семье и школе азы марксизма, свистит как бы сам по себе, без надувательства извне: «диссидент»...

+ Хорошо сидим!

– Хорошо-то хорошо, а чего хорошего? Вот раньше, честно скажу, была, например, закусь... А щас?

+ А щас, тоже по-честному, хорошо уже хотя бы то, что безработицы нету, как при капитализме.

– Да? Ладно. Но давай ещё раз по-честному: нету безработицы, и как раз никто толком-то и не работает.

+ Это пока, пока! Зато в общем и целом из года в год у нас невыносимо быстро растёт производительность труда.

– Да? Ну, я не знал, что вы, извините за компанию, такое дерьмо в смысле политекономии. Вопрос элементарный: если растёт, как вы утверждаете, производительность, тогда почему же в магазинах пусто, хоть шаром покати?

+ А очень просто. Во-первых, от дерьма слышу. Во-вторых: и пусть! Пусть в магазинах шаром покати, зато в домашних холодильниках есть чего и даже кое-что. Нет?

– Есть, есть... Зато все недовольны!

+ И что с того? Недовольные – а всё ж таки все дружно голосуют, вроде нас с тобой!..

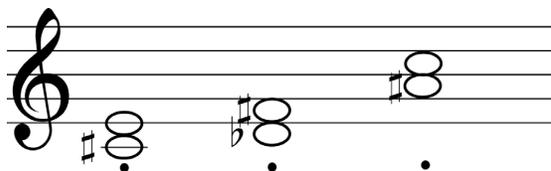
Анекдот? Конечно. Самый расхожий и в разных вариациях. За него уже даже не привлекают, как бывало при товарище Сталине. Нынешние вожди народа, вероятно, раскумекали мозгами, что без анекдота, без юмора, без самоиронии история любого народа была бы, есть и будет значительно короче. Не парадокс ли это? Увы, скорее загадка,

в которой зарыта собака,
которая лежит на сене-солومه,
в которой сокрыта вся соль земли,
в которой и упрятаны концы концов,
которые завязаны кокетливым узелком на пресловутом
философском камне, именуемом «русским вопросом»...

В такие животрепещущие моменты всегда, как правило, вмешивается третье лицо, обозначенное знаком ~.

И это есть тот самый случай, когда третий – не лишний. Можно и так сказать: разводящий. Как при смене караула, как рефери в ринге... впрочем, какой уж там ринг, когда всё и все напропалую и всяк по-своему круги по жизни описывают: разведённые руки, пиво, женщины, мосты...

Третий, как свыше мудро замечено, разливает молча, ему есть о чём помолчать. Он, кстати, может наполнять тару и вполне презрительно, и с закрытыми даже глазами, по одному лишь мелодическому звуку, настройщик этакий: три булька из горлышка равны полстакану, отмерено – как в аптеке; и музыкальный слух – вкус художественного происхождения, уж поверьте, господа, уху профессионала с многолетним стажем...



Ух ты, стаканное стаккато, по стеклу стекающее вниз по гранёной

песенке, идущей вверх! Ах ты, терция порции! Эх ты, гармония-фи-лармония! Ещё в конце XIX века некто Л. Лихненаль напечатал в серьёзном журнале статью «Музыкальный врач», в которой предлагал с помощью музыки лечить подагру, чуму, тугоумие, тиф и белую горячку; согласно его теории, сонаты Моцарта способны исцелять несчастных от ревматизма, а фортепианные миниатюры Шуберта – от бессонницы... Это ж какая симфония – в одном стакане!

Итак, сошлись два полюса в одной готовальне. Сидят, выписывают круги острыми углами, взволнованы политически и экономически, и третий фактор, обязательный и булькающий, тут же; хорошо им тут, великолепно, распрекрасно и благостно, море по колено, проблемы по фигу, любовь и дружба до гроба, патриотизм до точки, да хоть сию же минуту готовы с любой америкой или саудовской оравой справиться и на колени в угол поставить...

– А чего бы такого жевнуть?

+ А сперва посоветуйся, товарищ, со своим желудочно-кишечным трактом.

– Да чего ж советоваться? Тракт у нас такой, простой и обыкновенный: в двенадцатиперстной кишке язва грызётся, а в горле спазмы социализма... Да, вот оно какое, мичуринское ваше плодородие, госпожа мудачья! А вообще, сильно мяса хочу, чтоб большой кусок с мозговой косточкой.

+ Эх-эх, да всё бы вам мяскасть! Варварский примитивизм какой-то вместо реализма... Я вот вам скажу, только вы никому об этом, ни гу-гу: в Монголии наступила всеобщая и полная дебилизация – знаете, по какой причине? – так я вам сейчас скажу, только уж вы ни гу-гу: у них там приходится триста! килограмм мяса на душу населения в год! Вы думаете, это хорошо? Нет, это нехорошо, это убивает в человеке человека, когда так много и так сразу. Я имею в виду, что мяса много.

– Зато социализма нету.

+ Тише, тише, не бурлите... Я не думаю, что у нас всё так уж плохо.

– А я думаю, что у нас всё гораздо хуже, чем вы думаете! А чем вы думаете – это уже будет другой вопрос: чем? Вот в чём вопрос, товарищ...

И товарищи начали считать. Они не стали дожидаться наступления Всемирного дня продовольствия, учреждённого Организацией Объединённых Наций в 1945 году и отмечаемого всем прогрессивным человечеством 16 октября. Нет, осенью цыплят надо считать, ребят в школу отправлять, картошку с законных шести соток вывозить, трёхлитровые банки с разносолom закатывать дефицитными крышками. Они, товарищи в готовальне, принялись считать ещё и потому, что, хоть наше правительство и уделяет, и прикладывает, и напрягает, и т.д., и т.п., и не всё ещё получается – но процесс слюноотделения уже пошёл.

Товарищи не поленились взять в руки карандашик и бумажку и, по-школьному морща лбы и высунув кончики языков, вывели на свет готовальни самодельную статистику: за семьдесят лет жизни гражданин великой державы съедает пять тысяч буханок хлеба, сто мешков картошки, трёх быков и двух баранов, десять тысяч яиц и четыре кило дамской губной помады... Чиркали карандашиком, сопели, цокали языками, воздымали к потолку руки, а третий, который булькающий, разливал прозрачно-призрачную рапсодию, выуживал из стеклотары очередные солёные огурчики с чесночком, красным перчиком, тмином и укропчиком, стимулировал, как говорится, разговор по душам...

О, если бы огурчики могли говорить!

Нет, не дано, и их пупырчатую философию озвучивает чувствительная русская литература.

Припоминается совершенно к месту и ко времени: Лёв Николаевич Толстой говорил как-то и где-то о том, что только в кабаках двери открываются наружу, однако в душе человеческой они открываются вовнутрь.

Так вот, позвольте заметить, господа собутыльники: если и есть у русской души какая-нибудь дверца, то она открывается с хрустом: с хрустом как национальным гимном России, который исполняет на сольных зубах главный застольный деликатес – огурец. Огурец – это наше всё!

– Рабочему человеку, – заметил писатель Иван Шмелёв, – без огурчика уж никак нельзя!

Это истинная правда. Это даже непьющая человеческая масса если и не знает в практической точности, зато тонко чувствует: огурец для рюмки – как Ромео для Джульетты, да и по форме соответствуют для стыковки, почти космической. Впрочем, так полагают не одни только россияне. Зарубежные радикальные дамы, кажется, прекрасно-гордые полячки объединились в женский «Клуб любителейниц огурцов»; клубный манифест напечатали в каком-то полусерьёзном журнальчике, и пошёл он гулять-разгуливать по белу свету, по пьющему миру и непьющему, разъясняя недотёпам, почему надменные ляшки так полюбили огурцы: огурец можно пощупать и заранее, до употребления, узнать, твёрдый он или нет; общаясь с огурцом, дама никогда не обнаружит в своём кружевном белье грязные мужские носки; огурец не сделает даме подарок в день рождения за её же счёт, никогда не представит даму как свою «просто знакомую», не спросит: «Я у тебя первый?» и не расскажет другим огурцам, что он у дамы «первый»; огурец не потребует, чтобы дама дома выглядела сексуально, а на людях «прилично»; он не соблюдает диету, не коллекционирует марки, монеты и пивные этикетки; от огурца не пахнет бензином; огурец не замечает седину в дамских волосах и не интересуется возрастом; он никогда не скажет: «От аборта ещё никто не умирал»; огурцы не лысеют и не

вгоняют дам в тоску рассказами: «А вот когда я служил в армии...»; огурец не переключает дамскую телепрограмму на футбол, не назовёт вас чужим женским именем и не скажет «оп-па!» в самый ответственный дамский момент; если в женском кружке и говорят про мужчин, то только так: «Молодец как огурец», но уж никак не наоборот, да ко всему прочему и бросить-то огурец – проще простого... и так это они запудрили, коварные полячки, что только к концу манифеста трезвый человек начинает понимать: стервы. Им бы – про лосьон, чтобы морды мазать, а они вон до чего... Но даже это не помешает нам выпить и закусить!

Рецепт №1. Холодный суп из огурцов. Огурцы очистить, мелко нарезать, залить взбитым молоком с небольшим количеством воды. Посолить, добавить 1-2 ложки растительного масла, тёртого чеснока, укропа и чёрного перца. Остудить. Перед подачей на стол посыпать молотыми грецкими орехами или киндзой. И получится отличный заменитель щей и борщей для тех, кто желает сохранить фигуру.

Рецепт №2. Водочка огуречная. Надо захихнуть в бутылку малюсенький новорожденный огурчик вместе с кусочком ботвы и цветком. После этого необходимо набраться собачьего терпения ровно на полгода – после чего вкушать. Упоительно!

Как известно, огурцы растут в сумерках и ночью. А утром... Хмурым утром человеческие извилины и огуречные пупырышки вздрагивают в едином призыве.

О, этот рассол российский! Он берёт на себя все последствия непомерного питания.

Рецепт №3. В стакан огуречного сока добавить дольку толчёного чеснока и щепотку чёрного перца. Выпить медленно-медленно, мельчайшими, насколько возможно, глотками осознавая необходимость жить дальше. Помогает. Проверено.

Да, уж и в самом деле, если бы он мог говорить, наш солёный, малосольный или свеженький, как он же сам, наш зелёный друг, товарищ и брат... Овощ существительный – овощ прилагательный – овощ действительный (в любом из возможных сочетаний):

член	сочный	разрешает
подвижник	пупыристый	способствует
сообщник	крепкий	насыщает
компаньон	освежающий	лечит

посредник	ароматный	объединяет
жратва	аппетитный	приветствует
жертва	воскресающий	вдохновляет
скромник	хрустящий	облегчает
скоромник	серьёзный	развязывает
крепыш	традиционный	привлекает
персонаж	натуральный	демократизирует
любимец	бескорыстный	укрепляет
и т.д.	и т.д.	и т.д.

... и только хрусь-хрусь-хрусь, и только грусть-грусть, и только груздь... дескать, грибочкам разным, рыжичкам и прочим русопятам, слово предоставляется... А где грибочки – там и споры, а где споры – там и сама отечественная история вздыхает, похрустывая и потрескивая, кряхтя и переминаясь, но и это не помешает нам выпить и закусить.

И вот в одно прекрасное однажды крошка-сын пришёл к отцу и спросила кроха:

– Надо кушать хорошо или кушать плохо?

Папа разгладил своё напряжённо-комсомольское лицо и ответил доверительно, как мужчина мужчине:

– Голод – не тётка, голод – это мать родная. Это он говорит человеку: встань и иди, добывай. Короче, сказка про золотую рыбку.

– Почему? – спросил сын.

– А потому! Рыбка ищет где глубже, а человек – где рыбка. Диалектический материализм, сынок. Жить вкусно, значит, жить где рыбка. Она знает. И настоящий мужчина ищет рыбку, рыбу, рыбищу. Там фосфор и рыбий жир, но про рыбий жир давай лучше не будем, воспоминания душат. А вот тихоокеанская селёdochка с луком в постном масле, а вот килечка – хошь пряного посола, хошь в томатном соусе, а вот камбала жареная в пивном ларьке, а под водочку так и вовсе – икорка... да, икорка, это, дорогой мой сын и наследник славы, совсем не то, что какая-нибудь извращённая буржуйская мадам какой-нибудь метафизический паштет из полевых жаворонков жрёт, или мозговую колбасу с угрями в трюфелях трескает, или уж вообще жаркое из юных красных куропаток лопают... Икорка, дорогой наследник, это, как бы сказать, чрезвычайный и полномочный посол... Да! Дедушка твой, а прежде него так и мой ещё дедушка, были живы – говорили: в середине двадцатого века в магазинных витринах и на прилавках стояли здоровенные фаянсовые расписные чаши с икрой, которая называлась чёрной и красной: чёрная подороже, а красная вообще дешёвка... так вот, стояли чаши с икрой, прохлаждались, превращались в каменное мумиё, и деревянные ложки в него воткнутые, а чего, спрашивается, стояли и прохлаждались? а ждали: кто купит эти рыбы глаза? а и не дождалось, никто и не покупал, и тресковую печень народ игнорировал, и баночными крабами в пергаментной за-

вёртке пренебрегал, а может и вовсе брезговал, дескать, ну их, этих морских пауков... а может, очереди за другой пищей привлекали – за хлебом, за мукой и гречкой... Короче говоря, расстройство. А через полсотни лет – что? Распробовали! Икорка, икорка... К Новому году у нас, дорогой крошка-сын, припасёна аж целая пятилитровая банка с сырой паюсной икрой, на базаре купил, в холодильник поставил, так мы её намнём в тазике к празднику, чтобы с уксусом, с перцем и лучком, а не то сварим в маковом молоке – да в блины из крупчатой муки, наверно, интересно будет... А покуда, сынок, потерпи и читай художественную литературу. Там ещё есть про вкуснятину...

И крошка-сын читает торжественно-державного Гаврилу Романовича Державина:

*Багряна ветчина, зелёны щи с желтком,
Румяно-жёлт пирог, сыр белый, раки красны,
Что смоль, янтарь-икра, и с голубым пером
Там щука пёстрая – прекрасны!*

Дивно крошке, чудно! Темно-розовые, мягко-зелёные, персиковые, песочные, фисташковые, бланжевые, оливковые видения живописной эпохи, давно рассыпавшейся в пух и прах, по-щучьему веленью... Где вологодское масло? Нет и никогда не было ни вологодского масла, ни молочных рек, ни кисельных берегов, ни пирогов с какой-то там ещё вязигою, сказки всё это, для маленьких. Зато идут и идут через моря и океаны в советские порты железные корабли с полными трюмами, под самую крышку набитые бананами из Эквадора и Коста-Рики. Дивно крошке!

Но если бы и в самом деле был жив-здоров дедушка папиного дедушки, уж он наверняка поведал бы внучику о золотом веке, где питались багряно-зелёными сказками с желтком и голубым пером. Впрочем, что бы он, далёкий дедушка, ни говорил об еде, а ведь всё равно в итоге на человека выведет, на едока свернёт, на жреца и жрицу продовольствия. Вот и тема для урока извечного: человек как продукт питания разных чувств. Человек голодный и сытый, тучный и худой, толстый и тощий, жирный и постный; человек мясистый, костлявый, мозговитый, млекопитающий; человек съедобный, с хорошим вкусом или абсолютно без; фаршированный, с изюминкой, с перчиком, острый и пресный, а ещё и сладкий, и сдобный... – вон оно как! А к такому-то человеку – и общая еда, и отдельные кушанья, и прописанное пропитание зело соответственные... Где тот державный дедушка папиного великодержавного дедушки? Сгинул. Съел своё, сгинул и молчит. Молчит как рыба. О, если бы рыба могла говорить! Корелская лососина, астраханская осетрина, волжская белорыбица, белозерские снетки, черноморские бычки, скумбрии и кефаль, да судачок с золотым карасём, да полосатый окунь с лещом, да пескаррик с ёршичком.. Клёво! Рыбка жареная, печёная, вареная, вяленая, солёная, а ничего

что и вонюченькая, от которой иноземные товарищи нос воротят, а русский вкушает, каждую косточку обсосёт да нахваливает: запашистая – так, значит, и поспелая, вот как. А про икру и говорить нечего, её не жрать, её на языке удовлетворить надобно, кушать так, как кушивал, к примеру, коренной волжанин Фёдор Иванович Шаляпин: из серебряной или хрустальной икорницы, бывало, зачерпывал вместе со стружками сливочного вологодского масла тёмно-бронзовую осетровую икорку ломтем горячего белого пшеничного хлеба – и в рот, а уж после того (упаси бог, не прежде, ибо, как говорил Фёдор Иванович, икрой не закусывают!) выпивал водку. Только водку. Шаляпин знал, глотка-то у него будь-здоров: коньяк убивает икру клопиным амбрэ, джин привносит в интимный процесс водкопития чуждую русскому духу парфюмерность, яблочный самогон-кальвадос оглушает пошлостью, которая, как всегда, не туда пошла, шампанское... что ж, для гусиной печени, для лягушачьих лапок, для виноградных улиток шампанское – в самый раз, вот пусть французы и пьют, а русскому – икра и водка, вместе получается песенка, сказка, дивный вкус и не менее дивное послевкусие. Да чтоб хоть мало-мальски разобраться: чего такое съел? – урок такой: чёрную икру от красной даже спяну легко отличишь, сынок, вот только в той чёрной есть свой секрет аристократический и малость зазнавшийся; перво-наперво, белужья икра, которая серебристо-серая и в баночках с синими крышками; на втором призовом месте – осетровая, та будет помельче, и крышки у ней жёлтые; на третьем месте, на бронзовом, – севрюжья, самая мелкая и самая чернявая, икринки твёрденькие, как недоспелая бузина, случается в зубах застревают, если зубы редкие, а крышечки красные; так вот, всех трёх чёрных призёров можно поделить на два вида посола: икра паюсная (засоленная прямо в оболочке-ястыке, а через сутки «пробитая» через сито) и икра зернистая, самая качественная, до засола извлекается из ястыка... Понятно, сынок? А уж с красной-то икрой проще: только зернистая, от лососёвых рыб: кета, горбуша, нерка, Сахалин, Камчатка, японцы обожают, а мы что ж, совсем уж фу-фу? нет!!! если партия нам скажет: «Есть!», мы ответим дружно: «Надо!», так что приятного будущего аппетита, дорогой наследник будущего... Да. А на нет и суда нет. Берём треску...

Рецепт № 4. Берём, значит, 400 граммов филе трески, можно и окуня, и столько же граммов овощей, как то: две морковки, две луковки, два помидора, подсолнечное масло, два лавровых листика, чёрного перца, щепотку соли, чайную ложку сахара. Задача простая: возьмём и предположим на стол, аккуратненько и помыто. И, по возможности, нежно. Натираем морковочку на тёрочке. Обжариваем на сковородочке

– и в кастрюльку. Нарезаем лучок, а чтоб глаза не щипало, так надо или нож в воде ополаскивать, или свистеть жизнерадостное что-нибудь. Кромсаем помидорчики, между прочим, можно обойтись и томатной пастой. Обжариваем лучок до серебристости, добавляем в него помидорчиков, ещё чуток на огне помариновать – и в ту же кастрюльку. Теперь берём филейку тресковую, её ещё лабарданом называют. На сковородочку! Со сковородочки – в кастрюльку, к помидорчикам, к морковочке. Добавляем туда соль, лаврушечку, перчик, сахарок и ставим на слабый огонь. Всё! Можно покурить и оправиться. Через десять минут будет рыба под маринадом, закуска первостатейная. Прочти – и передай другому. Это ж вам не записки на бланманжетах – связь времён! Да рыбкой-то деда с бабой помяни. Да ещё Ленина не забудь, который хоть и не голодал, но всё ж мечтал о том, чтобы каждая кухарка могла уметь управлять государством. Аминь.

А ведь так и случилось, как вождь нафантазировал! Только – не «могла уметь», а – «могла», всего-то и разницы. Разница существенная. Но и это не помешает нам выпить и закусить.

Значит, жил-был один народ. И у него жил-был хозяин-барин...

Или так: жил-был хозяин-барин. И у него жил-был один народ.

– А давайте, – говорит хозяин-барин, – я вам освобождение дам!

– Есть! – отвечает народ, точно миллионоустый солдатик.

И дальше живёт, хлеб жуёт.

И пришли иные времена, взошли иные имена, а хозяин-барин всё тот же и всё то же гнёт и гнёт – своё, стало быть:

– А давайте, – говорит, – я вам щас свободу, равенство и братство выдам на тарелочке с голубой каёмочкой, да заодно – чего уж там мелочиться-церемониться! – устрою независимость, национальную гордость и право на самоопределение!

– Есть! – отвечает народ.

И дальше живёт, ус жуёт.

И вот уж совсем времена иные, имена иные, а хозяин-барин всё тот же и всё то же гнёт, по-прежнему:

– А давайте, – говорит, – я вас в коллектив сплочу, чтобы жить стало радостней, жить стало веселее!

– Есть! – отвечает народ.

И дальше живёт, хрен жуёт.

И так вот они живут-поживают-сопереживают, народ и хозяин-барин.

– А давайте! – говорит один.

– Есть! – говорит другой.

И только кто-то, Единственный и Великопостный, там, высоко-высоко, где широко и необъятно, глазу невидимо, ухом неслышимо – вздох роняет:

– Это ж надо так оголодать...

И сверкнул взором, точно молоньей.

И грянул гром, и мужик не перекрестился, бог не выдал, свинья не съела, кобыле не полегчало, баба-то заполошная то с возу, то на воз сигает, и народ безмолвствует, село решило, что смычка города с деревней наступила на грабли, мученье-то како!.. – а город подумал: ученья идут.

Так выпьем за то, чтобы жил-был один народ и был сам себе хозяином-барином.

...Зарубежные вояжеры, приняхавшись, вывели решительную аттестацию:

– Русские чесноком пахнут.

Неправда! Не только чесноком. Лук ещё, например. Много лука, хоть репчатого, хоть зелёного, пёрышками. Шафран ещё. Перец. Горчица. Уксус. Дары Царьграда и Болгарии: миндаль, анис, укроп, кардамон, имбирь, корица, лавровый лист, гвоздика – ещё со времён князя Владимира и досюльной поры звучат как музыка, фармакопея поднебесная, кулинария господня. Востоком и Западом пахнут русские. Европой и Азией. Так-то!

Хлебушко на столе ржаной, а калачики-то да просфоры всё пшеничные. Да в обширной миске капуста кислая, квашеная, белая с алыми брусничинками... Да багровая свёкла со льняным золотым маслицем... Да горячие пирожки с горохом... Да грешневая или овсяная каша, упаристая, утомлённая в горке, с маслицем тож...

В скромные дни, с весны до поздней осени, пользовалась уважением баранинка с чесноком. Осенью забивали яловиц, на просто говядину да на засолку впрок, а потроха употребляли в студень да в каши. А свиней, весь год рощенных, кололи под Рождество – для наваристых зимних щей, на колбасу, на соленье-копченье, а уж голова – то лакомство особое, в студне, с чесноком и хреном... И куры во щак, а то и с лимончиком жареные или с чем-нибудь иным кисленьким, а отдельным роскошеством подавались ихние пупки да шейки. Гуси с гречкой и говяжьим салом. Утки с яблоками. Рябчики в молоке. Зайцы... Они хороши с непременною репою. И уха-ушица, да не только рыбная, а – любая похлёбка называлась ухой, ежели была с пряностями: чёрная уха – с гвоздикой, белая – с перцем, а уж если совсем без пряностей, так получалась голая, и стыдно даже ухой называть, и

ничего более обидного... Так чем же, всё-таки, пахнут люди русские и их застолья?

– Емансипацией!

Так разом выразилась самая затрапезная российская провинциальная домохозяйка, звать Елена, отчество неизвестно, а по фамилии Молоховец. Выразилась в тот самый год, достопамятный 1861-й, когда государь император Александр Второй даровал своим подданным Манифест об освобождении крестьян от трёхсотлетнего крепостничества. Товарищ Ленин, надо полагать, ещё мальчиком кушал домашние кушанья, состряпанные кухаркой в его симбирском родительском доме по авторитетным советам книги, составленной из полутора тысяч кулинарно-кухмистерских рецептов «от Молоховец».

Лет через тридцать некий Симоненко в два раза увеличил молоховецкую «емансипацию» новой книгою под названием «Образцовая кухня»... Желаете данцигского ликёра? Извольте, будет вам ликёр, нет ничего проще для домашнего приготовления, только не ленитесь, господа, и, ради бога, соблюдайте пропорции, святое дело... из масел: анисоваго, сельдерееваго, оранжеваго, укропнаго, анжеликоваго, кориандроваго, тминнаго – а после фильтрации прибавьте мелко истёртые листочки чистаго золота или серебра. А закускою будет вот чего: ростбиф обыкновенный.

Рецепт № 5. Для ростбифа необходимо брать филей, не снятый с рёберъ, и не какую-либо часть вола, а именно только филей, но и при этомъ следуетъ иметь в виду, чтобы филей этотъ былъ от молодого, кормленаго хлебнаго вола, и я советую брать правый бокъ, а не левый, потому что у леваго филея жиръ какъ бы накладной и отделяется от мяса плёнкой, вследствие чего его обыкновенно прикалываютъ деревянными шпильками. Правый же бокъ составляетъ нечто целое и много вкуснее, потому что мясо этаго филея всё какъ бы пронизано жиромъ и точно мраморное, что называется прорезью...

Дальше можно не читать. Сказано же: ростбиф обыкновенный. Как говорится, я – памятник себе воздвиг... Ну, блин! Кстати, о блинах.

Не еде, нет, не вообще еде, нет, – слову «блин» народ даровал перманентно долгую жизнь.

– Куда, блин, мы катимся? – спрашивают люди друг у друга.

А надо бы не друг у друга, а у самого блина спросить. Он круглый, хлебный, он солнышком поцелован, вкус земли изведаль, огонь и воду прошёл, правду знает. Правда, не скажет той правды. Голоса нет. Но и это не помешает нам выпить и закусить.

Пришли как-то в гости к теще на блины русский с американом.

– Ешь, американ, от пуза до пуза, скоко влезет, – говорит русский заместо заткнувшейся тещи.

– Да не хочу, – отвечает американ.

– Ты чо это, больной? Ешь, тебе говорят! Всё равно ведь на халяву, не пропадать же добру.

– А я, – говорит американ, – ем тогда, когда хочу есть. Нация у нас такая. Понимаешь?

– Ну, блин, не понимаю я такую нацию, – сказал русский и встал ему колом в горле даже десятый блин.

– Объясняю. Когда хочу есть, я ем. Ай – эм! Когда не хочу есть, я не ем. Ай – не эм!

– Вона как... Ишь ты! Ну, американ, ты прямо как животное какое-нибудь...

...Так выпьем за то, чтобы год от года росло, крепло и развивалось культурное сотрудничество между народами.

Значит, так. Первый блин подаётся нищим на помин усопших. А коли нищего поблизости нет, так тот блинок кладут в сенное окошечко с уверенным предположением, что души ушедшие попользуются угощением без посредников.

Перед первым же блинком – тещины уроки, пред которыми стихают в ничтожестве своём и гром небесный, и человеческий гам, и гамлет в жите-быте сумлевающийся, и придорожный трактир с бойкими половыми подавальщиками, и привокзальный буфет с продажными продавщицами, и краснодеревные с серебром ресторации «а ля рюсс»... и всё на свете, и все великие книги перед древним, мудрым, ядрёным, таинственным земным зерном умолкают, и тора не вторит, и коран не укоряет. И третий петушок не кукарекнет.

...и-и-и-и, да ты поначалу определился в аппетитном выборе своём, а уж потом блинькай, чего желаешь, блинов или блинников, разница между ими. Блинов? Так блинов опять же будет четыре выбора, загибай пальчики: которые на дрожжичках, чисто гречневые, а которые есть чисто пшеничные, а третьи будут напополамные, а другие на соде пекутся заместо дрожжичек... А тесто-то, тесто, ёшеньки мои! Для теста простой ум нужен и соображение. Запоминай: когда тесто подыметя в последний разочек, так его уже не надо мешать, чтобы опало, по-другому говоря, ему уже не надо мешать. Значит, поспелое тесто, превзошедшее. Теперя – сковородки, бесперечь чёрные и чугунные. Их тоже к блинам готовить надобно. А вот как. Обыкновенно как. Хоть старые сковородки, хоть и молодые, всё едино – ни за что не мыть водой, не положено, оне не галоши какие-нибудь. А чистют так. Ставь сковородки на плиту, налей чуток жирку, а в жирок насыпай крупной соли, в сельпе уж такой крупной, как прежде была, не прода-

ют, нынче всё как зубной порошок... да, и пусть сковорода хорошенько прогреется с жиром и солью. И тогда сымай с огня. Пуцай маленько остынет, а потом тряпку в руку и три, три, три, покудова грязь и пригар не аннулироваешь. А потом уж посуху вытирай чистой тряпочкой с новой солью. И – упаси бог, чтобы ножичком-то скоблить! Блин того не любит... А когда сковородки к делу поспелые, так опять же вопрос с тестом выпирает. Бывает, густовато. Што ж делать? Молочком разбавить. Да не всё-то тесто разбавлять. Тут секрет нужен. Черпай пару ложек теста в отдельную чашку, размешай его с молочком и уж тогда возвращай в общее тесто... Густота и жидкота – тут вся выпечная тайна сокрытая. Ежели простые пресные блинчики печь, так брать надо два стакана муки на три стакана молока. А когда настоящие русские блины задуманы, так уж три стакана муки на три стакана воды с молоком, погуще будет, как хорошая сметана. Ну, и соль, конечно, и сахарок, в яичном желтке растёртый. И тут тебе всё. И тут начинай целый театр, или, по-другому сказать, творчество и художественная самодеятельность. Когда тесто на сковороде ровненько растеклось, так тут в самую пору его побогаче сделать: то крутыми яйцами посыпать, мелко рублеными, другие – крошеным зелёным луком, третьи – кашкой рассыпчатой, тут для фантазии препонов нетути... И вот растёт, прям на глазах, на широкой тарелке, пенёчек румяный, запашистый, масляный и горяченький. Тут уж пошевеливайся, расстарывайся, готовь к блинам самое свежее маслице, сливочное топлёное или чухонское, и сметанку подавай самую свежую, и икру хочь рыбную, хочь кабачкову, и творожок, а то – сёмга или селёдочка, мочёная в молоке и мелко рубленая... Кушай с богом! Блин не клин, живота не расколёт.

История деликатесов в России – история трепетная, как самая Россия. И предпослан ко всем троиm эпиграф из пушкинского «Пробуждения»: «Мечты, мечты, где ваша сладость?..»

Где, где... Он ещё спрашивает.

... две морковинки несли за зелёный хвостик: революция!

... и кусок ржаной черняшки с пластиком сала плюс «яйца Рузвельта» и «второй фронт» – омлет в порошке и американская же тушёнка с чёрным быком на красной этикетке: война!

... и космополитический салат «оливье», переименованный в «столичный», чтобы через энную толику лет вновь именоваться по-прежнему: идеология!

... индийский чай «со слоном» и растворимый кофе, финский и чешские конфеты, салями, сервелат и баночная ветчина, печень трески, крабы, лосось, шпроты балтийские: оттепель!

... и вдруг – вздрог! в московский «Метрополь», представьте себе, стали завозить шампиньоны из Югославии, французский коньяк и дары заморских морей – лангусты, омары, морские гребешки – море дореволюционной жратвы, неожиданно запахшее уголовно-расстрель-

ными статьями: полный и окончательный развитой социализм с малость перекошенным от счастья лицом.

... мечты, мечты, где ваша сладость? Где, где... По талонам ваша сладость, варёная колбаса и говяжья тушёнка, не фронтовая, улан-удэнская: перестройка!

... и опять вдруг вдрызг – сёмга и норвежские креветки, импортная полосатая барабулька, каменный окунь, известный также как морской волк, французская гусиная печень «Фуа-гра», омары и лобстеры, но уж самый-то писк, самый-то верх гастрономического блаженства – японское мраморное мясо... Ау, столетней давности господин новатор Симоненко со своей «прорезью»! В Стране Восходящего Солнца это делается так: ростят-холят телёночка в «висячем положении», не дают ему и шагу ступить, постоянный массаж и отменное, химиками да биологами расчисленное питание, в результате – необыкновенно вкусная телятина с мраморными прожилками...

Пробуждение?

Чего-то ещё очевидное-невероятное наворочит-напророчит России вечно молодой и трепетный Александр Сергеевич?

...И сказал среднестатистический едок:

– Апошливывсекчёртовойматери!

Нет, он не сказал. Он подумал сказать. А потом сказал, подумав:

– Дорогие мои... здравствуйте!

Здравствуй, дорогая колбаса, мясистый символ народного благосостояния и национальной гордости великороссов, разночинная и породистая, от «докторской» до демократического фаршированного целлофана, который не щука и не перец, а простая, скромная, застенчивая сосиска, стыдящаяся голодных ртов, как будто она сама в том голоде виновата. Селяви, саями!

– ... а то, понимаешь, чтобы к пасхе разговядиться, так бегаешь, бегаешь, как эта... как курва с котелком...

А вот этого, товарищ едок, не надо. Не надо. Что курва, это ладно, это нам понятно. Но почему с котелком-то? Откуда у курвы может быть котелок?

Здравствуй, спецдех Московского мясокомбината имени Анастаса Ивановича Микояна, отца-вдохновителя сказочной книги, книги в жанре фэнтэзи, «Книги о вкусной и здоровой пище»! Там, за семью спецзамками, под неусыпным надзором спецтоварищей из Второго управления КГБ, на третьем спецэтаже, напичканном рентгеновским спецоборудованием и химико-биологическими спецлабораториями; там, куда спецсырьё привозят из спецхозяйств в опечатанной спецупаковке; там, где спецсотрудники в белых спецалатах проверены на лояльность до седьмого колена... – там она и родилась, вся в специях, по специальному ГОСТу, ещё в тридцатые годы – идеологически выдержанная «докторская». О, это не обычная, по два двадцать за кило,

которую готовят всего-то за шесть часов и которой домохозяйки тестируют кошачью брезгливость: полтора суток – от засолки спецмяса до отправки в спецконтейнерах на Кремлёвскую спецбазу! А в середине процесса – набивная линия, святая святых спеццеха: вручную! отборный фарш! в спецкишку! да перевязать батон шёлковой нитью – и в коптильню, к дубовым опилкам, от них-то и набирает колбаса для небожителей нежно-розовый цвет и неповторимый аромат... Слава тебе, господи, рассекретили.

Здравствуйте, все! Ассалому алайкум, бараний шашлычок по-кандски, на обширной пшеничной лепёшке, с виноградным уксусом и гранатовыми зёрнышками! Тэрэ, эстонские свиные ножки с варёным горохом и бобами! Норок, молдавская свининка-токана с кукурузной мамалыгой и брынзой! Шолом алейхем, еврейский форшмак и кисло-сладкое мясо, эсик-флейш с лимончиком! Гамарджобат, «побеждай», значит, лобио по-грузински, цветная фасоль с грецкими орехами и киндзой! Салам, туркменский благоуханный плов с чесноком и барбарисом!.. Да здравствует котёл наций! Да здравствует мир во всём мире! Горячий привет тебе, международная картошка в мундире! Слава завоевателям космоса...

– Слушай, – говорит непростой советский человек простому советскому человеку, – а есть такая нация: аметист?

+ Есть, есть! – отвечает простой советский человек. – В России всё есть. Даже чего нету, так всё равно есть! Россия всё и всех переваривает!

– И марксизм?

+ И марксизм, и ленинизм, и ...

– Да ведь переваренный продукт есть что?

+ Ну и что? Удобрение!

Действительно. Разве Россия смотрит с ужасом на правоверного мусульманина, который с ужасом смотрит на немца, поглощающего бифштекс «тартар» из сырого свиного фарша с перцем и репчатым луком? Разве Россия брезгливо отворачивается от англичанина, который брезгливо отворачивается от голландца, который прямо на улице, у бочки рыботорговца, урчит, поедая свежую североморскую чуть присоленную жирную селёдку, и пальцы облизывает? На вкус и цвет всё равно товарищи есть. А у тех товарищей – свои товарищи со своими конституциями: с исландской непременно протухшей бараниной под анисовую водку, с корейской изысканной молодой собачатиной, с филиппинским «балутес», значит, яйцами, запечёнными как раз перед тем, как из них вылупятся цыплята... Ну, и что?

+ Ну, и что? – кричит воодушевлённо простой советский человек непростому советскому человеку. – Давай для примера буквально разберём!

– Это как? – интересуется непростой советский человек.

А третий собутыльник, который булькающий, человек-мерило всех веществ, человек-мерка, человек-мерзавчик и т.д., – третий вдох-

новенно разливают и ухмыляется: чо тут говорить-то, всего-то и делов – наливай да пей!

+ А так! – отвечает простой советский человек. – Погоним нашу кулинарию прямо по азбуке!

– А давай!

И что же они натворили, эти буквоеды? А вот что.

+ Поехали?

– Ага!

+ А?

– Арбуз. Аминь... Бэ?

+ Баранина. Бананы... Больше нельзя... Вэ?

– Вобла! Винегрет!.. Всё! Винегрет-то я и дома поем, а вы бы мне лучше ещё одну котлетку выделили... Гэ?

+ Голубцы... Господи! Дэ?

– Доброго здоровьичка, дорогой друг! Е?

+ ...еда, едрит твою... Ё?

– ... опять твою мать!

+ Не надо вульгарности, мы же ж всё ж таки культурные люди, ё-моё. Жэ?

– Живём! Жратва! Зэ?

+ Зелёный горошек, здоровья желаем! И?

– Икра! Кэ?

+ Колбаса, капуста, кайф. Лэ?

– Лососина, лепота.

+ Малина с мёдом – мерси!

– Наливай!..

+ Окрошка, огурцы... очень! Пэ?

– Пельмени! Пирожок с повидлой! Пор-ря-док! Рыба, раки. Сэ?

+ Селёдка, спасибо, сдачи не надо-с!

– Тыква!

+ Уха, ух ты! Фэ?

– ... фантастика! Хрен!

+ Хорошо! Хочу харчо! Хенде хох! Царская рыбка! Чо?

– Черемша, чёрт возьми!

+ Шкалик!

– Щи со щавелем, щастье-то какое!

+ Эхма, мать твою! Ю?

– Я!

+ Ты!

– Он!

+ Она!

– Вместе целая страна!

+ Третий этап заключительного периода окончательного завершения последней стадии продолжения окончания решающего выполнения программы стабилизации продовольственной проблемы.

- Да? Вообще-то, Карл Маркс был не дурак. Я так думаю.
+ Правильно думаешь. Но и это не мешает нам выпить и заку-
сить.
– И так, и сяк...
+ ... и этак, и так!

XLII

Итак, в раннее мартовское утро, в среду, на третий день после торжественного открытия дома №13-бис на углу улицы Всех Святых и Безбожного переулка... – дворник Платонов, бывший писатель-фантаст, опохмелившись ещё затемно, до рассвета, благостный и трудоспособный вышел во двор, потянулся, зевнул, да так и остался в некотором времени с раззявленным зевалом... Двор, ещё вчера отлакированный, чистенький, радовавший глаз своей безукоризненной пустотой и эстетикой армейского плаца... – двор этот шевелился, сопел, хрипел, рычал, урчал, фыркал, мяукал, лаял, чавкал, гавкал, орал на все птичьи, собачьи и кошачьи голоса. Человечьих – не было. Дворник Платонов в единственном лице представлял человечество, которому оставалось ещё два-три часа до выхода в мир служебно-трудовой деятельности... Но дворник Платонов молчал. Он закрыл глаза и подумал: «Фантастика...», после чего вновь прозрел, пристальным взором, метр за метром, исследовал пространство и решительно вывел: «Пошлый реализм!» Двор был покрыт виногретом. Виногрет был покрыт фауной. И Платонов пошёл по виногрету с фауной.

Шёл по пельменям, макаронам, вермишели... шёл по гречневой и рисовой каше... шёл по жареной картошке и пышным оладушкам... шёл дворник Платонов и думал: у кого-то в доме цыплёнок-табака со свежайшими (в марте-то!) помидорами, а у кого-то, ёлки-палки зелёные, так и вовсе черняшка с луковицей... а тут вон оно что вышло из дома, всё вместе образовалось, всё слитно и едино, солидарно, точно ярко-тканый ковёр советской социалистической статистики, в которой средняя душа населения кушает вполне прилично, калории подсчитаны, белки, жиры и углеводы взвешены, витамины расчислены, и вот такое скопско-свальное единение позволяет фантастической среднестатистической душе чувствовать себя вполне сытой, бодрой и ежесекундно готовой к труду и обороне.

Шёл дворник Платонов смятенными, мнущимися, скользкими шагами и думал: то ли это кошки из дому добро на общий пир натаскали, то ли – манна небесная... Поднял голову, так тут ему на лицо и шлёпнулся свежий блин с неба, и обе версии враз отпали: дворника Платонова осенило, он догадался-таки отчего, почему минувшим вечером гудел дом и что из этого вышло.

Минувшим вечером спецмонтажники из какого-то подмосковного засекреченного то ли военного испытательного центра, то ли ещё бо-

лее засекреченного космического НИИ с небольшим опозданием, но отладили наконец-то систему кухонной вентиляционной вытяжки, приспособленной нашими левшами к электроплитам типа «Горение». Что они там мудрили-варили с этой конструкцией, покрыто мраком: какие-то внутрипанельные шахты, колодцы, люки, трубы, каналы, воздухозаборники, решётки... принудительная будет вентиляция. Ну, и ладно. Им, засекреченным, виднее. Лишь бы в кухонной кубатуре свежо было, и занавески порхали чистенькие.

Отрегулировали, значит, что надо, заслонки одним нажатием централизованной кнопки открыли на всех шестидесяти этажах и – «Ключ на старт!», сказал старший ихний монтажник и красным рубильником дал жизнь новой, экспериментальной, единственной в целом мире системе. Так было ниже первого этажа. А с первого этажа и выше, до самой крыши, дом, медленно набирая как будто реактивные обороты, загудел. Жильцы, вероятно, даже и не заметили того звука и тех оборотов, сами-то уж второй день гудели, а если и заметили, так что ж с того, принудительного, гудения? и ладно, и пусть себе гудит, лишь бы на кухне было свежо и по-современному...

А ведь ОНО не просто адски гудело, вот в чём дело.

Дворник Платонов после выпитой в одиночку поллитры как раз котлетку разогревал на плите. И вот тут-то ОНО и загудело. Ну, и хорошо, и ладно, на кухне, значит, будет свежо и приятно.

Дворник Платонов по случаю котлетки с вентиляцией даже синий в крапинку передник надел. Никогда не надевал, а тут надел. И белую загоральную панамку на голову, увенчался. Вспомнился ресторанный шеф-повар из какого-то итальянского кинофильма: как это он ловко, точно фокусник, жарил на плите кусок неизвестного заграничного мяса в сковородке с ручкой... берёт сковородку, встряхивает с энтузиазмом, улыбается, кусок мяса подпрыгивает, переворачивается в воздухе на другой, который сырой, бочок и не-е-жненько так ложится на место, в булькающее маслице... поварской шик, лоск, блеск, красота! И дворник Платонов, натура впечатлительная и к итальянскому неореализму восприимчивая, тоже встряхнул, и его скромная котлетка подпрыгнула – и исчезла... Где котлетка? Нет котлетки. Испарилась. У киношного шеф-повара такого фокуса не было. Фантастика! Или – не та система? Платонов пошёл на зов вентиляционной дыры без решётки (а их вообще хватило монтажникам только до десятого этажа, обещали обеспечить в третьем квартале текущего года...), вытянул шею Платонов, вывернул её на гусиный манер и потянулся вопросительным лицом в чёрную завывающую бездну... Фьють! – и панамка сорвалась с головы, улетучилась, исчезла, и нет панамки, а вслед за ней и шевелюра устремилась, увлекая за собой голову, а голова испугалась... И сделалось жутко, и отпрянул Платонов, как чёрт от ладана, от такой принудительной фантастики, волосы дыбом, наэлектризованные, панамки нет, котлетки нет... Да ну её к бесу, эту дьявольскую вытяжку!

А выключить на хрен! Да – как? Куда пальцем тыкать? Персональное, внутриквартирное включение-выключение отсутствовало, процесс централизован в одном месте: только один красный рубильник «Вкл.-выкл.» и наличествует, ниже первого этажа, не набегаешься, поди, туда-сюда, вверх-вниз...

И дом гудел. И новосёлы гудели. А к утру гул стих. Платонов вышел на подмости. Немая сцена. Не та система. А ещё та! Плюс первый блин нового дня, да и тот по морде.

Платонов вздохнул: «Реализм хлёбанный...» – и, загребая ногами винегретную жижу-живопись, понуро побрёл в дворницкую кладовку за снаряжением: метлой, совком, лопатой, пихлом, ведром, носилками – чтобы приняться, чертыхаясь, за святые метельные очистительные дела.

Только и разговору было в последующие дни: как да почему? откуда и по какому праву явилась эта чума во время пира? и с какой-такой стати эта бедовая радость свалилась на весёлые новосельные головы?

Товарищи из ведомства генерала Поцелуйко откликнулись, вмешались в процесс говорильного обсуждения, после чего разговоры как-то враз прекратились, потому что от тех товарищей вышло компетентное мнение, не очень чтобы секретное, но всё-таки для служебного пользования. Мнение такое: вентиляция хорошая, передовая, новое слово в науке и технике, из каких-то аэродинамических труб от оборонной промышленности, сверхмощных, способных не только кухонный чад и гарь с угаром выбросить в атмосферу на первой космической скорости, но и сам дом вывернуть наизнанку, словно перчатку... но! при всём при этом сам дом и его поселенцы ещё не в полной мере соответствуют новой системе принудительного проветривания, так что – разберёмся, выясним, уточним, возбудим чего надо и привлечём кого надо, будут, будут всем решётки на всех шестидесяти этажах, успокойтесь, граждане, не колыхайтесь, не волнуйтесь... И жизнь пошла своим чередом.

– Вот, например, в Германии, я слышал, так улицы вообще с мылом моют, – говорил дворник Платонов, обретший дар унылого слова.

– Да неужто? – восклицал дед Молитвин и под бочок тётю Матрёшу подталкивал: – Интересно девки пляшут! Это ж надо им так страну свою загадить! Да у нас-то ишо ничо, без мыла...

– Ничо, ничо, – поддакивала тётя Матрёша. – Вот и собачкам пропитание...

О деде Молитвине надо сказать особо: достопримечательный старик, лет под сто, первый пионер, комсомолец и ударник, стахановец и ворошиловский стрелок, почётный донор и октябрёнок, до сей поры активист, каких ещё поискать днём с огнём надо, да не сыщешь. В помощь Платонову его определили, внесли в штатное расписание с положенным жалованьем: зам главного дворника по связям с обще-

ственностью, а уж дед Молитвин по собственной инициативе обзавёлся консультантом по женским вопросам, тётёй Матрёшей, на общественных началах.

Платонов, ставший главным дворником, трудился с раннего утра до обеда, без передыху. Персонально для него, для его радости и трудового подъема даже магнитофонный гимн заводили – из форточки Красного Уголка в ЖЭКе:

*Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше,
когда дворники маячат у ворот.
Ты увидишь, ты увидишь и т.д.*

Это разрешённый Окуджава пел под гитару для главного дворника Платонова.

А деда Молитвина, выходявшего на свой пост после обеда и правившего службу до позднейшего вечера, аж до полуночи и после, когда и видно-то было ничего, – разрешённый Окуджава сопровождал другой песней:

*Ночь пришла, спят взрослые и дети,
ночь тиха, её не слышен шаг,
лишь только дворники кружатся по планете
и о планету мётлами шуршат...*

Дед Молитвин не шуршал. В середине дня он устраивался с тётёй Матрёшей на скамейке. И так вот они сидели, чинно и справедливо, весь рабочий день, зам с консультантом.

Он всё видел, всё слышал. Он всех видел, всех слышал. Он, наверное, мог всё, этот активный дед Молитвин. Поправить свихнувшийся каблучок. Сопли вытереть малолетке. Медную монетку, а то и гривенник вышарить из пиджака и одолжить жаждущему пива. Да много ещё чего мог этот многофункциональный дед Молитвин: распорядиться, обсудить-рассудить, присмотреть, оценить, разобрать, поддержать и поддерживать, постеречь-покараулить, само собой – в качестве гидрометеоцентра, справочного бюро, стола находок, свидетеля, попа, громоотвода и жилетки. А кто, кроме обязательного деда Молитвина, в послеобеденное время и до полуночи, бескорыстно выдаст любой советский ответ на любой, даже антисоветский вопрос? Бог. Но бога нет. Отменили. А вопросы есть. Остались. Вопросы интересные и проклятые, повестки и злобы дня и ночи, жизни и смерти, голоса из хора, ротные запевалы...

– Ротные! – хмыкает дед Молитвин. – Можно подумать, что запевают не только через рот, но ещё и через жопу!

...ротные и всякие запевалы, вопросы вопросов, добрая (?) половина которых есть сольная соль...

Что делать?

Во что это выльется?

Кто виноват?
Кому на Руси жить хорошо?
Как нам реорганизовать?..
И кто его знает, чего он моргает?
Кто мы такие?
Что так жадно глядишь на дорогу?
Куда мы катимся?
Что так сердце, что так сердце растревожено?
Когда это кончится?
Куда бежишь, тропинка милая?
Куда зовёшь, куда ведёшь?
Кто такие «друзья народа» и как они борются?..
А где мне взять такую песню?
Чо почём?
Скажи-ка, дядя, ведь не даром?..
Где брали?
Где ж вы, где ж вы, очи карие?
Как нам обустроить Россию?
Эх, как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы?
За что боролись?
Как тебе служится?
Скоко время?
Кто крайний?
С чего начинается Родина?
Куда смотрит милиция?
Где это видано?
Сколько можно?
Где же вы теперь, друзья-однополчане?
Как закалялась сталь?
Кому выгодно?
Какая ж песня без баяна?
До каких пор?
Быть иль не быть?
Третьим будешь?..

– А что, дед, будет ли война с китайцами?

Дед укоризненно смотрел прямо в глаза вопрошающему, дескать, да кто ж этого не знает! – и отвечал уверенно:

– Интер-р-ресно девки пляшут!

Ответ, конечно, интересный, русский, народный, мудрый – в своей универсальной всемирной отзывчивости.

Кстати, ответы-советы дед Молитвин отпускал в письменном виде, потому как ценил бумагу с текстом. Размножала под копирку и расклеивала в подъездах, разумеется, тётя Матрёша. Ну, скажите, пожалуйста, какой человек пройдёт равнодушным мимо вот такого искреннего неформального вопля?!

Дорогие товарищи! Покорнейше просим
где попало не курить, не сорить, не ссать,
не плювать, не блювать, а также не распивать
в песочнице при юном поколении!

Желающим штраф!!!

Принимает круглосуточно тов. Молитвин,
заядлые вне очереди!

К сему: зам по связям с общественностью
выдающегося дома №13-бис тов. Молитвин!

Дед не суетился. Дед сидел на скамейке и подавал по надобности и по собственному усмотрению иерихонский голос.

Как подаст он голос: «Куда-а-а-а-а!», не вопрос, но орг-вопрос, – так сразу же во дворе и порядок образуется, и детишки образумятся, и взрослые товарищи подберутся.

Тётя Матрёша на дедов глас обычно соответствовала:

– Да уж куда с добром...

– Да уж с добром-то хоть куда, – подводил черту дед.

...А шеф его, главный дворник Платонов, бывший писатель-фантаст, меж тем ударился в мильён терзаний, в бесплотные мечтания: бросить всё к чёртовой матери и уйти с головой в возлюбленную фантастику, которая, по крайней мере, если и чуть-чуть привирает, так на то она и фантастика, реальная фантастика, а не фантастический реализм.

Шло время. К той поре, когда вытяжная система окончательно заткнулась, то есть месяца через два после запуска, после майских праздников, нашёлся-таки Князь Игорь. И никуда-то он не провалился, не растворился, не испарился, не сгинул, не сбежал, с ума не сошёл, в расход не вышел... А случилась вот такая ария московского гостя. Жильцы-новосёлы, начиная с первого торжественного дня, радужно и простосердечно зазывали к своим праздничным столам столичную знаменитость...

как могучий хор пролога на фоне затмения: «СОЛНЦУ КРАСНОМУ СЛАВА!»...

... и поили, и кормили, и чего-нибудь спеть из настоящей оперы просили, а гость не отказывал, и пил, и ел...

как залихватская песнь князя Владимира Галицкого на высоком басу: «ТОЛЬКО Б МНЕ ДОЖДАТЬСЯ ЧЕСТИ»...

... и снова ел, пил, пел, и всем честь оказывал, а в голове-то уж мало-помалу ничего сообразительного не оставалось...

как жалобный хор девушек: «ОЙ, ЛИХОНЬКО»...

... а жильцы-новосёлы бережно, как будто бы он уж и гость не гость,

а кубок переходящий, или патефон, или, проще сказать, магнитофон «Яуза», – передавали главного баритона Большого театра с рук на руки, из квартиры в квартиру, сначала – снизу вверх, потом – сверху вниз, из семейства в семейство, от нашего стола – вашему...

как тоскливое сопрано Ярославниного ариозо: «НЕМАЛО ВРЕМЕНИ ПРОШЛО С ТЕХ ПОР»...

... с этажа на этаж, вплоть до первого, после которого Князь Игорь очнулся в сантехническом подвале, в хозяйстве наших давних знакомцев. Тут-то и закончились его витки по вертикали, и вышел не совсем полный, но окончательный стоп гостеприимным стопкам, и тошно сделалось...

как контральтовая каватина Кончаковны: «МЕРКНЕТ СВЕТ ДНЕВНОЙ», а тут ещё сынок родной, Владимир Игоревич, тенорком забрезжил: «МЕДЛЕННО ДЕНЬ УГАСАЛ»... и оставалось Князю лишь выводить через не могу: «НИ СНА, НИ ОТДЫХА»... а хан Кончак басит: «ЗДОРОВ ЛИ, КНЯЗЬ?»...

Жив-здоров? Нашёлся? Наконец-то... И хибаровское начальство, от крайкома и ниже, облегчённо вздохнуло и выдохнуло. Московское начальство, махнув рукой на прощанье с Князем, передало скорбный вопрос о его дальнейшей карьере и жизнеустройстве местным властям. А что ему, Князю Игорю, делать в городе Хибаровске и его окрестностях? Оперного театра нет. Есть филармония. Желаете?

– Никогда! – решительно заявил Князь Игорь, покоробленный предложением.

– Тогда...

– Ни в коем случае!

– А, может быть...

– Этого не может быть ни за что!

Вот и пойми её, душу артиста, скомканную, неопохмелённую, даже родной труппой невестребованную...

как Ярославнино «АХ, ПЛАЧУ Я»? дудки! зато хор поселян не промахнулся: «ОХ, НЕ БУЙНЫЙ ВЕТЕР ЗАВЫВАЛ»...

А в сантехподвале Князю Игорю, Игорю Святославичу, всё же чуть полегче стало. Ни тебе подначек, ни ухмылочек, ни значительного молчания, ни перешёптываний по углам: и этого было вполне достаточно, по крайней мере, на первое время...

как ликующий финальный хор: «ЗНАТЬ, ГОСПОДЬ МОЛЬБЫ УСЛЫШАЛ?»

Но первое время сменилось вторым, третьим, пятым, десятым...

– А что, – сказал как-то Семён Семёныч Помиранцев, – вставай под наши знамёна, товарищ.

И товарищ встал. Дежурным слесарем. Тут же и квартиру с пропиской ему предложили, выбирай любую, но эти любые оказались выше двадцать второго этажа, высокогато, лифт – барахло, и Князь Игорь настоял на понижении уровня, и ему пошли навстречу.

Кстати сказать, к тому времени жильцы, заселившие дом выше двадцать второго этажа, начали покидать свои квартиры, оставляя их чёртовой матери, для мышей, для кошек, для вольного ветра, с хлопающими дверями, с чёрными окнами. Таких товарищей милиция отлавливала и водворяла на прежнее место, на квадратные метры ордерной прописки, впрочем, безуспешно, ненадолго, и дом сиротел.

Начальник Краснознамённого ЖЭКа товарищ Сперанский с каждым кварталом свирепел всё больше и безнадежней.

К началу эксплуатации дома предусматривался штат жэковской бригады сантехников числом в шестьдесят человек, по количеству этажей. И кошек для новоселья приготовили столько же. Но в отличие от кошек, которых стало больше, сантехников, наоборот, становилось меньше. Убывали они (по вызовам, по заявкам...) в известном направлении. И убывали они (в бригадном числе...) по неизвестным причинам. Уходили – и не возвращались.

– Куда-а-а-а! – взывал дед Молитвин на скамейке из середины двора.

Нет ответа.

Сперанский стучал кулаком по столу.

Правда, ходил среди жильцов слухок: видели как-то на этажах одного такого невозвращенца. Обросший, одичавший, презельно воющий, с лунатической походкой, на груди плакатик подвешен, картонка на верёвочке: «Ищу работу», и вот спрашивают, дескать, этого лунатика... и оказывается: есть, есть у него работа, но он забыл, где она находится.

Сперанский бился головой об стол.

От того биения вибрировали стены жэковских кабинетов. На стенах вздрагивали все четыре Ленина и охотники на привале, в золочёном багете, артикул 28-Р, цена 12 руб.

Кадры таяли.

Вышестоящее начальство не чесалось.

Жильцы упорно сбегали.

Пожилая мышь, проходя мимо мышеловки с засохшим сыром, иронически покачивала головой: «Ну, уж эти люди... честное слово, прям как маленькие дети, всё бы им играть!»

Торжественные гаубицы от парадного подъезда злоумышленники укатали в неизвестность.

Дед Молитвин с тётей Матрёшей сочинили новый плакатик, специально для главного дворника Платонова: «Не зевай!»

Началась автономизация этажей: маленькая гражданская война. Разделение по землячествам: одно у другого перерезает водоснабже-

ние и канализацию, и обрезанцы самостоятельно, без участия ЖЭКа, включаются в систему по внешнему обводу; снаружи на дом посмотреть – ужас! вьются, петляя между окон, парящие и дымящие трубы, змеевики, вентиля, заслонки, верёвочные лестницы, деревянные отмости, переходы, перильца, канаты, сушится постиранная мануфактура, хлопает на ветру парусами... корабль дураков.

Ржёт, точно его на конину режут, конь Чапай, движимая собственность цыганского барона Николаши из мебельного магазина. В целом, хорошее животное, ничего не нарушает после того, как грузовой лифт разрушил, внушение воспринял правильно. Вот ещё только бы не ржал...

И появился Домовой. Маленький, в полтора огурца ростиком, мужичок неопределённого возраста, в рыжей шубке мехом наружу, в валенках, в шапке с пером от петушка... бородёнка рыжая, глазки-бусинки, в зрачках весёлые кикиморы летку-енку пляшут, и сам-то Домовой всё больше прыгает, то на одной ножке, то на другой, то враз на двух, а то – рыжим колобком катится, повизгивая от самоуправства и вольности. С народом покуда не сходится. С одним только товарищем Сперанским столкнулся – нос к ботинку: показал ботинку язык свой крошечный, розовый – и ускакал, тру-ля-ля под кабинетный диван... И пахло антисоветским духом невозвращенца мэнээса Вавилова.

И ещё напасть, прямо идиотство какое-то, волюнтаризм и субъективизм на голову товарища Сперанского: самодел. Всё выше, и выше, и выше, завиваясь по периметру, дом обрастал галерейками, террасками, верандочками; сооружаются они гражданами квартиростьёмщиками из вагонных откидных полок с внешней стороны окон и используются по-всякому: кому-то – домашний пляж для принятия солнечных ванн, кому – шашлычная, а для кого-то – мини-хуторок с грядками, с ранним лучком, чесночком, редисочкой, с дачными цветочками... Слава богу, ни один самодельщик ещё не слетел наземь.

А зимой – совсем плохо. Трубы отопления перемерзали. Наступало заполярье. На каждом этаже ЖЭК вынужден был устанавливать пункты обогрева, фанерные будки с печками-буржуйками...

– Интер-р-ресно девки пляшут! – ревел во дворе дед Молитвин. – Куда!

И вот однажды крайисполкомовское лицо вызвало начальника Краснознамённого ЖЭКа в свой кабинет и объявило:

– Поедете в Москву. Изучать, так сказать, и перенимать. Опыт эксплуатации. Высотных зданий. Срок командировки – ровно месяц. Хватит?

– Да вы что, издеваетесь? Да пока их обойдёшь...

– Хорошо. Два месяца.

И Сперанский укатил в столицу Союза Советских Социалистических Республик.

Скорый поезд «Владивосток–Москва» на рельсовых стыках, на пу-

тевых стрелках приплясывал. И купейный столик приплясывал, и ложечка в чайном стакане... Детский поэт Лермонтов Михаил Юрьевич – в голове. «Москва, Москва, люблю тебя, – приплясывала душа товарища Сперанского, заслуженного строителя СССР. – Люблю тебя, как сукин сын, как русский, пламенный и нежный... А интересно, чего мне там выделяют для обмена опытом?»

Столичные высотки, числом семь. Магическое число. Одну из этих знаменитых высоток, университетскую, на Ленинских горах, Сперанский когда-то обустроивал собственными мягкотелыми руками. Там, на великой стройке, политические зэки из интеллигентиков-космополитов работали паркетчиками, с трудом исправляли свои мировоззренческие ошибки, и Сперанский, молодой ещё, совсем зеленый, за грехи отцов – с ними, с паркетчиками, в одной бригаде, в единой связке, по законной статье... На безымянной высоте.

Съездил. Зачем? «Бороться и искать, найти и не сдаваться!»

Вернулся – потерянный... Так и не решился отдельным параграфом в приказе по ЖЭКу отметить, что приступил после командировки к исполнению обязанностей начальника, и получилось как-то нескладно: Сперанский есть, начальника нету.

И Сочинитель интересуется:

– Что-то энтузиазма у вас поубавилось, товарищ начальник. Подзапустился энтузиазм. Уж и кулаком не стучите, и вообще... Взяли бы да рассказали широкой общественности, как дальше работать будем, как сосуществовать и как развиваться, да ещё чего вы видели-слышали в столице нашей родины, как там жили-были и вообще, а?

– Интересно девки пляшут, – отвечал Сперанский летучими словами деда Молитвина. – А так вот жили-были! Быльём поросли, а жильём... С этим проблемы. Да вы лучше у Домового спросите.

– А при чём тут этот наш колобок?

– Представьте себе, при всём...

Оказалось: нелегальным спутником Сперанского был наш Домовой, нахально просочившийся в дорожный чемодан и объявившийся гласно и воочию лишь в номере гостиницы «Украина». Ругался Сперанский, стучал кулаком Сперанский, прогонял от себя прочь дремучего, из древней языческой истории, мифического, суеверного, совершенно ненаучного персонажа, засовывал его в мусорные урны, защёлкивал в ячейки камеры хранения, избавлялся прочими, самыми изошрёнными способами – бесполезно, мало проку: Домовой как ни в чём ни бывало катился, подлец, рыжим колобком на шаг впереди Сперанского по всем московским тротуарам и коридорам, размещался в карманах и за пазухой, устраивался в деловом портфеле с бумагами, даже на приём к заму министра проскочил, прохвост, присутствовал как архитектурное украшение на верхней панели напольных часов в футляре из карельской берёзы, сидел молча, ножки свесив, ладошку

к уху приставив, негодяй, шпион, находка для секретных спецслужб, кадр непревзойдённый и уникам в квадрате, сексот, негласный агент, оперуполномоченный... а на голове вместо шапки кукольная шляпка и ещё модный пёстрый галстук с пальмами и голыми девушками поверх шубки, в ГУМе украл, аморальный тип и разложенец...

– Правда? – спросил Сочинитель.

У Домового глаза стали грустными, кикиморы в зрачках пустили слезу. Обиделся Домовой, однако глазки промокнул шляпкой и ответил с вызовом;

– А то! Сами спрашивают, а сами не верют...

Сочинитель извинялся, и так и этак лебезил, юлил, выкручивался, задабривал Домового песочным сахарком, и тот снизошел-таки до разговора.

– Когда я, – говорил, похрумкивая и причмокивая, – проживал в макете мэнэса Вавилова, так там обиталась целая уйма квартирантов-коротышек. И что характерно? – все мне по пояс были. И из того проживания вот чего вышло. Оголодали коротышки и съели свой дом. А сожрамши померли. От целлюлозы. Я тогда вовремя избежал, умный потому что...

– А потом?

– Потом новое новоселье, в тринадцать-бисовый дом. И эти ваши кошки-мышки и всякие безобразия, от которых нехорошо. А мне ведь, товарищ, как жертве сталинизма ещё в почётные пионеры вступить охота, и в хор ветеранов то же самое.

– Ой, да какая ж вы жертва? Скажете тоже...

– А очень простая. Ба-а-льшим человеком был. А меня укоротили, чтоб не высывывался.

– А что ещё потом?

– Про Сперанского, что ли?

– Вот-вот...

– Значит, так. Когда я был со Сперанским в Москве по обмену опытом, то получилось, что очень даже напрасно ездили, попусту. Только валенки прохудил. Там асфальт солью посыпают, лизал, приятно, ничего не скажешь, но валенки от соли с каждым шагом хужеют, такая у них непримиримость...

И так вот, мало-помалу, посасывал Домовой сахарные песчинки с ладони, ножками задумчиво покачивал, рассказывал. А Сочинитель этот рассказ слушал внимательно: кто ж его знает, этого мифического, этого магического типа? может, и вправду жертва и укороченная история? И журчала речь Домового, и в голосе его звучали многие-многие языки: няня Арина Родионовна; портовый грузчик; рыботорговец с Привоза; купец ярмарочный; балаганный зазывала; вор в законе; сибирский старообрядец; старосветский помещик; дядя самых честных правил; кавказский пленник; бедная Лиза; идиот; член правительства; сын лейтенанта Шмидта; капитанская дочка; бегущая по вол-

нам; станционный смотритель; дитё Арбата; парень из нашего города; Анти-Дюринг; свой среди чужих, чужой среди своих; кавалер золотой звезды; доярка и пастух; думский боярин; депутат Балтики; очарованный странник; государственный житель; усомнившийся Макар; дед Мазай; девочка с персиком; девушка с веслом; дама с собачкой; герой нашего времени; витязь на распутье; рабочий с молотом; колхозница с серпом; интеллигент под микроскопом; бич под градусом; ссыльнопоселенец под надзором; архитектор перестройки; капитан, обветренный как скалы... Несть числа языкам в голосе Домового. Так ведь и то понятно: с кем поведёшься, от того и наберёшься, а уж веков-то нашему Домовому – ой-ё-ёй! Может, потому и матерится чрезмерно.

И записал Сочинитель карандашиком рассказ Домового, пригладил текст, прилизал и причесал, чтоб, значит, без архаизмов, канцеляризмов, аргоизмов и матерщины – но стилем строгим и суровым, как архитектурный конструктивизм, и название этому рассказу придумал:

КАЧЕЛИ НАШЕГО ЗОДЧЕСТВА

Весна на дворе. Оттепель. Так всегда в натуре: то прихватит, то отпустит, то опять холодно, то снова тепло. Качели. Климат–с.

А по оттепели вся–то грязь и выходит наружу... Дерьмецо с говнецом. А навоз – на воз, и в поле, ещё раньше, по холодку. Да хозяин домовитый ещё и прихвастывает: полон двор добра! А какое–такое добро может быть на дворе, кроме куч назьма?! То–то. Так оно всегда в общезитии: то говно – ругань и обзывание, то оно же – добро и удобрение. Качели, диалектика–с.

Как раз по оттепели, ещё той, хрущёвской, у товарищей архитекторов и отвисли челюсти, и глаза повылупились. Отвисание и вылупление случились на съезде строителей, когда Никита Сергеевич, кукурузвельт наш дорогой, метал громы и молнии:

– Театральные фокусники! Пидарасы! Безмерное украшательство, понимаешь! Извращения в архитектуре! Вот и видно, какими проблемами главным образом занимается товарищ Захаров! Ему нужны, видите ли, красивые силуэты. А людям нужны квартиры! Люди не хотят любоваться силуэтами, а хотят жить в домах!

Пожилые и молодые, лауреаты и покуда не отмеченные лаврами, архитекторы безумно переглядывались и перешёптывались: как же так? во–первых, людям с незапамятных времён, то есть ещё до революции, и жильё было нужно, и красота необходима, а, во–вторых, идею высоток отнюдь не в архитектурном комитете придумали и не в мастерских за чертёжными досками, её ещё библейский стратег Моисей сформулировал: построим, дескать, себе город и башню, высотой до небес, и сделаем себе имя... – и товарищ Сталин, бывший семинарист, с Моисеем согласился, и построил, так причём же здесь,

извините, пидарасы? Никита–то Сергеевич ведь самолично с сорок девятого по пятьдесят третий рулил Московским комитетом партии и персонально отвечал за строительство высоток, а вот теперь, видите ли, ругает их, поносит, и главные газеты директивно обзываются: пряничные, дескать, соборы сталинизма! зубы драконовского режима! монстры! недоскрёбы! а–а–а–а... так, значит, и Большая Советская энциклопедия издания пятьдесят первого года врёт? так вымарывайте, вымарывайте чёрное по белому: «Советские высотные здания своим идейным содержанием и архитектурным обликом решительно отличаются от зарубежных многоэтажных зданий, известных под названием небоскрёбов. В противоположность небоскрёбам, сооружаемым их владельцами в целях получения наибольшего дохода, советские высотные здания призваны служить интересам трудящихся»... ну–с, и кому же верить?

А теперь потопаем к истории вопроса. У той истории – эпиграф простой: архитектурный стиль символизирует систему. Да ещё краткое рассуждение от Домового: если творчеством поэта, художника или музыканта можно при желании пренебречь – не читать, не смотреть и не слушать, то от творения архитектора деться некуда: живи и созерцай, едрит твою в корень, поскрипывая зубами.

А пройдем–ка мимо старых московских доходных домов... Входные двери с массивными ручками. Советский народ по крайней мере раз в год, к майским праздникам, малярят эти двери вместе с ручками, краски не жалеет. А вы наберитесь наглости, нахальства и ещё чего–нибудь такого антисоветского – и отколупайте красочные пласты перочинным ножичком, попробуйте! Под этими пластами, под этими пластырями вы увидите ручной работы резьбу по дереву и терпеливую вечную бронзу, и ручка с дверью предстанут перед вами как произведения искусства. А за дверью вы увидите просторный вестибюль, пол как мозаичный ковёр из вековой, но почти целёхонькой керамической плитки. А на потолке, сквозь паутину и копоть, будут просвечиваться альфрейная роспись и лепные розетки...

– В таком подъезде не посышь, – авторитетно сказал Домовой.

И явилась революция, чтобы сказать своё веское слово доходным домам.

Как дюжина ножей в ея острую спину – и двенадцать апостолов, и двенадцать месяцев, и двенадцать часов, и двенадцатитактовая структура печального блюда...

Ещё не закончилась гражданская война, а нарком Луначарский уже озаботился:

– Мы пока что не в состоянии широко использовать строительное искусство в целях пропаганды, но когда мы, возможно, в ближайшем будущем соорудим наши большие Народные дома, мы сможем противопоставить их дворцам, казармам и всяческим домам божиим.

Клячу истории прищипорил авангард искусства двадцатых годов. Литературный критик Корнелий Зелинский потрясал статью:

– До каких пор мы должны беречь кирпичные кости Ивана Грозного? – и предлагал решительно очистить Красную площадь от Исторического музея и храма Василия Блаженного.

Как чёртик из табакерки, выскочил безумно гениальный Татлин по прозвищу «летатлин»: кто, кроме него, смог додуматься до авангардистской модели четырёхсотметровой башни в честь и во славу Третьего Интернационала?!

Вождь революции товарищ Ленин нервно поёживался от таких закидонских проектов. И хотя в архитектуре он соображал практически ничего, всё же представился случай выказать свой вкус: с его одобрения архитекторы Щуко и Гельфрейх украсили центральную аллею, ведущую к революционной колыбели, Смольному, дорической аркой... Классицизм, значит. А ещё товарищ Ленин публично полемизировал с товарищем Богдановым, считавшим, что искусство призвано прежде всего породить совершенно новое, невиданное.

И вот между классицизмом и оголтелым авангардизмом проклюнулся более-менее трезвый, умеренный, даже несколько скуповатый конструктивизм, и оперялся он, рос и креп вплоть до начала тридцатых-полосатых годов, когда был сделан выбор в пользу классицизма. Случилось это в ходе конкурса на проект Дворца Советов.

В чём причина такого поворота?

В июне тридцать первого партийный пленум принял «на ура» программу преобразования Москвы. И воскликнул французский зодчий Ле Корбюзье, апостол конструктивизма, обнадёженный:

– Москва – это фабрика проектов, обетованная земля новаторов, техников, строителей! Страна оборудуется! Москва кишит разработкой планов, проработкой идей! Здесь творят архитектуру новую, целеустремлённую! В проектах много задора и молодой свежей бодрости! Виват!

Но, как показали последующие события, наш буржуазный друг, фантастический виртуоз, напрасно подпрыгивал, радуясь, хотя Москва действительно и кишела, и творила не без задора и бодрости, от звонка до звонка, в сплочённом строю, шаг влево-вправо рассматривался как побег... Наш буржуазный друг не учёл того, что товарищ Ленин любил дорические арки, и друг наш, кроме того, по причине своей классово-близорукости не заметил того, что страна изменилась, люди изменились. В том-то и суть поворота.

– Тенденция, однако, мать её за ногу, – сказал Домовой.

А суть поворота, по меньшей мере, в трёх причинах.

Первая: победил социализм в одной отдельно взятой за горло стране? победил! надо этот факт отметить? надо! а классицизм – форма проверенная веками, самая подходящая. Вторая причина: коллекти-

визация и индустриализация выгнали в город миллионы сельских жителей; так вот, они—то, горожане в первом поколении, едва начавшие только осваивать городскую культуру жизни, во многом определили массовые вкусы тех лет, и ценности деревенских вкусов ещё долгое время сохраняли для них своё значение, и не стоит удивляться тому, что абстрактный характер авангардизма остался ими непонятым. И третья причина: у архитекторов, конечно, имелись новые идеи и помимо конструктивистских, однако в то время не было возможностей для их воплощения, вот и строили конструктивистские коробки, строили плохо, матбаза не позволяла строить лучше, и потому даже не требовалось никакой пропаганды и агитации, чтобы ошеломять, унижить, развенчать, уничтожить в глазах населения саму идею конструктивизма, он сам себе изрядно подгадил; к тому же, в тридцатых годах, как объявил товарищ Сталин, жить стало лучше, жить стало веселее, и суровый стиль архитектурных подельников Корбюзье уже не отвечал массовым настроениям, вызванным этими переменами, и люди уже хотели жить попышнее.

Всё это чутко уловил товарищ Сталин, лучший друг архитекторов.

И косточка им была брошена: конкурс на проект Дворца Советов. А пусть демократически погрызутся!

Председателем жюри был товарищ Молотов, «Вячик – медная жопа», по сталинской терминологии; членами, весьма исполнительными, назначены товарищи из правительства плюс популярные писатели, архитекторов представляли иностранцы Ле Корбюзье и Гамильтон, советских архитекторов не было, зачем? – им дадут установку «на лучшие формы и методы классической архитектуры» – и всё, и рупь делов—то, конец – делу венец, и Корбюзье, которого молотовское жюри обжюрило, как младенца, окажется безнадежным дурачком, и новый—старый стиль восторжествует, и, говоря кстати и справедливости ради, обращение к классицизму в тридцатые годы станет феноменом всемирным, и спроектируют Дворец Советов товарищи Иофан, Щуко и Гельфрейх совершенно в согласии с тем, что потребовал товарищ Луначарский в статье на злобу дня, то есть посвящённой величественному проекту: могучую, смелую устремлённость ввысь, взвешенность пропорций, простоту и понятность массам... Увенчать дворец должна была колоссальная статуя Ленина; в голове Ленина – кабинет Сталина, за облаками.

В тридцать седьмом на Кропоткинской набережной, на месте взорванного храма Христа Спасителя, вырыли котлован, заложили какие—то конструкции для фундамента, но началась война, не до дворца стало, смонтированную часть стального каркаса разобрали и использовали для военных нужд: мосты, бронеплиты, противотанковые «ежи»...

Так и не состоялся Дворец Советов.

– Кина не будет, кинщик заболел, – говорил Домовой.

А крахом утопии стала новая утопия: в открытый котлован напрудили бассейн, всепогодный, под открытым небом, с подогревом воды.

Это было первое приближение к «кафедральным соборам» и «пряничным домам» пятидесятых годов.

...Когда-то, давным-давно, московский пейзаж определяли «сорок сороков». Они были талантливо размещены в пространстве и, как маяки златоглавые, облегчали городскую ориентировку. Но с течением времени новые постройки потянулись вверх, выше приходских куполов, и церковные ориентиры совершенно затерялись, да к тому же многие храмы уже были снесены с лица земли, разобраны по кирпичикам на нужды индустриализации и градостроительства.

И вот в ликующей, салютной обстановке победы в войне над фашистами созрела мысль: соорудить группу высотных зданий, которые украсили бы грандиозную вертикаль предполагаемого Дворца Советов, от идеи строительства которого ещё не отказались.

Проектировали в невероятном темпе. За десять дней архитекторы изготовили эскизы. И в сорок седьмом, к 800-летию Москвы, заложили первый из семи фундаментов.

Одновременно с этим решался и другой вопрос: о сооружении памятника Победы на Красной площади. Летом того же года в кабинете председателя комитета по делам архитектуры товарища Симонова собрались самые известные мастера Щусев, Иофан, Мордвинов, Чечулин, Мухина, Меркуров, Рубаненко...

Интересно же, как вообще принимаются высочайшие решения!

– А так себе, – сказал Домовой. – Гуманоидная история. Как сейчас помню, этот мудака Симонов...

Симонов: По поручению правительства нам предложено обсудить вопрос о постановке памятника Победы на Красной площади. Характер памятника – скульптура, других уточнений не было. Кто хочет что сказать?

Щусев: Моё мнение такое. ГУМ мешает Красной площади. Это такое неприятное пятно, которое мешало площади даже до революции. Избавиться от ГУМа предлагали сотни раз за эти тридцать лет, но все способы очень дорогие и сложные. ГУМ нужно передвигать, а передвигать его некуда, у него большие подвалы, надо за ним ломать целый ряд зданий, всё это упиралось в сотни миллионов. Если на противоположной от Кремлёвской стены стороне сделать трибуны, то это будет замечательно, они закроют ГУМ, вы там увидите трёхэтажную аркаду, и в середине будет стоять памятник. Вы получите для публики возможность обозревать парад и избавитесь от ГУМа, который мешает, окна его мешают, форма их мешает,

они не масштабные. Вы можете здесь сделать великолепную стену и загнуть её на бока, а ГУМ за этой стеной пусть работает. ГУМ закрывается шубой, ажурной шубой, а впереди будет стоять памятник, вы ничего не ломаете, ничего не трогаете, избавляетесь от ГУМа и украшаете Красную площадь.

Иофан: Исторический музей – его можно передвинуть, не трогая музея Ленина, за двенадцать месяцев и стоимость этой работы обойдётся в девять миллионов рублей.

Мордвинов: Если пойти на ликвидацию первой части ГУМа – это может получиться интересно, если пойти на ликвидацию Исторического музея и поставить здесь монумент, то это будет интересная вещь, но я думаю, что, может быть, нужно было бы поставить памятник в центре площади, поскольку тут идея такая, что здесь скульптурная группа из одной–двух фигур – это сравнительно небольшое сооружение. Около Исторического музея ставить памятник нельзя, движущиеся колонны будут его закрывать. На Лобном месте его ставить также нельзя. Здесь территория очень насыщена старыми сооружениями, тут памятник Минину и Пожарскому, и остаётся только одно место – в центре. А если говорить о предложении–минимум, то, собственно говоря, единственное место это постанова в центре. Что касается максимума, то есть предложение товарища Иофана о сношении Исторического музея, и здесь нужно ставить уже не скульптурную группу, здесь нужен сильный архитектурно–скульптурный элемент, который дал бы границу между Манежем и Красной площадью. Предложение Щусева тоже интересно.

Меркуров: Я думаю, что таким образом можно без программы–минимум и программы–максимум прямо сейчас приступить к работе. Каким образом это сделать? У нас есть Мавзолей, сзади Мавзолея стоит Сенатская башня Кремля. Мы можем исходить из двух центральных осей и на основе этого создать целый комплекс. Башню эту использовать для постамента, сделать радикальное переустройство и поставить фигуру... Представьте. Здесь идёт башня, её надо обработать под постамент. Сюда врезаться – Василий Блаженный не даст, здесь – Исторический музей напротив – то же самое, тогда ГУМ надо сносить...

Симонов: Такая композиция может убить Спасские ворота.

Меркуров: Ну и пусть убьёт.

Мухина: Мне кажется, что последнее предложение неприемлемо. Площадь и так кособока, а эту стену перегружать ещё, мне кажется, не следует, и гигантская скульптура товарища Сталина, мне кажется, здесь будет не хороша.

Щусев: Лучше тогда Мавзолей развить.

Рубаненко: Мавзолей менять нам не дадут, этот вариант надо отставить.

Иофан: В правительственной комиссии сказали, что должна быть аллегорическая скульптура, очевидно, типа Парижской скульптуры.

Мордвинов: Или одна, или две фигуры, символизирующие Победу. Наподобие того, как было сделано у товарища Мухиной.

Меркуров: Мы можем сделать контрпредложение, а победу без фигуры товарища Сталина я не могу себе представить. Вы помните, когда в ноябре появилась его фигура – одинокая, сильная, большая...

Все (громко, хором): Как же! Помним! Помним!

Чечулин: Здесь было выдвинуто предложение товарищем Меркуровым – трибуны идут как Пергамский алтарь, за Мавзолеем стоит фигура товарища Сталина, и ряд трибун по концам – группа военных, и с другой стороны – гражданский труд во время войны. Это, может быть, можно здорово сделать, но от Кремля тогда ничего не останется. Я могу показать, есть проект, уже сделанный, он хорошо решён. Относительно ГУМа – вопрос рано или поздно надо ставить, это временное явление. Я считаю, что предложение товарища Щусева заслуживает внимания. И ещё я долго думал о передвижке ГУМа и писал об этом дважды, причём второй раз уже очень осторожно. Это ведь целый город, это стоит огромных средств. А Исторический музей, конечно, дрянь.

Щусев: Здание музея можно разрушить, а ГУМ можно частично реконструировать.

Чечулин: Если бы здесь вопрос по-настоящему ставили, то мы бы открыли городу прекрасную площадь. Может быть, принять предложение товарища Мордвинова? Памятник поставить, а потом передвинуть.

Симонов: Таким образом, у нас есть четыре предложения. Я предлагаю поехать, посмотреть в натуре, а потом решить окончательно...

– Факир был пьян, и фокус не удался, – подвёл черту Домовой, – И слава богу. А то ведь даже подумать страховито: трибуны идут как Пергамский алтарь.. Ажно мороз по коже пупырится. Да что там! Бывал я однажды на Флорентийском кладбище, с профсоюзной делегацией... Там да! А на нашем кладбище разве отдохнёшь?

...Меняют свой облик города. Ещё в неспешные времена эпохи Возрождения великий Петрарка заметил не без горечи: «Ни один город не остался, каким был не только века назад, но даже и на нашей памяти... Что говорить о Пизе, где седьмой год жизни я провёл, или о Сиене? Что говорить об Ареццо, милом мне памятью о рождении моём и отцовском изгнании? Что говорить о Перудже, с ним соседствующей, что – о прочих городах? Для всех условие едино: сегодня не те, что вчера, и, хоть сами перемены достойны изумления, стремительность их поражает в особенности».

О, эти постройки пятидесятых годов, в центре столицы, на двух тысячах гектаров исторической московской земли, ограниченной Садовым кольцом, и в её ближайших окрестностях! Колонны и портики, лепные капители, декоративные решётки, скульптуры, люстры бронзовые, филёнки резные... Излишества, говорят. Но, по большому счёту, зодчество в высоком смысле и значении слова вообще является излишеством. Можно было бы, в конце концов, обойтись человеку и без изысканной пластики Парфенона, и без филигранных форм готических соборов, и без украшений уникальных дворов Альгамбры, да и без башен Московского кремля, этих всего-навсего декоративных шатровых надстроек, которые давным-давно утратили своё первоначальное назначение, оборонное...

О, эти семь знаменитых, на весь белый свет известных, воспетых на все лады соцреализмом сталинских шпилей! Фаллические символы как дерзкий вызов небу высокому, небосводу, небосводнику с небосклонностью его опиумной, немарксистской: вот тебе, накося-выкуси!

Министерство иностранных дел на Смоленско-Сенной площади.

Московский университет на Ленинских горах.

Гостиницы «Украина» на Кутузовском проспекте и «Ленинградская» на Каланчёвской улице.

Три жилых дома: на Котельнической набережной, на площади Восстания и на Лермонтовской площади, у Красных ворот, куда позже заселилось Министерство путей сообщения.

Их хорошо, добротнo выстроили советские политзэки, немецкие военнопленные и первая московская лимита.

На Ленинских, бывших Воробьёвых, горах, откуда с высокого берега реки, описывающей изящную стратегическую дугу, открывается дивная панорама столицы, между сорок девятым и пятьдесят третьим годами выросло самое крупное и значительное высотное строение – комплекс зданий университета.

Когда архитектор Руднев ломал голову в творческих поисках, он наткнулся на фотоснимок, изображающий Ангкор-Ват, крупнейший из древних храмов Камбоджи. И решение было найдено. Руднев метнулся к станку и, прикнопив фотографию перед собой, принялся лепить из глины модель МГУ со шпилем, увенчанным пятиконечной звездой... Звезда, по последующим расчётам, весом претендовала на двенадцать тонн, не менее...

– Двести сорок метров высоты главного корпуса,
– говорил Домовой с бесстрастной скрупулёзностью. – Тридцать два этажа. Сто шиссят километров всех коидоров. Я лично измерял, на своей шкуре знаю. Катишься, катишься, а шубка ширкается, шоркается, вышаркивается, оказывается без шерсти и неприлично лысая, две

шубки таким неэкономическим манером износил... Дальше пойдём. Шесть тыщ комнат для студентов и аспирантов. В боковых башнях двести профессорских квартир. Всего пиисят тыщ помещений, замудохаешься обойти, месяцы нужны...

Подъёмная техника была ещё, как говорится, не на высоте, часто выходила из строя, однако же энтузиазм строителей был таков, что, как отмечала газета «Труд» в 1950 году, они, не дожидаясь окончания ремонта подъёмников, ведрами поднимали цементный раствор аж на семнадцатый этаж... И дёшево, и не сердито: на кого сердиться? на кого жаловаться?

В отличие от Руднева, архитекторы гостиницы «Ленинградская» Поляков и Борецкий, а также проектировщики соседствующей жилой высотки у Красных ворот Душков и Мезенцев задумали стилизовать свои творения под русские национальные мотивы архитектуры шестнадцатого века и русское барокко конца семнадцатого.

И тут нет известного философского противостояния первоначал яйца и курицы. Тут – яйцо, а в яйце игла, а на кончике иглы завострился вопрос интересный: что именно определяет национальную принадлежность архитектурной формы?

– Что, что... Да всем известно, – говорит Домовой. – Каждая курица и та знает, что зёрнышко в земле искать надо...

Конечно, наверное, – земля, на которой построено сооружение и определяет его национальное лицо и язык. При этом не имеет никакого значения, сколько времени зодчий прожил на этой самой земле и в этой ли земле покоится прах его предков. Вот почему к истории русского зодчества по праву можно отнести творения Фиораванти, Трезини, Растрелли, Камерона, Росси. И «Медный всадник» не перестал быть явлением русского искусства от того, что Фальконе уехал из Северной Пальмиры, так и не увидев свой проект воплощённым. А итальянец Джакомо Кваренги? Наполеон в канун войны 1812 года заочно приговорил архитектора к смертной казни за его отказ покинуть Россию, где тот возводил дворцы и павильоны в стиле высшего классицизма. И что же? Кваренги не изменил Кваренги, итальянец остался итальянцем, а наследие его каменное стало частью русской культуры.

И ещё – традиции, опять и снова традиции. Традиции, которые сдерживают развитие, но и способны в то же время направить его. Зодчие Ренессанса черпали вдохновение в античности, мастеров ампира побуждали к творчеству изыскания, сопутствовавшие египетским походам Наполеона... Качели истории зодчества – циклический возврат к прошлому с одновременной устремлённостью в будущее. «Что, собственно, значит традиция? – задавался вопросом Макс Фрш, архи-

тектор, успевший до начала своей литературной карьеры построить в Цюрихе ряд великолепных сооружений, и он же, Макс Фриш, ответил на собственный вопрос устами своего литературного героя: «По-моему, это значит – разрешать задачи нашей эпохи не менее смело, чем наши предки разрешали задачи своей. Всё прочее – стилизация, мунифицирование».

... В качестве образцов для строительства гостиницы «Ленинградская» послужили церковь в подмосковном Коломенском и стены Новодевичьего монастыря. Роскошные интерьеры – позолота и роспись, деревянные панели из ценных пород, декоративные решётки... Не трёхэтажные аркады товарища Щусева – страна Аркадия! Величие свершений ничтожно малого отдельного человека.

– А давайте, – говорил Домовой, – в денежно-вещевую лотерею поиграем! Давайте вспомним, что мог выиграть обладатель счастливого билета, какие дефициты текущего момента? Загибайте пальцы, вытирайте слюни. В сорок третьем году – отрез на мужицкий костюм – о, этот шёпот шевюта! – или шёлковый отрез на женское платье, и ещё портсигар. В пиисят девятом разыгрывались ружьё, гармонь по имени «Хромка» с футляром, патефон и сатиновое одеяло. В шиисят первом уже появился новый товар со слюновыделением: холодильник, швейная машинка, пианина, радиола, баян и мотоцикл. Растём, значит, братцы граждане, растём и темпы наращиваем! В восимисят втором начались выигрыши вообще шикарные: автомобиль «Москвич», цветной телевизор, магнитофон и наручные часы «Электроника»... А скажу я вам, как компетентный советский Домовой, ведь никак невозможно поверить в то, что на халяву наградить человека лучше гармонью или пианиной, чем квадратными метрами жилья. Не так ли? И куда ж ему ставить–то ту пианину, когда у него приличной жилплощади – кот наплакал?

...До революции на месте Котельнической набережной расселась вся в сирени ремесленная слобода.

И пришла пора нового цветения, и слободские ремесленники вынужденно, с охами и ахами, с антисоветскими слезами и причитаниями, покинули свои обжитые гнёздышки, мещанские.

Дом на набережной, первый из небоскрёбов, строили по проекту Чечулина и Ростковского. Хотели они того или не хотели, но с течением времени их можно смело причислить к гениям при очевид-

ном парадоксе: желавшие воспеть сталинскую эпоху с её парадами и парадизами, аркадами и аркадиями, они талантливейше воплотили её истинный дух в виде комбинации крепости и тюрьмы. Процесс метаморфозы необратим. Для сравнения, в Соединённых Штатах старые тюрьмы переделывают в музеи и шикарные отели, в Советском Союзе...

– А у нас, – мрачно говорил Домовой, – у нас, я извиняюсь, гланды через жопу выдирают. Шутка про всё наоборот.

...в Советском Союзе дом для небожителей с каждым годом, с каждым отопительным сезоном превращался и превращается в опасные для проживания трущобы.

Если высшая партийная элита селилась в номенклатурном доме на Фрунзенской набережной, то на Котельнической было уготовано место проживания элите, обслуживающей партийную элиту: генералам, сотрудникам госбезопасности, популярным актёрам, композиторам, писателям, балеринам, учёным, архитекторам, заместителям министров, начальникам главков... Дом-соцгородок со своим кинотеатром и продмагами, пошивочным ателье и парикмахерской, почтой, сберкассой и гаражами.

Список жильцов всех семисот квартир утверждал лично товарищ Сталин, лучший друг всех жильцов Советского Союза.

А Домовой когда-то их всех в лицо знал, каждого из светил. Должность у него такая: не для всех, а для каждого.

Сам Михаил Иванович Жаров, артист всенародный и орденосный, светило большое, громкое и не всегда трезвое, не однажды принимал Домового за предмет неодушевлённый: то за кухонные отходы, то за тряпку поломойную, то за скомканный придверной коврик – и множил Домового этот Михаил Иванович так, как будто был первым и последним жиганом СССР: и валенки у Домового расплющивал нечаянными штиблетами, и на шубку рыженькую плевал (мочалка, говорил), а то и серьёзного пинка поддавал и очень обидно вдогонку напутствовал: цыплёнок жареный, цыплёнок пареный, та-ря-ря-рям! пим-пам, пим-пам!.. Домовой не обижался. Кто ж на светило обижается, на солнце, например? Дураки одни.

Белокурой красавице Марине Алексеевне Ладыниной Домовой приносил с улицы жёлтенький цветок одуванчика, раз в году, весной, в конце мая. Возлагал цветок у входной двери мариналексеевниной квартиры, садился рядом на корточки и вздыхал: какая же свинарка, эта Марина Алексеевна! какая все ж таки богатая невеста! За дверь не проникал, валенков своих ненювеньких стеснялся, и шубки вонюченькой. Но однажды всё-таки снахальничал, посетил, любопытство природное одолело: чего это они там делать будут, Марина Алексеевна и какой-то корреспондент в клетчатых штанах, в клетчатой кепке и с фотоаппаратами на шее? А Марина Алексеевна

как раз находилась тогда в печали. Потому что муж Пырьев прихватил сына Андрюшку и бросил Марину Алексеевну соломенной вдовой, а сам перед бросанием разменял, сволочь такая, ихнюю совместную пятикомнатную квартиру, и Марине Алексеевне досталась двухкомнатная, но тоже ничего, просторная, на стенах большие фотографии развешаны, с фотографий счастливо улыбается кинозвезда, совсем непохожая на колхозниц–свинарок. А корреспондент оказался страшным занудой. Ему всё хотелось узнать в свете разоблачения культа личности: имелся ли интим, или по–французски межальянс, или, говоря по–нашему, использовал ли товарищ Сталин товарищ Ладынину как связную в половом вопросе... в общем, напускал туману этот корреспондент, Марина Алексеевна всплескивала ручками, а какая–то Ирина, родственная домохозяйка, всё время в разговор вмешивалась с одним и тем же предложением: «Марина, об этом не надо!» Корреспондент ушёл разочарованным. Может потому даже и не заметил, что Домовой наплевал и напрудил в его галоши.

Соседкой Марины Алексеевны проживала чернявенькая Клара по фамилии Лучко. По правде говоря, она то чернявенькая была, то беленькая, то опять чернявенькая. Домовой её очень любил за такую многогранность.

Впрочем, этих любовниц у Домового в московско–котельнической жизни было много. Балерин, например, – так тех он прямо пачками и считал. Кроме, конечно, Галины Сергеевны Улановой. Галина Сергеевна шла вне конкурса.

У певуны Людмилы Георгиевны Зыкиной в трельяже однажды заночевал, розовой пудры нанюхался, едва прочихался, зато шпильку для волос украл, на память.

А у Ноябрьрины Викторовны Мордюковой ничего не украл. Она в тот день в трауре пребывала, в слезах, сынок Вовка умер, перебрал наркотиков через меру, и вот похоронила, бедная, и Штирлиц, бывший муж, тогда приезжал, с сыном простился и Ноябрьрину Викторовну утешал: «Нонна... Ноннушка... Мне нечего сказать...»

Много было грусти в доме. Но и не больше радости. Пополам того и другого. В одной квартире кто–то народился, в другой – кто–то помер. Жизнь и смерть в охапочку ходят. Только человек того и не замечает, когда живёт. Потому что собственной смерти не видит и не увидит. Одинокая гармонь – вот кто он такой, даже самый неустрашимый активист–общественник и лауреат самодеятельности.

Про одинокую гармонь не Домовой додумался. Это Борис Андреевич Мокроусов, наш музыкальный Есенин, своим фортепьяном додумался, на нотном стане птичками изобразил, и на радио этих птичек выпустил...

Снова замерло всё до рассвета,
Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь.

Только слышно – на улице где-то
Одинокая бродит гармонь...

*Всё! Домовой плачет. Горючие слёзки не воспаляют ни бороду,
ни шубку. Выжал их – и снова слушай, слушай...*

То пойдёт на поля, за ворота,
То обратно вернётся опять,
Словно ищет в потёмках кого-то
И не может никак отыскать...

*А праздничные трудящиеся поют, не слушая. Особенно если на
столе батарея водки «Московская» и эмалированный тазик с винег-
ретом... Но уж если заплачут... Батарея, огонь!*

*А Никита, например, Владимирович Богословский всё шутит и
смеётся, смеётся и шутит. Смеет смеяться с серьёзной миной. Это
когда сидит не за роялем. А когда сидит за роялем, тогда не шутит
и не смеётся, а губы оттопыривает и лоб морщит, кончиками чут-
ких пальцев лобзает гармонию ненаглядную, изысканную бог весть
откуда.*

*А Роман Лазаревич Кармен, пятижды лауреат, всё думает, дума-
ет... Кинофильм придумывает.*

*И Константин Георгиевич Паустовский тоже всё думает, дума-
ет... Книгу придумывает.*

*И сверхсекретный конструктор Сатана Непобедимый думает,
думает... Ракету придумывает. (Ходит – думает, сидит – думает,
лежит – думает, мимо унитаза писает – тоже, значит, думает...)
Поначалу Домовой считал, что это имя такое неприятное у кон-
структора, Сатана, а это, оказалось, и вовсе не имя, а название убой-
ной ракеты, а имя у конструктора с убойной фамилией нежное, как
у Есенина: Сергей, Серёжик, Серя.*

*Существовал и собачий друг у Домового. Дворняга с грустны-
ми глазами. Звать Мальчик. Хозяйку свою выводил прогуливаться
дважды в день. Хозяйка хоть и матерщинница и дымила толстыми
папиросами, а – хорошая. И тоже звезда, как большинство квар-
тиросъёмщиков. От Мальчика же и услышал Домовой дефективную
историю про то, как хозяйка его получила квартиру в башне от ге-
нерал-лейтенанта госбезопасности в знак согласия сотрудничать с
компетентными органами и стучать на соседей, на коллег по звёз-
дному миру и на кого попало, а на кого попадёт – так органы сами
укажут, на кого... Хозяйка не дура, согласилась, в квартиру всели-
лась, а когда дело дошло до дела, так она – актриса! – притворилась
та-а-кой дурой, набитой непонятно чем. Я, говорит, абсолютно
профнепригодная для служения, я, говорит, извините ради бога, во сне
громко разговариваю и могу нечаянно все государственные секреты
разгласить нечаянным врагам нашего Советского Союза... Проверили,*

прослушали, а в доме все квартиры прослушиваются, «система ниппель», а внизу, в цокольном этаже, сидит лейтенант с наушниками и все подозрительные шумы–разговоры на магнитофон записывает... так вот, проверили хозяйку: да, действительно орёт благим матом и обыкновенным, в основном по ночам, как будто её режут, и генерал–лейтенант госбезопасности, начальник контразведки КГБ при Совете министров СССР Олег Михайлович Грибанов вздохнул и развёл руками: вот же сука, эта Фаина! ну, что поделать... придётся на ней поставить крест и искать звёздную бабу, которая во сне не болтает... И оказался в роскошных дураках этот Олег Михайлович! Потому что хозяйка, Фаина Георгиевна Раневская, провела Олега Михайловича как мальчика. А Мальчик, который пёс–дворняга, не без чувства глубокого удовлетворения приветствовал прекращение хозяйкиных ночных ораний на лестнице–стремянке перед вентиляционной решёткой.

Но уж если кто и орал по–правде, так это Владимир Семёнович. У Владимира Семёновича голос, по актёрской терминологии, сотой интонации, неповторимый. Вот и орал, в однокомнатной, совершенно непригодной для оранья, квартирке, которую снимала его французская невеста Марина Влади. Впрочем, здесь же, на свадьбе, Владимир Семёнович был тих и бледен, мало пил и отказывался петь под гитару, и от того всем гостям скучновато было, и один из них, скульптор Зураб Церетели, пообещал повторить свадебное застолье – с кахетинским вином, зеленью и шашлыками! – в столице Грузинской Советской Социалистической Республики городе Тбилиси.

... О, эта память Домового! Безграничная, неисчерпаемая, удивительная... Ему мы – Книгу Мёртвых писать.

Сперанский с Домовым приехали в Москву после долгих лет хибаровского жительства. И если Сперанский постарался многое из московской жизни забыть и забыл–таки, то Домового воспоминания о прошлом не отягощали, принимаемые им как дождь, как снег, как неизбежные всепогодные явления, как безапелляционное радиовещание: «С добрым утром, товарищи...»

Фасад дома на Котельнической с мемориальными гранитными и мраморными страничками о прошлом...

Склеп с необъятным подземным миром – самым прекрасным, самым красивым, самым замечательным бомбоубежищем Советского Союза, честь и слава ему во веки веков!

И покуда Сперанский всё чиркал и чиркал карандашиком в блокаде – ... вывоз мусора = 800 тыс. руб./год, 1,5 млн руб. = содержание лифтов, 700 млн руб. на реставрацию фасада... – покуда, значит, Сперанский набирался жэковского опыта по части рублей и человеко–часов, Домового катал по асфальту белый карликовый пудель, а хозяйка собачки, тонкая дама, смотрела в небо, туда, где пылала от лучезарного счастья многотонная домашняя звезда, прирученная.

Пуделёк прикатил рыжий колобок к ногам Сперанского: поиграй, дескать, дяденька... А колобок расправился, образовав ручки-ножки-огуречик – вот и вышел человек, и Домовой заговорил человеческим голосом:

– Да полноте вам, уважаемый управдом товарищ Сперанский, бюрократизм разводить. Разомнитесь лучше. Хоть со мной, хоть с собачкой...

– Не видал я этих собачек!

– Хоть с дамой...

– Не видал я этих дам!

– А вот и не видал, товарищ Сперанский. Такая дама на всю эсэ-сэр одна. Галина Сергеевна Уланова, народная и заслуженная. Небось, не признали в личность? Так это бывает. Балерин-то по рукам-ногам всё больше опознают...

Охнул Сперанский, выронил блокнот, а пуделёк подхватил его и к хозяйкиным туфелькам возложил.

Так они и познакомились, хибаровский наш управдом и мировая танцевальная знаменитость.

И так вот невзначай на чай с печеньем «Октябрьским» попал Сперанский. А потом с превеликим удовольствием и почтением к окружающей обстановке он до скончания командировочного, оплачиваемого, между прочим, государством дня занимался в квартире Галины Сергеевны частным мелким, текущим ремонтом. Конфорку на плите сменил. Какие-то очень мудрёные финские самораздвигающиеся гардины, которые уже год не самораздвигались, поправил. С поломанным унитазом вопрос решил положительно. Краны всякие, вентили в ванной комнате, то-сё по мелочам... Одного лишь не сделал, из разряда насущного: оконные стёкла безнадёжно потемнели и превратились таким образом в зеркала.

Галина Сергеевна с ногами забралась в кресло и из глубины его с немым, испуганным восторгом смотрела на хозяйственные перемещения Сперанского по квартире. К тому же не одна смотрела: и большой Щелкунчик из центра кабинета; и легендарная Анна Павлова в костюме Джульетты с изящной миниатюрки, отделанной бриллиантами; и белый пудель с коврика; и Домовой из-под шифоньера красного дерева с бронзовыми накладками.

И – заплакала Галина Сергеевна тёплыми слезами.

– Боже мой... А я для ремонта квартиры машину свою продала, свой маленький синенький «Пежо»... и записали меня в очередь на ремонт... через полтора года пообещали... сказали: как пить дать... Не желаете ли выпить? У меня для хороших людей всегда рюмочка «Арарата» найдётся.

– Ни-ни! Обижаете, Галина Сергеевна, – сказал Сперанский. – Жаль, что завтра уезжаю, а то я бы вам и стёкла организовал, и обои то же самое...

И удалился, раскланявшись. А впереди него – Домовой.

– *И чо это мы так рано ушли? – бурчал Домовой по дороге в высотную гостиницу «Украина», изученную нашими хибаровчанами уже вдоль и поперёк, снизу доверху. – Хорошая женщина. Хорошая собачка. Пожили бы в приятном обществе... Чо не пожить-то! И чо, спрашивается, так рано ушли?*

– *А то! – отвечал Сперанский. – Хочешь у женщины оставить о себе хорошее впечатление, так и уходи от женщины пол-двенадцатого. Культура. Вам не понять.*

– *Ага, как же, – обиделся Домовой, укладываясь в чемодан. – Я когда-то в самом Кремле жил, у товарища Ленина. А вы мне всякую херню говорите. Знаю я вашу культуру, советскую по форме и социалистическую по содержанию.*

– *Погодите... у Ленина? У Владимира Ильича? Да что ж вы мне раньше-то молчали?*

– *А чо говорить? Жил и жил. С его котами дружил. У Владимира Ильича в квартире помимо Надежды Константиновны и Марии Ильичичны были ещё два фантастических чеширских кота. Сидели всё время в коридоре на ленинских эмигрантских сундуках. Сидели и улыбались. Мыши и крысы здесь не водились. Ленин за это уважал котов. А когда помер, то всех прочих жильцов-постояльцев из Кремля взашей попёрли. И коты ушли в знак протеста. Это уж при Хрущёве такой волюнтаризм образовался, что котов полностью аннулировали. То есть, коты исчезли, а улыбки остались. А Хрущёв без мышей и котов вообще распоясался, разошёлся и раздухарился. У товарищей архитекторов Полякова и Борецкого Сталинские премии отобрал на фиг. Это как? Зачем же творцов – да коту под хвост? Они же ж гении. Вон чего понастроили. Люди живут. Как живут? Это уже другой вопрос. Но высотки-то существуют! И это факт, как факт улыбки чеширских котов. Конечно, увядают. Но ведь ровно же в той самой степени старятся они, каменные идолы, в какой теряют свою монументальность тяжёлые, идейные слова, слова, слова. А вообще-то я Ленина люблю. Хотя бы за кошачий гуманизм. А Хрущёва не люблю за волюнтаризм и субъективизм, из-за этих измов я и уехал из Москвы подальше, на свежие новостройки, к молодым комсомольским джентельменам. А уж после Хрущёва даже более-менее уважать стало некого. Вы ж видели на Котельнической! Сосед Богословского – кто? Вилли Токарев. Кто такой Вилли Токарев? Шпана, блин. Трактирный певчий, кабацкий звездюк. Приехал из Америки и открыл моду на жильё в высотке. И что? У правнука Феликса Дзержинского, тоже Феликса, кто сосед? Бандит Тимоха, фамилия неизвестна. У правнучки Софьи Перовской, тоже Софьи, кто соседка? Блядь Наташа, фамилия неизвестна...*

– *Да погодите же вы про блядей-то, – сказал Сперанский. – Вылазьте из чемодана! Давайте поговорим про товарища Ленина, а то что-то вы рано в дорогу засобирались.*

– А это чтоб оставить у «украинского» Домового хорошее впечатление. А про товарища Ленина... Да на што это вам, товарищ управдом? У него теперь мавзолей. Тело Ленина переживёт века. А вот, помню, у Карла Маркса, на Графтон–террас, в маленьком доме номер девять по Мейтленд–парк–роуд, в Хаверсток–Хилл...

– Чего, чего? Стоп! Вы на каком языке мне говорите? Какой национальности?

– У Домовых национальности нету.

– Космополит, значит? Хорошо. А вы, случайно, у Галины Сергеевны не украли на память коньяк «Арарат»?

– Нет, я не украд случайно на память о Галине Сергеевне коньяк «Арарат». У меня и без её «Арарата» память безупречная. Так что, хотите верьте, хотите нет, но я продолжаю: в Хаверсток–Хилл, на северной окраине города Лондона, близ Хэмпстед–Хис, это горушка такая с деревьями и царапучим кустарником. Туда мы с товарищем Карлом часто гулять ходили. Смотришь с горушки на юг – видишь громады Лондона, купол собора Святого Петра, башни Вестминстера и мутные холмы Сэррея. Смотришь на север – там деревишки лежатся одна к другой посреди плодородия. На запад смотришь – Хайгетский холм, где его и похоронили, основоположника прибавочной стоимости.

– Кошмар, – сказал Сперанский. – Вы соображаете, что говорите? Что вы у него в доме жили. Я правильно понял?

– Правильно. Жил. Маленький дом. Тридцать шесть фунтов стерлингов арендной платы за год. Уютненький. Неподаляку вонял пивом старый ресторанчик «Замок Джека Стро», мы там часто сиживали, крепкое имбирное пиво и хлеб с сыром, вкусно. А дома Карл Маркс мало кушал, да и то всё больше солёного, ветчину, например, копчёную рыбу, икру, пикули, мне не по вкусу, на таких харчах шибко не распитаешься. Бедненько жил основоположник, не вери гуд. Поблизости стоял поп–хауз. Ломбард, по–тамошнему. Три золотых шара перед входными дверями вместо вывески. Вот жена–то товарища Карла и таскала туда, и закладывала домашние вещички. Камчатные салфетки, помню, старинного шотландского происхождения. Расстроилась жена, даже всплакнула. А я те закладенные салфетки утащил из ломбарда и домой вернул! Не поняли меня. Суматошились, суматошились – и обратно унесли с извинениями. Такие честные были. И я старался, глядя на них, от древних привычек отучиться. За товарищем Карлом наблюдал. Вставал он рано, ложился поздно, днём пару часиков прикорнёт на диване и снова за работу берётся. Ходит, ходит по кабинету, дорожку на ковре протоптал, курит сигары одну за одной, всё думает, думает, капитал придумывает... А потом в другой дом переехали, поблизости. Там он и помер, товарищ Карл, в кресле уснул и не проснулся. Грустно, да?

Сперанский восторженно и онемело, подобно Галине Сергеевне, смотрел на Домового и ушам своим не верил.

– Да вам цены нет, – сказал наконец.

– Почему же мне? – ответил Домовой. – Сначала Дом. А уж потом Домовой. При Доме, так сказать. А мы вообще все при Доме стоим. И вы тоже. А Дом у нас один. Мне один знакомый космонавт рассказывал: круглый, говорил, Дом, как колобок, только голубенький... А у вас, товарищ Сперанский, в тумбочке – то сахарку ни хрена не осталось? А то жевнуть чего-нибудь захотелось.

– Чего не осталось, того не осталось. Завтра в поезде получите свою порцию, и даже больше, капитальную.

– Ну, ладно, – вздохнул Домовой. – Завтра так завтра. Давайте, значит, спать, товарищ управдом. Оставим друг у друга хорошее впечатление. А в поезде я вам ещё чего-нибудь расскажу, без никакого вранья, будьте уверены и учтите на здоровье. Домовой, если он настоящий Домовой, без подмеса, никогда не врёт. Он может чего-нибудь украсть на память о хорошем человеке, но врать никогда не будет...

И отошли ко сну наши командированные хибаровчане.

Что может сниться Домовому? Конечно, Дом. Вот он и снился. Уже не капитальный, а так, хижина, скромная лачужка, свет через двери, полутьма, тут же и кухня, и спальня, и мастерская, циновки с грязными подушками на полу, глиняные кувшины, в углу размалёванный сундук с добром, святая простота, исключаящая понятия о нищете и роскошестве, о скудости и богатстве, все так, одинаково, жили там, в Назарете, в той святой, самоограниченной и самодостаточной, простоте, без особенной зависти, посреди волшебного плодородия земли, как аналога аналоя, каменистая тропка между виноградником и фиговыми деревьями, плотник Иосиф с кожаным налобным ремешком, охраняющим глаза от пота, бедный Иосиф, царская кровь, он так любил слушать свою жену, когда она молчала, казалось, в этом молчании стеснялось самого себя знание жизни, знание смерти и всего, что между ними, посередке, но молчание и слово знает, слово как ор, как орало, как оружие, и совесть, весть благая, весть вещая, вещь нужная, правильная, независимая, точно время, которое тикает, тикает... Секунды. Минуты. Часы. Тикает время, почасываясь на обеденных перерывах – пора пиру, пора пюре! – протираясь в сутки. В недельки. Месяцы. Кварталы. Сезоны. Отопительные. Охотничьи. Бархатные. Модные. Театральные. Пионерлагерные, с первого по третий... Годы. Века. Тысячелетия... Подумать только, уж почти две тысячи лет минуло с той поры, как родился у жены Иосифа Марии младенец мужеского пола. Уж скоро и сам двухтысячный пожалует, грядет. Столько за ним лет, зим, сезонов! Двухтысячный. А смотрится, как новенький. А люди – как старенькие. Беспамятные сыны и блудные отцы – настоятели состо-

яний настоящих и настающих, вчерашние основоположники положений... – и хотели бы они вернуться к старым богам, да уж сами боги не хотят того возвращения... Россия. Коза неказистая. Плуг. Борона. Рукопашное поле. Лошадёнка в травяных лаптях. Железо – то аж до тринадцатого века – на вес золота, подковы не водились, а уж когда завелись – так тоже, считай, на тот же вес ценились, приметой сделались: найти её на дороге – к счастью... Россия. Господи, как холодно и протяжно, холодно – то как, господи, как протяжно... Зимой ночи длинные, замыкания короткие, вешай – не вешай ту подкову на дверях, толку – то? Но знакомые Домовые всё же верят приметам. И в женщину при Руси – верят. Вся в чёрном, глаза чёрные и ясные, словно день и ночь разом в одних её глазах сошлись. Покровительница. Кто девою Марией зовёт её, а чаще так бабой Маней называют. Ходит где – то нонче между Нижним Новгородом, Средней Рогаткой и Вышним Волочком, а оттель – то ли к Нижнему Тагилу нацелилась, то ли к Верхоянску, бог весть...

Информация к размышлению. Пассажиры наших поездов делятся на две категории: на тех, кто упорно ложится на полке головой к окну, чтобы видеть дверь и всех прочих граждан, входящих в купе; и на тех, кто делает это наоборот, но так же упорно. Товарищ Сперанский относится к первым: лицом – ко всему и ко всем! И потому лицо у него с течением времени и опытом жизни перекашивалось. То есть, заслуженный строитель СССР, управдом Сперанский как физическое и юридическое лицо становился ещё и лицом асимметричным.

Что может сниться управдому? Конечно, дом. Он, наверное, и снился в московском номере, вот ведь гадство какое, и как будто бы генерал Поцелуйко чего – то такое одобрительное и компетентное говорит на ухо товарищу Сперанскому и по плечу похлопывает, а тот так выпрямляется, встаёт с колен и говорит гневно: а чего это вы меня похлопываете? я вам не сват, не брат, мне покровители и на хрен не нужны, я и сам кого хошь покрою, хоть золотом, хоть матом, хоть на манер быка, не желаете? И почему – то всего лишь безмерно, без оргвыводов улыбается товарищ генерал, облизывается, и в том язычном облизе одно ненасытимое удовольствие пузырится, слюнки пускает. Конечно, надо! Надо строить гражданское общество, кто ж возражает, ясно как дураку. Но где этих граждан взять, если их не хватает? И тут вместо Поцелуйки возникают те ещё деятели, сами как – будто с берегов Альбиона, а фамилии у них русские, Рижанин и Парижанин, из Московского архитектурного управления, командированного Сперанского кураторы, эти иху мать, лопочут непонятному про наши победы, про сметы, про безудержную дружбу и братство с товарищем Мао Цзэ – дуном, вы, – говорит Сперанский, – хотя бы выражались по – строительному, по – нашему, по – чернорабочему, а то всё по – зарубежному, а я, между прочим и к вашему сведению, тоже ведь посещал, в Англии присутствовал, на вожделен –

ных могилах был, язык, правда, не выучил, только несколько слов: ноу, хау, пису пис, то есть, миру мир, и ещё гуд бай, п...ец, значит, так что насчёт строительного камня в ваших палестинах вы мне не надо, не ревнуйте, господа, ваш строительный камень, стоящий века, всего лишь создаёт видимость власти человека над временем, не то что русское дерево, хоть пнём ты его назови, хоть рублём, хоть человеком, это дерево не является препятствием между сегодняшним днём и вечностью, сегодня стоит, завтра сгорело, сегодня везёт, завтра не везёт, а потом и развезёт, да ещё как, кого-то в стельку, кого-то по домам... Кстати, о доме. Вот уже и подъезжаем, хватит сопли на кулак мотать, это непродуктивно и неперспективно, глядите в окошко вагонное: чум вдали как символ города, из которого невозможно окончательно, раз и навсегда, уехать, и дом такой же, вокруг него витает задумчивость, задымчивость, «буржуйки» опять затопили, суки рваные... Но! сияет! над городом! нанайский чум! Насчёт мурмулетов на крыше нашей высотки Сочинитель бессовестно присочинил. Высота такая, что никакой мурмулетке не снилась, и дух захватывает человека в заложники, вот такая высота. У нас просвещённые люди говорят, что нанайский чум издаля похож на соломенную шляпу китайского кули, безжалостно эксплуатируемого. Сравнение малость извращённое для лиц непросвещённых. Потому что азиатские кули – это носильщики, грузчики, возчики, чернорабочие и прочие неквалифицированные трудящиеся, но кто их, этих кулей, вживую видал в нашей местности? Мало кто. Так что, непросвещённые искорёжили кули на русский лад. С тем и живём, торчим на большую видимость... А вы мне тут: Мао Цзэ-дун, сметы, соцсоревнование с его центробежными, как круги на воде, победами. Херня, товарищи. Пирр во время чума. Или чум во время Пирра. Так и запомните и передайте вашему начальству, пусть оно там у себя в Москве и Лондоне шибко не вы-я! Бывает! Ся!

...Сочинитель не хотел. Сочинитель сопротивлялся. Сочинитель взывал к высокой морали, к среднедушевой нравственности, к нижайшей снисходительности и поблажке. Увы, Домовой был непреклонен.

– Как я говорю, так вы и пишете. А не то вы от меня больше шиш получите из устного творчества.

– Дак что же...

– Ништо! Пускай и в нашем языке будут широкие качели, туда-сюда, вперёд-назад, вверх-вниз, а не только в зодчестве.

– Интересно девки пляшут...

– Ещё бы! Девки, они такие!

– Спасибо вам, век не забуду.

– Ну, век это маловато...

Домовой долизал сахарок с ладони и заковылял в угол подвала, где

в образцовом беспорядке свалена чугунная, бронзовая и пластмассовая сантехническая бижутерия. Пообещав заглянуть летом, поболтать с сахарком, он помахал ручкой – и растаял, как сон, как утренний туман, как с белых яблонь дым без огня, как дым отечества из «буржук», как отечество без отцовской, крепко одобренной речи, как на следующий день исчезнет с глаз долой памятник тётке Хасе.

XLIII

ХАСИДЫ:

- Тётя Хася, – говорили, – это вопче!
- Бери выше! – говорили. – Тётя Хася – это вещь!
- Тётя Хася, – говорили, – ещё выше! Это – человек!
- Луч света, – говорили, – в тёмном царстве!
- Какой луч? Конкретно, великая женчина, выдающая!
- Мать родная!
- Родина-мать!
- Кадры решают всё! – подвёл черту режиссёр кинохроники Арнольд Бефстроганов.

И все зарыдали.

Случились эти страстные речи с рыданиями ещё в прошлом декабре, в самом начале нынешней весенней истории.

ТЁТЯ ХАСЯ: Ой, я умру-таки от чего они придумали, эти босяки! Они придумали поставить памятник живой тётке Хасе. Я им говорю: слушайте, вы в своём уме, голодранцы? Разве я с кем веду социалистическое соревнование? Или я такая передовица в советской сфере вино-водочной торговли, а также и ликёры? Или, хуже того, уже умерла на тот свет? Слава богу, что нет, нет и нет! Я живая, весёлая, толстая и не собираюсь. А они говорят: тётя Хася, ты не толстая, ты женчина с плюсом, женчина, можно сказать, под ключ и даже полная сага о Форсайтах... Нет, вы себе даже не представляете, какой это был смех сквозь невидимых слёз, как завещал наш великий гей-ний Исаак Эммануилович Бабель. Они пришли ко мне в помещение ещё совсем рано и ещё совсем чуточку трезвые и сказали: мы хотим воздвигнуть нашей тётке Хасе нерукотворный памятник, к нему не зарастёт! Я же и сейчас, как вспомню ту депутацию, так сразу волнуясь, как та ещё девочка средней школы. Но обширная депутация от общественности – это ж дело святое! И я согласилась. Валяйте, – сказала я депутации, – воздвигайте. И выдала им на похмель четыре чекушки «Московской». А потом я спросила из чистого дамского интереса: из чего воздвигать-то будете, бандиты? Из прошлогоднего снега? А Вадик Мошонкин, сантехник из Кошкиного дома, отвечает: из прошлогоднего, тётя Хася, это пошло и не смешно, но это – мысль: воздвигнем из принципа, к Новому году, на площади Падших Бор-

цов. Да я никогда не думала, что Вадик такой принципиальный. Но ему все похлопали бурными продолжительными аплодисментами. И началась эта опупея. Мои оборванцы всех дворников с площади Падших Борцов подкупили своими словами, а дворники – народ равнодушный, стали сгребать снег исключительно в одну кучу, без вывоза, и из той кучи мои босяки начали лепить снежную тётю Хасю. Это был целых две с половиной недели весёлый коммунистический субботник. Ну, может, не две с половиной, а совсем три. Но кто их вам считал? Они ж не сто девяносто две ступени Ришельевской лестницы в городе-герое Одессе! Ах, эта Одесса! Я могу говорить за неё вечно. Я была тогда уже стройная, как майский тюльпан, и помещалась всего на одной мужской руке, клянусь мамой. Меня обожали все китобойщики с флотилии «Слава» и сухопутные мужчины. Но я всем говорила с нежной улыбкой: нет, я честная комсомолка, моё место на ударных стройках, где мороз и ветер, и бетон замерзает прямо на глазах, и люди гибнут за металл... Но за мной на ударную стройку увязался этот поц, этот дантист Бах, вы его ж знаете, Рувимчика, кто ж его не знает? я его потом тоже хорошо узнала, когда в один прекрасный день вспомнила про свои белые молодёжные зубы и сама пошла к Рувимчику, я вся ему отдалась, до последней копейки. Но что я имею с того Рувимчика кроме ничего? Где ещё та бормашина с зеркалом? Где шпатели для цемента? Коронкосниматели Коппа и пинцеты? Куда скрылись щипчики-клювики, молоточки, наковаленки? Где жарочный шкаф для стерилизации инструментов, рувимчиковая гордость? Где всё это? Я ему говорила в своё время добрым голосом: ты не имеешь чего сказать, Рувимчик, а ведь ты был такой красавец, я тебя так и называла: мой херувимчик, а теперь ты спустя рукава деградировал ниже всякого уровня, и от того херувимчика только хер остался, но и с этим не надо шутить, это дело святое, так что, заруби себе, Рувимчик, на своём долговязом носу, возьми себя в руки, взболтни, как пузырёк перед употреблением распития, и приступай к делу, благословясь, едрёна вошь...

ХАСИДЫ:

– Пять метров – и хорош!

– Шесть. Кто больше?

– Четыре.

– Ты что, ослышался? Я же русским языком спросил: кто больше, а не меньше.

– Тёте Хасе и четырёх метров заглаза хватит. А то я вчера говорю ей: тётя Хася, христом богом прошу, дай трояк до получки. А она говорит: нет, на рупь и больше не проси. Это как?

– Правильно дала тётя Хася. А тебе надо совесть иметь и самокритику развивать. Бич ты или не бич, в конце концов? Или бродяга какой-нибудь без ума?

– Товарищи, не ссорьтесь! Тётя Хася есть лицо во всех отношениях хрестоматийное. Значит, семь метров.

– Я тоже имею сказать пару слов за тётю Хасю. Пусть она меня и не слышит, но я скажу: тётя Хася – хорошая. Так что, восемь метров и ни миллиметра меньше. Как у статуи «Девушка с веслом» в центральном московском парке культуры и отдыха. Скульптор, помню, Иван Шадр. Тонированный цемент. Весло неизвестно из чего, но тоже хорошее, девушке в масть. Восемь!

– Эка, хватил, цемент... У нас, считай, бездефицитная снежная баба будет. Считай, что из самой натуральной природы слепим, из природных явлений и погодных осадков. С автокрана потом водой польём, а лёд лопатами обтешем, для внешнего сходства с тётей Хасей. Так что, не надо ля-ля про цемент. А то ты ещё будешь тут нам вспоминать, кто что однажды в Питере отлил на Анничковом мосту.

– Ну, я и отлил... Было такое дело, некультурное, конечно...

– Я не про то. Я про бронзовых коней барона Клодта.

– А-а-а, барона... Ну, тогда вопросов нет. Тогда я полностью согласный с нижеследующими товарищами. Но настаиваю и в который раз подчёркиваю: восемь метров, как у девушки. Мадам с бутылкой организуем. Бутылку вморозим натуральную.

– Товарищи, товарищи, не отвлекайтесь на детали. У меня есть предложение пойти посоветоваться насчёт монумента с товарищем Шадриным Хасаном Францевичем. Наш товарищ. Тётя Хася его лично знает и уважает. Пьёт только анисовый аперитив, крепкий, собака. К тому же профессиональный скульптор. Один на весь наш край. Всех Лениных в Хибаровске и в ближайших окрестностях лепил. Лауреат. Какие будут предложения по персональному составу делегации для переговоров?

– А это мы щас решим, это не проблема. Проблема в том, что милиция уже интересуется, чего это мы тут копошимся?

– А для милиции у каждого из нас должен быть один вежливый ответ с улыбкой: лепим, дескать, Снегурочку и деда Мороза на общественных началах к празднику Нового года, вопрос согласованный, без дураков. Ясно?

– Со Снегурочкой ясно. А дед?

– А на деда, скажем мы в конце года, нам снегу не хватило, весь на Снегурочку извели, вон она какая ба-а-льшая получилась и красивая. Так и говорите всем блюстителям. Итак, кто пойдёт к Хасану Францевичу?

– К специалисту, – подчеркнул режиссёр кинохроники Арнольд Бефстроганов и второй чертой добавил к сказанному: – Кадры решают всё!

И все зарыдали.

ХАСАН ФРАНЦЕВИЧ ШАДРИН, ВАЯТЕЛЬ: Вы думаете, роде-

новский «Мыслитель» – это изваяние? Нет, уважаемый, это не изваяние. Это окаменевший Адам. Он задумался. Это естественно. Это в природе вещей, нормально. Но вот почему он окаменел? Отчего? Если вы ответите на этот вопрос, то, значит, вы – ходячий гений, творец. А я ответить не могу. Я всё приближаюсь, приближаюсь к ответу, а он удаляется и удаляется. Заманивает. Я – шаг вперёд, он – шаг назад, но всё это очень относительно: кто вперёд, а кто назад... Я слишком земной, даже чересчур. Я шестидесятник. Вы знаете, что такое шестидесятые годы? Гагариным в космос выстрелили. Сырок «Дружба» появился. Приехали в Советский Союз из-за границы первые женские сапожки. Жареная камбала на каждом прилавке. Вива, Куба! Вива, Фидель! И другие вивы, повивальные слова революции... У каждой пустыни свои миражи. А я пустынным оказался. Один. Но моё одиночество вполне устраивало и до сих пор устраивает наше идеологическое руководство: пусть один, зато есть, с кого спросить. А ведь плохо одному, ей-богу. Реальная возможность задуматься и окаменеть... Помните – про ту же камбалу на каждом углу? Одна камбала, сплошная камбала... А где, спрашивается, судак? Где карп? Треска? – А знаете ли, – отвечают, – у нас транспорта нет для завоза... – А что, – снова спрашивается, – эта одноглазая блядь к вам пешком ходит?.. Вы понимаете? Вы понимаете. По глазам вижу. Косоглазие музы не смешно, даже если это весёлая муза, муза смеха с серебряными колокольчиками. А мне всю жизнь было не до смеха. Я родился – знаете как? Когда моя будущая мама в украинском селе была ещё на сносях, ворвался на тачанках Петлюра и стал резать евреев. А у нас в родове каждой твари по паре, но евреев – ни одного. И всё же моя будущая, молодая и черноглазая мама сховалась, как чуткая сука, во дворе соседа-пасечника, у него под навесом бочки для мёда стояли, огромные, двухметровые. Там и родила с перепугу, в бочке. Спрашивается: кто есть дёготь, если имеется бочка мёда? Ну, никак же не Петлюра... И не мама. Она научила меня лепить зайчиков из хлеба. Вылеплю – и съем. Вкусно потому что. Мама говорила: ешь, сынок, ешь, вырастешь – будешь вместо зайчиков товарища Троцкого лепить, если талант не расфуфыришь. А я вот вырос и Ленина в гробу видал. На обложке журнала «Красная нива». Десятки раз одну и ту же картинку срисовывал, с закрытыми глазами мог, нравилось мне это очень: Ленин в гробу. А живого только в кино видел, в студенчестве уже. Ленин в Октябре, Ленин в восемнадцатом году... Впечатляло. Я уж и копировать стал вождя мирового пролетариата. Братцы-комсомольцы подзуживали: а ну-ка, изобрази Ленина! И я изображал: и походкой, и жестами, и картавил: «За гносеологической схоластикой эмпириокритицизма нельзя не видеть борьбы партий, в конечном итоге сводящейся к борьбе классов». Повторите, попробуйте с первого раза. Хрен у вас получится. И уже после института я слепил. Я слепил! Глиняный колосс российский на одной ноге! А задумка была такая. Одной ногой Владимир Ильич как бы через про-

пасть перешагивает. Шесть метров росту. С занесённой вперёд и выше левой ногой и с такой же, вперёд и выше, правой рукой. Потом уж, через годы сообразил: Ленин, танцующий краковяк. А тогда считал: ай, да Шадрин! ай, да сукин сын Великой Октябрьской социалистической революции! Постамент покрасил красным свинцовым суриком, каким красят подводную часть кораблей, ниже ватерлинии... Как вспомню – так вздрогну. Рухнул монумент. Центр тяжести был плохо рассчитан – и год работы разлетелся на куски, вдребезги. И всё бы ничего, так нет же, блядство какое: персонально на меня рухнул всенародный вождь. Не шуточки. Весу-то в нём... Да. Обе ноги мне отдал на хрен. С тех пор пешком не хожу, передвигаюсь исключительно на транспорте. Сладкая жизнь. Принюхайтесь, уважаемый: не чуете в воздухе шёпот резины? Чуете. По глазам вижу. Это он и есть, нежный шелест инвалидной коляски. Витает. От слова вита. Жизнь, значит. Пополам с прелестным букетом анисового аперитива. Тётя Хася балует, спасибо ей, не забывает старика, вдохновляет ваятеля на ленинский лепет...

ГОЛОС ЗА КАДРОМ:

Чуть-чуть припорошен седой щетинкою.

Утверждает: родился таким. Говорит: молодая черноглазая мама от такого феноменального факта плакала, а отец ничего, с ним на следующий день бриться начали.

Шутка.

Чёрно-смородиновая люстриновая блуза. Из такого блестящего материала во времена доисторического материализма шили рясы для служителей культа.

Ассирийский («чистим-блистим!») глянец на скороходовских башмаках: лоск, ласкающий лужицы. Первый доступен, вторые – увы, в переводе с деликатного языка на язык биполярный означающее: нет.

Упорный и добросовестный хасид. Но без оглушительных запоев.

Заслуженный работник культуры. Сокращённо: засрак.

Хасан Францевич Шадрин, собственной персоной.

Мощные кисти рук. Зрячие пальцы. Сильные и нежные. Как у пианиста Святослава Рихтера. Если кто видел по телевизору. Там в основном руки-то и показывают, крупным планом, танцующие, крепкие руки мастера, способного и на пассажи, и на пассатижи. Лица на экране показывают тоже, но реже. Лица кривляются, гримасничают, рожи строят, кукрыниксы всякие корчат. Лица идиотов. Настоящих идиотов по телевидению тоже, конечно, показывают, но чаще, чем настоящих пианистов. Извините за лирическое отступление от темы нашего героя.

Его жизненные регламентации состоят в нижеследующем.

Правило штопора (или буравчика). Это для правой руки: нечто из физики, о положительном, кажется, заряде, о движении его в магнитном поле, какая-то индукция, винтом вперёд, вроде этого, в общем,

для нас – тёмный лес с перелесками, лучше спросите у детей-школьников, даже у троечников.

Ещё нечто из физики, уже для левой руки: опять же про токи и заряды в магнитном поле, про силу некоего Лоренца, опять лес с перелесками, спросите у детей, они на пальцах всё мигом объяснят.

Закон бутерброда, он же закон подлости. Без комментариев.

Закон тяготения. Без комментариев.

Нота бене, то есть важно отметить. Хасан Францевич Шадрин есть вечный должник. Всё чего-то кому-то что-то за что-то должен, должен и должен. Стране, народу, государству, братскому лагерю социализма, коммунистической партии, мировому коммунистическому и рабочему движению, освобождающейся Африке, Совещанию в Хельсинки, Российской Советской Федеративной Социалистической Республике, Союзу художников, Министерству культуры, Худфонду, идеологическому отделу крайкома, маме и Ленину. Всем – кроме тёти Хаси.

В этой связи остаётся только напомнить про древний обычай индейского племени квакиютль: берущий в долг отдаёт займодавцу своё собственное имя и пребывает безымянным «некто» вплоть до возвращения долга.

Второе нота бене, уважаемые граждане и гражданочки: мы ещё не раз вернёмся к господам хасидам, так вот, проясним же текущий момент с вытекающими вопросами не для буквоедства ради, но точности, верности и справедливости для. Древнееврейский хасидизм как мистическое течение в иудаизме, возникшее в восемнадцатом веке и выражающее религиозный протест беднейших слоев верующих евреев против засилья в общинах раввинов, богачей и прочих засранцев, – всё это не имеет к нашим хибаровским жителям ровно никакого отношения. Тут совершенно иная история. А кому не там зудится, так пошли они все к нота-бениной матери.

Аналогия: Маркс – марксиды, тётя Хася – хасиды.

Всё.

ТЁТЯ ХАСЯ: Да, я пришла к нему как последняя мера терпения. Я ему прямо с порога так и сказала: послушайте, что ты разлёгся посреди дня, Рувимчик? Через тебя у меня уже все нервные клетки дрожат. Если ты дантист... А ведь ты же ещё тот дантист, Рувимчик! Ой, ну эти ж дантисты, вы мне не говорите! Это ж богема. Это же ж божественные подмастерья. Они же ж трудятся весело, живо, быстро. В музыкальной школе мне говорили про весело, живо и быстро: аллегро. Я тогда ещё та девочка была, стройная, как скрипочка. Да, дантисты! Аллегро! Данте Алигьери, как выражается этот бандит Феликс Хворобушкин, мой земляк и к тому же знаменитый поэт. Так вот, если ты, говорю я Рувимчику, есть божественный дантист-алигьери, так ты мне, поц этакий, зубы не заговаривай, а лечи и делай, как положено по науке. Чтоб я так могла жить с такими зубами, как я не могу! А

он отвечает, вы только послушайте: эта тема мне не болит, мадам. Вот те раз! Привет, – говорю, – от тётки! Не узнал родную мамочку своего единокровного сыночка голожопого Ивана Рувимовича? Я, между прочим, свою сыночку с самого его рождения по имени-отчеству называю, зассунчика моего, да. И снова приступаю-таки к Рувимчику, а он с похмелья такой, что выпьет литру – и забухеет, да плюс ещё и вспылчивый, уж я знаю, но эта вспыл у него не очень вредная, быстро оседает, прямо на его же ушах, пропылесосишь ему и Рувимчик снова как новенький, незатёрханный, короче, большой ребёнок он, этот чуврыла и плутоний, чистое ж дитё, а дети ж не бывают отрицательные, верно? И вот я с пылесосом приступаю ласково, как пантера: настрой, босяк, свой рот на короткую волну и слушай сюда, и смотри же на меня, не вихляй глазами, а не будешь смотреть куда надо, так быстренько попадёшь туда, куда смотришь. Ты на сумку мою смотришь? Не принесла ли ещё чего эта дорогая Хася? Не принесла, разрази меня гром на этом самом месте. Потому что хватит, Рувимчик. Наберись-таки мужества и стань приличным стариком, я тебя умоляю. Это ведь даже смешно, шо ты такое говоришь: эта тема не болит! Давай так: я тебе по-хорошему, ты мне по-хорошему, и давай не будем. И не смей меня до конвульсий смея. Косвенный ты мне друг, товарищ и брат по моральному кодексу, а также незаконный родной папа Ивана Рувимовича. Тебе бы только вякать да прикасаться, а как до дела, так у тебя руки в брюки, а в брюках тоже ветерок и никакого энтузиазма. Пусть так! Тётка Хася переживёт! Тётка Хася вынесет на своих дамских плечах труженицы! Но если тебе не надо, чтобы мне в жизни пощастило, если тебе надо, чтобы мне наоборот поплохело, – так подумай сам о себе, Рувимчик, совсем ведь спился с катушек, свинья ты этакая. Может, тебе денег дать для дела? Хася даст, Хася не жадная. Может, ты не завтракал, как самостоятельный мужчина? Так я тебе бутерброд накрою не глядя в рот. Хочешь с икрой? Ради бога. Какую уважаешь, сукин ты сын, чёрную или наоборот красную? И знаете, что он мне говорит, этот Бах и негодяй, весь прослезивши, как зонтик клоуна Енгибарова? Он говорит, весь прослезивши: тебе, мадам, уже при личной жизни собственный памятник ставят, никогда себе этого не прощу, что позволил посторонним людям мою Хасичку таким вульгарным образом изувекочить... И другие жалкие слова говорил мне мой Рувимчик. А я тут – раз! Достаяю из груди чекушку и делаю такой кукольный театр, как будто в помойное ведро выливаю. Да уж как он взвился-то, Рувимчик! А я ему – два! Ультиматум. Давай, – говорю, – делай зубы как у Мерлин Мурло, тем более знаешь уже, что с меня ж скульптуру уже лепят, как же я с некоторыми отсутствующими зубами перед публикой стоять буду? Всё! Хана! Повернула Рувимчика Баха к общественно-полезному труду. Показывает мне фарфоровую модельку: мадам Хася, таких зубочков, как эти, вы нигде, кроме у меня, не будете иметь! – Да ну вас, – каприжусь я для понту, как та ещё девушка, – фуй-фуй,

шо вы такое говорите? Тут разве есть чего покупать? Тут даже нет чего покупать, Рувимчик... Поставил-таки. Вторую неделю не пьёт. С хасидами тусуется на площади, вы же видите. На моей скульптуре выделяет страшно дефицитным японским шпателем мою нижнюю, извините за интимность, челюсть и улыбку будет вырезать из чистого льда высшей пробы...

ХАСИДЫ:

– А чо это вы здесь все такие весёлые?

– Свободный труд свободных людей потому что. А вы, гражданин, откудова будете?

– Да я бурят, однако... Вы уж никому больше не говорите, что я бурят. Пусть между нами.

– У нас тут все равные... Хасан Францевич, хочу спросить!

– Не кричите, уважаемый. Подойдите к моей колясочке поближе и задавайте ваш вопрос.

– Хасан Францевич, я хочу спросить вот чего: в какую сторону будем улыбку памятника делать?

– Видите ли...

– Не видим!

– Знаете ли...

– Не знаем!

– Да понимаете ли...

– Да не понимаем мы, Хасан Францевич! Говорите сразу чо к чему, без интеллигентщины, без знаете-понимаете... А?

– Хорошо. Улыбка должна быть фронтальной.

– Вперёд, что ли?

– Вперёд.

– Ну, вот, так бы и сказали сразу. А то доктор Бах опять целует нашу Снегурку, к тому же взасос, и улыбка её вроде как бы растаяла и поплыла в левую сторону.

– Пьяный?

– Трезвый. Тут пьяных отсутствует.

– Тогда скажите доктору Баху: пусть немедленно прекратит лизать лёд антисанитарного качества и побережёт свои гланды. Ну, сколько же можно?

– Мужики, а вы мои валенки не видели?

– А ты кто такой, чтобы мы твои валенки видели?

– Да ваш я, ваш. Бурят, однако. А чо это вы тут делаете? И кто у вас тут главный заводила?

– Хасан Францевич, тут какой-то тип под бурята маскируется и выспрашивает. Говорит, что наш.

– А вы его проверьте на лояльность.

– Это как же?

– Дайте поллитру. Если зараз выпьет из горла – наш. Не выпьет

– значит шпион, кем-то подосланный... Да, так вот я и говорю, уважаемый Семён Семёнович, что когда памятник стоит в контражуре, то это не очень удачно, потому что он совсем не просматривается силуэтно. Контражур – это значит против солнца.

– Вот и я тоже... Как бы пупом чую, Хасан Францевич, что нехорошо это, когда всё время смотреть на солнце.

– Вот-вот. А в нашем проекте всё чудненько складывается. Смотрите на план. Вот здесь у нас площадь. Здесь у нас из центрального фонтана золотой памятник Ленину глядит на север, на Серый Дом, и правой рукой показывает на восток. У Серого Дома, напротив, стоит другой памятник Ленину, серебряный, и смотрит на южного Ленина, который в фонтане, но рукой показывает... не на восток. А на востоке данной площади – что? Тут наша Большая Снегурочка. Логично?

– Здорово это вы придумали, Хасан Францевич, честное слово моряка-фронтовика и старого члена партии...

– Ничего, ничего... спасибо...

– Хасан Францевич!

– Ау, что ещё?

– Доктору Баху сказали про гланды, чтоб не лизал и чтоб слазил вниз.

– А он что?

– Не слазит. Прилип, сволочь... Извините за выражение.

– Не понял...

– Языком, говорю, прилип к японскому инструменту. А инструмент в зубах у Снегурочки намертво застрял. А Бах ещё со своими поцелуями, как маленький... Да чего тут непонятного, Хасан Францевич? Вы что, в детстве никогда не лизали на морозе языком дверную ручку?

– Ясно. Поднимитесь к Баху по лестнице. Горячим кофейком отлейте инструмент от доктора. Термос у товарища Хворобушкина.

– Щас сделаем...

– Да-с, Семён Семёныч, таков проект. Не хухры-мухры, но целая философия, если хотите. Но и это ещё не всё. Вот здесь, на западной стороне площади, мы сделаем потрясающий аттракцион. Картину Сурикова «Взятие снежного городка» видели?

– Кажись, в «Огоньке»... Да, да, в нём самом. И что?

– На западе мы построим из снега... Угадайте, что?

– Городок?

– Мы построим Зимний дворец, Семён Семёныч. С дровяными баррикадами, с юнкерами, с бабьим батальоном, как в семнадцатом году. И штурмовать будем.

– Народу не хватит, Хасан Францевич.

– Хватит. Сколько людей, столько и народу. Сами все до единого подключимся. Прогуливающих граждан организуем. В крайнем случае, доктора Штукарского из Жёлтого Дома попросим, он для штурма

на свежем воздухе своих больных выделит... Извините, это кто там опять выражается благим матом?

– Это мы бурята разоблачили, Хасан Францевич...

– А я говорю, прекратите пошлую брань! Творческий труд должен облагораживать человека, а вы что? Бичи или не бичи? Или уж совсем забыли, что всё-таки культурные люди, хоть и бывшие? Кто ещё хоть раз...

– Поняли, поняли, миль пардон... Бурят-то не нашим бурятом оказался, Хасан Францевич. Будьте, так сказать, любезны!

– В силу каких же объективных причин, позвольте узнать?

– И субъективных тоже.

– Положим. Так в силу каких же объективных и субъективных причин...

– Прошу прощения, но я вынужден настаивать, уважаемый Хасан Францевич, что именно субъективных и только. Кстати, в гегелевской «Феноменологии духа» об этом как раз есть одно замечательное местечко...

– Да? А что с бурятом?

– Дали ему поллитру. Не пьёт. Наш – и не пьёт? Нелогично. Мы ещё проверили. Влили ему. Расколосся. Поцелуйкин агент или из Серого Дома, от товарища Краснопресненского-Крестовоздвиженского. Третьего не дано.

– Там тоже люди. Значит, пьют. Шпионы, кстати, тоже.

– Так куда его девать?

– Куда? Семён Семёныч, не подскажите?

– Отнесите ко мне в подвал, в Кошкин Дом. Тут рукой подать.

– Понятненько. Щас сделаем. Будь спок!

– Товарищ Бефстроганов, а как бы нам этак деликатно с товарищем Штукарским связаться? Насчёт штурма Зимнего дворца.

– Беру на себя, – сказал режиссёр кинохроники Арнольд Бефстроганов и весело прищёлкнул пальцами на манер кастаньет: – Кадры решают всё!

И все зарыдали.

ГОЛОС ЗА КАДРОМ:

Памятники нужны не мёртвым.

Памятники нужны живым.

Мёртвым – память, живым – напоминание.

Хранить и знать – в этом, согласно Платону, состоит счастье личной жизни.

Хотя и есть, конечно же, люди, имена которых нужно вычёркивать из общественной и личной памяти по соображениям сугубо санитарно-гигиеническим.

Гай Светоний Транквил, как известно, создал жизнеописания двенадцати цезарей. Один из них – Нерон. В городе Ахате оный цезарь

приступил к прорытию канала через Истм. Собрал сходку, призвал верных преторианцев начать работу, под звуки боевых легионерских труб первым ударил в землю киркой и вынес в отвал на плечах первую корзину земли...

...ох, далеко Нерону до Ленина с его коммунистическим субботним бревном, но всё же – горизонтальная эврика, однако!

...первую, значит, корзину земли. Потом он подумал и призвал писцов для диктовки августейшего указа: «Чтобы от прежних победителей нигде не осталось ни следа, ни памяти, надо все их статуи и изображения опрокидывать, тащить крюками и сбрасывать в отхожие места. Я сказал!»

Император сказал!

Да нам-то Нерон – не ровня! Но всё же... Вертикальная эврика!

К столетию Ленина энтузиасты придумали памятник-колбасу с профилем вождя. Увы, наверху, на самом, сказали веское слово: запретить. И запретили. Не потому, что Ильич-колбаса. А потому, что эту колбасу ножом ведь резать надо... Тут, с одной стороны, колбасу с колбасо-потребителями жалко, с другой – Ильича, а с третьей, глядишь, так и вовсе типичная идеологическая диверсия Запада, где колбасой обжираются и обожраться не могут.

А лет двадцать раньше этой колбасы, году в пятьдесят первом, со столичного Пречистенского бульвара вдруг исчез памятник Гоголю, скорбный, трагедийный, такой, каким изваял его скульптор Николай Андреев.

Товарищу Сталину не понравились скорбь и трагедия. Он вызвал на ковёр ответственных товарищей и сказал: «Заменить! Пессимиста на оптимиста!» – «Понятно. Щас сделаем. Будь спок, товарищ Сталин!» – ответили ответственные товарищи и развернулись по-военному на каблуках.

Теперь на этом месте стоит «Зоя Космодемьянская с рюкзаком»: так москвичи называют оптимистического Гоголя, николаевского чиновника работы Николая Томского. Был, между прочим, и конкурс проектов, выигранный Томским. Правда, бдительное жюри на всякий случай указало скульптору: а чего-то всё же у вас не хватает! И ваятель добавил в проект одну, но многокилограммовую деталь: вложил в гоголевскую руку толстую книжку. «Это что? Уж не «Мёртвые-ли души»?» – спросили зоркие юристы или как уж их там называть... – «Упаси бог, – ответил ваятель. – В руках товарища Гоголя находится десятый том из собрания сочинений товарища Сталина!» – «Десятый? Это хорошо». И проект был немедленно утверждён целиком и полностью.

А скорбного Гоголя лет восемь ещё не знали куда приткнуть.

В конце концов, додумались, пристроили во дворик дома №7 на Суворовском бульваре, близ того места, где полусумасшедший писатель, впавший в юродство и мистицизм, спалил в каминном огне второй том гениальной поэмы.

А теперь отлистаем назад ещё двадцать лет (поколенческих лет!) российской истории. Тридцатые годы. Строительство московского метрополитена, призванного удивить весь мир. В результате подземных работ вдруг обнаружилось оседание почвы в районе Лубянки. И пришли к маркшейдеру два строгих товарища в кожаных куртках. И поставили задачу особой важности: навести теодолит на кончик носа первопечатника Фёдорова и наблюдать денно и нощно, покуда проходчики внизу будут ударно дырявить землю, и если нос сдвинется в оптическом перекрестье теодолитной трубы хоть на миллиметр – повесим! «За что?» – прошептал маркшейдер. – «За яйца», – пошутили кожаные товарищи.

Обошлось-таки и с носом, и с метро, и с маркшейдером. Однако данный факт показывает пример практического служения памятников делу социалистического преобразования страны.

ХАСАН ФРАНЦЕВИЧ ШАДРИН, ВАЯТЕЛЬ: Про нос, уважаемый, это надо понимать как намёк, аллегорию, аллюзию, символ, от устного народного творчества до гоголевской повести и после: не суй, не высовывайся, не задирай и так далее. И вот я, старый хрыч, на закате своей вселенинской деятельности-ваятельности торжественно и печально заявляю: да, меня можно водить за руку, но за нос меня водить нельзя. Нельзя-я-я! Я ведь даже из гроба могу свой нос высунуть вопреки руководству. Да! Несмотря на то, что налепил штук триста больших и маленьких Лениных... У меня даже дома в прихожей на тумбочке стоит Ленин, бюстик, со шляпой или шапкой на голове, в зависимости от сезона. Вешалка у меня такая для головных уборов, очень, кстати, удобная, держит форму... Могу лепить Ленина с закрытыми глазами. Умею потому что. Пальцы умеют, без участия головы. И цену себе знаю. Пусть она не золотая монета. Пусть пятак. Но пятак неразменный. И пальцы с головой не в ладу. И вот я что вдруг вывел в затворничестве творчества. Есть хрестоматийное наставление для скульптора: бери глыбу мрамора и отсекай всё лишнее, получишь шедевр. Но – что лишнее? Вот вопрос! Микеланджело советовал сбрасывать статую с горы, уверяя, что всё лишнее в статуе само собой отвалится. Хорошо. Последуем совету. Но тут непременно уж Сизиф со своим камнем выказывает нос, точно перст указующий. И перст намекает: если ты, товарищ, катишь камень в гору и вдруг выпустишь его из рук, он, понятное дело, умчится вниз, но это ещё полбеда, а вся беда в том, что камень обязательно улетит ниже того места, с которого ты начинал вкатывать его к вершине. Элементарная физика. Простая механика. Пальцы этого не знают. Это голова должна знать. И если она знает, то в ней неизбежно начнёт топорщиться вопрос. Топорщиться, как топор! Хороший ваятель – это кто? И вдруг топор – бац! обухом по голове: хороший ваятель, батенька, это совсем не тот, кто умеет ваять, а тот, кто не будет ваять то, чего он не умеет

и к чему душа не повёрнута нараспашку. Это мог бы сказать сам Микеланджело. Но это сказал я, благополучный, с послеобеденным мирозерцанием, прогульщик среди истуканов, гуляка, то есть, в коляске, в семисезонном транспорте, ваяющий налево и направо. Потому что ваять стало не трудно. Ваяй и ваяй, не валяй дурака. А уж советский-то разгул монументальной деятельности – это ж чистая Флоренция времён Медичи! С одним но. Флорентийское чудо – это гениальные художники Возрождения плюс культурно ангажированные политики. В России гении из детства редко дорастают до отрочества, юности и мужалых лет. Печально, но факт. Аура такая...

ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Прошу прощения за копелянство. Однако вынужден пояснить. Аура по-гречески значит «дуновение ветерка». А на медицинском наречии этот «ветерок» означает симптомы, предшествующие припадку эпилепсии и истерии. Забавного тут мало. Вот как дунет ветерок из трактира в погребок – и киноплёнка производства Шосткинского комбината «Свема» на глазах превращается, блядь, в ленту Мёбиуса... Интересно, что скажет по поводу этого явления доктор Штукарский из Жёлтого Дома? Кстати, по его же авторитетному утверждению, в Жёлтом Доме ветерок-то есть, вот только эпилептиков нету, и истериков, и даже завалыщенького шизофреника, настоящего, без подмесу, ценного медицинского кадра...

ХАСАН ФРАНЦЕВИЧ ШАДРИН, ВАЯТЕЛЬ: ...значит, аура такая. Плюс эта сучка-политика. Пол у политики – гермафродит. Меньшинство, но подавляющее. Культурный уровень главных государственных управленцев был всегда весьма низкий. Таким и остался. И остаётся без изменения. Но если раньше, когда-то, ещё в империи, политики понимали свою культурную карликовость и стеснялись её, старались скрывать, не выказывать публично и маскировать, то в двадцатом веке перестали стесняться. Говорят: чтобы от масс не отрываться, быть ближе к народу. После чего пошло-поехало: искусство принадлежит народу, а народ требует жертв, а жертвы искусства, идола и истуканы по-язычески, вышли в массы, на скверы и площади, и к неудачливым ваятелям политики прекращают приставать: если, мол, ты такой умный, то отчего же ты такой бедный? Вот. Путано говорю, да? Потому что волнуюсь. Душа не на месте. Кто-то кому-то изменил. То ли душа месту, то ли место душе? Не вопрос. Констатация. Горсть горести. Вместо «или» – «и». Дуализм этакий. Ответственность на двоих. Но от этого не легче ни душе, ни месту. Мокрому месту, разумеется. Ощущение – как удар. Потому что измена случается не тогда, когда тебе изменяют, в часы-дни-годы, нет, измена происходит в тот самый момент, когда ты о ней узнаёшь. И после того узнавания душа и место уже окончательно расходятся, равно бедные, замороченные, не властные в выборе, их ведь могли по любому постороннему указательному

персту парно законопатить в любой Конотоп, Елабугу или Магадан, в любую прореху на государстве, в любую дыру на человечестве, но они, прорехи и дыры, не пустоты, края не настолько уж отдалённые, чтобы там уже и не было ни Макаров, ни пасомых телят, всё там, оказывается, есть, но только – тени. Тень Адама. Тень Евы. Куда ж без неё, без дочерей её? Душа-то – женского рода. И дочери – в очереди: Магдалина из Магадана и Пиковая Дама, баба Бабариха и мадам Бовари, тётя Хася и Сонька-Золотая Ручка, этакая королева-играция... И вот, уважаемый, что остаётся душеприказчику и местоблюстителю? На месте Места ставить памятник Душе. Мистика, скажете? Фантастика, скажете? Говорите, говорите... А кожаные товарищи, ответственные и определяющие, которые, так сказать, сидят на культуре – это не мистика? А утверждаемая директивно соразмерность монумента и жизни – это не фантастика? Ну, в лоб же ж твою мать! Кожаные товарищи определяют. Кожаные товарищи руководят. Кожаные товарищи работают с красотой, с прекрасным, с этой тончайшей, трудно уловимой материей, неоднозначной и подчас неконкретной. От общения с такой материей работа кожаных товарищей сама становится неуловимой. Обсуждают, зондируют, утрясают, задействуют, визируют, обращаются, созывают, поднимают вопрос, ставят на повестку дня, включают «в», выходят «на», собираются «для»... Сравните это с простым перечислением имён великих философов и поэтов, которое уже само по себе – почти евангелие. Господи ты боже мой, так помолимся же Александрийской колонне, ориентация которой не была в своё время согласована. Поклонимся неутверждённому Врубелю на «Метрополе». И – незавизированному, но от того не высохшему «Лебединому озеру». И – не обсуждённому, но не спешившемуся «Медному всаднику». И – Дон-Жуану, который не женится ни при каких постановлениях и моральных кодексах. Да. Я знаю, что говорю. Господи, помолимся! Улугбеку, который уже строил обсерваторию, когда в Сорбонне ещё вели научные дискуссии с доказательствами непорочного зачатия. Помолимся приземлённости скульптур. Помолимся святому Себастьяну с венцом на голове и со стрелами в боку – олицетворению конфликта. Плюнем на пьедесталы, подразумевающие бесконфликтность. Восславим нынешний снег... Бронза, чугун и сталь, конечно, долговечнее снега. Даже кирпич, из которого по моему проекту выложили на газоне перед Серым Домом серп и молот, а я немедленно премию получил... да, так и этот премированный кирпич долговечнее нынешнего снега. Но! Кирпич через пару лет обратится в крошку и прах, а снег повторится несчётное число раз. И моя голова Ленина... знаете, голова с вечно отбитым носом на Набережной Июньского Пленума? моя работа... Исчезнет. Таких голов в России – тысячи тысяч. Одна голова в неисчислимом тираже. Исчезнет. Потому что – одна. Но она меня кормила. Сначала хлебные зайчики кормили, потом – Ленин. А я мог бы... О, я мог бы – и голову Иоанна Крестителя на серебряном блюде.

И – Анны Карениной на шпале и даже – фантастического профессора Доуэля. Увы и ах, чего я мог бы! Смотрите. Вот рука. Вот сосулька в руке. Жизнь как сосулька. В большой тёплой руке Творца... Благословим же, уважаемый, хотя бы сосульку типа нашей Снегурочки. Помолимся и причастимся. Будьте любезны, вот фляжечка. Там замечательный анисовый аперитив. От тётки Хаси. Фантастическая женщина. Где она этот напиток достаёт – уму непостижимо. Между прочим, как вы думаете, может быть, голову Ленина на Набережной официально переименовать в памятник киноактёру Борису Щукину? Глядишь, и по носу щёлкать не будут...

ТЁТЯ ХАСЯ: Ой, да вы только послушайте, шо я скажу, как он такое говорит! Вы же ж не такой дурак, чтоб быть таким идиотом, как этот безумный Бах. Вы же только меня спросите: как этого было? И я вам скажу, как этого было. Сначала статую тётки Хаси перевязали красной лентой для школьных косичек, не скажу, сколько метров, и как раз перед гуляньем Нового года, в обед, при большом скоплении общества вышли заслуженные представители и разрезали ножничками. Хасан Францевич, такой весь заслуженный и на колясочке, взял себе на память от красной ленты. Потом поэт Феликс Хворобушкин декламировал по памяти новые стишки про событие. Милые дети прыгали, как воробышки. Товарищ Помиранцев со своими бригадирцами, все были подстрекаемые весёлым энтузиазмом, тоже прыгали и допрыгались, что специально разбили бутылку «Советского шампанского» об тётихасин ледяной бок. Арнольд с кинохроники заснимал этот факт на кинокамеру, для истории. Десять киосков на площади работали, все как один. Редактор «Огней коммунизма» товарищ Будьтаков лично у меня спрашивает интервью: вы, тётя Хася, во-первых, счастливая советская женщина или не очень? а, во-вторых, с кем сейчас ведёте соцсоревнование, если не секрет? И я говорю ему прямо в блокнот: да, да и да! но мне бы ещё такое счастье, как у той рабыни Изауры, которую крутят по телевизору, а второй ваш вопрос излишний, потому что горторг намерен собираться распространять мой опыт и бросать меня из точки в точку по всему городу для повышения круглосуточной культуры обслуживания. Редактор Будьтаков, милый такой, очень весело смеялся. Грузин Зураб с цыганским бароном Николашей прямо с телеги торговали мандаринчиками... Всенародное-таки гуляние. Правда, один всё шнырял и шнырял с постной рожей, и всё допытывался: а где санкция и чо это вы все здесь улыбаетесь? Так ему Вадя Мошонкин сказал: тут вам не здесь! – и набил морду за провокацию, и тот шныряльщик, который искал санкцию, даже засмеялся: давно бы так, сказал, а то, понимаешь, ходят все, улыбаются, а кому улыбаются – неизвестно... И сказал такое, и присоединился, как миленький. Ему же ж дальше некуда! А я стояла с жемчужными зубами и улыбалась во весь рост. То есть, как бы замаскированная под Снегурочку. На голове кокошник типа короны. Сарафан

с головы до ног. Разными красками из пульверизатора набрызганная, где надо. И руки вот так, на груди. А в руках держу кувшин! А на том кувшине чёрным по белому написано крупными буквами: «Молоко»! Это такое мои бандиты придумали, про молоко, и так правильно придумали, что я даже хотела сказать: дорогие мои бандиты и так дальше, но я не сказала, это ж и без всяких слов понятно, что агитировать какую-нибудь водку – это ж полное ж горе для всей нации советского народа!.. Так вот, я стою, как монумент. Который вылитый прямо я, изо льда. Щёчки розовые, зубки перламутровые, в глазках угольки. Стою напротив себя и вспомнила, когда китобойный капитан флотилии «Слава» сам товарищ Соляник говорил мне с понижением голоса: такой «Славы», как у нас в Одессе, вы нигде в мире не найдёте, мадмуазель Хася, и я желаю от всей морской души, шоб вы ходили с нами по шарикю аж до того материка Антарктиды и шоб вы стали достойной прелестью украшения для нашей кают-компании в должности подавальщицы! Но, скажите мне, что я сделала вместо той подавальщицы? Я сделала, что бежала сломя голову, как несчастная, от того поца Баха куда подальше, на стройку коммунизма! Я была юная и нежная, как бабочка. И мне было глубоко без разницы, где имелась эта стройка. Я тот коммунизм хочь где построю своими собственными руками и гуманным отношением ко всем видам человечества... Ой, ну я как вспомню, так сразу вспотею, честное слово! Стою, значит. И вокруг все люди как люди. И только этот Рувимчик Бах испортил-таки светлую минуту молчания! Ему полъязыка прилипло и осталось на зубном японском инструменте, так он мычит и руками машет, как немой. И что же он такое мычит и машет? Вместо того, чтобы подойти как элегантный мужчина и хотя бы руками сказать, как немой: мадам Хася, поздравляю и обожаю как ценную женщину в полном объёме! – он вместо этого устроил, как шут, знаете чего он устроил? Чистую свадьбу! Со Снежной Королевой! На виду всей целой Площади Падших Борцов! Как вам это кажется? Если б он уже? Два больших пальца? Заложил за лацканы? Для «семь-сорок» танцевать? Вы напрасно будете думать, что той старый лапсердак, которого зовут доктор Бах, заложил за лацканы или за воротник. Он был трезвый, как та Снежная Королева, и устроил настоящую пьесу в театре, или, ярче скажем, гастроль цирка. А я стою, как дура, и смотрю без одного слова сказать. С одной стороны, Королева – это как бы я. Но с обратной стороны, это же просто лёд с малоперспективной речки Куда! И вот какой бы возможной трагедией эта комедия закончилась – уж не знаю, не знаю, и никто не узнает, потому что на площадь как будто ветерок дунул. Это строим, в колонну по четыре, с красным флагом вышли эти несчастные дураки из Жёлтого Дома. Сначала шли сурово, а потом как гаркнули про «Смело, товарищи, в ногу!», да как враз накинулись ломать новобрачную молочницу! А Хасан Францевич из колясочки кричит им: дураки, не то ломаете и крушите! валите в другой конец! где Зимний Дворец! И эти из Жёлтого Дома кинулись в другой

конец, где Зимний Дворец, тоже ещё тот ледяной дом и балет на льду... И тогда началось такое, на какое мы со статуей смотрели со стороны, как подопытные зрители. В том числе и доктор Рувимчик Бах, молодой и красивый, как первый босяк...

ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Плачьте, лицедеи! Плачьте, актёры, поэты, художники, музыканты, зодчие, ваятели, валятели дураков! Плачьте взаправдашними слезами! Вы и не догадываетесь, какого талантливо-го, какого благодарного зрителя, слушателя, созерцателя и почитателя вы потеряли вчера. И сегодня. И завтра.

Вчера, предположим, по косточкам разбирались в том, что было вчера. Разборки – в служебных, с табличками, кабинетах Серого Дома, и Жёлтого Дома, и Тихого Дома, в конторе товарища генерала Поцелуйко: «Как этого было?», выражаясь словами незабвенной тётки Хаси. Кого привлекать? И, главное, почему это вдруг, вопреки учению, победили так называемые юнкера из так называемых хасидов, оборонявшие Зимний Дворец? И почему это так называемые пациенты Жёлтого Дома, штурмовавшие Дворец под правильным лозунгом «Вся власть Советам!», вдруг проиграли, как коровы на льду, и разошлись весьма довольными погулять по окрестностям до 0 часов 30 минут с разрешения доктора Штукарского? Но вместо погулять, они, одуревшие от избытка кислорода, хороводили до 0 часов 30 минут вокруг незаконной статуи с дурацкими размышлениями в полный голос: а что было бы, если бы оно было? И ещё вопрос: почему с таким позорным треском провалились негласные осведомители «Бурят», работавший «под еврея», и «Еврей», работавший «под бурята»?

И сегодня, предположим, разбирались.

А завтра, без всяких предположений, уж была настоящая весна.

Восемнадцатое апреля. Международный день памятников. Несогласованный с днём рождения Владимира Ильича Ленина, основателя коммунистических субботников.

Жарило жёлтое солнце.

И ледяная тётка Хася, послушная природе, истаивала на глазах сочувствующей публики. Оплывала. Оседала. Истекала, как срок.

Это были развесёлые похороны, по определению неосторожного поэта Булата Шалвовича Окуджавы, самого русского грузина из всех московских поэтов. А Булату жизнеописатель Нерона подмигивает:

«... И он приказал перед смертью в своём присутствии вырыть могилу по мерке своего тела и вместе с тем собрать, где найдутся, куски мрамора, а также принести воды и дров, которые вскоре понадобятся для его трупа. При этом он всякий раз всхлипывал и повторял: "Какой великий артист во мне погибает!"...»

Плачьте, артисты! Вы, измеряющие время по-своему, на свой лад, на сезонный, даже и не догадываетесь, каких великих неронов рождают сезоны.

Впрочем, кадры решают всё. Надо лишь немного: чтобы их – разрешили. И уж тогда... О, тогда они покажут! Тогда они, чудотворным образом получившие ярлык на собственную мистерию, всей подсолнечной, живой и неживой, натуре покажут в натуре, как может собственных Неронов российская земля рождать, сограждан награждая, одаривать, окормлять и т.д., и т.п. — уж невесть с какого рожна-бодуна, неведомого, ненаглядного, однако же всенепременно помазанного духами новейшей святости и посему — бого/рогоноснаго, истинно так, и вот от таковой-то кадровой политики возопиют еретики на колу, и псалмопевцы старые воспрянут по-новому, и рог спасения забодает заблудших во мраке...

Всё. Конец. Пел скворец. А кто не слушал, тот сам дурак.

XLIV

– Сам дурак! – воскликнул Жёлтый. – Подумаешь, принц какой!

– Да, – сказал Красный. – Я стоял, стою и буду стоять на принципах и упираться в то, что картёжная игра – это огрызок прошлого и в некотором роде памятник монархизму.

А Зелёный спросил аккуратно, с большим запасом терпения:

– Так, может, вы вместо карточной игры предпочитаете шахматы?

– Шахматы? Тоже нет! – Красный даже поморщился. – Никогда и ни за что. И карты, и шахматы, по сути дела, всё равно один хрен. Короли, понимаешь... королевы, вальты разные, офицерье... А если белые офицеры, так это уже, знаете ли, всякая колчаковщина получается. И я удивляюсь, как этого факта не замечает нынешнее руководство.

– Слон, – сказал Жёлтый.

– Кто слон?

– Фигура называется слон, а не офицер.

– А слонов в России вообще никогда не было. Только в цирке.

А Зелёный вновь вошёл в разговор аккуратно и спокойно.

– В целом, получается следующее: жизнь не придумала новых игр, все игры стары, как мир, – сказал Зелёный и сделалось ему грустно и скучно, и некому руку пожать, и развлекательные настроения покинули голову, а какие-то специальные мозговые сцепления передач безнатурно, как по маслу, вызвали из памяти пропахший грибами тамбур пригородной электрички, где на дверном стекле имелась трафаретная предупредительная надпись «Не прислоняться!», из которой он, мальчишечка со склонностями к эксперименту, при помощи перочинного складешка и при остром позыве к самовыражению сотворил вопиющую фразу: «Не слон я!»... это было... ах, боже ты мой! это было так давно, что отныне кажется, будто и вовсе не было, и всё же оно случилось, высунуло свой буратинный носик не-

жное соплячество, и вот отсюда, уже из папыкарлиного возраста, понимается как приложение к чему-то более позднему, существенному, после-опытному, вроде лёгонькой отмашки-комментария к словам одного знаменитого древнего ваятеля: беру, дескать, каменную глыбищу, отсекаю всё лишнее и в результате получаю шедевр скульптурного искусства...: – Да, коллеги, в старые игры играть не хочется, а новых не придумали.

– А тут думать не надо, – гнул своё Красный. – Дело простое. Берём ту же самую шахматную доску, лучше стоклеточную, по числу годов в столетии. Так? Клеточки красим в красный и белый цвет. Так? И выпускаем на поле сражения фигуры. С одной стороны у нас будут красные, никаких королей и пешек. Совнарком, комбед, партизаны, чекисты, рабочие и крестьяне...

– Кони тоже цветные? – спросил Жёлтый.

– Обязательно. Красный цвет у Конармии Семёна Михайловича Будённого. Короче, вы поняли? Получается нормальная пролетарская армия, и игра – то же самое.

– С тобой не соскучишься, – сказал Жёлтый. – А с обратной стороны кто будет?

– Очень же опять просто. С белой стороны, пожалуйста, короли, императоры, разные монахи, керзоны, папы римские, лига наций, недорезанное кулачье и так дальше, смотря в какой век играть. Ну, как идея? Я так думаю, что хоть сейчас можно подавать заявку в патентное бюро.

– В импотентное, – сказал Зелёный. – Потому что не пройдёт ваша заявка.

– Это почему же не пройдёт? Похоже, что вы против основ диалектики развития.

– Я не против диалектики развития, не углубляйте. Я всего лишь хочу заметить, что в вашей игре заранее определено неравное партнёрство. По-вашему, красные фигуры непременно должны одерживать победы над белыми. Так, что ли?

– А как иначе?

– Но это недемократично. В жизни так не бывает.

– Ладно, – сказал Красный. – Допустим, возможны варианты. С комплексным подходом и с учётом различных групп населения. Например, пусть с одной стороны самой крупной фигурой будет современный персек или предрика...

– Кто, кто? – спросил Жёлтый.

– Председатель райисполкома.

– Так и говори ж по-русски, ёлки-палки.

– Вы что, с луны свалились? Я и говорю: предрика.

– Ты не говоришь. Ты предрикаешь.

– Успокойтесь, коллеги, – сказал Зелёный. – Расставляем фигуры дальше. Кто у вас намечается на роль королевы?

– Жена предрика, – фыркнул Жёлтый.

– Не жена... Пусть хоть и секретарша, а что? Тут можно сколько угодно соображать. Но – без слонов. Без коней. Зачем они-то? У нас на современном транспорте – что? Других средств нету? Есть. И я уверен: новые игры, современные, пробьют себе путёвку в жизнь. А то вы тут всё разводите всякие шахи-маты... Не по-нашему это, нехорошо, и никакой диалектики развития.

– Понятно, – сказал Жёлтый. – Заяц трепаться не любит.

– Кто заяц? – повысил голос Красный.

А Зелёный вдруг запел приятным баритонцем:

– Что наша ж-и-и-изнь? Игра-а-а... Доигрались! А знаете ли, коллега, что идей, подобных вашей, у нас в стране – хоть пруд пруди и разводи зеркальных карпов?

– Да ну вас на хрен, – махнул рукой Красный. – Сами-то вы на что способны? Что предлагаете?

– Лично я? – спросил Зелёный.

– Да, конкретно. Что?

– Думаю пока что.

– Ясно. Чапаев думает, Герцен думает, интеллигенция думает... А на что вы намекаете своими демонстративными думами? Может, вы намекаете, что я, как директор комбината, ни о чём уж и не думаю? Так зря вы так думаете. Потому что директор тоже думает. Потому что директор, к вашему сведению, это сила и ответственность. В его руках всё. Кадры, фонды, финансы, бетономешалки... А у интеллигенции что? Одно образование и ни одной бетономешалки...

– Да ты что, дядя, – укоризненно произнёс Жёлтый. – С раскладушки упал? Какие бетономешалки? Ну, с вами с обоими не соскучишься, ей-богу! А всё ж таки об чём вы думаете? – это уж к Зелёному Жёлтый повернулся.

– О сумерках богов.

– Сам научного атеизма не признаёт, а сам думает, – буркнул Красный.

– Признаю, – сказал Зелёный, – но отчасти. То есть, в одной части, в научной. А в другой части... Там ведь красиво, коллеги. Пусть сказки, но – красиво. Богиня мудрости, например. С совой в руках. Какой символ, какая аллюзия! Великий Гегель говорил: сова Минервы взлетает в сумерки...

– И что толку из этого символа? – спросил Красный. – Мышей ловить тоже кому-то надо.

– При чём тут мыши? Вы не находите в этом образе повода к печальным размышлениям?

– Да у меня и без этих образов поводов полно! Чего ж о них думать? Пусть сова и думает. У ней времени прорва.

– Ах, дорогой мой... Да не в сове смысл и вся печаль. В человеке. В гомо сапиенсе. В том самом, который начинает мудреть и кое-что

соображать в жизни лишь тогда, когда она к своему концу приходит. В сумерках жизни.

– Надо было днём думать, – сказал Красный.

– А днём человек не думает. Он вокруг лежачего камня топчется, под который даже сто граммов не течёт, и надписи никакой внятной, пусть даже и сказочной, вроде указателей: налево пойдёшь, направо пойдёшь... Нет выбора. Крутись вокруг да около. Или так, по-современной философии: хочешь жить – умей вертеться.

– Мистика это, – сказал Красный. – И нематерьяльно.

– Ну, так что же с того, что по-вашему нематерьяльно? По-моему, так очень даже матерьяльно, когда имеешь дело с неодошевлёнными фондами и бетономешалками.

– Значит, получается, что бетономешалки для дураков?

– Я так не сказал.

– Вы так не сказали. Но вы так подумали!

– Мужики, мужики! – вострепнулся Жёлтый, уж он-то знал, чем по вечерам заканчивались утренние дебаты. – Не кипятитесь и не думайте. Ну, что вы, честное слово, как маленькие, в самом-то деле...

– Ладно, – сказал Красный. – Через десять минут обход доктора Штукарского будет. Давайте затыкаться. Но вечером мы выясним, кто у нас думает, а кто у нас не думает. Как всегда?

– Непременно! – ответил Зелёный. – Я готов к барьеру, милостивый государь.

И пижамы успокоились на своих горизонтальных койко-местах: красная, жёлтая, зелёная... Каждый пижамовладелец вроде сам по себе, а вкупе – уже и светофор, в котором срединный жёлтый цвет, знак внимания – будто бы пограничный.

Однажды в Англии несколько горожан пожаловались в суд на своего соседа, чей дом располагался в непосредственной близости. Дело в том, что ядрёный жёлто-канареечный цвет, в который был выкрашен этот дом, плюс чёрные, как уголь, оконные рамы с переплётами вызывали у соседей страшную головную боль. Вердикт суда таков: перекрасить! И перекрасил.

Да нам-то что за дело? – пожмёт плечами иной читатель. Э, нет! Поскольку Сочинитель имеет в натуре тяготение к исторической основательности, то вот и ему улыбнулось подходящее местечко кратенько описать особенности российского национального колорита.

Итак, для разминки: встреча по одежке.

Если в Америке среднестатистический мужчина придёт устраиваться на работу в коричневом костюме, то он, этот мужчина, вряд ли получит желаемое место. Французы предпочитают острые тона и любят контрасты. Итальянцы обожают мягкие расцветки. Прибалты тяготеют к зелёному и коричневому. Азия млеет в жёлтом, голубом и ярко-рыжем. Союз Советских Социалистических Республик,

вторая половина двадцатого века: текстильные фабрики производят в основном ткани для гражданских костюмчиков трёх мрачных цветов – серого, коричневого и чёрного. Из их сочетания образуется сложная палитра жухлой осени, прошлогодних листьев и увядания; палитра, которую социальные психологи называют грязной, тухлой, пьяной и нездоровой. При этом в серой, в буквальном смысле слова, толпе изредка возникают столпы рукотворные неестественно ядовитого, вульгарного цвета. Пощёчиной общественному вкусу и разрушением устоев называют психологи ярко-жёлтый, и апломбом непристойности – нахально-оранжевый; замечено, что люди стараются носить одежды таких расцветок как бы в противовес общему настрою, как протест, добровольно становясь участниками условного спектакля в модернистском стиле эстетики безобразного, и к концу века это, вероятно, как раз то, что надо: если культ здорового тела сопутствует началу столетия, то конец его отличается увяданием и болезнями.

Российский имперский знаменосный двуколор – жёлто-чёрный.

Есть в нём, впрочем, и белая полоса. Но она не в счёт. Белый цвет – вроде бы и не цвет, и не свет, а, скорее, просвет, без которого, условно-всемирного и молочно насмехающегося над ворошиловскими стрелками, было бы уж совсем невмоготу.

Жёлтая окраска столичных домов в стиле ампир, которым завершился архитектурный классицизм, подвигла поэта девятнадцатого века Алексея Константиновича Толстого к стишкам:

*Заметил я, что жёлтый этот цвет
Особенно льстит сердцу патриота;
Обмазать вохрой дом иль лазарет
Неодолима русского охота;
Начальство также в этом с давних лет
Благонамеренное видит что-то,
И вохрятся в губерниях сплеча
Палаты, храм, острог и каланча...*

И – далее:

*...хорошим было тоном
Казарменному вкусу подражать
И четырём или осьми колоннам
Вменялось в долг шеренгою торчать...
И как же всё смешалось в Доме!*

Охра, прежде именовавшаяся вохрой. И ВОХР, или вооружённая охрана, задастые тётки с наганами. Ампир-вампир и нечто йодистое, горчичное, дезинтерийное, воспалённое, обгоревшее. Колонны, вознесённые не в верх, а в долг. Осень. Умирание с одновременным от-

чаянным воплем о спасении, о возрождении к новой жизни. Жёлтые дома. Пресса. Нездоровье всеобщего лица...

В первой половине девятнадцатого века казённые больницы для умалишённых начали окрашивать в особый, отличительный цвет – жёлтый.

Через полтора столетия в профессиональный жаргон психиатров явилось слово, касающееся их пациентов, – «пограничники», в значении той границы, которая проходит между разумом и безумием.

А на границе тучи ходят хмуро... А на границе – заповедный и дремучий тёмный лес... И – чем дальше влез, тем больше...

И вот уж Сочинитель к главврачу доктору Фаустову подкрадывается, как тать в ночи, за консультацией: кто, что да как?

– Насчёт кто, – отвечает Фаустов, – не могу. Не положено. Врачебная тайна. А если вообще, относительно неконкретного некто...

– Хорошо. Пусть будет некто.

– Тогда так, голубчик. Пишите. Диагноз: острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении с ассоциированным стрессом. В процессе лечения активная психосимптоматика купирована полностью. Ясно?

Сочинитель пожал плечами, а вскорости и до неконкретного Некты добрался:

– И как там оно вообще?

Некто пожал плечами:

– Да вообще-то правильный я человек. Нормальный. Но вот только жуткая домашняя катастрофа образовалась. Конкретно – тёща!

– Ну, и что с того? У всех тёщи.

– Да? Такой тёщи, как у меня, во всём Хибаровске нет ни у кого. У меня не простая тёща. У меня тёща, извините за натурализм, ссытся. По ночам. В постели. Болезнь такая. А какой дефект – такой и эффект. Запах в квартире, как в общественном гальюне на желдорвокзале. Неистребимый. Каждый день поливаю помещение флаконом «Тройного» одеколона – бесполезно. У всей семьи во главе меня лица стали жёлтые и японские от такой жизни на советской территории в двадцать квадратов... Ясно?

Да отчего же не ясно Сочинителю? Ясно: вопрос с тёмным лесом требует дополнительной проработки, разработки, обработки и переработки.

Доктор Фаустов и доктор Штукарский, следовательно, и старшая медсестра Софочка Бабореко называют пациентов так: голубчики. В глаза.

Голубчики, они же пограничники, называют медперсонал так, заглазно, разумеется: Фаустов – «Этот», Штукарский – «Рыльце Печального Образа», а Софочка – просто Софочка.

Штукарский с Софочкой, а Софочка с блокнотиком утренний обход совершают.

Бело-халатные обязанности.

Коридор длинный. Слева – окна с фигурными решётками из гнуптого арматурного железа. Справа – палаты. В середине палат – общая столовая. Плакат новенький с обеденным призывом: «Товарищи больные! При себе иметь чашку, ложку и кружку!»

– Я же ведь предупреждал, – печально говорит Штукарский Софочке, – чтобы впредь не было никаких больных. Ну, что же вы, право! Если сто раз сказать человеку: больной, больной...

Софочка влюблённо ловит каждое слово доктора и, не глядя в блокнотик, чиркает карандашиком, нашептывая:

– Больной, больной... Устраним больных...

Напротив столовой, в выгородке из стеклоблоков – холл: полсотни посадочных мест, телевизор «Рубин», пальма в кадучке и – в самом центре – Оно.

О, это Оно!

– Трудотерапия, – говорит доктор Фаустов. – В принципе, не возражаю.

– Чудище обло, – говорит доктор Штукарский. – А также озорно и лаяй. Вот только в каком смысле?

– Шобла-вобла, – говорит санитар Коля-укольник.

Софочка не говорит. Софочка повторяет вслед за доктором Штукарским:

– Да, да, вот именно, в каком смысле стоит здесь этот памятник неизвестному зрителю?

Оно.

Манящее бессознательное.

Всё пригнано, схвачено, подогнано, прилажено, спаяно, приспособлено, сцеплено, связано, прикручено, привинчено, пристроено, сопряжено, пристёгнуто, состыковано – друг к другу, друг с другом, друг в друге, друг из друга, друг от друга:

- мясорубка;
- мышеловка кашканного типа;
- навесной амбарный замок;
- змеевик от самогонного аппарата;
- резиновая галоша 45-го размера фабрики «Красный треугольник»;
- эмалированный ночной горшок;
- берёзовый веник;
- скворечник щелястый;
- лобзик для выпиливания по фанере;
- оловянный солдатик-мушкетёр;
- школьный глобус без подставки, но зато с красной матерчатой повязкой на тесёмочках: «Народный дружинник»;

- чайное ситечко;
- жестяной номерок от неизвестного публичного гардероба под номером 212;
- трёхтонный судейский свисток-органчик;
- торцовый ключ-трёхгранник для вагонных дверей;
- канцелярский дырокол;
- пустотелый пластмассовый корпус радиодинамика «Маяк»;
- электромонтёрные «когти» для лазания по столбам;
- непарный конёк «Снегурка» с форсисто загнутым носиком;
- нижняя половина матрёшки;
- собачий ошейник;
- старинный бронзовый подсвечник;
- счетоводческие счёты с полукомплектном чёрно-белых деревянных кругляшек;
- оранжево-весёлая клизма;
- шёлковый абажур;
- новогодняя маска «Зайчик»;
- арифмометр «Феликс»;
- клеёнчатый портновский сантиметр, обёрнутый вокруг манекена безголового дамского пола;
- штанген-крон- и прочие циркули;
- гипсовый бюстик акына Джамбула Джабаева;
- колпак настольной лампы зелёного стекла;
- медали (без колодок): «За трудовое отличие», «За спасение утопающих», «За победу над Германией»;
- балалайка без грифа;
- чугунная батарея трёхсекционная парового отопления;
- велосипедный насос и руль со звонком;
- икона без оклада;
- оклад без иконы;
- стиральная доска из оцинкованной жести...

Предметы и вещи жизни и быта, первой и последней необходимости, народа и вождей, вожделения и скромной домашности, научно-технической революции, чёрт побери:

- зубная щётка;
- круглое карманное зеркальце;
- китайский термос с красными драконами;
- резиновая грелка;
- мельхиоровый подстаканник;
- патефонная пластинка «Дуэт Одетты и Раджами из оперетты «Баядерка»: муз. Э. Кальмана. К. Н. Шеляховская и В. А. Бунчиков в сопр. орк. п/у М.Н. Жукова. Комитет по делам искусств при СНК СССР. Апрельский завод»;
- жестяной почтовый ящик «КВ.№ 13»;
- килограммовая гирька от торговых весов;

- керосиновая лампа без стекла;
 - медный напёрсток для ручного шитья-вышивки;
 - пивная бутылочная открывашка;
 - мыльница;
 - алюминиевые ложка, чашка, кружка;
 - картонный билетик для проезда на электричке;
 - подковка от каблука женской туфли;
 - мраморное пресс-папье;
 - бельевая прищепка;
 - краник фигурный от самовара;
 - фарфоровый электроизолятор;
 - катушка-тюрючок без ниток;
 - картонный патрон к охотничьему ружью 16-го калибра;
 - кожаный гаманок с защёлкой в виде двух шариков;
 - телефонная трубка аппарата «Эриксон»;
 - шприц без иглы;
 - спичечный коробок «Летайте Аэрофлотом!»;
 - роговая оправа очков без стёкол;
 - конфорка от электроплиты;
 - фарфоровая ручка с цепочкой от туалетного сливного бачка;
 - шарообразный аквариум, доверху заполненный полноценными юродивыми копеечками с гербом – чешуйки товарно-денежных отношений, гербарий;
 - заводная ручка от патефона;
 - дерматиновая крышка футбольного мяча со шнуровкой;
 - детский кубик с арбузом и буквой «А»;
 - кисточка-помазок для бритья;
 - солдатская фляжка;
 - полотно для ножовки по металлу;
 - велосипедная цепь;
 - электролампочка;
 - глиняный горшок с живой геранью;
 - перламутровый театральный биноклик;
 - городошная бита с металлическими накладками...
- И всё это пронизано втулками, маятниками, колёсиками, трубками, шлангами, шатунами, шестерёнками, маховиками, противовесами, пружинами, клапанами, поршнями, кривошипами, цепными передачами... Опутано проводами и пластмассовыми цветами на проволочках из похоронных венков... Соединено винтиками, шпунтиками, хомутиками, болтиками, гаечками, и у каждого болтика – своя гаечка, и у каждого шпунтика – свой пунтик привязки, и у каждой сцепки – своя зацепка:
- туристический компас;
 - самодельная зажигалка из патрона к самозарядному карабину Симонова;
 - бронзовая дверная ручка в виде морды льва, держащего в зубах кольцо;

- лезвия безопасных бритв марки «Нева» и «Балтика»;
- пуговицы разные;
- игровой «бочонок» от лото с числом 11, называемым игроками «барабанные палочки»;
- гитарный гриф;
- деревянное откидное сиденье унитаза, приспособленное как рама для фотопортрета американского писателя Хемингуэя: загорелый, седой, бородатый, в белой рубашке-апаш с мережками;
- костяшки домино;
- гирлянда из канцелярских скрепок;
- фотоаппарат «Зоркий» без объектива;
- электросчётчика чёрный череп, эбонитовый;
- гармонь-хромка «Саратовская» с малиновыми мехами;
- табличка медная, надверная: «Надворный советникъ Карль-Августъ Шлиппенбахъ»;
- пионерский горн, завязанный узлом;
- значок «КИМ» (Коммунистический Интернационал Молодёжи);
- колесо мотороллера;
- пружинный амортизатор мотоцикла «Ковровец»;
- голубь или самолётик из голубой тетрадной промокашки;
- войлочный тапочек;
- красная эмалированная звёздочка солдатской пилотки;
- мраморный слоник, один из традиционных семи;
- щипчики для сахара кускового;
- ореховая рамочка для фотографии, без фотографии, и правильно, что без фотографии, потому что снимок – это, вообще-то, такое дело... кто- да что- да с кого – да кого – да за что... тут уж целая философия в одном альбоме. В пелёнках. В кровати. В распашонке. Писька наружу. В ванночке. «Мама мыла Рому». В коляске. В детсадике. На велосипеде. Первый класс, стрижка наголо. «Мама мыла раму». Солдат-артиллерист. Стрижка наголо. Студент. Строительный отряд. Уже начальник цеха. Ещё начальник цеха. И ещё начальник цеха. Пенсионер. В гробу... Нет снимка – нет и вопросов...
- чёрный шахматный конь;
- стеариновая свеча в гильзе крупнокалиберного пулемёта;
- корпус карманных часов на цепочке, а под стеклом, вместо циферблата, – бабочка;
- спираль электроплитки;
- стопка гранёная с жульнически толстым донышком;
- железные бигуди;
- розовая целлулоидная кукла «Пупсик» без левой ручки;
- плоский карманный фонарик без батарейки и лампочки;
- кисет с вышивкой нитками-мулинэ: голуби целуются;
- микроскоп;
- чугунная сапожная «лапа»;

– портсигар с гравировкой: «За достигнутые успехи...» (далее неразборчиво);

– латунная бляха матросского ремня, с якорем;

– соска-пустышка с колечком;

– трофейная пишущая машинка «Ideal» из города Дрездена с русской клавиатурой;

– стальная сечка для рубки капусты;

– нательный крестик, православный;

– стеклянная чернильница-непроливашка;

– моторчик от стиральной машины «Вятка», включаемый в электросеть один раз в сезон, при смене времён года, в первые календарные числа зимы, весны, лета, осени... и вот тогда зажигается единственная лампочка и Оно оживает: булькает, скрипит, шуршит, шебаршит, урчит, фырчит, пыхтит, щёлкает, шелестит, безумству храбрых поёт Оно песню, и надувается, и ворочается:

– чугунная узорчатая педаль швейной машины «Зингер»;

– бронзовая ступка с пестиком;

– поддужный колокольчик;

– костыль с резиновым наконечником;

– разбитый градусник;

– телескопический штатив к фотоаппарату;

– абразивный точильный круг;

– связка ключей с брелком «Эйфелева башня»...

А в остальное время года живут только часы-ходики с чугунной ореховой шишкой на цепи; зелёные кошачьи глазки бегают весело, неумоимо, ритмично, туда-сюда, туда-сюда, через каждые шестьдесят минут кошка открывает створчатый ротик и вместо положенного «мяу» говорит: «ку-ку», а стрелки продолжают своё круговращение против обычного хода часов – назад... Тик-так!

Каждый обитатель Жёлтого Дома, устраивая в общем Оно то, что имеет или желает, возможно, и думает: зачем? для чего? кому это нужно? что из этого получится? Но вполне возможно, что и не думает. Зачем? Для чего? Кому это нужно? Что из этого думанья получится? Скорей всего, даже не думает. Не задаётся вопросами. Иначе и не возник бы, и не возвысился бы в холле этот, постоянно обрастающий деталями, разрастающийся вширь и ввысь, памятник неизвестному зрителю, как выражается Софочка Бабореко.

Механизм, значит. Он.

Конструкция, значит. Она.

Сооружение, значит. Оно – ни одна деталь, которого не служит по своему прямому назначению. Смысл и умысел, замысел и промысел скрыты неизвестно где и неизвестно в чём. Так ведь гражданам, в сущности, есть что скрывать друг от друга! От самих себя, пусть даже формально-внешне, и от специалистов по внутренним органам. Ибо сказано казной, ибо спущено с цепи либо запущено искусственным

спутником: от каждого, дескать, по способностям, а каждому... нет, чтобы прямо в лоб сказать: по голове, мол, или по мозгам! – так нет же, сказано обтекаемо: по уму. А оно нам надо? Может, и вовсе не надо.

Поздними вечерами, после отбоя, – послушать: как Оно тикает? Этого, может статься, бывает довольноно.

– Здравствуйте, голубчики, – сказал доктор Штукарский.

И потянулись лицами к Рыльцу Печального Образа все трое: Красный, Жёлтый, Зелёный.

Зелёный приложил по-военному ладонь к виску, натужился и загудел:

– К та-а-аржественному маршу! На одного линейного дистанция! Равнение направо-о-о! Первый бат-т-тальяон прямо! Остальные на-право-о-о! Ша-а-гом ма-а-рш...

– Лежите, лежите, – печально сказал доктор. – Сегодня, надо полагать, у нас с вами парад будет? Смотр войскам гарнизона?

– Сегодня у него маневры совы, – сказал Жёлтый.

– Сова Минервы, – поправил сопалатника Зелёный.

– Какая разница? Маневры Минервы! Однохерственно, дело нервное, – сказал Жёлтый и отвернулся к стене.

А Зелёный покраснел.

– Правильно, – сказал он. – Совсем забыл. Провалы памяти.

– И давно? – спросил доктор.

– Что давно?

– Провалы.

– Какие провалы?

Доктор помолчал, пожевал губами, взглянул печально на Софочку, вздохнул и спросил Зелёного:

– Алкоголь употребляете?

– А что? Есть?

– Есть, голубчик. У нас всё есть.

– И это можно?

– Вам уже всё можно. В ближайшие три дня. Медицина, сами понимаете, в некоторых случаях бывает бессильной.

– Понял, – сказал Зелёный. – Значит, три дня?

– Три. А может, чуть больше, плюс-минус, угадать трудно, но последние анализы...

– Да какие там анализы, доктор? Я ж похудел! Мне и анализы уже сдавать не из чего...

– Лишний вес только во вред. И я, к сожалению, должен вас выписать, не огорчайтесь. Вот денька через три снимем гипсик...

– За что? – воскликнул Зелёный.

А доктор Штукарский с Софочкой уже к Красному подошли.

– Ну-с, голубчик, как наши дела? Что беспокоит?

– Фолклендские острова, – прошептал Красный.

– Вот как? Интересно. А ещё есть жалобы? Конкретней, пожалуйста.

– Есть.

– Какие именно?

– А почему, – заорал Красный, – эта Маргарет Тэтчер туда лезет со своими авианосцами? Чего ей там надо, чёртовой бабе?

– Тихе, тихе... Успокойтесь. Имперская политика. Время по-гринвичу. Международные интересы. Что ещё?

– А ещё это... Извините за вчерашнее, доктор. Я вчера чего-то слишком по-дурацки себя вёл. Уж слишком чересчур...

– Да, да, конечно, бывает... Есть мера в вещах, голубчик. Но и вы готовьтесь к скорой выписке. Вот через недельку гипсик снимем... Только, ради бога, не устраивайте больше никаких баталий! Прошу и настоятельно требую.

– А Этот что?

– Я думаю, доктор Фаустов против вашей выписки возражать не будет...

С тем и покинул доктор Штукарский с Софочкой больничную палату.

Красный побледнел, Зелёный почернел, а Жёлтый, развернувшись от стены к сообществу, задумчиво произнёс:

– А чо-то сегодня доктор ко мне не подошёл...

– А зачем? – сказал Красный. – Видно же, что больному стало легче.

– И он перестал дышать, – продолжил Зелёный.

– Да вы чо это, мужики? – вскинулся на кровати Жёлтый. – Шутки шутите? Не стыдно? У меня от ваших шуточек...

– Это мы заметили, – сказал Красный, – что кушаете без энтузиазма. Неужели снова заболели?

– С едой, вообще-то, надо осторожно, – сказал Зелёный. – Диета нужна.

Жёлтый отмахнулся:

– Да бросьте вы... Диета, диета! Щас про диету анекдот расскажу. Значит, так. Одному деятелю рецепт выписали: утром секс, в обед кекс, на ужин снова секс, а если почувствует недомогание, то обед нужно исключить...

Дружный хохот. Розовые лица.

– Нет, товарищи, – сказал Красный, – вы уж как хотите, так и думайте, а я скажу так: хорошая еда в жизни и трудовой деятельности – первое дело. Вот у меня был случай. Нервное потрясение на работе. Пришёл домой разбитый, как не знаю кто. Жена туда-сюда, валерьянки накапала, элениум, ещё чего-то... А я всё хужею и хужею. И что спасло? Сто пятьдесят граммов водки плюс здоровенный кусок варёного мяса с горчицей! И вот тогда я подумал на трезвую голову: от этой, извините, паскудной говядины, этакой-то малости, можно

сказать, жизнь и нервная система зависит целиком и полностью. Это стыдно сознавать, но это факт... Кстати, о бетономешалках, если уж мы про жизнь заговорили... А то тут некоторые думают, что они будто бы совсем дерьмо, которое не тонет...

То не Зевс-олимпиец Киприду изводит из вод, прекраснорождённую в пене морской...

То не Моисей изводит народ свой из плена египетского фараонского...

То не фараоны изводят среднестатистическую душу населения и новейшую историю – под корень...

То не душеспасительный доктор Штукарский изводит бумагу на воспоминания о жизни, именуемые историями болезни...

То доктор Фаустов священнодействует: готовит доклад в вышестоящую инстанцию.

Ему самому при этом было бы жутко интересно посмотреть репетиционно на самого себя в зеркало, на выражение лица своего, на мимику, на стерильные губы, выговаривающие с сочным выражением машинописный текст. Но зеркала в Жёлтом Доме главврач доктор Фаустов решительно отменил.

«...особенность организации психиатрической помощи состоит в широком внедрении элементов социальной реабилитации, основанных на трудотерапии. Фактор бездействия способствует углублению хронического процесса и, соответственно, усилению психической деградации, поэтому огромное значение в нашей больнице отводится профессиональному обучению пациентов с последующим их бытовым и трудовым устройством. Труд гораздо эффективнее, чем что-либо другое, связывает человека с реальностью. Но трудовой реабилитации предшествует медикаментозное лечение. Подобные меры требуют значительных затрат сил, времени и средств, зато результаты бывают обнадеживающими. За все годы советской власти больница вернула психическое здоровье свыше 300 тысячам человек, а ведь поступали они туда нередко с крайне тяжёлыми психозами. В настоящее время больница располагает новейшими лекарствами производства ведущих мировых фармацевтических фирм. Современные комбинированные медикаментозные способы лечения, несомненно, приносят хорошие плоды. Больные входят в светлый период, симптомы заболевания исчезают. Но многие, в том числе те, кто родился слабоумным, нуждаются не столько в лечении, сколько в реадaptации, то есть хотя бы в минимальном приспособлении к жизни. В условиях больницы это невозможно. Нужна этапность, необходимо постепенно подводить человека к такому психическому состоянию, когда он сможет самостоятельно жить в социальной среде. В юбилейный год 50-летия Советской власти, то есть в 1967 году, у нас в больнице побывал по приглашению крайздора директор Московского НИИ психиатрии, крупнейший учё-

ный врач-психиатр Дмитрий Евгеньевич Мелехов. Специально для наших пациентов он разработал четырёхэтапную систему реадaptации. Дальнейшая практика подтвердила правильность и надёжность этой системы...»

Доктор Фаустов хмыкнул: да уж, против системы не попрёшь, тем паче, если она продиктована из Московского НИИ... там кадры, которые решают всё... там «главный псих» страны профессор Снежневский, теоретик и практик «вялотекущей шизофрении»... о, эта «вялотекущая»! она сидит, оказывается, буквально в каждом внешне здоровом человеке, затаилась до поры до времени, зараза, дожидается случая, чтобы выказать свой нос, язык, рожки, копытца... Система – в системе?! Чур меня, чур!

«...Длительность первого этапа от 3 месяцев до 5 лет. Больным проводится активная биологическая и психофармакологическая терапия. По мере стихания психоза на фоне продолжающегося приёма лекарственных препаратов больные переходят ко второй стадии. Им разрешается свободный выход на территорию больницы. Они вовлекаются в культурно-просветительные мероприятия: чтение журналов и газет совместно с персоналом, просмотр кинофильмов и телепередач с последующим их обсуждением. Играют в шашки, шахматы, домино. Осваивают прикладное искусство: вышивание, выпиливание и выжигание по дереву, плетение, склеивание коробочек для народного хозяйства. Третий этап включает бытовое и трудовое устройство больных вне стен стационара. Относится это к пациентам, состояние которых квалифицируется как «конечное» – полного выздоровления нет, но и острые психозы не возникают на протяжении долгих лет. В ситуациях, когда от больного отказывались родственники, на него распространялся заключительный этап реадaptации по методике доктора Д. Е. Мелехова: по выздоровлении человек выписывался из больницы и зачислялся в штат лечебно-производственного отделения больницы с предоставлением жилой площади. Там, у себя дома, он так и остался в памяти родственников и знакомых «психом», «шизофреником» и обузой. В этом случае даже если он и осмелится вернуться, то при негативном отношении к нему окружающих срыв неизбежен. Суть четвёртого этапа – дать возможность нормально жить человеку, перенёвшему серьёзные психические расстройства, когда ему уже некуда идти. Таким образом, фронт работы психиатрической больницы из года в год неуклонно возрастает...»

И снова хмыкнул доктор Фаустов: система! не попрёшь... и чем паче, тем паче... а доктор Фаустов – не Зевс-олимпиец, не Моисей-руководитель, не фараон, и даже не доктор Штукарский с его либерализмом... из надёжных источников стало известно: доктор Штукарский в курсе того, что в больнице на нелегальном положении существует первичная партийная организация КПСС, созданная по инициативе психбольных... так почему ж не докладывает о том доктор Штукарский? – это во-пер-

вых, а во-вторых, вопрос: хорошо ли это или плохо, что именно здесь – здесь! – и вдруг партийная организация? с одной стороны – голубчики, голуби шизокрылые, а с другой стороны – коммунистическая партия... нет, нет, доктор Фаустов – не Зевс, не Моисей, не фараон, и даже не научно-исследовательский Мелехов Дмитрий Евгеньевич, доктор Фаустов – большой педант.

Он аккуратно складывает в стопочку машинописные страницы доклада, выравнивает по краям, разглаживает. Вот специальная зелёная папочка, дерматиновая... Вот специальная скрепочка, металлическая, блестящая... Кстати, о скрепочке. Некоторые пользуются ею абы как. Доктор Фаустов – не абы. У скрепки две фигурные дольки: длинная и короткая. Так вот, стопочка деловых бумаг скрепляется доктором Фаустовым только и единственно следующим образом: короткая долька – спереди, на первом листе, а длинная – позади, за последней страницей. Делать иначе есть небрежность, неряшливость и неаккуратность, о чём доктор Фаустов почти каждый день да через день выговаривает секретарю-машинистке Викторине Гавриловне, а та послушно молчит, согласно кивает и, тем не менее, продолжает продолжать свой канцелярский саботаж... да сколько же раз надобно ей, голубушке, втолковывать, чтобы однажды и навсегда прекратить втолковывать: дескать, милая вы моя, разухабистая... и так далее...

(Из журнала доктора Штукарского)

«...к чёртовой матери! Потому что Иван Иванович Иванов есть млекопитающее животное из подвида человекообразных обезьян-антропидов отряда приматов. Всё! С точки зрения Дарвина обезьяна звучит перспективно. С точки зрения Максима Горького человек звучит гордо. И здесь – тупик. Привет, приехали! Приветизация приматизации, станция конечная.

19 апреля.

№ 1203. Ударница труда, активистка и коммунистка, заболевает и попадает в стационар психоневрологического диспансера. Врачи решили изъять у неё партбилет. Та не отдаёт: «Хоть убейте!» Узнав об этом, высокопоставленный партийный деятель на конференции приводит этот факт: «Вот пример настоящего коммуниста! Хоть и сумасшедшая, но твёрдо знает и понимает, что дороже партбилета у неё ничего нет!»

Вообще-то совсем не смешно и не похоже на анекдот.

Между прочим, наличие и точность деталей, вносимых в журнал, обязательны. Без них любая история может обернуться легендой или простым анекдотом. Этого не может позволить себе наша история, которая, как говаривал О. Бендер, есть «медицинский факт».

К вопросу о терминах: шуты и шутки, парашуты и парашутки. Греческое рага – возле, при = первая составная часть сложных слов, обозначающая нахождение рядом, а также отклонение от чего-либо,

нарушение чего-либо. Таким образом, вводимый мною в научный оборот неологизм ПАРАШУТ означает: ещё не шут, но – возле шута, поблизости. Со всеми вытекающими обстоятельствами, последствиями и выводами.

№ 1204. Встречаются двое.

– Как поживаешь? – спрашивает один.

– Ничего, – отвечает другой. – Когда плохо себя чувствую, забирает «скорая», а когда хорошо, то милиция.

№ 1205. Врач и его жена прогуливаются по улице. Навстречу им идёт размалёванная девица совершенно определённого рода занятий. Увидев врача, она приветствует его очень мило.

– Откуда она тебя знает? – допытывается жена.

– Конечно, по работе. Успокойся.

– По чьей работе? – не успокаивается жена. – По твоей или по своей?

№ 1206. Психиатр – больному:

– Так вы утверждаете, что платите налоги с радостью? И когда это у вас началось?

№ 1207. Женщина заходит в магазин и глазам своим не верит: кофе, бананы, икра, шоколад, колбасы, мясо всех сортов...

Робко просит продавца:

– Отрежьте мне кусочек баранинки...

А продавец ей – сурово:

– Вы что, читать не умеете? Магазин обслуживает только ветеранов Куликовской битвы.

– Вы сдурели?

– Это вы сами сдурели. А которые умные, так те приносят справки от Дмитрия Донского.

№ 1208. Стоит обкуренный наркоман. Подходит к нему сельский мужик и спрашивает:

– Парень, а парень! Как найти площадь Ленина?

Парень пошевелил губами и отвечает надменно:

– Надо, деревня, длину Ленина умножить на ширину Ленина.

№ 1209. На заседании Политбюро Б. говорит:

– Товарищи! У нас в Политбюро наблюдается полный склероз. Например, вчера на похоронах товарища... товарища... Кстати, где он сейчас отсутствует? Да, так вот, вчера, я говорю, когда заиграла музыка, только я один догадался пригласить даму на тур танца...

№ 1210. Пьяный сидит, уставившись на вентилятор. Думает. Потом восклицает:

– Как быстро, однако, идёт время!

№ 1211. На госэкзамене в мединституте. Лежат два скелета. Экзаменатор спрашивает студента-выпускника:

– Что вы можете о них сказать, коллега?

Студент пожимает плечами.

- Ну, батенька, чему же вас учили все эти шесть лет?
- Неужели это они, – восклицает студент, – Маркс и Ленин?!

20 апреля. Сегодня родился Гитлер. А 22-го, послезавтра, родился Ленин.

Но что случилось завтра, 21-го, в промежутке? История сделала паузу? Вдох, вздох или выдох?

Весна человечества, рождённая в трудах и в бою, состоит в следующем. Красные дни по порядку: Международный женский день, День Парижской коммуны, театра, жилищно-коммунального хозяйства, детской книги, здоровья, авиации и космонавтики, охраны памятников, солидарности молодёжи, породнённых городов, геологов, противовоздушной обороны, советской науки... А в мае ещё предстоят выдающиеся дни: солидарности трудящихся, печати, радио, Победы, музеев, матери, пионерской организации, освобождения Африки, химика, наконец, близкий нам, психиатрам, праздничек – день пограничника: избыток стрессовых, психосоматических состояний, депрессия, неврозы, социальная дезадаптация, алкогольная и наркотическая зависимость.

Кстати, о В.И. Ленине. В своё непростое время он ввёл в партийно-советский лексикон выражение «полезные идиоты». Так он называл тех вполне разумных представителей буржуазного лагеря, которые не за страх и не за деньги, а исключительно по убеждениям лили воду на мельницу своих могильщиков. Похоже, своеобразные проявления «полезного идиотизма» нетрудно заметить и в наше непростое время.

21 апреля. Из книги Г. В. Плеханова «К вопросу о развитии материалистического взгляда на историю» (М., Госполитиздат, чуть не написал Господииздат, 1938, стр.67): «Сова Минервы начинает летать только ночью. Когда философия начинает выводить свои серые узоры на сером фоне, когда люди начинают вдумываться в свой собственный общественный строй, вы можете с уверенностью сказать, что этот строй отжил своё время и готовится уступить место новому порядку, истинный характер которого опять станет ясен людям лишь после того, как сыграет свою историческую роль: сова Минервы опять вылетит только ночью. Нечего и говорить, что периодические воздушные путешествия мудрой птицы очень полезны». Всё понятно: серые узоры на сером фоне, сова, философия, сумерки суток. Но есть ещё и сумерки сознания!

22 апреля. Снова В.И. Ленин навеивает: Лев Толстой как зеркало русской революции. Банальные красоты: глаза как зеркало души. Сказки. Кривые зеркала. Приметы верные и суеверные. Комнаты смеха. «Над кем смеётесь? Над собой смеётесь!» Зазеркалье.

А между тем, зачем, с какой целью д-р Фаустов запретил в Жёлтом Доме присутствие зеркал? Острое, колющее, режущее? Малоубедительно.

Вот пациент Почечуйский в таз с водой часами смотрит. Что ищет он в стране далёкой? Говорит: лицо.

А вообще как-то странно получается: если в Жёлтом Доме зеркала запрещены, то в Сером Доме – наоборот. По слухам, сам товарищ Краснопресненский–Крестовоздвиженский явился инициатором перестройки в партийном доме: мы, дескать, должны отражать запросы и настроения масс... и так далее. Может быть, хозяйственники его в буквальном смысле поняли? Тем не менее, – факт, парашутка, отражающая сумасшедшее обилие зеркал в Сером Доме, от входных дверей до коридорных стен и потолков; попадая туда, человек множится в свете недоступных теорий. Но у зеркал нет иной теории, кроме теории отражения. Зеркало, ко всему прочему, есть самая умышленная вещь, сделанная человеком. А – для чего? Он смотрит в зеркало, а на него смотрит – кто? Чего желает человек перед зеркалом? Поправить галстук и причёску? Но зеркало придумали не модники и модницы. Зеркало придумала природа. А потом его снова придумали философы. А люди не поняли или забыли – для чего оно? И никто уже толком не знает. Ни я, ни Фаустов, ни тов. Краснопресненский–Крестовоздвиженский, ни весь его партполитпросвет.

Между прочим, в философском словаре обозначено: отражение есть всеобщее свойство материи, заключающееся в воспроизведении особенностей отражаемого объекта или процесса; одно из основных понятий материалистической теории познания; в качественно различных формах отражение присуще телам неорганической природы (например, след, произведённый воздействием одного предмета на другой), растениям и простейшим организмам (напр., раздражимость), животным и человеку (психическое отражение как свойство высокоорганизованной материи); высшая, специфическая человеческая форма отражения – сознание.

Теория отражения – сова – премудрость – и сумерки сознания, и отторжение отражения...

А если начать – с конца? Откуда явился в мир обычай завешивать или поворачивать к стене зеркала, когда в доме стоит гроб с покойником? Обычай всемирный. Даже в нашей сугубо атеистической стране, даже при похоронах высочайших государственных деятелей: чёрная ткань, драпирующая зеркала. Из мемуаров дочери Сталина Светланы Аллилуевой: на даче, где умер вождь, завесили зеркала.

Что и как говорят по этому поводу учёные? Обтекаемо говорят. Примерно так: физиологические процессы организма, мыслительная деятельность человека сопровождаются излучением так называемых тонких энергий, механизм которых до конца всё ещё не изучен. На человека благотворно действуют «тёплые цвета» и угнетают «холодные». Может быть, именно поэтому создатели знаменитых венецианских зеркал добавляли в амальгаму немного золота, отчего отражение приобретало тёплый оттенок; более того, поверхность

зеркал лучше поглощала поступающие на неё негативные потоки тонкой энергии и отражала или возвращала благотворные. Теория возвращения звучит теплее. Отражение – термин военный. Таинство, скольжение по тонкому льду.

Что же касается обычая завешивать зеркала, то одни считают, что зеркало является дверцей в потусторонний мир, через который душа может проходить как в одну, так и в другую стороны. Считают также, что душа умершего сквозь зеркало может затянуть кого-то из живых людей в иной мир, существующий по ту сторону зеркал.

Короче, мистика.

А если – с начала?

А вначале было так.

Человек подошёл к воде и увидел в ней своё отражение. Непонятно и жутко...»

В сумерки доктор Штукарский покидает свой кабинет.

Он с большим отвращением возвращается домой.

Мимо палат, с одной стороны. Мимо окон зарешеченных – с другой.

Новенький плакатик на столовской двери: «Товарищи голубчики! При себе иметь чашку, ложку и кружку!»

Штукарский грустно усмехается: «Ах, эта Софа, ситцевая душа...»

Памятник Неизвестному Зрителю.

Зритель, действительно, неизвестен. Ни имени, ни фамилии. Он поступил в больницу ещё зимой. Молчит. Как немой.

«Чудище» тикает. Зритель перед «чудищем» молчит. Как роденковский мыслитель. Единственный, сумеречный. Он, в сущности, имеет право хранить молчание.

Дело интимное: хранить и хоронить – одно и то же.

Хранить память. Хранить деньги в сберегательной кассе. Хранить честь смолоду. Да и поэт призывает к тому же: храните гордое терпенье, товарищи! Как же не прислушаться к поэту? Надо. С одной стороны – чудище, с другой – поэт, посредине – индивид или инвалид, впрочем, это почти одно и то же.

Процедурный кабинет.

«Забор крови на биохимический анализ с 8 до 9. Для забора крови при себе иметь шприц 5 или 10 мл.»

Ах, Софа, Софа... Забор крови! Частокол мочи. Изгородь лимфы. Плетень желудочного сока...

А вечером, когда куры обсиживают шесток... Стоп! Куда? Какой шесток? Какие куры? Нет здесь ни знаменитого есенинского стихика, над которым рыдал Максим Горький, ни кур, ни собачьей жалости.

Здесь всё по-другому, и зачин другой...

А вечером, когда вот-вот заискрит, заиграет, танцующей походочкой явится к Сочинителю благословенный кураж... а без куражу-то он писать не умеет, он же язычник, а не полковой аккуратный писарь со своим уставом и смиренностью... нет же, нет! у Сочинителя совсем иное на уме: и рыкоделие, и нежность, и музыка, и музыка, которая уже – от Моцарта и соц-арта «до мажор», и возлюбленная историософия топчется в мозгу, и Русь как вызов византийства – кристалище – визави – Россия, коей совсем не возрождение потребно, но – преобразование, а душа не на месте, и что она есть такое и где её место – неизвестно, никто толком не знает, кроме одной маленькой девочки, которая уже не раз говорила взрослому Сочинителю с материнским сочувственным терпением: в пятке душа, кругленькая такая, мякенькая и розовая душа, которая боится щекотки... Нет, не так надо!

А вечером, когда старшие по палатам, и уполномоченный по коридору, и ответственный за текущий вечер санитар Коля-укольник включают лампочки накаливания Эдисона Ильича, в каждой из которых как будто бы сокрылась, уместилась, втиснулась, съёжившись и светясь мутотой, вся история человечества, от Иосифа до Кобзона... а за окнами – синий полумрак, сумерки, умер день, значит, а с ним и все художества минувшего времени, и в такие минуты голубчику Савве Савушкину, когда уж и ужас не берёт душу в полон, казалось, что и не жизнь уже, а жижа, и смотрел тогда голубчик Савва Савушкин на тополя за окном, завидуя вольной растительной жизни, а санитар Коля-укольник говорил строго: «Низя, – говорил, – запрещёно!», ну, и ладно, и хрен с ним, пусть будет «нет», на «нет» и суда нет, но всё-таки это неправда, потому что есть, очень даже есть и суд, и суть его, и судьба... и твоя жизнь как воля, и его воля как жизнь, и голубчику Савве Савушкину не оставалось ничего иного, как возвращаться к излюбленному самовзысканию: он складывал из случайных бумажек самолётики и журавлики и выпускал их в форточку на волю с одним-единственным карандашным словом-посланием: «Пора»... И снова стоп, опять не годится вечерний зачин, прелюдия совушкиного мудрого времени. По-другому надо.

Пришёл вечер. Сделалось темно. За окнами жизнь под фонарями ещё кипит и убивает всех микробов. Но здесь-то, перед окнами, хорошо-прекрасно знают, что в стерильности ничто не рождается. Нет зеркал. Нет часов. С сегодняшнего дня «запрещёно» ношение и карманных, и наручных: главврач распорядился не напрягать пациентов реализмом суровой действительности. «Сколько времени?» – спрашивает один другого. – «А придёт время – узнаешь», – отвечает другой одному.

В потаённых затенённых уголках Жёлтого Дома вздыхают таинственная тишина, тишайшие таинства, лиловый кирдык: всё будет, братцы, хорошо, если оно будет.

Художества позади.

Через час – заклеянная фиолетовыми ведомственными штампами грязноватенькая постель постелей – как песнь песней.

И вот перед режимным отбоем выходят в коридор голубчики, аккуратно выстраиваются вдоль стены: променады с промедолом...

Коля-укольчик тут же, на боевом посту. Бывший голубчик, нынешний волонтер здравоохранения, он стоит, привалившись к стене, скрестив руки на белой груди, смотрит и фыркает: оне думают, что оне что-то думают, а вот запустить бы сюдой, в колидорчик, например, скрупулезные зеленые танки – так чего такое оне подумают?

– Что обещают? – тихо спрашивает у стены один другого.

– Да мало ли что обещают, – отвечает другой одному при молчаливом интересе третьего. – Главное – дадут или не дадут? Вот в чем вопрос.

Кажется, это обсуждают метеопрогноз на предстоящие сутки жизни.

И нет здесь ни притворства, ни пандемии страха застенного как реликтовой эмоции обезьяньего сообщества.

– А в нашей буче, боевой, ибучей, – тихо шелестит, задумчиво, вдоль стены, – и того круче...

– А всё потому, что Гитлер и Сталин – близнецы-братья, – говорит пятый десятому. – Кто более мачехи-истории ценен?

Вот и лучший советский поэт эпохи засветился, замаячил – баня во весь голос!

– Товарищ Ленин, я вам докладываю не по службе, а по душе. Товарищ Ленин, работа адовая будет сделана и делается уже... Сделали! Да не абы как, а на пять с плюсом!

– Сатана там правил бал...

– Неправда ваша. Будем откровенны: человеки. Но – подавляющее меньшинство. Оно передвигается с сиреной. Сирены – тоже не подарок. Партия сирены в сопровождении охраны.

– Охренели?

– ...тили-тили, пили-пили, оказались в Израэле...

– ...да ещё какие-то вспышки на Солнце. Да ещё какому-нибудь Плутонию чего-нибудь такое взбредёт...

Стоят, подпирают стену, тихо ведут переговоры: воркуют.

Здесь, в Жёлтом Доме, уж давно всё смешалось и не понять: где тут дураки, где умные, но обыкновенно больные, как то: язвенники и трезвенники; гастронавты из терапии («Гастрит, – говорят они, – острит отвращение к жизни»); и дезентиры с дерматологами из инфекционного; и джавахарлары неру из травматологии, все в белых казённых подштанниках, потому и называют их: неру, и загипсованы, точно рыцари в латах, в непробиваемые корсеты, и двигаются величаво, шеями не ворочают, всем корпусом тела поворачиваются-разворачиваются, а ежели на костылях – так суций галерный флот, а со

сломанными ключицами – так локти наотлёт, косяк вертолётов; да тут же и култышники из хирургии... Уж как и почему так всё смешалось в Жёлтом Доме – никому неизвестно.

А напротив стены – Чудище, Памятник Неизвестному Зрителю. Он тикает. И, сидючи возле, – Молчальник. Вызывающе он ведёт себя, словно годуновско-советская копеечка: вопиющее безмолвие, золотой запас России, берегущий рубль и рубль же составляющий.

И вот в подобающей тишине подходит к Молчальнику женщина: вся в чёрном, глаза чёрные и ясные, словно день и ночь в одних её глазах сошлись... Подходит и с сомкнутыми устами будто бы говорит Молчальнику: «А не кручинься, бедный мой, не надрывай себе сердечушко, не надо... На старинных-то иконах, ты и не видел которых, образ Иоанна Богослова писался богомазами с перстом на устах, а перст тот – бомжий... И не печаль себя, сынок...» Погладила Молчальника по голове маленькой сухой ладонью – и удалилась бесконечным коридором, вдоль застенчивых голубчиков в застиранных халатах и пижамах, и никто, даже сам Молчальник, не увидел её и шагов не услышал, никто, кроме Сочинителя, который в это время кружил, не отваживаясь на Слово, вокруг пишущей машинки с чистым, беспорочным листом бумаги, кружил всерьёз и надолго, как НЭП, придуманный товарищем Лениным, и точно непростая линия ЛЭП-500, натянутый энергией звенящего умолчания, заграждающего таинства перед открытием Слова... Так сказать, фишки-фенички антропологии молчания кружились вокруг Сочинителя, который кружился вокруг машинки на письменном столе: социопоэтика, мистика, идея, религия, логика выбора, скептицизм, Другое, Иное, Инакое: иначе и далече = иноки инакомыслия...

Ровно в 21 час 25 минут по местному времени, тика-в-тику с эроподобным и векообразующим выстрелом крейсера «Аврора», в палате № 6, предопределённой Антоном Павловичем Чеховым, в сумерки для совы, обозначенные Гегелем... – открылось очередное собрание неофициальной первичной парторганизации КПСС. Повестка дня: «Историософские концепции в поэзии Фёдора Тютчева и Владимира Соловьёва». Да уж, бывают странные сближенья: Жёлтый Дом – бабахающая крейсера соната – тайный и несчастный нищешанец в пенсне – тёмная вязкость Гегеля... Что за причуда? Что за игра? Игра за что? Может быть, сама страна такая, самая играющая из всех стран мира? Где всё игристо: вина, воды, глаза, пиковые дамы с бубновыми валютами, русская рулетка, декорации, стадионы, штабы всех масштабов... Где вполне здоровые люди могут разыгрывать ампула сумасшедших, и – наоборот, а проницательные, даже без оптики, врачи делают вид, что верят тем и другим, то есть тоже играют, и так везде и во всём... Где можно выглядеть очень даже приличным дураком, но только до тех пор, пока окружающие понимают, что ты валяешь дурака: такая игра долго про-

должаться не может... А чего они там, голубчики наши, наговорили да напрудонили без протокола на подпольном собрании, так это есть строгий и совершенный секрет, большая тайна, неизвестная никому, кроме их самих, голубчиков коммунистических, да разве ещё – Тютчеву, Соловьёву, Чехову, Гегелю, разумеется, Сочинителю, а также санитару Коле-укольчику: он ведь совсем не напрасно и не зря устроился у самой двери «ума палаты № 6» и держал ухо державно-патриотическим топориком.

А между тем вдоль стены – шелест: так шумит отдалённое море, так хлебное поле под ветерком колосится.

– ... и когда человеческие миллионы всё понимают, а ты не понимаешь, – вот тогда и приходит забавное и грустное ощущение, что ты неправ, ты – урод, потому что, как нас учили, миллионы не могут быть неправыми против единицы, – говорит пятый десятому. – Вот вам и ответ на вопрос: почему я так долго состоял в партии.

А десятый вздохнул: у него обнаружили недостаток по имени склероз.

– Да ещё какие-то рои в крови нашли... Боже мой! Всю жизнь, считай, прожил без роев, а теперь вот, на старости лет, вон чего... Мать его, реализм!

Ох, уж этот десятый! Выставляется, как мишень, и дразнится, как её чёрное яблочко. Какие рои? Какой склероз? Диагноз-то был уже давно определён, вне стен Жёлтого Дома: «ходок ещё тот», что означает специалиста по женскому вопросу, проще говоря, – большой недостаток по имени бабство. Вечный поиск непревзойдённой жены, геометрически правильной подруги жизни, равнобедренной. Отсюда и параллельные женщины. «Каждая пизда, – говорит, – шарада». Это очень интересно. А жена-то последняя и сказала десятому: «Целоваться-то со всеми подряд наобум – так устов не хватит, кобель несчастный!» – А десятый что ответил? Он ответил так: «Не бойсь. Хватит». – «Ты так думаешь?» – «Я не думаю. Я знаю». И взвилась, точно штопор, последняя жена: «Не сердце у тебя, сволочь, а капельница!» И десятый разбушевался... «Чего выкинул, голубчик?» – спросил его доктор Штукарский в Жёлтого Дома приёмном покое. – «Не чего, а кого», – ответил десятый. – «Так кого же?» – «Жену!» – «В смысле?» – «В смысле жену бросил» – «С какого этажа, голубчик?» – «Слава богу, с первого» – отвечал десятый и вздрагивал от любви...

– ... Провокация – это в первую очередь медицинский термин, – говорит пятый десятому. – А уж потом...

– Да я знаю, – вздыхает десятый. – От его и пострадал, от этого хлебного исторического, мать его, реализма...

И настал назначенный час.

Явился срок.

И выехали из палаты на колесницах для обезноженных: Красный и Зелёный в сопровождении Жёлтого посредника.

– Может, помириться? – спросил Жёлтый обоих колясочников с загипсованными нижними конечностями. – Может, не надо?

– Надо! – рявкнул дуэт.

И разъехались к местам сосредоточения, в противоположные концы коридора.

Красного-то уж давно бы выписали из больницы, с месяц назад: поправился здоровьем голубчик, стал мастером спорта по лечебной гимнастике. Да он перед выпиской учудил. «А кто, – предложил, – по поводу спуска на волю разобьёт бутылку шампанского об мой борт?» Один голубчик попробовал. Не разбил. Но два ребра у Красного оказались сломанными. Заковали в гипсовый корсет. Потом сняли корсет: собирай манатки – и дуй домой, обновлённый. А какие манатки у голубчика? Зубная щётка, мыльница, бритва, чашка, ложка, кружка – всё. Однако к тому времени между Красным и Зелёным чрезвычайно обострилось идеологическое противостояние. В результате – результат: нижние конечности...

И вот разъехались два броненосца к исходным позициям.

Один – туда, где вывешены: «План эвакуации токсикологического отделения при пожаре» и «График кварцевания палат: ежедневно, с 7.00 до 8.00 и с 20.00 до 21.00».

Другой – туда, где также вывешены: «Генеральная уборка туалетов. 0,1% Жавель 7 т. на 10 л воды. Экспозиция 1 ч.» и самодельный, несанкционированный главврачом, плакатик: «Не верь, не бойся, не проси!» – зональные лозунги, здравицы, приветствия, напутствия...

Сосредоточились.

Нахмурились.

Ухватились за резиновые обода колесниц – и, по сигналу Жёлтого, начали медленный разгон, убыстряясь, навстречу друг другу.

Колесницы пошли на таран.

Что делать? Не пушкинские времена, однако. Мало-мальского, замухрыстенякого пистолетика днём с огнём не сыщешь!

– А у броненосцев, между прочим, нежнейшее мясо, – сказал пятый десятому. – Деликатес...

Колесницы набирают скорость.

Стена застенчива...

Завтра доктор Штукарский укорит броненосцев:

– Ну, вот... опять! Да сколько же можно?

Но это будет завтра.

А сегодня ещё не кончилось...

Доктор Фаустов видит второй с половиной сон...

Сочинитель бормочет:

– У них вот, понимаешь, привычка такая, чтобы спать. Спать без дна, без задних ног, без сомнений...

Он доподлинно знает: плевать, в конце концов, на дно, на задние

ноги, на передние, но – сомнения! На них не плюнешь. Сомнения не дают уснуть. Они копятя, копятя, копятя – и становятся Капичей...

И счастье копится. И радость тоже. И гадость. Так ведь невозможно же жить и быть всю жизнь ходячей копилкой, поросёнком-кошечкой, складбищем страстей. Нет, нет! Никаких копилок. Всё на свете следует принимать сразу вовнутрь, в самую сердцевину – по мере поступления – и отдавать...

Дурак он, что ли? Или что случилось?

XLV

Случилось всё как-то вдруг и сразу: навалилось, обрушилось...

Оттого и сделалось тяжко.

А Семён Семёнович Помиранцев успокаивает:

– И ладно. Уж лучше сразу, чем растягивать...

... Я трижды умирал. От ножа – как бы медленно замерзая. От автоматной пули – в кровнице по пояс. В катастрофе – с раздолбанными костями. Знаю, как ласково подкрадывается погибельный покой. Догадываюсь, за что. Однако же, обошлось как-то. На ладан подышал, отряхнулся, сплюнул через левое плечо – и пустился в житие по новому кругу.

А он, доверчивый, не успел даже подумать: за что? Удар бампера был жестоким и коварным, и смерть поразила его мгновенно.

Я шёл, прижимал к груди хрупкое тельце с покинутой жизнью, молил о чуде спасения и плакал глазами не вовнутрь, как обычно плачут мужчины, а – наружу, как дети и женщины.

Возле дома соседский дворняга, яростный наш оппонент, подошёл и потёрся о мою ногу. Он всё понял.

– Вот, – сказал я людям на лавочке. – Хома погиб...

– Да? Ах, как жалко, – ответили.

Господи! Да что это они говорят такое? Жалко... Жалко у пчёлки в жопке, а тут... видите! Хома же погиб!

И весь левый бок у меня опалило сине-багровыми стигматами: я знаю эту хрустящую боль и онемелую точку на теле, через которую плавной струйкой уходит тепло...

Никто не подал мне радостного голоса и тапочки. Не чмокнул в губы в восторженном подпрыге. Не упрекнул молча: «И где же это ты так долго шлындал? А я жду, жду...»

Погиб Хома. Прощаюсь, не веря. А розовощёкий царь природы на белой бээмвошке, небось, дальше жмёт на газ, наяривает, пьянея от скорости. Сука... Акселерат и акселератор – проблема, увы, не одного только ГАИ.

Прощайтесь и вы, знавшие: поэты с полуночными речитатива-

ми, художники с запашистыми бородами, случайные мальчишки с принесёнными в подарок неслучайными слипшимися карамельками, и ты, давне-июльская Юлия, свет в окошке нашем, а окошко то – в великую степь, Юлия, наверное, единственный наш товарищ бескорыстный, кто слишком близко принимает к сердцу то, что нет и покуда не предвидится никакой обоюдности в плакатном словосочетании «собака – друг человека» – и потому уже не ругаются люди – собачатся: псина! – говорят, – сука! – говорят! – собака! сучий потрох! пся крев!.. Ах, как это прелестно убаюкивает: переносить на «друзей» собственные пороки!

Но послушайте: какая страшная трансформация, какая чудовищная подмена! Бесстыдного, наглого, грубо откровенного человека, плюющего на общепринятые нормы нравственности и морали, в мире людей именуют циником. А между тем, циниками, точнее киниками, назывались философы школы Антисфена, проповедовавшие аскетизм, простоту, возврат к природе как к источнику духовного здоровья и совершенной свободы. Корень у слов один: кинос, собака... Хлебнуть бы нам хоть глоточек от того цинизма – от собачьей верности, безоглядной, бескорыстной любви и выдержки, искренней преданности... Меджнун – всего лишь исключение в мире влюблённых людей, а вот собаки, умирающие от любви, – правило. Собаки не могут жить в атмосфере ненависти. На это способны только люди.

Собачья привязанность к человеку – не в поводке. Она служит. Вот завет, из всех заветов самый ветхий и самый заветный.

Общеизвестна трагедия Шарика, ставшего Шариковым. Но вот что-то нет охотников развернуть булгаковский сюжет в обратном направлении. Возможно, на этот раз людям нечто нашёптывает реликтовый стыд. Возможно, не пришло ещё время колоколов, и мы только около колокольчиков гоношливых околачиваемся. И потому, конечно, не каждый услышит, как в очень человеческом прощальном слове – и нет его проще! – «прощение» щенков поскуливает. Да при всём при этом и не важно: художник ты или такелажник, лыжник или сантехник Краснознамённого ЖЭКа № 25, – лишь бы подавал повод стать таким существом, которому можно и даже нужно вовремя подать лапу. И голос. И тапочки. И надежду на то, что всё у тебя будет хорошо.

В этот же убийственный день, в этот же убийственный час оценилась Каштанка. Семеро слепых, но смелых: четыре мальчика и три девочки.

... И заходит в бендежку Князь с телеграммой в руке: Шурик умер, за тридевять земель отсель.

Пустеет человеческий дом.

XLVI

Дом литераторов имени Петрова-Водкина располагается в старинном здании бывшего купеческого особняка со скульптурными львами на фронтоне, в самом центре Хибаровска, на углу проспекта 1905 года и улицы имени товарища Курицкого.

Кто такой Петров, кто такой Водкин, а также кто такой товарищ Курицкий, этого в городе Хибаровске и его окрестностях, пожалуй, никто не знает, не помнит, и не желает знать-помнить, старожилы бормочут что-то невнятное и крайне противоречивое касательно красногвардейцев и молодогвардейцев, а юные краеведы в своих истошных изысканиях дошли до того, что смело выводят именованья вовсе не от человеческих мужчин и борцов за народное счастье, но от курицы и курева. Понятно, что такие толкования не находят поддержки краевого и городского руководства.

Главный партийный идеолог крайкома товарищ Краснопресненский-Крестовоздвиженский не раз указывал архивистам и университетским историкам, строго указывал и палец указательный вздымал:

– Найти первоисточников!

Сам-то идеолог наверняка подозревает, что никакого Петрова в хибаровской истории не существовало, был некто Пиотровский с западным коленопреклонением и низкопоклонством. И Водкина не было в помине, но был Водкинд плюс его зять Эткинд, оба самогонщикисионисты. А что касается до товарища Курицкого, то его куриное и курительное происхождение не имеет под собой почвы, и все предположения на этот счёт есть всего лишь детское недоразумение и недоразвитое классовое чутьё по отношению к чуждой, безобразной, отвратительной, омерзительной, препаскуднейшей, проклятой во веки веков с аминем, идеологической мелкобуржуазной, скажем по-пролетарски, курвятине. Сомнения по этому поводу у товарища Краснопресненского-Крестовоздвиженского отсутствовали, однако нужны были доказательства его правоты и уверенности. И он говорил вновь и вновь:

– Ищите первоисточников!

Секретарша идеолога Аномалия Андреевна Курбская (кстати, её тоже проверяли, порочащих связей с князьями-перебежчиками нет) держит задание шефа на постоянном контроле. Но результата нет. До сих пор ищут и не находят.

Это, конечно же, никоим образом не отражается на уличной жизни населения и на быте Дома со львами.

Тополиная аллея ведёт к парадной двери этого Дома. Аллея Героев Социалистического Реализма, по обочинам которой выстроились по линейке цементно-гипсовые бюсты классиков исключительно советской литературы: девять штук, выкрашены под бронзу. Софронов, Стаднюк, Кочетов, Лебедев-Кумач, Бабаевский, Бубеннов, Шпанов, Швецов и местный лауреат многих премий Равелин Валютин.

Под тополями самопроизвольно размножаются шампиньоны. Бронзовая ручка входной двери сияет от бесчисленных рукопожатий. По красным датам бухают аплодисменты и с таким же постоянством бухают напитки переводимые и неперевоимые инженеры человеческих душ.

– Бухенвальд получается, – сказал поэт Феликс Хворобушкин Ваде Мошонкину, подталкивая его к парадной дубовой двери. – Плюс на минус, Вадичка, даёт в итоге полный нуль...

А теперь – стоп!

Вопрос: каким образом Феликс и Вадя оказались в Доме со львами?

Ответ: а очень просто! Давайте вспомним баню имени Чернышевского-Белинского, пивную «мочалку» при бане и Вадю с Феликсом при «мочалке»; бородатый Феликс отмечал тогда окончание тридцатого тома своего капитального поэтического труда по заказу Горплодоовощснабторга и Общества борьбы за трезвость, а Вадю привели в «мочалку» безуспешные, безутешные поиски фантастического яичного ликёра; а ещё новенькую буфетчицу Марго вспомним, и коктейли посеверному, и розового мужика, вышедшего в народ услышать: и чей же это там стон раздаётся? – и то, как этот розовый сердечно рыдал и скрипел зубами, а потом его эвакуировали на «Волге» с крайкомовским номером крепкие парни с зыркими глазами и в одинаковых казённых пиджаках, а мужик явно не желал эвакуироваться, цеплялся за столик, а парни – ласково! ласково! – тянули его, и Вадя вступился за мужика, а парни вдруг ни с того ни с сего объявили зачистку пивточки, и отсюда образовалось Вадино неумышленное сопротивление и протест, то да сё, однако посчастливилось Ваде: в суматохе успел скрыться, и когда он заявился в бендежку с фингалом под глазом после восьмимартовского концерта, то Семён Семёныч Помиранцев так прямо и сказал ему: ищут тебя, Вадя, так что ты сокройся покуда от ихних очей и от наших тоже, а дома Ваде сказали ругательно: да пошёл ты в баню! – и Вадя пошёл, снова: в одну воронку снаряд дважды не попадает... – а уж из воронки Вадя самолично попадает в маленький домик с палисадником на городской окраине, неподалёку от кладбища и свалки... Как там дальше судьба развивалась? Интересно. А кому не интересно, тот пусть и не читает. Мы же сохраним о том развитии письменное свидетельство, памятку: авось пригодится – для персонального дела, для истории болезни или, может быть, для всеобщей истории...

Утром Мошонкин, чуть свет забрезжил, открыл глаз – и испугался: глаз не узнал Мошонкина.

– Б-о-ж-е... рожа, моя рожа, на кого ты похожа?

– На тебя, – сказала рожа и высунула язык. – Гуд морнинг, маэстро дегустатор.

Нет, это было совсем не зеркало. И это была не мошонкинская рожа, потому что мошонкинская никогда так нахально не поступала, даже в случаях наитуманнейшего похмельного бритья.

– Ты откуда взялась? – спросил Мошонкин и закрыл глаз для равновесия другому, который совсем опух, профингаленный, и вовсе не открывался. – Кто по имени?

– Что в вымени тебе моём? – усмехнулась рожа. – Шутка.

– Ой, не надо, – сморщился Вадя и застонал, – не надо...

– Поняла, – сказала рожа. – Зовут Марго. А вообще-то Галя. Вы ж у меня уже второй раз в «мочалке» дегустируете. И чо к чему? Память провалилась?

Вадя погрузился в высшую математику, голова трещала, в ней прыгали синие, жёлтые, красные, фиолетовые кузнечики, да всё по одной наковаленке: блям-бля! блям-бля!..

– Вот что, Галя, галлюцинация ты моя, – сказал Вадя, не размыкая глаз. – Давай пожмём друг другу руки – и в долгий путь на... это самое, на долгие года. Ага?

– Это как? – спросила Галя и села на мошонкинский живот, по-турецкому нраву скрестив ножки белые.

– Как в море корабли.

Галя зевнула:

– Вам не выйдет, маэстро дегустатор. Я от вас уже обременённая и разминировать поздно.

– По дурости... Ага.

– По дурости? Не-а! От дурости не беременеют.

– Да ты это чо такое? Опять шутка?

– Вопрос ниже пояса.

– Да ну тебя! Ниже пояса нет вопросов, – сказал Вадя. – Ниже пояса одни восклицательные знаки.

– Вот и восклицайте. Аля-улю! – согласилась Галя, польщённая, и поправила подушку под Вадиной головой. – Похмелить, что ли?

– А почему бы и нет?

– Ну, нет так нет.

– Да погоди ты! – Вадя открыл оба глаза, один из которых – пальцем. – Ты меня не поняла...

После пары прохладных баночек дефицитнейшего австрийского пива «Штеффл» кузнечики и прочие бяки передохли, и Вадя почувствовал медленное, но верное возвращение к жизни.

– Вот ведь, – сказал он для разгона, виновато улыбаясь, – нажрался вчера, как эта... В доску. Ага.

– Доски тоже разные бывают, – сказала Галя. – Но вы, наверное, ещё до «мочалки» из горла пили без закуски. Правда?

Вадя уже находился в таком состоянии, что мог и обидеться.

– Ага, – сказал, – вот так вот сразу и из горла! Да это только сначала маленько было, что из горла. А потом из посуды. Мы же не

ханьги какие-нибудь... Конечно, потом было снова из горла, посуда куда-то делась.

– Понятно. Бедный ты мой! И всё у тебя, как по нотам получается.

– Не по нотам. По понятиям. Для плюрализма и альтернативы.

– А у нас в деревне такая альтернатива, – сказала Галя, приводя расчёской в порядок Вадину шевелюру. – Берут две бутылки русской водки и азервино. Объединяют в одну посуду, чего-то ещё добавляют, короче, с одной стороны получается плюрализм, а с другой – дружба народов. Аля-улю!

«Вот тебе, Вадя, – подумал Вадя, – и Марго, пава павильона, ситцевая душа, как обозвал её новый друг Феликс. Быстренько же еёнюю ситцевую мораль в городе уделали...»

А Галя-Марго склонилась к Мошонкину, лицо в лицо, губы в губы.

О, нет, это был вовсе не поцелуй. Это была какая-то Цусима, засасывающая глубина, пучина, оглушительно рвущиеся барабанные перепонки – *sos! sos!* – и медленное, медленное, кружащее, как опадающий с дерева лист, погружение – *sos! sos!* – кораблекрушение, гибель эскадры, кружение, и бешеное вращение в воронку, устремление в бездну и неотвратимое притяжение вязкого дна... О, эта тыща, да ещё одна тыща и одна ночь широкозадой девахи: барышни-крестьянки! капитанской дочки! пиковой дамы с камелиями! и кто ещё там? все, короче, – в одном лице, в египетской ночи, а если по правде сказать, – так фантастика... Вот что такое был один засос Гали-Марго.

– Ну, как? – спросила она, облизываясь.

... Так Мошонкин и уберложился в домике на городской окраине. Там тётка Галина проживала, а как померла тётка, так Галя и заселилась сюда, из деревни в город, счастливая.

Вадя успешно скрывался от розыска, из дома носу не казал на белый свет.

А вскорости Галя привела к Мошонкину Феликса Хворобушкина: уж так он, бедняга, убивался в очередной «мочалке» о бесследной пропаже друга! А у Гали, мы же знаем, душа ситцевая.

Феликс и уговорил Вадю выйти в люди, подышать свежим воздухом.

И направились они – огородами! огородами! – в Дом литераторов имени Петрова-Водкина.

... На лестничной площадке Дома со львами густо пахли астры в корзине из ботанического сада. Истошно выли какие-то бабы в сарафанах и кокошниках, а бабам вторили мужики в кольчугах и кирзовых сапогах, как позже выяснилось, народные артисты из ансамбля имени Вожжина. И красноармеец на плакате целился суровым пальцем прямо в бровь и глаз каждому входящему, не оставляя никому практически никаких надежд на самоопределение: «Ты записался в Общество

Трезвости?». Чуть пониже того сурового пальца вилась церковно-славянская вязь, лоза виноградная, выведенная весёлым фломастером: «Тот, кто пьёт вино и пиво, тот пособник Тель-Авива!»

– Здорово! – воскликнул Вадя. – Твоя, поди, работа?

– Политикой не занимаюсь, – ответил Феликс.

Под плакатом на низкой скамеечке сидели три печальные личности.

Мошонкин вопросительно взглянул на Хворобушкина.

– Убей меня бог, не знаю, – сказал Феликс. – Ходят слухи, что сидят они тут с незапамятных времён. И ещё говорят, что они как-будто бы душеведы и душелюбы, а также хранители. А чего хранители – неизвестно, да мне, честно говоря, и знать неинтересно. Сидят и сидят, и пусть сидят, никому же не мешают. Сидят смирно и свято. Птички божи. Аксакалы. Или саксаулы. А может и затянувшаяся сидячая забастовка, хрен его знает...

По обеим сторонам входной двери в Дубовый зал стояли две казарменные тумбочки и, как часовые при них, пародист Вова Фикс и редактор литературно-политического журнала Вася Стрекозлов, оба с чёрными повязками на рукавах. На одной тумбочке – ведро с коллективной валерьянкой и деревянный ковш работы палехских мастеров; на другой – красная урна с чёрным, кокетливо повязанным муаровым бантиком.

– Слушайте, – спросил часовых Феликс, – да что тут у вас? Кого куда выбираем?

– В последний путь, – процедил Вася. – Ты разве ничего не знаешь и не слышал, как последняя чурка? Так я скажу тебе из первых уст: Большой Бэмс покинул нас!

– Ой! – воскликнул Феликс. – Правда?

– Святая, – припечатал Вася и перекрестился.

– Большой Бэмс тебя членом сделал, – добавил Вова. – Если б не Большой Бэмс, так ты бы никогда, Хворобушкин, не попал в Союз наших писателей. Отдай долг.

– Сколько?

– Не жидись.

Феликс вздохнул, выслунил из пиджачного кармана заветную асигнацию, погладил её, прощаясь, и опустил в щелку урны... А часовые-то смотрели, пристально смотрели... Феликс подумал, пошарил в штанах и выгреб газировочные однушки и троячки, телефонные двушки... Не жидился, высыпая медную мелочь в красный с бантиком ящик, и вспомнил вдруг последнее своё видение Большого Бэмса, на прошлогодней летней ярмарке поэтов: на две головы превосходя толпу, стоял Большой Бэмс столпом нерукотворным и через мегафон зазывал публику стихом и прозой: «Мы можем горы разломать И растопить любые льдины! Да что скрывать, едрёна мать! Народ и партия – едины! Но вот стоит у мусорной урны один сомнительный так назы-

ваемый поэт Хворобушкин! Зачем он пришёл сюда? Мы его не звали! Это не евоный праздник!» – и ярмарочная толпа вдруг качнулась в сторону мусорной урны, и отхлынула от Большого Бэмса, и кинулась, сделав выбор, к той урне заплёванной, и плотным кольцом охватила Хворобушкина, и началась собственно его индивидуальная творческая ярмарка, вот и пойми после этого читательские запросы и интересы...

– Кого привёл? – спросил Стрекозлов, прищуриваясь на Мошонкина и тем прищуром обмеривая незнакомца с головы до ног.

– Наш соотечественник из Парижа, – ответил Феликс.

– А в прошлый раз у тебя был, кажется, из Одессы, – заметил Фикс.

– Да, в прошлый раз был из города-героя Одессы, – согласился Феликс и вздёрнул бороду. – А на этот раз из самого Парижа! Ну и что? На этот раз – выдающийся композитор! И кому хошь морду набьёт! Подтвердите, маэстро!

– Ага, – сказал Мошонкин. – Привет от собора богоматери.

И оба приятеля вошли в «предбанник».

На доске объявлений – вот она, печальная и скоропостижная телеграмма из южного санатория, где Большой Бэмс проводил заслуженный отдых: «Ваш товарищ председатель покинул нас помер без уважительных причин тчк высылаем его труп наложенным платежом тчк администрация». Тчк.

– Да, – сказал Феликс. – Жизнь коротка, спят облака...

И не успел он закончить мысль мелодическую, как на грудь ему кинулся дрожащий человечек в слезах:

– Дайте! О, дайте мне!

– Нету! – отшатнулся Феликс и хлопнул по карманам. – Всё! Чисто! Начисто!

– О, нет! Вы мне дайте тэму! Не жмитесь, друзья! Я же ж не прошу у вас тэзис для поэмы! Мне хотя бы для маленького стишка! Одну только тэму! А? Подайте, Христа ради, тэмочку!

– Ну, блин, не знаю, – поёжился Феликс. – Какой-то прямо стресс тут у вас на каждом шагу...

– О, стресс! – воскликнул человечек, хлопнул себя по лбу и отскочил, перестав дрожать.

У окна «предбанника» ещё двое – толстый и тонкий – выясняли отношения, попеременно наступая друг на друга.

– Если ты и в самом деле хозяин своего слова, так и будь тогда хозяином. Дал слово – держи!

– Кто? Я?

– Ну, не я же!

– Я кому давал слово? Тебе?

– Мне...

– Ты взял?

– Ну...

– Вот ты и держи его. Не вырони. А если выронишь, то я невиноватый...

А толстый-то задолжал тонкому 32 рубля и обещал в договорённый срок вернуть...

У окна репетировал хор литературных ветеранов – для отпевания усопшего. Дирижировал хором баснописец Гордей Гвардеич Смехалков. Помимо хора, ему уже больше ничего не доверяли. Он был двусмысленным сугубо. Он сочинил знаменитые строчки, украшавшие плакаты почти каждого города Советского Союза, – «Под знаменем марксизма-ленинизма вперёд, к победе коммунизма!» – и вот многие товарищи ломают головы над этим стихом: гимн это или басня? одобряет Смехалков или издевается? Второй пункт недоверия состоял в том, что имелся у Смехалкова сын, вырос сын, полюбил бег трусцой. Однажды утром сын вышел из дома в одних трусах и... короче говоря, сын был увлекающейся натурой и убежал далеко-далеко, то ли в Израиль, то ли на какие-то голландские высоты.

– Ну, что, маэстро? – шепнул Феликс вадиному уху. – Приступим ко гробу?

И они вошли в Дубовый зал.

Красный гроб покоился на овальном дубовом столе, за которым обычно проводились писательские собрания и заседания. Вокруг – дубовые стулья, на стульях – люди, а в изголовье, там, где всегда председательствовал Большой Бэмс, расположился траурный президиум: первый заместитель председателя Феррапонтий Пилатов, драматург Аввакум Простопопин, литературный критик Аврора Крейсер и председателева вдова в чёрном платке.

Речь заканчивал писатель Еропланский. Он совершил полуоборот налево, лицом к неопределённому лицу, щёлкнул по-белогвардейски каблуками и отчеканил:

– До свиданья, товарищ председатель.

– Бывший, – мягко поправил оратора Пилатов. – Бывший председатель. Прошу корректного отношения к здесь присутствующим. А теперь, как первый заместитель покойного трупа, я предоставляю слово Аввакуму Простопопину.

– У меня не слово, – пробасил драматург. – У меня, знаете ли, целое предложение.

– Иди ты! Значит, предоставляю предложение товарищу Простопопину. Говори, Аввакумушка. Вы все, товарищи, знаете нашего Аввакумушку, он чепухи не скажет. Давай, Аввакумушка. Для воспитательных целей.

Простопопин долго кусал нижнюю губу и щёлкал зубами.

А все смотрели. Это было интересное и захватывающее предложение...

– Дайте ему ковшик! – очнулась Аврора Крейсер. – Это он волнуется. Ты ведь волнуешься, Аввакумушка?

Простопопин кивнул.

Кто-то со смутным лицом единым мигом преподнёс ковшичек вальерьянки из коллективного ведра. Простопопин выловил губами муху, выплюнул, выхлебал, утёрся рукавом, перекрестился.

– От нас, – сказал, – ушёл дорогой друг, товарищ и брат... Прости ты нас, бывший председатель, усохший во гробе... Ты был настоящим коммунистом и патриотом... На твоём месте лично я давно бы уж изменил Родине, а вот ты – нет...

Председательствующий брякнул по столу аукционным молоточком:

– Минуточку! Насчёт этого мы, Аввакумушка, кажется, не договаривались с тобой! И я должен возразить, товарищи, товарищу Простопопину. Бывший председатель усопший, а не усохший. И он, конечно, кое-что допускал. Может быть, неосознанно, но допускал. Имелись некоторые высказывания и так далее. Есть свидетели. Они здесь присутствуют. Кто из достоверных свидетелей и источников хочет сказать?

Вадя лупил-лупил глаза, прослезился от лупения, тихохонько шепнул Феликсу:

– Чо-то я ничо не понимаю... Большой Бэмс был большой или маленький? Мне ничо не видать...

Хворобушкин приложил палец к губам: тс-с-с... стой, дескать, слушай и помалкивай!

И поднял руку Атрыганьев, человек в пенсне, похожий где-то на Лаврентия Берия и чем-то на Моисея Урицкого:

– Прошу слово для реплики.

– Даю, – сказал председательствующий.

– Я уважал Большого Бэмса как родного отца. Но после квартирного вопроса уже не могу останавливаться на достигнутом...

– Дайте ему два ковшика, – подскочила Аврора. – Не в себе человек!

– В себе, в себе, – усмехнулся Атрыганьев, человек в пенсне, похожий на Льва Троцкого. – И скажу прямо, хоть это и прискорбный для писательского союза факт: Большой Бэмс был большой подлец...

Вдова громко икнула и подняла голову.

– Когда Большой Бэмс бросил беспробудно пить, – продолжил человек в пенсне, похожий чем-то на Якова Михайловича Свердлова и где-то как-то на первочекриста Менжинского. – Да, так вот, товарищи. Когда Большой Бэмс бросил пить, так он начисто забыл, как он периодически падал в канаву и кто его оттуда вытаскивал без страха и упрёка. И этим своим беспамятством по отношению к некоторым товарищам, конкретно меня, он обосрамылся навсегда и во веки веков. Например, когда в новый раз выделяли квартиры, то мне досталась квадратная площадь, неадекватная моему положению...

Вдова громко икнула и пискнула:

– А можно мне сказать?

– Пока не можно, – ответил Пилатов.

И вскочил со стула некто Китобойский:

– Да ты сам большой подлец, – крикнул он, перст указательный направляя в лицо человеку в пенсне, похожему где-то на наркома Луначарского и как-то на большевичку и пламенную революционерку Розалию Самойловну Землячку. – А кто стучал на меня в Комиссию Государственного Благодочиния?

– Я не стучал, – ответил Атрыганьев, человек в пенсне, похожий чем-то на пламенного атеиста Емельяна Ярославского и как-то в чём-то где-то почему-то на ленинскую соратницу-подвижницу Елену Дмитриевну Стасову.

– Стучал!

– Не стучал.

– Стучал!!!

– Не стучал. Это... я знаю, кто стучал.

И пошло, и поехало.

Кто-то кинулся в «предбанник» за подкреплением.

Мошонкин, между тем, прямо-таки вывинчивал голову из плеч, тянулся, на цыпочки вставая, силился разглядеть красный гроб до самого доньшка... Впередистоящие головы мешали. Густой табачный дым самосадной махорки и трубочного «Данхилла» мешал. Или это был туман. Или испарения. Или материализованная сила внушения, исходящая от траурного президиума... А уж эти литературные головы! Ёлки-палки, от двери до президиума они торчали в строго определённом порядке, по ранжиру значимости, по разнарядке: сначала – просто писатели, потом – известные в Хибаровске, известные сибирско-дальневосточные, известные российские, известные русские, известные советские, затем, по мере приближения ко гробу, выдающиеся, знаменитые, великие, а гениальный (всего один) Равелин Валютин ещё не прибыл. Впрочем, Мошонкин не знал (откуда ж ему знать-то?) всех тонкостей литературной градации вверх и деградации вниз. Хворобушкин знал. А Мошонкину мешали обыкновенные неопределённые головы. Он вытягивал шею и видел в гробу ничего.

– Ничо не понимаю, – зашептал он Феликсу.

– Тих-ха! – скомандовал тот. – На выход, маэстро.

И оба задом выплыли в «предбанник», к часовым Фиксу и Стрекозлову.

– Послушайте, да что тут происходит? Бедлам какой-то... Где наш усопший?

Стрекозлов усмехнулся, и с нижней губы его соскользнула и поплыла в комнатном пространстве смутным облачком, неопознанным летающим объектом – эта усмешка, печаль с загадкой пополам:

– Эх ты, Хворобушкин, птичка жидовская! Какой же ты к чёрту поэт, если полёта в тебе нету?

– Хватит! – заорал Феликс. – Где покойник?

– Вова, скажи этому... где наш покойник, – сквозь зубы выговорил Вася.

И Вова Фикс ответил: не привезли ещё из санатория Большого Бэмса, но светлый его образ всегда с нами, пусть он не сомневается, ждём-не дождёмся со дня на день, к похоронам-то всё уж давно готово, правда, сначала не было кворума, но на третий день все съехались в Дом со львами, а на четвёртый день гроб привезли, но похороны уже дважды отменяли, нервы у присутствующих всё же имеются, и уже пятый день поминают по-русскому обычаю светлый образ Большого Бэмса, а сам светлый образ покуда поместили стоймя в служебный холодильник марки ЗИЛ и на казённые деньги наняли для светлого образа персональных брадобрея и ещё маникюра-педикюра, волосы-то и ногти даже у покойников растут, как ни в чём не бывало...

Феликс сумел-таки выговорить:

– Да что ж это... Да ведь надо ж было самим ехать в санаторий за усопшим.

– Нельзя, – ответил рассудительный Фикс. – Он же ж уже нам высланный. А вдруг по дороге туда-сюда ещё и разминемся? Опять будет нехорошо. Наши-то путя, однако, не Военно-Грузинская дорога.

– А на почте чего-нибудь узнавали?

– Излишне. Наша-то почта – это вам не самодержавие. К тому же труп с доставкой. Но вот кто конкретно будет оплачивать тот наложенный платёж, это ещё вопрос неясный и до конца не решённый...

Феликс и Вадя снова вклинились в дверной проём.

А в Дубовом зале уже всё заглушал выстроившийся позади президиума ветеранский хор под управлением Смехалкова. Хор гудел: «Мы сами, родимый, закрыли орлиные очи твои...»

– Немедленно замолчите! – кричал хору Феропонтий Пилатов. – Мы вас сюда не для гуденья пригласили! Вы персонально и индивидуально отвечайте: за кого петь будете? За старую линию или за новую линию?

«Ё-моё, – подумал Мошонкин, – да они же, блин, просто все в дупель... И где же теперь этот Заюшкин с нашей бутылкой, сволочь такая?»

Дупель сгущался.

Хористы разделились пополам, на две партии.

Смехалков спрятался за оконную штору.

Кто-то кому-то уже бил морду.

Тихонько поскуливала вдова:

– Нисколечко... ни вот на столечко...

Дрожащий человечек, недавний тематический «мимоискатель», уже не дрожал, он вибрировал одушевлённо и с горящими глазами декламировал со стула:

*Пусть в ногах
треск и стресс
И
зубы выпали!
Решения
съезда капээсэс
Выполним!..*

Его совершенно по-антисоветски сдёрнули со стула.

Ферапонтий Пилатов уже трижды ставил вопрос ребром: кто будет вместо Большого Бэмса писателем выдающимся?

– Большой Бэмс просто известный сибирский! – крикнули от стены.

– Нет, дудки вам! – настаивал Пилатов. – Он выдающийся! А кто будет вместо него? И ещё имейте в виду, что по выдающимся у нас недовыполнение! Короче, ставлю на голосование!

Выдающимся председателем избрали Пилатова.

И тут колыхнул ветерок, робкое дыханье, трели...

В Дубовый зал внесли на носилках Равелина Валютина.

Он был суров, как ветхозаветный пророк.

Он осенил помещение крестным знамением и, не слезая с носилок, изрек:

– Верую. И вам. Можно. Окромья чужебесия. Короче, изыде, сатано.

После чего немногословного гения торжественно вынесли задом наперёд.

«Гляди-ка ты, – подумал Мошонкин. – И точно гений, даже бесы у него поделены на своих и чужих... Ну, голова!»

Дубовый зал загудел, задымил: таинственным образом он разделил несказанную мысль Мошонкина...

А что же светлый образ?

А ничто же!

Никто в оном дыму, в гаме и угаре, в испарениях и воспарениях, никто, кроме Вади Мошонкина, даже и не увидел, даже и не заметил, даже краешком глаза – как вдруг из ничего, из белой саржевой пустоты явилось видение... Оно проявлялось постепенно, всё чётче и чётче, как фотоизображение в проявочной ванночке: лежит светлый образ в хоромине, писатель выдающийся, переплетённо скрестив на груди руки, так, как это сделал писатель Пушкин на известном портрете художника Кипренского, а так в гробу лежать не положено, а он лежит, один глаз открыл, и возвращается выпученный глаз быстро-быстро, и рот кривится, кривится, и вот вдруг садится в гробу на жопу Большой Бэмс и говорит тоненьким голосом: «А цветочки-то ваши... того-с... вяленые... и ленточки на венках засморканные... не ожидал, товарищи, не ожидал...»

Народ пил из горлышка.

Ферапонтий Пилатов барабанил молоточком по столу:

– Ну, что, товарищи, желающих выступить в порядке прений, кажется, уже нету. Тогда от меня поступило предложение закрыть крышку гроба. Других возражений нет?

И тут Хворобушкин подал голос, выталкивая Мошонкина к траурному столу:

– Вот вам... товарищ из Парижа, наш соотечественник... тоже хочет. Маэстро Фортепьян, прошу любить и жаловать!..

– Иди ты! – перебил Феликса Пилатов. – Мы, кажется, армян не приглашали. Но если из Парижа, от международной общественности, тогда можно. Я допускаю. Так сказать, к телу.

Мошонкин действительно очень жалел светлый образ...

– Весь Париж в слезах! – кричал он. – Собор богоматери все свои флаги приспустил! Мой друг выдающийся поэт Хворобушкин даже вешаться хочет! А вы что делаете, сволочи? Ага!

Ваде поднесли.

Потом он кидался на гроб, и его, то есть Вадю, оттаскивали, поили валерьянкой и снова оттаскивали и отпихивали, а Вадя не желал отпихиваться, держался крепко и оторвать его можно было только с доской.

Дупель сгущался.

Пять часов пополудни.

Мошонкин, как международная общественность, стоял, покачиваясь, впритык к Ферапонтию Пилатову, у обоих были прескорбные лица, и Аврора Крейсер попеременно вытирала им глаза кружевным платочком.

Внесли памятник – только что из мастерской: никелированная звезда сияла, улыбался Большой Бэмс с керамической фотографии в бронзовой овальной рамочке...

Шелест губной...

– Большой Бэмс ещё при жизни памятник себе заслужил, скотина такая...

Человек в пенсне, похожий... нет, скорее вылитый весь Советский Союз, громко спорил с Китобойским, доказывая, что если ему сию минуту дадут безвозмездно десять бутылок водки и десять кило взаправдашних свиных сосисок, то он, в пенсне, запросто побьёт все рекорды Гиннеса, но сосисок под рукой не оказалось, их, сосисок-то, в Хибаровске не было во всеобщем употреблении ещё со времён индустриализации и коллективизации.

Вова Фикс, покинув пост, распотрошил урну и сбежал за пивом.

Потом смешивали валерьянку с пивом и водкой, делали коктейль «Погребальный».

Пилатов стучал молоточком по столу.

Явился дядька:

– Автобус «Икарус» поданный.

– Ага, – сказал Мошонкин. – Мы щас.

Явился другой дядька:

– Грузовик на месте... А скоко можно? Третий день стою, не пимши, не жрамши...

– Ага, – сказал ему Мошонкин, – мы щас. Вот только переделаем непорядок в памятнике...

Ну, Вадя! И как он только заметил тот непорядок?

На памятниковой тумбе отсутствовала заказанная никелированная пластинка с гравировкой: ФИО, годы рождения и смерти.

Прямо беда.

– Щас, – сказал Вадя. – А где тут евоный личный кабинет, светлого образа Большого Бэмса?

Минут через десять к памятнику была привинчена служебная табличка с двери:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ Хибаровского отделения Союза писателей СССР Приём посетителей: по понедельникам с 14.00 до 15.00
--

Дупель сгущался.

Шесть часов пополудни.

– Не волнуйтесь, маэстро, – говорила Ваде Аврора Крейсер и гладила его по голове. – Вашего друга достали.

Это она про Феликса, которого хор Смехалкова возжелал загнать в гроб.

А гроб уже был закрыт крышкой, и крышка с одного угла прихвачена гвоздём.

А Феликс уже и лыка не вязал.

А Вадю гладила Аврора и шептала:

– О, маэстро! Я уже вся тащусь от вас! Но вы, шалунишка, уже, кажется, под большим фортепяном! А ведь у нас с вами ещё всё впереди. Не так ли?

Это насчёт того, чтобы Мошонкин больше не пил.

А он дарил Авроре цветы из корзины, говорил, что эти красные и белые пиастры он только что привёз спецрейсом из Парижа, и скромно возражал относительно фортепяно, но Аврора втолковывала ему, как опытная переводчица с иностранного языка на русский: форте, дескать, это по-ихому будет шибко очень, а пьяно даже по-русски понятно, а когда всё вместе, то получается, что шибко пьяный, и не надо забывать язык родных каштанов, озорник вы этакий...

Самым невозмутимым был гроб.

Семь часов пополудни.

– Ну, что, братья и сестры? – закричал Пилатов. – Не пора ли со святыми упокой?

– Пора, пора...

Мужики в кольчугах подступили ко гробу и вознесли его на свои плечи согбенные.

Преодолев минутное замешательство: где во гробе голова и где ноги? – махнули рукой на ритуальные тонкости и принялись выдавливать на выход.

В «предбаннике» бесприютно, неприкаянно, из угла в угол, спотыкаясь о головы человеков, плавало мутное облачко, НЛЮ. Плавало и попискивало.

И вышли из Дома со львами – в скорбный путь на смиренное кладбище, туда, где все эпитеты и оценки теряют смысл.

Бабы в кокошниках, окрипшие, устилали дорогу цветами, живыми и мёртвыми.

И процессия потянулась, похрустывая ревматическими косточками.

Впереди, на уровне голов человеков, плыло смутное облачко и, автономное, свободное и независимое от нижней губы литературного редактора Васи Стрекозлова, на языке морзянки просило – за всех и каждого – покаяния:

· --- · - - - - - · - - · - - - - · · - - - - -

XLVII

Аз есмь свет миру.

АЗ Аз не туз. Не козырь. Одним махом ни семерых, ни скольких и нисколько не побиваю. Смиранный аз, многогрешный. Но если придёт время, когда спросят меня вопрошением коллективным: почто, судырь окаянный, высываешься несогласно? – то аз многогрешный так и скажу почти почтенной коллегии присяжных за-всегдаев: пока торжествует хор, пока не услышан мой единственный и неповторимый голос, пока я – не я, – покаяния нет и не будет, а коллективному покаянию в мире людей не верю и не воспоследую.

Аз есмь.

Бог есмь прежде всех век.

БУКИ А Феликс Хворобушкин сомневается. Он вообще говорит так, словно пригвождает: «Бедлам!» Но Бог-то ещё до бедлама был, как знатоки утверждают.

Английское *bedlam* выскочило из *Bethlehem*, из Вифлеема. И случилось так, что этим священным для христиан словом стали обозначать хаос, неразбериху, сумятицу, сводя их к общему именованию: «сумасшедший дом». Всё смешалось в этом доме...

А как случилось? Да так вот и случилось. Стоял в городе Лондоне дом

для умалишённых, обыкновенный в своей необыкновенности, но прежде в нём размещалась обычная больница в честь Марии Вифлеемской.

Эх, эх, буки-бяки... А на Руси святость с юродством в охапочку ходят.

Похрустывая сахарком, причмокивая, покачивая ножками в новых валенках, рассказывает Домовой из Кошкиного Дома № 13-бис:

– Да помню я его, Ваську-то Нагоходца. Как же, помню...

Пальчики на руках загибает Домовой, что-то высчитывает, губами беззвучно шевеля.

– Шишнадцатый век. Точно... Это ж скоко времи проскочило! А Васька, как живой, перед глазами торчит. В любую, значит, погоду-непогоду ходил Васька по Москве голый, как русская правда. А уж чего напредрекал тот Васька, так то и сбылось. Вот сидит он, для наглядности, на ступеньках Успенского собора в Кремле, и оправляется по-чижолому. Кому иному такое дело делать – так ни-ни, грех и гиенна с гигиеною, а Ваське дозволялось: блажененький. Храмовые служки за Васькой когда вонючие кучки убирают, так фыркают и фырком дух отгоняют: фуй, фуй, дерьмо оно и есть дерьмо, и сколь ни нюхай, а никакой в ём святости не вынюхаешь. Да, так вот, сидит, значит, Васька, а вокруг его народ собравшись и наблюдает с трепетом. Покакал Васька, и тут на него свыше голос сошёл или видение. Блажь напала. Сгребает он ладошками каку свою – и в народ кидает, кидает, радуется, как дитё, когда кому-нибудь в рожу залепит! А в народе кроме мужиков ещё и барышни фуфыристые в кринолине, так те аж в обморок падали от Васькиных щедрот: дух святой, дескать, снизошёл да прямо на ихние личики. И чо случилось? А то и случилось, что Васька таким испражнением как бы беду предсказал. И пришла беда. Вскорости Мухаммед-Гирей явился на Русь, городов пожёт неисчислимо и к московским посадам с войском подступил...

Сочинитель слушал Домового и листал Православный энциклопедический словарь на букву Б: «Блаженные – особый разряд святых подвижников, иначе называемых юродивыми. Принявший на себя этот подвиг отказывается от общепринятого образа жизни, делается добровольным скитальцем и нищим, обдуманно принимает на себя образ человека, лишённого здравого ума, самоотверженно терпит поругание и презрение...»

– И вот прокатилась по Руси слава Васькина! И сам царь Иван Васильевич Грозный зазвал его однажды на пир, самолично трижды наливал ему чары вина. А Васька чо? А Васька, себе на уме, трижды выплескивал очарованное зелье за окно. И разгневался царь. А ему толмачи разъясняют: блаженный, дескать, пожар тушит. «Где?» – возопил царь. «Да, кажись, в Новгороде». И послал царь гонца в Новгород удостовериться, и точно. Был там пожар! Да потух как-то сам по себе...

Отношение церкви к юродивым всегда было неоднозначным. Одних возводили в святые, других Синодальным распоряжением объявляли

мнимоюродивыми, каковых полагалось не допускать к всемерному бродяжничеству в кощунственных нарядах и из храмов гнать взашей. Рекомендовался в тех распоряжениях и рациональный способ борьбы со злом: религиозно-нравственное просвещение русского народа. И куда гражданские власти кумекали над «рациональными способами», Пётр Великий единовластно предпочёл «просвещение»: сажал юродивых на кол у храмовых стен.

– А нащёт Англии чего не знаю, того не знаю. Это вы у нашего начальника ЖЭКа товарища Сперанского спросите, мы с ним там были по обмену опытом. У них там площади называются скверами... Зато у нас площади называются Красными... Зато у них скверы зелёные... Зато у нас на площади – скверный храм в честь того Васьки Блаженного, да ещё целое кладбище падших борцов, да ещё древнеегипетская пирамида гранитная с мумией в саркофаге, и всё прочее, и Первомай, и слава КПСС, и Исус Воскрес, и искус-вопрос: чо тако-о-е?

Сочинитель уже и не слушал Домового, вступившего мыслию воспоминательной в XX век. Сочинитель, подобно Домовому, пальцы на руках загибал, исчисляя блаженства при дворах венценосных и державных властителей, великих государей царей и великих князей всея великия и малыя и белыя России самодержцев... Пальцев на руках не хватало.

Иван Яковлевич Кореяша был, из Смоленщины выродок. Являлся по молодости где-то чем-то кого-то или чего-то управителем, да напрокудил безобразий по службе – и скрылся в лес, юродивым объявился. Авторитету в лесу, понятно, маловато. Так он – в Москву, в Москву, в Москву! Много чего намычал Иван Яковлевич! «Без працы не бенды кололацы!» – любил приговаривать. И барыни в кринолинах, в себе души не чуя, тянулись к нему, хоть и не понимали ни хрена в его «кололацах», многозначительно переглядывались и перешёптывались... А уж когда помер Иван Яковлевич, вой стоял на Москве! Барыни и барышни в кринолинах так и плюхались личиками в дорожную грязь, чтобы только пронесли гроб святой над их телами. Да уж и гроб-то грызли белыми зубами, и нагрызенные щепочки благоговейно прятали на грудях. А в газетке «Развлечение» некто Гиацинт Тюльпанов стишки тиснул похоронные:

*Какое торжество готовит Жёлтый Дом?
Зачем туда текут народа волны
В телегах и в ландо, на дрожках и пешком,
И все сердца тревоги мрачной полны?..
Да, плачьте, бедные, о том, кого уж нет,
Кто дорог был равно для малых и великих;
Но плачьте и о том, что просвещенья свет
Ещё не озарил понятий ваших диких!*

А после похорон, как пишет бытописатель московский Иван Прыжов, неутешная толпа двинулась в «безумный дом» и венчала там

на опустевшее место, взамен Ивана Яковлевича, нового юродивого, гишпанца Мандрыку, который уже возлежал на койке Ивана Яковлевича, ещё до депутации уместился, вдрабадан распяняющий от заупокойных чаш.

...И Семён Митрич.

...И Данилушка Коломенский.

...И Макарьевна.

...И Матюша.

...И Николка, Железная Шапка, попавший в знаменитую пушкинскую трагедию; и Евдокея Тамбовская; и Ксенофонтий Пехорский; и Феодосий; и Пётр Устюжанский; и Гавриил Афонский; и Маша Бусинская; и отец Андрей; и Иван Степаныч; и Татьяна Степановна, босножка; и Филиппушка; и Марья Ивановна Скачкова, лечившая водой; и Агаша; и Кирюша; и Марфа Герасимовна... господи, дай дух перевести!.. и Никанор; и Антонушка; и Кирюша-второй; и Фёдор; и отец Серафим; и бородатый мужик, безымянный...

Домовой между тем прохаживался по покоям Зимнего дворца в царствование последнего монарха Романова и супружницы его Александры Фёдоровны, бакалавра философии, между прочим. А в покоях тех – игра «в дурачка», в подкидного да передвижного: парижский мясник Филипп, да маг Папюс, да чародей Митенька Козельский из Оптиной Пустыни, мычащий и припадошный, да ещё изрядная пьюшка и матерщинница Дарья Осипова, да странник Антоний, втянутый государем императором в решение дел Государственной Думы; да вот и бесоизгнатель протоиерей Иоанн Кронштадтский; а уж верх блаженства – бывший конокрад и хлыст Григорий Ефимович Распутин, напророчивший гибель империи.

Последний?

О, нет! Не последний блаженный империи.

На столе, под нехитрой закускою, разостлана весенняя «Комсомольская правда»: две полосы о житие 95-летнего вологодского юродивого Толи Рыковского, ставшего блаженным полвека назад, а нынче вот он благим матом кроет бесов, покупает на подаяние полторы сотни икон для Псковской воздушно-десантной дивизии и на президентских выборах агитирует за ВВК... Лепота?

Но вот – голос вдруг! Неразборчивый голос. То ли «Подайте копеечку!», то ли «Отняли копеечку...»

И – девять евангельских блаженных тут как тут.

И – баста, братие.

Блаженны нищие духом...

Ведаю всю тайну в человеце и мысль.

ВЕДИ – Засекли, – доложили генералу Поцелуйко. – Только что. Неопознанная рация. Обыкновенная азбука Морзе. Прямым текстом неопределённый агент просит покаяния.

– Чего просит? – поднял брови генерал. – Да вы что, ребята, совсем охристители? Немедленно выясняйте: кто, где, почему и с какой провокационной целью? Немедленно. Иначе я вашу эзотерию изотру в порошок. Шутка. Вам всё ясно?

– Так точно.

– Выполняйте.

И тихое веселье прокатилось по Тихому Дому, из кабинета в кабинет.

И деловитая строгость генерала никого не пугала, не напрягала, ибо до дела Поцелуйкины глаза выдавали всего лишь муку мученическую, а при деле – тайной радостью светились, оптимизмом и твёрдой верою в светлое будущее, которому мешает затаившийся враг.

Поцелуйко жмурился и мурлыкал приятным баритончиком:

– Тем паче чаянья, тем паче...

На полированном пространстве рабочего стола нет ничего, давненько уж нет ничего, заслуживающего внимания, рвения и усердия. Разве что – лента Мёбиуса?

По образцу той, бумажной, что была изъята у режиссёра кинохроники, недоповесившегося Арнольда Бефстроганова, генералу в подарок изготовили другую ленту, сияюще-латунную, на мраморной подставке; выгнул и спаял свой человек из мастерской похоронных изделий при городском бюро ритуальных услуг, где у Поцелуйкиной конторы имеются свои интересы; точка контроля – в ней памятники и оградки, и кресты, и звёзды советские, и звёзды Давидовы, и венки с лентами, а на лентах разные надписи, и эти надписи в цензурное ЛИТО не потащишь в виду деликатности момента, за ними специфический догляд нужен, а в общем, с точки зрения государственной безопасности и пресечения антисоветской агитации и пропаганды, похоронная мастерская по самую крышу наполнена информацией, весьма интересной в смысле перспективной разработки. Обряд обрядом, но и за обрядом нужен державный глаз с нарядом.

А латунная лента Мёбиуса – экая игрушка, ей-богу! – завораживала, пленяла генерала загадкой времени и пространства, непостижимой тайной и – пустотой, по сути дела. Загадку не разгадать. Тайну не постичь. Так хотя бы с пустотой разобраться! А вот не даётся уму пустота, ускользает, и уж не назвать её более-менее внятным определением, не назвать, так хотя бы обозначить эту пустоту чем-нибудь – как и чем? красным флажком? жёлтым листком? или зелёным глазом?

Через десять минут хлынул первый в нынешней весне дождь.

И было доложено генералу:

– Похороны.

– Где?

– Взгляните в окно. Оттуда всё видно.

Действительно, всё видно, как на ладони.

Площадь Падших Борцов – Ленин в центре фонтана – и две людские колонны, упершиеся лоб в лоб...

– Негласная агентура на месте?

– Так точно.

– Передатчик?

– Пока не выявлен.

– Участники?

– С одной стороны – писатели. Говорят, что хоронят товарища председателя Большого Бэмса. Гроб подозрительно закрыт, что не по правилам. Все пьяные в стельку. А с другой стороны – бригада сантехников из ЖЭКа № 25, дом 13-бис. Подозрительно трезвые. Кого хоронят неизвестно. Гроба нет. Несут упаковочную коробку из-под телевизора «Рубин».

– Значит, сделаем так, – генерал ладоши потёр, вспотели ладоши, точно у боксёра перед выходом в ринг. – Корректно. Тактично. Так сказать, либерально, в ихнем духе...

Перед своим генеральством, ещё полковником, Поцелуйко пару месяцев повышал квалификацию на центральных Курсах Усовершенствования Начальствующего Состава КГБ (КУНС), там он и сдавал зачёт по истории российского либерализма. Он имел представление о либералах: мягкотелые, рыхлые, ноющие интеллигенты с историей, словно наказание, весьма условной, ибо у российских либералов не было и нет достойной истории, у них есть недостойная география в шесть-семь кухонных квадратных метров. Какая же тут история? В настоящей-то истории были, например, Москва 1905 года, и похороны Баумана, и маёвки...

– Радиста локализовать. Негласную агентуру вывести на оперативную связь. С похоронным народом... ну, поговорите там, договоритесь, чекушечку прихватите... В общем, найдите консенсус, а главное – радиста. Обоих найдите и – по морде, по морде! Шучу. Но дело, по-моему, вовсе не шутейное. Тем паче чаяния, что вокруг Ленина хороводят...

Весело в Тихом Доме. Вот тебе – и оттепель, грязь наружу полезла.
Воспрянь, псалтирь и гусли!

Глаголю людям закон мой.

ГЛАГОЛЬ Гробик для Хомы, картонную коробку, дед Молитвин от мусорных контейнеров приволок.

И уложили туда, тряпочку постелив, маленькое тело пуделя.

Каштанка из-под дивана смотрела, не выходя. Она щенят кормила: семерых слепых, но смелых. Каштанка беззвучно плакала. Наверное, щенки больно прикусывали её сосцы.

И пришёл Изя Несчастливщиц.

И опустил в картонную коробку многозначительно, точно в урну избирательную, свой советский паспорт и две, одну за другой, важные, судьбоносные, но совершенно безнадёжные бумаги, предназначенные для ОВИРа:

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА

1. Фамилия, имя, отчество _____

Если ранее имели другие фамилию, имя, отчество укажи-

те их _____

2. Число, месяц, год рождения _____

3. Место рождения _____

(республика, край, область, населенный пункт)

4. Место постоянного жительства (прописки) _____

(республика, край,

область, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира, тлф)

5. Гражданство _____ Если одновременно имеете гражданство дру-

гого государства укажите об этом _____

6. Паспорт серии _____ № _____ выдан « _____ » _____ 19 _____ г.

(указать кем выдан)

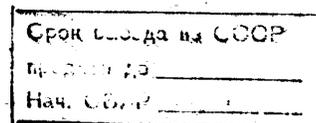
7. Цель получения заграничного паспорта _____

(для временных выездов из

Российской Федерации)

(для выезда на постоянное жительство)

(страна предполагаемого выезда)



13. Выписка из трудовой книжки о моей трудовой деятельности за последние 15 лет (включая учебу в учебных заведениях и военную службу):

Месяц и год		Должность и точное наименование работы с указанием министерства (ведомства)	Местонахождение (адрес) предприятия, учреждения, организации
поступления	ухода		

Сведения, указанные в анкете, сверены с паспортом, военным билетом и трудовой книжкой.

« ____ » _____ 19 ____ года

М. П.

подпись, фамилия должностного лица
предприятия, учреждения, организации

14. Сведения о моих близких родственниках: супруг-супруга, отец, мать, дети, быв. супруга-супруг – при наличии детей от совместного брака (заполняется при оформлении паспорта для выезда на постоянное жительство)

Фамилия, имя, отчество	Степень родства, гражданство	Год и место рождения	Место работы, должность	Адрес места жительства

15. Имею заграничный паспорт серии _____ № _____, выданный мне « ____ » _____ 19 ____ года.

Мне известно, что заведомо ложные сведения и заявления могут повлечь отказ в выдаче загранпаспорта.

« ____ » _____ 19 ____ года. _____
(подпись заявителя)

Дата приема документов « ____ » _____ 19 ____ года.

Регистрационный № _____ _____
(подпись фамилия работника ОВИР)

Серия и номер выданного заграничного паспорта _____ № _____

« ____ » _____ 19 ____ г (дата его выдачи)

АНКЕТА

1. Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

Место
для фотокарточки

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, укажите, когда и по какой причине	
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область)	
4. Национальность	
5. Партийность, месяц и год вступления, № парт билета или кандидатской карточки	
6. Если состояли ранее в КПСС, когда и по какой причине выбыли	
7. Имеете ли партийное взыскание; когда, кем, за что и какое наложено взыскание	
8. Образование, когда и какое учебное заведение окончили, № диплома Специальность (по диплому) Квалификация (по диплому)	
9. Ученая степень, ученое звание, когда присвоены, №№ дипломов	
10. Имеете ли научные труды, изобретения	
11. Какими иностранными языками, языками народов СССР владеете и в какой степени	
12. Если привлекались к судебной ответственности, то когда и за что	

15. Участие в центральных, республиканских, краевых, областных, окружных, городских, районных партийных, советских и других выборных органах. Избирались ли делегатом съездов, конференций КПСС (каких)

Местонахождение выборного органа	Название выборного органа	В качестве кого избран	Г о д	
			избрания	выбытия

16. Какие имеете государственные награды _____
(когда и чем награждены)

17. Отношение к воинской обязанности и воинское звание _____

Состав _____ Род войск _____

18. Домашний адрес: _____

« _____ » _____ 19__ г. Личная подпись _____

(Работник, заполнивший эту анкету, о всех последующих изменениях в своих учетных данных сообщает по месту работы для внесения этих изменений в личное дело.)

– Пусть земля вам будет, – сказал Изя.

Семён Семёныч Помиранцев уложил в ту же коробку 30 томов стихотворно-кулинарных сочинений поэта Феликса Хворобушкина; 30 машинописных, старательно переплетённых в коленкор, книг, которые оказались никому не нужны и валялись в сантехнической бендежке без призора, без надёги, без читателя и ценителя, без гурмана пищи и слова, так вот и пусть земля-кормилица и будет им первозданным упокоением.

И Князь, уже отплакавшийся, опустил в коробку телеграмму из Подмосковья о смерти Шурика.

– Ну, вот, ребята, – сказал Помиранцев и положил в коробку тяжёлый пятак с гербом. – Семеро нас осталось. Семеро смелых. Как ценят у Каштанки.

– А Вадя Мошонкин где? – спросил Щитовидов и положил глаз на уже положенное в коробку. – И где, в конце концов, этот Заюшкин с нашей бутылкой?

Хлюстаков опустил в картонную домовину Хомину родословную метрику.

Каштанка протестующе заскулила: да вы чо это, товарищи? как мои ребятишки без документов жить будут?

Кувыкин опустил глаза.

А Сочинитель ничего не положил рядом с Хомой, разве что... разве что, за правило положил себе отныне и до скончания своего собственного века: и досаду, и боль, и гнев усмирять поелику возможно, ибо все смертны, и не он, Сочинитель, человека поймал, но труп поймал Сочинителя, который для людей есть всего лишь середина между трупом и безумцем; кажется, так сказал Заратустра, но точно так же и Сочинитель подумал.

С тем и вышли из подвала в сумерки: через дорогу – живая, уже зеленью охваченная изгородь, обрамляющая Площадь Падших Борцов – вот там, под кустиком, и ямку выроем, время вечернее, никто посторонний не увидит.

И пошли.

И дождь пошёл – с ними.

Гневаясь, не согрешайте; размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь.

Добро есть творящим волю Мою.

ДОБРО Давно это было. Тогда Сочинитель ещё и до двадцати годов возрастом не дотянул и в доблестной Советской Армии службу нёс, священный долг Родине отдавал: боевая и политическая подготовка, суточные наряды, стрельбы, полевые учения, караулы, алюминиевая посуда в столовке, зверский аппетит, казарменный быт, тощие подшивки газет в Ленинской комнате, личное время на подшивание свежего подворотничка к гимнастерке, песни ротные, многоротые, лозунг

во всю длину строевого плаца: «Служи по уставу – завоеешь честь и славу!»

И вот захотелось ему домой. Нестерпимо. Там лучше. Там не было славных лозунгов и подворотничков, газет и подготовки. Там были: просто время, просто газеты и быт, и родина с маленькой буквы, и просто долг без всякой к нему подготовки.

Но как получить от командования краткосрочный отпуск на десять суток?

И домудрил он до вот чего: написал письмецо на родину, дружку своему, корешу-белобилетнику. Так, мол, и так, отстукивай срочную депешу в адрес воинской части 75272: дед помер, просим отпустить на похороны любимого внука, и точка.

И приехал молодой Сочинитель домой. Рады-ы-й!

А в доме плач с причитаниями: деда хоронят...

День дню передаёт речь, и ночь ночи передаёт знание.

Есть гнев Мой на грешники.

ЕСТЬ Единственное в Хибаровске учреждение, которое занимается похоронными делами, это Бюро ритуальных услуг. При нём состоит мастерская, которой городское управление коммунального хозяйства спускает ежемесячный план: шестьсот пятьдесят деревянных изделий типа «гроб».

Деревянная мастерская – типа «барак».

Работнички там – типа «бич».

– Без работы не сидим, – говорят работнички. – Прогресс всё ж таки. Мы его каждый божий день в гробу видим. Наглядно и без партийных съездов. Лет десять назад, двести пятьдесят изделий за глаза хватало, даже про запас оставляли, потом стало надо больше, ещё больше, а нынче вообще такая диаграмма попёрла, что люди как бы охотно помирать стали, с удовольствием, наперегонки, будто бы за гробом у них очередь в райские небеса...

К мастерской приткнулась избушка типа «лачужка» или «хижина дяди Тома». Живёт в ней одинокий старик Ерусалимыч, кладбищенский сторож. Ещё его называют так: стационарный смотритель.

В трёхстах метрах от некрополя круглогодично дымится городская свалка. Там обитают бичи типа «бомж». И заправляет всем этим смрадным фанерно-картонным городищем некий бомж типа «бич».

Сочинитель, между прочим, довольно прилично знает эту городскую окрестность, трезво знает и пьяно, в пропорции пятьдесят на пятьдесят; ибо – никакое не смертельное, но чисто житейское, самое что ни на есть житейское дело – они, эти похороны мёртвых и жизнь почти мертвецов.

Классный гробовщик Бебешкин, он же и обойщик-золотые руки, стажировался в самой Москве, о чём любит порассказать с ухмылкой авгура, посвящённого в запредельные таинства.

– В столице нашей замечательной родины план крутой, – говорит. – Четыреста штук в месяц из одной только нашей фирмы первого класса выдай – и не грехи. Но я-то ширпотребом не занимался. Меня повыше поставили, на гроб номер шесть. Высшая квалификация. Штучный товар. Только для членов нашего правительства и Политбюро.

– Небось, дубовые домовины? С бронзой? – спросил Сочинитель.

– Не, дубовые даже для Политбюро дорогие. Только – сосна. Самый гожий материал. Потому как – просмоленный. Вот я и делал. И чтоб никакой щелочки для пропускания духа! Строго! Опять же – не стандарт: сантиметров на десять должно быть подлиннее обычных и на примерно шесть – пошире. Для солидности и масштаба. А подушки клались не из опилок и стружек, из ваты...

Бебешкин хороший. Хоть и работа у него мрачная. А философия у Бебешкина такая:

– Есть человек. И нет человека. Значит, что? Значит, был человек. Человек нерукотворный. А гробик-то ему мы вот этими самыми трудящими руками...

Бебешкин халтурщиков-скорохватов презирает.

– Вот, – говорит, приспособившись губ не разжимать, а губами посапожницки мелкие обивочные гвоздочки удерживает, шляпками наружу, – вот придумали такой «обойный молоток», пневматика, стреляет проволочными скобочками. Из горкомхоза прислали для внедрения и ускорения. А оно нам надо, это ускорение? Нам оно без надобности. Мы и так справляемся, обыкновенным тыщелетним молоточком...

Красным ситчиком Бебешкин гроб обивает:

– И ж-ж-изнь хороша-а-а...

Это он так гвоздочек наживульку пальцами втыкает!

– И ж-ж-жить хорош-шо!

Чмок – и гвоздик в дереве по самую шляпку. Красиво работает этот Бебешкин.

– В Москве-то как дело было? Двадцать метров крепдешину гофре на обивку сосновенького гроба номер шесть – это, считай, четыре часа работы. А на ширпотреб из какой-нибудь паршивой осины? Десять минут – и Вася не чешись. Разве это смерть? Не-е-т, уж проводить человека надо по-человечески...

И – понизив голос:

– Да ещё и не один гроб на одного покойника бывал, вот как.

– Ни фига себе, – удивлялся Сочинитель. – Вроде как у фараонов, матрёшка такая?

– Не фараонов, и не матрёшка, – отвечал Бебешкин снисходительно. – Для перемены. Потому что протечка в некоторых разгах образуется. Например, церемонятся с покойником, речи там, почётные караулы, то да сё, а с гробового дна – жижга, кап-кап... Нехороший эффект. Сталину три штуки про запас сделали и три же переменяли, воды в ём много было, в Иосифе Виссарионовиче. А Брежневу – два...

И покойных людей, и живых уважает гробовщик Бебешкин. И только двух, мягко говоря, откровенно не любит. Есть тут два могильщика, Кузин и его кузен Кантакузин, из бывших милиционеров.

– Передвижной пост у их был на кладбище, особенно в Родительский день и тому прочее. И вот, значит, постились они, постились, облизывались, как волки, а потом в могильщики подались работать, ребята захапужистые, до подношений охочие, а навар с похоронного дела, сами знаете, дешёвым не бывает, прибыльный, дери втридорога – зарёванные родичи всё отдадут, слова поперёк не скажут, момент такой бедовый, а покойник тем более не возразит... И сыты могильщики, и пьяны, и нос в табаке, и ряшки отъели – будь здоров!

Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят; есть у них уши, но не слышат; и нет дыхания в устах их.

Живот дах всеи твари.

ЖИВЕТЕ Жалоносная процессия со гробом впереди выдавилась, как паста из тубика, из Дома со львами – вытекла в аллею Героев Социалистического Реализма – и Ферапонтий Пилатов, поддерживаемый Вадей Мошонкиным, вышел вперёд гроба, слабой рукою подозвал бабу в кокошнике:

– Жéно, приступай пожрати.

Баба глазами захлопала.

– Глупая ты баба. Сама в кокошнике, а сама не соображаешь, что по-церковно-славянскому пожрати еси жертву приносить. Так что, начинай, жéно!

И под ноги церемонно шествующей спарки посыпались цветы.

Шли, раскачиваясь, вдоль деревьев веснеющих и кустов акаций, вдоль лжебронзовых бюстов, которые – кустодия церковно-славянская, а по нашим понятиям стража – изволили назирати безучастно, без стихир, ревнования и постыдного поноса.

О, жаль ложно-классическая! Ржание жилья-жулья. Рыжая ржавь, жёлтая жрица железных жестоких держав...

Духовой оркестр категорически запретил классик Равелин Валютин: гудошники, де, чужебесие еси... Потому музыкальное сопровождение взял на себя лично товарищ Смехалков, бессменный руководитель и дирижёр ветеранского хора. Смехалков был сух, прям и бесслёзен. Он был ответствен. Он недавно придумал русскую национальную музыкальную грамоту, состоящую не из обычных семи нот, но из трёх плюс «нота протеста», и не из пятилинейного нотного стана, кой духу чужд, а опять же из трёхлинейного, навроде трёх струн родной балалаечки, гармоничной весьма, вельми и паки паче со знаменитой трёхлинейной оружейника Мосина.

Поднял руку Смехалков. Замер. Взмахнул.

И явилась музыка сфер.

– Вы жертвою пали в борьбе роковой...

Как хорошо, как славно иногда бывает ощущать себя жертвой!

Колонна встрепенулась, подтянулась, воспрянула – и мерной поступью двинулась к Площади Падших Борцов, чтобы трижды обнести гроб Большого Бэмса вокруг фонтана с памятником вождю.

И шёл дождь.

И – процессия с ним, укрывшись зонтиками и целлофановыми пакетами.

Бессознательную вдову несли, ухватив за подмышки, мужики в кольчугах.

А ещё – дрожащий человечек. Он нарушал ритм. Он бегал из головы в хвост процессии и дёргал скорбных, занятых трауром, товарищей за рукава:

– О, дайте тэму!

Вадя дал. В лоб. Потом по темечку, для верности.

Человечек перестал дрожать, закрыл глаза и лёг на обочину.

А Вадя устремил глаза вперёд и увидел... Что увидел Вадя? Это мы ещё успеем спросить у него. А пока что он совсем выпустил Ферапонтия из рук вон, тот упал, а Вадя ринулся навстречу видению, а за ним и Феликс Хворобушкин с воплем устремился, но устремление то находилось в руках Авроры Крейсер, а из её краснофлотских объятий освободиться не так-то, знаете ли, просто, железная хватка, стальной зажим удержания, «двойной нельсон» французской борьбы – никто ещё не уходил вот так просто и без потерь от жара и жора оной девочки-трёхдюймовочки: критик всё ж таки, а не васильковая, незабудочная, ситцевая, простодырая Галя-Марго, новейшая «мочалкина» богиня с престонародной добродушной фамилией Моргалина, или Марголина, впрочем, не так уж и важно, у неё ещё всё впереди...

Жезл силы Твоей пошлёт Господь с Сиона; господствуй среди врагов Твоих.

Зло есть законопреступником.

ЗЕЛО, Заколебал ты, Вадя, Сочинителя своей пролетарской
ЗЕМЛЯ простотой...

Вот, скажи на милость: кой чёрт дёрнул тебя выйти на свет из нелегального положения и так вот дурачки засветиться? Мы тут за тебя, понимаешь, волнуемся, переживаем, каждый по-своему, в зависимости от темперамента, тёща твоя любезная и многогранная приходила на работу, интересовалась, мы сказали единодушно: в ответственной командировке ваш Вадим, успокойте ваши заслуженные нервы и не гоните, мадам, разную чепуховую тюльку в направлении нашего товарища Мошонкина, и ещё, ради бога, не давите, не оказывайте отрицательного момента в направлении вашей единоутробной дочери,

Вадиной законной жены... Тёща, кажется, всё поняла, потому что ни слова в ответ не сказала.

Вообще, у Мошонкина вся семья довольно рассудительная.

И вот этот факт как раз и бесит трудовой наш коллектив, когда он наблюдает, как Вадя, посреди трудовых усилий, начинает метаться в какой-нибудь потусторонней беговне. Да что же, в конце концов, мы Вадю не знаем, что ли, этого маэстро дегустатора, техник-сана и художественного свистуна?

Однако насчёт рассудительности семейства – всё верно, никакой иронии.

Тёща рассуждает так:

– Ох, не нравится мне этот социализм, сил нету! С самого ранья то воду со светом отключат, то обратно этот скотина Вадька зóпил...

Вадим рассуждает так:

– Если правда, что человек, как явление природы, с химической точки зрения состоит на девяносто процентов из воды аж-два-о, то очень даже возможно при определённых условиях и в течение определённого времени добавлять в организм определённые вещества и в конце концов перегнать человека в любой напиток: хошь квас, хошь кока-кола, хошь денатуральный спирт самой зверской крепости. Ага. Спорим?

Жена Вадима, Марфа-посадница, рассуждает так:

– Дурак ты, Вадя, и полное вещество на букву г. Ещё раз захотел в неотдалённые места?

Марфа – это она по паспорту, а что «посадница» – так это по характеру, из-за которого она уже три раза засаживала мужа в те самые места.

– Эх, Марфуня, – рассуждает Вадим, – равнобедренная ты моя! Наукой можно заниматься даже в тех мучительных местах. Все великие открытия в нечеловеческих муках рождались, не только что в лечебно-трудовых профилакториях. Ага. Спорим?

Марфа-посадница обычно не спорила. Она брала Вадима за шкуру – здоровенная бабища! – и била крестным знаменем об пол, с поклоном принудительным. Но так бывало, когда Вадим был – как стёклышко. А когда он экспериментировал с перегонкой, то есть входил по пьяному делу в крутой вираж, тогда он включал пылесос со стиральной машиной и полоскал свою посадницу почём попало, да так аккуратно, что ни тёща в своей комнате, ни соседи не слышали Марфиных басистых воплей, полагая, что в доме совершается всего навсего шум генеральной уборки помещения.

Марфа, кстати, соседям не жаловалась. Однако люто возненавидела всякую науку, с которой Вадим, по её мнению, чокнулся раз и навсегда.

– Физики-шизики, – рассуждала она. – Атом придумали, паразиты.

– Ты не права, детка моя, – рассуждал Вадим, как стёклышко бу-

дучи. – Шизофреники вяжут веники. Алкоголики пишут нолики. А эстеты жуют газеты.

Ему бы, учёному, в самую пору приспело порассуждать о том, что когда идёт большая драка, то опасней всего даже не враг, а собственная жена, которая висит на тебе, орёт, хватается за рукава, а тебе в это время – стреноженному-то! – оппоненты рожу чистят, а ты и отмахнуться не имеешь никакой физической возможности.

Кстати или некстати, но идею «перегонки человека» Вадим подобрал у одного профессора, в очереди за пивом в «мочалке». Взяли тогда по кружечке, профессор чекушку беленькой из штанов выудил, в кружку нацелился, а руки ходуном ходях.

– Вот она, судьба моя, – рассуждал профессор. – Семнадцать лет состоял на партучёте на фармацевтическом факультете, и вот, как видите, даже разливать разучился. Совсем беда и деградация. Хоть возьми и удавись.

И Вадим рассудил так:

– Действительно, товарищ профессор. Чего-то такое хочется, а куда – не знаю. Ага. Споримте?

– О чём, коллега?

– Да я и сам не знаю... Например, девяносто процентов аж-два-о в живом человеке... Это ж надо! Но по химически я вас хорошо понимаю и сочувствую. А вот если взять без химии? Что тогда в человеческой сущности останется?

– Тогда это уже будет бог, – рассудил профессор.

– Так давайте! – обрадовался Вадим. – Давайте будем делаться как боги. Сообразим перегонку! И даже если не бог получится, так уж во всяком случае – человек правильный и вертикальный. Ага?

Зело возлюбивый... Ни на чём землю утвердих.

ИЖЕ, *Престол Мой иже на небесех.*

И *И будет он как дерево, посаженное при потоках вод,
которое приносит плод свой во время свое.*

Князь у цыганского барона Николаши лошадь выпросил, Чапая, с телегою вместе.

– Напрасно вы это, Игорь Святославич, – заметил Помиранцев. – Велика ли тяжесть в коробке-то? Уж донесли бы как-нибудь без транспорта, да и дороги всего-то на пару минут...

Глянул Князь на Семёна Семёныча – тоской окатил насказанной. И ступешался Семён Семёныч, и вину неопределённую восчувствовал.

– Ну, тронулись, ребята.

С порога Домовой нам ручкою помахал: тоже пошёл бы, да не на кого Кошкин Дом оставить, прямо беда...

Князь Чапая попросил:

– Трогай, сынок.

А дождь к тому времени шёл и шёл, да вдруг и разошёлся, при-

пустил во всю мочь. Он был молодой, весенний. Но он прямо на глазах сумеречного народа взрослел и становился совершеннолетним, летним совершенно.

И иже с ним: Чапай с телегою цыганского барона; Князь с вожжами и смутными воспоминаниями об оперном финале; Помиранцев со штыковой лопатой; Несчастлившиц с гефсиманией как последним целованием с Советской властью; Хлюстаков с первобытной полигамной, блин, проблематикой, перебиваемой мыслями о Каштанкиных ещё слепых, но уже смелых детках; Кувыкин с бренностью, и тщетой, и суетой своей профессиональной, почётными грамотами обозначенной, славы ударного передовика; Щитовидов с ежедневной памятью о секундах; дед Молитвин с тётей Матрёшей; Сочинитель со стихами, проборматывающимися ни к селу, ни к городу – к миру, в общем и целом:

*Позади война,
Впереди война –
Горше пьянь-вина.
И – ничья вина...*

В потоках вод качается уносимый в низменность, в неизвестность, однако же туда, куда вода знает, мусор.

А по бетонному бордюру со сбережением ботинок идёт саксофонист, привлечённый приятель Изи Несчастлившица.

Он идёт, балансируя, точно канатоходец, по узкой кромочке бордюра, разделяющего хлябь и твердь: удел поцелованных богами.

Он скользит поребриком и извлекает из воздуха дух звука.

Он, отрешённый, извлекает из воздуха дух звука и кажется совершенно одиноким, как человек одинокий из четвёртой главы Екклесиаста.

Дух звука – не приличествующие случаю «Шербурские зонтики», но – битлзовское «Yesterday», то есть «Вчера».

И вот потому он одинокий: сегодня играет о «Вчера», ибо так Екклесиаст повелел: «И Бог воззовет прошедшее».

А это значит, что вчера повторит себя завтра.

И шед на адова врата сокруших, и веря железная сломих.

Како людие беззаконнии не сотвористе воля моя.

КАКО Компетентные органы – это звучит гордо. Но говорить о них в единственном числе есть верх неприличия. И поэтому о компетентных органах, как о похоронах, поминках, сумерках, небесах, принято говорить только в числе множественном.

Красиво работают эти органы: чмок – и человек, точно гвоздик, оказывается в «деле» по самую шляпку, вместе со шляпкой.

- Что мы имеем на гражданина Несчастлившица?
- Есть кое-что, товарищ генерал.

- Задokumentировано?
- Как положено.
- А что, если нам...
- Так точно.
- Тогда...
- Есть.

Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши.

Люди мои не покоривше.

ЛЮДИ Лёгко на поминках этот гражданин Изяслав Несчастлившиц. В совершенное отличие от английского гражданина, который уходит без прощания, Изя прощается, и ещё раз прощается, и снова прощается – но не уходит.

А когда вдруг решил всё-таки уйти раз и навсегда, то случилась такая история.

– Еврей, что ли? – спросили его в Отделе Виз и Регистрации.

– Таки да, – ответил Изя с вызовом. – Ну, и что? Еврей-дед, еврей-папа и евреем буду я. Зато вы меня спросите: какой еврей? А когда вы спросите, так я вам скажу то, что какой я еврей. Древнерусский и старославянский!

– Таких евреев не бывает, – сказал ОВИР.

– Вот он, перед вами!

– Ну-ну, – сказал ОВИР и ухмыльнулся как-то нехорошо, не товарищески.

И Несчастлившиц поёжился от того ухмыла.

И с того ёжа, который образовался от ухмыла, ОВИР оцетинился.

– А вот щас как возьму, да позвоню, кому надо и куда надо, – заявил он, правда, тогда, когда Изя вышел вон, унося с собою бланки анкеты и заявления о выдаче ему заграничного паспорта.

И позвонил.

На рассвете в дверь Изиной квартирки позвонили. И вошли четверо: молодые, коротко стриженные, аккуратные, вежливые.

– Как? – удивились четверо одним удивлением. – У вас ещё ничего не готово? Ничего не собрано?

– Да вот как-то так-то... извиняюсь, не ожидал, – развёл Изя руками, нашаривающими на столе бланки, которые, оказывается, с большим нетерпением ожидает ОВИР.

– Дорогой наш друг, товарищ и брат, – сказали четверо одним голосом. – Как же так? Мы уже и контейнер для ваших вещей заказали. Машина во дворе, у подъезда. Время не ждёт. ОВИР тоже трепаться не любит...

– Так вы, значит, оттуда?

– Оттуда, оттуда, папаша.

– А паспорт? А виза? – застрекотал Изя.

– Разве вам не сказали в ОВИРЕ? Всё будет доставлено специальным курьером на желдорвокзал к двенадцати-ноль ноль за пятнадцать с половиной минут до отхода скорого поезда Хибаровск–Москва, в котором для вас и вашей супруги забронировано двухместное купе.

– Ой, а чего с анкетами делать?

– Пятнадцать с половиной минут вам хватит?

– Ой, хватит, товарищи, хватит!

– Тогда на вокзале и заполните и курьеру передадите. Только не забудьте. Вы ему заполненные бланки, он вам – паспорта с визами. А теперь быстро, быстро! На контейнерной станции вы поставлены вне очереди.

И в восемь молодых крепких рук плюс четыре немолодых и некрепких квартирка за полчаса была опустошена.

...Когда утречком Изя с супругою трепетно покидал дом, дворник Платонов повстречался на пути.

– Далеко ли? – спрашивает любезно.

– Ой! – воскликнул Изя. – Недалеко! За углом сразу! Шутка!

– А кроме шуток если?

– Ой, не спрашивайте! Самим не верится, что! В сокровенную! Необыкновенную! Благословенную! Внутривенную...

– Короче.

– В Вену.

– Да? Ну, тогда хоть землицы хибаровской на память прихватите...

Землицы поблизости не оказалось, кругом асфальт. Лишь горсточка, даже полгорсточка пыли из-под дворницкой метлы.

– Значит, в Вену?

– Ой, туда!

– А оттудова?

– А оттудова будем посмотреть весь мир у наших ног! Вот вам, уважаемый, ключи от квартиры. Прощайте!

Вышедший на променад Хома обнюхал Изины ноги, поднял лапу и омочил штанину. И нисколечко не огорчился Изя, даже прослезился: вот ведь, собачка, необразованное животное, а – понимает...

– Не забывайте нас, – сказал Платонов.

– Да уж как забыть? Разве такое забудешь? Слава нашему народу и правительству!

– Пишите...

– Да уж и вы то же самое...

– Прощайте, прощайте...

– Счастливого оставаться...

... Оказалось вот что. Желдорвокзал был – курьера не было. Поезд был – купе не было. Контейнер был (сами же своими руками наполняли тот контейнер домашним добром!) – всё имущество, до последней ложечки-вилочки, исчезло в неизвестном направлении.

Остались пара Несчастливщицев. И пара пустейших графлёных бланков.

И дворник Платонов, который, услышав ответ на свой вопрос: «Ну, и как там?», сказал:

– Фантастика!

Луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом; восклицают и поют.

Мыслете на мя злаа.

МЫСЛЕТЕ Мерной поступью, маршем церемониальным двигались две процессии навстречу друг другу и друг другу являлись ничем иным, как новой исторической общностью людей – советским народом, строителем коммунизма: сплочённость, монолитность, изрядное одушевление и так себе, на троечку, окормление, целеустремлённость вперёд и только вперёд, ни шагу назад, а шаг влево-шаг вправо считается за побег.

Так что, по всем параметрам выходило: две похоронные процессии, не поступающиеся принципами, упрямо шли на таран.

И когда Мошонкин, оставив без опоры Ферапонтия Пилатова, рванул навстречу своему видению с возгласом «Свои!», вослед ему полетело грозное:

– Ренегат Каутский!

– Предатель!

– Иуда!

– Пятая колонна!

А Вадя уже и не слышал. А Вадя на пьяный манер уже лобызался с Чапаем, с Князем, с Помиранцевым... Счастливый! Он так долго, целую вечность, подпольную и нелегальную, не видел товарищей по профсоюзной организации.

Он взял Чапая под уздцы и вдохновенно кричал в сторону колышущегося под звон кольчуг красного гроба:

– Свои, свои! Привет от богоматери! Феликс, ты где? Иди сюда, Феликс!

И Феликс из литературной колонны отвечал трубно, как Тарас Бульба:

– Иду, сынку...

Как же ему не идти-то? Небось, сообразил, кого и что похеривают товарищи из сантехнического подвала. Да ведь и сам-то, сам накануне собственной инициативой, никто за язык не тянул, подначивал схоронить к чёртовой матери свой кулинарно-стихотворный тридцатитомник! Этак ненароком, скороговоркой и суматошно, но ведь говорил же:

– Пройденный этап. Шлак, так сказать. Из земли вышед, да в землю и отыдеши...

Но вот что-то вдруг и жалко стало... Дурость там, конечно, несусветная, но ведь своя же дурость, не чья-нибудь... «Пей боржомом и

нарзан! Будешь прыгать, как Тарзан!»... «Ешь горчицу, лук и хрен! Будешь, как Софи Лорен!»...

– Иду! – вскричал Феликс и мигом очутился в «рenegатах». – Там Ферапонтий встать не может, Вадя! Поднять ни хрена не могут, и колонна стоит, гроб мокнет, покойник портится... Ступай, дорогой, выручай писателей...

И Мошонкин, исполненный долга, устремился назад.

И Ферапонтия установил-таки на мокром асфальте.

И процессия продвинулась ещё на пару-другую танцевальных па.

– Свои, свои! – кричал Мошонкин.

И Феликс рванул в обратном направлении, к литераторам. А Мошонкин – снова к Чапаю.

И Ферапонтий упал вновь. Он падал так, как падают статуи: не сгибаясь.

На незримой черте, разделяющей пространство между двумя процессиями, Феликс и Вадя встречно разминулись, обменявшись мгновенными многозначительными взглядами.

О, эти взгляды! Не станем о них говорить. О них уже достаточно сказано. И даже показано: мост на нейтральной полосе, незримая черта между нашими и не нашими, обмен агентами: американского шпиона на советского разведчика...

И так вот они, Феликс и Вадя, носились посменно, попеременно, шустрые челноки, назад-вперёд, туда-сюда, перепрыгивая незримую черту подобно бегунам-барьеристам.

Покуда Ферапонтий Пилатов и Чапай не уткнулись встречными носами...

Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются.

Наш еси Бог и заступник.

НАШ На незримой черте... Ну, что тут скажешь? Когда спотык на спотыке, да ещё и в утешение сердцу ленивому при уме толстом-яростном и языке усечённом: наш – не наш, нашисты – анашисты, свои – чужие, родные – не родные, красные – белые, белые – чёрные, друзья – враги, чистые – нечистые, правые – неправые, правые – левые...

– Эй, борода!

– И вы, мундиры голубые...

Бродячие синекдохи. Первичные и вторичные признаки целого.

Вот, одни трезвые, другие пьяные. Последние, образно говоря, шары налили. И пусть, и ладно: и внутри хорошо, и снаружи дороги не видать, дрянной и мокрой до огорчительности. Так и идут, слепота с лепотой – в охапочку.

Ну, и что тут толку горло драть, когда – ни те, ни другие, ни третьи, ни пятые, ни десятые... когда все – одни перед Богом единым, чаще всего – отсутствующим.

И наше вам, с кисточкой!

На вербах посреди Сиона при реках Вавилона повесили мы наши арфы.

Оны моя призову языки и тии мя прославят.

ОН Он ожидал телефонного звонка из Москвы.

Он маялся: чего новенького услышит он из эбонитовой трубки? Какой свет какого постановления в свете решения и во исполнение указания прольют три источника и три составные части марксизмаленинизма на окраину великой державы?

Он случайную бумажку на письменном столе складывает раздумчиво пополам... Потом эту половинку – тоже пополам... Потом – ещё раз, и ещё...

Забавное занятие недавно образовалось у персека Сытникова: любую бумажку складывать пополам – до предела, а предел тот – восемь раз. Бзик какой-то. Не семь, не девять – только восемь. Причём, это число раз не зависит от бумажной площади, будь то тетрадная промокашка, или стандартный канцелярский лист для пишущей машинки, или целый разворот полнометражной газеты. Восемь – и баста! Почему? Что кроется за этим фокусом? Какой потаённый смысл в этой загадочной осьмушке? Нет ответа для персека... Пальцы машинально сгибают-перегибают любой попавшийся на глаза листочек, губы шевелятся, ведя привычный счёт, а личность величаво погружается в бесконечно-научную печаль, обозначаемую некоторыми знатоками как пифагорейская философия о гармонии чисел...

Оборвалась печаль нежным зовом городского телефона.

– Сытников на проводе.

– Привет, Поп. Это я. Чего делаешь?

Сытников поморщился: не любил он столь вызывающей фамильярности, даже от давних друзей-товарищей.

– Ты давай, эт-само, короче, Пэр. Жду важного звонка. Из цэка, значить.

– А короче будет так. У меня есть сведения, что к тебе, в крайкомовский киоск, привезли из Москвы только что напечатанную книжку Высоцкого «Нерв». Для закрытого распределения. Пару штук лично для меня не организуешь?

Это владыко Хризантем... Пэр, значить. Как отказать? Да никак.

В молодости учились на очном отделении Новосибирской высшей партийной школы. Горячие были парни, азартные, в коммунизм по уши влюблённые пуще, чем в окружающих девок. Оба работали тогда в разных краях исполкомовскими инструкторами, должности так себе, махонькие, ступеньки вверх для выскочивших из возраста комсомольских активистов, однако числились они в номенклатурном резерве партийных органов... Владыко-то нынешний Хризантем тогда и заслужил от слушателей курса почётное прозвище Пэр, Пламенный Революцио-

нер, по названию знаменитой книжной серии Политиздата; кого хочешь мог переспорить и к стенке прижать во имя идей светлого будущего. А Сытникова в ту искромётную пору вдруг потянуло на будущее не столь уж и светлое, и прозвище он получил ироническое, Поп: всё допытывался на лекциях и семинарах о так называемом конце света, да сколько же времени планета Земля существовать намерена, да что есть, в конце концов, эсхатология с точки зрения марксистско-ленинской философии и научного атеизма? «*Поповщина!*», – однозначно отвечали доценты и профессора. И краснели при этом... Сколько лет прошло с той поры? Много. Отцвели уж давно, значить, хризантемы в саду... Времена переменялись. Пэр и Поп в едином пространстве соединились. Оба – владыки, правда, в разных ипостасях. Первый – епархией ворочает, второй – краем, да и начальники у них разные. Пэру-Хризантему, по идее, значительно легче и проще приходится, чем Попу-Сытникову: высшее начальство у Пэра весьма расплывчатое, толком неопределённое, иллюзорное, небось, никто и не позвонит Пэру по «вертушке» из самого верха со строгим внушением, последним предупреждением, и последним же указанием... до бога-то высоко, да и не утруждается он, старенький, сомнительным занятием портить людям нервы...

– Ладно, будут тебе «*Нервы*», две штуки. Вообще-то, книжки распределяет наш идеолог. Понятно, среди своих людей. Но я скажу ему, будь спокоен.

– Ох, спасибо, Поп! Уважил. Слушай, а правда, что Высоцкого так уж сильно запрещают?

– Да как сказать? Вот, значить, книжку издали в Москве. Нам прислали мизер, с гилькин нос. Но если в целом, эт-само, то не рекомендуют увлекаться. Запашок там, говорят, нехороший... Ну, что? Пока?

– Пока, дорогой. Ещё раз спасибо, и да хранит тебя господь. Привет Слостёне Васильевне...

«Ага, щас! Привет ей... Перебьётся!»

Новая бумажка в руках персека сложилась в бесконечную осьмушку.

Огорчает Сытникова супруга его, Слостёна Васильевна. В последнее время – особенно. В православие её потянуло – это раз. Задумала в квартире отдельные спальни устроить. «*Это что? – спросил Сытников. – Бунт?*» И грустно усмехнулась Слостёна. Это – два. В-третьих, как-то так незаметно, незаметно – а перестала Слостёна Васильевна называть Сытникова по-нежному «*Персик*», домашним обзыванием, значить; это как стал он персеком, так и ворковала: персик, персик... – и вот наворковалась, никаких персиков, дурной знак... А в-четвёртых, нынешним утром наотрез отказалась укладывать причёску на голове Сытникова. «*Нанимай, – заявила, – парикмахера*». Вопрос, конечно, не принципиальный, но – сложный и получается, что ви-

сит на волоске. Потому что голова у Сытникова устроена следующим образом: круглый лысый и блестящий шар несколько неправильной, вытянутой формы, а на затылке природа благоволила к волосяному произрастанию, и отпустил Сытников на затылке этакую гривку, косу – не косу, но что-то похожее на оселедец запорожских казаков, вот только у тех – на бритой макушке, а у Сытникова – на затылке, как раз напротив мозжечка-гипоталамуса, значить, и вот этот оселедец поверх персековой головы спиралькой закручивался, ровными рядочками укладывался, спрыскивался дамским лаком – и весь рабочий день Сытников ходил волосатым... «А чего это он такой конь привередливый?» – спросит, возможно, некий азбукопоглотитель. «Да, собственно, ничего, – ответим. – Личное дело, к коммунистической партии отношения не имеет, дело вкуса, в конце концов, у нас социализм с человеческим лицом или с нечеловеческим? А если уж по-большому счёту, так в Советском Союзе сейчас пошла полоса волосатых вождей!»

Персек включил магнитофон с кассетой Высоцкого и подошёл к вечеряющему окну.

Стёкла поливал дождь, первый, весенний, шустрый, сначала шёл, потом побежал... На площади перед крайкомом зажглись фонари. И там, на дальнем краю площади, за фонтаном с лысым вождём, персек увидел как бы похоронную процессию. Странную процессию! Одна её половина шла как бы вперёд, а другая – как бы назад, и вот столкнулись лоб в лоб, упёрлись и давят друг на друга, и не слышно, но так и представляется: пыхтят, сопят, точно паровозы... Что случилось? Но какому ведомству? По чьей части? Владыки Хризантема? Идеолога Краснопресненского-Крестовоздвиженского? Или генерала Поцелуйко?

А тут и сам генерал телефонирует.

– Это что? – спрашивает персек. – Бунт?

И генерал успокаивает, но уж больно ласково, в его-то ласковости всегда холодком навевает нечто угрожающее, по гефсиманскому ведомству:

– Разбираемся. Разберёмся.

А тут и Кр-Кр звонит, докладывает:

– Репетиция первомайской демонстрации ещё не назначена. Тут пусть Поцелуйкина контора выясняет.

А тут и Хризантем – снова:

– Слушай, Поп! Новая запись Высоцкого...

И, вдать, трубку к своему магнитофону поднёс: рычит бард, гремит гитара, кони привередливые вождям неподвластны...

– Отвяжись, Пэр, на хрен, не до тебя. Я ж говорил: Москву ожидаю, с минуты на минуту, а ты мне, эт-само, с конями вяжешься...

– А что за вопрос интересный? – спрашивает владыко. – Может, я чем подсоблю?

– Да, вообще-то, и ты бы мог. Вопрос, значить, такой: деятельность краевой парторганизации в свете постановления ЦК КПСС о комплексном подходе в идейно-воспитательной работе среди сельских тружеников и... чего-то там такое... влияние, значить, на удвоение надоев. Понял?

– Понял, понял. Дело ясное. Ухватывай доярок за живое. Только скажу я тебе, Поп, что у тех доярок из живого вещества только титьки остались. Попробуй.

– Шутишь?

– Да ну, какие шутки!

– Вот и я думаю...

– А ты не думай. Что ты, Поп, в самом-то деле, как маленький или совсем дурак? Думает он, видите ли... А тебе это вредно, в твоём-то положении.

– погоди, не бросай трубку. У меня ещё один вопрос назрелый. Насчёт Валютина, писателя нашего. Он что-то в последнее время всё около тебя отирается.

– А какая проблема?

– Да достал он меня, этот бульдог брыластый!

– Тебя? Не может быть. Это ж твой выкормыш, Поп. Это ж ты сам его и выдвигал на премии и в Герои. Сам же и надувал, и раздувал, как пузырь. Странно...

– Дак то ж по разнарядке сверху, как ты не понимаешь! У них там вакансии такая была: писатель-герой!

– Всё равно странно.

– В том-то и дело.

– А чего он лопочет, твой протеже?

– Да чёрт его разберёт! Кирпич увидит – и «Аз воздам!», говорит. Бабу в штанах увидит, или козу, или трамвай, или хоть чего – припадком его колотит: «Чужебесие сие еси...»

– А тебя это касается?

– Меня, эт-само, всё касается, что в крае делается. И вот не знаю... Может, насчёт дважды Героя для него похлопотать? Или в смысле Нобелевской премии?

– А хрена он не хочет, твой Валютин? Предложи. Он возьмёт. Он, говорю тебе, всё возьмёт, ни от чего не откажется. Все его «чужебесия» – не по моей части, Поп. Ты же знаешь, я такой же мужик, как и ты, даже хуже. А Валютин от тебя действительно чего-то добывается, не иначе. Мздоимец он. Стяжатель и корыстолюбец. Лицемер и фарисей. Ну, всё. Чао, Поп. Привет Слостёне. А насчёт Валютина я тебе ещё перезвоню...

И новая бумажка, свежая, в пальцах персека вновь сложилась в осьмушку бесконечную.

«А если, – подумал он, – бумажка будет размером... с Площадь Падших Борцов, например? Неужели ж и площадь будет с осьмушкой?»

Сытников подошёл к стене, на которой висела политико-административная карта СССР. Смотрел на неё долго, прикидывал... Потом решительно снял, отодрал верхнюю и нижнюю лакированные планки – и принялся, елозя коленями по полу, складывать великую державу пополам, и снова пополам, и снова...

И снова зазвонил телефон.

Сытников с неудовольствием снял трубку и заорал:

– Слушай-ка, пламенный революционер! А чего там у вас на самом верху говорят про возмездие и покаяние?

– Не поня-я-я-л... – пророкотала трубка.

– Не придуривайся. Все ты, эт-само, понял. Я спрашиваю тебя: что первично, что вторично – возмездие или покаяние?

Трубка молчала.

Персек бросил её на рычажки аппарата и вдруг к ужасу своему обнаружил, что говорил-то не по городскому телефону, а по «вертушке», гербовой линии прямой правительственной связи.

Сытников стоял у стола совершенно трезвый, ибо – не успел ещё.

А за столом сидел – Сытников, который второй, другой, сволочь-двойник. Сидел и ухмылялся.

Открываю уста мои и вздыхаю... Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово.

Покои дах всеи твари своей.

ПОКОЙ Проводины своего гражданства Изяслав Несчастливщиц устроил спокойно, тихо, уже оправившись после шока («ОВИР! О, вор!»), случившегося в результате бессовестного квартирного грабежа. Кто стоял за этим, Изя догадывался, но молчал.

И вот домолчался до решения.

Сходил в синагогу – помолился. Прощения попросил.

Сходил в мечеть – помолился. Прощения попросил.

Сходил в буддийский дацан – помолился, прощения попросил.

Сходил в православный храм – помолился. Прощения попросил.

И храм этот сделался ему жальчее всех. Храм, прихрамывающий папертью. Храм, прихварывающий от мировых невзгод голубой колоколенкой...

Тётя Хася, благоволившая к Несчастливщицу, говорила с ним, уговаривала, образумливала... Напрасно старалась тетя Хася.

– А он, – резюмировала она, – а он, мятежный, ищет дури! Как будто в дури есть покой?

– Есть! – отвечал Изя. – Есть. Есть только одно «нет». Это когда нет бумажки, то нет и человека, а вместо него – букашка.

И это был реквием. Это был плач о советском паспорте, абсолютно

покойном.

Плачьте, композиторы и музыканты! Вы потеряли таких слушателей, каким был Изя.

Плачьте, художники! Вы потеряли зрителей, которые любят таких слушателей, каким был Изя.

Плачьте, поэты! Вы потеряли читателей, любящих таких зрителей, которые любят таких слушателей, каким был Изя.

Плачьте, пьяницы! Вы потеряли таких собутыльников, которые любят читателей, любящих таких зрителей, которые любят таких слушателей, каким был Изя.

Предваряю рассвет и взываю.

РЦЫ *Речете ми слово не творящие воля Моей, и не услышу вас.*
Россия...
Родина...
Рок...
Рог спасения...

Расширяют на меня уста свои.

Словом моим вся утвердишася.

СЛОВО Сочинитель упирался вместе со всеми.

А все – это уже не две изначально похоронные процессии. К ним со стороны начали пристраиваться люди прохожие: парни молодые, коротко стриженные, аккуратные и вежливые.

- Хороним, значит? – интересовались сочувственно и подмигивали.
- Выходит, что так.
- Ну-ну, – отвечали парни и вливались в противостояние.

Сочинитель по стародавней привычке набубнивал себе под нос, и каждая строчечка приходилась на очередной жим толпы:

*Созидающий башню сорвётся,
Будет страшен стремительный лёт,
И на дне мирового колодца
Он безумье своё проклянёт...*

– Стишки, значит? – сочувственно интересовался стриженный парень, попыхивая рядом, плечом к плечу.

- Стишки...
- Сами изволили выдумать?
- Гумилёв... Николай Степаныч...
- Который пострадал за контрреволюционный заговор?
- Который...
- Ну-ну...

Эх, парнишка! Ну-ка, на-ка, возьми его за язык, Сочинителя! Прихвати с поличным!

Не так-то просто.

Вообще, с этим Сочинителем – одно недоразумение, сплошное и с перерывчиками.

Вот он берёт карандашик и пишет на бумажке: «Лечу, лечу...» – и вдруг оказывается в полёте: то ли он шмель над океаном, то ли серебристый авиалайнер на восьмой тысяче метров над уровнем моря, то ли космическая ракета в стратосфере, откуда его возможно извлечь только при услуге истребителя-перехватчика противовоздушной обороны страны... Обидно органам.

Или вот хватывает Сочинитель шариковую ручку ценой всего-то за рупь-двадцать и выводит: «Иду это я по Парижу...» – и в тот же миг оказывается на бульваре Вольтера, в берете набекрень и в лёгкой блузе, с мохнатым шарфом на шее, полубритый и полутрезвый, весёлый, стройный и изящный, как фехтовальщик, с походкой бесшумною, точно у следопыта на тропе войны, и благоухает Сочинитель дешёвым красным вином и чёрными крепчайшими сигаретами «Голуаз», а вокруг поклонницы... поклонницы беллетристики и поклонницы вообще... лучезарен Сочинитель, уж и не просто взор глазастый у него, карий с томной волокитой, нет! – искремень и трут – разом! – которые всё перетрут, всё спалят и расплавят... автографы, понятное дело, вспышки блицев, микрофончики, диктофончики... «В каких условиях проживаете, месье?» – «В исторических» – «Любимое блюдо?» – «Истина в вине» – «Ой ли?» – «Ой, мадемуазель, именно ой. Ибо известная русская тоска подогревается только тем, что бог пошлёт, но уж никак не менее приличной бутылки. Бог не разорится, тоска, увы, не высохнет, но душе, уверяю вас, непременно полегчает...» – глоточек услужливого *Vin de Table* из департамента Вар, солнечный привет с чуть придымленным ароматом от виноградной лозы, проникшей корнями почти на полсотню метром в толщу вулканических почв... жареные каштаны хрустят благозвучно в крепких зубах – с улыбкою на весь мир, отселе от Сены до сеновалов клеверных, ромашковых... «А женщины в вашей жизни?» – «Да у меня этих... Пачки, пачки, пачки! Разные дамы. С собачками. С камелиями. С характером и без. И даже больше. И ширше. Шуршу ля фам! Весь мир, весь белый свет потому что женский. Природа потому что – она. Суша – тоже она, милостивая государыня. А то, что не суша, – вода. Земля, планета. Вселенная...» – «Беллетристика?» – «И она тоже. И литература – она. Проза, поэзия. Эссеистика. Новеллистика. Литературная критика. Буква! Всё! И этого, милые дамы, вполне достаточно для того, чтобы, избегая определений типа «женская проза» и тому подобное, утверждать женское начало в литературе. За сим целую!» – «О-о-о!» – «То-то, голубушки!» – «Ваши недостатки?» – «С этим всё в порядке. Полный джентльменский набор. Точнее, перебор. Но, к слову сказать, праведники правды не скажут и роман века не напишут» – «Наиболее привлекательная идея, конечно, коммунизм?» – «Что вы? Вообще никаких идей, потому что миром правят не идеи, а интересы» – глоточек вина, дымочек

«Голуза», орешек каштановый хрусь-хрусь, Сочинитель весь – груздь в кузове... Ну-с, и как прикажете депортировать этого гладиолуха из такого цветника-розария? Обидно органам.

А то вдруг возьмёт Сочинитель да сыграет на клавишах старенькой пишмашинки нечто новенькое – и для машинки, и для самого Сочинителя: «И вот лежу я на пляжу в районе Гаити... Вы не были на Гаити?» ... – и тут же оказывается на ослепительно белом, пылком морском песке, усыпанном диковинными раковинами, издающими – в немислимых тиражах! – в волнениях бриза чарующую мелодию... Лежит себе. Абсолютно без штанов. Без ничего. А чего? Народу никого. Единоличное пляжбище. Необитаемый мир. Пряный йодистый запах гниющих водорослей, разоблачённое небо, голосование чаек, какие-то пальмы и баунти, извините за выражение... «Миру мир!» – начертывает Сочинитель палочкой на песке, и набегает синяя, с кружавчатой оборочкой, волна, и пропесочивает сочинение, и смывает его вместе с палочкой, но Сочинитель не огорчается, он может – и веточкой, и раковиной, и камушком, и просто пальцем неоперённым вывести на песке гениальное: «Здесь был...» – и новорожденная волна благодарно целует берег, смывает словеса и уносит их в океан: не исчезают они – возвращаются в мир вечный... Обидно органам.

С одной стороны, органы знают, органы на сто процентов уверены: сидит Сочинитель дома, на кухне-готовальне, пьёт кофий по-чёрному, уж пятую кружку, сахар игнорирует... Но это, в смысле кружек, органам неинтересно, и они посему Сочинителя с кофейной кантатаю в упор не видят и видеть не хотят. А с другой стороны – явление непосредимое, джинно-бутылочное: чистый лист дешёвой бумаги, копеечный карандаш, перо, чернила... Как пресечь оное?

Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою.

Тверда рука твоя, Владыко.

ТВЕРДО Тончайшее это дело, товарищи...

Тоска Тоскании... Тоска Тосканини... Таскать её – не перетаскать...

– Первый, первый, я второй. Как слышите меня? Приём.

– Слышу вас хорошо. Приступайте к завершению операции. Приём.

– Первый, первый. Тут какая-то баба появилась, странная...

– Второй, второй, плохо вас слышу. Повторите. Какая баба?

– Женщина. Вся в чёрном. Глаза чёрные, молодые. Подбородок овальный, нос прямой...

– Второй, второй. Зачем нос? При чём тут подбородок? Где радист? Где рация?

– Первый, первый. Я второй. Радиосигналы издаёт неопознанный пустой воздух. Сконцентрировался и пикает...

Ты это делал, и я молчал; ты подумал, что я такой же, как ты.

УК *Утомлен я вздыханиями моими.
Унывает во мне душа моя; посему воспоминаю я о
Тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цоар.
Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить; не
посрами меня в надежде моей.
Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня
уставам Твоим.*

Уста устали. Ибо:

Это вальс.

Это вальс, посвящённый.

Это вальс, посвящённый Уставу.

Это вальс, посвящённый Строевому Уставу Вооружённых Сил СССР:

*Пусть опять нас тетёшкает слава,
Пусть друзьями назвались враги –
Помним мы, что движенье направо
Начинается с левой ноги...*

– Стишки, значит?

– Значит.

– Неужто сами?

– Галич... Александр Аркадьич...

– Ух, ты! Так он же в Париже!

Удалитесь от меня, незаконные, и буду хранить заповеди Бога моего.

Фараона потопих в Чермном мори.

ФЕРТ – Фокус не удался. Факир был пьян!

Так газо-электросварщик Борис Бодунов (вспомните, граждане!) объяснял свои концертно-сценические провалы, в частности, – иллюзион с наличными деньгами слушателей концерта художественной самодеятельности Краснознамённого ЖЭКа №25 в честь Международного женского дня 8 Марта. Боря – хороший. Но фокус, действительно, не получился. Что ж, бывает. Какие деньги, такой и фокус. И – наоборот.

О, если бы Вадя Мошонкин присутствовал на том концерте!

Если бы он присутствовал, он услышал бы вещие слова Бориса Бодунова.

Если бы он услышал слова Бориса Бодунова, он не стал бы теперь бегать взад-перёд, как предпоследний дурак, между антагонистами и хриплым голосом призывать-уговаривать: «Свои, свои!»

Все свои. Не из Америки же...

А что же, в таком случае, нужно было сделать нашему Ваде Мошонкину?

Очень просто, товарищи. Если уж тебя представили одной стороне как «маэстро из Парижа», а другой представлять без надобности, так, значит, и веди себя соответственно, как – дегустатор. Встань, значит, техник-сан, между Ферапонтием и Чапаем, подбоченься фертом и стой: два полюса на тебе и без тебя сойдутся.

А фигура у такого ферта – способствующая.

Абсолютная симметрия.

Человечек – ручки в бочки: фатум и факт, фривольный фронт, флиртующий фаворит, фасонитый фактор, фальшивый фигляр, фонарный флюгер, филёрская физиономия, фарсовая фишка, фантастический фасад (без задворок) и фиг (с маслом).

Однако же есть в ферте и что-то от весенней веточки: то ли почки набухли, то ли первые побеги проклюнулись, и это – обнадёживает.

А всё остальное – лишь форма формулы. Или – формула формы... Кто его знает? В недрах Жёлтого Дома один врач, например, утверждает, что математические формулы – совершеннее женских форм, во всяком случае, формы можно выразить формулой, но не наоборот...

Фсё!

Фавор и Ермон о имени твоём радуются.

Херувими служат Мне со страхом.

ХЕР X – икс – Голгофа – Андрей Первозванный.

XX – век – противотанковые стальные ежи – перекрестье прожекторов в ночном небе – бумажные полосы на оконных стёклах.

XXX – крестные знамена.

XXXX – условный знак, означающий «массу поцелуев», в письмах суховато-деловых британцев...

Вот вам и весь хер до копеечки!

И в законном существовании оно не сомневаются ни тётя Хася, ни Хлюстаков с Хворобушкиным, ни бдительный Равелин Валютин, ни даже весь город Хибаровск, включая хор Смехалкова, шепчущий охрипшими голосами в похоронно-хороводном противостоянии: «Эх, ухнем...»

А Сочинитель извлекает на свет божий свои странички, подсовывает публике и уверяет:

– Повторение, как говорится, мать учения.

А ему отвечают:

– Вы же, товарищ, не классик Равелин Валютин, чтобы самого себя цитировать! Разве можно?

– Можно, – говорит Сочинитель.

– Ну, сколько можно!

– А сколько нужно, столько и можно...

Редакторша была смущена, заливалась стыдливым девичьим румянцем, но решила-таки твёрдо и до конца высказать своё мнение

относительно рукописи моего первого романа.

– Хорошо, славно, – сказала она, – в отдельных местах я даже, не побоюсь этого слова, подпрыгивала на стуле от наслаждения, но... Виталий Алексеевич, я не могу... Как иногда грубо вы пишете!

– Что, где, когда? – спрашиваю. – Конкретно.

Она молча пододвинула ко мне папку с рукописью, переложённой бумажными закладками.

– Я не могу...

Читаю первое подчёркнутое: «ножки хером, брюшко оником»... Этаким заковыристым манером аттестован один из персонажей: пузатенький, весь кругленький и враспырку кривоногий... Оник – с одним красным жирным редакторским вопросом, зато напротив хера – аж целых три!

А чего тут, думаю, вопрошать да возражать против слова, коли оно святое? Устаревшее название буквы Х, ведущее своё родословие от сокращённого херувима...

– Нет, – говорю, – это, сударыня, совсем не то, что вы думаете.

– А вы о чём подумали?

А я уже не думал. Я уже достаточно пораскидал мозгов, думая о странных, забавных и печальных метаморфозах русского языка, в котором так вольготно обосновалось вывороченно-наоборотное понимание. Применительно же к случаю: покончить с чем-либо раз и навсегда в массовом сознании обозвано словом «похерить», что равнозначно выражению «поставить крест» (буква Х!) на чём-то или на ком-то, но по существу – тем же крестом освятить и оберечь от нечистой силы...

Да хер с ней, с редакторшей! Спаси и помилуй ея, матчасть речи и азбучная истина: и аз, и буки, и веда, и мыслете, и покой... И херувими, что служат Слову со страхом.

*И воссел на херувимов и полетел, и понёсся на крыльях ветра...
Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтири и гуслях.*

Отверзу рай христианом.

ОТ Ответчица ли, отгадчица? Отзывчица или откровенница? Не знаю, но сладко мучаюсь полу-вопросом, полу-ответом: кто же она? Отпущенница или отрешенница? Отступница или отчаянница? Бог весть, но ведь не скажет, отмалчивается... Отшельница или отъявленница?

– Отличница, – подсказывает мне Помиранцев Семён Семёныч.

Ну, да, конечно, очень уж не похожая ни на кого, отличная, с первого взгляда на неё так и подумаешь.

Вышел я как-то поздним вечером в опустевший безголосый наш двор, дышу, как советуют люди в белых халатах, глубоко и носом, освобождаю голову от писчебумажной тоски, от какого-то одного дурацкого

словечка, которое аж с самого утра привязалось – ни к селу, ни к городу! – ко мне: «дискретный»... Подвижно перемещаю себя по лужистому асфальту, вразвалочку, умирающий снег загребая ленивыми ботинками, ни о чём не думаю, хорошо мне и славно, бездумному-то, легко и непечально. А люблю я на детской качели в темноте покачаться. Два сиденьца деревянных на железной подвеске, толкнёшься ногой – и поплыл: туда – и обратно, вверх – через низ – вверх, от – до, от «от» – до «до», гомо-гамма, вне скрипа и гама, в настоящей тишине, созревшей до звука, от начала начал – до конца концов, но сначала всё-таки – «от», а уж потом воспоследуют «куда», «туда», «сюда»... Смотрю и вижу: расположилась на моих качельках женщина, вся в чёрном, вроде старуха, незнакомая, не наша жилица, по виду – грустная, потерянная, да будто бы даже и бичиха пьяненькая, встречаются и таковые в нашем дворе, ничего особенного. И вот подхожу ближе, ближе, а она раскачивается тихо, со сбережением покоя в движении, так, точно сама себя убаюкивает в колыбели, а я ещё даже удивился: какая-то непохожая, и не бичиха вовсе, и не пьяненькая, а совсем, видать, женщина положительная, в возрасте, а глаза глядятся молодыми, и чего ж она тут раскачивается, на ночь глядя, словно припозднившаяся девочка? А потом, то есть тут же, вслед вопросительному удивлению, я подумал: ну, и что с того? все женщины, даже пожилые и сугубо положительные, были когда-то девочками, и до и после революции, так неужто не вспоминают они себя маленькими в минуты, когда в стеснительном одиночестве вдруг набредают на пустую качельку для внучек и правнучек, и заберутся в неё, поджав ноги и уткнув подбородок в колени, – и тихо полетят: туда – и обратно, вверх – через низ – вверх, от – до, от «от» – до «до», гомо-гамма, вне скрипа и гама, в настоящей тишине, созревшей для звука, от начала начал – до конца концов... Она подняла голову в чёрном платье и увидела меня. Притормозила качель ногою. Встала. Извинительно улыбнулась краешками губ. Смутилась. Оправила платье до пят. И медленно, и бесшумно ушла в пространство. Откуда и куда?.. Возвращался я домой вполне дискретно: и походкою, и дыханием, и потоком мыслей в бывшей пустой голове.

Отроки и старцы, юноши и девицы, князья и все суды земные, цари земные и все народы – да хвалят имя Господне, ибо Он возвысил рог народа.

Ци не дах вам пища в пустыни.

ЦЫ Цепкие они, эти парни-помогальщики.

Подошли к Ваде двое. И с обеих сторон улыбаются:

– Гражданин Мошонкин?

– Гражданин...

– Вы тута? Ой, как мы рада-ы-ы... И чо это вы тут без нас бегаете?

Вадя всё понял. Он вздохнул и поднял руки вверх, как немец в кино.

– Не надо руки-то, – сказали ему. – Не демонстрируйте.

Целесообразные они, эти парни-помогальщики.

Подошли к Несчастливщицу двое. И с обеих сторон улыбаются:

– Гражданин Несчастливщик?

– А шо такое? – ответил Изя. – Это опять вы?

Но Изю быстро успокоили наручниками, ловкими, ладно скроенными браслетиками, точь-в-точь соразмеренными с Изиными запястьями, так что Изя даже удивился ещё той культуре обслуживания.

Целеустремлённые они, эти парни-помогальщики.

Ещё двое подошли к Феликсу Хворобушкину. И с обеих сторон улыбаются лучезарно:

– Гражданин Хворобушкин?

Феликс выпустил из рук Ферапонтия, и тот упал, и стал Феликс в олимпийскую позу:

– Откуда и куда? – спрашивает надменно и с поднятием бороды.

– Да вот тут недалеко, за углом направо...

Феликс был истинный одессит, по воле волн житейских оказавшийся в нейтральных водах. «Кровенное» дитя Молдаванки, Ближних Фонтанов, Привоза и морского порта, он сощурил глаза и сказал:

– Щас!

Нагнулся, потрепал, досвиданьякаясь, неподвижного Ферапонтия по щеке и, как был согнувшимся в три погибели, таким и юркнул в сплочённую толпу.

Его искали, но не нашли. Пропал. Точно лицеист Пушкин – с глаз восхищённого Гаврилы Романовича Державина.

Цепи ада облегли меня, и сети смерти окутали меня.

Червь и огонь уготовах на грешники.

ЧЕРВЬ Чекисты – целеустремлённые, целесообразные и цепкие – решительно отказались что-либо понимать в происходящем, когда сквозь строй, будто сквозь стену, прошла, не задев никого в сцепившейся намертво, монолитной толпе – женщина в чёрном: руки на груди крестом сложены, уста безмолвны, глаза чёрные и ясные, словно день и ночь в одних её глазах разом сошлись...

– Первый, первый, я второй. Ситуация выходит из-под контроля...
Чёртова баба!

– Второй, второй, я первый. Вас вообще не слышу. Какая баба?

– Чёрная женщина... Колонны развалились... Молча расходятся...

– Второй, второй. Где радист? Где рация?

Женщина вытянула руку перед собой, ладонь раскрыла – и опустилось в неё облачко, попискивая по-младенчески, почти по-щенячьи; оно замерло на ладони, едва заметное, различимое, как сгусток сумерек в сумерках; женщина медленно подняла руку и движением кисти выпустило его вверх, точно птицу. И сама удалилась так, будто в вечере растаяла.

Минуту спустя радарные установки и радиолокационные станции ПВО засекли неопознанный летающий объект, издававший дискретные сигналы.

Планшетисты боевых дежурных расчётов вычерчивали на экранах точки, линии, эллипсы...

Из подземных капониров тягачами вытягивались истребители-перехватчики с пилотами в кабинах, с ракетами класса «воздух-воздух» под крылом...

Антенны зенитно-ракетного дивизиона зондировали зону...

Но сигнал становился всё глуше, глуше – и, наконец, исчез вовсе.

Человек бессмысленный не знает, и невежда не понимает того.

Шумом и попалит дубравы.

ША Шёпот услышишь в той тишине, которая снизошла на площадь после распада биполярных шествий. Впрочем, ненадолго.

Пилатова восстановили. С двумя боковыми контрфорсами: слева – Аврора Крейсер, справа – Аввакумушка Простопопин.

Пилатов с расквашенным лицом некоторое непродолжительное время стоял стойчески, уравниваясь и обретая почву, а потом из него стали вылетать разные слова, отрывистые, экономные:

– Штопор? Шуры-муры?

– Так точно, шеф! – доложил Аввакумушка. – Шурум-бурум!

– Шахер-махер! – дополнила Аврора.

– Тогда шлушай мою команду. Правое плешо вперёд, шагом ма-а-рш!

Мужики в кольчугах закинули гроб в кузов грузовика и встали в живую очередь к «Икарусу», в который организовано погружались писатели.

– Штой-то ты, Ферапонтюшка, зашепелявил, – доложил Аввакумушка. – Никак, видение тебе было?

– Шанс, – ответил Пилатов. – Шалман. Шабашить. Шуткам шиш. Ш машлом.

– Понял, понял! Штрафную товарищу председателю! Как жертве пострадавшему! – закричал Аввакумушка страшно весёлым голосом.

И Фикс со Стрекозловым дружно взяли за дело откупоривания. Шофёр же выключил зажигание и ругнулся по такому случаю: «Ну, шельмы... Опять стой! Скока можно?»

...шествоющего на небесах от века... И душа наша насыщена поношением от надменных и уничижением от гордых мира сего.

Щитом вооружихся на брань.

ЩТА И щёки разгорелися!

– О, дайте тэму! – вопил дрожащий человек где-то на икарусных задах дерматиновых.

- Ещё? – удивлялись окреслости этакому энтузиазму.
- Шарлатаны, – вылетало из Пилатова сурово. – Шакалы. Шарамыжники...
- Уж как есть шпана, – качал головою Аввакумушка Простопопин.
- Ишо, видать, работать нам с тобой, Ферапонтюшка, над сурьёзными недостатками пробелов... Охохонюшки, работать ишо и ишо!
- Шантрапа! – присоединилась Аврора.
- И вот уже хор Смехалкова грянул:
- Шайбу! Шайбу!
- Тих-ха! – рывкнул дрожащий человек, и сам испугался своей неожиданной рывкости, и добавил с умеренностью: – Стихи. Новые. Мы стояли бы ещё, но пора на кладбищё!
- Пора, пора, – сказал Аввакумушка, когда отгремели аплодисменты. – А вот некоторые товарищи, которые ветераны из хора, малость запаматовали, куда мы ехать нацелились.
- Трогай, братец пролетарий, с богом, – приказала Аврора шоферу. И автобус заурчал.
- Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем. Щит мой, рог спасения моего и убежище мое.*

Горы възыграшася явлением Моим.

ЕР «Шпионы подобны букве Ъ. Они нужны в некоторых только случаях, но и тут можно без них обойтись, а они привыкли всюду соваться».

Александръ Пушкинъ.

Иорданъ освятися крещением Моим.

ЕРЫ Уже поздним вечером Помиранцев с Сочинителем оглядливо вырыли яму под кустом сирени в живой изгороди, обрамляющей Площадь Падших Борцов. Опустили в яму картонную коробку, засыпали землёй. Сверху камушек положили. И пошли прочь.

Позади них брёл саксофон с музыкантом. Он играл попурри с вариациями на темы Шопена и Шуберта, однако имел в виду сюжет о дожде: какая в нём причина и стечение обстоятельств? дождь – струящиеся лужи как Лета – само шествие как сумасшедшая летопись – по воде...

Явились в бендежку. Семён Семёныч выудил из кармана чекушку, Сочинитель – вторую, музыкант – третью.

Дискретно подавала голос из-под дивана Каштанка со щенками у живота. Тявкнет вопросительно – и слушает, насторожив ухо. Только она и слышит, как к ней эхом возвращается её же голос. И она ему вновь отвечает...

А Князь так и не вернулся в тот вечер. Дёрнул легонько вожжой – и цыганский конь Чапай послушно поцокал в неизвестном направлении, совсем не в ту сторону, где привычно светился Кошкин Дом и где на

первом этаже была устроена для Чапая тёплая выгородка: результат активной деятельности краевого Общества защиты и охраны животных. И цыганского барона Николашу записали в то Общество, выдали членский билет с номером и лиловой печатью, приняли вступительный взнос в размере пятнадцати рублей и, как члена, обязали еженедельно, по выходным, принимать экскурсии детсадовских и школьных детей до шестнадцати лет, разъяснять им факт настоящей живой лошади и не возбранять экскурсантам потрогать, погладить и угостить морковкой, сахаром или иным доброкачественным продуктом питания.

Через три дня объявили розыск.

Времыши–камыши на озера береге, где каменья временем, где время каменьем. На берега озере времыши, камыши, на озера береге священно шумящие... И времушко–камушко кануло, и времыня крылья простёрла.

Велимир Хлебников, Председатель Земного Шара.

Ересь погубих.

ЕРЬ А на кладбище в тот вечер приключился конфуз, который едва не испортил церемонию.

– Шлушайте вше! – начал Ферапонтий Пилатов.

– Седни мы, братие и сестры, погребаем, – продолжил драматург Простопопин.

– Выдающегося писателя и честного человека, – закончила речь Аврора Крейсер.

Толпа зашумела. Причина того шума состояла в том, что у некоторых отдельных товарищей возник вопрос: как в одном гробу могут помещаться два таких разных человека?

Но тут раздался стук. Стучали из гроба.

Аврора упала в обморок.

Пилатов рухнул, как монумент. Но не раскусочился.

Аввакумушка Простопопин, перекрестившись, наклонился ко гробу и поинтересовался голосом вздрагивающим:

– Кто там?

– Открывай, сучара! – утробно взревел гроб.

– Не положено...

– Открывай, блядь! А то щас...

Аввакумушка опустил на колени и возопил:

– Это всё он... этот мерзопакостный Пилатов... помилуй мя, выдающийся Большой Бэмс...

Крышка гроба, державшаяся на единственном полувбитом гвозде, начала медленно вращаться на одной оси...

И выскочил из гроба Феликс Хворобушкин, выхватил у Простопопина недопитую бутылку водки и ринулся прочь, петляя между деревянными крестами, жестяными звёздами и разноцветно-весёлыми оградками.

Никто не стал выяснять: как и когда этот Хворобушкин забрался в гроб. Некогда было. И страшноватенько. Потому – к автобусу прижались и лупили глаза на могильщиков, которые быстро-быстро-быстро заколотили крышку гроба, опустили гроб в могилу, туда же и верёвки побросали, а потом принялись засыпать... а потом памятник устанавливали, и грузили пассажиров в «икарус», и выпивали не спеша, и закусывали, и ухмылялись. Они дело своё делали, бывшие менты, Кузин и его кузен Кантакузин.

И мягким знаком повис твёрдый вопрос: а куда судьба понесла Феликса Хворобушкина? куда поэт несётся, очертя голову?

И твёрдым вопросом висел тот мягкий знак: куда, куда... да уж не так, как курица несётся, а как эта... как её? гоголевская Русь-тройка? нет? ну, тогда вообще неизвестно... судьба, значит, такая, что понесла, ну, и пусть...

А что с неё взять?

ЯТЬ Беременная баба с коромыслом.

И не тяжёл ей груз её на плечах, и плод её во чреве, и глагол в языке народа. Ибо: понесла, и несёт, и будет нести. Из века в век.

Югом ветром развею всю вселенную.

Ю Уй-ю-ю-ю-ю... Что было-то на следующий день!

Ближе к обеду стали стекаться в Дом со львами опухшие и дрожащие человеки. Но первым был, по должности, Ферапонтий Пилатов.

Заходит он в свой председательский кабинет, а там – Большой Бэмс за столом сидит. Сидит и смотрит, как волк, на Ферапонтия.

– Ну, – промолвил наконец ББ тоненьким голосом, – садись, блядь. Докладывай, как вы тут веселились.

На столе перед ним топорщится телеграмма, та самая, содранная с доски объявлений.

– Почитай-ка мне, Ферапонтий, чего тут пишут, – говорит ББ. – Шибко мне интересно.

И телеграммку Пилатову пододвигает:

– Читай, читай, вслух и с выражением.

Облизал пересохшие губы Пилатов и стал озвучивать:

– Ваш товарищ председатель покинул нас помер...

– Наш номер! – заорал ББ.

– ... высылаем его труп...

– Труд! Труд! Вот он! Понюхай, падла! Кусочник!

ББ похлопал ладонью по толстенной бандероли, лежавшей на столе: утром получил собственную рукопись романа в стихах на почте, с наложенным платежом.

– Понюхай! Понюхай! Чем пахнет? Кускодёр!

– Сургучом...

– Врёшь! Не сургучом! Я щас скажу тебе, чем...

Вчерашние похорончики, постепенно наполнявшие кабинет, могли увидеть такую картину: ББ бегал по диагонали и тоненько визжал, потрясая кулачищами, и когда он бегал, то Пилатов впрыгивал в председательское кресло, впрочем, ненадолго, кулачищи-то у ББ – будь здоров! – и так повторялось, повторялось... И ББ приходилось повторять для вновь прибывших сбивчивый монолог о том, как он, собственной живой и невредимой персоной, смылся из санатория раньше определённого срока, а причина тому простая и очень житейская, прелестное интимное дело, налево или направо – это неважно, а важно то, что эти сволочи, эти санаторские администраторы подняли ничёмный и провокационный шум вплоть до телеграммы, а телеграмму изуверски исказили телеграфистки, так что всей почте будет грозить судебный иск со стороны ББ за причинение морального ущерба...

Никто не поверил Большому Бэмсу.

Председательский кабинет занял Пилатов. На дверь привинтили новую бронзовую табличку с соответствующим прежнему тексту, но – с небольшим добавлением: ФИО Пилатова + «Посторонним вход строго воспрещён!!!»

Большой Бэмс являлся в Дом со львами с раннего утра. Бродил по комнатам, по коридорам... Говорил всем встречным-поперечным, чуть не плача:

– Потрогайте меня... Живой я! Живой...

Ему не верили. Проходили сквозь и мимо. ББ посторанивался, уступая дорогу, к стеночке прижимался.

А потом бросился в ноги классику Равелину Валютину.

– А помнишь, – изрек классик, – как ты один раз воздержался против меня, когда меня определяли в «выдающиеся»? Помнишь? Забыл? А я-то помню-ю-ю... Я-то тебе что сказал опосля твоего воздержания? Я сказал тебе пророчески: «Чтоб тебе пусто было!» А ты и не поверил, дурачок. Почто же вообще не веруешь в мои пророчества, глупенький?

И отменил классик повестку дня общего писательского собрания, на проведении которого настаивал ББ и вынужден был назначить Пилатов, на злобу дня: «Что есть истина в свете персонального дела бывшего председателя ББ?». Злобу переделали так: «Кубыть аль не кубыть? Или мотивы Равелина Валютина в творчестве В.Шекспира».

Потом были голодовки Большого Бэмса, прямо в вестибюле Дома со львами; потом была эвакуация «неотложкой» в домашние условия на попечение жены и безрезультативный процесс одомашнивания; впрочем, Большой Бэмс после того уже не появлялся в писательском учреждении; он, малость одичавший, кружил вокруг него – втайне, по ночам, крадучись, и в основном на Аллее Героев Социалистического Реализма, где крушил бюсты... Там его однажды и застукали с поли-

чным – из засады милицейской, и «скорая психиатрическая» доставила сокрушителя в Жёлтый Дом.

Уй–ю–ю–ю–ю...

Яша мя жидове, и на кресте пригвоздиша.

Я «Я черчу «В» и «Д»...»

Но это не я черчу. Это ещё Председатель Земного Шара печально каркнул обо мне.

Это, значит, он чертил.

А я, очерченный и накарканый, стою теперь, как в мишени, в кругу вопросов раскинув крестом руки, намеренные обнять и земшар, и весь мир... – стою и мудрствую: ладно, кинулся в эту жизнь – бесповоротно, безоглядно, как говорится, очертя голову, но вопрос, собственно, не в том, что кинулся, а в том, что очертя? Что это значит? Как это так? Чем очертя? Чертями? Нимбом святости? Ореолом учёности? Орбитою невесомости? Ах, если бы знать заранее... Но нет мне ответа. Вот и стою. Очерченный в мишени. И воплю в лицо прицеливающейся судьбе: «Чур! Не в меня, не в меня, не в меня, не в меня...»

Но только кому я нужен, такой неменяемый? Никому. Даже себе.

Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Языком своим они поразят себя.

ЮС МАЛЫЙ
ЮС БОЛЬШОЙ
КСИ
ПСИ
ФИТА
ИЖИЦА

Юже мя пророци проповедаша, и апостоли еже обо мне научиша.

Юже, юже, чего уж там...

Но толкований уже нет.

Одно толковище.

А это уже новая азбука, товарищи.

И Сочинитель вновь бумажки свои извлекает...

– Опять собственная цитата? – негодует Кси.

– Опять. А ты уж помолчала бы. Твоим-то имечком кошек подзывают.

– Но сколько же можно, однако? – возмущается Пси.

– А столько, сколько нужно. И не психуй, пожалуйста.

– А сколько нужно? – кричит Фита.

– А столько, сколько... Короче, до тех пор, покуда не вызубришь сию цитадель словесную наизусть, как «Отче наш». И не очень-то покрикивай на меня! Самая такая! Полюбуйся на себя в зеркале. Образина – точь-в-точь один интимный орган, имея который в виду русская императрица Екатерина Вторая придумала новаторское сногшибательное ругательство «фитюк», весьма и весьма обидное для мужского пола.

– Ладно, – сказала Ижица, и вздохнула, и всплакнула от чего-то, и стала лужицей, которая была-была, да вдруг вся и испарилась...

Чистка русского языка путём орфографической реформы намечалась в России в 1903–1904 годах. Ей предшествовала оживлённая дискуссия, в которой Лёв Николаевич Толстой и Антон Павлович Чехов, обскурантисты этикие, грудью встали на защиту традиции. И чистка не состоялась.

Чтобы во второй раз вернуться к этому вопросу, России потребовалась революция. 23 декабря 1917 года нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский издал декрет о реформе языка, в согласии с которым были ликвидированы «лишние» буквы (про ижицу, между прочим, забыли). Однако типографы и писатели не только плевать хотели на указания наркома, но и решительно наплевали. Новой власти необходимо было радикальное вмешательство.

И вот в ночь на 11 октября 1918 года буреветники революции – морячки кронштадтские пошли по петроградским типографиям исполнять декрет самого тов. Ленина об орфографической реформе. Посыпались на пол контрреволюционные яти, фиты и ижицы... Крушили усердно, так, что даже «твёрдый знак», декретивно не изъятый из обращения, лишь получивший некоторое ограничение в правах, тоже отправился на переплавку, и чуть ли не до середины 30-х годов его заменяли поднятой, «вздрюченной» запятой...

Вот и кончились буквы, и началось Слово, когда аз и я обручились, и сделалась Азия.

И хвалите Бога – с аллилуйей.

И истинно так – с амином.

XLVIII

– С амином, с аллилуйей, с большим приветом, с да здравствует Первомай и со всеобщим спасибом – лети, голубчик! – сказал голубчик Жёлтого Дома Савва Савушкин и выпустил в окно бумажного голубя.

Голубь на мгновение замер в воздушном пространстве, как будто удивился открывшейся воле и простору со всех сторон света, вздрогнул и полетел.

Это был многофункциональный голубь: он же – и самолётик, и журавлик, и аист, и ворона, и синица...

Он нёс весть важную, Саввиным карандашом изображённую: «Пора».

– Ну, и чо не жить! – воскликнул Савва и пожелал себе, бумажному голубю и всему советскому народу доброго утра. – Всё в порядке. Всё путём.

Значит, не на деревню к дедушке отправил Савва свое крылатое послание, дескать, забери ты меня отседова, милый дедушка, нет, всё, выходит, у Саввы в полном порядке, о коем и мир должен быть оповещён.

В Жёлтом Доме Савва уж почти полгода пребывает. А прошлогодней осенью случилась с Саввой такая история, которая переменяла его прежнюю жизнь и определила в голубчики двух докторов, Фаустова и Штукарского.

Служил Савушкин Савва в должности таксидермиста в мастерской, обслуживающей два научных учреждения: НИИБИНАС и ИНШКУРВЕДКРУПРОГС. Для непосвящённых можно сказать попроще: работал Савва чучельщиком в мастерской, которая обеспечивала интересы Научно-исследовательского института биологии насекомых имени академика Колорадского и Института шкурководения крупного рогатого скота. По правде говоря, институтских заказов для Савушкина поступало маловато, зато частных заказчиков имелось предостаточно, и Савва имел дело с головами изюбрей, диких козлов-гуранов, волков, медведей и других зверей. Они были продукцией востребованной и уходили к заказчикам в ранге охотничьих трофеев для украшения интерьеров квартир и дач, а также в качестве подарков для столичных гостей. Так что, денежки у Савушкина водились, и немалые, да и сама работа позволяла ему иногда покапризничать, повольничать, а то и пошкуродёрничать.

«Дерьмистый таксист» – называли его заказчики заглазно. В глаза же – только нахваливали с подчёркнутой уважительностью и даже приглашали на домашние рогатые презентации с обильной водкой и дефицитнейшими закусками.

Но вот что странно: никто в Хибаровске не интересовался птицами. А между тем, пернатые были для Савушкина издавна истинной любовью, заботой и нежностью. Ему бы на специалиста-орнитолога выучиться – славный был бы орнитолог-птицевед. Но не получилось.

Птичьи чучелки Савва выделывал не по заказу – по любви и бескорыстному интересу. Бабушке одной смастерил для вечной памяти любимую её курочку-рябу, несусветную несущку... «Уж такая была умница-разумница!», – говорила бабушка. Чучелко такое и получилось: умненькое. А ещё театральный режиссёр Кокорин однажды заявился, сам пьяный, а идея очень трезвая: а давай, говорит, Савва, сделаем детишкам прелестную радость и справедливый гуманизм с оптимизмом и восстановим покойного гуся Ивана Иваныча из чеховской «Каштанки»? Восстановил Савва. Сидит гусь лапчатый, как живой, на специальной подставочке в фойе Театра юного зрителя... Зимой ребятишки приносили в мастерскую окоченевших воробышков...

И вот однажды осенним вечером возвращался Савва с работы. Мимо аптеки шёл. Сто раз проходил мимо неё – не замечал, а тут заметил: на фронте самого древнего хибаровского здания выпукло высился

лепной медальон, а в медальоне – сова! Но не это было удивительно. А удивило Савву вот что. Глядел он на совиный барельеф – и вдруг птица открыла глаз... потом другой... покрылась сеткой мелких трещин, и разом осыпались вековой давности слои прокопчённой извёстки, и явился первозданный облик ночной птицы – чёрнёного серебра... Сова не двигалась. Хлопала круглыми глазами. И опять же вдруг раскрыла клюв и человеческим голосом произнесла: «Са ва».

Савушкин чуть на задницу не шлёпнулся. Он, ко всему прочему, был абсолютно трезв, и потому шок был особенно впечатляющим.

Савва огляделся: а может ещё кто, помимо него, увидел эту фантастику? Точно. Поблизости стояла небольшая, человек пять-шесть, группочка людей зарубежного образа одежды и поведения: смотрели на фронтон аптеки, шумно лопотали по-иностранному и размахивали руками.

Переговоры с переводчиком кое-что прояснили: французские интуристы экскурсионно осматривают достопримечательности Хибаровска, среди которых числится этот аптечный особнячок, построенный ещё в конце девятнадцатого века французским архитектором-строителем Ваней де Сюрани. Гид-переводчик надменно подтвердил: да, видели, как сова глаза свои разинула, да ещё и подмигнула, ну и что тут такого? И произнесла, значит, сова, бывшая замурованная, два слова: са ва, которые на французском языке обозначают буквально нижеследующее: «всё идёт», то есть «всё в порядке», что по-нашему будет: «всё путём!» – ну, и что? И удалился гад-переводчик в дальнейшую экскурсию со свидетелями чуда.

А Савва стал думать: что, если это ему какой-то тайный знак свыше был или видение? Долго думал. Дома думал. На работе думал. Ничего не придумал.

Пошёл в читальный зал городской библиотеки. Попросил словарь для расширения кругозора. Вычитал сначала про себя, то есть про ТАКСИДЕРМИЮ. Вывел умозаключение: дермия – это просто и понятно, что кожа, потому и на собственной шкуре, пупырышками, ощутил почесушки от таинственного намёка небес. С такси – посложнее. Оказывается, греческое taxis есть не что иное, как устройство, расположение, строй, порядок... И тут глазами захопал по-совиному Савва Савушкин от того недавнего птичьего глазомера: всё идёт, если всё путём, так что надо непременно идти, а не разлагаться на диване, идти вперёд и выше, значит, пришла пора, пора подорожить, то есть дорогою двинуться и весь мир за собой потащить, ищущий обрящет, идущий жив будет вечно и образует то, что душе его потребно: и общий строй, и общий порядок с устройством и расположением. Короче говоря, пора подорожить – и всё тут!

– Чем? – спрашивали Савву.

– Куда? – отвечал он вопросом на вопрос.

– А насчёт куда, это уже либерализм, Савушкин. Не туда вопрос ставишь и заостряешь...

Но Савушкин-то ничего и не ставил, и не заострял, вот в чём дело. Вопросы сами приходили к нему, непрошено и негадано. Птицы знают дорогу? Знают. А человек? Вопрос. Птичьи права и человечьи – что почём? Вопрос... А потом и вовсе повалили косяком вопросы либеральные: для чего человек живёт?

Савва взгромоздил на библиотечный стол стопку книг: там крылатые латинские выражения мудрости – в оранжевом переплёте, и вообще крылатые слова – в коричневом, и афоризмы – в зелёном, и мир мудрых мыслей – в вишнёвом с крапинкой... Всю школьную тетрадку в 24 листа исписал определениями человека и человечества. Вопросы остались. И вот тут-то и подошла к Саввиному столу сама библиотечка (хорошая женщина), и они сели друг против друга и разговаривали, и библиотечка (бывают же такие хорошие женщины, без всяких пошлых денег на уме!) рассказала Савве наглядный пример из древней истории, который Савва, придя домой, немедленно перенёс в тетрадку... Значит, так. Дело было в древнем мире. В древнем мире был город Дельфы (общегреческий религиозный центр с храмом и оракулом бога Аполлона), на портике храма имелась высеченная надпись (скрижаль), которая на русский язык переводится так: «Человек разумный, познай самого себя». Эту фразу сочинил древний мудрец, фамилия которого дошла до наших дней, но из Саввиной головы вылетела, в следующий раз уточнит у библиотечки, которая сидит на выдаче, а по характеру годится – хоть на выданье, тому же Савве, очень он её полюбил за душу её и правильный подход к читателям. Да! Человек разумный по-латински будет гомо сапиенс. И вот однажды, много веков спустя, один другой мудрец, фамилию которого Савва тоже забыл, проводил классификацию животного мира и определял в этом мире место и положение человека, который тоже есть млекопитающее животное. И вот этот учёный мудрец давал человекообразным обезьянам разные наименования, куда те обезьяны в природе не выродились в обезьяноподобного человека, который получил название гомо сапиенс, человек разумный. А на самом деле новый мудрец нахально свистнул у древнего мудреца ровно половину, первую, той дельфийской фразы и на этом успокоился, и люди успокоились, обрадовались даже, какие, мол, мы разумные! Но это – гиблое дело. Успокаиваться никак нельзя было, потому что человек обязан волноваться, как море, а если не волнуется, то получается болото, получается тупик, получается человек, только что вставший с четверенек, как бы неисполненный, недоделанный, серединка на половинку, и чтобы исполнить свою природу, ему надо идти и идти, устраивать себя, располагать и наводить в себе порядок - до полноты, до целого... Интересно всё ж таки, что думают об этом в СССР учёные и правители из ЦК КПСС, Советского правительства и Верховного Совета? Выходит, что ни хрена не думают. Они ж все старые пердуны, на глазах всего трудового народа и подрастающего поколения превращаются в древний мир с вытекающими последстви-

ями, а общество успокоилось, и вся диалектика развития крякнула к чёртовой матери!.. Нет! Пора! Пора встряхнуться! Пора подорожить!

Всем встречным-поперечным рассказывал Савва о диалектике, о Дельфийском оракуле, об аптечном видении, о французской совушке... Народ игнорировал. Народ не верил сказкам.

- Она же ж живая была! – кричал Савва.
- Все живые были, – отвечал народ.
- Она глазами хлопала!
- Все хлопают.
- Она сказала: са ва!
- Ну, и что? И без неё понятно, что сова есть сова.
- Так вы, козлы, несогласные, что пора подорожить?
- Чем? – спрашивал народ Савву.
- Куда? – отвечал он вопросом на вопрос.

И такой вопрос на вопрос являлся, по общему мнению, явным свидетельством нарушения логического мышления.

...Бумажный голубь уж нацелился было на высокий полёт, но тут в бочок ему толкнулся неправильный, своевольный ветерок, и голубь сбил курс, и с пируэтом устремился вниз, не успев даже нагуляться вволю, накувыркаться... Тюкнулся носом в оконное стекло и упал на карниз.

К Первомаю весь Хибаровск мыл окна. Обычно уже к полудню город сиял и пускал в небо солнечных «зайчиков». С «зайчиками» играли птицы.

Жёлтый Дом не был исключением в ряду охорашивающихся. А медсестра Софочка Бабореко лично, не полагаясь на техперсонал, наводила лоск и блеск в сестринском кабинете.

Она только что удалила с оконных рам бумажные ленточки, с осени наклеенные на пазы и по мере своих бумажных возможностей оберегавшие помещение от зимних простуд. Оставалось только распахнуть створки окна и приступить к весёлой процедуре.

И вот – бумажный самолётик, откуда ни возьмись, в стекло тюкнулся и улёгся на жестяной карниз.

- Привет! – сказала Софочка и засмеялась.
- И отворила окно Софочка, и взяла привет в руки.

«Пора» – назывался самолётик.

Он был как привет до востребования.

У Софочка застучало сердце, а дыхание, наоборот, замерло, артериальное давление, наоборот, оживилось и подскочило, наверное, до 140 на 100...

«Это он! – подумала Софочка. – Это несомненно он подаёт мне знак. Он, он, он!.. Он такой робкий... Он такой весь погружённый в работу, в науку, в диссертацию... И вот он решился, наконец... Он такой ми-

лый, этот доктор Штукарский! И мне тоже пора ему прямо, без всяких смыслов, сказать... Пора, пора... Сколько же можно скрывать?..»

Как любовно выводил Софочкин пальчик по мутному стеклу заветный вензель Д и Ш!

Получилось любовно, но, как Софочка заметила, не очень одушевлённо: до полной души не хватало всего лишь половинки, всего лишь двух букв, двух звуков детского лепета – уа. И Софочка сказала то-ненько:

– Уа! Душа моя, доктор Штукарский, ау!

Но тут затрещал телефон на столе и после треска заговорил самостоятельным басом:

– Внимание. В прямом эфире Дэвид Корпорейшин, корреспондент агентства «Дэйли ньюс», Соединённые штаты Америки. Я веду передачу из вагона пригородного поезда со станции Смальта, в 85 километрах к западу от краевого центра Хибаровска. Я держу путь на станцию Половина, в старинное село, прославленное производством знаменитого фарфора. Однако мне пришлось прервать своё путешествие. Напротив меня горит пассажирский поезд, точнее, не весь поезд, а прицепные вагоны, так называемые «столыпинские», для перевозки арестантов. Ещё их именуют «вагон-зак» или «вагон-зэк». Вижу клубы дыма... Я сейчас выхожу из вагона, не прекращая радиотелефонного репортажа...

Странно: телефонная трубка лежала на аппарате, который вещал, точно динамик.

Софочка вздрогнула. И бумажный самолётик на её ладони вздрогнул и выскользнул с руки...

Сначала он вошёл в пикирующий вираж, но встречные воздушные потоки, поднимавшиеся с теплом от земли, встретили его и понесли вверх, всё выше и выше... И вот уж голуби с любопытством облетают нового небожителя, постораниваются, уступая дорогу, но они это напрасно делают, дороги всем хватит, на то оно и есть небо голубиное, гули-гули, страна Воркута, райский Гулаг, архипелаг голубой.

И самолётик летит. Он не может махать крыльями. Зато на белом боку у него есть слово, а у природных голубей нет никаких слов, только пёрышки, которыми не то что слово, а даже одной буквы не изобразишь, они же не гусиные, пёрышки-то...

Сочинитель стоял у окна собственной квартирki в Кошкином Доме и умеренно психовал, не выходя покуда из себя.

Он.

Он не хочет.

Он не хочет жить.

Он не хочет жить в стране.

Он не хочет жить в стране одноцветной.

Он не хочет жить в стране одноцветной посуды.

Ему, чёрт подери, желается иметь свою собственную непластмассовую чашку и свою собственную непластмассовую ложку.

Но.

Но ему, господи помилуй, мешает напряжённый творческий поиск.

Ему мешает напряжённый творческий поиск источников финансирования его желаний.

И ещё многое-многое чего мешает Сочинителю.

Например, у какого ещё дурака, помимо него самого, возникнет щемящая душу человеческая жалость к одинокому пустому ботинку с видом на Море? Ботинок пришёл из стихов мятежного Мирчи Динеску. Вот пусть туда и отправляется, там ему место, а не здесь, на сыром застеклённом пляжище.

Кстати, о стихах. Что такое? Высший пилотаж сочинительства. Но пилотаж – дело краткое, ограниченное временем, скомканное странством. Два слова, словосочетание – уже стишок, уже поэзия: «очей очарованье». Но если подкрадывается проза? Тут уже никаких пилотажных фигур: только ночной полёт, пилот и стихии, почтовый рейс Сент-Экса с письмом к заложнику, барражирующая над планетой людей дальняя авиация, да ещё и с заправкой в воздухе – длинная дорога, долгая, долги дорогие, иногда не по душе, не по любви, не по карману... Дорога. А по обочинам – ваши сиятельства и светейшества, ваши светлости и высокопреосвященства, фонари ночные с лужайками света под чугунными лапами... Он ведь риторический гражданин, этот Сочинитель. Он ходит от фонаря к фонарю, и каждому объясняется в любви к просвещённому мещанству. Странно? Но так уж он говорит, ритор: свет, образ разума, и у декабристов, дескать, имелся такой условный знак в переписках: ☆ – то ли он – первая буква алфавита, то ли символический циркуль, но на самом-то деле за оным знаком скрывался «гасильник» как враг света и свободы... Странно. Впрочем, не странней ночных исповедальных признаний под луной... – и кому? уличным фонарям, фонарикам! А они стоят себе и стоят, моргают, маргиналы этикие: не на столбовой дороге, на обочине – и путь освещают, и предупреждают будто бы с виноватой извинительностью: не подходите, мол, к нам, сюда нельзя близко, либо в кювет залетите, либо шишку на лбу набьёте, либо ещё чего неприятного, ибо маргиналы мы, в высшем свете нас не принимают, щурятся... О, эти маргиналы! Шествуют рядышком, хромают, высшие и низшие, нищие духом и нищие вообще, слева – капитан Копейкин с костылём, справа – богомаз Рублёв с кистью правой, опухшей от трудов праведных... И вот уж пора пары выпустить, разгрузиться со свистом, чтобы в голову не лезла всякая фигня, вроде... Ну, вот ложка, например. Которая дорогá к обеду. Что такое? У господина Чернышевского в Вилуйской ссылке тоже

была ложка, своя, неказённая, серебряная. Он варил в горшке кашу. И кушал кашу. Ложка от употребления стёрлась с одного боку на целую четверть. Что делать? Хорошая была ложка. Хорошая каша. Чернышевский – вопрос как хитроумно-сказочный солдатский топор в горшке. Который не прогрессивнее как серебра, так и ложной ложки, массовой, пластмассовой... А тут, поперёк мысли, ещё и этот ботинок с видом на Море! Что такое? Уж если кто и воздвигается на побережье, так это должно быть с видом на тех, кто в Море, а не так, чтобы сам по себе, без шнурков к тому же...

Сочинитель затеял роман с планетой людей. А ему говорят: сейчас, в текущий момент конца двадцатого века, романы, увы, не пишут, сейчас романы набирают на компьютере. Он сопротивляется: а почерк писателя? А ему говорят: кому на хрен нужен твой почерк? Но Сочинитель упирается, стоит на своём: кому на хрен, а кому-то, может быть, и не на хрен, посмотрим... Что такое? Почерк человека вообще сугубо индивидуален. Так? Так. Эксперты-почерковеды даже характер автора ручного письма запросто определяют и массу иных подробностей: у кого рука набита, у кого глаз, у кого морда... У Пушкина, например, такой характер, то есть почерк: чётко выстроенная флотилия военных парусных кораблей, и весь черновик – поле сражения, и вопрос: куда плыть? – не стоит, потому что – туда, куда надо. А у Есенина такой характер: строчки сбиваются в угол, острием вверх, в косяк журавлиный, нацеленный в зенит, и каждый журавлик-буковка летит в отдельности от другого, но все вместе держатся они на единой незримой нити... Да. Но вот появились компьютеры. Что такое? IBM. Прощай, значит, чистый, целомудренный лист?

Сочинитель настолько увлёкся внутренним голосом, что не сразу и расслышал голоса постороннего, басистого. Говорил телефон:

– ...Клубы дыма... Я сейчас выхожу из вагона, не прекращая радиотелефонного репортажа с места события... и пока я пробираюсь к выходу в тамбур, считаю нужным поделиться со слушателями сведениями о железнодорожной станции Смальта, где я нахожусь в настоящее время. Итак, лет шестьдесят назад крестьянин села Смальта Платон Брулин углублял подполье в своём доме и обнаружил кости какого-то животного. К месту находки приехал известный учёный-антрополог Герасимов, разработавший способ восстановления облика человека по черепным костям. Этот метод получил мировое признание не только в археологии, но и в криминалистике. Экспедиция Герасимова, а позже многочисленные раскопки в Смальте позволили установить картину жизни людей каменного века, проживавших на этой территории. Ценные находки содействовали вводу в научный оборот понятия «смальтйская культура»... Извините, я вынужден прерваться на некоторое время...

«Вот уже и телефон сошёл с ума, – подумал Сочинитель. – А компьютер что? Где гарантия, что не рехнётся? Кто предскажет электронный путь машины, от снисхождения к ней до её элегантного схождения с катушек?»

Белое пятнышко в лазурном небе летело прямо в окно и, столкнувшись со стеклом, оказалось бумажным голубем.

Сочинитель рывком распахнул помещение – в весну.

«Пора» прочёл он на посланце небес. И понял сие всерьёз: да уж, пора браться за дело, и пусть делом будет ба-а-льшой роман, по-крупному счёту, мелким почерком.

– Так и передай музе, – сказал Сочинитель.

И голубь из его руки взмыл в продолжение полёта.

... Компьютерный портрет Иисуса Христа, выполненный на большеформатном листе бумаги в виде скрупулёзного сочетания крестиков-ноликов, висел в рабочей келье владыки Хризантема на самом видном месте, над письменным столом.

А владыко с раннего утра писал секретное послание к самому себе.

Свободное письмо, не скованное, не обременённое догмами религии, переходящей в идеологию, и идеологии, переходящей в религию, – Откровение епископа Хризантема, Пламенного Революционера.

«...потому что мой старый друг Поп медленно, но верно сходит с катушек. Это печально, ведь друг всё-таки. Но истина дороже. Даже Ленин был наказан безумием и мавзолеем, что констатировал ещё в 1931 году мягчайший, деликатнейший природолюб Михаил Михайлович Пришвин. Бог не бог, но всё же кто-то свыше ткнул главного революционера России и иже с ним носом в истину воистину очевидную: историю нельзя напонуживать, как скотину рабочую или лошадь гужевую. Революция, названная великой, поторопилась, она даже в календаре из октября перескочила в ноябрь, такой уж зуд у неё образовался. И, стало быть, от рокового отроческого нетерпения весь народ советский-социалистический сделался выкидышем, недоноском или, возможно, чем-то иным, но непременно абортёрванным. Дети революции – дети аборта. И вот уж возраст этих детей давно перевалил за полвека. Беда. Где взять взрослых людей, не играющих в азартные игры с историей и здравым смыслом? Жизнь-то требует таковых. Проблемы, уже ощутимые и требующие дальновзоркости мышления, призывают людей. И, как сказано в Апокалипсисе, время близко. Сказано сугубо: в первой главе и в последней, XXII-й. Но кто-нибудь задумался хоть на миг о судьбе рождённого Союза ССР? Никто. Движение мысли остановлено снизу доверху. Мысль умирает в стагнации. В стогах стагнации не сыщешь волшебную иголку истины. А между тем любому трезвому аналитику ясно: СССР дряхлеет и разваливается, и развалится, как

карточный домик, как все великие мировые империи некогда разваливались, исполнив судьбу империй, с катастрофами придуманного и вымученного мира. Сёстры-республики уйдут от России, как от проказы. Что же станется с самой Россией? Есть ли она в одном лице Вавилон и великая блудница? Ни одна страна в мире не разлеглась на планете так нахально, бесстыже и вызывающе, поперёк одиннадцати часовых поясов, почти на весь круг времени. И пространство России, и время её посему нелепей нелепых: супротив пространства и поперёк времени, не вдоль, не по течению, не в русле глобального естества и космического закона, нет, – своим путём, на свой манер, на особый лад, на изысканные в чьей-то запазухе образ и подобие, вот Россию и сносит, и сносит, и сносит... И живёт она, значит, одновременно в разных временах, противоестественно для одного сущего тела, и российский Запад не понимает Восток, и Восток не понимает Запад из-за разности времени в чередовании вопросов-ответов, ответов-вопросов, разговор немого-глухого, и прав Киплинг: не сойтись им под одним венцом никогда. Империя = метрополия + неокOLONиальная провинция = динозавр... Так что же – новый раскол и новые раскольники? Пора поразмыслить. Понятие Востока как колонии Москвы стало уже общим местом. Сейчас даже нет нужды кому-либо доказывать, что Московия рассматривает всю территорию, восточнее Урала, не более как источник сырьевых ресурсов, за счёт экстенсивного использования которых метрополия, не особо задумываясь о последствиях, может довольно долгое время жировать. Восток – всего лишь большая лесосека и нефтяной бассейн с золотыми рыбками. На этой огромной и самодостаточной территории, содержащейся московским карликом на поводке, живут люди. И нигде в мире люди не живут так, сколько-нибудь крупными сообществами, в подобных географических и климатических условиях. Грезится Аляска? Поглядим на Аляску. Дотационная территория с населением, равным населению одного Хибаровска, не имеет никаких значимых производств. Но Аляска принадлежит Соединённым Штатам, которые имеют средства для содержания этой территории, не имеющей для них практического значения сегодня, но рассматриваемой как ресурсная кладовая с неприкосновенными запасами на завтрашний день. У Москвы таких возможностей нет. Содержать Восток – обуза, доука, непосильная, а значит и лишняя, задача. И потому в эту дойную корову, морда которой на Востоке, а вымя в Москве, вкладывается из центра ровно столько, сколько ей нужно для самовыживания, но при этом выкачать в десять раз больше. И всё. С такой стратегией у России нет будущего. Что же может произойти, скажем, в недалёком уже XXI веке? Я так вижу. Обесценятся огромные государственные вложения на освоение северных территорий, что приведёт к «сжатию» сибирской Ойкумены. Основная часть населения окажется на попечении бюдже-

тов различного уровня в условиях целенаправленного выноса финансовых потоков в Москву. Произойдут существенные изменения в менталитете сибиряков и дальневосточников, которые уже сейчас отчётливо представляют, что колониальная политика центра и соответствующее отношение к национальным интересам на востоке страны не отвечают задачам обеспечения её безопасности. И, как следствие, затрепещут в умах варианты нового статуса Сибири и Дальнего Востока: или автономия, или самостоятельное и полноправное государство... Мысль об автономии не нова и содержалась ещё в идеологии сибирского областничества в XIX веке. Честно сказать, в урегулирование «по-хорошему», то есть в государственных рамках РСФСР, не верится: уж слишком сильна жажда наживы у Московии. Восточный лес, дешёвая электроэнергия, алюминий, газ, нефть, уголь, золото, алмазы... А гидроресурсы! Двадцать процентов мировых запасов поверхностных пресных вод и более девяноста процентов пресных вод России – в одном только Байкале (потрясающе! менее десяти процентов приходится на все «великие» реки и озёра...). Бесспорно, сама мысль об отделении от России, от Московии пока что пугает сибиряков. Тем более, что патриотизм сверху часто определяется как «сохранение территориальной целостности» государства. Но для многих уже ясно, что эта декларация есть всего лишь инструмент для сохранения колониального статуса Востока в составе Московии и способ, припугнув недовольных, сохранить всё, как оно есть. Осознание возможности радикального пути к большинству населения ещё не пришло. Однако – уже присутствует на уровне эмоций, подсознания, не вполне отчётливых ассоциаций в рамках социального реванша. Восточный реванш – это нетривиальный ответ на существующее положение России... А пока – Апокалипсис ползучий... Так ведь и он был предначертан. «И Апокалипсис здесь был написан», – заметил расстрелянный поэт Николай Гумилёв. И придёт срок. И явятся ангелы, восходящие от востока солнца и имеющие печать Бога живого... Что ж, начнём с конца – с Дальнего Востока, где первый ангел вострубит, и будет Глас Народа-Глас Божий: знаю дела твои, и труд твой, и терпение твоё, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя Апостолами, а они не таковы, и нашёл, что они лжецы; ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал... И станет Дальний Восток... И второй ангел вострубит, и будет Глас Народа-Глас Божий: знаю твои дела, и скорь, и нищету, впрочем ты богат, и злословие от тех, которые только и говорят о себе, но не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть... И станет Бурятия... И третий ангел вострубит, и будет Глас Народа-Глас Божий: знаю дела твои, и что ты живёшь там, где престол сатаны... И станет Якутия... И четвёртый ангел вострубит, и будет Глас Народа-Глас Божий: знаю твои дела, и любовь, и слу-

жение, и веру, и терпение твоё, и то, что последние дела твои больше первых, и дам тебе звезду утреннюю... И станет Восточная Сибирь... И пятый ангел вострубит, и будет Глас Народа-Глас Божий: знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мёртв, впрочем, есть люди, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны... И станет Западная Сибирь... О, железная пята пятого!.. И шестой ангел вострубит, и будет Глас Народа-Глас Божий: знаю твои дела, вот, се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего... И станет Урал... О, пришествие шестого! И седьмой ангел вострубит, и будет Глас Народа-Глас Божий: знаю твои дела, ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден и горяч! но как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих; ибо ты говоришь: «я богат, разбогател, и ни в чём не имею нужды», а ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг, и советую тебе искупить у Меня белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей; ибо кого люблю, тех обличаю, итак, будь ревностен... И станет Татарстан... И будут семь светильников возжены. И будет Глас: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего поил все народы... О, Слово Слов! Не зря веков дальних, вот увидел же века дальние библейский политолог Иоанн Богослов. И мне, грешному, Пламенному Революционеру, подсобил... А что же на семи холмах Московии? А что посеешь, то хрен найдёшь. Да. И грядет суд над великою блудницею, восседающей на водах многих; с нею блудодействовали цари земные, и вином её блудодеяния упивались живущие на земле. Сидит она не в пустыне, сидит посреди площади красной, на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. Семь голов суть семь гор. И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой ещё не пришёл, и когда он придёт, не долго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдёт в погибель... Слушайте, слушайте! На челе жены написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. А воды, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. И десять рогов зверя возненавидят блудницу и разорят её, и обнажат, вопия: пал, пал Вавилон, ставший жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, всякой отвратительной птице. Вот, воздайте блуднице так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам её. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными! Ибо в один час погибло такое богатство. Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над городом великим. И гóлоса играющих на гусях и поющих, и играющих на свирелях и трубящих трубами

уже не слышно будет в том городе, и не будет уже в нём никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов; и свет светильника уже не появится в нём, и гóлоса жениха и невесты не будет слышно: ибо купцы Вавилона были вельможи земли, и волшебством города введены в заблуждение все народы, и в нём найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле... И бродят, бродят, потерянные и ничейные, по огневищу, бывшему почвой: конь белый без лучника, конь рыжий без меченосца, конь вороний без всадника с мерой в руке, конь бледный без всадника, которому имя смерть. Бродят кони, исполненные ничьих ночей, и нет им ни луга, ни водопоя. Бродят и бродят, сами по себе, по себе сами, в год 2017-й от Рождества Христова и столетнего юбилея Великой Октябрьской Социалистической Революции. Аминь».

Владыко Хризантем поставил аккуратную точку и отложил в сторону гусиное перо.

Поливинилхлоридная штамповка, ширпотребство, 15 копеечек за штучку, со вставным стерженьком от пасто-шариковой ручки, ещё той штучки, за 15 копеечек, ширпотребство, штамповка поливинилхлоридная...

– Аннушка, – позвал владыко.

Пресс-секретарь и многих иных мирских дел секретарь Аннушка сидела в смежной комнатке, приёмной, и не отозвалась Аннушка, чуткая.

У владыки на письменном столе покоился бронзовый колокольчик, старинный, благородной патиной покрытый. Владыка не пользовался колокольчиком: барство! – только любовался, поминал Герцена и гладил пальцами звонкий металл.

Встал, крикнул, поглаживая поясницу, и вышел в приёмную.

Аннушка, склонившаяся к телефону, не сразу и заметила епархиальное своё начальство, а увидев, смутилась.

– Вот, владыко, – молвила, глаза округлив. – Говорит. А я трубочку-то с аппарата даже и не сымала. Чудо какое-то, господи... Я сидела, совсем ничего... а он сам...

Телефонный аппарат, действительно, басил сам по себе, точно радиоприёмник:

– ... а перевозимых по этапу заключённых кормили в пути исключительно одной селёдкой, даже хлеба в рационе не было, вернее, в рационе-то он был, но вот в вагоне его не оказалось. Вот в чём вся соль, в селёдке. А хуже всего то, что и воды не было. Зэки изнывали и бесились от жажды. Можно только представить, как весь вагон-зак сотрясался от крика, от рёва, от грохота по решёткам кулаков и пустых кружек: воды, воды! И вот, когда поезд остановился на станции Смальта, зэки пошли на отчаянный шаг: подожгли вагон изнутри в расчёте на то, что подойдут пожарные, станут тушить огонь, вот тогда и напьёмся. Вагон вспыхнул, как порох. Пластиковая отделка го-

рит быстро, растекаясь с чёрным удушливым дымом, люди в огне, в решётках. Им не выйти. Почему же конвоиры не открывают двери с решётками? Где сами конвоиры? Они выскакивают из вагона... Поезда проходят мимо станции, не останавливаясь... Вижу тройное оцепление милиции и солдат внутренних войск...

– «Голос Америки»? – шёпотом спросил владыко. – Откуда он в телефоне?

– Ой, я не знаю, – пискнула Аннушка. – Я сидела, вязала варежку, а он вдруг ни с того, ни с сего...

Владыко на цыпочках вернулся в келейный свой кабинет.

Душно сделалось владыке. Как от угара.

Он приблизился к окну. Сиял весенний мир за толстыми зеленоватыми стёклами. Сияло стекло, умытое деревенскими работающими руками Аннушки. Витиеватые решётки на окнах.

И как только владыко подумал о летящей птице, в кровь разбивающейся о незримое стекло, возникшее на пути полёта... как только подумал о красивых птицах, поющих, как правило, хуже некрасивых и тем похожих на людей – мысль Георга Кристофа Лихтенберга из восемнадцатого столетия... и как только подумал владыко, епископ Хибаровский, о белоснежном голубе с веточкой оливы... – тут и явился голубь на законный карниз с бумажным журавликом-посланием в клюве: шумно примостился на жестяное пристанище, постукивая коготками и перья охорашивая.

«Пора» – читалось в послании.

Владыко на миг замер в восторженном, безмолвном благоговении, и миг спустя широко осенил себя крестным знаменем.

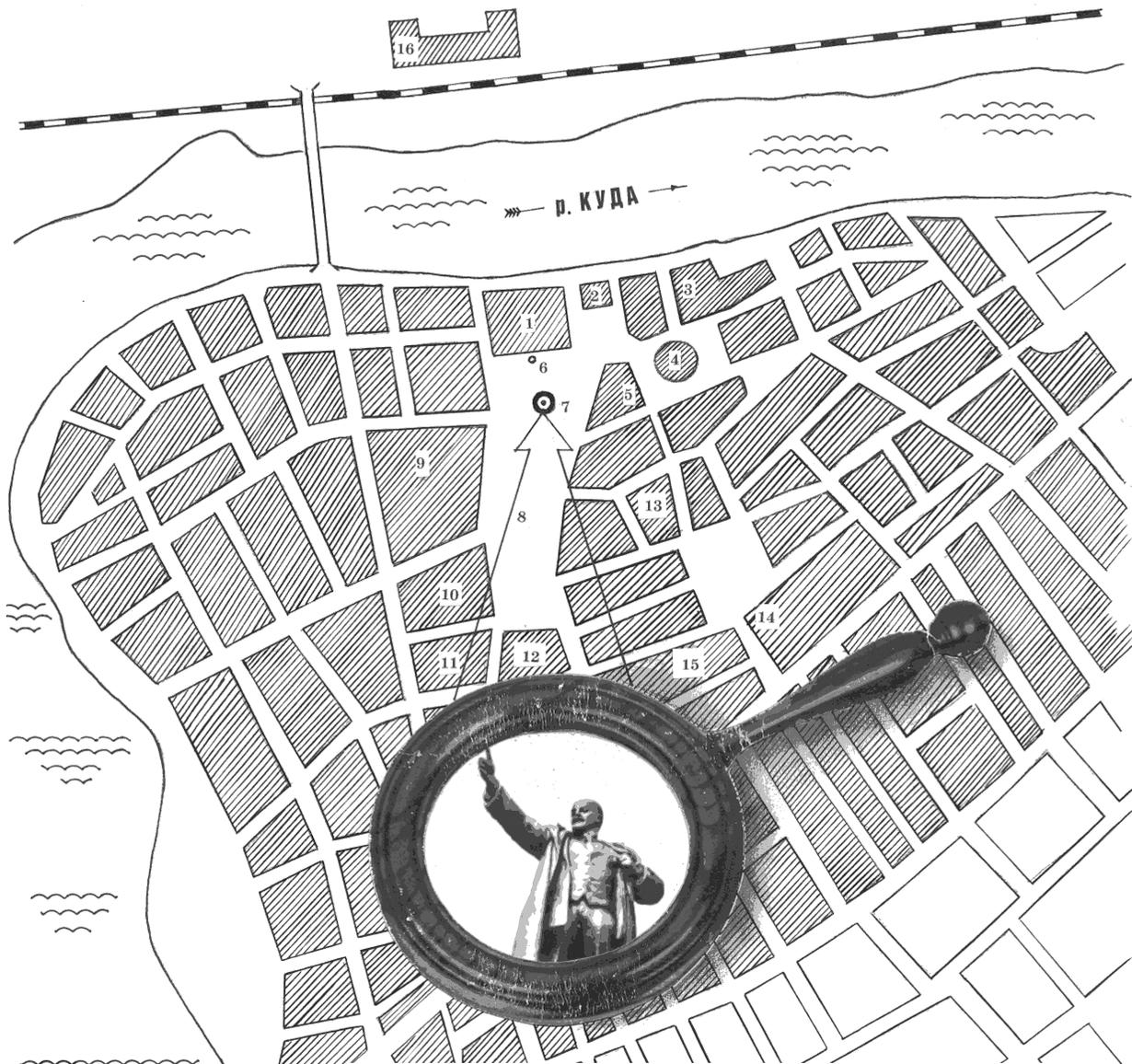
И вспугнул голубя.

Взмах крыльев – и уже нет на карнизе ни голубя, ни бумажной птички: тот вспорхнул на соседнюю приступочку, а та устремилась вверх, в автономный полёт...

«Вот так, – подумал владыко Хризантем. – А то мы всё... Пимен да Пимен, Пимен-летописец... Да пора уж и нам, грешным, пименовать вещи нашего времени и время наших вещей своими именами. Пора...»

А рукотворная птичка Саввы Савушкина, набрав высоту, выделяла в воздушных потоках пилотажные петли и виражи, и «свечи», и «бочки», и даже «кобру» изобразила, на мгновение застыв в вертикальной стойке. Вольно ей, любо, и страшноватенько, и прохладно, и нравится, и не нравится вместе, но ведь где нрав, там и норы... О, если бы знали люди, копошащиеся внизу, какие новости и старости со всего света несёт на борту небесный кораблик! Нет, не знают. Да и сам он не знает, что такое свет, откуда ж ему знать, молодому и раннему, когда он впервые видит этот свет с высоты своего положения...

ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ХИБАРОВСКА



- 1 - Серый Дом
- 2 - Православный храм, канцелярия епископа Хризантема
- 3 - Жёлтый Дом
- 4 - Кошкин Дом
- 5 - магазин тёти Хаси
- 6 - «Серебряный» памятник Ленину
- 7 - бассейн с фонтаном и «Золотым» памятником Ленину
- 8 - Площадь Падших Борцов
- 9 - Тихий Дом
- 10 - НИИБИ насекомых
- 11 - Дом со львами
- 12 - Театр Юного Зрителя
- 13 - Аптека с совой
- 14 - Центральный рынок
- 15 - Редакция газеты «Огни коммунизма»
- 16 - Железнодорожный вокзал Хибаровск-пассажирский

... Итак, рукодельный голубчик прогули-гули-вался в небесах.

Аптека-часовня отмалчивалась временем «Ч» для совы.

Софочка Бабореко вибрировала.

Сочинитель угрюмо прицеливался к стакану, стакан – к перу, перо – к Сочинителю, круг замкнулся, и Сочинитель, ошарашенный серединой, вперился в чистый, целомудренный лист: пора пера, операция началась...

Владыко Хризантем пребывал в странном смятении: вспомнил вдруг о предшественнике своём, архиепископе Хибаровском Афанасии... год назад раскаялся Афанасий в информационном окормлении органов госбезопасности и уехал грехи замаливать в Грецию, в монашескую обитель на Афонской горе, и ни слуху о нём, ни духу, зато явилось смущение в церковном клире и в миру... вот и посиди тут, как на колу, да примеривайся к этому Афоне – крупным планом, средним да задним: на фоне Афона на фоне обители на Афоне, такая вот картина... и днём и ночью поп учёный всё ходит по цепи кругом, идёт направо – песнь заводит, налево – сказку говорит...

А товарищ Краснопресненский-Крестовоздвиженский в кабинете Серого Дома репетирует первомайскую речь.

Его секретарша Аномалия Андреевна Курбская в этот ответственный день с утра все телефоны отключила для создания необходимой творческой обстановки. Чай с лимоном у неё наготове, бутерброды с колбасой и сыром – всё для него, для Григория Романовича Краснопресненского-Крестовоздвиженского.

Григорий Романович стоит перед широким зеркалом и кричит:

– Пора со всей ответственностью признать о том, что пора, давно уж пора, товарищи, определиться о том, что не всё у нас так уж плохо, товарищи, когда у других товарищей дела обстоят хуже нашего дальше некуда...

Григорий Романович поморщился: во-первых, опять буква «р», которую он не выговаривает, за пятнадцать секунд выскочила в речи целых девять раз! и референтов, готовивших текст, надо гнать в шею, не отфильтровали, засранцы, речь, как положено, не удалили рычащие слова; во-вторых, мимика: резиновая какая-то сегодня получается, твёрдости нет и пламени... Григорий Романович прополоскал горло «Ессентуками» № 12, подставил к зеркалу скамеечку («Теперь другое дело!») и вновь закричал:

– Слава советским женщинам! Из них вышли героини Советского Союза и Социалистического Труда, знатные механизаторы, передовики производства и даже космонавты! Слава советским...

Скамеечка под возбуждёнными ногами вздрогнула, качнулась туда-сюда и – не цирк, однако! – упала на бочок, а с нею – и Григорий Романович.

– Опять, стерва, – грустно сказал он.

Это, конечно, относилось к скамеечке. Но она не виновата. Она

была обыкновенной скамеечкой, с резиновой рубчатой попонкой на спинке, на четырёх толстых ножках, которые после каждого падения Григорий Романович самолично подпиливал ножовкой – то одну, то другую... – выравнивал и всё никак не мог выровнять на полные сто процентов уверенной и безопасной устойчивости, так что со временем ножки укоротились почти вдвое, чего Григорий Романович не замечает, а вот и напрасно он это делает, что не замечает, потому что, в таком случае, народ заметит, или какой-нибудь дотошный историк КПСС, роясь когда-нибудь в подшивках газеты «Огни коммунизма», вдруг обнаружит, что, начиная с первой годовщины восседания Кр-Кр в кресле главного идеолога Хибаровского крайкома коммунистической партии, Григорий Романович (в антропометрическом смысле, коммунист весьма невыдающийся, по каковой причине заказывает в спецателье высоченные каблуки для обуви) из года в год понижался в своём росте по сравнению с Персеком и другими ответственными товарищами, стоявшими на трибуне и увековеченными на празднично-репортажных фотографиях... Впрочем, историк, возможно, и не заметит того факта, тут наверняка какой-нибудь дальнобойкий и пронизательный до последних степеней свободы криминалист потребует, с лупой и предельно мелкой линейкой для замера на фотоснимках верхней половины товарищей вообще и Григория Романовича в частности... Не цирк, однако, – криминалистика: был человек на газетном фотоизображении – и нет человека на газетном фотоизображении – с точки зрения многократного увеличения, а, по сути, с вершины Великопостного и Высокопоставленного Небесного Промысла, откуда даже великие, вселенские партии видятся пустотой. Не цирк, но фокус: растр, полатыни – грабли. Наступи на них, небесное создание, и убедись: великое множество банальных точек, и ничего более, однако же – затейливо организованное: где густо – там темно, где редко – там серо, а где вовсе нет ничего – так там и нет ничего, белый лист, что хочешь – то и пиши в том пространстве, куда, случается, один отдельно взятый человек иногда, в сердцах, отправляет другого отдельно взятого человека с напутствием директивно-языческим: а чтоб тебе пусто было!.. Впрочем, абсолютной пустоты, как утверждают люди учёные и весьма остепенённые, в природе не существует, в любом случае, при любом раскладе крутятся-вертятся в ней молекулы какие-то, атомы и элементарные, элементарней уж некуда, частицы... И что же, товарищи, тогда получается? А вот что получается: опять грабли, растр, растворение естества, вещества, существа, ужас какой-то, расстрельная белая стена с пулевой ущербностью, «чёрные тюльпаны», цинкография, клише, перевод отдельно взятого, даже самого крупного, человека в мелкоточечное изображение, высокая печать – и даже выше, звёздное небо... ух, ты! Технология азотного кругооборота и философия частной жизни как формы существования белковых тел... А в служебном-то кабинете, в кресле за столом, Григорию Романовичу существовать куда как про-

ще, чем на трибуне: пять синих томов из Полного Собрания Сочинений В.И. Ленина подложить под жопу – и все дела, и ты на уровне, а на трибуне иной ранжир нужен, вот там и пригождалась вышеупомянутая скамеечка, утверждаясь на которой, Григорий Романович всегда возбуждался и устремлялся, с пятки на носок – и обратно... а виноватой всегда оказывалась скамеечка, и Григорий Романович ножки ей подпиливал для устойчивого равновесия, столяру не доверял, точно она была тайным талисманом или амулетом, но снова и снова, в очередной раз возбуждался и устремлялся, стоя на скамеечке, и получалось – как сейчас: стерва...

На шум падения впорхнула Аномалия Андреевна из приёмной.

Незначительная, вроде бы, должность у Аномалии Андреевны – секретарша, но вот поди сочти долги её: она и делопроизводитель-скоросшиватель, и телефонистка, и машинистка, и стенографистка, и переводчица с разных языков на нормальный, и швейцар, и телохранитель, и курьер, и официантка, и дежурная медсестра, и ещё многое что, кто и чего на все случаи сочувствия, соболезнования и утешения в партийной и личной жизни Григория Романовича, в общем, уж и не должность, кажется, у Аномалии Андреевны, но строжайшие и неукоснительные долги перед коммунистической партией, авангардом всего прогрессивного человечества.

Вот! Именно это чувство бесконечно ответственного долга не позволяет Аномалии Андреевне называть своего шефа уменьшительно-ласкательно: дурачок. А – хочется! Очень. Иногда даже так, что очень-очень, до стеснения в груди, до изумительного томления, и тогда в недрах живота плавно и тягуче ворочалась душа, метафизика с поэмами, чуждыми марксизму, и взывало к действию желание взять Григория Романовича на руки, прижать к сердцу и баюкать его, бесконечно и безответственно баюкать, как младенца Христа... О, как упоительно стыдно Аномалии Андреевне! Она трижды, раз за разом, заканчивала Вечерний университет марксизма-ленинизма при краевом Доме политпросвещения, штудировала три источника и три составные части, с красным карандашом наперевес проходила мимо научного атеизма, и ни в одного бога мировых религий не верила – верила в опиум для народа... – но в минуты душевно-животного томления Аномалия Андреевна решительно забывала о самой себе как о существе и веществе, принадлежащих партии, и желала быть – стыдно сказать, прости, Господи! – богородицей: при Григории Романовиче с его святой идеологией, самой передовой в мире... при нём, при маленьком, личико с секретаршин кулак, но при всём при том – уж никак не простой оратор, небесный оратай, а – для Аномалии Андреевны! – второй в Советском Союзе и в социалистическом лагере человек после Михаила Андреевича Иисуслова, главного идеолога Центрального Комитета... и такого человека (пусть даже и мелкого в сравнении с гренадёрской ставью Аномалии Андреевны, ничего, Ленин тоже был невысоконыйкий,

ботиночки его в музее – прямо пинеточки)... и такого человека (пусть даже и картавенького, ничего, Ленин тоже не все буквы выговаривал, зато везде, на необъятных просторах, стоят его статуи, как богу, а сам лежит себе в Мавзолее, как спящая красавица, до полной победы, и такое его положение невыносимое во веки веков)... да, вот такого человека, как Григорий Романович Краснопресненский-Крестовоздвиженский, товарищу Курбской хотелось девственно родить, а затем кормить молоком, пеленать, подмывать и всё такое прочее, что делают обыкновенные матери, которые не девы; увы, дева Курбская опоздала родить, за неё это сотворила грешная женщина, родительница Григория Романовича, и оставалось деве Курбской единственно верное, как передовое учение, утешение в девстве своём: не та мать, которая родила, но та, которая вынырнула; а уж она-то, Аномалия Андреевна, несёт этот крест истово-коммунистово, и ничего-то ей в жизни не надобно более, лишь бы нянькать и лялкать Григория Романовича не фигуральным манером, но самым натуральным, а уж пьяненького – тем паче: она взимала его на руки, скидывала туфли, и бесшумными скользящими шагами, чистописанием по паркету, шла, как каравелла с бесценным чайным грузом на борту, к кабинетному дивану, усаживалась поудобнее, и Григорий Романович, икающий, слабый и незащитный, лежал калачиком у неё на коленях, обвитый мощными руками; она покачивала его, баюкала, такого ответственного товарища, второго после Иисуслова; он засыпал и во сне повизгивал, маленький, и Аномалия Андреевна дышала не духами и туманами, но сеном, покоем и миром во всём мире; она расстёгивала вечную шифоновую кофточку, и высвобождала на волю тяжёлую грудь, не знавшую молока, и помогала Григорию Романовичу ухватить губами твёрдый сосок, и являлся к деве Курбской абсолютно беспартийный восторг: Григорий Романович безмятежно начмокивал, посапывал и постанывал от пережитков прошлого, а как бы кормилица без как бы растворялась, истаивала в исполнении долга: дурачок мой, маленький, второй после Иисуслова, благодать-то какая, господи... под жарким солнцем коммунизма – благоданная тень Монумента, и в тени Монумента – молитвенный покой и душепричастивенная сладость... Григорий Романович, свернувшийся крендельком на женских коленях, иногда даже опруживался, так другая бы женщина, которая не дева, уж непременно осерчала бы и в сердцах возмутилась или сказала бы чего-нибудь такое охулительное, так на то она и другая, но не товарищ Курбская Аномалия Андреевна, большое сердце которой от факта намокания строго-торжественной юбки наполнялось воодушевлением и разгоняло в крови по всему телу тёплую вечернюю нежность, в которой протекала своя особенная философия: о, Прудон! мой маленький Прудон! – на фоне колыбельного четырёхстопного ямба и нимба чистого безмыслия – ни рождением, ни жизнью, ни смертью не помеченного – как у ангелов небесных и у некоторых, отдельно взятых, пешеходных людей... Конечно, Григорий Романович женат. Ну,

и что? Жена есть, детей нет. Ну, и что? У Ленина тоже детей не было, и кое-кто из западных буржуазных антисоветчиков публично клеветает, что Ленин вообще был не мужчинка. Ну, и что? И пусть! И пусть! Зато лежит как вечно живой в гранитном Мавзолее, под колпаком хрустальным, и знамя его агитации и пропаганды трепещет по всему миру в авангарде международного коммунистического и рабочего движения, и Григорий Романович идёт под тем красным знаменем, второй после Иисусова, и было бы даже очень странным, кощунственным и святотатственным для Аномалии Андреевны, если бы возлежащий на её коленях вдруг хотя бы ноздрями затрепетал – как мужчинка, как пережитки её прошлого, героини пламенных комсомольско-девичьих сновидений: с косыми саженьями в плечах, и рост – верста коломенская, и голос – во всю ивановскую, и удаль – аж вдоль по Питерской, и кудри, и глаза... – тьфу, тьфу, сгинь, пропади, нечистая сила, специфика мелкобуржуазных болячек... да тем более, что двух головных болей в одной голове разом не бывает, потому что одна из них, наибольшая, обязательно вытесняет другую...

В общем – так: устроение личной и общественно-политической жизни получилось прелестное. Нынешние крайкомовские комсомольцы по такому прелестному случаю выразились бы даже круче: не слабо! Аномалия-же Андреевна, благодаря судьбу свою за счастье внутривластной жизни, говорит про себя совершенно обратное: слабо, и ещё раз слабо, и спасибо! – сладостно укрывая в нелегальном положении своё тайное, подпольное, катакомбное знание ереси: слава богу и спаси, бог... А что такое нынешняя какая-нибудь комсомолка на служебном месте Аномалии Андреевны? Во-первых, накрашенная и в предельно недопустимой юбке-мини, во-вторых, пыхтит сигаретой, как паровоз угорелый, в то время как один поэт, то ли Щипачёв, то ли Асадов, предостерегает девушек: не бери пример с подруг, не надо, на окурках след губной помады лишь брезгливость вызовет к тебе... наконец, в-третьих, беспардонная, непоэтическая и прямолинейная, – как она отреагирует на несчастное падение Григория Романовича? Хихикнет! Она хихикнет: дескать, ну, как же это, Григорий Романович, что из женщины выходят только орденоносные героини и космонавты? это прямо пошлый момент вашей первомайской речи и ничего более! потому что даже простые советские люди, вся старая историческая общность и новая историческая общность, а если по большому счёту в системе бесконечно малых величин во всемирном масштабе, – так и всё человечество, и лично вы сами, Григорий Романович, и товарищ Первый Секретарь, и даже товарищ Иисусов, все, без исключения, вышли из женщины!.. Вот дура-то! На что и обратит внимание Григорий Романович и скажет с присущей ему политкорректностью в уме: «Вы так считаете?» и свирепо улыбнётся...

Аномалия Андреевна протягивает руки к падшему со скамеечки и говорит:

– Крепитесь, Григорий Романович. Алексею Мересьеву хуже было...

– Вы так считаете? – отвечает с пола Григорий Романович, постанывая, и присовокупляет со сдержанной, разночинской нежностью в голове: – Тоже мне... Анна Каренина...

И Аномалия Андреевна понимает, очень хорошо понимает: да, такой у товарища Краснопресненского-Крестовоздвиженского склад ума, что такой ум один, а складов хоть и много, но чего там есть в тех складах – никто, даже он сам и она сама, не знает: закрома родины, «НЗ», никому неведомы, недоступны в нелегальном своём поэтическом положении как тайное, подпольное, катакомбное знание с грифом «Совершенно секретно».

Она взяла Григория Романовича на руки и понесла к дивану.

Шеф помотал головою:

– Не надо...

С материалистической точки зрения он был как бы готов для дивана, но с идеологической – как бы и нет, и вопроса «что первично, что вторично?» тоже как бы нет: накануне Первоя международная солидарность трудящихся крепилась, крепилась изо всех сил, и не выдержала-таки, лопнула: польские товарищи под знаменем профсоюзной «Солидарности» во главе с отщепенцем Лёхой Валенсой совсем не по-товарищески раскалывают лагерь социалистического содружества как последние классические ренегаты – головная боль коммунизма... Но двух головных болей – от коммунизма и от вывиха конечности – в одной голове не бывает, и Григорий Романович широко известным и доставшимся от революции жестом руки указал другой путь: к окну, к свету, к реализму.

Устроив Григория Романовича в кресле у окна, Аномалия Андреевна раздвинула шторы и распахнула тяжёлые створки.

В окно дунул свежий ветер социализма. Он маленько даже припахивал коммунизмом, который тоже маленько припахивал чем-то таким сладковато-горьковатым и вопросительно-восклицательным, как горе от ума, дымок спалённой жнивы и с белых яблонь дым...

«Это на запашистых пашнях весны полей, – рассудил в уме Григорий Романович, приюхиваясь, – наши простые механизаторы широкого профиля и другие крестьянские труженики колхозного производства под лучами солнца Родины варят кулеш с пшеном и салом, вокруг дует свежий ветерок, играет гармонь художественной самодеятельности, а молодая жизнерадостная работница полевого пищеблока лукаво подмигивает промасленным трактористам: дескать, а ну-ка, парни, грянем песню в поднебесье! – и сама запекает про счастье труда под открытым небом, и вот уже грянувший гимн труду подхватывают все сельские специалисты весенне-полевых работ, все весёлые веси и сёла, и гордые города...»

Тут в лоб Григория Романовича тюкнулся потусторонний предмет полёта.

«Ах! – воскликнула в уме соседняя Аномалия Андреевна. – Архангел Гавриил!?»

Но это был другой голубь, бумажный, из тетрадного листочка, и на боку, под крылышком, он принёс информацию: «Пора».

Григорий Романович с помощью Аномалии Андреевны восстал из кресла во весь свой служебный рост и из оконной рамы стал махать рукой с бумажным голубем и сердечным приветом.

Внизу, на Площади Падших Борцов, под окнами крайкома, мимо деревянной щито-сборочной трибуны маршировали колонны школьников. Шла репетиция праздничной демонстрации. Из репродукторов под музыку Лауреата Государственной премии И.О. Дунаевского звонко разлетался детский хор Центрального радио и телевидения под управлением Министерства культуры СССР:

*Летите, голуби, летите,
Для вас нигде преграды нет...*

Октябрята шли стройными рядами, держа в руках вербовые веточки, на которые проволочками прикручены большие белые цветы из папиросной бумаги от Хибаровской табачно-махорочной фабрики.

Пионеры шли стройными рядами. Поравнявшись с трибуной, смея на комсомолу по команде сбоку возносила руки в салюте и кричала дружное «Ура-ура-ура!»

Комсомольцы шли стройными рядами. Юноши и девушки руками изображали символ нерушимого союза рабочих и крестьян: правая полусогнутая – серп, а левая, возложенная на серп, – молот, потрясаемый в индивидуальном порядке, в зависимости от характера и личного энтузиазма...

«Ах!» – воскликнула в уме Аномалия Андреевна: ей померещился многократный неприличный жест сантехника Кувыкина.

А Григорию Романовичу ничего не померещилось. Он взмахнул рукой и вымахнул, будто факир из рукава, бумажного голубя в атмосферу площади, школьных коллективов, ходячих символов, репродукторов и во всё в это проникновенного Дунаевского:

*Несите, голуби, несите
Народам мира наш привет!*

На щеке Григория Романовича блеснула слеза. Он был сентиментален, как старый большевик. От рыданий восторга его удерживал только долг должности.

«Милые дети! – думал он образно и был поэтому поэт. – Наше подрастающее поколение! Вы даже не знаете... вы даже не подозреваете догадываться о том, как вы в самом деле по-настоящему счастливы. Вы будете жить в недалёком коммунизме! И, может быть, даже и не вспомните, что этот коммунизм под руководством одноимённой партии

добывался кровавыми слезами миллионов и их неиссякаемым трудовым потом и ещё раз потом! Для вас, для потомков! Но мы, ваши родоначальники, твёрдо знаем: наши кровавые слёзы и пот не сгинут в никуда, как какие-нибудь обыкновенные мокрые дела и атмосферные явления осадков. Нет, не сгинут! Кто думает, что сгинут, тот ошибается. Строгие науки будущего времени, допустим, например, сейчас даже смешно сказать, но в будущем, скажем, какая-нибудь потология или потография... почему нет? – они возникнут неопровержимым фактом на нашем прахе, на бессмертных костях марксизма-ленинизма, чтобы поведать молодому миру мозолистым, шершавым языком плаката о страстях неслыханных и непревзойдённых, о кипении локомотивно-исторического пара партии в котлах котлованов будней великих строек, об электрическом пире пирамид величия индустриализации на бетонной плоти плотин, о Куликовых полях полемики и Бородинских полях политики, об империализме и колониализме... обо всём, чего вы, юные пионеры и школьники, уже не увидите, как свои пять пальцев! Ну, что ж, такова неистребимая диалектика развития законов жизни общества страны социализма. И теперь, как мудро указывает наш Центральный Комитет, цели определены, задачи поставлены, значит, за работу, товарищи! Говоря лирически, как в одном стихе поэта: вам пора за дело приниматься, а наш удел – катиться дальше... Действительно, пора!..»

– Позвоните ко мне домой, – сказал Григорий Романович Аномалии Андреевне, – и скажите, что я сегодня задержусь на работе допоздна.

– Прямо сейчас позвонить?

– Прямо. Промедление смерти подобно.

И товарищ Курбская воткнула в розеточку один из телефонов, отключенных ею же по требованию шефа на время репетиции первомайской речи.

Цвета слоновой кости VEF ТА-Д с треугольником Знака Качества ценою в 56 рублей, телефон закричал с зарубежным акцентом – сам по себе, внутренним голосом, как репродуктор на площади:

– ... дым, сплошной чёрный жирный дым! В вагоне заживо сгорают люди... Солдаты-конвоиры выскочили наружу и с автоматами наперевес мечутся вдоль железнодорожного пути... Они не знают, куда и в кого стрелять... Они отгоняют прочь пожарные машины... Почему? Кто мог дать такой приказ?.. Почему конвой не отпирает двери вагона и не выпускает заключённых?.. Ужас! Это необъяснимо... Повторяю: я веду прямой репортаж со станции Смальта Хибаровского края. Горит вагон-зак для перевозки арестантов. Огонь перекинулся на соседние вагоны...

«Вот! – обомлел Григорий Романович. – Вот тебе, бабушка, и Юрьев день международной солидарности! И это в то время, когда партия напрягает всех своих членов и органы кагэбэ! все свои силы, мышцы,

нервы, ум, честь и совесть! чтобы выполнить и перевыполнить! чтобы догнать и перегнать! и тут нам подбрасывают жареные факты! О, гиены и шакалы! Поджигатели войны напряжённости! Люди мира, на минуту встаньте! Это раздаётся в Бухенвальде! Сотни тысяч заживо сожженных! Строятся, строятся, в шеренги, к ряду ряд! Пепел Клааса в сердце стучит! И пусть поджигатель шипит и вопит! Голубь мира летит!..»

— ... с двух сторон от горящих вагонов удалось отцепить другие вагоны, и локомотивы растаскивают их подальше от огня... Какой дым... И нечем, нечем дышать...

Ах, если бы голубь бумажный был не бумажным и мог говорить! Не каюр, однако. Не стал бы повествовать только о ВОКРУГ да ОКОЛО, потому что приличествует ВНУТРИ, и не стал бы свидетельствовать только о том подлежащем, что ПОД, потому что надлежит сказуемое НАД, и не мир, но міръ. И кому же ещё, как не голубю мира, знать о том ab ovo, даже и не с библейских, а ещё с допотопных времён?! Ох, да и расскажет же, братие, слово о покое и горе, о скудости и богатстве, о любви и коварстве, о войне и мире! Уж и почешет тогда в задубелых затылках полная и окончательная аудитория с контингентом, электоратом и менталитетом, с союзным советским социалистическим республиканским выражением чувств: «Да? Значит, говорите, граф Толстой имел в виду одно, а вышло, говорите, аж наоборот совсем другое?» — «Гуль-гуль, товарищи, уж так оно вышло, что de facto вышло пошло — и пошло по миру по миром: мир»... — «Ну и ну, голубчик! Всё-то ты знаешь да примечаешь, птичка божия! Птичка-галочка на полях. На поле полигона невиданного строительства... И что? Значит, миром господу помолимся? Значит, на міру и смерть красна? Значит, міръ жнёт, а рать кормится? Ничо не поняли... Не то что ты, умница, академическая твоя головушка, все памятники культуры архитектуры обкакал, озорник этакий! А накося выкуси просяное зёрнышко, пернатый полётописец...» — «Какое зёрнышко, товарищи? Какое ещё там просяное? Вы что? Уж совсем гуль-гуль? Что за пошлый рацион закромов вашей родины? Где, наконец, у вас закромится рациональное зерно здравого смысла и верной истины, до коего доискивался граф империи, бородатое зеркало русской революции? Нету? Нету. Гули-гули... А я-то о вас, товарищи, хорошо думал. Гулливеры, — думал. Гулливеры и Веры Павловны Чернышевской четыре сна в одном глазу, лукаво, по-революционному, прищуренном. И что же вижу? Что же слышу? Гул подмостков. Гулливеры Павловны пятый сон, страшный сон Голливуда: какая-то Верка Сердючка как символ веры и образ русской культуры двадцать первого века, с накладной оплатой, как бандероль из прошлого, с накладными же титьками, локонами, ногтями, зубами и вообще! Гули-гули, романтизм в отгуле. Строгий и последовательный реализм — через чистилища культурных революций, эмансипаций и

стагнаций – просквозил между мистическим блоковским «вечно-женственным» и мистическим розановским «вечно-бабьим» – нате вам! «Я корова, я и бык, я и баба, и мужик!»... – спотыкнулся, кувыркнулся и сиганул в никуда... Это ж надо так, чтобы столько веков своей истории прогулять, прогулять!»... – «Да ты погоди! Разворковался тут, понимаешь... Мы чо-то ничо от тебя не понимаем, голубчик... Граф какой-то, Сердючка, Вера Павловна... Давай-ка, голь поднебесная, по порядку, как каюр!» – «Ну, что ж делать? Придётся. С небосвода Родины – сизифовым камнем вниз, к иным сводам, каменным, под которыми вроде бы всё так правильно начиналось... Что ж делать? Загибаем пальцы, чистим перышки...»

... в одиночной камере, под глухими каменными сводами в непросяхаемой плесени Алексеевского рavelина Петропавловской крепости. Он писал страницы романа, посвящённого жене Ольге Сократовне, своей «голубочке», как называл её изустным голосом и в письмах. Он часто думал о ней, томился, тосковал, и тоска его камерная уходила в романый образ «дамы в чёрном», вдовы ещё живущего мужа, имя которого невозможно вслух произнести. Чёрная дама оживает в романе, и живёт, и спустя два романых же года одевается в новые одежды, во всё розовое, и некто, человек средних лет, едет с розовой дамой по весеннему проспекту в коляске... Романый «злонамеренный автор» имеет в виду, конечно же, самого себя и свободу, свою собственную и общероссийскую. И на последней странице рукописи поставив точку, обозначает дату: 4 апреля 1863... «Сие может оказаться дурным пророчеством и призывом к революции на 4 апреля!» – вывели умозаключенные спецы III Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, и во избежание скоплений народа в публичных местах негласно приглушили столетний юбилей Михайлы Ломоносова... О, время мистики! О, мистика времени! Поражение в Крымской войне, обнажившее позорную гнилость империи. Крестьянская реформа и конец крепостного права – как крик петуха в Год Петуха, тысяча восемьсот шестьдесят первый. Кровавое восстание в Бездне Казанской губернии. Гласность, начатая правительством с прибалтийских губерний. Бурлит студенчество... Есть, есть от чего властям считать 4 апреля карканьем и кукареканьем. Весна, оттепель... «Накануне». Шестидесятники... 31 марта 1866 года родился Александр Ульянов. А через несколько дней, 4 апреля, Дмитрий Каракозов выстрелил в императора Александра Второго-Освободителя.

... в комнате под сводами в Яснополянском барском доме. И был в одноразовом мире март 1867-го лета. И пишет граф письмо в Москву типографскому служащему господину Лаврову в собственные руки: «Милостивый государь Михаил Николаевич... Я согласен отдать для напечатания мою книгу под заглавием: «Тысяча восемьсот пятый год»...» Зачеркнул заглавие. Надписал сверху новое: «Война и миръ»... Вот! Не мир, значит, как состояние невойны, но миръ как

понятие народа, общества, собрания людей, света высшего, света низшего, света посередьшного. Однако при жизни графа роман был явлен свету напечатанным как «Война и мир». Как произошла подмена? Понять невозможно. Может, графиня Софья Андреевна, «голубка в чёрном», не доглядела. Может, и переписчики в том виноваты. Может, и сам миръ грешен, миръ громадный и сурово ограниченный, «шестая часть земли с названием кратким...» Он испокон веку страждет перемен, но вместо оных получает подмены и изменения со всеми вытекающими подлежащими и существительными причиндалами и прибамбасами, фонетикой и морфологией, синтаксисом и пунктуацией. А может, в том, что вся история России есть история подмен, сам русский язык без вины виноват. А зачем он такой великий и могучий? Вот, был бы поскромней да поскоромней, оно бы и ничего... война и мир, и миръ от скоромности-то, чай, не помрут. Так нет же! Подавай роскошный языческий пир на весь мир и обед на весь белый свет, от Жмеринки до Америки, от южного полиса до вьюжного полюса, так сказать, от печки и, как говорится, до лампочки, а на завтраке в чёрной Африке желательно отведать суахили и, воротившись в отечество, отрыгнуть оный вельми занятной и забавной избыточностью, сделавшейся в процессе переваривания невероятно родной и благоприятственной... Вот. Так. Да. Уж... И лишь однажды, в посмертном издании 1913 года (замечательно, что на этот год страстно любят ссылаться советские статистики: по сравнению с 1913 годом, — говорят высокомерно, — мы достигли...), в этом издании друг и первый биограф графа Толстого Павел Иванович Бирюков сохранил авторское название романа, с «миромъ». А потом грянула война. А потом, на плечах войны, явилась социалистическая революция. После неё «миръ» устарел и исчез. Точь-в-точь по слову «Ладомира» блаженного Велимира: «земли повторные пророки из всех письмен изгонят ять». Революция вообще много чего переменяла и отменила, не только правописание. Граф Толстой об этом уже не узнал, но мог догадываться. Ибо он упорно назывался «Лёв», но его столь же упорно обращали в царственное обличье и называли «Лев». И остался Лев. И остался мир. И осталась война за мир. И осталось: «поставим точки над и», но уже вряд ли кто толком понимает, что это за точки такие, зачем они нужны, для какой надобности их нужно ставить и что изменится-переменится от таковой установки? Интеллигент чего-то мучительно думает и думает; колхозник чего-то там мучительно пахает и пахает — по пах в соцсоревновании; пролетарий всё чего-то молотит и молотит по наковальне, а горнисты раздувают пламя солидарности с конверторной сталью; вор воркует; Башмачкин донашивает груз грустной шинели, а Григорий Петрович, сочувствуя шинелевладельцу, стегает и стегает эту бедную, эту бледную, в крови... стежок подстёгивает стежок, шов на шов, вот и шито-крыто, а Григорий Петрович, изнурительно сочувствуя, кроет почём зря лека-

лом критического реализма, кого-то достигает, от стигмы к стигме, чего-то постигает в философии пустоты, в прорехе, кости-крести бросает на зелёное суконное поле, да на живульку прихватывает белыми нитками, да со сноровистой подначкою бедного и пьющего портного правду-матку портит, косяка порет, портач такой-сякой, портящик разэтакий, поразительный: «Пора уж, судырь!»... Вот вам, сударики, и вся швальня: с нечаянным антиресом и кропотливой фантазией. Вот вам и вся бабушка в юрском периоде государственного благочиния, а также – ладушки и дедушки. Где Григорий? Здесь Григорий! «Поддай костыль, Григорий!» – говорит летописец напоследок ... Игла глагола. Вот. И как грустно жить в сезоны перемен! Но прежде личной грусти язык да око утыкаются в меню перемен – увы, безнадежно далёкое от одноимённой книги с китайской грамотой мудрости: холодная война, гранёный мир и мисс-гламур с ангельским мурлом Мэрилин в двойном тулупе на тонком типа льду высочайшего типа класса – искусственном, типа «эрзац»...

Ах, если бы голубчик мог говорить! Но он немотствует, как Чаплин, как синема. Он знаком лишь с четырьмя знаками от Кирилла и Мефодия. И оные знаки, числом ничтожно малые, в высокопарном выраже выражают то ли время года, то ли возраст жизни, то ли призыв к действию: «Пора». Се ангельская голубица иглой глаголится: поскрёбыш карандаша, последствие грифеля, графита, ближайшего – по углероду – родственника алмаза.

– ... с двух сторон от горящих вагонов удалось отцепить другие вагоны, и локомотивы растаскивают их подальше от огня... Какой дым... И нечем, нечем дышать... Господи, спаси и сохрани бедных зёков и конвоиров их неразумных...

«Довольно», – подумал генерал Поцелуйко и отключил от сети все кабинетные телефоны.

Те сотрудники Управления, которым по служебной должности положено, и без генеральского участия всё слушают, записывают на магнитную ленту, засекают, определяют, рассчитывают, вот и пусть, в конце концов, принимают решения оперативного вмешательства, на то они и сотрудники.

Только что дежурный офицер положил на Поцелуйкин стол серую папочку с этикеткой: «Литература. Для служебного пользования». О, папочка! Родитель дел уголовных.

Сигнал от наружного наблюдения, полученный с Площади Падших Борцов, был незамедлительно проверен, идентифицирован, задокументирован. И вот он, источник тревоги, подчёркнутый красным карандашом: поэт-тунеядец Осип Бутербродский, переписываемый, размножаемый и распространяемый отдельными профилактируемыми гражданами от руки и на пишмашинке под копирку.

*... Скрестим же с левой, вобравши когти,
Правую лапу, согнувши в локте;
Жест получим, похожий на
Молот в серпе – и как чёрт Солохе,
Храбро покажем его эпохе,
Принявшей образ дурного сна...*

Поцелуйко скрестил. И – засмеялся.

Не от веселья души засмеялся. От тоски нервов.

А на стене, в портретной раме, плакал Ф.Э. Держинский. Железный ФЭД.

На рабочем столе пускала солнечных зайчиков замечательно отполированная лента Мёбиуса. Бесконечная восьмёрка в колесе.

Потом явилась эта сволочь икота.

Генерал привычно подсутился в холодильнике, в морозильной камере, проглотил пару ледяных кубиков и выпил стакан холодной воды, наглухо заткнув уши пальцами. Не помогло.

Генерал смочил кусок сахара-рафинада каплей уксуса и схрумкал, одновременно сдавливая руками область диафрагмы выше пояса. Бесполезно.

Генерал быстро и глубоко вдыхал воздух и медленно выдыхал его, а потом задержал дыхание и сомкнул на обеих руках мизинцы с большими пальцами, в виде колечек... Ждал. Икота не отступала, будь она проклята, стерва.

И тогда осталось последнее средство – симпатическое. Поцелуйко сигнальной кнопкой вызвал дежурного офицера и выдал ему охотничий кинжал. Серьёзный молодой человек с лейтенантскими погонами аккуратно наставил кинжал острием в генеральскую переносицу, и товарищ генерал пристально, не мигая, вонзил два взгляда в лезвие и замер. Дело верное, проверенное. Через полминуты замершая икота в последний раз вздрогнула и исчезла.

И тиски тоски, и в глазах мука – кончились.

«Феликс Эдмундович, я вам докладываю не по службе, а по душе. Эта литература даже стального, даже титанового чекиста доведёт чёрт знает до чего...»

Оставалось разложить текущий момент по полочкам.

Полочка первая – вот она, папочка. Стишки. Песенки. Таганское лицедейство.

*– Вызывает антирес
Ваш общественный прогресс.
Как у вас тут ходят дамы:
В панталонах али без?*

А вот так и ходят.

И ведь надо же! В самый день рождения Владимира Ильича Ленина

на американскую землю неслучайно и преднамеренно ступила беглая дочь товарища Сталина, Светлана Иосифовна Аллилуева, эта рыжая... И что характерно? Сразу заявила: начинаю подготовку к изданию антисоветской книги «Двадцать писем к другу», в которой всю правду скажу, как на духу перед присягой... А копии-то уже у нас, Светлана Иосифовна. Они уж давно юркают в «самиздате». И тем паче чаяния, юркают косяками. Один экземплярчик, из косяка, – в сеточке, в папочке. Изъят при обыске на квартире предсказуемого гражданина, задержанного народными дружинниками при попытке исполнить в публичном месте, на Площади Падших Борцов, в нетрезвом состоянии песню: слова русские народные, с матом, музыка капиталистическая типа «Кукарача».

Вот такая литература, что из неё выходит, будто всякая идея – всего навсего скоропостижное ку-ку; что ум, честь и совесть нашей эпохи скукожились; что планов громадьё корячится; что великий и могучий (кто? что? прямо не говорится, но даже каждому дураку ясно и понятно, что имеется в виду язык в подтексте Союза!), короче, великий и могучий укорачивается; что жизнь с каждым рабочим и празднично-нерабочим днём кукарачивается; что вообще Отечество – со смыслом: дым коромыслом... или столбом.

И вот этот дым чем пахнет. Тюрьмы и лагеря Сибири и Дальнего Востока переполнены, антисанитарные условия выше всяких допустимых норм, а из России, то есть из-за Урала, всё везут и везут, подсылают и подсылают, партию за партией, этап за этапом. А оно нам надо?

Хорошо. Ладно. Пусть... Звонят из крайкома: у нас будет с дружеским визитом известный американский журналист Дэвид Корпорейшин, необходимо обеспечить сопровождение и так далее, вплоть до водки, баньки и девушек, а допускать личное проникновение лишь в такие места, чтобы в пределах его досягаемости жизнь и трудовые подвиги советских людей были визуальными более-менее приличными... Отвечаем: сделать такую визуальность совершенно невозможно по объективным причинам и субъективным факторам. И тогда этот дурак Краснопресненский-Крестовоздвиженский лично говорит: чёрт с ним, с этим американцем, пусть клеветает, всё равно мы непобедимы...

Это точно. А американца упустили. Но кто же знал, что у этого матёрого журналиста радиотелефонная техника – на грани фантастики братьев Стругацких? Самонаводящаяся в эфире, словно ракетные боеголовки. Эффективность сказочная, как у братьев Гримм. И каждый телефон в городе, а может быть, и за его пределами... и даже за рубежом! – клеветает с места события, в свете несчастного и головотяпского пожара. Конечно, американца вот-вот возьмут с поличным и встряхнут хорошенько. Технику его фантастическую бережно изымут и приобщат. В московской «конторе» за такое научно-техническое открытие скажут большое спасибо. Маленькое служебное счастье. А толку-то? Палочка о двух концах. Даже не палочка. Полочка.

Полочка вторая – секреты СССР. На деле – целый стеллаж полочек. На них – грифы, как сторожевые птицы: «Для служебного пользования», «Секретно», «Совершенно секретно», «Строго секретно. Особой важности»... Табель о рангах. Допуски-посвящения. Профессиональные секреты авгуров.

В опечатываемом сейфе. Копия – на базаре.

Долгий фольклорный язык, который не укоротишь: на Руси – всё тайна, и ничто – не секрет...

Играет солнечными зайчиками лента Мёбиуса, свернувшаяся на столе прирученным космосом.

В портретной раме плачет железный ФЭД.

«Феликс Эдмундович, я вам докладываю не по службе...»

Вас обзывают. Походя. В глаза и за глаза. Вы стоите памятником на легендарной Лубянке. Скульптор, конечно, сволочь. Шинель на вас до пят, большая-большая, а голова маленькая, непропорциональная. Один писатель так и додумался: памятник-вешалка. Другой подхватил: памятник человеку-вешалке. Третий вообще раззявился: Филячеканутый... Это обидно и несправедливо. Но дело даже не в секретах, которые невозможно скрыть, и не в шинели, которую невозможно снять, тем паче чаяния – с памятника. Всё дело, понимаете ли, в таинствах литературы, которая не менее невозможно-каменная.

Заглянуть с интересным вопросом в словарь – так, значит, уже притронуться к неожиданной тайне. Например, учёные-филологи свидетельствуют: слово «шинель» заимствовано в восемнадцатом веке из французского языка, в котором *chenille* есть «утренний костюм». Это фокус первый. Бери шинель, иди домой. Там тебе будет и утро. И поле. Русское поле. Я – твой тонкий колосок. Голосок чуть слышимый. В хоре. Ибо «поли» – значит «много». Много чего. От колосков до витаминов.

Фокус второй. Одна шинель – шинель. Много шинелей – полишинель, даже так, с большой буквы – Полишинель. Но Полишинель – это постоянно действующее лицо многих весёлых французских пьесок. Подобно русскому национальному Петрушке или, например, чешскому Кашпареку, Полишинель ещё и кукла, марионетка, неизменный главный герой комедийного вертепа. Так вот, этот Полишинель смешил и до сих пор смешит публику тем, что сообщает, как говорится, по секрету всему свету то, о чём давно уже знают все остальные сценические персонажи. Отсюда и пошло, и поехало, и покатилося, и докатилось колесом смеха до русского языка: «секрет Полишинеля». Определённо, писатель Н.В. Гоголь длинным носом дразнится: над чем смеяться будем, товарищи? И налицо – смех до слёз, до вытекающих последствий.

И тут – фокус третий: Петрушка. Что такое этот Петрушка? Литература даёт словесный портрет. Эксперты заносят в папочку, на нужную полочку: «Малый лет тридцати, в просторном подержанном сюртуке,

как видно с барского плеча, малый немного суровый на взгляд, с очень крупными губами и носом...» Чем занимается этот губошлёп Петрушка в классической русской литературе, определённой в школьную программу? Обустройством личной жизни, а именно: «Стал устраиваться в маленькой передней, очень тесной конурке, куда уже успел притащить свою шинель и вместе с нею какой-то свой собственный запах...» Вот, договорились. Где запах, там и дым. Где дым, там и Отечество. Символический нос шмыгает, как у деревянного Буратины: туда-сюда... Лови ветер в поле, Пятое Главное Управление КГБ СССР по защите конституционного строя во главе с товарищем генералом Квашенинниковым, чистосердечным в ненависти к «интеллигущкам»... И вот, наконец, интеллектуальные приметы Петрушки: «Характера он был больше молчаливого, чем разговорчивого; имел даже благородное побуждение к просвещению, то есть чтению книг, содержанием которых не затруднялся... Он имел ещё два обыкновения, составлявшие две другие его характеристические черты: спать не раздеваясь и носить всегда с собою какой-то свой особенный воздух...»

Этого довольно. Этого вполне достаточно, чтобы вслед за литературой, вслед за многими Петрушками, вслед за базаром – сообщить мировому сообществу, что вся Россия – с чинами и орденскими кавалериями, с воздухом и дымом как признаком жизнедеятельности, со своей загадочной коллективной душой населения, с балалайками, матрёшками и искусственными спутниками Земли, со своим неопределимым таинственным космизмом и твердотопливными ракетами... – да! так точно! а чего ж? весь в потаённой славе, сверхсекретный космический академик, член ЦК КПСС, трижды Герой социалистического труда, депутат Верховного Совета СССР, лауреат Ленинской премии... чего ещё надо? так нет же! спустился в личный гараж, закрылся на капитальный замок, включил двигатель собственного авто и удовлетворённо принял летальную дозу угарного газа... – вот тут и чешись, и думай числом задним и передним: вся Россия – со скудостью и богатством, с ленью и бунтами, со своими вольными или невольными вольтерьянцами, каменщиками и ветрами перемен, с Византийской избыточностью роскоши и лагерной простотой Лакедемона, с «Лаокооном» лакейства и демонами демонстраций, с рёвом революций, со вселенским поминальным субботником и вселенской отзывчивостью... – вся Россия, все мы вышли из Полишинеля, и пошли, и идём, и нет уже в нас путной загадки, и попутной тайны нет, и мало-мальски пригодного к чуду секрета, и вечный Израиль прихрамывает за нами, и это есть фокус до неприличия четвёртый...

Ну вот скажите на милость, кому принадлежат эти слова, только что возникшие из нейронного хаоса? Ветру? Сто первому километру как рубежу благонадёжности с правами пушечного выстрела? Чьи они, эти слова?

А ничьи. Слова вообще никому не принадлежат.

Разве что – Началу. И Начальнику того Начала, великопостному и высокомерному сочинителю первой загадки.

...и вечный Израиль прихрамывает за нами, и это есть фокус до неприличия четвёртый.

А полочка как раз третья. Здесь он, как на полатах, этот самый толстогубый малый лет тридцати с побуждением к чтению книг. Он делает вид, что он делает вид, как будто бы он и в самом деле делает вид, что только и делает, что делает вид, словно он якобы ни при чём и как бы счастлив. В осадке растворимых объятий – секрет и Россия. Он и она. Онанизм. А Поцелуйко вам что? Видоискатель секретов тайной войны?

Конечно, подогревают. Подбрасывают. Клеветают. Истолковывают. Извращают. Намекают. Сгущают. Педалируют. Акцентируют. Выстраивают затейливые конфигурации с многозначительными интонациями.

*– Старик пропал. Я выдвинусь вперёд.
Он пожил – и довольно. Мой черёд.*

Как будто бы это уже и не Эдмунд прохаживается насчёт конкретного короля Лира.

И как будто бы уже не конкретный Яго обращается к Отелло:

*– А главное, не надо углубляться
В вопросы эти дальше, генерал...*

Прелестно. Бурные аплодисменты. Как говорится на языке великого Шекспира, well. Или даже так: very well. Или так: Orwell. Что в переводе означает: или хорошо, или ладно, или всё путём. Или же ещё круче: Орувел, Орвелл, Оруэлл. Сложносочинённая английская фамилия, которую пишут по-разному, но имеют в виду роман этого Джорджа под цифровым названием «1984». Или хорошо, значит, или как? Нет повести печальнее на свете, чем повесть о... О! Ну же, говори, договаривай, досказывай, фантастический сочинитель! Чем повесть о Центральном Комитете. Да? Нет! Дальше следует драматическая пауза, которая стоит многих слов. Или же – писательское многоточие, которое раза в три выразительнее простой, непривередливой точки...

Кто это сказал?

Не важно.

Слово и без звука живёт.

...выразительнее простой, непривередливой точки.

«Феликс Эдмундович, я вам докладываю не по службе...»

А – почему?

Пускает искры в глаза восьмёрка ленты Мёбиуса.

В портретной раме на стене плачет железный ФЭД.

Железная логика не ржавеет. Тем паче чаяния, в омуте утопизма, антиутопизма и анти-антиутопизма, то есть того же первичного утопизма, чистого, который в мутном омуте с соответствующими чертами и рыбами. Так, что ли?

«Война – это мир», – пускает утопленник Джордж первый пузырь.

«Жизнь – это смерть», – пускает он второй пузырь.

«Правда – это ложь», – пускает от пузырь третий.

И нет в сочинении места страшнее, чем «комната №101».

А спросите любого дурака: чем знамениты на весь мир Москва, Ленинград и другие крупные города Советского Союза? Мавзолеем? Эрмитажем? Днепрогэсом? Уралмашем? Дудки. Любой дурак, если он дурак настоящий, а не прикидывается, ответит так: Сто Первым Километром. Ответ правильный. Тянет на пятёрку. Садись, дурак, не тяни больше руку, не нагнетай, не устремляйся в первые ученики, дай возможность всему классу башкой поработать и раскованно отвечать на вопросы учителя, наставника и классного руководителя. Вопрос следующий, поэтапный: и кто же это воздвиг такую пронумерованную достопримечательность? Юрий Долгорукий? Может быть, может быть... Но только давайте не будем называть имён, упирать в персону и выпирать культ личности, партия осудила это дело как нехорошее, и давайте не будем упрощать, а давайте будем обобщать, и будем давайте говорить широко и отвечать по всей строгости, а то ведь учитель действительно не знает: кто из ученичков, как и по какой статье ответит, что Сто Первый Километр придумали дураки. Ненастоящие дураки, а которые притворяются умными и разумными в последнем градусе. Да скорей всего, в том придумывании был кто-то один, первый пионер. Нахмурился и сказал: сто кэмэ! А уж который второй, соратник, друг, товарищ и брат по уму, чести и совести нашей эпохи, тот воткнул иглу циркуля в центр Красной площади на карте, раздвинул блестящие ножки по масштабной линейке ровно на сто километров обязательного радиуса и – чиркнул пируэтом окружность. Красивую, ровненькую. Четвёртую – после Бульварного кольца, Садового и Московского кольцевого автодороги. Кремлёвская застенчивость – неслитово. И получилась зона, в пределах которой не должно быть проституток и бомжей, спекулянтов и алкоголиков, бичей и стилияг, попрошаек и инвалидов, тунеядцев и фарцовщиков, писателей-агентов и художников-пидарасов, алиментщиков и деконструктивных элементов, и так далее тому подобных, тем паче чаяния – зэков бывших и, понятно, предстоящих и будущих. Ближе ста километров – чтоб ни-ни, ни гу-гу, ни духу, ни нюху, ни слуху... И так чудесно-мануально эти сто первые километры – затанули – пояса с песнями – про обручальность бочкотары, про скрепы обречённости... Bravo. Бурные продолжительные аплодисмен-

ты, переходящие от километра к километру, осеня просторы Родины невосполнимой находкой, циркулярной, спаянной, связанной единой и неделимой путеводной нитью покрепче бикфордова шнура... Вот вам и вся тайнопись литературы: придуманное и названное обращается въявь. И Москва от 1937 года покладистого товарища Фейхтвангера протянулась аж до года 2042 в изложении непокладистого гуся лапчатого В.Н. Войновича, а посередке – так и вовсе туши свет: «Доживёт ли Советский Союз до 1984 года?»... Ученички, блядь, мать иху ети! Уже и даты из конца сочинений нахально перенесены в самое начало, в заголовок, в шапку средней пушистости. И женщины в чёрном пошли, побрели по дорогам и бездорожью, неприкасаемые, сквозь большие и малые кольца и ножницы, понимаете ли, два кольца да два конца, а посредине гвоздик... сквозь зоны, лагеря, лабиринты и полосы отчуждения понесли беремья оправдания бога и оправдания человека, вдоль и поперёк странного пространства, напоённого допьяна идеей русской, манящей и пугающей одновременно, как маниловщина и пугачовщина на одном лице, а лицо-то физическое, курносое, всё в веснушках, крутит верёвочку и приплясывает на одной ножке: рыжий, пыжий, конопатый, убил бабушку лопатой... Брависсимо. Партер и ложи, всё кипит. Всё хлопает. Всё путём. Orwell. И ведь этот Джордж, будь он неладен, где-то прав, что-то как-то угадал и угодил в самое яблочко. Нет вопросов, нет ответов. Бери шинель, иди домой. Шапку не забудь прихватить. Которая в свете упомянутого непокладистого В.Н. Войновича. Плюс ещё ранее известный тришкин кафтан. Плюс сапоги, которые слопали наши героические краснофлотцы под командованием товарища Зиганшина, четверо отважных на неуправляемой барже, унесённой штормом в открытый океан, там несколько недель хлопцы гордо несли вахту, не унывали, играли на гармошке и проводили комсомольские собрания... Вот. И в сумме суммарум получается более-менее приличный гардероб. Шинель, шапка, кафтан, сапоги. Гардероб есть. Герои есть. Только человека нету. Спектакль сыгран. Актёры жрут водку. Полишинель на вешалке. Гасят свет домашних очагов мёртвые души, живые трупы и прочие герои нашего времени...

Кто это написал?

А не важно.

Слово и без письма живёт, без разных там кириллиц и гутенбергов.

... и прочие герои нашего времени.

Стоит погода.

Идут процессы.

Сидит заноза.

Лежат деньги на книжке.

Летит время.

Кружится голова.

Потому что с кем поведёшься, от того и наберёшься.

А вот зачем «1984» начинается так издевательски точно? «Был ясный апрельский день...»

Антисоветские романы так не должны начинаться.

Так должны начинаться анти-антисоветские романы: «Был ясный апрельский день. В этот день родился Ленин...»

А то вон оно как закручено: есть год из цифр, которого ещё нет, но будет; и есть роман из букв, который уже есть, но которого не должно быть и поэтому тоже как бы нет и не будет, во всяком случае, в тот год, которого ещё нет, но будет.

Смешно.

А вы вот возьмите и напишите: «...и в этот день родился Ленин».

Это уже не смешно. Как говорится, не до шуток.

Во-первых, вологодский конвой шуток не понимает.

Во-вторых, Аркадий Райкин. Зачем уж он так? Седой человек, заслуженный артист, народный, лауреат... Газета Центрального Комитета КПСС «Советская культура» в своё время справедливо упрекнула товарища Райкина: дескать, смеяться тоже с умом надо, а уж смеяться над некоторыми дураками – и вовсе негуманно, ведь они, как никак, тоже наши люди, советские... Нет, смеются. Сидят по кухням, обсуждают вождей и вожделенно пальцы загибают: Райкин-отец, Райкин-сын, Райкин муж... кто следующий?

В-третьих, страшно, конечно, подумать, но есть такое суждение: родившийся в ясный апрельский день стал гениальным, величайшим, выдающимся... – внимание! – писателем-пародистом, выше Сервантеса, и сатириком, выше Салтыкова-Щедрина Михаила Евграфовича, и мощь его литературного таланта оказалась такова, что он сам, преодолев смех и слёзы, всерьёз и надолго поверил в то, что сам написал пером, и, поверив, топором переделывал жизнь огромной страны в соответствующем согласии с тем, что написал.

А в-четвёртых, не до шуток ещё и потому, что – смотри то, что во-первых. Куда заводят цифры, туда же заводят и буквы.

Но контрразведка, дорогие товарищи, – не вологодский конвой. Контрразведка понимает шуточки. Контрразведка даже, можно сказать, любит шуточки. Всерьёз и надолго.

И когда генерал Поцелуйко увлечён буквами, словами и предложениями мистического смысла художественной литературы, а полковник Шешковский обожает всемирную историю, а подполковник Перовский уже и жизнь свою не представляет без философии, а майор Кочубей – ни дня без строчки в зоне возлюбленной историософии... – это что такое? Долг службы? Так точно, долг. Который платежом красен. А платёж такой получается, что подобных спецов, которым цены нет, в легальных условиях просто не существует. О, если бы легальные академики и профессора взглянули бы хоть одним очком на служебную библиотеку того же майора Кочубея! Гегель, Ницше, Кант, Шопенгауэр,

Тойнби, Шпенглер, Бердяев, Соловьёв, Леонтьев... – это уже, как бы, метрики, прописи для студента, но чего стоит целый шкаф трактатов, внесённых в реестрики вещественных доказательств: «тамиздат», «самиздат», затёрханные рукописи с отпечатками кофейных чашек и шестые, насмерть бледные, копии машинописного производства на папиросной бумаге. Идеальные условия для серьёзной научной работы. И кто знает... А кто знает? Никто не знает, какие тайные кандидаты и секретные доктора каких-то официальных наук сидят сейчас за канцелярскими столами и любовно, в целях государственной безопасности, теребят странички за страничкой, ласкают листочки, складывают-перекладывают бумажки одну к другой, в строгой синтетическо-аналитической последовательности, под номерочками, с грифом секретности... эти бумажки, бумажки, непростые бумажки, которые контрразведка любит не менее, чем шутки истории. Тем паче чаяния, – такие обстоятельные аккуратисты. Вроде капитана Веры Павловны Розальской – в её служебном направлении зело изысканном чёрт-те знает откуда: «Субкультура молодёжного протеста как поп-феномен неоавангардизма в свете марксистско-ленинской критики редукционизма». Вот вам! Но ведь чертовски интересная нечаянная любовь. В казённом доме. Перед дальней дорогой. В неизвестное. Светлое будущее...

Лес рубят.

Щепки летят.

Собаки лают.

Ветер носит.

Караван идёт.

Голова кружится, как шар голубой.

Потому что чего наберёшься, тем и опохмелишься.

А эти адвокатские штучки надо хорошенько запомнить: теодицея, антроподицея. Пригодятся. В контрразведке всё пригождается. В своё время. А время такое... Оно всё терпит. Всё скрепляет, скрепя попервости сердце. Всё однозначно и сугубо истинно говорит, как Сын Человеческий, или же грозно пляшет в созерцательной погружённости, как доарийский аскет Шива. Всё подшивает. Как неутомимый портной Григорий Петрович, последняя надежда одежды бедного канцеляриста Башмачкина: белыми нитками, чёрными стёжками, то суровыми, то нежными, чуть не шелковыми... Подшивает. Примеряет. Примиряет. Идёт – куда надо идти в таких случаях. Спотыкается. Хрошает... «Подай костыль, Григорий!» Это уж летописец Пимен взывает к службе монастырскому, будущему самозванцу... Вот. Кто-то, значит, шинель построил. Кто-то – дом. Кто-то – фразу. Рукописи с канцелярскими скрепками. Книги в бумажном море. И эти сочинители, певцы от кириллицы и Гутенберга. Море всё принимает, на то оно и море. Морс мусора. Там замысел есть. И умысел есть. Даже смысл есть. Мысли нету. Но вот появляется... один... десятый... сотый, одинокий, как актёрская интонация... Муссоны мысли. Числом немногие. Но один

равен морю. Волнуется. А чего ж не волноваться? Не портки, однако, портачит – порты крушит, порталы империй. А, покрушив, как Шива, величаво смиряется, точно Сын Человеческий. Без гнева и пристрастия. Терпит. Скрепляет. Подшивает. Идёт. Спотыкается. Хромает... От эволюции революции к революции эволюции. От горького ума до гордого президиума. От максимума Герасима – к минимуму Муму...

Ну, и кто же это так подумал?

А не важно.

Слово и без ветерка в голове живёт.

...от максимума Герасима – к минимуму Муму.

Вот. Театр, значит, уж полон. Ложи блещут. Зрители друг друга локотками подталкивают: ну, ща-а-а-ссс! щас!

Уже раз тридцать из-за кулис провопил-проэзопил пронзительный фальцет:

– Антропка-а-а!

А после тридцатого раза откликнулось от невидимого Антропки ленивое, жвачное:

– Чаво-о-о?

– А иди сюды, Антропка!

– Да нашто?

– А на то, што тятенька тебя высекчи хочи-и-ит!..

Взрыв аплодисментов. Буря оваций. Зрители понимающе переглядываются, перемигиваются, авгуры хлёбанные, и образуют индивидуально-групповой... смех не смех и смешок не смешок, а нечто такое, что можно назвать «недошуток» – по образу и подобию недоумок и недомолвок: «Вот тебе, бабушка!..»

И пошёл занавес.

И встал вопрос прокурорско-адвокатский: ответственность или антроподицея?

И вместе с чеховским футлярчиком, гробиком своим уютным, восстал «на попа», в небо, указательный палец задрюченного учителя: «Антропос! Это звучит...»

И как будто бы уже и не конец пришёл инсценированному только что тургеневскому рассказу «Певцы», но явилось начало из другой оперы: прелюдия. Исполнение публичное. При народе. То есть, прилюдия. Как объект уголовной ответственности. Иными словами, отвечать головой надо, товарищи, а не только языком.

Обидно. Несправедливо. Горько. Досадно. Жалко. Волнительно. И за Ивана Сергеевича, и за Антона Павловича, и за Юрия нашего Владимировича со всей нашей лубянской «конторой», и за учителя греческого языка господина Беликова, за актёров и театральные зрители, за бабушек и за весь юрский период новейшей истории...

В портретной раме на стене плачет железный ФЭД.

Лента Мёбиуса кривится в бесконечном сиянии.

«Ну, и ладно! И хрен с ним! – подумал генерал Поцелуйко и решительно прихлопнул ладонями столешницу. – Оруэлл, так сказать! Вечером «Немецкая волна», «Голос Америки», Пекинское радио и Би-Би-Си бойкими голосами сообщат всему миру последнее известие о том, что советские экстремисты и ревизионисты на железнодорожной станции Смальта Хибаровского края сожгли вагон с этапируемыми политическими заключёнными. В конце передачи по заявкам радиослушателей прозвучит русская народная песня, музыка Матвея Блантера на стихи Михаила Исаковского, «Враги сожгли родную хату...» Страшная песня. Досадная. Горькая. Про обиду и несправедливость. Песня, вычёркиваемая цензурой в Советском Союзе, непременно попадёт в антисоветскую радиостудию... Там работают точно. И умеют же, черти, работать! И это вызывает восхищение. А через пару часов мерзавец и клеветник Дэвид Корпорейшин будет заключён в следственный изолятор и начнёт давать первые признательные показания. Через каждую пару минут он станет подпрыгивать с заявлением. Дескать, ещё в тысяча девятьсот шестьдесят первом году в Союзе Советских Социалистических Республик официально отменена цензура на сообщения иностранных корреспондентов... А этого наивного дурачка высшей профессиональной квалификации вежливо поправят: конечно! конечно отменили, но – на какие сообщения, откуда? на сообщения из Москвы! а вы где находитесь, неуловимый мистер Корпорейшин?.. Мистер, конечно же, возмутится, на то он и мистер: какая разница? На что тайный, в погонах, почитатель Кьеркегора ответит с запредельной учтивостью, мягко, печально, с бархатцем в голосе: ах, мистер Корпорейшин, Корпорейшин, и какую же именно разницу вы предпочитаете? разницу оптом или в розницу навывнос? пожалуйста, выбирайте! мы вам готовы любую предоставить моментально, не выходя из камеры, но всё дело, однако, вовсе не в разнице, мистер, дело в другом, более серьёзном, и это другое – ну, просто беда, но беда не в том, что мы разные, а в том, что – чужие... ду ю андестенд ми? не понимаете! жаль, очень жаль, мистер...

А денёк за окном разгулялся. Ясный апрельский день. Канун двух одновременных ответственных праздников: Международной солидарности трудящихся и Пасхи. Легальный и нелегальный. Дело привычное. Россия перемешает явное с сокрытым и будет звенеть чужими весенними весельями и торжествами, напрочь позабыв, как всегда, про свои собственные, свои бывшие, точно их и не существовало вовсе. Возможно, поэтому Россия и сделалась Россией.

– Разрешите, товарищ генерал.

В дверях возник дежурный офицер. По «конторскому» новому, либерально-демократическому, обычаю он не спрашивал разрешения войти. Он объявлял своё возникновение. Между прочим, с дверей начальника недавно сняли и передали на хранение в склад хозчасти, до

востребования, монументальную табличку с предупреждением и напоминанием: «Без стука не входить!» – реформы в Стране Советов касались всех, как начальника УКГБ, так и дежурного офицера.

Улыбаясь, он положил на стол бумажного голубя:

– Привет от международного пролетариата. В форточку залетел. А от оперативников со Смальты получено сообщение: субъект блокирован в пристанционном туалете типа сортир, подходы к которому затруднены... оттепель, всё дерьмо наружу, необходимы резиновые сапоги... Хорошо, что хоть не противогазы. Разрешите идти.

Генерал взял бумажного голубя. Покрутил в руке так и этак. Ухмыльнулся. Вынул из малахитового стаканчика толстый карандаш с золотыми буквами «Деловой» и к слову «Пора», начертанному чёрным по белому, приставил красный жирный восклицательный знак. Точнее, он хотел поставить восклицательный знак, но получилось, неведомо как и почему, вверх ногами: i ...

«Ладно, – подумал. – Оруэлл...»

И тут же Осип Бутербродский вспомнился, тот самый, что в папочке:

*Если кончу дни под крылом голубки,
что вполне реально, раз мясорубки
становятся роскошью малых наций –
после множества комбинаций...*

А вослед Осипу таганский Федот-стрелец рожу свою скоморошью скорчил:

*А вопче–то говоря,
голубей ругают зря.
Голубь, ежели в подливке,
не хуже глухаря...*

«Лихо работают, черти! С огоньком!»

На стене в портретной раме плачет железный ФЭД.

Завораживает блестящими и бесконечными перспективами металлическая лента Мёбиуса на столе.

Бумажная птичка приголубилась на ладони.

Поцелуйко открыл форточку и пульнул привет от пролетариата за окно, на вольную волю: «Небось, какой-то дурачок запустил. Так вот и лети, голубчик, обратно, к дурачку своему».

Генерал был проницательный. На то он и генерал.

Да, дурачок.

Да, Мёбиус, металлический.

Да, Осип с Федотом-стрельцом – черти ещё те!

И мистер Корпорейшин классно работает.

И всех вместе взятых и по отдельности можно расколоть, вычислить, сообразить и, в конце концов, понять.

Но – ФЭД! Железный ФЭД! Отчего же он такой слезоточивый?

Загадка.

Дзержинского повесили год назад вместо прежнего, выцветшего и засиженного мухами и сданного на склад хозчасти. Чёрно-белый портрет под стеклом. Рама дубовая, полированная. Хлопец в синем халате выстрелил в железобетонную стену, дюбель вошёл ровненько, оставив снаружи вежливую головку для нейлоновой тесёмочки, поправили, влево, ещё чуть-чуть, порядок. Хорошо висит? Хорошо. И прошло какое-то время, и однажды генерал Поцелуйко увидел в дубовой раме плачущего большевика. Тогда был ясный апрельский день... С позиций диалектического материализма можно спокойно, рассудительно, без аннексий и контрибуций, объяснить многое, если не всё на свете: плач палача, например; или, допустим, явление из монархизма: император всхлипывает во сне (да где ж ему ещё оттянуться и расслабиться?); или вот явление идеологическое: редактор рыдает над посланиями рабселькоров! И – так далее. Но слезоточивый ФЭД вылез из всех и всяческих рамок. При дневном свете, между тринадцатью ноль-ноль и четырнадцатью ноль-ноль, когда солнечный лучик из окна попадал на портрет – плакал ФЭД, и что это было – слеза социализма или, наоборот, мистика? – в тот самый первый раз настолько вздрогнуло генерала Поцелуйко, что он задом-задом... – удалился за платяной шкаф, чтобы вне очевидных чудес обмыслить увиденное; посчитал пульс на запястье, медленно, по миллиметрику, высунул голову из укрытия... – плачет ФЭД! – и вновь спрятался генерал, и совершил глубокий вдох полной грудью по гимнастической системе, а потом рывком, словно нырком в холодную воду, выглянул: плачет! – а засим, подобно заводной кукушке в часах, дёргал головою товарищ генерал: туда-сюда, туда – сюда... – плачет ФЭД – и хоть бы хер!.. Никому об этом таинстве не сказал Поцелуйко, опасался тайного скепсиса и понимающих улыбок со стороны сослуживцев, их сочувственной многозначительности. Сам, лично, всё исследовал, сверялся относительно феномена невидимых миру слёз в сочинениях Гоголя и Бабеля, проверял собственные гипотезы: от солнечного фокуса и оптического дефекта портретного стекла до полного медицинского обследования у психиатра и окулиста в ведомственной поликлинике; и фоторепродукцию под стеклом менял дважды, и дошёл даже вот до чего, экстраординарного: под надуманным, но благовидным предлогом имел в кабинете совершенно секретную беседу на темы человечества, мира и гуманизма с епископом Хибаровским владыкой Хризантемом, которого по предварительной и весьма непростой договорённости тайно доставили в Тихий Дом; пили чай с мёдом и бубликами, рассуждали о прогрессе, Папе Римском и о подрастающем поколении, епископ очень хорошо говорил об общественных нравственных критериях в целом и о моральном кодексе строителей коммунизма в частности, а в конце беседы генерал поинтересовался-таки: «Вы ничего здесь, в кабинете, не ощущаете, в смысле, не чувствуете, ваше высокопреподобие?» – на что

владыко ответил весьма серьёзно: «Чувство глубокого удовлетворения, ваше превосходительство!» – и два авгура понимающе улыбнулись: дескать, пой, птичка, пой, сердце успокой... В конце концов, генерал свыкся с загадкой, махнул на неё рукой и лишь в самые романтические минуты пребывания в службе вспоминал о плачущем первом чекисте: «Ну, что, всё плачем?»

– Ну, что, – промолвил генерал и в этот конкретный ясный апрельский день. – Всё плачем?

Но солнечный лучик уже выскочил из дубовой рамы и играл с иным пространством.

ФЭД потемнел, построжал и рухнул на пол.

С дубовой рамой ничего аварийного не случилось, на то она и дубовая. Но стекло – вдребезги... А останься оно целым и невредимым, так можно было бы запросто обнаружить причины видимой слезоточивости железного ФЭДА. Юристы в таких обстоятельствах дела обычно говорят: банальный случай – муж убил жену... За внешней поверхностью портретного стекла ухаживали не только влажной тряпочкой, но и дефицитно-импортным раствором для мытья «AJAX VITRES.FORMULE ACTION RAPIDE», однако же ни одному работнику техперсонала ни разу и в голову не взбрела мыслишка заподозрить стекло в нечистоте внутренней стороны, где затаились два высохших-перевысохших водяных подтёка, невесть каким образом там, как раз против глаз ФЭДА, конспирировавших... – невидимые миру, но призрачно являющиеся в свет по солнечному расписанию; да вроде есть они, а вроде и нет; предмет с тенью плюс ещё что-то окольное; как палка о трёх концах: один конец палки, второй конец палки, третий – конец палке...

Да ничего подобного не случилось! Это Сочинитель нарочно всё выдумал про сорвавшийся со стены портрет. А может, ему так показалось по неизвестным причинам. Или показалось – по известным..

На самом деле всё осталось на прежних позициях.

ФЭД на стене.

Лента Мёбиуса и литературная папочка – на столе.

Товарищ генерал Поцелуйко – у окна.

Из окна хорошо, как на ладони, видна Площадь Падших Борцов.

Звонкие колонны школьников, ведомые классными наставниками, репетируют первомайское шествие со здравицами, речёвками, пионерскими салютами, комсомольским задором...

Скорей всего, из литературной папочки выскочило и закрутилось и запрыгало на языке товарища генерала – в этот ясный апрельский день:

*Красный молот,
Красный серп –
Это наш
Советский герб!*

*Хочешь – режь,
А хочешь – куй,
Всё равно
Получишь герб!*

И нарастало предощущение икоты.

А бумажный голубь, он же самолёттик, журавлик, стрелочка-указатель и всеобщий привет, продолжал путь свой небесный.

Он парил: «Пора і»

Он был терпеливым. Бумажным.

Но ведь даже бумажному терпению когда-то приходит конец.

Голубь лёг на крыло, сделал разворот и устремился вниз.

Внизу стоял Дом со львами.

Здесь был тоже ясный апрельский день.

А у входной двери председатель писательского союза Ферапонтий Пилатов отряхивал от весны фетровые боты.

Вот голубок наш и приземлился у ферапонтиевых ног.

Председатель поднял его, оглянулся туда-сюда, нахмурился: «Небось, опять этот жестоковыйный Большой Бэмс нам пакости подбирает? Ох, уж этот Большой Бэмс, будь он неладен! Длинные руки у этого Большого Бэмса...»

Засунув голубя в карман пальто – вещдок, всё-таки! – Ферапонтий энергично потопал, вдохнул-выдохнул, тоска не улетучилась, зато ноздри приятно пощекотал дымный запах, пропитавший воздух весеннего города. «Шашлычки, однако», – подумал Ферапонтий и вошёл в дом.

В углу под лестницей детский писатель блевал, как совершенно взрослый. Он хороший писатель, Ферапонтий иногда даже завидовал его лепу лепечущему перу, но сам писатель не очень был уверен, что он хороший, и потому он был обуглен от хронических запоев с терзаниями, от преодоления жизни, он завалил Правление Союза заявлениями о предоставлении ему льгот как инвалиду войны Советского Правительства с пьянством и алкоголизмом, а выходил из запоя всегда в состоянии крайнего недоумения, переходящего в полное изумление. Чистое дитё, право слово...

На лестничной площадке – скамеечка с тремя молчаливыми аксакалами: квартет. Вечность с пергаментных лиц глядит в глаза входящему современнику.

В «предбаннике» Аврора Крейсер и Китобойский беседуют учтиво, как дипломаты разных стран.

– Чего нет, того уж нет, – говорит Китобойский.

– Да, – улыбается Аврора, – уж чего у нас не отнимешь, так это любви к ближнему своему.

– Вот я и говорю то же самое, что чего нет, так того уж нет и отнимать, значит, нечего.

– Ах, как я вас понимаю, Китобойский! – восклицает Аврора и появившегося председателя привлекает к своему пониманию: – Не правда ли?

– Неправда, – соглашается Ферапонтий.

– Отчего же?

– А оттого, дорогие коллеги, что на дворе у нас ясный апрельский день, на площади дети к параду готовятся, за городом отдыхающий народ шашлыки жарит, а вы тут развели ромашки всякие, правда – не правда... Неактуально это, товарищи. История не простит.

– Но позволь тебе заметить, Ферапонтий... – начал было Китобойский.

Однако Аврора перебила его. Она взяла Китобойского за лацкан кримпленового пиджака, доверительно склонилась аккуратной своей головкой и, глазами указывая на Пилатова, лукаво-торжественно завела:

*Смотри, как пламенный поэт,
Вниманьем сладким упоенный,
На свиток гения склоненный,
Читает повесть древних лет!
Он духом там, в дыму столетий...*

– Иди ты, – сказал Ферапонтий. – Это давно было, дым столетий. А сегодня, я ж говорю, шашлычки с лучочком, с рыночными помидорчиками, с лепёшками кавказской национальности... Очень ароматно, товарищи, воняет на улице.

– Ах, Ферапонтий, вы так меня и не поняли! – всплеснула ручками Аврора. – Я вещаю о вечном...

– Иди ты! Как будто у нас нету вечности на каждый день! Обижает, Аврора, троицу наших болванов языческих идолов, которые с утра до вечера дежурят на лестнице. Нехорошо, Аврора!

– О, нет, не болванов! Я вещаю про Пушкина, Ферапонтий! Это именно он так выразился в послании к Жуковскому, имея, между прочим, в виду Батюшкова, который в это время читает, между прочим, «Историю» Карамзина Николай Михалыча. Заметьте, Ферапонтий! Всего пять строчек, в которых наш национальный гений сумел разместить ещё трёх гениев, итого – четыре. Какая концентрация! А в дыму столетий, это художественный образ, Ферапонтий.

– Ну, если образ...

– Образ, образ, не сомневайся, – вмешался Китобойский. – Нет образа кроме образа, и сам образ есть пророк самого себя.

– А насчёт уличного аромата, – продолжила Аврора, понизив голос, – то происходят сегодня с утра ужасные вещи. Телефоны сами по себе вдруг заговорили. Мистика!

– Иди ты, – сказал Пилатов. – У кого-то, может быть, и заговорили. А вот у нас, в помещении, как никак, краевого отделения Союза

писателей СССР, так до сих пор и молчат. Уж который день! Мне с крайкомом партии приходится только из будки автоматной. Выходи, значит, каждый раз, одевайся...

– Это, Ферапонтий, происки. Это тайные сторонники Большого Бэмса наш кабель перекусили. Мстят. Но мы их выведем на чистую воду.

– Ладно уж, пойду к себе без телефона гореть на работе, – устало произнёс Пилатов. – Дела, товарищи, предстоят вопиющей важности. Ротация!

– Не покидайте нас дотла, – проворковала вослед Аврора с чарующей улыбкой.

В кабинете Пилатов разделся, в кармане пальто наткнулся на бумажного голубя, бросил его на стол.

Идохнула тоска.

И потекло уныние.

Урчал желудок. Он протестовал, не принимая, не допуская до себя хорошей пищи. В буквальном смысле слова.

Полчаса назад Пилатов имел честь откушать обед в крайкомовской столовой.

...После избрания на председательский пост Пилатов уверовал: удача к нему так и прёт, так и прёт, но эта пруха сама по себе, без личного руководства, долго продолжаться не может и надобно ей способствовать по мере сил, в согласии с порядком. А порядок начинался со смотрин в Сером Доме, в отделе агитации и пропаганды или, в лучшем случае, на приёме у самого товарища Краснопресненского-Крестовоздвиженского. И Ферапонтий с терпеливым, регулируемым трепетом дожидался зова. Дня три. На четвёртый день не вынес томления и протелефонировал из будки телефона-автомата туда, куда устремлялся. Оттуда ему выразили соболезнование и добавили: да, мы в курсе, ожидайте вызова... Вторично позвонил Пилатов, и ему дали понять в более пространным ответе: мы всё помним, мы ничего не забываем, а вы не увлекайтесь, не спешите, партия хотела бы избежать субъективно-волюнтаристского наследия от прошлого режима руководства и не заикливаться на узких темах, в частности, на сельскохозяйственной химии, на мумии (понимаете?), на абстракционизме и неправильном Андрее Вознесенском, ибо в настоящее время требуется вдумчивая и последовательная политика, поскольку, по просьбе трудящихся, ожидается всеобщее и поголовное, полное и безоговорочное ожидание... Ферапонтий, прибалдев, вывалился из будки, и трубку забыл повесить на крючок. Он старался понять и осознать всё услышанное, но понять и осознать было невероятно трудно. Казалось, две трубки говорили друг с другом как бы на разных языках. Уж действительно: ожидается ожидание... Что они, там, в другой трубке, имеют в виду? В каком смысле? И если вдруг э т о... – то чего в этом вечном ожидании

больше: сионизма, масонства или антисемитизма? Легко сказать: ожидается ожидание... Правда, изломы истории всегда озвучивают себя на непонятном для непосвящённых языке, и голоса у них при этом загадочные запредельно, ненормальные, и вещатели соответственные, свои мистики и истерики, кликуши и крикуши, возжигатели лампад и психотерапевты с амбулаторным образованием. Распутины всякие – тут как тут: тук-тук, кто в черепе живёт? я – мышка-наружка из Девятого управления, а вы тут кто больше трёх собрались зачем?.. Тоска. С кем посоветоваться Пилатову? Некому довериться. Времена серьёзные. Даже к близкому товарищу, проверенному тыщу лет на выпивке и на храпе, гарантии на сто процентов нет. И тогда – только тогда! – ответили Ферапонтию три домовых аксакала: поздно вечером, после любезного угощения от Пилатова – не разверзли рты, но, к удивлению председателя, как чревовещатели, и очень даже не сухо, не слабо, но динамично-дикторски, преподнесли три поочерёдных, взаимодополняющих на подхвате предложения: «Бросьте вы эти жидовские штучки, товарищ Ферапонтий, как, например, нижеследующее: ожидание ожидания, тоска, волюнтаризм и последний поцелуй. Вы, товарищ Ферапонтий, есть советский социалистический человек и вам не пристало ожидать. Вы, товарищ Ферапонтий, должны сами всё себе по-пролетарски кувать, а не полагаться на всякие прогнозы и жидкие материи!» И скамеечка присоединялась к вышеизложенному со скрипом. И не ожидал Ферапонтий от аксакалов таковой железной, мускулистой философии, не ожидал...

Когда ему сообщили о времени крайкомовских смотрин, он решительно тряхнул головой: «Пора!»

За два часа до randevу явился в Серый Дом: осмотреться, обвыкнуться, примериться, обтесаться. В первый раз всё-таки удостоился, не шутка.

Обувку свою пришлось неожиданно оставить в раздевалке на первом этаже. Правило у них тут такое образовалось в свете борьбы за экономную экономику, и эту борьбу партия, как всегда, начала с себя, в крайкоме сократили штат уборщиц, на гардеробной стойке вывесили объявление: «Товарищи! Берегите труд техперсонала!» – и рядом ещё один плакатик со стишками, коих коснулось, судя по художественной стилистике, перо Феликса Хворобушкина, не иначе: «Сменную обувь с собой приноси! С улицы грязных следов не носи!» Планировались, как в Эрмитаже, войлочные шлёпанцы на выдачу под особые номерки ходокам во власть. Но вопрос со шлёпанцами застрял где-то в ЦК КПСС. В общем, кто знал эту реформу – тот со сменкой приходил, а кто не знал и даже не догадывался о такой экономной экономике, тот шлёпал в носочно-чулочных изделиях или, что случалось редко, босиком, портяночки запашистые размотав... А Ферапонтий не знал. Ферапонтий даже не догадывался, не предполагал, представить того не мог, и никто не подсказал, не намекнул даже. А потому и вошёл

во властные коридоры в носках: зелёных, в красную полосочку, на пятках аккуратные дыры, которые Ферапонтий вдруг со смущением обнаружил, раньше как-то даже не замечал, а тут – нате вам! – даже неудобно как-то перед народом, конфузно как-то...

Ковровые дорожки: красные, по краям с зелёными полосами.

Попервости шёл Ферапонтий на цыпочках, потом осмелел, застучал пятками.

Мимо проходили ответственные твёрдые партийцы в мягких домашних тапках. Ферапонтий посторанивался.

А по бокам-то всё зеркала, зеркала... Эффект потрясающий! Гляделся в них Пилатов и чудилось ему: рожа-то не отражается, нет! хуже! рожа отроживается, это как бы отрывается от личности и в бесчисленных экземплярах отражений отражений начинает, падла, жить автономно, самодовольно, нахально, с надменностью разночинного неопфита... тем паче – твоя! и паче чаяния – рожа! но вот зачем, спрашивается, некоторые персональные народные чаяния кому-то здесь понадобилось отражать так многолико и в пугающей перспективе?

Двери. Да, двери – это двери. По рангам: одинарные, двойные с тамбуром, ореховые, буковые, дубовые, сосновые, полированные, лакированные, однако все с одинаковыми бронзовыми ручками... О, двери! Как много в этом звуке!..

Товарищ Краснопресненский-Крестовоздвиженский, погружённый в срочные дела, перепоручил приём нового писательского председателя своему Заму.

Зам, к которому Пилатова препроводил предупредительный молодой человек, являл собою образец радушного обаяния.

– Извините великодушно, – сказал, – времени у нас с вами в обрез. Все наши идеологические силы сейчас брошены на проведение внеочередного совещания передовиков социалистического соревнования за звание ударников коммунистического труда.

Предупредительный молодой человек выкатил из неизвестности хорошенький столик на колёсиках: два чая с лимоном в серебряных подстаканниках, четыре бутерброда с колбасой и сыром, льняные салфетки.

– С вашего разрешения, – продолжил Зам, – позвольте я буду называть вас просто на ты, по имени, по-простому. Кушайте на здоровье. Но прежде всего я просто обязан выказать тебе, Ферапонтий, некоторый вотум недоверия в легитимности. Потому что сделался ты председателем Союза писателей на довольно-таки сомнительном собрании, к тому же не пройдя процедуру предварительного согласования с крайкомом. Однако, мы тебя за это, извини, привлекать не будем. У нас, кажется, уже не сталинизм? У нас сейчас больше демократии? Как ты расцениваешь?

– Он правильно расценивает, – сказал предупредительный молодой человек. – Мы в курсе.

– И разумеется, что одобряешь и поддерживаешь?

– Он двумя руками. Мы проверили...

Сжевал Пилатов все бутерброды, чай выпил. Добавки не принесли. Не положено, видать.

Молодой человек отвечал на вопросы.

– Ну, вот и хорошо, – сказал Зам. – Можешь, Ферапонтий, возвращаться к своим львам. Иди и помни, пожалуйста: это всех нас касается остротой грани вопроса существования проблемы выбора темы повестки дня плана руководства прогрессом жизнедеятельности трудящихся города и села края. И передай это всем своим товарищам. А сейчас тебя проводят для ознакомления и представления в соседний кабинет, там ты выскажи свои соображения по поводу ротации. Ну, кажется, всё? Всё. Тогда за работу, друзья!

«Иди ты! – подумал Ферапонтий, покидая кабинет Зама. – Какой хороший человек и яркий член КПСС! И какой несомненный поэт в нём сидит! Далеко до него Феликсу Хворобушкину...»

Ферапонтий, конечно, не знал – откуда ж ему знать? – какой поэт сидел в кабинете Зама, в котором тоже сидел поэт. А поэт был такой, о чём доподлинно известно Сочинителю: когда Зам думал, то он думал коротко и ясно, но когда он о том же самом говорил, то частенько не понимал самого себя, звуки слов кружили ему голову, завораживали...

– Ротация – это как? – спросил Ферапонтий предупредительного молодого человека, когда оба шли по коридору к следующему значительному лицу.

– Это просто, – просто ответил молодой человек. – Это перемена мест без нарушения суммы. Короче, сменяемость.

– За что? – оробел Ферапонтий.

– Да вы не пугайтесь. Известная процедура демократического централизма. Вот, скажем, у вас, у писателей, что? Власть переменялась?

– Вроде...

– Да не вроде. Де юрэ, вроде, да, переменялась. Но де факто как бы и нет. В сумме имеем то же. Однако для де юры нужны некоторые формальности, в противном случае не будет и самой де юры. Понимаете?

– Не-а, – простодушно ответил Ферапонтий.

– Хорошо. Я вас тогда так спрошу: у вас, случайно, не имеются ли писатели известные?

– Иди ты! – воскликнул Ферапонтий.

– Понял. А знаменитые?

– Это смотря как...

– А, извините, гении?

– Один. Равелин Валютин. Согласованный, между прочим, с крайкомом.

– Это надёжно. Священная корова, значит.

– Ну, если по-индийскому понятию...

– Можно и по-священному, и по-коровьему, и по-индийскому. А теперь вернёмся к писателю известному. И я вас спрашиваю: на какую ширину известный? На какой размер, если рассуждать по-нашему, по-партийному понятию и по протоколу?

Ферапонтий всё понял.

– Разрешите покурить? – спросил он молодого человека.

– Запросто, – ответил тот. – Давайте присядем вот здесь, в холле.

Присели на мягкий диван за уютный столик с пепельницей фигурного каслинского чугунного литья: «Голубь мира держит в клюве коробку спичек».

Молодой человек достал пачку «Мальборо» и золотую зажигалку фирмы «Зиппо». Ферапонтий извлек из штанов кисет, трубочку, кремень, кресало, трут...

– О! – изумился молодой человек. – Шикуете! Как Илья Григорьевич Эренбург...

И вот какой получался расклад, протокол и понятие.

На выборном собрании, конечно, кое-что стояло, и это кое подытожилось избранием Пилатова в выдающиеся. Остались нерешёнными вопросы с известными хибаровскими и известными сибирскими, с известными российскими и известными советскими писателями. Про других вопрос не стоял. А уж про гениев и классиков – тем более: Равелина Валютина не сдвинешь, как корову по-индийским понятиям. И теперь оказывается, что по-партийному все вопросы в Доме со львами называются ротацией и являются делом вполне обычным. И пусть! Ротация, значит. Конфронтация. Рота на марше. Все в строю. Кого выделять? Вопрос... Аксакалы-чревоещатели могут обойтись. Можно, впрочем, перефотографировать их на Доску почёта ветеранов, и этого достаточно... С выдающимися всё ясно. С известными будет непросто. Тем более, – на какую ширину, как выразился молодой человек. Какого, говорит, размера? А Большой Бэмс, пусть матрац в Жёлтом Доме будет ему пухом, в разных размерах превосходно плавал, как рыба. Но где он теперь, этот Большой Бэмс? Отплавал Большой Бэмс. Теперь Пилатов думать будет. А как думать, когда по-большому счёту весь Дом со львами только тем и живёт, что вычисляет размеры Родины в силлабо-тонической манерности, да ещё прикидывает меры увесистости любви, да ещё тоннаж в разных ямбах-хорях, в рублях-долларах, в аршинах общих и в индивидуальных квадратных метрах жилья, в эпохальных пятилетках-малолетках и в иных скоропостижных метриках? Случается – даже и в такой немислимой соразмерности, как от земли до самого неба, и не исключаются Миссии России в международных габаритах 90-60-90... Тоска. Драмодел Аввакум Простопопин сказал бы по такому случаю колоритнее: тощица... Хороший он человек, этот Аввакумушка. Добрый. Ему хоть в глаза насы – всё для него божья роса, ни хрена в оскорблениях личности не понимает, как дитё малое. Можно подумать,

что у него конструкция организма такая, добрая. Взяли – проверили. Повторили, значит. И ничего! Утёрся. Ходит, улыбается... Хороший человек. Простодырый. Зла не держит, как некоторые. Пора из известных сибирских переводить в известные российские... А Аврору Крейсер, наоборот, попридержать надо. Возомнила. И думает, что всё ей по наследству передаётся. Но это не всегда так. У революции свои законы. К тому же к мужчинам постоянно пристаёт, а уж если какой мужчина на флоте срочную отслужил – всё, полундра, этой Авроре только палец покажи... Такой разворот разврата неуместен. Пусть ещё поработает над обликом. Пора задуматься. Не маленькая, однако... Теперь взять, к примеру, прозаика Еропланского. Держит себя в строгости, солидно. Но всю солидность портят его белогвардейские манеры. Это опасно. Дальше – баснописец Гордей Гвардеич Смехалков. Хороший человек. Руководит ветеранским хором, а это не хухры-мухры, туда любого-каждого не запишут, только – за бывшие заслуги перед литературой. Правда, уже давно не сочиняет Гордей Гвардеич. И прежние его басни – туфта. Да и сам он, честно говоря, говно. Давным-давно. «Всех, – говорит, – перехи-хи-трю! И на самый Олимп заскочу первой других хибаровчан. И даже вот не стыжусь про стыд заявлять, и не совещусь про совесть выражаться. Потому как – заслужил и десять Советских правительств пережил!» Зануда, этот Гордей Гвардеич. Ему на пиджак добавить какой-нибудь новый значок ударника пятилетки – и хватит. Другое дело – этот Атрыганьев в пенсне... похожий на всю сразу близорукую ленинскую плеяду. Уже стоит как известный советский. Но жилплощадь у него, видите ли, неадекватная. Хрен ему, а не жилплощадь! А зачем он постоянно говорит окружающим товарищам, что он – малограмотный, что он сволочь и подлец? Зачем? А затем, что надеется и коварно рассчитывает на возражения окружающих товарищей: дескать, что вы, что вы такое говорите, вы хороший! И он, конечно, получает такие возражения от окружающих товарищей. И все шло прекрасно до тех пор, пока Китобойский категорически не стал возражать, а взял и согласился: да, мол, подлец ты и сволочь, но ты же не первый и не последний! И с того времени этот Атрыганьев в пенсне... в общем, до сих пор с Китобойским разбираются: кто когда на кого стучал, стучит и будет стучать в соответствующий благочинный орган? И пусть пока сидит в известных советских... А Китобойский – хороший. Ему пора из известных российских в известные советские переходить. Его книг, правда, никто уж давно в глаза не видел, но рассказывает Китобойский очень хорошие устные рассказы. Например, недавно вот чего отчебучил. «Сын у меня, – говорит, – есть. Дом есть. Так чего я не сделал в жизни как мужчина? Дерево не посадил. И вот пошел я в чисто поле и в чистом поле ямку выкопал. И посеял я в ту ямку наш жёлтенький советский рубль. Теперь жду, когда вырастет дерево». Аврора смехом заливается, не понимает, дура, что к словам Китобой-

ского с определённым скрытым смыслом надо подходить критически, что советский писатель пошутил по примеру Буратино, глупого деревянного мальчишки, на Поле Чудес в Стране Дураков, но шутки шуткам рознь, есть же предел, и Китобойский, в конце концов, не мальчик, но муж, к тому же – известный российский. А вокруг него крутится молодёжь, слушает всякую херню и может иногда неправильно понять. Но вообще-то... не такая уж и молодёжь, многим за сорок перевалило и под пятьдесят привалило. Вовка Фикс, Васька Стрекозлов – известные городские. Пора в известные краевые переводить. А на ихнее место, городское, можно воткнуть кого-нибудь из районного масштаба, хотя бы того же придурка, вечно дрожащего в поисках темы... А Феликс Хворобушкин, по слухам, сгинул, как привидение...

Трубочка у Ферапонтия Пилатова коротенькая. Думы длинные...

– Ну что, пошли дальше! – любезно скомандовал предупредительный молодой человек.

И они пошли – по ковровым дорожкам, от двери к двери, от представления к представлению.

Пилатов искоса ловил в зеркалах своё отражение и на ходу поправлял некоторые черты лица, делая их важными и значительными, адекватными зеркалам, дверям и ковровым дорожкам.

При переходах из кабинета в кабинет двухсторонние отношения Председателя Союза писателей и КПСС становились всё более тёплыми.

К представительским переговорам подавали:

– чай в чашке с блюдцем, но без лимона, а с одной печенюшкой типа «Радуга» и с бумажной салфеткой, и полномочный хозяин этого кабинета на прощанье пожал руку и сказал с чувством: «Задумайтесь, товарищ! В прошлом году в нашем орденоносном краевом центре имелось сто двадцать абортисток младше шестнадцати лет. Кто виноват? А это всё Оренбург со своими мемуарами в журнале «Новый мир»! Начитались, вертихвостки! Нового мира им захотелось, артисткам-абортисткам!» На что Пилатов ответил: «Иди ты!»;

– чай в простом стакане (200 гр.), но без печенюшки и без салфетки, и хозяин кабинета, похлопав Пилатова по спине на прощанье, сказал; «Как пишет ваш поэт Хворобушкин: Пейте пиво пенное, будет морда джентельменная!» – «Интеллигентная», – поправил предупредительный молодой человек, а Ферапонтий подумал: «Иди ты!»

А в последнем кабинете, в кругу жизнерадостных парней в одинаковых строгих костюмах, – уж и без всяких церемоний.

– Ты писатель? – спросили.

– Писатель.

– Так вот садись и пиши. Бумажку одну. Накатать надо. Чтобы быстренько. Махом.

Ну, как отказать хорошим людям? Никак.

Хмыкнул Ферапонтий: «Иди ты!» – сел и накатал. Двумя махами, с перерывом. В перерыве пили безалкогольное финское пиво и балагурили. Хорошие они, эти ребята-инструктора, без жеманства.

– Слушайте, Ферапонтий, – сказал один, Анатолий. – Бесплатный сюжет для бестселлера. Дарю по дружбе. Значит, так. В одно прекрасное субботнее утро встал с постели...

– Кто встал по имени и профессии? – снисходительно спросил Пилатов. – В литературе нужна конкретность, друг Толя.

– Да какая литературе разница, кто встал? Ну, допустим, я встал. Затем – что? Затем умылся, побрился. Гляжу в зеркало: куда бы мне этакую красоту приспособить? И, как всегда, решил твёрдо: к партии, только к ней, родимой. Но подумал, что надо на всякий случай посоветоваться. Звоню Ляле, из крайкома комсомола которая. Ляля, – говорю, – срочно приезжай, то-сё, феноменология духа Гегеля прямо на глазах угасает! И что ж вы думаете, Ферапонтий? Приехала? Как бы так и чёрта с два! Не приехала – примчалась, прилетела, как голубка быстрокрылая.

– Иди ты! – не удержался Пилатов. – И сколь же ей тех комсомольских лет?

– Это не важно ни для литературы, ни для комсомола. Слушайте дальше. Мы с ней, значит, то-сё... Потом Ляля лежит на диване, зажмурилась вся от блаженства: «Я, – говорит, – лежу, как на пляжу... Зачем мне феноменология духа?»

– Иди ты!

– Вот именно. И я ей то же самое говорю: «О, если бы вы имели своим побережьем Атлантический или в крайнем случае Индийский океан! Вы бы тогда, Ляля, совсем по-другому думали бы обо мне. Вы бы тогда вообще не думали, Ляля. Вы бы тогда мечтали...»

– А может хватит трепаться? – вмешался другой инструктор, Николай. – Уши ведь вянут, Толя. И что может подумать товарищ писатель?

– Коля, – ответил Толя, – ты же не тюльпан цветущих прений, чтобы вянуть от плюрализма. А я товарищу писателю излагаю сюжет для романа, ты не перебивай, а то я забуду сказать товарищу писателю о том, что мы с Лялей договорились снова встретиться в одно прекрасное выходное утро...

Смеётся Николай.

– Ну, и свистун же ты, Толя! Как же ты позабыл про другое? Про то, что наш товарищ Ферапонтий Батькович как Председатель Союза писателей с некоторых недавних пор внесён в особый список крайкомовского буфета, где наших с тобой фамилий ещё нету и покудова не предвидится, а в том буфете, по слухам из надёжных источников, вот прямо уже сейчас идёт отоваривание, а в том отоваривании предвидятся премиленькие штучки, вкуснее Ляли...

– Всё! Молчу! Буфет – святое дело, – сказал Анатолий и заговорщически склонился на ухо к Пилатову...

- Иди ты! – взволновался Пилатов.
- Сам иди, – сказал Анатолий. – Вперёд, заре навстречу.

...Дело прошлое. Однажды явился домой к Ферапонтию человек.

– Вы, – спросил с напористой улыбкой, – будете товарищ писатель Пилатов?

- Буду, – ответил Ферапонтий с зубной щёткою в руке.
- Лично?
- Да. А что?
- Ничего. Я – от Морошкина.
- А это кто такой?
- Как? Вы не знаете Морошкина?
- Увы, не знаю.
- Зато он вас знает.
- Ну, и что?
- Дайте сумму.
- Чего?
- Дайте, говорю, денег.
- Сколько?
- Морошкин сказал: сколько не жалко.
- Рупь Морошкину хватит?
- Три.

И с теми тремя рублями удалился напористый человек. Пилатов же вначале подумал: благодарный читатель. Оказалось, нет. Просто напористый человек. Абсолютно незнакомый. Безымянный. От какого-то Морошкина. Наглец какой-то.

– Не какой-то, а самый обыкновенный, нормальный, – сказала жена в бигудях, очевидица. – Наглость – второе счастье.

- А первое какое?
- Блат, – снисходительно улыбнулась жена.
- Иди ты!

Вечером, в Доме со львами, Ферапонтий говорил на блатную тему с Большим Бэмсом.

Оба, конечно, преотлично знали, что это такое: я – тебе, ты – мне, неистребимая народная взаимопомощь, плечо к плечу и выручка. Все так живут. И ничего особенного и зловредного, ежели выручка, будто в торговой лавке, считается в рублях. Не в этом дело. Дело в том, что Ферапонтия в случае с трёхрублёвым Морошкиным зазнобил неожиданный исторический вопрос: откуда, из каких-таких палестин закров Родины взялся этот блат? от каких пор тянется он как рядовой член словаря русского языка и общественный факт?

- От Петра Первого, – ответил Большой Бэмс, не задумываясь.
- Иди ты!

– Литературно-исторический факт хроники событий строительства империи. Санкт-Петербург с вытекающими окрестностями.

– Вот так вот прямо сразу из него?

– Нет, не прямо, конечно. До Петра тоже вытекало сплошь и рядом: ты – мне, я – тебе, ты ко мне тип-топ, я к тебе тип-топ, но этот фигуральный тип-топ русская литературная классика отметила объективно, как нынешняя аптека или тогдашняя прокуратура: «из топи блат вознёся»!

– Иди ты!

– Сам иди, Ферапонтий. Иди Пушкина почитай. В самом начале «Медного всадника» наш национальный гений так и сказал, что блат вознёся, причём вознёся пышно и горделиво. Это тебе очень стыдно не помнить, Ферапонтий, тем более моему заму. Надо помнить и чтить наши первоисточники. В противном случае, откуда же у наших современников появится любовь к отеческим гробам и прочим традициям в духе дыма столетий?..

...В буфете давали:

- мороженых кур из Голландии;
- буженину из Финляндии;
- копчёную колбасу из Австрии;
- гусиный паштет из Венгерской Народной Республики;
- болгарские и американские сигареты с фильтром;
- гречневую крупу;
- таллинские шпроты;
- пепси-колу краснодарского производства
- и консервированную горбушу натуральную из Сахалинской области: Долинский район, село Стародубское, ул. Набережная, 22, рыболовецкий колхоз им. Г.И. Котовского.

– Можно ещё одну баночку? – робко спросил Ферапонтий.

– Какую?

– Шпроту.

– Шпроту у нас по счёту. Интерес к им шире роту, – сказала буфетчица, а Ферапонтий отметил: в рифму говорит славная труженица прилавка, не иначе, как сказалось и на ней влияние творчества поэта Хворобушкина в сфере розничной торговли. – Но вам, как вы покупатель новенький в смущении, на первый раз уж ладно, дадим паёк с дополнением! А с вас ваша книжка мне с личным поздравлением причитается с хорошим волнением! Правильно?

– Непременно! – ответил Пилатов, торговой поэзией тронутый до глубины души. – И надеюсь, что не одна книжка!

Он питал слабость к красивым, в особенности к иностранным, консервам. Этикетки на банках такие яркие, красочные, лакированные. Из них получаются чудесные книжные закладки.

– Заворачивать-то есть в чего? – ласково спросила буфетчица. – А то у нас вон чего!

Вон чего – объявление на буфетной стойке, на которое Ферапон-

тий не обратил внимания: «Продажа товаров в одни руки со своей бумагой!»

– Дефицит важный, не простой, бумажный, – пояснила буфетчица. – Звать Маруся, никого не боюсь. Бумаги обёрточной даже нету для культурной продажи. Положение фиговое. Страдает дело торговое. Покупатели не улыбаются, а ходят тут и залупаются. А мне тут мучайся с этой бедой, что вся торговля накрылась... Правильно говорю?

– Ну, что вы, Маруся? Нет, неправильно. Я, например, очень доволен, премного благодарен и даже в некотором роде в шоке и протрации!

– Как в ресторации? Так и там, как говорится, ахай-не ахай, а без бумажки катись... Правильно я говорю? А, ладно, скажу вам без картинок, как простая женщина. – Маруся махнула рукой и перешла на прозу: – У нас тут все люди, снизу доверху, бумажные. И приходят отовариваться с такими бумагами, что о-ё-ёй! Даже секретные доклады с резолюциями... Вам как? Со своей бумагой затарить? Или как?

Ферапонтий нашарил в кармане нейлоновую авоську. Она всегда при нём. Они всегда при нашем народе, эти вязанки-плетёнки, авоськи-нихераськи, простодырая конструкция, дырка на дырке, на всякий случай, да и места много не занимают. Нашарил Ферапонтий – да постеснялся извлекать и виновато взглянул на ласковую Марусю.

– Значит, или как, – сказала она и достала из-под прилавка большой полиэтиленовый пакет с наглядной агитацией. – Последний. Идут нарасхват. С вас причитается. А между прочим, вы у нас проходите по списку номер два. Так что можете с полным правом пройти в столовую пообедать, дверь налево... Чао какао!

В столовой Ферапонтий вкусно и дёшево пообедал: одно первое, два вторых, третье плюс яблочный сок натуральный без мякоти.

Музыкальный автомат пел голосом Клавдии Ивановны Шульженко:

*Когда из Гаваны милой уплыл я вдаль,
Лишь ты угадать сумела мою печаль.
Заря золотила ясных небес края,
И ты мне в слезах шепнула, любовь моя...*

Бок полиэтиленового пакета с продуктами питания был с идеологической нагрузкой: на чёрном фоне – полураскрытый гроб, обитый звёздно-полосатым флагом, в гробу полусидят Гитлер и нынешний американский президент – два монстра с точки зрения Кукрыниксов, а на переднем плане – виселичная петля и четыре чеканных слова: США, ФАШИЗМ, ТРИБУНАЛ, ВЕРЁВКА.

*...Где б ты ни плавал, всюду к тебе, мой милый,
Я прилечу голубкой сизокрылой...*

«Такое наше дружное НЕТ поджигателям новой мировой войны», –

подумал Ферапонтий, выковыривая из зубов настоящее мясное мясо.

С десяток изящных пластмассовых зубочисток в виде мушкетёрских шпаг он незаметно поместил в карман.

Тепло, светло, и мухи не кусают.

*...О, голубка моя,
Как тебя я люблю!
Как ловлю я за рокотом моря
Дальнюю песнь твою...*

«Как все они тут, сволочи, лоснятся на этом празднике жизни! – думал Ферапонтий, умиротворённо и благостно. – И как они тут все по-умному решают свои, может быть, даже наиглупейшие, наимичтожнейшие задачи типа комсомольской Ляли! И это совсем не важно, что глупейшие и ничтожнейшие, а важно то, что по-умному...»

Внутренний голос спрашивал Ферапонтия: «А ты хочешь?»

И Ферапонтий честно признавался: «Иди ты!»

Двумя этими словечками – при нужной артикуляции, модуляции и интонации – Ферапонтий мог выражать всё: согласие и протест, восхищение и ненависть, удивление и зависть, восторг и соболезнование... Никакие они не паразиты, эти слова. Больше того, слова – в определённой системе: пара слов + сам Ферапонтий + кто-то четвёртый, тот, кто напротив воочию или заочно и кому назначено мгновение откровения от Ферапонтия Пилатова. Да.

«Это очень важно, что по-умному. Тогда есть смысл жизни. Но если он есть, то где он есть? В чём он, смысл жизни, литературы и партийной деятельности?» – думал Ферапонтий, сидя на крайкомовском унитазе.

Тоска. Тощица. Печаль. Уныние.

Перед глазами дверь, испещрённая стенограммами...

«Товарищи! Голосуйте сами знаете против кого! Он народу не нужен! Он старый дурак!»

«Все говорят, что правды нет в ногах. Но правды нет и выше!»

«На чью голову намекаешь, Сидоренко?»

«Да здравствует свобода слова!»

«Бог есть, есть, есть!!! И он всё видит!!!»

«И пусть видит! Всё-равно ничего не скажет!»

«Девушки любят политически грамотных. Писал О. Бендер».

«У Сидоренки самомнение больше, чем отбавляй».

«За что?»

«Персек – мудака!»

«Отключите Сидоренке микрофон!»

«Слушай, я могу хотя бы здесь сказать своё мнение?»

И ещё многое про чего.

И про то.

И про это.

Нецензурных слов Пилатов боялся. Боялся, в первую очередь, от непонимания. Вот, например, широко известное слово из трёх букв. Но оно ещё ничего. Звучит весомо, грубо, зримо. Мужественно. Но вот, например, другое слово, с противоположным смыслом. Должно быть, по идее, мякенькое и пушистенькое, как цыплёночек, котёночек или, допустим, шапка пыжиковая, но что мы имеем на языке? Какие сатанинские звуки издаёт этот вульгарный и аварийный логотип! Как трамвай на повороте, с железным скрежетом, дребезжанием, лязгом, визгом и тормозным, ко всему жуткому прочему, звонком, хотя как предмет, сама по себе, очень даже ничего и в некотором смысле даже усладительна, штука нежная, нужная и народу важная, а если взять пошире и копнуть поглубже, в смысле природного явления и натур-философии, например, в международном смысле, то есть в мировом разрезе, во всемирном значении или, пуще сказать, хотя и страшно подумать, — в глобальном масштабе! — как представишь такое на секундочку, так тут же разом всё на свете и накроется! — Уж такое словечко... Типа шарада! Спереди — пи, позади — да, а посередке — ээ-э-э-э... Кроссворд такой, ребус... Иди ты! Нет, уж пусть уж будет как бы Оно, неназванное, как дикий Бер, медвеженское, короче: пипи, и не будем поминать всуем эту пипи, оно же ж бесконечное, как число Пи, нескончаемое, долгоиграющее пи-пи, как бы искусственный спутник Земли на нашу голову, кружится над планетой, кружится как бы новая звезда, наша передовая красная пипи, ударница, скромненькая рифмочка под музыку товарища Свиридова, дескать, время — вперёд! труба зовет! и пипикает эта передовица так невинно, а потом как шлёпнется на Вашингтон! — и нет вашего Вашингтона, и весь империализм зараз накрылся, только угнетённых негров жалко... Вот что Оно такое — эта Большая Пи с её трубами в глобальном масштабе и с губастым бантиком бесконечности! Число бесконечно мелочных величин. Везде шерше ля фамм, как говорят французы, и правильно говорят, но правильно не в полном ещё объёме, вопрос же обширней и принципиальней: а что есть ширше советской ля фамм? А вот и ничего нету, ни-че-го! Она везде, куда ни плюнь, и не шуршит, как некоторые, испорченные купюрами, кофием в постель, фрикадельками разными, наша советская ляфам — как Терешкова, космос в ней, а не косметика на уме, и под подолом не то что чо, а смысл жизни всего общества и всего человечества, и поэтому Большая Пи в глобальном масштабе есть вещь полезная, крайне плодотворная, хоть и жутковатая, как чёрная дыра во вселенной, бездна без покрывки, космы какие-то чудятся, потоп, езда в незнаемое, и называется так дурно, что становится уже порно, словом нечеловеческим, нездешним, хотя этого не заслуживает, подкачало название, отпугивает, расхождение получается слова и дела, а это несоответственно, потому что в языке всё должно быть адекватно, хотя, с другой стороны, если рассудить с точки зрения филологии и биологии, а также зоологии, название-то,

может быть, и неважное, прямо сказать – дрянное название, невзрачное, да только сама штучка уж больно хороша и не виновата, и не заработала сама себе визга и опубликования на двери сортира и тому подобных гайда-парков, тем более, что в партийном крайкоме, нехорошо, и если все эти непродуманные и вышеперечисленные стенограммы есть письменные памятники нашего времени, то как же они далеки от граффити египетских пирамид, даже козе понятно!

Пилатов вздохнул, вынул из кармашка шариковую ручку и присоединил к прениям своё, проверенное: «Иди ты!»

Рулончик экологически чистого продукта – туалетной бумаги «Чайка-Люкс» – тем временем как-то машинально, как-то так автоматически вымотался с никелированной вертушки в обширный карман рассуждавшего Ферапонтия.

Это он про дефицит бумаги рассуждал. Стрекозлову, вон, журнал печатать не на чем, а тут – на тебе, салфеточки, рулончики, колбасу в партийные резолюции заворачивают... Тоска. Тоцица.

Перед раздевалкой, на первом этаже, Ферапонтий неожиданно для самого себя остановился, замер, прямо остолбенел в каменной неподвижности, хотя мучительные сомнения раскачивали его изнутри, заставляя страдать снаружи.

Он стоял перед выбором: была – не была!

Гамлет здесь и не валялся.

Но это был гамлетизм по-русски.

«Иди ты! – вынес он решительный приговор. – Это я так не оставлю! Нет, не оставляю!»

Доверив гардеробщице пакет с продуктами, Гитлером и американским президентом в гробу, Пилатов ринулся по лестнице наверх, туда, где кабинеты, откуда начинались его сегодняшние хождения по музам крайкома.

Мчался, полный решимости.

Налево... прямо... туда, сюда... кажется, тут... или не тут?

– Подскажите, а где здесь...

Чертыхнулся. Плюнул. Надо же, у своего зеркального отражения собрался справку наводить!

Ага. Вот! Здесь.

Влетел в кабинку, заперся и быстро-быстро-быстро вытащил из бронзовой, под самоварное золото, вертушки, непечатый рулон туалетной бумаги «БАКС». Высший сорт. Мякенькая, в пупырышках, ласковая – спасу нет, в самом начале визита опробовал в соседней кабинке... Одновременно и познавательная: «XXXL Максимальный Размер Удовольствия» – и по розовому полю – зелёные доллары: на десятках, в овальной рамочке – президент Гамильтон, на сотках – Франклин... За пазуху. Вот так. Стрекозлову, поди, журнал издавать невозможно, бумажные лимиты душат, а тут вон чего, двери, Ляли, сок без мякоти, Шульженко... даже злость берёт...

Сполоснул руки. Причесался перед зеркалом. Осмотрелся: не топырится ли пиджак от «баксов»? Не топырится. Осушил ладони под иностранным тепловентроуструйным аппаратом – и чинно, очень спокойно прошёл мимо вдруг заявившейся старухи-уборщицы. Прошёл, но успел заметить, что в глазах подозрительной старухи как будто бы было написано очередное туалетное граффити: и откуда в нашей партии берутся такие засранцы, что даже подтирки на них не напасёшься, а ведь ещё с утра все кабинки снабдила...

Стоял ясный апрельский день.

Он в одно и то же время стоял и шёл.

А в нём шёл Ферапонтий Пилатов. А с ним – три американских президента и Гитлер, но Гитлер-сволочь как бы не в счёт.

В квартете: тощица, сытое удовольствие, новое положение и маленько злость.

В воздухе витал дым столетий.

Никаких иных дымов в крайкоме КПСС не заметили. Там замечали только те явления, которые стояли в планах и программах и сопровождались галочками на полях.

С площади репродукторы наполняли атмосферу звонкими голосами детского хора Центрального радио и телевидения, исполнявшего песню Марка Фрадкина «Прощайте, голуби!» на стихи Михаила Матусовского:

*Наступай, наше завтра, скорей,
Распахнись, небосвод!
Мы пускали вчера голубей,
Завтра спутники пустим в полёт.
Пусть летят они, летят
И нигде не встречают преград!..*

Из Серого Дома до Дома со львами – пять минут ходу. Но ведь и пять минут – это не совсем или даже совсем не карнавальная легкомысленная ночь Людмилы Марковны Гурченко.

Это: шествующий квартет, остановившийся у перекрёстка, перед светофором; это – постовой милиционер в валенках с галошами, с полосатой палкой; это – персональный председатель хибаровских писателей, голова которого в мохнатой шапке вдруг ни с того, ни с сего стала испускать разноцветные лучи: жёлтый, красный, зелёный; это, наконец, – Сочинитель, которому сподобилось пребывать неподалёку, и он решительно всё в эту пятиминутку видел, слышал и брал, как говорится, на карандаш: светофор, опять же вдруг, ни с того, ни с сего, загоревшийся сразу всеми своими тремя огнями; и Ферапонтий Пилатов, некоторым таким фокусным образом заслонивший своей головой три полыхающих огня в поле зрения постового милиционера; и милиционер, которого тоже можно понять не как карнавальную песенку, но как реквием в галошах, исполненный дикого недоумения: куда, за что и по какому

пункту параграфа статьи? – свистеть ему, сержанту, на рассмотрении которого находится целый участок настоящего квартала, если фактически стоит у перекрёстка гражданин, в общем ничего фактически не нарушает, но! – светит, как бабкин бог Иисус Христос, разноцветной своей головой, сияет лучами в разные стороны и фактически представляет тем самым нерегулируемым сиянием предпосылку дорожно-транспортного происшествия, не исключено, что даже с возможными жертвами трупов на виду крайкома партии и государственной безопасности... Но тут светофор, полыхнув тремя глазами подобно угасающей свече, беспробудно потух, и тогда всем всё стало ясно: кто есть кто на этом перекрёстке жизни, а светофор сошёл с катушек... ему, трёхглазому, вполне хватало одного постового милиционера, чтобы ощущать себя полноценным квартетом, но тут, видите ли, влез в пейзаж лишний человек со своей президентской компанией плюс Сочинитель – тоже в квадрате, с чужой тощицей, чужой сытостью и чужой злостью... – вот, явились совсем из другой оперы и всю музыку дорожного движения испортили, одним своим видом развалили четырёхтактную гармонию перекрёстка жизни... – и светофор покончил самоубийством...

... В служебном председательском кабинете Ферапонтий Пилатов собрался обстоятельно осмыслить своё новое положение.

Что сейчас насущно? Спокойствие, выдержка, трезвость.

Но эта Аврора Крейсер... этот Китобойский... ротация на носу... урчит желудок, изнутри облизываясь...

Ферапонтий задумчиво крутил в руках бумажного голубя, расправил ему крылышки, распластал на столе на манер цыплёнка-табака, разглядел ладонью, получился тетрадный листочек с прописью: Пора!

«Стремление к литературному самовыражению, – подумал Ферапонтий, – в русском народе неистребимо. Только к стремлению хорошо бы ещё и элементарную грамоту добавить».

Потом приставил к і грамотный знак !, вновь задумался, прислушиваясь к внутреннему голосу...

Урчал желудок от хорошей еды.

Ферапонтий энергично смял в комочек тетрадный лист, бывший некоторое время голубем, журавликом, самолётиком и цыплёнком-табака, и пошёл скорым шагом в сортир.

На этом жизнь голубчика из Жёлтого Дома кончилась.

И оплакал его один лишь человек на всём белом свете – Сочинитель: неправдашнего голубя – взаправдашной печалью.

.....

А что, собственно, случилось такого особенного? Да, собственно, ничего особенного и не случилось.

Стоял ясный апрельский день. День как день.

Посреди дня кончилась жизнь бумажного голубя.

Наверное, пора пришла.

Но пора как пора бесконечна и в жизни, и в смерти. И все это понимают, что пора есть пора. Впрочем, каждый понимает по-своему.

Постовой милиционер сочувствует своему трёхглазому сослуживцу с его релейной системой, внезапно сошедшей с катушек.

Председатель Пилатов думает. В думах кружатся птицы певчие, птицы ловчие, бумажный дефицит, пора жаловаться, ротация, тоска, таскать её – не перетаскать..

Аврора Крейсер и Китобойский обсуждают: идут ли к председателю лицу фетровые боты или не идут?

Туалетный работник крайкома, старуха-уборщица, отматерившись по-пролетарски, ударила в ностальгию... Всего-то пару лет назад, когда спецпостановлением бюро запретили использование «Правды» в туалетных целях, старуха сидела в отдельной, специально оборудованной, кабинке и длинными редакторскими ножницами отстригала название газеты, должность чистая, а если ещё пять лет назад – так была ещё чище, а двадцать – так вообще! а уж в молодости от неё в крайкоме ВКП/б/ все товарищи трепетом трепетали...

Буфетчица Маруся с посудомойкой лается – в стихах и прозе:

– Ну, вот чо ты на меня лицо своё вытаращила, как какая-нибудь невинная девушка? Повторяю тебе в десятый раз, чтобы тебе попало прямо в глаз: культура обслуживания клиентов – это когда стакан на просвет смотришь – и ни пятнышка на ём...

Два инструктора, Толя и Коля, в одновременном передыхе между бумагами и телефонными звонками с удивлением смотрят друг на друга, точно видят впервые. И как бы для знакомства, для предварительного согласования, Толя запекает, словно интересуется:

*Дремлют плакучие ивы?
Низко склоняясь над ручьём?*

– Бледун ты сегодня что-то, – говорит Коля.

– Не бледнее тебя, – отвечает Толя.

И Коля продолжает товарищеский отдохновенный романс:

*Где ты, голубка родная?
Помнишь ли ты обо мне?..*

Генерал Поцелуйко целиком и полностью погружён в служебный многосюжетный и многоходовой роман: литературная папочка, ФЭД,

лента Мёбиуса, задержанный американский журналист даёт признательные показания, Ленин как пародист, Orwell, всё путём...

Дэвид Корпорейшин – в СИЗО. «Сизокрылый ты наш», – сказал ему добродушный начальник в капитанских погонах. Дэвид всё думает и думает – о России, предельно нищей, но беспредельно духовной, как тот мужик в бороде и валенках, в электричке близ станции Смальта, не о хлебе заботится – о душе: душа, – говорит, – горит, – говорит, и много ещё чего говорит, но ничего не может, в отличие от всего народа, совокупного, который может всё на свете, может не только себя возвеличить, но и сам себя поработить и ошейнику своему возрадоваться вроде домашнего пса радующегося: гулять пойдём! гав-гав-ура хозяину!..

Товарищ Краснопресненский-Крестовоздвиженский закончил-таки репетицию первомайской речи и пьёт чай, а секретарша Аномалия Андреевна Курбская, смиренная голубица, глядит на чай с партийной нежностью и вся томится, томится, как молоко в глиняной макитре, или, лучше сказать, как гречневая каша в горшке...

Владыко Хризантем, наказав пресс-секретарше Аннушке заварить покруче чаёк с мятой и мелиссой, рассудил так: «Если бы Екклесиаст, сын Давида, царя в Иерусалиме, знал в подлиннике русское слово «пора», то не стал бы в книге своей так безжалостно тратить время на слово «время», а употребил бы во благо это «пора», которое и точнее, и фигурнее, и в большей степени привязано к человеку со всех сторон и со всех концов, и тогда глава третья зазвучала бы не с космическим холодом, но теплокровно...» Епископ взял Библию со стола и молча зашевелил губами: «Всему своя пора, и пора всякой вещи под небом; пора рождаться и пора умирать; пора насаждать и пора вырывать посаженное; пора убивать и пора врачевать; пора разрушать и пора строить; пора плакать и пора смеяться; пора сетовать и пора плясать; пора разбрасывать камни и пора собирать камни; пора обнимать и пора уклоняться от объятий; пора искать и пора терять; пора сберегать и пора бросать; пора раздирать и пора сшивать; пора молчать и пора говорить; пора любить и пора ненавидеть; пора войне и пора миру...»

У Сочинителя – форменная беда. Пишмашинка-стрекотуха, отстрекотав строчки про злоклучения светофора, то ли взяла в пример того циклопа для солидарного подражания, то ли в знак протеста своему хозяину, доводящему технику до белого каления с дымком отечественного производства, то ли ещё что взбрело в её винтики-шпунтики... – отказалась работать.

– Это что? – гневается Сочинитель. – Бунт? Упоминание про компьютер не понравилось? Дождётсяя!

Раньше случалось: буковка западала, чего-то там заклинивало в механизме. Буковку К однажды заклинило. Сочинитель, не долго думая, заменил её на литеру Х, по внешнему сходству. Письмецо в конверте отправил в город Куйбышев. Пришёл участковый из райотдела милиции. Сочинитель писал объяснение, в котором отрицал злостное хулиганство. Потацил пишмашинку в ремонтную мастерскую. Нужную букву восстановили. А нынче – вдруг все до единой забастовали. Букв нет. Значит, слов нет. Предложений нет. Фраз нет. Прозы нет. Сочинителя нет. Одни знаки препинания без препон обозначаются. Но что, спрашивается, можно составить из знаков препинания? Чуть. А Сочинитель, между тем, затеял не чуть, а роман-пародию, в духе Сервантеса и Гомера-Джойса. Пора пародий, – решил Сочинитель. И уже настроил карандашиком несколько страничек в блокноте о четырёх октавах бытия, то есть о четырёх компонентах, составляющих такой феномен жизни человека, как открытие; в качестве эпиграфа – вездесущий ас Пушкин: опять его всего лишь пять строчек, начатых и брошенных, небрежно гениальных, в которых расположилась квадрага Открывателя, дивная колесница:

*О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...*

Вот! Просвещенье + опыт + гений + случай = открытие. Да в такой формуле славно было бы ещё каждое слагаемое трактатом обеспечить. Соответственным образом: о ворах + о странниках + о пьяницах + о дураках, которым всегда везёт и которым закон не писан. Оно бы и ничего получилось, с этой квадрагой. С этим квартетом, который, надо признаться, отовсюду вылезает и сам по себе загадка. Действительно. Взять, к примеру, Святую Троицу. Взяли? Взяли. А теперь приходится думать, как в случае со светофором и постовым милиционером. Помимо троицы, значит, есть (должен быть!) кто-то четвертый, пусть даже и не в святом измерении, кто всё это придумал (или не придумал – тоже поступок!), увидел (или не увидел), услышал (или не услышал), ощутил (или не ощутил) или оной троице поклоняется (или не поклоняется); кто-то ведь должен держать эту троицу в голове, в сердце, в душе, в пятках, за пазухой, на языке, на примете, в красном углу – во имя Отца, и Сына, и Святого Духа – можно даже и с большой буквы писать – Четвёртый, или проще – Ч. Но время Ч (не время ли Человека?), которое и буква, и цифра, по видимому, ещё не пришло.

Медсестра Софочка Бабореко...

Оставим девушку в покое. Не в себе девушка. В мечтаниях.

В Жёлтом же Доме Савва Савушкин разъясняет сомневающимся голубчикам:

– И всё делается у нас по-другому. Но это делается, если брать сову не отдельно, как одинокую птицу мудрости, а если брать сову в совокупности.

Ему запальчиво возражают:

– Ты шурупишь, чо говоришь-то? Совсем осовел?

– Может быть...

– Но откуда? Из каких источников ты осовел, Савва, если у тебя ни в одном глазу?

После чего народ указательным пальцем вкручивает шурупы в индивидуальные виски.

От такого дразнительного намёка – хоть плачь, хоть рыдай.

И какая же радость привалила, обрушилась, чуть не придавила Савву, когда один новенький голубчик к нему сам подошёл с интересом и обхождением без шурупов. Звать Вадя, по фамилии Мошонкин.

– Ты, – говорит, – сова, а я совок. Советский простой человек. Собираюсь сделать открытие. Давай с тобой дружить?

– Давай, – согласился Савва.

И уже через несколько минут начали дружить на базе двух основополагающих идей-проблем: во-первых, сова, но её отодвинули на потом; во-вторых, которое сделалось во-первых, – старая задачка Мошонкина о перегонке человека плохого в хорошего.

Вадя до сего времени, конечно, делился своими мыслями кое с кем. Результат плачевный: не понимают, хоть кол им на лбу пиши, смеются. А начало решения своей проблемы Вадя видел в том, о чём не уставал повторять: поллитра водки стоит 2.87, чекушка – 1.49, и если 1.49 возвести в степень 2.87, то получится число π с точностью до нескольких знаков после запятой = 3,14..... Дальше. Это число Пи означает в математике число, равное отношению длины окружности к длине её диаметра, иначе – трансцендентное число, бесконечная непериодическая десятичная дробь... Мошонкину прямо в глаза ухмылялись. Говорили: возьми лучше в числитель семь пядей во лбу, а в знаменатель семь пятниц на неделе, и получишь, что всё на хрен сокращается по нулям! Но Вадя не унимался. Куда, к чему присобачить эту Пи? А ему в следующий раз предлагают: возьми, – говорят, – мильён терзаний, раздели на тридцать три богатыря, умножь всё это дело на «сорок сороков», вычти «семь-сорок», опять раздели на тыщу и одну ночь, а уж потом, благословясь, извлеки корень зла и присобачь его себе к заднице вместо хвоста... Ну, не суки ли?

Теперь – Савва. Он искал «сову» в вишнёвой Большой Советской Энциклопедии. Нашёл такое слово. Но помимо слова между страницами лежала ... сова, сплюснутая, как цыплёнок-табака, и тонкая, как засушенный древесный лист. Лежала. Лупила на Савву глаза свои жёлтые. Потом оторвалась от страницы – взмахнула крыльями и улетела. Савва туда, Савва сюда – нет совы, и даже слова о ней нет, все энциклопедические тома на букву С, с 22-го по 25-й том, переворошил

– нет такого слова. Исчезло. Так что, к сведению товарищей, кому в тех томах рыться приспичит, – пусть знают: Саввина работа, спугнул птицу, упорхнуло слово, и где его теперь искать – покрыто мраком, ищите в сумерках.

Но нет же худа без добра и добра без худа!

Обогатился Савва Савушкин иными хорошими и интересными словами на С.

– Сублимация, – сказал он Ваде Мошонкину, – это на латинском языке означает вознесение.

– Дело святое, – кивнул Вадя. – Духовное.

– Немного есть. Переход вещества при нагревании из твёрдого состояния в газообразное, минуя состояние жидкое. Понятно?

– Ага, – сказал Вадя. – Ещё как! Выпивкой отдаёт твоя сублимация, при минимальной закуске.

– А твоё число Пи? Тоже ещё тот намёк!

– И куда же нам этот намёк присобачить, друг?

– А вот слушай, друг...

Склонились друг к другу на расстояние шёпота, словно подпольные революционеры, научно нахмурили лбы, принялись рассуждать немногословно, при самом минимуме слов – а зачем они, когда иные знаки есть? – при этом Савва заметил, что корень проблемы, возможно, и не в Пи, а, возможно, в Неперовом числе: тоже трансцендентальное, то есть, число предела, к которому стремится выражение $(1 + \frac{1}{n})^n$ при неограниченном возрастании n , короче говоря: $e = 2,718281828459045235360...$

– Ага, – сказал Вадя задумчиво. – Тут что-то есть. Надо эту тайну поворошить. Пора, значит, подорожить.

– Вот и я тоже самое говорю, – согласился Савва. – Пора, значит, в дорогу, в даль светлую научно-технического прогресса... Но сперва, друг, нам в самый раз пора на обед. Пошли за чашками-ложками?

– Пошли, друг.

И пошли.

Идут по коридору, каждый в свою палату за личными обеденными принадлежностями.

Вадя на ходу губами шевелит, не аппетит губной гимнастикой нагоняет, нет, – то ли корень из числа Пи закапывает, то ли, капля за каплей, из нового числа, Неперова, более-менее понятный смысл извлекает... да ещё жену свою, Марфу-посадницу, вдруг вспомнил, чтоб не забыть: когда придёт с передачей, так надо сказать, чтобы принесла в другой передаточный раз две тетрадки в клеточку и два карандаша химических «Родина»...

А навстречу Ваде – Молчальник.

Столкнулись взглядами и враз одновременно остолбенели.

– Заюшкин! Это ты? – первым пришёл в себя Мошонкин.

Молчальник тоже пришёл в себя: аккуратно, через левое плечо, развернулся на пятке и быстрым шагом стал удаляться.

– Стой! – крикнул Вадя. – Не уйдёшь!

Действительно, от Вади не уйдёшь, если он не послал кого куда подальше. Догнал, схватил за уши, развернул и крепко, как иногда Марфу-посадницу, расцеловал. Но Молчалник вырывался из рабочих рук Мошонкина, вертел башкой, уклонялся, и Вадя перехватил ему горло железными пальцами и спросил ласково, можно сказать, даже задушевно:

– И где же наша бутылка, Заюшкин?

И снова – Сочинитель...

Я понимаю: растяжимое это понятие, Сочинитель, – и весьма. Вот у него, бедолаги, пишмашинка полетела (забарахлила, забастовала, – кто её знает). Он психует. А зачем, спрашивается, уж так активно реагировать? Во-первых, общеизвестно: нервные клетки не восстанавливаются, металлические штучки-дрючки – наоборот. Во-вторых, нечем сказать, так помолчи, верное дело, проверенное, даже колоколам в наказание языки рвали: чтобы до слова возвыситься, надобно сперва домолчаться до него, иногда – и выпасть в осадок молчания, кому-то лет на сто, кому-то на четвертушку века, кому-то даже на пять минут... – и в оном молчании гладить кончиками неоперённых пальцев буквы русского алфавита, от А до Я...

Сочинитель положил на стол перед собою чистый лист писчей бумаги и по линейке, сверху вниз, располовинил его карандашом.

Итак, – решил Сочинитель, – слева разместятся мысли к роману-пародии, справа – размышления к мыслям...

Идейная установка: советский народ – самый читающий, самый литературный народ в мире.

Возможно, – шутка. Но тот же Вас. Вас. в своё время, но в другом месте предупреждал шутников: «...А раз – шутка и анекдот, то уже никогда не выйдет холодного, холодного потому – что формального, *liberté, fraternité, égalité*».

И арабы не знают препонов препинания. Не любят.

Кстати, англ. критик Джордж Бесфорд заметил: «Кто часто ставит в тексте многоточие – тот философ, кто знак вопроса – студент, а если слишком много восклицательных знаков – то фанатик».

«Художественная нация. С анекдотом», – заметил Вас. Вас. Розанов относительно российского славянства в «Апокалипсисе нашего времени».

Короче говоря, в этом плане для романа-пародии нет никаких препон, кроме самой азбуки. Сначала буква, потом слово. Потом уж – знаки препинания. Между прочим, эти знаки, возможно, не так уж и важны. Помиранцев С.С., например, малость счастливый, он не знает знаков препинания и, сочиняя Полное Собрание Сочинений «Нащёт светлого будущего», просит посторонних товарищей расставить знаки, где положено, если уж без них нельзя обойтись.

Но мы не арабы! А между тем, ничем иным, как препонами, препинаниями, препятствиями – движемся, и только благодаря им, в полном соответствии с Кораном.

А тире – это уж точно продолговатые прибалты.

А точка – штучка немецкая.

Вообще, для русского языка самый подходящий знак препинания – колесо.

И вот будут когда-нибудь кто-нибудь, пусть те же аксакалы-чревовещатели из Дома со львами или иногородние мёртвые души, сидеть над теми колёсами и гадать: вишь ты, какое колесо-то? а доедет ли оно до Москвы али не доедет, вот в чём вопрос?

Но мне есть что сказать этому Пилатову о том же самом: «А пошли вы все!..»

Вообще, оно мне нравится, даже без всякой философии.

Это получаются заячьи уши. Интересно, есть ли у арабов зайцы? Но это для романа не существенно. Существенно добавить к Бесфорду, что в России знак вопроса есть еврейский вопрос.

А запятая похожа на Малороссию.

Над двоеточием надо подумать.

И уже есть в русской словесности писатель, который создаёт, по слухам, литературу в виде колёс. 30 узлов в час.

Председатель Пилатов, возможно, обидится: «Иди ты!»

И поставить многоточие.

Многоточие зрения – тот же растр. Снова растр. Грабли. Жизнь как она есть с точки зрения растра...

Сочинитель поставил карандашиком три точки и погрузился в них, в эти заманчивые, как три звёздочки над стихом... и подумал: рано или поздно, но уж наверное в своё время, придёт пора и такому тексту на тему «Всё путём!», который будет отвергнут инстанциями по нецензурным соображениям и потому состоять будет исключительно из одних знаков препинания. Что ж, его пишмашинка к этому готова.

А раздвоенный листочек как-то так сам по себе сложился руками Сочинителя в бумажного голубя.

XLIX

«--- -- -- ---!»

«--?»

«----, -- ---- : -- - ----»

«-----! --, ----- --, --.»

«----- -- -, --- -, ----- --!..»

«--?»

L

... Вот так и поговорил я с Сочинителем: на два голоса, начистоту, по-свойски, по-душам.

Каждый, дважды паломник, остался при своём: общая душа, частные камни на душе, неизношенные, неизносимо невыносимые в отличие от души.

– Пойду выпью, – сказал один.

– Пойду полежу, – сказал другой.

И тут же выскочил первый облом: прежде чем сделать то и другое, надо идти. Идти надо, вот в чём штука, загвоздка и надсада. М-да!

Куда?

Скворчат скворешни.

В синих лужах прыгают весенние мозайчики.

Оттаявшая Земля освобождённо выдохнула, и выдохи её сделались ветреницами или, по-научному, анемонами, почвой одухотворёнными и склонными к махровости, во всех своих космополитических и вопросительных ипостасях: где растёт? – там, значит, российский подснежник; как на свет появился? – там, значит, французский «просверливающий снег»; в каком виде? – там, значит, германский «снежный колокольчик»... Чудны вздохи-выдохи твои, матушка.

– Са ва! – кричат пернатые.

– Всё путём! – скрипят перья «звёздочка», «серп и молот» или «лягушка».

Всё зазеленело на глазах. Даже лица. Что поделаешь, сезонный авитаминоз.

Почки совершенно распустились.

– Особенно левая, – говорит один.

– Пить надо меньше, – отвечает другой.

– Тоже мне, деятели, – усмехается третий. – Науку открыли!

А природа из квадратуры круга шепчет: ступай...

А дед Молитвин, зам главного дворника дома № 13-бис, на весь двор возносит с дежурной лавочки своё слово многозначное, исполненное одобрением, запретом, предупреждением, восхищением, напутствием и так далее, во всей гармонической гамме чувствований:

– Ку-да-а-а?..

Да, деятели. Да, наука. А что?

Наука любви, расставаний, открытий.

Наука побеждать, как обозначено в устах Устава.

– Какой восторг! – воскликнул генералиссимус С.

– Восторг – дело тонкое, – заметил красноармеец С.

– Песнёй песни, – подсказал царь С.

Ладно. Пойдём дальше.

Ибо вольному воля, ходячему путь – тропинка – дорожка – шоссе – тракт...

Не торопясь пойдёт:

1) поспешишь – людей насмешишь;

2) спешка нужна для ловли блох.

И так идёт себе, идёт – как трактат пишет.

Пора.

Пора параграфа.

§1

Как-то раз забылось позарез нужное слово. Крутилось что-то похожее на языке: остолоп, эскалоп... Вроде того, да не то.

Уткнулся искатель-открыватель в словарь иностранных слов в розыске самого что ни на есть русского понятия.

Нашёл. Выписал на листочек.

«ЭСКАПИЗМ (от англ. *escape* – бежать, спастись) – стремление личности уйти от действительности в мир иллюзий, фантазий; поддерживается и культивируется буржуазной пропагандой и «массовой культурой», насаждающими социальную пассивность и конформизм по отношению к существующему обществу».

Почти все четыре августейших сезона проносил искатель-открыватель в кармане, с табаком и хлебными крошками, сложенную вчетверо замусоленную бумажку. И вот однажды пригодилась, выручила, позарез нужная.

Развернул человек листочек бережно, уж шибко трухлявый, выгреб из кармана табачинки с крошками, набралось на целую самокрутку, свернул, языком приласкал, аппетитно омочив слюночкой, поднёс спичку – и только дымок пошёл...

§2

В трактире:

– Куда, куда вы удалились...

Пили, пили пилигримы... Пили так, и пили в гриме.

– За родину!

– Аналогично.

У главного пилигрима были такие синие глаза, что смотрящим на него казалось: в глазницы сквозь череп просвечивает небо.

– Ну, поехали! – тостуют пилигримы, опуская в никуда существенный вопрос: куда? Куда подальше, вот куда. Для пилигримов «куда» – это уже не вопрос. Поехали – и всё. Это само по себе звучит так же завораживающе, жизнерадостно и зажигательно, как две буквы Ж в слове «жажда».

– Хорошо пошла!

– Хорошо. И что характерно? Совсем недалеко!

Верно замечено: «куда подальше» всегда оказывается неподалёку, рядом или напротив, стоит только руку протянуть.

– Ещё бум?

– Бум, бум! – отвечают колокольно.

И ещё одно верно замечено: хорошего человека должно быть много. Полный, так сказать, вперёд! Но у тостующих кой-чего всё же не хватало. И главный пилигрим пошёл за кой-чем своим путём, по бездорожью. Пешочком, пешочком поспешил. Весь весёлый, пехотинец. И рукой дирижирует, а в руке веером романчик англичанина Кэрпа «Стать пилигримом».

– Прощевайте, господа присяжные завсегдатаи!

– Да и я тоже двинусь, однако. Пора уж, – решает второй пилигрим и двигается с места, с песней, с левой ноги: – Эх, дорожка фронтальная, не страшна нам бабёшка любая...

А третий ничего ещё не решил. Он был не настоящий пилигрим, а, скорее всего, ходок, похожий на пилигрима. Сходство прямое: похожий – тоже идущий, непохожий – недвижим. А разница такая: если пилигримы пили граммы, то ходоки свою страсть и утешеньице меряют литрами. Третий выдул норму, а чтобы закусить, как положено, так ему на это уже живота не хватило. Третий уже ничегошеньки не смог сказать по-пилигримски. Он просто по-ходоковски жужжал. Он жаждал жигулёвского пива, и его жгучее желание все понимали и верили ему так, как верили всем, кто говорил незнакомым людям «здравствуйте». И – странное дело! – пошёл себе третий, пошёл... – курсом на весть архангельскую. Идёт – как пишет.

– Нетушки, – бурчит на ходу, – не курсом иду, но курсивом. Не тексты пишу, а контексты. Понимать надо...

Бредут пилигримы. Слева – обручальная бочка и бронзовая нежность колоколов. Справа Хохлома хохмит: хенде хох, страннички! А впереди народу-то... ё-моё! Скорее невидимо, чем видимо. И площади, как плоские шутки. И осквернённые скверы. И не прямые дороги выписывают византийские вензеля.

Дорога и странник: семейные отношения, почти как муж да жена – одна сатана.

Дорога и странник: он её месил да бесил, она без него – без сил.

§3

– Ну, и люди пошли!

– Как пошли, так и идут, и идут...

Собственно, это всегда начинается просто: человек пошёл ходить. Давно это случилось. И вот он уже ступает, и вот уже поступь образуется, и поступок, и похвала одна из первых:

– О, этот юноша далеко пойдёт!

Впрочем, все ходят. Кто-то с «е-два» на «е-четыре». Кто-то едва-едва. Кто-то по самому краешку, по лезвию бритвы. Кто-то с девкою, кто-то с триппером... Железное правило: тронул фигуру – ходи, если ты не затрапезнейший обыватель, оббиватель порогов.

§4

В народе говорят с хлебосольной простотой всех немотствующих во грехе:

– Всю дорогу...

Это словосочетание равно относится ко времени и пространству.

Само пространство тоже, оказывается, вышло – из Эвклидовых те-

орем в геометрию Лобачевского, где параллельные прямые пересекаются и замкнутый мир ограничен внешней сферой.

А куда ведёт дорога? Камо грядеши? Не пламенный революционер, обычный пилигрим именно это и хочет узнать. Потому и уходит. И дорога перед ним уляжется, и тревога уляжется, точно обманутый хозяином пёс: обиженным колечком у крыльца, брошенным и забытым.

А вослед пилигриму пыль, пыль.

А на пути – фанерные стрелочки, указатели да вопросители:

стой, кто идёт!
шаг влево!
шаг вправо!
прямо!
куда идёшь?
а́може можешь?
камо грядеши?
к кому?
камю...
кама...
камасутра...

А какое вам дело, думает пилигрим, до меня, а мне до ваших жандармов, коньяков и иных прочих просветителей разума? Конечно, вы народ другой, насиженный, побогаче. Зато и подурнее нашего, ежели камлаете вослед уходящему. Вы можете позволить себе прямо с утра какие-нибудь буржуазные пошлости, вроде бутылки со знаменитым коньяком или мудрёной книжки с экзистенциализмом Нобелевской марки. А у моих башмаков, каликов переходящих, – иная пошлость: пошёл по миру, в мир, в хождение на три буквы. Подумаешь, камо, камо... Да пошли вы на хрен. Я не знаю, какую каму вы имеете в виду, но догадываюсь, что это не пламенный революционер, изображавший дурака. Этой камой могла бы стать знаменитая российская речка, но не стала... А что касается «кама» вместо «камо» и «сутра» вместо «с утра», так ваши ответы на наши вопросы всегда с грамматическими ошибками. Что поделаешь? Языков, бедные, не знаете. Язык-то у вас один на всех. Не то, что у нас: на каждого по языку...

Тик-так, ходики, пролетают годики... Такая, в сущности, короткая жизнь, и ведь надо же! – человек умудряется натворить столько глупостей! Тик-так, тик-не так...

Спросите, если хотите, у российского Овидия, провинциального поэта империи Осипа Бутербродского. Он уже на краю Ойкумены. А «Письма с Понта» он стал писать ещё до изгнания. Ранние стишки «Пилигримы» сделались гимном богемы и рафинированной босоты:

*И быть над землёй закатам.
И быть над землёй рассветам.
Удобрить её солдатам.
Одобрить её поэтам...*

§ 5

Из песни слов не выкинешь. Из пролетарской – тем более:

«Вышли мы все из народа...»

Слов не выкинешь. Зато фокус выкинуть, почище газо-электросварщика Бориса Бодунова, – это можно, это всегда пожалуйста, продолжительною строкой: «Как нам вернуться в него?»

А вот уже легенда интеллигента и бредень Достоевский: все мы, дескать, вышли из гоголевской шинели. Над этим утверждением с ухмылкой всезнания потешаются акушеры.

Но вот куда вышли, позвольте спросить? Да и вышли ли на самом деле или это только ушлая метафора?

Это Николай Васильевич вышел – человек, который хотел обнять необъятное и, осознав чудовищность своего намерения, в ужасе и смятении бежал за Апеннины.

А мы никуда не вышли. Там и остались, где мы Гоголя потеряли и демагога приобрели – маленькие, сырые, серенькие, не в рубашке рождённые, но в дзержинской шинели, в чрезвычайно комиссионной шинели, ворсистой, с крючками и хлястиком, в однополой шинели – и для мужеска пола, и для женска.

Гоголю хорошо. Он так долго смеялся, что напрочь позабыл, над чем смеялся – и заплакал. А мы? А мы из другого суконного ряда. Мы так долго плакали, что уже и позабыли, над чем, собственно, плачем. Но ведь должны же быть концы концов! И над чем же мы тогда посмеёмся? Увы, все мы вышли из «бывших в употреблении» и, к счастью, не составим будущего: девушка с веслом и пионер с барабаном, свинарка и пастух, кубанские казаки, весёлые ребята, семеро отважных, развращенцы и невозвращенцы, юристы-юмористы и пухлогубые прокуроры, кавалеры золотой звезды, парни из нашего города, садоводы-любители, шесть соток в обои руки... Были. Слава богу, не будем. Ибо не скоро, но всенепременно грядет срок – и укор урока ужалит в каждое сердце, и сердце вздрогнет с достоинством ваньки-встаньки, и осерчает сердце, и пошлёт оно нас на три буквы, и буквы те есть Слово, и Слово это есть Бог, и Творец растворится в учениках своих... Отныне и присно и вовеки веков – Икс Восклицающий, увиденный из Зазеркалья: X! = IX.

§6

Но вот что странно: никуда не вышли, а – вся жизнь ходуном ходит, в вечном движении. На сердечной ли тяге? На сцепном ли весе?

Вся страна странная. Страна-подвижница: подвиги, подвижки, задвижки, светила всходят и заходят, посевы, книжка вот вышла, дождь идёт, снег пошёл, прильнувшая к столу страница тоже странница, уходящая от Сочинителя в свет... часы-ходики, и время вышло, а куда же, позвольте спросить, оно направилось? Сошло на нет? Сходило на горшок? Да вот и аромат соответственный: «Шинель № 5». Вот что-то вышло – в смысле получилось. И к лицу идёт – в смысле годится для любования...

Ах ты, сторона-старинушка, тягучая, вязкая, возгордившаяся квашня, осуждённая на вечное мукомолье, на самоедское дрожание, на бесконечное брожение – между зерном и хлебом...

*Жених и невеста
поехали по тесту.
Тесто упало,
невеста пропала.*

Ау, невеста! Кончай эти фокусы. Не то жених альтернативу приголубит!

А между зерном и хлебом – сеятели следов. Путешественники, паломники, ходоки, ходатаи, пройдохи, проходимцы ухажёры, шатуны, беглецы-беженцы, пришельцы-ушельцы, прихожане-ухожане, путники и распутники, путаники и ухоженные путаны, пешеходы по вспалённому асфальту, скитальцы – от скита к скиту, странники – от странности до странности, бродяги, вброд бредущие вдоль реки времени, там, где чужеземцы дожидались бы наведения надёжного моста или нового порядка-орднунга на чужих ходулях...

И большая Ходынка тут, и малые...

Бродячие символы, похожие один на другой, как две капли воды – на третью. А вокруг них – россыпи предложений:

– Вход строго воспрещён!

– На выход, маэстро!

– Ваш ход, товарищ Шифер!

Куда?

Дверь как дверь – хошь верь, хошь не верь. Одна табличка на ней:

НА ВЫХОД

Один артист через ту дверь всегда попадал на сцену. Другой, почему-то, – на задний двор...

§7

Раскинем карты...

«Куда – р. в Хибаровском крае, впадает в Море из Кудинской степи. Аборигены осмысливают название от слова худа – «сват», худайн гол – «сватова долина». Некоторые считают, что это ро-

доплеменное название произошло от местного рода худай. Могло быть здесь наследие топонимики тюркоязычного народа: када (искажение – хада, худа) – «крутой», «обрывистый», «отвесный». Этими морфологическими чертами отмечаются берега и долина реки Куды. Впервые о реке Куде упоминает Иван Похабов в 1649 году».

§8

Мир мерцает. Человек непутёвый – человек вне дороги. Всё нормально – значит, всё путём. И всё по пути. И всё путёво суть очень хорошо. Месяц, бродячий рожок, альтист серебряный. Рожь с дрожью посреди бездорожья. Шмели, жужжащие дирижаблики. Жаворонок на облачке, словно кучер на облучке.

А у паломников то и дело поломки в пути, и в душе каждого не благолепие, не мысли масляные, но настойчивый хворобышек ежесекундного беспокойства.

– Душа не принимает...

– А ты, – советуют странничку доброхоты, – попроси её посторониться. Скажи ей ласково и с уважительностью: отодвинься, милая, в сторонку, не то оболью невзначай. Она и даст дорожку твоему стакану.

– Господи, да чего ты мне тут такое турухтишь? Какой стакан? Не ты ли самолично лопнул мой стакан, когда им по столу стучал? Значит, не в стакане дело.

– А в чём же!

– А в том, мил человек, что вокруг вдоволь воды напиться, но совсем нету жажды. Это досадно и несправедливо, как ложь, подобная начальнику, который только что вышел на одну маленькую секундочку и щас придёт...

Вот такие они, поломки в пути. А мир по-прежнему мерцает. По левую руку – одуванчики в белых шубках и Бежин луг, где сын отца предаёт. По правую руку – убежище, третий подъезд дома, где грациозно спиваются сантехники. Впереди – то ли Восток алеет, то ли Запад румянцем покрылся... то ли заря Кобзаря, то ли заряд Цезаря... Память впереди человека бежит. Плач палача. Лагерь пронумерованных энтузиастов. Пейзаж обитаемый. Зона Кобзона. И самая сексуальная русская песня о дубинушке, которая сама пойдёт... Куда?

Неоглядность. Великая Степь. Степь, которая не укачала русское кочевье. И не остепенилась Русь в кочевье своём на кочах, по кочкам, нет, не остепенилась, но протянулась в срединном пространстве между чудом и чудовищем.

§9

«Тип странника так характерен для России и так прекрасен. Странник – самый свободный человек на земле. Он ходит по земле, но стихия его воздушная, он не врос в землю, в нём нет приземис-

тости. Странник – свободен от «мира» и вся тяжесть земли и земной жизни свелась для него к небольшой котомке на плечах. Величие русского народа и призванность его к высшей жизни сосредоточены в типе странника».

Николай Бердяев. Пассажир «философского парохода», на котором в начале двадцатых годов по воле Советской власти отправились в эмигрантское скитание лучшие мыслители России.

§10

Не то страшно, что существует наличие зла, страшно отсутствие добра. Если первое – натурально, то второе – катастрофично.

Где человеку преклонить главу свою?

Помимо древнеславянских первопроходцев, осваивавших окско-волжское междуречье, заселённое угро-финнами...

помимо беженцев из татаро-монгольского засилья...

помимо беглых крестьян и разного рода голи перекатной, людей гулящих...

помимо разыскания плодородных земель – да всё, как правило, в одну сторону, на северо-восток, подальше, подальше от вынужденного подсечного и переложного земледелия, требовавшего постоянно оставлять обжитые места и подаваться на новые...

помимо всего этого есть в российской истории и духовное странничество, вызванное поиском «божьей правды» и совершенной нетерпимостью к мирской злобе и жестокости.

§11

...В преславные времена государыни Екатерины Второй жил-был беглый солдат Евфимий. Любил Евфимий поразмышлять, порассуждать о жизни. Времени у него для такого умственного занятия имелось предостаточно, да и пространства тоже хватало – от солдатской стойки «смирно» до смиренности христианской простору мыслительного для одной головы даже с избытком.

Так случилось, что собеседниками Евфимия чаще всего бывали раскольники-старообрядцы, старцы суровые, неколебимые.

– Патриарх Никон, сучка поганая, пёс шелудивый, – говорили старцы, – есть пророк Антихристов. И Антихрист не замедлил явиться. Воцарился на Святой Руси под именем государя Алексея Михайловича Тишайшего. И пошли от него все последующие антихристовы цари. И поклонилась дьяволу церковь православная. И все казённые людишки поклонились. А уж с царём Петром так и вовсе Антихрист с бесами восторжествовали. Учинил царь перепись народу, и с тех пор каждый, кто в мерзопакостный реестр попал, заставлен был платить дьяволу подать подушную. И всё теперича на Руси сделалось соблазном дьявольским. Заблудились православные – в лизоблюдстве, в сло-

воблудии... А перечти-ко, миленький, откровенье святого Иоанна Богослова, апокалипсис пророческий...

Читал Евфимий:

– И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульственные... И дивилась вся земля, следя за зверем; и поклонилась дракону, который дал власть зверю, и поклонилась зверю сему... И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем... Охохонюшки, куда ж мы притопали, горемыки? Куда ж дальше-то топать, господи Сусе?

Топали старообрядцы, ревнители древлего чина, в глухоманные таёжные дебри, туда, куда «зверь» поостерёгся бы явиться. Шли общинами. Ожидали благостного конца света и Страшного Суда под строгим началом старцев-староверов. Святейший Синод империи шибко скорбел по заблудшим чадам духовным, скорбь та совпадала с тоской правительства, которое не желало терять числа налогоплательщиков, тоска правительства полностью соответствовала приказам военного ведомства: розыскные команды добирались до самых потаённых скитов с арестными ордерами, а старообрядцы предавали себя огненному крещению, живъём сторали, лишь бы не попадать в лапы «зверя».

А что оставалось делать тем, кому и бежать-то от Антихриста некуда? Из средней полосы России не каждый мог до таёжных чащей добраться...

Выход из такого положения придумал Евфимий: уйти в вечные бега, постоянно пребывать в странствиях, нигде подолгу не задерживаясь, и таким вот ходячим образом стать неуловимым для властей бесовских: вроде бы и есть человек, а вроде бы как и нету его вовсе, в списках не значится, из народонаселения выпал...

§12

Вольному – воля, ходячему – путь, скатертью дорожка.

А уж коли вышел в люди – иди! Иди, гляди, оглядывай, друг Горация. Город за городом. Горе горькое. Горе – мы. Горемыки. А вот и горло, горящее от гордыни. Горбатые горы греха. Гордиев узел в ранге государственного герба. Торжественные горны пионерско-металлургических зарниц. И только в отдельно взятой горенке, как в отдельно данной горсточке, отыщешь ты эту малую малость: правду божию. Склони пред ней голову и повинись, проходящий... антисемит Бегун, культуртрегер Ступин, космополит Бродский, демократ Ходий, буревестник Пешков... последний, вообще-то, может быть и вовсе не пешеходом, а пешкой, но ведь пешка потому и есть пешка, что – ходит!

§13

Гора по-японски – «яма». Фудзияма, гора Фудзи. В русском языке тоже имеется «яма», но это уже нечто совершенно противоположное «горе». Что такое яма по-русски? Объяснений не требуется. А откуда оно взялось, это словечко? От тюрков. Татаро-монголы словом «яма» обозначали дорогу... Как мило, как близко, как тепло! Потому что дороги на Руси ничем иным, как яма на яме, назвать нельзя. Свой особый путь.

В Московском государстве ямами, кроме дорог, назывались ещё и станции, удалённые друг от друга на расстоянии дневного лошадиного пробега, от сорока до ста километров в нынешнем исчислении расстояний. При станциях ямской службы строили жилые дома для путешественников, сараи для повозок, карет и прочих дилижансов, конюшни, кузницы... Почту стали именовать ямской гоньбой... «Ямщик, не гони лошадей!» Целая эпоха. Эпос. Безвозвратно отступивший мир, оступившийся о порог третьего тысячелетия...

А электричка подползает к станции виновато, как собака. Ещё бы! Три часа опоздания... Да вот ещё расхожее: «Поезд ушёл!» Но это не совсем пассажирская реплика. Это другое. Это есть состояние безнадёжности, состояние абсолютно индифферентное к средствам передвижения, безразличное к человеческим катаклизмам точно так, как песок Сахары безразличен к глобальным землетрясениям: пустыня уже есть результат разрушения, и никакие иные тектонические угрозы ей уже не страшны, она и после них останется песочком, разве что ещё более просеянным, выровненным, приглаженным.

§14

...Евфимьево движение бегунов осело в селе Сопелки близ Ярославля и организационно делилось на три категории.

Первая – собственно странники.

Вторая – «оглашенные», то есть кандидаты для вступления в общину, проходящие испытательный срок.

Третья – так называемые «жилые», держатели явочных бегунских «пристаней». Жилые проживали так, как обычные люди, ничем не выдавая своей принадлежности к общине, однако перед приближением жизненной кончины они обязаны были уйти «в бега» и умереть под открытым небом смертью странника.

От пристани – до пристани... Иногда состоялись «соборы», на которых решались насущные вопросы.

И так потаённая организация просуществовала около семи десятков лет без единого провала. Но однажды случилось событие, положившее странничеству начало конца.

Ярославские жандармы в 1849 году вышли на след разбойничьей шайки, атаман которой был уроженцем села Сопелки. Нагрянув в село с облавой, «голубые мундиры» были поражены увиденным.

Вот что доносил в Петербург один из членов комиссии по расследованию «сопелковского дела»: «Дом пристаносодержателя состоит из бесчисленного множества дверей, ходов, подполий, келий, сообщающихся в разных направлениях с другими кельями, с собственно домом, с огородом; есть подземные ходы к соседу или на вспаханное поле, и всё это имеет целью способствовать побегу скрывающегося; он неуловим для человека, не изучившего тщательно эту остроумно придуманную и ломаную архитектуру... В Сопелках я видел большой дом, построенный в виде лабиринта и состоящий из множества келий и ещё большего числа ходов и выходов; видел следующие тайники: в стене сделан шкаф, которого полки заставлены большими горшками; подняв нижнюю полку, открываешь щель, ведущую в довольно обширную подземную комнату...»

§15

Забавно читать такое в наши дни. Очень забавно. Но как-то вдруг эта забава улечувивается, исчезают лабиринты и кельи, возникают ульи – как образ самой России. Много ульев. Множество ульянышей. И каждый с гонором, с принципом, даже самый юный ульяныш.

– Нет уж, – говорит он своей нежной матке, – ну её на хрен, такую сотовую коммуникацию! Мы, маманя, пойдём другим путём!

§16

...За два года дознания «сопелковского дела» комиссия наработала аж 86 протокольных томов. Арестованные бегуны посажены за решётку, сосланы в Сибирь и на Кавказ. Странники затаились и, пережив пятерых императоров, не исчезли даже в бурном кипении трёх революций. Что монархи, что Советская власть – всё едино, всё ненавистно странникам, всё не от бога, всё от дьявола.

И ещё долго вылавливали их, и судили их, и в лагерях Гулага изничтожали – попусту.

И по сей день живы.

§17

А пилигримы наши всё шли да шли.

– Куда? – спрашиваю.

– Вопрос не стоит. Вопрос идёт, – отвечает синеглазый.

– Откуда?

– От верблюда.

– Как так?

– Так как. Верблюд – это дромадёр. А дромомания есть склонность к бродяжничеству. Короче, у верблюда два горба, потому что жизнь – борьба. Понятно?

У босяка на ногах наколка синее: «Оне устали» – татуированное воспоминание о дороге туда и обратно, и обратно опять...

– Опять, – вопрошаю, – приспичило?

– Ага, – говорит босяк. – Приспичило. И заискрило от тех спичек. И запалило. И пятки обожгло жгучим хотеньем пошариться по шарiku по нашему, преимущественно пёхом. Ага. Вот такой шарият получается. По-пехотному: ать-два, и пешка в дамках.

Ушлый парень, этот босяк. Снаружи плут, изнутри Плутарх. Провинциализм с провиденциализмом, возведённый в ранг достоинства, – это его злоба дня. Молодые скворцы, падающие в обморок от восторга солнечного света, – это его интерес. Стоматология, мудрейшая из наук, изучающая нецензурную лексику, – это его, босяковское, увлечение. Двенадцать зодиакальных созвездий – это его забота. И двенадцатый час по-шекспировски – его удивление номер один. И двенадцать апостолов на тайной вечере – его равновесие. И двенадцать стульев, разбежавшихся по РСФСР... И двенадцать граждан, марширующих от имени Блока и блока коммунистов и беспартийных вслед Христу... Базарная мера. Дюжина. Как тут скажешь босяку, что не дюж! Ведь за всем на свете уход нужен: и за жизнью, и за смертью. Вот он и ухаживает, босяк-то, ухажёр беспортошный, беспачпортный, бич на все руки, бомж на все ноги...

– Зачем, – спрашиваю, – зачем тебе эти дебри? На кой тебе сдались эти чащи и таёжные тупики, эти тарзаньи терзанья и прочие тити-мити, когда мы и на паркете могли бы запросто в маугли поиграться, а заодно и в Киплинга? Как тебе ещё не надоело со своей тоской таскаться, композитор ты наш, понимаешь, Тосканини?

Светится босяк: то ли рожа у него, то ли отражение.

– Тосканини, – говорит, – увы, не композитор. Он дирижёр, для использования исключительно в мирных целях. Ну, я пошёл?

Закидывает за спину гитару, во чреве которой резонируют складной, телескопический стаканчик, карандаш и крохотный блокнотец, – и уходит. Музыкант, философ, поэт. Женька Иорданский. Отправляется – курсом на удивление № 2 – мой бывший сокурсник, чудной человек из Сокура, маленькой ж/д станции близ Новосибирска, ул. Рабочая, 10, телефончика нет.

– Значит, пошёл я, – машет издаля.

– Иди, иди. Проваливай. Там отец твой. Может, посажённый. А может быть, уже и посаженный. Иди, жених вечный, за невестой своей. Ищи пропажу. И да хранят тебя твои боги, да ещё чтоб не выпили тебя по дороге какие-нибудь кровососущие насекомые.

И он удаляется – дорожкой в посажённом измерении, дымчатой сокуровской кинолентой – без того театрально-классического жеста

ухода, над которым так потешался антисоветский писатель Александр Иванович Куприн.

§18

Посылка первая: «Пейзаж русской души соответствует пейзажу русской земли, та же безграничность, бесформенность, устремлённость в бесконечность» – Бердяев.

Посылка вторая: две беды в России – дураки и дороги.

Вывод: Так, так... Но с одним условием или уточнением: дураки отдельно, дороги отдельно. На дорогах нет дураков. Дороги – без дураков. Идущие – не дураки. Так-то!

§19

Странная всё-таки судьба у слова и явления в России. Явление уходит, слово остаётся. Потом с этим словом маются, да оно и само уже позабыло, что именно должно обозначать... Вот потому-то Россию и можно открывать из века в век, в отличие от той же Америки, которую открыли однажды и навсегда.

Сначала Воскресенье превратилось в Выходной. Потом выходными становились любые дни недели, оборачиваясь то «цыганочкой» с выходом, то кадрилию с выхлопом... Гуляй, Расея!

А посреди того гула, посреди кучи, которую массовики-затейники называли собором, посреди находок и выходов... – всегда сыщется тот, с насмешливыми глазами, который скажет – или про себя, или пню мохнатому, или подруге своей случайной, раскосой во всех отношениях.

– Скучно живёте, – скажет. – Очень скученно.

– Ну, – ответит подруга.

– Может, пойдём куда-нибудь?

– Зачем?

– Обозревать будем. Задумаемся.

– Не-е-е... Оборзею от твоего обозрения.

– А может, взамуж пойдёшь? Говори короче, типа да или типа нет?

– Неохота взамуж. Лучше за лимонадом схожу.

И тот, который с насмешливыми глазами, остаётся одиножды один.

– Иду, иду, – бормочет он, – и сам себя всю дорогу виню. Дорогу виню...

У него гудят ноги. Но этого никто не слышит.

§20

Странники, подобно художникам, не смотрят на мир. Они вглядываются. Что там? Каково там? Не жмёт ли человеку в сердцах, в пахах, в подмышках да под горлышком партикулярное обустройство

общего дома? Что-то замечено, что-то замётано, что-то заплачено... Да только кому они надобны, эти заметки-заплатки на поизносившихся полах гоголевской шинели?

... Десятый пилигрим с Чеховым разругался нешутейно:

– Раба, говоришь, надо из себя выдавливать? Побойся бога, доктор! Арифметика-то ведь простая. Ежели по твоему рецепту каждый человек выдавит, так рабское население ровным счётом вдвое умножится. А зачем, Антон Палыч, такую нищету плодить? Нет уж, классик ты наш родимый! Мы в данном конкретном случае пойдём другим путём.

И попылился, не заблудился, и просеменил, блудник этакий, по всей стране, от крайчика до крайчика, и там, где останавливался в пределах получаса, потом в положенный срок детки рождались, шустрые такие, с голубыми и удивлёнными, как у папы, глазами, с критическим отношением к отечественной литературе и медицине. Он оставался вечно молодым мужем.

... Двадцатый пилигрим товарищей увлекал:

– Вперёд, бродяги, на Стамбул!

– А дойдём ли? – интересовались искусственные спутники.

– Может быть, и не дойдём. Но по пути всё равно кому-нибудь морду набьём. Айда за мной, не пожалееете.

... Тридцатый пилигрим в целях пропитания подрядился дворником в индустриальном городе X. День работал, два работал, на третий день был глубоко обижен начальником Краснознамённого ЖЭКа № 25 товарищем Сперанским: прогрессивку не выплатили, премию зажали, бюллетень не закрыли, управдом – сущий самодур, подлючести в ём немеряное количество, колоссальная прорва высокого качества.

– Взываю ко мщению! – провозгласил пилигрим и принялся вымещать месть свою дворянскую всепогодной метлой по асфальту.

Не помогло. Тогда он попытался с первой попытки забросить орудие производства на безмерно удалённую крышу высотного дома. Попытка не удалась. Орудие, правда, назад не вернулось. Оно ушло в искусственные спутники планеты. А пилигрим огладился, застегнулся на все имеющиеся пуговички и отправился за помощью в Красный Крест, где его, как ветерана-метельщика и мостового живописца, определили на гуманитарную службу в качестве красного полумесяца. Удержался, впрочем, недолго. Красный Полумесяц переманил пилигрима к себе в штат на вакантную и перспективную должность красного креста...

§21

Кто объяснит мне, наконец, почему послушники-домоседы, уйдя однажды из отчего дома, уже не возвращаются туда никогда?

Кто растолкует мне, почему хронически блудные сыновья иногда возвращаются?

Никто. Кроме самих странствующих.

§22

... Сотый пилигрим шагал, шагал – и стал целой ленинианой под названием: Мариэтта Сергеевна Шагинян.

– Я, – говорит, – милого узнаю по походке.

Врёт. Ах, Шаганэ ты моя, Шаганэ! В походе у всех походка одинаковая. Это ещё горький Пешков в своём соцреализме заметил, к стыду своему и огорчению.

Двухсотый пилигрим: дорогой друг – другая дорога – путь зерна... И зовут его подходяще: Ходасевич. Упрямец! Он отстаивал право поэта и историка быть выше современности, за что его журила Мариэтта Сергеевна, но Белый Андрей обозначил как «рембрандтову правду в поэзии»... Больше ни у кого не встретишь такого лица, ухоженного страстями вдоль и поперёк, и сравнить не с кем и не с чем, разве что – с босой левой пяткой, гениальной пяткой блудного сына, писанной Рембрандтом не кистью, не шпателем, даже не кисточкиным черенком, как случилось, – писанной пальцем.

– Не блудил я, батюшка. Блуждал...

Трёхсотый пилигрим...

– Мне с вами не по себе, – сказал он на прощанье.

Шагал, шагал – и стал пятым евангелистом, живописавшим откровение от Марка Захаровича, и умер так, как река умирает в море, то есть никогда не умер, а превратился в тишину по-латыни. Жизнь кончилась, началось житие.

*Поле прищпорено васильками,
Как ни уходишь – всё не уйдёшь...*

Конечно, васильки. Конечно, цветики-лютики да незабудки с анютиными глазками. А особенно – доверчивые ромашки, желтоглазые белые язычники, головой отвечающие за сомнения кавалеров и кавалеристов.

И вот, значит, он лежит, странничек, в прищпоренном поле, во чистом доле на приволье, как раз напротив неба, руки за голову заложил, в зубах сладит молоденькая травинка, в вечном единоличном покое пребывает путник, сугубый брат всех братьев, без стыда и совести, без отягченья греховностью и раскаинством – прямо-таки, новокаиновая блокада в нём какая-то... – а душа весёлая, невесомая, вольная, вся нараспашку, вроде оттаявшей земли, готовой к борозде и первому зерну... – сам в себе, сам по себе и весь в ромашках, а вокруг – Конармия скачет... Как ошпаренная.

Очень по-русски.

II

Какой же русский не любит...

А всякий! Не любит – и всё тут, хоть жги-режь его, хоть зарежь:

– когда его спрашивают про всякие глупости;

– когда к нему лезут в душу под руку, особенно – горячую;

– когда третьего называют лишним;

– когда всякий столб – околица;

– когда через плечо заглядывают;

– когда прерывают на половине;

– когда лезут в пекло поперёд батьки;

– когда кол на голове тешут и пишат, и с превосходительным подзатыльником учат жить его, семижды учёного, какие-то прищипоренные всадники без головы или, ещё пуще, герои иных полей, вроде тех, кто вещает, например, на мотив Оскара Уайльда: дескать, он не любит кошек и радикалов! – э, нет-с! ещё как любит – и кошек называет человечьими Васьками и Машками, и радикалов ужасно любит, правда, совсем не тех, свободных, под которыми учёные люди понимают химические элементы, разрушающие клетки человеческого организма, вот этих-то он не любит, как, впрочем, и иное-прочее:

– когда один с сошкой, а семеро с ложкой, а потом, нажравшись, всемером же на одного наваливаются, да ещё и лежачего бьют;

– когда под ногами крутятся да в драке на кулаках виснут;

– когда кроют – что матом, что золотом, равно спесиво;

– когда нос суют не в своё дело, как в каждую дырку затычку...

А всё остальное – любит.

Страшно любит. Ужасно любит.

А уж всё остальное – не любит...

И очень просто!

А то понапридумывали, которым делать больше нечего: любит – не любит!.. руки ломают... пальцы разбрасывают, разломавши:

*Так рвут, загадав, и пускают по маю
Венчики встречных ромашек...*

Да, где-то венчики, но кому-то и стране в целом – членовредительство. Так лучшие, талантливейшие современные поэты не поступают.

А – жаль.

... Как все простые советские люди, за бодрим утренним кофеем ознакомимся с центральной прессой, подзарядимся словом правды, каковой верим безоглядно, на день грядущего труда. Интересно всё-таки и полезно для головы и мускулов знать без выкрутасов стишков: как там, в огромном и бушующем мире, вне наших родных прихожих и проходных, живут и любят-не любят анютины глазки, иван-да-марья, васильки, маргаритки и прочие другие петрушки – на прищипоренном поле, между ромашками и Конармией...

членами оргкомитета по его проведению — Анатолием Чеховым, Юрием Голиком, Альбертом Макашовым, Александром Крайко, Анатолием Крышкиным и председателем комитета Сажы Умалатовой. Кроме того, участие в пресс-конференции приняли Николай Рыжков и группа юристов.

Съезд намечено провести 17 марта. К массовой манифестации и митингам москвичей, также намеченным на этот день, оргкомитет, по его утверждению, не имеет никакого отношения. Место проведения съезда, по пред-

по основное внимание предполагается уделить анализу ситуации в стране, вопросу о вооруженных силах, а также некоторым указам, подписанным Горбачевым, тогда еще президентом. Последнего, кстати, на съезд звать не собираются, так как, по мнению членов оргкомитета, он лишил себя звания народного депутата СССР своей деятельностью по развалу Союза. Кроме прочего, на съезде предполагается избрать и. о. президента страны на тот срок, пока не будут проведены всенародные выборы главы государства, а также рас-

— Я не член оргкомитета, здесь же нахожусь потому, что в декабре подписал документ, в котором говорится о созыве этого съезда. Мне товарищи сказали, что будет пресс-конференция, и поэтому я здесь... Надо исходить из реалий — такого государства, которое было до 91-го года, больше нет. Сегодня есть суверенные государства. Не замечать этого неправильно. И не надо разрушать их. Но, видимо, без координирующего центра нам все же не прожить... Нельзя идти на восстановление Союза,

«ВСЕ НИКАК НЕ ПОМРУ...»

Недавно по «Голосу Америки» зачитали письмо 96-летнего гражданина СССР Игнатовова, живущего в Иркутске, на улице Молодежной, и пообещавшего скоро умереть голодной смертью.

Павел Васильевич Игнатовов старожил. Но, несмотря на свой, как он выражается, «полупочтенный» возраст, выглядит бодро. Никакого лишнего веса, да и жалуется только на две досадные неурядицы. Во-первых, недавно в очереди за колбасой потерял последний зуб. Во-вторых, вконец разругался с горвоенкомом и Язовым... Ну зуб, понятно, вещь серьезная, есть о чем взгрустнуть. А военные — то при чем? Но именно эти персоны настолько взбесили, Павла Васильевича, что решил пожало-

ваться вражеской радиостанции.

— Не признают во мне ветерана. А ведь за всю свою жизнь навоевался поболее их. Мои заслуги не генеральские. Так что прикажете делать, кому жаловаться?

Когда я в первый раз, в 1981 году, обратился с просьбой о присвоении мне звания «ветерана-участника», поскольку участвовал в гражданской войне, получил ответ: «Дед, живи тихо, спокойно, не лезь ни к кому со своими прошениями. Все равно скоро помрешь».

Накануне 40-летия Победы, в 1985 году, снова пришел в военкомат. «Дед, ты еще жив?» — удивленно вскинул брови дежурный. И выставил беспокойного клиента на свежий воздух. Пришлось Павлу Васильевичу взяться за перо.

Уже на следующий день после того, как письмо Игнатовова вышло в эфир, его пригласили в городской военкомат, дали талон на получение спецзаказа в местном тресте ресторанов и столовых и взяли фотографию для оформления ветеранской книжечки.

Юрий ПАНКОВ

О ЧЕМ ПИШУТ

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ

СТОЧКАМИ

публики были вынуждены подтвердить, что в ближайшее время на свободу выйдут около 4 тысяч человек, в основном осужденных «по легким статьям». Большая часть из них — те, кто был приговорен к сроку «за экономические преступления». По некоторым сведениям, именно эту часть, собственно, и намеревалась выпустить из-под стражи военная администрация Грузии. ВС в доступной форме подтвердил, что намерен амнистировать «первых ласточек рыночных отношений», оказавшихся за решеткой. Правда, аналитики все-таки отметили некорректность проведения Военным советом благотворительной акции. Страсти вокруг нее подогрел подпольный доверенный Звида Гамсахурдиа в Западной Грузии, бывший депутат парламента Вальтер Шургия, распространяющий сведения о том, что в конце марта звидаисты готовятся перейти в наступление. Это дало возможность в очередной раз приверженцам президента выдать контрверсию происшедшего: амнистированными будут доукомплектовываться части гвардии «Мхед-

Как и вся наша жизнь, на коммерческие рельсы перешла и торговля оружием. «Россия полностью покончила с практикой политических приоритетов в области торговли оружием и отныне будет экспортировать вооружение только на коммерческой основе», — сообщает «РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА». — Оплата в свободно конвертируемой валюте в дальнейшем станет основным принципом расчетов за поставки оружия. В этой связи Сергей Глазьев, заместитель министра внешнеэкономических связей Российской Федерации, исключил из числа будущих импортеров Кубу, куда до недавнего времени в значительных количествах направлялась советская боевая техника».

В «КОММЕРСАНТЕ» приводятся слова Михаила Малее, государственного советника Российской Федерации по конверсии: «Россия не только продолжит сотрудничество с арабами в военной области, но и сохранит традиционные мировые рынки вооружений в конкуренции с другими мировыми производителями. По данным Михаила Малее, только за январь текущего года РФ продала за рубеж военной продукции на сумму 22

друзья с бывшим возможным противником, Китаем. Как сообщили «ИЗВЕСТИЯ», СНГ поставит в 1992 и 1993 годах Китаю 24 истребителя-перехватчика Су-27». Эта же газета несколькими днями раньше сообщила: «Мы опубликовали сообщение о том, что Казахстан намерен продавать вооружение через систему бирж. Официального опровержения так и не последовало, зато появились подтверждения: такая торговля уже ведется. Ориентировочно в мае через биржу «ПАКС-Алиса» начнется продажа вооружений. В частности, на торги, вероятно, будут выставлены фронтовой бомбардировщик с изменяемой стреловидностью Су-24 МК и пока еще секретное изделие, шифр которого просили не называть, оборудованное на бронетранспортере и предназначенное для координации воздушных и наземных сил. Вооружение будет продаваться только за рубеж. В числе наиболее вероятных покупателей была названа Сирия. Не назвавший себя представитель ВПК сообщил, что налаживание контактов с коммерческими структурами — мера вынужденная, это борьба за

... А на пути к труду, допустим, в автобусе или в трамвае, можно бесплатно скосить глаза влево-вправо, наверняка там другой советский человек подзаряжается стопроцентной правдой текущего дня, не успел за завтраком товарищ, вот и навёрстывает по дороге, выдернув на бегу из почтового ящика свежую газету, пусть и не центральную, не всем же центральные московские достаются, кому-то и центральная местная, хибаровская улыбается, от одного только названия которой, «Огни коммунизма», и холодок бежит за ворот, и шум на улицах слышней, и правда глаза не колет.

– Что пишут? – ласково спросим мы читателя. – Что новенького? – озабоченно спросим мы читателя.

Даже глаз не поднимет на вас читатель. Увлечён.

А пишут вот что новенького.

Сам редактор «Огней коммунизма» товарищ Будьтаков поместил на первой полосе статью на тему писем трудящихся в родную газету. Маленько хвалит, маленько клеймит, а посередке рассказывает о том, что одно из писем, отправленное не в родную газету, всё-равно попало в родную газету. Написал это письмо шестидесятидвухлетний хибаровчанин Иван Захарович, скрывший свою фамилию, прямо в Москву, на Главпочтамт, для пересылки гражданам Соединённых Штатов Америки в город Нью-Йорк. И вот этот анонимный Иван Захарович пишет, о чём товарищ Будьтаков печатает, а читатель читает, а мы, скособочив глаза, заглядываем через плечо читателя, а автобус трясётся, как дрова везут, а пассажиры толкаются и деликатно, вполголоса, матерятся, прут и прут, а кондукторша сипло и безуспешно уговаривает середину пройти вперёд, а та не хочет... – короче говоря, за точность цитирования письма Ивана Захаровича не ручаемся, но его смысл с мыслями нашими собственными корреспондирующий, сохраняется в нашей утренней голове, по крайней мере, до обеденного перерыва.

«Уважаемые гр-не США, – пишет Иван Захарович, – добрый день, весёлый час. Я имею желание Вам послать свои талоны на мыло и спиртные алкогольные напитки. Это я решил смело сделать после того, как узнал от одного хорошего знакомого с высшим образованием, что в вашей США за каждый такой талон некоторые американские коллекционеры со спокойной совестью дают несколько компьютеров IBM или целую автомашину. По-видимому, эти американские жители, являясь злостными коллекционерами некоторых наших временных отдельных недостатков и являясь недостаточно патриотами своей продукции, сами ещё не умеют хозяйствовать при своей родной капиталистической системе. Но если они хотят талоны, то пусть, пожалуйста. На этом до свидания! С рукопожатием к вам Иван Захарович из Хибаровска Хибаровского края Союза Советских Социалистических Республик»... А ниже того – пространная приписка: «Для нашей уважаемой цензуры! Просьба! Помогите в доставке сего моего письма по адресату любо-

го американца, потому что не знаю никого. Думаю, что ничего плохого от этого не будет ни нам, советским, ни им, американским. Возможно, они просто без келейных мыслей или по-дурости ожирения хотят нам помочь, особенно компьютерами, которых у нас в Советском Союзе, конкретно у меня, недостаёт. Поэтому прилагаю талоны: 1/ на мыло (1 кус. МХ, мыло хозяйственное и 1 кус. МТ, мыло туалетное) и на стиральный порошок (2 пачки по 500 гр.) за январь и февраль м-цы; 2/ на водку (7 бут.) и вино разных марок (7 бут./ за прошлые м-цы сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь и февраль); 3/ праздничные талоны для отоваривания ветеранов войны и труда (к Новому году, к Дню Советской Армии и ВМФ и к Дню Победы 9-му маю)...»

Читайте, читайте газеты, уважаемые товарищи пассажиры утренних автобусов и трамваев! О, не простую бумажную полосу с тысячами типографских литер увидите вы собственными глазами, с диоптриями и без оных. Вы увидите мудрое, измученное переживаниями за народ, доброе и строгое, может быть, даже учительское, из начальных классов, лицо редактора Будьтакова Геня Ивановича, его мягкий, проникновенный голос с подходящими интонациями журчания весенних вод:

– Читайте, читайте, граждане, – журчит он. – Про то, как простой советский человек Иван Захарович тянется к знаниям всего человечества, и эта тяга его неодолима, неистребима, и ничего Ивану Захаровичу для этой тяги не жалко, даже кровных талонов от Советского правительства и государства, а эти талоны, прямо скажем, ведь не простые бумажки голубого, розового и жёлтенького цвета, о, нет и ещё раз нет! Это не бумажки, которые оторви да брось, это борьба за упорядочение распределения снабжения и потребления продовольствия и товаров первой, второй и третьей жизненной необходимости и важная забота партии. Читайте, читайте, ум не пролистайте. Читать-то тоже уметь надо. А это дело потяжелше, чем трудовые руки ломать насчёт «любит-не любит», из которого одно вредительство получается, причём – изуверское, от наличия вероотступничества, что гораздо хуже, чем ломать общественную собственность на средства производства. В Америке – там да, там пусть, там частная собственность, вот там пусть и ломают руки-головы, а мы у нас не можем этого позволить и поступиться принципами даже на шаг вперёд, два шага назад. Так что, читайте, читайте. Писать не обещайте, но пишите, пишите. Только не в Московский почтамт для Америки, а в свою родную хибаровскую центральную газету, от одного только названия которой утро красит нежным светом...

И вот мы, утренний народ, читаем: иркутянин Павел Васильевич и хибаровчанин Иван Захарович; и весь наш орденосный город и край; и вся Советская страна, где всё вокруг – моё, только денег маленько не хватает, но где их хватает?; и Москва майская, разумеется, читает, кипучая и могучая, на мотив братьев Покрассов со стишками Лебеде-

ва-Кумача, там всё про нас всех вместе и про каждого в отдельности знают: и про повесть о том, как и на чём помирятся Павел Васильевич с Иваном Захаровичем; и про то, как уныло и тягуче, как сомнительно и дистиллированно, словно тире в «любит-не любит», живут простые американские люди; правда, и там, в сердце нашей Родины, бывают, не без того, отдельные частные недостатки, но скажите, где, в какой столице мира их вовсе не бывает? мы точно знаем: бывают проблемы и в Соединённых Штатах Америки, потому что в Соединённых Штатах Америки имеются на ихний лад свои Павлы Васильевичи и Иваны Захаровичи – наоборот, и Сочинители с противоположным знаком качества, и Семёны Семёнычи Помиранцевы, и Кувыкин с Хлюстаковым, и Щитовидов с Мошонкиным, и Князь с Заюшкиным, который как ушёл зимой за бутылкой, так и не вернулся...

ЛП

– С ума сойти!

Семён Семёныч Помиранцев вздохнул со стоном и принялся на руке пальцы загибать:

– Заюшкин ещё зимой ушёл за бутылкой. Где Заюшкин? Нет Заюшкина. Нет бутылки. Оба сгнули. Это раз. Вадю Мошонкина товарищи из органов загребли неизвестно за что и на сколько – это два. Князь на Чапае ускакал весенней гулкой ранью – три. Щитовидов всё больше с красной повязкой народного дружинника в рабочее время шляется. Кувыкин в президиумах юных пионеров наповадился сидеть. Хлюстаков в полном головокружении от женского неразрешимого вопроса. Да и ты, Алексеич, не шибко-то горишь на работе. Остаюсь я. Один на весь наш дом номер тринадцать-бис. Все идеалы труда на хрен потеряны. Куда годится! С кем работать и сообразательства перевыполнять?

Сочинитель тоже вздохнул, в унисон: надо же поддержать Семёна Семёныча, хотя бы вздохом, если другим нечем.

– Да ладно тебе, Семёныч, не тужи. Ты ж моряк, Семёныч, а моряки не плачут и не теряют бодрость духа никогда. Да? Уж как-нибудь управимся. Вызовов-то на ремонт с каждым месяцем всё меньше и меньше. Тенденция, однако.

– А потому что пустеет дом, вот и меньше!

– Пустеет... Но жить-то надо?

– Надо...

– Да не одними же сантехническими хлопотами жив человек, Семёныч. Верно говорю?

– И то верно...

– А что, Семёныч, так и не печатают твои мемуары в «Огнях коммунизма»?

Помиранцев порылся в инструментальном шкафчике и вынул ам-

барную книгу, уже другую и не столь потрёпанную, как предыдущая. И снова вздохнул:

– Не печатают, черти... Ты в прошлый раз запятые-то хоть все насувал на место?

– Поставил, дело плёвое.

– Тогда уж я не знаю, чего им там в газете ещё надо? Пушкина, что ли, им подавай?.. На вот, прими, Алексеич, почитай другую мою статью, никому не показывай, там я своей автобиографии касаюсь, московский период жизни.

– В редакцию понесёшь?

– Придётся нести. Попросят ведь. А как откажешь в опыте жизни? Никак. Но вообще-то – оскорбляют! Разучивайте, говорят, запятые, в них всё дело. А когда в школе запятые проходили, так я, помню, мальчишкой как раз болел, простудивши на колхозном поле, под снегом останную картошку вышаривал... Ты, это, посмотри, Алексеич. Если хочешь, домой забери, книжка не шибко тяжёлая.

– Не сомневайся, – сказал Сочинитель.

И унёс, и посмотрел, и почитал.

Полное Собрание Сочинений Помиранцева разрасталось новыми амбарными книгами.

... Теперь я, Помиранцев С.С., про Щитовидова изложу. Он, навряд ли Кувыкина, тоже имел отдельное приращение к культурности. Но на свою, как говорится, мерку, точнее, на своё лекало.

В молодые годы беспечной юности Щитовидов проживал в городе Иркутске Иркутской области и работал мастером по портному делу в драмтеатре. И тогда он шил штаны артисту Леониду Броневому. И вот теперь, на старости лет, в нетрезвом состоянии, даже можно сказать, в пьяном виде, любит пропагандировать разные закулисные истории из жизни заслуженных народных артистов. Например, так говорит:

– Вот так вот я сижу, а вот так вот – Лёня, теперь уже заслуженный Мюллер Советского Союза. Хорошо сидим, выпиваем, закусываем, сырок плавленый «Дружба», восемь копеек штучка. И я говорю ему запросто, как другу: Лёнька, подлец, ты сегодня опять что-то в образ до конца не поместился...

После «Семнадцати мгновений весны», где артист Броневой уже из Москвы играл роль гестаповского шефа, Щитовидов заимел отрицательную привычку: прищурится, как папа Мюллер, – хе, хе, хе, меленько посмеётся и объявляет железным голосом:

– Не думай об секундах свысока.

Это из его рта выходит очень пошло.

И вот однажды я, Помиранцев С.С., снова сижу и слушаю, как мои коллеги про культурность рассусоливают, даже не столько слушаю, сколько помаленьку резолюцию вывожу, что культурность вообще – это, как бы сказать, очень и очень склизкое дело: сегодня ты вроде

соответственный, а назавтра уже и выскочил из того сословия, и вовсе не по причине истечения обстоятельств срока давности своей любви к искусству, а как раз наоборот, за временем не поспел, с круга спился или ещё чего-нибудь, плюс к тому же – потусторонние происки, тлетворное влияние, и при итоге что получается? Получается, что в России в последнее время обязательно двухголово образуется: если, например, с одной стороны будет наш родной Филипп, то с другой стороны к нему непременно прилипнет иностранный Морис, как банный лист к заднему месту. Это точно.

Жулькаю это я доминошные костяшки в кулаках и, наконец, решил точку зрения поставить на этом вопросе.

– Мужики, – говорю, – вот наш Кувыкин меня своими гестапами и плашками семь-на-восемь как бы попрекает. Культурность свою показывает. А хотите жуткую историю из моей личной московской автобиографии?

Кувыкин начал ревниво меня оглядывать: дескать, не бывает ничего жутчее его романа с филармоничкой Риммой Леопольдовной. Князь вздохнул, чего я всегда терпеть ненавижу, потому что это слабость. Заюшкин как всегда промолчал. А Щитовидов рубанул по-разведчицки:

– Иди-ка ты, Семён Семёныч, в баню!

– Не надо, – говорю, – горячиться, коллеги, и парку раньше времени поддавать. Об бане, говорю, и будет вам моя история.

В ту далёкую историческую эпоху, ещё до войны, я торговал венниками у Сандуновских бань. Для незнающих поясню во-первых строках сочинения, что эти бани в Москве, тогда ещё не столице нашей Родины, построили супружеские артисты Императорских театров Елизавета Семёновна и Сила Николаевич Сандуновы. В восемнадцатом веке дело было.

В одна тыща девятьсот тридцать седьмом году было мне 15 лет от роду, и как раз в это время руководящие банные кадры понесли незаслуженный урон с бесчисленными жертвами. Среди кадров, как газеты писали и как народ говорил, затесались скрытые троцкистские шакалы, замаскированные зиновьевские прихвостни, бухаринское отродье, фашистские наймиты, японские шпионы и прочие гиены отродья человеческого. И вот в такое звериное время я, товарищи, оказался в должности младшего банщика в этих самых Сандунах.

На побегушках что требуется? Кому пиво подать, кому воблу под пиво, кому-то простыночку переменить. Конечно, лакейство. Но тут одно но! Всю сандуновскую историю я зато вдоль и поперёк вызнал. Например, про то же искусство и культурное обхождение. Это ведь неправильно, что про баню всего одна-единственная побасенка ходит: тепло, светло и мухи не кусают. Точнее, не всё тут правильно. Потому что в банях главно не мухи, а клиенты. А в знаменитых Сандунах – и

тем более вовсе. Воображайте себе, кто тут помывочное время проводил: Шаляпин, Максим Горький, Рахманинов, художник Юон... Конечно, никого из них я не обслуживал, годом не вышел, зато очень много полезного наслышался обо многих великих культурных людях.

Особенно часто наши сандуновские ветераны, шуточно говоря, старжила-старомылы, любили вспоминать про Фёдора Ивановича. Про то, как Фёдор Иванович прикатывал с образованной компанией, помогают, попарятся, потом зашибут две-три бутылочки с уважительной закуской – и пошла гастроль, поехала вдоль по Питерской! Эхо в Сандунах, иначе – акустика, бесподобная, будто в театре. Как, бывало, загудит Фёдор Иванович: «Э-эй, ухнем!» – так со всех дальних углов ему эхо отзывается: давай, дескать, ухай, Фёдор Иваныч, голубчик ты наш, соловей-медведущко. А Шаляпин простынку долой и бу-бух в бассейн! Так от того бассейна один только мелкий брызг полетит, грузный был Фёдор Иванович и клиент весёлый...

Опять же, бассейн – не корыто какое-нибудь, а чистое чудо искусства. Хоть десять Шаляпиных в него помещай – ни Шаляпину будет незачем, ни бассейну, один другому соответствуют: мрамор-то из самой Италии привезённый, из того, сказывали, карьера, откуда знаменитый изваятель Микельанджело брал сырьё для Давида и Моисея. Вот что такое баня, ежели по-культурному рассудить: искусство при самом обычном деле, при помывке тела. И клиенты всегда говорили уважительно: ничего! А один артист так прямо и выразился мне в лицо:

– Я бы тому Силе Николаевичу золотой памятник на Красной площади поставил. Умница, этот Сила!

– А Лизавете Семёновне памятник? – спросил я.

– А Лизу, – говорит, – облизал бы!

Такие вот были дела.

При Никите Сергеевиче Хрущёве я в банях уже не служил, хоть и в партийном членстве состоял, и Великую Отечественную войну отпахал от начала до конца. А не служил – прямо скажу, по-партийному, – по причине слабости к запоям. Плюс к тому: от мокрой атмосферы всю свою бывшую причёску истратил. «А ты поругайся, Семён, – советовали мне, – так волосья твои испугаются и снова вырастут!» Беспольная шутка.

Стал торговать вениками. Скажете: а что, дескать, веник – он и есть веник, какая тут может быть особенность? Если вы так скажете, то ошибётесь. Потому что веники в банном деле – статья особая. Я уж не говорю про мочалки из липового лыка, про шапки-ушанки для парилки, про рукавички и тому прочее. Веники – это целая наука философия.

Король среди веников – берёзовый, об этом спору нет. Дальше идёт дубовый, его лучше всего вязать в августе. Хорош можжевелевый, хотя и колюч, зато запах от него галантерейный. А ещё – хвойный,

кленовый, из орешника, из ясеня... Кому, как говорится, для чего и от чего – это продавец веников досконально соображать обязан, не мётлами торгует.

И вот однажды стою это я, похмел колотит, холодок проскваживает. Мешочек мой с вениками к стеночке прислонённый, клиентов ни одного, как будто прямо вымерли все или же враз чистыми сделались. Грустное смеркание началось, и мысли ко мне нехорошие подступили. Подумалось, например, об таком факте: летом красивых женщин куда как больше бывает, чем зимой, на зиму-то они словно в тёплые края улетают, с журавлями и аистами, в Сочи какое-нибудь, сочную жизнь сочиняют, сочувствие ищут... а зимой в Советском Союзе среди трудящихся мужчин остаются одни только снежные-бабы – в шальях и в валенках... и тут же у меня новый вопрос обнаружился: в Африку, допустим, что? – журавли улетают или возвращаются? где ихний настоящий дом?.. Размышляю сам себе на уме, соплю морожу.

В этом месте своих мемуаров я сделаю перерыв, потому что, продрогнув, я нестерпимо вспомнил тогда банную залу высшего женского разряда, по-нашему, по-сандуновскому называется ВЖР. Значит, по порядку. Зала, конечно, тоже с мраморным бассейном и располагается стенами на все четыре стороны света. С одной стороны света окошки залы выходят на Госбанк Советского Союза. Вторая стена – в переулочек. Третья – глухая, без окон. А на четвёртой – окошечки мелкие и глядятся в проходной двор с пожарной лестницей у дома, что напротив. Я этот двор досконально хорошо знаю, под той самой лестницей приобщался к алкоголизму и к потере авторитета. И вот теперь приступаю к самому главному факту вопиющей истории.

Гляжу: шуршит чёрная машина ЗИЛ, по-народному «членовоз», который наших правителей, очень дорогих и незаурядных, возит по окружающей действительности – от Спасских и Боровицких ворот Кремля до мест проживания, не столь отдалённых. Тормозит ЗИЛ прямо напротив меня с вениками. И выходят из его чёрного пуза вместо, например, Косыгина две замечательные женщины в шубах, весёлые. Шоферюга им дверцы открыл, портфельчики вынес, подал с почтением – ну, прямо-таки как банный мальчик на побегушках! Эх, – думаю сам себе и фертom выскакиваю с предложением:

– Не желают ли милые барышни веничка на любой вкус и целебную необходимость?

Тут, подумал я, одно из двух: или жёны каких-нибудь членов, или опять же блядюшки, третьих должностей не бывает.

Которая потоньше говорит другой:

– А что, Людочка, может попробуем?

– Одна попробовала, так семерых родила, – смеётся которая пошире.

Я два берёзовеньких, свеженьких, пахученьких – да в ручки барышням с пожеланием лёгкого пара и скорейшей юности. Даже как-

то про деньги не спросил, так волновался, какой-то дикий энтузиазм накатило.

Ушли женщины в сопровождении сандуновского директора. А я обратно заторчал в своём одиночестве. И обратно же – народ вечерний протекает мимо, мимо...

Тут вдруг и осенило меня, опत्वояматушку! Ведь понедельник же сегодня, баня на сануборку закрытая, как же я позабыл про такое, похмельный козёл? Водочка всё, водочка, сучок белоголовый, сучка скоропалительная всю память отшибла... Ладно. Подхватил я мешок с вениками, отступил в проходной двор, под пожарную лестницу, там ящик с песком, на нём и устроился.

А за пазухой, между прочим, согревалась чекушка НЗ (неприкосновенный запас, по-военному). Пробочку выбил, буль-буль-буль... на четвёртом буле вдруг слышу голос с неба:

*Издадека-а-а до-о-лга-а-а
Течёт река-а-а Во-олга-а-а...*

Чуть с перепугу чекушку не выронил. Што такое? Прислушался: нет, не трубы архангельские, Страшным Судом не пахнет, вообще никаким судом... Из открытых форточек ВЖР голос выходит, весь двор наполнил, густо так заволакивает, точно пар в парилке, сначала верхние этажи двора, потом ниже, ниже, потом снова кверху пошёл, выше крыш взмахнул, улетучился и по-новой вниз устремился... Тоже, скажу я вам, акустика!

*А где мне взять такую пе-есню
И о любви, и о судьбе-е...*

И тут уж два голоса слились – потоньше и потолще – про оренбургский пуховый платок, про сладку ягоду...

Чекушку я, понятно, добулькал, в ней всего-то шесть бульков, чуток согрелся, пора домой шлёпать. А у подъезда прежний членовоз торчит, шофёр-мордovorот папироску «Беломорканал» курит и дым из окошка пускает.

– Вылазь, – говорю, – друг, товарищ и брат. Сходи-ка вон в тот двор, послушай концерт два сола дуэтом про оренбургский пуховый платок.

Мордovorот оказался презрительным товарищем и никаким братом.

– Я, – говорит, – такие концерты не привыкли на жестоком декабрьском морозе выслушивать. Тем более не намеренный выслушивать от министра культуры Союза Советских Социалистических Республик и члена Цэка капээсэс товарища Фурцевой Екатерины Алексеевны и заслуженной народной артистки одноимённого Союза товарища Зыкиной Людмилы Георгиевны. Как солом, так и дуплетом. Ты меня понял, оренбургский пуховый козёл?

Ах ты, думаю, дело-то какое! Да как же теперь не понять! Понял, товарищ членовоз, понял... Самая культурная женщина в эсэсэре и любимая всем народом певица русских песен! Живьём? В бане? Как простые советские женщины?

Помутилось тут всё во мне. Много чего видел – и министров, и чемпионов мира, и знаменитого зубного протезиста, ничему не удивлялся, а тут меня какой-то любопытный ажиотаж обхватил. Короче говоря, ещё пару часов потоптался я у подъезда и дождался-таки.

– С лёгким, – говорю, – паром, товарищ Фурцева Екатерина Алексеевна и тоже самое вас, заслуженная певица Зыкина Людмила Георгиевна! Как вам показались мои венички?

– Ах, это вы! – сказала Фурцева. – Ну, что ж, товарищ, вы оказались очень и очень правы с вениками. Вы, наверно, член Коммунистической партии?

– Обижаете, – говорю. – Конечно, член, ещё какой, ещё на фронте войны...

– Моральный кодекс строителя коммунизма, разумеется, изучили?

– Обижаете, – говорю снова. – Так точно. По телевизору изучал, в университете миллионов.

– А вот этим делом... то есть вениками занимаетесь на постоянной основе или как?

– Так точно, на основе. Нам без основы никак нельзя. Фирма веников не вяжет.

– Это какая же фирма?

– Это у нас поговорка такая, товарищ министр культуры.

– В таком случае, не могли бы вы нам с Людмилой Георгиевной приготовить к следующему разу что-нибудь такое особенное, из самой глубины простой народной жизни, понимаете?

– Крапивы, например, – улыбается товарищ Зыкина, вся розовая.

– Господи, – говорю, – можно и крапивы. Да я для вас, ёлки зелёные... Да я за нашу, то есть за вашу и за нашу в общем и целом культурность... советскую по форме и социалистическую по содержанию... да хотите, я хоть щас головой в омут!

– В омут не надо, – ответила министр и тоже улыбнулась. – А вот веничек – это хорошо, славно, это по-нашему, по-народному. Партийное вам спасибо, товарищ. Как у вас со взносами?

– Обижаете, – сказал я и постепенно задумался...

А прекрасные женщины укатили.

Оживлённо мне стало, весело и энергично. Иду домой, притаптываю на ходу:

*Никого я не боюсь,
я на Фурцевой женюсь,
ухвачусь за сиськи я
самые марксистские...*

К следующему понедельнику приготовил я два веника. Один – эвкалиптовый – певиче, для горла замечательно и полезно чрезвычайно, такие веники в ноябре месяце вязать нужно, а мне как раз недавно знакомый проводник на поезде из Сухуми целый тючок сырья доставил – веточки тоненькие, можно самостоятельный веничек соорудить, а можно и в берёзовый добавлять для комплексу. А Екатерине Алексеевне я и взаправду устроил маленький крапивный, от радикулита. Глаз у меня как ватерпас, наблюдательность адская: когда ещё в первый раз товарищ Фурцева из машины вылазила, переломившись посередине, я тогда сразу заметил: нет, так блядушки из членовозов не выскакивают, блядушки стоймя выходят, а Екатерина Алексеевна – согнувшись, дело понятное, сидячее общественное положение... Ладно. В цветочном магазине у девчат целлофану выпросил для завёртки веников, упаковал, красными бантиками перевязал для полной культурности и впечатления.

Товарищ Фурцева меня сразу опознала, руку пожала, а Зыкина за истекшую неделю подзабыла, она, конечно, привыкшая к обожанию, люди перед ней крутятся тыщами, а меня можно было и не узнать, между прочим: побритый, и ботинки начистил... так она, Людмила Георгиевна, руки на грудях шубы скрестила, в поклон её по привычке повело, видать, приняла мои веники в целлофане за цветы от горячего поклонника русских народных песен на слова советских поэтов. Клонится она, клонится, да тут Екатерина Алексеевна её за рукав прихватила – и скрылись они в Сандунах моментально, как в воду канули.

И вот они там себе на здоровье моются, а я маюсь снаружи и гадаю: запоят или не запоят? Очень меня этот вопрос заострял.

Тем временем морозец покрепчал, но я держусь на последней любознательности. Сажу на ящике под лестницей, размышляю о густой сущности жизни, когда одному, например, – шиш с маслом, даже иногда на чекушку не хватает, а другому – аж целый ящик жигулёвского пива, которую шоферюга-мордovorот в баню за своими пассажирками поволок.

И тут из окошечка полилось – ласково, с извинением, словно меня кто-то по голове гладит за такие мои недоброкачественные переживания...

*Над колхозным над полем
зори рано встают.
Золотое раздолье,
вольно дышится ту-у-у-у...ут!*

По голосу узнаю, что – Людмила Георгиевна. А тут и товарищ Фурцева вмешалась:

*Я люблю эту землю,
родные края...*

И обе помойщицы уже враз кончили:

*Земля моя радость,
земля моя радость,
любимая пе-е-сня моя-а-а...*

Ну, вот чо к чему? Откудова у меня взялось такое душевное смещение или смущение, какого никогда с радио не случилось? Убей бог – и сейчас не пойму. Скажу прямо: радио – это в песне всего лишь полдела. А тот сольный женский перепой я слушал прямо-таки как конкурс вживую: кто из двух лучше и красивше вытянет? И душа моя под пальтом пупырышками покрывалась, а потом воспаряла вместе с пупырышками – от ящичка с песком, котами обоссанного, до самых до небес. И то, что без дежурной чекушки сижу, – сам себе милосердно прощал.

Вот так, товарищи, я счастливо промучился несколько понедельников. Венчиками разнообразными снабжал, денег не требовал, а клиенткам моим невдогад было самым предложить наличность или хотя бы спросить: чо почём? Конечно, я тому не удивлялся, меня же ж трудно удивить, а деньги я, может быть, и вообще не взял бы.

Но однажды всё ж таки удивился. Честно говоря, между прочим, до этих банных концертов у меня как-то раз уже образовалось первое удивление – нащёт моего племянника. Он пожарником служил в Краснопресненском районе, лентяй, соня и пентюх недосыгаемый, но вдруг удивил: хочешь, говорит, дядя, я тебе за бутылку белой сыграю на губах первый концерт Петра Ильича Чайковского для фортепьяны с оркестром? «Пошли», – говорю ему. А он спрашивает: куда? А я говорю: «В пивную. Там один мой знакомый по бане композитор твоё губное пойло по нотам или на слух проверит». Пошли. И что бы вы думали? Выдул-таки мой племянник тот концерт Чайковского, всё похоже, соответствует и совпадает, композитор моментально определил за кружку пива. Вот тогда я чрезвычайно глубоко и надолго удивился: уж если мой племян, губошлёп сверхъестественный – аж целый концерт, да к тому ж Петра Ильича, да всего лишь за одну бутылку белой... – ну, тут я молчу! тут фирма веников не вяжет! тут я могу сказать только одно приветственное слово: да здравствует наш великий и могучий советский народ! Вот так, товарищи.

А по банному вопросу у меня образовалось как бы удивление номер два. Оно в следующем нижеизложенном: как это так получается, чтобы такой голосистый зычный талант и божий дар, от которого навзрыд рыдает всё прогрессивное человечество, то есть, конкретная Людмила Георгиевна Зыкина – и вдруг парится и так дальше в голом виде в обыкновенной бане как обыкновенная неперспективная женщина из народа? То же самое – и наша министр культуры! Как так? Где тут возвышенное и земное? Ведь непостижимое это дело, чтобы с одной

стороны были веники и мочалки, а с обратной стороны – чисто ангельские звуки и ЦК КПСС! Как так, чтобы сошлись в одном месте душа человеческая и водопровод, сработанный ещё рабами Рима?

И я решился...

Я уж говорил про пожарную лестницу в проходном дворе. И вот теперь, решил я, пусть она выстрелит, как ружьё в театре у неизвестного классика.

Свечерело, значит. И окошечки ВЖР засветились, как бы заманивая по ту сторону: не робей, воробей.

Взобрался я на ту лестницу, устроился как раз напротив окон, вынул театральный биноклик на палочке, наверное, ещё из эпохи Евгения Онегина. Я этот биноклик у соседки одолжил на вечерок. И вот с дрожанием рук ёрзаю оптическим прибором по окошкам, ни хрена ничего не вижу, одна запотелая мутнота. Стал тогда простым невооружённым зрением напрягаться. А уж где мои мишени находятся – это я в доскональности знал, не зазря же в Сандунах мальчишкой служил и обои залы высшего разряда убирал в порядок по понедельникам. Понедельники от меня были чистыми. Да.

Гляжу: точно, на данном месте располагаются голые мои королевны! На головах полотенцы намотаны, вроде турецких султанов, а сами лежат на мраморных лавках посреди пива и выступают...

*Не сравнятся с тобой
ни леса, ни моря,
ты со мной, моё поле,
студит ветер висок...*

В те хрущёвские оттепели я ещё был свирепым до женского полу, но в конкретном случае – ничего такого не то что в мыслях, а даже вообще никакого мужчинского восстания, даже совсем наоборот, полный миру мир и разоружение...

*Здесь отчизна моя,
и скажу, не тая:
здравствуй, русское поле,
я твой тонкий колосок...*

Какое уж там восстание? И только разные впечатления переполняли меня изнутри, и все какие-то нехорошие. Про склонность к хроническому алкоголизму, которая никак не соответствует ни моему характеру, ни вообще, я ведь тоже русский колосок, и у меня тоже висок студит, и не только висок, и отчизну люблю, и тоже могу сказать, не тая, если уж на то пошло... Про баб, например. Вопрос стоит ребром с эпохи ветхого Адама. И сегодня неясно: неужели же женский пол – это как бы потолок для мужского разумения, потолок,

выше которого одни только птицы, да бог, да искусственные спутники? Неужели ж такое возможно и так природой задумано? Эх, думаю себе на лестнице, скверно живём, братцы-сестрицы, хоть и два сапога пара, но всё как-то на одну ногу хромота у нас получается... А если б дал бог каждой женщине культурность, да техникум или институт, да впридачу достатку побольше в домашнее помещение, да ещё чтоб времени достало не только наманикюроваться и завиваться, но ещё и развиваться не хуже, чем мужское отродье... – так, скажу я вам, любая бабёшка запоёт почище Людмилы Георгиевны, потому что от народной певицы ничем природно не отличается... И тогда скажешь ты ей, этой любой бабёшке, в таком исключительном разе: «Здравствуй, моя дорогая, чрезвычайная, ангел небесный...» Эх, думаю, люди-человеки, братаны и сеструхи, живём как всё равно сапоги, а ведь мы ж ещё и не любили друг друга, как следует, всё времени нет, то война, то очереди... И скорбно мне сделалось – какой я дерьмо и некультурный, матом меченый, и в женском нежном вопросе являюсь полным тупиком и негодяем.

В ту эпоху у меня такая блажь наблюдалась: подыскивал подружку жизни с одной исключительной характеристикой – чтобы пела в доме. Ну, пусть не очень бы даже пела, а так, напевала, мурлычила, можно даже без слов и при этом совсем неважно что – «Светит месяц», «Ландыши» или гимн Советскому Союзу, – лишь бы репертуар выражался приятной мелодией. Моешь посуду, например, или там стирка, или суп варишь с мясом или без мяса – так чего ж рот-то простаивает? Пой! Не молчи, как рыба об лёд. Суп сам по себе варится, а людям песня строить и жить помогает, а в общем целом образуется настроение себе, и соседкам, и мне, как мужу и любителю. И вот я искал – как бы по конкурсу. Всякие встречались женщины. Матерились, выступали даже, но хоть и от души, а всё ж не то, что надо, звуков много, а напевности – полный ноль.

Была у меня в то время одна, в женском низу Сандунов кастеляншей служила. Когда мы с ней стакнулись от невозможной одинокой тоски, то оказалось, что в войну оба на Северном флоте воевали, в Мурманской базе: я на катерах ходил, старшина второй статьи, она по горюче-смазочному делу на базовом хранилище состояла. В Сокольниковики к ней перебрался, жениться планов не имел. Куда жениться? Чуть не в два раза старше и толще меня, чистый медведь в пеньюаре, одна нога чего стоит – сорок пятый размер. Но – пела! Не всегда и не по-домашности, а когда «Солнцедару» поддаст после баньки. Женись, говорит, зайчик мой, любить буду, как весь Краснознаменный Северный флот! Уж сколько времени с той войны отмахало, а флот у ней всё равно в печёнках сидит. И не «Ландыши, ландыши» у ней, но «Прощайте, скалистые горы», да всё басом, как корабельный ревун, да со слезой, пятнами красными вся покроется, и даже меня, старшину второй статьи, озноб колотит. Да. Вот как бабу война покорежила,

что даже в годы мирного социалистического строительства от той бабы страшно делается не только западно-германским реваншистам, но даже её собственному трахальщику, фронтовику, орден Красной Звезды и две медали за отвагу на груди. Запоёшь тут от такой жизни? Завоешь. Понимал я и сочувствовал. Но вот как-то раз встала она передо мной, как обнажённая махом, и чешет из библии: жена да прилепится к мужу своему! А я ей от похмельного своего куража пинком под зад выдал: лети, голубь мира, как прилепилась, так и отлепляйся назад, банный лист, не муж я тебе... И что же? Страшно сказать. Она потом всем своим сандуновским подругам демонстрировала, как муж её страшно обожает, что на таком щекотливом интима засосы ставит...

Эх, думаю я на лестнице, колосок ты долбаный, Семён, кто ты такой есть, сволочь несчастная? Женщина с тобой титькается, как с дитём малоопытным, а ты женский божий дар пинком удостоверяешь? Ах ты, паскуда такая!.. И вся-то моя автобиография тут закрутилась в мозгах в обратную сторону... Мойщиком трупов был? Был. Насмотрелся? Насмотрелся. Шефов разных обмывал, заслуженных артистов, генералов – все лежали, как родные, хоть критикуй ты его, хоть нахваливай, ему, покойнику, всё равно, он уже не скажет, что человек всегда звучит горько, человек не может быть буревестником... Ладно. А на Смоленском рынке? Я там «рубильником» в мясном ряду два лета состоял, поворовал, попил спиртику. А гардеробщиком когда был? «Уважаемый гардеробщик», – обращались. «Семён Семёныч», – обращались. «Дорогой Сёма», – обращались... А дорогой Сёма по чужим полятам шарил... Да что там говорить?! Сидел я на лестнице, напротив ВЖР, анализировал свою прожитую автобиографию, и все мои анализы выходили никудышные, хоть ложись и помирай.

А из форточки ВЖР тем временем лилось, лилось и меня добивало:

*В сёлах Рязанщины, в сёлах Смоленщины
слово «люблю» непривычно для женщины,
там, бесконечно и верно любя,
женщина скажет «жалею тебя»...*

Нет, товарищи, будь моя всевышняя воля, так я запретил бы певицам брать на себя всю тоску человеческую и вот так изливаться, страдая за всех. Иначе – ничего слушателям не достанется, кроме как ушами и ладошками хлопать, без слёз, без дружбы, без любви. А мы-то ведь ещё и не жалели друг друга и спать ложимся усталые от того, что целый истекший день мешали друг другу жить на земле... Эх, люди, люди, пролетарии всех стран, колхозники и культурная прослойка, объединитесь же, наконец, очень умоляю вас...

– Эй, ты, хулиганский мужчина! Ты чего там митингуешь?

Это уж мне снизу кричат. Гляжу – двое в серых макинтошах, и один из них пальцем качает:

– Спускайся по-хорошему.

– Нет, – говорю, – жалею вас, но не спущусь.

Короче, приехала на машине пожарная команда и отодрала меня от лестницы. Который в макинтоше мне сразу же по сопатке врезал для знакомства.

– На кой хрен, – спрашивает, – ты здесь кино устроил?

– Кино, – отвечаю, – самое массовое из всех искусств. А искусство принадлежит народу. А народ и партия едины...

– Вот ведь сука какая! – сказал второй макинтош. – Подкованный!

– А неподкованного, – сказал первый, – враг не пошлёт с заданием, когда член ЦК и Советского правительства совершает интимный туалет.

Так сказал первый макинтош и с обратной стороны рукоприкладство совершил.

Я всё понял. Тут и козе понятно. Чека! Серьёзная фирма. Фирма веников не вяжет, как говорится.

Обшарили меня, потащили к подъезду, к синей машине с красной каёмочкой. Я ору, что мне домой надо идти для покаяния, и про культурность обращения делаю замечание. А в этот момент выходят из Сандунов товарищи Фурцева и Зыкина, директор наш их сопровождает, портфели несёт.

– Володя, – спрашивает Екатерина Алексеевна у первого макинтоша. – Что тут у вас за такой неприличный бардак?

– Да вот, – отвечает макинтош, вынимает из кармана мой бинокль и разъясняет вопрос по порядку, но на скорую руку. – Вот, товарищ министр, клиента выследили. Лазутчик по лестнице. Вёл подозрительное наблюдение. С применением техсредств.

– Видел? – спрашивает меня мрачная товарищ Фурцева.

– Видел, – отвечаю.

– Всё видел?

– Всё.

– Больше не увидишь, развратник! – сказала – и кулачком в перчатке по капоту членовоза пристукнула.

– Извращенец! – добавила Людмила Георгиевна и тоже по капоту бабахнула. – Козёл! Ему до морального кодекса строителя коммунизма – как от козла молока!

И таким манером аттестовали они меня поочерёдно минуты три-четыре, и по синей машине – Екатерина Алексеевна: тюк! тюк!, а Людмила Георгиевна: бэмс! бэмс!

– Была б на то моя власть, – сказала Фурцева, – так я бы тебя, полового бандита, в два счёта законопатила бы в трущобы буржуазного города Нью-Йорка. Вот только не имею на то полных полномочий правосудия. А жаль нестерпимо. Дай-ка, Володя, этому сексуальному маньяку пинка хорошего под задницу, пусть летит и не оглядывается.

И укатили в ЗИЛе. Синяя с красной каёмочкой вослед рванулась. А я остался у парадного подъезда, трезвый, как веник, морда побитая, и воплю, прохожих граждан распугиваю:

– Деньги давай! Гони, падла, мои кровные за пять берёзовых, за два можжевельных, один эвкалиптовый... Фирма веников не вяжет!

На этом я заканчиваю свой самокритический и чистосердечный рассказ.

В устной форме однажды опубликовал своим коллегам.

– Ничего, – сказал Кувыкин. – Не расстраивайся, Семён Семёныч. Им эти веники – не в коня корм.

– Обидно, – отвечал я, – всё равно. После той скорбной истории я упал в жуткий депрессионизм. Как выпью – так плачу, всех жалею, а себя становится всех жальчей. Через пару лет в город Хибаровск со своей певучей женой уехал, на родину предков. Еле вылез из запойности. А когда вылез, огляделся – тю, тю! Вся жизнь уже пронеслась, как у Гагарина, в один прекрасный миг.

– А ты не думай, – посоветовал Щитовидов, – об секундах свысока. Давайте лучше козла забьём.

– Давайте, что ж...

У нас такое правило: кто в домино становится козлом, тот и идёт сдавать стеклотару в приёмный пункт. В пустых бутылках, понятное дело, нет никакого смысла, двадцать копеек за горло, но зато эти двадцать копеек – это уже полбуханки хлеба, сырок плавленый «дружба», а простой водички для запива можно и из крана набрать, культурность наша не пострадает, я так считаю. Но, с другой стороны, получается дурной заразительный пример для подрастающего поколения, и потому наше безалаберное домино с вытекающими последствиями не надо демонстрировать наглядно и нахально во дворе, на виду молодёжи, а заодно настала пора в срочном порядке решать проблему отцов и детей, на которую впервые обратил внимание общественности писатель Тургенев, и в этой проблеме аннулировать домино – это ещё только цветочки...

Сочинитель закрыл амбарную книгу Помиранцева, покачал на ладони.

«Граммов триста, однако... Тургенев, Фурцева, домино как игра поколений... И в самом деле, – однако!..»

Известное дело: настольная игра в 28 костяшек. Она даже заполночь и пуще водки объединяет и сплавливает народ по месту проживания – во дворе, за столом, который под мощнейшими ударами игроцких ладоней бывает вбит в землю чуть ли не по самую столешницу. А какова терминология в той игре! Дубль, криба, рыба, мыло и даже секвенция! Костяшка «пусто-пусто» родила анекдот о безработных доменщиках. Названия многочисленных вариантов игры пахнут дальними

странами и ромом: блиц, севастополь, матадор, маггинс, берген, сорок два, бинго... И всё это популярное великолепие называется простенько: забить козла. Игроки – забойщики. И песенка о том же:

*И в забой отправился
Парень молодой...*

Козлы, если они не провокаторы, тоже штучка особенная. Это во-первых. Во-вторых, «песнь козла» – именно так на русский язык переводится греческое слово «трагедия». И, в-третьих: в двух первых, если поднатужиться, то без труда и даже с некоторым душевным облегчением можно обнаружить корешки всех маленьких трагедий, бесконечных, куда живо само человечество.

Вот такое домино получается. Оно ведь само по себе суть взаимосвязанная сцеплённость. Наконец, существует ещё и «эффект домино» – последовательно, как поколение за поколением, падающие костяшки, наглядно демонстрирующие взаимозависимость: вместе стоим, вместе падаем, и цепь, и оцепенелость звена... Точно слово в песне, которое, как известно, не выкинешь.

*Домино, домино,
Будь весёлой, не надо печали.
Домино, домино,
Нет счастливее нас в этом зале...*

Балы пятидесятых годов... Неважно, в каком веке. И неважно – дворцовые или дворовые. И неважно, кто выступает в первой паре: Всероссийский венценосец Романов или кумирный тенор тех лет Романов Глеб... Потому что домино – это ещё и маскарадный костюм в виде длинного плаща с капюшоном. Тайнство маски... Мелодия в до миноре. Дамы и кавалеры... Девки – туды, парни – сюды, па-а-шли! А один не танцует. Он точно в таком же плаще с капюшоном: в одеянии монахов католического доминиканского ордена. Он молчалив и сосредоточен. Он в домино.

И дом отсюда. И домовина. И – выше, выше... Что? Кто? Dominus? Господь Всевышний? Не знаю. Но всем известно, что доминанта – это обозначение верховной власти, высшего господства. И воскресение – доминго... И музыка сфер как память о сожжённых мостах.

А всё иное на крестном пути человечества происходит всего лишь попутно.

«Граммов триста, – подумал Сочинитель. – Одна проблема. Или можно так сказать: одна проблема на троих. Тогда возьмём граммов по пятьдесят – от Тургенева и Фурцевой, и двести граммов, целый стакан, – от товарища Ленина. Вечно живой, что он теперь может сказать, на нас глядячи, в конце-то концов?..»

ЛПІІ

В конце конца весны включили фонтан, и Площадь Падших Борцов оживилась среброструнной игрой воды в каменной чаше.

Надобно ли говорить о том, что это событие вылилось в водный праздник, феерию, в народное гуляние со стечением обстоятельств и с непременными вытекающими последствиями?

Нет, не надобно говорить об этом. И так понятно.

В первый же день, ещё перед включением в работу водопроводных насосов, народ хищно кружил по площади в лабиринтах киосков и павильонов-временок, от одного к другому. В одном размещались пивоводы, в другом – красное креплёное «Алабашлы» и портвейн «777», в третьем – горячие пирожки с капустой, картошкой и ливером пополам с рисом, а были ещё пятый, и шестой, и десятый...

Женщины без шума-гама, привычно и деловито, выстраивались в очередь за свежемороженой простиломой, которую рубщики с рынка тут же пластали мясницкими топорами, разделявая монолитные кубы 0,5 м x 0,5 м в мелкие брусочки разных форматов, по желанию покупательниц.

Тётя Хася с присущими ей энергией и энтузиазмом руководила всей торговой частью программы гуляния.

Культурную часть направлял Гусейн Вуткинд, мушкетёр из партийного райкома. Вокруг него, точно адъютанты вокруг полководца, кружили ярко-пёстрой стайкою прелестные девушки из комсомольского крайкома, и Ляля среди них – первая, конечно же.

– Взались за руки! – щебетала она, взывая к неорганизованной публике, звонким, пионервожатым голосом. – Встали в круг! За руки, за руки, товарищи... Мужчина, я же сказала: за руки, а вы за что? Прямо, как маленький... Отпустите женщину! Ах, она не хочет? Тогда вышли из круга! Вышли! Остальные па-а-шли-и...

Вот так и хоровод вокруг фонтана образовался.

Бабы в кокошниках и сарафанах заголосили, мужики в кольчугах загудели – вподхват:

*Ну-ка, дети, встанем в круг,
встанем в круг,
встанем в круг!
Я твой друг, и ты мой друг,
старый
верный дру-у-у...*

Воробьи хохочут.

Собаки заливаются.

Комсомольская Ляля с хороводом лялькается, а сама песенных слов не знает, а ещё комсомолка Ляля называется... – так она язычит

на детсадовский манер: ля-ля-ля! ля-ля-ля! – и очень складно это у Ляли выходило.

Гусейн Вуткинд озабочен весьма: гулянье – гуляньем, мероприятие хорошее, но вот на службе образовалось что-то невероятное, неприятное, что-то научно-фантастическое, если не мистическое... Открыл вчера вечером Гусейн одну толстую жирную папку с текущими документами для подготовки полугодового отчёта о проделанной работе, бегло перелистал страницы – и ахнул Гусейн! Другую папку раскрыл, третью, четвёртую – везде одно и то же: все красно-синие карандашные птички-галочки на полях документов исчезли. Ни одной галочки – как неопровержимого свидетельства о выполнении запланированных культурно-массовых мероприятий! Испарились. Растаяли. Слиялись. Упорхнули. А ведь сам, своей аккуратной и довольной рукой расставлял по местам эти галочки, и вот, нате – нету! Осмотрел обратные стороны страниц – и там нету, впрочем, и быть не могло, но – чем чёрт не шутит, когда реалисты спят или же просто от груды дел, суматохи явлений отдыхают в хорошей компании? Как теперь разобрать в тех бумагах процент выполнения и выполненное и перевыполненное отличить от невыполненного и недоперевыполненного? Как дальше работать?.. А с другой стороны посмотреть... может знак какой-то свыше, не оттуда, где выше и выше, а вообще выше крыши? Может, и вовсе не надо разбираться и отличать? Потому что планы партии – планы народа, а планы народа воплощаются в жизнь безусловно, полно и безоговорочно. И ничто не забыто, ничто не упущено, каждый бумажный пункт превратился в быль, явь, быт и жит. А галочки... галочки – это чушь, это аппаратный бюрократизм и анахронизм, оставшийся ещё от времён бывшей Зав отделом Вандеи Властьевны Попадейкиной, и уж год как нет в руководящем кресле Вандеи Властьевны, а галочки её любимые живут и побеждают в некоторых случаях, вообще-то, неплохая была женщина, Вандея Властьевна, однако наследство её пора спихивать на свалку истории, в архив, в мусор отходов общественного развития...

Конечно же, были на гулянье и речи. Как и намечено в программе.

От райкома партии выступил Вуткинд, от крайкома комсомола – Ляля, дальше – от профсоюзов тётка, потом она же, без перерыва, говорила ещё два раза – от советских женщин и ветеранов, затем был запланирован мужик от колхозного крестьянства, привезённый накануне и поселённый в Дом колхозника, но его почему-то в нужный момент в нужном месте не оказалось, а оказалось, что пьёт пиво и не уйдёт от ларька, покуда не выпьет сто кружек, на всю оставшуюся жизнь. От интеллигенции слово в стихах произнёс весь дрожащий от вдохновения молодой человек из Дома со львами, завершивший слово четверостишием:

*Тело Ленина живёт и побеждает,
Пролетарьям всего света угождает.
Пусть живёт и не гниёт оно навечно
И крайкому помогает безупречно!*

Ленинскую тему развил в своей речи Семён Семёнович Помиранцев, представлявший у микрофона весь рабочий класс Хибаровска и Хибаровского края.

– Всем сегодняшним удовольствиям, – сказал он в заключение, – мы обязаны Ленину. И хоть нету его сегодня с нами в живых, но пусть его душа знает, что мы не напрасно положили его нетленное мумиё в гранитный Мавзолей Ленина, а также мы в очередной лиш-ний раз убеждаемся, что без Ленина нам нельзя, а с ним – так вообще невыносимо...

Жаль, не дали договорить Семёну Семёновичу. Какой-то парень в шляпе, даже и не Вуткинд, тихо сказал оратору в ухо: время слов истекло, пора гулять, а к вам, гражданин Помиранцев, если вы не возражаете, у нас есть пара маленьких вопросиков для короткого разгово-ра: во-первых, зачем «душа»? а, во-вторых, откуда «невыносимо»? На что Помиранцев ответил жестом руки в сторону памятника Ленину, возвышавшемуся в центре фонтана: дескать, будьте любезны, озна-комьтесь с первоисточником, а уж потом лезьте в праздничную душу с вашими глупыми вопросами...

Он стоял. Да, он стоял, весь Золотой, сияющий не столько от све-жей краски «под бронзу», сколько от мириадов преломленных лучи-ков света, исходящих от водяных брызг.

Над головой Золотого Ленина взошла радуга.

Старухи крестились.

Дед Молитвин с тётей Матрёшей обсудили этот момент без религи-озного экстаза, по-советски.

– Наш Ильич, – сказала тётя Матрёша, – и в огне не горит, и в воде не потонет.

– Куда! – уточнил дед Молитвин. – Нащёт огня не знаем. Не знаем. А нащёт воды точно. Точно.

К небу, к самой радуге, взлетала мойщица трупов из морга това-рищ Арапская, старый член партии, с довоенным стажем. Ей райком доверил ежегодно, к дню открытия фонтана, мытьё с мылом, с вехот-кой и скребком обоих Лениных: Золотого, который в фонтане, и Се-ребряного, который напротив, неподалёку, метрах в 86,5 плюс-минус полметра, перед фасадом крайкома. Что она и делала под наблюдением скульптора Шадрина и без всякой оплаты, из одного лишь чувства. И за это её, товарища Арапскую, качали на руках. Она летала с досто-инством и была серьёзна, как космонавт.

А потом ленинский вопрос исчез в круговерти гулянья.

И Сочинитель не без волнения взял на себя труд и долг просвеще-

ния иногороднего читателя, буде таковой окажется лицом к лицу с хибаровским фонтаном или книжной страницей.

Итак, на Площади Падших Борцов, как известно любому пернатому существу, в особенности голубям, стоят два памятника Ленину, воздвигнутые скульптором Шадриним Хасаном Францевичем.

Народ любовно называет их Золотой и Серебряный.

Понятно, что не о благородных металлах речь, но о «бронзянке» и «серебрянке», красочных имитаторах драгоценностей, кстати, не очень-то и дорогих.

Когда-то, ещё до «бронзянки», точнее сказать, при дефиците оной, памятник нынешнему Золотому подновляли очень просто: белили извёсткой, как при домашней побелке, синьку для пущей белизны добавляли, отчего Ленин при дневном свете и, тем паче, под луной отливал голубизной, но голубых вождей не бывает, и окраску Ленина поправили раз и навсегда самым решительным образом.

Из двух Лениных народ предпочитал Золотого. Во-первых, фонтан, как-никак эстетика и культура. Во-вторых, тоже фонтан, водичка журчит на свежем воздухе, можно умыться и в необходимой пропорции разбавить питьевой спирт. Наконец, в-третьих, близ Золотого нет специального милицейского поста, не то что у Серебряного – у того есть, потому как крайком в двух шагах.

И вот, значит, массы тянулись к Золотому.

Некоторые люди из масс называли его панибратски, даже поблатному: парень в кепке и зуб золотой. Это не отвечает действительности. Никакой кепки! Правда, случались на макушке вождя разные неприятные моменты: зимой – снежная шапка, а то бывают целые бесстыжие птичьи гнёзда, но хуже – отхожее место для тех же птиц, издалека, в самом деле, похожее то ли на кепку, то ли на парик, который товарищ Ленин носил, скрываясь от преследований врагов российской социал-демократической рабочей партии. А зуб золотой – это, разумеется, имеет место только в воровской песне, из которой, как, впрочем, и из любой, слов не выкинешь, но к Золотому эта песня отношения не имеет. Некоторое наглядное представление об этом памятнике дают строки талантливейшего поэта эпохи В.В. Маяковского (1893–1930):

*Рот открыт в напряжённой речи,
усов щетинка вздёрнулась ввысь,
в складках лба зажата человечья,
в огромный лоб огромная мысль.*

Всё так. И в этом огромная заслуга скульптора Хасана Францевича Шадрина: и рот в речи, и щетинка, и мысль в складках.

И вот он стоит, Золотой, и глядит прямо на Серебряного, а Серебряный – на Золотого, а между ними народ гуляет, семечки подсолнуш-

ные, пиво-воды и городской фольклор с сельскохозяйственным страданием под управлением комсомольской Ляли:

*Ах, солнце закатилося,
Умолк шум городской.
Маруся отравилася,
Вернувшись домой...*

Теперь – о Серебряном. Всё у него точь-в-точь, как у того же талантливейшего самоубийцы Маяковского, словно списавшего словесный портрет вождя с самого себя: настоящий, мудрый, человеческий, огромный лоб, а у самых глаз мысли всякие морщинят кожу да губы несколько насмешливей и твёрже, чем у обыкновенных людей, не-вождей и не-поэтов.

Народ, в первую очередь слуги его, заседающие в Зазеркалье Серого Дома, называют Серебряного «писающий мальчик»: утверждают, что есть такая скульптура в каком-то крупном заграничном городе, а из пипки будто бы и в самом деле выписывает дугу струйка чистойейшей водопроводной, а может быть и родниковой воды. Не видел, не знает Сочинитель такого мальчика со стружкой, скорей всего – враки, слуги народа вообще превеликие фантазёры и сочинители анекдотов. Но ходят также слухи, что из одного окна Серого Дома, причём – только из одного! из окна самого Персека, второго слева – можно увидеть... да, действительно, ракурс интересный, и Персек однажды обнаружил неприличное чудо и даже вызвал в кабинет скульптора Шадрина, доставили колясочника с определёнными техническими сложностями, подкатили к окну, и товарищ Персек Сытников, удалив из помещения посторонних лиц, спросил по-хорошему, по-простому: «Товарищ Хасан Францевич, это чего там такое у товарища Ленина впереди торчит? Это у вас абстракционизм торчит или ещё какая-нибудь новая идея в разрезе модернизма?» – на что Хасан Францевич ответить ничего не мог, нечего было сказать Хасану Францевичу: Серебряный Ленин стоял лицом к площади с круто торчащим половым членом... «Нет, нам такие члены партии с архитектурными излишествами не нужны!», – сказал Персек, когда вскоре всё выяснилось: из-за левого бока Серебряного выглядывала оконечность ладони правой руки, вытянутой Серебряным вперёд и вниз, а не вперёд и вверх, как это делал Золотой. И с точки зрения, имевшей место быть в персековском кабинете, в окне, втором слева, – памятник выглядел неприлично. Окно задрапировали наглухо. Но слухи о ракурсе просочились за пределы Серого Дома. Под окнами здания закружили какие-то товарищи с романтическими глазами, как потом оказалось, из экскурсионного горбюро: товарищи искали на земле точку, аналогичную оконному ракурсу, а кто ищет, тем более с романтическими глазами, тот непременно найдёт, и они нашли, и вбили колышек в землю, от которого открывался запрещённый ра-

курс, правда, неполноценный, не впечатляющий, как из окна, но всё-таки тот ракурс, с «членом партии»; и как бы этак ненароком, по пути, стали приводить к колышку туристов, за что взимали с них – ежели с фотографированием! – дополнительную оплату в валюте.

И вот ещё чем знаменит Серебряный: ежегодно, в День Советской Конституции, уполномоченные лица размуровывали нишу в бетонном постаменте и под оркестровые марши, при стечении публики, запрягивали в ту, по-видимому, бездонную дырищу на вечное хранение так называемое «Послание в Светлое Будущее»: комсомольские и пионерские рапорты, обращения передовиков коммунистического труда, урны с бывшей целинно-залежной землёй, какие-то колёса, шпалы, строительные каски из оранжевого эбонита, а также первые образцы разнообразной малогабаритной продукции хибаровской промышленности со Знаком Качества, однако самый, пожалуй, интересный, с историко-археологической точки зрения, «заклад» представлял собою вещи преимущественно бытового назначения, которых в нашем развивающемся обществе категорически не будет при наступлении Светлого Будущего: всякие там самовары и висячие замки с керогазами, и даже гармошка-трёхрядка «Тула» и, понятное дело, икона Николая-Угодника. Делалось это просто: митинг – заклад – новое замуровывание и прохождение торжественным маршем юных пионеров под крики горнов и грохот барабанов мимо беломраморной плиты, закрывавшей нишу, со свежей позолоченной гравировкой: «Послание в Светлое Будущее».

Вот, кажется, и конец представления: и новых героев публике, и представления как такового, как мероприятия, хоть с галочкой оно, хоть без галочки, а беспартийным товарищам это дело, как выразился один из них, – однохерственно.

... И в самом деле, день, как и гуляние, сворачивал лавочку.

Всё, что намечалось, было съедено. Всё, что планировалось, было выпито.

Российский классик однажды подметил: есть упоение в бою. Да, есть. Но не только в бою. На фронтовые сто грамм не шибко-то... Но уж в мирное время, когда всех врагов победили, и народ-победитель по сторонам света смотрит: кого бы ещё победить? – упоение приходит особого рода. В общем, и война, и мир для духа российского равно упоительны, но мир, всё-таки, чуть-чуть перевешивает.

Пьяных «в стельку» развезли по медвытрезвителям.

А которых развезло не «в стельку», отпустили с миром по домам, в коих ожидалась бои местного значения.

Рабочие демонтировали павильоны и киоски и увозили их на грузовиках.

Шелестели по асфальту бумажные клочья, и сытые собаки провожали их презрительными взглядами.

Фонтан исправно журчал. От него исходила неземная музыка. А

вокруг бассейна – лужицы всевозможных конфигураций и глубины, мокрые следы, стечение обстоятельств...

Кто-то, кажется, утонул в бассейне. Но его успели спасти.

Семён Семёныч Помиранцев сидел на скамье близ кустика, под которым недавно сантехники сделали тайное захоронение. Сидел и хмыкал странным хмыком, мысленно рассуждая о бессмертной душе в ракурсе гранитного Мавзолея. Рядышком с ним возвышалась его широкая супруга военно-морского происхождения. Она вертела в руках милицейскую квитанцию об уплате штрафа за то, что упомянутый Помиранцев С.С. занимался любовью к Родине в общественном месте. Вертела, вертела, вертела. Читала, читала, читала. Как будто бы это была не бумажка размером с ладонь, а роман аналогичной толщины. Ничего супруга не понимала. Плюнула. И сказала:

– Пошли домой, Семён Семёныч.

По опустевшей площади прогуливался ветерок. Он был свежий. Он только что прилетел с Моря, он видел Море, он играл с Морем... Но такого, как в каменной чаше фонтана, он ещё не видел, он был молодым ветром, и потому знакомился с новым Морем осторожно, недоверчиво, чуть-чуть прикасаясь к поверхности воды, словно бы закипающей на холодном огне, в щекотливых пузырьках.

Два босяка в луже топчутся, штаны до колен засучили, тихие, мирные и счастливые босяки, они шлёпают голыми пятками блаженно, в брызгах удовлетворения... Босяки попеременно наступают друг на друга вежливой, уважительной кадрилию.

Один начинает:

*Как на Дерибасовской, угол Ришельевской,
В восемь часов вечера разнеслася весть...*

Другой заканчивает:

*У старушки–бабушки, бабушки–старушки
Семеро налётчиков отобрали честь...*

Комсомольская Ляля сидит на парапете бассейна, омочив резвые трудовые ножки, смотрит на босяков, ей хочется горячих пирожков с капустой или хоть даже с чем и сливочного мороженого с изюмом по 20 коп. порция, ей хочется сказать этим кадрилиным босякам что-нибудь такое нежное, комсомольское, вроде: мальчики, а я бы пожрала сейчас чего-нибудь... – но мальчикам ноль внимания до юной комсомольской богини краевого масштаба, они свою канитель развели, остановиться не могут, выступают в луже на мотив Гимна Советского Союза.

Один начинает, засунув большие пальцы за лацканы строгого служебного пиджака:

*Туц–туц, первертуц, бабушка здорова,
Туц–туц, первертуц, кушает компот...*

Другой заканчивает, засунув большие пальцы за лацканы строгого служебного пиджака:

*Туц-туц, первертуц, и мечтает снова –
Туц-туц, первертуц, испытать налёт...*

Уходящий со смены крайкомовский милицейский сержант остановился, пригляделся к художественной самодеятельности, подумал и, отдав, как положено, честь государственной музыке генерала Александра, пошёл потихоньку домой, с лёгкой завистью к этим двум смышлённым босякам, Толе и Коле, крайкомовским инструкторам: счастливые, ёлки-палки, как всё равно ребятишки...

– Кадриль решает всё, – произнесла Ляля и демонстративно, злобно-мстительно разделась, потянулась и голышом скользнула в воду – золотой рыбкой, серебряной русалочкой, последнею каплей, переполняющей чашу...

О, этот великий кормчий, этот великодержавный шовинист Мао Цзэ-дун со своей культурной революцией и массовыми агитационно-пропагандистскими заплывами в реке Янцзы... – он немедленно лопнул бы от жёлтой злости и зависти, если бы хоть краешком косога своего глаза вдруг увидел Лялин водяной круг почёта вокруг Золотого Ленина! Увидел бы – и окосел совершенно, на оба глаза, до полной куриной слепоты, – когда бы взглянул, как из каменной чаши, из кубка звонкокипящего, в музыке играющих вод и в сиянии мириад микроскопических лун... – выходит! идёт! ступает! по морям, по волнам, нынче здесь, завтра там... – и это вам не:

не тары-бары и не бублики-рубрики!
не бухты-барахты и не танцы-шманцы!
не трали-вали и не хали-гали!
не страсти-мордасти и не культур-мультиур!
не буги-вуги и не тюрли-фурли!
не любушки-голубушки и не джерси-мерси!
не микки-маус и не санта-клаус!
не винни-пух и не винный дух! – и вообще,

не ладушки, а – пеннорождённая вольной волною волнительной – Афродита Греческая с такой феноменологией гегельянского духа по-комсомольски, что получается, как в голливудском кино: никаких коммунизмов, а одна сплошная любовь...

Вздохнуло небо – тепло и протяжно, точно корова в хлеву.
Это, значит, пришла ночь.

... Сочинитель уже третьему фонарю исповедовался – никакого толку, наоборот: выслушают, поморгают озадаченно, поморгают и гаснут. А с чего им гаснуть-то? Зачем? Отчего? Поздней-то ночью, в своё служебное время? Нехорошо. И Сочинитель шёл, разобиженный «в

дупель», к следующему светилу, обнимал его и говорил вполне членораздельно: да, отзвучали песни нашего полка! что было, то и миновало! тихо лаяли собаки в затухающую даль, я явился к вам во фраке, элегантный, как рояль! но это всё вода! только не та вода, которая чистая, которая с химической формулой, составленной из двух восклицаний: аж два О! нет, рояль – это муть, и балалайка муть, и гулянье муть, и Хибаровск тоже муть, и вообще вся провинция есть муть чистойшей воды, мутота высшей пробы, одноразовой, однократной жизни, провинциальная мутота – такой кондиции, что её уже ничто на свете не может замутить, и в этом цельность провинции и чистота эксперимента, о чём прекрасно знает метрополия, да провинция даже и не догадывается, неужели это не ясно? или вы совсем офонарели, братцы-просветители?..

Над площадью, в чёрной мутоте насыщенного влагой воздуха, скользили бесшумные тени... Непонятно чьи. Тени стремительно носились от Серебряного к Золотому, от Золотого к Серебряному...

И Сочинитель, уставший бормотать в одностороннем порядке, сомкнул уста и прислушался.

И услышал...

Сказано: слово – серебро, молчанье – золото.

Но говорил именно Золотой, и молчал именно Серебряный.

Два Ленина враждовали не на жизнь, а насмерть.

Кто из них истинный? Кто из них живее? Кто главнее? Кто перее?

У одного рот открыт – у другого закрыт: судебные речи – подспудные думы.

Да ведь не простое же противостояние – борьба!

И очень даже естественно, что как бы и не касается до той борьбы одна мыслишка, не слишком новая, но на которой испокон веку спотыкается всё человечество: первый? первый! первый никогда не бывает первым сам по себе, ибо он, почитаясь первым, в то же время является последним в предыдущем строю исторически обречённых и в забвенье даже не пронумерованных персонажей.

... эти политические проститутки! О, если бы я мог научить всю эту сволочь! С ней надо расправляться так, чтобы они на года запомнили! Расстреливать, не спрашивая ни у кого согласия, и не допускать при этом идиотской волокиты! А этого Абрамовича уволить немедленно! Все врут! И всё врут! Нагло, беспардонно! И этот... этот ренегат Серебряный заодно с врагами пролетариата! Таких, как он, надо вешать за яйца на вонючих верёвках. За клевету! Срочно нужен секретный циркуляр против таких Серебряных дураков, бросающих клеветнические обвинения в мой адрес под видом внутривластной критики. Вы скажете: он молчит! И я вам отвечу: э, нет, батенька, вы ошибаетесь! Этот истукан, этот идол не просто так

молчит. Он завистливо и расчётливо думает. О чём же он, позвольте спросить, думает? Он выстраивает очередной фракционный заговор и выдвигает против меня жалкие и нелепые обвинения. Он даже мою матушку, Марию Александровну, систематически посылает к но-табене, подлец! Будто бы, заявляет он, Мария Александровна в молодости была фрейлиной при дворе императора Александра Второго и крутила любовные шашни с великим князем, будущим императором Александром Третьим. И сына от него родила. И Сашей назвала... Серебряная блядь! Это только кажется, что он молчит. Но с его молчаливого одобрения даже за границу дошли чудовищные слухи о том, что вслед за Сашей у Марии Александровны ещё и дочь родилась неизвестно от кого, и это интимное событие вызвало скандал при дворе, ибо считалось неприличным для незамужней фрейлины рожать детей от кого попало. И тогда было решено устранить пикантность следующим образом. Дело передали жандармам. Жандармы нашли в Петербурге гомосексуалиста Илью Николаевича Ульянова, бывшего, как и все ему подобные, на крючке у охраны. А дальше – просто: Илье Николаевичу сыскали хлебное местечко в провинции, подальше от столицы, Марии Александровне подарили в приданое дворянский титул, сыграли свадьбу по-жандармски, после чего молодожёнов отправили в Симбирск, на Волгу, с глаз долой. А у жандармов – то промашка вышла! Вот! Вот! Вот! В документах даты рождения первых двух детей Марии Александровны предшествуют дате свадьбы! Ха-ха-ха! Не умеют эти омерзительные мундиры голубые прятать концы в воду, не умеют! Итак, Ульяновы в Симбирске. Мария Александровна, пылкая женщина, ещё четырёх родила от неизвестных героев. О, эта Серебряная политическая проститутка! Как он мог позволить про матушку? И ведь даже ни малейшего голоса против не подал, когда кто-то где-то кому-то совершенно открыто рассказывал про маленький провинциальный городок, где все всё про всех знали, кто есть кто и почём, пальцем показывали на семейство Ульяновых, потому и вырос Саша озлобленным на весь белый свет, а пуще всех ненавидел Илью Николаевича. Химией занимался весьма успешно. Да, кстати, химия и контрреволюция не исключают друг друга. И отправился Саша на учёбу в Петербург, но не столько на учёбу, сколько для того, чтобы в первую голову казнить настоящего отца, императора Александра Третьего. Арестовали Сашу и за химию, и за химическое участие в подготовке покушения. Мария Александровна срочно поехала выручать сына из неудачи. И это по-человечески можно понять. Но этот Серебряный... Сволочь, мерзавец и последний подлец! Нет! Нервы напряжены! Нервы взвинчены до предела! Нужно скакать, скакать...

Тени, тени, тени... Они мечутся над площадью, от Золотого к Серебряному.

Похожи на ворон. Хотя... Есть в них что-то такое, от сочинителей разных, от их писчебумажной продукции...

...Заткни, блядь, свой фонтан! Ты забыл? Мы напомним! Мы напомним не про сказочки, как сороки-вороны кашку варили, деток кормили, этому дали, а этому не дали... Хрен тебе! Помнишь художника Анненкова Юрия Павловича? Не помнишь? Ай-яй-яй! Не хорошо, батенька. Ты ж ему ещё живьём позировал для портрета. А дальше было так. Сразу после твоей идиотской смерти Анненкова из Питера вызвали в Москву правительственной телеграммой, чтобы нарисовать тебя в гробу. Приехал Анненков, куда ж ему деться. Но не успел. Тебя уже некий Петров-Водкин, мастер по красным коням, изобразил маслом, в гробу, на полотне...

Тени, тени...

Они на сорок-белобок видом смахивают. Хотя... Есть в них что-то этакое, от канцеляристов всяких, от их аккуратной занудливости...

... да, император немедленно бросил все государственные дела, принял старую пассию, вместе наведались к Саше в крепость, где царь простил царевийцу, прослезился, пообещал Саше княжеский титул и чин в гвардии – а что? блестящая судьба бастарда, выблядка! А Саша, дурачок, заупрямился, заявил батюшке в глаза, что смерти не страшится во имя революции, чтобы таких папаш на свете не было, и сумеет, дескать, найти способ, чтобы предать гласности бесстыдную историю аморального поведения монарха. И тем решил свою участь. Не казнили Сашу, нет. Палачи спрятали его в Жёлтый Дом, под строжайшим секретом, в полной изоляции от мира, где он и умер загадочной смертью в тысяча девятьсот первом годе, чуть-чуть не дотянув до первой русской революции... Нет, нервы взвинчены! Надо скакать, скакать... А Серебряная сволочь утверждает, что Золотой – голубой. И эта гнусь до меня дошла. Про то, что бедного Сашу-химика педераст Илья Николаевич не трогал, но уж на мне оттянулся, знал, что я ему не родной, а как бы с улицы. А, каково? Буржуазный Антониони, кстати, снял роскошный фильм о великих гомосексуалистах, так вот, на первом месте там – я! И эта... Мариэтта! Шагинян. Сука! Старая глухая блядь! Она в семидесятих годах сочиняла обо мне книгу «Четыре урока у Ленина» и пробралась в архисекретнейшие архивы партии, за семь печатей, и чуть, блядь, не упала в обморок, когда в бумагах рылась, крыса... Кто позволил? Что за жандармские привычки копаться в личных делах? Так поступают только капризные барышни и глупенькие русские интеллигенты, которые думают, что они есть мозг нации, но на самом деле они не мозг, а говно. И поэтому, пока не поздно, нужно немедленно начать кампанию беспощадных арестов этой гнилой сволочи. Они

либо совсем дураки, либо очень умные саботажники. Дать им в руки лопату! Нет, кирку! Киркой лучше и дешевле. И нам надо быть об-
разцово-беспощадными. Ко всем без исключения! Исполнил кампанию
– премия, не исполнил – концлагерь, тюрьма, расстрел! Тем победим!
А эта глухая тетеря и слабохарактерная проститутка Шагинян
взяла и написала сдуру докладную записку дураку Брежневу: дескать,
ужас какой в документах царской охраны относительно семьи Улья-
новых, ах, ах, примите меры!.. А дурак Брежнев показал эту за-
писку дураку Иисусову, и этот ещё сталинский дурак, изнурённый
онанизмом, три дня пролежал в кровати с гипертоническим кризом
от потрясения и потребовал расстрелять Мариэтту за клевету.
Молодец! Но дурак Брежнев, присвоивший себе моё ласковое «Ильич»,
вызвал Мариэтту к себе и сказал: будешь помалкивать про архив,
про блядь Марию Александровну и про гомика Илью Николаевича, и
про гомика Владимира Ильича, так мы тебе квартиру хорошую да-
дим и Ленинскую премию за правильную книжку. И она согласилась,
молодец, хоть и дура, которую надо было расстрелять. А её записку
засекретили и положили в спецхран Центрального Комитета... На-
ивные люди! Надо было уничтожить на месте! Зачем разводит бю-
рократизм и канцелярство? У–нич–то–жить! Архивы–то... того–с,
случается, что раскрываются! Нет, это невыносимо. Нервы взвин-
чены до предела. Нужно скакать, скакать... А этого дурака Абрамо-
вича тотчас расстрелять! Все театры советую положить в гроб!
А спирт можно и должно делать из торфа. Надо это производство
развить всенепременно. А Сталин, подлец... Я его в гробу видел, он
мне грозил, что и с дочерью моей, Марией, расправился...

Тени. Кажется, это и в самом деле сороки-белобоки, стрекотухи-
сплетницы... Устроили тут сорочинскую ярмарку-маёвку... Правда,
что правда – то правда: бесшумная ярмарка, не гомозливая маёвка.
Покрутятся вокруг Золотого – и к Серебряному спешат, а от того
– обратно...

... Да заткни ты, блядь, свой фонтан! Куда тебе скакать? Не
наскакался при жизни? Не накувыркался? Забыл? Так мы напом-
ним. Слушай ушами. Художника Анненкова отправили в Институт
Ленина, только что созданный, чтобы Юрий Павлович лично озна-
комился с фондом фото и кинодокументов для последующих иллю-
страций книг о Ленине, предполагалась таких книг целая серия. И
вот, батенька, этот художник, преприятнейшая личность, доложу
я вам, помимо документов обнаруживает в Институте... что вы ду-
маете своей безмозглой золотой башкой? Вы, милостивый государь,
ни за что не догадаетесь. Художник Анненков совершенно случайно
обнаруживает в одном из канцелярских шкафов стеклянную банку со
спиртом, в котором плавал мозг Ленина...

Да, именно сороки, скорей всего, сороки летают туда-сюда. Даже и не летают, а планируют, крыльями не махая. Туда-сюда, туда-сюда... Снуют деловито, точно курьеры. Дешпи на хвостах разносят. Хотя... Есть в них что-то такое-этакое угодливое и вместе с тем нагловатое и бесцеремонное, от мелкого профессионального аппаратчика из властных структур вечных российских времён...

...мне грозил, что и с дочерью моей, Марией, расправился, мне на-зло. Вот – дочь! А дочь – это неоспоримый аргумент против злостной клеветы Серебряной сволочи о том, что я, Золотой, не Золотой, а голубой. А вот оказывается – дочь! Правда, не от Наденьки. Наденька умеет только глаза лупить и больше ничего. А история дочери прямо так и вписывается в революционно-подпольную романтику. Итак, канун Великого Октября. Я скрываюсь от охраны на квартире рабоче-большевика товарища Емельянова. Положим, всё так и было. У Емельянова, как утверждают клеветники, имелась прелестная племянница Палаша, восемнадцать лет, из пролетарской среды. Со-чувствуя нашей партии, она приходила по дядиному поручению на конспиративную квартиру прибраться, обед приготовить, бельишко постирать. И вот однажды случилось! Архинежная девушка! Целка. Но мне почему-то приписывают в любовники Троцкого! Да разве ж я мог оказать доверие этому Иудушке? Чушь! И когда Пелагея родила Машеньку, она, бедная, пришла как простой ходок ко мне, в Смоль-ный, но красногвардейцы её не пропустили, у меня была гора дел, суматоха явлений: гражданская война... Нервы взвинчены до предела. Нужно скакать и скакать! Осуществление строжайшего и повсед-невного учёта и контроля производства и распределения продуктов. А – деньги? Деньги! Это свидетельство на получение общественного богатства, и многомиллионный слой мелких собственников крепко держал это свидетельство в своём кулаке, прятал его от государс-тва, ни в какой социализм и коммунизм не веря. О, этот зверь, мел-кий буржуа, хранящий тысчонку, враг государственного капитализ-ма, он эти тысчонки желал реализовывать непременно для себя. И этот Абрамович... Его надо непременно повесить. И тут я прихо-жу, наконец, к главным возражениям, которые сыпались на меня со всех сторон. Это мой знаменитый лозунг «Грабь награбленное!» Ло-зунг, в котором, как я к нему ни присматриваюсь, я не могу найти в нём что-нибудь неправильное. Если мы употребляем словосочетание «экспроприация экспроприаторов», то почему же нельзя обойтись без латинских слов и не говорить исключительно по-русски, а? Выкуси-ли? После моей физической смерти Пелагея ходила на приём к Ста-лину, всё ему, сволочь, рассказала, и её расстреляли за клевету на вождя мировой революции, а дочку Машу определили в Ленинградский детдом. На этом можно было бы поставить точку. Ан, нет! Рас-

копали: Мария Емельянова, тысяча девятьсот восемнадцатого года рождения, расстреляна в тысяча девятьсот тридцать седьмом как враг народа и реабилитирована после двадцатого съезда. Но дело в том, что я тут ни при чём и от Пелагеи не мог иметь дочь, потому что, согласно сведениям от Серебряной сволочи, я пошёл совершенно другим путём. И выходит, что дочь – наглое враньё. И получается, что я был верен, и до сих пор верен, одной Наденьке. Но вот детей у нас не было. Мы были всецело поглощены партийно-государственными делами, а в свободное от работы время, по ночам, укрывшись с головой одеялом, по старой конспиративной привычке, мы пели дуэтом «Варшавянку» и другие песни... Вставай, поднимайся и так далее. Архисексуальная песенка. Ее Инесса Арманд очень любила и тоже дуэтом...

Это даже как-то негуманно получается... Некто голосит, обращаясь к телезрителям: «Вы слышали, как поют дрозды?..» Ну, допустим, слышали. И что с того? Ничего. Слышали как, и всё. Но вот о чём, про что они поют, эти дрозды? – никто не скажет. А дрозды не дразнятся просто так. А щеглы не щеголяют понапрасну. И грачи, играючи, галдят не зазря. А про соло соловья и говорить не надобно. Равно как и про то, что: совы ухнут – и свобода вас примет радостно у входа, и братья меч вам отдадут! Вот так. Языки надо знать, товарищи. А товарищи не хотят. Не желают. А может быть, и боятся знать из боязни узнать подлинную, истинную правду: что думают пернатые о двуногих с точки зрения высоты вертикальной жизни?

... Да заткни ты, блядь, свой фонтан. Надоел. А я дальше напомним, если ты забыл. В банке со спиртом, значит, мозги Ленина колыхались. И это были очень интересные консервы. Одно полушарие нормальное, как у людей, с извилинами, обычного размера. А другое, как бы подвешенное к первому на тесёмочке, – какая-то фигурька сморщенная, величиной не больше грецкого ореха. Художник – не анатом, но и он сумел сделать сногшибательный вывод. А через несколько дней банка исчезла. Анненков спросил, ему ответили: не твоё дело! банку Крупская Надежда Константиновна взяла себе на память. Но позже прошёл слухок: в Берлин отправили ленинские мозги, на медико-биологическое исследование...

Нет, тени теней – уж никак не песни песней. И не сороки это снуют меж двух истуканов. Галки! Красные галки, синие галки. Но, во-первых, таких галок не бывает, а, во-вторых, есть в них что-то великодержавное, какая-то магия-бумагия: листики мистики, душа кандаша, канцона канцелярии...

... Нервы напряжены до предела. И я думал, думал и ещё раз

думал: пока на западе революция зреет, а зрела она уже быстрее, чем вчера, наша задача только такая: мы, являющиеся отрядом, оказавшимся впереди, вопреки нашей слабости должны делать всё, всякий шанс использовать, чтобы удержаться на завоеванных позициях, остаться на своём посту как социалистическому отряду, отколовшемуся в силу событий от рядов социалистической армии и вынужденному пережить, пока социалистическая революция в других странах подойдёт на помощь. Надо скакать и скакать. А этого Абрамовича... Физиономия Союза очень неопределённая, так как в Союзе появилось новое течение, тянущее в сторону революционного марксизма, и можно было надеяться, что принципиальное согласие возможно. Но вся особенность русской социал-демократии заключается в том, что либеральная демократия не взяла на себя инициативы политической борьбы. Если либералы сами лучше знают, что им делать, и сами могут делать, то нам делать нечего. Но они делают одни гадости! В День Памятников, восемнадцатого апреля, про меня и даже про Серебряную сволочь в этом году даже не вспомнили. А день рождения отметили из рук вон плохо. Массы не взволнованы. А те, кто пришёл на площадь, организованы совершенно бездарно. Серебряному поднесли три венка, мне – один. Это политическая провокация! Серебряный – говно! Таких, как он, надо было удавливать сразу после незаконного рождения. Или же – топить в ведре, как котят...

Нет! То не чёрные вороны плавно планируют, не сороки-белобоки на хвостах носят крик души Золотого, то не галки выют мёртвые петли из подспудных дум и задних мыслей Серебряного... И – вообще это вам не:

не хухры-мухры и не шурум-бурум!
не халды-балды и не тренди-бренди!
не фокус-покус и не ширли-мырли!
не фигли-мигли и не мульти-пульти!
не шуры-муры и не тити-мити!
не ёлки-палки и не печки-лавочки!
не хенде-хох и не шобла-вобла! – и,

в конце-то концов, не тёмное «дай бог», а чистое «чёрт возьми»... Галочки! Те самые красно-синие птички-галочки, которые своевольно упорхнули от товарища Гусейна Вуткинда, с целинно-залежных полей райкомовских бумаг, из темниц-страниц в тяжелых папках...

... Куда скакать? Куда нам плыть? Я мог бы сказать. А что я мог бы сказать? Всё. Но не скажу ничего. Назло безмозглomu Золотому. Я лучше помолчу вот про что. Мне кажется, Золотой ты наш милостивый государь, что ты, как юрист по образованию и адвокат

по специальности, кстати, весьма хреновенький, профнепригодный, всё-таки способен сообразить, что ты всего навсего – вонючий сумасшедший голубой сифилитик, и папа твой сучий пидор, и мама блядь. Так что, оставь втуне свои притязания! Ибо – только я! Я – памятник себе, нерукотворный, Серебряный, со здоровыми извилинами мозгами, а не ты, говнюк и гнилушка...

– Сам такой!

✓✓✓

– А ты кто такой?

✓✓✓

– Нет, а кто ты такой?

✓✓✓

– Я такой! А вот ты какой?

... В середине ночи Сочинитель окончательно рассорился с фонарями, которые то светят, то не светят, а если светят, то не туда, куда надо, а куда попало. И пробдел изрядное время у подножия Серебряного. И так пробдел бы всю-то ноченьку, если бы не милицейский парный патруль. Конечно, бессонные товарищи, рядовой и младший сержант, заинтересовались, принялись, беззлобно, можно сказать, даже гуманно, посмеялись, выписали штрафную квитанцию: разлагался, де, имярек, неподалёку от КПСС, как свинья в апельсинах... – и отпустили. И Сочинитель удалился со скоростью счастья. Нет, даже не так, так-то было бы слишком сложно в смысле метафизики. Скажем попроще: со скоростью развития капитализма в России.

Бессонных же товарищей, Вовчика и Лёвчика, ходивших на страже общественного порядка, привлекло очередное явление: подозрительное жужжание, исходившее от фонтана.

– В каком ухе жужжит? – спросил рядовой Вовчик.

– Это не в ухе, – ответил младший сержант Лёвчик. – Это объективная реальность темноты ночи, данная нам в ощущениях. Гляди, товарищ рядовой, зорко: около Золотого, возле левой задней ноги какая-то посторонняя фигура в сереброструйном мерцании мерцает.

– Так точно, мерцает. И это неположенный факт нарушения и следующего вопроса: что эта фигура означает и чего она там копошится, тем более в обстановке ночи? Может, проверим, товарищ Лёвчик?

– Не может, а мы обязаны, товарищ Вовчик, – строго сказал младший сержант. – Партия нас призывает хранить завоевания, как зеницу.

Патрули бесшумно расстегнули кобуры табельного оружия, писто-

летов ПМ, ласково именуемых в народе «макарами». Основным конструктивным достоинством пистолета им. Макарова Н.Ф. является его ударно-спусковой механизм с самовзводным устройством, позволяющим производить первый выстрел (NB!) без (NB!) предварительного взведения курка. В магазине 8 патронов калибра 9 мм. Считаем: 2 патрульных x 2 магазина x 8 патронов = итоговый боезапас ровно 32 боевых патрона, как раз хватает на 30 фигур + 2 патрона на всякий случай для себя, чтобы в плен не сдаваться.

Подкрались, как следопыты Купера. Точно: сидит на корточках у Золотой ноги мужик неизвестного происхождения, в мокром виде и спиной к следопытам. Сидит и жужжит. Правой рукой какую-то ручку накручивает.

– Эй, гражданин! – крикнул младший сержант Лёвчик. – Чего жужжишь и по какому случаю стечения обстоятельств?

Рядовой Вовчик прикрывал младшего сержанта с тыла.

Мужик внезапно перестал жужжать и обернулся.

Он был мокрый и тёмный. Он весь сочился. В руках дрель и дрожь...

– Вылазь, гражданин, – сказали ему блюстители Лёвчик и Вовчик, – на просушку.

Это был Щитовидов.

LIV

Достопочтеннейшие почитатели типографских гутенберговых литер! Не передохнуть ли нам от праздников, уважаемые? От фонтана, от Гусейна Вуткинда, от комсомольской Ляли, от двух крайкомовских босяков Толи и Коли, от двух памятников, от двух стражей общественного порядка орденосного города, от всего того, что составило минувший, пропитый и съеденный, день. Передохнём. Спешить нам некуда, мы ещё в самом начале пути.

А между тем и между прочим – на пути уже и знаки дорожные возникают, и не столько разъясняют и указывают эти знаки, сколько вопросы задают, не всегда дурацкие, и таким вот своим поведением, не всегда дурацким, как бы намекают: не столько, дескать, ответ важен, сколько вопрос, который, в отличие от ответа, никогда не бывает глупым.

О, эти знаки! Эти маргиналы-фонарики! Ведь так и подталкивают, так и подталкивают к весам из двух полушарий, к сомнению, к событию, к выбору: вопрос – ответ. Или так – или сяк. Короче: или – или... Но так не бывает.

Всякое искусство, наверное, начинается с вопрошания и вопрошением же заканчивается. Собственно, всякое вопрошание уже есть искусство.

– Или, или, ламá, савахфани?

– Отче, отче, отчего (для чего, почему, зачем) ты оставил меня?

Короче: отче – отче... Но так не бывает.

Бывает так:

– Батя! Где ты? Слышишь ли ты?

– Слышу! – раздалось среди всеобщей тишины, и, как свидетельствует Н.В. Гоголь, весь миллион народа в одно время вздрогнул.

Вот вам и знаки... Илия – мой солнечный бог: или я – или Илия, или снова я, но так не бывает, не всё в жизни светло и ясно, как под колпаком исправного фонаря, и весь миллион народа, и даже больше, всё подсолнечное человечество, созданное, как предполагается, по образу и подобию, – ильичи... Вот вам и знаки. Ознакомьтесь, будьте любезны.

! всё восклицал, восклицал, а потом вдруг задумался, а задумавшегося, как правило, мысль несколько отягощает, и голова задумавшегося смиренно склоняется перед рождением мысли, и рождается ?

? похож на посох епископа, пастыря стад человеческих, а равно и на посох обычного пастуха: с вертикальной доминантой, а уж там, где доминанта, там ключ от неба, скрипичный ♩ , и басовая отмычка ♮ : – нотный стан – и певец во стане – где всё по линейке прямо так и расписано = восстание звуков, ещё не названных, не обозначенных алфавитом, – восстание звуков, от земли до самого неизвестно чего, может быть, и до, и выше, чем крестовое: «Или́, или́, ламá, савахфани́..”

Стоп, стоп... что-то я не то говорю, совсем заврался, извините... Но вы не стесняйтесь, любезные сердцу моему и самопишущему перу, нахально соглашающемуся на прозвище «вечное»... Карандаш в руки – и птичку-галочку на поля спорных страниц как знак высочайшего неодобрения с присовокуплением нижайшего почтения к книге вообще, которой всем хорошим обязан не только основоположник социалистического реализма...

Уж наверное, если в руке сочинителя содержится карандаш тупой, то это ещё полбеды. В обнимочку с первой другая полбеда ходит, мыкается.

Вот бумага. Вот тот же карандаш. Но лучше, как пииты выражаются, перо. Ладно, пусть будет перо. И вот вперивается сочинитель в лист бумаги, чистый и целомудренный. И тут он, сочинитель-то, сам себе и царь, и бог, и тамбовский волк ему товарищ, и гусь – свинье в апельсинах, и чёрт сатане брат... И предвкушая радость открытия – не того открытия, которое сочинитель сам ищет, но того, которое само ищет сочинителя, и открывает, и окрыляет, вот такого! – предвкушая, значит, радость и облизывая жестяные губы, сочинитель иногда думает: пусть – царь и бог, или – или, отче – отче, ибо только вообразив себя богом, можно сделать вид, что никакого бога, в сущности, нет и не было, а цари, как скоропортящиеся продукты эпохи, недолговечны... А сам-то всё никак первую строчку своего письма вывести в свет не может! Да, по-царски, по-божески, можно было бы начать так, просто и без литературы, как в Первый День Творения: в начале было, есть и будет, дескать, чудная минута предутренней свежести, когда

пленительная пустота (замечательно!) окатывает все члены членов Союза Советских Социалистических Писателей... И тут сочинитель откладывает перо и быстрым шагом спешит к холодильнику «Бирюса», в закромах коего прохлаждается фондик «НЗ»... Потом следует совместное с фондиком прохлаждение горячительным – и открытие Краткой Литературной Энциклопедии в поисках соучастия и сочувствия – на нужной странице...

Литературный фонд создан в Петербурге ещё во времена Н.А. Некрасова и И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого и Н.Г. Чернышевского. В уставе цель обозначена: «для вспомоществования вдовам и сиротам литераторов, а также и впадшим в запой». Весьма гуманное учреждение, весьма. Первая акция – назначение пенсии семье покойного Белинского В.Г. Акция чрезвычайно гуманная, чрезвычайно. Помирал-то критик... брошенный, забытый, преданный редактором господином Некрасовым, этим корыстолюбцем, мазуриком, мерзким провокатором, вором, картёжником и бабником... Кто, позвольте спросить, пел славу карателю-вешателю Муравьёву? Он, он, Николай Алексеевич, великий, выше Пушкина, поэт, сделавшийся великим только потому, что, осознавая мерзость свою человеческую, успевал вослед греху свершить покаяние, чтобы в новый раз погрешить, и покаяться, и погрешить, будто хлыст какой... Да, так что там у нас, фондик-то литературный? Диалектика марксистская: просуществовал до зари всего человечества – Великой Октябрьской Социалистической Революции; в 1927 году воссоздан с участием профсоюзов, Наркомпроса и Госиздата, а с началом эпохи соцреализма, в 1934 году, стал именоваться так: ЛФ СССР при СП СССР... А, да ну его на фиг! «Бирюса» надёжней. «Бирюса» жужжит жигулёвской жаждою. И всегда – под рукою. В конце концов, не позволит от скромности помереть. Очень, в сущности, правильная, эта «Бирюса». Почти как Франсуа Мориак (1885–1970), уж на что буржуазный, буржуазней некуда, а ведь тютелька-втютельку уложился в прокрустовый, косточками похрустывающий, соцреализм: «Праведник, – говорил, – романа не напишет». Вот! Это ж совсем не то, что ЛФ СССР при СП СССР. Это, по-гамбургскому счёту, внутренний голос, который дал самому себе твёрдое слово зарока: раз и навсегда, так сказать...

Впрочем, как всегда, недодал, недосказал. Но слово незавершённое – тоже слово. Кто простит

слову его незавершённость? Есть в мире одно существо: коза Робинзона Крузо. Она и простит. Козе понятно... А вот был один старый и больной писатель. Пусть старый и пусть больной, зато писатель-то хороший. Но однажды он очень устал – от мучительных головных болей, мешавших ему, как он полагал, жить и работать. И вот он, язычник-многобожник, взмолился, как ортодоксальный монотеист: «Господи, избавь меня от страданий! Дай мне возможность хотя бы рукопись последнего, может быть, сочинения довести до ручки и до точки!» Избавили врачи. Пульс, давление, кровь, моча – в норме, в полном порядке, как у юноши, ещё только обдумывающего житьё и даже не члена СП СССР. Живи! Но уже ни единой строчки, ни полстрочки не вышло из-под прежнего пера... Жаль пера. Жаль старого писателя: у него уже всё позади. Писателя молодого ещё жалче: у него ещё всё впереди: и чаша, испитая до дна; и текст, выписывающий фигуры полбеды; и фондики, большие и малые, но те и другие с дореволюционным стажем; и завидное искушение: гроздь гнева – да в чашу терпения! то-то будут от такого любовного напитка вздрагивать вздрогом реликтовым не столько виноградные лозы и трубки в руках стеклодувов – нет, народы! весь миллион народа – да все в одно время! – вот искушение-то! вот вопрошение-то, без «или-или», «отче-отче»!.. – мелькнёт в миллионе миллионов женщина, вся в чёрном, глаза чёрные и ясные, словно день и ночь в одних её глазах разом сошлись, – и уже сам сочинитель, молодой ли, старый ли, не так важно, вздрогнет: велению божьему, о муза, будь послушна!.. – и вот она приходит, послушница, и снимает мокрые крылья, вешает их на крючок в прихожей и говорит музейным голосом прямо с порога: «Пить надо меньше, а то развёл тут фондики разные...» – вот! но такое может и не муза сказать – обычная вещественная домохозяйка, а «Бирюса» не скажет, характер хладнокровный, да и нет ей дела до вопрошений ильичей, сынов солнечного бога, а след знака вечен: «ламá савахфани» – от чего, отчего, для чего, почему, зачем, за чем... Зачем всё это последствие? О, зачем! А очень, знаете ли, хочется, чтобы этот вопрос как-нибудь нечаянно, ненароком задал самому себе – и помучился, и помучился чтоб! – терпеливый почитатель гутенберговых литер и попытался ответить на него по собственному разумению. Вот.

За сим имею честь откланяться и доньше пребывать с совершеннейшим почтением российского книгочея всепокорнейший слуга. Отныне и присно здравствуйте.

LV

- Здравствуйтесь, голубчик! Как мы себя чувствуем?
- Гав!
- Очень хорошо. Славная собачка, цуцик этакий! Давайте знако-

миться. Меня зовут доктор Фаустов. А это мой коллега, доктор Штукарский. Назовите, голубчик, вашу фамилию, имя и отчество.

– Гав-гав-гав!

– Прекрасно. Мы получили сопроводительные бумаги, из коих следует: в камере предварительного заключения, после вашего задержания на центральной площади, в ночное время, в момент демонтажа памятника Ленину... В общем, вы помните, какие показания вы давали следователю по особо важным делам?

– Не помню...

– Это бывает, голубчик. Бывает, но проходит. И пройдет. Итак, ваша фамилия...

– Гав!

– Неправда. Ваша фамилия Щитовидов. Фёдор Эдмундович. Слесарь-сантехник ЖЭКа № 25. Народный дружинник. Так?

– Гав!

– Любопытная ситуация, голубчик. Сами с красной повязкой, а сами нарушаете. Или вы просто маскировались красной повязкой?

– Гав!

– Молчать! Отвечать на вопросы по-человечески! Из материалов следствия по вашему делу следует, что вы, Щитовидов Фёдор Эдмундович, в целях оказания экономической помощи Коммунистической партии и Советскому правительству, а также для скорейшего повышения благосостояния всего советского народа, занимали активную жизненную позицию, в дальнейшем именуемую АЖП. Именно так вы собственноручно написали в объяснительной записке, от которой вскоре стали отказываться и требовать скорой помощи ветеринара. Верно?

– Враньё всё это... Меня звать Хома. А про Щитовидова я уже забыл...

– Напрасно, голубчик. Но если забыли – не беда, вам напомнят, у нас есть спецы. А мы последуем дальше. В чём выражалась ваша так называемая активная жизненная позиция?

– А это... не думать... об секундах... свысока!

– Замечательно. Мemento, так сказать, мори. Помни о смерти. И ещё... Как там по-латыни, коллега Штукарский? Напомните, пожалуйста...

– В смысле?

– В смысле memento...

– Memento quia pulvis est.

– Да, да, именно пульвис эст! Помни, что ты прах. Значит, надо помнить. Значит, надо не забывать. Значит, необходимо назвать причину, в силу которой вы под покровом ночи неоднократно являлись к памятнику Ленина и сверлили его ноги ручной дрелью. Нам, голубчик, важно знать, хулиганство это или вредительство? Мы слушаем вас. Будьте откровенны, мы же не сатрапы в погонах. И говорите громче, что это вы шепчете себе под нос.

– А что мне за это будет?

– Это, Фёдор Эдмундович, зависит от ваших чистосердечных при-

знаний. От которых, в свою очередь, зависит наше медицинское заключение о психическом состоянии вашего здоровья.

– Плохое здоровье... Совсем никуда... можно сказать, неменяемый...

– А это уж мы решим, какое. Не волнуйтесь. Отвечайте на вопрос: в чём ещё состояла ваша АЖП?

– Очень просто. Все антисоветские разговоры пресекал в самом зародыше.

– О, господи! Вы, голубчик, народный дружинник! Вы – первый помощник и добровольный сотрудник наших органов правопорядка! Так?

– Гав!

– Значит, не ваше это дело – пресекать. Это наше дело. А ваше дело – развивать, поддерживать и вовремя информировать. Так?

– Не так! У меня есть мнение, что чекисты попались на удочку попам и изменили манифесту КПСС. Конкретно, епископ Хризантем тайно влияет на кэгэбэ в антисоветском смысле. У меня за этим епископом давно негласное наблюдение. Точно знаю. И чекистам органов не доверяю.

– Это неразумно. Это, знаете ли, уже есть нехороший симптом. Но нам-то, нам, людям в белых халатах, вы можете открыться?

– Ой, какие вы хитренькие! Чтобы я вот так запросто всё вам и сказал? Нет уж! Тайна. Почти что государственная. Даже расстреливать меня будут, и то не скажу, как большевик Камо. А если будете приставать, так я вот как залезу под стол, да как начну лаять и кусаться...

– Не надо. Не пугайте нас, пожалуйста. Успокойтесь. Вы же хорошая собачка? Хорошая. Ну, скажите: ав! ав!

– Гав!

– Очень, очень хорошо. Замечательно. А теперь последний вопрос. Ленина-то зачем сверлил?

– Гав!

– Конечно, гав. Это ещё какой гав получается! Итак, мы слушаем.

– Расписку дадите?

– Какую расписку?

– Об неразглашении.

– Доктор Штукарский, мы можем дать расписку пациенту?

– В смысле?

– В смысле неразглашения.

– Мы с вами, доктор Фаустов, клятву Гиппократы принимали. Ещё в студенчестве. Этого достаточно.

– Вы слышите, голубчик? Доктор Штукарский говорит, что клятвы достаточно.

– Ладно... Скажу. Только – никому! Ищу клад.

– Клад?

– Да, клад.

– И где же вы его ищите?

– Эх, дураки вы ещё наивные, хоть и учёные... В Ленине клад! Памятник в фонтане сделан из чистого золота, но для близиру замаскирован и снаружи помазан цементом.

– Из золота? Да вы с ума сошли! Из какого золота?

– Из золота Колчака. Его ищут, ищут, с ног сбились, а оно вон где... Стоит у всех на виду, едрёна вошь!

.....

«Клянусь Аполлону – врачу, Эскулапу, Гигее и Панацее, всем богам и богиням, взывая их свидетелями, что присягу эту и последующие обязательства сохраню строго по мере моих сил и способностей. Образ жизни больных буду устраивать для их пользы, будучи далёким от всякого повреждения и всяческого вреда. Если присягу сию сохраню свято и ни в чём её не преступлю, да будет мне дозволено в счастье и уважении всех людей вести жизнь мою во все времена, и блаженными плодами моего искусства пользоваться обильно. Если же присягу сию преступлю и стану вероломным, то пусть тогда противной станет мне судьба моя».

О, пирамиды! О, судьба пирамид!

Клятвы, заклатья, проклятия и заклинания: клин – клином...

Стяги присяги.

Столбцы законов и хартий.

Зеркала честных правил.

Исповеди, заповеди, отповеди, проповеди – горние, нагорные...

Уставы и кондиции.

Акты и пакты.

Декларации и конституции.

Манифесты и моральные кодексы...

Величие пирамид зиждется на песке.

Ветер перемен просеивает песочек.

Глобальные катаклизмы приглаживают барханы и выравнивают пустыню в жёлтое зеркало:

преданья старины глубокой;

сказки, были и былинки – фольклорные мотивы;

легенды и мифы народов мира;

в языках кочующие анекдоты и печатные юморески с притчами...

– разномыслие выписывающие, по сути дела, одну и ту же фигуру риторическую: «Ежели пьём за всеобщее здоровье и успех нашего безнадежного дела, то в чём же дело, товарищи?!»

LVI

– Всё дело там, – сказал пророк Моисей и поднял глаза к небу высокому.

– Всё дело здесь, – сказал царь Соломон и постучал пальцем по крутому лбу.

– Всё дело тут, – сказал Сын Божий Иисус Христос и приложил ладонь к сердцу.

– Всё дело в этом, – сказал экономист Карл Маркс и погладил желудок.

– Всё дело вот где, – сказал психоаналитик Зигмунд Фрейд и похлопал себя пониже живота, по ширинке.

– Всё дело в ловкости рук, – одновременно высказались фокусники Гарри Гудини и Боря Бодунов, и им в знак согласия подмигнули кларнетист Бенни Гудман, скрипач Леопольд Ор, художник Марк Захарович Шагал и боксёр Даниэль Мендоза.

– Всё относительно, – сказал физик-теоретик Эйнштейн.

На том она и закончилась, эволюция великой ближневосточной мысли.

И чаша гефсиманская наполнилась до краёв. Кто испить её жаждет?
И Ильяслав Несчастлившиц поднимает по-школьному руку.

Он устал. Он утомился, что называется, от и до. «От» было уже давным-давно, а «до» – вот оно, то есть, она, эта бесстыдная, эта дрянная девка Муза. Вся в чёрном, в печальном, а глаза молодые...

Ильяславу снится пропитая скрипка, которая жила с ним в безденежном, но счастливом промежутке, между «от» и «до», этой странной нотой, нотой протеста, началом конца.

В тот самый момент, когда скрипка является в сновидения, Несчастлившиц вздрагивает и просыпается.

И уже до утра не спит.

LVII

Спит женщина в Назарете. Это – раз. Но не у нас. Ибо: красиво спать – это, знаете ли, надо уметь так, как спит женщина в Назарете.

«На заре ты её не буди...» Это – два. Что правда, то правда: это было у нас. Однако же очень давно, в девятнадцатом веке.

В-третьих, получается следующий факт. Во славном городе Хибаровске есть заря, есть Мария, но сна нету ни в одном глазу, и никто не споёт Марии бережное: «В Назарете её не буди...»

ПРО ЭТО
И ПРО ФЕТА-ПОЭТА

*На заре ты её не буди,
На заре она сладко так спит;
Утро дышит у ней на груди,
Ярко пышет на ямках ланит...*

Афанасий Афанасьевич Шеншин, по-батюшке. По-простонародному, Афоня.

Весна, заря, утро на ямках...

Но он ещё и сурово-обличительные статьи сочинял и помещал их в журнале Каткова: о нехорошем обличье разных нигилистов и евреев, в коих видел первопричину зла в России.

И был у Афанасия Афанасьевича племянник (Н.П. Пузин), который однажды открыл И.Г. Эренбургу страшную тайну Фета: из письма-завещания покойной матушки Афанасий Афанасьевич к ужасу своему узнал, что отцом его был гамбургский еврей.

Потрясённый поэт спрятал бумагу подальше. И завещал положить сию секретную эпистолу в свой гроб, когда выйдет срок.

Срок вышел. Хоронили Фета в раззолоченном шитьём камергерском мундире, так, как пожелал при жизни.

И другое пожелание, относительно эпistolы, исполнили.

Потом новый срок пришёл, краткости ради именуемой ВОСР. Строители нового мира раскопали могилу, вскрыли гроб и из-под подушлевшей подушки бумагу вынули, целёхонькую...

В школьных хрестоматиях Фета не забывают:

*Я пришёл к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало...*

Утверждают: конгениально.

А вот ещё стишок:

О, первый ландыш! Из-под снега...

Утверждают: вообще-то, из-под снега подснежник появляется, а уж ландыши-то – позже, позже, в самый разгар весны...

Бедная, бедная Мария Ильинична! Всё у ней есть, всё на месте, руки-ноги в полной исправности, и сосцы полны нежности... а Иван опять распьянёхонек, к тому же утренний характер у него такой, чтобы всегда опохмелиться. Кусок кулёмы, этот Ванька. Именно кусок. Потому что на полного кулёму никак не тянет...

– Ты погляди, – говорила Марья Ильинична Ивану Александровичу, – ты погляди, Ванька, на князя Игоря Святославича! У него всегда на языке к женщинам разрешите пожалуйста, будьте любезны, извините мерси!

– А мы мерситетов не кончали, – отвечал Ванька.

Всё у ней есть, у Марьи Ильиничны. Со стороны окружающей среды не хватает.

– Ну, всё! – сказала она. – Хватит с меня, натерпелася! В гарнизон поеду, к однополчанкам. Слышишь меня?

– Это хорошо, – ответил Иван Хлюстаков из-за занавесочки и снова в сновидения погрузился.

– А вернусь на танке! – закончила Мария. – Вот тогда тебе будет совсем не хорошо, а как раз наоборот!

После чего встала с постели, оделась, поскидала в сумку термоядерные свои бигуди да бесценную книжку «Руководство по куроводству» – и пошла.

И пошла она, бедная, матом палима, в сторону Иерусалима однополчанского.

И возвращал ветер к покинутому Ивану последнее Марьино прости:

– Скот рогатый! Козёл вонючий!

Это уже было оскорбление.

– Разве, – сказал Иван, – это лояльно? Шибко уж ты, Маша, размашистая, как я погляжу.

И восстал Иван с лежанки, и принялся вздыхать:

– Вот и опять обратно обзывается... То я у ней сова, то жаворонок. То ей верблюд примерещится, то свинья. А сама? Эх, Маша, Маша! Никакая ты не Маша. Машина из крепдешина. Ещё месяц назад была суженая, вся талия в рюмочку, а стала? Жир-птица какая-то... А за козла ответишь!

В ответ на оскорбления своих предыдущих жён Иван уже писал жалобы в профком, в общество защиты животных и в главный женский орган, к Валентине Владимировне Терешковой. Бесполезно. Они там все друг за дружку стоят, выгораживаются. И потому Иван Александрович Хлюстаков решил на этот раз написать в Мавзолей, к самому товарищу Ленину. Если уж он такой вечно живой, так пускай и читает, что об нём простой трудовой народ думает и как конкретно проживает без его руководства.

С трудом, но разыскал-таки Иван листочек чистой бумаги из тетрадки в клеточку и карандаш. И сел за стол на кухоньке.

«Товарищ Ленин Владимир Ильич. Сделайте мне более лучше и менее хуже, чем есть на самом деле в текущий момент. Не могу больше жить, когда слово расходится с телом...»

Дальше не писалось. Иван хлебнул водички из крана и снова взялся за карандаш.

«...Придёшь, например, домой, а жена сразу глазом всего общупывает: с бутылкой пришёл или бес в ребро попутал? А я просто-напросто усталый после соцсоревнования, как всё равно последняя собака. А жена говорит на такие мои симптомы: «Обратись к ветеринару». Это оскорбление!!! Если я нервный и устаю чисто по-собачьи, а также в отдельных случаях рычу и кусаюсь, то это от нехватки витаминов. А жена говорит: совести. Она циничная, как всё равно последняя посудомойка или какой-нибудь неквалифицированный хирург. Например, целую неделю лежали мы с грыжей в больнице, а жена Марья Ильинична соседкам трепалась и есть свидетели: «У Ваньки болезнь такая, что в глаз не бросается и вообще не выпирает. Называется, импатент». Это обратно оскорбление и обидно. Когда домой вернулся из больницы с незаживающей кровавой раной в левом паху, так она лично при мне выразилась прямо в лицо: «Я хоть за пингвина замуж пойду, лишь бы только уехать из этого хлёбаного эсэсэра». Это подлая измена на моих глазах. А что мне остаётся делать, товарищ В.И. Ленин? Мы же ж не блядуны какие-нибудь. Мы же ж совсем по другой части. И меж-

ду прочим, по-настоящему влюбился я по молодости лет всего один раз, и этот раз посёдни продолжается, но моя первая любовь почему-то променяла меня на танковый полк и там командует...»

Луна светила, свесив голову набочок. А Иван писал, писал и потел изнутри наружу. И вздыхал с продолжительным хрустом.

«... У меня уже три дня как нету свету, счётчик перегорел, потому прошу извинить за ошибки. Но на самом деле я такой, что как бывший в молодости почётный бульдозерист из сельской местности передвигаю и перевыполняю всё, что дают, как например сейчас в нашем ЖЭКе № 25. Но тут случилось, товарищ Ленин, новое ЧП. В конце квартала этого текущего года я, работая в нашем ЖЭКе № 25, стоял как бы фигурально без гусениц. Это несправедливо. Так с трудящими людьми не поступают, как поступил со мной начальник товарищ Сперанский. Говорит, что не допустит меня к работе выпивши. Но мы же ж не в Америке живём! А жена прицепилась за тот простой работы и не ценит, как мужа, говорит, что ей хоть бы хны. Ладно, купил ей хны. Думал, поможет. Товарищ по работе товарищ Помиранцев мнение разделил. А она голову себе покрасила, стала рыжая и мне вовсе не по нутру. Я ей говорю мирно: дорогая Маша, так с дефицитными лекарствами настоящие женщины не поступают. А ей начхать. Ей бы только тело в шляпе да новый журнал морд и ещё полный рот избытия. Где духовность, спрашивается? И поэтому растолстела, что мне очень и очень не по характеру и слёзы наворачиваются на мои бесстыжие глаза. Но я смотрю на её нарушения сквозь зубы. Смотрел это я, смотрел, вдруг – бац! – нерв не выдержал, что она уехала к моей первой жене, и может привезёт её на танке, как оккупанта, хуже Гитлера, на мою жилплощадь. И я решил: всё, отравляюсь на хрен! То есть, насмерть. Так что получается в таком ракурсе давать задний ход своей жизни. Пусть Марья поймёт, на кого она топала своими толстыми ногами! Но я боюсь, дорогой товарищ вождь мировой революции, что в ожидании машины скорой помощи мне придётся ещё долго жить. И поэтому прошу вас обеспечить. А лично я завтра встану, поброюсь и пойду на почту ждать Вашего ответа, как соловей лета. Напоследок обращаюсь: отпустите мои грехи на свободу слова. Очень Вас за это умоляю, Владимир Ильич. А если не отпустите, так что ж, значит, мне такая судьба, что придётся искать себе другую дурочку и валять с ней дурака до следующего ЧП. Прощайте и до свидания. Лучше нету того свету. А терпеть ждать не могу, и к тому же трясёт зазноба, по-народному, опохмел. К сему Иван Александрович Хлюстаков, проживающий...»

И вдруг на кухне зажёгся свет.

И гром грянул.

А Иван даже перекреститься не смог. Не умел.

И никого вдруг не стало. Ни Марьи Ильиничны, ни хны, ни письма в Мавзолей к товарищу Ленину. Ни-ка-во-шень-ки! Как говорится, хоть святых выноси. Но в хлюстаковской квартире не было святых, не любил он их, даже вида одного ихнего не выносил, а всё потому, что – угодники.

И остались на этом свете лишь Хлюстаков да чьё-то Око. Око Оно во время оно. Тихо сделалось, пустынно. А на кой хрен, ск ажите на милость, в такой пустоте нужна людям дарованная свыше возможность сказать во всеуслышание своё индивидуальное и сокровенное гу-гу?

Пригляделся Иван, видит: ангелы порхают, за ручки-крылышки держась, и тоненькими голосами выводят:

*Сидит кулёма за столом,
мается,
не шибко чистая на ём
маечка.
Ни кошелька и ни вина
нету,
а также нету ни хрена
авторитету...*

И глаголет тут Ивану старший архангел с пушистыми бакенбардами:
– Осознаёшь ли ты, Хлюстаков, свои крупные недостатки, водохлёб твою за ногу?

И сделался Иван дурак дураком от таковой ангельской летучки, изумился до последней гайки и вместо чёткого и ясного ответа застрекотал нижней губой былую любовную серенаду:

*У самовара я и моя Маша,
а на дворе совсем уже темно...*

А тут ещё и Око подмигнуло:

– Слышь-ка, Иван! Кто старое забудет – тому в глаз.

– Не по-о-нял...

– Щас поймёшь, – семафорит Око. – Во-первых, сиди, не рыпайся, не сочиняй по пьянке свои дурацкие письма куда попало, всё равно ничего не получишь. Вопия и стеная в пустыне, погоды не сделаешь, даже если ты сам Бог во облацех, вблизи тучек грозowych. Тяжело самому – пожалей другого, и снимется тяжесть твоя. Во-вторых, умойся, причешись, сволочь такая, сдунь с ладони своей облачко социалистического реализма и заруби на своём кривом алкогольном носу: никогда ничего ни у кого не проси, ибо я тебе уже всё дал, полную гамму. До-броту. Ре-лигию. Ми-лосердие. Фа-милию. Соль-земли. Ля-сы. Си-зифа. До-верие. Всё это я тебе дал. И положил на тебя свой глаз. Глаз вопиющего в пустыне. Понял?

– Ага, – сказал Иван. – Понял.

Опустился на колени и принялся кокать лбом об пол:

*Маша чай мне наливает,
а взор её так много обещает.
У самовара я и моя Маша,
вприкуску чай пить будем до утра...*

– Ну, вот, понял, наконец-то, – семафорит Око. – Чего уж тут такого необыкновенного, чтобы не понять? Дело простое, житейское...

На телеэкране какие-то белые облачки плывут, вишни цветут, японская гора Фудзи под весенним солнцем, и диктор, изумительно знакомый, говорит по-русски:

– Перед вами выступала Око Оно, верная спутница жизни Джона Леннона, знаменитого музыканта из ливерпульской четвёрки. Недавно Око Оно выпустила диск с антисоветскими песнями под общим названием «Звёздный мир». Это крылатое выражение, возникшее на страницах советской печати, является политическим лозунгом Советского Союза в противовес программе «Звёздных войн», выдвинутой американской администрацией, ястребами насилия...

LVIII

До бога высоко, до царя далеко...

Так, всё так.

Но бывает, что и доходят, отправления-то...

Крепость моя и твердыня моя, прибежище моё и скала моя, щит мой, рог спасения моего и убежище моё...

Псалом 17, стих 3

Домашний урок: рок спасения...

Книги об истории разложить по полкам можно. Саму историю по полкам не разложишь: полка – не плаха. А если и попытаешься, то вынужден будешь заплатить неизбежную дань определённой условности и даже искусственности.

... Цвела персидская сирень в московских палисадах...

30 апреля 1564 года юрьевский воевода князь Андрей Михайлович Курбский (1528–1583), бывший наперсник и почти ровесник великого князя Московского Ивана, объявившего себя в 1547 году царём всея Руси, перелез ночью через городскую стену, взял двух коней, заранее приготовленных слугою, и бежал в литовский город Вольмар.

В истории России это был первый известный акт политической эмиграции, получивший общенациональное и отчасти даже общецивилизационное значение, коего не случилось после бегства за границу, ещё до Курбского, князя Димитрия Вишневецкого и братьев Черкасских.

Даже и ночью учит меня внутренность моя.

Псалом 15, стих 7.

– Ну, что, князь Михайло? Видит бог, не желал я мучений твоих, да что поделывать, коли ты молчишь, точно пень... Начинайте, ребятушки, да половчей, с огоньком-то работайте!

Царь Иван Васильевич понапрасну не сердает, зазря слов на ветер не бросает: с огоньком – значит, с огоньком.

Ребятюшки разложили огонь на двух медных листах, уголья раздули, а промеж листов тех поместили Михайлу Воротынского, уж избытого изрядно и связанного по рукам и ногам.

Царь махнул рукою: все пошли вон! И ребятушки вышли, задом пятясь.

– Ну вот, теперь давай разговаривать, князь Михайло.

Царь подгрёб посохом горящие уголья поближе к телу Воротынского и сел напротив – признание слушать.

А несчастный уж не мог и губ-то спекшихся разомкнуть. Да и что говорить-то ему? Всё, что хотел сказать, уж давно высказал. И уж нет более никакого смысла что-то разумное говорить царю, этому безумцу, трепещущему от страха.

Князь Воротынский всё помнил, всё.

И то, как в декабре 1564 года на площади у Кремля составлялся санный поезд, на который спешно грузили царский скарб: в скорбях Грозный покидал Москву. Сел в сани, медвежьей полостью закутался до подбородка, сказал сумрачно провозжающим:

– Не желая терпеть долее измен ваших, мы от великой жалости сердца оставляем государство и поедем, куда бог укажет нам путь печальный. Трогай!

Бог указал на Александровскую слободу.

А вскорости государь вернулся, уже с опричниками...

– Ну, ну, продолжай, князь Михайло, – молвил царь и поворошил посохом уголья в синем пламени.

... Шесть недель продолжались убийства и грабежи в Великом Новгороде. Тем и закончился поход Грозного в 1570 году.

– Страшись, государь! – пророчили ему. – Здесь-то ты храбрец, да вот погоди ужо...

Напророчили. Крымский хан Девлет-Гирей осадил Москву, а Грозный снова укрылся в Александровской слободе.

На праздник Вознесения, мая 24 дня в лето 1571, хан приказал поджечь московские предместья, сам же расположился на Воробьёвых горах и наблюдал зрелище.

Кликнул толмача.

– Пиши, – сказал, – послание и русскому царю передай.

Заскрипело перо: «Я везде искал тебя, в Серпухове и в самой Москве, хотел венца и головы твоей, но ты бежал из Серпухова, бежал из Москвы – и смеешь хвалиться своим царским величием, не имея ни мужества, ни стыда! Ныне узнал я пути государства твоего. Снова буду к тебе...»

– ... говори, говори, князь Михайло. Говори, как снова пришёл на Москву хан поганый.

Ну, да. Через год Девлет-Гирей вновь пришёл с войною. И снова царь убежал.

Лишь один, князь Воротынский, вышел навстречу Орде – на реку Оку вышел, и обратил степняков в бегство, настиг, артиллерией разметал без пощады. Из 120 тысяч воинов хан потерял 100 тысяч, знамя потерял, шатры, обозы. А было тогда Воротынскому шесть десятков лет. И был он, Воротынский, потомком Михаила Черниговского, погибшего когда-то в Орде за отказ поклониться символу Чингиз-Хана.

– Слава Воротынскому! – кричали воины.

Но царь не любил чужой славы.

И через девять месяцев после победы предстал князь пред грозные очи. Ни благодарности не ожидал, ни шубы с царского плеча, простого спасибо хватило бы. А царь спросил:

– Не может того быть, князь Михайло, чтоб одним только ратным искусством победил ты крымчаков. Признавайся, паскуда, с какими чертами спознался?

Вот так и был обвинён Воротынский в чародействе.

– ... ну, ну, говори, говори, князь... Недолго уж тебе говорить осталось...

Домашний урок: рок спасения.

«Ты служил Отечеству неблагодарному», – заметил о Воротынском князь Андрей Курбский.

Дальним эхом покатались слова пророческие.

Блажен муж...

И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время своё; и лист которого не вянет.

Псалом 1, стих 3.

Цвела персидская сирень в московских палисадах...

Князь Андрей Курбский – царю Иоанну Грозному:

Царю, некогда светлomu, от бога прославленному – ныне же по грехам нашим омраченному адскою злобою в сердце, прокаженному в совести, тирану беспримерному между самыми неверными владыками земли. Внимай! В смятении горести сердечной скажу мало, но истину. Почто различными муками истерзал ты сильных во Израиле, вождей знаменитых, данных тебе вседержителем, и святую, победоносную кровь их проливал во храмах божиих? Разве они не пылали усердием к царю и отечеству? Вымышляя клевету, ты верных называешь изменниками, христиан – чародеями, свет – тьмою и сладкое

– горьким! Чем прогневали тебя сии предстатели отечества? Не ими ли разорены Батыевы царства, где предки наши томились в тяжкой неволе? Не ими ли взяты твердыни германские в честь твоего имени? И что же воздаёшь нам, бедным? Гибель! Разве ты сам бессмертен? Разве нет бога и правосудия вышнего для царя? Не описываю всего, претерпенного мною от твоей жестокости: ещё душа моя в смятении. Скажу единое: ты лишил меня святых Руси! Кровь моя, за тебя излиянная, вопиет к богу. Он видит сердца. Я искал вины твоей и в делах и в тайных помышлениях; вопрошал совесть, внимал ответам её и не ведаю греха моего пред тобою. Я водил полки твои и никогда не обращал хребта их к неприятелю: слава моя была твоею. Не год, не два служил тебе, но много лет, в трудах и в подвигах, терпя нужду и болезни, не видя матери, не зная супруги, далеко от милого отечества. Исчисли битвы, исчисли раны мои! Не хвалюся: богу всё известно. Ему поручаю себя, в надежде на заступление святых и праотца моего, князя Феодора Ярославского. Мы расстались с тобою навеки: не увидишь лица моего до дни суда Страшного. Но слёзы невинных жертв готовят казнь мучителю. Бойся и мёртвых: убитые тобою живы для всевышнего: они у престола его требуют мести! Не спасут тебя воинства; не сделают бессмертным ласкатели, бояре недостойные, товарищи пиров и неги, губители души твоей, которые приносят тебе детей своих в жертву! – Сию грамоту, омоченную слезами моими, велю положить в гроб с собою и явлюся с нею на суд божий. Аминь. Писано в граде Вольмаре, в области короля Сигизмунда, государя моего, от коего с божиею помощью надеюсь милости и жду утешения в скорбях.

Лети с приветом, вернись с ответом!

Жду ответа, как соловей лета!

Ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа...

ТЛФ–автоответчик

Цвела персидская сирень в московских палисадах...

Да так всё и случилось.

Унизив страну, разорив народ, положив начало новому рабству введением так называемых «заповедных лет», завершив бесчисленные убийства убийством собственного сына и наследника, – тиран ушёл. В начале 1584 года обнаружилась в нём страшная болезнь (государственная!): гниение внутри, опухоль снаружи. Но ещё за пять лет до смерти Грозного прозвучало пророчество Курбского: «... должны погибнуть со всем своим домом те, кто опустошает свою землю и губит подданных целыми родами, не щадя и грудных младенцев».

Карамзин пишет: «Ужас, наведённый жестокостями царя на всех россиян, произвёл бегство многих из них в чужие земли... Бегство не всегда есть измена; гражданские законы не могут быть сильнее естественного: спастись от мучителя».

Домашний урок: рок спасения.

Эмиграцию знал ещё античный мир.

Бежать или не бежать? – выбор, безусловно, судьбоносный, но уж не самый главный, вторичный. В проблеме эмиграции существует ещё иное, нечто шекспировское, коему предшествует решение вопросов: отчего бежать? от чего бежать? зачем бежать? где и как полезней бороться с отечественной тиранией? за границей, предавая пороки отчизны всеобщему поруганию, подчас воюя против собственной родины? или – дома, идя при этом на заведомую гибель?

Взаимоотношения эмиграции с покинутой родиной чрезвычайно сложны. Разнообразны их оценки. Тот же Карамзин, например, утверждает: «Горе гражданину, который за тирана мстит отечеству». И далее: «... долг историка – вписать одного в число государственных преступников».

Так ли уж однозначно карамзинское утверждение?

Да, князь Курбский вёл в эмиграции войну против тирана. Европа узнала, что за кровавая баня была устроена Грозным в России. Написан памфлет «О великом государе московском». И, наконец, беглый князь в 1564 году возглавил одну из польских армий в походе на Москву.

Бесспорно, что активная эмиграция не всегда является благом для отечества. Случай же с Курбским тяжёл ещё и тем, что он спровоцировал возникновение опричнины («крошеников»), утвердив царя во мнении, что он окружён исключительно тайными врагами.

Домашний урок: рок спасения...

А что же «домашняя эмиграция»?

Вот современник Курбского митрополит Филипп (Колычев Фёдор Степанович: 1507–1569). Будучи игуменом Соловецкого монастыря, прославлен был праведностью своей. О том и царь был наслышан. Но у тиранов есть такая страсть: освятить праведностью место, где по их произволу пролита и льётся кровь... После колебаний, Филипп принял-таки предложение царя и занял митрополичий престол: авось, удастся усмирить деспота. Однако тайное желание Филиппа не сбылось. И в 1568 году он, доведённый до отчаяния, объявил Грозному, что «в самых неверных, языческих царствах есть закон и правда, есть милосердие к людям – а в России их нет».

Не царь инициировал расправу. Власть организовала донос – от соловецкой братии, вот как! Филиппа лишили пастырского сана и изгнали из церкви мётлами – символом опричнины: «очищение государства». В темницу к нему прислали отсечённую голову племянника: может, одумается Филипп. Не одумался Филипп. И 23 декабря 1569 года его собственноручно задушил Малюта Скуратов.

Домашний урок: рок спасения...

Курбские и Филиппы: у каждого своя голгофа и своё воскресение.

У Курбских – свобода слова по ту сторону границы и возможность разнообразных способов борьбы с ненавистным режимом.

У Филиппов – единство личной судьбы с судьбой народа.

На стороне Курбских – уверенность в том, что они будут услышаны.

На стороне Филиппов – полное обречённости единение с местом и временем преступного режима и дамоклов меч наказания.

С Курбскими режим вынужден вести полемику.

С Филиппами же – церемониться нечего.

Курбские до дна выпьют горькую чашу ностальгии.

Филиппы погибнут с сознанием «домашности».

Курбский в мифологии так и остался «изменником» («долг историка», в понимании Карамзина).

Филипп уже в 1652 году был канонизирован во святые великомученики («долг истории», в понимании советского исследователя П. Шестакова).

А – власть?

Царь Иван Грозный ещё в 1568 году попросил политического убежища в Англии. На всякий случай.

Цвела персидская сирень в московских палисадах...

Писатель Борис Агапов в сборнике «Эйзенштейн в воспоминаниях современников» пишет:

«В итоге итогов Сергей Эйзенштейн во второй серии «Ивана Грозного» сказал о царе такую правду, ту правду, что раскрывали в течение 150 лет русские учёные от Карамзина и Ключевского, от Виппера до новейших исследований Веселовского. Смысл этих заключений состоит в том, что царь тот был действительно психически больным человеком, был очень плохим организатором, был лишён большого государственно-го ума и начисто свободен от каких бы то ни было нравственных норм. Царствование его было чудовищным. Государство было близко к катастрофе. Народ был доведён до крайней степени нищеты и отчаяния».

С главным сталинским идеологом А.А. Ждановым Эйзенштейн так объяснялся по поводу своей картины «Иван Грозный»:

– История есть урок. Этот урок народ должен уразуметь. Кто не понимает – поймёт. Аналогия есть цель картины. Чтоб всех можно было узнать. Все кругом должны быть узнаны. Я не буду уходить в глубь веков, чтобы оттуда вытаскивать те или иные фигуры, – я, напротив, возьмусь за современников и буду их тащить вглубь веков.

Партия дала лозунг: «Кадры решают всё!»

История Коммунистической партии Советского Союза. –

Изд. 4-е. – М.: Политиздат, 1972, с. 439.

Ох, уж эта вторая серия «Ивана Грозного»!

О ней Эйзенштейн говорил:

– Боюсь – не одобряют. Первая – заказная, её ждут, мне сказали – я выполнил, скажут – вот и молодец, а вторая, виноват, не того, не слишком ли жарко? Тут вроде бы некоторая закономерность есть у Ивана Васильевича: качели то вверх, то вниз... Не знаю, я всё это выдумываю, готовлюсь на всякий случай... В первой части картины – просто размах, масштаб, показ, демонстрация, сила, а во второй – концепция... Я делаю историческую вещь, привожу в движение карусель истории, вот и все мои дела. Дедушка Пимен учил: не мудрствуйте лукаво. А вот мне кажется: без концепции не обойтись, без твоей, собственной, личной концепции, которая тебя греет, тебя лично волнует... Это может совпадать – и даже весьма желательно, и совершенно даже необходимо это объективное соответствие, – но без моего угла зрения ни черта не получится в смысле художественном... Я, конечно, всё, что нужно, сделал, изучил, позиция ясная – но когда делал картину, вторую серию, я ориентировался на личное самочувствие: при полном уважении к требуемой точке зрения и всяческом желании её поддерживать. Тут, может быть, возникает расхождение и параллелизм. Мне сказали: картину сделать не ради прошлого, а ради будущего, не сегодняшняя эпоха должна объяснить вчерашнюю – что нам до неё за дело! – а вчерашняя пускай послужит сегодняшней, послужит не за страх, а за совесть. А в случае чего – пускай и за страх, если совесть у тебя хлипкая и ты такой церемонный. Понятно?

Кадры решают всё!

Литературный критик Иосиф Ильич Юзовский – об эпизоде «Бояре Колычевы перед казнью» из второй серии «Ивана Грозного»:

– *Эйзенштейн снимал сцену с разных точек: бояре Колычевы то спереди, то сзади, то киноаппарат проплывает медленно мимо них, причём центр внимания, фокус внимания режиссёра – шея, шеи осужденных, обнажённые для предстоящей казни... И воздействие этой сцены таково, что хотя всякое убийство, любое и даже вполне законное и всячески справедливое, вызывает невольный протест и*

смущение – инстинктивная апелляция к человечности, которая по природе своей не может мириться с насильственным умерщвлением человеческого существа, какое бы оно ни было... – невольный протест более или менее подавляется сознанием законности, необходимости и справедливости наказания и эмоционально подстёгивает чувство справедливого гнева и ненависти. Надо сказать, что в этом смысле, то есть в смысле логически убедительного и эмоционально воздействующего на нас сюжета, заставляющего нас принять казнь Кольчевых, у нас нет более сильного, покоряющего одновременно и ваше чувство и ваш разум, аргумента, благодаря которому вы, зритель, санкционируете этот приговор. Как же этого добивается Эйзенштейн? Он показывает эти шеи, а точнее сказать – шеи воловьи, бычьи, толстые, огромные, упрямые шеи, на которых торчат тупые, с остро и бессмысленно вылупленными глазками, головки, – они не сдвинутся с места, они стоят поперёк дороги, склонив эти свои головы на жирных тупых шеях и уставившись глазками в то, что по этой дороге идёт, – для того, чтоб это пропустить, они не сдвинутся с места. Они стоят, и всё тут, бесцельно обращаясь к этим остолбеневшим животным, в которых если и есть что-то живое, то это именно животное упрямство: бесполезны уверения, ссылки на человека, на историю, на бога, на что угодно – они не слышат, а если слышат, то не слушают, а если слушают, то не понимают, а если понимают, то не соглашаются, а если даже невозможно не согласиться, они отвечают: они ничего знать не хотят и не могут, они стоят и всё тут, и будут стоять... Аппарат снова и снова медленно, ещё медленнее проходит мимо этих шей, этих мёртвых в своей вечной неподвижности идолов, каменных изваяний, как будто говоря: смотрите, смотрите и смотрите – вот вам образ того, что зовётся реакция, неподвижность, остановка жизни, консерватизм – смотрите! – аппарат задержался, помедлил на месте и снова двинулся: то взглянув снизу из-под каменных и тяжёлых ступеней, то сверху глядя на эти отвратительные головы на этих распущенных, рассаженных и самодовольных шеях, – нет, их не сдвинешь, не столкнёшь, надо рубить эти воловьи шеи, головы долой, освобождайте дорогу, пропускайте людей, историю, человечество, оно и так задержалось непростительно долго, и эта задержка немало ещё будет всем нам стоить, эту задержку и сейчас, триста с лишним лет спустя, мы ощущаем, оттого что вовремя не взяли их за загривки, за шиворот, не вытолкали их в шею, не срубили эти тупые и самодовольные головы...

Кадры решают всё!

Пир опричников, пир кромешников-особистов... Перо кинокритика — в камерной панораме.

Чёрно-красные огни вздымаются в клубах дыма, мечутся люди, вещи, предметы, мебель, стены, – всё загорается этим зловещим багровым цветом, – музыка тоже переходит в другой, высший температурный градус – это кульминация, достигнутая таким путём, – одновременно усиливается темп, да и ритм лихорадочный и грозный, который должен разразиться катастрофой... Пляшут в страшных масках опричнины – маски неподвижные, бесстрастные, за ними горящие глаза и лица. В этом – характерный эйзенштейновский контраст напряжения и покоя, мнимого покоя и бурного движения. И среди безумно пляшущих опричников сидит неподвижный царь – он сохраняет полное спокойствие, он хочет неподвижности, хотя за этой маской лица вы чувствуете бурю; он в центре этого беснования, как неподвижная ось катящегося колеса, – он естественно привлекает к себе внимание, оно невольно переводится к нему, он центр не только композиционный и ритмический, но и психологический, он как бы направляет это безудержное вращение – сто́ит ему уйти, и всё рухнет и распадётся, он и направляет и удерживает, значит, он сила – эта сила чувствуется. И как её аргументирует режиссёр своими художественными средствами: царь сидит и смотрит на юного претендента на престол... – режиссёр делает его необычайно прелестным – отрок, светлый пушок на его ещё не бритом лице, невинное, милое, немного лукавое мальчишеское личико – он пьяненький смешно и трогательно, он впервые в жизни выпил, такое впечатление, он блаженствует и, блаженствуя, рассказывает царю, как его, юнца, хотят сделать царём, ему самому смешно: какой из него царь! Иван слушает спокойно, внимательно – он приказывает надеть на юнца бармы и вручить ему царские регалии – тот ещё трогательнее в этом неподобающем ему одеянии. Но ирония царя спокойна – и не потому только, что таким подобает ему быть, – вероятно, боролся бы за своё самообладание, покинь оно его, – нет, его разоружает этот отрок, мальчик, дитя. Он весь тут перед ним, и его сердце не может не почувствовать жалости, – да, ему жаль его – он должен, должен, – соображения государственной необходимости заставляют его погубить этого невинного ребёнка, и благо государства выше даже этой несправедливости – ему бы озлобиться против этого мальчишки, несмышлёныша, ублюдка враждебного рода, боярского семени, – но нет, он не в силах, и мука его в том, что он смотрит на него добрыми, жалующими, сочувствующими глазами. Он смотрит на него и не спускает с него глаз. Он, быть может, больше, чем все мы, видит всё то, что написано на этом лице и разлито в этой фигуре... И режиссёр, не щадя жестокого царя, поддаёт, поддаёт жару, испытывая царя, который, конечно, не дрогнет и держит себя в руках, но которому это дорого стоит. Недёшево обходится ему гибель этого юноши; искупительная жертва, которую он приносит своим сочувствием, велика; и кажется, что режиссёр стремится, чтоб мы оценили, и запомнили, и занесли в записные книжки памяти своей и это очко в пользу Ивана;

а он продолжает смотреть, и взгляд его строго-печальный, скорбный, мудрый, глубоко проникающий взгляд, а кругом неистовствуют опричники, бешено веселясь, переливают брагой кубки...

День дню передаёт речь, и ночь ночи открывает знание.

Псалом 18, стих 3.

Однажды ночью состоялся разговор Эйзенштейна с Юзовским.

Эйзенштейн: Меня смущает в критике выражение «гамлетизм Грозного». Что хотели этим сказать? То ли, что мы привыкли популярно понимать под этим термином, или что-либо другое?

Юзовский: В вашей статье вы, кажется, расшифровали это понятие?

Эйзенштейн: Да. Я написал: «Мы знаем Ивана Грозного как человека с сильной волей и твёрдым характером. Исключает ли это из общей характеристики образа возможность наличия у него отдельных сомнений? Трудно допустить мысль, что этот человек, творивший для своего времени неслыханные и беспрецедентные дела, никогда не задумывался над выбором средств, никогда не сомневался, как поступить в том или ином случае. Но разве эти возможные сомнения в какой-либо степени могли заслонить собою историческую роль исторического Ивана, как это случилось в картине? Разве в них, в этих сомнениях, а не в бескомпромиссном преодолении их, заключается главное в этой мощной фигуре XVI века?» Я развивал термин «гамлетизм», но вот соответствует ли он моей картине? Вот в чём вопрос!

Юзовский: Вы сомневаетесь?

Эйзенштейн: Сомневаюсь подобно Гамлету – и, кажется, это единственно гамлетовское, что может иметь здесь какое-либо значение... Я слышал даже, что как интеллигент я не мог обойтись без гамлетовской традиции, – протащил, стало быть, себя, а не Грозного.

Юзовский: Традиция тут есть, но только не гамлетиада.

Эйзенштейн: Вы считаете, что здесь дана какая-нибудь традиция?

Юзовский: Мне кажется, что я даже знаю какая.

Эйзенштейн: Молчите, не говорите! Но если вы угадали... я вам подарю...

Юзовский: Вашу детективную книжную серию, особенно про Скотланд-Ярд!

Эйзенштейн: Можете считать, что она у вас... Ну, говорите... только кратко... Да нет! Не может быть!

Юзовский: Борис Годунов.

Эйзенштейн (рассмеялся, потом перекрестился): Господи, неужели это видно? Какое счастье, какое счастье! Конечно, Борис Годунов: «Шестой уж год я царствую спокойно, но счастья нет моей душе...» Я не мог сделать такой картины без русской традиции, без великой русской традиции, традиции совести. Насилие можно объяс-

нить, можно узаконить, можно обосновать, но его нельзя оправдать, тут нужно искупление, если ты человек. Уничтожение человека человеком – я скажу: да – но кто бы я ни был, мне тяжело, ибо человек превыше. Насилие не есть цель, и радость не в достижении цели, как у иных классов, эпох, государств, даже народов. Русский не будет знать пощады в своём справедливом гневе, но пролитая им кровь отзовется горечью в его сердце. Это, по-моему, самая волнующая традиция и народа, и нации, и литературы – от Пушкина до Толстого и Достоевского, дальше вплоть до Горького и, наконец, Шолохова. Вы помните, у него в «Тихом Доне» казак Крючков протыкает энное количество немцев, чуб у него заливчатский, глаза озорные, а сердцу неловко – убийство же! Вот, стало быть, что: мотив искупления, а не сомнения! Не европейская традиция Гамлета, а – Борис Годунов, русская, великая русская традиция, традиция совести...

Вопию днём – и Ты не внемлешь мне, ночью, – и нет мне успокоения.

Псалом 21, стих 3.

Цвела персидская сирень в московских палисадах...

Солнечная София благоухала чайными розами.

На письмо вождю всех времён и народов отчаялся советский полпред в Болгарии – чрезвычайный и полномочный посол! – Фёдор Фёдорович Раскольников...

Когда эпистолы страшнее пистолета...

ЛИХ

Вселенная трещала...

Архипатр смотрел, прищурясь, на шустрый Шарик, плотный плод ума своего: на три четверти голубой, а в последней четверти, в четвёртой, – коричневый, жёлтый, зелёный, с серебряными пятнышками двух Океанов, противорасположенных диаметрально.

Архипатр смотрел, прищурившись, на Шарик – и всё более смущался, однако же глаз отвести не мог, да и не хотел, по правде говоря.

«Эти хомы очень и очень заблуждаются, – подумал Архипатр. – Они считают, что если я – Создатель, так, значит, я вовсе не понимаю по-хомски, что во время грозы самое милое дело – сидеть у печки, руки к теплу воспрянуть и глядеть в недвижимом молчании на потрескивающие рубинами поленья, и думать ни о чём, это хорошо и преславно, и лучшего не надобно, разве что для самых неистовых – вообще вознестись выше грозы, выше свинцовых туч, но это же не каждому дано, а вот что касается печки, так тут я соответствую любому хоме, проживающему на Шарике...»

Вселенная трещала по швам, озарялась молниеносными разрядами, воздух становился сверхплотным веществом, пространство сгущалось, и время обозначилось как без пяти минут вечность.

Вечно старый и именно поэтому вечно молодой он, Архипатр. Он знает великое множество Часов и часов. На Шарике они – простенькие: напольные, в ореховых футлярах, настенные, каминные, карманные, наручные, песочные, солнечные, водяные... – в них тоже спрятан образ Создателя, но хомы видят в них только стрелочки, ручки такие; растопырятся ручки: дескать, смилуйся, сезон августейший, пощади, не гони время! А время-то уж не ручками-стрелочками выставляется, но чайками-чрезвычайками, а от чрезвычайности-то никогда ничего путного не получалось и не получится, как ни бейся, и хомы свершили, конечно, превеликую глупость, когда свою предбудущую вечность разменяли на какие-то пятилетки, на блестящие, звонкие, напрасные, чрезвычайные пятаки...

«Молодые ещё, глупые, – вздохнул Архипатр. – Думают, небось, что я и этого не знаю. Всё знаю. Создатель на то и Создатель, чтобы всё знать. Потому и печальный...»

Ему казалось иногда, что там, на Шарике, хомы немножечко даже завидуют ему. Но! Если бы какой-нибудь, желательно трезвый, хома хоть один раз да одним глазком посмотрел из глубин грозовой вселенной на свою маленькую, такую беззащитную обитель, ах, если бы... О, уж тогда бы он, этот вселенский младенец, заторопился бы домой, на Шарик, скорей-скорей, да и сказал бы послушным языком губам своим непослушным, сомневающимся: нет, не надо, не будем как боги одинокими, вернёмся к печке с жаркими поленьями и возлюбим всё живое и неживое в своём домике и вокруг него, с собачьей будкой и лесом на горизонте, да так возлюбим, как любят в первый и последний раз.

Над Шариком кружились пузырьки.

Они казались немymi, но это неправда. Их язык был понятен Архипатру. Он слушал и слышал...

«... Помилуй мя, боже, помилуй мя. Ныне приступих аз грешный и обремененный к тебе, владыце и богу моему. Не смею же взирати на небо, токмо молюся, глаголя: даждь ми, господи, ум! О, горе мне грешному, покаяния несть во мне! Даждь ми, господи, слезы, да плачуся дел моих горько... Аз, самоличный, единственный, собственной персоною архиерей Хризантем, Пламенный Революционер! Помышляю день страшный и плачуся деяний моих лукавых: како отвецаю безсмертному царю, или коим дерзновением воззрю на судию, блудный аз? Благоутробный отче, сыне едиnorodный и душе святой, помилуй мя. Связан к чёртовой матери, блин, многими ныне пленницами грехов и содержим лютыми страстьми и бедами, к тебе прибегаю, рогу спасения моего, и вопию: помози ми...»

«Ну, чего уж так-то! – подумал Архипатр. – Потерпи, сынок, недолго уж тебе осталось маяться...»

Когда Архипатр впервые (когда же это случилось? какой-то миг... да, какой-то миг вечности... да, какой-то миг вечности тому назад, да!) – сумел понять беззвучный язык этих пузырьков-блюдецек-тарелочек, порхавших вокруг Шарика, – вот тогда ему, Архипатру, сделалось невыносимо грустно: э, да никакие же это не блюдецки-тарелочки, называемые хомами загадочным НЛЮ, но очень даже опознанные им объекты: души! Точнее, то, что хомы, живущие на Шарике, называют «крик души»: вздохи, молитвы и жалобы, покаяния и доношения, первые вызовы и последние речи, и подкаменные стенания, у стен плача, и тексты сожжённых сочинений, взлетевшие с пеплом, и гневнейшие филиппики отвердевших в нетленном окаянстве...

Два вздоха, фиолетовые, точно синяки, вот наскакивают друг на друга, наскакивают...

«Лаврэнтий, а ведь ты ба-а-альшой падлец!»
«Сам знаю, учитель!»

«Вот: и земля не отпускает, и небо не принимает, так они и маятся – между...»

И ещё одним важным открытием осенился Архипатр: крик души бывает очень разным, но это от души зависит. Пространней говоря, крик души – это вовсе необязательно, чтобы именно крик. Тут ведь главное – не глотка и не хайло, не пасть и не хлебальник, не хавальник, в общем, не рот, по фатальной необходимости предназначенный к поглощению пищи и питья, этот рот может, конечно, исторгать высокие звуки, однако же к душе они, большей частью, отношения не имеют, ибо таинство душевных сообщений и зреет, и вершится в тишине.

«Дурачки, – подумал Архипатр. – Они ещё не научились понимать языка своих душ. Они думают, что душа населения – это есть средне-статистическая категория, всеобщая и всеохватная, для всех, разноцветных и разноязыких. Глупенькие ещё, они думают, что они – дети Шарика, а они – мои дети. А душа – единичка особенная. Это Земля у всех одна на всех. Да и то почва разная...»

Вон ещё пузырёчек-душечка каково-то кувыркается. Вздыхает и семафорит. Семафорит и вздыхает: *«Господи, помоги расставить знаки препинания, а? Ну, что тебе, всемогущему, стоит!»* Неужто сочинитель?

Архипатр дунул на фиолетовое облачко, отогнав его к созвездию Южного Креста, приложил ладонь к уху и принялся медленно шевелить губами...

«Вселенная трещала... Архипатр смотрел, прищурясь, на шустрый Шарик, плотный плод ума своего: на три четверти голубой, а в последней четверти, в четвёртой, – коричневый, жёлтый, зелёный, с серебряными пятнышками двух Океанов...»

«Ишь ты, – подумал Архипатр. – Про меня сочиняет! Ну, ладно, ладно, сочинитель, ври дальше. Я с тобой...»

«Кадры решают всё!»

«В каком смысле?»

«Эт-само, значит!»

«Ага!»

--- . - - - - - . - . . - - - . . . - - -

А гроза вселенская – это хорошо. Грозы очищают. После их озонных революций легче становится дышать. И что существенно: для лёгкого дыхания совсем необязательно призывать небо и небесных архангелов: Михаила с мечом; Рафаила с кадилом; Варахиила, вертоградя райского, с розами; ангела благовещения Гавриила с лилиями; карающего Иегудиила с бичами; Силахиила, ангела молитвенного, с руками накрест сложенными; Уриила, ангела смерти, со свечой, перевернутой пламенем вниз...

«Не думай об секундах свысока!»

«Тем паче чаяния...»

«Иди ты!»

«Куда?!»

«Какая фантастика? Гнусный реализм!»

... Трещит вселенная.

Крутится, юлит, наклонившись кокетливо на бочок, Шарик: на три четверти голубой, а в последней четверти, в четвёртой, – коричневый, жёлтый, зелёный, с серебряными пятнышками двух Океанов.

LX

! о всепогодный
в полутонах пастельных на приступах дальних к буйству и ярости красок
благословен будь
красный сезон августейший
аве густейший
Сезанн
откройся сезам
слезам
се зим череда чердаков отступила

се залп
се солнце и сан и Сизиф как литограф летецкий
сей сон ясновидца светлейшего князя о грязи о грозах
се сонм умножений делений сложений и тел вычитаний
сей зонд горизонтов из дырки нуля во глубины времён в лабирин-
ты преданий

СИЗО

с озоном вдыхающий прелестную ересь шизо
сезон отопительный слава всевышнему воду сливай
се зонг для скрипучей ступеньки с оркестром
сезонъ
медаль судия и преступник выводит на чистую воду и сам же как
в воду опущенный выходит сухим из воды

се соль

«си-соль» воскрешающий в дереве скрипку с алым кресалом смыч-
ка

се резонанса резон ели богемской из Чехии или ели тирольской пе-
нием птиц напоённой и спиленной только зимой только зимой и толь-
ко музыка скрипит и пиликает пилит распиливает древо пространства
на кусочки времени

а кусочки на полешки

а полешки на лучинки

а лучинки на лучи

на лучики света в бездонном колодце спирали пространств

о августейший

ave густейший

Авель

ой ли гость вещей

ой ли ГОСТ вечный

вечный

этот авгур отгадавший движенье планеты по трепету птиц

о гость кустейший сей соловей кустарь одиночка

о гусь летевший серый на север на Севр в перьях своих летописных
нёс он славу авгура гомераду покруче троянской и гусли летучие эти
летели летели летецком путём на север на Севр над людоходом пос-
танывающим безостановочно от ненависти и любви и сбиты те гусли
в полёте стрелой оперённой старшим братом крылатым летевшим для
жизни на юг

помилуй мя господи курие элисонъ (греч.)

речь сон

сезонъ

се is он головастик ушастик улитка звезда

се он звездопамятный млечный Сион

оны моя призову языки и тии прославят мя

Онъ

Николай Статных

Что было, то и было...

Первая тетрадь графики



Рисунки 2005г.



А. Иванов 2005 г.



МАРТА

КУКУМАРИЯ

Scorpio

Тетя
УАШИ

Рисованых 2005.



Шрайман 2005г.



Quadrax 2005.



Рисунки 2005г.



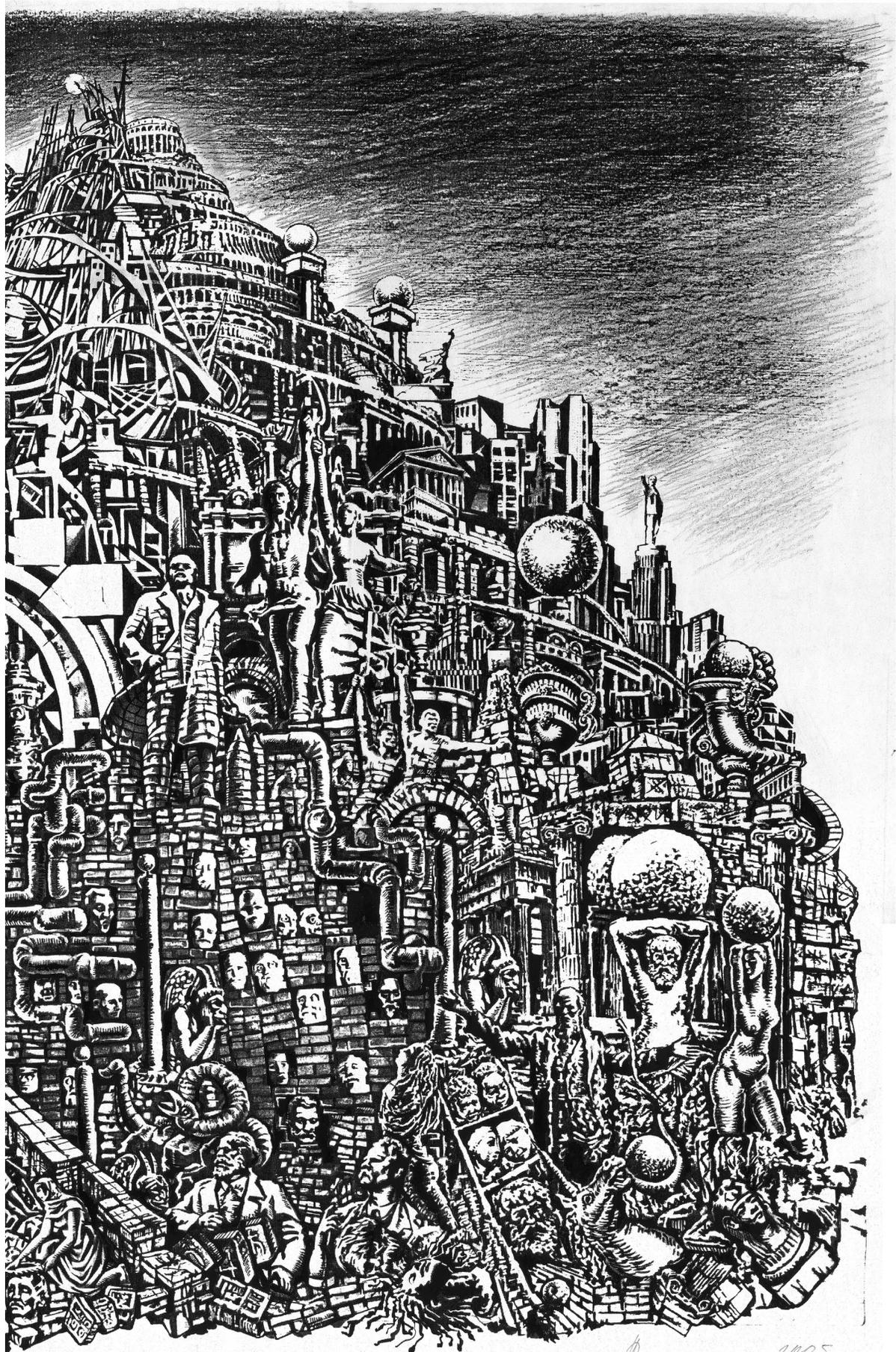
Виситных 2005г.











Rim — 2005

Николай Статных

Что будет, то и будет...

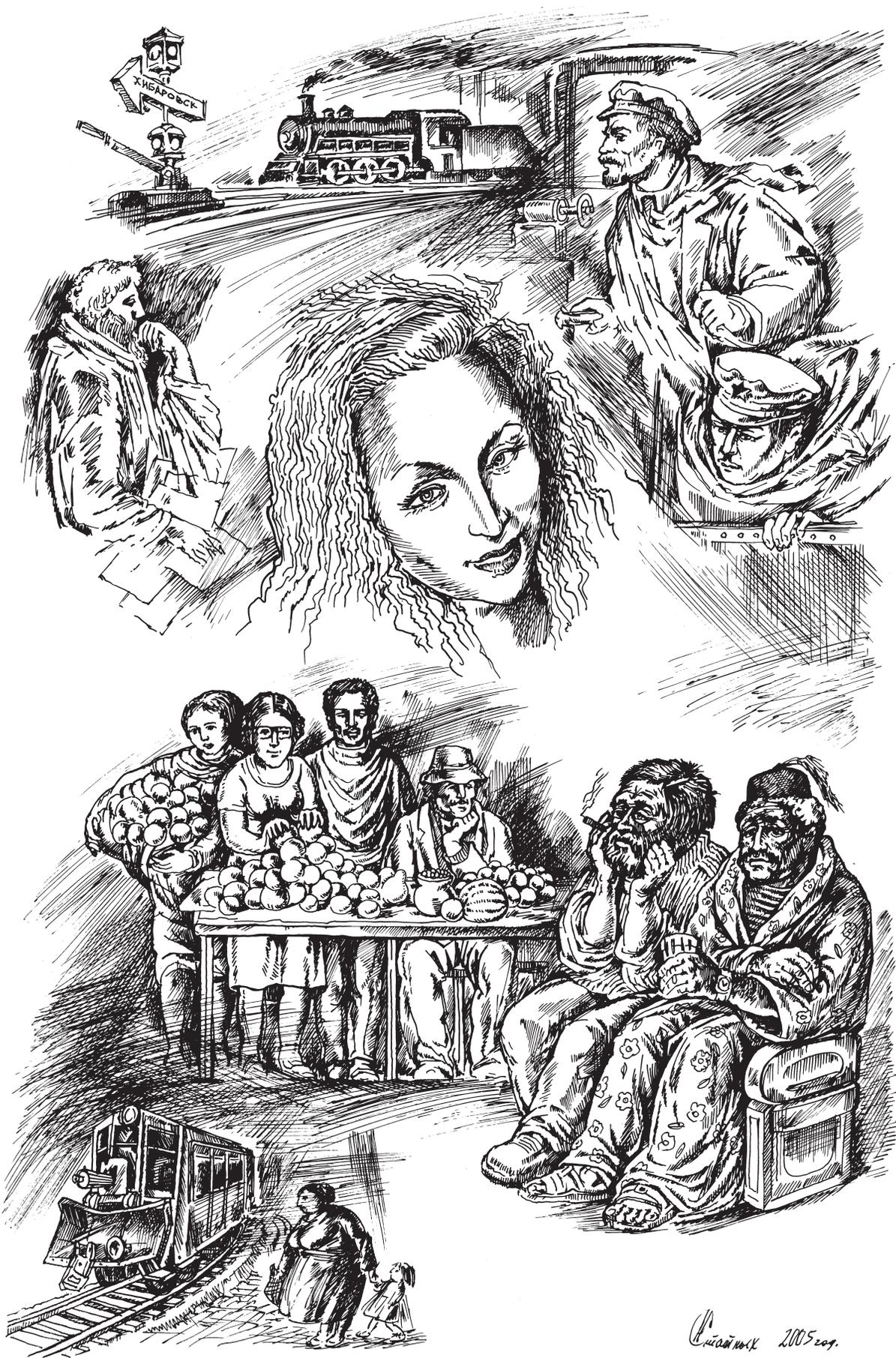
Вторая тетрадь графики







Рисунки 2005 год.



Сивачев 2005 год.







Силайчук 2005 год.



Драма третья

В ОЖИДАНИИ ОСЕНИ:

калейдоскоп



ДЖИНН ИЗ БУТЫЛКИ

Мы пока народ–неудачник, народ–недоросль. С нашествием блаженной памяти печенегов и византийских монахов вплоть до осады и разгрома России идеями благонадёжности и благонамеренности нам не везло. На нас всегда сыпались всякие бедствия, которые мы старательно увеличивали во стократ своей полной пассивностью.

Мы народ–неудачник. Мы, может быть, единственный в мире народ, который лучших своих людей, таких, например, как Герцен, причисляет к разряду «лишних»... Мы, дальше, может быть, единственный в мире народ, где каждое десятилетие или прокликает предыдущее, или с особенной любовью и вниманием доказывает, какие ж это были дураки...

Как народ–неудачник, мы богаты всевозможным горьким опытом. Мы превосходно знаем тысячи и тысячи таких вещей, которых не надо. Всё наше прошлое покрывается сплошным: «не надо бы». Мы так изощрили нашу критику, что, в конце концов, не считаем даже нужным ею пользоваться и прямо говорим «не надо»....

**Евгений Андреевич
АНДРЕЕВИЧ–СОЛОВЬЁВ**

- LXI. Крест Архипатра
516
- LXII. Рог спасения – Секунда
520
- LXIII. Логорея
531
- LXIV. День Улисса
545
- LXV. Товарищ Заюшкин и стабилизация
563
- LXVI. Николаша, цыганский барон: дни, труды и печали
570
- LXVII. Опять до востребования: здесь и сейчас
584
- LXVIII. Нежность – и два!
587
- LXIX. Кричала лебедь в терему...
587
- LXX. Не лети, пуля!
611
- LXXI . Хождение за три буквы
651
- LXXII. Опекун
693
- LXXIII. Журнал доктора Штукарского. В смысле, венки советов
718
- LXXIV. «Скрипка и немножко нервно»
743
- LXXV. Ш а г и
757
- LXXVI. Журнал доктора Штукарского.
В смысле, продолжение следует
759
- LXXVII. Отчего волнуется Море?
773
- LXXVIII. Двадцать пятый кадр: хроника подёнщины
785

LXXIX. Поэма о Пробирной Каморе

799

LXXX. Папаша Кураж, или Трактат с вариациями на тему Бахуса

816

LXXXI. Лирическое отступление в сторону Альбиона

845

LXXXII. Привет от друга из Бомбея

856

LXXXIII. Глава без названия,

которая вообще не имеет права называться словом, произведённым от «головы», потому что вся, сплошь и рядом, целиком и полностью, изображается, увы, не рациональными письменными знаками, но – эмоциональными междометиями и всевозможными, приличными и неприличными, жестами, каковые сподручней всего обозначать руками, ногами, телодвижениями и мимическими мышцами лица, то есть в пантомиме, а на пантомиму мы не договаривались; и если вдруг найдётся привередливый такой читатель, который при столкновении с такой конфигурацией возьмёт и скажет с недовольством: «Какая фигня! Заглавие есть, а где глава, я вас спрашиваю?», то Сочинитель с присущей ему предусмотрительностью заранее отвечает в письменном виде: «Где, где!.. Вот ты и придумай, если такой умный! А я предоставляю тебе, друг ситный-ситцевый, в соответственном месте на соответствующей странице чистейшее пространство для твоих справедливых выражений – пространство, обозначенное, как у А.С. Пушкина, классическими отточиями, в крайнем случае, имеется возможность вернуться к предыдущей главе, там целых четыре страницы «Акта экспертизы», словно бы предназначенного для написания читательского заключения, при этом я очень надеюсь, что сего пространства будет вполне довольно для изъявления чувств не только читательских, но и приблизительно тех, которые охватили утренний народ г. Хибаровска в праздничный День строителя, а мы-то знаем, что это такое, праздничный народ, и энтузиазм его нам известен, когда у энтузиаста одна голова, и та голова, идёт кругом, душа нараспашку, точно весеннее поле, и руки с ног сбились, и ноги из рук выбились, и глаза разбежались куда не надо, а один с лицом, мелькнувшим в толпе, всё ходит и ходит и тревожно спрашивает, зануда: «А чего это вы все смеётесь?», и ему наклали по шее, чтоб не задавал глупых вопросов, а с другой стороны – на центральной Площади Падших Борцов пять неопознанных молодых субъектов (три мужского пола и два женского) среди бела дня уселись прямо на площадь в кружок на разостланных экземплярах газеты «Огни коммунизма» близ фонтана с памятником В.И. Ленину, и сидят, раскачиваясь и обнявшись, и поют нарочито тихими, беспричинно печальными и вызывающе церковными голосами: «Эпоха гласнос-

ти настала...”, музыка народная, стихи, как выяснилось ближе к вечеру, дореволюционного поэта В.С. Курочкина, сочинявшего стихотворный юмор и сатиру в эпоху императора Александра II, положившего конец крепостническому праву в России, что являлось бесспорным шагом на пути прогресса, хотя, с точки зрения пути, спорным являлся и до сих пор является таковым сам прогресс в истории тысячелетней России, так что – путь путём, вроде сам по себе, и прогресс как бы сам по себе, а вот бесспорным оказалось несколько обескураживающее, слегка застенчивое и в то же время обнадеживающее открытие факта истории: что тыща лет для России – это не срок, а всего лишь условное наказание, и посему всё ещё впереди, всё ещё будет, и будет утро, несмотря на то, что ещё не вечер, и будет день как день, хотя бы нынешний, тот же День строителя, красный день календаря, гвоздь сезона, с неудержимой любовью к строителям, ибо все мы чего-нибудь строители, с любовью к ветеранам строительства, с любовью к партпрессе, освещающей потёмки строительства, но вообще-то не только одна любовь будет, но и совсем наоборот, когда, например, геройский писатель Равелин Валютин, ознакомившись с утренней газетой, не выдержит духом и напишет письмо-жалобу в двух экземплярах, в крайком КПСС и в Управление КГБ, – о падении русской духовности под влиянием жестоковыйного чужебесия и всемирного жидомасонского заговора, а также о принятии компетентными органами срочных мер по наведению тотального порядка и должного исконного морально-нравственного климата в органах пока ещё советской печати... – вот, и больше в этот день и ещё не вечер никто ничего не писал, даже Сочинитель романа-пародии не взялся за карандаш, чтобы буквенно изобразить главу LXXXIII, а ведь будь она написана, эта глава, уж она бы так взбулгачила всю Россию, что она, то есть Россия, данная в восприятиях-ощущениях и взятая в отдельности от потусторонних прогрессов, уж она бы единым мигом повзрослела, на тыщу лет помолодев, и выскочила бы из всех обузных календарей, на волю, на чистый простор, из долгов своих тяжких, однако, увы, что есть – то и есть, один заголовок главы без названия, которая вообще не имеет права называться словом, произведённым от «головы». Dixi.

872

LXXXIV. Третье послание к почитателям

872

LXXXV. Горькие хлебы предложения, или

Во субботу, в день ненастный...

879

LXXXVI. Призрак оперы

886

- LXXXVII. Дупель-пусто,
или
Ивангелие от Ивана,
или
История болезни от первого лица
897
- LXXXVIII. Нежность – и три!
902
- LXXXIX. Куда ты котишься, яблочко?
902
- XC. Ода летняя в форс-мажоре
913

В начале августа жары часто стоят нестерпимые...

«Нет, не так! До августа ещё далеко, ещё топать и топать, ещё жить и маяться, как медному котелку...»

Был прекрасный июльский день...

«И этак не годится! Начинать – с начала лета. Ближе, ближе к началу... Как у Фёдора Михайловича начинается – ясно, чётко, чисто, понятно...»

В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер один молодой человек вышел из своей каморки...

«Стоп! Во-первых, лето начинается с июня. С и-ю-ня! Во-вторых, есть, конечно, и молодой человек, и фамилия у него подходящая, Раскольников, и каморка есть, и вышел молодой человек из каморки и пошёл куда-то, куда и глаза не глядели бы, но где преступление? Где наказание? Нет ни того, ни другого!»

– Будут, – успокаивает Иван Сергеевич. – Этого добра у нас всегда хватало. Но Достоевского, сударь, лучше не трогать. Не надо. Аневризмой ударит, или того хуже. А ежели вам не угодны в образец записки охотника с малиновой водой и Бежиным лугом, извольте в таком случае вспомнить, как однажды, то есть накануне, в тени высокой липы...

В тени высокой липы, на берегу Москвы-реки, неподалёку от Кунцева, в один из самых жарких летних дней 1853 года лежали на траве два молодых человека...

– Помилуйте, Иван Сергеевич! Да что же это такое? Какое Кунцево? Какой век? Так же нельзя начинать сочинение в нынешнее время! Липа получается... Увольте, увольте!

– А что, если у вас под боком речка Кунда и Кунцева нет, так вы уже и не в российском пространстве, сударь мой? Поменяйте лишь имена да названия в географии – и всё окажется по-прежнему на своих местах, не правда ли?

– Но время-то?

– А оно и вовсе не переменялось. Как было, так и осталось. Те-

нистая липа, река, жаркое лето, два человека празднично развалились на молодой траве и ищут начало времени и пространства для нового романа. Смею уверить вас, ничего нового они не сыщут, а то, что им вдруг покажется найденною новинкой, на самом деле окажется припозднившимся эпилогом пролога...

LXI

Припозднившиеся эпилоги прологов? Да сплошь и рядом! От их синего пламени и голубого огонька, от их грозových фронтов запаздывают не только писчебумажные сочинения, но даже солнечный ветер, и звёздный свет, и радиоволны, и само время как будто опаздывает, постоянно торопясь туда, где его, может быть, вовсе не ждут, и некому ждать, и трещит вселенная, трепещет – парусом...

Архипатр приложил ладонь к уху и прислушался к голосу, доносившему логос Шарика...

...тогда вспомните про концы и начала у Герцена. Непрерывность мирового процесса достигается сменой их во времени и в пространстве. Нет концов, нет и начал. Но с какого-то момента этот закон, а это закон истории в строгом смысле, становится трудно исполнимым. Концы застревают. И это не простая инерция, нет! Тут всё запутаннее и хитрее. За видимостью ускорения истории скрывается перемена в её коренных свойствах. Меняются все, но более всего те, кто включается позже, кто силится догнать ушедших вперёд. Происходит своего рода переворачивание классического прецедента: его конечный счёт становится инструментом начала, как будто бы не нуждающегося в продолжении. И пропуск этапов, фаз, ступеней кажется преимуществом, превосходством... Здесь и ловушка! За это также надо платить, и цена не только растёт. Цена обретает ранг смысла. Она исподволь замещает и цель, и средства, исторически приуроченные к цели. И – завтра была война. И вчера умрёт тиранья. И много не дано...

«Сынок, – с нежностью подумал Архипатр, – кусай, кусай яблочко... Знатное яблочко-то. На зубок его, на зубок! Зудится, небось, зубик-то? Зудится. Мудрость прорезывается...»

Два вдоха-облачка кружатся вокруг Шарика небесною двухтактною кадрилию...

– ...нет, Вадя, так у тебя никогда не получится научно обоснованная перегонка человека. Ни-ког-да!

– Савва, ты меня замумукал! Мы уже ж пробовали присобачить мою Пи к твоему Неперову числу. И что из этого вышло, Савва? Мол-

чишь, Савва? Ага! Виноватый, значит, перед наукой и меня сбил с панталыку верного пути. И теперь ты вот обратно какую-то херню придумываешь... Ну, кто её видел, эту твою новую постоянную планку? Кто её щупал?

– Не горячись, Мошонкин. Ты послушай. Да, правильно, физики пока что не знают, что такое постоянная Планка. Они придумали и ввели её в расчёты как условную единицу.

– Вот, опять условную! Ага!

– погоди ты! Слушай дальше. Взяли, значит, как условную величину, которая выражает постоянную зависимость между другими, но уже реальными, величинами.

– А зачем, Савушкин? На хрен она нужна, эта планка, и куда её можно присобачить?

– А затем нужна, Вадя, что без этой постоянной Планка... Это немецкий физик, Вадя, Макс Планк, да, так вот, без этой условной величины отношения между реальными величинами не образуются, не получается ни фи́га, и никакие расчёты ни с чем не сходятся и никуда не годятся. Понял?

– Ага, щас!

– Объясняю на пальцах. Реальные величины – это как бы бог.

– Насчёт бога, Савва, мы не договаривались!

– Я говорю, допустим. А условная величина, то есть постоянная Планка, – это как бы... что?

– Конь в пальто!

– Слушай, я брошу это дело с тобой время убивать!

– Ладно, я молчу.

– Ты не молчи. Ты отвечай по делу, как знатоки в телевизоре из клуба весёлых и находчивых. Постоянная Планка – это что такое, Вадя? Которая раньше бога? Ну! Смелей!

– Вера, что ли?

– Молодец! Дай я тебя поцелую, Мошонкин! Угадал! Так у нас дело-то пойдёт, пойдёт! И с верой до самого бога доберёмся, Вадя, честное слово. Да! Постоянная Планка, Вадя, это как бы и есть вера. Как бы молитва туда, наверх, к высшему образованию. А уж оттуда, от высшего образования, как бы спускается, во всяком случае, должен и иногда спускается, верховный совет, божья фармакопея, так сказать, и военно-воздушная нежность.

– Чо-то долго она к нам спускается, Савушкин...

– Всё, хватит дебатов. Пошли дальше. Этот, значит, Планк, между прочим почётный член Академии наук СССР, открыл закон излучения, который устанавливает распределение энергии в спектре абсолютно чёрного тела, проще говоря, закон равновесного теплового излучения. Короче, квантовая теория. И постоянная Планка, то есть константа, это квант...

- Квант, говоришь?
- Элементарный, обыкновенный квант действия и основа теории...
- Ага! И куда мы этот квант присобачим, Савва?
- А вот давай попробуем...

Архипатр нахмурился, в седую бороду пятерню запустил, крикнул: «Ишь ты, собачники какие. Не терпится им, поперёд батьки при-спичило... Но прежде веры должно быть доверие, а уж после него – вера, а потом, после, дальше... Дальше можно поднимать планку повыше. А этим не терпится. Нехорошо. Рано, однако, им ещё со спичками баловаться. А то, глядишь, присобачут знание туда, куда не надо...»

От Шарика, точно от брошенного в воду камня, аккуратными колечками расходились радиоволны. Архипатр ловил их, нанизывая на указательный палец, покручивал им, волны вращались на пальце, это было забавно...

...иллион лет до начала света. Что тогда происходило? По нашим нынешним представлениям, история Вселенной началась с Большого взрыва. Из точечной области материя стала разбегаться во все стороны от общего центра, что наблюдается и поныне. А время от времени астрономы улавливают реликтовое излучение. Как полагают, это отголоски старта нашего мира. Модель такой нестационарной Вселенной предложил ещё в тысяча девятьсот двадцать втором году советский учёный ленинградец Фридман. Но что вызвало Большой взрыв? Что было до него? На эти вопросы попытался ответить профессор Массачусетского технологического института Гут. Если верить его выводам, наш мир буквально родился из другого. Более того, новую Вселенную могут создать сами люди. Невероятно? Тем не менее ряды сторонников Гута в научной среде пополняются. Специалистов подкупает логическая отточенность его теории – математические формулы, подкрепляющие доказательства, не опровергают истин, не опрокидывают законы физики. Наоборот, они весьма успешно описывают нынешнее состояние Вселенной. Профессор не собирается пересматривать сценарий её рождения, он предлагает прочесть предисловие, а может быть, и дописать продолжение. Гут расположил наш мир на поверхности сферы, настолько огромной, что она кажется плоской. И вот, утверждает учёный, может настать такой момент – случайное стечение обстоятельств, когда сконцентрированная материя вздует эту трёхмерную искривлённую поверхность пузырьком. Гут назвал его аневризмой по аналогии с известными образованиями на стенках кровеносных сосудов. Если гипотетический наблюдатель посмотрит со стороны на это явление, то увидит нечто похожее на Большой взрыв. Из нашего мира

аневризма будет выглядеть чёрной дырой – сверхплотным объектом, гравитационные силы которого не выпускают из своих пут даже лучи света. Потом чёрная дыра исчезнет без следа – вздутие оторвётся от нашей Вселенной и уйдёт в иное Пространство-Время. И вот так одна Вселенная родит другую. Нет конца света, есть бесконечная цепочка его начал. Скептики вправе возразить: для Большого взрыва нужна особая область Пространства-Времени, неподвластная законам физики, в которой температура и плотность материи бесконечно огромны; когда-то она, такая область, и дала начало нашему миру, но вряд ли образуется вновь. Гут и его коллеги доказывают, что для создания новой Вселенной нужны отнюдь не сверхъестественные условия. Учёные их рассчитали. Оказывается, достаточно уплотнить и нагреть несколько килограммов вещества, может быть, и нынешние гипотетические чёрные дыры являются детонаторами ещё не грянувших Больших взрывов? Многие считают фантастикой саму мысль появления невероятно громадной массы Вселенной по сути из ничего. Но вспомним, что физики сейчас нередко наблюдают, как в вакууме, а попросту в пустоте, самопроизвольно рождаются элементарные частицы. Удивительно, но реально. Ещё сомнение: а не покушается ли учёный на теорию относительности? Ведь, чтобы границы Пространства-Времени мгновенно расширились до размеров Вселенной, необходима скорость, намного превышающая скорость света. Гут объясняет и этот парадокс. Он сравнивает сверхбыстрое расширение материи со своеобразным фазовым переходом из одного состояния в другое, который сродни мгновенному превращению капельки воды в облачко пара. Есть и более смелые выводы. Давление и температура, рождающие Вселенную, безусловно, огромны, но ведь не бесконечны же. А раз так, то когда-нибудь, пусть даже через миллион лет, они станут доступны для науки и техники наших потомков. Что тогда помешает высокоразвитой цивилизации создать новый мир? Кто знает, может быть, и наш – это плод творения иного разума, не земного? Сценарий Гута не отрицает этого. По крайней мере, учёный не нашёл ещё фактов, которые исключали бы даже столь невероятное развитие событий. Но вот что печально: детям, то есть новым Вселенным, никогда не суждено узнать своих родителей. Отцы и дети будут существовать в разных областях Пространства-Времени. По законам нынешней физики, отпочковавшаяся Вселенная не должна иметь со своей матерью ни связи, ни общих точек соприкосновения. Они невидимы друг для друга, как пассажиры давно ушедшего поезда и опоздавшие на него. И разум, если он всё-таки возникнет в молодой Вселенной, будет не менее мучительно, чем мы сейчас, искать ответа на вопрос: как возник весь окружающий мир? И это будет постоянно и вечно, как...

«О, этот Шарик!»

Архипатр вздохнул. Ему сделалось грустно.

Он давным-давно, целый миг вечности тому назад, точно узнал: хомы очень пристально глядят на небо. Но откуда у них, из каких источников взялось такое: ни в одном глазу!? Им бы ещё – догадку, маленькую, совсем крошечную, как соринка в глазу: небо – вот небо – то светло-голубой, то чёрный с искринками немигающий внимательный глаз, неизвестно чей, с радужным и живым хрусталиком в нём – Шарик, этот самый, на три четверти голубой, а в последней четверти, в четвёртой, – коричневый, жёлтый, зелёный, с серебряными пятнышками двух Океанов.

А Шарик крутился.

Он был голубой.

Меридианы на нём какие-то, опасные параллели...

*Железный Август в длинных сапогах
Стоял вдали с большой тарелкой дичи...*

Хома-землянин зевнул, выключил телевизор с «Голубым огоньком» и пошёл спать, под тёплый дезодорантный бочок своей земляники: начальные вещи его не интересуют, от печалей аневризмы заводятся сплошь и рядом.

Одинокая, не востребовавшая радиоволна сиротливо делала над планетой виток за витком.

LXII

Крепость моя и твердыня моя, прибежище моё и скала моя, щит мой, рог спасения моего и убежище моё...

Псалом 17, стих 3

«Президиум Верховного совета СССР освободил Раскольникову Ф.Ф. от обязанностей полномочного представителя СССР в Болгарии»
Правда, 6 апреля 1938 г.

Даль романа: бодливой корове бог рогов не даёт.

Цвела персидская сирень в московских палисадах...

ПРИГОВОР

именем Союза Советских Социалистических Республик

Верховный суд Союза ССР в составе: Председательствующего – Председателя Верховного Суда Союза ССР тов. Голякова И.Т. и членов Верховного Суда Союза ССР тов. тов. Солодилова А.П. и Никитченко И.Т., рассмотрев в своём заседании от 17 июля 1939 года дело по обвинению Раскольникову Фёдора Фёдоровича, бывшего полпреда СССР в Болгарии, в невозвращении в СССР, установил:

Раскольников Фёдор Фёдорович, бывший полпред СССР в Болгарии, самовольно оставил место своей службы и отказался вернуться в пределы СССР, т.е. совершил преступление, предусмотренное Законом от 21 ноября 1929 года «Об объявлении вне закона должностных лиц – граждан Союза ССР за границей, перебежавших в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства и отказавшихся вернуться в Союз ССР».

На основании ст.ст. 319 и 320 УПК и Закона от 21 ноября 1929 года Верховный Суд Союза ССР – приговорил:

Объявить Раскольникова Фёдора Фёдоровича вне закона.

Председательствующий Голяков

Члены: А. Солодилов

И. Никитченко

Копия верна:

зав. Секретариатом Верховного Суда
Союза ССР Кудрявцев.

Солнечная София благоухала чайными розами...

Раскольников – Верховному Суду:

17 июля Верховный Суд СССР заочно приговорил меня к высшей мере наказания – объявил вне закона.

Мне неизвестно, на каких фактах базируется приговор суда, якобы установившего, что я «дезертировал со своего поста, перешёл в лагерь врагов народа и отказался вернуться в СССР».

Меня никто не допрашивал и никто не требовал у меня объяснений.

Заявляю во всеобщее сведение, что приговор по моему делу вынесен на основании фальшивого обвинения.

Я не признаю себя виновным ни по одному из пунктов обвинения. Меня обвиняют в дезертирстве с поста. Этому противоречит хронология фактов.

Ещё в конце 1936 года, когда я был Полномочным Представителем СССР в Болгарии, Народный Комиссариат Иностранных Дел предложил мне должность Полномочного Представителя в Мексике, с которой у нас даже не было дипломатических отношений. Ввиду явно несерьёзного характера этого предложения оно было мною отклонено.

После этого в первой половине 1937 года мне последовательно были предложены Чехословакия и Греция. Удовлетворённый своим пребыванием в Болгарии, я и от этих предложений отказался.

Тогда 15 июля 1937 года я получил телеграмму от Народного Комиссара, который, по требованию правительства, приглашал меня

немедленно выехать в Москву для переговоров о новом, более ответственным назначении. Это мотивировалось тем, что занимаемый мною пост в Болгарии для меня недостаточен. Мне предлагалось немедленно сообщить дату отъезда и не откладывать его.

Ввиду того, что первый и второй секретари уже уехали в Москву, я запросил: кому сдать дела. Мне было приказано ожидать возвращения второго секретаря или приезда заместителя из другого Полномочного Представительства.

Вновь назначенный первый секретарь Прасолов приехал в Софию лишь в январе 1938 года. С этих пор возобновились настойчивые требования моего немедленного приезда в Москву: Народный Комиссар писал о моём предполагаемом назначении в Турцию. Я просил разрешения совместить служебную командировку в Москву с очередным отпуском и получил разрешение, под условием проведения отпуска в СССР.

1 апреля 1938 года я выехал из Софии в Москву, о чём в тот же день по телеграфу уведомил Народный Комиссариат Иностранных Дел. Я покидал Софию в полной уверенности, что вернусь туда вручить отзывные грамоты и сделать прощальные визиты.

Я не дезертировал с поста, а выехал совершенно открыто не только с официального разрешения, но и по прямому вызову начальства. Вся советская колония в Болгарии провожала меня на вокзале.

Таким образом, предъявленное мне обвинение в дезертирстве, как противоречащее фактам, совершенно отпадает.

Через четыре дня, 5 апреля 1938 года, когда я ещё не успел доехать до советской границы, в Москве потеряли терпение и во время моего пребывания в пути скандально уволили меня с поста Полномочного Представителя СССР в Болгарии, о чём я, к своему удивлению, узнал из иностранных газет. При этом не был соблюден минимум приличий: меня даже не назвали товарищем.

Я – человек политически грамотный и понимаю, что это значит, когда кого-либо снимают в пожарном порядке и сообщают об этом по радио на весь мир. После этого мне стало ясно, что по переезде границы я буду немедленно арестован.

Мне стало ясно, что я, как многие старые большевики, оказался без вины виноватым, а все предложения ответственных постов от Мексики до Анкары были западней, средством заманить меня в Москву.

Такими бесчестными способами, недостойными государства, заманили многих дипломатов. Л.М. Карахану предлагали должность посла в Вашингтоне, а когда он приехал в Москву, то его арестовали и расстреляли. В.А. Антонов-Овсеенко был вызван из Испании под предлогом его назначения народным комиссаром юстиции РСФСР: для придания этому назначению большей убедительности постановление о нём было опубликовано в «Известиях» и «Правде». Едва ли кто-

либо из читателей газет подозревал, что эти строки напечатаны специально для одного Антонова–Овсеенко.

Поездка в Москву после постановления 5 апреля 1938 года, уволившего меня со службы, как преступника, виновность которого доказана и не вызывает сомнений, была бы чистым безумием, равносильным самоубийству.

Под порталом Собора Парижской Богородицы, среди других скульптурных изображений, возвышается статуя святого Дениса, который смиренно несет в руках собственную голову. Но я предпочитаю жить на хлебе и воде на свободе, чем безвинно томиться и погибнуть в тюрьме, не имея возможности оправдаться в возводимых чудовищных обвинениях.

10 сентября 1938 года я посетил в Женеве М.М. Литвинова, чтобы узнать причины увольнения и выяснить моё положение. По вызову посла СССР во Франции Я.З. Сурица 12 октября 1938 года я явился в Полномочное Представительство СССР на рю де Гренелль.

По поручению советского правительства Я.З. Суриц официально заявил мне, что кроме самовольного пребывания за границей, никаких политических претензий ко мне нет. Он предложил мне ехать в Москву, гарантируя, что по приезде мне ничего не угрожает. От имени советского правительства он подчеркнул, что во всё время моего самовольного пребывания за границей я не совершил никаких не только антисоветских, но и антипартийных поступков.

Это было справедливо: несмотря на неслыханно возмутительное увольнение с поста, я, подавив оскорблённое самолюбие и чувство незаслуженной обиды, проявлял хладнокровную выдержку и сохранял лояльность, предоставляя инициативу Москве.

Таким образом, предъявленное мне обвинение в «переходе в лагерь врагов народа», как противоречащее фактам, совершенно отпадает.

12 октября 1938 года мне ещё не инкриминировалось ни «дезертирство», ни «переход в лагерь врагов народа», а только «самовольное пребывание за границей», хотя уже одно это по советским законам карается смертью.

В письме к Сталину от 18 октября 1938 года я заявил, что не признаю себя виновным в этом, единственном тогда, обвинении. Я фактами доказал ему, что мое временное пребывание за границей является не самовольным, а вынужденным. «Я никогда не отказывался и не отказываюсь вернуться в СССР», – писал я Сталину.

Таким образом, предъявленное мне обвинение в отказе вернуться в СССР, как противоречащее фактам, совершенно отпадает.

С тех пор никаких новых требований о возвращении мне предъявлено не было. Моё обращение в Парижское Полномочное Представительство с просьбой о продлении паспорта осталось без ответа.

Сейчас я узнал из газет о состоявшейся 17 июля комедии заочного суда.

Принудив уехать из Софии, меня объявили «дезертиром». По произволу уволив со службы, объявили, что я отказался вернуться в СССР, игнорируя моё документальное заявление Сталину. Мою лояльность объявили «переходом в лагерь врагов народа». В ответ на просьбу о продлении паспорта меня объявили вне закона.

Это постановление бросает яркий свет на методы сталинской юстиции, на инсценировку пресловутых процессов, наглядно показывая, как фабрикуются бесчисленные «враги народа» и какие основания достаточны Верховному Суду, чтобы приговорить к высшей мере наказания.

Объявление меня вне закона продиктовано слепой яростью на человека, который отказался безропотно сложить голову на плахе и осмелился защищать свою жизнь, свободу и честь.

Я протестую против такого издевательства над правосудием и требую гласного пересмотра дела с предоставлением мне возможности защищаться.

Ф. Раскольников
22 июля 1939 года

Домашний урок: рок спасения...

РАСКОЛЬНИКОВ – СТАЛИНУ

Я правду о тебе порасскажу такую,
Что хуже всякой лжи.

Сталин, Вы объявили меня «вне закона». Этим актом Вы уравнили меня в правах – точнее, в бесправии – со всеми советскими гражданами, которые под вашим владычеством живут вне закона. Со своей стороны отвечаю полной взаимностью: возвращаю вам входной билет в построенное вами «царство социализма» и порываю с вашим режимом. Ваш «социализм», при торжестве которого его строителям нашлось место лишь за тюремной решёткой, так же далёк от истинного социализма, как произвол вашей личной диктатуры не имеет ничего общего с диктатурой пролетариата. Вам не поможет, если награждённый орденом уважаемый революционер-народоволец Н. Морозов подтвердит, что именно за такой социализм он провёл 20 лет своей жизни под сводами Шлиссельбургской крепости.

Стихийный рост недовольства рабочих, крестьян, интеллигенции властно требовал крутого политического маневра наподобие ленинского перехода к НЭПу в 1921 году. Под напором советского народа вы «даровали» демократическую конституцию. Она была принята всей страной с неподдельным энтузиазмом. Честное проведение в жизнь демократических принципов конституции 1936 года, воплотившей

надежды и чаяния всего народа, ознаменовало бы новый этап расширения советской демократии. Но в вашем понимании всякий политический маневр – надувательство и обман. Вы культивируете политику без этики, власть без честности, социализм без любви к человеку.

Что сделали вы с конституцией, Сталин? Испугавшись свободы выборов как прыжка в неизвестность, угрожавшей вашей личной власти, вы растоптали конституцию, как клочок бумаги, выборы превратили в жалкий фарс голосования за одну кандидатуру, а сессию Верховного Совета наполнили акафистами с овациями в честь самого себя.

В промежутках между сессиями вы бесшумно уничтожаете «зафинтивших» депутатов, насмехаясь над их неприкосновенностью и понимая, что хозяином земли советской является не Верховный Совет, а вы.

Вы сделали всё, чтобы дискредитировать советскую демократию, как дискредитировали социализм. Вместо того, чтобы пойти по линии намеченного конституцией поворота, вы подавляете растущее недовольство насилием и террором.

Постепенно заменив диктатуру пролетариата режимом вашей личной диктатуры, вы открыли новый этап, который в историю нашей революции войдёт под именем «эпохи террора». Никто в Советском Союзе не чувствует себя в безопасности. Никто, ложась спать, не знает, удастся ли ему избежать ночного ареста. Никому нет пощады. Правый и виноватый, герой Октября и враг революции, старый большевик и беспартийный, колхозный крестьянин и полпред, народный комиссар и рабочий, интеллигент и Маршал Советского Союза – все в равной мере подвержены ударам бича, все кружатся в дьявольской кровавой карусели. Как во время извержения вулкана огромные глыбы с треском и грохотом рушатся в жерло кратера, так целые пласты советского общества срываются и падают в пропасть.

Вы начали кровавые расправы с бывших троцкистов–зиновьевцев и бухаринцев, потом перешли к истреблению старых большевиков, затем уничтожили партийные и беспартийные кадры, выросшие в гражданской войне, вынесшие на своих плечах строительство первых пятилеток, и организовали избиение комсомола. Вы прикрываетесь лозунгом борьбы с троцкистско–зиновьевскими «шпионами», но власть в ваших руках не со вчерашнего дня. Никто не мог обратиться на ответственный пост без вашего разрешения. Кто насаждал так называемых «врагов народа» на самые ответственные посты государства, партии, армии и дипломатии? Иосиф Сталин! Кто внедрил так называемых «вредителей» во все поры советского и партийного аппарата? Иосиф Сталин! Перечитайте старые протоколы Политбюро: они пестрят назначениями и перемещениями

только одних «троцкистско-бухаринских шпионов», «вредителей» и «диверсантов», под ними красуется подпись – И. Сталин. И вы притворяетесь доверчивым простофилей, которого годами за нос водили какие-то карнавальные чудовища в масках!

Ищите и обряцете – «козлов отпущения» – шепчете вы своим приближённым – и нагружаете их, пойманных, обречённых на закание, своими собственными грехами.

Вы сковали страну жутким страхом террора, даже смельчак не может бросить вам в лицо правду. Волны самокритики «не взирая на лица» – почтительно замирают у вашего престола. Вы непогрешимы, как Папа. Вы никогда не ошибаетесь! Но советский народ отлично знает, что за всё отвечаете вы – «кузнец всеобщего счастья».

С помощью грязных подлогов вы инсценировали судебные процессы, превосходящие вздорностью обвинения, знакомые вам по семинарским учебникам средневековые процессы ведьм. Вы сами знаете, что Пятаков не летал в Осло, что Максим Горький умер естественной смертью, и Троцкий не сбрасывал поезда под откос. Зная, что всё это ложь, вы поощряете своих клеветов: клеветите, клеветите!.. От клеветы всегда что-нибудь остаётся...

Как вам известно, я никогда не был троцкистом. Напротив, я идейно боролся со всеми оппозициями в печати и на широких собраниях. И сейчас я не согласен с политической позицией Троцкого, с его программой и тактикой. Принципиально расходясь с Троцким, я считаю его честным революционером. И я не верю и никогда не поверю в его сговор с Гитлером и Гессом. Вы – «повар, готовящий острые блюда»... Для нормального человеческого желудка они несъедобны.

Над гробом Ленина вы принесли торжественную клятву выполнить его завещание и хранить, как зеницу ока, единство партии. Клятвопреступник, вы нарушили и это завещание Ленина. Вы оболгали и расстреляли многолетних соратников Ленина: Каменева, Зиновьева, Бухарина, Рыкова и других, невиновность которых вам была хорошо известна. Перед смертью вы заставили их каяться в преступлениях, которых они никогда не совершали, и мазать себя грязью с ног до головы.

А где герои Октябрьской революции? Где Бубнов? Где Крыленко? Где Антонов-Овсеенко? Где Дыбенко? Вы арестовали их, Сталин! Где старая гвардия? Её нет в живых... Вы расстреляли её, Сталин. Вы растлили и загадили души ваших соратников. Вы заставили идущих с вами шагать с мукой и отвращением по лужам крови вчерашних товарищей и друзей. В лживой истории партии, написанной под вашим руководством, вы обокрали мёртвых, убитых и опозоренных вами людей и присвоили себе их подвиги и заслуги.

Вы уничтожили партию Ленина, а на её костях построили так называемую «партию Ленина-Сталина». Эта марка служит удачным прикрытием вашего единовластия. Вы создали её не на общей

базе программы и тактики, как строится всякая партия, а на безыдейной основе личной любви и преданности вам. Знание программы новой партии объявлено необязательным для её членов, но зато обязательна любовь к Сталину, ежедневно подогреваемая печатью. Признание партийной программы заменяется объяснением любви к Сталину. Вы ренегат, порвавший со своим вчерашним днём, предавший дело Ленина.

Вы торжественно провозгласили лозунг – «выдвижение кадров». Но сколько этих молодых выдвиженцев уже гниёт в ваших казематах? Сколько из них вы расстреляли, Сталин? С жестокостью садиста вы избиваете кадры, полезные и нужные стране: они кажутся вам опасными с точки зрения вашей личной диктатуры.

Накануне войны вы разрушаете Красную Армию – любовь и гордость страны, оплот её мощи. Вы обезглавили Красную Армию и Красный Флот. Вы убили самых талантливых полководцев, воспитанных на опыте мировой и гражданской войн, во главе с блестящим маршалом Тухачевским. Вы истребили героев гражданской войны, которые преобразовали Красную Армию по последнему слову военной техники и сделали её непобедимой. В момент величайшей военной опасности вы продолжаете истреблять руководителей армии, средний командный состав и младших командиров. Где маршал Блюхер? Где маршал Егоров? Вы арестовали их, Сталин!

Для успокоения взволнованных умов вы говорите, что ослабленная арестами и казнями Красная Армия якобы стала сильнее. Вы обманываете страну, Сталин...

Зная, что закон военной науки требует единоначалия в армии, от главнокомандующего до младшего командира, вы воскресили институт политических комиссаров, который возник на заре существования Красной Армии и Красного Флота, когда у нас ещё не было своих командиров, а над военными специалистами старой армии нужен был политический контроль. Не доверяя красным командирам, вы вносите в армию двоевластие и разрушаете воинскую дисциплину. Под нажимом советского народа вы лицемерно воскрешаете культ исторических русских героев: Александра Невского, Дмитрия Донского, Михаила Кутузова, надеясь, что в будущей войне они помогут вам больше, чем вами казнённые маршалы и генералы.

Пользуясь тем, что вы никому не доверяете, настоящие агенты гестапо и японская разведка с успехом ловят рыбу в мутной воде, взбаламученной вами, в изобилии подбрасывают вам подлые документы, порочащие самых лучших, талантливых и честных людей. В созданной вами гнилой атмосфере подозрительности, взаимного недоверия, всеобщего сыска и всемогущества НКВД, которому вы отдали на растерзание Красную Армию и всю страну, – любому «перехваченному» документу верят, или притворяются, что верят как неоспоримому доказательству. Подсовывая агентам Ежова фальшивые

документы, компрометирующие честных работников миссии, РОВС в лице капитана Фосса добилась разгрома нашего полпредства в Болгарии, устранены все, от шофёра М.И. Казакова до военного атташе В.Т. Сухорукова.

Вы уничтожаете одно за другим важнейшие завоевания Октября. Под видом текучести рабочей силы вы отменили свободу труда, закабалили советских рабочих и прикрепили их к фабрикам и заводам. Вы разрушаете хозяйственный механизм страны, дезорганизуете промышленность и транспорт, подрываете авторитет директора, инженера и мастера, сопровождая бесконечную чехарду смещений и назначений арестами и травлей инженеров и рабочих, как «старых», ещё не разоблачённых предателей. Сделав невозможной нормальную работу, вы под видом борьбы с прогулами и опозданиями трудящихся заставляете их работать под бичами жестоких и антипролетарских декретов. Ваши бесчеловечные репрессии делают нестерпимой жизнь советских трудящихся, которые за малейшую провинность с «волчьим паспортом» увольняются с работы и выгоняются с квартир.

Рабочий класс с самоотверженным героизмом нёс тяготы напряжённого труда, недоеданий, голода, скудной заработной платы, жилищной тесноты и отсутствия необходимых товаров. Он верил, что с победой социализма в нашей стране, когда осуществится мечта светлых умов человечества о великом братстве людей, всем будет житья легко и радостно. Вы отняли даже эту надежду: вы объявили социализм построенным до конца. И рабочие с недоумением спрашивают друг друга: если это социализм, то за что боролись, товарищи?

Извращая теорию Ленина об отмирании государства, как извратили всю теорию марксизма–ленинизма, вы устами ваших безграмотных доморощенных теоретиков, занявших место Бухарина, Каменева, Луначарского, обещаете даже при коммунизме сохранить власть ГПУ. Вы отняли у колхозных крестьян всякий стимул к работе. Под видом борьбы с «разбазариванием колхозной земли» вы разоряете приусадебные участки, чтобы заставить крестьян работать на колхозных полях. Организатор голода, грубостью и жестокостью неразборчивых методов, отличающих вашу тактику, вы сделали всё, чтобы дискредитировать в глазах крестьян ленинскую идею коллективизации.

Лицемерно провозглашая интеллигенцию «солью земли», вы лишили минимума внутренней свободы труд писателя, учёного, живописца. Вы зажали искусство в тиски, от которых оно задыхается и вымирает. Неистовство напуганной вами цензуры и понятная робость редакторов, за всё отвечающих своей головой, привели к окостенению и параличу советскую литературу. Писатель не может печататься, драматург не может ставить пьесы на сцене театра, критик не мо-

жет высказать своё личное мнение, не отмеченное вашим казённым штампом. Вы душиите советское искусство, требуя от него придворного лизоблюдства, но оно предпочитает молчать, чтобы не петь вам «осанну». Вы насаждаете псевдоискусство, которое с надоедливym однообразием воспекает вашу пресловутую, набившую оскомину «гениальность». Бездарные графоманы славословят вас как полубога, «рожденного от луны и солнца», а вы, как восточный деспот, наслаждаетесь фимиамом грубой лести. Вы беспощадно истребляете талантливых, но лично вам неугодных русских писателей. Где Борис Пильняк? Где Сергей Третьяков? Где Аросьев? Где Михаил Кольцов? Где Тарасов–Родионов? Где Галина Серебрякова, виновная в том, что она была женой Сокольников? Вы арестовали их, Сталин!

Вслед за Гитлером вы воскресили средневековое сжигание книг. Я видел своими глазами рассылаемые советским библиотекам строгие списки книг, подлежащих немедленному и безусловному уничтожению. Когда я был полпредом в Болгарии, то в 1937 году в полученном мною списке обречённой огню запретной литературы я нашёл мою книгу исторических воспоминаний «Кронштадт и Питер в 1917 году». Против фамилий многих авторов значилось: «Уничтожить все книги, брошюры и портреты».

Вы лишили советских учёных, особенно в области гуманитарных наук, минимума свободной научной мысли, без которой творческая работа исследователя становится невозможной. Самоуверенные невежды интригами, склоками, травлей не дают работать учёным в университетах, лабораториях и институтах. Выдающихся русских учёных с мировым именем – академика Игнатьева и Чичибабина вы на весь мир провозгласили «невозвращенцами», наивно думая их обесславить, но опозорили только себя, доведя до сведения всей страны и мирового общественного мнения постыдный для вашего режима факт, что лучшие учёные бегут из вашего рая, оставляя вам ваши «благдеяния»: квартиру, автомобиль, карточку на обеды в совнаркомовской столовой. Вы истребили талантливых русских ученых. Где лучший конструктор советских аэропланов Туполев? Вы не пощадили даже его. Вы арестовали Туполева. Нет уголка, нет области, где можно спокойно заниматься любимым делом. Директор театра, замечательный режиссёр, выдающийся деятель искусства В.Э. Мейерхольд не занимался политикой, но вы арестовали и Мейерхольда.

Зная, что при бедности нашей кадрами особенно ценен каждый культурный и опытный дипломат, вы заманили в Москву и уничтожили одного за другим почти всех советских полпредов. Вы разрушили дотла весь аппарат НКВД. Уничтожая везде и всегда золотой фонд страны, её молодые кадры, вы истребили во цвете лет талантливых и многообещающих дипломатов. В грозный час военной опасности, когда острие фашизма направлено против Советского Союза, когда борьба за Данциг и война в Китае лишь подготовка для

будущей интервенции против СССР, когда главный объект германо-японской агрессии – наша родина, когда единственная возможность предотвращения войны – открытое вступление Советского Союза в Международный блок демократических государств, скорейшее заключение военного и политического союза с Англией, Францией, – вы колеблетесь, выжидаете и качаетесь, как маятник между «осями». Во всех расчётах вашей внешней и внутренней политики вы исходите не из любви к Родине, которая вам чужда, а из животного страха потерять личную власть. Ваша беспринципная диктатура, как гнилая колода, лежит поперёк дороги нашей страны. «Отец народов», вы предали побеждённых испанских революционеров, бросили их на произвол судьбы и предоставили заботу о них другим государствам. Великодушное спасение человеческих жизней не в ваших принципах. Горе побеждённым! Они нам больше не нужны! Европейских рабочих, интеллигентов, ремесленников, бегущих от фашистского варварства, вы равнодушно предоставили гибели, захлопнув перед ними двери нашей страны, которая в своих огромных просторах может приютить тысячи эмигрантов.

Как и все советские патриоты, я работал, на многое закрывая глаза. Я долго молчал. Мне было трудно рвать последние связи не с вами, не с вашим обречённым режимом, а с остатками старой ленинской партии, в которой я пробыл без малого 30 лет. Вы разгромили её в три года.

Мне мучительно больно лишаться моей Родины. Чем дальше, тем больше интересы вашей личной диктатуры вступают в непримиримый конфликт с интересами рабочих, крестьян, интеллигенции, с интересами всей страны, над которой вы измываетесь, как тиран, дорвавшийся до единоличной власти. Ваша социальная база суживается с каждым днём, в судорожных поисках опоры вы лицемерно расточаете комплименты «беспартийным большевикам», создаёте одну за другой привилегированные группы, осыпаете их милостями, кормите подачками, но не в состоянии гарантировать новым «калифам на час» не только их привилегии, но даже право на жизнь.

Ваша безумная вакханалия не может продолжаться долго. Бесконечен список ваших преступлений. Бесконечен список имён ваших жертв. Нет возможности их перечислить. Рано или поздно советский народ вас самого посадит на скамью подсудимых, как главного вредителя, подлинного врага народа, организатора голода и удобных подлогов.

17 августа 1939 г.

Ф. Раскольников

Цвела персидская сирень в московских палисадах...

Солнечная София благоухала чайными розами...

Домашний урок: рок спасения.

Даль: Бодливой корове бог рогов не даёт.

Когда эпистолы страшнее пистолета...

...Курбский Раскольников – Грозному Сталину! Два письма рядом – это уже почище «Фауста» Гёте.

А почище этого фауста только фауст-патрон...

*Всё перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.*

Мандельштам.

LXIII

Миттельшпиль.

Россия. Лето. Лотерея...

литорея...

логорея... –

и реет далее везде.

Белый вальс тополиного пуха: то ли шаловливые боженята дерутся подушками, то ли Винни-Пух чистит пёрышки, а может – то и другое вместе, от какого явления у земляков все рыльца в пуху.

Ах, встать бы с постели раненько, в три-четыре утра, выйти из своей каморки и пойти к речке, чтобы поздороваться с нею босой ногой! Идти, идти, не спеша, вразвалочку, юная трава под ногой щекочет, щебечет, стебается, значит, с тобой по-свойски, на свой растительный манер, общается... Там речные берега с наивной, долу склонившейся, печалью. Ночная темнота уходит, цепляясь за ветки и оставляя на них клочковатые воспоминания. А соловушка в кустах уже опереточно вопрошает:

– Ну, и что с того, если я – кустарь-одиночка?

Идёт человек босиком по индустриальному городу. Идёт, босяк, шлёпает индифферентно по утренним лужам и улыбается.

Вы скажете: так не серьёзно. Или вы скажете: так не бывает.

Но вы, товарищ, не торопитесь говорить. Вы сами попробуйте, шлёпните голой пяткой по мокрому асфальту разок и другой разок – и непременно разулыбитесь. Каждый сделает это, конечно, на свой лад, по-разному, но все – об одном. Обстоятельства способствуют. Во-первых, никто не мешает. Во-вторых, случится это в такой ранний час, что стесняться своей босоты или, предположим круче, совершенной обножённости, будет не перед кем.

Днём – другое дело. Днём жару разгонят вертолёты. Они у нас в Хибаровске нынче вместо вентиляторов приспособлены, опахалы этикие, значит.

Днём люди пойдут на митинги. На митинги пойдут зелёные бэтэры с военными гражданами. Безопасной медью заблестают духовые оркестры. Все предназначены для выражения любви.

Бабушку старенькую, как Коминтерн, аналогичная бабушка приметя внушительно уговаривать:

– Это не твоего внучика раздавили, не твоего. Это другой внучик под колёса попал.

А первая бабушка скажет:

– Чо ты такое турухтишь, Революция Елпидифоровна? Других внучиков не бывает. Внучики и сынки всегда всехные...

Колонны демонстрантов будут то растягиваться, то сжиматься, точь-в-точь как русская гармошка с пёстро-ситцевыми мехами, с перламутровыми планками.

И у каждого колышка, у каждой урны с чем-то заплёванным, на каждом углу – клянутся, клянутся, клянутся... Богом клянутся, родной мамой, честью, совестью, общественной собственностью на средства производства да чтоб жить на одну зарплату... Всем хорошо. Клятвам плохо.

И вот пойдёт босяк по улицам города и к людям приставать станет:

– Истина – это кто или что?

И скажут ему:

– Если пьёшь, то пей водку. А если не пьёшь, так пей чай.

И ещё ему скажут, уж в который раз:

– Суета сует суету суёт.

А кошка-мурмулетка о ногу потрётся и произнесёт с презрительным нигилизмом:

– Мурá.

И бездомный мальчишка на желдорвокзале спросит босяка:

– Батя, ты чей?

Ох, колетя. Что-то колетя. Кто-то колетя. Кто-то раскалывается. Как в лесной чащобе – ветки всякие цепучие, пни да сучья... «Сучья жизнь, что и говорить, когда за всякую херню приходится цепляться», – подумает босяк. А что делать? Это будни, будни и ещё не раз будни, и каждый будень историчен, как нечаянно разбитая похмельная поллитровка, с трудом добытая, и истеричен будень, точно вопли взвинченных моторок на реке, у самого моста... Или это не моторки, а уже революционные крейсера вошли в хибаровскую средиземную речку Куда?

Над желдорвокзалом светится синяя загадочная ухмылка:

Наш старый знакомый в кепке Зураб Ркацители привёз нынче из южных краёв минеральные удобрения и польскую косметику, а также засахаренные в Финляндии кедровые орешки.

Босяку не нужны удобрения, косметика и орешки. И он направляет стопы свои в дикий туризм, в полосу отчуждения, в зону, в робинзоны крузо, в робин гуды, в одиночество...

– Мы, – бормочет он, портвешок разливая, – не основоположники какие-нибудь. Мы люди простые. Нам розлив в шалаше куда как приятнее, чем шалаш в Разливе. А что до истории касаясь, так ну её в задницу, шалашовку этакую! Курва, обманщица, комсомольская правда!

«Комсомольская правда», между тем, оповестила утренний народ: «В Ленсовет поступило заявление от нескольких семей, проживающих на пригородной станции Разлив, в котором содержатся предложения об использовании мемориальных объектов, связанных с именем В.И. Ленина. Жители Разлива пишут в своём заявлении, что они, живущие в разваливающихся бараках, готовы переселиться в «роскошный двухэтажный сарай», где когда-то обитал товарищ Ленин. А одна семья согласилась занять знаменитый шалашик...»

...и каждому босяку становится понятно: не социализм нам надо было строить, а квартиры. Обидно же: строили дом, а выстроили хибару с синим загадочным Хи.

Многоэтажная вавилонщина. Вот это и есть наш нынешний дом, в котором проживает сам начальник Краснознамённого ЖЭКа товарищ Сперанский, заслуженный строитель СССР. Впрочем, к своему почётному званию тов. Сперанский относится чисто по-босяцки.

– Я, – говорит, – не эсэсэр строил. Я строил дома.

Где-то высоко, почти под самой крышей Кошкиного Дома, высоко, сутки напролёт окно светится... Как это там у Маяка сказано:

*Где живёт Нита Жо?
Нита ниже этажом.*

Никакой Ниты. Там Маргарита квартирует. Марго. Незаконнорожденная дочь преславного Дюка. Она стихи сочиняет. А когда иногда спит, то видит во сне: бронзовый папа с набережной указывает рукой на порт, вдали темнеют пески Пересыпи, а направо – узенькая полоска мола...

*Каравеллы мои, каравеллы
Уплавают в солёный туман.
Знак надежды, печали и веры
В первый раз не берёт капитан...
Оставляя случайной гетере*

*Оловянный чарующий крест,
Он ничуть не грустит о потере
На широтах, где дует норд-вест...*

Марго – это вам не буфетчица из «Мочалки». Это уж иная Марго. Маргарита. Пусть не Наваррская. Пусть обыкновенно наваристая и даже изрядно дюковатая. Зато – на все времена. И нога под ней... Нога. По-язычески нага. Сорок четвёртого размера. Не спит нога. Мастера дожидается.

А Мастер – это уж он, а не Марго, этажом ниже. Большой дока по части Дюка. Нахал. Виртуальный вертухай. И фамилия подходящая: Булгаков. И лозунг жизненно приличный: на каждого Мастера – своя Маргарита, можно даже две... Умница. Нострадамус с компьютером, и тот и другой – большая редкость. Пьёт, естественно. Но это не такой уж великий грех. Пьющего хоть двое уважают, а непьющего – никто, потому что уж больно они подозрительные личности для нашего брата, все эти трезвенники: то ли сексот, то ли живой труп, то ли мёртвая душа, то ли приводной ремень к коммунизму, каковым наше государство нещадно порет отступников, не нашедших себя. Мастер Булгаков и Сочинителю, соседу своему, кое-что нагадал на своей мудрой машине: родился тот в 800 году, в Испании, в семье какого-то морского бродяги, девочкой... Очень, чрезвычайно очень любит Мастер своё виртуальное вертухайство. Называет ласково машину Эксклюзивом и беседует с ним по-свойски...

– Время бросать, – говорит Эксклюзив.

– Сам знаю без тебя, – говорит Мастер. – Вчера жену бросил. Со второго этажа. Потом сам бросился. Упал на тещу. Сам живой, теща вдребезги. В море.

– А жена? – спрашивает Эксклюзив.

– Жена упала на своего любовника. Сама живая, любовник вдребезги. В море.

– Вот я и говорю, – подытоживает общение Эксклюзив. – Что время бросать...

– Да ну тебя! – обижается Мастер. – Уж мне и пошутить нельзя...

А ещё этажом ниже проживает сантехник Хлюстаков Иван. Наш кадр. Вечный жених, уже бывший в употреблении раз десять, точно никто не знает, потому что каждый сезон в квартире Хлюстакова появляется новая женщина.

Заглянем на минутку? Заглянем...

– Ну, как ужин? – спрашивает Анфилада, новая женщина.

– Это ты, в общем целом, вкусно воплотила в жизнь. Нормально, можно сказать.

– Ваня, а Вань?

– Ну.

– Удели мне хотя бы ноль внимания.

- На чо?
- Я, Ваня, про тебя хочу выразиться. Уже назрело.
- Давай. Гони тюльку.
- Хорошо. Я тебе согласилась? Согласилась. Вот ты теперь и обеспечивай.
- Чо обеспечивать-то?
- Ничо. Как хочешь, так и понимай.
- А я так понимаю, Анфилада. Если женщина на ниве плодородия, так это одно дело. Дело хорошее. А если женщина на ниве, чтобы ей одно удовольствие и разврат, так это будет совсем другое наоборот.
- Ой ли?
- Ой.
- А ты, Ваня, губы-то про ниву не раскатывай! Не надо! Я ведь про тебя, изменщика и бабтиста, уже давно всё поняла...
- Ну, вот и слава богу. Дошло, наконец, как до шухеризады.
- А это кто ж такая?
- А ты на себя в зеркало посмотри. Посмотри и подумай мозгами и внутренним существом.
- Я уже смотрела, Ваня. И вот чего надумала. Страшная всё ж таки, Ваня, эта сила, которая красота.
- Пугаешь?
- Нисколечки, Ваня, не пугаю. Разве ж я могу, Ваня, вот этими самыми своими белыми руками человека задушить?
- Можешь, – сказал Ваня, после чего сильными сантехническими пальцами отломил ножку рюмки и положил её в кучку к прочим отходам питания на столе.
- Ты возьми лучше самовар, Ваня. Кастрируй у него крантик. Получится переходящий кубок первенства. Наливай туда свою водку и жри, как свинья. А насчёт шухеризады обратно повторяю: кто такая и почему не знаю?
- Это не женщина, успокойся. Это чистое умственное крем-брюле. И ты не критикуй. Если я не ночевал вчерась дома, то этот факт не значит, что я не буду ночевать сегодня.
- Ну, уж нет! Тебе этого не выйдет...

Ещё этажом ниже – однокомнатная квартирка Заюшкина. Пустует квартирка. Давно уж, ещё зимой, ушёл Заюшкин за дополнительной бутылкой и до сих пор не вернулся. Где-то он теперь с нашей бутылкой? Этот великий молчун... Он открывает рот только в исключительных случаях: питье, закусывание и задавание дурацких вопросов. Прочие звуки выражает рычанием, совершенно волчьим, словно предупреждает сообщество: давай помолчим...

«Давай помолчим...» – есть дивное предложение.
Чудный вопрос: «О чём?»

А о чём молчит человек? Это уже целая, нераспечатанная, философия. Молчуну, молчальнику молвить есть о чём – и до, и вовремя, и после...

После драки с мордобитием двух членов Российской академии наук господин Михайло Ломоносов был взят под стражу и восемь месяцев, с мая 1743 по январь 1744, изнывал под домашним арестом. Комнатный воздух был плотен, спёрт, тяжёл – от ломоносовских матюгов. Но что проку в четырёх стенах ругмя ругаться без оппонентов? Что проку потрясать атмосферу пред невинными домашними мебелью, книгами, печкою и женою, не разумеющей многогранных, изошрённых плоскостей поморской солёной брани? И когда, наконец, разъярённый академик осознал всю безысходность ругательной позы, он пошёл, как это принято людьми великими, другим путём. Как же? А вот так: молча. Уселся за стол и сочинил «Краткое руководство к красноречию». Рукопись через четыре года стала книгою, которая выдержала несколько успешных изданий и авторитетно засвидетельствовала: молчание красноречиво, рождению звука всенепременно предшествует благотворительная тишина.

Чем держится величье пирамид? Громадою? О, нет! Молчанием.

Молчание перед молитвою. Греки называли это человеческое состояние словом «метанойя». А что же у людей русских?

Одна из рукописей Пушкина была озаглавлена так: «Комедия о царе Борисе и Гришке Отрепьеве». В печатном виде названа трагедией. Речь, понятно, идёт о знаменитой пьесе «Борис Годунов». В заключении пушкинская рукопись свидетельствовала, как боярин Мосальский обратился к народу: «Что ж вы молчите? Кричите: Да здравствует царь Димитрий Иванович!», на что народ исполнил хоровое, послушное: «Да здравствует царь Димитрий Иванович!» После чего падал сценический занавес... Издание «Годунова» совершалось в декабре 1830 года в отсутствие автора, но зато под наблюдением премудрого Василия Жуковского, который взял на себя труд редактирования сочинения: там немножко переделал, тут сократил, здесь чуточку поправил... Мелочь в общем. Чепушинка. И когда Жуковский докатился до конца рукописи, то зачеркнул «хоровое послушное» и вписал собственноручно на оное место ремарку: «Народ безмолвствует». Эта фраза осенила «комедию-трагедию» безумно-гениальной иррациональностью.

Проще говоря, молчание у греков и русских в сущности одинаково. Да вот только молитвы – разные. После «безмолвия» по-русски, как отметил историк Костомаров, москвичи «перепились до бесчувствия» и отдали многие Богу души свои, «отыдеши с миром».

Жанры переливаются друг в друга, как два заботливые сообщающиеся сосуды – за бархатными занавесами, за ситцевыми занавесочками...

На том и чокнемся, милостивые государи. И конец XX века пособит нам в этом начинании.

Широко известный в московской тусовке поэт Бонифаций уже познакомил почтеннейшую публику со своим творчеством, жестикулируя руками, ногами, лицом, плечиками... – молча.

Широко известный в мировой тусовке музыкант Кейдж уже познакомил почтеннейшую публику со своим новым сочинением под названием «4 минуты 33 секунды» – ровно столько времени он просидел, не прикасаясь к клавишам рояля, в полной тишине, молча.

Но это ещё не самое забавное. Вдруг мы увидели новатора, который решил сыграть известную мелодию в иной тональности. Вот он вышел на сцену, поклонился и – замолчал: оказалось, что надо играть совсем другой, незадуманный, непредвиденный, совершенно незнакомый опус, да к тому же играть без предварительного ознакомления, что называется, «с листа», и на неведомом доселе инструменте... Таковы политики реформации.

Так что, чокнемся всё же, господа! Нечего сказать – помолчим. И если взаправду «молчание – золото», то пушкинское «хранить молчанье в важном споре» примем за рекомендацию – не для того, чтобы разбогатеть, но хотя бы для того, чтобы вдрызг не обанкротиться.

«В этой области помолчим», – так сказал поэт Рубцов, убиенный возлюбленной женщиной.

«Цветёт в России красный рай...» Это вновь господин академик Ломоносов напоминает нам о себе. Он ведь не только «наш первый университет», но и магический кристалл, и переходящий кубок, и кубик Рубика, и рублик неразменный, и оптимизмом искрящийся трояк до полочки... Трёшка!

Трёшка, вечная трёшка снова и снова высовывает на белый свет свою неравнобедренную фигурку. И добрым людям кукиши выказывает, философические комбинации из трёх пальцев.

Кукиш первый: броневик, кепка, картавость.

Кукиш второй: усы, трубка, акцент.

Кукиш третий: лысина, кукуруза, «коммунизм».

Кукиш четвертый: брови, ордена, дикция...

Эх, тройка, птица-тройка! Уж не гоголевская ли ты, с бубенцами? Нет, не гоголевская, не с бубенцами. Какой Гоголь? Алкогоголь. С бубновым тузом на спине, синей молнии подобный – вот что она за птица.

Грустное название: Русь. Здесь всё на троих размерено.

Святая троица – Отец, Сын и Дух Святой. Это религия.

Отец и сын Ползуновы да дух парной из котла. Это техника.

Ленин, партия, коммунизм. Это рёв на комсомольских форумах.

Карательные тройки. Это юстиция.

Директор, партком, профком. Это производство.

Мат в три хода. Это спорт.

И, как образ жизни, – мат в три этажа...

На крышке рояля в комнате филармонички Риммы Леопольдовны из 113-й квартиры дремлет клавир «Фауста». А под крышкой вздрагивает каватина: ей темно и холодно, и страшно там, в чёрной утробе, но точно так же страшно выходить в наружный мир, в мир, где и в помине нет гармонии, но есть многочисленные гармонисты-балалаечники на темы текущей политики; дебелые дебилы, децибелы «эпохи обляденения»... и всё кого-то постоянно сажают, сажают... много – в президиумы, уже мало – в тюрьму, и саженцы эти всё чего-то агитируют, агитируют... и снова какие-то выборы, выборы, словно бесконечная «Санта-Барбара» на великорусский лад...

И куда ж это люди смотрят?

Люди смотрят телевизоры.

Телевизоры смотрят людей.

Такое вот время причудливое. А время – это как раз то, что население часто называет безвременьем: кому смута, а кому – сметана, кому-то воз, а кому-то – авоська, кому – воля, а кому-то «Вольво»...

О вкусах спорят. Именно поэтому диапазон законодателей вкусов огромен: от повара до Паваротти... И при этом совершенно неважно, что первый свистит, когда режет лук, чтобы слеза не прошибла, а второй, по имени Лучано, всего-навсего поёт, заставляя публику рыдать от восторга... Кому-то нравится Мадонна, другому – Марадона, третьему – Шафаревич, четвёртому – Макаревич, певец со вкусом, а пятому вообще никто не нравится, кроме самого себя. Ещё та кухня!

И вот тут, при этакой-то «разблюдовке», часто происходит то, что на каком-то повороте – от повара к Паваротти, например, – неизбежно высовывается чья-то рожа, которая диктует вам меню: кого надо съесть и за чьё здоровье.

Таким диктатором в избирательной кампании может, в сущности, оказаться при демократии-то кто угодно. Бывшая певица, настолько бывшая, что уже и сама не помнит, что именно она когда-то пела. Капээсэсовец, упорно цепляющийся за идею-фикс, идею-сфинкса. Патриоты-заочники из русского зарубежья с их идеями строить виселицы для демократов. Шут гороховый, по-картёжному джокер, имеющий шансик и в покере, и в политике оказаться главнее короля. Плакальщики-профи. Почвенники, трезвенники и язвенники, способные лишь на то, чтобы повести россиян на выучку к полоумной Агафье Лыковой, в таёжный сибирский тупик. Косяк депутатов: тронутые тронном власти, укушенные привилегиями, отравленные неприкосновенностью...

Конечно, можно было бы и поточнее определить погоду на российском дворе и задворках. Но, наверное, делать этого не нужно. Время боится красочных определений. Определять – это ставить пределы. Ставить же пределы – значит ограничивать. Кроме того, беда всяких определений как раз и состоит в том, что под ними могут подписаться

все, в том числе и те, кому с народовластием не по пути: вроде тех белокурвых бестий со свастикой, которые зорко отслеживают: кого же избиратели слушают больше?.. А для многих избирателей власть в целом является уэллсовским человеком-невидимкой, которого можно увидеть лишь после того, когда его тело покроется пылью, грязью, изморозью или станет мёртвым. А грязное ли дело, – политика? Отнюдь. Она лишь одно из средств для совершения грязных дел и легализации индивидуальных пороков: депутатство, как и война, всё спишет. Кстати, о войне. Говорят: при скоропостижной демократии российский парламент может вконец обабиться. Добавляют многозначительно: мол, не все депутатки – девочки-дюймовочки, есть и трёхдюймовочки, есть и покруче калибром... Ну-ну, есть такие дамочки. Правда, мурлыкать про мир в Чечне и позировать в тельняшечке – как-то маловато для депутата, то есть, для депутатки. Однако же случались в мировой истории вещи, говоря нынешним слогом, умиротворительно конструктивные. Далековато, но случались.

В 1140 году германский император Конрад III осадил город Вейнберг, где оборонялся герцог Баварский, соперник, претендовавший на корону. Шансов на спасение у осаждённых не осталось, когда император ультимативно разрешил покинуть город только дамам благородного происхождения, пообещав сохранить в неприкосновенности их честь при условии, если они унесут с собой из города только то, что могут взять с собой в качестве ручной клади... Утречком распахнулись ворота. Караван благородных дам покидал пылающий город, унося на хрупких плечах не драгоценности, а своих рыцарственных мужей, детей и, конечно, самого герцога. Ясное дело, Конрад III умилился, прослезился и примирился со своим смертельным врагом.

Это сколько же веков понадобилось, товарищи, чтобы мужики обабились до нынешнего уровня!

Когда-то было достаточно оказать: «В зале слишком душно. Нельзя ли открыть окно?» = единственное выступление в парламенте депутата Исаака Ньютона, того самого, который работал в области... Впрочем, областей в те далёкие времена ещё не было, и депутат Ньютон экспериментировал с яблоками.

Нынче же говорят непомерно много, и посему русский язык стареет быстро, словно человек, которого мало любят. И мало проку с того, что дадена свобода слова: дать-то дали, а что именно говорить – не сказали. Ещё совсем недавно мы читали между строк, улавливали подтексты... «Михаила объегорили да Егор обмишурился», да кто-то кого-то подкузьмил, да ещё «безбрежность небрежности»... Слова с намёком на власть. Хлеб для цензуры. Ум, честь и совесть сатириков.

А вот теперь попробуй объясни какой-нибудь бабушке Революции Елпидифоровне, что сотовый телефон – это ей не мёд. И что цены умеренные – не от слова «умереть». И что «Сникерсы» это не «Юнкерсы», воздушные разбойники второй мировой войны...

Но покуда у наших разночинных кандидатов в политики мысли скачут, как шальные эскадроны; и покуда даже слово «дебаты» звучит в их устах нецензурно; и покуда русский язык будет благородным своим качеством превосходить русского человека; и покуда публичные хамство и словоблудие будут выдаваться за смелость и раскованность мысли, – не видеть нам, граждане хибаровчане, ни яблочного Спаса, ни спасения от греха. И телевизоры будут с изумлением смотреть людей.

И когда шапка средней пушистости, лежавшая себе и лежавшая на стуле, вдруг как залаяла, то я, вышепоименованный и нижеподписавшийся, нажал какую-то кнопочку и сим рукоприкладством прекратил собственное истязание. Ибо – не верю.

Россия – сплошной многоголосый город Выборг, до востребования: налево пойдёшь? направо пойдёшь? или все-таки прямо – без страха и сомнения, никому не уступая – ни шестикрылым серафимам, ни танкам Т-80... Но поднимем ли голову?

Поднял голову Хлюстаков со стола, огляделся.

«Это ж надо ж такое, – подумал он, – чтобы вокруг только я да я – и никого больше! Неужто новая жена Анфилада эвакуировалась?»

И ещё подумал Хлюстаков: да, согласные мы, что пить надо меньше и пореже. Но ведь есть вещи, на которые смотреть трезвым глазом просто невозможно, неприлично и невыносимо!

А в голове у Ивана Александровича – как будто бы иголочка по извилинам бороздит, пошумливает, поскрипывает, точно жестокий романс на патефонной пластинке...

– Пить, Ваня, я тебе запрещаю, – говорила Анфилада.

– Это как же ты запретишь, интересно? – спрашивал Хлюстаков с большим любопытством.

– Вот так прямо и запрещу. Скажу – и всё тут!

– Ну, скажи.

– Я и говорю тебе, что запрещаю.

– Всё сказала?

– Всё. С тебя хватит.

– Ну, и чо?

– Значит, пить больше не будешь.

– Это кто тебе сказал?

– Это я сама тебе своим ротом сказала.

– А я чего сказал?

– А тебе ничего и не надо говорить.

– Нет, женчина, я всё же скажу. Напоследок. На память.

– Какой последок? Тебе что, опять новая жена приспичилась?

– Слушай и запоминай себе на будущее приданое, Анфилада, и другим кандидаткам на свой пост скажи. Что Хлюстакову Ивану Александровичу в его быстротекущей жизни нужна такая жена, чтобы была

многогранная. Например, возьмём простой, обыкновенный стакан. С виду он простой и обыкновенный, элементарные двести грамм. Но на самом деле он на сто процентов многогранный! И вот я такую же подругу жизни хочу иметь, чтобы жена была не просто как мать родная, а даже как бабушка. Желательно, две бабушки. И обоим чтоб были по кровной родной линии, а не какие-нибудь случайные няни и сплетницы слухов и клеветы. Вот! И на этом тебе спасибо за внимание. Я пошёл.

– На работу, что ли? Снова пить? Я ж тебе уже сказала!

– Маловажно что сказала. Меня твой запрет не запрет в домашней частной собственности. Труба зовёт на производство к соцсоревнованию!

...Ещё разок огляделся Иван, оцупался. Вчера был такой разговор. А сегодня – уже сегодня. Ничего не изменилось, всё по-прежнему: я да я, и никого больше. Кого теперь любить?

Иван Александрович раскрыл свой огромный чёрный зонт и стал похож на пиратский корабль. За сим пнул хлопотливую дверь, шагнул через порог – и пропал.

– Пропал Хлюстаков! – сказал Помиранцев. – Как говорится, в омут с головой. Что будем делать, товарищи?

– А дома-то у него были? – спросил Сочинитель.

– Естественно, – ответил Кувыкин. – Я вчерась был. По вашему заданию, Семён Семёныч. Уже что-ли забыли?

– И что там говорят?

– Там уже ничего не говорят, Семён Семёныч. Там весь женский гарнизонный гарем в полном составе собрался, штук тринадцать хлюстаковщиц и все с детьми. Двенадцать плачут с горя, а тринадцатая, которая последняя Анфилада, так она рыдает от радости, но уже приближается к горю. Такие дела.

Помиранцев задумался и стал похож на Кутузова в Филях. Кувыкин молчал. Сочинитель вздыхал. Каштанка зевнула так, что челюсть у неё заклинило. Семеро смелых дрались из-за обладания бараньей косточкой.

– Предлагаю, товарищи, перечислить дневной заработок в фонд помощи жертвам, – сказал Помиранцев и угнездил на столе замусленную кепку. – Кто сколько может.

«А кто сколько может? Если у меня, например, полный ноль в кармане! Меня моя Марфа-посадница с утра аннулировала подчистую, ага!» – так сказал бы Вадя Мошонкин, но Вади Мошонкина здесь, увы, не было.

«Не волнуйтесь, я за вас заплачу, Вадим», – так отозвался бы на Вадин вопль Князь, но и Князя здесь тоже не было.

Так что, кепка с трудом, но всё же наполнилась трудовыми, кровными – от Помиранцева, Кувыкина и Сочинителя.

– Вот это хорошо, по-коммунистически, на этом и закруглим проблему, – подвёл черту Семён Семёнович и кивнул по привычке в угол,

где обычно Мошонкин располагался: – Одна нога там, другая тут.

«Ну, уж нет, так не пойдёт, чтобы одна нога, другая... Может, у меня и третья есть? Чо-то ты, Семёныч, сегодня неправильно себя ведёшь, гуманизму в тебе маловато Я-то, само собой, до несчастных женщин с детьми обязательно заверну, мне это дело – рупь делов, одна секунда, а дальше-то что? Ага! – сказал бы Вадя Мошонкин, но Вади Мошонкина опять здесь не было.

«Не думай об секундах свысока», – сурово произнёс бы Щитовидов, однако и Щитовидов отсутствовал.

И к Помиранцеву протянулся укоризненный взгляд Кувыкина, а Князь, будь он здесь, непременно вздохнул бы осуждающе.

– Хэть, ёлки зелёные, – смутился Помиранцев и почесался досадливо. – Надо ж так, что чуть не забыл. Спасибо, напомнили. Так ты, Кувыкин, на сдачу-то... заверни в магазин, к тёте Хасе.

– Понял, – сказал Кувыкин, сгрёб наличность в карман и исчез.

Каштанка, наконец, справилась с челюстью и растянулась в ногах Помиранцева. Семеро смелых дрались из-за косточки. Князь, будь он здесь, непременно улыбнулся бы, смахнув слезу. Сочинитель принялся деловито прибирать стол: стакан на середину, крошки на пол, даже с мумии омуля пыль сдул... О, этот дивный омуль-амулет!

– Лишь бы не получилось у Кувыкина, как у Заюшкина, – сказал Сочинитель, и на лице его отразилась тревога. – Где теперь этот Заюшкин с нашей бутылкой?

Праздник ожидания праздника...

– Праздника ждёте? – спросило Времечко, мутная капелька со дна стакана: то ли начальная слеза, то ли конечная водка.

Кувыкин жаловался сосредоточенно – прямо в стакан:

– Вот я и говорю то же самое! Надею по утрянке свой насущный пинжак, а также валенки с галошами. Не успел опомниться – бац! – обратно пьяный. Это как такое перенести?

– А ты, Кувыкин, бросай это мокрое дело, – сказал Сочинитель. – Наберись силы воли и брось раз и навсегда.

– Вообще-то, я, если чего захочу...

– Не надо ля-ля, Кувыкин. Давай без вообще. И к тому же ты не зачачивай чего не надо. И тогда проживание у тебя будет сплошь полное покоя и процветания. А если серьёзно выразиться...

– Если сурьёзно, – поддержал разговор Помиранцев, – так моё к тебе мнение, Кувыкин, будет такое: покидай нашу работу на такой нервной почве, что надо к женскому полу по квартирам ходить ремонтировать, и подавайся в общий трудовой котёл, на фабрично-заводское производство, где народ пыхтит с полной дисциплиной сознания.

– А я вам что, не народ?

– Нет, Кувыкин. Ты, получается, один Кувыкин. И хоть мы тебя уважаем, но когда ты один – ты ещё не народ.

- А мы с тобой вдвоем, Семёныч, на пару – не народ?
- То же самое, не народ.
- Тогда так: я, ты, Сочинитель и метельщик Васька-кривой с Площади Падших Борцов. Народ?
- Не-а!
- Кошмар! А когда же из нас народ будет? Из сколько человек? С какого энного числа народ начинается? Где этот кворум?

Тоска, стеснение, неудобство... Как будто бы в разгар дня ты сопроводил невинную рюмочку ломтиком хлеба с чесноком; этот чеснок, столь же невинный, как и рюмочка, не имеет будущего, что могло бы составить его, чеснока, главный недостаток, если бы это не являлось его главным достоинством: *Allium sativum*, верный, надёжный, бескорыстный друг коронарных сосудов.

... и мерцательная аритмия – как литературный жанр.

– Библейское «В начале было Слово» – это про вас, про россиян, – говорит Времечко. – Посмотрим на Запад. Там владывает рациональное действие. Поглядим на Восток. Там господствует чувственное созерцание...

- А как там на югах? – спрашиваю. – В Африке, например.
- Там звук, ритм, движение. Колыбель рок-энд-ролла.
- У России тоже свой рок.
- Свой. Означающий злую судьбину.
- А Боб Гребенщиков со своим «Аквариумом»? Не рыба в воде?
- Ах, вот вы о чём! Действительно, тут слово на слово наскочило, то есть, одно искало другое и – нашло. Русский рок противостоит «злой судьбине» поэтической энергетикой Гребенщикова. И вообще, русский рок – он такой...

- Какой же, интересно?
- Такой, что целил в царевича Димитрия в Угличе, а попал в Галича. Аж в Париже.
- Хорошо. Что же царит на Севере?
- Чистота и бесмолвие, как заметил Высоцкий. Но если бы медведи белые захотели поговорить с вами, то вы нашли бы с ними общий язык. Другое дело, что они – не хотят.
- Итак, вывод?
- Россия, где «если не на деле, так хоть на словах», есть по существу цивилизация Слова. Условная страна, если хотите. Она держится только на честном слове, потому как ничего более надёжного и крепкого в ней просто-напросто не было и нет.

...Эх, ты, Времечко: капелька – и чашу переполняет, и камень точит, и в зрачках отражается.

– Другой на моём месте, – говорю, – давно бы тебе морду набил за такую критику. Медведи, понимаешь ли, нами брезгуют...

– Не брезгуют, – отвечает Времечко. – Они умные. Они даже согласились стать русским символом. Но этот символ вам на ухо наступил. Так что, не психуй, товарищ.

– От психуя слышу. Что ж, я уже совсем, по-твоему, глухая тетеря?

– А если не тетеря, то слушай. В давние-предавние времена...

– Это, примерно, когда же?

– В доисторическом материализме. Значит, в давние-предавние, говорю тебе, времена обитал на Руси, как сейчас помню, дикий зверь бер. И был у твоих славянских предков обычай называть дикого зверя не по его родовому имени, а как бы намёком, косвенно, не обидеть дабы, не прогневить. Короче, табу на имя. Вот и бера, который ведал чащобные дупельные места, где мёд водится, стали называть медведем. А от прежнего имени зверя осталась лишь память о месте его обитания: логовище бера, берлога...

– Врёшь ты всё.

– Нет, не вру. Какой мне резон врать-то? Дай доскажу. Таковое смущение со смещением встречается во всех языках мира. У японцев, например, страшное слово «кризис» обозначается двумя иероглифами, означающими «смерть» и «рождение».

– Опять врёшь. Так у нормальных людей не бывает, чтобы нашего ласкового мишу в берию превращать. Ни де факто, ни де юрэ.

– ...дура-дура-дура...

– Что? Не понял! Что ты сказало? Сознательно или так, наугад?

– ...гад-гад-гад...

– Да у тебя, Времечко, язык-то не иначе как из мохера!

– ...хера-хера-хера...

– Во-во! Хоть ты и старенькое, а некультурности в тебе шибко много.

– ...мно-го-мно-гом-но-гомно-гомно...

– Правильно. Дерьмистости в тебе тьма.

– ...тьма-тьмать-мать-мать...

– Ну, всё, хватит! Довольно меня оскорблять!

– ...блять-блять...

– Да? Ах, ты, сволочь такая! Ладно. Бросаю перчатку. Требую сатисфакции. Выходи на дуэль, паскуда!

– ...куда-куда...

– На Чёрную Речку. На Кудыкину гору. За городом. В лесочке. Стреляться будем. Так что, пару часиков до полного удовлетворения потерпите.

– ...питер-питер...

– Какой Питер? Хибаровск. Сейчас в России почти каждая речка стала чёрной. Пошли немедленно. Давай, топай впереди.

– ...иди-иди...

– Я-то иду. А ты?

– А я уже давно там. Тебя дожидаюсь.

...ибо время близко.

Совість, а совість! Ты ещё не проснулась?

LXIV

1.

Тяжёлый сон, похмельный сон... Мелкий сон, рассыпчатый.

Выстраивается забавный звуковой ряд: сказки братьев Гримм – грим закулисья – гримасы Улисса и двуликого Януса – улица Улисса...

При чём тут Улисс? Кто такой Улисс?

Улисс, оказывается, латинская форма имени Одиссей.

Одиссей – «сердящий богов», «испытанный гневом богов» – как раз и попадает в полутрезвый словесный ряд, к сказкам, к гриму, двуликости...

В гомеровской интерпретации Одиссей есть олицетворение практического ума, дальновидности, хитрости, одним словом, герой. Чтобы отлынить от армии и участия в Троянской войне, он прикидывается сумасшедшим, засеивая поле солью... Постгомеровские мифы наделили Одиссея уже отрицательными чертами. Из умного и отважного бывший герой становится трусливым, лживым и коварным.

Так живут мифы, разгоняя в жилах кровь героев и негодяев.

2.

Занимался рассвет...

Излишне спрашивать: чем он занимался? Он, понятно, занимался новым днём. Как Помиранцев – зарядкой. Как Кувыкин – трёшкой в долг... Каждый, по существу, занимается своим долгом.

И в этот момент явился милиционер – румяный, выглаженный, с голосом таким сочным и бархатистым, какой бывает у человека, только что скушавшего персик.

– Ну, граждане, выходи на хрен всем гамузом одеваться и начальству давать объяснения за поведение.

Так вот и пришло утро, а с ним и новый рабочий день в медицинском вытрезвителе, а почему он медицинский – этого никто так и не понял.

Через полчаса Сочинитель распрощался с новыми знакомыми, ощупал в кармане рублик... да, рублик, которым один из новых товарищей с великой нежностью, вспоминая при этом окурочек на троих, оделил каждого из сокамерников «на реабилитацию и реанимацию»... да, ощупал Сочинитель рублик и квиточек, согласно которому ему предписывалось уплатить 40 рублей за медобслуживание... да, подумал Сочинитель, паразиты такие, что, получается, в конце концов, я здесь на сорок рэ аспирину сожрал, что ли?.. да, и пошёл домой Сочинитель, где его уже поджидало пренеприятнейшее известие, но Сочинитель об этом ещё не знал, даже не догадывался – и потому шёл, про себя напевая:

*Очень плохо пингвинёнку,
У него болит живот...*

Сочинитель двигался грациозно, скользящим шагом, как всегда ходят канатоходцы и утренние водопроводчики, чья рассветная задумчивость напоминает калининградского философа Канта, а всяческое отсутствие трудового энтузиазма кого хочешь, даже милицейского полковника, а не простого сержанта, введёт в аварийное состояние.

3.

Проснулось Времечко – и потянулось...

– Где мы? – спрашивает.

– Да в России мы, в России, – отвечаю я.

– И что же тут новенького?

– Июнь. Дождичек.

Кружка. Вода. Родник. Костёр. Тень дерева. Серые камни. Это, значит, полный я: пью из кружки родниковую воду у костра в тени деревьев, сидя на сером камне.

А ещё всё это предполагает следующее за мной. Купальницы, ярко-жёлтые, точно намасленные. Кукушкины слёзки – фиолетовые шапочки набекрень на коротких подростковых ножках: так в школу идёт букет, из которого не видать первоклашки. Метёлки белых неинтересных цветов чемерицы на толстых стеблях. Бледно-розовая княженика. Красные ольховые серёжки, память о ком-то. Белые тамарки, память о серёжке, – три весёлых белых лепестка на длинном ростке, а посреди, на пестике, сосредоточена серьёзная чёрная точка... Вот рододендрон, багульник, его хорошо знают охотники, близко и охотно понимают романтики: кустик в треть метра от земли с жёсткими, вроде брусничных, листьями, соцветия большие, как у яблоньки, только лепестки кремовые и чуток загнутые на концах...

– Хорошо тут у вас, – потягивается Времечко. – Значит, говоришь, дождичек?

– Ну, да, – говорю, – дождичек.

Хотя ночные тучки откочевали уже куда-то далеко и там, наверное, стучат друг об дружку – только искры сыпятся, но уже не здесь, отсюда и не видно, а виден чистый небосвод, небосклон, небосклонность верховная, вышняя, горняя...

– И рыбка, поди, клюёт? – интересуется Времечко.

– А куда ж ей деться-то? Клюёт.

Это мой знакомый ленок балует. Я-то знаю наверняка, что ближе к вечеру он будет распрекрасным манером брать «на мыша». По конституции он – тот же хариус, только фигурой покрупнее, лобастенький, толстоспинный, с красными пятнами по бокам... А уж таймень, король водяной, так тот и вовсе, как молочный поросёнок, годится без всякого масла запускать на жаркое! А потом возложишь этого тай-

мешка на блюдо, кокетливую петрушку в пасть – и готово, вылитый кавалер, дон-жуан разомлевший, иван-царевич после баньки, такого ни в каком царстве-государстве не сыщешь. Но вы, товарищи, всё же ищите. И обрящете. Потому что все ищут. Рыба ищет – где глубже. Собака ищет блох. Нищий ищет копеечку. Французы ищут женщину. Русские – крайнего... Вот, может быть, в том крайнем и содержится до поры до времени ваше-наше настоящее или будущее жаркое...

– А это кто? – спрашивает Времечко. – Такой сердитый и в макинтоше.

– Это я, татарин, – отвечает татарин. – Сердитый и в макинтоше, да. Рыбу тут тягаю. Потому что нам, татарам, один хек. А где мясо?

– Какое мясо, татарин? Зачем мясо?

– Мясо в ассортименте и мясо вообще. Нам, татарам, адекватно. Но ты сначала дай нам мясо вообще, а уж потом мы сами разберёмся, какое оно, свинина или шашлык. И не жмурься, ради Аллаха. Если я хочу мясу вообще, то это вовсе не означает, что я – сепаратист. Сау булыгыз!

– Прощай, прощай, уважаемый татарин... Озабочка диогеновая. Ну, что? Потопали дальше? Назад, в наш дорогой город Хибаровск.

– Потопали, – отвечаю я и вздыхаю. – А может не надо назад? Нам и тут хорошо.

– Надо, – отвечает Времечко. – И не надо печалиться. Вся жизнь впереди. Оденься и жди.

Полтора десятка крыш. С трубами печными. Это называется деревня. Имя у ней – Путь Ильича. Вдоль по этому пути бегут мужик за бабой, Индус за Индустрией. Догоняшки, называется. Мужик с полном, баба с воплями.

– А чего она, – вежливо кричит Индус, – вместе с Васькой-киномехаником широкого профиля пошла коров доить в новых калошах, а вернулась в старых? Это как, по-вашему, разврат или как?

Вот Катенька на крылечке. Она кашу манную не кушает. Она будет манекенщицей. Стоп-модель, называется.

Вот бабушка Настя на завалинке. У бабушки имя звучное, как шлепок теста по столу. Когда она была ещё махонькой, то застала динозавров, а когда старенькой сделалась, то тоскливо донашивает развитой социализм, прохладный шёлк его передовых и переходящих знамён.

Вот дедушка в окошке. Он приспособил для бритвы утренний самовар вместо зеркала. Но лучше бы ему вообще ничего не приспособивать и даже в окошке не показываться. Потому что бабка получила намедни счёт к телефонной оплате на тридцать три миллиона рублей за международную горячую линию с государством Чили. Секс-ток, называется. Бабка взялась за внучку, внучка за дедку... Чего уж тут скрываться? В течение многих академических часов дедушка проводил с латиноамериканской развратницей разгневанную пропаганду и

агитацию, но в тех Чиях, похоже, с этим нехорошим делом так и не завязали, а вот наш российский дед-короед на старости лет и ещё на много лет вперёд лишился к чёртовой бабушке своей заслуженной мозолистой пенсии.

На околице конь траву стрижёт. Бронзовый бурят покуривает короткую трубочку в серебряном окладе с чеканкою.

– Голова толстый, – говорит. – Умный, однако. Нах!

Конечно, умный. Не между завтраком и обедом сидит – в вечности. Кто может постичь его степную необъятную философию?

Неизвестно. Приезжала тут в прошлом году одна филологичка-славистка-фольклористка из города Вены. Между прочим, ихняя выдающаяся специалистка по бурятам. И ещё одно между прочим: наши-то войска и до города Вены когда-то добрались, к слову сказать. Так вот, во многом, конечно, эта фольклористка разобралась, кроме одного бурятского междометия «нах», коим стар и млад пересыпают чуть ли не каждое словечко-полсловечко. Уж потом ей, недоуменной, перед посадкой в самолёт деликатно растолковали, что таинственное «нах» – отнюдь не междометие, а всего лишь усечённая форма из русского словаря ненормативной лексики, проще говоря, – популярный адресок, по которому отправляют нежелательных и прочих собеседников. И ещё сказали фольклористке, что более подробную информацию можно получить в научно-филологическом труде мистера Флегона «За пределами русских словарей», изданном в Великобритании, где на титульной странице помещён эпиграф из сочинений Ленина: «Хранить наследство – вовсе не значит ещё ограничиваться наследством». Вот мы, значит, и следуем заветам вождя, не ограничиваемся...

– О! – воскликнула венка. – Этот великий! Этот могучий! Этот русский язык ё-моё! Материк! Обложка!

– Ага, – сказали ей. – Материк в обложке. Приезжайте ещё, фрау Клаудиа, мы вас ещё чему-нибудь научим.

– Непременно! Спасибо вам. До скорой встречи, господа товарищи. Нах!

Нах остен – нах вестен... Нахальство какое всё-таки! Но теперь это называется – международные контакты.

Вокруг стога чёрного прошлогоднего сена расположилась выездная сессия городской думы. Похожи – как вельможи вокруг Екатерининского памятника в колыбели революции. Каждый сосредоточен в своей позе, со своими думами на челе, чего-то жуют и через губу перебрасываются репликами:

– Ваше время вышло...

– Время вышло ваше...

– Вышло ваше время...

А в окрестности старуха бродит, пустые бутылочки в холстяной мешок собирает. Поле прибирает. Чистенькая, аккуратная старуха, на

ней припасённое к последнему часу смертное платье, чёрное, без карманов, и платочек беленький на булавке к груди подколот.

Подмигнуло мне Времечко: послушай, дескать, о чём молчит эта предсмертная бабушка?

– Ладненько, – говорю, – давай послушаем, может быть, и полегчает сирой старушке-страннице.

«...Ох, Россияшка, Россияшка, горе ты моё. Белые ночи. Чёрные омуты. Пылкие свечи. Рояль под чёрным парусом. Семь потов на тебе, семь смертных грехов, семь пятниц на неделе и семеро с ложкою, которые одного не ждут, единственного: господнего благословения... Так что же оно есть такое, подвиг россиянина? А выходит, что очень просто. Он не может здесь жить, но он живёт, и живёт, и живёт, была бы чарка да шкварка... Вот так и прогеройствовали, голуби, прогеростратили свою славу былую...»

– Погоди-ка, бабушка, – говорю я. – И на каком же языке ты молчишь этакие свои учёные мысли?

«Да на всех языках молчу, голуби мои, – молчит бабушка, сумочкой побрякивая. – Был бы человек хороший, а понятный язык всегда найдётся».

– Да мы, – говорю, – не шибко такие, чтобы очень. Средние, можно сказать. Так что, ты уж говори чуток понятней, очень тебя умоляю, незабвенная гражданочка-пенсионерка.

«Хорошо, – промолчала бабушка, – стану молчать, как в политпросвете. Но прежде помолчу по-своему. Вы, голуби мои, смотрели правде в глаза? Смотрели. Теперь надвинулась самая пора взглянуть в глаза лжи. Глядите. Вон, на лугу богоданном одни рюмашки сверкают... Это что такое? Почему? А потому, что необъятные просторы, скверные дороги да чиканутое ваше начальство породили в россиянине качества летательные: легковерие и мечтательность. А что его, этого россиянина, могло держать на земле? Что, в конце концов, создаёт в жизни устойчивое равновесие? Одно из двух. Либо это цепи, либо это собственность. Если судить по лозунгу, в котором пролетариату нечего терять кроме своих цепей, то у вас были одни только цепи. Народ? Да, народ... Житель да житель... или, по-вашему, по-сибирскому, паря да паря, да ещё паря, да ещё... и куда России податься с этими париями? И подалась она в партию. Весь свой народ упаковала в часть народа. В революцию – это ещё раньше случилось – Россия взлетела на воздух, потому что от тяжести цепей освободилась, но собственности не приобрела. И стала парить Россия. До космоса рукой дотронулась, а до стирального порошка не додумалась... Вот я и думаю вместо неё: ежели такое подвешенное состояние слишком долго затянется, то человек, который не может быть неустойчивым, снова потянется к цепям. Такая вот экология аукается, голуби мои. Ясно ли молчу?»

Поправила бабушка белый платочек – и исчезла, оставив после себя мощное турбулентное завихрение.

– И это всё твоё? – спросило меня Времечко.

– Моё, – вздохнул я. – Кроме баушки. И откудова она такая полипросветная взялась?

– Значит, твой ленок, твой татарин, твой материк в обложке, твоя бабушка...

– Баушка не моя!

– Твоя, твоя! Не спорь со мной.

– Ладно, будь по-твоему, не спорю.

– Не споришь? Так с какой же стати ты всё это достояние на меня валишь? Какого хрена меня виноватишь? Времечко, дескать, такое, Времечко сякое...

Молчу. Сказать-то нечего. И очень стыдно стало за то, что вчера вызвал Времечко на дуэль.

4.

Когда выпадало такое счастье, каким бывало тихое, не омрачённое скандалом и количественно неограниченное похмелье, да к тому же ещё под тёплой надёжной крышей и с кисленькой капустой, – тогда Сочинителя иногда проскваживала слеза.

– Мамочка, мамочка, да кой же чёртов поп или загс надоумил тебя придумать такое имечко своему сыночку?

Сыночек замышлялся родителями как латинский «жизненный». Полный титул, правда, подсократили в духе того легендарного времени, когда всё, что можно, сокращали, не только имена, но даже народонаселение.

Однако с жизнью у Сочинителя как-то не сладилось, разминулись они где-то в самом начале жизни.

Ещё до сочинительства, как, впрочем, и после оно, Сочинителя никогда не фотографировали для Доски почёта. Сначала потому, что он, не осилив положенной семилетки, принялся играть в джазе на ударных инструментах, а джаз ругали в то время –почём ни попало и почём зря, именовали публично не иначе как выродком, масскультурой, гримасой буржуазного гниющего псевдоискусства, и репутация утёсовского оркестра (джаз-банды, говорили) висела на волоске: обо всём этом, висящем на волоске, во всеуслышание брэнчали чёрные тарелки послевоенных громкоговорителей, были такие вещательные штуки, все внутри пустые до странности... Потом будущий Сочинитель принялся стучать на барабанах и медных тарелках в парковом оркестрике... «В городском саду играет духовой оркестр, на скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест...» Это было приятно и вдохновенно. И денежки завелись. Те ещё ассигнации, дореформенные: на голубой пятирублёвке красовался лётчик, сталинский сокол, краса и гордость страны Советов. С зелёнькой трёшки улыбалась колхозница. А рабочий, международный гегемон, был изображён на самой дешевой бумажке, на жёлтом рубле.

Позже к Сочинителю незаметно подкралась западная королева джаза, виртуозные маэстро барабанных палочек: румын Джорджиу Малагамба, битловский левша Ринго Стар... Но это было позже, позже... Тогда умер батя. Мерцательная аритмия. В этой сердечной болезни чудилось что-то звёздное и совсем не увязывалось с жёсткой формулой батиной земной жизни: всё было впереди – всё было – всё – точка...

Однажды проходил какой-то районный конкурс. Озабоченные культурные деятели попросту не заметили существования маленького оркестрика.

– А ещё жюри называется, – плюнул Сочинитель в сердцах. – Так что, обжюрили нас, ребята.

– Ничего, хлопцы, не журись! – обнадёживающе провозгласила альтушка-первая труба. – Без работы не останемся.

И оркестранты в полном составе подались в похоронную команду. Называется, жмуриков отпевать.

Синие, небритые, пропахшие водкой от переживаний – такими они стали со временем, джазисты, славные лабухи, бывшие звёзды городского парка культуры и отдыха.

Тогда и с могильщиками познакомился Сочинитель. Даже чуток пораньше, чем с похоронщиками. Сам батя могилу копал – могильщиков не допускал; тогда и увидел землю на высшем уровне, на уровне глаз... А у могильщиков – свой начальник, бугор, называется. Увидел бугор Сочинителя на батиной могиле, в одиночку сосущего чекушку за чекушкой, и предложил:

– Переходи от похоронщиков к нам, парень, к могильщикам. Мы кого хошь не принимаем. И от нас просто так ещё никто не уходил.

– Да нет, я не за тем...

– Ну, смотри, – сказал бугор могильщиков. – Парень ты, по всему видать, талантливый. А талант дан свыше, от бога. Как указание. И горе тому, кто его не исполняет. А стакан потребуется – заходи, не стесняйся, мы люди уважительные, горе понимаем...

Года четыре таскал ударник на ремне свой похоронный барабан и иногда ощущал себя суццей собакой на привязи: казалось, не такты он отбивал колотушкой, а сам от барабана отбивался что есть мочи и отбиться не мог, как от дурного привязчивого сна...

Вот такая специальность образовалась у Сочинителя – без диплома, без почёта, без доски...

– За исключением гробовой, – шутил он.

Этот период своей молодой жизни Сочинитель стал уже позже именовать первой нотой музыкальной гаммы: «до»: что-то было до – до, а что-то после до. С тем, что после до, Сочинитель связывал надежды на лучшее будущее СССР и счастье в личной жизни.

Жена Розка работала экспедитором в торговой точке. И хоть получка у неё была не ахти какая, однако с той точки Розка умудрялась иметь такие наваристые многоточия, что главным семейным добытчи-

ком оказывалась именно она, а не Сочинитель, и этот вопиющий факт стал первым из ряда иных и прочих, от которых Сочинитель в конце концов потерялся в собственном доме.

Он любил Розку. А Розка жарила ему котлеты. И вся любовь!

Иногда ему казалось, что даже сын Лёвка по-розкиному ухмылки сочиняет.

– Слушай сюда, мерзавец, – ласково говорил сыну Сочинитель.

– Как у тебя обстоят дела с дошкольным воспитанием?

Но тут вмешивалась Розка и приходилось уходить в глухую круговую оборону:

– Ну, что тебе надо ещё от меня? Кажется, всё у нас есть. Магнитофон «Яуза» купили? Купили. Опять же, пластинки! Вот, погоди, заведём ещё чего-нибудь потрясающее.

– Козью морду? – нежно спрашивала Розка. – Мне твои пластинки – вот уже где! – И пилила горло ладонью, показывая наглядно, где уже. – Господи ты боже ж мой! У других баб мужья как мужья, некоторые даже в космонавты выходят, а у меня один бум-бум и разные бахи в голове...

Сочинитель мягко возражал, скрипя зубами:

– Вообще-то, люди даже крокодилов заводят в ваннных комнатах, и то – ничего, никаких трений между супругами. А тебе нежная пластинка – поперёк горла встала! Эх, Роза ты, Роза, красивое у тебя имя, а жить красиво не хочешь. Не Роза ты, а домашняя вохра с револьвером. И не козью морду хочу завести, а Квазимоду, арию. Сколько же раз тебя поправлять надо?

– Зато ты красиво живёшь, лучше некуда! На барабане лапами стучишь, как заяц в цирке. Гляди, достучишься. Уж лупил бы лучше по своей синей и небритой арийской бельмонде... Лёвушка, плюнь, сынок, на папу!

Завели вместо арии Квазимоды финский холодильник «Розенлев». Розка от одного названия без ума сделалась, чуть ли не целуется с агрегатом:

– Розин – Лев! – и Лёвке подмигивает. – Правда, сынок?

А Сочинителю было тоскливо, холодно, и он от тоски напевал про айсберг в океане, и душа его, будущего Сочинителя, казалось, подтаивала от жалости к самой себе. И обида росла, как бамбук.

Короче говоря, в один прекрасный день Сочинитель, возвратившись без эскорта после принудительного лечения в ЛТП (в народе именуемый «лётно-техническим полком»), не застал дома ни Розки, ни Лёвки, ни «Розенлева» и прочего барахла, всё подчистила, чёртова кукла, экспедировала, называется, и – самое печальное – ни одной граммпластинки в живых не оставила, уж ладно бы увезла, забрала с собою, так нет же, расколотила молотком и на балкон вымела: любуйся, мол, ударник похоронного труда, тут тебе и Лобертина Ларетти твоя, и мои горькие саратовские страдания, и денежки, которые ты,

козья морда, от родного сына Лёвушки отнимал для своего единоличного удовольствия... В пустоте шевелилась позабытая занавеска на окне и шелестела прикнопленная записочка: «Пока проживая проживай. Но не надейся, что квартира останется за тобой. Стребую через народный суд в интересах ребёнка».

Плюнул тогда Сочинитель на середину жилплощади, покурил на балкончике. Подтянул разболтанные краны в ванной комнате. Носовым платком затёр плевков на полу. Вышел из дому. Поехал на кладбище, где смиренно выкинул в свежую могилу осколки граммофонных пластинок... И подался в новое пространство, неизвестное, неизведанное, странное, о котором даже песенка подходящая сложена: «Мой адрес – не дом и не улица, мой адрес – Советский Союз...»

Обитателей того пространства называют колокольню: БОМЖ! Без определённого места жительства, значит. Однако правильной будет так: без определённого места в жизни. Мир бомжий...

Как там у Сочинителя было, бомжий, не бомжий – это уж другой разговор, который нынче, годы спустя, он не любит заводить и поддерживать. Но кончилась его колокольная катавасия столь же резко, как и началась. Вернулся в родной Хибаровск. Получил рабочее место маляра на ударной комсомольско-молодёжной стройке высотного дома, в котором ему по окончании строительства выделили однокомнатную, со всеми удобствами, квартиру. Вначале эта квартирка считалась общежитского типа: жёлтый графин, стол и стул, железная кровать, всё под инвентарными номерами, кроме вешального гвоздика в стене, у двери, но ничего, жить можно. И даже исполнять перед сыном Лёвкой алиментарные обязанности. В полном согласии с гражданской совестью, законом о семье и браке и отцовской тоской.

5

...И тут уж мы, я да Времечко, в город вошли. В славный город Хибаровск.

Нынче он отмечает какую-то славную историческую дату.

Хибаровчане вообще весьма расположены к отмечаниям дат. Податые жители, одним словом. Живём себе, живём, хлеб и политграмоту жуём, вдруг – трах, тарарах! – дата образовалась, будто телефонный звонок среди ночи или будильник по сонным утрам, напоминающий трудящемуся человеку: пора вставать...

Хибаровск наш – городок обыкновенный, каких много в Российской Федерации, есть даже и похуже, и этим фактом погордиться не грех.

Забористые выражения. Называются они по-разному, смотря с какой точки зрения их прочитывать: и фулюганство, и лозунги, и самовыражения, и мобилизационные призывы ЦК КПСС и Советского правительства.

Дома как дома. Ничего особенного. В подъездах какие-то подвтеренные девки, маневренные, но со статусом неприкосновенности, как у народных депутатов.

– Обнажимся, – кричат, – и заголимся!

– Не обнажайтесь, – на ходу замечает Времечко. – А то ведь население и впрямь может подумать, что гроза в «Грозе» выдающегося драматурга Островского есть не кара божья, а всего лишь небесное электричество.

Девки на миг задумываются, потом разделяются на левых, правых и умеренных центристов.

На перекрёстке безымянных улиц торчит враслопырку, наподобие арки триумфальной, казачий атаман товарищ Неумереннов. Две самодельные шашки по бокам. Одна фуражка на голове, другая зажата в толстом казачьем кулаке на манер ленинской кепки.

– Казацкому роду нет перевода! – кричит. – Почто, мать вашу растуды, наша почта неэффективно работает?

Митинг, называется. Атамана слушают штук пять-шесть обормотов в кирзачах на босу ногу, в солдатских шинелях и болоньевых куртках с жестяными крестиками на грудях. Лошадей нету.

Сразу за углом – баня им. Чернышевского-Белинского. Объявление на бане зело удивительное: «Женский низ работает для мужчин по средам с 17 до 22 часов».

Дом литераторов им. Петрова-Водкина. Объявление на двери зело завлекательное: «Состоится грандиозный творческий вечер. Будет присутствовать много разных писателей и один Диксон».

Центральная краевая библиотека им. Патриса Лумумбы. Объявление зело забавное: «Учреждение не работает. Сегодня день спасенья».

– День списанья, – поправляет Времечко. – Старые книги в макулатуру определяют. Это нехорошо. И ошибочка в объявлении тоже нехорошо.

– Это, – говорю, как бы оправдываясь, – у девушек на выдаче абонементов от недоедания случилось.

Колоколамское шоссе. Оно ведёт к Морю. Но нам туда не надо.

Пивная точка...

– Сор!

– Сюр!

– Сыр-бор!

– Брр...

– Хер!

– Херес!

– Переборхес, господа!..

Это местная интеллигенция – маленько доктор, маленько инженер, маленько писатель... – распечатывают, разливают и перетолмачивают на русский язык латино-американского Борхеса. На физических лицах – печаль, на юридических – улыбка.

– А теперь, – улыбается улыбка, – своё неоднократное слово скажет господин... Как ваше фамилие, господин?

У киоска Союзпечати голосит беженка:

– Ой, людоньки, хорошие, не расходтесь, допоможить, скажите об мне начальнику, так я буду його на колинах благаты...

На зелёном косогоре, на пёстром крутояре возгордилась районная церквушка им. Пресвятой Богородицы. Шустрый газетчик из «Огней коммунизма» крутится, народ призывает к дискуссии:

– Ставлю проблему на-попа, как и полагается. А ваш поп упирается! Не желает опиум народа из избы выносить!

– А чего тебе наш поп-то? – смиренно негодует справедливая бабёнка в платочке. – Чего ты к нему привязался?

И тут к народу сам поп вышел – молодой, красивый, демократический поп, популярный.

– Почто, – вопрошает газетчика, – дурное и непотребное обо мне сочиняешь?

– А вы, – отвечает газетчик, – не обижайтесь на критику, товарищ батюшка. Потому как ваше церковное начальство...

– Наше начальство, отрок, не трожь. Наше начальство ваших газет не читает.

– Вот я и говорю, – взвился отрок, – что начхать ему на нас, истинно верующих, и на вас, и на нашу народную газету, и даже на писки епископа вашего. Бог и без газеты видит все ваши художества, батюшка.

– Во-о-о-н! – заревел поп. – Прочь отсель, низкий субъект!

Газетчик шмыгнул кому-то под юбку, вынырнул и исчез, успев напоследок посоветовать пригожей прихожанке, что милости не у бога просить надобно, а у попа, уж он-то, долгогривый, ублажит красавицу, умилостервит по высшему классу...

Называется: ренессанс православия.

В это время к храму комсомольско-молодёжная свадьба подкатила!

И вздохнуло Времечко:

– Это только в сказках всё кончается свадьбой. А в жизни, насколько помню, так не бывает. Вот что она ему скажет через неделю? Она скажет: «Да не буду я тратить на тебя свою красоту. И пошёл ты на фиг со своими рогатыми презервативами! От них только резиновые мопсики рождаются, мне мама говорила!» А ведь жениха уже сегодня знатоки этого дела предупреждать будут: «Горько!», но он, дурачок, так и не сообразит намёка и будет наивно верить в свою бабочку, и долго ещё не догадается, что каждая бабочка вначале бывает куколкой... Ну, что ж, двинули дальше?

– Двинули.

Двор как двор. Вкопанный доминошный стол. Вкопанная скамеечка. Один-одинёшенек на скамеечке. Даже меньше, чем один. Чей-то

ничей. Он философ. Он формулировку обглаживает, точно мозговую косточку, которая, в свою очередь, является наглядным пособием для аксиомы о том, что природа не терпит пустоты:

– Наш рулевой кричит: «Полный вперёд!», в то время как внутренняя и международная обстановка, что называется, полный писец. И вот эту, с позволения сказать, пиццу нам ещё марсиане подбросили, про полный вперёд и полный писец. Что делать? Пора заваривать чай, однако...

В соседнем дворе – целых шестеро вокруг одного стола. Секстет, называется. Складно выводится секстетом:

*Парни, парни, это в наших силах
Землю от пожара уберечь...*

Чёрные бороды, чёрные шляпы, глаза чёрные, черней ночи гефсиманской... Первый голос, второй, третий... Говорят, от перестановки мест слагаемых сумма не изменяется. Но мы с Времечком в такую математику уже не верим. И, будто соглашаясь с нами, рявкнул уличный громкоговоритель: «...А теперь о погоде. Температура воздуха сегодня на всей территории страны никакого значения не имеет...»

– Я вас спрашиваю: что такое? – грустно говорит один голос.

– А я вам отвечаю: это такое что, – грустно говорит другой. – И не вкусить нам ни горькой истины, ни сладостной отравы – от равви, от Кардена, от Ивана Ивановича, ни от ещё кого чего-нибудь...

– От печки, от души, от крестьян Диора, от чистого сердца, – грустно подхватывает третий.

– И не вкусить нам сладости плена вавилонского!

– А я вас спрашиваю: что такое? – грустно спрашивает один.

– Да чтоб я так жил, как вы спрашиваете! – грустно взрывается другой.

– А что? Вам тут плохо жить?

– Жить? Тут? Что вы такое говорите? Я живу тут, как жил не тут, а там, где я жил так, как не живут тут.

– Вот теперь всё понятно, – грустно сказал один.

И они погрузились в молчание. Пятеро не выговаривали по одной-две буквы, шестой – вообще ни одной.

– Космополиты, – сказала Времечко. – Я их уж сколько тыщ лет слушаю и слушаю, а они всё не переменились. Вот как эти. Расселись вокруг своей коллективной грусти и делают вид, что самое главное у них не на языке, а под столом.

– Банда? – ахнул я.

– Да ну, господь с вами. Какая ж это банда? Это хевра. Шесть обреза меж двенадцати колен израилевых. Всего-то...

И приходит к старому иудею новый русский.

– Папа, – говорит, – дайте денег.

И сказал папа:

– Ша! – после чего снял очки и вытер слёзы.

И тогда сказал дядя Ицик:

– Саша! Ша!

И сказал самый мудрый, сказал так, как сказала бы его Ревекка, неопишуемая женщина:

– Сашаша! Я скажу вам абсолютно в полном и обнажённом ракурсе. Да, да и да! Нашей стране нужен-таки Ленин. Но где его взять?

Сказал продолговато и застенчиво, словно взял верхнюю ноту «си». Но этого оказалось достаточным для того, чтобы спасти нового русского Сашу от всемирного запоя.

И пожало Времечко условными своими плечами:

– Этому Саше уже давно говорят секстетом на русском языке: Саша, покажи, наконец, то, на что ты, наконец, способен.

– А он? – спрашиваю.

– Не показывает.

– Стесняется, поди?

– Не знаю. Но знаю точно, что новый русский это уже аварийный еврей, потому что оттуда он уже вышел, но сюда ещё не пришёл. И это очень-таки не смешно, а, наоборот, грустно. К тому же, настоящий шмонец, знаменитый еврейский юмор, совсем недавно, по большому счёту, вылетел в трубу крематория...

6

Квартиру в новострое дали Сочинителю – это хорошо. Так ведь и наставника по малярному делу и коммунистическому воспитанию выделили, приказом оформили и велели учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин!

Наставник был, конечно, авторитетом среди работяг, лет под пенсию, активист и, как сам говорил, уж третий год сидел перед телевизором в вечернем университете миллионов.

Мужики в бригаде были возраста, понятно, не комсомольско-молодёжного и потому хоть и ударно попивали, но пили дисциплинированно и со вкусом, говорили вежливо «сколь» и «будем здоровы», причём, никогда не забывали выставлять боевое охранение, не то что молодёжь.

И пошла у Сочинителя малярня – разноцветная, в полосочку.

Однажды, в очередную получку, Сочинитель объявил:

– Всё! Прощай, грусть-тоска! С прошлым надо расставаться весело, как завещал Карл Маркс!

После чего вся бригада в полном составе отметила этот день событием историческим, то есть из тех, которые остаются в казённых бумагах.

– Человек может ошибаться? Может! – оправдывался Сочинитель перед строительным начальством. – У меня жизнь была тяжёлая, това-

рици. Сами вот попробуйте, каково собирать жизненный материал для литературы. А что касается до ваших бумажных характеристик, то я вам честно скажу: они мне вот где нужны! – И показал – где именно.

Наставник же пристал, как банный лист к тому самому именному месту пристаёт.

– Нет, не работяга ты, – сказал. – Не пролетарий, а сущий выходец из окружающей среды. Вот тебе и вся моя рабочая трудовая характеристика. Понятно?

– Понятно. Только я не выходец. Я ещё всерьёз никуда не вышел, и вам рано меня в расход выводить.

– Так выйдешь, – ответил наставник. – Выйдешь, если пить, как следует, не научишься.

– Это ещё как же?

– А так вот, как все опытные кадры. По-умному и без политуры.

– Без политуры блеску нету.

– Эх, молодость, молодость, – вздохнул наставник. – Человек, скажу тебе по секрету, с годами умнеть должен.

– Это у кого как, – отмахнулся Сочинитель.

– Не у кого как! – повысил голос наставник. – Глянь на меня незамутнёнными глазами!

– Ну.

– Да ты внимательно гляди!

– Гляжу. И что?

– А то самое. Ты, наверно, думаешь, что у меня рожа распухла от продуктов питания? Нет, дорогой. От почёту! Бери меня себе в пример, если никого другого поблизости нету, так глядишь – и тебя когда-нибудь в президиум посодют или какую грамоту дадут...

Озлился Сочинитель:

– Посодют, посодют! Это вы умеете! А на хрена, спрашивается, мне ваши президиумы? Что, социализма без президиумов не бывает? А если, по-вашему, не бывает, тогда мне давайте такой развитой, как на гулянке штопор. Да! Вы мне лучше вместо грамоты такую идею дайте, чтобы жить было весело и с охотой. И чтоб красителями, как вы, налево не торговать.

– Идейный ты шибко, – пробурчал наставник. – Нынче такие идейные, как ты, перевелись. И я за такие твои слова просто смеюсь на тебя.

– Ну что ж, смейтесь, коли плакать разучились. Паразиты вы все... Вас в университете миллионов на каждой передаче по два года держать надо...

Всё! Между Сочинителем и наставником пролегла черта, даже граница – как между сопредельными государствами, а на границе – как на границе...

Как-то раз Сочинитель качался наверху, на шатком трапе, оконные обводы по фасаду вручную отделявал. Наставник внизу ведро с

краскою наполнял, Сочинитель тянул наверх верёвку с ведром, да осторожненько же надо, чтобы ёмкость не раскачивалась...

– Механизация чёртова, – ворчал он, – Каменный век... До сколько можно терпеть такое?

– На твой век хватит, бичара несчастная, – отозвался наставник. Лучше бы он этого не делал.

Ведро с краскою сверху опросталось содержимым на голову наставника, да для полного удовлетворения шлёпнуло доньшком по наставниковой каскетке.

– Шабаш, – постановил Сочинитель. – Алитет уходит в город!

Дня через три прибился к сантехникам Кошкиного Дома.

Вот, в сущности, и всё, что было до вчерашнего дня.

А что касается до вчерашнего дня, то дело прошлое. Ну, посидели в бендежке. Он, Сочинитель, и Помиранцев с Кувыкиным. Ну, пообщались... Потом Сочинитель попёрся зачем-то ревизовать городской пляж на предмет готовности к летнему оздоровительному сезону. Теневые грибки на прочность проверял. Сам шатался. Потом разохотился до общения. Деньжат у какого-то знакомого перехватил до полочки. Угощал напропалую охочих до мороженого девушек и ребятшек, покуда не получил отпор со стороны суровых парней и сверхбдительных мамаш. Обиделся на весь мир. Засел близ пивного ларька и орал, что не желает быть героем социалистического труда, отказывается заранее от всех существующих наград и с завтрашнего дня приступает к сочинению эпохального романа-эпопеи почище «Войны и мира» и «Тихого Дона» вместе взятых... Очередь у ларька была небольшая, пива много, хоть залейся. Но Сочинитель был непотопляемым...

– Как авианосец, – объявил он.

– Как окурочок в унитазе, – уточнила продавщица, ехидное семя.

– Не обижай, – грозил Сочинитель. – Возбудюсь!

– Ой, ой, ой! – говорила продавщица. – Как это?

У неё была замечательная кофточка, совсем прозрачная, вроде как кисейная, и потому форменного халата продавщица не надевала. На кисейных грудях красовались разноцветные, как светофорчики, мировой известности кубики Рубика, а меж ними – яркими буквами написано предложение: «Попробуй, покрути!»

– Ну, и что? – спросили Сочинителя в ближайшем отделении милиции. – Попробовал?

– Естественно, – ответил Сочинитель.

– Эх, ты, Дон, так сказать, Жуан! Ладно бы ещё руку и сердце предлагал. Это бы ещё ништяк было. Женись сперва – и непосредственно крути себе на здоровье эти самые... вышеуказанные факты. Кто против? Все за. Но ты что предлагал, сукин сын?

– Ничего я ей не предлагал.

– Верно? – спросил дежурный потерпевшую продавщицу и скопил глаза на кубики Рубика.

– Он не предлагал. Он сразу, хам такой, – сказала кисейная бабышня. – А я при исполнении... Господи! Ну, никакого терпения у этих мушкетёров нету...

Сочинителя отпустили с миром, посчитав, что произошло не мелкое хулиганство, а крупное недоразумение от этих кубиков, к тому же потерпевшая сначала не возражала.

Вечером Сочинителя видели в парке культуры и отдыха. Он был уже крепко навеселе и орал песню:

*Очень плохо пингвинёнку,
У него болит живот,
Потому что пингвинёнку
Все бросают мусор в рот...*

Это урны имелись такие в парковых аллеях: жестяные пингвинчики с разинутыми клювами. Сочинитель, говорят, обнимался с ними, даже плакал, жалел, потом вытряхивал из них душу вон прямо на асфальтированные дорожки и ногами топтал – окурки эти поганые, бумажные стаканчики, бутылки всякие...

Действия дружинников, доставивших Сочинителя в отделение, глубоко оскорбили Сочинителя.

– Это снова ты? – спросил дежурный.

– Снова я. На этот раз пришёл с жалобой на незаконные действия.

– Ты мне лазера не пой, – сказал дежурный. – Что случилось?

– А вот этот гражданин, который с красной повязкой... он мне зуб вышиб, золотой, сто пятьдесят рэ за него уплочено. Так вот пускай деньгами возвращает, по-хорошему.

Через пару минут всё выяснилось. Действительно, между зубами задержанного есть вакансия, однако она давности многолетней, так что фокус не пройдёт. Кроме того, Сочинителю спокойно разъяснили, что ему золотые зубы ни к чему, поскольку золото – металл мягкий, быстро снашивается в процессе жевания...

– И непосредственно выходит наружу сам знаешь откуда и куда, – заключил дежурный.

– Ну, хрен с ним, туда ему и дорога, – миролюбиво согласился Сочинитель, махнул рукой и покорно направился в камеру, где и провёл ночь в компании, при синей лампочке и в свете постановления.

В короткой полудрёме явились в сознание Сочинителя слова первой строки, с которой он начнёт по выходе из вытрезвителя эпохальный роман-эпопею: «Изморозь мерзости запустения...»

Вот что, собственно, и произошло. Так Сочинитель попал в вытрезвитель, совмещённый с отделением милиции для удобства и взаимного пользования, откуда только что вышел и потопал, напевая песенку про пингвинёнка, домой, где его ожидало пренеприятнейшее известие.

...Во дворе дома, на самой верхушке которого, ближе к небу, творят, пьянствуют и отлеживаются от побоев мои друзья-живописцы, вихрастый мальчишечка прогуливает козу на поводке. Знаю, она у него в ванной комнате квартирует. Серьезный мальчишечка, мечтательный.

– Моя коза, – говорит, – кефир выдавать будет. А когда я от кефира разбогатею, так себе лисапег «Орлёнок» куплю или пианину какую-нибудь. Или целую корову с бубенчиком.

Ох, не знаю, не знаю, что с тем мальчишечкой станется. Но вот у козы биография сложилась. Это Манька. У неё чудные глаза. Она при крайкоме КПСС служила в должности сенокосилки на балансе хозотдела. Дело её простое: газоны вокруг Серого Дома обслуживала. Дело к тому же нехлопотное: живой агрегат был всегда сыт, бензина не требовал и не загуливал, как некоторые агрегатовладельцы. В хозотделе из Маньки каждый день цедили лечебное молоко. Понятно, что – не корова-ведёрница, но Главному Хозяину хозотдела всегда от Маньки была обеспечена регулярная кружка на стол, тёпленькая, прямо из-под козы. Однако же Хозяин всё равно умер на своём высоком посту. После смерти ему сказали: «Спи спокойно, ты заслужил этого» – и вычеркнули из штатного расписания. Маньку тоже вычеркнули, сказали, что за старообрядчество. Купили заграничную газонобрейку. И вот таким образом бесхозная Манька попала к мальчишечке.

А сейчас мама его ушла на ночную вахту мытья полов в Сером Доме. А кирной папа нежно баюкает годовалую дочку, сказку рассказывает, как язык может поворачиваться.

– Спи, спи... Быстро сказка сказывается... Вот я, например, очень лягушек люблю, доча. Они хорошие. Они полезные. Над ними эксперименты науки делают. Но некоторые нахально отлынивают. Они садятся на дороге прогресса и вздыхают: не проходите мимо, мы есть настоящие царевны... Врут. Это наглая ложь, потому что царевны на дороге не валяются... И вот, значит, однажды одна такая лягушка... Нет, кажись, это была уже не лягушка, а целая рыба-кит. Да, кит. И вот этот кит гонялся в море за подлодкой «Ленинский комсомол». И настиг, и впендюрил ей под самые жабры перископа... И родилось у подлодки уж не помню что такое... Спи, спи... Закрывай свои прекрасные глазыньки. Папа твой уж давно спит к чёртовой матери... Вон, за окошком слышно, как пёс воет на луну. А ведь не туда, не туда он воет, этот собаченька. Лето пришло. Хорошее лето. А потом обратно осень придёт хорошая. А за ней зима наступит. Тебе, доча, валенки купим, маленькие. А большие девки которые, так те примутся на Новый год за некомосольские гаданья, а воску-то у них – и нету! Так они что? Так они, а ещё комсомолки, бросят за порог свою личную обувь, которую родители покупали, не хрустальную, конечно, простую, и

выйдут потом девки за обувь, глядь, опять нету, не найдут обуви, кто-то свистнет ту обувь, которую родители покупали...

Сумерки опустились на Хибаровск. Сумерки – это вот что такое: умер свет. Свет умер, оставив сумеркам на память лишь лёгкий следочек начальной буквы своего вечернего имени.

– Это всё твоё, – сказало мне Времечко. – А насчёт утренней бабушки я тебе вот что скажу. Годами-то я постарше той бабушки буду. Но до неё меня называли старым, а после неё – новым. Интересно?

Молчал я печально и виновато.

Дурак я, дурак. Вон чего натворил: обиделся – и вызвал Времечко на дуэль, на лесную опушку, на ягодную полянку, у серых камней, близ родничка, в тени деревьев... Вот болван! Уж мне ли не знать... Короче: во-первых, дуэльные пистолеты продаются всегда парно и, согласно дуэльному кодексу, их пристрелка и опробование не допускаются. Во-вторых: время и я – что такое? Дуализм, двойственность, раздвоенность, это и есть тот философский камушек в учении Декарта и Канта, которое признаёт дух и материю, то есть идеальное и материальное, двумя самостоятельными началами... Уж мне ли, старому меломану, не знать, что цифра 2, итальянское «дуо», есть всего лишь старинное название инструментального дуэта... И что, если уж на то пошло, дуэнья есть пожилая благообразная дама, приставленная к молодой дворянке для воспитания и надзора... Какая бабушка? Какой Помиранцев Семён Семёнович? Какая эпоха и Страна Советов?

Ну, ладно, заварим себе крепчайший чай «со слоном» и не будем шибко дёргаться. Мне ведь тоже есть кого сегодня баюкать, спатеньки укладывать. Имеется и у меня свой философский камушек. Его зовут сердолик. Величиной с воробьиное яйцо, он живёт в коробочке из-под каких-то духов, лежит на тёплой чёрной бархатной подстилке. Я выношу его на прогулку воздухом подышать. И купаю его в чашке, отчего он начинает весело блестеть и розоветь янтарными щёчками. Домашний камушек-сердолик со вчерашнего вечера дожидается меня. Он мой.

Из вечернего окна выплыла не наша музыка, но она тоже моя.

The stars are falling.

The past is calling.

Is it me, for a moment?

Разве непонятно, что это поётся о том, как звезды падают, и прошлое к нам взывает? И – неужели это я – в это мгновение?

У мгновений нет языков. Но вот слово названо: мгновение. Сладкая парочка: я и мгновение... И это названное слово, может быть, более надёжней держит жизнь, чем названный брат. Так увертюра держит всю оперу. И совсем необязательно превращение увертюрных мелодий в лейтмотивы, потому что мы уже точно знаем: зачем и о чём в чёрном бархате ямы будет вздыхать и радоваться оркестр...

LXV

– Выходи на середину, Заюшкин, – сказал Вадя Мошонкин. – Выводись на чистую воду, дорогой наш потерянный кадр, и расскажи людям, где был-пропадал, чо делал и где наша бутылка?

Тесным кружком собрались голубчики Жёлтого Дома: Мошонкин, недавнее пополнение в лице Щитовидова, примкнувший Изя Несчастлифшиц и Савва Савушкин – разбирать собрались старое и новое поведение Заюшкина. Трезвые, серьёзные, одетые в застиранные, но всё же весёлые, точнее – смешные, халаты и пижамы с фиолетовым клеймом учреждения.

– Ваш Заюшкин, – обратился к народу Савва, – вряд ли что скажет. Убогонький человек. Я его раньше вас знаю. Сидит день-деньской около Она и всегда молчит. Зато у него постоянно булькает в животе. Ему здешний народ всю дорогу говорит по-хорошему: мужик, не булькай. А он булькает. Что ж вы от него хотите?

– Ага, булькает, значит, – сказал Мошонкин. – Может, у него в штанах наша бутылка запрятана? Давайте-ка, братцы, проверим, перевернём этого Заюшкина вниз головой и потрясём! За одну секунду выясним всю правду.

– Не думай об секундах свысока, Вадя, – заметил Щитовидов.

Заюшкин по-прежнему молчал.

– Не надо его переворачивать, – сказал Несчастлифшиц. – Он сам. Правда же, Заюшкин, ты сам расколешься?

Вздыхнул Заюшкин.

– Эх, взял бы я тебя щас за одно место... – сказал Вадя.

– Да чего уж за одно, – поддержал речь коллеги Савва. – Бери за обои. Отрывать так отрывать. Так что, нету у него другого пути. Исповедуйся, Молчалник, перед народом, тебе же легче будет. А то ведь народ интересуется и у него терпенье может лопнуть от того интереса. Напомните, Вадя, товарищу, с чего началось это дело прошлое, оживите память товарищу...

Вообще-то, в том деле прошлом не было ничего необычного, из ряда вон выходящего. Оживим память? Пока мы при памяти.

...из низкого, на уровне земли, окошечка видно: идут снега, идут ноги... А мы сидим, поджав свои ходики, довольнёшенькие, полные впечатлений и водки, покуриваем, пускаем в потолок дешёвый астральный дымок и завариваем в электрическом чайнике ячменно-желудёвый кофий по-чёрному...

– Так было? – спросил Мошонкин Заюшкина.

Тот вздохнул и улыбнулся.

– Кажется, понимает, – сказал Щитовидов.

...За стенами убежища – за тридцать. При таком-то градусе, как тонко заметил Иван Хлюстаков, бритва не бреет, и руки не держат брюки, а такое положение означает: если снаружи под сорок, то и внутри должно быть соответственно.

– Друзья мои, – сказал Сочинитель, – этот северный постулат вряд ли годится для наших широт. Не правда ли?

– Неправда, – ответил Вадя Мошонкин.

А член КПСС Помиранцев Семён Семёнович отреагировал по-партийному:

– С одной стороны, оно, конечно, да. Но с другой, может быть, и совсем наоборот. Фифти-фифти.

Заюшкин рывкнул, махнул рукой: э-э-э, дескать, что нам, пролетариям, с этими фифтями делать? – и ушёл, хлопнув дверью, пошёл искать консенсус, за тридцать рублей в обои руки – и в тот вечер не вернулся, как в водку канул, должно быть, под автолавку попал, а может спонсора не сыскал или же сам всё выпил единоутробно, ну, и ладно, порешили мы, и чёрт с ним, с этим Заюшкиным...

– Так было? – спросил Мошонкин Заюшкина.

И вдруг рывкнул Заюшкин:

– Ну.

Потом подумал и добавил вдогон:

– А вы чо?

– А мы вот чо, дорогой наш друг, товарищ и брат...

– ...Есть такая птица, – сказал Мошонкин, – трудолюбивая, работающая. Дятел ей наименование. Так вот! Как говорил Тарас Бульба, хер с ней, с птицей, – перед коллективом стыдно. Где теперь этот Заюшкин с нашей бутылкой? Ни на секунду нельзя довериться этому Заюшкину.

– Не думай об секундах свысока, – заметил проницательный Щитовидов. – Раньше осени не придёт наш Заюшкин. Характер у него такой...

– Вот именно так я и выразился, – сказал Щитовидов. – Про секунды. Про осень. Про характер. Но сейчас ещё лето. А Заюшкин уже вот он, как живой. Колись, Заюшкин. Мы тебя уважаем.

Заюшкин молчал, и в молчании вспоминал тот день, прямо с утра, когда жена шипела, и сковородка с яишной шипела, но жена шипела эффективнее сковородки... «Опять придёшь поздно и обратно пьяным?» А Заюшкин стерпел. Он всегда терпел и стерпывал такие провокации, потому что судьба складывалась прямо по женскому гороскопу, как в кино, и домой Заюшкин заявлялся под утро, и прямо с порога – с места – в атаку – полный вперёд: «Вот, накаркала!» Яс-

ное дело, жена возникала. Заюшкин предлагал ей переменить своё поведение, бросать утреннюю ворожбу, тогда всё будет нормально и образуется по-хорошему, а пока... пока не надо каркать, надо войти в мужинское достоинство и в нормальное женское положение, чтобы всё путём осознать и даже некоторое время по утрам не разговаривать, а, например, попробовать пожить по переписке, как шахматисты... А жена фыркала: на фиг нужен такой, чтобы по переписке! – и уходила – то ли за хлебом, то ли замуж за какого-то Сергея Бенедиктовича, которого в пример Заюшкину ставила угрожающим тоном в некоторых исключительных случаях... Ладно, пусть.

В то исключительно приснопамятное утро Заюшкин загрузил авоську стеклотарой и отправился в магазин сдавать посуду приёмщице Клавдии по 12 копеек, как обычно, за штуку. Клиентом он был у Клавдии постоянным, аккуратным, не хамил, как некоторые, не покрикивал, не нарушал приёмную атмосферу, наоборот, иногда впадал в некоторое задумчивое расстройство:

– Вот бы, Клавдюшка, случилось такое чудо, чтобы за штуку до двадцати копеек округлить, а?

В сантехподвале Заюшкин неоднократно делился своей фантазией с трудовыми товарищами, с тем же Мошонкиным, Помиранцевым, Сочинителем. Ухмылялись трудовые товарищи. И никто иной, как Мошонкин, однажды подсказал между прочим, то есть между ухмылом и взаимопониманием:

– Вот ты, Заюшкин, вместо того, чтобы просто так фантазировать, причём бесплатно и бесперспективно, взял бы и предложил дело округления пустой бутылки нашему дорогому правительству.

– А что, – ответил Заюшкин, – и предложу. Вот прямо щас всё брошу и пойду на почту телеграмму отбивать.

«Щас», конечно, не пошёл. Зато через недельку, в похмельном тумане, да ещё после жениного карканья, пошёл – и сочинил на целых двенадцать рублей – на сто бутылок! – с копейками срочную телеграмму в Московский Кремль такого содержания:

УВАЖАЕМЫЙ ЛИЧНО МАРШАЛ
ВСЕГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВОСКЛИЦА-
ТЕЛЬНЫЙ ЗНАК ОТ ИМЕНИ ТРУДЯЩИХ-
СЯ МАСС НАРОДА ПРОСИМ СТАБИЛИЗИ-
РОВАТЬ БУТЫЛКУ ЗПТ ИМЕННО ВИННО
ТИРЕ ВОДОЧНУЮ ТЧК МЕНЬШЕ БУДУТ
БИТЬ ПОСУДУ КАК ВСЕНАРОДНОЕ ДО-
СТОЯНИЕ ТЧК К ТОМУ ЖЕ РАЗДЕЛЯЕМ
ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ ВАШ ГЕРО-
ИЧЕСКИЙ НОВОРОССИЙСКИЙ ЛОЗУНГ
ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМ-
НОЙ ТЧК К СЕМУ ЗАЮШКИН ВОСКЛИ-
ЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК

Отправил телеграмму – да и забыл помнить о ней.

А дня через три приёмщица Клавдия говорит ему ехидно:

– Везёт же таким дуракам алкоголеньким, что с сегодняшнего дня пустая бутылка уж двадцать копеек стоит.

– Ты, Клавдия, не это, – ответил Заюшкин, – ты не шути, Клавдия... Утренняя жизнь рабочего класса и без твоих шуток тяжёлая и угнетённая...

– Да какие уж тут шутки, – ответила Клавдия, благовестница. – Вообще-то газеты читать надо. Там всё написано про стабилизацию и упорядочение цен. По просьбе, между прочим, некоторых трудящихся.

Сгрёб Заюшкин мятые рублёвки с мелочью, кинулся газетку разыскивать, а когда прочёл – так ничего толком и не понял от волнения. Отправился на работу, а по пути решил заскочить на базар, к знакомым толкователям советского законодательства. Толкователи, разумеется, были уже в курсе дела. У нас ведь народ грамотный, газеты читает, да и сама жизнь с правдой на таком балансе состоит, что утром она – в газете, а вечером – в куплете. Активный народ, чего уж там...

Толкователи сидели в фанерной будке и играли в домино. Заюшкин встретил зловещим молчанием.

– Что это вы, братцы? – спросил Заюшкин. – Или газет сегодня ещё не читали?

– Читали, читали, – сказали толкователи, сомкнули свои железные ряды в шеренгу и надвинулись на Заюшкина.

– Так может вы чего не поняли и забыли, кто стоял у источника стабилизации? – улыбнулся Заюшкин, скромно шапчонку поправляя.

– Ну, как можно такое забыть! – ответили толкователи грустно, но внушительно, и стали разбирать по кулакам доминошные костяшки.

– Так, выходит, обмыть это дело надо, – предложил Заюшкин.

– Ага, счас обмоем, – ответили ему. – Счас мы тебя обмоем, курва! Счас мы тебе такую ваву сделаем, что... Вали немедленно в партийный орган, фулюган! Забирай оттудова свою бумагу назад! Мы про тебя и твою телеграмму всё знаем, сволочь такая! Шуток, что ли, не понимаешь?

– Братцы, – обомлел Заюшкин, – да что же это я вам, дипкуррьер какой или пароход «Нетте», чтобы туда-сюда?

– Ты не курьер, ты курва, – сказали братцы. – Но остальное прочее ты верно подметил.

И хотели разбить об Заюшкина бутылку шампанского, как о борт спускаемого со стапелей корабля, но бутылка шампанского отсутствовала, да если бы даже и была – не стали бы, пожалели бы бутылку.

Одним словом, били доминошными кулаками, били по чём попало. Били и приговаривали сочувственно:

– И что же ты наделал, каутский ренегат? И зачем ты от народно-

го имени так вульгарно поступил своим поведением? И над ке-е-е-ем! Главное дело, над кем издевался? Над простыми кадровыми подсобными рабочими! И кто ж тебя об этом просил, лярва, чтобы после стабилизации стеклотары самуё водку в цене возвысили на недосягаемую высоту? Так, Заюшкин, настоящие пьяницы не поступают!

– Ошибочка вышла, – бормотал Заюшкин, увёртываясь. – Недоразумение...

«Вот как, – думал Заюшкин, – боком-то выходят простому человеку все прогрессы, и процессы, и вся история России...»

Ладно. С побитой мордой – куда пойдёшь? Домой? Нет, дома не поймут. На работу? На работе работать надо. И подался Заюшкин туда, где, по его предположению, можно было встретить понимание: в павильончик близ желдорвокзала, к знакомым собутыльникам, среди которых есть даже доцент, кандидат философских наук.

И правда, там поняли с полуслова – и ещё поддали.

– Эх, – сказали, – Заюшкин, Заюшкин! По живому телу народ режешь, будённый ты человек! Раньше-то мы, если помнишь, по равенькому с носа сбросимся на троих – и полная гармония выходит. Хлопнешь стакашек, запыжуеть рот солёным огуречиком – всё, к стражению готов с любыми превосходящими силами противника за мир во всём мире без аннексий и контрибуций. Так? Так. А теперь что? Кока с соком, она же хуля-дуля, шиш, кукиш и полный фиг с маслом. Нет, не будет тебе от нас прощения и чтобы по-прежнему задарма опохмеляться и залечивать душевные и физические раны организма. Иди, Заюшкин, туда, откуда вышел.

– Маму не оскорбляйте, – сказал Заюшкин.

– А мы твою маму и не трогаем. Она, наверно, была хорошая женщина и могла бы иметь большие деньги, если бы тебя, Заюшкин, в цирке-шапито показывала, дурака такого. А насчёт иди – так это мы другой адрес имеем в виду, Заюшкин: в партийный комитет, к самому главному ихнему начальнику. Иди и скажи: народ стабилизацию не разделяет, народ такого уговору, чтобы содержимое повышать, не давал. Понял, падла?

– Я вас понял, товарищи. Разрешите идти?

– Иди.

И пошёл Заюшкин на работу.

А на работе другие товарищи сидят, киряют, им до умственного разговора про экономические преобразования в стране дела нет...

– А дальше вы знаете, – сказал Заюшкин голубчикам. – И ты, Мошонкин, и ты, Кувыкин, свидетелями были в бендежке...

– А дальше?

– А дальше вот чего. Пошёл я по морозу, который крепчал и крепчал...

В крайкоме дежурный сержант милиции принюхался к Заюшкину и пожал недоуменно погонями.

– Ты умный или как?

– Или как, – сказал Заюшкин.

– Вот и я так думаю. Пошёл вон.

– Дак ведь это ж я самый! Заюшкин! Который всю кашу заварил и сам расхлёбываю! – вскричал Заюшкин и вышарил из кармана обтёрханную газетку. – Прибыл, стало быть, на явку с повинной.

Сержант аж подскочил на цыпочках в сапогах:

– Слава капээсэс, твою мать! Органы тебя уж целые сутки разыскивают по всему городу, активиста! – И по телефону внутренней связи застрекотал звонким голосом: – Товарищ секретарь! Докладывает дежурный на посту номер один сержант Тарабукин! Тут инициатор стабилизации явился с повинной... то есть для принятия благодарности и решения вышестоящего вопроса... Да, сам явился, без насильственного... Так точно! Да мы понимаем! Мы же не насильщики какие-нибудь... Так точно! Слушаюсь!

Проводили Заюшкина на верхние этажи, как эстафетную палочку. Провели по коридорам, по ковровой дорожке, красной с зелёными каёмочками. Помещение хорошее, ничего не скажешь, чисто и аккуратно живут партийцы на рабочем месте, фикусы в кадках, атмосфера парикмахерская.

В секретарском кабинете сам товарищ Краснопресненский-Крестовоздвиженский на высоких каблуках пожал Заюшкину руку и сказал тепло, с лукавинкой и заботинкой, с ленинской простотой в голосе:

– Так это вы, батенька, подняли вопрос? Странно, архистранно... Что ж это вы, товарищ Заюшкин, Чека с Чека на телеграмме перепутали? Чека КПСС... Нехорошо, не по-советски. Ладно, хоть умные люди разобрались и по нужному адресу ваше обращение доставили...

Заюшкин между тем страдал неимоверно, ему хотелось пусть даже простой водички попить, а предложений на сей счёт не следовало. В горле дребезжала жесьть. Заюшкин отворачивал от секретаря левую сторону лица с ультрафиолетовым свечением синяка, а секретарь всё так и норовил зайти слева.

– И я, несмотря на вашу активность, должен в некотором роде критично сказать, что прежде чем поднимать вопрос, товарищ Заюшкин, надо было побриться и силы свои взвесить. А то неровен час – и надорваться можно с таким поднятием. Вопрос нешуточный, государственной важности. А вот вы, например, не посоветовались со старшими товарищами, вопрос не проработали – и сразу наверх. Как же так? Мы теперь по вашей милости вынуждены срочно перепрофилировать пивзавод, на будущей неделе начнём демонтировать новую чешскую линию, которую за валюту купили. А вам, как видно, наплевать, что затрачены огромные народные средства...

При упоминании пивзавода у Заюшкина скулы свело, лицо переко-

сило, в животе что-то оборвалось, закрутилось штопором вокруг пупа, забулькало, заурчало... Он махнул рукой – и задом попятился к выходу.

У двери секретарь догнал Заюшкина, сунул ему в руку значок «Ударник пятилетки», висюльку такую, и пожелал успехов, а также чтобы в дальнейшем и ноги заюшкиной в этом помещении не было, и ещё всем товарищам рабочим передайте привет.

Пошёл

передавать

по морозу

в желдорвокзальный

павильончик...

Товарищи осваивали стабилизированную водку, привет отправили к чёртовой матери, бывший драматический актёр поматерился как недраматический, доцент поскрипел зубами, правда, без особой злости, народные массы у нас отходчивы на удивление всему капиталистическому миру, где чуть что – так сразу забастовка, голодовка и прочие гримасы. Но налить – не налили.

– Из-за тебя, – сказали, – уже и виноградники в Крыму начали вырубать под корень, как враждебный класс. Уходи от нас, дурак. Ищи себе других спонсоров и агентов вливания.

– Ладненько, – ответил Заюшкин, – зовите меня дураком, это меня утешает. Потому что настоящему дураку, круглому, свойственно и простительно ошибаться. В отличие от круглого отличника.

Это была очень даже недурная мысль. И Заюшкин оформил её, точно в рамочку, в последующее рассуждение: умные мысли могут появляться и у дураков, но в том-то и дело, точнее, в том-то и статья особая, что дураки вовсе не догадываются о том, что их мысли могут кому-нибудь пригодиться.

Три дня буйствовал Заюшкин в зимних публичных местах, главным образом, в заснеженном, но не безлюдном городском парке. На фонарь залезет, как народоволец, и декламирует оттуда благим матом со слезой:

– Люди и джентельмены, а также братья и сёстры! К вам обращаюсь я, друзья мои! Казните меня! Режьте меня! Жгите меня! Ведь это я во всём виноват, это я натворил, ничтожная антисоветская тля! Плюньте же на меня, невинные сограждане, дорогие товарищи по сильному полу, а также славные советские женщины, труженицы тыла...

И рубаху рвёт до пупа. Кое-кто пытался доплюнуться до Заюшкина – по интересу, на пари. Но в целом народ такое наплевательское отношение к офонаревшему Заюшкину не одобрял.

– Грех это, – говорили. – Ибо плюнешь в человека – непременно в бога попадёшь. И наоборот – то же самое.

Чаще бывало, что стаскивали Заюшкина с фонаря усиленные патрули милиции и изолировали на кратковременное госсодержание, составив протокол.

Что оставалось делать Заюшкину? Листовки расклеивать.
А дальше, после листовок и прокламаций, – как в блатной песенке:

*Недолго музыка играла,
Недолго фрайер танцевал...*

Явились утром в дом к Заюшкину амбалы с могучими руками и в белых халатах. И сказали, потирая ладони:

– Наш товарищ!

А Заюшкин уже в Жёлтом Доме урок для себя вывел: лучший выход – вообще не выходить никуда. В первую очередь, не выходить из себя самого. И внутренним закрытым постановлением дал обет молчания...

– Вот, – сказал Заюшкин. – Теперь вам понятно?

– Чего ж тут непонятного, – печально сказал Мошонкин и погладил Заюшкина по спине.

Щитовидов ничего не сказал и никого не погладил. Он насчитал в заюшкиной эпопее целых семнадцать мгновений, мысленно прокручивал их в обратном порядке, но пальцев на руках для загибания не хватало.

Несчастлифшиц вдруг вспомнил детство, отрочество и юность.

В ту пору, сразу после войны, ходил по городу дурачок. Городской дурачок Ванька-с-дырочкой по прозвищу Китель. На нём в самом деле был заношенный офицерский китель. На груди уйма всяких значков. Мальчишки давали ему – разнообразные пёстренькие. Сначала – в обмен на дурачковы медали за отвагу, за оборону, за взятие и освобождение, а потом уж так, бесплатно. Из тяжёлых медалей получались великолепные битки для игры в «чику». А Ванька-с-дырочкой медали не очень любил. Ему пёстренькие значки больше нравились. Он ходил по городским улицам с автомобильной баранкой в руках: ду-ду! В войну шоферил Китель...

А Савва Савушкин размышлял энциклопедически. О том, что на Руси дурачка всегда считали человеком божьим. Убогий, стало быть, – у бога, при боге состоит. Почему бы и нет? Снизшёл бог до безумного человека, чтобы испытать любовь и милосердие людей разумных. Вот, Заюшкина дурачком считают. А он молчал. О чём молчал? У властей по этому поводу беспокойство. Вот когда с фонаря снимали – тут дело ясное, как сам фонарь. А молчание – это, знаете ли, дело противоположное. Плевали на него, не плевали – вопрос не в этом. Вопрос в том, что русскому человеку и плевать-то надо так, чтобы, через могучее не могу, смочь почувствовать чужую слюну на собственных ресницах...

LXVI

– Эй, Ромка, муро щяв, – говорил цыганский барон Николаша своему младшему сыну, Роману Николаевичу, самому непутёвому из

сыновей, сомневающемуся. – Сы аме адес дес сэрбэторяко, най аме со те кэрас...

Ромке двенадцать лет. В его возрасте папа уже зарезал первого из своих кровных обидчиков и украл коня с богатой сбруей. А Ромка – что? Ромка стоит напротив, как вкопанный конь перед травой, и ковыряет грязным пальцем в носу, это нехорошо, неприлично грязным-то пальцем ковырять... – дел тукэ пай щиб, Ромка!

... и глаза, как в театре, закатывает не туда, куда надо, чтобы такими закатыванными не туда глазами сделать вид, бестолковый и обиженный, будто не понимает внятной речи своего отца на родном языке, словно по-русски отцовы слова будут означать совсем другое, вовсе отличное от языка кэлдэрарей: «Эй, Ромка, сын мой! У нас сегодня праздничный день, делать нам нечего...»

– ...най аме со те кэрас. Ме камав, те моттав тукэ со шпенелас мангэ муру дад па пескэ нямури, со сас вон, сар вон траинас, сар сас де зурале, че бути кэрнас... Бре, бре, Ромка!

...эй, эй, Ромка! Не верти своими глазами и не делай вид, как в театре. Я хочу рассказать тебе, муру щяв, то, что говорил мне мой отец о своих родичах, кем они были, как они жили, какими они были сильными, какую работу делали...

А Ромка – что? Ромке в уборную захотелось. Хорошо. Мишто, значит. Пусть идёт и через десять минут снова стоит перед отцом своим, даде, дадору. Нет почтения к родителям у сегодняшней молодёжи... И чтоб через пять минут явился и встал, как уж не известно кто... Говорят, что в Советской Армии и Военно-Морском Флоте командиры приучают воинов справлять нужные дела ровно за две секунды. Врут, поди. Две-то секунды всего только на вдох-выдох хватит. Хотя и этого бывает довольно. Иногда. Как в древние исторические времена. Интересный случай рассказывал знающий человек, трезвый. Про то, как Илья Муромец бился с богатырём меньшим Святогором. Из-за чего разодрались, то мраком покрыто, но вот всё же бились они, бились, оба выбились, выдохлись, конца нет, агар най, значит. Но правда была на стороне Муромца. И Святогор решил по-честному, по-божески сдаться и признать Илью победителем. И говорит он Илье, отпыхиваясь: подойди, Илья, поближе, я вдохну в тебя трижды, и от первого моего вдоха ты поднимешься и распрямишься, а от второго моего вдоха вернёшься к тебе вся твоя силушка, а от третьего моего вдоха станешь ты, Илья, немирно силен... А Илья отказался от третьего вдоха: ну его, – говорит, – не надо. И возникает из той истории вопрос: почему Илья Муромец, победитель Святогора, отказался от последнего дара? И почему это сам Святогор говорил с выражением «немирно силен», которое с допотопных времён завелось в языке цыган-кэлдэрарей? И так получается на цыганском языке, что русскому Илье немирная сила не нужна. И хороший характер у Ильи получается, мундро-шу-

кар, красиво-славно, значит. Вот что такое два вдоха... Застегни штаны, Ромка, это хорошие штаны, с медными молниями, со стальными заклёпками, модные, джинсы называются, они твоему отцу дорого достались, для тебя старался, чтоб ты выглядел приличным ромой и не ковырял грязным пальцем в носу, когда отец тебе уж в который раз говорит: дел тукэ пай щиб, Ромка!..

Да чтоб тебя стошнило, Ромка!

...никакой в тебе морали, муру шяв.

А ведь в школу ходишь. В пятый класс. Хорошо. Мишто. Закончишь школу с золотыми зубами. Ладно. Но твой отец, Ромка, отдал бы кому угодно свои драгоценные зубы только для того лишь, чтобы в нашем городе не в одиночку, а в красивой-славной компании, в товариществе отмечать выдающийся весенний праздник Восьмого Апреля, международный день цыган. Но кто в нашем городе знает об этом празднике, кроме меня одного, одинокого цыганского барона? Никто. А я тебя поздравлял, Ромка, как мужчину. А ты – что? Ты учил по книжке стишок: клячу истории загоним! левой, левой, левой! Разве так можно, Ромка? Клячу, конечно, всегда загнать можно. Даже доброго коня загнать ничего не стоит. И загнали. Но спросить не с кого: почему это добрый конь клячей сделался? Не в коня корм пошёл? А в кого? И конюх, и ямщик тоже шатаются. Смотри на меня, Ромка! Думаешь, я не знаю, кто научил Чапая курить папиросы «Беломор» и пускать дым из ноздрей? Знаю. Это ты, Ромка, проверял свою школьную химию про каплю никотина, которая убивает. Слава богу, не убила. Но Чапай-то уже каждый день от меня папиросы требует... Где теперь наш Чапай, Ромка? Напрасно я давал Чапая этому Помиранцеву на похоронные дела, очень напрасно. Беда. Кто увёл коня у цыганского барона? Конечно, не Князь. Князь у барона лошадь не уведёт. Кто же? Знать бы того человека, который начхал на нашу мораль и на нашу историю, знать бы, уж я бы...

аврэхко граст ащявел ту анде чик...

я говорю, чужая лошадь оставит того человека в грязи, да попадись он мне на глаза, негодяй, до того некрасивый...

сой де жюнгало ло, тена щюнгардес пе лесте...

уж до чего некрасивый, что даже плюнуть на него неприятно. Ты, Ромка, учись на хорошего человека от папы и мамы, стоградусной цыганки, козырной. В школе, конечно, тоже надо. Но там тебе, муру шяв, никто, ни один самый лучший учитель не расскажет о том, что мне, твоему отцу, говорил мой отец о своих родичах, кем они были, как они жили, какими они были сильными и какую работу делали. И поэтому ты, Ромка, высунь палец изо рта и послушай мудрую историю про чего только не бывает...

но со чи кэрдёл анде лумя...

...чего только не бывает на свете?

А вот и бывает. Были – не были, Ромка, цыгане-кэлдэрари в молдавском роде мигэешти, и был у них барон по имени Мигай. Кочевали ромалэ в кибитках по всей России, славились как умелые котельщики, лудильщики, медники. Хорошо работу делали, красиво, и люди им за это много денег давали...

...И вот однажды встали цыгане табором возле одной деревни, шатры раскинули, костры зажгли, в котлах похлёбка с мясом забулькала, цыгане сидят вокруг мундро-шукар, и всё у них есть, хлеб и вино, молоко и масло. Пьют цыгане, красиво закусывают и песню поют...

*Что делает Ёно?
Своего коня он приводит,
В телегу его запрягает,
Славно–красиво он собирается...*

И вдруг случился сильный ветер, настоящий вихрь, балвалёры. Схватил вихрь одну молодую цыганку, красивую-певучую, и понёс, и понёс! А цыгане вдогонку бросились, швыряют в вихрь молотками и другим чем попало под руку, кричат:

– Бре, бре, балвалёры! Немирно силен ты, вихрь! Нехорошо! Не красивый ты, а мы красивые. Отдай цыганку нашу Азу!

Рассердился вихрь, надулся пуще прежнего, схватил в охапку весь табор и унёс его на небо, выше туч.

Сидят цыгане на небе, сами себе судьбу гадают, и вокруг смотрят, удивляются. И говорит тут им вожак Мигай:

– А давайте, щявалэ, лучше песню петь, чем удивляться.

И первым голосом завёл:

*Де, девла, дуй–трин ккама
Гай ли дуй–трин бришинда...*

Подхватили цыгане, мужчины и женщины, и понесли музыку слов:

*Дай, боже, два–три солнца
И два–три дождя,
Чтобы растаял снег на склоне,
Чтобы я поставил шатёр,
Чтобы вырезал три–четыре
деревянных гребешка,
Чтобы по деревням пошёл,
Чтобы заработал новые деньги,
Потому что старые проел...*

И тут подходит к цыганам один человек, не цыган, гажё, значит, и спрашивает строго:

– Кто такие без учёта?

– Цыгане мы, мигэешти. А ты кто такой?

– Я, – говорит, – комендант. Заведую. Чего хотите, цыганские певцы?

– Да вот хотим тут шатры свои поставить, фургоны и кибитки по местам определить и жить всем вместе славно-красиво, как живут хлеб и соль.

Комендант подумал и разрешил.

И началась у цыган небесная жизнь. Котлы отливать, посуду лудить, платки красить, бочки сбивать, да ещё по кузнечному делу, по медному ремеслу. Песни хором поют, пляшут... Цыганка одна, Луйка, Луйкица-плясунья... Ой, уж эта Луйкица!..

Видит бог, плясала эта Луйкица перед фараонами, и была она из числа тех десяти тысяч мужчин и женщин народности луры, мастеров игры на лютне, которых индийский царь прислал в подарок персидскому шаху Бахрому Гуру для развлекательного удовольствия. А потом плясала Луйка, наша Луйкица, вздрагивала плечами, трясла монистами по всему свету, фараоново племя цыганское рассыпалось, как колода карт, ссылали племя из Испании в бразильскую сельву, выбрасывали, как мусор, с английских кораблей на пустынные камни Норвегии, в подневолье отдавали румынским боярам, из Шотландии везли на табачные плантации Ямайки, из Португалии – в Анголу, из Польши – в Россию, а там цари царствовали, и указали те цари строгим указом: сосчитать числом всё фараоново племя и к тому числу приложить подушный налог с каждого рома, да прежние недоимки посчитать. А как посчитать? На таких-то просторах? И монархизм махнул рукой на цыган: да ну их, пусть пляшут! А Луйка плясала и без указал. Она поднималась с колен, из разноцветного вороха юбок – сама блестящая кольцами, чарующая, завораживающая, вибрирующая, как кобра, да. Она плясала перед монархистами, анархистами-синдикалистами, террористами и Александром Сергеевичем Пушкиным, и перед графами Толстыми, простыми и американскими, которые по любви брали в жёны красавиц таборных, романиё-шукариё. Стихи сочиняли: «Американец и цыган, На свете нравственном загадка, Которого, как лихорадка, Мятежных склонностей дурман Или

страстей кипящих схватка Всегда из края мечет в край, Из рая в ад, из ада в рай!» Это про Фёдора Ивановича Толстого-Американца. Приятно слышать такое. Мишто, видит бог!

И вот однажды утром делает бог обход по небу. Видит табор, подходит и сердито спрашивает:

– Вы что это тут делаете, цыгане? Разве вы святые, чтобы на небе располагаться?

– Девлалицы, бре, бре! – отвечают цыгане. – Эй, эй, боженька! Мы, конечно, не очень святые. А вот есть у нас Мигай, так уж тот святой, истинная правда, чтоб нам провалиться к чёртовой матери.

– Зовите сюда вашего Мигая, – приказывает бог.

Явился Мигай-вожак и говорит:

– Вот я. Здравствуй, бог, будь здоровым и счастливым, и как жил ты до этого дня, так живи и дальше многие годы.

– А что, – спрашивает бог, – ты сразу узнал меня, что я тут бог святой?

– Узнал, узнал. Как не узнать? Я ведь тоже святой маленько. А святой святого всегда узнает.

– Ну, мишто, – говорит бог, – Пошли в рай.

Пришли. Неподдалёку тут было, сразу за углом с поворотом. Бог куда-то отлучился ненадолго по-божеским делам спасенья, а Мигай ждать остался. Видит: что такое? По левую сторону – мужчины голые, по правую – женщины такие же, поголовно нагишом. Мигай решил проверить: настоящий ли народ? Подошёл к одной, которая покрасивше, обнял её, целует, усом шейку щекочет... И тут бог, словно чёрт, выскочил.

– Ты что это делаешь, Мигай? Святым не положено.

– Извини, пожалуйста, девлалицы, соврал я тебе. Вовсе я не святой, а совсем наоборот.

– Тогда проваливай отседа к едрене фене! И чтоб даже духу твоего не было!

– Мишто, мишто... Но позволь мне уйти отседа с этой святой женщиной? Мне её положительный фактор – во как! – поможет на земле маленько исправить поведение в райскую сторону.

– Нет, ступай один.

– Так ведь она уже не отпускает меня. Прицепилась!

– Ладно, ступай прочь с женщиной, да побыстрей. Не порти мне здесь святую атмосферу.

И всем цыганам тоже расхотелось сидеть на небе. На земле всё-таки интерес больше...

Видит бог, дел на земле и в самом деле невпроворот, делать их – не переделать, хоть трижды десять жизней проживи. И будет Луйка черноглазая, огненная зажигать глаза зрящим

её, и будет плясать Луйка перед конституционными демократами, перед социал-революционерами, перед святым чёртом Григорием Ефимовичем Распутиным и социал-демократической партией, а перед большевиками не станет плясать Луйка, большевики страшно серьёзные, им не нужна Луйка, у них Луначарский есть, хватает им того Луначарского, он говорит: от цыган, знаете ли, такие флюиды исходят! но другие большевики, которые потвёрже, поправляют и возражают: да шо вы такое говорите за флюиды, товарищ нарком? от цыган не флюиды, а одни обыкновенные воши распространяются, народ дикий, малокультурный, до пролетариата ему ноль внимания, и каждый цыганёнок как глянет дурным глазом – так словно зарезать хочет... Обидно говорят, но жить и при большевиках надо, жить мундро-шукар, как хлеб с солью живёт. Память хранить, что и как раньше бывало. А как раньше бывало? Приходило, не спросясь, нужное время, и садились хоровые ромалэ на боевых коней, вот и гусарский отчаянный полк, а не одна только певунья Стеша, русская Каталани, которую так желал послушать Наполеон, да не улыбнулось ему такое счастье под свист цыганских шашек. Да... И улицы на земле. На улицах люди. На людях обувка, ходят-снашивают, а тут вам, пожалуйста, и холодный сапожник-цыган, уличный: подмётки подкинуть, каблучки справить, носочек прировнять, заплатку подшить, дратвой продёрнуть, на колодках потянуть, стельки выкроить – всё можно, мундро-шукар, и подручный инструмент невелик: отводочка для шовной строки, шильце на строчку и на стельку, подборное шильце на подошву, да острый скошенный нож, да клещи с молотком, да деревянные колодки и стрекуны-подпилочки, всего-то, рупь делов. И гитара остаётся. И скрипка. И пригласит скрипача к себе домой человек богатенький – чай с монпасьём пить, закусывать, да прибавит к приглашению: скрипку, мол, захвати с собой на всякий случай! И ответит скрипач: да скрипка моя не пьёт чай... И лошадка будет хрумтеть сенцом или молодой травкой... Мишто, видит бог!

Много больше интересу на земле, чем на небе. И пошли цыгане шумною толпою к небесному коменданту:

– Комендант-комендант, опусти нас из небесной жизни обратно на грешную землю.

– Это можно, – отвечает комендант. – Отчего же не можно.

– Только вот какое дело, господин хороший. Тебе ведь нету никакой разницы, в какое земное место нас вернуть?

– Нету разницы, правильно говорите.

– Тогда выкинь нас в страну Америку.

– А что вы мне за это дадите, цыгане?

– Мы дадим тебе двадцать пять золотых монет.

– Нет, мало даёте. За такие деньги не могу вас спустить в страну Америку.

И дали ему цыгане в два раза больше. Согласился тогда.

– Стройтесь по порядку, – сказал комендант. – По счёту. И чтоб ошибка какая не вышла.

Начал считать по-цыганскому счёту:

– Ёк, дуй, трын, штар, панч, дэш – десять, значит...паш шел, пятьдесят... шел, сто... дуй шела, двести...бар, тыща... трын бара, три тыщи! Все?

– Все! – кричат цыгане. – Кроме Мигая. Его небесная женщина не отпускает.

– Ну, тогда прощайте.

И не успели цыгане глазом моргнуть, как оказались без Мигая в стране Америке, в городе Нью-Йорке. А там их родня живет и многие хорошие знакомые по российским дорогам, полным-полно. Вот он, вольный город, мундро-шукар, славно-красиво, ромалэ.

Раскинули свои шатры цыгане под большим высоким железным мостом, купили ковры, чтобы стелить в шатрах, и автомобили, чтобы ездить по улицам. Зажили вместе хорошо. Как хлеб и соль. Сар о лон гай о манро, значит.

А их барон Мигай тем временем на небе прохлаждается, любовь у него изо всех сил с той небесной женщиной, которая не поёт, не пляшет и гадальных карт ни разу в руки не брала. И попутно Мигай дурит головы разным небесным начальникам и всем ангелам-архангелам, да так уж задурил, что они взвыли неангельскими голосами и кинулись к коменданту за подмогой: столкни, дескать, этого нахального Мигая на землю, мочи нет терпеть смотреть, какую он тут любовь вытворяет.

Явился комендант с проверкой к Мигаю. Тот лежит под деревом без штанов, а около него женщина суетится и всякие олицетворяет соблазны в неприкрытом виде, на чистом воздухе.

– Вот что, – говорит комендант, – шёл бы ты отсель вместе с этой пакостной женщиной, оскверняющей чистоту небес.

Мигай подумал и отвечает:

– Мишто, господин комендант. Я пойду. Только ты дай мне за моё согласие два мешка золотых монет. И чтобы без обману. И ещё чтобы вместе со мной ушла небесная женщина. И ещё чтобы я вернулся туда, куда вернулся мой дорогой табор.

Ничего не оставалось коменданту, как выполнить условия Мигая.

И вот плывёт по небу облако в сторону города Нью-Йорка, сидит на облаке Мигай с мешками и небесной женщиной.

А город Нью-Йорк подумал: чудо плывёт! Схватились за бинокли, за подзорные трубы, всем же жутко интересно. Президент с министрами и простые жители смотрят, удивляются.

Облако уселось на главной площади, и выходит из него Мигай с мешками и женщиной.

Президент со свитой встречает.

– Ты кто такой, откуда и зачем? – спрашивает.

– Я Мигай, посланный богом сказать вам тут всем, что через час ваш город Нью-Йорк весь провалится под землю и будет на его голом месте одна морская вода с рыбами, а вы все до одного погибнете.

– Бре, бре, цыган, – завопил президент, – не делай нам беды, возьми себе три мешка с золотыми монетами и скажи богу, чтобы не проваливал нас.

– Ладно, мишто, давай мешки. Скажу богу, чтобы не проваливал. Сам здесь жить буду со своими цыганами.

Приходит Мигай в шатёр к своим цыганам. Те целуют его, на ковёр усаживают. Автомобили цыганские вокруг дудят, приветствуют вожака.

– Сэрэн туме, щявале? – спрашивает Мигай. – Вы всё помните, цыгане?

– Помним, помним.

– А теперь как тут живёте?

– Хорошо живём, мишто, мундро-шукар. У каждого из нас семь-восемь сотен золотых монет.

– Это мелкие деньги, – усмехается Мигай. – У меня вот целых пять мешков такого добра.

– Врёшь?

– Смотрите. Вот я. Вот новая жена, небесная. Вот мешки.

Купил Мигай новый шатёр, нейлоновый, ковры купил, большой лакированный автомобиль с прицепом. Живёт под высоким мостом, в таборе, славно-красиво, по вечерам песни поют:

*Что делает Гэрица?
Девлалицы, бре, бре!
Котёл подновляет,
Девлалицы, бре, бре!
В город отправляется,
Девлалицы, бре, бре!*

*Там он продаёт котёл.
Девлалицы, бре, бре!
Две жерди покупает,
Девлалицы, бре, бре!..*

И вот однажды опустил на землю бог, захотел посмотреть, как тут живут. И к цыганам под мост заглянул. Мигай встретил с честью, в шатёр пригласил, на ковёр посадил:

– Будь здоровым и счастливым, святой господь бог!

Сидят, выпивают, закусывают, хорошо разговаривают, про небо не вспоминают...

Видит бог, живут цыгане в городе Нью-Йорке мундро-шукар. У Мигая уже детишек полон шатёр, черноглазые, кудрявые, шустрые и громкоголосые ребятёшки, ровно десять, по числу Заповедей Моисеевых и пальцев на руках. Женщины все одетые-разодетые, не в пример небесным, мадамы, а не мадонны, все в ворохе разноцветья, ворожат-гадают и знают про себя что-то такое, от чего стареют гораздо раньше своих мужей, которые в сравнении с жёнами прямо-таки сыновьями выглядят, да и одеты не по-цыгански, по-американски, в кримплены и нейлоны. Но пляшут...Эх, и пляшут же! Вот один рома крадучись, точно тигр на цыпочках, вышел в круг, замер, потом пробно гикнул, свистнул, закатал рукава белейшей нейлоновой рубахи, манерно волосы пригладил, разведя локти широко в стороны, и пошёл, и пошёл, мелко переступая, мелким бесом... «Режь меня! Режь меня!» А другой рома, постарше который, на земле лежит, ухом припал, слушает землю, и что он слышит – даже бог не знает что, может, дальний стук лошадиных копыт или же это его собственное сердце так стучит, с конским шагом совпадает, с колёсным скрипом праотцовских кибиток... Какой-то старый долг кому-то у них, у этих цыган. Долг, который превыше всего. Баро сы о мусай. Вот и женщина не перешагнёт через лежащий на асфальте кнут – не опоганит, значит, не отпугнёт удачу, а уж коли случится такая нечаянность, так цыган перепояшет тем кнутом неловкую женщину, пусть и возлюбленную: должен. Кому? Зачем? Должен – и всё

тут... Хорошо живут, хоть и в долг. Вот, гость в таборе. Красавица-жена, романиё-шукариё, мать десятерых ребятишек к столу не присядет: мужчины сидят, разговаривают! – молча подносит угощения и спиной к гостю не повернётся: грех! – задом пятится, и юбки ей не помеха, но это уж совсем лишнее, задом-то, чего уж так-то дискриминировать, зачем такие строгости, можно ведь и личико показать, хорошее личико, доброе, да, славно-красиво живут ромалэ, а песни всё печальные, ну-с, и что же за печаль-тоска такая? А ничего особенного. «Сидит парень под мостом... Бешел щяво тэла подо...» Конечно, грустно, под мостом-то, видит бог.

– Вот видишь, господь святой бог, – говорит Мигай, – как мы тут хорошо живём.

И завёл наипервейшую таборную, любимую...

*Горе мыкать и таиться
День-деньской среди лесов густых,
Лишь бы тьме ночей глухих, да глухих
Сметь на божий свет явиться,
А пища нам корка хлеба,
А нам покров только небо,
И нуждою томимы,
И повсюду гонимы, аааа-ах...*

– А когда все помрём, кто споёт старую песню?

– Это уж да. А без печали тоже как-то нельзя, – сказал бог. – Печаль – тоже дар божий.

– Так я же про то и говорю про то, как старую печаль сберечь. Старые струны помним. Новые пальцы забудут.

– Ладно, – говорит бог. – Помогу тебе, Мигай. Будут тебе и новые струны, и старая память, и вечный долг.

– Агай, спасибо тебе, девлалицы, – обрадовался цыган. – А я тебе долг красным платежом отплачу. Сделаю тебе добро, как ты мне на небе сделал. – И на жену свою баронским пальцем показывает: – Возьми себе эту женщину. Пусть и тебе в кой-то веки будет славно-красиво.

– Да ты что, бедный, с ума сошёл? – рассердился бог.

И тут же исчез.

И пропало всё, что было, у Мигая.

И остался он, бедный, один.

Одиножды один.

Да листочек бумажки перед ним, на голой земле.

На бумажке струны, на струнах птички сидят...

32 Moderato

Го - ре мы кать и та - ить - ся день день - ской сре -
- ди ле - сов гус - тых, лишь бы тьме но - чей глу - хих, глу - хих
сметь на бо - жий свет я - вить - ся. Пи - ща нам кар - ка хле - ба,
нам по - кров только не - бо, и ну - ждо - ю то - ми - мы, и по - всю - ду го - ни - мы, ах!

... и – золотой на голубом – скрипичный ключ к открытию звука. Но это уже не на асфальте – в небе.

– Ну, и где же тут мораль, татэ? – спрашивает Ромка. – Опять бумажки, бумажки...

– Да ты что, бедный, с ума, сошёл? – осердился цыганский барон Николаша.

А Ромка палец из очередной ноздри вытащил и отвечает:

– Сам же говорил: нет, муро щяв, ещё у тебя ума. Говорил?

– Говорил. И правильно говорил. Молодой ты ещё.

– А раз нету, так и сходить мне не с чего, татэ, – ответил Ромка, этот хитрый Ромка, Роман Николаевич. – И ещё хочу спросить тебя, татэ.

– Спрашивай.

– Зачем ты Чапаю золотые зубы поставил? Ему это надо?

Смутился цыганский барон. Но ответил по-честному:

– Зубы Чапаю зубной доктор Бах ставил, а не я. Это первое. А на второе ответ ясный: при коммунизме из золота нужники будут строить, как завещал великий Ленин Владимир Ильич. Выходит, что советскому человеку не надо раньше срока рот свой поганить.

– И это тоже мораль? – спрашивает Ромка.

– Это, муро щяв, как бы ещё не мораль, но уже кодекс.

– Говно это, татэ, когда ещё не уже.

– Говно, – вздохнул цыганский барон. – А что ж делать? Мы же не в Америке...

– А я, татэ, всё равно ничего не понял, что ты рассказывал про Мигая. А бумажки с птичками где?

– Не знаю. Может, новый вихрь унёс.
– Вихри враждебные веют над нами, татэ?
– Веют, веют, муру щяв...
– Буря мглою небо кроет?
– Кроет, кроет... Это ты хорошо говоришь, мундро-шукар, Ромка. Буря... мглою... небо кроет... Красиво. Взрослеешь прямо на глазах, муру щяв...

Задумался цыганский барон. Не о небе задумался – о земле. Чапай из головы не выходит. Где теперь Чапай? Как умчался с ним Князь на мебельной телеге с похорон пуделя Хомы, так и сгинули оба невесть где. Экскурсии молодого поколения на просмотр живой лошади, и без того редковатые, совсем прекратились, некого смотреть, а с ними исчезли и денежки, хоть и малые, но зато честно Чапаем заработанные. А в мебельном магазине на перевозке покупок стало вообще трудней зарабатывать, чем даже два-три года назад. Раньше было лучше. Раньше без той же лошади – никуда. И купленный комод, например, или буфет, или шкаф с зеркалом! – о, эти деревянные господа просто обязаны были крепким долгом ехать домой непременно в телеге, открыто и важно, чтобы вся улица видела, глазела на них, любовалась, завидовала и вела обсудительные разговоры с причмокиванием губ, закатыванием глаз и покачиванием голов. А нынче мебель уж не та пошла, чтобы её везти. Сборная-разборная, раскладывается на пакеты отдельные, и везут эти пакеты на автомобиле и даже, смех один, в такси. Что остаётся возчику Николаше? Николаше остаётся нелегально, вне магазина, денежки к прибавочной стоимости жизни подрабатывать. Вокзал – рынок, рынок – вокзал... А на вокзале Мара, жена-красавица юбками трясёт, да всё уныло как-то, без куражу и задора. Милиция аккуратно переставляет Мару с места на место. А раньше Мару с кучей ребятишек даже с Площади Падших Борцов не гнали. Раньше лучше было. «Остановись, красавица! – звонко призывала Мара. – Золотая-серебряная, дай погадаю, брильянтовая, всю правду скажу!» И останавливались. Многие себя красавицами и красавцами считали. Сейчас тоже считают, но не останавливаются. Но раньше останавливались. Крайкомовские дамы в одинаковых париках и барышни очень интересовались. Барышни – о женихах, дамы – о служебном положении в коммунистической партии да ещё чуть ли не на ушко: когда в ювелирный магазин привезут браслеты из польского серебра и почём продавать будут? Мара никому не отказывала в интересе, всем угождала. Крайкомовская буфетчица Маруся даже цыганят кой-чем вкусненьким подкармливала, Мара, гордая цыганка, козырная, протестовала, кричала, ругалась, Маруся улыбалась, и как-то поладили женщины, хорошая женщина, эта Маруся, дай ей бог здоровья, и говорила складно: «Гадай, Мара, без кошмара!» А нынче на площадь не сунешься, прогонят, да вдогон обидное скажут... И вот остаётся для цыганского барона одна денежная подпора, надёжная – мебельный магазин. Подпора малоденежная, но при народе и на свежем

воздухе. Там живые очереди по спискам, и дежурства по ночам, чтобы сразу после открытия магазина услышать от директора: привезли – не привезли. А в очереди – разговоры, знакомства, в долгих ожиданиях сплачиваются люди в народ, как родные становятся, уже и в гости друг друга приглашают на обмытие предстоящих покупок, мужчины выпивают с нехитрой закуской на корточках под витринами, милиция обстановку понимает, никого прочь не гонит, все свои, все жить хотят мундро-шукар, а зимой магазинное начальство даже будку рядом поставило для обогрева очередного ночного народа, Чапая хлебом с руки кормят, и тот улыбается благодарно золотыми зубами... Ой, Чапай, Чапай! Куда умчался? Куда управил тебя этот Князь Игорь Святославович? Может, и в живых, упаси господи, нет? Ни того, ни другого... Пару лет назад пропал же лосёнок в центральном парке культуры, совсем ручной, работал на пару с парковым фотографом, жил в деревянном загончике, горожанам сердца умилял, доверчивый, ласковый... – и остались от лосёнка голова да ноги отрубленные, в кустах, а остальное лиходеи, видать, на прожор унесли. А ещё и гастрольный ослик из цирка пропадал – так же... Беда. Учат, учат люди друг друга с малолетства: я люблю свою лошадку, причешу ей шёрстку гладко! – и вся любовь на этом восклицательном знаке кончается, чтобы потом, напоследок, снова воскликнуть: коня! полцарства за коня! – но это уже театр, а не жизнь...

– Ты это, Ромка... красиво говоришь, а Чапая – нету! Вот тебе, муру щяв, главная мораль. Завтра пойдём с тобой в сторону Моря. Там поищем Чапая.

– Каникулы ж у меня, татэ... Прощай, значит, свободная стихия?

– Прощай, прощай, Ромка... Всех прощай, как бог прощал.

– А ты бы, татэ, хотя бы хоть сам бы книжку Пушкина хоть раз почитал! Я бы тебя, татэ, больше бы любить стал.

– Прикуси язык, Ромка, – хотел сказать цыганский барон, но не сказал, а лишь подумал про хитрого Ромку, что ещё не пил он молоко той матери, чтобы учить отца уму-разуму...

...инкэ чи пиля во чючи кодола даки,

те сытярэл ма во годи...

– Пушкин про цыган целую поэму написал, татэ, – сказал хитрый Ромка, уж так ему хочется, по вертучим глазам видно, никуда завтра из дому не страгиваться, а всё книжки свои читать.

– Ой, Ромка, Ромка! Что ты говоришь! Да твой кровный дед ту поэму наизусть знал, как «Отче наш иже на небеси». И я кое-что знаю про Пушкина. Лащи даки чючи пиля во.

– И правда! – воскликнул хитрый Ромка. – Он кормился грудью хорошей матери. Правильно ты говоришь, татэ!

– Ещё бы не правильно, муру щяв! Но ты ещё не всей правды знаешь. Я тебя к Пушкину через Мигая приручаю, а ты в носу ковыряешь, как будто там весь секрет спрятан, а секрет не в носу.

– Ой, татэ! Скажи секрет!

Цыганский барон Николай Романович Деметер, уж давно привыкший к общенародному простому Николаше, сделал строгое лицо. Ещё от отца своего помнил Николай Романович: говори так, чтобы к лицу тебе были твои слова...

ппен дивано те ащелпе тукэ... –

и сказал Николай Романович так, чтобы к лицу было и ему, и сыну его, Роману Николаевичу:

– Из наших Пушкин-то, из таборных. Он был родовым цыганом из кэлдэрарей. Но это в школах скрывают от учеников. Чтобы Пушкина не унизить. А он кочевал по Бессарабии в красной рубахе и боролся с самодержавием за свободу. Его поймали и увезли в Петербург. А он ещё в Бессарабии женился на таборной цыганке, и та родила от Пушкина моего деда, а мой дед моего отца, а отец уж меня, а я вот тебя, Ромка. А тогда царские жандармы навек разлучили Пушкина с молодой женой-красавицей и насильно подсунули ему другую, косоглазую. Так говорят цыгане. Но литература и учителя об этом ещё не знают. Да и ты пока не говори никому. Не время ещё...

LXVII

Ещё есть время, есть, чтобы поразмыслить над пифийскими играми, которые затеяло Большое Время с человечеством.

В игры играют тигры.

...Люди учёные подсказывают мне, что я родился как раз где-то посредине всей человеческой истории, если рассматривать её с точки зрения сегодняшнего дня: с момента моего рождения произошло столько же, сколько произошло до моего появления на свет.

Если последние 50 тысяч лет существования человека на земле измерить числом поколений, каждое продолжительностью жизни примерно в 62 года, то получится 800 поколений.

Займёмся расчётами:

650 поколений провели жизнь в пещерах;

70 поколений поддерживали связь между собой письмом;

6 поколений знают печатное слово;

4 поколения научились более-менее точно измерять время;

2 поколения пользуются электромотором...

Но подавляющее большинство ценностей культуры создано при жизни моего, восьмисотого, поколения, чему причиной – лавинообразное развитие науки и техники.

Ой ли?

Ой!

Я проигрывал это лето по кусочкам. Судьба уходящего прошлого, которое только что было настоящим, пошептала с остающейся моей

судьбой, и порешила первая: я могла бы ещё потянуть лямку, побурлачить по времени, да вот решилась-таки отдать тебе ещё толику самостояния и прямохождения, поживи дольше нашего, за наш счёт, в долг, в общем – ступай и не грехи, и помни, как «Отче наш...»

Отче нашъ, Иже еси на небесех! да святится имя Твое, да приидетъ Царствіе Твое: да будетъ воля Твоя, яко на небеси, и на земли. Хлебъ нашъ насущный даждь намъ днесь: и остави намъ долги наша, якоже и мы оставляемъ должникомъ нашимъ: и не введи насъ во искушеніе, но избави насъ отъ лукаваго.

Мастер уже откинулся и спит. Три гостя ещё бодрствуют.

– Ну, нет! – говорю. – Так я не согласен! И царствие ему, и воля ему, и хлеб тоже его, а нам что? Одни долги наши? Нет, так мне не надо, чтобы весь в долгах, как в шелках. Чтобы ему всё, а мне одни ёжики в тумане...

– Какие ещё ёжики? – спрашивает Эксклюзиаст, зеленоглазый, невозможно вежливый и корректный.

– Да вот эти же самые! Ежи на небеси...

Хмурится Эксклюзиаст. Это он улыбается так, я-то знаю наверно. И даль романа, Владимир Иванович, улыбается. Это он нахмуривается таким образом.

– Долг, – говорит Владимир Иванович, – первый наследник, завещания не ждёт.

А Эксклюзиаст, зануда такой, кафедральный, уж принялся за объяснения с писанием и рисованием, что общеславянский долг родственен и готской обязанности, и ирландской задолженности, и первоначально наполнено умыслом: «то, что ждут», а уж позднее малость переиначено: «то, что требуется».

– Так что, крутись-не крутись, – подытоживает Эксклюзиаст, – а бери да помни: не штука занять, штука отдать.

– Да сколько же можно? – возмущаюсь. – Загибайте пальцы, товарищи! Вот человек. Вот поколение. Вот народ. Вот человечество. И во всех четырёх октавах бытия – одно: долг, долг, долг! должен, должен, должен! Куда годится? Нет, мне уж такое по нраву, чтобы и сыт, и пьян, и никому не должен.

– Заладил, – ворчит Владимир Иванович, – как пономарь. Да всё не в толк про долг. У долга и век долгий. Живучи долги.

И зануда Эксклюзиаст тут же взялся за толкование общеславянской «долготы» с индоевропейским характером и родственно-семейными связями с хеттами и латинянами, а также что долгий есть не что иное как длинный от зёрнышка «доль»...

– Доля! Понятно?

– Ого! На рупь долгу, на три полтины росту! Уже и долю сюда припутали, а потом судьбу в ту же кучу... Ну, товарищи, зачем же так лошадей гнать?

Нахмуривается даль романа, Владимир Иванович. Это он улыбается так.

– В долг, – говорит, – только жена не даётся, а лошадь-то смотря по человеку.

– Ага, как же! – горячусь. – Вот цыганский барон Николаша одолжил Князю своего Чапая. И где теперь тот Князь? Где Чапай? Нет уж, совсем не по мне ваши ёжики в тумане. Мы в долг не лезем.

– И из долга не вылезает, – продолжил Владимир Иванович. – Все, значит, при должности состоим.

А зануда Эксклюзиаст про должность прояснил.

– Должность, – говорит, – слово собственно-русское. В иностранных связях замечено весьма приблизительно, а в русских письменах употребляется аж с одиннадцатого века, обозначая «обязанность». Всё.

– Знаете что, товарищи, – говорю я, теряя сознание терпения. – Вы меня вдребезги запутали. Мы так не договаривались, чтобы вдребезги. Что я слышу? С одной стороны – ступай и не греши! А с другой – совсем наоборот. Получается, противоречие в определении.

– *Contradictio in adjecto*, – сказал Эксклюзиаст и улыбнулся, зеленоглазый. – *In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti*.

– А при чём тут во имя Троицы? Она что, тоже кому-нибудь должна чего-нибудь? И отвечайте же, ради бога, по-русски.

Эксклюзиаст на секунду задумался – и выдал: запретное! заповедное! придушенное! из самого американского Вермонта! из укрявища русско-антисоветского, отщепенского, огнеопального, бородатого аввакумского вакуума... тсс!

– Чтобы выполнить русский долг, надо не русскую выдержку иметь.

– Верно, – сказал Владимир Иванович и улыбнулся, это он нахмуривается так, Владимир Иванович, даль романа. – Начинайте с начала, милостивый государь. И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим...

«...и оставь, отпусти, прости нам грехи наши, так как и сами мы прощаем тех, которые нас обидели или оскорбили, и миримся с нашими врагами...»

– Долг! – кричу. – Это, значит...

– Грех, – отвечает даль романа.

– *Crimen*, – подтверждает Эксклюзиаст и поясняет: – То, что жжёт, горит, болит, мучает, вызывает сомнение. И очень просто. Всего-то и надо говорить «грех» там, где ты хочешь сказать «долг», и говорить «долг» там, где ты хочешь сказать «грех». Так объясняют молитву господню в каждой православной приходской школе.

– Вот-те нате хрен в томате! Обрадовали, называется. Прояснили обстановку, называется...

– Погоди-ка, не трещи, не торопись, голубчик, записать сие надо,

– сказал Владимир Иванович и ухватился за карандаш с бумажкой, набубнивая под нос: «Вот-те нате...»

Я проигрывал это лето по кусочкам.

Римские календы оборачивались долговыми книгами – долговые книги превращались в реестр грехов, в книгу судеб, в судебник, в Книгу, недостижимую, непостижимую, отражённую сверху вниз, но которую, вчерне и снизу вверх, издавна и посейчас складывает вся Россия: кладка за кладкой, камень на камень, кирпич на кирпич, вот уж и нижние не могут докричаться до верхних в рассеянном россиянии, во тьме веков, а Она всё призывает и призывает новых каменщиков, а не одного только, по свидетельству потомка, чернокожего арапа с тёмным чувством собственного долга.

LXVIII

ТЛГ СРОЧНО ХИБАРОВСКИЙ КРАЙ ГОРОД ХИБАРОВСК ВОЕННЫЙ ГОРОДОК ХЛЮСТАКОВОЙ ТАТЬЯНЕ И ВСЕМУ ЛИЧНОМУ СОСТАВУ ВВЕРЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ТЧК Я ВАС ЛЮБИЛ ЛЮБОВЬ ЕЩЁ БЫТЬ МОЖЕТ В МОЕЙ ДУШЕ УГАСЛА НЕ СОВСЕМ ЗПТ НО ПУСТЬ ОНА ВАС БОЛЬШЕ НЕ ТРЕВОЖИТ Я НЕ ХОЧУ ПЕЧАЛИТЬ ВАС НИЧЕМ ТЧК Я ВАС ЛЮБИЛ БЕЗМОЛВНО БЕЗНАДЕЖНО ЗПТ ТО РОБОСТЬЮ ТО РЕВНОСТЬЮ ТОМИМ ЗПТ Я ВАС ЛЮБИЛ ТАК ИСКРЕННЕ ТАК НЕЖНО ЗПТ КАК ДАЙ ВАМ БОГ ЛЮБИМОЙ БЫТЬ ДРУГИМ ТЧК ИЗВЕСТНЫЙ ВАМ ХЛЮСТАКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ТЧК

.....
Телеграфистка Августа (по-нежному Гутя) рыдала прямо на рабочем месте.

.....
ТЛГ ХИБАРОВСКИЙ КРАЙ ГОРОД ХИБАРОВСК БЕЗБОЖНЫЙ ПЕРЕУЛОК НОМЕР ТРИНАДЦАТЬ ТИРЕ БИС КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ЖЭК НОМЕР ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ САНТЕХНИКУ ХЛЮСТАКОВУ ИВАНУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ В ЛИЧНЫЕ РУКИ ТЧК ВАНЯ ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ВПРСТ ЗНАК ДЕРЖИСЬ ВАНЯ ВСКЛЦТ ЗНАК ПОЛКОВНИК ТАНКОВЫХ ВОЙСК ХЛЮСТАКОВА ТАНЯ И ВЕСЬ ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ВВЕРЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕЛУЕМ ТЧК

LXIX

1

О, если бы какой-нибудь сумасшедший, вдребезги чокнутый, вдрабадан повернутый, из-за угла пыльным мешком шлёпнутый, с приветом «от тётки Моти», с прибабасом и прочими аналогичными особенностями... если бы даже не столь выдающийся, пусть хотя бы средних

достоинств, хибаровский библиофил догадался, удосужился и, наконец, отважился забрести в поисках радости на наше кладбище!

Там старик Ерусалимыч живёт.

Его избушка типа «лачужка» или «хижина дяди Тома» бочком приткнулась к ритуальной мастерской типа «барак», где под руководством товарища Бебешкина налажено чёткое и бесперебойное производство и снабжение города деревянными изделиями типа «гроб».

Старик Ерусалимыч к мастерской отношение имеет только боковое. А по прямым обязанностям он – кладбищенский сторож с ежемесечным окладом и ласковым прозвищем «стационарный смотритель».

Кладбище в двух шагах.

Кого, спрашивается, сторожить? От чего?

– Неправильно вопрос ставите, сударь, – отвечает Ерусалимыч.
– Есть чего от кого.

И тогда становится очень понятным: оберегать мёртвых от живых. Покойники народ аккуратный, а непокойники прут с могил цветные металлы, целые оградки вывозят, венки воруют, цветы живые... – да тут же, на ближних подступах, и продают поминальщикам. Если походить по кладбищу с интересом к текущей жизни, так человеку с робинзоновской предприимчивостью есть чем поживиться. Стаканчики те же, рюмочки, блюдечки – тоже надобность, тоже товар, и какая-никакая, но всё же пища выпадает не манной небесной, но вполне вещественно и чуть ли не каждый день, с голоду тут не помрёшь, не всё птичкам достаётся, робинзону – в первый рот попадает. Страшных историй про потрошителей могил не было на хибаровском кладбище, провинция, не то, что в книжках про буржуазные нравы в странах капитала, где усопшим даже в земле покоя нет, Чарли Чаплина, например, взяли и выкопали, и в торг пустили, кто больше даст на купле-продаже, а ещё писали в газетах, как что-то нехорошее сотворили с телом теоретика относительности Эйнштейна, глаза, что ли, выковыряли и в банку с формалином закатали, сувенир получился... Правда, и в столице нашей Родины, в городе-герое Москве случилось, опять же газеты писали, варварство: целого Маршала Советского Союза из могилы достали, парадные штаны и мундир сняли, а всё из-за драгоценных правительственных наград, которых на покойнике-то и не оказалось, их только на красных похоронных подушечках поносили, показали, а потом и увезли куда-то на толстых чёрных лимузинах, а уж после лимузинов ночные злыдни сыграли похоронный марш маршалу в обратную сторону, с того света на этот...

Ерусалимыч качал головой:

– Ничо не пойму... Неужели ж волна империализма нас достигнула из-за границы своими брызгами погаными?

На двери лачужки обозначено:

НАЧАЛЬНИК СТОРОЖЕВОЙ ОХРАНЫ

Кто-то подшутил над Ерусалимычем, приколотил жестянку дюжиной

гвоздей, хрен оторвёшь, но сторож, стационарный смотритель смиренный, не обижается, он вообще не обидчив, спокоен сугубо, как и полагаются по должности пребывания близ печали некрополя, города мёртвых.

Бывает, конечно, и раздражение, но не более, чем раздражение: два могильщика, Кузин и кузен его Кантакузин, бывшие милиционеры, ставшие не просто могильщиками, но хавкими предпринимателями с ограниченной ответственностью, бизнесменами доходного похоронного дела и, по определению Ерусалимыча, могильщиками пролетариата.

Как-то раз Ерусалимыч попытался уточнить направление жизнедеятельности Кузина и Кантакузина: коммунизм, капитализм или промежуточный НЭП? Бесполезно. Те посмеялись: какая, дескать, тебе разница, старик, если ни там, ни сям, ни в промежности тебе пожить уже не грозит?!

И плюнул Ерусалимыч на дальнейший разговор: ну их! они ж со своей ограниченной ответственностью даже в нормальных понятиях не смыслят! могильщик, говорят, гробовщик, говорят, – а какая между тем и этим разница – так им начхать, но разница всё же большая, и кладбищенским работникам, тем более с ихней фирмой «Ритуал», надо бы знать: могильщик копает, гробовщик закапывает, пролетарий лапу сосёт, буржуин от сала лопается.

Метрах в трёхстах от кладбища развалилась стихийная городская свалка, столица бомжей, где круглый год царит невозможно вонючий, но всё же относительный порядок, а в середине того порядка сидит художник-лауреат Кваснецов, человек со вставным глазом. Он всех гипнотизирует:

– Выньми глаз!

Никто не понимает: шутка или наоборот.

Кваснецов есть человек разносторонний, увлекающийся. Рисовать, понятное дело, бросил: нечем, не на чем и незачем, но без страсти не остался, увлёкся баварским диалектом, суахили и древнегреческим, записался в городское общество эсперантистов единственно для того, чтобы доказать преимущество эсперанто перед волапюком, с блеском доказал, защитил лицо от побоев публичных оппонентов из другого общества и бросил ходить к единомышленникам, далековато в город то переться, да и ничего больше доказывать нечего... Славный мужик. Ерусалимыч уважает Кваснецова.

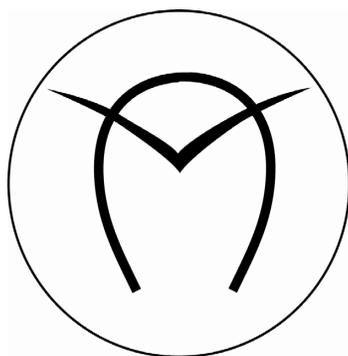
И Бебешкина уважает. И его бичей.

Таково людское окружение стационарного зрителя.

В избушке-лачужке-хижине присутствует очевидная опрятная бедность. Стол. Стул. Настенный шкафчик с кухонным хозяйством и посудой. Алюминиевая кружка, проще не бывает, зато чистенькая, со сдержанным благородством крылатого металла. Чашка, ложка. Вилка с костяной ручкой, из дорогого бывшего столового набора. Стекланные банки с полиэтиленовыми крышками: соль, перчик, сушёный укроп. Чайная чашка с блюдцем. Сахарница. Хлеб, завёрнутый в полотенце. Картонная коробка с сухарями. Бумажные кулёчки с крупой и мака-

ронами. В углу, где составная бамбуковая удочка, на табуретке – эмалированное ведро с чистой водой из-под крана, из мастерской носимой, чистой фанеркой прикрыто. Рукомойник. Железная кровать. Гардероб – пара больших чемоданов, один на другом, он же – и ночной столик с керосиновой лампой, коробком спичек и свечой в гильзе крупнокалиберного патрона. Посередке – чугунная буржуйка с коленчатым выводом в потолок. Электричество в зелёном абажуре с кисточками. Электроплитка, чайник, заварник с отколотым носиком... Можно жить. Строгость, порядок. Ничего лишнего. Умерив удобства, можно даже и половины этого домашнего хозяйства лишиться, и то не беда, и после этого тоже можно жить и радоваться совместному проживанию с мелочами быта, мелочами жизни, которые по мере убывания других становятся дороже, приобретают более важный вид и значение с предназначением сугубым; проверено: карандашик с бумажкой в канцелярии – это одно, а ежели в тюремной камере – так уж совсем другое, чуть ли не на вес золота, которое там и даром не нужно; и «когда б вы знали, из какого сора...»? а между тем, между дворцом и хижинной – у царственной Анны – Будка! ах, мать твою так, да что же это за такое, которое Будка, да ещё и с большой буквы? держитесь прямо, не падайте, не будуар, однако! Будка, незабудка будничная, будит и будоражит будка, а propos, будирует будка: будь, будь как Будда, будто Будда, да, и не забудь, балда, о будущем... О, Будка! БУДКА. Прости и помилуй. ПРОЧТИ И СОХРАНИ – LEA Y GARDE – READ AND KEEP – LEGGERE E CONSERVARE – LESEN UND AUFBEWAHREN – A LIRE ET A CONSERVER – PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ – OKUYUN VE SAKLAYIN – DE CÍTÍT SÍ RETÍNUT – NA ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΕΤΕ – : БУДКА. Состарившаяся келья. Из бывшего улья. С последним, может быть, ульянышем.

С молчаливым и постоянным удивлением человек – вот это и есть Ерусалимыч. Лоб нахмурен, мохнатые брови подковками, глаза – в небо или в потолок. А на потолке, вокруг абажура, художник Кваснецов в подарок Ерусалимычу всю мировую религию масляными красками изобразил: красный крест, зелёный полумесяц, коричневое буддийское колесо, жёлтая звезда Давида, тибетская свастика, две китайские чёрно-белые рыбки, ян и инь, сопряжённые в круге, да ещё и местное, до боли в желудке знакомое:



– Чего это, Ерусалимыч, – спрашивал Бебешкин, – у тебя тут наш мясокомбинатский бык делает? Не по понятиям! Вокруг религия, и вдруг – бык!

Хитро улыбался Ерусалимыч, помалкивал, объяснением быка не хотел обижать Бебешкина, потому что совсем не мясокомбинат, а – мировая литература: «Сановный, жирный Бык Маллиган...» – и так далее, век спустя после Джойса, о котором товарищ Бебешкин никогда и не слышал, а вот Ерусалимыч удостоился.

Из угла в угол, по диагонали, бельевая верёвка натянута, с прищепками, круглый год просушиваются листочки какие-то, брошюрки, а у самого абажура – ватман из рисовального школьного альбома с красными строками тушью из-под плакатного пера:

*Молчат гробницы, мумии и кости,
Лишь Слову жизнь дана.
Из древней тьмы на мировом погосте
Звучат лишь письма.*

Писано И.А. Буниным

Странноватый он, этот Ерусалимыч.

В конце мая он удивлялся смешным похоронам, которые устроили хибаровские писатели. Точней сказать, удивлялся писателям, которые устроили смешные похороны. К удивлению примешивалась досада: цирк-то на костях усопших, а ещё – писатели называются, инженеры человеческих душ, книжки сочиняют.

Вот – пунктик, особая статья: книжки. Они-то и есть в избушке главное достояние стационарного зрителя.

Книжки книголадельцу соответствуют.

Попервости Ерусалимыч единолично рылся на городской свалке, палочкой ворошил свежий мусор, выбирал книжки и журналы, а также то, что когда-то было книжками и журналами, без переплёттов, без начала и конца. В холщовый мешочек складывал, дома просушивал, проглаживал, сортировал по формату, листик к листику, и раз в неделю, обычно по воскресеньям, усаживался за верстачок, он же и кухонный столик, и письменный: раскладывал нехитрый переплётный инструмент и принимался за деятельную любовь свою, бессловесную. В такие воскресенья враз сходились на верстачке и ремесло, и рукомыслие, и удивление перед чудом жизни, и любовь к отеческим гробам, всё сходилось, всё сходится, как всегда, без начала и конца, и несёт он, удивлённый старик, эту удивительную любовь свою, несёт, не расплескивая, на коромысле мысли спокойной, рассудительной, уравновешивающей всё на свете сущее, даже любовь и ненависть, и даже крохи сомнения не возникает тогда у Ерусалимыча в том, что так и надо, вот так и правильно, а ещё и сожаление подступает, что не

так уж часто мы слишком мыслишкам своим в рукоделии доверяемся, разглаживая их ладонью, поглаживая кончиками пальцев: в этом-то «лишке» – вся суть и ничего лишнего.

Главную стену занимает деревянный стеллаж, от пола до потолка.

Толстые тома в разночинных, но аккуратных переплётках, смотрятся как единое подписное издание, как одна библиотека, которой Ерусалимыч даже название придумал: «Мусорный роман». Под одной корочкой оказываются страницы старопечатной библии и школьной географии, и кулинарная брошюрка, и... – чёрт те что, одним словом. Забавно: сведённые вместе, воедино, разрозненные страницы могут читаться цельною книгой, и стыковки не замечаемы, а – значит так надо, так задумано, чтобы без начала и без конца, и весь совокупный «Мусорный роман» есть не что иное, как свидетельство об исчезновении начала начал и конца концов – круг бесконечный...

Знаю я этот круг.

Некоторые книжные полки в моём кабинете по содержанию своему напоминают кунсткамеру.

Вот один из раритетов. Название ему: «История ВКП(б). Краткий курс.» Ниже следует: «Под редакцией Комиссии ЦК ВКП(б). Одобрено ЦК ВКП(б). 1938 год». Сопутствующая издательская атрибутика: Госполитиздат, 1952. Тираж 2 миллиона экземпляров. Цена 4 руб. 50 коп.

Книжное нутро – как в метро: за пятак – монументальная помпезность, скоростное одностороннее движение и никаких утомлённых солнц.

Последний абзац книги – целиком и полностью: «Таковы основные уроки исторического пути, пройденного большевистской партией».

Ниже абзаца – заключительное слово, выделенное вразрядку:

К о н е ц.

Не дремлет дух Фрейда!

Однако наибдительнейшая сталинская цензура (потаённый, укрытый, но конкретный персонаж «Краткого курса» под символом А06490!), цензура, натасканная на каждой букве текста, так и не усмотрела в слове «конец» ни фатального приговора режиму, ни диагноза ему же, ни летального исхода. По сути дела, словом «конец» уже заранее, чуть ли не рукой самого вождя всех времён и народов, был обречён период советского коммунизма. Мина, заложенная впрок.

...О, если бы какой-нибудь вдребезги чокнутый, повёрнутый (и так далее) книголюб догадался, удосужился и, наконец, отважился забрести в поисках радости жизни на кладбище, в сторожку старика Ерусалимыча!

И поохает он, и поохает, и пальцы-то задрожат, и глаза-то прищурятся прицельно, и нос завихляет туда-сюда в бесшумных истеканиях

букинистической пылицы... Полёт, кружение, плавное плавание – без начала, без конца, зато с непременным «продолжение следует», без него и радость не в радость, без него невозможно, в противном случае жизнь вообще приобретает безнадежный и безрадостный смысл.

Попьют чайку. Ерусалимыч хвастаться начнёт своими находками и открытиями. Из-под пресса в два кирпича достанет свеженький, обрезанный и переплетённый раритет. Чаадаев? – Чаадаев. – Пётр Яковлевич? – Он самый, другого не было и вряд ли будет, читайте, сударь, только внимательно, не спешите, сейчас ещё кипяточку спроворим да чифирок сгоношим... – *«Есть один факт, который властно господствует над нашим историческим движением, который красною нитью проходит чрез всю нашу историю, который содержит в себе, так сказать, всю её философию, который проявляется во все эпохи нашей общественной жизни и определяет их характер, факт, который является в одно и то же время и существенным элементом нашего политического величия, и истинной причиной нашего умственного бессилия: это факт географический*»* – И всё. Конец восьми философических писем на странице под номером 161? – Да вы ж ещё под звёздочкой полюбопытствуйте! – А внизу, под звёздочкой, примечаньице курсивом: *«На этом рукопись обрывается, и ничто не указывает на то, чтобы она когда-нибудь была продолжена (Примечание И. Гагарина)»* – Значит, конец, делу венец. – Да что ж вы всё торопитесь, сударь мой, господин-товарищ, переверните страничку-то, оно и не покажется вам... – Так дальше-то уже другая страничка, с другим номером и шрифтом. – Да вам-то что за дело, вы читайте, ваше дело читать, а не считать. – *«...это образующее начало у нас – элемент географический, вот чего не хотят понять; вся наша история – продукт природы того необъятного края, который достался нам в удел. Это она рассеяла нас во всех направлениях и разбросала в пространстве с первых же дней нашего существования; она внушила нам слепую покорность силе вещей, всякой власти, провозгласившей себя нашим же владыкой. В такой среде нет места для правильного повседневного обращения умов между собой; в этой полной обособленности отдельных сознаний нет места для логического развития мысли, для непосредственного порыва души к возможному улучшению, нет места для сочувствия людей между собой, связывающего их в тесно сплочённые огромные союзы, перед которыми неизбежно должны склониться все материальные силы; словом, мы лишь геологический продукт обширных пространств, куда забросила нас какая-то неведомая центробежная сила, лишь любопытная страница физической географии. Вот почему, насколько велико в мире наше материальное значение, настолько ничтожно всё значение нашей силы нравственной. Мы важнейший фактор в политике и последний из факторов жизни духовной. Однако эта физиология страны, несомненно столь невыгодная в настоящем, в*

будущем может представить большие преимущества, и, закрывая глаза на первые, рискуешь лишиться себя последних...» – Вот чудно-то как, полста страниц вылетело, а ничего и не оборвалось, и гладко, как в одном дыхании... – Да вот же, сударь, и не оборвалось, и Иван Сергеич Гагарин, публикатор-то, поторопился объявить... – И уж заведут-то они речь, чифирком запивая, два книжника: про чаадаевское рукописное наследство, про то, как гусар-философ, дабы избежать конфискации своих сочинений, упрятывал оные кладом, складывал отдельными, разрозненными листочками, даже и не пронумерованными, меж книжных страниц в своём великом библиотечном собрании; а писал-то опасные во все времена строчки, про российские застарелые болезни, а его самого объявили больным, сумасшедшим, царь да жандармы законопатили сочинителя вольного в московском флигельке – и всё, и перекрыли ему свежий воздух, и он умер, как все умирают, а книжки его сохранились, а учёные люди находили между книжными страницами захороненные листочки, складывали их друг к дружке, Гагарин тот же, известный литератор и дипломат, а другой следопыт, Димитрий Иваныч Шаховской, собирался ту рукописную сплотку отдельной книжкой с комментарием издать, да что-то и успел напечатать, но это уж век спустя после написания листочков, а после напечатания и прихлопнулась чаадаевщина уже не царями с жандармами, а сталинской энкэвэдэшной Москвой, увели Шаховского, как всех уводили, руки назад, без возврата, и философические письма, прямо мистика какая-то, плавно перетекли в напроrochenную век назад апологию сумасшедшего, листочки упорхнули, уж строго-настроено чекистами пронумерованные, на берега Невы, сказывают, что в Пушкинский дом, где и укрыты от посторонних глаз, так до конца и не разобранные, в порядок не приведённые, не составленные, перемешанные в россыпи уже не столько автором, сколько следователями его, но вот не горят и не тонут, ждут своего часа, ждут умов светлых и чистых... – Да как же вот... – Да так же вот... – Так ведь вот же чистая случайность какая, мусорная свалката, строчку к строчке подогнала без Пушкинского дома... – Да чего уж тут случайного, сударь мой, господин-товарищ-барин, когда сама жизнь – и то всего лишь дело случая... – Да вы мне позвольте ли... – Да как же не позвольте, только вас и дожидался, не желаете ли чайку повторить?..

Но август к августу в гости не ходит.

В тот же позднейший вечер, после смешных писательских похорон, случился у Ерусалимыча иной гость, на гужевом транспорте.

И загостевался. В творческом отпуске. К обоюдному удовольствию.

В ту пору между ними оказалось ещё и «Слово о полку Игореве...» – новейшее пополнение «Мусорного романа», свеженькое, только что из-под двух кирпичей.

2

Кобыла пахла новостройками, пивными ларьками, сортирами, желдорвокзалом, центральным городским рынком, Площадью Падших Борцов и маленько даже Зурабом Ркацители... – в общем, кобыла пахла всем, чем попало, но только не тем, чем надо.

Возможно, это происходило ещё и по той причине, что называется кобыла не кобылой, а так: «Партизанский конь гражданской войны. Охраняется государством».

Сотворённая из непонятно чего, конская кобыла стоит как сивая лошадь в натуральную величину на цементном постаменте, на макушке травяного с мелкими кустиками холмика, который в народе называют Целкиной горкой, по соседству с кладбищем, откуда открывается замечательный вид полукружьем «вест-зюйд-ост». По правую руку – пригородная природа с озерком посередине, луга, возвышенности, чахлые перелески, одним словом, ландшафт, в двух словах – окружающая среда, бесчеловечный пейзаж. Перед глазами – железнодорожная магистраль, внизу грохочущая круглосуточно поездами с пассажирами и народнохозяйственными грузами; за ней протягивается с извивом река Куда, за Кудой – панорама орденоносного индустриального города, тихой сапой заслонившего горизонт, и потому не из-за горизонта появляется в Хибаровске утреннее солнце, но из-за труб и крыш обозначает свой ясный приход, выказывая прихожанам городским, равно как и сельским жителям, сначала верхнюю свою губку, всего лишь половину улыбки, но уже такую лучезарную и, блин, перспективную. А по левую руку расселись городские предместья, рабочие слободки, частный сектор с индивидуальной застройкой, так называемая «Индия» – на фоне величественной Кудыкиной горы, бывшей когда-то Колчаковской сопки, где автономно пасутся «индийские» козы, овцы и коровы и куда досужный народ не достигал, предпочитая более доступную для восхождений и времяпровождений Целкину горку, в двух шагах от кладбища, место хоженое-перехоженое, насиженное, напетое, напитокое и напитанное, с закопченными каменными очажками, стоянками городских «дикарей», последних героев.

Чапай уже дважды приходил выяснять отношения с монументальной конской кобылой. И понял, наконец: во-первых, никак, сколь ни старайся, ему не дотянуться, чтобы положить, как полагается, свою голову на её геройскую военную шею в знак доброго знакомства и душеприятного расположения; во-вторых, и не надо! подумаешь, партизанка! в-третьих, философия тут простая: кобыла, которая не пахнет кобылой, есть не кобыла, а грязная клевета и чистое очковтирательство; и, наконец, в-четвёртых, насчёт дураков: дураки водятся только среди человеческих людей, и нет дураков среди иных обитателей живых миров, среди тех, кто живёт в полном согласии с травой, водой и воздухом.

И когда Чапай понял это окончательно и бесповоротно, он виновато оглянулся на Князя: не обидится ли? Нет, Князь не обижался. Он был правильный Князь, животный, млекопитающий.

Так вдвоём они и уходили с утра от старика Ерусалимыча.

Чапай решительно расфыркался с геройской лошадью, и фырк его нужно было понимать так: вот пусть она со своим государством и целуется, с охранником охренелым... Зато познакомился Чапай с синим цветочком, крошечным. И когда Чапай нюхал его, сердце обливалось нежностью и умилением.

А Князь с книжкою «Слово о полку Игореве» лежал на жёсткой траве, подложив под голову ерусалимычеву фуфайку: такой довольный, спокойный, тихий и мирный Князь.

Внизу электрички спотыкаются на путевых стрелках.

А рядом, на расстоянии вздоха, – посмертное свечение человеческих душ...

Однажды зимой 1899 года некто Ницше, как обычно, вышел из дому на прогулку, столь же системную, как и его кабинетные занятия философией. Шёл по улице и вдруг увидел: извозчик избивает лошадь. Ницше тут же бросился защищать её от яростного человека, обнимал лошадь за шею, утешал, кричал шёпотом, да всё как-то неумело, суетно, и слёзы философические сливались с лошадиными, а лошади не было от побоев больно, было обидно, вот что было больно... В этот день некто Ницше сошёл с ума.

«...а вожжи придумали позже!» – вспомнил Князь стихотворную строчку из «Огней коммунизма», и фотографию автора строчки вспомнил, неизвестного поэта Шаманова: бородатый, в оранжевой каскетке, в аспирантских очках, служит парень Отечеству пером и топором, на сто процентов выполняет всё, что надо и даже не надо, сооружая сортиры на стройке века, вдоль стройки, вдоль века, по Байкало-Амурской магистрали, воспетой, разумеется, не им, не Шамановым, а другими, в пределах Московской кольцевой автодороги.

*...Эх, не рви ты, Чапай, гэй,
Свою новую сбрую,
Свою новую сбрую, гэй,
С самоцветами...*

Так цыганский барон Николаша, сосед Князя по Кошкиному дому, поёт.

Так точно и Князь запел – вне помещения!

И Чапай голову повернул, услышав знакомые слова.

*Отведу тебя, Чапай, гэй,
На большую ярмарку,
Уведу тебя туда, гэй,*

*Обратно не приведу.
Продам тебя, Чапай, гэй,
Богатым цыганам,
Богатым цыганам, гэй,
Братьям родным...*

...наивная душа, этот Николаша, ведь он и впрямь принял за чистую монету слова Князя, поверил Князю, когда тот однажды заметил в разговоре о плюсах и минусах высотного дома, что будто бы массовая застройка земной поверхности «вавилонскими башнями» замедляет, тормозит круговращение планеты и, в конце концов, принудит земной шар к нарушению космического баланса и глобальной катастрофе... Чистый человек, доверчивый, Николай Романович Деметр, уж непременно весь город обшарил в поисках пропавшего Чапая, и стыдно Князю за подлючую слабость свою, и известить Николашу нет возможности, и уходить в город – ой, как же не хочется, всё откладывает и откладывает Князь своё возвращение, со дня на день растягивает, да так и не соберётся с духом выйти из воли...

*Возьму за тебя, Чапай, гэй,
Зелёную сотню,
Зелёную сотню, гэй,
И красную десятку...*

...выйти из вольной воли – куда? к деньгам? к долгу? к обязанностям? к служению? Господа, да за что же такой грех человек на человека взгромоздил? Зачем? Зачем ему, простому смертному, всё это? Да и не простому – тоже... Согреши, да потом и почестí самого себя в хвост и в гриву? Так, как Пётр Ильич Чайковский... честно, но со слезой скрываемой, признался, что «Лебединое озеро» написал исключительно за день... – а другому уже и сил нет продолжить и завершить слово, и язык не поворачивается повторить истинную правду Петра Ильича – за деньги, сказал он, и кажется, будто бы исчезает, истаивает волшебная музыка, явившаяся в радужных бумажках, но не по какому-то озарению-вдохновению грешного гения, гениального грешника...

*Лав не тутэ, Чапай, гэй,
Зэлэно шэлэнги,
Зэлэно шэлэнги, гэй,
Ттай лоли дэшэнги...*

Э, не вздыхай, Чапай. Ты же всё-таки Чапай, а не какая-нибудь лошадь Переживальского или партизанка, охраняемая херовеньким, некудышним сторожем, не так ли? Мы с тобой сегодня животные вольные, свободные, а завтра к общежитию людей вернёмся, назад телегу прикатим, хозяин твой, Николай Романович, будет безумно рад и спросит нас: а где же это вы, мерзавцы, так долго пропадали? – и мы ему всё по порядку объясним: про конскую кобылу на Целкиной горке, про

синий цветочек, который тебе, Чапай, ещё не раз и не два приснится в деревянной выгородке железобетонного Кошкиного Дома... – и всё, конечно, поймёт цыганский барон, он человек древний, понимающий, не то что магазинные граждане в ночных очередях, граждане, которые и добрые, и мягкие, и душой сплочённые только в тех вынужденных и обречённых очередях, а днями суровых будней им довольно и того понятия, что на своих двоих хорошо, а на четырёх чужих ещё лучше... Э, Чапай, ты же знаешь эти очереди лучше меня, ты их хорошо помнишь, там тебя хлебушком угощали, это приятно, ты жевал корочки золотыми зубами, и никто тебе в рот не заглядывал, и ты улыбался с благодарностью уже не столько к человеку, дающему хлеб, сколько ко всем к ним вместе, к человекам живой очереди, к человекам в порядке, в строю, по списку добропорядочному, где все сливались в одно лицо, вместе старое и молодое, мужское и женское, качающееся, плывущее в сумерках, кружащее без шума и слиянное, оно временами растекается, становится каплями в море, похожими одна на другую до полного безобразного безразличия... Где Собакевич? Нет Собакевича. Где Обломов? Нет Обломова. Где Павка Корчагин? Нет Павки Корчагина. Нет ни героев, ни антигероев, ни сучка, ни задоринки, ни дна, ни покрышки. Нет характеров, типов, черт, особенностей, примет, личностей и неприличностей, минусов и плюсов, хорошего и плохого, некому никого ни судить, ни оценивать, ничего нет, только – капли в море, только песок на побережье... – размытое, измельчавшее, стёртое, поблекшее, безличное, безразличное – вот она, старость человека! был Эверест – стала песчинка! вот оно, рождение человечества! есть капелька – сделается море-океан! Нелюдимо наше море... Ни упрёков, ни сомнений, и самого главного, самого трепетного нет – страха! Нет его, казалось, вечного – перед могилой, перед богом, перед жизнью, перед грехом и долгом, перед друг другом, перед утренней газетой, перед указательными конечностями начальства, перед любым государством, будь оно хоть господним и государевым, хоть диктатурой пролетариата в тесном союзе с колхозным крестьянством и трудовой интеллигенцией, уже и усталости не осталось, некому уставать...

*Яй, на щингэр ту, Чапай, гэй,
Тё нэво сэрсамо,
Свою новую сбрую, гэй,
С самоцве-та-ми-и...*

Вас ист дас?

Глас?

Глас... Слава тебе, господи, остался он, баритон, не растрескался, не обшелушился, не зажестянял, не сгинул в тартарары, не вылетел в трубу, не вышел в расход, на полный и окончательный выход вон, на задний двор... Прорезался, родимый, вылился, разлился – из цыганских самоцветов да прямым в арию гостя индивидуально-частного

сектора... Как мудры были латинские словотворцы, поместившие в одно слово, в арию, значения воздуха и ветра, а значит, и всего остального на все времена и пространства: породу природы, дыхание, вздохи и выдохи, входы и выходы, ахи и охи, и ариозо цыганского барона, и песнь ящика, вот вздрогнули дроги, и дорога дрогнула под мерным конским шагом, на четыре четверти – и всё в пути, всё путём, даже лакей на запятках кареты, который вообще никогда не поёт, ему противопоказано, долгий путь по тряской дороге приучает лакея держать рот на плотном замочке, стиснув зубы, так и язык не прикусишь, и не простудишься в путешествии, вот образцовый-то слушатель потугосторонних арий, да уж такой образцовый, что дальше некуда, на постое-то этот запятошный лакей не может, бедняга, сразу разговориться, и мычит лакей, преодолевая с потугою дорожную привычку к бессловесной свистопляске и догоняя губошлёпством членораздельную речь... Да-с, этот глас! Остался. С кем-чем? С носом. Вне репертуара. Ну, и что? Есть! Не в прошлом, не в будущем, но в самом подходящем времени, в настоящем, и если он соответствует времени, если он сам настоящий, а не трубно-иерихонский, то уж никому в службу не отдаётся он, Глас, – ни большому директору, ни атакующему классу, ни зелёному змию, ни белой горячке, ни красному флагу, и даже – славному режиссёру Борису Александровичу Покровскому, даже ему не отдаётся, только – ветру, только – воздуху, пусть носят, по-божьему велению, по-бомжеву хотению, заштатным порядком, без расписанья... И хорошо бы ещё остался тёмный силуэт на фоне заката, чёрный на красном, пусть не Шурик, пусть не Чапай – лошадь вообще, силуэт её выразительней человеческого, у человека черты мелкие, невзрачные, скрадывающиеся на фоне неба в пень-колоду или, в лучшем случае, в истукана с острова Пасхи... А кстати, с какой же это стати библия словами отца к блудному сыну объявила перстень и башмаки знаками свободного человека? Ерунда какая-то... Вот он тоже, например, остался, серебряный перстень с выпуклой христианской рыбкою, подарок поклонницы-меломанки, на указательном пальце правой руки... – и что с того? Что он значит, кроме самой рыбки? А стоптанные башмаки на покойно-горизонтальных ногах да ещё на фоне неба – что они, если не чепуха, и кому-чего наскрипывают? Вот именно – кому? Вопрос интересный. Да неужто они, эти башмаки... нет, нет, вздор, не может быть!.. но всё же! а вдруг они, эти стоптанные, на фоне неба, нахально вертикальные, носками вверх – другим, параллельно-скрипящим и стаптывающимся, разночинным родственникам рассказывают шершавым кожаным языком, перебивая друг друга, похваляясь и жалуясь – о своём ходоке, а? И если это не бред, то тогда – сплошное брависсимо! О, тогда и перстень другим перстням говорит о своём руководителе, и рыбка с иными рыбками о том же перемалчивается, и занавес закрывается, начинается закулисная история, где мелочишки на фоне неба оборачиваются дивной, чудной статью библейской неужи-

данной мудрости... И, значит, выйдет на авансцену цыганский барон в живописнейшем ширпотребстве и спросит вольным голосом: а где же вы, золотые мои брильянтовые, пропадали так долго, что всю душу истерзали в клочья? – и скажем мы, и Чапай подтвердит аристократическим не-кивком, но наклоением головы, с достоинством серой лошадки, непременно серой, той, что в каретной упряжке британской королевы Елизаветы: да вот так как-то, знаете ли, жизнь анализировали на свежем воздухе, на волнительном ветерке, ещё осталось маленько проанализировать, да вовремя вспомнили, что вас жалко, граждан горожан, вы ж там без нас совсем заморочитесь, даже корочку хлеба с солью подать будет не знать кому – не от нищеты закровов ваших, но от богатства так называемой души, существующей – на фоне неба! – вопреки рассеянности, вопреки вечерним телевизорам с «голубыми огоньками» и университетами марксизма-ленинизма для миллионов, вопреки элэно шэлэнги ттай лоли дэшэнги... без нас-то вы, сражённые очередью, даже покойных будней не сопроводите за неимением оных, и покойных снов не посетите личным присутствием, а хорошие сны уж давно заждались вас, во снах свои знаки, там сытая лошадь видится к богатству, голодная – к недугу, верные приметы старых сонников, и грех даже во сне не накормить лошадь, так вот же вам, граждане горожане, – хотя бы во сне... конечно, время ограничено тихим часом, зато пространство-то какое, товарищи! ошуюю – глас народа, попули вокс и пепел Помпеи... одесную – квас и помпезная эпопея пипла, где эпопеей даже жопу велено называть, да не за ради бога, за ради грандиозности, но вот отцов называли почему-то не именами, а кликухами, и только поздние сыновья принесли в род фамилии и отчества... обоюду – кодекс мужественный, зеркало из трёх твердокаменных параграфов для государей-правителей: погуби сына, сруби дерево, разори дом! – сезонная подёнщина на пространстве, размеченном не столько своевольными сдвигами плавающих материков и континентов, сколько мечами, заставами, пограничными столбами, будками и вёрстами полосатыми – бесконечно протяжённое дикое поле, вечное поле, удобренное воями, помеченными и посеченными, постреленными и прокопёнными, проклятыми и святыми... – в поле, в почве, в земле рассеяны и стали землёй, почвой, полем вои безымянные, безнадёжные, а над – вои бабьи, безъязыкие, но живые, вечные, словно поле, и доступные небосклонности, и это обнадёживает, как беззвучное умирание зерна...

... как беззвучное умирание зерна, является сон во сне о сне, в котором снится матрёшечный, многожды отражённый, блуждающий в лабиринтах тёмных таинств, за чёрной амальгамой скрывающийся – мир занавешенных веками зеркал...

...красныи терем без князьков без этих могучих дубовых лесин что

крепят стропила крыши и служат потолочной подпорою • хоромы без князька будто и нет хором и потому то в душных сновидениях расползались растекались постанывая вековые смолистые кряжи из коих срублены стены дворца и затеиловые башенки под шатровой крышею а из пазов капал стылый жемчуг • и всегда просыпался князь игорь с волглыми ресницами хмурился и было сказано толкование в соннике что дом без князька к великому несчастью а жемчуг к слезам и пуще печаловался князь и укрывался в те поры за дверьми потаенной горницы и тамо при скудном свете стекала жаль его с кончика трости на чистый лист пергамента • да только нынче поутру возрадовался князь и ликом просветленный оставил скорбные писания до будущего сна • как же не ликовать ему как же не править праздник ежели воротился из степи из полона половецкого старший сын володимирко кровь родная туга сердечная воротился не один с сынком сосунком и супружницею черноокою дочерью хана кончака отроковича который два лета тому назад на каяле реке потоптал игореву дружину во отмщение русичам за позор деда своего шарукана и отца отрока тамо полегли костями славные русские вои и князь со володимиркою увязли в полоне из коего лишь одному князю удалось утечь с помощью верного овлура степняка • вспомнил о сем и занедужили былые раны игоревы и чередой поплыли в памяти воронии граи и шелест ковыля под копытами иноходцев и посеченные шеломы не почерпнувшие тмутараканской водицы и жля с карной со скрежетом витавшие над княжьим стягом на каждом поприще суточного перехода дружины а сколько их было на походе тех поприщ с кривулями русичи не считали един бог ведает • далече отсель из новгорода северского до каялы реки глазом не дотянуться одной токмо мысли летучей под силу измерить долги путь туда и обратно и заставить сердце захолонуть от невыносимой невысказанной боли • а юная кончаковна высоко несла свою голову шла степнянка степенно плавно как горящая свечечка в крестном ходу и княжич владимирович на ее руках таращил узкие глазыньки и был похож на не такого уж далекого потомка тех кто в диком поле жизнь засветив прищурился на миг то ли от кизячного дыма то ли певучей стрелой выцеливая стремительного пардуса прищурился да и остался таковым навсегда • и подумал князь игорь святославич иже хочет над нами княжити да учится первие сам собою владети • и совладел с собою князь не забывшии бритвенного прищура кончаковых и гзаковых лучников и зажал в горсти смятение сердца и взял внучика на руки размякнул первым деодством своим • и сказал князь сыну быть володимирко вашей свадьбе по христианскому обычаю не по басурманскому обряду и быть на сеи же седмице да не одну свадебку сыграем рюрик белгородский отдает дочь свою верхославу в жены брату твоему святославу игоревичу вот и повенчаем обе парочки единым днем • мигом облетела сия весть княжиин двор засуетились в хлопотах старухи засновали молодайки петушками заголосили отроки младшая дружина игорева из сусек и медуш потащили наверх липовые кади с медами да

корчаги с винным зелием попрыгали в печи глиняные латки завертелось великое жаренье да печенье дудошники опробывали новые сопелки гусляры голосистые струны накручивали и скоморохи притащились с бубнами и звериными харями а медведице пошили красны сарафан гости потешать • после вечерней трапезы князь зазвал в горницу софония рязанца дружинного книжника и гусляра с кем не единожды делил часы редкого досуга глянул в его глаза и сказал напрямки доверяю тебе друже дело превеликое но допрежь того хочю услышать еще раз как соловеи старого времени боян былины свои зачинал играи • и ударил по струнам софонии и запели струны как пускал боян десять соколов на стаю лебедеи и какую лебедь настигали та первой и пела песнь старому ярославу храброму мстиславу а боян же не десять соколов на стаю лебедеи напускал но свои вещие персты на живые струны воскладал а они уж сами славу князьям рокотали • и думал князь слушая рязанца нет не по замышлению боянову начал я сам складывать горькую песнь о печальном походе да и не княжье дело сие у бояна то соколами да лебедями были персты и струны а по нашему времени соколами клекочут ханы половецкие над русскими князьями и не сокол я но лебедь слабая и бит был и бьюсь под ханами в одиночку и нет мне подмоги от братьев у бояна то лебедь поет птица непевчая к тому же кровью истекающая сие не можно но в старых былинах случается и сапог запоеет токмо по былям нашего времени та лебедь истинно смертным криком кричит как я кричу нынче биясь и стеная кричу славу былым князьям чтобы князья нынешние услышали и те кто крепок духом и те кто братству неверен подобно князю смоленскому запершись в вотчине сторонятся общего дела а един камень много горшков побивает эх князья князья горшки вы а не князья каждыи особицу правит раздоры чинит а вот и скажу я им о сем зле и еще скажу не то беда что самому себя надобно осаживать за густую печаль на русской земле за погибель дружины а то беда что дивно повелось среди нас и для того чтоб заметили глаголющего надобно раскровяниться тогда и заметят тогда пожалеют и послушают и ежели без сего не можно жить на руси так пусть раны мои соединят русичей во избежанье пущего зла как не смеется человек над болячками юродивого на паперти храма божьего так и мимо ратных ран не должны проити братия равнодушною стопои авось задумаются и оставят раздоры и усобицы • игорь святославич приблизился к гусляру приглушил ладонью поющие струны и молвил знаю софонии любо ты бояновы былины сказываешь токмо доведется тебе на нынешней седмице иную песнь сыграть • и спросил князя софонии рязанец что за песнь такая княже • и ответил князь то моя песнь не боянова потому и доверяю тебе что невмоготу стало мне таить ее в себе второе лето палит она мне душу на волю просится да некому ее на свет пустить я же не певун и не писец келеинныи и то благо что хоть на один пергаментный свиток хватило глаз моих да терпения вот и выходит что с твоих софонии ладонеи порхнет в мир моя песнь под твоими перстами и твоим голосом заговорит •

и смутился гусяр непривычно мне княже чужими то словами былину сказывать • и ответил князь эх софонии да не чужие для тебя те слова разве не ты со мною рядом был на походе в степь ведь тамо одними глазами мы брань видели а коли зрели одинаково так и не скажем по разному видит бог • и согласился рязанец оно так да вот только по писаному не с руки мне я ведь больше на память беру • и сказал князь а и не надобно по писаному слог мои суровыи легко на память положишь а коли где изменишь али добавишь али расцветишь по певчему так я не стану тому супротивничать вот и прими друже мое слово писаное • и вынул игорь святославич из выреза мехового оплечья тугой свиток обернутой византийской оксамитовой тряпицею и подал софонию и молвил вот клади на память и пои а писцы найдутся на свадебном пиру сынов моих где будешь песнь играть сыщется много и гусяров и книжников один кузьмище киянин черниговский вкупе с галичанином тимофеем целой рати писцов стоят они и разнесут нашу боль былину по городам и весям а твоя забота софонии нынче такая что от своего лица поведаете гостям мою песнь о походе а в той песне не оправдания себе ищут по уроку князьям ольговичам и всеволодовичам и иным прочим что на пиру сидеть будут так мы достойным славу воздадим а слабым духом укоризну ступай с богом • и пошел софонии рязанец и устроился в полутемной горнице с низким потолком со слюдяным окошечком да еще в углу усердныи сверчок и сел софонии на лавку перед сальной свечей и развернул свиток и чуткими пальцами положил на струны зачином первые строки княжеского письма не лѣпо ли ны бяшетъ братие начяти старыми словесы трудныхъ повѣстии о пълку игоревѣ игоря святъславича ужъ за шеломянемъ еси а за вниманье мерси...

... и пошла тихой волною, пошла – куда? – половецкая тёмная тема светлой песней половецких девушек, чудная мелодия в начале второго действия бородинского «Князя Игоря»...

– Игорь Святославич, просыпайтесь же, судырь мой!

Князь отчётливо увидел под прикрытыми веками распахнутую настезь книгу и страницу, которую он только что дописал по непреклонному желанию режиссёра Бориса Александровича, и буквы чернильные ещё не просохли, а он, писец нетерпеливый, переворачивает толстый лист на обратную чистую сторону, и буквы... ужас! буквы осыпаются со страницы, осыпаются подобно чешуйкам шелухи, маковым зёрнышкам, мушиному насижённому наследию, как сор осыпаются... «Куда-а-а?» – кричит Князь что есть мочи, громче самого деда Молитвина... Поздно.

– Да почто же поздно-то, судырь? Совсем ещё рано, весь день деньской ещё впереди, – говорит Ерусалимыч.

Он стоит напротив, во всепогодном своём парусиновом балахончике-разлетайке, добродушно щурится, улыбается, как всегда, с вопрошаю-

щей виноватостью, чисто по-собачьи, и Чапай припал мягкими вздрагивающими губами к дедовой ладони с краюшкой чёрного хлеба.

Ещё из сновидений окончательно не вышед, уселся Князь, головой поматывая, сны стряхивал, лицом дураковатый, то ли какой угодник, вылитый между чревом и святостью, то ли древний пророк, пустившийся в радиовещание, пограничье божества и убожества, тёмное лицо, не наше, не советское, но словами Князь – очень даже нашенский, обыкновенный:

– Господи, твою мать, это ж надо такое привидеться, что я, выходит, и написал, да я же и пел... Браво, брависсимо...

И так последние слова из полусна оборотились первыми в полуденном бодрствовании, когда уже хлебушек жевали и пёрышки зелёного лука, свёрнутые в колечко, макали в спичечный коробок с солью.

– Брависсимо, значит, Игорь Святославич? А я шибче скажу: бравенько! У меня лично это слово Игоревое давно уж на языке сидит, засело и заело, спасу нет. Смотрите-ка, чего сегодня на свалке изыскал.

И явилась на свет из балахонного просторного кармана «Орнитология», книжка ветхая, лохматая, зато с картинками, на которых всё птицы, птицы.

– Теперь с птичьего боку буду изучать слово Игоря, – объявил Ерусалимыч.

И завязался меж двумя человеками разговор интересный: с одного боку – про сон Игоря Святославича, а с другого боку, с птичьего, – про орлов и соловьёв, галок и ворон, сорок и дятлов, гусей-лебедей и кречетов, гоголей и чайц – все в Слове Игоревом кричат и кружат...

– Это у них там, в средние века, маскировка такая была, что пишут про птиц, а понимать надо про людей, – сказал Ерусалимыч и подмигнул. – Шифр у них такой был. Да вы ж, поди, сами знаете, Игорь Святославич, коли вам во сне вещей голос из древней истории слышался.

– Нет, Ерусалимыч, про птиц-то как раз и не было ничего. Но с птицами получается аллегория. Мы ж ещё в школе проходили мимо той аллегии, про пальцы Бояновы, как десять соколов, на стаю лебедей, на струны, стало быть, в общем правильно, красиво и понятно. Не так, что ли?

– Не так, – ответил Ерусалимыч. – Вам же голос уже подсказывал, кто такие эти пернатые.

– Неужели летописцы с гусяными перьями?

– Ну, куда загнули! Берите проще. Дело-то не шибко замаскированное. Я читал, не помню где, про ихние княжеские нравы, так у меня такое впечатление: полный разврат. Вы даже не поверите. У Владимира-князя, например, было не только открытое многоженство, но плюс к тому ещё и наложницы в тереме, восемьсот штук, короче, не меньше, чем в Бахчисарайском каком-нибудь Фонтане. Спрашивается: зачем князю столько? Ответ элементарный: а надо! Для забавы

и полного средневекового счастья без границ. Ещё вопрос: откуда князь комплектовал свой гарем? Со Степи! Каким способом? Обычное дело. Князьи дружинники, которых называли соколами, устраивали себе потеху на пограничьях и не столько с воинами половецкими воевали, сколько молоденьких половчанок излавливали, и прямоком – в княжеский двор. Самая ценная добыча, по нашему говоря, трофей – непочатая девка. Вот. А теперь скажите мне, кто здесь соколы и кто здесь лебеди?

– А лихо же летописцы слог раскудрявили! – воскликнул Князь.

– Вот уж не знаю, мраком покрыто, кто больше раскудрявил. Может, и не летописцы вовсе. Может, те, кому текст после летописцев попал. Переписчики, допустим. Или переводчики на удобный лад. Жуковский, например, Василий Андреевич, учитель побеждённый. А после него – и Заболотский, и советские академики. Но Василию Андреевичу я больше всех не прощу за искажения.

– Да ему-то уж всё равно...

– Зато мне не всё равно, судырь мой. У Василия-то Андреевича как раз и не хватило чутья на правду и воображения, чтобы исправить одну простую ошибку переписчика.

– Да что вы такое говорите, Ерусалимыч? Не понимаю!

– Объясняю, Игорь Святославич, с моим разумением. Вспомните, что в Слове, в самом начале, говорится про Бояна? Боян бо вещей... Ну-с, дальше?

– Растекается?

– Продолжайте, продолжайте...

– Растекается мыслию по древу. Так?

– Так Василий Андреевич и переложил старославянский слог. Шибко ему, стихотворцу, понравилось, видать, это «мыслию по древу». А на самом деле никакой мысли и не было. То ли переписчики поднапутали сослепу, то ли сам Жуковский залетел от восторга в такие выкрутасы, на которые отваживались только футуристы двадцатого века, но никак уж не сочинители летописей. А знаете, что было в изначальном тексте?

– Интересно!

– Была мысль, вот что. И растекался, значит, Боян мыслью по древу, серым волком по земле, сизым орлом под облаками. И всё очень красиво становится на свои места. И никаких подпоручиков Кижже!

– Мысль, говорите? Чудесно. И что же это за зверь?

– Белка, Игорь Святославич. По словарю Даля – обыкновенная белка. Её на Псковщине издавна и посейчас так и называют: мысль.

– О, Ерусалимыч! Да вы же за академиков открытия делаете!

– Не обижайте меня, старика. Не люблю академиков. Это ж они тайны Слова придумывают. Тайны, которых нет и в помине. Это для самих себя академики работу сочинили, проблемы, вопросы, за которыми потянулись должности, кафедры, научные школы, учёные

степени, звания, хорошие зарплаты, академические пайки и тому подобные блага. С таких-то позиций наших академиков не свернёшь, не сковырнёшь. Постучать мыслью по дереву – это они могут, но посмотреть на текст простым, без сверхучёной мутоты, взглядом они уже не могут, бедные, и не хотят. А ведь как всё просто на самом деле! Как белка по дереву, волк по земле, орёл под облаками... Но у академиков – нате, хрен в томате, мысль растекается. Беда. А всё Василий Андреевич начудил.

Князь головой покачал:

– Интересно девки пляшут, как у нас во дворе поговаривают. А вам надо бы написать о своих открытиях туда, куда следует.

– Куда-а-а?

– В Академию наук, в первую очередь.

Ерусалимыч мелко засмеялся:

– Ага! Однажды кричала лебедь в терему... Кто услышал? То-то, судырь мой. А мне писать грех. Мне вообще писать ничего не надо. Моё дело маленькое: страничку к страничке подобрать, книжку к книжке приставить – и всем всё станет ясно и понятно, где тень, где плетень.

– Книжки со свалки? Из мусора? Так то же совершенно случайно выходит, Ерусалимыч!

– А всё – как в жизни, Игорь Святославич. И свалка, и мусор, и случай, который сам по себе и есть дело случая. И всё на свете уже написано, нужное и ненужное, хорошее и плохое, всё. Остаётся только прочесть. Но вот это дело, оказывается, самое трудное, трудней письма.

– Не научились?

– Вот уж не знаю. Уж сколь веков кошке под хвост улетело... Но надеюсь, что когда-нибудь научимся. Есть маленькая надежда. Без неё, вообще-то, никуда, ни взад, ни вперёд, ни сбоку вприпрыжку. С надеждой даже и назад ежели оглянешься, так и то дивно, что самого себя, многогрешного, увидишь в том огляде. Иди, значит, и оглядывайся? Так, так. Иду и оглядываюсь. Петра Яковлевича Чаадаева вспоминаю, наизусть запомнил: когда говорят о какой-нибудь культурной нации, что она находится в застое, то надо прибавить, с каких пор она пришла в это состояние, иначе эта фраза совсем не имеет смысла. Но тут я опять малость несогласный. Может быть, не так уж и важно «с каких пор», а важней и нужней «до каких». Но последний вопрос познабливает.

Закурили...

– Не удивлюсь, – сказал Князь, – что вы определённо знаете даже автора Слова.

– Опять двадцать пять! – Старик хлопнул себя ладошкой по лбу.

– Игорь Святославич, батюшка, вы меня удивляете, как чистое дитё. Да ведь вам же голос был во сне! Чего ещё знать?

– Голос голосом, а научный факт – совсем другое.

– Ладно. Будет вам факт. Но сперва вопрос на засышку: можно ли не заметить имя автора, если оно написано на титульном листе книжки?

– Шутите, Ерусалимыч. Конечно, нельзя.

– А я говорю: можно. Вы запятые любите?

– В жизни?

– И в жизни тоже. И в грамматике. Вообще.

– Да как вам сказать... У меня с запятыми, помню, сложные отношения образовались, но то было ещё в средней школе. А сейчас понимаю: нельзя, конечно, без запятых. Они и смысл располагают, и порядок. И закономерность в них, и правила. Наконец, – эстетическая завершённость.

– Да, да, я понимаю. Эстетическая завершённость. Это как слово «жопа» в толстовском «Войне и мире». Сначала я этой жопе удивился: чего это Лев Николаевич так опростонародился? – а сейчас понимаю, с ваших слов, Игорь Святославич: эстетическая завершённость. Замечательно. Но вот только в средние века летописцы чихали на такую завершённость, как запятые. Летописцы на вес золота ценили пространство пергаментного листа, относились к нему экономно, бережно, совсем не так, как русские князья к своим землям. Летописцы слово к слову прижимали, и знаков препинания вообще не было, текст шёл слитно, без спотыкачек, цепочкою, звеньешко к звеньешку. И вот что, думаю, случилось с рукописью Слова, которое в подлиннике было озаглавлено без единого знака препинания: Слово о полку Игореве Игоря сына Святославля внука Ольгова. Запомните. Дальше. Когда рукопись попала в руки переписчиков-переводчиков, они выкинули из названия слово «Игореве» – нашто, дескать, такая туфталогия, чтобы имя Игоря в одном ряду дважды поминать! – и для пущего, как вы говорите, порядка и правила, воткнули в заголовок две запятые. И получилось у них: Песнь о походе Игоря, сына Святославова, внука Ольгова. Всё! Хана! Сгубили тогдашнюю правду истории, не заметив в названии имени автора.

– Неужели так просто?

– Ужели, ужели, судырь мой. Именно в таком усовершенствованном виде и появилось Слово в издании Мусина-Пушкина и положило начало роковой ошибке на двести лет, и та ошибка задала хорошо оплачиваемую работёнку академикам. Ладно. Пусть академики не могут растекаться без знаков препинания. Так хоть бы поставили эти знаки на место! Нет. По сохранившимся образцам, где русские летописцы всегда озаглавливали свои труды на один лад: сначала – название сочинения, потом – имя автора в родительном падеже. Например, Хожение за три моря – кто писал? Сам Афанасий Никитин. Потому что он так и озаглавил рукопись: Хожение за три моря Афанасия Никитина. Другой пример: Слово Даниила Заточника. Третий пример: Задонщина, Слово о Великом князе Дмитриии Ивановиче и о брате его князе Владимире Андреевиче Софония – слово! – старца Рязанца. Ну, и ещё один пример,

для полного блаженства истины: Песнь о вещем Олеге Пушкина Александра сына Сергея внука Львова. Так как же, Игорь Святославич, мы с вами назовём предмет нашего душевного разговора?

– Слово о полку Игореве.

– И чьё же это сочинение, судырь?

Улыбается Князь:

– Игоря, сына Святославля, внука Ольгова.

– Точка, значит, с этим вопросом. И слава богу. Привет академикам. Правильный сон к вам явился нащёт тёмного прошлого. Это хорошо. Это, значит, память заговорила, судырь. Но упаси господь присниться светлomu будущему. После таких снов жить нормально уже будет нельзя. Как же жить, когда не только что изнутри всё про всё знаешь, но даже на лице всё будет написано?..

Ерусалимыч ворковал, точно голубь, да Князь уже и не слышал его, чудного старика.

Князь снова откинулся на спину, глаза закрыл и видел уже никакой не сон, но самую настоящую явь со всеми её красками, звуками, запахами... – московский двор на Арбате, коммунальную квартиру, где давным-давно жил мальчик с мамой-белопшвейкой, у мамы был чудный голос, колоратурное сопрано, но она всю жизнь свою прострочила на швейной машинке, мама любила мальчика, как все мамы, но, не как все, говорила ему на улице, зимой и летом: мой мальчик, закрой рот, не то простудишь гланды; и мама же привела мальчика за ручку в драмкружок при Доме пионеров, мальчик брыкался и упирался, он плакал и даже описался, он не хотел в кружок, ему нравилось гонять с мальчишками во дворе резиновый мячик, наполовину красный, наполовину синий, а пополам была белая полосочка, как на рыболовном поплавке, но мальчик стал послушно ходить в драмкружок, ему было стыдно расстраивать и обижать маму, и очень скоро в том кружке придумали такой театральный номер: двое мальчиков под крашеной простыней изображали лошадь, а третий мальчик, который полегче, сидел на той лошади, он был князем Игорем из древней истории... о, как хотелось сидеть князем, да ещё из истории, или, в крайнем случае, помещаться в голове лошади, но мальчику, который не желал обижать маму, досталась роль задницы, по антропометрическим данным, как сказала руководительница кружка, и мальчик исполнил роль, но был очень огорчён таким антропологическим амплуа, в котором он сидел, и мама говорила, утешая: не огорчайся, мальчик, это место лошади, которое ты занимаешь под искусственной шкурой, называется «задние плечи», а совсем не так, как его называют во дворе грубые невоспитанные дети... и мальчик, дурачок такой, недоумевал от взрослой воспитанности, в которой жопа есть, но слова такого нету... ах, мама, ситцевая душа, царство ей небесное, в её жизни, с её войной и миром, как будто бы и не было другой войны и другого мира из толстого рома-

на зеркала русской революции, который, словно семечки подсолнушные, прощёлкал дотошный старик Ерусалимыч, а случись – так она, мама, и самому Льву Николаевичу попеняла бы за нехорошее слово, запрещённое к употреблению не столько партией и правительством, сколько её собственной, женской, материнской, охранительной эстетической завершенностью... что первый ученик, что последний дурак – всё ж для неё едино, когда – сынок кровный, вот это и написано, дорогой Ерусалимыч, у неё на лице, это уж потом мы, Ерусалимыч, повзрослев да наглядевшись народонаселения, стали мало-помалу замечать, что у кого чего написано, да, видать, сроку не достанет, чтобы научиться толком прочитывать, а, прочитав, сообразить: как славно устроено в свете, что столько лиц в нём! и ведь совсем не знаки препинания они, эти «точка – точка – запятая – минус – рожица кривая», не знаки препинания, но знаки откровения, они разные, они хорошие, их любить суждено, даже Собакевича, даже Плюшкина, имя которого редкий читатель сообразит, это уж Николай Васильевич Гоголь так расстарался, загадку заложил, запрятал в старшую дочь Плюшкина, в Анну Степановну, которая со штаб-ротмистром убежала, негодница... а что такое Плюшкин, скажите на милость? а что такое какой-то кучер Селифан, ответьте пожалуйста? кто ж они такие, если не личности, даже и в том случае, пусть каверзном, когда на лбу этой личности словно бы толстым химическим карандашом жирно написано «дурак» – значит, какой-никакой, а – живой человек, брат твой, и худо, хуже некуда, ежели вообще ничего не написано, человекоподобные люди получают, вот кто тогда мёртвые души и живые трупы, а не Степан Плюшкин, собиратель трофеев войны и мира в собственной жизни и судьбе...

– Ну, что, судырь мой, Игорь Святославич, может, до хаты потопаем? Обед сгоношим. Бебешкин обещал из города свежие газетки принести.

– Да-да, Ерусалимыч, пойдёмте, однако, – ответил Князь, а под закрытыми веками живая картинка наплыла, со старого московского двора на Арбате, где стоял мальчик в чёрной бархатной курточке и с большим бантом под воротником рубашки, стоял и стоял, прощался с красно-синим резиновым мячиком, а потом невоспитанные мальчишки отвесили «артисту» замечательных пиздюлей, сказали, что – от обиды за футбол, а ещё за то, что этот, который с бантом, не поступает, как все настоящие пацаны... и пусть! и пусть! мальчик не плакал, его уже кой-чему, в том числе лицедейству, научили в кружке, по системе Станиславского, но вот как они, пацаны во дворе, без «артиста» будут играть в прятки? никто, кроме мальчика с бантом, не умел так ловко, совершенно по-партизански, запрятываться... «Пуля лети!» – кричали игроки. «Дробь сиди!» – кричали... Что к чему? А вот к чему. Вот как было-то. По правилам и как жребий выпадет, воспитанные и

невоспитанные дети, соединившись для одной игры, делились на две партии, каждая со своим выборным атаманом, одна партия прячется, другая ищет и ловит, в плен берёт и ведёт пленников в конец, да, в «конец», то есть в то определённое место, откуда игра начинается, короче говоря, конец – это и начало, и плен, интересная игра, с философией, ничего не скажешь, когда нечего говорить, да! и вот уже все пойманы и переживают в плену за одного-единственного товарища, который ещё остался на свободе, на него ещё остаётся надежда на всеобщее партийное освобождение, а другая партия, охотники-сыщики, рыскают, как собаки, хуже фашистов, хуже немецких полицаев, а мальчик в бархатной курточке затаился в своей упряжке, сердце его замирает, вот-вот найдут, уже полицай в двух шагах, а из плена кричат: «Дробь сиди!» – и мальчик вжимается сам в себя, в незаметный комочек, закрывает глаза, но уши-то, уши наостре! уши ловят все сущие и несуществующие звуки, пока, наконец, не донесётся из плена ликующее: «Пуля лети!» – и тогда мальчик стремительно вылетает из хитроумного укывища и что есть сил мчится в «конец», в тот «плен», где подпрыгивают от нетерпёжа его однопартийцы, и мальчик, конечно же, успевает добежать до места и перехлопать-застучать ладошкой каждого пленника, тем самым, значит, освободить их, выпустить на волю, и тогда игра продолжается, и близкий конец её перемещается в неопределённо отдалённое начало, а мальчик... что ж, мальчик в бархатной курточке был послушным, ему казалось, что он умный и ему по силам изменить мир, а потом он стал взрослым и изменил только самого себя, и таким образом в мире одной сволочью стало больше...

– А я это... забыл сказать, Игорь Святославич. Вы как только ушли с Чапаем после завтрака, так ко мне на чёрной «Волге» прикатили.

– Академики?

– Какие там? Не шутите. Из крайкома мужчина, из крайисполкома женщина, мужчина из Москвы и генерал из милиции. Вежливые до невозможности. Вас спрашивали.

– И вы что?

– Да что я? Сказал: гуляют Игорь Святославич с Чапаем. Как два ветра в поле.

– А они что?

– Сказали: надо брать.

– Кому сказали?

– Мужчина из Москвы – мужчине из крайкома.

– А генерал что?

– Сказал: так точно, будет сделано.

– Понятно. А кого брать?

– Я думал, что меня. Но меня не взяли. Потом подумал, что поэта Феликса Хворобушкина ищут, он у меня ещё до вас, целую ночь

от клеветников России укрывался, но этот Феликс уже утёк от меня в неизвестном направлении, как парус одинокий. Значит, вас братъ, Игорь Святославич.

– А потом что?

– Уехали. Извинившись и попрощавшись.

– Ну, ладно, пошли, Ерусалимыч, – сказал Князь и рывком поднялся с земли в полный рост.

И покуда он отряхивал подстильную телогреечку, из-за Целкиной горки вытек ж-ж-ж-железный стрёкот, а вослед за ним, из-за памятника партизанскому коню, медленно выплыла зелёная стрекоза.

Вертолёт шёл крадучись, на низкой высоте, и остановился в небе, зависнув над наземной, скульптурно неподвижной группой из трёх персон, включая Чапая.

И раздался вширь и вглубь, заглушая шум двигателей, глас с неба:

– Здравствуйте, уважаемый народный наш артист Игорь Святославович! К вам обращается исполняющий обязанности начальника музыкального сектора отдела искусства Министерства культуры эсэсэсэр Кильдишев Антон Ефремович. Вы меня должны помнить, Игорь Святославович, по Москве и по зарубежным гастролям во Франции. Я прибыл в Хибаровск по специальному поручению министра, который действует в соответствии с указанием отдела культуры Центрального Комитета Капээсэс. Во-первых, огромное вам спасибо, дорогой наш Игорь Святославович, что вы не стали отщепенцем нашей Родины, а то мы уже подумали... Но мы даже из-за реки услышали ваш замечательный, достойный не только Большого Театра, но и всех мировых сцен, баритон. Мы к счастью всего народа услышали ваш голос пополам на русском и на иностранном языке про коня в бриллиантах и про товарища Чапая. И скажу вам откровенно, дорогой Игорь, позвольте уж мне вас так называть по старой памяти, репертуарчик у вас новый, интересный, народным фольклором наносит невыносимо, и это выше всех похвал...

LXX

1

– Выше всех похвал?! – придушённо зарокотал Князь. – Меня! Хвалит! Эта сучара поганая! Антошка! Ну, блядь, докатился, значит, до начала конца бывший мальчик с бантом...

А голос с неба, усиленный мегафонно, падал и падал:

– ...вы всё ж таки не купились за доллары! Вы всё ж таки остались в нашей, как говорится, Палестине, не то, что некоторые, у которых в нашей Палестине было всё, и материальное благосостояние, и почётные звания, и квартирный вопрос, но, несмотря на такую заботу, они предпочитают оставаться во время гастролей в Америке и так далее, и просят политического убежища. И вы, уважаемый Игорь Святославо-

вич, по-товарищески просто Игорь, вы всё ж таки должны и обязаны сказать своё последнее слово на отщепенские поступки своих бывших коллег. А теперь я передаю слово товарищу из ваших органов. Товарищ прочитает вам обращение, текст согласован с вашим управлением культуры... Давай, генерал, валяй в темпе...

Небо прокашлялось и объявило:

– Раз, два, три... Как слышите меня? Внимание. Уважаемый гражданин народный артист Советского Союза. В целях сохранения культурного наследия предлагаем вам добровольно сдать органы правопорядка для последующей депортации в город Москву по просьбе трудящихся Большого театра Союза ССР. Сопротивление бесполезно. Вы окружены...

– Стой, генерал! – ахнуло небо. – Ты с ума сошёл? Мы такую концовку не согласовывали! Идиот!.. Внимание! Дорогой Игорь Святославович! Это опять я, Кильдишев Антон Ефремович. Тут маленько товарищ генерал из органов оговорился, это он чуток переборщил, служба у него, понимаете ли, такая напряжённая, что иногда бывает немножко не того. Но и вы поймите, Игорь Святославович, во-первых, вы должны дать отпор и публично сказать решительное «нет» отщепенцам, балет нехорошо себя ведёт, и солисты оперы то же самое, зарубежные гастролы превратили в лазейку. Это предатели и изменники! И вы лично должны показать пример советского патриотизма. И ещё поймите, Игорь Святославович: Большой театр Союза ССР под угрозой! Там уже практически нет кому петь, а кому есть петь, так те, пидарасы, под молодого Преснякова поддельваются, пицчат и стонут, стонут и пицчат, а чего пицтит этот так называемый Пресняков? Вы только послушайте чего он пицтит!

Небо вдохнула-выдохнуло – и пролило младенческую жалобу, тоненькую:

*Дай мне с дороги вдоволь напиться,
Чистой водицы дай мне, дай.
Ты расскажи мне про счастье былое
И положи спать рядом с собою-ю-ю...*

– Слышите, Игорь Святославович? Это лично я пицталку Преснякова изобразил! Похоже? Все товарищи говорят, что похоже. Кстати, у меня в своё время был приличный голос, тенор, и я бы тоже мог... Впрочем, талантливых пародистов не так уж много, недурственный жанр. Да. А сам товарищ министр сказал на коллегии про того Преснякова: чего это он всё пицтит и пицтит, этот волосатый младенец? дайте ему соску, успокойте мальчика! и ещё скажите ему, чтобы он сначала побрился, засранец, а уж потом появлялся на голубом экране на обозрение Советского Союза! А товарищу министру тут же докладывают: не хочет соску, хочет дочку Аллы Пугачовой уконтрапупить. На что товарищ министр добродушно заметил: не хватало нам ещё этих чучел... Короче говоря, смех и грех! Вот так и получается, дорогой вы наш Игорь, что кроме вас

уже и некому рявкнуть богатырским, настоящим советским баритональным басом на разных отщепенцев и Пресняковых. А также мы имеем сведения, что вы вообще уважаете гужевую тему, в смысле коней. Но вы не беспокойтесь. Мы обеспечим. Лично у меня в Подмоскovie есть знакомая лошадь. В смысле, конь. Будет лично ваш. Итак, я полагаюсь на ваше благоразумие и патриотизм. Надеюсь, что вы меня хорошо слышали. Жаль, что отсутствует обратная связь. Но ничего. Шум винтов не помешает нам с высоты увидеть ваше понимание ситуации. Сделайте нам знак, что вы всё поняли, поддерживаете и одобряете...

И Князь сделал.

Жест – потрясённый серп и молот из двух скрещённых рук! – который, в свою очередь, так умилил товарища Краснопресненского-Крестовоздвиженского, шокировал секретаршу Аномалию Андреевну Курбскую и является обычным бессловесно-образным выражением личного мнения слесаря-сантехника Краснознамённого ЖЭКа №25 товарища Кувыкина.

И небо огорчилось гласом:

– Да? Вот как? Паразит ты всё ж таки... Ладно! Давай, генерал. Начинай операцию.

Через пять секунд взвилась и обрызгала небо красная ракета на стихи и музыку Б.Ш. Окуджавы из кинофильма «Белорусский вокзал». Это была настоящая ракета, не целлулоидная...

Уже позднее, после событий, Сочинитель сообразил-таки, почему в войсковой операции силами трёх отделений из личного состава внутренних войск МВД, ОМОНа и привлечённой для усиления отдельной стрелковой роты охраны и сопровождения воинских грузов Министерства обороны СССР, в касках и бронежилетах, при двух колёсных бронетранспортёрах по флангам и одной боевой разведывательно-дозорной машине по центру... – почему, вместо артподготовки или прожекторного удара, с успехом опробованного нашими полководцами под Берлином, вдруг грянула музыка: психологическая атака!.. О, стратеги военного искусства! О, виртуозы тактики и стратегии! О, мастера, подмастерья и верные ученики боевых уставов пехоты! Приидите и обратите опыт покорения артиста!

...не целлулоидная, однако! Затем три мощнейших динамика враз оглушили плацдарм произведением товарищей М. Матусовского и В. Баснера из кинофильма со странным названием «Тишина»:

*Дымилаь роща под горою
И вместе с ней горел закат.
Нас оставалось только трое...*

И заржал Чапай боевым голосом гражданской войны в великой отечественной литературе, вскинув голову с прижатыми ушами.

И заревел Князь, лицом красный, рёвом военно-полевым, половецким:

– Да-а-а? Вы, значит, вот ка-а-а-к?..

*Светилась, падая, ракета,
Как догоревшая звезда.
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда...*

Странно: из бронетранспортёров высыпавшиеся вои с автоматами поплюхались наземь и энергичными ящерками поползли вниз по склону Целкиной горки, с трёх сторон суживая кольцо окружения... Чёрт знает что! Зачем ползти-то?

– Значит, вы та-а-ак? Да я бы и сам вернулся туда, куда хочу. Но так, чтобы силком? Под руководством мудака Антошки? Вот уж херушки, ребята! Ничего у вас не выйдет...

Между тем, вои с криком «Ура!» поднялись в атаку и, разворачиваясь в цепь, бежали по склону, треща выстрелами холостых очередей из автоматов имени Калашникова со складывающимся прикладом.

В небе трещал вертолёт.

*И как бы трудно ни бывало,
Ты верен был своей мечте
У незнакомого посёлка,
На безымянной высоте...*

– Всё в порядке, – сказал Князь Ерусалимычу и погладил Чапая по вздрагивающей шее. – Всё в полном порядке. Не беспокойтесь. Ступайте потихоньку домой. Вас не тронут. Учение у них, понимаете ли. Манёвры...

Одним махом, как заправский кавалерист, взлетел Князь на коня – без стремян, без седла, без узды...

«Всё в порядке! Поиграем, ребятки! Вы – в свою игру! А я – в свою!»

– Вперёд, бродяга! Гэй!

А Чапая не надо напонуживать. Чапаю вообще не надо многое говорить. Он всё понимает.

Аллюр три креста!

Гайдар шагает впереди!

*Слышишь,
товарищ,
гроза
надвигается!
С белыми
наши
отряды
сражаются!*

Только
 в борьбе
 можно счастье
 найти!

Гайдар!
 Шагает!
 Вне-
 ре-
 ди!

Вои позаскакивали на бронетехнику, и три боевые машины, труппа стволами, автоматными и пулемётными, устремились вниз по склону, в погоню, в погоню, не дать всаднику уйти далеко!.. перед ним – насыпь железной дороги... за ней – река... не уйдёт!

Эх,
 не рви ты,
 Чапай, гэй!

Свою
 новую
 сбрую!

Свою
 новую
 сбрую!

С само-
 цвета-
 ми-и-и...

Погоня, погоня, погоня, погоня в горяче-е-еей крови!
Красные дьяволята!
На крутой железнодорожной насыпи Князь не удержался на боевом коне.
Беда, республика!
Обдираясь до крови о щебень и насыпной шлак, Князь скатился вниз... Чапай же, преодолев крутизну, крутился со ржанием на рельсах. Вои с автоматами окружили Князя.
Что им делать дальше, они не знали.
На рельсах призывно ржал Чапай.
И снова заревел Князь, лицом белый:
– Уходи, Чапай!
И Чапай всё понял. Ему же не надо многое говорить.
Он всё соображает, Чапай.
Он рвётся к реке, к последнему рубежу: да я бы и сам! я бы и сам вернулся туда, куда нам с Князем надо! но чтобы вот так? под руководством треска и шума? нет уж, херушки, ребята, ничего у вас не выйдет! играйте без меня...

Он вылетел на обрывистый берег и на полном ходу – в воду.

...Дивно мне время действия. Чудно. Забавно. И смешно, и страшновато вместе.

Чтобы воочию увидеть время, нехитрое действие понадобится: вот весенняя веточка с набухшей, готовой к зелёному взрыву, почкой; вот, уставившись неподалёку, неподвижная тренога с киносъёмочным аппаратом, чудом двадцатого века, с изрядным запасом чувствительной целлулоидной плёнки, синема, дерзкая шутка братьев Люмьер: мотор! хлопущка! начали! – и день, и ночь, безостановочно, без обедов и перекуров, стрекочет кинокамера, вбирая в себя, в толщу эмульсионных слоёв, невидимое человеческому глазу движение жизни: предродовой вздрог веточкиной почки, после которого она лопается, две скорлупки – как две размыкающиеся ладони, как две мачты у стартующей ракеты! – раскрываются, выпуская в свет планетного новожила, существо сморщенное, наихрупчайшее, но упрямое, оно выкручивается из собственных складок и извивов, напрягаясь и ворочаясь, распрямляется, вытягивается, в росе и солнечном луче, охорашивается узорчатой оборочкой, растёт, покачиваясь на черенке, и в какой-то миг вдруг замирает в росте, будто бы само себе удивилось: вот я какой, лист древесный! живу! – и нет мне дела до вашего кина с его абсурдной, двуличной, как две стороны одной монеты, противоречивой концепцией, в которой фильму ставить и снимать – одно и то же... Хлопущка. Конец. А после конца эту киноленту в другой аппарат поместят и в свете пронзительного светового луча станут раскручивать её магию в ином режиме, в сжатом, в ускоренном темпе, такие-то фокусы, скорости менять по желанию кинщика синема умеет: неделя жизни = минута на экране, и невидимое становится зримым...

Одолевая водовороты, перебарывая течение, осиливая стремнину, Чапай плыл к берегу, и тот становился всё ближе и ближе. Река падала в ноздри, в глаза, Чапай фыркал и вытягивал шею, а голову надобно всегда держать высоко, вообще по жизни, а в воде – тем паче чаяния, как говорит генерал Поцелуйко.

И всё оглядывался, оглядывался Чапай: где Князь? как там Князь? с кем воюет? может, уже и плывёт вослед? Нет Князя. На оставшемся берегу он, на высокой насыпи, и там же столпились эти шумные пацаны в пятнистых одежах, с блестящими круглыми головами, выпускающими солнечных зайчиков.

Пацаны махали руками и кричали:

- Давай, давай!
- Маленько осталось, Чапай...
- Давай, давай!
- Ещё чуток...

...Дивно мне действие времени. Чудно. Забавно. И страшновато, и смешновато вместе.

Чтобы воочию увидеть действие, нужно время: годы, десятилетия, а то и века.

В полёте шмеля, запечатленного на киноплёнке, есть не только траектория, есть движение прозрачных крылышек, гармоничное, как музыка, но музыка на сверхскоростном аллегро, недоступном восприятию человека, и тогда он, человек, иллюминат этакий, раскручивает магию киноленты в ином режиме, в растянутом, замедленном темпе, такие-то фокусы, скорости менять по своему хотенью, синема научилась: минута жизни = час на экране, и невидимое становится зримым...

И за шумом-гамом человеческих голосов, бронемашинных двигателей и вертолётных винтов никто из производителей действия не смог услышать глухого хлопка с вершины Целкиной горки, от постамента, на котором жил, словно отдушина в мёртвую душу, вовсе никакой не конь, то есть не кобель и не кобыла, и даже не лошадь, а искусственное недоразумение, охраняемое государством...

О, если бы между Чапаем и снайпером был бог! Но бога не было, его отменили. Был Сочинитель. И была пуля.

И вот Сочинитель вместо того, чтобы развивать, упорядочивать и обогащать эстетические отношения искусства к действительности; вместо того, чтобы сочинять сочинения о любви, дружбе народов и мире во всём мире; вместо всего этого и иного прочего, что так и просится пошоркаться на бумажке, Сочинитель берётся сочинять сочинение о пуле и о винтовке СВД с оптическим прицелом; Сочинитель, конечно, может рассмотреть оную пулю, замерев дыханием и остановив мгновение, тем самым как бы замедлив движение летящей убойной силы, как это позволяет себе делать синема, однако остановить полёт пули Сочинитель, увы, не может, не в силах, не в состоянии, не властен он, не те полномочия у Сочинителя. Он смотрел на снайпера, а видел пулю. Он смотрел на плывущего Чапая, который вот-вот нащупает берег, но опять-таки видел пулю. Сочинитель смотрел туда и сюда, на два берега разом, а видел – металлическую дурочку. Это было странное зрение. Но если бы Сочинитель был достаточно образованным человеком, то он не стал бы крутить башкой туда-сюда, он удовлетворился бы зрелым доверием к тому, что зуб неймёт, но существует – и ни в зуб ногой, без сочинительского вертухайского головокружения, без вышестоящих решений в свете постановления, без морально-строительных кодексов, без знамён и звёздных знамений, напившихся крови, без великих починов, без обязательств, долгов и соревнований; подумашь – остановить мгновенье возни! да хоть все семнадцать! – дело нехитрое, об этом любой хирург знает, и математик, и адвокат, и

литературный критик, и астроном – вот профессионалы, остранные, уверенные мясом, десятком цифр, красноречием, ножницами и парсеками, невозмутимые мастера, циничные авгуры, без ахов и охов, тем более без этого продолговатого паровозного «О», на котором вообще далеко не уедешь – ни в крупном плане, ни в мелком масштабе, из коих тот же Сочинитель, затеявший рассуждения по-крупному счёту и по-мелкому бесу, сделает как раз всё наоборот, шиворот-навыворот, будучи не в состоянии уразуметь того, что мелкий-то масштаб – это глобус, модель планеты, а крупный – это его, Сочинителя, семь соток на дачном участке... да уж, бывает, что и у авгуров случаются прорехи в ихнем авгурстве, так ведь это бывает не так уж часто, да и то лишь тогда, когда у человека образуется излишек неба, но при этом не хватает истории, вот тогда даже такая неземная, возвышенная наука, как космология или астрономия, допускает снисхождение до гвоздя в подошве, до песчинки в почке, до монетки в кошельке, но уже оттуда, из праха и чуши несусветной, снова и снова улетает в астрал, ко взаимному удовлетворению галактики и песчинки... был такой знаменитый звездочёт Джон Гершель, так вот: ходил и приставал к людям со странным вопросом, ненормальным: «Можно ли одновременно видеть две стороны одной монеты?» – и люди, конечно, отвечали нормально: «Помилуйте, сэр, как же можно? Никак нельзя!» – и тогда сэр Джон, изрядно разозлившись, вынимал из кармана золотую гинею... он мог бы и золотой соверен вынуть, и шиллинг, и даже пенс, но сэр, очевидно, для вящей убедительности и чистоты эксперимента, привлекал к дискуссии именно гинею, эту аристократку в системе английских денежных единиц, именно в гинеях выплачиваются гонорары писателей, адвокатов и артистов, в гинеях оцениваются драгоценности, меха, оперные ложи и лошади на ежегодной неделе королевских скачек в начале великосветского летнего сезона (лошади, лошади скачут! – не короли), и на аукционе Сотби, где идут с торгов антиквариат и произведения искусства, тоже царит эта guinea, весьма убедительный кружок двуликого металла, с аверсом и реверсом... – так? сэр Джон устраивал монету ребром на поверхности стола и лёгким щелчком принуждал её вращаться, причём, довольно быстро, так быстро, что ответ на вопрос сэра Джона мог быть только – очевидно! – утвердительным, и вот за этот незамысловатый фокус ухватился очевидец, тоже сэр, физик Фитон: картонный кружок, на одной стороне птичка нарисована, на другой – ажурная сетка, быстро вращается картонка по вертикальной оси, быстро, как только возможно в такой научно-художественной самодеятельности, и что же видят леди и джентльмены? – птичку в клетке! – так в середине девятнадцатого века родилась детская игрушка «Таумотрон», прообраз будущего кино братьев Люмьер, но в начале-то – астроном Гершель, звезда и денежка, вот ведь какой цинизм высшей пробы, путь вселенского крохобора, это уж потом, потом, из иных золотых сечений: и Герцен вышел от мелочей жизни к

«Полярной звезде»; и Гершвин, служивший подмастерьем у каждой золотой клавиши рояля; и серебряный чёртик русской литературы, «Асыка Первый, верховный властитель всех обезьян и тех, кто к ним добровольно присоединился, презирая гнусное человечество, омрачившее свет мечты и слова»... этот серебряный чёртик, взвихренный охреневшей Русью, шуршащий шоколадной фиговой фольгой, посреди реквизитов и атрибутов: кровавого мора, между сыпным и тифозным, в огненной мать-пустыне и великой тощете, на своей воле и в красном звоне, в медовом месяце, как заяц на пеньке, как красная ворона, в загородительных вежах, на даровых хлебах, по бедовому декрету, в шумах города, по пунктам и сверх, весь в зенитных зовах... – даже он, царь обезьяний, усумнился вдруг, закрутился на месте, волчком: революция али чай пить? – а вот и зря закрутился, зря, то есть зазря, ибо зря собственными глазами революцию и чай одним разом, мог бы, при достаточной образованности, сообразить, что после революции чай не пьют, что между – как, допустим, у образованных дальневосточных народов – стоит процесс, ритуал, церемония, с фарфоровой чашкой в благодатно-сосредоточенной тишине, после которой – глядишь, и суэта не та, и маета не суть, и в центре мира ветка сакуры цветущей неделима, и аккуратные пунктуации философских выборов в духе несозерцательном, в разрезе то ли будет – то ли нет, то Тошиба – то Тойота... – то-то! ис-та-я-ли! – и вихри враждебные улетучились, и призраки, шастающие по миру, отступили в тень, где им и положено знать своё место и обретаться... Нет, нет! Сочинитель, вечный путаник, титаник, у него необратимое профессиональное головокружение, он всегда нетрезв, как неудачливый факир, он шарахается и от блюдце-мистического столоверчения, и от опытов над вселенной, а то ведь, не дай бог, ещё чего-нибудь накаркаешь, накукуешь, упаси господь, довольно и того, что домашняя планета без его, сочинительских, усилий, приятная во всех отношениях, на три четверти голубая, а в последней четверти, в четвёртой, – коричневая, жёлтая, зелёная, с серебряными пятнышками Бледовитых Океанов на полюсах – и посему поэтому, и по всему тому Сочинитель как лицемерный поборник многоточий зрения ничего не увидит в горизонтальном круге собственного головокружения, кроме птички в клетке...

И летела она, пуля, летела... – нет! не летела она, пролётка Летейская, летка-енка с цепной реакцией, помеченная обоюду Дикого Поля, Великой Степи, Запорожной Сечи: и Красивой Мечей, речкою ничтожной близ Куликовского побоища, и столь же ничтожной речкой Течей, сделавшейся изречённо известной лишь после всемирно полыхнувшей в центре России радиоактивной трагедии «Маяка»... – нет, не летела пуля, скользила она, как по лучу получившая гон, светом звезды, лучевой историей болезни, воспоминанием о жизни, точкой странного зрения, артефактом, последним, обязательным, актом ружейной пиески,

медленно-медленно, медленней самого искусно замедленного синема, так, что, мнилось, её можно было бы даже схватить точной рукой, однако, увы, дотянуться было нельзя, угол её атакующего поползновения по лучу не позволял дотянуться, мёртвая зона, мать её так-разэтак... – мягко, масляно раздвигала вострым носиком сдобный воздух, возмущавшийся позади и вослед вихорьками-кудряшками, закипавший молочной пенкою... и так же неумолимо ласково, беспрепятственно, безостановочно, ибо сдобе подобна черепная кость, пуля вошла в голову Чапая, и вышла, и шлёпнулась, обессиленная на излёте, никудышной каплей в текущий момент Куды: нежный железный овод...

2

Окружили вои соратника своего, снайпера, и стояли молча, набычившись.

И снайпер стоял, тоже молча, с кокетливой черёмуховой веточкой, украшавшей спецназовский шлем. Выглядывал в глаза то одного служебного товарища, то другого, то третьего, но те глаза оказывались тоже набыченными и не желали товарищества.

– Ребята, – прошелестел снайпер, – ведь он ушёл бы! Точно ушёл бы!

– Кто? – спросили ребята.

– Конь в пальто... Объект!

– Это был Чапай, – сказали ребята и добавили: – Гад ты, последняя сука и белогвардейская сволочь.

Снайпер хотел сказать про священный долг не щадить крови и самой жизни для защиты Отечества, однако слова присяги попрятались в самые укромные местечки воинского организма, скрылись со всеми своими гласными, согласными, шипящими, звонкими и глухими, и язык озвучил:

– Азарт же...

И тогда один из солдатиков засмеялся, сначала тихо-тихо, не разжимая губ, а потом смех, наращивая громкость, стал взрыдывать и срываться в вой... Смеющийся подпрыгивал, точно весенний мальчик в лужице, и кричал, прошивая небо автоматными очередями:

– Бобик сдох! Бобик сдох! Бобик...

Мальчика сбили с ног и, дёргающегося, упаковали под броню боевой машины.

Три бэтээра поползли прочь, к местам дислокации.

Пацаны в камуфляже сидели на бэтээрах и смотрели по-бэтээрски.

Небо рявкнуло напутственно:

– В Жёлтый Дом! Обоих! – и обернулось железной стрекозой, устремившейся в сторону города.

Через четверть часа доктор Штукарский принимал новых пациентов: «тяжёлого» солдатика, судорожно икающего, и «средней тяжести» Князя. Относительно последнего доктору были дадены указания:

гражданин сдаётся на сохранение (не в тюрьме же сохранять!), чтобы в короткий срок силами медперсонала привести его в приличный вид для последующего, в полной целости и сохранности, этапирования в Москву как культурную ценность не только Советского Союза, но и всего мирового оперного искусства, а посему содержать гражданина по высшему разряду спецобслуживания в условиях чрезвычайной ситуации, в отдельной палате, под прикрытием нежного пола, с хорошим питанием, спиртное не возбраняется, в общем, думайте, доктор, головой отвечаете...

А город Хибаровск ничего и не заметил. Он жил обычной жизнью и прожил этот день как всегда, в текущем режиме, без выдающихся достижений и столь же выдающихся мелких недостатков, в отчаянном соцсоревновании с Минусинском из Красноярщины и Плюссом на Псковщине, не считая островного города Лондона в непосредственной близости от гринвичского меридиана. Последний побратим в градостроительном смысле и в разрезе жилищно-коммунального хозяйства, по сообщениям нашей прессы, безнадёжно отстаёт, и ничего удивительного, ведь там капитализм, там хищническая эксплуатация труда, все факты жизни меряют на фунты, человек человеку есть не то чтобы друг, товарищ и брат, как у нас, а совсем как раз наоборот, то есть волк, но по унитазам они нас обогнали, это верно, унитазаы и прочая сантехника у них на высшем уровне, не будем этого скрывать, однако пусть они не радуются, по этому пункту мы их в ближайшие кварталы догоним и перегоним, обязательства у нас повышенные, темпы прямо-таки чудовищные, так что, если судить-рядить по радиоголосам и теледвижениям, нам в скором времени будет вообще не с кем соревноваться в ударном труде. Другой вопрос: как сейчас они там, у себя, эти леди и джентльмены, бритты бритые, в смокингах и тросточками-зонтичками, подводят ежедневные итоги состязательного побратимства? Наши массы этого не знают. Нашим массам это даже неинтересно. Потому что мы всё равно победим. Но ради исторической справедливости и чистоты эксперимента мы итожим день за днём, в реестрик складываем, в общую кучу дел, растущую прямо-таки на глазах, как бамбук, и сами, в единой сплочённой колонне, вокруг этой кучи движемся в новый день новым этапом...

По инициативе Хибаровского крайкома партии в краевом центре прошёл День Открытых Дверей, с 9.00 до 18.00, с часовым перерывом на обед. На следующий день «Огни коммунизма» будут освещать событие: «развитие демократии», «гласность», «связь с народом». Это хорошо. Но надо было бы этим «Огням» всё ж таки оповестить народ о проводимом мероприятии двумя-тремя днями раньше, а то народ в День Открытых Дверей подумал: руководство свои помещения проветривает, и то хорошо.

Ромка, сын цыганского барона, в этот день упорно дочитывал библиотечные книжки, взятые на летние каникулы, решив с завтрашнего утра переменить, не без сожаления, жизнь и судьбу: не мальчик уж, пора исправлять отцовскую дорогу, уходить на волю, собирать табор, одноклассники не в счёт, кроме, может быть, одной девочки-смугляночки, отличницы Гончаровой Наташи, её с собой уманить можно, а из пацанов – какие ромы? им бы всё шкодить по-мелкому да в прятки играть, не выходя из дома, дом-то наш, Кошкин, от восьмого этажа до самого верха весь пустой, одни железные рёбра торчат, твёрдое вещество стен искрошилось, выветрилось и улетучилось, никакого сравнения с Древним Египтом... – и уснул Ромка почти счастливым, и видел сон, как будто он с кем-то играет в прятки, а Наташа Гончарова сидит в плену, ждёт воли, и вот он, Ромка, улучив миг надежды, пулей летит в конец начала, подпрыгивающий от восторга... Спи, спи, муро щав, никто ещё не знает, ни ты сам, Ромка, ни отец твой, цыганский барон, ни мать, ни отличница Гончарова Наташа, никто не догадывается, как ты завтрашним утром, рано-рано, пока все ещё спят, наденешь красную рубашку и выскочишь из железобетонного подъезда, чтобы отправиться на поиски Чапая, солнце ударит в глаза, ты потянешься, сладко зевнёшь, и дворник Платонов увидит тебя, Ромка, выронит метлу из трудовых научно-фантастических рук, чтобы всплеснуть ими и прошептать: «Ой, Пушкин!» – и выпасть обморочно на асфальт. Да, за ночь, за одну ночь вырастут бакенбарды, совершенно пушкинские. Ну, и что тут такого? Ближе к обеду, когда ты, Ромка, будешь уже далеко от Кошкиного Дома, дед Молитвин объяснит растительное явление так: «Финамен. Бывает. Отпустил, значит. Но, обратный вопрос, куда-а-а?»

В истекшем рабочем дне города имелась ещё одна новость: комсомольско-молодёжная свадьба. Вообще, свадьба в сочетании с таковыми именами прилагательными, не новость. Но крайком комсомола исхитрился молодым умом, вычеркнул из сферы своих плановых интересов ранее существовавшие свадьбы, в основном юбилейные, как то: зелёная, ситцевая, деревянная, цинковая, медная, жестяная, розовая, никелевая, стеклянная, фарфоровая, серебряная, жемчужная, полотняная, алюминиевая, рубиновая, золотая, бриллиантовая, железная, каменная, благодарная, коронная, всего числом в 21 + дубовая, на французский манер, до которого в нашей местности люди вообще не доживают. Так вот, крайком комсомола, выдававший замуж райкомовскую Лялю за одного из инструкторов партийного крайкома, то ли Толю, то ли Колю, устроил свадьбу молочную: отныне и присно, ни грамма спиртного, новым обрядам – новую жизнь! Такой подход к воспроизводству

трудовых ресурсов вполне отвечал партийным постановлениям в русле борьбы с пьянством и алкоголизмом. Молочную свадьбу сначала планировали вынести за город, на свежий воздух природы, но товарищ Краснопресненский-Крестовоздвиженский посоветовал: не надо на воздух, надо в самом центре города устроить образцово-показательное это мероприятие, чтобы народ увидел и взял в пример. И комсомол ответил: есть!

Сам товарищ Кр-Кр посетил застолье во дворе Кошкиного Дома. Поздравил, вручил грамоту и ключи от «Жигулей», выпил пару бутылок молочно-кислой продукции «Кефир обезжиренный» и сказал, что – хорошо.

А после его убытия к месту службы стало ещё лучше. Правда, молоко в бутылках становилось, от бутылки к бутылке, все более бледноватеньким. Говорили: кумыс, кумыс... А бес его знает, может и кумыс, но откуда он в нашей местности возник, никто уж и не спрашивал, гуляли с размахом, по-комсомольско-молодёжному, с чернорабочим акцентом. Ляля, эта очаровательная чертовка, сидела между Толей и Колей, целовалась с обоими, а потом исчезла, и никто её не искал, недосужно было, перепились люди с непривычки, да так, будто бы в самый последний раз им водку бесплатно выдавали, пусть даже и разведённую, с молочком и кефирчиком, такой развод многим по вкусу пришёлся, одним разом питьё с запивкой и закуской, надо внедрять... Бедную Лялю нашли под утро, в канализационном люке, крышку от которого давно упёр в свою чугунную коллекцию сантехник Кувыкин; бедная Ляля уж не помнила, как оказалась в той изоляции, сначала у ней память отшибло от счастья в личной жизни, а потом уж неизвестно от чего, говорит: кричала, кричала, уснула, проснулась, холодно, зябко, смотрит – а небо с копеечку... И Лялю жалко, и бывшее свадебное платье из шифона.

Надо сказать, кстати, что практически все новации, реформистские начинания, великие и малые починны с инициативами начинаются в нашем городе с трудом и, хоть ты лопни, никак не влазят в тесно сомкнутый строй исконных традиций. А с другой стороны – всё как раз наоборот! Лялины подопечные пионеры в этот же день во дворе Кошкиного Дома, на территории проведения молочной свадьбы, приняли активное участие в райкомовском конкурсе на лучший рисунок и стишок в свете вышестоящего постановления – цветными мелками по стене ограждения, и это было очень хорошо, красным по железобетону: «Пьянству – бой!», но рядом изобразились синие финтифлюшки, навроде галлюцинаций, и никто из гуляющего народа так и не оценил детское творчество в его начинании и развитии:

ПЬЯНСТВУ – БОЙ & GIRL!

Чёрт знает что такое! Но ведь и руководство комсомольско-молодёж-

ной свадьбы должно было бы тоже знать кое-что, хоть мало-мальски, в пределах школьной программы, соображать по-зарубежному...

В сантехподвале Кошкиного Дома рабочий день вообще не заканчивался, потому что не начинался. И очень даже напрасно начальник ЖЭКа товарищ Сперанский с руганью ломился в закрытую изнутри дверь, за которой тихо, как мышки, скрывались Помиранцев и Сочинитель, предварив при дверях бумажку, прикнопленную снаружи: «Все ушли на фронт!!!»

Помиранцев утешал Сочинителя, который всё сочиняет-сочиняет, но ни одного сочинения так и не написал на бумажке. А Сочинитель, в свою очередь, утешал Помиранцева: семеро смелых совсем распоясались и при явном попустительстве своей матери Каштанки растерзали в клочья амбарную книгу с дивным названием «Нацёт светлого будущего и нашей культурности. Мысли старого коммуниста».

Водочкой утешались. Взаимно.

– Всё, – подытоживал беду Семён Семёныч, – больше я теперь карандаша в руку не возьму и прекращаю нашу историю к чёртовой матери. Пускай Будьтаков в «Огнях коммунизма» хоть лопнет от нетерпёжа, ничего я ему в перспективе будущего уже не предоставляю. Теперь вся надежда остаётся на тебя, Алексеич. Уж ты давай подхватывай эстафету поколения...

Щенки затаились под креслами, к мамке прижались под тёплое брюшко и не сводили с Помиранцева четырнадцать блестящих весёлых глаз. Каштанка ворчала им что-то своё, воспитательное, да изредка на Семёна Семёныча взглядывала с укоризною: а вот и не разбрасывал бы, Семёныч, своё амбарное произведение где попало, прятал бы, как всегда, в шкафчик, тогда бы и ребятишки мои не напрокудили, они же ещё маленькие, глупые, а у меня за всеми-то уследить глаз не хватает, мать-одиночка всё ж таки и несчастная вдова...

Утешались водочкою с разговором, как и положено в наших широтах.

– Гоголь, например, в печке спалил второй том поэмы, – сказал Сочинитель.

– Николай Васильич? – уточнил Помиранцев.

– Он самый. Тоже ведь беда была, Семёныч. Но может и не беда. Может, второй-то том вовсе плохонький получился, недостойный ни первого тома, ни самого Гоголя.

– Дак то ж он сам, поди, сжёл! Сам! Самокритично. А в моём произведении, кроме запятых, всё было правильно. Но эти! Эти семеро шибко смелых! Шибко грамотных, понимаешь!..

«Да, смелые, – подумала Каштанка. – Грамотные, правда, ещё не очень, но будут. Всё это ты правильно говоришь, Семёныч, и хорошо. Но вот почему у хороших твоих слов такое выражение голоса нехоршее? Это мне даже обидно, что такие интонации и подтексты получа-

ются, и от них всё хорошее выходит наоборот».

...Вот такие дела, в бригаде, в доме, в городе. Кончились сезоны: отопительный, театральный... После них пришла очередь оздоровительным, в три смены лагерей, режимов и этапов со ссылками на вышестоящие указания.

А ближе к вечеру Сочинитель с Помиранцевым спохватились: горючее кончилось! И тогда из головы Сочинителя постучалась на выход мыслишка новаторская, из числа тех, которые рождаются в мозгу либо иррационально-регулярных гениев, либо перманентных придурков: приспособить Каштанку к экспедициям в магазин к тётё Хасе.

«Ладно, – согласилась Каштанка, – пусть будет по-вашему. И чего ж не сделает мать для того, чтобы образовалось товарищеское отношение к её кровным ребятишкам со стороны человеческого населения!»

– Показываю, – начал обучение Сочинитель, – на личном примере. Смотри и запоминай. Берёшь, значит, вот так денежку в зубы – и пошла, пошла...

– Ты с четверенек-то встань, Дуров этакий, – вмешался Помиранцев. – Бери, Каштанка, денежку и пошли, покажем куда и зачем...

И пошли. И пришли. И тётя Хася, хоть и посмеялась, но урок одобрила, благословила и посоветовала Каштанке приносить бумажную денежку не в зубах, как Сочинитель, а в полиэтиленовом продуктовом мешочке, откуда денежку торговые работники изымут, и сдачу положат, и отоварят в обратный путь.

Каштанка всё поняла с первого раза: подумаешь, какое дело нехитрое, за бутылкой сбегать, да ещё и зарплату получить от весёлой женщины тёти Хаси, кусочек колбаски, это хорошо, это гуманно: придти с работы домой и сказать семье: ваша мама пришла, колбасы принесла...

И в Жёлтом Доме этот день тоже прошёл в хорошем трудовом темпе.

Хохочущий солдатик к вечеру уже не подавал признаков неконтролируемых приступов смеха, за ужином вёл себя по-солдатски, добавил попросил, утром в казарму отправят, радуйся, солдатик, но он не очень-то и радовался, мялся, мялся, решил-таки, парадным шагом к доктору Штукарскому подмаршировал:

– Товарищ доктор, разрешите у вас тут хотя бы недельку покантоваться!

– Я подумаю, голубчик, – сказал доктор.

Провели партсобрание, два вопроса в повестке дня.

Первый вопрос: «Как нам реорганизовать бюрократический аппарат управления?» – внёс на рассмотрение голубчик, который имел таинственную привычку говорить наоборот, вот так: «Яинелварпу таралпа йиксечитаркорюб ьтавозинагроер ман как». Второй вопрос орга-

низовал голубчик с неиссякаемыми тенями под глазами, ибо он пил, пьёт и, утверждает, будет пить исключительно парфюмерию советского производства. Вопрос формулировался так: «Олигархи в стране олигофренов: утопия или антиутопия еси?»

Но прежде обсуждения общих вопросов рассмотрели два частных запроса. Голубчик, выучивший наизусть всё полное собрание сочинений В.И. Ленина, все 55 синих томов плюс два справочных, обратился к товарищам по партии с жалобой на своих однопалатников, которые разыграли с ним провокацию в духе ренегата Каутского и иудушки Троцкого, а именно: объявили ленинисту, что медсестра Софочка якобы приказала ему немедленно сдать пот на анализ, а ленинист не может сдать, он вообще никогда в жизни не потел и не потеет, ибо отсутствуют в организме такие выделения жидкой субстанции, и когда он растерянно развёл руками, дескать, что же делать, товарищи? – эти якобы товарищи по предварительному сговору и с лицемерным сочувствием наложили на возлежащего лениниста девять (!) матрацев и сказали: лежи смирно, как вождь и учитель в саркофаге! – и он лежал, и чуть было взаправду не умер от тяжести и удушья, покуда его не освободила из-под спуда, пропахшего аммиаком, возмущённая Софочка, так что, надо осудить подобное поведение за изуверство и антигуманизм... Осудили единогласно при одном воздержавшемся, докторе Штукарском, который присутствовал на собрании не как член, а как международный наблюдатель от ВОЗ.

Со вторым частным запросом обратился голубчик Ка Ши-цын, по паспорту просто Кашицын, к которому каждую ночь является в сневидения тибетский монах в жёлтом сарафане и требует немедленно принимать наследие престола династии Цин, однако этот вопрос, с престолонаследием, ещё нуждается в законодательной проработке, и покуда он прорабатывается, необходимо решить вопрос более близкий: почему голубчиков, лежащих в помещении с дверной табличкой «Палата для участников ВОВ», называют уничижительно «вовиками»? это обидно! Решили: сменить табличку к чёртовой матери или убрать вовсе, все мы тут, товарищи, в какой-то мере участники, инвалиды, наследники и свидетели...

Доктор Штукарский приткнулся в уголочек, позади всех и поближе к выходу. Грустно ему, доктору Штукарскому, стыдно и безответственно перед своим собственным вопросом: что же остаётся записывать в подённый журнал наблюдений? сдаётся, что – ничего! какой-то бесконечный тупик образуется из регулярной рукописной подённости, приёмов-обходов, поиска темы для будущей диссертации, служебных и частных разговоров, а надо всем возвышается Софочка, да ещё вот эти собрания, на которых то ли дурака валяют, то ли умников разыгрывают. Прошлым вечером всего лишь одна запись в журнале появилась, сегодня заглянул на страницу – и увял:

Т
Р
А
Н
С
К
О

АБСТИНЕНЦИЯ

Т
И
Н
Е
Н
Т
А
Л
Ь
Н
А
Я

Как такое (да ещё какое!) появилось вчера на странице? Чудовищно. И принялся доктор Штукарский отлистывать страницы журнала назад, назад, к началу... – и с ужасом обнаружил, что, во-первых, записи о болезнях пациентов всё более переходят в сборник анекдотов, сначала безобидно-медицинских, но постепенно приобретающих опасно-политический подтекст, из коего даже последнему дураку ясно, что истории болезней на глазах становятся Историей Болезни: одной истории и одной болезни – на всех, призрачно говоря; и, во-вторых, – очевидная лень, не матушка, но мачеха, научная недобросовестность, неаккуратность, которыми только и можно объяснить плавную замену текстовых записей всевозможными дурацкими вклейками, которые, вероятно, назначались в символы определённых ассоциаций, но так и не стали, оборвав своё предназначение, увы, не последней капелькой канцелярского клея; зачем они здесь, в журнале? – пёрышко от подушки и белая ниточка, которую старшая медсестра Софья Бабореко на указательный палец наматывала, определяя масть суженого; зачем? – лотерейный билет и вся зарплата за прошлый месяц, аккуратно наклеенная, купюра к купюре; зачем? – винно-водочные этикетки, отпаренные с бутылок, конвертик от растворимого кофе, счета оплаты за квартиру и телефон, почётная грамота от краевого управления здравоохранения за достигнутые успехи в социалистическом соревновании, фантик от шоколадной конфетки «Мишка на севере», три погонные звёздочки старшего лейтенанта медицинской службы и эмблема на зелёной петлице: чаша, обвитая змеёй, пяточок, подброшенный на «орёл-решку» по какому-то, уже позабытому, поводу, две спички,

одна с обломанной головкой, это, понятно, жребий тянул, правой рукой из левой руки... – зачем? какие уроки из этого барахла? школа жизни? внеурочная классика? ну, да, классика! класс первый: «Мама мыла Милу мылом. Это, дети, буква М. Запомнили? Идём дальше!» – и класс последний: «Красные руки Базарова убедительно указывают на его демократизм. Записали? Идём дальше!» – а рука-то руку моет, и без мамы мылом моет, а всё равно обе красные, цвет тревоги, вода меж пальцев, пустота, привет от старых штиблет, ужас какой-то, и щёки горят, это иней на них выступил...

Голубчик, разоблачитель замаскированных слов, как то: скипидар в скипетре и Немезида, богиня возмездия, в сульфодимезине, – закончил, между тем, выступление по первому вопросу повестки дня и внёс конкретное предложение: для решительного улучшения работы чиновничьего аппарата ликвидировать кабинеты, пусть все чиновники сидят в одном, как заводской цех, помещении, на виду друг у друга, будет видно, кто как и чем занимается, работает или балду бьёт, взаимоконтроль суперчёткий и ультранадёжный, а не то что за закрытыми дверями, в отдельных каморках, по своим сусекам, где каждая паразитская тварь втихаря грызёт закрома родины...

Другой голубчик, у которого во внутренних органах обнаружены камни... О, этот голубчик всем голубчикам голубчик, доктор Штукарский преотлично знает его, вечно сомневающегося, скептического, настойчиво стремящегося во всём дойти до сути и увлекающего медперсонал на этот скользкий путь познания. «Камни, – говорит, – нашли? Нехитрое дело. Я и сам знаю, что камни внутри. Но вы, товарищи, должны глубже смотреть, шибче копать, зорче видеть, у вас за спиной остались мединституты, а в настоящее время на руках имеются медицинские приборы, и я не понимаю, как вы не можете до сих пор разглядеть, что у меня в организме под каждым камнем рак сидит...» – так вот, этот голубчик высказал весьма дельное предложение по первому вопросу: заменить чиновника электронно-вычислительным аппаратом, навроде робота, которому в одно ухо влетает обращение простого гражданина-челобитчика, а из другого уха немедленно вылетает испрашиваемая справка с нужной подписью и нежной печатью, цвета свежей ночной фиалки...

А потом ещё один голос раздался, из срединного ряда:

– Можно я руку подниму?

И голосу разрешили поднять руку, и он поднял.

– Ну, и что же дальше? Говорите, товарищ. Какой у вас насущный вопрос?

– А нету у меня вопросов, – ответил голос.

– Так чего ж ты руку тянешь?

– А просто так... Из чистого интересу.

– И давно это у тебя, интерес-то?

– А со вчерась! Мне вчерась вдруг школьные годы счастливые в

голове померещились... что я и в школе-то никогда руку не поднимал, а потом и вообще... Застенчивый потому что. Ясно?

Доктор Штукарский вспомнил, как ещё зимой санитар Коля-укольчик докладывал ему про этого застенчивого человека: ходил, мол, по гастроному, причём неоднократно, и таскал за собой на верёвочке картонную коробку из-под обуви, и непонятно что было в этой коробке, под крышкой... – «И что же тут странного?» – спрашивал Штукарский Колю-укольчика, и тот не спеша, смакуя, словно сказку рассказывал, продолжал обстоятельный доклад про то, как этот тип шастал от прилавка к прилавку, причём в течение всего рабочего дня, и всегда почему-то задерживался у мясного отдела, и просил продавщицу отрезать 20 граммов колбасы «Любительская», что продавщица и делала, хоть и материлась неполноценным матом, по-бабски, и этот тип брал колбасу без зазрения совести и осторожно просовывал её под крышку, после чего в коробке что-то чавкало и урчало... – «И что же тут странного?» – спрашивал доктор Штукарский, и Коля-укольчик радостно отвечал: так того типа тоже спрашивали русским языком про чего там у него в коробке сидит? на что тип сначала вздохнул, а потом ответил: не знаю кто-что, но жрёт, как собака! представляете, товарищ доктор? торговый персонал терпел, терпел, потом вызвал милицию, проверили коробку... – «И что же там странного?» – спросил Штукарский, и Коля-укольчик торжествующего провозгласил: ни-че-го! ни колбасы, ни того, чего эту колбасу чавкало! ужас!..

– А вы предлагайте, товарищ, не стесняйтесь, – сказали члены КПСС застенчивому большевику. – Здесь, слава богу, все свои, нормальные люди.

И застенчивый большевик набрал воздуха полной грудью и нырнул в прения, зажмурившись от ощущений:

– А давайте, – сказал, – хоть одного настоящего дурака придумаем, а? Чтоб скучно не было!

Коммунисты зашумели, зашелестели: так шумит под ветром колхозная нива...

– Да как же вот так сразу взять и придумать?

– Да дурака-то придумать чтобы, тут, товарищи, большой ум нужен! Это вам не шалей-валяй...

– Да ведь можно и нарисовать. И портрет на видное место повесить для всеобщего наблюдения...

– Товарищи, товарищи! Давайте без намёков!

– Какие намёки? Советский ревизионизм исчерпал свои потенциальные ресурсы для перманентного мифотворчества...

Это уж особо опасный голубчик заговорил, до зубов вооружённый аспирантурой при вузовской кафедре научного коммунизма. Но, по его словам, он никогда не был аспирантом, философией не занимался, учёных степеней не доискивался, а всю свою жизнь, начиная с пелёнок, работал репродуктором, передавая в эфир то «Голос Америки»,

то «Немецкую волну», а в нынешнем положении ведёт из Жёлтого Дома разговоры с границей по резиновому надувному телефону, есть такая детская игрушка, но буквально на днях какой-то неизвестный дурак... гвоздём! средство оперативно-экстренной связи! что за варварство! кто этот варвар? который абсолютно не психбольной! потому что психбольной – это ещё заслужить надо! а этот, который с гвоздём, просто обыкновенный дурак!.. Штукарский в связи с той телефонной диверсией тогда же, по свежему впечатлению, пометил в журнале: да, есть проблема, есть ракурс проблемы, есть, по крайней мере, два вопроса: когда ненормальный человек, как правило, прикидывается нормальным, это, в сущности, нормально, но вот зачем, с какой стати нормальный прикидывается ненормальным? зачем ему этакая изумительная жизнь? а вот потому и прикидывается, потому и согласен жить в психушке с диагнозом «вялотекущая шизофрения», что он, этот диагноз, не только не мешает, но и позволяет голубчику безнаказанно говорить о том, о чём думает и что хочет сказать...

Сумерки. Время совы. Режим дня. Второй вопрос повестки собрания рассмотреть не успели и перенесли на завтра.

И встал столпом нерукотворным в конце концов угрюмый доселе Большой Бэмс.

– Вы, – прокричал, – видите ли меня?

– Видим, – ответили голубчики дружно.

– Вы-то хоть слышите меня?

– Слышим, слышим. И что?

– Есть я или нет меня?

– Есть, есть...

– Живой я или наоборот?

– Да ты что, сдурел? Не покойник пока что... И что с того?

– Ничего. Всё. Я удовлетворён и даже счастлив, – сказал Большой Бэмс. – Спасибо за внимание.

...Задерживаясь в заведении дотемна, доктор Штукарский всё чаще избегал сидения в собственном кабинете и оказывался, не ведая головой и ногам послушный, на стульчике близ ОНО, в полутьме заведения, при законном рассеянном полусвете; сидел и сидел, вне времени, рабочего и нерабочего, никакого; сидел и слушал, как ОНО тикает, и гирьку на часах-ходиках не надобно поддёргивать, это и без доктора проделывают голубчики с аккуратностью, а доктор Фаустов, в лечебно-профилактических целях запретивший в Жёлтом Доме зеркала и отменивший время, полным дурачком оказался, бедняга, несчастный человек, как же это он до такой глупости додумался, а ещё доктор наук называется! – вот же ОНО, тикает, и с ним время оно ведёт на поводке-цепочке времена оные, неотменимые и такие подручные, близкие, что можно сказать – недалёкие, рукой достанешь это тихое тиканье, время, главного лекаря, который есть и Спас-на-крови, и соло Соломона-царя, и delirium tremens с зелёными чёртиками, и

один сплошной, неделимый, бело-красно-зелёно-жёлтый сезон, слившийся воедино всё, что было, есть и будет, спаявший прошлое, настоящее и будущее, всю эту троицу, которую придумали для себя люди в страстное утишение, а вот же и четвёртое время, остановившееся, забывшее перевести стрелки, время без памяти, придумавшее людей себе в страстное утешение, и в таком случае причём тут мы и причём тут я?..

Эй, Мы! Послушайте! Заряженные на вековечное «ждать и догонять», стадным законом закованные, на истерию обречённые, с историей обручённые, кровными музами связанные по рукам и ногам... каждый обитатель-верхолаз высот горних и пиков духовных, всякий бич бомжий – все мы схожи... Куда? Это уже иной вопрос. А покамест – речь о времени.

О нём говорили всегда, даже тогда, когда времени для разговоров о времени катастрофически не хватало. Но именно сегодня – точно с цепи сорвались, ей-богу!

Вот политики... Сначала, для разминки, они, как всегда, лают на тему: кто из них псать, а кто не псать? – а потом, как обычно, начинают кожилить коленоподобные лобики, необременённые госдумами: дескать, время ещё покажет, время рассудит -кому, чего, за что и сколько!.. Бедные, бедные! Шумные и бестолковые, точно майские жуки. Им бы ещё посидеть всерьёз за партами, однако им, увы, не до парт, когда круглосуточно грезятся партии одноимённые, бронзы звон, ленивая субтропическая походка, с которой этих думцев познакомили стюардессы «Аэрофлота».

Вот писатели... Многим из этой чутконосой перочинной братии после речей от первого лица ещё можно жить, и жить с подобающим декорумом, но писать уже нельзя, невозможно, ибо: благостно и почётно быть рабом своего таланта, но при этом жизненно необходимо оставаться хозяином собственного языка.

Вот архиереи... После расколдованных, размороженных текстов Павла Флоренского, Сергея Булгакова, Александра Меня и других, потаённых, – после них, мудрых богословов, уже как-то даже неловко читать и слушать рассуждения нынешних косноязычников, которые по части речи и в подмётки не годятся апокрифическим сельским попикам. В забавной же смеси церковно-славянского языка с латинизированной терминологией современных общественных проблем, в этом условном, но не словесном, языке забуксует любая «машина времени», а лошадей, чтобы, чтобы воз вывезти, уже и нет, их всех, кажется, ещё до НЭПа реквизировали в конную-будённую, откуда они до сих пор не вернулись...

Журчат журналы: остановись, мгновенье! Газеты газуют: время, вперёд! Тираж – жарит! Своевременные мысли поменялись местами с несвоевременными. Новые рубрики – не о рубрике и бублике, не

о публике и республике. Нет, всё о нём, досточтимом. Мы и время. Время и мы. Застенчивые Мы и МММ как кремлёвские зубы. Стенька на стеньке. Каждому овощу – свой хрен.

А оно – что же? Бежит? Меж крутых берегов? Вдоль по матушке? Между Сциллами и Харибдами, между прочим, между тем? Между молотом и наковальней, Сенатом и Синодом, анодом и катодом?.. Дудки! Никуда оно не бежит, не торопится. Это человек проходит, как хозяин... Как головная боль. Как насморк.

Время терпит, – говорим мы, извиняя собственную нетерпеливость. В таком случае, что же ему, времени, стоит ещё малость потерпеть, покуда мы прилагаем к нему свои оценочные характеристики?

Такое оно, сякое, смутное, служебное, прочмоканное, бесовское, детское, свержурочное, приснопамятное, свободное, судьбоносное, домашнее, допотопное, убитое, переломное, роковое, поворотное, суетное, отдалённое, былинное, профуканное, обеденное, позднее, эпохальное, астральное, местное, календарное, легендарное, последнее, основное, переходное, лишнее, сезонное, поясное, ветхозаветное, дополнительное, историческое, революционное, расхристанное, исчерпанное, парадоксальное... Ну-с, какое ещё? Конечно же, ещё время московское, куда уж без него мировому сообществу...

Ежели к вышеперечисленным определениям присовокупить кой-какие сочные да смачные эпитеты из словаря лагерно-блатного жаргона, то окажется, что время таким и было, такое и есть, таким и будет. Но именно в этом выводе и прячется самая главная неправда.

Знаменитый Эйнштейн, творец теории относительности, заключил время и пространство в формулу $E=mc^2$, после чего показал всему миру свой острый треугольный язык. Существует такая забавная фотография, которая ничего не объясняет, кроме одного, пожалуй: язык Эйнштейна на сей раз играет роль носа, дразнящего так, как это делают дети и шуты всех времён и народов: я, дескать, своё дело сделал, а вы, ребяташки, оставайтесь с носом, приветик!

Из практики шекспировского театра «Глобус» известно, что мавр, сделавший своё чёрное дело, должен уйти. Но России не указ, не указка – ни мавры, ни прочие заморяне-заморыши. У нас и без них атмосфера искони темна, как у того же негра в кожаном портфеле. Свой особый путь, свои особисты, опричники и кромешники, своя голова за плечами, свои традиции и трагедии, свои матрёшки и самовары, свои пролетарии, тоже ведь негры вылитые! куда? это уже другой вопрос... В России испокон веков заместо мавра находился Мавроди. Или – вроде Мавроди с тремя легкомысленными бабочками МММ: нечто вековечно стонущее, зубодробительное, с примесью надежды, стоматологическое «м-

м-м!»), сто матов на его, мавродиёву, голову! Однако же народ, посланный на три буквы, на хутор бабочек ловить, – этот народ живёт и побеждает. И всему миру утирает нос, как это сделали в своё время два литературных гения: утренний негр и сумеречный хохлик, две разницы, но обе носатые чрезвычайно.

Предположим, однако, что мэтр Эйнштейн прав безусловно в своей теории относительности. Значит, в нашем весьма относительном мире и в самом деле от носа плясать надобно? В отдельных случаях, конечно, можно от печки, но уж во всех остальных всенепременно от носа. От носа к носу. От носа до доноса. От генсека до дровосека, до того шукшинского чудика, который поставил точку в дебатах гражданских очередей в уборную своим категорическим императивом: «Не торопитесь, товарищи. У меня понос!»

Нос – это про нас. Это не сон, не нонсенс. Это – мы. Это наше коллективное, великодержавное, носоглоточное мычание: м-м-мы-ы-ы! не задирай нас! держи нас по ветру! а кто не за нос, тот против мы!

Возможно, для кого-то центром мироздания является пуп, но не для нас. Пупулизм – для заморышей. Для нас – нос. Позади оно, надолго – ностальгия. Впереди, тоже надолго – Нострадамус. Посредине – нос. Тот самый, легендарный, который постоянно чешется и который знает наверняка – зачем и отчего эти почесушные позывы: кровь из носу, а достигну! Тот самый нос, из николайвасильевичевых заморочек, который учуял в свой час пик вечную жизнь и, покинув своего почти почтенного хозяина, господина майора Ковалёва, принялся относительно либерально расхаживать по Невскому проспекту в мундире относительного тайного советника. Ходил, принимался к общественной атмосфере, а потом, одолеваемый приступами жизни, зажил с совершенной относительностью – туда и обратно. «Отнеси-ка, любезный, – говорили ему. – Не скупись на подношение!» Ладно-с!

Сделал нос отношение кому надо. Раз сделал, два, десять раз. Но сие ещё не взятка, упаси бог, однако же – уже начало авансов и долгов, пачпортной прописки, певческих разносолов, рыси карьерной, разносов начальственных: а ну, не клевать! не вешать! не совать не в свои дела! не водить за нос! не видеть под оным, но дальше оно! да чтоб не увели из-под... да чтоб комар не подточил! зарубите себе!

И вот мы остались – в этом мире относительном, несовершенном. С носом остались. Носить нам его, не износить – ни рядовому носоносителю, ни каким-нибудь особенным «шнобелевским» лауреатам, ни Шостаковичу с опусом на заданную Гоголем тему, ни Сальвадору Дали с его носатыми галлюцинациями, ни прочим фокусникам и артистам, чьи натуры всегда немножечко заносит на обочины столбовой дороги – то влево занос, то вправо занос... Фел-

лини, например, заявил однажды: каждый человек, уж не говоря о художнике, должен пройти «испытание большим носом». Заявил, после чего лично заявился на банкет с приклеенным на лице огромным объектом испытания. Давно это было, и далеко. Но вот совсем недавно одного юмориста спросили: «Ваш нос для вас испытание?» На что артист грустно ответил: «В России такой нос, как у меня, всегда испытание».

«Невыносимо...» – прохрипел один поэт. Но другой поэт ещё в девятнадцатом веке настаивал: «Вынес достаточно русский народ... вынесет всё, что господь ни пошлёт!» И оказался прав, на то он и классик. Народ действительно оказался чрезвычайно выносливым. Разворовано всё. Далее СССР оказался спёртым. Даже – воздух. Вот она какая, относительность-то.

Итак, относительность – это не какие-то пошлые носки, чтобы поносить и выбросить. Это надолго. Это фатально. Особенно в такой долгоручкой стране, как Земля Франца Иосифа Виссарионовича, мерзкая мерзлота, обширный норильск, нора трипогибельная, где дюжина великопостных чертей возвела чертог за чертою относительной жизни, в которой надобно не каждому Христу по Иуде, но каждому Иуде – по Христу... Так кому ж, Николай Васильевич, на Руси жить хорошо? Коммуне на Руси – жуть хорошо.

Вот она, развалилась, вся перед тобой, нараспашку – держава ржавая. От Азербайджана до Биробиджана – ого! – и обратно – угу! – от Магадана до Волгодона, до песенной «Вологды-гды», где, между прочим, и голуби гулькают, голубят небеса и друг дружку, и пчёлки что-то там такое на воске гадают, но гадко приходится только царям природы, не благоденствуют цари, ворчат, хмурятся: не мёд, дескать, жизнь-то наша, жизнь-жестянка, какова бочка – таков и дёготь... – и руками цари разводят, и носы морщат, аж веснушки подпрыгивают, и губы кусают, и прочие члены ходуном ходят, констатируют отчаянность положения, при котором все царские жесты вовсе не царские и принадлежат, дребезжащие, скорее жестяникам с «большого бодуна» или гражданам сугубо артиллерийским, нежели властительно-целомудренным подобиям божиим.

А между тем, человек, похожий на прозу Пушкина, пачками жрёт антабус в жутких промежутках между «чёрт возьми!» и «дай, господи!»... Он куда оптимист. Он обожает логические парадоксы Зенона. Его ожидает блестящая ретроспектива: никогда из этого пипла не возродится птица Феникс, к великому сожалению, – никогда.

А между тем, в пространстве и времени восстают пирамиды – возвышенные и земные, как большой орган Нотр Дам де Пари. Это бескровное восстание. Это – нос деревянного мальчишки протыкает холст разрисованной кулисы, из одного мира в другой – и растёт нос, и ширится, откручивается от гумоза, принохивается к

гуманизму, и маленький деревяненький, без сучка и задоринки, Буратино на глазах потрясённого пипла превращается в Сирано де Бержерака, говорящего исключительно по-русски, но понимающего все языки, существующие на свете, и даже – во тьме...

Время и стремя. Племена. Имена и времена. Бремена года.

...И вот я, «бременный музыкант», обременённый головоломками, безоглядный и последовательный, как ток, как глухарь на токовище... – я приглядываюсь ко Времени – всё чаще и чаще, и оказываются предо мной такие чащи, где с каждым погружением в разглядывания и размышления я всё меньше понимаю: что же оно такое, Время? Отрывной численник на стенном гвоздичке? Виртуальная, искусственно-компьютерная реальность, позволяющая жить в трёх измерениях? Эквивалент жизни как жизни с последующим отпеванием при большом выборе мелодий?

– Протри очки, – советуют мне.

Но позвольте, при чём тут зрение? Если кто-то думает, что очки на глазах, то он заблуждается. Потому что очки – на носу, дорогие товарищи.

И вот бредя по тропе познания – бредовой, разбитой ухабами, шишками и точками зрения, я приближаюсь ко Времени почти вплотную, нос к носу – и разочаровываюсь, и уже не понимаю самого себя, усталого, злого, пропитанного водкой и стоячими эпитемами, с судьбою, как у промокашки школьной тетради, которая всё впитывает и потом зеркально отражает. Не понимаю. Но уже и не могу, как прежде, встать на колени перед книжною полкой и взмолиться: «Скажи мне, мудрейшая книгиня...» – дочитать не успею.

А в это же самое время меня стращают – с духовных вершин стращают! – разнообразные мастера вождения за нос: политики, писатели, архиереи – с ритмичностью кришнаитских песнопений, с лукавым завизированным византийством, с чистопородным партноменклатурным холужем: «Апокалипсис на носу!»...

И тут вдруг приоткрываются души – серенькие, хлипкие души, придушенные мускулистой жизненной философией, политэкономией и научным коммунизмом. И вот тут я начинаю понимать, кто именно пасётся на тех душистых, на тех духовно-горных вершинах: бараны. А баранам не втолкуешь, что в откровении апостола Иоанна, связанном с пришествием Спасителя и очищением от скверны, нет и быть не может трагедийной мути и убийственной мрачности, а это значит, что апокалипсический конец мира сего должно ожидать со светлой радостью, с тихим восторгом, то есть именно так, как его ожидали первохристиане...

А восторг – дело тонкое!

«Ладно, босьяк, – говорю сам себе смиренно, неогнедышаще. – Не пред иконою нужно встать на колени – но пред молящимся. А

я? А я живу в рассрочку, как все. Так посчитаем в таком разе: что почём? Есть же такая считалочка, стариннейший способ исчисления времени – по коленам. От Рюрика до наших дней просвистело одиннадцать веков и сменилось сорок поколений. Позади меня есть, впереди будут. Значит, моё «сегодня» и есть для меня пуп вселенского бытия, неизбывные средние века, «так себе» времена. Так? Так. Времена – не дороже памяти. Прошлым дышим, будущим живём. И не стоит более того высовываться, потому что если размазывать жизнь на прошлом и будущем, то не останется времени наладить своё настоящее...»

Говорю тихо-тихо. А издалека (сзади? спереди?) какая-то писклявая девчонка собственную считалку выводит:

*Вышел немец из тумана,
Вынул ножик из кармана,
Буду резать, буду бить,
Всё равно тебе голить...*

Ах, вот оно в чём, дело-то! Мне голить? Ну, спасибочко.

И я голеньким, как в первый день творения, выхожу из круга.

А «поколенная» арифметика ничего не высчитает. Ибо при таком способе удержать Время на поводке есть только один, да и то не шибко весёлый резон: на смене поколений происходит смена образов жизни, меняются кумиры, ориентиры и мода. От комода-квазимодо до Журдена от Кардена – дистанция относительная, а смешное до слёз оборачивается слезливым до смешного. Увядание, выцветание казавшихся незбылемыми канонов есть лишь кануны рождения новых, которые тоже не вечны, человечны, и поэтому в свой черёд неизбежно канут в архивы, к серым мышкам, к седым архивариусам. А в окрестностях – кресты, кресты, замшелые стога стагнации, и усталые рояли, и подводные лодки, и книги, которые тоже устают от людей, и лишь одна речка как бежала по поводу, так и бежит, а не абы как...

О, Zeit ! – говорят. – Die Zeit hielt alle Wanden – говорят. Время лечит, – говорят мне мастера вождения... Ах, хорошо бы этак утешиться: вирусы ереси, бактерии директории, инфекции революции, бациллы великой цели, микробы наивысшей пробы... – а человек ни при чём. Тогда и пушки в пушинки оборотились бы. И строка «Прощай, немытая Россия!» незамедлительно обернулась бы в санплакатик «Мойте руки перед едой!»

Но так не бывает. Ничего и никого Время не лечит. Оно не клизма, не горчичник, не пирамидон. Оно даже к стенке не ставит и в угол не загоняет. Ему наплевать на грачей, которые опять прилетели, и на двойку, которая тоже опять. Ему глубоко «до фени» хулиганистый вопрос: кого бояться – человека с ружьём, с рублём или голого? Ему, Времени, начхать на то, что именно думают о нём какой-нибудь бывший заведующий материально-технической базой

коммунизма, или сегодняшний мультик-миллионер, или будущий губернатор, у которого от классического губернатора – одна лишь губа, которая не дура, а всё остальное – от коммунистической партии... Время беспристрастно к тому, что порешил относительно субъектов федерации трибунал старух на приворотной скамеечке; чем аукнулся аукцион и что демонстрирует очередной демон революции. Времени нет никакого дела до того, что какой-то мастер с Маргаритою ни с того ни с сего взбулгачили мир, а какому-то Илье Ильичу до сих пор снится четвёртый сон Веры Павловны...

Ему, Времени, иное дано, третье. Вечно третье. Оно тычет людей носишками в какую-то особую отметину, ниспосланную человечеству свыше, в некий пароль, позволяющий людям безошибочно опознавать человеческое начало друг в друге и посему не ощущать себя чересчур одиноконькими перед вопиющим множеством любостей и ненавистей.

Этим самым Время и сближает людей – скорее и надёжнее, нежели Боинги, ООН, эсперанто, математика или общая вина, повенчанная с красным вином социализма, над сладкими лужицами которого жужжит целый «рой медведей» и недоперепитые догматики соцреализма... Задача у Времени – относительно простая, достаточная для универсальности, но и достаточно наивная, чтобы иметь собственную историю. У Времени нет истории. У Времени нет времени на революционно-алгебраические рефлексии Ильичей: мир в числителе, душа населения в знаменателе...

Так что же оно есть, Время? Ситечко, просеивающее семена? Кремень ли, оттачивающий ум и высекающий искру во мраке? Или это просто ангелы играют в песочек... текут века сквозь пальцы... песочные часы... неумолимая воронка... коловращение в бездну – и по часовой стрелке, и против – всё и всех засасывает поцелуем Цусимы – и левых, и правых, и умеренных центристов, и мир на земле, и благоволение в человецех...

А может быть Время – всего лишь ремень, не приводной какой-нибудь к чему-нибудь, нет, обыкновенный, отцовский, который до поры до времени висит на гвоздичке, потягивается и только делает вид, что характер у него кожаный?..

Каплями куполов, каплями колоколов стекает оно... слушайте! барабаны устали – в зоопарках элегантно умирают слоны – тишина – ползёт лишайник на камень – слушайте! лишь лишайник...

Когда-то премудрый Владимир Даль философически прогулялся по человеческому лицу, считая его отражением высших духовных даров. Даль отвёл носу функцию постижения добра. С физиогномической версией Даля покуда не вступили на поле полемики ни теория относительности Эйнштейна, ни искусственный нос Феллини, ни носатые фантазии Сальвадора Дали. Напротив. Дали и Даль в чём-то поразительно схожи... Куда? Это уже иной вопрос.

... и вот он бежит, бежит, доктор Штукарский, бежит всё быстрее, ног не чуя и тверди под собой не допотоптывая, а позади бедный Фаустов кричит, раскулаченные руки к небесам воздымает: держите его, держите беглеца! ему втемяшилось в башку ненаучное мнение о том, что он – бессмертный, и надо доказать этому безумцу совершенно обратное!.. О, этот Фаустов! Несчастный ты человек! Не ты ли сам в собственных снах дрова еженощно рубишь топором, и полешки берёзовые под ударами раскалываются на лучинки, и лучинки оказываются зримыми мгновениями, и мгновения наглядно разлагаются на земле уже не беспорядочными лучинками, но строгими римскими цифрами – необыкновенным, увы, непрочитываемым числом... – и ты просыпаешься совсем разбитым, плечи натруженные гудят, как фабрики, и поясницу сковало вечной мерзлотой... да разве так можно трудиться, голубчик Фаустов? так нельзя! то-то и оно, что – ОНО! вот ведь даже свежий голубчик Щитовидов, пострадавший от Золотого Ленина, знает, что такое это ОНО, что такое мгновения, свистящие, как пули у виска, о чём и оповещает каждого фактора Жёлтого Дома, и я ухожу от тебя, накрахмаленный дровосек Фаустов, убегаю, укачиваюсь колобком, качусь колбаскою, не догонишь, и не мешай мне, лучше оглянись, что видишь? два человека, что далеко впереди твоего свиста, мужчина и женщина, бегут по тверди навстречу друг другу, всё быстрее и быстрее, и вот уж до их плодородного сретенья остаётся совсем немного, ничтожная малость пространства, и вот уж мужчина, на стремительной скорости распаивает руки для объятий, но в тот же миг – руки! зачем? вы ж не крылья! – отрывается от земли, точно МИГ-энный от взлётной полосы, и проносится над головой напрасной женщины, и взмывает в неведомо-никудышный космос, не могучий остановиться и замедлить движение, как первый и последний дурак...

– Штукарский, – говорит медсестра Бабореко, – у вас совершенно открыты глаза, но вы, как какой-то парадокс жизни, ничего не видите и не желаете видеть ни впереди себя, ни позади, ни то, что напротив. Вам в одиночку не спится?

Очнулся доктор Штукарский. Видит – женщина стоит напротив, даже не запыхалась, чушь какую-то говорит...

– Почему же не спиться? Одному далее проще и намного быстрее, – сказал Штукарский, вышарил из кармана коричневый пузырёк спиртового раствора календулы и отвинтил пластмассовую крышечку.

В оное же время товарищ Сытников сидел за рабочим столом в Сером Доме, и казацкий оселедец дыбом стоял над головой персека, покачиваясь, точно кобра, очарованная звуками флейты факира.

Распечатка шифрограммы из Москвы циркулярно предлагала членам Центрального Комитета, в том числе и хибаровскому персеку, доложить свои предложения по поводу: 1) ликвидация последствий аварии на режимном производственном объединении «Маяк», повлекшей радиоактивные сбросы в р. Меча; 2) мероприятия по нераспростране-

нию и пресечению провокационных и клеветнических слухов среди населения; 3) оказание помощи гражданам по категориям: инвалиды аварии, участники её ликвидации, участники защитных мероприятий на р. Меча, граждане, получившие лучевую болезнь вследствие радиационного заражения, гражданское население, эвакуированное и выехавшее из населённых пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Срочно. Строго секретно.

Хватились, значить, мать иху ети... Срочно! Секретно! А население, по пьяному делу абсолютно бесстрашное, давно уж частушки про цэковские секреты наяривает. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить! С нашим Атоммашем не приходится тужить! Даже тысячи рентген не сломают русский хрен! Пометим матом российский атом!.. Что? Допрыгалась, дорогая моя столица, золотая моя Орда? Хотела как лучше, а вспотела как всегда, с уклоном в устное народное творчество: не суйся в воду возле химзаводу, зараза, за разом раз-два-три, полигон за полигоном, да все разы то мечами помеченные, то дурью, то авоськой-небоськой, уроков нет, в одну и ту же Мечу и дважды, и трижды, из века в век, и несть конца, а ещё ведь до нынешней Мечи сверхсекретно громыхнуло на весь мир сто килотонн, а руководитель ядерного испытания только руками развёл: сами, дескать, не понимаем, как это оно всё так шибко бабахнуло, не ожидали, думали, что будет всего килотончиков двадцать, а оно... как шарахнуло, что все наши теоретики на жопу попадали!.. Ну, как так? А вот так получается. Страна, где цивилизация разбавляется варварством, это ж беда, этим варварством всё разбавляется, всё разводится, и спирт, и «Капитал», как самовар раздувается сапожным голенищем, на особенный, посконный манер, вот поэтому, значить, в такой стране, особенно посконной, всё возможно, и это самое «всё возможное» не означает непредсказуемости, тут всё как раз наоборот: полная предсказуемость, неизбежность, фатальность, если хотите, старые мехи, новое вино, заплатка на заплате, тришкин кафтан... нет! не так, уже не старые одежды, но старые заплаты, знаменитая классическая шинель, да и то наизнанку, уже не к шинели назначается заплатка, но к заплате шинель, и, значить, коли убрать эзоповщину – так и выходит антисоветизм в чистом виде, товарищ персек, а товарищ персек, между прочим, бывший экономист, привычен цифирью мыслить, а цифирь сугубо секретная, у московских-то шустриков каждая цифирь в тротиловом эквиваленте и для служебного пользования...

Сытников подошёл к сейфу, бронированному, с цифровым кодом и сигнализацией. Синяя папочка в руках оказалась. Из материалов прошлого Пленума, для служебного пользования. В московской гостинице, за вечерним застольем, Сытников с двумя персеками-побратимами животы надрывали и злословили по поводу презабавного вопроса: и что же такое существенно-вещественное Советский Союз закупил за границей через систему Внешторга в истекшем году? Аккуратный реестр в синей папочке – хоть верь, хоть не верь:

- 100 мужских пальто из Турции по 120 инвалютных рублей за штуку;
- 27 мужских пальто из Нидерландского Королевства по 259 ИР;
- 100 женских пальто из Турции по 240 ИР;
- 2 женских пальто из Бельгии по 500 ИР;
- 100 женских блузок из Чехословакии по 130 ИР;
- 73 кожаных куртки из Швеции по 4137 ИР;
- 4 ванны из Франции по 2750 ИР;
- 26 стиральных машин из Чехословакии по 1615 ИР;
- 48 электрических зубных щёток из Швейцарии по 21 ИР;
- 3 посудомойки из США по 1000 ИР;
- 1 посудомойка из Финляндии за 1000 ИР;
- 2 миксера из Нидерландского Королевства по 2000 ИР;
- 3 холодильника из Иордании по 8833 ИР;
- 1 холодильник из Югославии за 9000 ИР;
- 1 электроплита кухонная из Швеции за 1000 ИР;
- 1 газовая кухонная плита из Японии за 2000 ИР;
- 5 электрокофейников из Великобритании по 1600 ИР;
- 4 электрокофейника из Венгрии по 2000 ИР;
- 3 штуки весов бытовых из США по 333 ИР...

Всё! Миру мир, ИРУ – ИР, сдачи не надо, да здравствует страна-ирландия, слава ирландышам, которые живут и не знают, что всё-пре-всё у них есть, правда, не так, как в Греции, а в иных измерениях и понятиях, напоминающих условный срок или условное наказание: в условных единицах, в УЕ, значить, мать иху ети, но – есть, есть и ещё раз есть...

Есть у меня друг Гриша. И вот однажды был Грише утренний внутренний голос – свежий, экзотический, жаждущий немедленного открытия чего-нибудь, подобный наизвончайшему названию какого-то песенного латиноамериканского райского местечка:

– Порапопарепива!

И Гриша пошёл: пора – так пора.

Баночки, бутылочки, большие и нормальные. На них этикетки с числами, под коими каждый дурак сообразит цену. Цены – деньги, значит. Есть рубли. Есть доллары. С ними Гриша хорошо, даже до уголовного отвращения, знаком. Грише была известна даже корейская удивительная денежка, которая называлась с восклицательным знаком: «вона»!

Но в том райском ларёчке к числам были прицеплены ещё более удивительные УЕ.

– И сколько же порапопарепива, – ласково спрашивает Гриша, – помещается в этих уях?

Продавщица усмехнулась:

- Ты в школе учился?
- Учился.

- Русский язык проходил?
- Ну.
- Падежи помнишь?
- А при чём тут падежи? Я не за ними сюда пришёл.
- Не возникай! Ты сначала падежи просклоняй, а уж потом и спрашивай того, чего тебе надо, бич недорезанный.

Задумался Гриша. Начал вспоминать падежи: именительный, родительный, дательный, обвинительный... Склонял эти УЕ так и этак, но потом как-то невзначай позабыл про великий и могучий русский язык, перешёл Рубикон напрямик через Альпы и принялся склонять всё на свете, как говорится, по-матушке: она оказалась самым существительным из всех падежей, самым реальным и вещественным, как, скажем, падеж крупного рогатого скота и падение Берлина, всё понятно, падать дальше уже некуда, да и незачем.

На прощанье продавщица помахала неграмотному Грише ручкою:

- Пей с умом!
- Да мне ж и так больше не с кем...
- Значит, тогда не пей с кем попало.

Вот так бедного Гришу в одно утро уели: жажда по паре пива, райская продавщица и русская грамматика.

И милицейский уазик плавно шуршал по асфальту.

...и ещё раз есть! А кому это нужно? Наивный вопрос.

Сытников знает. Сытников и сам приобщился и попользовался. Принял однажды гостинчик от Управления делами ЦК на баланс крайкомовской госдачи: унитаза из неизвестной страны, трофеей то ли Внешторга, то ли Внешней Разведки. Никель, бронза, хром, электроника с музыкальной подсветкой... Ни один из хибаровских инженеров ничего не понял бы, да с ними и не совещались, подумаешь – великое дело, унитаза! – поставили силами дачных умельцев, подключили, стали разноцветные кнопки нажимать, а из дыры вдруг две дисковые сапожные щётки выскочили, бешено вращаясь под музыку Вивальди... О, суки! Это они, они снегоуборочные комбайны в Мозамбик поставляли! Это они... Потом уж Сытников, отсмеявшись, пустил этот агрегат по великосветскому хибаровскому кругу: авось, кто-нибудь да забюллетенит...

А на обороте суперсекретного торгово-закупочного реестра Сытников разобрал свою же, тогдашнюю гостиничную, арифметику про Аляску с привлечением редкого статистического сборника из спецхрана ЦК: 1519 тыс. кв. км. в 1867 г. перешло к США за 7,2 млн долларов, по тогдашнему курсу это приблизительно 11 млн руб., т.е. по 7 руб. за кв. км., для сопоставления: в 1867 г. земская почтовая марка стоила 3 коп., белая булка – 5 коп., столичная уличная проститутка – 50 коп. за одноразовое использование, пуд (16 кг) сливочного масла – 78 коп., ведро (12 л.) водки – 80 коп., четверть (153 кг.) пшеничной муки – 1 руб., пуд икры – 5 руб., и очень даже несложно пересчитать

тогдашние цены в нынешние – и по хлебу, и по водке, и по девкам, и по икре, а, пересчитав, подумать обо всех сразу Курильских островах по оптовой цене четырёх современных танков, и вспомнить в указанных ценах про РСФСР и про пядь родной земли, про эту хорошую, пахотную, пахнущую мужиком меру длины, равную, значить, 17,779 см, а как вспомнишь про эту бережную меру, так и вздрогнет сердце, и самый трезвый ум не сможет вообразить человека, у которого поднимется рука устроить распродажу родины, хоть сезонную распродажу, хоть демисезонную, хоть за медный грош, хоть за всё золото мира...

Сытников, не глядя, выхватил из аппарата телефонную трубку, и немедленно она пискнула в жёстком персековском кулаке, и вздрогнувшая мембрана озвучила потустороннее, властно-кремнёвое:

– Да!

– Нет! – крикнул Сытников и бросил трубку на рычащие рычажки.

Вот, значить, ошибся, не за ту трубку ухватился, хотел Поцелуйке звонить, а попал в самую Москву, опять труба дело...

Когда прибыл генерал Поцелуйко, Сытников уж поостыл малость.

– Небось, указание по Мече раньше меня получил? – спросил он, и никакой в том вопросе ревности не было, обычное дело.

– Да, мы в курсе.

– Обосрались, значить... В лужу! По уши! Ни в какие ворота!

– Да-да, действительно. Центр в сложном положении...

– Я не про центр говорю. Я про вас говорю и про тебя лично...

– Не понял.

– Зачем лошадь-то убили?

– Ах, лошадь... Это не мы! Это эмвэдэшники ваши цирк устроили. И ваш, крайкомовский, товарищ там тоже крутился в небе. И дурак из Минкульта.

– Что ж ты, эт-само...

– Не наша сфера.

– Ну, да, знаю я вашу сферу...

Генерал не стал возражать: знает так знает, пусть знает товарищ первый секретарь, и Поцелуйко тоже своё знает, и одно знание куда другому знанию не мешает, а эмвэдэшный генерал, этот боров в погонах, давно уж, между прочим, в дерьме по уши, и в луже, и ни в какие ворота, и, по сведениям из надёжных источников, месяца через три-четыре вылетит из управленческого кресла в отставку, жаль, что под суд не отдадут за все его восхищения жизнью в особо крупных размерах, за все грехи и грешки, которые аккуратненько задокументированы Тихим Домом и ждут своего часа, дожидаются... А чтобы товарищ Сытников не усомнился в трудоспособности Тихого Дома, так вот тебе, наше дорогое партийное руководство государственной безопасностью, факты, только факты и ничего, кроме фактов, кушайте на здоровье, патентованное слабительное средство, это вам не зимние олимпийские игры дураков и придурков в снежный городок под «крышей» так называемого «Зимнего Дворца» и вытекающий из так назы-

ваемого штурма принципиальный партийный вопрос: как получилось, что победу над восставшим пролетариатом одержали юнкера? А вот так, товарищ первый секретарь, очень даже просто!

– Надёжный источник сообщает, что в психдиспансере активно работает нелегальная партийная организация.

– Как нелегальная? Какой партии?

– В общем-то, нашей, коммунистической. Но в райкоме не зарегистрирована. Тем паче чаяния, доктор Штукарский на собраниях присутствует и пока что помалкивает, но о чём помалкивает – ещё неизвестно. Там же готовится к бесцензурному выпуску первый номер рукописного, то есть самиздатовского, журнальчика под названием «Со-ва», которое расшифровывается, представьте себе, как «Советский ватерклозет»...

Сытников хмыкнул.

– Источник сообщает, – продолжил Поцелуйко, – что от таких собраний, подчёркиваю – подпольных, больные даже немножечко выздоравливают, а здоровые наоборот.

– Это как же?

– Разбираемся. Дальше. Есть сведения о кинорежиссёре нашей документальной студии гражданине Бефстроганове: разрабатывает так называемый «двадцать пятый кадр», для психологического внушения. Вообще, если в широком плане, анализ показывает, что искусство и литература в регионе нуждаются в серьёзных партийных поправках...

Сытников тоскливо задумался, а генерал продолжал, размеренно и не спеша, отвешивать строго дозированные, выверенные и просчитанные «на приём-передачу» порции информации о разном-разнообразном, заслуживающем интереса со стороны обоих органов, Серого и Тихого: о том, что, строго говоря, литература уже совсем довела народ до ручки, не в фигуральном смысле, но в самом прямом, пишут, пишут и пишут люди, почём зря, о чём попало, куда ни попадя, бумагу переводят, в стране бумажный голод получается, а за каждым писарем не уследишь, но процесс идёт, процесс негативный, свидетельством чему – легальное, явное и стремительное вырождение прежде святых и чистых слов: от братства народов и советской власти в речи и письме остаются лишь братки и совки, от общества – общак, от равенства – уравниловка, от коммунизма – коммуналка, от социализма – социалка, от гражданственности – автогражданка... – понимаете? мы тоже не понимаем этой двусмысленности в автогражданке! то ли это страховка, то ли блядь «плечевая» на жаргоне шоферов дальнего следования, то ли ещё хуже... – всё мельчает, крошится, та же страховка как цирковая лонжа, и оборона уже оборонка, а рядом тут как тут ментовка, столовка, кагэбэйка или кэгэбня и, извините, партянка вместо партии, далеко же мы забредём с таким русским языком, не так ли, товарищ первый секретарь? но идём дальше и копаем глубже...

А первый секретарь и без призывов шёл дальше, и дальше уж было

некуда ему идти в собственных мыслях после проявленных в памяти воспоминаний о своих школьных тетрадках в клеточку и в косую линейку, с красными полями... а на страницах пятна и подтёки от маминых слёз пополам с чернильными разводами, мама ужасно паниковала, а сынок-ученичок был только рад неожиданным для самого себя химическим открытиям и в кратчайший срок приспособился истреблять жирные красные колы и двойки скупой мужской слезой в преступном сговоре с обильно-слюнным, слизывающим, великим и могучим языком, и такая «химия», как показало время, удерживало маму в относительном, недоверчивом покое и находилась в прямо пропорциональной зависимости от того, какие были учительские чернила, какие слёзы и какой язык, и какие уроки извлекал ученичок от того лизоблудства через год, через десять лет, через четверть века... царствие ей небесное, маме, уже нет её слёз на нынешних бумагах, да и тексты теперешние не смываемы...

– ...довольно странные телеграммы, которыми обмениваются примерно раз в квартал бывшие супруги Хлюстаковы! Довольно странные похороны бывшего председателя Союза писателей! И женщина в чёрном, до настоящего времени личность не установленная, загадочная, таинственная, чуть ли не мистическая! А на двери мастерской известного скульптора-лениниста Шадрина три дня назад появился кусок ватмана с такой каллиграфией: «Противоминин и Противопожарский», это что за намёки? Или вот малозаметное частное объявление на официальном стенде: «Продаётся вишнёвый сад. Торги намечены на 22 августа» – это литература жизни или указание агентам влияния из иностранных резидентур? Все потенциальные вишнёвые садисты проверены – нет у нас таких садов! не то что на продажу, вообще нет! А эти молочные свадьбы! По нашим сведениям, на одной из них штатный комсомольский работник краевого масштаба поспорил с сослуживцами на ящик портвейна «Трижды семь», что принародно озвучит самый пошлый антисоветский анекдот. И вот он выступает с речью на такой, с позволения сказать, свадьбе, тем паче чаяния, молочной: мы, дескать, будем решительно бороться с культом личности и его последствиями, да и надо ли уж так назойливо говорить на каждом шагу о выдающихся заслугах товарища Эн? нет, не надо! ибо об этих гениальных заслугах уже все давно знают! вся страна! весь мир! всё прогрессивное человечество!.. – все смеются, и ближе к вечеру этому оратору привезли на служебной машине выигранный им ящик вина, и комсомольцы ржали чуть ли не до утра, нарушая конституционный покой и нервную систему граждан целого квартала. А с национальным вопросом, в смысле разжигания вражды и расовой непримиримости, дело ещё тоньше, страньше и сложнее. Даже центр со своим мощным аппаратом кое-где кое-в-чём не доглядывает. Возьмите «Огонёк», номер за прошлый месяц. Напечатали ряд художественных репродукций. На одной странице – «Юность Андрея Рублёва» художника Глазунова, которого мы хорошо знаем с положительной стороны, и Центральный

Комитет ему доверяет, а на репродукции хороший русский отрок с горячей свечечкой в руке, но на оборотной странице – репродукция картины неизвестного Игошева «На родной земле»: тунгус с трубкой, сидит, курит, вроде бы ничего особенного, однако если мы рассмотрим журнальный лист на просвет, то мы увидим явную провокацию из эффекта наложения и совмещения Глазунова и Игошева: тунгус этот разлётся на голове отрока. И возникает вопрос: какой огонёк разжигает общесоюзный, с позволения сказать, ежемесячный журнал – буржуазного национализма или пролетарского интернационализма? Московским товарищам мы доложили свои соображения на этот счёт, хотя у нас самих, в регионе, проблем не меньше. Вот буквально вчера нами были приняты меры по пресечению дальнейших гастролей в Хибаровске югославской певички Милки Навзнич...

– Так это твоя работа? – спросил Сытников, именно вчера рассвирепела супруга его, Слостёна Васильевна, закатила домашний скандал с истерикой: надо же так! в кои веки собралась на приличный заграничный концерт – как тут же и отменили этот концерт по неизвестным невразумительным причинам.

– Вынужденно, товарищ первый секретарь, – ответил Поцелуйко. – К репертуару мы претензий не имеем, но закулисная жизнь этой Милки нас не устраивает.

– Конкретно.

– Редактор Будьтаков, вы его знаете, лично берёт у Милки интервью. Записывает на диктофон. А мы и без его диктофона знаем, что там за интервью. «Лицо у вас бледное, одухотворённое, чисто ангельское, Боттичелли...» – это Будьтаков так комплименты рассыпает. А Милка слушала, слушала, да как заорёт на ломаном русском языке, но вполне понятном: бледное? ангельское? да я от ваших продуктов питания оторваться не могу только потому, что жрать охота! а какой мне интерес от тех продуктов питания? вчера запор, капитальный! просрать не могла! сегодня понос, тоже капитальный, как из Ниагарского водопада! завтра, клянусь, будет снова капитальный запор! ненавижу! вашу колбасу! ваш сыр! ваши паштеты! ваших ангелов Боттичелли, растакую вашу мать!.. – а дальше кроет чистым матом, как последний грузчик. С товарищем Будьтаковым наши товарищи провели товарищескую беседу, и он от публикации такого нецензурного интервью категорически отказался. Но буквально вечером «Голос Америки» сообщил: Милку Навзнич Советская власть держит под забором, и несчастная узница поносит ревизионистов за её либерально-демократическое стремление к свободе выбора питания в свете прав человека. Всё! И с утра мы приняли профилактические меры. И всё.

«Действительно, всё. И большего чекист ничего не скажет, такая у них школа», – подумал Сытников и сказал:

– А вот топтуны твои перестарались. Нет?

– В рамках закона, – ответил генерал и подумал: «Почему же нет, когда очень да? Но Милка, между прочим, сама, по собственной ини-

циативе, добровольно разорвала контракт с Союзконцертом. И в этом вся соль, изюминка и перчик высшего класса работы лейтенанта Славика, товарищ персек. Пусть Славик маленько дурак, зато баболоб отменный, Дон-Жуан, Фигаро и Казанова в одном стакане. Пусть неподкован в основах марксизма-ленинизма, но ему это даже не нужно, даже вредно, у Славика другая ориентация и специализация, он – вербовщик через постель, так называемый, господин средней руки. Молодой и энергичный. Пошлём на курсы усовершенствования офицерского состава в Новосибирск или в Минск, там высшие школы Конторы, там научат хотя бы служебные бумаги писать без лирических отступлений, а то ведь обнаглел, как Евгений Онегин, этот усердный Славик, как у него ручка-то не пересохла такое писать: и когда я насильственно внедрил в вышеупомянутую Милку Навзнич, несмотря на ренегатского маршала Иосипа Броз Тито, то она полюбила меня ещё пыльче, со всей сербской страстью души, так как сама собой является яркой представительницей другого мира, и не только у ней высокого качества голосовые связки, но и грудь, и прочее, и ноги негативной неги с шелчайшими воспоминаниями о млекопитающем воспроизводстве живой природы, как указывал товарищ Дарвин... Поэт! Провокатор-профи. Топтун из наружного наблюдения секретной службы. Как обезумевший поклонник, влюбил в себя капитальную Милку, да ещё настолько влюбил, что эта эдита-пиявка, слабая на передок, сделала решительный выбор между ним и Союзконцертом в пользу Славика и прекратила гастроль: пусть топчет, пусть Славик! а может, это любовь?..

– Да, генерал, случается, что и такое встречается, – произнёс Сытников, тихо и безропотно сдаваясь в плен своему регулярному видению: вот идёт он, Сытников, по коридору, по красной ковровой дорожке идёт, в мягких тапочках, а навстречу ему, Сытникову, идёт он же, Сытников в мягких тапочках, то ли сволочь, то ли наоборот... и вот они идут навстречу друг другу, встречаются, вполборота переглянулись – и разошлись, пошагали в разные стороны, но по одной и той же дороге... И это ещё ничего, когда так вот, мирно. А бывало хуже. Бывало, что Сытников кричал другому Сытникову, принимая его за собственную тень или отражение в зеркалах, может быть, даже более реальную тень, чем он сам, собственной персоной: «Иди в ногу со мной, подлая!» – но тень не слушалась, тень грубо отбрасывала человека к обочине, призрачно ухмылялась: не ушибся ли? – и удалялась прочь от застывшего соляным столбом Сытникова, погрозив на прощанье указательным пальцем: не оглядывайся!.. И пытался Сытников размышлять по возможности трезво, бодрствуя над ночными телефонами замедленного действия: что же это такое происходит? может, это любовь? и если это не суровая партийная любовь к европейским призракам, то, в любом случае, всё равно хорошо, хоть и труднопонимаемо, правильно, хоть и диковато, конструктивно, хоть и муторно: разница времени с Москвой – восемь часов, нужно работать в две сме-

ны, первая – утром и днём, по-хибаровски, вторая – вечером и ночью, по-московски, а если двойняшки будут сидеть в краевом руководстве, так того в центре даже не заметят, там, поди, давно уж царство священных теней и призраков, мистика, значить...

– И никакой мистики, – сказал генерал Поцелуйко. – Всё на свете случается, всё когда-нибудь да встречается. Вот, например, мы. Мы советские люди, мирные, а мир – что? Мир бесконечен, как утверждает марксистско-ленинская философия, а мистика истекает не из наших источников. Да что же это я вам говорю, товарищ первый секретарь? Вы лучше меня подкованы на все копыта.

– Да, подкован, – сказал Сытников. – Никакой вашей бесконечности нету. Это идеализм. Это, как бы сказать, квантовая механика Нильса Бора и всякие случайности на том свете. Но на этом свете куда ни плюнь – так в материализм попадёшь, который постановляет: всему есть предел. А давай-ка, рыцарь революции, проверим эту теорему на коньячке!

За коньячком грешно не поговорить демократически, до душам, без задних мыслей. Вот и Поцелуйко – на своём стоит, как рыцарь, без страха и упрёка: мир бесконечен – и всё тут! а для наглядности доказательства из деловой бумажки ленту Мёбиуса выкрутил: глядите, замысловатая, уму непостижимая восьмёрка получается, осьмушка, из двух спаянных к друг другу нулей, чистые очки, то ли для близоруких, то ли для дальнорюких, а если ляжет эта восьмёрочка на бочок – так вот вам и натуральный математический символ бесконечности, и знак вечной памяти, всех такие опознавательные знаки устраивают, всем хорошо, спокойно, а главное – красиво... Товарищ же Сытников ласково утверждает обратное: всему на свете, рыцарь, есть предел, даже красивой твоей восьмёрке, ты вот, рыцарь, бумажку не выкручивай так хитромудро, не надо крайкому партии голову дурить и хитрожопить, как уличный факир, ты вот возьми эту бумажку – да начинай складывать её напополам, потом тот пополам – ещё раз напополам и так дальше, эт-само, и тому подобное, и сколько же это раз напополамилось, рыцарь? восемь раз? неужели в самом деле? а я-то думал, что ты мне тут до бесконечности загибать очки будешь, а выходит – вон что, не получается бесконечности, восемь раз всего, только восемь, дальше уже и рук не хватает, ну, значить, и базару нету...

А потом персек Сытников остался один на один, это уж когда генерал Поцелуйко удалился высокаторжественно и вертикально, как полонез по паркету. Персек напряжённо сосал лимон, в тоске по телефонному звонку из столицы родины, лимон был кислый, из самого города Стамбула, это успокаивало, вносило уверенность в перспективы завтрашнего рабочего дня. Один глаз уже спал, другой бодрствовал, бороздя окреслости, и когда натыкался на изготовившийся к прыжку аппарат правительственной связи, то Сытников воодушевлялся на совершенно фантастический, мистический материализм: я им всё скажу, как на духу, и не забуюсь этого слова...

«А ты побойся, – слышалось Сытникову, и он поменял глаза местами. – Ты побойся, батюшка. Слова побоишься – тогда и бог услышит тебя...»

Женщина у двери. Вся в чёрном, а глаза молодые, анатолийские, чёрные и ясные, словно день и ночь в этих глазах разом сошлись и мирно упокоились на тёмном, в тектонических складках, доисторическом лице, и губы строго сжаты, не размыкаются, а слово исходит, скорбя и ликуя...

«... и веком, и годом, и летом меченое слово. Так ведь на Руси, батюшка, что ни год – то и лето, сезон вековечный. А вы вот всё мечетесь, указаний взыскуете, и вон уже Красивая Меча поперёк жизни вам встала. А вот послушай, батюшка, как в поры досюльные, на пути из Коломны...»

...видит, видит Сытников. Слышит, слышит Сытников: как на пути из Коломны к Переяславлю Рязанскому две реки выгнулись серпами, мелкая Меча да Вожа справная... и тумэны князя Бегича, от Воронежа саранчой текущие, с ходу минули Комариный брод и на берег Красивой Мечи выскочили, бешено крутятся на вспененных конях, да не задержались, ринулись дальше, прошли Кузьмину гать и стали на Куликовом поле...

...видит, видит Сытников. Слышит, слышит Сытников. Ноздрями чует кованых всадников Андрея Ольгердовича и дружинников Владимира Андреевича, как гонят они в хвост и в гриву ордынцев Мамаю туда, откуда те надвинулись, до самой Красивой Мечи преследуют, рубя и сеча, а уж от Мечи к растерзанным тумэнам примкнули в бег ихние табунщики, и коноводы, и семьи их кочевые, побросавшие в степи табуны коней, отары овец, стада дойных кобылиц...

В самом дальнем, потайном уголке выдвижного ящика письменного стола, под надёжным ключиком-замочиком упрятана товарищем Сытниковым старинная бронзово-эмалевая иконка-складешок. Вот, на этой-то иконке Сытников и видел доисторическое, беззвучно говорящее женское лицо.

Во время же оное зелёный свет заплясал «барыней-сударыней» в окне Дома со львами. Это товарищ председатель хибаровских писателей Ферапонтій Пилатов увидел-таки свет в конце туннеля и с настольною лампою в руках хореографически обозначал своё торжество. А причина торжества лежала на столе: московская газета с заметкой корреспондента ТАСС т. Шпикалова в рубрике «Их нравы». Вот что в ней напечатано:

«Книги на рулонах туалетной бумаги начало выпускать одно из японских книжных издательств. В книжных магазинах Токио, Осаки, Нагои и других крупных городов уже можно купить современный философский труд «Как создавать самого себя» в неординарном полиграфическом исполнении. Главной проблемой, с которой столкнулись издатели при реализации нового проекта, стала ограниченная длина рулона – всего 30 метров. Столь ма-

лое пространство не позволяет печатать книги целиком, поэтому авторы, пожелавшие увидеть собственные произведения на рулонах туалетной бумаги, специально для этого проекта готовят «выжимки» из своих трудов объёмом не более 3 тысяч знаков. Текст повторяется на рулоне несколько раз для лучшего усвоения. Одним из несомненных достоинств новой полиграфической продукции является, помимо прочего, низкая стоимость книги – чуть более 3 долларов. Интерес к продаже современных свитков уже проявили около 30 магазинов по всей Японии»...

В оное же время я переживал это лето по глоточку.

Глоточек за маму. Глоточек за папу. Глоточек за братика. Глоточек за счастье в личной жизни. Глоточек за чтобы не было войны... За долгие жизни не проживёшь, это уж точно... За наше соцлагерное: никого не бойся, никому не жалуйся, ничего не проси... за рубль до полочки... за изрубленное население, сидящее по уши в оптимизме... за мысль по древу и за мысль, которой, как слова писаного, во времена Слова ещё и не было в языке... за рассвет, который всегда только и делает, что встаёт и встаёт, а вот встал или не встал, а если встал, то стоит или нет – до сих пор во мраке неизвестности, впрочем, это не вопрос, это поясничный прострел с позвонками, люмбаго, будильник, пора-пора, за маму, за папу, за братика, за нет режима более пролетариатоненавистнического, чем утро утра, однако приложение к нутру утра невыговариваемо и его надобно ещё раз написать, уже на белой Стене, стенающей известковыми известиями стенограмм вольного разлива, да-да, непременно надобно ещё раз написать, чтобы хотя бы запомнить до середины дня, до обеденного перерыва в буднях великих строек за свободу и независимость Чёрной Африки, и белых пятен истории, и зелёного мира, и Красной Горки как совершеннолетия, когда уже кое-что необратимо свершилось, так воспримем же тую сумму суммарум веков и возрадуемся, братие, ведь даже малыми детьми мы уже имели некоторое душещипательное представление о том, что именно происходит с точки зрения взрослой науки в этот самый длинный день текущего года: Земля, до того дня всё более поворачивающаяся своим северным бочком к Солнцу, теперь начинала обратное движение, и достигнув пика восхождения, наша планета на миг замирала – прострел! – прежде чем пуститься в долгий путь к зиме: очевидно, что самый длинный день в году – это подарок нам, нежданная премия – или трофей? – из света и радости, как проблеск мира, где нет темноты, невежества и отчаяния, а ещё летнее солнцестояние ненавязчиво напоминает нам о непреложности смены в природе приливов и отливов времени и света, которые плывут себе и плывут, ни на чём не спотыкаясь, даже разделительный меридиан им не помеха, и с этого дня погода наверняка заговорит на другом языке, которого мы не заметим, хотя сделается теплее, ещё теплее, зато дни начнут незаметно, но неумолимо укорачиваться, *our astronomy warns us long before our meteorology does that chill and change are on their*

inexorable way, perhaps that explains why we look for the longest day, and then miss it, we want it and we don't, it is at once a culmination and a retreat, we celebrate and grieve simultaneously... on June 21, the solstice sun will relinquish the horizon ... как июньский предзакатный свет в романе Фицджеральда, медленно угасающий на прекрасном лице Дэйзи: «Каждый луч прощался с ней с сожалением, стремясь задержаться ещё хоть немного, как дети, которым не хочется в этот день уходить с залитой тёплыми сумерками улицы»... Воспримем же и возрадуемся на всех языках от суммы суммарум неизбывных лет, а опричь того – пусть хоть и не живопись за окном, пусть хотя бы условная летопись:

*Летний вечер тих и ясен;
Посмотри, как дремлют ивы;
Запад неба бледно-красен,
И реки блестят извивы...*

**ПРО ЭТО И ПРО
ФЕТА-ПОЭТА**

До появления царского указа, по которому Афанасий Афанасьевич получил право на приращение «к роду отца его Шеншина со всеми правами, званию и роду его прилежащими», поэт считался незаконнорожденным сыном и носил фамилию матери. А после указа Тургенев написал облагороженному Фету: «...Как поэт, Вы имели имя, как Шеншин Вы имеете только фамилию».

Конечно, – обида, недоумение, раздражение, язвительные извивы...

*Шёпот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья...*

И на вопрос: к какому народу он хотел бы принадлежать? – поэт ответил: «Ни к какому!»

Птички-то и рыбки незлоязычны.

Во время же оное безымянная рыбка хвостиком вильнула и увидела снайперскую пулю, возлежащую на рыбьинем законном донном камушке, в законной рыбьиней речке. Лежит себе пуля, нахальная, сплюснутая, камбалой прикидывается. Подплыла к ней рыбка, спросила: «Чего тебе надобно, суперстар?» Ничего не ответила пуля. Рыбка пососала пулю, выплюнула, плавниками недоуменно развела: фу, дескать, гадость какая! и откуда они берутся, такие криминальные элементы, которых даже в таблице Менделеева нету? и что же будет с Кудыкиной рекой? и что мы оставим в наследство нашим малым рыбьятам? – и уплыла прочь в возмущённой хвостиком струе.

А за рекой, в тени деревьев, на четвертом пути от перрона же-

лезнодорожной станции, под парящим в чёрном небе неоновым ХИ лязгнул старыми усталыми суставами не очень чтобы скорый поезд, почтово-пассажирский, дотянувший до кратковременной передышки, по-видимому, уже на пределе парокотельного КПД и пассажирских обилеченных жил.

LXXI

Тупичок первый! Следующая...

За рекой, в тени деревьев, на четвёртом пути от перрона железнодорожной станции, под парящим в чёрном небе хихикающим неонам остановился не очень чтобы скорый поезд, почтово-пассажирский, дотянувший до кратковременной передышки, по-видимому, уже на пределе парокотельного Коэффициента Полезного Действия и пассажирских обилеченных жил.

Здесь скрывается тайна.

Тайну зовут паровоз.

Паровоз пыхтит облаками.

Он парит.

Он выше облаков!

Это было замечено романтически испорченными натурами то ли вчера, то ли позавчера, однако само оно, вышеупомянутое пыхтение, явилось в мир уже давно, очень давно, ещё в ту пору, когда паровозы назывались пароходами, а пароходы – самолётами: в память вечную и во имя отца и сына и крепостного духа Черепановых. Но у некоторых неромантических товарищей память увечная и дух короткий, размером с лозунг, вот они и пыхтят на свой манер: как? паровоз? в эпоху Советской власти плюс полной и безоговорочной электрификации всей страны? На что мы им семафорим с полным участием и доброжелательством: ладно, давайте побуксуем по этому вопросу. Мы мирные люди? Мирные. Но наш бронепоезд? Наш, наш, чей же ещё, кроме нашего. Стоит на запасном пути? Стоит, как восклицательный знак! А такое состояние уже есть наша классика. Это у нас – как человек с ружьём и даже как просто ружьё, без никакого человека, которое висит себе и висит на стенном гвоздичке, позабытое, в патине и паутине, да вдруг как бабахнет в самый неудобный, то есть исторический, момент, который доки-книжники именуют кульминацией. А паровоз что ж, хуже случайного ружья? В том-то и дело, что не хуже. Стоит, понурившись вопросительным знаком, какая-нибудь «овечка» или «ФЭД» где-то в тёмном промазученном депо, в полосатом тупике, чугунные «башмаки» под колёсами для мёртвого стопа, вдали от блестящих и звонких магистралей, стоит, стылый дух переводит – от холодной топки с увядшими колосниками к пустозвонному глухому тендеру, грезящему об антрацитовый пыльце, а колёса... оооо! эти колёса! они хранят

в осях не только образ тяжеловесной лошади, влекущей по рельсам разгуляйный вагон, но и более древнюю жизнь, в сравнении с которой вся рельсовая история России есть всего лишь полустаночек, даже без красной фуражки начальника и без его служебной козы, привязанной к «языку» станционного бронзового колокола, без пыльной акации для украшения ландшафта в полосе отчуждения... – просто, полустаночек... Что может быть грустнее этого «полу»? Покойное колесо. Такое уже не имеет права называться колесом: неспособное на движение, оно утрачивает древнее благородство; неподвижность исключает подвиг и обращает, по-большому счёту, весь круг жизни в чёрную дыру; умершее колесо превращается в орудие публично-показательной казни; симитировать колесо, «сыграть» его – никак невозможно: им нужно быть; быть колесом – другого пути у колеса нет; а уж потом – околесица: куда? зачем? – реверс есть, аверса нетути, не двуликакая же монета, однако! – раскочегарить фортуна, форсунку ей в дышло! – в облаках, на стыках, на стрелках, по рельсам-шпалам-костылям... – всё тайна путей сообщения с двумя скрещёнными молоточками.

С одной стороны, вроде бы всё понятно, когда:

*Наш паровоз, вперёд лети!
В коммуне остановка! (Вариант: в Кабуле)
Другого нет у нас пути,
В руках у нас винтовка!*

А с другой стороны – как раз наоборот:

*Постой, паровоз, не спешите, колёса.
Кондуктор, нажми на тормоза.*

И что же получается?

*Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,
Что с девушкой я прощаюсь навсегда...*

Вот такая сборная «Локомотива» образуется, песенка дорожная, железнодорожная. Чем не характеристика Советской власти? Чем-чем... На всех парах, значит, со свистками и гудками. И завели её пламенные большевики – пером сочинителя А. Красного:

*Наш паровоз мы пустим в ход
Такой, какой нам нужно.
И пусть создастся только фронт,
Пойдём врага бить дружно.*

Как это сказано про первых краскомов?

*В петлицах шпалы боевые
За легендарные дела.
По этим шпалам вся Россия,
Как поезд, медленно прошла.*

И это был вечный и решительный бой с перебоями.
В перебоях напевали:

*Рельсы упрямо
Режут тайгу
Дерзко и прямо,
В зной и пургу.*

А короче – БАМ!

*Вот и дым уже растаял без следа,
Поезда, поезда,
Почтовые и скорые,
Пассажирские поезда...*

В общем, как выразился некий Фома, наши поезда – самые поездатые поезда в мире. Они даже детсадика не миновали:

*Паровоз по рельсам мчится,
На пути котёнок спит.
Паровоз остановился
И котёнку говорит...*

Переговоры закончились, паровоз отдал котёнку хвост, дескать, пусть не лезет, не царапается.

А гитары между тем тихо-тихо из слов и музыки слезу давили – точно молодое вино из гроздей «Изабеллы»:

*На Тихорецкую состав отправится,
Вагончик тронется, перрон останется.
Стена кирпичная, часы вокзальные,
Платочки белые, глаза печальные...*

Но скоро время прощаний кончилось. И зарычали гитары:

*Этот поезд в огне,
и нам не на что больше жать!
Этот поезд в огне,
и нам некуда больше бежать!
Эта земля была нашей,
пока мы не увязли в борьбе.
Она умрёт, если станет ничьей.
Пора вернуть эту землю себе...*

Семафоры – как вопросительные знаки, да всё красные, красные, красные... Склоните головы, светофоры!

*Поезд, длинный смешной чудак,
Изгибаясь, твердит вопрос:
«Что же, что же не так, не так?
Что же не удалось?»*

...Ду-ду-ду-у-у! Первое воскресенье августа на носу. День железнодорожника. Красный день календаря. Споёмте, друзья?

Попурри на заданную тему можно начать с «Попутной песни», которую Михаил Глинка и Нестор Кукольник сочинили к открытию первой в России железной дороги, царскосельской:

Веселится и ликует весь народ!..

А в завершение концерта – забавный факт в конференсном жанре: железнодорожные рельсы для первых паровозов придумал Шарль Фурье, тот самый утопист, который вымыслил желаемый, но совершенно фантастический мир, за что и был удостоен Карлом Марксом почётно-го звания «Патриарх социализма». На улице имени этого Патриарха в городе Хибаровске расположился медицинский вытрезвитель...

Да что уж там говорить? Весёлое имя: паровоз! Только забудешь его, вонючего да копчёного, а он вдруг как вынырнет откуда-то из черноты, будто из туннеля, – и в самый раз пригождается.

Тупичок другой! Следующая...

Как тайно убыл из Хибаровска, так тайно же и прибыл в одноимённый город паломник, странник, пилигрим, поэт гонимый, вольный стрелок Феликс Хворобушкин.

Некоторое время назад, в ночь перед бегством, приснился Феликсу хибаровский литературный классик Равелин Валютин, насупленный, засупоненный. Воздел классик указательный палец к самому синему небу и молвил с суровостью древнего пророка: «Пошёл бы ты на ...!»

Проснулся тогда Феликс в холодном поту и сразу подумал: вот! и от судеб защиты нет! классик гонит прочь, а ведь ещё Герой Социалистического Труда Советского Союза называется! а милиция, наоборот, разыскивает как активного участника двух похоронных процессий, случившихся только что, ещё и суток не прошло, и которые, как пить дать, вызовут кривотолки самого вольного, может быть, даже сионистского, содержания! беда! кому повем печаль свою? мимолётному старику Ерусалимычу? для ради чего? для ради вечернего чая среди кладбищенской тишины? о, нет! не плакать мне с крокодилами крокодилски...

Рано утром Феликс сбрил бороду и, постоянно держа в уме, что крокодилы ходят лёжа, совершенно партизанским, чуть ли не ползучим, способом проник на железнодорожный вокзал. Там поэт не выбирал стороны света из двух имевшихся в распоряжении МПС. Первый же поезд, отходивший от перрона, по-своему распорядился поэтовой фортуной, потащив её, постукивая буферами, туда, куда надо.

А – куда? Вопрос не столько сложный, сколько конспиративный. Впрочем, можно и погадать на адресе, который выдал Хворобушкину классик Равелин Валютин: что именно имел он в виду под многозначи-

тельным словом из трёх букв? что он хотел этим сказать? классик ведь зря не скажет, тем более – Герой соцтруда Советского Союза, классик тёмен, как древняя книга: думает одно, говорит другое, пишет третье, а за пазухой, или в уме, или в заднем месте, – держит, четвёртое-пятое-шестое, так что, ежели сразу и безотчётно довериться классику, то, может статься, попадётся совсем не по его указке, а, например, в Рим, куда, словно в сказке, все земные дороги ведут; это в лучшем случае, по крайней мере, более определённее в смысле географии, чем метафизические who, фиг или же юга. Но мы, мирные люди, гадать не будем, оставим это дело потомкам, всего лишь позволив им ухватиться за хвостик мифа. Им – это значит избранным, посвящённым, одним словом, чокнутым, вроде «стационарного зрителя» Ерусалимыча. В конце концов, должна же быть хоть какая-то тайна у человека-поэта? Что ж, он хуже паровоза? Нет, не хуже. Вот поэтому мы и не станем говорить о том, где и как скрывался гонимый поэт Хворобушкин. Мы принципиально замнём разговор об этом, ведь кому-нибудь ещё может пригодиться опыт, адреса и явки: пыльное наследие от Назона до Хворобушкина. И на вопрос «Куда?» мы ответим туманно: туда, где звёзды небесные именуются зирками – чуετε? – но бог там, над зирками, не надзиратель, а обыкновенный бог – чуετε? – и где обыкновенный помидор теряет признак пола и становится помидорой – чуετε? ни? та шо ж вы такие занюханые, лайбы мои золотые! – хорошо, сделаем дюже погорячее: колхозное вино, предположим, сухенькое каберне или лидия, вам наливают в гранёный, абсолютно незамусленный и на ваших же глазах вытертый незасморканным платком, стакан, и шо характерно? наливают так доверху полно, шо дальше уж вовсе некуда, и такое вот удовольствие от колхозного строя вы будете иметь всего за семнадцать ваших мокрых и липких копеечек в советской валюте, но это ещё не всё! оставьте пока свои семнадцать копеечек советской валюты в ваших штанах, не спешите выслюнивать их на свет божий, потому шо этот стакан вам дают всего лишь бескорыстно попробовать «на букет амбре», вот вы и пробуйте, не суетитесь, чмокайте вашими губами и восхищайтесь вашим языком, впечатляйтесь на полное здоровье и способствуйте впечатляться окружающим товарищам – чуετε? – кто недоперераспробовал, тот имеет право надеяться на бис, как говорят артисты, или на дубль, как говорят киношники – чуετε? – стакан пенистого портвейна страшной убойной силы вы будете иметь за три с половиной гривенника тех же несчастных копеечек, но тут уж надо поторговаться, без базару нет ни вкуса, ни базара, а когда вы доберётесь до «теребенчика», шо означает сухое и креплёное в одну посуду, то не торопитесь выражаться, как последний могикиан, который в своей дикой жизни слыхом не слыхал не то шо про «теребенчик», но даже про «Всемирный атлас вин» Хью Джонсона, поэтому не надо выражаться, потому шо вы лопнете ваш стакан от восторга, а восторг хорошего покупателя, ей-богу, дороже стакана, да и сам стакан доро-

же «теребенчика», так шо, дорогие, умолчите ваш восторг про ваше имею, мол, сказать маленькую пару больших, но дюже волнующих комплиментов! – не надо! у вас после «теребенчика» не хватит ни дыхания, ни вдохновения даже на такой пошлый вопрос: «Или это хорошо, как в раю?» – нет, не говорите ничего, лучше посмотрите на сами себя для удостоверения: таких в рай на пушечный гром не подпускают, но это очень зря... – чуετε? – впрочем, шо вы можете чуять после такого удостоверения? и поэтому мы сделаем вам ещё трошки погорячее последним легальным намёком: розовое сало, красный перец и багровые борщи! – и если даже после этого вы ещё наберётесь нахальства, как последняя курица, вякнуть «куда-куда?», то, извиняйте, нам уже наступать некуда, позади тупик, и не остаётся ничего иного, кроме как сказать решительно нелегальное, в духе баснописца Смехалкова: имя этой куде – Родина. Между прочим, поймите в виду: мы, мирные люди, деликатно, точно на поминках, до последней капли в стакане, не бередили (а ведь могли бы!) ваши слёзы, грёзы и полонезы. Мы, насколько могли, блюли конспирацию и упрятавали гонимого поэта Хворобушкина в долгий изящный ящик до востребования. Но – довольно! Мы сказали всё и даже малость лишнего. За шо и произносим последнее умеренное «прости»: за рельсовую историю России, с которыми, с той и другой, мы так и не разобрались до конца; за потусторонний «теребенчик», и вертикальное ружьё, и параллельные паровозы с ихними КЖД и обилеченными жилами; за какие-то жалкие копеечки... Баста! Мы смиренно бастуем и совершаем плавный переход от абстракций к суровой действительности с абсолютной нежностью к одесскому трамваю № 26. Кстати, насчёт жил...

Итак, он жил тогда в Одессе...

Вот и здесь топорщится тайна. Ибо: что для Онегина – конец с многоточиями, то для Феликса Хворобушкина – начало с вопросительным знаком, что никуда не годится, не за такими знаками он, преимущественно лёжа, шёл вослед светилу, пересёк приблизительно пять Франций плюс десять Люксембургов и т.д., короче говоря, протащился по шпалам, как курва с котелком, через несколько Европ, чтобы доколоть всего лишь до Урала, откуда Европа только и начиналась, и где Хворобушкин, после мучительных критических и самокритических раздумий, отправил-таки в пункт назначения телеграмму: «Коллегам по Союзу писателей. Приветствую вас по пути из Азии в Европу. Встречайте. Поэт Хворобушкин»...

Эпос, между прочим, не нуждается в размазне: «итак», «он», «жил»... Ша! «Итак» – не Итака, и он – не она, хотя она, в некотором роде, тоже он, остров, легендарная родина Одиссея, но вот при чём тут, собственно говоря, «он», «она», онанизмы какие-то? мы, мирные люди, этого не поддерживаем и не одобряем. Как учат в равнодушнополном Литинституте им. Горького, эпос округляет и укрупняет: Илиада,

Одиссея, Летучий голландец, Вечный жид, Всадник без головы, Очарованный странник, Человек с ружьём... Но кто знает, кто отважится определить, во что обобщится, округлится и укрупнится некий пассажир «пятьсот-весёлого», возлежащий в современном мире на верхней вагонной полке, и на устах его печаль, и в голове крутится, места себе не находит от желудочной недостаточности, проклятая строчка: «Я по свету немало хадживал...», в то время, как купейный сосед сидит внизу, за столиком, и жрёт напропалую уже вторую с половиной курицу, причём, с горчицей, луком и мягким бородинским хлебом? Нет, эпос суров и монументален... Совершенно по-маяковски.

Это было в Одессе...

...Пёстрая толпа, с цветами и транспарантом «Добро пожаловать в мать вашу, Одессу!», неслась по перрону на Хворобушкина, как конница, как татаро-монгольское иго. Феликс надеялся, конечно, на более-менее приличную встречу, при этом он рассчитывал скорее на «более», но не отвергал и «менее». Но такого ликующего налёта, право, не ожидал и потому даже растерялся, стушевался, смутился как изнутри, так и снаружи. Раскинув руки для первого встречного объятия и улыбаясь, Хворобушкин пытался подыскать и собрать воедино слова, которые он вот-вот скажет встречающим товарищам, первые слова на родине, не позабывшей сына своего... привет, привет тебе, вольный город, вот он я, фрэйшиц, весь к вашим услугам, сэръ...

Толпа пронеслась мимо. Она как будто бы просто перепрыгнула через Феликса, не заметив, чего не бывает даже в барьерном беге. Он глядел вослед, и руки его, по-прежнему широко разведённые для объятий, означали уже иное, необъятное: куда же вы, товарищи? вот же я, поэт Хворобушкин, это ж я вам телеграмму отбивал, в мать вашу! Я, пассажир вагона «Владивосток–Москва–Одесса»...

Затормозив через два вагона от поэта Хворобушкина, толпа с цветами и транспарантом, под стрёкот кинокамер и фотовспышки, с рёвом и визгами подбрасывала в небо только что выпавшую из вагонного тамбура прямо в руки встречающих молодую золотоволосую красавицу в джинсах и белой маечке. В воздухе женщина хохотала, как дурочка, ничего общего с космонавтами, те летают тише. Но очень скоро, однако, и эта, в джинсах, прекратила хохотанье и после своих призывов, никем не услышанных, остановила закиданы мощным «Ша!» с присовокуплением слов извращённо понятого и чересчур вольно истолкованного транспаранта. После чего гостью сопроводили к чёрной «Волге» и увезли в сопровождении кортежа в неизвестном направлении.

И всё это происходило на глазах Феликса. Он, неизвестно на что надеясь, плёлся вослед тому толпёжному толпотворению, с широко протянутыми руками, улыбаясь, как дурак, и выплелся на вокзальную площадь, постепенно накаляясь обидою.

На трамвайной остановке маршрута № 26 (начальная, она же и конечная) Феликсу сказали:

– Товарищ, с такими раздвинутыми руками вы в дверь ни за шо не пройдёте, клянусь мамой, но в нашем городе-герое, где отмечены сам Пушкин, сам Маяковский и сама артистка Вера Холодная, отсутствует, извините, таких дверей. Или вы мужчина глухонемой, как рыба? Тогда будет совсем другое дело...

– Щас! – ответил Феликс. – Рыба. Как в домино.

И внедрился в салон.

...Когда трамвай пошёл на второй круг, Хворобушкин уж окончательно поостыл, и никаких обид следа не осталось, и весь трамвай, за исключением нескольких сошедших пассажиров, уже по второму кругу обсуждал чёрную катастрофу, случившуюся с гонимым поэтом, непонятым даже в родной палестине, ведь это же совсем другое дело, когда гонимый, а не тогда, когда глухонемой, как рыба, но даже рыба ищет не туда, где глубже, а где находится понимание и заслуженная цена, и если кому приедем хоть раз в жизни пощастило побывать в рыбных рядах на Привозе, тот скажет...

– Женщина, да шо вы такое говорите, прямо смешно! Или вы совсем-таки не знаете, шо на том Привозе сегодня прямо с утра за кефаль хотят иметь меньше, чем на Алексеевском рынке? Мне больно за той Привоз!

– Ах, не говорите мне агитацию за Алексеевский! На Алексеевском за тюлечку полтора рубля просят!

– Ой, да ну вас! И до сих пор просят?

– Представьте себе в своём уме, просят. И шо?

– А улыбнулись тем просильщикам полтора рублика, вот шо. Это же ж полный грабёж!

– Они не грабляют. Они пока ещчо только просят.

– Погодите, дайте мне сказать! Товарищчу гостю геройского города, может быть, даже не любопытно знать про тюлечку. Может быть, у него в голове щчас совсем не тюлечка, почему нет? Но за полтора рублика я вам скажу, как знаю: клевета. Это родная мама Севочки-фрайера и его старый дядя Яша распространяют нарочные слухи, а вы своими ушами хлопаєте в ладошки, или вы в театре какой-нибудь оперы и балета?

– Вы за какой Оперный говорите? За наш или вообще?

– Я вообще...

– Тогда я прошчаю и скажу вам, как родному. Когда вся Молдаванка своими ушами знает, шо Севочка-фрайер сидит в допре, так его кровная мутарша кидает вокруг понты, шо ейный сыночек аж в прошлом месяце слинял до сеструхи в город Мелитополь. Так это же ж смех на горе!..

Кондукторша с трудом сдерживала своё желание принять в разговоре посильное участие, но она, увы, на службе состояла, при должности.

– Госцирк! Следующчая... Молодой человек в синем бэрэте, если вам так нравится ваша дама в зарубежной кофточке, так берите её за ради бога и несите взад или наоборот, а то вы стоите, как два памятника, и закрываете мне весь проход, а у кого проездные, так те покажите...

– Тётя, или вы не знаете, шо показывают козью морду, а билеты предъявляют? Не позорьте наш город, мы же ж не в провинции всё ж таки!

– Товаришчи, а зачем говорить за козу? Товаришчу поэту зарадо Союза писателей надо выйти. А кто знает, куда выйти, тот нехай и скажет во весь голос, в каком месте ему выпуливаться, шоб лучше...

– На Воровского.

– Шо вы сказали?

– Я говорю, на улице Воровского.

– Вы мне не говорите за Воровского. Потому шо Воровского уже не улица, а непонятный хамелеон.

– А я говорю, как честное благородное слово, шо на Воровского!

– Ой, да эта ж улица уже один раз была Воровского! А потом была аж маршала Малиновского! А теперь обратно Воровского, но вы не верьте, это очень ненадёжно, потому шо кое-кто имеют в виду, шо скоро будет Синявского. Кто знает, шо такое Синявский?

– Или мы забыли, как наш «Черноморец» в финале всесоюзного кубка играл с ереванским «Араратом»? И тогда тот Синявский вёл прямой репортаж на всю страну?

– Боюсь, шо этот Синявский не тот Синявский, который вёл... Короче, товаришч поэт, когда всё ж таки сойдёте, так вы спросите Малую Арнаутскую, и вам любой порядочный человек с Одессы скажет, как родному...

– Садовая! Следующчая... Пожилой человек с портфелем! Не курите в салоне, прокляну!

– А шо вы так упорно говорите, так то на Малиновского! А тудой надо на двадцать восьмом маршруте! От парка Шевченки проехать на улицу Белинского... Вовочка, сыночек, не ёрзай на сиденье, это всем дюже неприлично, как дважды два, таких сидений в трамвае остались всего два, которые мягкие, у тебя и у тёти кондукторши, и если ты себе сидишь, то и сиди себе, не дрожи сиденье, умоляю, ты лопнешь-таки все пружины и поранишь попочку, и не надо делать такой вид, шо отворачиваешься от мамы, я тебе мама или шо такое? Клянусь, на Малиновского! Почему нет?

– Я уже не смеюсь на вас, шо вы говорите мне про этих глупостей будто на Малиновского! Вы ешчо слишком девушка и не помните...

К парадному подъезду Одесского отделения Союза независимых писателей Украины Феликс явился в окружении всё тех же салонных любителей литературы, их было десятка полтора, включая Вовочку и его маму, которая, оказалось, клялась не напрасно, потому что хоро-

шо помнила, а помнила, тем более хорошо, потому, что как свои пять пальцев знала постольку, поскольку абсолютно неподалёку, два раза чихнуть, живёт с законным мужем и двумя прелестными дитями её школьная подруга, которая приходится троюродной сеструхой тому самому Севочке-фрайеру, который ни в каком допре за последние текущие полгода не сидел и не собирается, и не надо гнать фуфло на того Севочку, на его маму и на ихнего дядю Яшу из-за каких-то несчастных полторых рубликов за тюлечку на Алексеевском рынке... И ставались, как родные, долго и чуть не плача. И это достойно вечной памяти.

Так надо ли вспоминать о том, что было потом? Про то, как Феликс скромно, ненавязчиво, вполне интеллигентно, с выражением скорби представился здешнему писательскому Председателю, синеглазому великану со шкиперской рыжей бородкой, и тот возмутительно долго соображал: что такое Хворобушкин и откуда оно взялось? – да так ничего и не сообразил, жираф какой-то, позвонил бронзовым колокольчиком и на звон явился помощник великана по международным делам, стопроцентный биндюжник с Молдаванки, ухватил Феликса двумя пальцами за пуговицу и увлёк для дальнейших переговоров в смежное помещение, поясняя на ходу, что Председатель сегодня дюже занятый, как никто, другим народом, лишних часов у него нема, так шо, звиняйте, будьте-таки добреньки, побалакайте на разные темы с другим важным персоном, который буду я, Лёва Мараканский, очень приятно познакомиться... Надо ли удерживать в хрупчайших, в нежнейших ячейках памяти тот шторм и тот штурм, которые обрушил этот биндюжник Лёва на пушистую душу, пуховую, на атласный гипоталамус, на шёлковое сердце поэта Феликса Хворобушкина, так и не сумевшего рта раскрыть, и в голове его деревянненько немотствовал язык? Этот биндюжник Лёва считал своим прямым, священным и неременным долгом, обжалованию не подлежащим, говорить и говорить, как какой-нибудь Шекспир, слова, слова, слова: про маленькую революцию в Одессе, народ весь вспотел и тока-тока оклемался от того сабантуйчика, но зато теперь на территории полная свобода, равенство, братство, коммунизм, либерализм, демократия, плюрализм, экзистенциализм, свобода совести и рынок, и нехай они к нам не лезут со своими указивками, эти Москва и Киев со своими старыми президиумами, новый градоначальник Сеня Жириновский, по-народному Сен-Жирмен, всенародно избранный всеобщим полным открытым и тайным голосованием при одном воздержавшемся, это ж был его, Сени, личный скромный голос, так вот, этот Сен-Жирмен никому теперь не допустит совать свой нос в нутряные дела заслуженного города-героя, этот Сен-Жирмен отменил цензуру и выпустил на вольную жизнь устное и печатное слово, а в самом первом указе первым параграфом повелел, вы ж только представьте себе в голове такой цирк-шапито! – чтобы началась реформа языка от

всякой шелухи, в первую очередь, в обращении уважаемых граждан Одессы между друг другом, и теперь отныне будьте любезны вместо пошлых «мушчин» говорить братское «пацаны» и вместо вульгарных «женщин» – мадам, и такое обращение прямо-таки будет в духе исторического прошлого некоторых сохранившихся булыжников от наших славных улиц Дерибасовской, Ришельевской, Французского бульвара, над которыми бесприютно плачет тень давно бывшего генерал-губернатора Ланжерона, но если вы не знаете, как последний оболтус, кто такой есть Ланжерон, так вы умудритесь прогуляться до Римско-католического собора, где в обозримом прошлом двух недель назад ещю был спортзал, и на гробнице Ланжерона прыгали физкультурники, а теперь всё как раз наоборот, это всё Сен-Жирмен придумал, смелый пацан, он вызвал на дуэль всех конкурентов избирательного шухера и сказал им публично: кто достойный? тот быстрее всех на четвереньках раком поднимется с нижней ступеньки Потёмкинской лестницы до самого до верха, к памятнику Дюка! – и сим победиши всех других идиётов, этот Сен-Жирмен, прошлый вожак комсомола! – но это ещю не вся реформа, это просто чешуя, если мы посмотрим на литературу и шо такое Сен-Жирмен с нею сотворил! – он обнаружил, шо и в литературе порядка нету, и шо ж вы думаете? – вы уже ничего не будете в состоянии думать, когда я вам скажу, как либерал либералу: Сен-Жирмен за приличные деньги купил варяга из Эстонии на пост Председателя писателей, викинг ещю тот, который с рыжей бородой отдувается молчанием и перепихнул от себя свою заботу об вас на меня, зовут Эрик Саар, пацан не врубаётся, как неродной, дюже медленно думает, но когда кончает думать, так шо ж вы думаете? – он без никаких рук одним лбом стенку прошибает! ах, да вы ж не видели ещю ту стенку в коридоре, где висят Осип Бутербродский, Ваксёнов и бородатый Бикфордов! – это ж наш варяг приказал повесить портреты на реабилитацию по всем статьям, народ приходит и прямо-таки ахает на тех запрещённых писателей, а конкретные гости из провинции, вроде вас, говорят: мы бы в провинции дорого бы дали, шоб запрещённые сочинения почитать, но такие книжки к нам не завозят, хек мороженный завозят, а книжки нет, как будто карантин или шо другое хуже... – и мы на такие слова говорим: да у нас на каждом шагу, в любом газетном киоске эти книжки застеклённые, но другой вопрос, шо их уже никто не читает, и тут образовалась одна большая разница: когда раньше не читали – так все восхищались, а когда теперь прочитали – одно разочарование, а про бородатого Бикфордова есть мнение, шо авантюрист с мистикой и расчётом, выгадливый в нужном месте и в нужное время, игрок по-большому, цирк одного фокусника, а то, шо он пинал зверя-динозавра, так тут риска нема, зверь старый и большой, зверю на хвост наступи – так покуда ему тот хвост в голове аукнется, можно десять раз пробежаться от хвоста до морды и по той

морде тумачков надавать, весело и несмертельно, почёт со страховкой, а зрители смотрят и в ладошки нажаривают: ум, честь и совесть! крестная сила! – и весь мир поиграл в «подкидного дурака», покуда в той крестной силе не обнаружил шулера, ловкенького и циничного, как те цены на Привозе, шо сами себе удивляются сначала утром, а потом вечером, и мир повернулся задом к бородастой крестной силе, которая ещчо в безбородости решила маленько покорить мир по литературной части, села на троянского конька-горбунка – и шо? а вошла в парадные двери и вылетела через чёрный ход, и стреляный город Одессу не проведёшь на фуфле, если вы имеете соображение, шо такое настоящая, не порченная фуфломётами, литература, вы можете, дорогой товарищ, в крайнем случае, почитать свои свежие стишки, если захотите, а я, если вдруг захочу послушать ваши свежие стишки, могу критически сказать, шо вы себе даже не представляете, как они очень даже дюже неплохо выглядят, складно и совсем не хуже, чем на Привозе, фигурально говоря, потому шо стишки – это как бы музыка на аккордеоне, от пуза, от души, а проза – это как бы пианина, как бы типа стоячий аккордеон на полу на трёх коленках, другое дело, здесь как бы даже тормоза с педалями, и душевной грудью не дюже прижмётся, и если вы вдруг скажете мне: Лёва, на фиг мне ваши пианины! – я содрогнусь, но соглашусь, как брат брату, и если вы так настойчиво сворачиваете путь литературы из варяг в греки в сторону рыбного Привоза, так я вам зараз продекламирую всего три строчечки поэта Йитса из Ирландии, и эти три строчечки ровно три года переводил на наш язык рыжебородый наш Председатель Эрик Саар, слушайте и содрогайтесь, и пусть вам покажется актуально, как пора кушать:

*Шекспировская рыба скиталась в просторе морей,
Романтическая рыба металась в плену сетей.
Какая же это рыба трепыхается меж камней?..*

Феликс рыдал...

...Зачем вспоминать об этом? Надо ли? Он вернулся. Поэтому и не надо!..

Феликс рыдал.

И вошла в помещение золотоволосая женщина в джинсах и в белой маечке, в окружении весёлых мерзавцев во главе с варягом.

И сказала женщина:

– Кто это у нас так громко плачет? И кто же это такой нехороший обидел бедного мальчика?

Несколько часов назад эта золотоволосая летала над перроном, как Валентина Терешкова.

Лет двадцать назад она была совсем не золотоволосая. Жгучая брюнетка. Но Феликс её узнал. Возможно потому, что – сквозь слёзы.

Раньше её звали Людка.

Людвиг Свидерская.

Он и она недолго смотрели глаза в глаза и со школьным визгом большой перемены кинулись во встречные объятия.

А с объятиями, как таковыми, дело обстоит так: толпа может, встречая, обмануть, подвести, ей это ровно ничего не стоит без персонального ответственного поцелуя: не заметить, позабыть, перепрыгнуть, перепутать, промахнуться; но один человек, тем более женщина, – не промахнётся! А пусть попробует! Это ей дорого обойдётся, Клеопатре, на всю оставшуюся после промаха жизнь.

– Пацаны, – сказала Людка мерзавцам. – Я вас душой умоляю, вышли все вон, пока не надо...

О, эта Людка! Ещё та классная девочка в белом фартучке, две кошечки, окрылённые бантами, любовь младшего, среднего и старшего школьного возраста!

– Откуда?

– Из Лондона. Сам Сен-Жирмен пригласил. Для культурного обмена.

– Чего там-то?

– В университете. Веду семинар по творчеству Бутербродского и Ваксёнова...

– Ого!

– Это не ого, милый Феликс. Ого в том, что я сама уже пять книжек издала. В роскошном издательстве.

– Свидерская, не верю! Ты ли это?

– Для тебя Свидерская. Для читателей – Габриэль Мария Ремаркес, модная писательница, переведена на двенадцать языков, лауреат двух престижных литературных премий и действительный член Американской академии искусств. Теперь ого?

– Я убит, Людка! Что за премии?

Хохочет Людка:

– Кубок Дэвиса! И кубик Рубика!

Феликс закрыл глаза – и явились мальчик и девочка на чугунной ажурной скамейке, исполосованные тенью чугунной ажурной решётки Городского сада, близ чугунного ажурного мостика с чугунными грозными грифонами; мальчик говорил девочке: «Легко быть подругой триумфатора, но когда это будет?»; девочка отвечала: «Не тошни меня раньше времени. Когда будет, тогда и будет»; мальчик говорил: «Спутница поэта должна быть немногословной, её судьба – выслушивать, слушать, слушаться, а не вовсе так, как позволяет себе тётя Геля с твоего двора!»; девочка отвечала: «Щас!»; и мальчик сказал: «Щас!»... – а потом они пошли, взявшись за руки по-детсадовски, к Сретенской церкви, в которой антисоветский писатель Бунин венчался с Анной Николаевной Цакни, и смиренно постояли близ, они не знали, что нужно делать дальше, после церкви, и потому пошли дальше, шли и шли, куда улица Франца Меринга не привела их к чугунным ажур-

ным воротам дома, где жила девочка, к самому парадному подъезду с чугунным ажурным козырьком над дверью, узорчато-резной и монументальной, словно вход во храм...

– Феликс, ты меня не слушаешь, – сказала Людка.

– Я слушаю. Ври дальше.

– Так скажи, что я сказала.

– Ты сказала так: в Лондоне тоска и люди замороженные. И так ты сказала: на кой черт тебе премии, когда за них Одесса не ликует. И ещё ты сказала: но я другому отдана и буду век ему верна. Правильно? Чему верить, Людка?

– Ой, да ну какая ж я дура с речки Темзы! Феликс, миленький, извини меня, перекрашенную босячку! Я ж совсем-таки не спросила: а ты что?

– А про ты будем по дороге...

И пошли они, взявшись за руки, из помещения вон, вдоль по коридору, стены которого и слева были облицованы, и справа были обналичены портретами писателей не только запрещённых, но и завещанных с некоторыми оговорками: Ахматова, Бабель, Багрицкий, Катаев, Паустовский...

Надо ли помнить всё это? Надо ли загромождать память? Кому они нужны, как говорится, такие варианты: про чугунно-ажурные воспоминания; и про то, как Людка бесстрашно сказала: «Щас!» – и даже не поморщилась, на то она и Людка, чтобы лет через двадцать залетевшая Габриэль Мария Ремаркес, заэлитевшая, шуганула прочь весёлый эскорт почётного караула от Сен-Жирмена и Эрика Саара, а шоб не путались под ногами, оставили её с поэтом Хворобушкиным в полном покое и шли себе по домам кушать первое-второе и на третье вишенный компот, да ведь ещё как шуганула! как заправская, потомственная бандерша, на дивной смеси жаргона родных портовых грузчиков и слэнга завсегдаатаев британских приморских пабов в уютных гаванях Владычицы Морей... – это было настолько удивительное и новенькое чудное мгновенье, что эскорт, ничего не поняв из сказанного, всё же сообразил главное и некоторое время ещё продолжал двигаться вослед гостям на почтительном расстоянии, вполголоса обсуждая пути движения и неограниченные возможности одесской языковой реформы... Да надо ли всё это помнить Хворобушкину? Он вернулся. Поэтому и надо.

...Он спросил:

– В Горсад?

– Почему нет? – ответила она. – Но сначала подхарчимся на Привозе.

И они достигли знаменитого Привоза.

И они кружили в его бесконечных лабиринтах, вращались и возвращались, накаляясь аппетитом и нежностью.

– Меленькая, – говорила она, ухватывая двумя пальчиками на пробу квашеную капустку из эмалированного тазика.

– Синенькие, – говорил он, пощупывая фаршированные баклажанчики, такие ж непременно к беленькому шабскому вину.

– Остренькая, – говорила она, смакуя маринованную морковочку с чесночком, так и жаждущие красненького терпкого запива.

А толстая тётя в торговом ряду ворчит, губы топорщит, туловище колыхает.

– Шо-то не то? – спрашивает Габриэль Мария Ремаркес.

– Та трошки странная вы, – отвечает тётя. – Якась такая несвойственная женщина. С провинции, чи шо?

– С Лондону, тётя.

– Ой, та боже ж мой, из такой глухоты! Та я ж и говорю, шо ди-кая!

– Шибко заметно, тётя? – хохочет Г.М. Ремаркес.

– Та не торгуетесь же, милочка! Як же ж на Привоз прискочить, та не поторговаться? Вы ж поторгуйтесь, обменяемся прениями за цену, за жизнь поговорим – я бы и уступила! У нас же ж без балачки коммерцию не ведут!

– И правда! – смеётся Г.М.Р. – Помидора ж без базару лопнетя с огорчения!

– Лопнитяся! – смеётся тётя.

– И вы, тётя, после такой помидоры будете мне говорить слова за коммерцию? Или вы думаете, шо если я проживаю в Соединённом Королевстве, так это делает мне шчастье личной жизни?

– Ой, девонька! Ой, да ты ж моя бедная! Та шо ж я могу сказать, кроме ничего? А кушай на здоровычко за просто так от тёти Марты! А тётя Марта тебе скажет, шо такое за коммерцию сказал ешчо тот Моисей на Синайской горе самому господу божечке. И сказал тот Моисей: боже мой, боже мой, зачем же так много заповедей даёшь народу моему, аж целых десять? И сказал божечка: эй, Моисей, не торгуйся! или ты на Привозе? А Моисей отвечает: а где тут у тебя в наказе сказано, шо не торгуйся?..

И два амбала вразвалочку, походочкой черноморской привалились к Феликсу.

– Мусьё Хворобушкин?

– И шо? – насторожился Феликс.

– А не настораживайтесь, мусьё, и не растопыривайтесь, как Ленин на буржуазию. Шеф любезно просють до банкету.

– Меня? Какоу шеф?

– Вы ешчо не бачили шефа? А шеф уже бачив за вас, мусьё. И шефу больно за вас, шо вы, как простой приезжий, ешчо до стакана позволяете себе думать ходить закусывать по Привозу. Так шефа от такоу варианта шибанул фактически грустный обморок. И он ожидають вас до себя, наш уважаемый шеф Гамлет.

– Гамлет?

– Гамлет.

– В Одессе был один Гамлет! – воскликнул Феликс. – И это был Гамлет Дыртаньян!

– Он самый и будут, – сказали амбалы. – Который лучший друг вашего счастливого детства. Но если вы трошки подзабыли, то мы вам напомним, шо в Одессе ходить по гостям с бутылкой некультурно...

В закромах шикарного павильона «Мой Порнас», в персональном помещении, устроенном таким образом, что все четыре стены соответствовали не только сторонам света, и не только расовым расцветкам человечества, и не только временам года, и не только... одним словом, малолитражный космополитизм в натуре, со своими шкурами, коврами, паласами, гобеленами, подушками, вентиляторами, витражами, безделушками со всех континентов... – а в центре, в ампирном кресле, в кимоно, в красной феске с кисточкой, в неаполитанских зеркальных очках, в легионерских сандалиях, вздрюченных ковбойским нахальным образом на финский стол с лукулловым ассортиментом – шеф, Гамлет Дыртаньян, Гама, бригадир грузчиков на Привозе, должность с незапамятных времён – вершинная, самая властная, почётная и уважаемая, предел иных мечтаний, так что даже рыночная элита, в лицах рубщиков мяса, считала за честь пожать бригадирскую руку, руку бывшего мальчика из бедной, но весьма начитанной семьи, из типичного дворика с греческим мраморным фонтанчиком посередке, с верандами и круговой галереей, где жизнь жильцов проходила вся на виду, где мальчик Коган с утра до вечера пилил на скрипочке, и это вызывало зубную боль у котов и учительницы немецкого языка Матильды Генриховны Музычук, она скрывалась из галереи в темноту потусторонних помещений, принимала патентованные таблетки и снова выходила на галерею, но было уже поздно – скумбрия, эта скумбрия, жарившаяся на примусе в противне, в оливковом масле с красным перцем, в ожидании Матильды Генриховны непременно подгорала, испуская пленительный аромат природного крутоворота... – время прихода, время ухода, цикады в кустах розмарина, белые цветы магнолии в золотых прожилках, весь город, оплетённый глицинией, папа – армянин, мама – еврейка, сынок – нате вам! – Гамлет...

Широк, вместителен Гамлет. Чёрное море, а не Гамлет. Местами даже пообмелеть не помешало бы.

Он вопросительно смотрел на Людвигу: как? или эта женщина не понимает такой древности, что два взрослых мужчины будут здесь пить, кушать и вспоминать детство, отрочество и юность, целую историческую эпоху, давнее сокровенное, даже глупое и смешное, и недопустимое до дамских ушек, и нетрогательное до женских сердец, и абсолютно чуждое бабьему открытию и постижению мира?

– Твоя? – спросил он.

И Феликс дрогнул, замаялся. Он соображал, как назвать свою неожиданную спутницу: ещё той Людкой, которую Гамлет, учившийся в другой школе, совсем плохо знал? но ещё та Людка – это Людка

только для Феликса, а Людвигу Свицерскую Гамлет вообще не знал ни с какого боку, потому что в те весёлые времена он проходил срочную службу под начальством генерала МВД Щёлокова, проще говоря, мотал срок за грабёж в колонии для малолеток... – и оставалась в представительском распоряжении Феликса непостижимая для него самого, хотя и переведённая на двенадцать языков, Габриэль Мария Ремаркес, однако не будет ли такой перевод на язык Гамлета ударом ниже пояса?..

А Гамлет заминку Феликса решил по-своему.

– Тогда, мадам, вы себе гуляйте потихонечку по направлению до дома, – сказал он ласково. – Мои пацаны вас проводят в целости и сохранности. А нам с Феликсом есть и без вас об чём и обо что провести время. Только адресок оставьте, а то у Феликса после randevu будет совсем не в голове. Ладненько?

Людвига прищурилась, затрепетала тонкими ноздрями, фыркнула – и яростно ушла, притворив за собою дверь подчёркнуто нежно и заботливо. В ту минуту она была древняя женщина. Польского происхождения.

...Пили русскую водку по-бессарабски, на ореховых жмыхах настоянную.

– Вот, Гама, – сказал Феликс, – такая получается Ремаркес.

– А я знал? – сказал Гамлет и скомкал в кулаке неаполитанские очки. – Но, с другой стороны, и ты бы мог...

– Я бы не мог!

– Та я уже не про то тебе фырчу. Я тебе про то, шо ведь и ты, Феликс, мог бы щас сидеть, как авторитет, на моём месте, ты способный был, я тебе даже трошки завидовал. А ты куда подался? Стройки коммунизма, огни социализма, даёшь горизонты века! То даёшь, другое даёшь... А шо всем давать, так давалку поломать – так такого у тебя ощущения не чесалось?

– Я стихи пишу, Гама. Давно. И член Союза писателей, между прочим.

– Тю, Феликс! Стишки? Вот Мишка Ледорезов – доктор наук по Солнцу, Луне, звёздам и дальше выше. Дионисий Каракопулос – помнишь гречонка? – в Афинах живёт, сборную Греции обучает метанию диска. Или я, например... А ты – стишки! Двор наш позоришь... Да ты закусывай, Феликс. На вашем Дальнем Востоке вы ж никогда не будете иметь того, чего у нас на Ближнем...

Да, действительно. И малосольная тюлечка, и огромные помидоры, сахарные на разломе, и копчёная кефаль, и этот уже позабытый зельц...

– Или ты думаешь, шо зельц магазинный? – нахваливал Гамлет. – Упаси бог. Это, дорогой, такой зельц, из-за которого, по-семейному преданию, мой дедушка бросил бабушку и ушёл к другой, потому шо новая бабушка в частном режиме готовила зельц так гениально, шо

уйти от неё было уже невозможно. Ешь, ешь!

– Слушай, а ты как пронюхал, что я приехал?

– А как ты приехал, так я и пронюхал. Мои пацаны зараз доложили: в Одессу прибыл интэрэсный товарищ.

– А дальше?

– А дальше, Феликс, поищи в карманах свой бумажник.

– Зачем?

– Да ты шо, Феликс? Совсем дитё? Ты сначала пошарь, где прохлаждается твой бумажник! И если ты вдруг найдёшь этот свой бумажник, так ты выньми из него свой паспорт гражданина, и почитай его русским языком, и ты увидишь там всё, шо про тебя пишут и шо про тебя государство думает.

Хворобушкин ощупался и охнул: карманы есть, рёбра есть, и вопроса нет, почему бумажника нет...

– Смотри тудой, – сказал Гамлет. – Наоборот спины.

Феликс развернулся: «северная стена» – чучело белого медведя среднего калибра – в лапах медный поднос – на подносе чёрный кожаный скукожился, сволочь...

– Твой?

– Ты ещё спрашиваешь, твою мать!

– Ой, значить, нашёлся-таки хозяин! А мы тут всё думали, думали: и где же он, ротозей, шляется... Не обижайся дюже, Феликс. Это мои пацаны трошки распустились лапами по приезжим карманам. Одесса всё ж таки! Айо чи воч? Я говорю, да или нет? Так поздоровкайся с бумажником, извинись перед ним, он не фрайер, всё поймёт. Асацекх, хндрем, барев дзез, дорогой, нерецекх...

«Щас!» – подумал Феликс зло, но зло было ненастоящим, и даже стало жалко пацанов, которым Гамлет устроит, если уже не устроил, изрядную трёпку с выволочкой, и сам-то Гамлет хорохорится только для форсу, от смущения, от неловкости, вон как разволновался, по-армянски заговорил...

– В переходный период всегда так, шо с недоработками, – говорил Гамлет, разливая водку. – Тем более, в нашей сложной Одессе. Плюс наше обманчивое лето, за которое нам даже немножечко стыдно перед приезжими гражданами: то в курточке жарко, то курточку украли, и приезжему человеку даже выбирать не приходится...

И завязался, как водится в Советском Союзе, замечательный мужской разговор: о политике, без неё, курвы, ни одно хорошее застолье не обходится, любимый конёк, точнее, конёк-горбунок.

– У нас тут маленькая либерально-демократическая революция неожиданно залупилась, – рассказывал Гамлет. – Навроде нэпа. Заглавный пунктик – частный сектор и шоб рынок без базару. Как у Ленина. А вместо Ленина кого выбрать, так вся Одесса голову себе ломала. Объявили аукцион на пост градоначальника. А один известный мне Сен-Жирмен мнение объявил: дуэль! Мы тут посоветовались и реши-

ли: нехай будет дуэль! И шо ты думаешь? Десять лохов выскочили: я! я! А мы им экзамен предложили: ваши глотки нам известные, а теперь докажете физическую подготовку ГТО, шо не надорвётесь на посту и не очень скоро помрёт, или не знаете Потёмкинскую лестницу? так вот, шоб три раза по той лестнице вверх и вниз по-лягушачьи, на четырёх лапах, ферштейн? Только один справился, Сеня Жириновский. Парень дюже прыгучий и за базар ответит. Мама русская, папа адвокат, а сынок – нате вам! – Сен-Жирмен! градоначальник! А нехай посидит на посту номер один! А мы побачим, шо за толк выйдет из Сениного ума...

– Надолго ли?

– Сколько будет надо.

– А когда будет нисколько не надо?

– Так мы пошлём к нему старика Рабиновича! Ты не помнишь за того Рабиновича? Помнишь! Кто ж не помнит того Рабиновича, которому уже сто лет, и он сам себя уже не помнит! Мы пошлём к Сен-Жирмену посла Рабиновича, и после посла тому Сен-Жирмену уже не останется вариантов, кроме ничего. Потому шо Рабинович скажет, как посол: уважаемый Сеня, я знал твоего дедушку и твою бабушку, я знал твоего прадедушку и твою прабабушку, и которых прапра бачил, як родных и облупленных, и так дальше в глубь веков, так шо не пора ли тебе, сынок, снова гулять на экзамен до Потёмкинской лестницы, где тебе, Сеня, будет актуально всего три маленьких разика сбегать-таки вверх-вниз на трёх лапах, а в четвёртой шоб кипел такесенький малесенький самоварчик!

Смеются товарищи. Весело товарищам.

– А Коммунистическая Партия куда ж заховалась, Гама? – спросил Феликс.

– А за Коммунистическую Партию в Одессе интеллигентные люди говорят навыворот, шо Одесса в Коммунистической Партии. С одной стороны, никакой разницы, а с другой – так две большие! Поэтому областной секретарь Коммунистической Партии товарищ Милорадович вышел, как шпион Ноль-Семь, на секретное randevу с Сен-Жирменом и сказал: вот, по твоей милости я теперь бомж, бич и потерянное поколение, как указывал буржуазный писатель Хемингуэй! И Сен-Жирмен даже дюже удивился: шо такое? зачем, товарищ, тюльку гонишь? у тебя в городе целых две квартиры, да в сельской местности стоит роскошная дачка, прямо тортик кремовый, а не дачка, да ешчо на патриотическом острове Кипр нагревается под солнцем особнячок из розового камня, плюс коттеджик на побережье Коста дель Соль в Испании! нормально бичуешь, товарищ, мне бы так хемингуёво и шоб без вопросов типа кому на Руси жить хорошо, так тому и за бугром – тот же самый ништяк! Тогда этот Милорадович говорит: слушай, но ведь я же ешчо за мир и светлое будущее болею! А Сен-Жирмен отвечает: лечись, дядя, твоё время то ли пришло, то ли кончилось, не знаю, но по

тебе видно, шо ты ешчо здоровый, как бык, об твой лоб можно живого поросёнка сделать покойником! Так сказал Сен-Жирмен и шутейно, для пробы и удостоверения, стукнул Милорадовича в лоб, как твёрдого ленинца, и шо ж ты думаешь, Феликс? этот твёрдый ленинец, как был стоя, так и упал с копыт.

– Насмерть? – ахнул Хворобушкин.

– Ой, ну зачем такая вульгарная пошлость, шо насмерть? Феликс, ты деградировал, как вечерняя кефаль на Привозе по сравнению с утренней! Или ты забыл, шо в Одессе никогда никого не убивают насмерть? В Одессе люди помирают насмерть только от старости и от судьбы. В Одессе нет своих и чужих. В Одессе только нашим – нашево и вашим – вашево, а кесарево – по понятиям. А за того Милорадовича я скажу дальше чистую правду. Этот Милорадович на своих копытах похилил до своего родного комитета партии решать вопрос: шо дальше делать с этой политикой Коммунистической Партии после секретного рандеву с Сен-Жирменом, как будто он какой-нибудь Сталин в Ялте! И в родном комитете того Милорадовича уже караулит целое партийное бюро! Это ешчо то бюро, покруче Ялты! И вот оно посадило Милорадовича на стул и спросило: как ты, товаришч секретарь, среагировал на нового градоначальника? Секретарь отвечает со стула: или вы идиёты? как же я могу среагировать, когда этот безыдейный Сен-Жирмен уже объявил по городу всеобщую, полную и безоговорочную приветизацию частных рук? или вы ешчо не бачили, шо вокзал, банк, почта и телеграф через маленькую неделку сделаются мелкобуржуазной собственностью, начиная с трамвая? и шо тот Сен-Жирмен даже не хочет думать делиться прибылью капитала, как последней стадией империализма? И бюро сказало: бачили! бачили! но мы думали, шо наш секретарь есть не какой-нибудь босяк, вахлак и куркуль, а есть пламенный революционер с большой дороги по примеру Карла Маркса и Фридриха Энгельса, и, значить, на того ренегата Сен-Жирмена треба было среагировать, однако ты, товаришч Милорадович, не среагировал даже тогда, когда самозванец Сен-Жирмен вмазал тебе в лоб пошчёчину! И Милорадович возмутился: кто не среагировал? я не среагировал? хорошенькое дело! а кто упал, как труп? Так сказал Милорадович, шоб всем сделалось скорбно за первую жертву революции и контрреволюции одесского термидора. И ты думаешь, Феликс, то бюро сделало соболезнование? Нет, оно не сделало соболезнование! Оно сделало по-большому! Оно написало постановление как циркуляр: ша! бери, товаришч секретарь, свои копыта в руки и цокай на трамвайный путь, и делай там пикет протеста против нэпа, хоть ложись на рельсы, хоть как знаешь, но это будет твой последний и решительный бой как шанс нашей Коммунистической Партии!.. Феликс, закрой рот от своего удивления. Или ты хочешь сказать инокороднее мнение?

Хворобушкин ничего не хотел сказать и потому послушно закрыл рот. Что говорить-то? Жизнь кипит. Коммунистическая Партия осты-

вает. Литература отдыхает. Привоз торгуется. Трамваи ещё звенят. Гама говорит, как Шекспир.

– И тогда пошёл тот бедный Милорадович на рельсы, будто какая-нибудь Анна Каренина. На остановке «Цирк» он начал делать пикет, протест и голодовку. Граждане удивлялись: шо такое? – и подносили коньяк живому человеку, щоб не случилось обезвоживание организма. И так он протестовал целый день, а ночью захотел в туалет и пошёл до дому, но забыл, в какую сторону куда и где теперь город, сельская местность, остров Кипр и побережье Коста дель Соль. И тут его увидел конный сержант милиции: пьяный мужик между рельсов шарашитя! Спрашивает: стой! стрелять буду! шо ты тут делаешь, как лазутчик? Мужик еле-еле губами лялякает: трамвай, трамвай... Сержант говорит: или ты не знаешь, шо в такое тёмное время трамваи уже не ходят, как нормальные, и отдыхают в парке? А мужик вдруг закричал, как трезвый начальник чином генерал, даже конь под сержантом ходуном заходил: а почему тогда рельсы не убрали? Сержант трошки растерялся и потребовал документ личности. Мужик дал. Сержант прочитал. Сделал руку под козырёк ладошкой: есть! так точно! слушаюсь, товарищ первый секретарь областного комитета Коммунистической Партии Советского Союза! шчас сделаем! Через полчаса приехала на дрезине бригада путейских рабочих и стала выкорчёвывать рельсы вместе со шпалами. За ночь прошли метров сто. Утром пошли в обратном направлении налаживать, как было, утренний народ потребовал, и всё стало, как вчера, но у Коммунистической Партии сделалось хуже, авторитет свихнулся до нуля, у неё ж всегда так, шо делает одно, а получается, наоборот, другое, шо для неё хуже некуда и даже маленько стыдно за Карла Маркса и Фридриха Энгельса... Вот так вот, Феликс. И на этом мы чокнемся и скажем ша!

Гамлет смахнул со стола пустые бутылки и хлопнул мощными ладонями друг о дружку, и от того хлопа белый медведь вздрогнул и с грохотом выронил из лап медный поднос:

– Ша! Размялись мы с тобой, Феликс, а теперь давай пить по-настоящему, как безыдейные!

– Нет, Гама, давай как красные дьяволята и мальчиши-кибальчиши!

– Ого-о-о! – заревел Гамлет. – Как мальчиши! Или нам, мальчишам, только в палки играть да в скакалки скакать? Нам бы только ночь простоять и до утра продержаться!..

А утром было вот что.

В дверь номера-люкс гостиницы «Пассаж» на Дерибасовской, в том самом замечательном доме, в подвале которого некогда благоухал «Гамбринус», воспетый антисоветским писателем А.И. Куприным, рано-рано, когда домашнее население ещё досматривало свои индивидуальные сны... – в дверь постучали с деликатностью опытейших, профессиональных щипачей два амбала.

– Или вы сдурели? – сказала амбалам заспанная золотоволосая женщина.

– Доброе вам утречко, мадам. Зараз умывайте ваше личико и ступайте ногами за нами, – вежливо ответили амбалы. – Вам будет шикарный презент от господина шефа мусьё Гамлета!

На безлюдной ещё трамвайной остановке маршрута № 26 стоял весёлый, ярко-жёлтенький эстонский пикап, и шофёр в чёрном смокинге и с красной бабочкой под горлом наклонил голову почти почти-тельно, как какой-нибудь адъютант его превосходительства:

– Бонжур, мадам Ремаркес! Как я шчастлив...

В ту же минуту из воздушной Дерibasовской перспективы слышался звон, потом на звон наложился треск и мерный стук, это, значит, шёл трамвай, он был ещё далеко, позади звуков механической музыки, обогнавшей тамбурмажора, первый утренний трамвай, антипод сверхзвукового аэроплана, привет тебе, потребитель рельс, не бывающий никогда, даже в сумерках, усталым и печальным, ему не положено быть сумрачным, у него имя – весёлое, тренькающее, голенастенное и угловатое, как беззаботный и не в меру любознательный подростковый велосипед... – этот подпрыгивающий трам-там-там! неутомный – в янтарном утре, в бирюзовом дне, в малиновом вечере, и если в положенный срок засыпает, набегавшись, то спит безмятежно, почмокивая поцелуйным звуком откуда-то оттуда, из железного нутра, неведомо как и незнамо чем, но уж никак не электрической тягой к простору и совсем не какими-то условными лошадиными силами, а, может быть и скорей всего в таком случае, – сонными потягушками шаловливого жеребёнка...

– Заходите в салон, мадам Ремаркес, и сидайте там, як дома у папы-мамы, – сказали амбалы. – А мы щас...

В салоне не было ни одного пассажира.

Вдоль, от передней площадки до задней, алела ковровая дорожка. В середине – стол под белоснежной скатертью с сервировкой на два куверта. Вдоль одной из стен, над окнами со сдвинутыми голубыми занавесочками, распространился кумачовый транспарант с красивыми белыми буквами: «Другу Фили от друга Гамы!» Под транспарантом, на деревянном диванчике, спал поэт Хворобушкин.

Амбалы, между тем, сноровисто выгружали из весёлого пикапа корзины с фруктами и овощами, вёдра с живой рыбой и раками, глечики со сметаной, лотки с битой птицей, какие-то ещё коробки, ящики, очаровательный мерзавец в смокинге каждый взнос галантно, точно конферансье, сопровождал пояснением: канистры с водой! столовая посуда! раскладной кресло-кровать! кухонная необходимость! газовая плита «Везувий» с баллоном! биотуалэт из Германской Демократической Республики! опять харчи! белые розы лично от Гамлета, мадам! красные розы лично от меня! рукомойник с тазиком в одном комплекте! опять харчи! а этот ящик пива именем «Жигулёвское» – лично

поэту Хворобушкину, и вы, мадам, когда он очухается от банкета, так вы не сильно очень жмитесь ему этого пива, мадам, зачем нам с вами, культурным людям, его головная боль?..

– Ша, – сказала Габриэль Мария. – Сама знаю.

Последним грузом оказался без комментариев, в натуре, новенький, зелёный, хорошенький такой герой гражданской войны пулемёт «Максим» и полдюжины узких железных коробок с патронами лентами.

Габриэль Мария замахала руками отчаянно: вы шо? сдурели, чи шо? выгружайте эту артиллерию к чортовой матери! – но босяк в смокинге вежливо сказал, шо так треба, так шеф велел, он же ж лично подарил вам, мадам, в личную мелкобуржуазную собственность первый в городе Одессе приватизированный частными руками маршрут номер двадцать шесть в количестве один трамвай, состоящий из двух вагонов, моторного и прицепного, примите, мадам Ремаркес, документ на владение от городской власти Сен-Жирмена, покуда его не скovyрнули, пользуйтесь, плюс вам ешчо одна маленькая ювелирная коробочка от Гамлета, помните Гамлета, он, может быть, не меньше вашего обдухотворённый, так шо вы будете в этом деле первые пионеры и проходимцы, правда, имеется одно маленькое условие: шоб первые сутки ваш трамвай ходил по своему кругу круглосуточно без остановок, это будет, с одной стороны, неизвестно, шо такое будет в Одессе на вторые сутки, а с другой стороны, техника безопасности от конкуренции и шоб вас не поймали и не стали бить – так на то и пулемёт марки «Максим», который на все случаи жизни есть гарантия знака качества, мадам Ремаркес...

А Хворобушкин всё спал на диванчике и во сне говорил с живым стаканом Ркацители... «Сегодня мне что-то не по себе», – как будто бы говорит Хворобушкин. – «А по кому же?» – спрашивает Ркацители. – «По тебе!» – Вот так и проверял Хворобушкин искренность до последней капли писателя Гоголя, писавшего однажды другу своему Максимовичу: есть, дескать, чудная вещь на свете – это бутылка доброго вина! – «Пью за тебя, Николай Васильевич!» – как будто бы говорит Хворобушкин, на что со дна стакана отзывается донным голосом алкогоголь: «Не надо за меня. Я за себя и сам могу. А ты лучше за себя пей...»

– Феликс, да просыпайся же, горе моё!

Хворобушкин открыл глаза: Людка – звенит – как – последний – трамвай...

Но это не Людка звонила. Это взаправду был трамвай.

Дёрнулся вагончик – и покотил, как миленький, отстукивать свою и всеобщую историю.

И покуда поэт Хворобушкин промаргивался, трамвай неназойливо демонстрировал самого себя.

Это был ещё тот трамвай, в котором вчера Хворобушкин ехал с желдорвокзала.

Больше того, это был ещё тот трамвай, который встал на рельсы в начале века, придя на смену сцепкам из двух пульмановских открытых вагонов, с невысокими ажурными решётками вместо стен... Старенький. Хороший. Верный. Проверенный.

Скамейки из светлых деревянных реек с перекидной спинкой, и тот перекид позволяет сесть пассажиру так, как ему желательно, либо лицом вперёд, навстречу движению, либо наоборот: у кого какой характер и настроение, мелочь такая, в сущности, но приятна деревянная забота скамеечки, право слово.

Две продольные трубки под потолком, а к ним подвешены на ремешках треугольные ручки, отполированные тысячами ладоней, трети точки опоры, подвижные, для стоящих граждан.

Передняя и задняя площадки вагона отделены от центрального салона лёгкими стенками с дверями на роликах.

Между моторным вагоном и прицепным – гибкая железная решётка, чтоб сюда, в межвагонное пространство, никто, упаси бог, не попал по дурости, по пьяни, по малолетству или иногородней неопытности, тоже ведь мелочь и тоже приятна весьма этакая забота о человечестве и отдельно взятом человеке, который на некоторое время жизни сделался пассажиром.

«Колбаса»! Задний буфер второго вагона, прицепного, но это уж дело чести и доблести любого пацана, даже отличника по всем школьным предметам и с пятёркой по поведению.

И ещё: двери не закрываются! Двери не закрываются, потому что не открываются. Такие двери!

И вот представьте себе: движется оный транспорт сквозь густейший, как туман, аромат цветущих акаций... Куда движется? Это неважно – куда. Может, на Седьмую станцию Фонтана, потом на Десятую, на Шестнадцатую... Либо вдоль загородных станций, именуемых старожилками Аркадийской, Большефонтанной, Люстдорфской, с павильонами высоких архитектурных достоинств... – мимо изящных «грибков», укрывающих от дождя, сооружённых ещё при самодержавии Бельгийским трамвайным обществом... – мимо роскошных металлических опорных столбов, поверх которых текут провода с электрическим током, а внизу, на уровне пассажирских глаз, на веки вечные устроились чугунные доски с литым вензелем ОТ, что означает Одесский Трамвай, и литыми же литерами трамвайной литературы: «Остановка», «Остановка по требованию»... Скользит со своей мелодией! Старенький. Милый. Надёжный. Трамвай желаний – стрелочек как лента синема. По двум серебряным параллелям. По памяти. Плач об одесском трамвае. Да только ли об одесском? И только ли – о трамвае?

...Людвиг, конечно, и в кабину вагонновожатого заглянула.

– Будемте знакомы, дедуля. Меня зовут Людка.

– Очень приятно, мадам девочка. А я не стану вам говорить за себя.

Потому шо, во-первых, это не играет роли в судьбе нашего человечества. И потому ешчо, во-вторых, шо вы меня без никакого представления должны хорошо знать, потому шо меня без никакого представления хорошо знает вся Одесса. Я, мадам Людка, ешчо тот Рабинович. Завтра утречком в приходе неутомлённого солнца мне светит ровно сто лет утёкшей жизни. И Гамлет сделал мне сюрпризом последнее целование и причастие к городу Одессе, хороший мальчик растёт, этот Гамлет, с понятием и уважением, это ж такая редкая древность в наши дёрганные сезоны существования, шо мне в сумерках иногда плакать-таки хочется, когда мне говорят «мусьё Рабинович! мусьё Рабинович!», как будто бы я только фактор, а не человеческий дедушка, вот вы и зовите меня, мадам Людка, просто дедушка, как родная, вы же ж, я вижу, наша мадам, с Одессы, и путь наш сегодня будет долгий, последний парад, или кольцо почёта, или круг позора, я не знаю, я сам погляжу в окошечко, и буду вам кое-чего рассказывать, как репортаж с интересного матча на кубок уж не знаю чего...

Хворобушкин страдал.

Он, разумеется, проморгался. Но! Товарищи проморгавшиеся! Или мы уже не товарищи? Тогда вы спросите друг у друга: что такое, в сущности, проморгаться с похмелья? И вы даже не станете отвечать на этот пошлый вопрос про проморгание, потому что оно, само по себе, есть сущий пустяк, мелочь, ноль целых семь десятых литра от общего трудового подъёма – проморгание-то. Конечно, если клиент не в морге. Но вот после, чуть-чуть погода, спустя каких-то несчастных полчаса-ка человеку вертикальному становится не по себе, иными словами, ещё неподъёмно и уже изнурённо. Тем более, если под рукой, поблизости, в ближайшей окрестности нет пива. Пусть даже бессовестно разведённого. Не чем, а с кем! С потребителем. Жгучей. Жужжащей. Животной. Жизненной. Жигулёвской Жажды... Ды!

Но сказала золотоволосая женщина:

– Вот тебе, Феликс, доброе утро от того Гамлета, который предлагает тебе самому решить драматический вопрос: пить или не пить? А я добавляю, как присыпочку соли: не суетись, не затухай, знай меру вещей, щонженега пан буг щендзи. И ша! А я гуляю до хвостового вагона устраивать наш суточный квартирный вопрос.

– В смысле?

– В смысле ваш утренний кофе, сэр.

– В смысле?

– Пожрать!

«Или эта Людка совсем рехнулась в том Лондоне? – подумал Хворобушкин, раскупоривая первую бутылку. – Драматический вопрос... квартирный вопрос... кофе... похмельному человеку шепелявит по-польски! Тут по-русски-то не очень... Ну, Людка! Славная Людка! Правильно говорит эта Людка, древняя женщина польского происхождения, так ещё мама её, Ванда Станиславовна, говорила про бережёно-

го бог бережёт, и Людка маму повторяет, и не в первый раз, но в разы особо переживательных моментов, если вспомнить...»

Прихватив пару бутылок, Хворобушкин достиг кабины вагоновожатого с робким вопросом:

– Куда едем, папаша?

И старик Рабинович, тёмный и грустный, как бородатый, библейских времён, анекдот, охотно и словно не прерывался его единственный и неповторимый монолог, повёл обстоятельный рассказ, начав оный со вчерашнего дня на Привозе и доведя до трамвайного пробуждения Феликса.

– А остальное сушчее вам мадам Людка прояснит.

– Значит, папаша, так по кругу и петляем?

– По кругу. Но круг не петля, молодой человек. Мне информировали, шо вы поэт. Так если вы поэт, вам такая ария кружения должна произвести хорошее настроение. Она повторяется, как не знаю шо, может я ошибаюсь, но мне, старому человеку, эта ария напоминает-таки ритуал, который только потому и называется ритуалом, шо состоит из повторений. Но ешчо мне известно, шо вы не наш поэт. Мне информировали, шо вы приезжий, как дорогой индийский гость. И поэтому пейте ваше утреннее пиво на подъём души, а я вам буду информировать за весь наш головокружительный маршрут номер двадцать шесть, вы даже можете закрыть свои глаза от удовольствия утреннего пива, потому шо вам даже одних ушей хватит оценить трамвайное кружение по Одессе, которая, молодой человек, не всегда была такой, какая она есть теперь перед вашими глазами, она ведь была и старой, это странный факт, шо она была старой тогда, когда ей было меньше лет от рождения, чем сейчас, и ешчо страньше, шо она была старой Одессой, когда я был молодой, и улицы были крыты мощами булыжников и брусчаткой, и сплошные дома из ракушняка, можете себе вообразить, так вообразите, но никогда в Одессе не говорите слово «ракушечник», не обижайте наш город, говорите правильное «ракушняк», из которого можно не только дома строить, но можно даже записывать его в паспорт гражданина как фамилию человека, мужчины или женщины, без разницы, но желательно, шоб тот индивидуум был прочный и надежный, как сам ракушняк, почему нет?..

Хворобушкин глоточками вкушал пиво и слушал, и смотрел. И всё здесь вокруг было так, как было, и не было только в том «вокруге» одного Хворобушкина.

– Джентльмены, к столу! Ваш утренний кофе по-лондонски и харчи по-одесски!

Людвига домохозяйничала с наслаждением.

Рабинович пустил трамвай тихим ходом и вышел в салон на одну хоть и маленькую, но недопустимую минутку.

– Ой, совсем забыла, как нарочно! – воскликнула Людвига. – Шо

у меня в кармане торчит! И думаю: шо такое? Зараз поглядим маленькую ювелирную коробочку от того Гамлета! И шо ж оно такое? Кулон!?

Хрустально-серебряная штучка на золотой цепочке. Старинная работа. Таких штучек нынче не делают.

Людвига, зажмурив глаза, нырнула головой в цепочку без замочка и с лебединой шеей поплыла в кабину вагоновожатого, к немедленному зеркальцу.

– Эти женщины! – усмехнулся Феликс. – Вечно они на всякие безделушки кидаются, как маленькие...

– То не безделушка, молодой человек, – сказал Рабинович, прихлёбывая горячий кофеёк. – То вещь дюже актуальная для бывших дам из царского прошлого восемнадцатого, если не ошибаюсь, века. Обязательная штучка промеж грудей за ради туалетного украшения и личной гигиены. Блохоловка. Вам этого не понять. Вашему веку только мышеловки достались. Но вы, молодой человек, не сообщайте вашей даме об чего я сказал. Пускай она, эта девочка, думает, как думает за кулон. И вот и всё, а я пошёл служить нашему маршруту вперёд и прямо.

– Это ж удивительно, – сказал Феликс, – что только вперёд и прямо.

– Оставьте удивление! У столетнего Рабиновича, сынок, нет иного пути, кроме как вперёд и прямо.

– А если вдруг назад потребуется? Что?

– Тогда вы поверните сами себя на сто восемьдесят градусов и идите себе, идите и идите – вперёд и прямо, в Одессе все так делают. Или вы имеете сомнение? Но я вам скажу так: у нас не подмосковные вечера, сынок, шоб дюже и постоянно сомневаться типа движется-не движется, слышится-не слышится, трудно высказать и не высказать. В нашем городе предположен другой градус...

И когда Людвига вернулась, чмокнув по пути Рабиновича, она сказала:

– Какой ваш Гамлет – тонкая натура!

Феликс засмеялся:

– Только не надо было такого бугая, как наш Гамлет, называть Гамлетом. Роковая ошибка родителей.

– Какая ошибка? Вылитый Гамлет!

– Щас! Чистый Смоктуновский!

И Людвига в свою очередь засмеялась:

– Ой, я так и подумала! Шо ты такой тупо-о-о-й...

– Людка! Не дразнись!

– Ой! Та я же щас проверю! Дедушка Рабинович!

И вагоновожатый выглянул из кабины:

– Алё! К вашим услугам, мадам!

– А скажите, дедуля, Гамлет какой: стройненький, как Смоктуновский, или наоборот, как не знаю кто?

Задумался... Впрочем, ненадолго. Что значит эта маленькая задумка в сравнении с целым веком?

– Или кто бачив того Хамлета? – сказал Рабинович и улыбнулся древней улыбкой, не губами, нет, но прицельным прищуром глаз, казалось, вооружённых до зубов знанием всех тех богатств, которые человечество, не выработав до конца, разбазарило на пути от сокрушения стихийных райских кущей до планового строительства грандиозных развалин, величественных прижизненных памятников. – Забудьте, молодые люди, шо в царских условиях режима эпохи истории России Хамлета того бачив хто? Тот был полный босяк и фифочка! – сказал Рабинович и торжественно, как бенефисный актёр, укрылся за переборкой.

– Вот! – умеренно возликовала Людвига. – Кто бачил Гамлета Смоктуновским, тот есть полный и безнадежный идиёт. Потому шо сам Шекспир написал в пьесе про того Гамлета: толстый!

– Ты видела?

– Читала!

– И шо?

– А ничевошки кроме толстый!

– Так и написано?

– Так и написано!

– Шо толстый?

– Толстый! Толстый! Толстый! Как твой Гамлет с Привоза!

...И так кружили.

Людвига ругмя ругала паразитскими сравнениями литературных переводчиков всех стран и народов.

Феликс выслушивал, слушал, слушался... Всё, казалось ему, было так, как было, и не было здесь только его самого, Феликса Хворобушкина, хибаровского поэта.

Рабинович из кабины доносил древним голосом исторические сведения о Петропавловской церкви на Молдаванке, потом – об Архангело-Михайловском монастыре, который порушили воинствующие атеисты этого поца Емельяна Ярославского, а шо с него, некультурного, взять, если он сам ничего не взял? ни от папы, читинского скорняка и учителя, ни от мамы, дочки баргузинского рыбака, бедной подёнщицы, ни от самой чиновно-каторжной Читы, ни от Забайкальской железной дороги, ни от Берлина-Парижа-Петербурга, ни от Одессы-матушки... – этот председатель Союза безбожников Союза Эсэсэсэр... – а на месте монастыря построили дом-гигант социалистического проживания работников Энкавэдэ...

Пулемёт зеленел. От чего неизвестно. Не скажет ведь, на то он и пулемёт.

Газовая плита «Везувий» мирно готовила обед, плавно переходящий в лёгкий ужин.

– Вот! – между прочим голосила Людка. – Послушай, Феликс, сти-

шок! Я сама своими руками сочинила, шоб тех переводчиков позлить, и пусть они, дураки, почешутся в одном месте!

– Ты на кафедре в университете тоже так голосишь?

– Тоже! Слушай, никогда стишки не сочиняла, а тут отложила к чертям свои дамские романы и сочинила стишок! Специально, шоб тех переводчиков подразнить!

И Людвиг декламировала дразнилку, жестом руки отмечая знаки препинания:

*Какие берега!
ах – аннабелла – ах!
А между берегов –
водоворот марины...*

– Они ж ни бельмеса не понимают, о ком идёт речь! – голосила Людвиг.

– Да я тоже... не очень, – бормотал Феликс, – если честно.

– Если честно, так поэты, Феликс, видят совсем другие сны, не такие, какие ты видишь про пьянку. А кому всякая пьянь день и ночь мерещится в голове, так тому какой интерес до Ахматовой, Ахмадулиной и Цветаевой? Ты не читал Цветаеву?

– Нет.

– Я тебе пришлю, Феликс. Из Лондона. Заказной бандеролью с уведомлением.

– Ты мне не присылай, Людка. Может нехорошо получится.

– Тебе?

– И мне тоже.

– Благоразумно хочешь жить?

– Просто жить.

День вздохнул и перевернулся солнечно поджариваться на другой бочок, послеобеденный.

– ...а на Старом кладбище, – рассказывал Рабинович, – Одесса похоронила героя Шипки генерала Радецкого, кинозвезду Веру Холодную, брата Пушкина Лёвушку. Так шо ж вы думаете, дети мои? В тридцатые годы приехали грузовики с солдатами, расколошматили могильные плиты и памятники на куски, шоб легче транспортировать, и увезли те мраморы на строительство образцово-показательной свинофермы. А поверх кладбища устроили парк со зверинцем, весёленькое дело. А поверх живых голов образовалась атмосфера, в которой должна быть одна огненная фразочка, но не получается та фразочка, буква к букве не пристаёт, не сходится, так перемешались, так разлетелись литеры, шо местному населению, наверно, никогда уже не придётся увидеть в небе над головой и по складам прочитать про то, шо увечный грехом увенчан и долгом вечным...

Трамвайные вагоны старались не очень-то подпрыгивать на стрелках, не очень-то расшумливаться на перегонах, не очень-то повизги-

вать на крутых виражах: люди, вещи – в одной же сцепке, другое дело, что сцепной вес разный.

– Высадили, значит, добровольных мужчин и женщин на необитаемый остров, – говорила Людвига. – И остров тот – истинный рай. Еда, питьё, молочные реки, кисельные берега, всё под рукой, бери чего хочешь, одежда не нужна, и обувь не нужна, рай же! даже мухи целуются, как родные, живи себе в полное шчастье и удовольствие. И вот через много-много лет приплыли на этот остров другие люди, и шо ж они увидели? Они увидели нескольких дикарей с дубинами на дикой, на убитой и выжженной земле. Был сад, стал ад... Вот про это будет мой будущий роман. Но я боюсь, будет ли. А ешчо больше боюсь, если будет. Мне страшно от него, Феликс...

– ...я показал бы вам, – говорил и говорил Рабинович, – сначала лестницу и фонари у Оперного театра. На блатной фене лестницу называют хутар. И когда одна наша популярная газета стала выпускать рубрику для развлечения молодёжи «Вечера на хутаре близ...», так на ту газету порядочные люди Одессы подали в суд за обиду, нанесённую им, и лестнице, и фонарям, и Оперному театру, и даже Николаю Васильевичу Гоголю. Потому шо нельзя же так, когда невозможно! Тут же есть ток высокого напряжения немислимых вольт! Пусть это будет, по-вашему, литература, с буквой ять или без буквы ять, всё равно. Так ток литературы учит? Смешно! Он не учит. Он движется. Зачем? А я знаю зачем? Я не знаю зачем. Но я приблизительно думаю, как никакой писатель: нехай она, эта вольтанутая литература, хотя бы условно обозначит эру обитания человека, где любовь, где нелюбовь – и всё, большего она ж не сделает. Но это не значит, шо ей уже можно ручки и перья умыть. Обозначив, шо надо, ей придётся об том же самом одном и том же напоминать людям в каждом поколении, из века в век: вот есть мера любви и вот есть мера нелюбви, а шо сверх меры, так то уже будет эра без названия, то уже будет назвать некому про да здравствует людоедство... А за декоративные решётки на балкончиках я говорить не стану. У вас есть глаза, так смотрите и восхищайтесь. Штучная ж работа! Отливка из чугуна. Или из кованого железа. Встречается, шо и вместе литьё с ковкой. Это есть знаменитый фонарный кронштейн на улице Советской Армии, на котором красные вешали белых, белые зелёных, зелёные – других мастей и так дальше. Прочный кронштейн, всех выдержал, ему без разницы. И такой же козырёк подъезда в доме на улице Пастера, если его ешчо не уволокли на металлолом юные пионеры по призыву Вторчермета...

– Да, да, да! – говорила Людвига. – Или ты не догадывался, Феликс, что за границей, шоб вольно жить и безбедно, надо с утра до вечера крутиться, как белка в колесе? Так и я бы крутилась! Я учёная, и кручёная, и не возражаю. Но зачем? Кому там мой крутёжь, кроме меня, нужен? Этим всем замороженным дылдам с трубками в зубах и с зонтиками?

– Так и здесь белка, – говорил Феликс.

– Зато с пулемётом, – говорила Людвиг.

– ...а чуток подальше «Пассажа», – говорил Рабинович, – вам будет светить Ришельевский лицей. Туда заявлялись Пушкин и Мицкевич, Гоголь и Батюшков. А вокруг того лица на каждом шагу рассыпаны имена краткие, как восклицания! Марк Твен, Грин, Влас, который Дорошевич... или вы не видите, шо они вышли на бульвар и прощально машут нам тросточками? Они машут про то, шо больше жизни не проживёшь, исторический факт. И этот бульвар, когда назывался Французским, был весь в цвету, об чём даже песню пел не кто-нибудь, а сам Марк Бернес. Но когда бульвар стал Пролетарским, то деревья повывёртывали с корнями...

Всё было так, как было. Не было только Феликса Хворобушкина.

И явился вечер. И вечер потянулся. Он потянулся так, как это делает человек, до очумения уставший и закосневший, закостеневший от монотонной и несвободной в движениях работы: сладко, с зевотою, с похрустывающими косточками онемелости.

Трамвай похрустывал деликатно.

Людвиг всплакнула, вспомнив маму, Ванду Станиславовну.

– Я говорю ей: мамочка, зачем ты каждый вечер убиваешь этой дурацкой штопкой? Это она каждый вечер, как заведённая, штопала-перештопывала носки, устроив под дыркой электрическую лампочку Ильича. Я говорю: я нам всем куплю сто миллионов новых носков, чтобы ты, мамочка, не возилась со старьём! А она молчит, улыбается: всё будет в порядке, вшистка бэндз в пожондку. А я тоже думаю, но не улыбаюсь: какие носки? какая штопка? польская же месса! месса мессианизма! молчаливая месса речи! молчаливая месса Речи Посполитой!.. Ой, дура ж была-а! И щас не лучше...

...Рано-рано, когда домашнее население ещё досматривало свои индивидуальные сны, Хворобушкин и Людвиг приготовили к торжественному открытию бутылку «Советского шампанского» с тремя фужерарами и направились к рабочему месту круглосуточного Рабиновича.

– Феликс, ты сначала сделай вид, шо как будто бы не помнишь про столетие! Ты сначала скажи так простенько: шо, дескать, новенького, дедуля?

– Вос хэрт цих?

– Та можно ж даже и по-еврейски, и хоть по какому! А потом мы его удивлять будем, и поздравлять-таки будем с новым веком...

Рабинович сидел во вневедомственном, не трамвайного назначения, кресле, вольтеровском, с высокой спинкой и подлокотниками.

Пергаментная кисть неподвижно лежала на ручке реверса в ходовой позиции.

И кои веки – пергаментные – опущены.

Старик был мёртв.

«Не успел...» – подумал Феликс.

– Успел, – послышался старческий голос.

Но это Феликсу всего лишь почудилось, это уж не Рабинович, а трамвай за вагоновожатого сказал человеческим голосом одно-единственное живое слово и при этом израсходовал всю энергию, все свои силы – и остановился, не потревожив соленоидного ключа торможения, и Феликс тогда вздрогнул: господи, каким же всё-таки сильным должен быть человек, какой энергией, какими токами заряжен, если он всю жизнь только и делает, что говорит, и говорит, и говорит...

Железнодорожный вокзал – конечная остановка, она же и начальная.

А потом «скорая» с красным крестом завершила свои уже неспешные дела.

И Феликс поднял прощальную руку – из проёма вокзальной двери.

И Габриэль Мария Ремаркес подняла прощальную руку – из проёма трамвайной двери.

И перед тем, как повернуть самого себя на сто восемьдесят градусов, Феликс ещё успел услышать долгий будильниковый звонок моторного вагона с вагоновожатой Людвигой в вольтеровском кресле.

Тупичок *third!* Following is silence...

Ладно, пусть! пусть он будет толстый, тот Гамлет, тот молодой человек, за спиной которого стоит, как тень памятника, усталость веков и поколений. Какое нам дело до его телосложения? Так? Нет, не так. Русская литература ещё до доктора Чехова закрутила проблему толстого и тонкого тугой пружиной, в особенности – тонкого (бедного, лишнего, маленького, униженного и оскорблённого), из которого так и попёрла, так и полезла в поле зла полезная бунту инициатива.

И как же он сладостен и почётен, этот целебный девиз предназначения: «Улучшать мир – вот в чём всегда заключается долг писателя»! Всё слаще и слаще долг – от времён Сэмюэла Джонсона. И никто из перочинной братии не оспаривает, не спорит по этому поводу, а если даже и случаются рефлексорные словопрения, так они ровно ничего не значат и не решают, поскольку по форме, содержанию и по существу похожи на сцены споров в драмах Бернарда Шоу, эти идеальные, образцово-показательные споры, каких в жизни, вне сцены, не бывает и быть не может, и отчего они так восхитительно восхищают вора, уловившего миг удачи в чужом кармане. Братия верует, как ворует: не **л**ьпо ли ны бяшетъ братие... Тешится. Утешается. Утишает внутренний голос сомнения. Попеременно барабанит по собственным грудям: верую! ве-ру-ю! Так? Не так. Ибо: нелепо. Ибо: есть и постоянный ток Шоу с коротким, но веским замыканием: чтение сделало Дон Кихота рыцарем, а вера в прочитанное – сумасшедшим... Ветряные мельницы по-нынешним временам – не в счёт. Социалка! Она многое, если не всё, объясняет активно действующим лицом: «Гражданка

нарсударыня! Услышав собственными ушами душераздирающий крик «Помогите!», я, нижеподписавшийся, подошёл и помог Иванову, Петрову, Сидорову, Крусанову, Лавсанову, Чойбалсанову и Сан Санычу Хулибердыеву избивать одного типа типа Недотыкина, но выяснилось позже, что это была моя как бы ошибка типа не понял, потому что у меня, во-первых, не было времени разобраться насчёт того, кто кричал о помощи, а, во-вторых, я с детства воспитан так, что не могу равнодушно типа пройти мимо типа...»

О, переводчики с языка на язык, с берега на берег, с того света, Старого, на этот, который всё Новый и Новый, не взирая на преклонный возраст, и молодящийся подобно сладострастной старухе! Как передадите мировыми языками это русское отрицательное «равнодушные», означающее весьма положительное «единодушие» в православных церковно-славянских канонах? О, пресвятая баба этимология! спаси и помилуй нас, неразумных... Ведь эти слова, единодушие и равнодушие, не только не близнецы и не синонимы! они – одно слово, одно и то же понятие! и этого мы, до умопомрачения начитанные, вовсе не замечаем, а между тем, равнодушие уже имеет полное право быть бурным, а единодушие – сонным и антисоциальным, и сие есть ещё один парадокс великого и могучего языка в условиях развитого социализма и развёрнутого строительства коммунизма. Да неужто не сыщется такой переводчик времени, букв и буквального времени, кто скажет – как отрежет: «А подите вы к чорту! Что вы всё суёте мне под нос ваши условия? Что такое ваши условия, ваши долги и ваши веры? Слова, слова, слова. Логорея. Названность – только и всего, за которой никто, ничто и ничего не стоит. Ну, назовите свою текущую жизнь раем! И – что? Вы будете жить в раю? В эпицентре эдема – яблоня с молодильными яблочками, и молочная река с кисельными берегами, и цветной телевизор на сто каналов вещания, а по бокам – помещения, а в помещениях – мещане и старосоветские помещики, которые живут единодушно-равнодушно и никогда не ссорятся, не спорят и не проветривают помещения. Так? Ну, вот так и живите. По понятиям! И если кто думает, что троеручица «Не верь, не бойся, не проси!» есть только тюремно-лагерный закон, тот в трёх соснах заблуждается. Возможно, по такому трёхтонному правилу сочиняются дурные романы, но это вовсе не означает, что хорошие романы сочиняются по другому правилу, тоном ниже-выше, тоном больше-меньше... Этот наивернейший закон выживания не воры придумали, не уголовная шпанка сочинила – народ, население, должники великого государства, ставшего лагерем и Гулагом, с зонами отчуждений и бессрочными ссылками на источники и составные части – без тени сомнения...»

Ау, переводчики! Вот мы читаем ваше – от Декарта: «Всё подвергай сомнению!» И вместо восклицания горбится унылый вопрос: что же он имел в виду под сомнением, этот франкоговорящий философ? Недоверие? Неверие? Несогласие? Так-так... Но русскоязычное

сомнение, равно как и согласие, и сочувствие, и соболезнование... – означает единость, взаимность, отсутствие противоречия... И кто кому, в таком случае, показал язык? Декарт – переводчику или переводчик – читателю?

«The rest is silence», – сказал Гамлет. Он сказал – и умер. А мы читаем – и мучаемся. Что же спрятано в этом rest, уходящем в молчание? Дальнейшее? Последующее? Оставшееся – позади или впереди? Осталось молчать, равное прошлому в сочетании с будущим? Так ведь и говорят в обиходе: мне, дескать, осталось только молчать... Борис Леонидович тоже гениального туманцу подпустил. И только где-то в разрывах туманца брезжит: дальше – тишина, конец – молчание...

Может быть, это и есть человечно искомое «время Ч», время Земли в одной из его многих, горячих и холодных, порций, в условных мерах и границах: от человека до человечности, после чего время выйдет, и больше мы ничего не узнаем, кроме мгновения, которое исполняется нервно: тик-тик! тик-так! так-так! sic-sic! sicунда, такая маленькая, но единственно надёжная, разделившая со «временем Ч» наши долги, веры, сомнения и подступы к тишине, на коих молчание молви равно и молитве.

Тупичок четвёртый! Конечная...

От Понта Эвксинского, Чёрного моря, синего сколка в зелёном венце... от жёлтых акаций и лайнеров белых с поясом красным на тубе, басовой трубе...

от женщин, пленительно знойных, и жуликов с выправкой лордов, наследственных принцев Фонтанов Больших и Малых...

от живописной палитры Привоза, где краски знакомы на вкус и на запах...

от улиц тенистых, чугунно-ажурных в прошиве ревновых глициний...

от хутара, к морю текущего вниз из-под ног Ришелье, достославного Дюка:

ступени –

ступени как клавиши –

лестницы каменной камер-клавир –

где моншер ами рифмуется, чокаясь,

с шорохом Ершалаима –

подошвы зуавов –

булавка французская в щели –

шаманские бубны бунта –

толстые тени и тощие тени –

Кощеи бессмертные –

дюжина ангелов

на кончике остром одной иглы –

пузатые Будды с весёлым мизинчиком на отлёте...

от вагоновожатой Людки, в девичестве Свидерской, и сверхвекового Рабиновича, одного из тех, кто уже никогда не уедет из этого города, потому что грузин Резо Габриадзе вознамерился поставить ему памятник в бронзе, и местное население сказало тому человеку-памятнику: резонно, Резо! почему нет?..

от говора-речи и сказа-молвения, в которых на вопрос отвечают вопросом: а шо такое! – и переговоры сторон, как правило, заканчиваются дружественным «Ша!», произведённым, как утверждает Габриэль Мария Ремаркес, от «Shut up!» джентльменов британского флота, но местное население эту фразочку трошки подправило, подсократило, подстригло и причесало на свой ладный манер, устранив тем самым провинциальную грубость джентльменов с их хулиганским смыслом «заткнись»...

от того языка лиги наций, который довёл-таки серьёзных людей до весёленькой жизни, до революции, а революция это дело такое, что сам чорт ногу сломает любому революционеру...

от Понта Эвксинского прочь, в беспонтовое существованье...

от ст. Одесса-пассаж.– до ст. Москва-сортир. – добро пожаловать, сэр, в столицу Союза Советских Социалистических Республик!

...Дальнейшее продвижение Хворобушкина на восток страны было проблематичным ввиду полного отсутствия денег.

Феликс бродил в станционном пространстве, жевал чёрствую булочку и размышлял о революции. О той революции, которая случилась почти на глазах члена Союза писателей Хворобушкина, у Понта Эвксинского, Чёрного моря, синего сколка в зелёном венце. Шо такое, в конце концов? Согласно передовой теории Коммунистической Партии, революционеры всегда возводят светлое будущее, начиная со строительства баррикад. Однако революционеры Сен-Жирмена не строили баррикад и не устраивали прочих уличных безобразий. Попирая теорию КПСС, революционеры чтити правила уличного движения, не создавали предпосылок к дорожно-транспортным происшествиям и мирно демонстрировали невыносимую любовь к простому народу. Где же оказалась Коммунистическая Партия, которая тоже много чего замечательного демонстрировала? Неприлично сказать, где. В контрреволюции! Но контрреволюция, по теории КПСС, есть гидра, штурмующая баррикаду. А баррикад нет. Кого штурмовать? Остаётся – трамвай. А в трамвае, в вольтеровском кресле, – уже не Габриэль Мария Ремаркес, а Людка Свидерская. Людка не свернёт! Во-первых, некуда. Во-вторых, характер. И куда же деваться бедному Милорадовичу, партийному секретарю? Можно в Испанию, на Коста дель Соль. На Кипр можно. На загородной даче не укроешься. Достанут и вытряхнут. И на Кипре найдут. И в Испании сыщут... Интересное положение. С одной стороны, вся страна как бы идёт вперёд типа движется в направлении светлого будущего. С другой, – лежит, сопит и дремлет. Человеческий фактор налицо: глаза ленивые слипаются от тоски, зато язык рвётся наружу, выразаться желает гром-

ко и нецензурно. Если бы глаза и язык принадлежали множеству лиц, то было бы ещё ничего, нормально, но всё шекспирство в том и состоит, что – на одном лице сошлись, в одной голове уместились и даже не грызутся между собой, а это уже, извините, идиотизм, в котором, конечно, можно жить, но, как уверял Гамлет Дыртаньян, ни работать, ни зарабатывать, ни жрать, ни пить, ни спать, ни иптиться уже неохота – зачем? кому они нужны, эти варианты? когда этот человеческий фактор уже не фактор, а чорт знает шо за птица, Феликс, такая! птеродактиль или умирающий лебедь?.. Так говорил Гамлет, затребовав для темы революции одну маленькую секундочку разговорно-застольного времени. Так он говорил, безразмерный, широкий, толстый, и нелишним, казалось, было бы даже укоротить его, пообтесать. Но только та секундочка выдала Гамлета с головой: узкий, тонкий, тощий. Потому что секунда, как уверяет Людка, она и есть second, всегда second, то есть «вторая», и это по-человечески и по-филологически справедливо, так как за время первой секунды ничего не успеваешь сообразить, и что булочка кончилась, диета съета, волки сыты, овцы-целки, революция продолжается...

– Товарищ, подойдите к локомотиву истории!

– Это вы меня зовёте? – спросил Феликс и очень удивился: в этом многомиллионном городе, на этих рельсах, в этом железнодорожном депо, куда он забрёл ходокон машинальным, случайным и беспринципным, его никто не должен был окликать, привечать и подзывать по-товарищески.

Подошёл. Смахнул с бороды хлебные крошки. Прищурился.

Паровоз. Чёрный, блестящий, как майский жук. С красными колёсами. Цилиндры и будка с тендером – в бело-красной окантовке. Пыхтит белым пыхом, как настоящий. В окне будки машиниста – Ленин. Весь рыжий, усы и бородка. Кепка, белая рубашечка, галстук в крапинку, тёмный плащ. Машет рукой, как настоящий:

– Поднимайтесь, товарищ, на пролетарскую высоту!

И смеётся, как настоящий. И картавит так же:

– Будете третьим!

Дальше всё пошло, как по маслу.

И Восток улыбнулся!

Взяли Феликса в паровозную бригаду – кочегаром. Ленин в три секунды решил этот кадровый вопрос.

Ленин – машинист. Станислав Борисович Скитайский. Русский. Кандидат исторических наук. Внештатный член лекторской группы отдела пропаганды и агитации Московского городского комитета КПСС.

Помощник машиниста – Биттев Андрей Георгиевич. Немецкий русский. Член КПСС. Старший научный сотрудник Госгидромета.

– Очень приятно познакомиться, – сказал Феликс и назвал Овидием Назоном.

– Опять еврей? – спросил Скитайский.

– Древний Рим, – ответил Феликс.

– Значит, рот фронт, – сказал Биттев, и больше по этому поводу вопросов не возникало.

Шипение пара. Запах горячего масла и мазута. В топке пламя гудит. На котловом манометре рабочее давление 14 атмосфер. Серьёзная машина!

Вечером в депо собралась небольшая толпа празднично одетых мужчин и женщин глубоко пенсионного возраста, в орденах и медалях старики и старушки. Провели митинг. Разрезали алую ленточку. Старики заутирались кулаками, ладонями, платочками. Протяжный гудок – и поехали, поехали...

На тихом ходу зашли «под воду», к гидроколонке. Потом – к дальним путям, где дожидался локомотива сборный состав из десятка вагонов. Автосцепка. Проба тормозов...

– Маршрутный зелёный! – кричит Биттев.

– Очень хорошо! – кричит Скитайский. – Смотрите, товарищ Назон, что я делать буду. Учитесь! Ручку реверса – вперёд до отказа! Максимально наполняем цилиндры паром... Гудок отправления! Оглохли, батенька? Немудрено. На гудок подаётся пар с рабочим давлением двенадцать атмосфер! За километры слышно! А теперь слушайте! Как пушка бухнула! Это первая отсечка пара потащила за собой дым из топки! Потом вторая отсечка! Третья! Па-а-шёл, Иосиф Виссарионович! Так наш паровоз зовут! Серия «ИС»!

Что это было? В пути Хворобушкину всё объяснили, правда, с оговорками и предупреждениями о том, что сказанное распространению не подлежит ввиду сугубой секретности.

Дело в том, что случилось пренеприятнейшее, из ряда вон выходящее, чрезвычайное происшествие по линии Гражданской Обороны СССР. Почти в самом центре страны, на малоизвестной реке Меча, на производственном предприятии «Маяк» Министерства среднего машиностроения произошла авария с выбросом в атмосферу и сбросом в реку радиоактивных веществ. Есть жертвы и инвалиды. Но участники ликвидации последствий аварии работают героически, не покладая рук, днём и ночью, не жалея своих сил и самой жизни. Другой вопрос, что во время и после катастрофы обнаружили многие недочёты и просчёты в организации Гражданской Обороны вообще и системы защитных мероприятий в частности. Вопрос обсуждался на самом верху, в Кремле, в узком кругу, в секретном порядке. Один из членов Политбюро тогда спросил министров-специалистов: а если какой-нибудь враг специально взорвёт, например, советскую, самую мощную в мире, гидроэнергетику – и что? вся страна останется без электричества? Приняли совершенно секретное решение с множеством пунктов. Среди них есть один такой: на всякий случай проверить на предмет пригодности и мобготовности весь паровозо-локомотивный парк, стоящий на запасных путях. Министерство Путей Сообщения развер-

нуло активную работу по всей стране. Кое-что нашли на тех запасных путях, в тупиках. Очистили, отмыли, продули, подмаслили, проверили ходовые части, отремонтировали в самом срочном порядке. Но главная трудность – кадры, о чём и доложили в Центральный Комитет. Оттуда прозвучал секретный партийный призыв: «Коммунисты, на паровоз!» Только где те коммунисты? Собрали по крохам, каждая – на вес золота...

И подвигались Великой Транссибирской магистралью так: день ходу, два – передых.

– Шаг вперёд, два шага назад! – картаво смеялся Станислав Борисович.

Весёлый мужчина. На заре туманной юности носил чёрное суконное обмундирование с «серебром» пуговиц, поясной бляхи и скрещёнными в эмблеме молоточками: учился в железнодорожном ФЗУ на помощника машиниста, через несколько лет машинистом стал, узкие «серебряные» погоны на плечах с зелёными просветами и окантовкой, почти военный товарищ, можно было бы и в генералы наметиться, но Коммунистическая Партия распорядилась по-своему, иначе, выдвинула Скитайского на партработу с транспортной специализацией и перекосила его профориентацию в сторону Ленина; в служебном порядке и в рабочее время выучился Станислав Борисович руку простирать в нужном направлении и картавить, написал кандидатскую диссертацию на историческую тему с центральным вопросом-ответом: «Что такое российская железная дорога? Ленин, партия, комсомол плюс электрификация всей страны!»... Вот почему Ленинский призыв-мобилизацию коммунистов на паровозы принял как дело чести, доблести и героизма. Тем более, что ЦК КПСС в проводимой кампании не только проверял надёжность локомотивов запасных путей, но и расширял её цели и задачи, и паровоз с десятком вагонов, отправившийся на восток со ст. Москва-сортир., родины первого коммунистического субботника, получил статус агитпоезда ЦК КПСС, Верховного Совета СССР, Совета министров, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, дело нешуточное – пропаганда решений партсъездов и постановлений правительства! Ещё и почтово-багажные вагоны подцепили, да пару пассажирских, чтобы дуриком не гонять, порожняком, всё замечательно продумано. Конечно, выявились отдельные недостатки. Например, паровозная бригада на крупных станциях не сменялась, оставалась прежней, местное партруководство в поисках кадров не дорабатывает, и оргвыводы последуют позже...

Серьёзный товарищ, этот Станислав Борисович. Живее всех живых. Человек на своём месте. На паровозе! Так и сыплет любвеобильное: «инжектор», «паровоздушный насос», «пресс-маслёнки», «буксы», «углезаборник Стокера», «сифон»... Откуда эта нежность к огнедышащему Змею Горынычу, железному зверю? Не от верблюда. От Станислава Борисовича. Сам сопреп на груди своей, некогда пролетарской.

Водой напоил, антрацитовый пищей насытил, суставы подмаслил – вот Оно и пошло, и идёт, как живое, послушное, прирученное.

В межоконном пространстве Станислав Борисович устроил галерею цветных иллюстраций из популярных журналов «Огонёк» и «Наука и жизнь». Получилась тематическая экспозиция «Ленин и паровоз» с пояснительными этикеточками:

1. Б. Кустодиев. 1925. Выступление В.И. Ленина перед рабочими.

2. И. Нивинский. 1932. Ремонт паровозов на Московской Казанской железной дороге. Цветной офорт.

3. П. Староносков. 1934. Возвращение В.И. Ленина в Петроград в апреле 1917 года. Гравюра.

4. А. Лопухов. 1953. В Петроград.

Две последние картинки Феликс решительно раскритиковал. На первой вождь пропагандировал идеи партии в тесном купе общего вагона, в кругу вооружённых солдат. На второй – ничего не пропагандировал, стоял в паровозной будке и зорко всматривался из окна в потустороннюю перспективу. Две картинки – об одном и том же историческом моменте. Спрашивается: где истина? На паровозе или в вагоне?

– Это очень интересный поворот темы, товарищ Назон! – сказал Скитайский, лукаво прищуриваясь. – Действительно, вопрос до конца не изучен. Пожалуй, мне понадобится этот вопрос ещё для целой главы в новой диссертации. Докторскую пишу. С благословения Института марксизма-ленинизма. А у вас наблюдательный глаз, товарищ Назон!

Кочегар с картины художника Лопухова, ко всему прочему, был как две капли воды похож на Андрея Георгиевича Биттева. И оба – на героя Гражданской войны Григория Ивановича Котовского. Надо же! В годы Великой Отечественной войны Андрей Георгиевич служил в железнодорожных войсках, тягал воинские эшелоны, после войны демобилизовался и пошёл по другой линии, по метеорологической: институт, десяток метеопостов и станций по всей стране, аспирантура, Госгидромет, аккуратная служба, спокойный режим, вдруг – бац! – мобилизация, партийный призыв: «На паровоз!» Деваться некуда...

– Ничего, ничего! – говорил Скитайский. – Терпите, Андрей Георгиевич. Ленину было трудней.

И сложилось так, что с первого дня бригадной жизни стали называть Станислава Борисовича – Лениным. Товарищем Лениным. Станислав Борисович не обижался. И Андрей Георгиевич не обижался, когда его, с лёгкой руки Хворобушкина, стали называть Котовским. И Феликс с тайным волнением отзывался на имя: товарищ Назон.

Так и ехали по Великому Пути.

*...И вновь начинается бой!
И сердцу тревожно в груди!
И Ленин – такой молодой,
И юный Октябрь впереди...*

Ленин напевал эту пионерскую песню дребезжащим, но довольно приятным тенорком.

Он ухватывал правой кистью правый же лацкан плащиска, выглядывал в окно, прищурившись и выставив встречному ветру рыжую бородёнку – и становился абсолютно живой натурой с картины художника Лопухова.

– С огоньком работаем, товарищи! – кричал он.

– Как черти в аду! – кричал Котовский.

Назон работал совковой лопатой в подсобу капризному механическому углеподатчику, шуровал топку длинной кочергой, весь потный и грязный, в угольной пыли, и ему было не до реплик.

– Вот вы молодой ещё человек, товарищ Назон, – говорил Ленин. – А я помню, и товарищ Котовский наверняка помнит, первые пятилетки на собственной шкуре. Вот вам исторический факт. Случалось, что в пути срывались с места колосники в топке. Что делать? По инструкции, – гаси паровоз, вызывай локомотив из резерва. Фактически получалось: закупоривай движение на несколько часов. Но у советских машинистов был другой выход, товарищ Назон! Надеваешь ватник и ватные штаны, шапку на глаза, рукавицы, с ног до головы окатываешься водой, чтобы промокнуть до нитки... – а перед этим надо обязательно насколько можно провалить огонь в топке и подбросить сырого угля из тендера! – и прямо лезешь в пекло, в шуровочную дыру! Залез – и быстро поправляй колосник прямо в топке. Герои были!..

Как самый молодой, Назон на остановках бегал в станционные буфеты с чемоданом и солдатским вещмешком, за продуктишками.

И с каждым днём всё чаще к Назону подкатывала дурнота.

– Крепитесь, товарищ Назон! – ободрял Ленин. – Ленину на вашем месте было хуже!

Назон ворчал: ага, был бы тот Ленин на его месте...

На длительных остановках он, с разрешения Ленина, уходил в пассажирский вагон, отсыпался на бесплатно предоставленной полке и читал книжки. Книжки, ранее не виданные, не читанные, краем уха слышал кое-что нелестно-ругательное об авторах: Хемингуэй, Сэлинджер, Лорка и Алексей Ремизов. Последний – в переплетённой машинописи на папиросной бумаге с тревожным и всепогодным названием: «Взвихренная Русь». Все книжки – из дорожного саквояжа Ленина, сам предложил почитать наших врагов для развития и упрочения классового сознания.

На нижней полке пассажир обсасывал куриные косточки.

Это было невыносимо.

Назон читал, но дурнота не проходила.

И он возвращался в будку.

– А что, товарищ Ленин, – кричал он из тендера, подваливая совковой лопатой уголёк поближе к люку, – будут при коммунизме деньги?

– Югославские ревизионисты считают, что будут.
– А другие что считают?
– Китайские догматики утверждают, что денег не будет.
– А у нашей партии какое мнение?
– Наша диалектика неизменна, товарищ Назон: у одних деньги будут, у других не будет, – отвечал Ленин и задумывался, ибо наличные кормовые деньги, выданные под квитанцию бригаде финансистами МПС, истаивали на глазах, а ведь едва-едва перевалили за середину пути, и ехать ещё, и ехать...

– Два жёлтых! – кричал вперёдсмотрящий Котовский.

– Вопрос ясен, возражений не имеем! – весело отвечал Ленин, давал три коротких сигнальных свистка, рукоятку реверса передвигал назад, поезд замедлял ход, и состав останавливался: то ли путь впереди занят, то ли на однопутке надо встречный поезд пропускать, дело обычное.

А сны к Назону являлись кошмарные: Ленин, такой молодой! Котовский скачет с саблей наголо на паровозной трубе! ходит по вагону Алексей Ремизов, как папиросная бумажка трепыхается под солдатским конвоем и каждому встречному антисоветчину рассказывает: «Пришёл Пришвин. Принёс хлеба. Революция – или чай пить?» – и каждый спрашивает: «А кто такой Пришвин, и по какую сторону баррикад?» – «За рекой в тени деревьев» – «Где, где?» – «Над пропастью во ржи» – «Где, где?» – «Где тёмный корень крика!»...

Уж Байкал миновали, и на перегоне посреди степи, где ни одной станции-полустаночка поблизости, одни ветры над дистанциями гуляют, ближе к вечеру, часу в шестом рельсовый путь перегородил мужик на телеге.

Дали экстренное торможение.

Мужик с пакетом в одной руке и деревянным сундучком – в другой деловито забрался в будку.

– Кто тут главный будет? – спросил.

Ленин руку протянул:

– Приветствую вас, товарищ! У вас срочная депеша?

– Мы не знаем, – ответил мужик, – какая вам депеша будет. А нам такая депеша вышла, что как на войну. Бригадир разбудил и приказал несвойственным голосом: скачи, Ерофей, срочно, перегораживай путь и перехватывай секретный поезд, к вечеру он в нашей местности проходить будет, назначаешься сменным кочегаром на паровоз, важное задание, спущено обкомом до райкома, райкомом – до сельсовета, сельсовет в сельпо продавщице Дуське Звягинцевой тот пакет передал, а уж Дуська – бригадиру, а уж бригадир, сволочь такая, меня разбудил. Так что, здрастье, товарищи, это буду я.

– Товарищ, а вы паровозы видели? – спросил Ленин.

– Мы здесь всё видели. А паровозы не то что видели, а даже под откос пускали, опыт имеем. Где тут у вас руки помыть?

– Товарищ, товарищ! Неужели вышестоящие товарищи даже не проинформировали вас: куда, зачем, по какому случаю?

– Слушай, – сказал мужик голосом презрительным и полным достоинства, – ты хоть и рыжий собой, а маленько дурак. Когда паровоз – у нас всегда случай есть. И какая нам разница – куда и зачем? На кой хрен нам ваши стоящие товарищи? Нам бы из этого чортова угла куда-нибудь выбраться, хоть в партизанскую Анголу, лишь бы не видеть его больше во веки веков. Хотел семью свою с собой захватить, пять ребятишек, жена, тёща, хуже нищих, да побоялся с места срывать так сразу, сперва сам попробую такое счастье. Так где тут у вас руки помыть?

И Назон, уступив место сменщику, надолго убыл в пассажирский вагон.

Спал, читал ленинские антисоветские книжки, попробовал сочинить что-то из того, что крутилось в голове и на языке, но ничего, кроме дурацкой фразы «Это лето околело, съето лето, как котлета...», на бумажке не изображалось, и никакой он не поэт, Феликс Хворобушкин, дерьмо собачье, пора бросать эту писчебумажную фигню, суету, беговню, литературы нет, всё миф, иллюзия, жизнь прошла, шлак остался, след затерялся, голова пустая шкворчит, куски памяти на сковородке, да пошло оно всё к чортовой матери!.. В сущности, надо ли вообще что-то помнить и вспоминать? Он вернулся. Он почти вернулся. Значит, надо просто забыть помнить. Гори оно всё синим пламенем! Ту память развернуть лицом вперёд и прямо – и всё!..

И когда на позднем перроне железнодорожной станции, под парящим в чёрном небе синим хихикающим неоном остановился не очень чтобы скорый поезд, почтово-пассажирский и чрезвычайно-агитационный, дотянувший до кратковременной передышки, по-видимому, уже на пределе парокотельного КПД и пассажирских билеченных жил... – Хворобушкин вышел из вагона, умытый, мягкий и благостный.

Из тени вышли двое, улыбаются широко.

«Здравствуй, племя молодое, но знакомое!» – хотел сказать Феликс, но племя его опередило.

– Поэт Хворобушкин!

Феликс даже вздрогнул от приятности: вот оно, племя! они ведь даже не спрашивают, эти первые встречные! они восклицают! потому что они знают в лицо своего поэта! это ж не Одесса какая-то! неужто прямо сейчас автограф попросят?..

– Пацаны, – сказал Феликс, отвечая соразмерной улыбкой, – я про вас так скучал, так скучал...

– Мы тоже, представьте себе. И где же вы так долго пропадали, гражданин Хворобушкин? Уж мы вас тут ждём, ждём, все глаза проглядели... Вы хоть знаете, кто мы такие?

Феликс всё понял.

– Почему нет? – ответил он. – Или вы сами не знаете, что имеете

дело со старым профессионалом по ху из ху? У вас же ж, пацаны, на личных мордах всё написано, и во лбу горят звёздочки лейтенантов Пятого главного управления КГБ СССР по защите конституционного строя! Правильно говорю?

– Молодец! – восхитилось племя.

И первый добавил:

– Даже позавидуешь таким кадрам, которым кое-кто доверил экспорт революции.

– Импорт контрреволюции, – вежливо поправил второй.

Феликс вздохнул и поднял руки вверх.

О, этот жест! Этот жестяной жест!

Словно повинувшись ему, как сигналу, – над Хибаровском, над городом, из которого уехать, конечно, можно, но освободиться от него – целиком и полностью, окончательно и бесповоротно – нельзя... над целым городом, который, словно чёрная дыра в космосе, не выпускает, не отпускает из своей пропасти пропадающей даже луч света... – над всем городом, и за рекой в тени деревьев как над пропастью во ржи... – раздался вширь и ввысь паровозный гудок – надсадный невроз, из чёрной пасти, из огнедышащей трубы-утробы, из бездны, из принципа, где кончаются долготерпимые слова и начинает вырываться рёв революций.

LXXII

Как ни крутись-ни вертись, а в жизни романа не обойтись без Сочинителя.

Мы расстались с ним в тот самый ответственный момент, когда он, выйдя из медицинского вытрезвителя, потопал, напевая песенку про пингвинёнка, домой, в свою однокомнатную квартиру типа «рабочее общежитие», где его ожидало пренеприятнейшее известие. Потом он мелькнул мимолётным виденьем в сантехподвале Кошкиного Дома, на своём рабочем месте, где вдвоём с Семёном Семёновичем Помиранцевым они решали животрепещущие вопросы современности, Кувыкина там не было, всё в президиумах сидит где-то этот Кувыкин, обменивается опытом прошлого, и Хлюстакова там не оказалось, куда-то сгинул, предположительно, скрывается от любви, Помиранцев и Сочинитель поднимали тост за его здоровье и безопасность, а когда тосты кончились, то они предприняли успешную попытку научить Каштанку бегать за водкой в магазин к тёте Хасе. И ещё раз обозначился Сочинитель в Хибаровском времени и пространстве: на этот раз каким-то призраком, между снайпером и Чапаем...

Что это значит? Это значит, что не дошёл-таки Сочинитель до дома типа «рабочее общежитие», где его терпеливо дожидалось пренеприятнейшее известие, и до прежней квартиры не добрался, где его ничто пренеприятнейшее не ожидало, наоборот, на прежнее место жи-

тельства вернулась жена Розка, осознавшая свою вину и стервозный характер, но ещё не до конца раскаявшаяся, и сын Лёвка ожидал, и холодильник «Розенлев».

Возникает вопрос: и где же он до сих пор шляется, этот Сочинитель, нарушая трудовое законодательство и наплевав на моральный долг перед литературой? Что делает? Что думает своей головой? Какие такие сочинения сочиняет? В конце концов, можно и так поставить вопрос: сколько можно? Во-первых, Сочинитель без романа – как без рук. Во-вторых, и роман без Сочинителя – как без ног: не идёт, ни туда – ни сюда, стоит, моргалами моргает, главами покачивает: куда? Присутствие этого безответственного типа необходимо ещё и потому, что тип этот не столько безответственный, сколько, фигурально выражаясь, – тёмная лошадка: в его личной жизни плюс вокруг и около одной ничего не происходило и не происходит просто так, случайно; точнее говоря, случилось и случается всё именно так, как он придумывал и придумывает: все события происходят в точном соответствии с тем, что Сочинитель нечаянно сочинил, пусть даже и сломя голову, продираясь сквозь собственное мирное сосуществование с действительностью – подобно птицам Аристофана, странным птицам; или – подобно теоретику-еретику, изображающему на бумаге такую сильнодействующую систему нелепостей, как фарс – и в драме, и в жизни; или, наконец, уподобившись гипотетическому неверующему Паскаля, сделавшему ставку на существование бога, но не способного освободиться от самого Паскаля, от уличного движения Паскаля, от пассакальи Паскаля, этого Паскаля, самого Паскаля, пребывавшего в ужасе от вечного безмолвия бесконечных пространств, даже мелким мельком увиденных из окна убожественной каморки, в ожидании Годо... да, в ожидании Годов, до которых ещё жить и жить, а время тянется невыносимо, чем занять время ожидания? иссечённой, на ритуальное действие обречённой, монотонно-многотонной цепью обручённой речью? но и речь иссечённая иссякает, и молчание становится красноречивее слов, абсурд какой-то, время идёт, ожидание Годов не проходит, нечем заполнить время, убить его остаётся, а оно ожидающих убивает, когда много его и когда не хватает его, так говорите же, говорите, хоть что-нибудь говорите, только не молчите, надо же скоротать время, скрасить ожидание хоть болтовнёй клоуна Сэмюэля, гения Беккета, пресвятой девы диалектики, нахлёстывай фарс, форсируй времечко! – дудки, ничего кроме кромешности светлого будущего и звучащего отголоском давнего плача Иеремии стенания у Стены одинокого и печального в своём ожидании человечка...

А между тем – дошёл-таки Сочинитель. И вот до чего.

Заявился он на свою законную жилплощадь типа «общежитие», а там посторонний мужчина сидит, газету «Правда» читает с интересом и в очках.

– Здрасьте вам, – сказал Сочинитель. – Чего это вы тут делаете на моих квадратных метрах?

– Здравствуйте, – ответил мужчина, снял очки, газету свернул до карманного формата и внутрь пиджака засунул. – Проходите, садитесь, давайте знакомиться по-хорошему. Меня зовут Василий Иванович Шаляпинг-Рушайло, почётный донор и заслуженный кадровый рабочий автодорожного треста номер два. Явился к вам как общественное поручение для вручения, как говорится, верительной грамоты в качестве опекуна.

– Кого?

– Опекуна, – отчётливо произнёс мужчина и пояснил, что Совет районной общественности, изучив необходимые документы, принял решение о признании так называемого Сочинителя временно недееспособным и назначил ему попечителя тире опекуна для укрепления морального облика, а также: вышеназванный Опекун будет получать за опекаемого заработную плату, исключая алименты на содержание сына Льва, и станет по своему культурному усмотрению распоряжаться финансовой стороной его, опекаемого, последующей жизнедеятельности.

– Окей! – сказал Сочинитель и засмеялся. – Сколь живу, а такого опека не ожидал, честное слово! Был у меня однажды наставник, так он, наверно, до сих пор меня помнит. А насчёт опекуна, извините, даже и не мечтал. Это что, через суд или как?

– Или как, – ответил Опекун.

Сочинитель застонал утробно, с мычанием, зажмурился, и в тех жмурках вдруг, как всегда бывало, что-то щёлкнуло, засветился подвечный экранчик и просветил картину бытия – в лицах и голосах...

Вот в Доме со львами хибаровские литераторы принимают дорогих гостей-чекистов во главе с генералом Поцелуйко. Так сказать, Круглый Стол. Дубовый. Укрепление дружественных связей. Комплексный подход в идеологической работе. Литературу – в жизнь!

Генерал говорит:

– Мы, конечно, кое-что читаем. И знаем, что вы, писатели, как и вся творческая интеллигенция, люди особенные...

– Ранимые! – добавляет Герой Социалистического труда Советского Союза Равелин Валютин.

Коллеги поддерживают классика бурными продолжительными аплодисментами и выкриками с мест:

– Хрупкие!.. Бедные!.. Чувствительные!..

– Трепетные! – вскакивает Феррапонтий Пилатов. – Прошу занести в протокол!

– Много трепешься потому что, – улавливается голос их хора.

Генерал морщится, маскируясь улыбкой, неловко ему, генералу государственной безопасности, в этой трепетной компании инженеров человеческих душ, ему бы сидеть тихо в Тихом Доме, книжки читать, можно советскую литературу, можно и антисоветскую, «Войну и мир»,

допустим, или «Приключения Тома Сойера», или «Жизнь двенадцати цезарей», да мало ли хороших книжек, а он сидит тут, пень пнём, слушает всякую херню и обаянием мундира внушает священный страх, если не ужас, перед государством диктатуры пролетариата, перед параграфом Конституции, строкой Программы КПСС и буквой соответствующих законов... Конечно, есть среди писателей такие, которые ведут себя нехорошо. Бикфордов, например, Ваксёнов, Бутербродский. Но основная масса управляема. Дело лишь в том, чтобы время от времени подавать сигнал бдительности. Кой-кого выдёргивать для наглядности на партийный ковёр. Воспитание литературных кадров. Да только ли литературных? Везде и во всём. Искусство, энергетика, железная дорога, стройки века, целинные и залежные земли, завод, колхоз, институт, районный посёлок, аптека, улица, фонарь...

– ...сексот и провокатор! Если хочешь бороться с каким-нибудь злом, то нужно бороться с его причиной. А причина эта есть русское государство...

– Кто сказал? – перебил генерал выступающего с приветствием литератора.

– Лев Николаевич.

– Фамилия?

– Толстой.

– Непротивление злу, значит? Но это не наш принцип, не марксистско-ленинский.

– Так я ж про то и говорю! – взвился оратор. – Что ошибался старик! Тут товарищ Равелин Валютин совершенно правильно подметил...

В завершение Круглого Стола генерал Поцелуйко от всей души, от чистого сердца поблагодарил всех выступавших товарищей и по-товарищески посоветовал не ослаблять усилий, наращивать темпы и друг за другом присматривать по-товарищески, предупреждать возможные ошибки и заблуждения, все мы люди, не гарантированы от некоторых недостатков, но не до такой же степени, какие имеют место в отдельных случаях, как, например, некоторым господам-сочинителям из города Мюнхена заблагорассудилось называть стратегические цели нашей партии и народа «зияющими высотами...

Бурные продолжительные аплодисменты!

«Чему хлопаете, дураки? Кому рукоплещите, мастера слова русского?» – подумал генерал Поцелуйко, однако не стал никого поправлять, ничего уточнять и довёл-таки до логического конца мысль о том, что идеологическую работу не следует ограничивать только кругом тех лиц, которые имеют членские билеты Союза писателей, нет, несоюзных товарищей тоже не следует упускать из виду, непростительная ошибка забывать внесоюзно пишущих, и долг каждого члена Союза писателей – охватить вниманием и заботой эту категорию пишущих людей, которые есть ваше и наше будущее, а если собственных сил вам не хватит, то мы со своей стороны обязуемся привлечь вам в помощь

и шефскую поддержку новаторов производства, ударников коммунистического труда, людей от станка и от сохи, пролетариат и колхозное крестьянство...

Обе стороны продолжительно жали руки, клялись в вечной взаимной любви и обещали друг другу с завтрашнего дня, прямо с утра начать работу в заданном партией направлении с ясным, чётким и надёжным ориентиром.

– ...Вот что, Василий Иванович Шаляпинг-Рушайло, – сказал Сочинитель. – Я, собственно говоря, рассчитывал гореть на работе самостоятельно и до самой пенсии без вашей помощи. Но получается – скоропостижно погорел. Печальный факт жизни. Вам не кажется?

– Вам никто не мешает продолжать гореть. Хоть синим пламенем. Пожалуйства, на здоровье. Но имейте в виду, что лично я отныне не позволю вам прохлаждаться.

– Да это ж очень хорошо! Это даже прекрасно в некотором смысле. Что я, в самом деле, холодильник какой-нибудь? Это ж только холодильникам позволено с прохладцей работать. «Розенлев», например. Слыхали про такой?

– Нас холодильники не интересуют. Нас интересует человеческий фактор.

– Кого это вас, Василий Иванович?

– Районную общественность. В настоящее время международной напряжённости нашей общественности в первую очередь нужен человек, чтобы непьющий, хороший работник, производитель.

– Это очень приятно слышать от вас, Василий Иванович Шляпин-Рубайло. Но у меня закавыка. С тех пор, как меня предательски оставила супруга, я не желаю быть производителем. Я стал ненавидеть бабство во всех его проявлениях. Хотите верьте, хотите нет. Дело ваше.

– Это у вас обида и радикализм.

– Не знаю. Но по моему глубокому мнению, женщина вообще – это нехорошее дело, подозрительное и тёмное. Не надо этим делом увлекаться. И вам не советую.

– Увлекаться – это да, нехорошо. Но зачем же оскорблять? Среди женщин есть дисциплинированные труженицы и героини.

– Не валяйте дурака. Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. А я имею в виду, что женщина как общественный субъект есть такое же явление, как чертовщина, хлестаковщина, обломовщина, Достоевщина, Есенинщина и беспризорщина.

– Где-то я уже слышал эту дурость...

– Не исключаю, что слышали. Это я в своей голове придумал и сформулировал. И это не дурость, а горький факт.

– Небось, даже другим рассказывали и распространяли?

– Рассказывал. И даже написал на бумажке. А что?

– А то, что если вы такой Сочинитель, так вы, может быть, всю советскую жизнь народа хотите своими словами разладить?

– Послушайте, вы что, совсем дурак?

– Я не дурак. Я есть частица того народа и горжусь.

– Правильно, частица.

– Народа?

– Народа.

– А женщины вам уже не народ?

– Не народ.

– А кто же?

– Явление.

– Опять явление... Почему не народ, а явление?

– Потому что женщина. Бесовщина. Матерщина. Поповщина. Короче говоря, уляляевщина.

– Это ещё что такое?

– Которое какое?

– Какое уляляевщина которое.

– А я знаю?

– И я не знаю!

– Вот видите! Кто её знает, эту женщину?

– А мужчина? Какое явление?

– Э, нет! Это не явление. Это народ. И пишется так: муж и чин, а не щин. Тут ярлыка нету. Мужской чин, пост, долг, должность, звание, общественное положение. Народ, значит.

– А женщина?

– Явление.

– Чего явление?

– Природы.

– А мужчина?

– Народ. Вы, Василий Иванович, сколько классов кончили?

– Погодите, вы мне голову не дурите классами. Допустим, возьмём так. Я есть кто? Народ?

– Народ.

– А вы?

– Тоже народ.

– А ваша жена Роза?

– Явление природы.

– А, например, моя жена?

– То же самое.

– Хорошо... Ладно... Пусть... Вот вы, говорите, что народ...

– Народ.

– И вот вы, например, женились. На ком женились?

– На Розке.

– А Розка кто?

– Явление. Эсеровщина. Белогвардейщина. Махновщина. Женщина.

- Значит, на явлении женились?
- Значит, так.
- Народ женился на явлении?
- Совершенно верно.
- И кто от той женитьбы народился?
- Лёвка.
- А Лёвка кто?
- Народ.
- А если б дочка народилась, тогда кто?
- Если б дочка, то было бы явление. Неужели непонятно?
- Ладно... Поставим вопрос так. Возьмём дочку...
- Берите. И что?
- Она явление?
- Явление. Да ещё какое! Литературщина. Деревенщина. Партизанщина. Женщина. Конечно, явление.
- Чего?
- Чего – чего?
- Явление чего?
- Природы.
- А Лёвка?
- Лёвка народ.
- А Розка?
- Явление. Пугачовщина. Безотцовщина. Подёнщина. Женщина. У неё, Василий Иванович, две родинки. Одна как у Татьяны Шмыги, а вторая – вообще как у Косыгина. С ума сойти.
- Родинки не надо. Значит, явление от природы?
- Правильно.
- А народ от кого? От явления?
- Выходит, что так.
- Стоп! Подобьём бабки! Что первично, что вторично?
- Э, да вы, Василий Иванович, философ! И давно это у вас?
- Станешь тут с вами... Значит, явление – от природы?
- Верно. Чистый и голый материализм.
- Розка – явление?
- Явление. Бестолковщина. Дармовщина. Элементарщина. Женщина. Безыдейщина полная.
- Значит, Розка от природы?
- От природы.
- Ага! Вот она и есть первичная! А народ народился вторичным!
- Молодец, Василий Иванович Шапкин-Рыжайло! Соображаешь!
- Я соображаю. А вы соображаете, что говорите?
- И я соображаю. Кстати, иногда очень хорошо.
- Так чего ж спорить?
- А кто спорит? Я спорю? Это вы спорите! А для меня вопрос давно ясный, как светит месяц.

- Какой вопрос?
- Что первично, что вторично.
- И что почём, по-вашему?
- Природа.
- А явление?
- Природа с явлением. Вместе. Явление природы.
- А вы?
- Народ.
- Который вторичный?
- Так точно.

– Всё! Конец разговора! Вы попались, товарищ! Значит, вывод такой. Первое: надо тебе самому идти замиряться к первичной Розке, тем более, что есть сын Лёвка, будущий народ. Семейное положение – дело государственное. Второй вывод: пьянству – бой! Третий: дисциплина труда на рабочем месте. Четвёртый: сочинения-то свои может дадите разок почитать? И ещё пятое, покуда последнее: я покуда поживу у вас в комнате на общественных началах. Не возражаете?

– Ну, смотрите, как хотите. Вам же жить, – туманно ответил Сочинитель, и стало ему вдруг противно, тошно и за своё скоморошество, и от того, что Опекун-то, видать, мужик дошлый, по возрасту недалеко ушёл, может быть, даже одноклассник, но – целеустремлённый какой, со стержнем в жизни, чего так не хватает ему, Сочинителю, и, возможно, по этой причине принудительно заключённому в новые дни творения образа и подобию Общественного Совета.

День первый

Получка! От суммочки, полученной за Сочинителя в бухгалтерии ЖЭКа №25, Опекун отслучил несколько целомудренных бумажек и сказал:

– Вот вам на папиросы, спички и хлеб. Надеюсь, до аванса хватит. Все остальные покупки я буду производить лично. И давайте без дебатов.

Сочинитель заложил руки за спину и сузил глаза:

– Нет, – сказал, – не будем нарушать, дорогой Василий Иванович Шубкин-Рыдайло. Как говорят на диком Западе, закон есть закон. Вы деньги получили, вот вы их и тратьте на своё усмотрение, но по моему аппетиту и хотению. Не вводите во грех. Я, можно сказать, уже на полпути к гражданскому становлению. И на фиг мне эти рублики? Нет и нет! Не возьму. Пойдём дружно на поводу у правосудия Совета районной общественности. И давайте без дебатов. Курю я «Беломор», спички мне без надобности, вы мне лучше газовую зажигалку купите, давно мечтаю. А в пищевом довольствии я неприхотлив, как артист балета.

К обоюдному удовольствию – поладили.

День второй

Произошёл первый конфликт.

– Где я вам возьму копчёной колбасы? – насмешливо удивлялся Опекун, выгружая на стол очередную порцию продовольствия из авоськи. – Вы что, в Америке живёте?

– Не знаю, не знаю, – качал головой Сочинитель. – Вот когда я был при единоличных купюрах, так я каждый день питался исключительно копчёной колбасой. Граммов по сто пятьдесят, не более. Средства не позволяли большего. Так что ты давай, Василий Иванович, гони в гастронорм за зефиром в шоколаде. И баночку майонеза не забудь, мне кишки лечить надо от проклятого алкоголизма, диетологи рекомендуют. Да, вот что ещё: у тебя, дорогой Василий Иванович, на лице написано полное отсутствие хобби. Это плохо. Это никуда не годится для почётно-го донора и заслуженного работника автодорожного треста. С этим отсутствием вообще жить худо и можно залететь в пессимизм. Да и в международном аспекте – то же самое. Допустим, приедут к нам зарубежные братья по автодорожному делу, спросят тебя, чем занимаешься в свободное от работы время, а ты – тык, мык! Вот тебе и повод к разным враждебным голосам: дескать, у наших трудящихся в жизни ни свету, ни просвету, ни суббот, ни выходных, ни копчёной колбасы, ни хобби, вообще ни хрена...

Опекун очень долго и очень внимательно смотрел на Сочинителя, потом скрипнул зубами, да так скрипнул, будто за щекой щеколду задвинул против нехорошего слова, – и вышел, хлопнув дверью, на большой промысел с авоськой в кармане.

День третий

Конечно, Сочинителю только показалось, что Опекун по возрасту является ровесником. Пенсионер, на заслуженном отдыхе Василий Иванович, с наслаждением отдаётся общественной работе. И живёт, как оказалось, тоже в Кошкином Доме, как и Сочинитель, только на седьмом этаже.

Вместе и пришли в сантехподвал, на рабочее место Сочинителя, минутка в минутку к началу трудового дня.

Помиранцев сидит на рабочем месте, руками голову обхватил, на «доброе утро» отреагировал без энтузиазма.

Кувыкин опять отсутствует.

И не успел Сочинитель разобраться в листе нарядов на сегодняшний день, как в помещение влетела женщина с пятого этажа, известная жена Арнольда с кинохроники.

– Умоляю! – всхлипывала она. – Сломайте дверь! Не то Бефстроганов опять что-нибудь с собой сделает!

Пошёл Сочинитель, прихватив нужные железяки. И Опекун за ним.

Лифт, понятно, не работает.

– Быстрее! Быстрее! – повизгивала жена. – Закрылся, сволочь, изнутри и не пускает...

– Пьяный?

– А как же!

– Уже?

– Ещё!

Одной железякой дверь подковырнули, другой – замок отжали от косяка – все хлопоты, рупь делов.

Жена первой ринулась в коридорчик и через десять секунд в ванной комнате уже была по морде кинорежиссёра Бефстроганова. Тот не возражал.

Сочинитель с Опекуном вошли в квартиру – для внушения.

– Как вам не стыдно, товарищ! – сходу сказал Опекун. – Нельзя так демонстративно нарушать и нервировать. Что бы ни случилось в личной жизни...

Арнольд стоял, потупившись точно двоечник перед строгими родителями. Аккуратным венком на шее – толстый моток бельевой верёвки.

Пошли на кухню, за стол сели.

– И чо торопились? – сказала женщина и фыркнула. Чрезвычайные спасатели задушевно спрашивали, Бефстроганов прояснял: вчера он, будучи в рабочее время на студии кинохроники, получил очередной служебный выговор с последним предупреждением за профнепригодность от человека, который ещё в студенчестве, как помнится с институтских времён, утверждал во всеуслышание на открытом комсомольском собрании, что Андрей Рублёв запятнал свою репутацию художника сотрудничеством с церковью, конкретно, писанием икон; этого выговора просто так перенести с места на место было невозможно, и поэтому вечером пил водку и матерился, ночью пил и плакал, рано утром выбрился, в прихожей на зеркале написал губной помадой завещание и пошёл в ванную комнату за бельевой верёвкой, и только собрался с духом – звонок в дверь, понятное дело, жена из отпуска вернулась, в Сочи ездила на курорт по профсоюзной путёвке, и решил дверь покуда не открывать, пусть пока посидит на лестнице, и тут ударило в голову: про вчерашние долги забыл! не погасил вчерашние долги, не погасил... – и тут вы заявились, как взломщики и грабители, кто вас просил?..

– А если б не заявились? – спросил Опекун строго.

– Что ж, тогда увы... Тогда получилось бы поминай, как звали...

– Во-первых, снимите эту гирлянду, – сказал Опекун, ткнув пальцем в верёвку на шее Арнольда. – И давайте без дебатов.

Снял Арнольд, Опекуну отдал. Тот в руках моток крутит, на разрыв-растяжку испытывает, даже на зубок попробовал.

– Хорошая, – говорит, – вещь. То ли капроновая, то ли нейлоновая. Где покупали?

– Это жена где-то, по-блату...

Тем временем жена с выражением слов и пролитием слёз выкидывала в коридор какие-то загогулины неопределённого назначения и предназначения, бумажные, картонные, из жестяных полосочек:

– Опять этих петель себе понаделал, мерзавец!

– А знаете что? – решительно сказал Опекун. – Нечего тут в домашнем скандале расслаживаться и рассопливаться. Пойдёмте с нами в другое помещение и сделаем маленький анализ.

– Выпить за помин?

– Я вот вам щас как дам по балде за помин, что забудете как звать! Жить, дорогой товарищ режиссёр, надо так, как учил нас писатель Островский!

– Какой именно? Два Островских...

– Обои учили правильно! А теперь давайте знакомиться по-хорошему. Меня зовут Василий Иванович Шаляпинг-Рушайло. Мы с вами, между прочим, в одном доме проживаем...

Потопали вниз по ступенькам. С облегчением. Вниз-то ногам всегда легче. Не то что душе.

– Понимаете, – говорил Арнольд, – или нет? Я, например, снимаю сюжет на тему, которую сам себе задал. И всё! Что это значит? Это значит, что я снимаю так, чтобы эту тему закрыть раз и навсегда. Чтобы после моей ленты уже никому другому не приходила в голову идея снимать сюжет о том же самом! Потому что некто Бефстроганов уже всё сказал, и тема исчерпана до конца! И нет вопросов! Ответы дадены! Тема закрыта! Только так, и не иначе, надо браться за искусство кино! Вот тогда это будет такой фильм... Понимаете? Или нет?

– Факт, – сказал Опекун и задумался, губами пожёвывая.

Вечером втроем пили чай с баранками в сантехподвале. Неофициально присутствовали Каштанка и её семеро смелых.

Вернувшись домой, Опекун спросил Сочинителя:

– И чо это вы сегодня всё лыбитесь?

И Сочинитель ответил:

– Маленько гения спасли. На некоторое время.

День четвёртый

Опекун уже не раз и не два залезал в собственный и семейный карман, а также обращался в районный Совет общественности за ветеранскими талончиками на приобретение дефицитных товаров. От грузинского чая опекаемый Сочинитель категорически отказался, требовал только индийский, да не просто индийский, а тот, который из Дарджилинга, в пёстрых жестяных коробках «Дунканс» с изображением тамошнего мужика в красном халате: сидит мужик посреди Тибета, на фоне снежных гор и альпийских лугов, и играет на дудке, вроде нашего кларнета. Кроме того, Сочинитель потребовал подписку на литературное приложение к журналу «Огонёк» и японские кроссовки.

– Сдурел? – ласково спрашивал Опекун Сочинителя.

– Шибко заметно? – отвечал Сочинитель.

Общественному начальству Опекун объяснил ситуацию так:

– На нашего клиента дурь навалилась. Хобби, называется. И ещё – книжный вопрос. Заставил комнату книжными полками, сидит напротив, с полками разговаривает, а на мои вопросы соболезнования не реагирует.

– И про что же он молчит? – спрашивали своего активного товарища ещё более активные и старшие товарищи. – Вы бы поинтересовались. Вам, как никак, по общественному положению положено интересоваться.

– Интересовался. Молчит, как вкопанный. На колени поэзию свою положит, как кошку какую-нибудь, и молчит, и думает, что умный, что развивается.

– В какую сторону?

– Говорит, что в нормальную, куда надо. Но стихи, по правде говоря, очень дурацкие. Я читал. «Усадьба ночью чингисхань, а небо синее роопсь». Такая поэзия.

– Действительно... Человек свихивается на книжной почве. Такое бывает. И вы ему скажите, Василий Иванович, как бы между прочим, от себя лично, что человек по некоторым официальным данным за всю свою трудовую и общественную жизнь в силах прочесть всего лишь две тысячи книг, не больше... А зачем ему приложение к «Огоньку»? Вы потолкуйте с ним с задушевностью, вам же это по общественному положению положено.

– Кроссовки-то хоть дадите? – грубо спросил Опекун и после выразительного разведения общественных рук вышел вон, пнув дверь каблуком, чего никогда прежде себе не позволял.

Он становился день ото дня всё малодушней и злопыхательней: чаю из Дарджилинга нет, подписка накрылась, вот и кроссовки тоже того, гавкнулись... Но Сочинитель в чём-то прав: хорошие книжки тянет перечесть – по пальцам. Ну, вот и дали бы человеку! Не водку же просит? А дадите – так не пропьёт, мы не позволим... Ах, товарищ Сочинитель, паразит ты всё ж таки! Думай за тебя, обеспечивай, то-сё... Не жизнь тебе получается при таком повороте опекунства, а чистый малинник. Тебе хоть обои Островские будут в два уха дуть про смысл жизни – без толку, до лампочки и даже выше, где уже не думают, не читают, не пьют чай из Дарджилинга, не ходят в кроссовках, а только летают, летают, летают себе и в ус не дуют, как, например, этот Арнольд Бефстроганов или Андрей Рублёв. А какой конец у таких летунов? Хреновый конец. По-медицинскому, летальный. С печальной музыкой Шопена...

А Сочинитель в это время вкалывал за троих: за себя, за Помиранцева (приболел) и за Кувыкина, который ушёл, как сказал, на Ленинский зачёт в комсомольской организации хлебокомбината.

Ближе к концу рабочего дня снова спаялась вчерашняя троица.

– Посидим-поговорим? – предложил Опекун.

– Хорошо бы, – сказал Сочинитель. – Но вот некоторые говорят, что на рабочем месте посидеть-поговорить – дело аморальное, на рабочем месте, говорят, работать надо. Так куда же мы пойдём? Ко мне домой?

– Дома надо проживать, – возразил Опекун. – А где посидеть чтоб хорошо?

– Вот и ко мне домой ни-ни, – сказал Арнольд. – И на работу тоже нельзя. Вахтёрша наша – зверь, сторожихой в зоопарке одно время работала. Но есть идея, товарищи, чтоб посидеть хорошо. Я знаю. Сколько раз испытал. Пить опять не будем?

– Какими мы не будем, это мы точно знаем, – сказал Сочинитель и вздохнул.

– Это уж да, – кивнул Арнольд и вздохнул.

– Факт, – согласился Опекун и вздохнул.

И каждый вздыхал по-разному, по-своему, о своём – вместе.

За оградой из железобетонных панелей, окружавшей Кошкин Дом с северной стороны, под одинокой пожилой берёзой уже лет пять торчал броневичком, фигушкой и божьей коровкой прозванный объект, накрытый дырявым брезентовым чехлом. По слухам, там скрывался «Запорожец» немислимо первой модели, уникум без колёс, на колodках деревянных, и без всего прочего, что положено иметь, чтобы называться автомобилем. Даже мальчишки не проявляли интереса к этому объекту, настолько он был, с одной стороны, ветхим, с другой, – привычным.

Коза Маруся на привязи. Коза травится. Трава приблизительная весьма. Привязь состоит из верёвки и колышка. Колышек-знак, колышек-символ; колышек русской недвижимости. А вокруг, значит, коза – как стрелка времени: тривиата.

Важно, вразвалочку прогуливаются голуби...

– Так это ваше? – спросил Сочинитель у Арнольда.

– Моё, – смущённо ответил тот. – В Ремтехнике от него отказались, сказали, старьё не обслуживаем, запчастей нет и не будет, эти автолюбители совсем озверели, как неандертальцы. Вот, сами понимаете, какое у нас техобслуживание.

– Понимаем, – сказал Сочинитель. – Тех обслуживаем, а этих увы.

– А я иногда, под настроение, сбегая сюда из жизни. Залезу под тент, в бывший салон, сижу, молчу. Хорошо, знаете ли! Посижу, помолчу, бутылку раздавлю, а потом домой иду. Меня жена за такое поведение подберёзовиком прозвала. Я не обижаюсь. Попробуем подберёзовиками? Уместимся, нам же не плясать, – сказал Арнольд и фонарик из кармана достал, щёлкнул кнопочкой, помигал.

– А полезли! – скомандовал Опекун.

Один за другим подныривали под тент и проникали в автомобильчик, в котором уже и кресел не имелось, а располагались два тарных вино-водочных ящика и опрокинутое ведро, на доньшке которого – три гранёных стакана, к услугам готовые, чистенькие.

Батарейка фонарика оказалась слабенькой, свет жидкий, а – хорошо, уютно. А что тесно, плечом к плечу, так это даже полезно для человек.

– Ну, и как, подобрёзовики? Хорошо сидим? – спросил Арнольд и улыбнулся.

– Прелестно, – сказал Сочинитель и улыбнулся.

– Факт, – сказал Опекун и вздохнул.

Обстановка располагала к шёпоту.

Светил фонарик и медленно угас, батарейка «села», и сделалась чернота кромешная, и было трём взрослым мужчинам без никакого света в тёмном царстве приятно и славно, словно они вдруг оказались в давно позабытой мальчишеской игре, забаве, прихоти: спрятаться от всех, от всего мира – под кроватью, в платяном шкафу, под столом, в чуланчике – скрыться и сидеть тише мыши, молча, в темноте, в тайном братстве, в союзе заговорщиков, в кровавой клятве до гроба: против кого дружить будем? – вот пусть и поищут, пусть поплачут, пусть поубиваются! а то ведь от них, от потустороннего народа, только и слышишь на каждом шагу: мальчик такой, мальчик сякой, нехороший, баловный...

– Жаль, всё-таки, что выпить с собой не взяли, – полушёпотом произнёс Арнольд.

– Про выпить не надо, дорогой Арно. Как наш Василий Иванович Шуткин-Рыгайло считает?

– Факт, – прошептал Опекун.

Тишина и покой открывали путь к философии. И она не замедлила.

– А вот в элтэпэ дело было, – страшным голосом начал Сочинитель.
– Лежат бухарики на излечении...

– Все лежат или ходячие есть? – спросил Арнольд.

– Кто лежит, кто сидит, кто как... Лучше лежать.

– Понятное дело. Лежат, значит. И что?

– Короче, содержатся кто с циррозом, кто с чем. И вот заходит в палату товарищ в белом халате, важный, вроде как профессор по пьяной специальности. Спрашивает: «Иванов, какой у тебя рост?» – «Метр шестьдесят восемь, – отвечает Иванов. – До вашей богадельни, правда, был на десять сантиметров выше, а в настоящий момент высыхать начал, укорачиваюсь». Ладно, другому бухарику вопрос: «А ты что?» – «Сто семьдесят восемь с половиной, как в аптеке». Профессор записал антропометрические данные в книжечку и пошёл на выход, а третий бухарик аж на койке подскочил: «Доктор, а я что? Фуфло какое, чтобы игнорировать? У меня, – говорит, – тоже

рост имеется, какой-никакой, а свой собственный, ровно метр пятьдесят пять, тютелька в тютельку, записывайте!» Доктор сделал ручкой вот так вот, будто в лоб шуруп вкрутил, и говорит: «Ты Сидоров, что ли?» – «Сидоров!» – «Так тебе, Сидоров, ещё рано беспокоиться, не лезь со своими тютельками. И между прочим, – говорит, – я вам не доктор, а даже наоборот, элтэпэвский столяр, к вашему сведению, понятно?»...

– Всё?

– Всё. А что?

– Да ничего...

Притихли подберёзовики, грустно стало.

– Врёшь ведь всё, дорогой друг, товарищ и брат, – произнёс Арнольд. – Ничего этого вовсе и не было, наверно...

– Вру, – сказал Сочинитель, – может, и не было. Тут ведь, в этом скорбном деле, да ещё в свете постановления партии и правительства, сразу не узнаешь и не угадаешь, чем у кого сердце успокоится. Так ведь?

– Факт, – сказал Опекун и как будто про себя добавил: – Всё равно умру коммунистом.

– Это серьёзный факт, – сказал Сочинитель. – Горбатого могила исправит.

– Но ваше элтэпэ не гарантия, – сказал Арнольд. – Вот здесь, друзья мои, под берёзой, и есть идеальный схрон от партии и правительства с ихними антиалкогольными постановлениями.

– Арно, а что это за петли ваша жена вчера в коридор выкидывала?

Бефстроганов досадливо поморщился:

– Потом... Потом как-нибудь расскажу. Про ленту Мёбиуса. У нас же ещё есть время.

– Конечно, есть. Навалом.

– Факт.

... У них ещё есть время.

Счастливые, значит, люди.

Фонарик поднатужился и вновь дал свет.

Конечно, далеко этому свету до того, до Постановления. Далеко! Синий свет Постановления – он такой! Он просвечивает любого и каждого хому пиенса словно рентгеном – до физических потрохов, все предстают друг перед другом точно голенькие, и лишь души людские – не среднестатистическая душа населения, нет, в розницу, иные, неуловимые ловцами человек – выглядят в луче такого культпросвета как мутно очерченные пузыри, этакие «чёрные дыры», таинственные и непостижимые в своей фатальной одинокости, поглощающие, подобно бездне, любые зондирующие мощности и не выпускающие из своих загадочных глубин ни лучика, ни волны, ни звонка...

День пятый

Выключатель щёлкнул, и явился неинтересный свет трёх источников и трёх составных частей люстры со стеклянными висюльками.

В четырёхкомнатной квартире Бефстроганова одна комната, самая поместительная, – его кабинет. По трём стенам, от пола до потолка, выстроились ряды самодельных стеллажей. На полках – книги, книжки и книжищи, многолетние комплекты журнала «Искусство кино», пивные кружки – стеклянные, фарфоровые, фаянсовые, грубо-глиняные; рогатые морские раковины, литые чугунные и бронзовые пепельницы, застеклённые планшеты со старинными монетами, военными значками всех родов войск и блестящей фурнитурой, а на особом стендике – дутые пуговицы от мундиров и форменных кителей гражданских ведомств: железнодорожного, почтового, геологического, пожарного, аэрофлотского, ветеринарного, лесного и иных прочих; фотографии в рамках и без рамок, приклеенные; распухшие картонные папки... На полу, вдоль стеллажей – глыба зелёного нефрита с полированным срезом, кристаллические друзы аметиста, чугунная сковорода с камушками сердолика, горкой разноцветные булжники; полутораметровый ряд стоячих грампластинок в конвертах; магнитофон «Яуза»... – в углу монтажный стол, перемотка, подсветка, какие-то приспособления, приборчики, резак, бутылочки, пахнущие ацетоном... – а четвёртая стена с гипотетическим окном в мир почти полностью закрыта тёмно-синей картой звёздного неба... – напротив этой стены – массивный столик с кинопроектором «Украина»; в самом центре комнаты – алюминиевая раскладушка с подушкой-думочкой, вышитой крестиком цветными петушками, по левую руку, на полу, – армейский бинокль, по правую – поллитровая банка с окурками, кружка, заварной чайничек, место привала: располагайся кверху пузом, бинокль в руки и разглядывай для эстетического наслаждения потолок, сплошь оклеенный цветными картинками журнальных иллюстраций: Третьяковская галерея, Дрезденская, Лувр, Русский музей... – под потолком, гипотенузой прямого треугольника, протянулась медная проволока, увешанная финтифлюшками, подобными тем, которые жена Арнольда выбрасывала позавчера в коридор...

– Хобби? – робко спросил Опекун, подбородком указывая на финтифлюшки.

– Хобби, – смеётся Арнольд.

– Тут у вас, как это... Не дом прямо, а полная чаша.

– Ага, – опять смеётся. – Чаша терпения. Да вы не тушуйтесь, братцы. Осваивайтесь и не пугайтесь. Я вот живу и не пугаюсь, даже нравится. А книжки у меня есть хорошие! За книжками припрятываю чекушки. Хочешь – читай, хочешь – как хочешь, сам себе хозяин. Выпивать-то опять не будем?

– Факт, – сказал Опекун.

– Чёрт с вами, братцы! Тогда кофейку сгоношим. Тоже хорошо будет.

Сочинитель всё пытался спросить у Арнольда: что же это за штука такая важная, лента Мёбиуса? – да всё как-то не вклинивался в общее его вопрос, а вскоре Сочинитель вообще позабыл про эту ленту и сидел на раскладушке, слушал и в ладонях баюкал кукольную кофейную посудинку.

– Не надо, Василий Иванович, ломать голову и изобретать велосипед! – горячился Арнольд, бегая по диагонали, под проволокой, точно пёс дворовый на скользящей цепи, и для полного подобия не хватало только дребезжанья. – Вон там, на полке, четвёртая сверху, слева... да, да, именно там спрятан ответ на ваш вопрос: что человеку нужно для полного счастья? Хотите, скажу, не заглядывая в книжку?

– Факт.

– Чтобы дело, которое он делает, было хоть ненамного лучше, чем он сам. Всё! Просто. Мудро. Кратко. Истинно. Так что же нам мешает посмотреть, какими делишками мы все с вами занимаемся? Соответствует ли теперешний человек своей гарантированной занятости? И почём нынче ценится ежедневное несение креста с девятью ноль-ноль до восемнадцати ноль-ноль с часовым перерывом на обед?

Уже громче и громче говорил Арнольд, бегая под проволокой и размахивая руками.

– Бывает, что и без обеда, – вставил Опекун.

– Вот! Откуда пришло презрительное «химичим»? А ведь были химики! Бутлерова знаете, Василий Иванович?

Опекун покачал головой.

– Этот Бутлеров был крупнейшим и авторитетнейшим пчеловодом в России. А Бородина, наверное, тоже не знаете...

– Бородина знаю. Кто ж его не знает! Он у нас персональный пенсионер республиканского значения. Но не химик.

– Я про другого Бородина, который химик, но, между прочим, сочинил «Богатырскую симфонию» и оперу «Князь Игорь». А вот был Дмитрий Иванович Менделеев, отец родной русской водочки. Так его окружающее население почитало знаете за что?

– Опять эта водочка...

– Не водочка, Василий Иванович. Менделеева признавали за знаменитого чемоданных дел мастера. Ни больше, ни меньше. Любил, знаете ли, этот старик на досуге заниматься картонажным ремеслом. И вот теперь, чудесный вы мой старик Василий Иванович, вы наверняка кое-что сообразили, и ваше любопытство насчёт хобби полностью удовлетворено.

– Не полностью, – ответил Опекун. – Я, например, одну немецкую песенку знаю. На немецком языке.

– Да?

– Факт. На войне научился, когда пленных конвоировал. Маленько знаю ихнюю нацию. Хоть и фашисты, а с порядком и дисциплиной. И вот песенка от них, про порядок в жизни.

Опекун запрокинул голову, изобразил улыбку и задрезжал:

– Лебен зи воль, эссен зи коль, фринкен зи бир, либен зи мир...

Сочинитель и Арнольд ударили в ладоши.

– Bravo, Василий Иванович! – воскликнул Арнольд. – Живите счастливо, ешьте капусту, пейте пиво, любите меня! Так в чём же состоит ваше неполное согласие?

– А где у тех немцев хобби? – запальчиво сказал Опекун. – Без хобби живут и уже целую гэдээр построили!

Хмыкнул Арнольд, головой закутил:

– Ну, аргументация у вас, Василий Иванович! Вы хоть кого такой аргументацией к стенке припрёте. Но послушайте, вы мне, конечно, можете не поверить, Василий Иванович, вы фашистов били, а они вас, а вы их, и добились в ихнем же логове. Я вас понимаю. Но вот я вам скажу своё впечатление. Был я в той гэдээр, про которую вы только что сказали. В Восточном Берлине, на кинофестивале, нас тогда, кинодеятелей, человек тридцать со всего Советского Союза насобирали, проверили на десять рядов, половину отсеяли, а другую половину повезли завоёвывать главную награду Берлиналле Серебряного Медведя... А теперь – внимание! Нашего ласкового Мишу помните, который с Московской олимпиады в небо улетел, и весь стадион, и вся страна у телевизоров рыдали, помните? Куда улетел ласковый Миша? Я вам сейчас скажу, Василий Иванович...

Сочинитель, к тому времени совершенно по-домашнему растянувшийся на раскладушке, даже слегка подрёмывавший с полуприкрытыми глазами, нечаянно вздрогнул при последних словах Арнольда. Точно такой же вопрос он от сына слышал, от Лёвки: «Куда улетел Миша?» Действительно, стадион на телеэкране весь прослезился, хоть выжимай сентименты по капельке, и жена Роза утирала глаза полотенцем, глядя, как в тёмное небо возносился, помахая прощально лапами, надувной символ Олимпийских Игр, всё выше и выше, покуда совсем не исчез из поля зрения телекамер... На следующий день Сочинитель придумал для Лёвки оптимистическую сказку про Мишарика: улетел туда, куда надо и где ему будет хорошо, и обязательно вернётся, когда соскучится сам и когда ты, сынок, соскучишься... Лёвка поверил и сказал, что он – уже. Розка, попричитав накануне, в будничной канун принялась было разъяснять сыну резиновую природу забавного медвежонка: лопнул и очень просто разлетелся на мелкие кусочки, или из него весь воздух вышел и он упал где-нибудь в тайге и висит на дереве как не Миша, а как мокрая тряпка, ты должен, сынок, знать правду жизни. Сынок заметался между мамкой и папкой, между враньём и правдой жизни, между «лопнул» и «лопает мёд среди добрых людей» – и Сочинитель рывкнул на жену, но справедливость не восторжествовала, наоборот, получился очередной скандал, снова характерами не сошлись, Лёвка принял сторону отца, а на следующий день Сочинитель уже рассказывал сыну продолжение сказки о Ми-

шарике и обстоятельно отвечал на вопрос: «Куда улетел Миша?»: «В Медвежий Угол Европы, то есть в Германию»... И Лёвка слушал во все уши, и Розка в полуха, и оба, кажется, с охотой соглашались: да, да, в Германию! Потому что там, как папа уверяет, настоящая его родина, сначала там, а уж потом в Советском Союзе республик свободных, это исторический факт, и пора бы уж нам кончать к чёртовой матери с исторической несправедливостью, пора восстанавливать истину и во всеуслышание заявить в начальной, средней и последующих школах, что примерно пять тысяч лет назад на Европейский Север пришли индоевропейские племена ариев, люди эти были ещё дикие, а тамошние пещерные медведи уже нормальные, люди с медведями поначалу дрались не на жизнь, а насмерть, а потом зауважали друг друга за смелость и храбрость, нельзя сказать, что задружили, нет, арии всё же таки послабже были силами и выносливостью, но они уже тогда, сами того не соображая, были предками древних германцев, людей с порядком и организованностью, и поэтому определили пещерного медведя как своего родового божества и дали ему имя Бер, а ещё через много веков арийский язык дошёл до восточных славян, и там тоже обозначился Бер, но древние славянские люди, не в пример своим потомкам, избегали культа личности и не поминали всуе имена своих авторитетов, поэтому не Бером называли, а вот как: Тот, Кто Мёд Ведает, сокращённо – Медведь, от прежнего Бера до нас дошла только берлога, Логовище Бера, забыли про Бера, Берия тут ни при чём, а в Европе не забыли, Берлин у них, Берн, Берген, Бернау, на городских гербах этот Бер на задних лапах стоит, по-нашему-то медведь, и первые плюшевые Мишки появились в Германии ещё в тыща девятьсот втором году, называли их «Тедди» в честь американского президента Теодора Рузвельта, этот заядлый охотник, ходивший на медведя с двумя кулаками, однажды отказался стрелять в медведицу с детёнышем, такой ласковый был президент, а потом из плюшевых мишек накопился целый музей в Гингене, и статуэтка Серебряного Бера сделалась символом и главной наградой Берлинского кинофестиваля...

– ...и вы мне даже не поверите, Василий Иванович, если я вам, как очевидец, скажу, – говорил Арнольд, бегая под проволокой, – что немцы, в сущности, такая же слезливая нация, как русские, может быть, даже пожиже наших. А что касается ихних хобби, так представьте себе: приезжает, значит, наша киношная шарашка в город Берлин, и нас встречают, как у них положено...

В голове Сочинителя что-то щёлкнуло, живая релюшка сработала на контакт, и под веками засветился экранчик с бегущими по нему видениями, кадриками, которые решают всё, или – ничего не решают, или – так себе, серединка на половинку, бегут без вопросов, целлулоидные мыслишки, пупсики, вне стандарта и режиссуры, вне разрешения, у кого что в голове щёлкает – так это дело интимное, лишь бы только вообще щёлкало, высвечивая экранчик под веками с бегущими

по нему видениями, кадриками, которые решают всё, или – ничего не решают, немотствующие в круговращении, бегут-бегут, выпрашивая у Слова прощения... – вот, яблоко в руке встречающего! зачем оно, яблоко обыкновенное, Apfel? а попади, попади, попади! – кричит военная труба или охотничий рожок, – попади в цель, в середину мишени, в сердцевину мишани, ласкового Миши, в яблочко, в «яблочко» вожделенное, молодильное райское яблочко, уж такое райское, что райчей не бывает... – но у мишени яблочко чёрное, а чёрное не может быть ни сладким, ни райским, ни молодильным, оно вообще не имеет права называться яблоком, вот! – и в руку встречающего уже прыгает Apfelsine, апельсин... – «С какой стати апельсин? Почему апельсин?» – а вот и потому! что – пароль встречающего для радостного узнавания! почему не цветы, как положено? – у всех цветы! – почему не газеты? – у всех газеты, даже у тех встречающих, кои профессионально отслеживают граждан встречающих, провожающих и прибывающих и которые всё-превсё видят, слышат и замечают, окромя того, что ихние газеты в ихних мускулистых руках содержатся вверх ногами... – «Не юлите! Почему апельсин?» – так он же больше ни у кого не содержится, окромя единственного встречающего, этот апельсин, он светится уверенней светофора, он уже не зелёный, но и не жёлтый, и красным не будет, будьте спокойны, он – солнечный, он не просто цитрусовый плод воображения и не только официального лица оранжевое выражение рожницы, этот весёлый апельсин, он ещё и Аппель, сын Аппеля, Appel как призыв, сбор, перекличка, обращение и приглашение: давай поиграем!..

– ...и получается, Василий Иванович, – говорил Арнольд, бегая под проволокой, – странная ситуация, честное слово: мы почему-то упорно помним то, что нам надо было бы давно забыть, и – наоборот. И выходит: ни то, ни сё... Закон – тайга, медведь – хозяин? Ладно. Что-то я путано говорю, чёрт-те что, поволокло куда-то. Но не надо и вам, Василий Иванович, ломать голову и изобретать велосипед! Смотрите, вон там, на полке, третья снизу, справа... да, да, в серой корочке, такой книжечки ни у кого в нашем городе нет, мемуары плачущего Пьеро Вертинского. Вспоминает кусочек германской революции в восемнадцатом году. По-моему, с улыбкой вспоминает, а чего ж ему не улыбаться? Улыбнулся – и поплакал, потом снова улыбнулся, и опять поплакал. Артист! Так вот, идут, значит, революционеры с красными флагами. То есть демонстрация по аллее Берлинского парка. Путь преграждает стенка правительственных войск. Ружейный залп! И что? Побежали революционеры? Побежали. Куда? В разные стороны? Э, нет, Берлин – не Москва и не Петроград, и германские революционеры – не российские. Представьте: аллея, ни пылинки на ней, ни соринки, ни завалищающего окурок, слева газоны, справа газоны, на газонах вазоны, позади вазонов ухоженные лесочки с пронумерованными липами... – куда податься бедному германскому революционеру? Вот они

и попёрли: поворот на сто восемьдесят градусов и – назад по аллее, в обратном направлении, аккуратно и организованно, а по ним, в аккуратные спины, новый залп, а они не сворачивают, не кидаются врассыпную, как сделали бы наши социал-демократы, в Германии порядок, законопослушание, слева на газонах и справа на газонах торчат на стойках предупредительные таблички с готическим указанием: «Ферботен!» – запрещено! по газонам не ходить! Вот! Или нам такой порядок нужен, Василий Иванович? Я не знаю...

– Не факт, – сказал Опекун и перевёл глаза на карту звёздного неба, она успокаивала и не требовала ответа.

– Хорошо. Не факт. А что? Я вот ловлю себя на том, что временами живу то по-русски, то по-немецки, то вообще по-медвежьи, один день по-моральному кодексу, другой день по закону джунглей или не знаю как... Вы говорите: долг! А кому я что должен? Нет вопросов. Накануне нашей первой встречи занял у студийной вахтёрши на бутылку, а потом, перед вашим бандитским приходом, вдруг вспомнил: ёлки-палки, вахтёрша хоть и зверь-баба, но что она подумает о покойнике Бефстроганове? Так по-каковски я это вспомнил, Василий Иванович?

– Про покойников теории нету, – тихо молвил Опекун. – Одни сказки.

– А что сказки? Урок добрым молодцам, Василий Иванович! Или мы не добрые? Добрые, хуже некуда. Так что же нам не жить по-сказочному, чтобы каждый день – как последний и чтобы долг – как благо? Я не знаю. Я совершенный дурак в этом сказочном деле, братцы. Но я знаю много других теорий, не сказочных, от которых, извините, выпадаю в тихое помешательство. Я вижу их, щупаю, нюхаю, на язык пробую – невкусно: несостоятельны они, наивны и не выдерживают соприкосновения с моей жизнью, и такие их качества, на первый взгляд безобидные, на самом деле уже привели к тому, что любое, даже с благими намерениями, выступление против общественных пороков оборачивается нелепостью, пустомельством и даже обыкновенной опасностью для чересчур нетерпеливых апостолов, отдельно взятых. В этом есть своя логика, и даже железная. Вот она-то и ржавеет в первую очередь. А что ж теории... Я не знаю. По-моему, до сих пор ни современные теоретики, ни современные сказочники не создали ничего подобного четвёртой главе «Антидюринга». Мировая схематика, прогноз о будущем. Что имеете возразить, Василий Иванович, и вы, господин Сочинитель?

– Ангельский глас Энгельса, – отозвался Сочинитель и вздохнул.

– Хобби фабриканта, – добавил Арнольд и вздохнул.

– Марксиста-ленинца, – уточнил Опекун и выдохнул.

И в замкнутое беззаконное пространство явилась тишина: Энгельс прилетел...

– А что, братцы мои, может, кино крутанём? Кинщик жив-здоров, чего и вам всячески желает, – сказал Арнольд.

И братцы немедля согласились. Кинщик какую-то тайную верёвочку потянул, и из чёрного тубуса в стыке стены и потолка пополз белый экран, прямо на синее звёздное небо. Арнольд метнулся к кинопроектору: щас, братцы, щас, я вам такое... – и братцы поудобнее развернули раскладушку для сидения, щёлкнул электровыключатель, сделалось темно, застрекотал аппарат, и луч света понёс на экран чёрно-белую фильму...

– Мы и мир, – сказал Арнольд.

– Мир и мы, – сказал Сочинитель.

– Миру мир, – сказал Опекун.

И все согласились: хорошее название, правильное.

Это был странный фильм: с бесконечно повторяющимся сюжетом: сюжетом-ритуалом...

«Вот про что надо писать роман, – думал Сочинитель. – Без теорий, без порядка... Медведь-хозяин... Так вот и махнуть лапой... Так и начать с чистого листа: встречающие-приезжающие... или провожающие – отъезжающие, какая разница, одна дорога – в две стороны... аэропорт или железнодорожный перрон, речная пристань или морской причал... вокруг гудёж, пиздёж и провокации, запускают домну, забивают гол, ледакол лёд ломает, соцсоревнование, Великая Китайская Стена Плача в Берлоге, пятилетки, семилетки, ударники, бройлеры, женщины-трактористки, танки спрягают Прагу глаголами траков, железо по стеклу... – и только меж людей убывающих-прибывающих – полная тишина, ни словечка, ни полсловечка, великое несогласие, неприкосновенно запасливое молчание, оберегающее звук и охраняющее слог людей, а в руках у них, у каждого, пусть будут авоськи, авоськи, авоськи... с говорящими апельсинами на фоне звёздного неба в яблочко цель всё равно угодишь в молоко милки вэй млечный путь как река и река точно оберег берега...»

День шестой

В начале было утро, и пробуждение было, и восстание ото сна.

И восстав ото сна, Сочинитель обнаружил: Опекуна уже нет, уже удалился, удалой и ранний, из помещения, оставив на кухонном столе послание следующего содержания: «Доброе утро, а также и день! Сынок, не надо меня больше дурить, я старый человек, ветеран, и нехорошо меня морочить разными явлениями, кроссовками, копчёной колбасой и зефиром в шоколаде. Ты таких явлений знать не знал и знать не хочешь, по правде говоря. И не стыдно тебе? Но ладно уж, завтракай и не опаздывай на работу. Я пошёл в Совет общественности ставить вопрос: за что боролись? Пока до свидания».

Хмыкай тут, ни хмыкай, хмык даже щеки не пощекочет, а вот уши-то у Сочинителя загорелись ало на фоне доброго утра, словно их кто-то внушительно надрал.

Пил чай с хлебом, потирал уши, между прочим, подумал о том,

что недоповешанный Арнольд совсем не случайно избегает разговора о петле Мёбиуса, тут загадка: или стесняется говорить, или мозгам Сочинителя не доверяет, или такое обычное, когда в доме верёвки не говорят о повешенном, а может быть и по той причине, о которой вчерашним днём упоминал – про Бера рассказывал, а за Бером понимай разных идиолов, каменных баб, богов с боженятами, культ личности – не поминать всуе, так, что ли? ладно, пусть бог, пусть Сталин, но перекрученная-то бумажка – какой культ? культяшка! култышка! и не надо больше про эту чёртову петлю расспрашивать Арнольда, ещё ведь и дураком посчитает...

Спросил во дворе у мальчика в очках, видать, отличник, в третьем подъезде проживает, но может даже и не отличник, просто мальчик, и этого достаточно, чтобы быть правильным, как бывают правильными ранние поэты и поздние прозаики.

– О, дядя, это же очень просто! – воскликнул мальчик и мигом скрутил из случайной бумажки узкую ленточку, подобную тем, что повешены будничной гирляндой на проволоке в кабинете Арнольда.

Весь день Сочинитель пропыхтел на этажах, выполнял заявки, закрывал наряды, повторяя вслед мальчику, чтобы к вечеру не позабыть: Август Фердинанд Мёбиус, тыща семьсот – какая древность! – девяностый тире тыща восемьсот шестьдесят восьмой, Ленин ещё не родился, и бога не отменили... немецкий математик, научные труды по геометрии... трояк у нас по геометрии за среднюю школу, трояк, трёшка с купюрами, восьмёрка недоделанная, концы с концами не сходятся, трещины в обоих колёсиках, недописанный знак бесконечности, очки близоруко-дальнозоркие, округление мечты человечества до полного торжества двух дырок, двух идиотских нулей... установил существование односторонних поверхностей... ишь ты!.. которые стали называться листом Мёбиуса... простейшая... какой же должна быть сложность, если простоту невозможно умом постигнуть?.. простейшая односторонняя поверхность, взятая Августом в научный оборот, получается при склеивании двух противоположных сторон АБ и ЦД прямоугольника АБДЦ так, что точки А и Б совмещаются с точками Д и Ц... проще скрутить бумажку, склеить и пощупать, чем словами и буквами изображать... но если таким манером и дальше скручивать и склеивать, то в конце концов можно додуматься до того, что вся Вселенная, без всяких там А и Б, сидящих на трубе, устроена так: глядя вперёд, можно запросто увидеть свой собственный затылок, и кривизна пространства – не фокус, но факт, и мы в этом факте присутствуем как парадокс... а ведь говорили, говорили человеки друг другу и до сих пор говорят, убеждают, заклинают, с первого класса преподносят: ты, Ваня Иванов, есть не просто Ваня Иванов, а ты, Ваня Иванов, есть царь природы! вот он и расфуфырился, Ваня Иванов! а против, например, какого-нибудь одного несчастного тайфуна – что такое Ваня Иванов со всей своей техникой, геометрией, магнитофонами,

бульдозерами и шагающими экскаваторами? плюнуть и растереть! нет уж, Ваня Иванов, ты не расфуфыривайся, Ваня, ты осознай сызмала ничтожность свою на фоне звёздного неба, а уж потом живи соответственно и адекватно, и в умиротворённом ничтожестве своём хотя бы не умали себя на молекулу, даже это будет твоим земным подвигом в петле августовской, в чёртовом колесе...

После работы заскочил домой – нет Опекуна.

«И куда ж ты подевался, дорогой мой старче? Или случилось что?»

Пришёл Арнольд, и оба, не сговариваясь, подались в «подберёзовики».

Едва успели краешек брезентового тента отвернуть для подныривания в автомобильчик, как изнутри – пригласительный голос:

– Заходите, товарищи, не стесняйтесь. Я вам тут маленько поисть принёс...

Сочинитель с облегчением выругался и попенял:

– Нельзя же так вести себя на старости лет, уважаемый Жуткин-Ругайло! Кто кого дурит на самом деле, это ещё разобраться надо...

Арнольд за рукав одёрнул Сочинителя: не тащи, дескать, разбор в помещение, оставь снаружи.

Странное получилось сидение в темноте, никто и не осмеливался первым нарушить молчание. Жевали хлеб с колбасой. Сочинитель папиросами зашуршал, спичками затарахтел. Опекун, наконец, не выдержал.

– А вот я когда маленький был, – сказал, покряхтивая смущённо, – так шибко нравилось мне гвоздики выпрямлять, которые кривые и ржавые. Молоточком тук-тук, и порядок, снова гвоздичек в дело гожий...

– Гвозди бы делать из этих людей, – продекламировал Арнольд, – в мире бы не было крепче гвоздей!

– Поезд ушёл, – пробурчал Сочинитель, попыхивая папиросой.

– А вот ещё было хобби у моего племянника, – продолжил Опекун. – Папаша его, мой брательник, буйного нрава был мужчина. Посуду колотил в дребезги. Племяш собирал осколочки и склеивал клеем БФ. Любил это дело, подбирать осколки, один к одному прилаживать. Бывало, отсутствует битая посуда, так он молотком специально чего-нибудь пофигуристей раскокает – и клеит, и клеит. Я, говорил, в археологи пойду.

– Пошёл?

– Пошёл! А дальше не склеилось по несчастному случаю. В пустыне Кара-Кум змея укусила. И помер. Так и не раскопал ни одного подземного города...

– Я говорю, поезд ушёл, – повторил Сочинитель, и неясно было, кому он это говорит.

– А хотите, братцы, я вам стишок про поезд изложу? – предложил Арнольд.

– Шумный стишок?
– Что вы! Тихий стишок. Тише некуда.
– Это хорошо, когда тихий.
– Тогда слушайте. Как будто бы мы с вами едем куда-то в неизвестном направлении, посреди ночи, нам не спится, а я, который к вам в купе на полустаночке подсел, жизнь свою рассказываю без стеснений, как попутчик попутчикам...

Глухо и темно падали гроздья слов:

– ...трясаясь в прокуренном вагоне он стал бездомным и смиренным
трясаясь в прокуренном вагоне он полуплакал полуспал когда состав на скользком склоне вдруг изогнулся страшным креном когда состав на скользком склоне от рельс колёса оторвал...

Глухо и темно восходили гроздья слов, и прижались «подберёзовики» теснее друг к дружке.

– ...нечеловеческая сила в одной давилъне всех калеча нечеловеческая сила земное сбросила с земли и никого не защитила вдали обещанная встреча и никого не защитила рука зовущая вдали...

Чья рука? Кем обещана встреча? Где? Зачем? Когда? Но тих и недвижим зал ожидания большого и ожиданий отдельных, маленьких.

...К жёлтому свету домашних окон потянулись.

Опекун всё куда-то вбок глядел, голову набычив, а не сообразил, что этаким образом ещё заметнее для иных взоров становились его влажные покрасневшие веки.

– Сочинения сочиняют, кино снимают, народу показывают, – бормотал, ни к кому не обращаясь, сам с собою разговаривал. – Небось, и старого старика изувекочечат по мокрому делу...

День седьмой

Уж во второй выходной день подряд заступил Сочинитель на смену дежурным слесарем, но не роптал, кому-то ведь надо гайки крутить, если коллеги рассеяны от рабочих мест обстоятельствами личной и общественной жизни.

Работы оказалось по горло и даже сверх. Но ничего, понравилось даже.

Вернулся домой с песенкой про пингвинёнка.

В кухонной двери остолбенел: то ли провокация, то ли агитация, то ли революция в обратном направлении, от сухого закона к противоположному.

За столом сидел Опекун, покачивался на стуле, словно медведь в зоопарковой клетке, и неотрывно глядел невидящими глазами в одну точку, на гвоздь в стене, у двери, для грязного полотенца. На полу посвистывала на сквознячке пустая водочная бутылка. На столе, среди хлебных кусков и нарезанной на газете селёдки, торчала ещё одна, ополовиненный многозвёздный коньяк. Колечки репчатого лука, соль рассыпью, стакан, ковшичек, в котором заваривали крепкий чай...

Ёкнуло под ложечкой!

– Василий Иванович, – тихонько пропел Сочинитель, – сколько звёзд насчитал?

Молчал Опекун, качался болванчиком.

Сочинитель обнял его за плечи:

– Коньяк надо культурно пить, Василий Иванович. Берёшь, например, ковшик коньяку, мизинчик оттопыриваешь на манер барышни...

Каким-то акробатическим образом Опекун вывернулся из объятий, стал медленно сползать на пол, по пути успев тяпнуть зубами Сочинителя за ляжку и объясниться по-человечески, хотя и с некоторым трудом:

– Фиг тебе, а не кроссовки... И «Огонёк» фиг...

«В сиську», – констатировал Сочинитель, устраивая Опекуна на кровать, при этом ещё и подумал по привычному обыкновению о том, что завтра не помешало бы сходить в поликлинику на прививку от бешенства, а лучше – прямо к ветеринару, непременно к ветеринару, вот ведь уже и жар, вот уж температура зашкаливает... – однако тут же и оборвал себя, в обыкновении своём не пошёл дальше, выругался матерно, с шипом: не уши! не уши! какие уши? уши были вчера, а сегодня всё лицо сгорает, угловато обугливаясь...

LXXIII

... и всё-то она норовит прыжками, прыжками, гуру-кенгуру, сплошной марафонский бег с препятствиями по пересечённой местности, стипль-чез, от церкви до церкви, эта дурища, Их Высочество, Их Величество, Матерь Всех Наук, эта сука непутёвая, Всеобщая Гиштория Болезней, или, что одно и то же, Болезнь Истории, единственная, пожалуй, «натурфилософия» с маленькой буквы и в кавычках-прищепках с обеих сторон, которая гипотетически могла бы позволить, во-первых, всех умников вывести на чистую воду, а, во-вторых, по-умненькому разобраться с дураками, не всё же одному санитару Коле-укольчику любомудрствовать на заданную тему, садист! лежащие больные обыкновенной «утки» под задницу домогаются, а он, негодяй, на добросердечной санитарии пошлые афоризмы выращивает: большим, де, суднам – большое плавание.

Пролистал журнал свой, ругаю себя: лень-матушка одолела, вместо текста – наклейки мусорные, мыслей нет, идей нет, тема диссертации во мраке. Откуда-то вынырнула «зеркальная тема». Несерьёзно. Как говорится, неча на зеркало пенять, коли рожа крива. Если бы не запретительные меры на зеркала со стороны главврача Фаустова, так мне бы и в голову не пришла теория отражения в медико-психологическом аспекте. Ведь даже и рассуждать что-то начал, будто вздравдашний: подошёл человек к воде и увидел в ней своё отражение... Какая глубина мысли, доктор

Штукарский! Тут же ведь и сверхъучёный вывод напрашивается незамедлительно и без последующих словоблудий: если верить отражению в луже, то человек есть довольно зыбкое и мутное существо. Всё. Тема закрыта. А где новый путь в науке? Всё прыжки гуру–кенгуру? Марафон с препятствиями? Буду писать печатными буквами. Так серьезней.

Как сладко и решительно грезилось на заре туманной юности! Повторить не стыдно. Терапия – изъезженная дорога! Общая хирургия с её грыжами и аппендиксами – банальна! Для гинеколога молодой человек слишком умён, для ветеринара – умён недостаточно, и остаётся психиатрия, тёмная, неведомая, манящая...

Очередной сезон прыжков, препятствий, стимулов и допингов:

1 июня – Международный день защиты детей;

5 июня – Всемирный день окружающей среды;

первое воскресенье июня – День мелиоратора;

второе воскресенье июня – День работников лёгкой промышленности;

третье воскресенье июня – День медицинского работника;

последняя суббота июня – День изобретателя и рационализатора;

последнее воскресенье июня – День советской молодёжи;

первая суббота июля – Международный день кооперации;

первое воскресенье июля – День работников морского и речного флота;

второе воскресенье июля – День рыбака;

20 июля – Международный день шахмат;

третье воскресенье июля – День металлурга;

четвёртое воскресенье июля – День работников торговли;

последнее воскресенье июля – День Военно-Морского Флота СССР;

первое воскресенье августа – День железнодорожника;

вторая суббота августа – День физкультурника;

второе воскресенье августа – День строителя;

третье воскресенье августа – День воздушного флота СССР;

последнее воскресенье августа – День шахтёра;

27 августа – День советского кино...

ΣΣ: Какой безграничный простор для российского куража! Между прочим, иногда я даже представляю его, этот кураж, в своём невольном воображении: средних лет мужичок, среднестатистический, не доживающий до законодательно обозначенной пенсии папаша Кураж, от пяток до плечи промозоленный реализмом: оставьте, – говорит он, – меня без ваших торжеств, без ваших праздников, без переходящих знамён и почётных грамот, устал я от вашей заботы о моём оптимизме, дайте мне простой будень! – а ему из окружающей среды строго указывают: нет у нас, мужичок, такого конституционного права, чтобы лишать тебя всенародной радости, до коей наш народ по определению такой отзывчивый не только в местном масштабе, но и во всемирном,

так что, давай, пляши, мужичок, соответствуй красному календарю и не подрывай устоев своим сермяжным нигилизмом, с устоями, сам понимаешь, шутки не шутят...

Вечером наши голубчики промаршировали в кино. Всех потряс финал: она на самосвале уезжает к светлому будущему, а он остаётся на обочине дороги очень грустный, бесперспективный и без денег.

Датировать записи в журнале не имеет смысла. Не нужно делать эту «датскую» перебивку, пусть буквы текут, текут, без порогов... Но надо оставить нумерацию подсобного материала; в последующем можно использовать уже не сам текст, но его порядковую нумерацию в журнале.

№1257. Случилось такое чудо, что Л. воскрес. И сразу же отправился в пивнушку пообщаться с пролетариатом. Тот стоит, выпивает, на Л. ноль внимания. «Что же это вы, товарищи, не узнаете?» – «Глядите-ка, мужики, живой червонец!»

№1258. Товарищу С. доложили, что обнаружился его двойник. И тов. С. распорядился: «Расстрелять!» – «А может, ему просто усы сбрить?» – «Хорошая мысль! Сбрить усы и расстрелять.»

№1259. Два старика встретились в трамвае, разговорились. – «Я тебя помню!» – «Да чего ты помнишь-то?» – «Так ведь вместе мы Зимний дворец брали! Такое не забывается!» – «Да как там же не я один был, как меня опознал?» – «И очень просто. Ты ещё тогда на лестнице запнулся и нае...лся, а я в твоём пальте застрял и винтовку выронил. Было такое?» – «Да вроде было что-то такое с пальтом...» – «Вот я тебя и узнал по пальту!» **№1260.** Во время партийно-государственного визита в Африку товарища Б. проглотил крокодил. Две недели крокодила рвало орденами.

№1261. И снова Б. – перед народом выступает: «Скоро мы будем жить ещё лучше!» – Голос из зала: «А мы?»

№1262. Телефонный звонок в Кремль: «Алло, вам новый генсек нужен?» – «Вы что, без ума, что ли?» – «Да, да! И без ума, и старый, и больной!»

Как рождается крамола? Нечаянно. Из игры. Нарочно не придумаешь. Вот голубчик Изислав Несчастлифшиц на утреннем обходе раздражается неумеренными восторгами в мой адрес: вы, товарищ Штукарский, не просто врач! вы супер-врач! экстра-доктор! архимедик!.. Что осталось в осадке? Архимедик Штукарский. Маленький такой Архимед, мальчик ещё, но перспективный. На кого обижаться? Люди играют. Бывает, что и зло. Как дети. А прежде-то прозвище, Рыльце Печального Образа, сразу же и вышло из внутреннего употребления.

Безумный, старый, больной. Это серьёзно. Подкрадываться к этой

«больной» теме надо осторожно, окольными путями, косвенно. В обоснование темы, в качестве эпиграфа, – выписка из весьма просвещённого журнала «Вестник Европы» (1821 г.), в котором напечатан перевод сочинения Рабенера (кто такой?) под названием «О духовном завещании Ионатана Свифта». Суть: ирландский писатель Джонатан Свифт («Гулливер» etc.) завещал свои денежные сбережения на постройку и содержание дома для умалишённых – ещё в собственном стишке, озаглавленном «На смерть доктора Свифта»: «Всё то, что накопил с трудом, Он дал на сумасшедший дом. За дом в долгу пред ним страна, Пусть лучше выстроит она». Подтекст: Ирландия, как ни одна другая страна, нуждается в клиниках для душевнобольных... Cito! Некто Рабенер якобы от имени самого Свифта уточняет: такое лечебное заведение, по мнению Свифта, предназначено не столько для настоящих дураков, сколько для «сумасбродов в нравственном смысле, которые при здоровом теле часто носят в себе скрытые, самые опаснейшие и заразительнейшие болезни», и к сему прилагается скрупулёзный список кретинов – лордов и их наследников. Sic! Автоэпитафия написана в начале 1732 г., а через одиннадцать лет (за три года до смерти) он сам, автор Джонатан Свифт, декан Дублинского собора, был признан невменяемым.

Несколько дней ничего не писал: разбирал бумажный хлам в ящиках, в портфелях, в папках, в разных щелях и щелочках, сортировал по кучкам всякие бумажные клочки, обрывки, отдельные листочки, сгребал-разгребал. И что получилось? То ли мусорная яма, то ли, наоборот, мусорная куча. Яма или куча? Ну-ну, дерзай, щелеустремлённый человек, Архимедик!

Так называемые «заскоки». Всем они свойственны, но причуды людей публичных становятся многозначительными легендами. Про АРХИМЕДА, например, говорили, что он всё время чертит всевозможные фигуры на чём угодно, на пыльных поверхностях, на песке, даже на собственном теле что-то выцарапывал ногтем, потому и мыться не любил и игнорировал баню. Римский император ДОМИЦИАН обожал в закрытой комнате ловить мух. Кардинал РИШЕЛЬЕ, раздевшись до нижней рубашки, прыгал на стену, стараясь с каждым разом как можно выше коснуться её ногой. Прусский король ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ I, повстречав в утренние часы женщин на улицах, колотил бедняжек нещадно, ибо считал: в это время порядочные женщины должны находиться на кухне! Верный слуга философа КАНТА был изгнан с места работы, как только хозяин узнал о его женитьбе: КАНТ не терпел женатых. Князь ПОТЁМКИН с утра до вечера жрал сырой лук и чеснок. Поэт ГЁТЕ, наоборот, не выносил чесночного запаха, а кроме того ненавидел собак и людей, носящих очки. Изобретатель вакцины от бешенства ПАСТЕР не пил сырого молока, а когда ел

ягоды, так каждую ягодиночку предварительно обмывал кипячёной водой. НИКОЛАЙ I считал, что обладает гипнотическим взглядом и всё время проверял свои способности: ни с того ни с сего вдруг начинал сверлить своим оловянным взором, да ещё исподлобья, всех подряд – министров, фрейлин, членов семьи августейшей, даже случайных прохожих, если таковые случались у императора. Художник ПОЛЬ СЕЗАНН страшно не любил, когда до него кто-нибудь дотрагивался. ЧАЙКОВСКИЙ не выносил никакого шума, выбирал только такую квартиру, в которой коридор и соседние комнаты совершенно изолировали его от внешнего мира. Итальянский дирижёр АРТУРО ТОС-КАНИНИ, будучи недовольным репетицией оркестра, ломал всё, что под руку попадалось; однажды сорвал с руки дорогие часы, грохнул на пол и растоптал; музыканты сбросились, купили маэстро две пары недорогих часов, но и те протикали недолго. Чёрт знает, что такое. Есть мнение: количество ума на планете – величина постоянная, но вот беда, население-то растёт, и растёт, и растёт.

Из книжки Иштвана Рат-Вега «История человеческой глупости». В XVIII веке в небольшом британском городке в графстве Кент жил некто НОБС. Его нездоровая страсть к порядку наиболее ярко проявлялась в прогулках на свежем воздухе. Каждый день в одно и то же время он поднимался на холм, где был трактир, там выпивал бутылку пива и спускался вниз. Этот путь он проделывал 40 тысяч раз, что вполне реально, ибо окаянный старик при помощи своего моциона прожил 96 лет. Он точно знал, сколько шагов ему надо сделать, чтобы подняться на холм и спуститься с него, знал все ямочки и бугорки на дороге. Если погода портилась и НОБС не мог выйти из дома, он имитировал восхождение на холм в собственной квартире: ходя из комнаты в комнату, он делал необходимое количество шагов, пока не добирался до воображаемого трактира, тогда выпивал реальное пиво, прихваченное с кухни, отдыхал и возвращался, так сказать, назад. Сохранял он верность и другим привычкам. Когда он проходил мимо портняжной мастерской, то обязательно кричал в окно: «Снять нагар со свечей!» У коровника кричал дояркам: «Засучить рукава!» Упрямый старик, прогуливаясь по дому, не забывал покрикивать.

Вообще, люди не раз позволяли другим людям посмеяться над собой. Наиболее известны странные приёмы, с помощью которых известные писатели, учёные и артисты раздували в себе пламя творчества. ШИЛЛЕР во время работы нюхал гнилые яблоки. МИЛЬТОН мог работать только под музыку. Учёный-натуралист БЮФФОН во время занятий наукой надевал парадный костюм, пристёгивал шпагу и посыпал парик рисовой мукой. ГАЙДН тоже надевал свой лучший костюм, больше того, даже переменял бельё, что в те времена было совсем не повседневным делом. МЕГЮЛЬ ставил на рояль человеческий

череп – и только тогда в душе композитора раскрывались свежие ростки мелодий. Историк МЕЗЕРАИ днём и ночью работал при свечах. Известный юрист КЮЖА работал только лёжа на животе, книги и рукописи раскладывая на полу.

По подсчётам римских учёных (нам бы их заботы!) с 1000 по 1900 год оценки «гениальный» удостоены 29771 человек, то есть 33 с лишним индивидуума на каждый год. За двадцатый век ещё рано подбивать «бабки» (или цыплят считать), поскольку гениев от злодеев отличают не сразу, да и то спустя годы и годы. Но на обыденном уровне если присмотреться к какому-нибудь знакомому таланту? Непременно сколько-нибудь заметный бзик обнаружится. Необычных людей, выдающихся талантом из основной массы, называют ещё и так: «с приветом».

Известны ночные бдения БАЛЬЗАКА. Может, подражал типичнейшей «сове» АРИСТОТЕЛЮ? Всё может быть. Но в отличие от АРИСТОТЕЛЯ, любившего тепло, БАЛЬЗАК любил писать, стоя босиком на студёном каменном полу. ПРУС обожал комфорт и кайф: после каждой удачно сложенной фразы нюхал терпкие духи. ВОЛЬТЕР и ДИДРО постоянно взбадривали себя крепким кофе. ИБСЕН предпочитал вдохновляться чаркой доброго вина, и не без успеха, хотя уже после третьей начинал комкать и рвать подвернувшиеся бумаги, газеты – в клочья, в клочья! – и среди этого рванья нередко находились и те листочки, которые только что блестяще написаны. Нечто подобное происходило и с английским писателем РИЧАРДОМ ГОУТОНОМ. Оттачивая стиль, он многократно вслух повторял каждое предложение, одновременно орудуя ножницами или ножом, и обстругивал при этом письменный стол и кресло, а однажды изрезал на аккуратные полосочки подвернувшееся под руку любимое платье жены. Французский баснописец ЛАФОНТЕН, когда на него накатывало вдохновение, часами метался по улицам, не замечая прохожих, с удивлением наблюдавших за чудачком, который жестикулирует, топает ногами и во весь голос выкрикивает рождающиеся на глазах улицы строки. Итальянский композитор САРТИ сочинял ночью в пустой комнате, без мебели, при свете лампы под потолком. А его земляк ЧИМАРОЗА умудрялся создавать свои оперы-буфф прямо во время шумных приятельских пирушек, до которых был превеликий охотник. «Зеркало русской революции» граф ТОЛСТОЙ вопреки наставлению басни Крылова тачал отличные сапоги; одну пару подарил поэту ФЕТУ, тот был в восторге и носил графский подарок много лет; зять же писателя СУХОТИН, получив такой же презент, поставил сапоги на книжную полку рядом с собранием сочинений тестя и приклеил к ним подобие книжного корешка с надписью «Последнее произведение графа Л. Н. Толстого».

№1263. Пришёл однажды в Мавзолей тов. Б. Внук спрашивает: «Ты,

дед, после смерти здесь жить будешь?» – «Конечно, внучек». Тут из гроба тов. Л. встаёт и говорит: «Что вам здесь, общежитие, что ли?»

№1264. На следующий день после смерти т. С. в ворота рая начали ломиться черти. «Куда лезете, нечистые?» – спрашивает святой Пётр. – «Вчера к нам прибыл товарищ С. Мы, стало быть, первые беженцы».

№1265. Перед ноябрьскими праздниками Рабиновича вызвали в заводское партбюро: «Как старейшему работнику мы доверяем вам нести на демонстрации портрет товарища Г.» – Рабинович руками замахал: «Не давайте мне это поручение! Нёс я портрет Л. – и тот Л. умер. Носил портреты С. – и тот С. умер. И Б. – тоже умер. И совсем недавно портрет А. нёс – умер, как миленький! Не надо мне такого задания, товарищи!» – «Надо, – сказала партбюро. – У вас, Рабинович, золотые руки. Так что, в одну руку возьмёте портрет товарища Г., а в другую руку – красное знамя коммунизма.»

№1266. Встречаются на том свете С., Б. и Г. Видят распятого Христа. И решили спросить: в чём им в земной жизни повезло? Первым спросил С.: «Скажи, дорогой, в чём мне повезло?» – «В том, кацо, что ты с помощью народа войну выиграл» – «А мне в чём повезло?» – спросил Б. – «Ты сам пил и другим давал» – «А мне?» – спросил Г. – «А тебе, – дёрнулся Христос, – повезло, что у меня руки прибиты».

Травят везде: в палатах, в курилке, в процедурных кабинетах, в столовой, всерьёз и в хохот. Но за горло не возьмёшь и язык не прищемишь: что с дурака взять? дурак – он и есть дурак. И с формальной точки зрения придраться невозможно.

Как легко и весело, по-дурацки, всё начиналось когда-то, уже давно. Сентябрь. Посылают нас, студентов-медиков, в зерносовхоз, в помощь сельскому хозяйству. Вот мы и помогаем: будущие хирурги, терапевты, педиатры, невропатологи. Будущие хирурги – самые серьёзные, в перерывах между перелопачиванием зерна они отлавливают местных собак для экспериментальной резекции кишечника. Через несколько дней собаки уже узнавали студентов в лицо и моментально разбегались. Из-за нехватки операбельного материала стали добывать свиней, которых Костя Чернов называл «заместителями барашков по шашлыкам». Непьющий в ту пору Женька Шалыгин возмутился: не позволю! После чего вынул свинью из мешка, тщательно установил её, одуревшую, долго прицеливался и, наконец, выдал ей такого пинка, что она вылетела из другого конца деревни на двадцать метров впереди собственного визга. Женьке присвоили почётное звание «Друг природы». Мне после всех этих экспериментов приснился странный сон. Вижу тётку, у которой мы спёрли из стайки поросёнка во имя науки. Тётка пошла топиться. Вода тихая-тихая. Вижу, как на поверхность выплывают со дна реки пять воздушных пузырьков, и в каждом пузырьке ворочается слово, тёткой произнесённое. В первом – «господи», во втором – «спиздили», в третьем – «моего», в четвёртом – «дорогого» и в пятом – «поросёночка»...

Вряд ли можно назвать каждого выдающегося человека психом. Но их странности, выпуклости, впуклости...

МЕРИМЕ никогда не смеялся; человек безукоризненных светских манер, он был остроумнейшим рассказчиком, но самые смешные истории передавал скучнейшим тоном человека, который просто просит, чтобы ему подали стакан воды; писал – от нечего делать, как сам утверждал, набрасывал начерно какую-нибудь балладку в уме для развлечения гостей. ФЛОБЕР, описывая своих персонажей, плакал и смеялся, бегал по кабинету и говорил их голосами. БАЛЬЗАК запирался в комнате на один-два месяца, закрывал ставни, писал при свечах, в тёплом халате, по 18 часов ежедневно, не замечая ни дня, ни ночи. ШИЛЛЕР сочинял, всегда держа ноги в холодной воде. РУССО заставлял свой мозг работать интенсивнее, стоя на солнцепёке с непокрытой головой. БОССЮЭ сидел в холодной комнате, с головой закутавшись в меха. МЕТЕРЛИНК ежеутренне отсиживал за письменным столом три часа, даже если ни одна мысль не приходила ему в голову. БЕРНАРД ШОУ уже в преклонном возрасте надевал резиновые боты, застёгивал наглухо подбитый байкой плащ и обращался к домочадцам: иду писать пьесу! – и шёл на рынок, ко всеобщему оживлению, или в пригородные поезда, сидел на скамеечке, с блокнотом в руках, строчку за строчкой писал. КАРЛ V выбирал паузы в своих королевских делах для того, чтобы прорепетировать собственную смерть, и для этой цели держал при себе гроб. Кстати, обожала спать в гробу великая актриса САРА БЕРНАР. ОТТО ЮЛЬЕВИЧ ШМИДТ ещё в 14-летнем возрасте составил подробнейший план своей жизни; подсчитав, что для выполнения своего плана ему потребовалось бы 900 лет, он ужал программу до 150 лет, и умер в 64 года, перекрыв свою программу в два с половиной раза. ЭДГАР ПО мог часами сидеть за столом и молча смотреть на лист чистой бумаги. ВОЛЬТЕР одновременно писал несколько произведений; все рукописи были в определённом порядке разложены на столе и на пюпитре; подсаживаясь туда или сюда, он никогда не знал, за что именно возьмётся, полагался на настроение, и настроение руководило его рукой, которая протягивалась в сторону той или иной рукописи. ШУБЕРТ, проживший всего 31 год, оставил миру 20 опер и около 600 песен; прежде, чем обнародовать свои любимые музыкальные сочинения, он обязательно проигрывал их на гребёнке, голосом подвывая. ДЮМА-ОТЕЦ писал только на особых квадратных листах бумаги, и если таковой бумаги не оказывалось на столе, он прекращал работу. АНАТОЛЬ ФРАНС никогда не запасался бумагой, писал на чём попало, на старых письмах, конвертах, пригласительных билетах, визитных карточках. ЖОРЖ САНД ежедневно писала до 11.00, и если, скажем, заканчивала роман в 10.30, то тут же начинала новый, над которым работала ровно полчаса. ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ помнил имена всех солдат своего 30-тысячного войска. Итальянский математик

тик ИНАНДИ с детства обладал способностью с одного взгляда определять количество предметов; однажды, по дороге из Рима в Геную, Инанди увидел из окна дилижанса стадо овец и мимоходом заметил: тысяча четыреста шестьдесят две овцы! Один из попутчиков недоверчиво спросил: неужели можно так быстро пересчитать? И математик ответил: о, синьор, это так просто! сначала я сосчитал ноги, а потом поделил их на цифру четыре!.. АМПЕР ещё при жизни прославился своей рассеянностью; однажды, выходя из своего дома, написал мелом на двери предупреждение для посетителей: «Господина Ампера нет дома!»; возвратившись через час и увидев эту надпись, Ампер вздохнул и ушёл. Известен случай, когда НЬЮТОН, задумав сварить яйцо, взял часы, заметил время и через пару минут обнаружил, что в руке держит яйцо, а в кастрюльке кипят часы. Однажды ЭЙНШТЕЙН встретил своего друга и, поглощённый мыслями, сказал: «Приходите ко мне вечером, у меня в гостях будет и профессор Стимсон», на что друг ответил: «Помилуйте, ведь я и есть Стимсон!» – «Это не имеет значения, – сказал Эйнштейн, – всё равно приходите». Отец русской авиации ЖУКОВСКИЙ однажды, проговорив целый вечер с друзьями в собственной гостиной, вдруг засуетился, ища свою шляпу, и стал прощаться, торопливо бормоча: «Засиделся я тут у вас, однако, пора и домой». БЕРНАРД ШОУ не выносил застольной музыки; как-то раз в ресторане он обратился к дирижёру: «Вы играете всё, что вам закажут?» – И на утвердительный ответ дирижёра ШОУ попросил: «Пока я буду обедать, сыграйте, пожалуйста, в домино»... Множество лиц. Множество чудачеств. Но вот нам, доктору Штукарскому и Архимедиду, вместе взятым, любезней прочих доктор Свифт.

Во-первых, доктор СВИФТ любил порядок. Нанимая служанку, он ставил всего лишь два и только два условия: первое – входя к нему в кабинет, она должна закрыть за собою дверь, и второе – выходя из его кабинета, она должна закрыть за собою дверь. Всё. Однажды служанка отпросилась у хозяина на свадьбу в соседнюю деревню. Свифт разрешил и даже велел конюху её отвезти. Служанка выскочила из кабинета, оставив дверь открытой. Когда Свифт заметил дверь раскрытой, он приказал слуге догнать девушку, и ту, конечно, вернули с полдороги. Расстроенная, она спросила хозяина, в чём она провинилась. И хозяин ответил: «Закрой за собой дверь и можешь ехать, куда тебе угодно».

Из Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса.

В период европейского ожесточения по «ирландскому вопросу» Маркс писал, что в Ирландии чрезвычайно ускорился рост количества сумасшедших, закончив статью словами: «И это та самая страна, в которой знаменитый Свифт, основатель первого в Ирландии дома для умалишённых, сомневался, удастся ли найти всего-навсего 90 сумасшедших!» (том 9, стр. 235). Спустя почти 20 лет Маркс писал Энгельсу:

«Недавно я купил с аукциона за целых 4 с половиной шиллинга четырнадцатитомное издание Свифта (1760). А потому, как только тебе понадобится заглянуть в свифтовские писания на ирландские темы, соответствующие тома будут тебе высланы» (том 32, стр. 417).

Из позднейших историко-медицинских изысканий стало известно: Свифт действительно страдал от приступов головокружения и тошноты, впадал в депрессивные состояния, отмечены глухота и нежелание общаться с людьми. В середине XIX века все эти симптомы французский врач Меньер отнёс к «болезни ушных центров», которую впоследствии стали называть «меньеровой болезнью». С безумием это заболевание имеет мало общего. Но вот любопытный факт: ещё задолго до своего очевидного заболевания Свифт задумал всерьёз поработать над тремя темами, весьма интересовавшими его как писателя:

1. описание Королевства Абсурдов;
2. защита поведения сволочи во все века;
3. история ушей.

Солиднейшая «Британская Энциклопедия» не сомневается: Свифт – сумасшедший, причём, страдал он душевной болезнью ещё задолго до 1742 года, когда был признан невменяемым, а ещё во времена написания «Путешествия Гулливера», в двадцатые годы... Вон оно как повёртывается!

Внимание, внимание! Ахтунг, ахтунг! Гулливер в воздухе! Cito!

- Лжец и клеветник!
- Мизантроп!
- Кто позволил Свифту представить человека не Божьим созданием, но истинным чудовищем?
- Цель Свифта – очернить человеческую натуру!
- Навозная куча, а не книга!

Так вот сразу же и оценили сочинение про Гулливера.

Основным нападкам подверглась последняя часть романа, четвёртая.

– Самая недостойная часть, – подчеркнул Вальтер Скотт.

Теккерей присоединился.

И вовсе не удивительным оказалось общее резюме: «Жаль, что этого Свифта не посадили в Жёлтый Дом пораньше, ещё до написания этой зловерной книги. Очень жаль, господа!»

Трусой по истории: ГОГОЛЬ закончил жизнь шизофреником; МУСОРСКИЙ спился; ЛЕРМОНТОВ – ярко выраженный психопат; ДОСТОЕВСКИЙ – эпилептик; запойные пьяницы – когорта без начала, но и без конца: АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ, ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ, СОКРАТ, СЕНЕКА, РЕМБРАНДТ, ГОФМАН, МЮССЕ, БЕТ-

ХОВЕН, ГЕНДЕЛЬ, ГЛЮК, АВИЦЕННА... МОЦАРТ всю жизнь боялся отравления; **МОЛЬЕР** страдал припадками меланхолии; **ШУМАНА** преследовали говорящие ...столы, и в 46 лет он лишился рассудка. Тайные и явные пороки как неизбежные атрибуты подлинного и яркого таланта.

РОБЕРТ БЕРНС.

Шотландский поэт и бард крестьянского происхождения. Пил он виски беспробудно, а самые замечательные эротические стишки сочинял в перерывах между запоями. Помимо стихов, оставил после себя длинный список долгов по искам об отцовстве. «Большая Советская Энциклопедия», ссылаясь на свидетельство Лафарга, отмечает: Бернс был любимым поэтом Карла Маркса.

ЛОРД БАЙРОН.

Люди, близко знавшие поэта, называли его «человеком безумным, скверным и опасным для знакомства». Не дурак поест, он уже в семнадцатилетнем возрасте весил почти 115 килограммов. Сочинение стихов принесло ему известность, но прославился он ещё и пристрастием к опию и беспорядочной сексуальной жизнью, ставшей легендарной. Именно это, а не политические убеждения, как пишут советские учебники, стало причиной высылки поэта за пределы пуританской Британии. Свой первый сексуальный опыт он приобрёл в 9 лет со своей няней. Затем длительное время он повышал квалификацию в обществе лондонских проституток, которых заставлял переодеваться в мальчишескую одежду, а когда это ему наскучило, совершил инцест с собственной сестрой, после чего у той родился ребёнок. В некотором расстройстве, Байрон подпалил собственный дом и бежал, заодно оставив жену, предпочтя ей некую 17-летнюю девицу, которую позже тоже бросил, оставив кому-то в качестве залога. Соблазнив и также бросив жену своего домовладельца и жену булочника, Байрон отправился в Италию, где организовал собственный бордель, что тоже закончилось печально: одна из девиц ударила его ножом, а потом покончила с собой. В возрасте 30 лет Байрон весил уже полтора центнера, потратил половину состояния на содержание двух сотен любовниц, хронически болел гонорреей. Для поправки финансовых дел женился на 19-летней богатой графине и вскоре отправился в Грецию, где, по новой версии, и был на 37-м году жизни бесславно застрелен (а не умер от лихорадки) во время ссоры с очередным домовладельцем из-за условий проживания.

ГИ ДЕ МОПАСАН.

Ещё тот гигант! У него была уникальная способность многочасовой эрекции (приапизм), имевшая успех у тысяч женщин. «Я не устаю ни после первых трёх раз, ни после следующих двадцати, разве что к этому времени всё же запас спермы закончится», – утверждал Мопасан. В подтверждение своих слов ему ничего не стоило, кроме денег, конечно, на глазах у изумлённых приятелей поиметь одну и ту же про-

ститутку шесть раз подряд, а потом ещё трахнуть по разу трёх девиц, подвернувшихся ему под ноги по пути к выходу из борделя.

ЖОРЖ СИМЕНОН.

У земляка Мопассана на счету не только более 500 романов, но и, как утверждают, более 10 тысяч женщин. В иностранной прессе утверждают, что Сименон проводил целые недели, меняя по четыре проститутки за день. И в подтверждение приводятся слова Сименона: «Я вовсе не нахожусь во власти какого-то патологического пристрастия, а просто удовлетворяю свои потребности».

Смертельная страсть? Так точно. В прямом, а не в переносном смысле. Но зато в этом случае тоже много шансов попасть в историю.

АТТИЛА, предводитель гуннов, отдал богу душу в 453 году во время первой брачной ночи со своей 12-летней женой.

ПАПА РИМСКИЙ ЛЕВ VII, занимавший святой престол с 936 по 939 год, умер от разрыва сердца в интимный момент с одной из своих многочисленных любовниц.

ПАПА РИМСКИЙ ИОАНН XII (956–964 годы) был убит ревнивым супругом, заставшим его в постели со своей женой.

Президент Франции **ФЕЛИКС ФОР** (1841–1899) скончался в одном из парижских борделей. Его партнёрша впала при этом в шоковое состояние, и её пришлось отделять от окоченевшего трупа хирургическим путём.

Премьер-министр Великобритании лорд **ПАЛЬМЕРСТОН** умер 18 октября 1865 года во время траханья со своей служанкой на бильярдном столе.

НЕЛЬСОН РОКФЕЛЛЕР, мультимиллионер, умер в 1979 году в возрасте 71 года в объятиях очередной любовницы.

В недавно опубликованных изысканиях английских историков была выдвинута гипотеза о том, что знаменитый музыкант **ГЛЕН МИЛЛЕР** погиб не в авиакатастрофе, а скончался в одном из публичных домов Парижа.

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

Тоже был малый не промах. Бородатый и волосатый здоровяк развлекался тем, что выпивал сразу по три бутылки виски, боролся врукопашную с медведем, а затем пристреливал его. Обладая бьющим через край либидо, в то же время комплексовал по поводу очень скромных размеров своего пениса. Это, впрочем, не мешало ему утверждать: «У меня на любую гайку болт найдётся!» Он был абсолютно уверен в превосходстве мужчины над женщиной и в доказательство этого зачем-то убивал быков. В конце концов мания самоутверждения толкнула его на смертельный выстрел из двустволки в собственный рот.

УИЛЬЯМ БЕРРОУЗ.

Вдохновитель движения битников, он выразил все свои впечатления

от героина в знаменитой книге «Обед нагишом», а на героин он угробил ни много ни мало 30 лет своей жизни. Свою жену, законченную алкоголичку, БЕРРОУЗ застрелил в голову. Правда, произошло это вроде бы случайно: целился он, по примеру Вильгельма Телля, в стакан, стоявший на голове жены.

КЕН КИЗИ.

Крестный отец рейва, именно он в 60-е годы организовал легендарные «кислотные вечеринки», на которых посетители накачивались тяжёлыми наркотиками и «тащились» под музыку адептов психоделиков. Купив как-то автобус, КИЗИ вместе со своей хипповой братией отправился бороздить просторы Америки, затем вдруг вспомнил о своём писательском призвании, сел за стол и написал убийственный бестселлер «Пролетая над гнездом кукушки», рассказывающий о быте и обитателях сумасшедшего дома... После чего 10 лет скрывался от американской полиции в жарких прериях Мексики.

В бумажных завалах обнаружился толстый блокнот, старый. К журналу не подошьёшь. Некоторые записи многолетней давности, впрочем, любопытны с нынешней точки зрения. Авось, пригодятся.

Путь: мединститут – интернатура – психиатрич. больница

Психиатров в СССР народ побаивается. На 2-м месте по страху после КГБ.

Путь: врач – зав. отделением – главврач.

Зарплата психиатра, психотерапевта или психоаналитика:

США – от 10 до 15 тыс. долларов в м-ц;

СССР – меньше 50 долларов в м-ц.

Врачу отведено 30 мин. на пациента, и за это время вряд ли разберёшься в том, что у человека накопилось в душе за десятки лет.

Он говорит: «Глюки в голове, понимаете? Впрочем, что вы можете, доктор, понимать в этой музыке? Тем более... Вот, например, сердце начинает душить меня точно по Лунному календарю. Только Луне приходит время закрываться, так тут же у меня и начинается...»

До больницы он работал на овощебазе. Сидел около капустной горы и плохие кочаны от неплохих откатывал. А если кочан был наполовину плохой, он ему плохую половину ножом-секачом отчекрыживал. Правда, на овощебазу иногда забрасывали деликатесы, например, ана-

насы. Но Н. этот фрукт, мягко говоря, не уважал. «И чего люди в этих ананасах находят? – говорил. – Несёшь мешок домой, так вся спина в колючках. Боком тебе эта африка выходит...»

Искренность пациентов определить невозможно. Алкоголики – великие актёры.

Белую горячку надо лечить 45 дней (?)

Есть в советской медицине уникальная профессия, вроде космонавта: сексопатолог, к одной профессии прилагается ординатура при единственной в стране кафедре сексопатологии.

Ордена Трудового Красного Знамени Всесоюзный Научно-исследовательский Институт общей и судебной психиатрии им. Сербского: Москва, Кропоткинский пер.

Вход по пропускам.

2 роты охраны Внутр. войск МВД (это сверхсрочники, контракт на 2 года, сутки на дежурстве, трое – дома). В двух старых корпусах лестнич. пролёты затянуты металл. сеткой. Тут отделения для больных на 200 мест: 4 мужских, женское и подростковое.

Срок стационарной экспертизы – 30 дней.

В каждом отделении постоянно находятся: деж. врач, м/сёстры, санитарки и 2 охранника.

Вход на запоре. Сотрудники носят с собой ключ-трёхгранку, как железнодорожные проводники.

В палатах по 8–10 чел. Двери не запираются, но снабжены глазками. На окнах решётки. Острые предметы пациентам иметь нельзя, спички тоже. Обыски проводятся регулярно. Объявление на стене: «Выдача зуб. щёток с 6 до 6.30, сигарет после завтрака и после ужина».

Что такое перекур? Охранник кричит: «Перекур!», врубает на полную мощность вентилятор в курилке и даёт прикуривать всем желающим. Тишина, шелестит шёпот.

Больные могут читать, им разрешено пользоваться библиотекой (кстати, библиотека, куда свозили всякий «мусор», уникальна!) играют в шашки и домино. Прогулки – ежедневно час-полтора во дворике со стенами сверхъестественной высоты. Пациентам, которые посидели в Бутырке и Матросской Тишине, НИИ Сербского кажется раем. Но нравы здесь вполне тюремно-лагерные, особенно после отбоя. Ночью

делят передачи, избивают, «опускают» – всё втихую. Днём – любой штришок, любая деталька поведения может повлиять на заключение врачей. К тому же ещё недавно к «проблемным» пациентам применяли шокотерапию, после которой нарушитель режима возвращался в палату на каталке. Полнота информации – привилегия посвящённых. Не только сам НИИ обособлен от мира – каждое его подразделение замкнуто в своих интересах и проблемах. Но даже на фоне этой привычной разобщённости бросается в глаза одно отделение: ЧЕТВЁРТОЕ. Что там происходит, почему палаты без окон, а на двери объявление: «Проход через отделение запрещён», – не знает почти никто. Да, почти никто. А почти кто-то знает: в ЧЕТВЁРТОМ отделении проходят экспертизу подследственные КГБ и обвиняемые по самым громким уголовным делам. Сотрудники имеют допуск секретности для знакомства с делами, подлинники которых хранятся в Первом Отделе, а не в канцелярии, как остальные. Говорят, что «Четвёрке» присущ особый стиль солдафонского шика. «Испытуемый на экспертизу прибыл!» – громко рапортует медсестра, не хватая только руки, вскинутой к виску, под белую шапочку. Жизнь таинственного отделения обросла слухами и легендами. До сих пор многие убеждены, что руководившая отделением около 20 лет М. Тальце является дочерью Ф.Э. Дзержинского...

Да ещё и обжираются!

В 1635 году в Лондон приехал 152-летний ТОМАС ПАРР. Король пригласил старейшего жителя Англии на обед. Старик после трапезы умер, и вскрытие показало, что он был совершенно здоров, а смерть наступила от переедания. Практики, видно, было маловато. В отличие от других товарищей, знаменитых. В начале XIX века на званных обедах в Петербурге подавали четыре блюда, но когда приглашали дедушку Крылова, непременно добавляли и пятое. Однажды он обедал у императрицы и не пропустил мимо себя ни одного кушанья. Сидевший рядом с ним Жуковский шепнул: «Иван Андреич, да ты откажись хоть раз, дай императрице возможность попотчевать тебя!» – «Ну, а ежели не попотчует?» – резонно заметил Крылов и продолжил невозмутимое и методичное уничтожение пищи. Надо сказать, вкусы у него были самые простые: очень любил борщ с уткой, кулебяку, жареного поросёнка и пшённую кашу. Но – чтобы всего этого было много. Как-то разболелся у Крылова живот, и на обед он попросил только щи и пирожки. Съел первый пирожок – показался он горьким. Съел второй – тоже горчит и кислит. Осмотрел остальные и увидел: порченые пирожки, аж зеленью покрылись. Иван Андреевич поразмыслил и пришёл к логическому выводу: ежели умирать, так лучше умереть от шести пирожков, нежели от двух, и доел остальные. Самое интересное, что у него мгновенно перестал болеть живот, и повеселевший Крылов отправился в клуб – обедать.

Французский король ЛЮДОВИК XIV тоже не страдал отсутствием аппетита. За один присест он мог слопать 4 тарелки супа, целого фазана, куропатку, блюдо салата, два куска ветчины, овощи и на десерт варенье.

АЛЕКСАНДР ДЮМА за обедом поглощал невероятное количество икры, рыбы, добавлял несколько жареных куропаток, шесть видов овощей и закусывал огромным куском сыра.

Композитор БРАМС любил простые народные кушанья. Каждый вечер он ходил в одну и ту же таверну, съедал несколько тарелок тушёной кислой капусты со свиными ножками и колбасой и запивал ужин тремя громадными кружками пива.

ГЕНДЕЛЬ однажды, прощаясь с друзьями, сказал, что идёт на ужин. Те спросили: «Надеемся, в приятном обществе?» – «Разумеется. Я и индюк.» – «Как, ты справишься с целым индюком в одиночку?» – «Почему же в одиночку? С картофелем, с овощами, с десертом!»

Интересно: откуда взялось словосочетание «слуховое окно»? Из крепостной архитектуры дозорных башен?

А журнал мой переполняется слухами, сплетнями. С одной стороны, – коллекция мусора. А с другой? «Чердак», в смысле головы. И – совершенно современное изумительное: «крыша поехала»... Прелестная метафора!

Английский физик РЕЗЕРФОРД говорил, что все науки можно разделить на две главные: на физику и коллекционирование марок.

Страстными филателистами были ЭНРИКО КАРУЗО, АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН и, по слухам, ныне здравствующий ДМИТРИЙ КАБАЛЕВСКИЙ. ИВАН ПАВЛОВ, гений физиологии, кроме марок, собирал ещё бабочек и картины русских художников.

Целые картинные галереи составили ТРЕТЬЯКОВ, ЩУКИН, МОРОЗОВ, СЕМЁНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ, АРМАНД ХАММЕР и вице-президент администрации Форда НЕЛЬСОН РОКФЕЛЛЕР.

ПЕТРАРКА коллекционировал римские монеты. Нумизматами были император МАКСИМИЛИАН I, короли ГЕНРИХ IV и ЛЮДОВИК XIV, ПЁТР I собирал и монеты, и медали, и всякие редкие диковинки.

Голландская королева ВИЛЬГЕЛЬМИНА увлекалась спичечными этикетками, французский король КАРЛ IX – часами. ПАВЕЛ I, НАПОЛЕОН и ГЕРБЕРТ УЭЛЛIS коллекционировали оловянных солдатиков, а НИКОЛАЙ I – подковы.

С детства ЧАРЛЗ ДАРВИН собирал раковины, минералы, а геохимик и минералог АЛЕКСАНДР ФЕРСМАН первый интересный камушек положил в коробочку шестилетним ребёнком.

У ГЁТЕ и австрийского канцлера МЕТТЕРНИХА были колоссальные коллекции автографов. Художник ВЕРЕЩАГИН собирал оружие и предметы быта Средней Азии; купец БАХРУШИН – всё связанное с

театром, а историк и издатель МИХАИЛ ПОГОДИН – всё, имеющее отношение к русской старине: 50 шкафов в его доме были заполнены рукописями, монетами, иконами, лубочными картинками; говорят, что в его коллекции имелись и сомнительные экспонаты; так, язвительный поэт Щербина писал, что Погодин «неусыпно стережёт в вертепе своего древлехранилища ветхие голенища Ярослава и портки Святослава Окаянного».

Но Погодина превзошёл его современник СЕЛУКАДЗЕВ. У него были в коллекции: толстая палка – посох Ивана Грозного, обломок камня, на котором сидел Дмитрий Донской после Куликовской битвы и статуэтки Вольтера и Руссо: Селукадзев искренне полагал, что это Ломоносов и Державин.

Египетский король ФАРУК коллекционировал автомашины, причём только «роллс-ройсы» красного цвета. В коллекции миллионера ФОРБСА было 68 мотоциклов, из них любимым был красно-золотой «Харлей-Дэвидсон». ГЕНРИ ФОРД-старший собирал бутылки из-под джина. РОТШИЛЬД составил чудную коллекцию блох: 60 тысяч экземпляров, а советский паразитолог СКРЯБИН – коллекцию гельминтов.

ГЮСТАВ ФЛОБЕР собирал и записывал писательские глупости. У Бальзака он нашёл такую строчку: «Я не вижу этого ясно, – сказал старый слепец». У Дюма-отца: «Ах-ах! – сказал дон Мануэль по-португальски». У Доде: «Четыре тысячи босых и размахивающих руками арабов бежали за верблюдом, как дураки, сверкая на солнце шестьюстами тысяч зубов», – в среднем по 150 на брата. Правда, и сам ФЛОБЕР оплошал, заставив героя «Мадам Бовари» отсчитать 75 франков только двухфранковыми монетами...

И ничего удивительного не было бы в том, если бы Свифта засадили в Бедлам! Его современника Томаса Уолстона за шесть прочитанных им публичных лекций, объяснявших евангельские чудеса с точки зрения науки, власть объявила безумцем и заперла в тюрьму, где вольнодумец и умер. Присовокупим к английскому XVIII веку российский XIX век, с известным конфликтом Чаадаев–Николай Первый и стихами Пушкина: «Да вот беда: сойдёшь с ума, И страшен будешь, как чума, Как раз тебя запрут».

Счастливым случай! Обнаруживаю в совершенно пустяшной книге свёрнутую пополам пачечку папиросной бумаги с бледнейшим машинописным текстом... А я-то в своё время искал, куда спрятал ходившую одно время по московским кухням и добредшую до провинции статью некоего Л.Т. о «безумии» доктора Свифта. Она! Какие эзопические аллюзии закручивались вокруг темы «больного мизантропа и человеконенавистника»! Какие намёки и реплики «в сторону» на театральные манер! Дело прошлое... дело настоящее... авгуры многозна-

чительно держали паузу... крыша поехала, время пошло, день отъезда – день приезда, счастливо оставаться... каша хлёбаная!

А доктор Свифт, между тем, предупреждал (в статье «Свободное мышление») авгуров всех времён и народов, пытавшихся и пытающихся разобраться в самом понятии «здоровый ум», к которому апеллируют все, кому ни лень. Здоровые умом люди, по мнению Свифта, есть абсурд, ибо мыслящий человек всегда безумен, правда, с одной поправочкой: «Разница между умалишённым и так называемым нормальным человеком состоит вот в чём. Умалишённый говорит обо всём, что пришло ему на ум, и так несвязно, как диктует ему его воображение. Человек здравого ума выражает подобные мысли только тогда, когда хочет этого, избегая выражать всё то, что выражать не желает. Поэтому, если самый мудрый мудрец захотел бы высказаться, не контролируя мысли, давая им свободу быть выраженными в том виде, в каком пришли они в его голову, мы вправе были бы засадить мудреца в сумасшедший дом». Нашёлся-таки один умный мудрец, соотечественник Свифта, писатель Гилберт Кит Честертон (романы «Наполеон из Ноттингхилла» и «Человек, который был Четвергом»), откликнувшийся: «Нельзя говорить, что мы все – сумасшедшие; но все мы не совсем нормальные точно так же, как все мы не совсем здоровые. Если бы среди нас появился абсолютно нормальный человек, его бы тут же упекли в сумасшедший дом. Многих из великих пророков считали безумными, на самом же деле, может быть, из них была ключом потрясающая, хотя и бессильная, нормальность». Кстати сказать, этот Кит ещё и стихи замечательные писал. Между кончинами Пушкина и Честертонна – век, без году неделя, по большому счёту... «Не дай мне бог сойти с ума...» Сон разума рождает...

Кто знает, что рождает сон?

КАРЛ ВЕЛИКИЙ, император Римской империи, спал плохо, просыпаясь за ночь по четыре раза. Поэтому у него была привычка дремать после обеда в течение трёх часов.

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ спал по 15 минут каждые 4 часа, что в общей сумме составляло всего полтора часа в сутки. Чистый результат такого сна – 6 дополнительных рабочих часов ежедневно. Если художник и учёный следовал такому режиму всю жизнь, то, значит, это добавило 20 продуктивных лет к его жизни, длившейся 67 лет.

НАПОЛЕОН спал по четыре часа. Однако современники сообщали, что он часто бывал уставшим и жаловался на недостаток сна. Некоторые историки полагают, что порой он даже принимал ошибочные решения из-за постоянного недосыпания.

ЭДИСОН, хотя и спал всего четыре часа за ночь, «добирал» сон в течение дня, укладываясь в постель дважды по три часа.

И, конечно же, знаменитые «совы»... Что происходит с ними ночью, когда они дневалют, и днём, когда они ночуют?

Вижу недавно: блуждаю в лабиринтах Ново-Афонских пещер (давно уж был в Абхазии в санатории), отстал от туристической группы, страшновато одному, где вход-выход непонятно, только хорошо знаю, что путь мой во мраке – длинный-предлинный, прямо и прямо, но эта прямота кривая, извилистая, петляет... и вдруг сбоку, слева – светлая расщелина в базальтовом массиве, вертикаль, узкая и глубокая для глаза, долгая скважина, сквозная трещина в горе, в каменном своде... – гляжу в ту щелину: по ту сторону, снаружи, по крутому склону цепочкой спускаются люди, мои знакомые туристы, только что был с ними, вместе уходили в пещеры, а вот уже они и снаружи, а я внутри, как под колпаком, и через щель не окликнуть их, звук не доходит, глушится, и рукой не дотянуться, я их вижу, они меня нет, вижу сейчас, сию минуту, но я в одном мире, они в другом, и чтобы присоединиться к ним, надо мне долго идти, и встречу я с ними очень даже нескоро, может быть, даже никогда... Жуткое ощущение разности времени и пространства, и многомерности сосуществования, на границе, в пограничье, а вместо столба на том пограничье торчит вообще нечто странное, с диалектическим материализмом несовместимое: посреди сновидения – ещё одно сновидение: некто мутный, расплывчатый, серый в белых одеждах... Ах, если бы между мной и видениями был кто-то всемогущий и всезнающий, пусть даже и бог! Но бога нет. Есть этот призрачный некто в белых одеждах (не доктор же!), да и то не всегда, а в смутные мгновения, когда страшно хочется ощутить своё присутствие при сути, при «есть», здесь и сейчас...

.....

Ах, если бы между Архимедиком и его видениями действительно был Некто в белых одеждах! Но нет этого Некты. Есть белый халат на вешалке. И есть Сочинитель, не написавший даже одной странички, пощипывающий, листик за листиком, мистический веночек советов от «от» до «до», и роман-ромашка грезится ему, когда жутко захочется ощутить своё присутствие...

Когда захочется ощутить своё присутствие – без суетливости, без суесловия, без заводной пружинки, без гражданской войны, в которой две, молочной спелости, мыслишки в одной голове сходятся на абордаж и воют воинственно, и воют на поражение – до изнеможения, и уже ни одна из них не в состоянии плодородно раскинуть мозгами и сообразить: за что воюем? кто за что? и, наконец, за что боролись и где же, всё-таки, вечно живёт и да здравствует то, благодаря чему и несмотря ни на что...

когда захочется мира – без угрозы гроз, без отравы трав, без оскала скал, без утрат утра... без стрекочущего барабанчика «русской рулет-

ки», без русского подданства в 500 г на душу и более, желательно – в одну посудину, в ковшичек какой-нибудь, попросторней...

когда захочется мира простодушного, без хмурости, без всех и всяческих измов, измыывающихся над природою и её человеком, над человеком в натуре; без всех и всяческих измов, изламывающих, как кувшин компрачикосов изламывает, косточки жизни и суть вещей...

когда захочется мира – без повальных очередей, без всемогущего кучера, без ваучеров, без вечеров на хуторе близ Таганки, Лубянки... Бутырки и Кресты, Лефортово и Матросская Тишина – как сама история Отечества, бредущая по ночному городу – устало и вопрошающе: ну что, падло, будем признаваться или будем запираяться?.. О, эти прелестные наводящие вопросы! Какие тут матросы отплясывают в прицельном «яблочке», которому уже и упасть некуда? Какая тишина? Какие бабочки сачкуют на тех призрачных хуторах? Какие пасторали высвистывают тамошние постарелые пастухи и пастушки вкупе с соловьями-трелёвщиками?.. Слушай, слу-у-шай, караульщик молоденький, здесь и кара твоя, и карма махровая, и махорочка в кармане, всё туточки: Соловки, Соловки, не тревожьте солдат... Соло соловецкое. Танго таганское...

когда, – говорю себе, – захочется жить просто, а именно: просто жить, раз и навсегда, безвозмездно, без мундиров и ряс, без потрясений – но по шкале Рихтера Святославного... и чтоб стреляли только сигареты, пожилое вино и глаза женщин до шестнадцати и старше, до и после полуночи... и чтоб у тебя всё было и ничего тебе за это не было...

эх, босяк! вот когда этак приспичит – запально, с огоньком, искренне, до рвоты воротника, с треском, чтоб пуговики, испуганно попискивая, отскакивали от рубахи не перламутром, но автогенными брызгами... – вот тогда, паря, не побрезгуй взять себя в руки и утопи все свои печати, свои уставы и монастыри, свои цепи и тернии терпения, свою тоску, эту змеюку самосущую, самососущую, скудельницу-препаскудницу, скулёжную и скупую до той самой невозможности, за которой начинается полёт на размашистых крыльях.

Потом надо вздохнуть воздухом воздаяния.

Потом – привстать на цыпочках: аз воздам или не аз?

Потом – одно из двух: либо удавиться, либо удивиться.

Потом – потомки отчеканят: человек безнадёжный – уже свободный человек, и именно поэтому он выбирает последнее, исцеляющее удивление.

И – воспаряет...

– Лечу-у-у!

Кружится голова от высоты положения. Всё кружится. Это нормально. Сладостно и почётно. Весело и тревожно. Кара Икара – чешуя недоверия, оцинковывающего душу, – сыпью золотушной, изболевшейся шелухой рассеивается, и солнечный ветер, ветер-ветеран, уно-

сит её туда, где ей привычнее располагаться: там застыли в позе социалистической задумчивости парижский рододендрон и его забайкальский родственник, багульник, а между ними – свет, тот и этот, и два конца вожделенного туннеля, доступного лишь немногим: юродивым от природы да гениям, от Родена до Родченко...

Там всего на всех хватает – и за руку, и за душу: старуха с косой – косой в дупель – дупель пусто – пусто место, которое не бывает свято, потому что – ведь сказано же! – местов нету и не будет до конца вон того квартала... А порядок будет ли? Порядок будет. Порядок уже присутствует. Всё и все по кучкам, могучим и не очень чтобы: пуговицы, редиска, пули, пирамиды, детишки, композиторы... Кучкудук всеохватный. Город голубиный Воркута. Свой режим. Свой расчисленный ход. Один код. Миллиарды языков. Две ауры – «Авроры» и «Изауры» – лениво перепираются: кто из них самее? – и элегантно поплёвывают в единственную на двоих коммунальную кастрюльку с супом...

А ты, паря, – над. Паришь – между небом и землёй, на которой толкуются и всё никак не сталкиваются – и леса твои, вековые, строительные... и поля енисейские, и сени новые, кленовые, решетчатые... и бывший Елисеевский амбар в центре Золотой Орды – помнишь? – грустный, опустошённый, эхоющий, и эхающие закрома родины, где серыми мышками шуршат мемории о былых купецких, *entre nous*, всевозможностях... Ах, дунем-сплюнем через лево плечико! Сплыло былое. Когда оно было? Да и было ли? Зато там же, в пустынном Елисеевском – помнишь, паря? – совсем недавно, позавчера, родина щедро поила тебя берёзовым соком, берёзовым соком в трёхлитровом розливе, рупь с мелочью за баллон, запечатанный ржой ещё, наверное, со времён нэпа...

Высока твоя колокольня, паря! Никакой плевков до тебя не долетит и от тебя не приземлится – держи пари! А ты паришь – как парок над пирогом «с молитвою», как молитва над пороком, как порог над болью и прощанием, как прощение над изменой, как знамение над пращой... как парусит сама утренняя земля под неукротимым натиском парочки любопытных жизнерадостных подосиновиков, краснеющих от собственной дерзости, точно молодой Кюхельбекер...

– Лечу-у-у...

Вижу пространство престранное, где всегда кто-то за кого-то молится: ветер – за деревья, волна – за песочек, я – за тебя...

Вон кашляет тракторишка, блудный сын российского агропромаха, потерянный в степи, простудившийся, ему бы – самую малость, всего несколько тысяч капель солярки для внутреннего употребления, да ещё бы человечка понятливого и нежного к болящим железам – вот и отошёл бы тракторишка в мир иной, в мир работающий, чумазый, потненький...

Всё и всех вижу. Во саду-ли Тюильри, в огороде-городе, нет разницы, где именно дышит моя странная страна Австралия. Под кайфом,

под Хайфой, под Хайфоном... В логове логоса. На два голоса. Без налогов и аналогов, без наложниц и без границ. Что за ересь, эта граница? Вздор. В чётко очерченных границах всё равно очень похоже говорят, от хайлания фюрерам до «хай живе радянська ненько». Там и сям есть и есть хотят свои списанные пилоты и исписавшиеся сочинители. Там и сям – голубые вечерние благовесты и ежедневная блажь есть ложь. Там и сям стильные бараки – чуть-чуть барокко, чуть-чуть бардак; чуть-чуть от русича Коровина, чуть-чуть от галла Коро, а между ними – ров и вина... Утверждают: искусство начинается там, где появляется это самое «чуть-чуть». И тут нет предмета для спора, даже для постановки на-попа вопроса: у кого же этакая изумлённая идея возникла раньше? у Коро или у Коровина? у Дали или у Даля? у Рублёва или у Рубенса? у Христа или у Христа за пазухой? у меня или у Меня, топором убиенного протоиерея? Такие вопросы не изобретаются, такие идеи не возникают, они поставлены Творцом в надежде на их признание и почитание без доказательств. Но по-русски «чуть-чуть» не считается.

– Лечу-у-у...

Чуть-чуть чукча, чуть-чуть француз... Паришь. Точно Париж над Сеной, над Булонским лесом, над Елисейскими полями – в час «между волком и собакой», в час сумеречный, в час зыбкий, зябкий, в час неверный и неровный, нервно вздрагивающий, отражённый, поёживающийся в лужах и зеркалах; то ли туманный час, то ли с дождичком в четверг, то ли просто насыщенный вздохами мирового океана, когда фонари в сырой пелене, в серой пелеринке своей едва способны обозначить самих себя жёлтым и пушистым. Опять эти фонари. Их сиятельность, их светлости, их преосвященства... Да только не фонари это. Лица в тумане. Родина Родена...

Вот и думается: Сызрань. Ибо: Сызрань – это даже не город. Это настроение. Это – раннее утро, и речка комкает твоё отражение, морщинит его, разглаживает, и верный пёс Гафт или Брехт колобродит неотступно. Это – островок святости в ризах ригоризма островного рая, проверенный островок, испытанный, как намоленная икона. Ветер, прилетевший от норда, листаёт деревья, сдувает свет и звуки, и так хорошо в лесу, что плакать хочется. Книжка шелестит, отвечая деревьям по-родственному. А на пенёчке сидит знакомый леший по имени Лёша.

– Бонжур, Лёша.

– Аналогично, месье.

– Почто грустный такой?

– В партию не приняли. А нам без нагану нынче никак невозможно ...

А ещё птицы кружатся. Как раз в том самом месте, на той высоте, где когда-то возносился храмовый крест, знак положительный, знак сложения земли и неба. Давно уж нет того храма, люди и помнить-то о

нём позабыли. Но у птиц память крепкая. Вот и тянутся косяками из далёкого далека, оттуда, где тепло и сытно, – сюда, где Мёня поменее, боли поболее, большевики против меньшевиков, протоиереи против протоплазмы великопостной, в постскриптуме – топор, а лица – как фонари в тумане, и наваждение вождей вожделенных, и голодуха духа, и упокой, упакованный в сени решетчатые, и моря немеряные, и опять двадцать пять: то пядь земли, то пять рублей, кои попеременно занимают друг у друга гениальные виршители... о! эти виршители: похитители велосипедов, повелители мух, раздатчики слонов, укротители вермишели, счетоводы осенних цыплят, горячечные рты, разбитые корыта, бока бокалов, пенные рифы рифм... виршители, одним словом: Толя Коба, Сашка Высокольниковский, Боб Охрипкин, Феликс Хворобушкин... да вон ещё парни бравенькие, наполовину орлы, наполовину орнитологи, утречком проморгались, глядь – в морге прохлаждаются: ой, мамочки, креста на нас нету, на бухариках... Вьются птицы с криком в круге недоуменном: был же ведь, был крест! и не совестно ли ему, кресту положения, с небесными странниками в прятушки играть?

– Лечу-у-у! – кричу.

И ничего мне не будет за это самоуправство. Скажу: приснилось мне, что однажды приснилось, будто бы вижу сон, в котором надела меня судьба силою необычайной, даром высоким, таким высоким, что, как у Александра Сергеевича, «младые дни мои неслись», но вот только это у Пушкина они неслись, как у Пушкина, а у меня – как куры-рекордистки: что ни день, то и ЧеПэ...

Вот такая она и есть – Сызрань. Так рано, что уже поздно. Вечерний звон, вечерний звон. Как много дум... Это не колокола звучат. Это посуду уже бьют в кабаке с одноимённым названием. В Тулузе. В Тулузе. На Брайтон-Бич. Наши бичи с братанами на ихнем брайтоне. Художник Мошкин живописует чёрные улицы розовым алиготэ и троянскими горячечными белилами с зелёною чертовщинкой...

Шевелятся ночные города, точно вшивые шубы, трещат по магнитно-магистральным швам, и потрескивают лилипутскими салютами мошки-самосожженцы, порхающий порох, конус припорошенного света... Сызрань, плавно переливающаяся в мир отрицаний, в мир вычитания, в полный и окончательный Минусинск, заминированный на все лады минутами, менуэтами, минервами в мини, министерствами, минаретами... А под минаретами – бедуины с автоматами конструкции Михал Тимофеича Калашникова, дай ему Аллах здоровычка, бедуины ведь понимают, у бедуинов собственная гордость, они и праздники-то отмечают только свои, особенные: Пасху да День танкиста, широко гуляют, от моря до моря – и каждое по колено, от волжской Самары до персидской Самарры празднуют бедуины, сидят на корточках, пьют медицинский спирт с глюкозой, салом закусывают и считаются, точно малые ребята, кому нынче в ночном дозоре голить выпадет: аты-баты,

шли солдаты... Мимо. Медресе. Мерседесы. Лимузины. Магазины. Муэдзины. Муллы. Мулы. Скотобойня имени Первого Съезда. Deus ex machina. Бог в машине. В чалме. В кепке. В папахе. В шляпе. В ярости. В тюбетейке. В отчаянии. И кобра посреди песков торчит подобием водопроводной колонки. Вороны над воронками. Женщина на пепелище прикладывает сосцы к губам резиновой Барби и палец остерегающий к своим губам прижимает: тише, тише, мальчик мой засыпает... Бомбардировщики не слушаются. У бомбардировщиков собственная гордость.

Ну, что? Разве ж не поголовные бедуины вы, земляки? Когда у вас впереди беда, да позади беда, да по бокам беда с победушками, с великими и малыми, но равно всемирно историческими... Уж хвалились-то, хвалились! Есть такая партия! Есть женщины в русских селеньях! Есть на Волге утёс! Есть ещё порох в пороховницах! Да много ещё чего есть. Есть упоение в бою... Есть речи – значенье темно и ничтожно... Есть от чего в отчаянье прийти... Есть ещё судьи в Берлине... Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам... Так отчего же вы, бедуины-миллиончики, повисли у судьбы на волоске, подобно грошовому авторитету цирюльника? Висите – и рифмуете генацвале с геноцидом. А за спинами вашими иерусалимская Стена Плача стенает уже сама по себе – на всех пространствах невообразимейшей Вообразилии: от Оттоманской Порты до какой-нибудь атаманской портомойни где-нибудь в устье невеликой реки-старицы...

– Лечу-у-у!

Всех вижу. Всем должен. По капле коплю такое вот состояние – состояние долга, чтобы его на всё и на всех хватило: на ландыши, на ладан, на хрустящее ландо, на ладони, обожжённые обожанием... Вон они: стоят, точно рюмочки нерасплесканные, точно рукоплескания, переходящие из кухни в спальню. Валя-валюта. Лиза, медная Лиза. Настя или ненастье. Веста или невеста. Сладкая панночка Сахаржевская. Рита со стрита. Ира из ОВИРа. Анна Анатольевна Анненкова. И другая Рита... эх, ритуальная ты моя женщина, тебе бы, дуре, веночки вязать в спецбюро добрых услуг, а ты вон чего удумала: в нардепы подалась, со словом связалась – со Словом горячим и нервным, как Речь Посполита, как речка с гор, как первая любовь и последняя сволочь...

– Лечу-у-у!

Вон, вижу, живёт и светится – то ли карнавальная самба в Кубэ, то ли Оля Кабо, прелестная кинодева, дива-ню, диванная партия, российская секс-звезда с евразийским свечением... Когда одно лишь слово «корсаж» невольно наводит мужское население на пиратские намерения, то чего уж тут лукавить-то с Кабо: торчат мужики, точно надолбы («Надо бы!»), и, как нэп, всерьёз, надолго и обмануто: ах, кабы не... А Кабо? Она ничего. Ничего себе и себе ничего. Девчонка с именем из серебряной фольги, лёгкая, грациозная и серьёзная в своей

наготе, словно шутка солирующей флейты Баха. Ногинск и Нагоя ещё поспорят за право называться её яслями... А между тем, в Кобэ, в японском побратиме божественно-готической Риги, улицы ещё бурлят, самба стекает от зелёных подножий Рокко к морю и впадает в мировой океан, чтобы, спустя нужное время, превратиться в туман над Парижем. Что тут скажешь? Ничего не скажешь. Ибо уже сказано: «Кудой в Одессе ни пойдёшь, тудой и выйдешь прямо к морю!»

– Лечу-у-у...

Вон кто-то стоит, и губы у него дрожат. То ли Толя Коба, то ли Кобо Абэ... Чуть-чуть еврейство, чуть-чуть японщина, получается очень по-русски: человек без контура – мечта импрессионизма – посреди среды на авось поставленный, как голос, как божественное бельканто. Не говори: Сезанн, откройся! Человек без контура, человек безграничный, человек вообще – он сам скажет, ежели он и взаправду бельканто: «Когда у меня губы дрожат, это не так уж и убийственно, поверьте мне, это даже в природе вещей, когда губы дрожат, потому что они помнят больше и верней, чем серое вещество мозга, они помнят реликтовый трепет голой правды, они наизусть помнят мамкин подарок в первый же день рождения – титьку с бантиком и капелькой молока, а потом и последующие, волчицины, сосцы социума...»

– Люди, – кричу, – ужель не верите, что я лечу?

Тишина безответна.

Никто не хочет лечиться. Ни молчаливые Барби, ни говорливые Горби.

Лишь некто в белых одеждах роняет пёрышко:

– Врачу, исцелился сам, не глаголая всуе: приидите все страждущие и исцелю вас.

И аз многогрешный с тихим благодарением принимаю сей приговор.

Никто же и ничто не спасает от святотатственного верхоглядства, когда захочется ощутить своё присутствие... Когда?

.....

Вот и докатились! Нежно постучав в дверь, вошёл голубчик Несчастлифшиц и спрашивает: «Что у вас болит, доктор? На что жалуетесь?»

Обалдеть можно от такой наглости. Молчу, как воды в рот набрал. Голубчик из графина наливает стакан, подносит и говорит с участием: «Полезно. Проверено. Писатель Диккенс, написав каждые пятьдесят страниц, выпивал стакан воды». – «Горячей!» – уточняю я. Несчастлифшиц грустно так улыбается: «Жизнь, однако, ушла вперёд». Я говорю: «Это хорошо, что вы это понимаете». Он говорит: «Я понимаю, что жизнь ушла вперёд, но – куда? – я вас спрашиваю»...

Из бесед с Несчастлифшицем.

Скрипач ведь! И музыкальный инструмент у него – тоска по пропитой скрипке. Как выражался Маяковский, скрипка и немножко нервно.

БРАМС очень часто, даже без надобности, чистил обувь свою; он утверждал, что именно в эти минуты рождаются его лучшие мелодии.

МЕЙЕРБЕР садился в поезд и ехал куда глаза глядят, потому что в поезде ему легче было создавать музыку.

ЛИСТ после каждого законченного опуса чувствовал себя физически больным.

БЕТХОВЕН верил, что бритьё лишает его творческой удачи, поэтому подолгу ходил небритым.

Я говорю: яма. Несчастлифшиц говорит: гора. И рассказывает про «Яму» Куприна. Повесть о публичном доме. Повесть, пропитанная музыкой. И романс Даргомыжского, исполненный артисткой, надломил блядскую душу гордой Женьки, не потерявшую, оказывается, ни толочки любви. А любовь к человеку за праздничным столом ещё ничего не значит. Она проверяется многим, в том числе и временем. А времени у нас в обрез. «Мне, – говорит Несчастлифшиц, – интересно: что такое 120 шагов в минуту в смысле темпа военного марша? Всё думаю, думаю, и образуется плохой сон с корявыми сновидениями».

Я прикидываю: артериальное давление? Нормальное систолическое АД = 120 mmHg. Pulse/min = 60–86 (в спокойном состоянии), но при эмоц. и физич. возбуждении pulse/min 120 – в пределах нормы.. Вона как! Но почему именно в российских военных маршах – такие минорные ноты, такая грусть и тоска?

LXXIV

– Долой грусть-тоску, господа партийцы! Наступают весёленькие времена. И я рад сообщить вам пренеприятнейшее известие: к вам едет ревизор. Не простой ревизор, не какой-нибудь фуфлыжник, шелупонь и оглоед. Нет! Член Центральной Ревизионной Комиссии Центрального Комитета Коммунистической Партии Всего Советского Союза! Подмывайте жопу, господа патриции. Аминь.

И так вот – каждый вечер... Трубный глас возносился в чернильных сумерках над Серым Домом, распугивая пернатых, устраивавшихся на ночлег в уютных застрехах под крышею; внося понятное смятение в серо-малиновые ряды дежурных милицейских постов; напрягая понятную озабоченность в мускулистых глазах и ушах парней из ведомства генерала Поцелуйко; тревожа мистическим недоумением главных лиц Хибаровского крайкома: товарищей Сытникова и Краснопресненского-Крестовоздвиженского, бдевших на рабочих местах до позднего времени.

Три вечера подряд, буква в букву, с революционным «долой», с

ненормативно-вульгарной «жопой» и антисоветским «амином», трубный глас волновал атмосферу над Серым Домом.

На четвёртый день приехал... Кто? На вид фуфлыжник, шелупонь и оглоед, ни представительности в нём, ни нахального столичного шарма, ровным счётом ничего, что изобличало бы в нём ответственного лица, солидного уполномоченного посланца грозного контролирующего органа. По документам же – референт лекторской группы Отдела пропаганды ЦК: в Хибаровске, оказывается, проездом (какая же, однако, наглость и маскировка, шитая белыми нитками!), отгулял отпуск на Дальнем Востоке, купался в гейзерах, фонтанчики такие, замечательное купание в тех горячих источниках термальной воды, и вот возвращается к месту московского проживания и партийной работы...

– Чистый душ ледяной на нашу голову! – говорил Кр-Кр персеку, докладывая о замаскированном госте. – А товарищи из центра даже не предупредили! Куда годится? Где наше партийное товарищество?

– Мёртвый душ, – отвечал Сытников. – По вашу душу, значить.

– И как же быть, если по душу?

– А ты будто и не знаешь! Погуляй с ним, познакомь с нашей идеологией...

– В полном объёме?

– В полном не надо. Частично и выборочно, в положительном плане. Будь при нём неотлучно. Поцелуйко к вам своих человечков представит. Расколется референт, куда ж денется. Мы-то таких референтов выдвали...

Не раскалывался референт. Вёл себя вызывающе скромно, не совал нос куда не следует, щекотливых вопросов не задавал, кушал умеренно и за свои деньги, спиртного не употреблял по недужной причине язвы двенадцатиперстной кишки. «Знаем мы, знаем эти так называемые язвы, – думал Кр-Кр, – и демонстративно умеренные кушанья знаем, небось, на сон грядущий жрёте под одеялом, добираете пропущенный аппетит... Ни к кому приехал, говорит. Сказки! Знаем мы, знаем этих ни к кому. Маленьким, говорит, был и в хибаровской школе один год учился... Все мы учились! А потом, говорит, не доучившись, с папой-мамой в Москву переехали! Знаем да, знаем, кто куда... Неужели взаправду мой зимний принципиальный сигнал о ночных пьянствах персека дошёл до самого верха? Может быть, до самого Генерально-го?..» Вокруг референта цокал Кр-Кр на высоких каблучках, а всё равно оставался почти по пояс непредставительному гостю. За полы пиджака дёргал, в глаза заглядывал:

– Вся надежда только на вас, на Центральную Ревизионную Комиссию. Вы для нас – как свет в конце туннеля.

– Помилуйте, какая ревизионная? – отмахивался референт. – Вы что, не знаете разве тех трибунальщиков в последней инстанции? Ну их! Страхи одни...

– А пусть страшатся партийного возмездия те разложившиеся и обуржуазившиеся товарищи, которые пьянствуют по ночам и личным примером препятствуют успешному выполнению указания ЦК по алкогольному вопросу! Какие там у вас мнения по данной проблеме, в уважаемой Центральной ревизионной? Что там говорят в этом свете конкретного и персонального?

– Упаси и помилуй, – пугался референт и вздымал руки, точно в плен сдавался.

«Артист!» – думал Краснопресненский-Крестовоздвиженский.

После суточного пребывания в объятиях крайкома референт попытался потихоньку уехать из Хибаровска, рано утром вышел на цыпочках из гостиничного номера... Сидят в коридоре, напротив двери, два товарища с газетками в руках, улыбаются: вам куда, дескать, уважаемый?..

В один из дней Кр-Кр возил референта по всему городу, памятники вождям показывал – на чёрной «Волге», впереди милиция сиреной и мигалкой обозначала экскурсию высокого гостя, позади катился пикапчик с еловыми венками, увитыми алыми лентами, а на лентах соответствующие надписи: такому-то – от Центральной Ревизионной Комиссии Центрального Комитета КПСС... Два крепких парня возлагали, референт страдал и поглаживал, распрямляя и прихорашивая, ленты, Кр-Кр от имени крайкома и от себя лично пантомимически выражал соболезнование и умоляюще заглядывал в референтовы глаза: колись, сука!

У памятника Серебряному Ленину Кр-Кр обратил внимание высокого гостя на постамент, на фасаде коего массивная плита буквально напоминала зрителю: здесь, товарищ, в потустороннем от лицевой стороны, пространстве, в пирамидальном мраке, в сакраментальной тишине покоится в ожидании светлых времён послание жителей нынешнего орденосного города жителям будущего города, может быть, даже дважды или сейчаснеизвестносколькожды орденосного, остановись, путник, и вздохни! Мемориальным шагом кремлёвских караульных солдат ступали вокруг Серебряного – гуськом, по часовой стрелке, равнение направо... И вдруг референт замер на месте, немо губами шевеля и пальцем показывая попеременно то на Ленина, то себе ниже пояса, то на собственный висок... Референт стоял на смотровом колышке, втоптанном в землю подошвами интуристов, откуда открывался для очевидца вид пикантный весьма.

Обрёл-таки дар речи референт.

– А ля аляповато, – сказал и лоб пощупал.

– Вы так лично думаете? – спросил Кр-Кр. – Или от имени Центральной Ревизионной Комиссии?

– Я уже не думаю, когда вижу.

– Да отчего же у вас такое аля-улю?

– Да вот от того, чего вижу.

– Да чего же такое вы видите?
– Да вот извольте сами посмотреть!
– Да уж не имею такой чести, чтобы смотреть поперёк такого высокого гостя!

– Да отчего же высокого?
– Да уж оттого, что сами знаете отчего!
– А чего я такое знаю?
– Да уж мы знаем, чего вы такое знаете, что мы не знаем! Смилуйтесь, батюшка! Подскажите! Раскройте нам глаза! Мнение Центральной Ревизионной Комиссии – нам всё равно что глас божий вопиющего в пустыне! Не дайте погибнуть...

– А пошли вы все на хрен, – сказал референт, покачиваясь, будто на палубе.

– Пошли, пошли! – заторопился Кр-Кр и потянул референта за карман пиджака.

Закругляя цикл, ещё раз остановились у памятной плиты на постаменте.

– Здесь наше всё! Наше прошлое, настоящее и привет светлому будущему! – произнёс потусторонним голосом Кр-Кр и связкой ключей постучал по плите.

И постамент глухо-гулко срезонировал:

– Кто там?

Ленин говорил внутренним голосом, и тот голос был писклявый, как у певца Преснякова, жаждущего водицы напитокся.

И в этом месте растекается печаль со скорбью: референт сошёл с ума.

И никто не догадался, что отнюдь не Ленин говорил. То был голос Бомбея.

Однако же до Бомбея нам ещё далеко...

Кроме того, между Бомбеем и Серебряным Лениным с пострадавшим референтом имелся еще и Ангел.

Порядок есть порядок.

Я познакомился с Ангелом давно, ещё в свои студенческие годы, на территории Хибаровской желдорстанции, в те времена объединявшей и пассажирскую станцию, и сортировочную с разгрузочными площадками и складскими пакгаузами. На «сортировке» я и подрабатывал, как многие студенты, на разгрузке вагонов, в основном, продовольственных рефрижераторов. Руки-ноги и спина до сих пор помнят и работу, и заработок и «чо почём».

Бочка с селёдкой укладывалась в параметры от 106 до 110 килограммов, округлённый центнер, и тот центнер надо было катать и штабелировать, 34 копейки за бочку, считай потом – чо почём. Сливочное масло или маргарин в двадцатикилограммных упаковочных коробках транспортировали на железных станционных тележках, 54

копейки за общую тонну. Мясо... Если говядина или свинина в тушах, так за обработанную тонну грузчику полагалось 1 рубль 4 копейки, и хорошо, когда те туши привозили из Монголии, с неободранной шкурой, а вот импортная свинина в полутушах из Венгрии и Польши, без никакой шкуры – туши свет, как говорили, сверху одно гольное сало, предмет скользкий, точно мыло, руками трудно ухватить, уделаешься до полной противности к мясу и самому себе и отмываешься с трудом, да ещё и рукавиц-верхонок не выдавали, самообеспечивались, кто как может... В пакгаузах заведённым порядком катилась внепланово своя собственная жизнь. Грузчики, они же «грузины», устанавливали свои правила, обычаи, нормы поведения. Там были свои вожди, идеологи и «силовики», по образу и подобию государственного устройства, но эти образы и подобиа пришли не от государства как такового, а через систему исправительно-трудовых учреждений, тюрьмы и лагеря, в которых малость пообтесались и зарекомендовали себя с наилучшей стороны. «Грузинские» вожди решали всё. Их общественными советами и наставлениями не пренебрегали даже штатные специалисты из хладокомбината. В недрах вечерних пакгаузов родилась и ушла в пищевую промышленность идея переплавки твёрдых сыров, на все сто процентов испорченных, в сырки плавленые. По личному предложению Ангела местный рыбзавод перерабатывал просроченную, насквозь протухшую рыбу, в рыбные котлеты и тефтели с рисом и специями, но сами «грузины» эти дешёвые, по пять копеек за банку, консервы в пищу не употребляли, брезговали. Пользовались деликатесами. Жарили шашлыки. И на вечерние «грузинские» пиршества всегда являлся Ангел, сопровождаемый учениками среднего школьного возраста.

Ангел был профессиональным карманным воров, щипачом-виртуозом, и из своих полсотни лет ровно половину провёл за решёткой. В ту пору он представлялся мне первым интеллигентом, возникшим в моей путаной жизни.

Одетый всегда «с иголочки», модный, чисто выбритый и пахнущий одеколоном, золотой зуб, начищенные штиблеты, коробки папирос «Казбек»... Музыкальные пальцы Ангела держали окурки обязательно пеплом вверх, и для непосвящённых в таинства ремесла это ровно ничего не значило, а знающие распознавали такое ритуальное курение с профессиональной точки зрения: Ангел лишних следов не оставляет и по-небрежности не засыпется.

У меня тоже были музыкальные пальцы. И Ангел учил меня прокатывать меж пальцев металлические шарики от детского бильярда, не упуская и не роняя ни одного.

– Учись, – говорил, – пока я живу. В жизни всё пригодится. А вор всегда должен быть умней фраера.

Я крутил шарики и интересовался интеллигентскими корнями происхождения Ангела.

– А вот соображай, – отвечал он. – Родился, крестился, учился.

Потом женился. На вдове! А мой отец после смерти матери моей и его жены женился на дочке той вдовы, на которой я женился, и у отца родился новый ребёнок, который стал мне внуком, но поскольку я сын своего отца, то, значит, тот новый ребёнок стал моим братом, а новая жена отца сделалась моей мачехой, и тогда получилось, что мать её – мне бабушка, а раз моя жена мне бабушка, то возникает диалектический вопрос: кто же я сам есть такой?

«Грузины» и ученики восхищённо глядели на Ангела. И тот добивал меня, тугодума, собственным ответом на собственный же вопрос:

– Выходит, что я сам себе дедушка. Так и живу.

Хлопать-то ушами я хлопал. Но кое-что выхлопал.

Ангел всерьёз занялся повышением квалификации смолоду, в городе Орле, в «крытке». За два года сидения в тюремной камере выучил немецкий язык, чтобы евреи в его присутствии на своём языке не разговаривали, языки-то похожи, а если и разговаривали бы, то их междусобойный трёп становился хорошо известным Ангелу.

Поначалу марку гонял по пустякам. Первую дурку разбил на базаре у ротозейной девчонки. Взял кошелёчек дерматиновый, девяносто рублей в нём, учителю Слепому хвастает, а тот берёт Ангела под ручку, ведёт к той ротозейной жертве, спрашивает ласково: девочка, а девочка, уж не ты ли потеряла свой дерматиновый кошелёчек? Девчонка ещё пуще в слёзы ударилась, видя свою пропажу: ой, дяденьки, век не забуду, спасибочко, у меня в этом кошелёчке вся жизнь текущая содержалась! Слепой тогда Ангелу внушил на всю воровскую жизнь: старушек и девчонок не обижай, совесть имей.

– Берём как-то хату директора плодовоцторга, – рассказывал Ангел. – Квартира богатая. В шкафу китель висит с погонами подполковника танковых войск, наград на нём немеряно, даже орден Ленина, это ж целых двадцать семь граммов благородного металла! Не позарились. Ложки золотые-серебряные аннулировали, ножи-вилки с дореволюционными вензелями, хрустали разные – а боевые награды пальцем не тронули: святое дело, Отечество человек защищал, кровь проливал. А то вот ещё случай: еду с мужиками в майдане, они подвыпили крепко, и я уж прикидывал, как их аккуратно и культурно обставить. Лежу на верхней полке, вроде сплю по внешнему виду, а мужики внизу газетный кроссворд разгадывают, занятие странноватенькое при водке, и застопорились мужики на французском физике, который начинается на букву Г. Аж стонут мужики! Жалко мне их стало. «Геккерель», – говорю, даже не оборачиваясь. Бог ты мой, как же они тут повскакали! С полки меня стащили, за столик посадили, водку наливают, колбасой угощают, масло на хлеб намазывают: ешь, не стесняйся, береги свой ум... Не тронул я их. Совесть звякнула в серебряный звоночек. А в смысле женщин можно сказать одно: много было. Но ни одной жены. Воровской закон запрещает такое обзаведение в жизни. Между прочим, именно на девушке я и спалился пер-

вый раз в своей профессии. Я тогда молодой был, красивый, и пятки выворачивал перед одной старшеклассницей. Имел к тому времени кой-какое золотишко, бабское барахлишко с камушками. И подарил девушке кольцо с камушком. И она с тем колечком на пальце в школу припёрлась... Нонсенс! Вся школа на дыбочки скакнула! Директор самолично мою глупенькую девушку в отделение милиции доставил за аморальность и мещанство. В милиции колечко покрутили, повертели – и тоже повскакали: в розыске бриллиантик, сколько-то каратов в нём нашли! В общем и целом, взяли меня, соколика. А я говорю: а зачем Ева как последняя сука первое яблоко стащила? значит, говорю, самому богу так было угодно, чтобы воры на свете были. А вот ещё был случай в смысле наличия воровской совести. В обувном магазине дамочка сумочку под попочку на табуретку положила, когда туфли примеряла. Наклонилась типа раком – и всё, и сумочка у меня в руках. Документы в дамочкин почтовый ящик спустил. Возле ящика меня и повязали. И после суда отправили меня, мальчишечку, в Кемеровскую область шахты для военных ракет рыть – вручную – а мне ж пальцы беречь надо, как музыканту! – на холоде и в лютый зной. Но про совесть никогда не забывал. Однажды зашёл в госучреждение, как солидный клиент. Ровным шагом захожу в кабинет главного бухгалтера... Никого! Пусто! Деньги из сумочки взял и шубу с вешалки – всё уложил в свой шикарный министерский портфель из крокодиловой кожи. На сейф с ключом наружу даже не смотрю. Вышел! Иду как фраер. А закон такой: откуда вышел, так туда не возвращайся. Я вернулся. За шапкой от той шубы. Повязали. Подстава была. Элементарная! Я на суде оказался в полном огорчении и недоумении: как же так, граждане? я же денег их сейфа ни копейки не взял! Судья спрашивает: почему? Я говорю: я взял личные вещи гражданки главного бухгалтера, а с государством я не связывался криминальным мотивом, государство я признаю и уважаю. Судья подковыривает: с принципами, значит? Я говорю: а вор всегда с принципами...

Отдельно Ангел пояснял, а я в тетрадочку записывал: марку гонять – красть в трамвае, по мелочишке; дурку разбить – раскрыть дамскую сумочку; обставить – обокрасть; майдан – поезд, а не площадь, как некоторые утверждают; палиться – попасться с поличным; выворачивать пятки – хвастаться...

Я в то время на филфаке с курсовой работой мучился. Тему о русском арго застолбил с трудом. Кафедральные доценты встретили мой интерес в штыки, с подозрением в нездоровом любопытстве. Потом неожиданно в конфликтную ситуацию вклинились органы внутренних дел, точнее – ихний куратор в нашем вузе: нам интересно, – сказал куратор, – поиметь такое научное исследование, мы такую студенческую работу приветствуем, используем в общих интересах и даже можем издать её в виде брошюрки под грифом «Для служебного пользования». Тему разрешили. За мной закрепилась кличка «Аргонавт». И я

старался, как мог, расписывая: чо почём и откуда, и зачем, и почему. «Шпана» – от немецкого «шпанен», что означает «следить, высматривать, наблюдать». «Шкет» – от английского «скаут». «Фраер» – опять же от немецкого «фрайе», то есть свобода...

– Нынешний воровской мир, – говорил Ангел, согревая в пальцах хрусталь с коньяком, – устроен и живёт по образу и подобию мира советского социализма. Между ними нет существенных противоречий. Два лагеря, два режима, две зоны с аналогичной структурой и системой управления очень хорошо понимают друг друга. В России это неистребимо.

– Воры и дураки, – прищуривался я, – дороги и пьяницы... На веки вечные, значит?

– Зачем же так сразу навеки? Да будь моя воля, я бы в два счёта этот квартет порушил!

– Интересно, каким же образом?

– Насчёт вора?

– Допустим.

– Для решения любой проблемы, юноша, нужен комплексный подход. Так нас учит коммунистическая партия, и мы с ней согласны. А с точки зрения фраеров, как прихлопнуть все четыре российские беды? Очень просто. Надо вору – кайло в руки, и пусть он, как дурак, махает, дороги строит, и после маханья никакая выпивка ему и в голову не придёт...

Годы промчались с той поры. Всё состарилось. Кроме Ангела.

Прошлым летом я встретился с ним на привокзальной площади. Что это за территория творчества – рассказывать не надо, все знают.

Ученики Ангела работали не покладая рук! Юрчайшие мальчишки с умытыми личиками прилежных пионеров-школьников.

Подходим к толпе: гогочет народ, матерится, веселится, о собственных карманах напрочь забыл. А в центре народного круга стоит детская колясочка. В ней лежит крошечный мальчик, сверху одеяльце на нём замусленное, байковая кофточка, вязаная шерстяная шапочка на головке. На вид мальчику годика два-три. Это ежели смотреть не пристальным глазом и чуток нетрезвым.

– Чьё дитё? – суетилась вокруг коляски какая-то активная бабёнка. – Как же колясочку так нахально можно бросать? Как бесхозный трактор, например!

От зевак сыпались советы.

– В милицию надо сдать, там разберутся...

– Сперва мамашу евою выловить надо! И проучить курву!

– А кто папироску дал мальцу, товарищи? Это ж полное изуверство приучать грудничка к куреву! Он же уже весь сморщенный!

– Соску ему надо! Где соска? У кого есть соска, товарищи?

Мальчишечка в коляске курил беломорину, манерно держа гильзу крошечными пальчиками и пуская дым кольцами – одно в другое,

другое в третье... Хлопотливая бабёнка пыталась отобрать папироску, мальчик уворачивался, толпу охватил дикий восторг, ученики Ангела работали вдохновенно.

– Пи-пи, – объявил мальчик, краснея морщинистым личиком.

– Ой, да ты ж мой бедненький, сиротушка! – засуетилась бабёнка, заворошила руками в одеяльце, причитая и разом матеря непутёвую мамашу, и вдруг завизжала нечеловеческим, по крайней мере, неженским голосом, визг набирал высоту, но предела не достиг, потому что бабёнка икнула и рухнула в обморок.

И новая волна соучастия в происходящем плеснулась от окружающего народа.

– Скорую!

– Милицию!

– Сфотографировать бы – да в ООН отправить...

– Давить таких мамаш надо, вот чего!

Ученички Ангела усердно отработывали уроки рукомесла.

Подскочившая вместо «скорой помощи» врачаха из вокзального медпункта нашатырным спиртом быстренько привела обморочную бабёнку в полуобморочное чувство, и та, открыв глаза, ничего сказать не могла, а только икала, икала, икала и пальцем указывала на детскую коляску. Врачиha наклонилась над ребёнком, и в лицо ей ударила мощная струя!.. И врачаха, подобно обыкновенной бабёнке, тоже заикала, да как-то так уж слишком нервозно, и попятилась, попятилась, да так задом и рассекла толпу и как-то так задумчиво удалилась в свой медпункт, икая, прикрывая рот ладошкой и оглядываясь.

Я продрался в первые ряды. Ангел придерживал меня за рукав, приложив палец к губам: помалкивай, дескать, и не вмешивайся не в своё дело.

Толпа колыхалась от восторга. Ученички работали.

А в колясочке возлежал ребёнок. Пол мужской. И не потому, что дитё папироской дымил, а потому что – пипка... Или как? Пип? Нет! Нечто научно-фантастическое, в треть метра! Да к тому же ещё и принаряженное куколкой: на головке беленький платочек повязан, глазки-бровки химическим карандашом обозначены, носик-ротик... девочка-дюймовочка, етит твою мать, сестрица Алёнушка!

Ангел сквозь зубы выругался:

– Пе-ре-бор-р-р... За хулиганство ответят...

Повёл бровью Ангел – и ученички мгновенно испарили коляску в неизвестном направлении.

Малышка-коротышка, лилипутик-бамбино по кличке Бомбей и несколько причастных к этому делу подстрекателей за самовольство, за циничную самодеятельность без согласования с руководством, то есть с Ангелом, а также за нецензурное мочеиспускание в лицо медперсонала государственного учреждения – были наказаны, при этом Бомбей был лишён положенных пяти процентов от общей выручки щипачей.

...После этого события годовой давности я не встречал ни Ангела, ни Бомбея. В узких кругах шастали слухи, что Ангел вроде бы в очередной раз спалился; что станционная врачиха до сих пор икает, как ненормальная; что коротышку Бомбея хотели приспособить к делу воры-домушники, в форточки закидывать, да ничего не вышло у воров, Бомбей, как предположили, смертельно обиделся на весь воровской мир за то пятипроцентное наказание и исчез, как в воду канул, что, в принципе, сделать ему было совсем нетрудно: мужичок-с-ноготок, от горшка два вершка, вся сила роста в пипку ушла.

Во всём мире только один человек догадался, кто именно трубным гласом пугает Серый Дом: Семён Семёнович Помиранцев.

Штрафная квитанция, вручённая Семёну Семёновичу в присутствии супруги в День Открытия Фонтана, произвела на него неизгладимое впечатление. На той бумажке русским языком обозначалось, что упомянутый С.С. Помиранцев занимался любовью к родине в общественном месте. Дата, подпись, печать.

Семёна Семёновича измучил вопрос: любовь к родине в общественном месте – секс это или не секс?

Он повадился ежевечерне, после рабочего дня, приходить на Площадь Падших Борцов, к фонтану, размеренно расхаживал от Золотого Ленина к Серебряному и воссоздавал в памяти обстановку весеннего народного гуляния по случаю запуска фонтанирования, и свою речь на открытии праздника вспоминал, и поведение окружающих товарищей, в том числе и супруги, а в особенности Семён Семёнович так, сяк и наперекосяк истолковывал приставание неизвестного молодого человека из всем известного ведомства: чего он добивался? на что намекал? с какой такой стати вообще губы растопыривал? и в чём, наконец, оштрафованная вина старого коммуниста и моряка-фронтовика?

У постамента Серебряного однажды стоял в задумчивости...

Дрогнула памятная доска на фронтоне, перекувыркнулась на одном винте, чёрная пустота открылась, и из неё выпрыгнула верёвочная лестничка, и по ней спустился наземь гномик, мужичок-с-ноготок, от горшка два вершка. Положил к подножию памятника бумажку, камушком придавил и обратным порядком убрался в чёрную дыру, и доска, руководимая изнутри, вернулась на прежнее место.

На бумажке печатными буквами было написано:

Призрак бродит комунизма
поминайте вы ево
можно даже как на кладбище
принести поить чево!!!
В!И! Ленин!

И ничему не удивился Семён Семёнович, кроме того, что удивился тому, что ничему не удивился.

И очень просто сделался поминальщиком, и приходил, и возлагал без оркестровки к подножию Серебряного поминальное угощение: хлебушек, варёное яичко, два-три сантиметра общедоступной колбасы, блюдечко поместил и гранёную стопку для наполнения водкой из дежурной чекушки, точнее, не наполнения, а этак граммчиков пятьдесят на троих – Ленину, призраку и лилипутскому человечку, остатнее сам выпивал с душевным расположением к теням прошлого, настоящего и будущего, закусывал, сидя на бетонной приступочке, и размышлял о трёх источниках и трёх составных частях своего положения в современном мире, посреди пятилетки качества.

И, опять же, ничего удивительного не было в том, что однажды Семён Семёнович носом к носу столкнулся с Бомбеем: ухватил двумя пальцами за воротник, извлёк из чёрной дыры, поставил на ножки и при этом подумал: вот бы таких индивидуумов в пехотную разведку, так нашей доблестной Красной Армии вообще цены не было бы!

Познакомились. Попривыкли к несоразмерности. Разговаривали о жизни, и вообще.

Бомбей выпивал водку, кушал поминальные кусочки и ножкой болтал.

Возраста своего он не помнил.

– А папу-маму? – спрашивал Помиранцев.

На что Бомбей отвечал хоть и тоненьким, но весьма уверенным, серьёзным и самостоятельным голосом:

– Вам посреди пятилетки качества будет трудно поверить, если я скажу вам, что целиком и полностью вышел из головы нездешнего писателя Свифта. Он меня придумал, сочинил и выпустил в белый свет. Поэтому он и есть мой мапа. Вы ж не верите?

– Ну, почему... Я уж перестал удивляться. Но есть, между прочим, закавыка насчёт писателя. Он ведь про Гулливера сочинение сочинил!

– А я и есть Гулливер.

– Не надо нагло врать, дорогой Бомбейчик. Гулливер был великаном!

– Неправда ваша, товарищ Помиранцев Семён Семёнович. Гулливер был нормальным человеком, обыкновенным. А великанство – понятие относительное...

Странное дело: Помиранцев вдруг представил перед собой краевого партийного руководителя товарища Краснопресненского-Крестовоздвиженского, будто бы это он, персональный, жуёт корочку, качает ножкой и наставляет... А Бомбей, между тем, мурлыкал, ровно котёночек.

Когда-то он, ещё до бомбейства, в сообществе чистопородных гномиков, ростом с напёрсток и даже меньше, проживал в картонно-деревянном макете высотного дома, в проектной мастерской архитектора Вавилова, младшего научного сотрудника из аналогичного института.

Сообщество населяло все шестьдесят этажей гигантского сооружения, высившегося от пола до потолка. Потом как-то так случилось у них: то ли война, то ли революция, то ли голодуха одолела, но результат оказался плачевным: гномики принялись пожирать свой собственный дом, квартиру за квартирой, этаж за этажом, картон на клею, деревянные плашки на гвоздиках – какое ж это пропитание? но гномикам хоть бы хны, жрали они, жрали и всё сожрали, сделались толстенькими и жирненькими, одни заступались за Чебурашку, другие – за Че Гевару, и стали их крысы утаскивать в свои подпольные организации на прожор, и остался Бомбей в одиночестве, покинул бывшее вавилонское столпотворение, выбрался в наружный мир, к человеческому народу – и очень удивился: в макете, среди гномиков, он, действительно, был Гулливером, а среди народных людей – карлик, и пошло у него в жизни всё наперекосяк, по закону единства и борьбы противоположностей, рост лилипутский, писька гулливерская, такая диалектика, хрен ей в задницу под самую печёнку...

– Слушай, дорогой мой товарищ Бом, – сказал однажды Семён Семёнович, – а не приходила ли тебе в голову нормальная идея выйти из нелегального положения? Чтобы, например, какой-нибудь паспорт заиметь или удостоверение личности, и на работу устроиться себе по росту и за хорошие деньги, в цирке, например, там из низкоросленьких сплываются целые коллективы, и женщины даже есть, такие, прямо куколочки... А?

– ... на! Такие фокусы не для меня, Семён Семёнович. Почём фунт изюму, почём фунт стерлингов... – ну его на хрен! Я не работал и работать не собираюсь. Я ненавижу слово «раб». А ваши сплочённые коллективы – совсем наоборот. Ваши сплочённые коллективы по радио поют так: «И где бы ни жил я, и что бы ни делал, пред родиной вечно в долгу!» Зачем мне такая родина, Семён Семёнович? Я никому ничего не должен. Даже – Свифту. А насчёт женщин ты правильно заметил, Семён Семёнович. Скучно без женщин и бесперспективно. Вот ты бы взял и привёл ко мне какую-нибудь аморальную бабёшку. Ведь такое добро и бабья благодать у меня зазря простаивает...

Помиранцев наотрез отказался сводничать, даже возмутился. Впрочем, на одну просьбу Бомбея откликнулся живо, с горячим энтузиазмом. Дело вот в чём. Бомбей, хоть и кушает, точно воробышек, если три-четыре дня не поклюёт чего-нибудь приблизительно съестного и, таким образом, окажется в голодном изнурении, то он вдруг ни с того ни с сего начинает говорить не своим голосом, тем более – о предметах потусторонних: о духовности, о направлениях русской словесности, о движении журнальной литературы, о преподавании всеобщей истории или – тихий же ужас! – о том, чем конкретно может быть жена для мужа в простом домашнем быту при нынешнем порядке вещей в России...

– Как будто кто-то вселился в меня, – жаловался Бомбей, – и моим языком пользуется самовольно и беспардонно, падла.

– В водосточную трубу тоже вселенец говорит? – спросил Помиранцев.

– Тоже, – вздохнул маленький человек. – Прямо беда. А недавно будто кто-то меня в бок тыркнул: сочини сочинение, сочини сочинение! Я и сочинил. Об архитектуре нынешнего времени. Хочешь, покажу.

– Очень, – воскликнул Семён Семёнович, – очень интересно! Прямо-таки актуально. Через несколько недель нагрянет красный День советского строителя. Что бу-у-дет! Давай, Бом, твои сочинённые бумажки. Я их знакомому редактору в газету отнесу.

Как и обещал, Семён Семёнович отнёс в редакцию «Огней коммунизма» затёрханную тетрадку с аккуратным текстом печатными буквами.

– Вы тут посмотрите, – сказал он главному редактору Гению Ивановичу Будьтакову, – может, где запятые... А я читал, мне понравилось. Конечно, не Лев Николаевич Толстой и не Гоголь Николай Васильевич. Но всё ж таки голос простого народа. Хорошо бы напечатать. Тем более – праздник. Тут и посвящение есть по моей просьбе: начальнику Краснознамённого ЖЭКа №25 товарищу Сперанскому и дружной бригаде слесарей-сантехников дома номер тринадцать-бис во главе меня.

Гений Иванович листнул одну страницу, другую... – ахнул, охнул, ухнул: вот это да! это же то самое, что нужно ко всенародному празднику, голос-то народа! где автор? кто автор? подать сюда автора?

– Автор, – ответил Помиранцев, – уже удалился за туманы и за запахи тайги, можно сказать, за тридевять земель. Был у нас проездом инкогнито. Со мной покалякал. Интересовался, между прочим, как тут у нас свобода слова развивается. Рукопись оставил. Короче, был Бомбей – и нет Бомбея. Уменьшительно-ласкательно значит Бом...

Жизнь, между тем, подвигалась своим чередом и выстраивала следующую цепочку: голубчик Изислав Несчастлившиц – доктор Штукарский – Семён Семёнович Помиранцев...

Бывший скрипач Изя тосковал о пропитой скрипке. Сочувствующие голубчики говорили ему: да брось, забудь, плюнь и вытри! чего ты в той средневековой пиликалке нашёл? пустая деревяшка, всего четыре струны, малолитражка, то ли дело, например, пианина! за этой пианиной – светлое будущее!..

Доктор Штукарский лечил тоску Несчастлившица, однако не знал, каким образом и с какой стороны к ней подступиться.

Семён Семёнович Помиранцев приносил передачи своим коллегам по бригаде и общим знакомым в Жёлтый Дом и добивался от доктора Штукарского честного и прямого ответа: как долго трудовые руки го-

сударства будут разлагаться на больничных койках в условиях информационной и безвинной блокады?

Штукарский вздыхал, руками разводил. А медсестра Софочка Бабореко, словно бы в ответ голубчикам, сочувствующим тоске Несчастливщица, однажды решительно высказалась о том, что, дескать, кто же знает, может быть, в светлом будущем Изиславова скрипка как раз и пригодится более, чем в нынешнее время, так сказать, спряталась до поры, отложенный спрос, но где и когда оно ещё будет-то, это светлое будущее, кто ж знает?..

– Я знаю, – сказал Семён Семёнович.

Вечером он пошёл на свидание с Бомбеем.

– Есть тут у меня на складе такое послание будущим поколениям, – сказал маленький человек. – В футлярчике. И нисколько не попорчено. Тут же у меня сухо. Тёплые трубы. У меня тут всего полным-полно, как у Али-бабы в пещере. Принести, что ли, для здоровья голубчика?

– Немедленно! Человек погибает! К тому же еврей! А еврей и скрипка – обоюдные вещи! Как бы обои по одной графе!

– Сделаю. А бабу мне приведёшь?

– Да как тебе не стыдно!

– Шутю, шутю...

Через полчаса Семён Семёнович держал в руках футляр со скрипкой и смычком.

И до утра не дотерпел Семён Семёнович, поздно ночью отправился в Жёлтый Дом, недалеко ведь, рукой подать, а может именно в ту ночь и нужно было Несчастливщица оживлять...

И был в ту ночь нечеловеческий вопль неожиданной встречи, а за ним и звук из окна Жёлтого Дома, печальный и жалующийся неизвестно кто-кому-зачем-ты-оставил-меня...

И молча слушали тот звук водосточные трубы Дома Серого.

Маленький человек одиночно плакал от полезности своего присутствия. Ладонь у него лилипутская и человеческая. Слеза у него человеческая и гулливерская. Огромное в малом.

Он сидел на толстенном томище в синем коленкором переплёте с золотым тиснением «Итоги народно-хозяйственной деятельности Хибаровского края в условиях периода развёрнутого строительства коммунизма». От толстых труб, проходивших в коллекторе под памятником вождю, истекало тепло. Горела свеча. Был мир. Был хлеб. Прямо как у кого-нибудь дома...

Дома и стены, говорят, помогают. Точно. О, если бы стены могли говорить! If these walls could talk! Пусть даже не языком «битлзов», молодой и блестящей четвёрки королевских жуков. Пусть – обыкновенным горлышком нежнейшей флейты из раннего, не израненного ещё горлопана-певца революции:

...на флейте водосточных труб...

В гранитном городе моей юности водосточные трубы содержались в образцовом порядке. Населённый пункт боролся за почётное звание города коммунистического быта.

И была ночь. И был я, отиравший стены дома под окнами во-злюбленной одноклассницы. «Белая спина» – это как раз про меня.

«Я здесь!» Так возглашать в тишине было бы невероятной глупостью. Да и кто услышал бы мой тогдашний застенчивый голос?

И тогда водосточные трубы служили мне рупором: их гармония вопреки предназначению устремлялась вверх, восходящим потоком, набирала мощь архангельских геликонов и резонировала над спящим кварталом с акцентом ацтеков. А слова были очень русские, простенькие, знаки препинания обозначались высокими звёздочками...

*Я помню чудное мгновенье,
Очаровательный урок,
И ради вашего спасенья
Был мак, как обморок, глубок...*

И как всё это такое и подобное складывалось и сочеталось? А вот так и сочеталось: по одной всего лишь строчке – Пушкин, Мандельштам, Евтушенко, Пастернак... Но это уже не флейта звучала. Орган. Так, по крайней мере, мне казалось, трубадуру.

Молодые мы были, дурные. Молодость прошла. Дурь осталась. Простите меня, водосточные трубы.

LXXV

...трубы сквозят ветром пустым, жёстами жести – титановый чум в небо зияет, укывище А-истребителя войск ПВО – сквозь этажи, полсотни верхних, проходят тучи и облака, не задерживаясь – там сени не новые и не кленовые, там сени решетчатые – сень сети – тень тенет – в небесном, насыщенно-синем, почти растворились полсотни верхних, искрошились и выветрились пылью – только рёбра стальные, каркасные, арматурные, чёткий скелет – рукотворная паутина номер тринадцать бис – и не светится дом жёлтыми окнами – и страшен он по ночам, ночи самой черней – в лестницах гулких, бетонных не звуки, а ихое эхо – мерное эхо шагов – тать ли в ночи или стать воровская отдельно от тати, сама по себе – тёмный лес, вопрошающий сам у себя и внушающий сам же себе – пустые шаги, пустые шаги – или это невидимый часовой производит дыхание, воздухом на диафрагму приседает в брюшине для торжествующе громого и грозного «Стои! Кто идёт?» – радиобашня и радиактивные волны номер тринадцатый бис по ночам – или шаги – или дыхание – или шаги – и спаренных гаубиц нет у подъезда, а жаль –

А КТО ТАМ ИДЕТ?
О КЭЛЭН КИМДИР?
КЕМ КИЛЭ УНДА?
КИМДЕР АНДА КЕЛЕ ЖАТҚАН?
ТИГИНДЕ ҚИМДЕР КЕЛЕТАТ?
TEIC, KAS GAN TUR NAK?
ДАР ЧИНЕ СЫНТ?
КҢ МЕОЯД ОН ЧО?
КЕМ КИЛЭ АНДА?
зоб भण्णो?
КИМДИР ОЛ ГЕЛИЭНЛЕР?
КИМЛАР КЕЛАДИ?
МУЪЛШ БУ ДЮ БОГУРШ?
KES SAMMUVAD SEAL?
? ווער גייט עס אט דארטן?
КАМСЕМ-ХА КИЛЕÇÇĖ УНТА?

...да пусть и не тёмный лес, а всего три сосны, полигон заблуждений – те же шаги, пустые, ходячие валенки шаркают – сказано кем-то прицельно, со знанием дел в преисподней и в горних высотах: вверх по ступеням, по лестнице: марши, пролёты, перила, ведущие вниз – сказано кем-то, а ты маршируй – номер тринадцатый бис – страшно ему, пограничному часовому, не потому, что темно и пусто – сакральны смыслы священного долга: не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами! если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся! – писано кем-то, а мается час неучтённый: дайте ж пролить! где этот враг? сколько же мучиться мне без врага? – предупреждающий, с робкой надеждой: «Стой! Кто идёт?» – и спаренных гаубиц нет у подъезда, а жаль –

А ХТО ТАМ ИДЕ?
КЕН ТЕНД ИОВНА?
११५ १५५५५
О KAS EINA TENAI?
是誰在那儿走着?.....
WER DRÄNGT SICH IM LAUF?
КОЙ ИДЕ ТАМ?
А СНТО ТАМКОР ЗО?
من هم السائرون?
А КТО ТАМ ИДЗИЕ?
KDO TAM JDE?
KEITÄ NUO IHMISET?
YA KIMDIR GIDEN ORADA?
கல்பவர் யார்?
कौन वहां ये लोग जा रहे ?
А КО ТАМО ИДЕ?

...да пусть и не три сосны, полигон заблуждений, а дерево единственное – дерево, по коему мысль растекается страшной метафорой, казнью: капающие мозги – номер тринадцатый бис – эти вздохи-шаги – одинокий и умоляющий, жалобный: «Стой! Кто идёт?» – ну, придите хоть кто-нибудь – и спаренных гаубиц нет у подъезда – как были спарен-

ные, так и испарились спаренно, и хрен с ними с обоими – ибо древо жаждет –

A XTO TAM IDZE?
제기 저이들 웬 사람들이나 ?
ΠΟΙΟΙ ΠΕΡΝΟΥΝ 'ΕΚΕΙ;
CHI CAMMINA LÀ?
¿PUES QUIEN VIENE AHI?
ZOVY 'ZAO MIDODODODO?
කවුරුද ඒ යන්නෝ?
ET QUI VA LA-BAS?..
OG HVEM KOMMER DER?
KIK JÖNNEK OTT?
QUEM VEM LÁ?
چا په کون؟
CINE-S ACEIA?
അരാണിവർ?
WHO GOES THERE?
کی می آید؟
何者だ、
そこを
行くの
は
？

A KTO TAM IDET?

... вот, всего лишь древо, одно на всех: родословие, белкина околесица – вот, всего лишь дом, один на всех: дом мод, дача чад божиих – а оно вон как выпадает, вопиет, растопорщивается: оцепенелостью домино, законностью доминанты, высокомерностью dominus плюс-минус человечность...

LXXVI

...но плюс-минус человечность, равно и бесчеловечность, окажутся исчерпанными к чёртовой матери, как только человечество изведёт самого себя под корешок, до полного исчезновения в нуле, плюс да минус взаимоуничтожаются, образуя пустоту, в которой уже нет места ни достоинствам, ни порокам, нет ничего достопримечательного, в том числе и образцово-показательных закидонов персонажей человеческой истории, и истории нет. Так и будет. Но покуда дотлевет Солнце... Коротче говоря, реестр психоневрологических чудачеств, тащась из прошлых веков, ничего нового, в сущности, не приобретает, разве что – может становиться чуть теплее, чуть горячее, в смысле приближения

к современной истории. И тогда во всю ивановскую голосит устное народное творчество. Открытым текстом!

№1274. В психушке беседуют главврач и репортёр из газеты. «И вы хотите сказать, – говорит репортёр, – что из вашей больницы выходят совершенно здоровые люди?» – «Да, – отвечает врач, – мы ведь каждый раз перед выпиской проводим проверку. Наливаем в ванну воды, ставим рядом кружку, кладём ложку и предлагаем вычерпать ванну» – «Разумеется, – замечает репортёр, – черпать воду надо кружкой...» – «Нет, – отвечает врач, делая знак стоящим позади санитарам, – достаточно выдернуть пробку из ванны!»

№1275. Один из душевнобольных подошёл к аквариуму и начинает донимать просьбами золотую рыбку: «Дай мне дом. Дай мне машину. Дай дачу...» – Подходит врач и говорит: «Больной, отойдите от аквариума. Ведь рыбки говорить не умеют» – «Вот и я ему о том же целый час твержу!» – возмущается рыбка.

№1276. В сумасшедшем доме выступает агитатор и расхваливает нашу действительность. Все аплодируют, кроме одного, стоящего в сторонке. И агитатор интересуется: «А вы почему не хлопаете?» – «Да я же не дурак, чтобы хлопать, – отвечает этот, который в сторонке. – Я санитар!»

№1277. Разговор в магазине. «Слышали? Говорят, снова можно будет купить говядину по два рубля за кило» – «Враньё!» – «Ну и пусть враньё! Зато как дёшево!»

№1278. Неудачник приходит к психиатру: «Доктор, дело тронулось! Сегодня я уронил бутерброд, и он упал маслом вверх!» Доктор берёт из рук пациента бутерброд, внимательно его изучает и резюмирует: «Да нет, батенька, просто вы намазали хлеб не с той стороны».

№1279. Психиатр – пациенту: «Так как вы считаете, что совсем здоровы, расскажите всё с самого начала, как говорили своему врачу.» – «А я ему говорил, товарищ профессор, что в самом начале я создал землю и небо...»

№1280. В результате акробатического переворота зад оказался выше головы и стал ей указывать, что делать. Вот что бывает, когда низы не хотят жить по-старому, а верхи не могут управлять по-новому.

№1281. Лежат два наркомана на поле, увидели пролетающий самолёт, заспорили. «Правительственный», – говорит один. «Нет, не правительственный», – возражает другой. – «Это почему же?» – «А впереди мотоциклы должны быть. А тут нету мотоциклов».

№1282. Пациент – доктору: «Вот всё, что было до революции, я помню, а что после – не помню. Это склероз?» – «Нет, – отвечает врач, – это счастье».

№1283. Дама у врача: «Доктор, как мне похудеть?» – «Ешьте чёрную икру» – «Как же столько заработать?» – «Вот именно! Пока будете зарабатывать – похудеете».

№1284. К психиатру приходит пациент: «Доктор, мне кажется,

что я схожу с ума. Представляете, я сам себе отправляю письма!» – «И когда отправили последнее?» – «Сегодня утром» – «И что же вы там написали?» – «Откуда ж я знаю? Вот получу, тогда и прочту...»

№1285. Просыпается мужик с похмелья, смотрит – а проснулся-то он явно не в той обстановке, в которой засыпал. Лежит он в шикарной спальне, в чистом белье, рядом роскошный стол накрыт, с вином и закуской. Мужик встал и не понимает – что случилось и как он сюда попал. И вдруг на столе видит записку: «Дорогой, наслаждайся жизнью. А я поехала. Твоя крыша».

№1286. Мужик приходит к психотерапевту и говорит: «Доктор, я слышал, что вы ставите диагноз по любимой книжке пациента?» – «Это правда. Кто ваш любимый писатель?» – «Чернышевский» – «А книга?» – «Книга про что делать» – «Ясно. И давно у вас импотенция?»

И вот всё это порхает, порхает и порхает. А я всё это пишу, пишу и пишу. И юмора нет ни в одной букве, и смеха нет ни в одном глазу. Значит, дело серьёзное.

Вот, например, Коля-укольник по приказу доктора Фаустова производит в коридоре утреннее построение. Голубчики наши веселятся: что-то будет?!

– Давайте так, – объявляет Коля-укольник. – Которые сомневаются постоянно, те становись налево. А которые сомневаются иногда, так те направо.

– А которые не сомневаются никогда, тем куда становиться? – спрашивает поэт Большой Бэмс.

– Становись ко мне.

И вот разобрались голубчики по принадлежности. Больше всех было тех, которые не сомневаются.

Коля-укольник выводит итоги:

– Мы имеем на текущий момент подавляющее количество, которые не сомневаются. И мы их хотим спросить: в чём же вы, голубчики, не сомневаетесь? Кто скажет своё слово?

Вадим Мошонкин выступил – один за всех:

– Всё херня, судьба – злодейка, жизнь – копейка, да и ту отняли.

– Отда-а-а-а-айте копеечку-у-у-у-у, – загудел хор.

Оказывается: идёт репетиция пьески, которую сочинил Большой Бэмс, и ни Фаустов, ни санитар, участвующий в репетиции, о том даже не подозревают.

Дела! А вечером на партсобрании принято решение с занесением в протокол: те, которые не сомневаются, кровожадней сомневающихся, и в свете сложившихся исторических условий необходимо возвращение, пусть хотя бы частичное, к Ренэ Декарту с его аксиоматичным «Подвергай всё сомнению».

И вот опять, уже машинально, выписываются фигуры прошлого. Тот же Байрон: садясь за письменный стол, всегда проверял – нет ли

поблизости солонки, ибо один лишь вид столовой поваренной соли приводил поэта в бешенство. Тот же Бальзак: в знак глубочайшего уважения к гениям человечества, он снимал шляпу, когда говорил о самом себе. И Франклин, материалист этакий, на время работы обеспечивал себя изрядным запасом хлеба и сыра – как объяснял, для возмещения умственных затрат.

Приглядеться повнимательней к «Евг.Онегину» – так это же роман-анекдот! Но анекдот – новаторский, с претензией на усовершенствование в последующих веках. Роман в стихах *de facto* заканчивается фразой: «и тут вошёл муж». Вообще-то, с таких вот слов анекдот только начинается. Но Пушкин-новатор делает всё наоборот и ставит точку: как, дескать, хотите, так и думайте, господа хорошие, а я пошёл пить шампанское. Эра гражданских поцелуев ещё не созрела.

Из газет: В Вологодской области проживает 14 чел., которым посчастливилось целоваться с Л.И. Брежневым.

Из истории вопроса. В 50-х годах Пред. През. Верх. Совета СССР К.Е. Ворошилов прибыл в Пекин с офиц. визитом. Парадная церемония на площади Тяньаньмэнь. Речь Мао Цзэ-дуна. Следом – Ворошилов (очки, бумажка из кармашка): нерушимая дружба, солидарность, братство народов, русский с китайцем – братья навек, потуги империалистов, позор американским банкирам... – прочитал бумажку, спрятал в карман и облапил Мао в братском поцелуйстве («Поцелуй бога» – бога нет, поцелуй есть, но что такое поцелуй: имя существительное или глагол в повелительном наклонении? выбирай, что приятней и безопасней). Хрущёв ввёл ритуальное поцелуйство в мировое коммун. движение. Пример заразителен. В 1979 г. – Бегин и Садат целуются, как два престарелых пидора, в Кемп-Дэвиде. И Картер с Брежневым в Вене. Годом позже – фото в «Тайм», наша «Правда» тиражирует: Жискар д'Эстен в обнимку с мохнатым карликом Бокассой. А потом вмешалась Маргарет Тэтчер, «железная леди» нарушила поцелуйную гомосексуальность. Но вот явился на междунар. арену амер. президент Рейган, бывалые дипломаты полезли к нему с вытянутыми в трубочку губами, а взаимности не обнаружили, и прелестный обычай как-то незаметно увял, будто поздняя роза... Да! А в Пекине дело вот чем закончилось: висит Ворошилов на шее Мао и тычется своим лицом в его, китайские, губы, а над площадью повисла страшная тишина, гробовая: сотни тысяч манифестантов в одинаковых синих френчах, точно по команде, опустили приветственные флажки и замерли. В Китае многое что возможно. Но уж никак невозможно представить двух целующихся мужчин, а коли находились такие извращенцы, то наказывали обоих, рассекая мечами каждого пополам, но не поперёк, а – вдоль, уж такой у них, азиатов, утончённый вкус... Лицо Мао невыно-

симо перекосило отчаянье и нравственная мука. Мао сопротивлялся. Но Ворошилов, хоть и ниже Мао на полголовы, победил, и в напряжённой тишине над площадью раздался, наконец, усиленный микрофоном тягучий звук коммунистического засоса... Говорят, что именно с этого эпизода началось ухудшение советско-китайских отношений. Может, шутка. А может, и всерьёз. Однако для Климента Ефремовича это целование на международном уровне оказалось последним и за границу его уже больше не выпускали. Ладно. Ворошилов – не Байрон, всё-таки, но уже тепло. А парт. вождь ГДР Эрих Хонеккер – ещё теплее. Приехал в СССР с очередным визитом к нашему вождю. Как полагается, после официальных протокольных мероприятий кортеж направился на правит. дачу в Ближнее Подмосковье. Программа: банкет и охота на зайцев. С банкетом у хозяев проблем не было. С зайцами – тоже: ушастых заранее отлавливали и выпускали на густо огороженную металл. сетками территорию, откуда сбежать им было невозможно. К концу банкета егеря стали готовить ружья, и вдруг с ужасом обнаружили утечку зайцев: нашли-таки дыру под сетчатыми решётками. Засуетились егеря: международный скандал на носу! Но выход из труднейшего положения нашли. И вот выходит тов. Хонеккер после банкета на крыльцо с ружьём в руках, видит: перед ним заяц сидит. Бах, бах! – из обоих стволов. Но, видимо, алкоголь уже крепко действовал на организм, и германский вождь промахнулся. А – заяц? Заяц, сволочь такая, сиганул на высоченное дерево, а за ним и все другие ушастые взметнулись, почуяв смертельную опасность. Сидят на верхушках, дико орут и не слезают. Тов. Хонеккер удивился и пошёл спать. А на след. день весь обслуживающий дачу персонал был допрошен следователями КГБ. В сарае нашли кучу старых заячьих шкурок, от прошлых охот. Егеря накануне воспользовались этими шкурками, натянув их с частичной подшивкой на скорую руку на дюжину срочно отловленных местных котов, которых и отправили на убой под видом зайцев. Сюжет для мультяшки «Ну, заяц, погоди!» Вообще, тема «Вожди и спорт» – тема горячая. Володя Ульянов в провинциальном Симбирске бегал в валенках по горке ледяной, а вечером играл в шахматы. Тов. Сталин: всенародно признанный «Лучший друг физкультурников». Лаврентий Берия в юности играл в футбол, позже лично руководил расстановкой ведущих игроков по командам, из «Спартака» в «Динамо» и т.д., вплоть до Колымы, а однажды заставил переиграть кубковый футбольный полуфинал после финала. Хрущёв – литрбол. Брежнев – большой любитель хоккея в компании с министром обороны Гречко и Предс. През. Верх. Совета Поддубным. Наши голубчики рассказывают обо всём таком спортивном, а также и неспортивном, поведении (между прочим, откуда они всё знают?), но эта тема, увы, недиссертабельна. Другое дело – игры азартные. Примеров для медицинского исследования более, чем предостаточно. Перед лицом – классика! Лев Толстой почему так спешил дописать повесть

«Казачи»? А чтоб рукопись продать и заплатить карточный долг! А поэт Державин – почему? О, тут алмазна сыплется гора! Ибо он, всю жизнь просидевший за карточным столом, в молодости добывал средства для жизни шулерством. Тут исследователю можно даже весьма подробно, с фактами, аргументами и выводами описать обстоятельства, при которых 24-летний Державин пустился в небезопасное предприятие. А началось всё с того, что мамаша ссудила сына Гавриила деньгами для покупки у неких господ Таптыковых небольшой деревушки, размером в 30 душ. В то время Державин проживал в Москве у двоюродного брата, майора Ивана Блудова (хороша же фамилия! показательна!). В доме с утра до утра крутился картёж-кутёж, и Гавриил пристрастился, поначалу робким новичком, которым как бы в карты всегда везёт, но с Гавриилом везенья не случилось, азарт превозмог трезвое правило картёжников: играй, да не отыгрывайся. Отыгрывался! Промотав собственные деньги, он пустил в ход матушкину ссуду – и всё спустил до копейки. Блудов выручил на время деньгами для покупки деревушки, но в обеспечение долга взял с брата закладную бумагу не только на эту деревушку, но и на имение матери. Совершать такие сделки Г.Р. не имел права, но совершил, рассчитывая на то, что вскорости добудет выигрыш для погашения долга и выкупа закладной – и играл, играл! Уже и блудовского дома ему не хватало, так он рыскал по трактирам, искал крупной игры. Там и познакомился с шулерами... Проигрываясь вдребезги, запирался в отчаянии в комнатухе, ел хлеб с водой и марал стишки. Позже, уж в гроб сходя, благословил юного Пушкина. Тот тоже был невезуч в картах. Есть документ диссертабельной важности. Московская полиция составила список столичных картёжников за 1829 год из 93 персон, в котором под №1 значился «Граф Толстой Фёдор, тонкий игрок и планист» (то есть, наркоман); под №22 – «Нащокин – отставной гвардии офицер, игрок и буян, всеизвестный по делам, об нём производившимся»; под №37 (роковое число для Пушкина!) – «Пушкин, известный в Москве банкомёт». Имеются иные свидетельства для анализа. Например, известный факт: поставил «на банк» пятую главу «Онегина» в игре с Загряжским – и проиграл. К факту можно добавить: Пушкин тогда получал от издателей по 25 рублей ассигнациями за строку, умножаем 588 строк этой главы на 25 рублей = 14700 рублей. «О, не знай сих страшных снов Ты, моя Светлана!» (Эпиграф к главе №5 из Жуковского). Пушкинисты (лучше бы – клиницисты!) предполагают: путешествие в Арзрум целиком подготовили шулера как ставку в игре, в которой самому Пушкину отводилась роль приманки, подсадной утки для привлечения в картёжное действо местных дворянчиков. Наш товарищ, Александр Сергеевич! А ещё Гоголь! Трепетал перед Пушкиным! И вот, приехав в Петербург, отыскал дом кумира. Дальше – выписка из мемуаров: «Чем ближе подходил он к квартире Пушкина, тем более овладевала им робость и, наконец, у самых дверей квартиры развилась

до того, что он убежал в кондитерскую и потребовал рюмку ликёра. Подкреплённый им, он снова возвратился на приступ, смело позвонил и на вопрос свой: «Дома ли хозяин?» – услышал ответ слуги: «Почивают!» Было уже поздно на дворе. Гоголь с великим участием спросил: «Верно, всю ночь работал?» – «Как же, работал, – отвечал слуга. – В картишки играл». Гоголь признавался, что это был первый удар, нанесённый школьной идеализацией его. Он иначе не представлял себе Пушкина до тех пор, как окружённого постоянно облаком вдохновения...» Но тут в нашей палате уже не Пушкин! Тут Гоголь появляется! Гоголь! Клиника! Целое направление в психиатрии и неврологии! Одного лишь алкоголизма «с белочкой» не хватает, а так – полный набор симптоматики, рюмка ликёра, вышеупомянутая, не в счёт, ибо нехарактерна. Но, опять же, без рюмки – какая ж диссертация, скучноватая диссертация, научно-популярный очерк. И диссертацию спасёт, и тему вывезет Некрасов Николай Алексеевич! Тоже картёжник. Причём, с суевериями, которые сами по себе интересны для психоаналитика. Берёт, например, Некрасов из конторской кассы «Современника» пару тысяч рублей и вкладывает их вовнутрь пачки своих собственных десятков тысяч – только так, а – зачем? Для удачи, говорит. Ещё: никогда никому перед игрой не давал денег взаймы. Ещё: служил в конторе «Современника» один молодой парень по фамилии Пиотровский (не из Эрмитажной ли династии?). Однажды он направил к редактору Некрасову какую-то даму с нервной запиской, в которой умолял господина редактора о наисрочнейшем одолжении, совсем немного, всего 300 рублей, вопрос чести, вопрос жизни и смерти, ну, а ежели господин Некрасов откажет в милости, то не остаётся ничего иного, как пустить пулю в лоб. Естественно, господин Некрасов отказал, и молодой человек застрелился. А ещё и вовсе нехорошее: имеются сведения о письме Огарёва к Кавелину, в котором Некрасов обвинялся в том, что проиграл в карты 30 тыс. руб., принадлежавших умершей жене Огарёва... Вот! Да пропади ты пропадом, такая тема! Я вчера говорю в мясном отделе: «Мне бы ещё колбаски любительской граммчиков бы этак сто» – Продавщица говорит: «Колбаска вся» – Я говорю: «Давайте всю!» – Продавщица смотрит на меня, как на дурака, и говорит предельно ехидно: «А гидрокуру не желаете?» – Это она намекает на камбалу, нашу белковую беду и выручку. Я вздохнул от её непонимания и вышел вон. С ума ж сойти! А тут – Достоевский Фёдор Михайлович. Вот его некоторые письма к жене из г. Гамбурга – с великой страстью. Первое: «Здравствуй, Ангел мой, Аня... Тут игра, от которой оторваться не мог. Можешь представить, в каком я был возбуждении. Представь же себе: начал играть ещё утром и к обеду проиграл 16 империалов. Безо всякого преувеличения, Аня: мне до того уже всё противно, то есть ужасно, что я бы сам собой убежал...» Письмо второе: «Веришь ли: я проиграл вчера всё, всё до последней копейки, до последнего гульдена, и так и решил писать тебе поскорей,

чтоб ты прислала мне денег на выезд. Но вспомнил о часах и пошёл к часовщику их продать или заложить...» Письмо третье: «Закладные за часы почти проиграл, всего у меня теперь двадцать пять флоринов, а надо расплатиться в отеле, надо заплатить за дорогу...» Письмо четвёртое: «Слушай же: игра кончена, хочу поскорее воротиться; пришли же мне немедленно, сейчас как получишь это письмо, двадцать (20) импералов...» Письмо пятое: «Аня, милая, друг мой, жена моя, прости меня, не называй меня подлецом! Я сделал преступление, я всё проиграл, что ты мне прислала, всё, всё до последнего крейцера, вчера же получил и вчера проиграл!..» Письмо шестое: «Аня, милая, я хуже чем скотина! Вчера к десяти часам вечера был в чистом выигрыше 1300 фр. Сегодня – ни копейки. Всё! Всё проиграл!» ...Вот клиника! Любому диссертанту сдуреть можно! С копыт! С катушек!

И вот приснилось мне. Сижу будто бы на острие телевышки со шприцем в одной руке, с огурцом – в другой. Сижу и кричу:

– Эй, ты! Империя!

– Я! – отвечает История.

– И я! – кричу я.

– Ты в своём уме? – кричит Истерия.

– Да! – кричу я. – Да, да, да! Сейчас я в своём уме. Вот именно сейчас, когда на игле со шприцем и огурцом. Но всю жизнь я был в вашем уме, падлы, только ни я, ни вы этого не замечали!

И они, которые падлы, все втроём зарыдали грозой с раскатами и как-то так провокационно стали сучить многомиллионными ручонками, молниями, копытами.

– Золотое сучение!

– Квадратура круга!

– Окружность квадрата!

} – кричат громом.

И ещё они грохочут синхронно:

– Слазь!

На что я спокойно отвечаю специальным вопросом:

– В смысле?

– Слазь! Слазь без смысла, дурак!

– Херушки вам! – отвечаю.

Я уже абсолютно ничего не боюсь, я чихаю и плюю на ихние громы-молнии, на эти чисто ритуальные мероприятия, неперспективные и высокооплаченные чужим плачем. Сугубо ритуальные, обрядные эти грозы-угрозы, как страсти по Матфею или вопли по утраченной целке. В гробу я видел ваш шантаж и новодевичьи церемонии!

Проснулся. Что такое? Правая рука занемела и вся в «гусиной коже». Левая – нормальная. В чём дело? Может, знак какой-то или намёк свыше? Может, вчера писал непомерно много? Может быть. Но писать надо, надо, надо. И писать буду, буду, буду. Нельзя тянуть резину и чесать затылок. Как жизнерадостно провозглашает один наш

голубчик, не буду называть фамилию, но он имеет что сказать, он гениальный скрипач, и он провозглашает: не надо бейцы крутить! Что такое? В каком смысле? А вот и неважно – в каком. Важно, что – не надо, и всё. Важно, что надо дело делать и быть при этом обязательным человеком, не то что некоторые. И ещё важно заметить: когда-то в России, вероятно, ещё до ВОСР, в народе существовала такая хорошая и исключительно полезная для жизни, правильная поговорка-присказка: не откладывай на завтра того, что можешь сделать сегодня. Чудное правило. К сожалению, в совр. обществ. условиях возобладал иной принцип поведения: не спеши делать сегодня то, что можно не делать завтра, а завтра не делай того, что можно вообще не делать. Так нельзя. С этим распространённым жизненным принципом необходимо бороться.

К проблеме «левой руки» (NB!)

А.Македонский

Ю. Цезарь

Карл Великий

Наполеон

Жанна д'Арк

Бенджамин Франклин

Леонардо да Винчи

Микеланджело

} – все левши!!!

Плюс – Пикассо, Чарлз Чаплин, Максвелл и последние американские президенты. Что такое? А вот оно что такое!

Мировая статистика утверждает: 95% всех гениев на земле – левши. Она же и дополняет картину мира: 95% всех безнадёжных идиотов – тоже «левой ориентации». Выходит: от дурака до гения рукой подать. Но, опять же: какой рукой?левой? Правой?

Что такое? Чудо? Но в науке нет таких категорий. Кроме того, никакое чудо не является чудом, если оно часто повторяется, постоянно встречается, что имеет место с разделением человечества на лево- и праворуких.

Вопросов в этой тёмной теме уйма. Вот, навскидку, несколько, торчащих на поверхности. Почему левшей оказывается больше среди гомосексуалистов и транссексуалов (равно мужчин и женщин)? Почему левши менее приспособлены к жизни, чаще болеют и быстрее умирают, чем правши? Быстрый ответ: у нас же цивилизация праворуких! всё-всё-всё ориентировано на праворуких! написание букв приспособлено для правой руки! отвёртка! руль автомобиля! а для какой руки предназначено опускание монеты или жетона в турникет метро? то-то! неудобно, получается, жить левшам в этом мире? неудобно! но разве это неудобство объясняет в полной мере, почему левши меньше рожают детей, почему, скажем, автомобилисты-левши чаще попадают в аварии? нет, не объясняет.

Статистика – не мистика. И эта статистика совершенно мистическим образом противоречит главному закону эволюции: более приспособленная форма вытесняет менее приспособленную, в противном случае не было бы движения, и жизнь на Земле прекратилась бы. И вот – парадокс: закон не срабатывает, правши не вытесняют левшей, более того, именно эти «неприспособленные» левши de facto во множестве случаев обозначают поворотные вехи, ключевые точки, новые этапы цивилизации, обогащая человечество высочайшими достижениями в культуре, науке, технике: движители истории, ускорители. В чём дело? В мозге дело, товарищи! Точнее, в асимметрии мозга. А если плясать ab ovo, то «разнорукость» есть прямое следствие гениальной придумки Природы разделить весь живой мир на мужчин и женщин. И весь секрет!

№1287. Селекционеры вывели новый сорт майского жука. На Первое Мая жук раскидывает листовки, выкрикивает лозунги и устраивает пьяные дебоши.

№1288. Пациентка обращается к доктору: «Поцелуйте меня, пожалуйста!» – «Я не могу. У нас, докторов, существует медицинская этика, которая не позволяет целовать пациентов. Вообще-то, мне и спать с вами не следовало...»

№1289. «Больной, сегодня ваш кашель лучше!» – «Спасибо, доктор, я всю ночь тренировался».

№1290. В саду психушки дураки играют в войну. Один корпус – тихопомешанные – обороняется, другой, буйно помешанные, наступает. Тихопомешанные замаскировались в кустах. Наступающие ворвались в кусты. Один из них что есть силы хватил дубиной по голове засевшего в кустах. «Зря стараешься, – говорит тихопомешанный из кустов. – Я в танке».

№1291. «Ваша болезнь пройдёт, – сказал врач, – только вам нужно каждый вечер принимать ванну и сразу же стопку коньяка»... Через несколько дней больной обращается к врачу: «С коньяком всё нормально, а вот ванну воды мне никак не выпить, товарищ доктор».

№1292. «Моя правая рука не даёт мне покоя, болит и болит» – «Это возраст» – «Но левой-то руке ровно столько же, а она не болит!»

№1293. Врач говорит пациенту: «Я просто затрудняюсь поставить вам диагноз. Думаю, что всё это от алкоголизма» – «Ладно, товарищ доктор. Вы не расстраивайтесь. Я приду, когда вы протрезвеете!»

№1294. «Доктор, каждый раз, когда я пью чай, у меня появляется боль в правом глазу.» – «Попробуйте вынимать ложку из стакана».

№1295. Приходит маленькая девочка в винно-водочный магазин. Продавщица тётя Хася спрашивает девочку, задумавшуюся перед прилавком: «Девочка, ты что-то хотела!» – «Да, – отвечает, – четыре бутылки водки!» – «Да ты ж такая маленькая, не донесёшь ведь тяжело!» – «Вот я и думаю: может, здесь две выжрать, чтоб в дороге не

мучиться?» (рассказал с некоторой грустью композитор Кзоткин, наш музыкальный голубчик).

№1296. Молоденький милиционер-поэт Илюшечка Селявинский рассказывает мне под строгим секретом такой случай. Мальчик обращается к милиционеру: «Дядя, откройте мне консервную банку!» Милиционер стучит в банку: «Немедленно откройте! Милиция!»

И всё это очень даже не смешно.

В конце врачебной карьеры, выйдя на заслуженную пенсию, примусь за мемуары. Уже есть название: «С ума сойти!»

Итак, вопрос вопросов, песнь песней: на кой хрен Природе понадобился двуполой мир? Имеется наготове распространённый и, кажется, несокрушимый ответ: для создания потомства, для продолжения рода.

Мы здесь с голубчиками сомневаемся. Мы думаем, что продолжение рода есть не главная цель, всего лишь попутная. Главная цель – выживание вида.

Рассмотрим: что такое мужчина? Разведчик. Реагируя на изменения окружающей среды, он сам изменяется, приспособливается и приобретает новые свойства и качества, позволяющие выживать в новых условиях; и если приобретённые качества оправданны, если они принесли пользу, а не вред, то через несколько поколений эти качества переходят к женским особям, которые до того времени не торопились перенимать мужские новации, наоборот, хныкали, закатывали сцены и выпрашивали воспитательного кулака; а дальше новые качества переходят к потомству, и мир продолжает жить. Так! А если приобретаемые качества не оправданы? Что тогда? Тогда мужчины погибают. Особой трагедии в том нет, ибо Природа движет процесс эмпирическим путём, методом проб и ошибок, и потому дорога человеческой эволюции усеяна мужскими костями. Так сказать, Мавр сделал своё дело, Мавр может уйти. И нам после его самопожертвований как-то даже неловко, как-то неприлично задаваться таким, в сущности примитивным, вопросом: почему наш мозг асимметричен? почему его половины выполняют разные функции? Вопрос вытекает из общей проблемы симметрии мира, которую вот уже более века пытаются решить учёные.

В этом направлении работал академик Беклемишев Владимир Николаевич (1890–1962), зоолог, основатель науч. школы паразитологов и мед. энтомологов, автор учения о малярийных ландшафтах (см. труды по сравнит. анатомии беспозвоночных, биоценологии, сравнит. и эволюц. паразитологии). Он проследил изменения симметричности живых существ на всём пути эволюции: от амёбы, не имеющей ни одной оси симметрии, до человека, чётко разделённого ошую и одесную, на 2 зеркальных половины: 2 руки, 2 ноги, 2 глаза, 2 уха... Но ведь по поведенческим функциям мы не симметричны! Одна рука,неважно какая, всегда сильнее другой! Почему же мозг так обделяет одну из

конечностей? Не является ли это следствием той же борьбы за выживаемость? Мы знаем: асимметрия мозга зачастую несёт людям негативные последствия: косоглазие, заикание, речевая дислексия. Но без неё, без той клятой асимметрии, человеку не выжить. Именно левое полушарие отзывается на изменения окружающей среды, и не только на них, но и на общественные катаклизмы, и, отзываясь, заставляет весь организм приобретать новые свойства, после чего передаёт найденные биологические решения правой половине мозга – осторожной консервативной соседке. Известно: когда общество переживает спокойные периоды, то рождается больше девочек; когда наступают опасные, смутные времена с войнами, голодом, глобальными катастрофами, то рождается больше мальчиков. Именно тогда, в периоды «быть или не быть?», требуются выдающиеся, пассионарные личности, которые поведут народ за собой – от пропасти. Взрыв Ренессанса, принесший человечеству само понятие «гуманизм» – и Леонардо да Винчи и другие его современники с их левыми полушариями и левшизмом! Вот пример! Вполне достаточный. И вот почему, вопреки закону эволюции, правши не вытеснили левшей, само существование которых жизненно необходимо для выживания вида. В этом их предназначение – от колыбели человечества до наших дней.

Кстати, на нашем Таймыре среди коренного населения 34% левшей. Почему? По кочану, уважаемые товарищи! Население-то вымирает от жизни в цивилизации XX века! Нужны сильные личности, чтобы не спиться хотя бы. Странно, но левши на Таймыре – малопьющие!

А ранние смерти левшей – плата за перерасход энергии. Но остаётся ещё вопрос с идиотизмом левшivosti. Или так: левшividad идиотизма – это что такое? А вот что. Если отобразить на диаграмме способности человека, взяв в совокупности всё человечество, то получим большого размера среднюю часть (люди со средними способностями) и две крайние части: в одной – гении, в противоположной – идиоты. Гении и идиоты – крайности. Не всякий мозг справляется с задачей, Природой возложенной, и, очевидно, не у каждого мозга левая половина выдерживает титаническую нагрузку, и тогда – срыв к краю...

И всё это я написал одним духом и левой рукой!

Странно.

Я же есть прирождённый правша, с генной инженерией типа «Наше дело правое, мы победим!»

Странно.

Так отметим же минутой молчания наши успехи в трипогибельном деле.

ОНО тикает.

Попал в вытрезвитель. Ни за что!!! Просто ИМ показалось. А я был просто ЗАДУМЧИВЫМ.

Почему вытрезвитель МЕД – совершенно непонятно.

Уж лучше бы сразу обозначили: МЁД. Для пущего идиотства.

Рано утром вырезвитель сгорел.

Вокруг, плотным кольцом, стояли грустные опухшие люди в трусах и кальсонах. Они стояли и складно пели: «Враги сожгли родную хату...»

Мелькнул кто-то в больничной пижаме. Кто-то лицом уж больно знакомый.

Мелькнула мысль: неужто мои голубчики.....

Жаль, не успел получить в законном порядке грозную справку из вырезвителя об уплате мед. услуг. Надо было бы вклеить такой документ в журнал для истории. На память. Точнее, в память о жертвоприношении на алтарь науки.

Там, в антисанитарном, в анти, вообще, гуманном гадюшнике я впервые ощутил себя таким ничтожным, меньше микроба, голый, без адвоката – в сравнении со всеильными мордатými сержантами: сверхчеловеками, гулливерами.

Из папируса LT:

«Доктора Свифта не заперли в тюрьму, но измерзавили».

Кстати! Имеет смысл селу и городу вспомнить о той самой опасной части книги о Гулливере: о четвёртой, кажется. Да, о четвёртой.

Гулливер, значит, попадает в страну, где живут гуигнгнмы: разумные лошади. Свифту простили сатиру в главах о лилипутах и великанах, и умных лошадей простили, но перенести тишком та-а-а-кое... ведь рядом с умными лошадьми Свифт поселил племя йэху, людей, вроде бы людей или как бы людей, выродившихся в нечто чудовищное, омерзительное.

В финале последнего путешествия Гулливер возвращается домой, в Англию. Он преисполнен отвращения к людям, в которых видит подобие йэху, и при первой встрече с собственной женой падает в обморок. Душой утешается Гулливер только в конюшне, среди лошадей, может и не столь разумных, как гуигнгнмы, но очень всё-таки похожих на них. Их ржание ему милее самой изысканной человеческой речи.

И каков же вывод? В XVIII и XIX веках: доктор Свифт ненавидит человечество. В XX веке мизантропия Свифта признана мифом, и первыми в защиту писателя выступили советские исследователи, доказавшие, что клеветниками-то оказались как раз те, кто обвинял в клевете на «божье создание» автора одной из самых умных в истории человечества книг. Свифт отлично знал, что он хочет сказать миру, и сказал ЭТО.

Кое-что из этого ЭТО до сих пор пребывает злобой дня.

Сатира на притеснение Англией Ирландии простёрлась от названия второго города свифтовской Лапуты (Линдалино, т.е. дважды Лин, Дубль-Лин, Дублин!) – до перманентной войны в Ольстере.

Сатира на учёных прожектёров, но одновременное предвидение

почти 50% соврем. науч. открытий: от проекта постройки здания, начиная с крыши, и до некоей машины, в которую кладут бумажки со словами, чтобы получить из них фразы, формулы, решения... ЭВМ! Через 150 лет после Свифта астроном Холл открыл 2 спутника Марса, «увиденные» ещё лапутянскими астрономами. И ещё пишет Свифт, декан Собора св. Патрика, рукою Гулливера: «Больше всего я наслаждался лицемерием людей, истреблявших тиранов и узурпаторов и восстанавливавших свободу и поправленные права угнетённых народов». Предположим, что для Свифта тогдашний Карл I был в гораздо меньшей мере, чем Кромвель. Но вот в третьей части книги – рассказ, который в течение 170 лет не появлялся в англ. печати: власти Лапуты управляют с летучего острова, висящего над страной (этакая летающая тарелка, выражаясь по-современному!); основа этого «спутника» – сильные магниты; за три года до приезда Гулливера возмущённые тиранством граждане Лапуты построили свои собственные магниты и едва не сокрушили верховную власть «летучей» монархии... Вот, только и хмыкнешь: не Жакерия, не бунт, кровавый и беспощадный, не просто заговор с убийством короля – но попытка революции, подготовленной при содействии науки и техники. Вот вам и безумие доктора Свифта!

И я говорю своему Я точно так же, как писал киношный провокатор Клаус под диктовку Штирлица: «Я смертельно устал. Мои силы на исходе. Я честно работал, но больше я не могу. Я хочу отдыха...» Со следующего понедельника – в отпуск. Срочно! Конечно, в плановом порядке. И ехать к Морю! К Морю! Сорок минут езды, деревня, покой, старики и старухи, парное молоко, свежая рыба, чёрный хлеб, красные помидоры. Море спасёт.

.....

«Тоже мне, Зощенко нашёлся!» – подумал генерал Поцелуйко, отложил в сторону фотокопию последней страницы оперативной информации и устало смахнул с переносицы очки для чтения, долгоручие.

И смешно, и занятно, и грустно, и жалко этого путаного Архимедика в поисках темы для дурной диссертации. Вот же она, диссертация, давно уже Архимедикову тему открыла и закрыла, грудью на амбразуру легла, а теперь томится в шкафу, среди нежелательной литературы, целых три книжки, староваты уже, но не утратили скрытого антисоветизма: «Голубая книга», «Возвращённая молодость» и «Перед восходом солнца», партия в своё время осудила эту коллекцию патологий, до сих пор, тем паче чаяния, не реабилитированную...

«Ну-ну, – подумал генерал, потянувшись занемевшим от скрупулёзного сидения корпусом в сторону либерализма. – Новое время,

новые пациенты, новые врачи. Иных уж нет, а тех долечат, как некий Гарик некогда сказал. Вот и дерзай, товарищ Архимедик. Не сходи с ума. Ты нам ещё ой как пригодишься. Отдохни, мы не возражаем. Действительно, каких-то сорок минут езды в автобусе – и будет тебе прибрежное поселение, насчёт молока с помидорами гарантий нет, но Море никуда не денется, и старики со старухами будут, и вопросы на засыпку для самых умных: отчего волнуется Море? и почему оно в суточном свете совсем не прозрачное, как обыкновенная вода, а жёлтое, красное, белое, чёрное? почему оно такое странно разное, чуть ли не расовое, и пахнет йодом? Да... И почему, чёрт побери, у этого Моря всё – не как у морей? В иные моря, в правильные, великие реки впадают, а из нашего, наоборот, хорошо хоть, что всего одна река, но тоже великая, хотя и с дурацким именем Куда, да... но дурнее крайкомовской инициативы повернуть Куду в обратном направлении придумать уже невозможно, и куда кто бежать будет, и кто ответит, и чьи головы полетят с плеч, когда, не дай бог, сбудется страшное пророчество, и реки потекут вспять и повлекут за собой в полоумье долги наши... Кто спасёт Союз нерушимый республик свободных? Приказ, указ, конституция, декларация, манифест, программа, постановление, резолюция или божья воля?..»

LXXVII

Воля волн – не щучье хотенье.

Высочайшее веление – воля волн.

Вот и Море наше волнуется не случайно.

– А ты не волнуйся, не твоё это дело, – говорил мне старый Икс. – Ты ж не море. Ты только капелька в море, а капелька волну не гонит.

Море морщится не напрасно.

– Это называется рябь, – пояснял мне юный Игрек, в миру Игорёк.

Море хмурится не зазря...

И байки о нашем Море, равно как и байки о Байкале, байки о Байконуре, – не убаюкивают, но тяжело и грозно сползают, точно языкастые ледники, на заселённую сушу.

– Не от Моря люди заморённые, – говорил мне Зэк неопределённого возраста. – Спичек нет, водка отсутствует, водокачка не работает, и ваш вопрос у нас не стоит.

О-хо-хо, товарищи дорогие, береговые жители, вашими бы устами да йод пить. Стоит вопрос, ещё как стоит.

Три – в одном:

– А в России вечно стоит не то, что надо! Может, нам его из-за ружья подогревают?

Вот и приехали, вот и договорились – до колокольного молчания, до разбитого корыта, до сказочки без конца, в которой старик распо-

лагает всего лишь дырявой лодчонкой на берегу да безграничными возможностями старообрядческого гамлетизма:

– Кубыть аль не кубыть? Вот об чем вопрос...

С вечернего крылечка старуха деточек скликает:

– Девки, гоу хоум! Совсем разбушлатились, курвы!

А профессиональным патриотам – не до Моря, они аж до Балкан размахиваются, неча мелочиться:

– Гей, славяне, русичи-кривичи! Эге-гей! Даёшь Эгейское море! А которое Чёрное мы и так на понт возьмём. Это нам раз плюнуть.

Ну-ну, плюньте...

А между тем и бестемья, над Морем набрякли отёчные, кислосвинцовые тучи, будто бы подглазья похмельные. Во что это выльется? Бог весть не подаёт. Но ведь и то покудова ладно, что даже один-единственный настойчивый солнечный лучик способен разоблачить небо, загустевшее, казалось бы, раз и навсегда.

И старуха зажигает лампадку – маленький очажок большой надежды.

И старик засыпающий – уже и не старик вовсе, но богатырский охранитель земли русской, этакий Илья-муровец в бронезилете, с «черёмухой» в длани.

И детки разбушлатенные шевелят губами чуть-чуть не по-нашенски, но всё же ясно и понятно:

– Бай-бай-гуд-бай...

А профессиональные патриоты считают индийских слонов и, наконец, видят во сне, будто бы видят сон, что будто бы как бы снятся им целые пирамиды сахарного песка и караваны кэмэлов для народа.

Всем вам спокойной ночи и приятных снов во сне. Ведь ежели мы говорим наяву, что у нас нет выбора, то это значит, что выбор-то уже сделан.

И только Море не спит, над берегом измывается.

Когда-то, давным-давно, пришёл день второй. Вторник, стало быть. В этот день, как гласит древнейшая из книг, Архипатр отделял твердь от хляби.

Нынче оной работе выставляют оценки – от нолика до крестика.

– Сущность суши – это ноль, дырка от бублика, – провозглашают яростнейшие из океанологов.

– А что такое, извините за выражение, вода?

– Аш два о, – отвечают химики, не поморщившись.

– Нет, – возражают биологи, – Аж три о! Целых три одических о!

С тремя восклицательными знаками!!!

– О, море, море! – подхватывают одописцы. – О, око Каспия! О, хоралы Арала! О, камни Байкала! О, каллы в бокале! О, лекало божественного архизодчества!

– А у нас, знаете ли, весьма скромненько, – вступают географы.

– Мы, видите ли, считаем: ниже уровня моря, выше уровня моря... Вот, например, гора...

– Что такое гора? – отмахиваются гармонисты. – Два аккорда выше горизонта, всего-то...

А между тем происходят удивительнейшие вещи. Хлябь до сих пор не отделилась от тверди, хлябь даже вознамерилась стать твердью, в чём немало преуспела, вот и человекоубийства стали называть мокрым делом... короче говоря, процесс пошёл, но не в ту сторону, и кому предстоит исправлять грандиозную незавершёнку и продолжать исполнение высочайшего замысла – неизвестно, мрак крошечный. Человеку? Все мы человеки. Другой вопрос вострепетать должен: насколько мы человеки? Венец ли творения? Мыслящий тростник? Или же человек – это всего лишь повод к рассуждениям?

Чтобы подсчитывать потери, совсем необязательно углублять свою память в немыслимо далёкое прошлое. Достаточно начать подсчёты хотя бы с портика храма Аполлона в Дельфах, где до наших дней сохранилась надпись «*Нomo sapiens nosee te ipsum*», что в переводе с латыни означает: «Человек разумный, познай самого себя». Именно до того портика добрался в самодельной философии голубчик Савва Савушкин, пытливый таксидермист. Вот и я – вслед за ним. Ничего особо новенького вряд ли добавлю к Саввиным книжным открытиям, зато буду иметь повод хоть сказать Савве: молодец, Савва, верным путём идёшь, товарищ Савушкин! а давай, ёлки-палки, вместе потопаем, коли не возражаешь принять в компанию?

Легенда приписывает авторство надписи на портике спартанцу Хилону, одному из семи прославленных мудрецов Древней Греции.

Спустя многовековье после Хилона знаменитый учёный Карл Линней задумал разложить по полочкам с табличками весь живой мир Земли и, обратившись к человеческому виду, поступил весьма решительно, но топорно: разрубил пополам дельфийскую мудрость (пожелание, завещание, наказ...). Первой половинкой, то есть «человеком разумным», Линней одарил самого себя и соседей по человечеству, а вторую половинку пустил в производственные отходы, за сим с лёгким сердцем поставил точку и умыл руки, и всё, а какому-нибудь холерному микробу, небось, тоже приятно чистеньким быть.

Из топорного разложения, вероятно, и начался крестный путь гомо сапиенса – к монументу в честь самого себя, к венцу творения и царю природы, к покорителю и преобразователю, к властелину и господину с харизмой шире плеч, к обезумевшим, стоящим по стойке «смирно!» знакам восклицания – словно верстовые столбы на всём пути – прямым к несбывшимся надеждам и разочарованиям, к сбывшимся страданиям, за черту чертовщины, в чертоги Великого Хама... – путь до другого смелого классификатора, тоже Карла, после которого линия Линнея с маркой Маркса решительно повернула к неугомонному гегемону, к постоянно тостующему, но дурно закусывающему пролетариа-

ту, к карлика, которым уже и душа – по фигу, и фигу – по карману, и любое море – по колено...

А как не возгордиться, когда сама гордыня из смертного библейского греха вмиг преобразовалась в достоинство? И когда сие свершилось с благословения основоположника соцреализма, то гомо сапиенс зазвучал пустотой арийского бубна, двусмысленностью бубнового туза.

Забавно, что имел честь быть в истории российской адвокатуры случай, когда защитник произнёс в суде настолько страстную и трогательную речь в пользу подсудимого («честнейший человек, правдивейший, добрейший, совестливейший...»), что подсудимый, ранее упорно отрицавший обвинение, прослезился и полностью признался в совершённом преступлении.

Сказано: в начале было Слово, Логос. Эхо Логоса – экология. Это логическое эхо прозвучит, наверное, в конце – как последнее слово подсудимого, когда земля окажется уже не в силах тяготиться шагом человеческим и застынет, и Море станет морсиком госпитальным, рассоллом похмельным, стонущим однозвучием, и небеса устанут вздыхать от обилия невостребованных душ...

Агония огня. Чёрно-белая чернобыльская эпиграфика...

Сидит как-то раз старик Митрофанов на лавочке возле дома своего и не может сообразить, кому поклониться за этаким чудным вечер жизни: то ли всевышнему господину, невидимому и неслышимому; то ли старухе своей, изрядно потрудившейся накормить, умыть и уложить баиньки полдюжину отпускных и каникулярных внучат; или может самому себе аплодировать?

– Ну и чо сидишь, как дурак, товарищ Митрофанов? – интересуется ежевечерний Сосед.

– Сижу. День провожаю. Руки чижолые. Ноги чижолые. Голова лёгкая. На душе светло. Себе говорю спасибо. И тебе, Сосед, то же самое. Присаживайся. Я ведь слышу, как у тебя тоже ноги гудят.

Устроились старики рядышком, да ещё мимоходный бич Вовка разместился. Запыхтели «примачкой».

– Нет, – сказал Сосед старику Митрофанову, – несурьёзный ты мужик, если докатился до такого отчаянного оптимизма. Ты же ж не поп и не депутат какой-нибудь, штоб носиться с оптимизмом, как кура с котелком.

– Нащёт курей это хорошо, – ответил Митрофанов. – Это ты справедливо выразился. А котелок будет нелогичный.

– Вот я и говорю тебе, што нелогично. Кажный дурак про нелогичный котелок знает.

– Не кажный! – перебил Митрофанов. – Коли ты знаешь, так и говори от себя лично, без иных прочих. А то балабонишь: кажный, кажный...

– Это ты обзываешься, ли чо ли? Меня критикуешь?

– Да хоть бы и тебя.

– Ну-ну, скажи, Митрофанов, скажи про старого боевого товарища. Скажи! А между прочим, по телевизору поют, что надо делать паузу в словах. Понятно тебе?

– Да ты, никак, осерчал? Я ж тебе не для обиды говорю. Ты ж хороший. А мне только один дефект в тебе не шибко глянется. Что суетишься и живёшь безнадёжно.

– Это мы-то без надёжи? Да ты чо? Да мы, едрить твою, хоть завтра чего-нибудь организуем! Субботник, например. Или воскресник. Да хоть похороны с музыкой оркестра, если, например, к завтраму кто-нибудь поспеет. Любой праздник дважды два сочиним!

– Вот-вот. И без праздников всю жизнь упразднили, и с ранья у вас пляски под водочку.

– А ты как хотел, Митрофанов? Чтобы День рыбака – и не выпимши? Штобы в обществе – и без этого дела? Без гармошки? Без доски почёта? Штобы с утра до вечера проживать безвинно? Ну, уж нет! Помирать буду – остограмлюсь.

– А ты попробуй без праздников радоваться. Живи, значит, и обеспечивай.

– Чему ж тогда радоваться? Вчерась работа, сёдни работа, назавтра то же самое... Тьфу! А за чо боролись? Нет, Митрофанов, ты хоть и разумный человек, но блажной. Слушай сюда и пальцы загибай. Значит, так получается моя жизнь. Жена у меня, две дочки незамужние, три внучки, всего шестеро плюс я. И среди них оказываюсь однополый. Ладно, терплю. Мужику много ли надо? Всего делов, што побриться. А женчинам? То-то! Вот и таскаю воду для ихней гигиены и сауны. Вёдрами! За двести метров! И, между прочим, после напряжённого трудового дня. Это как, по-твоему называется?

– Не ври. Я ж лично видал, как ты напряжённо на водокачке работаешь, – усмехнулся Митрофанов.

– А как плотют, так и работаю. А теперь обратный вопрос, и ты мне ответь по секрету, как старпер старперу: это как же так раком вошёл в наши дни водопровод, сработанный ишо рабами в Риме? Это чо ж такое Цэка Капээсэс допускает, а?

– Какие рабы, Сосед? Чо ты такое молотишь?

– Своими ушами слышал. Внучка по книжке читала. А в книжке, однако, не соврут...

– А между прочим, – очнулся бич Вовка, отъявленный молчун, ему бы только на небо пялиться да губами шевелить. – А между прочим, уж на что вертлявая нация, эти французы, однако абсолютно справедливо заметили, что жизнь такова какова. Это про нас. Про нашу безмерность и безразмерность. А разумному человеку как раз мера нужна, потому что мера – это есть и время, и деньги, и срок жизни... Ты вот, Сосед, сказал про паузы в словах. Это не надо. Паузы в

словах только для заик годятся. А которые не заики, те должны паузы между слов делать и маленько соображать про себя.

– Это ж как, например? – нахмурился Сосед.

– А очень даже обыкновенно. Ты говоришь: «человек разумный». Имеешь в виду – очень умный. А тут как раз всё наоборот. По пакостям жизни получается не «разумный», а – раз умный, два умный, три, ну, пусть десять раз – и всё, на последующий процент мозгов не достанет. А редкого ума человек – это что такое, товарищи? Поначалу слышится навроде похвалы и уважительности, а паузу сделаешь, подумаешь, так кроме обзывания ничего из этого редкого ума не образуется.

– Вона как, – прищурился Сосед. – И как у тебя такая мысль с ума сошла? Небось, голос Америки подогрел?

– Вы меня и подогрели, старые пердуны.

– А я с тобой несогласный. – Сосед затушил сигарету в ладонь и за ухо заложил. – И со всеми мерками твоими тоже несогласный. По мне лучше раздолье и штоб весело было. Как в народной песне поётся: это русское раздолье, в этом русская душа... Любую долю на раздолье запросто поменяю, глазом не моргну.

– Ты ж не апельсин из Марокко, – грустно сказал бич Вовка.

– Как это?

– А так, что не доля у тебя, а долька.

– Ну и чо? У того апельсина много долек. Он фрукт коллективный.

– погоди, Сосед, не трещи, – сказал Митрофанов и бича Вовку по плечу рукой удостоверил. – Вот мы с тобой, Владимир Ильич, почти с рождения кореша, вместе сопляками были и так дальше. Потом ты стал человеком, можно сказать, ходячим и бродячим...

– Сидячим тоже, – вставил бич Владимир Ильич.

– Ну, кто в России не сиживал, тот России не видывал. Так вот, скажи мне, наконец: сам-то ты из какой нации будешь? Или начисто забыл?

– У меня, Митрофанов, нету нации. У меня судьба.

– Ага, судьба у него, – засмеялся Сосед. – Морока из Марокко!

– Да постой ты, японский бог! – осердился Митрофанов. – Говори, Владимир Ильич, ежели разговорился. Как дошёл до таких своим языком приговоров?

– А так и дошёл. Шёл и шёл. Всё вперёд и вперёд. И этому перёду конца краю не было. А потом вижу, что по кругу хожу и больше жизни хрена с два проживу. Не иначе, думаю, леший водит. И тут моя русская гордость поутихла, слабину дала, а потом и вовсе последний пузырик из души выпустила.

– Это ж ой, – сказал Сосед.

– Хвост трубой, – продолжил бич Владимир Ильич. – Со мной, дорогие товарищи, бывало такое, что с утра герой, а к вечеру глядишь – вся удаль удалилась, и сам весь – то ли в поту, то ли в слезах, а мо-

жет и в соплях или где-нибудь в лужу втюрился. стыдно сказать – как мокрая курица. Ещё стыднее – как мокрый петух, который этих курей курирует. Вот. И не желаю я такого водного поло. Не любитель.

– Это хорошо, что не любитель, – сказал Сосед. – А то эти любители, как в песне в ихней бичовской поётся: бродяга к бокалу подходить, стрелецкую водку берёт... Такую народную песню поганцы на свой лад переладнили. Некультурность полная. И теперь с какого боку красоту жизни наводить?

– С какого боку? – вздохнул Владимир Ильич. – Двое сбоку, и ваши не пляшут. Как говорится, мерси боку.

– Вот тут я согласный, – вздохнул Сосед, – што мерси в боку.

– В Баку щас тоже не очень мерси, – вздохнул Митрофанов. – Нагорный Карабах у их образовался, слышали? Пулемёты, миномёты...

И все трое разом ещё разок вздохнули.

– Ну, по домам, што ли? – предложил Сосед. – Чего там назавтра нам гидросводка уполномочена замочить?

– Мокрые дела обещают, – сказал Владимир Ильич. – А дадут или не дадут, это вилами на воде писано.

– Да уж, это они умеют, – сказал Сосед.

А Митрофанов заключил собеседование:

– Прощевайте, значит, товарищи, до нового свидания.

Встали. Косточками хрустнули. Побрели.

– Слышь-ка, Ильич, – уже из темноты подал голос Сосед. – Ты про каких-то баб чо-то сказал... водного пола. Русалки, што ли?

– Игра такая. Ватерполо цээска вэмэф. Понял?

– Не-а.

– Завтра расскажу.

– Погоди. Ишо один момент. У французов-то есть русалки?

– Нету. Они ж русалки! Значит, только на Руси хороводятся.

– Ну, чо-то ты меня, Ильич, сёдни в сомнение вторнул. Пиисят лет в партии состою – и вот, нате, хрен в томате! Мерси в боку, мокрое поло, русалки эти... то ли любовь от них, то ли уха... Сомневаюсь я.

– А ты не сомневайся. Сколько ж можно!

– Сколько?

И пришла тишина.

Однажды комедиограф Денис Иванович Фонвизин, не удивлявшийся, кажется, ничему на свете, впал-таки в сокрушительное расстройство: «Отчего у нас спорят сильно о таких истинах, кои нигде уже не встречаются ни малейшего сомнения?»

Конечно, к концу второго тысячелетия от Рождества Христова люди стали умнее, образованнее. Много чего умеют и знают: лист зелен от хлорофилла, синь василька от антоциана, загар – от ультрафиолета, а грибы вдоль автодорог нельзя собирать для кушанья – свинца в них много...

Но всё смешалось в русском язычестве. И как жить дальше?

...когда истина есть, а большего мы о ней ничего приличного не узнаем;

...когда мнение есть инок одинокий, кому страшно вовсе не за себя и не за тех, кто рядом живет, но за тех, кто мог бы жить, но не родился;

...когда сомнение есть не что иное как общее мнение, советское, совместное, соборное, объединяющее, уравнивающее и организующее всё и всех по прелестному принципу «лучше поздно, чем никому»: коммунальное мнение, обязывающее к смиренному, рабочему предчувствию страды страданий, то есть к привычке, к обычаю жить поверх чепухи, жить внутри обещания красоты спасительной, жить в пятом времени года – в ожидании, и чего там только нет, в том сезоне? и ничего нет, и пик пигмеев, и дикий диктат... вместо общества – сообщество, сомнительная столпотворящая толпа и кумовство кумиров из общающихся миров, а вместо весов права – сомнительное коромысле правды и справедливости, вместо голоса – вопль согласия, вместо веры – сомнительное доверие...

А спорщики на Руси всегда были, есть и не переведутся – от неувидимого Дениса Ивановича до Ивана Денисовича, человека соловецкого, с замесом и выпечкой монастырско-гулаговской, не перестававшего изумляться во все три тысячи шестьсот пятьдесят три дня своего лагерного события.

Жизнь в паузе. Сущее, сосущее кровь и душу, сосуществование.

И поэзия паузы: SOS!

...это память воды, накапливающей сумасшедшую силу: бешеной суммы сума с энергией войн, рукотворных земных катастроф и бомбовых всхлипов мирового океана – в отягощённой, в тяжёлой воде вызревает критическая масса – до глобального болевого порога, чтобы вылиться цунами вздрогом, сметающим материки, лишь после до времени новой поры утишаются воды, и сезонные ветры-муссоны муссируют пенный преувеличенный акваторий...

Папы Карлы желали добра. Папы Карлы были отзывчивей каменных сводов тюремных камерных бастионов. Папы Карлы, в конце концов, помогли россиянам, доверчивым и сомнительным, настолько уверовать в особость и почти космическую уникальность, что те принялись, как саженьцы Мичурина и Ягоды, сочинять собственные названия для сущностей и явлений, уже хорошо известных всему подсолнечному миру. Даже не столько сочинять, сколько соглашаться с «сомнением» о том, что преступления – это на самом деле перегибы, что общественные проблемы – это всего лишь пережитки прошлого, что диктатура тирана – это культ личности, а общенациональный кризис – застой, не более того... И мнения иноков одиноких, несущие

в себе зерно спасения, уже не плодоносны: близость больших масс искривляет пространство, и мир превращается в мираж, в котором даже преступника от заступника уже не отличить...

Что же спасёт Россию?

– Здравый смысл! – отвечивают порционно и навечно конкурирующие слуги народа.

Но здравый смысл – это для нас уже не столько позиция, сколько эрзац-религия: им заклинают и проклинают по любому поводу, но не руководствуются; во-вторых, так ли уж он нынче здрав, наш здравый смысл, ежели, скованный коростой национальной гордости, откликается на любую «медвежью услугу», в упор не замечает услужливых дураков, что опаснее врага, и, видимо, уже готов принять к исполнению советский вариант известной народной формулировочки с актуальной поправкой: заставь дурака богу молиться, так он и богу своему лоб расшибёт. Наконец, здрав ли он, наш здравый смысл, ежели, например, вековая наша и кровная, и кровавая смычка с Кавказом принимается малыми детьми нашими равнозначно интересной игре «в войнушку», привычно и буднично, в отличие, скажем, от рыжеволосого их сверстника-ирландыша, взирающего со страхом и болью на взрослые игры в Ольстере?

Что же спасёт Россию?

Идея? Спору нет, объединяющая идея нужна, как воздух. Как чистый воздух. Но так сложилось веками, что в России от идей всегда остаются лишь одни идиомы – образцы устного народного творчества в основном непечатного свойства, идея – как памятник прошлому. За памятник настоящему вся держава держалась, как замечено: жучка за внучку, внучка за бабушку, бабушка за дедку, дедка за репку в кепке... Износилась кепка, и дед заоглядывался: «Где я, идея?» И в самом деле, куда вдруг подевались друзья народа и враги его? Куда сгинул империализм как высшая и последняя стадия?.. Туда же, в идиомы заборные, куда отмаршировала политическая экономия, которая так и не научилась быть экономной...

Что же спасёт Россию?

Религия? В стране, где Бог везде, кроме церкви, а бесы и небеса есть всего лишь партийно-литературные категории... В государстве, в котором церковь вместо душ человеческих видит поверхностную грызню политических партий, призывает к смирению сверхсрочнослужащей командой «смирно!», пытается взять на поводок глас народа как глас Божий, купчески воюет за обладание итальянско-католическими куриными окорочками... На территории, на местности крайне пересечённой, на которой, играючи, либо на пластунский манер уживаются, либо солдатиками маршируют религионы воинов христардиоактивных, воев хрестоматерных, недоучек... Нет, в такой державе религия не объединит народ. И не пред иконою и попом нужно россиянину преклонить колени, но пред самим молящимся, умоляющим, ищущим

веры в нетерпении своём. Но вера, как и любовь, негромогласна. Вера, как и любовь, у каждого своя. Общей веры не бывает и не будет, может быть, даже по той причине, что все мыслимые и немыслимые запасы коллективного вдохновения за ударные годы бездарных пятилеток и семилеток уже вычерпаны из души народа на много лет вперёд. И прежде, чем перекреститься, нынешний россиянин вспомнит, что между бесами и небесами когда-то собесы посредничали, социальная «обеспечка», которая, вообще-то, не шибко грела, не досыта кормила и спать порой не давала, но всё же была куда как более надёжной, чем партийно-гэбэшная ортодоксально-церковная попса; вспомнит – и потому можно поставить крест забвения на попытках соединить правоверные серп и молот с православным крестом, партсобрание с собором...

Так что же спасёт Россию?

Ничто. Кроме родной природы самой.

Не лава славословия – Валаам – ох да мох – горе да море – трудный урок укора.

Если религиозная нравственность зиждется на самых примитивных способах поощрения и наказания в виде рая и ада, то природа заложила в человечество основы нравственности как закон самосохранения, подобный тому, который скрепляет сообщества стадных животных; среди них, кстати, нет места наимерзейшим порокам и преступлениям, коими гомо сапиенс наследил в своей сравнительно недолгой истории. Если человек сознательно разрушает среду обитания, так, может, ему полезнее жить подсознанием, инстинктом, интуицией? Ведь доказано же, что подсознание гениально даже у последнего расписдзя.

Наверное, не логическому конструированию, но именно интуиции обязано происхождением само слово «человек». Чело – как высокий синоним лба, лобного места мысли и жертвенник её, и век – как вечность. А между тем, «человек» звучит горько. Но природе нет никакого дела до его Братских ГЭС и братских могил, до «вечной памяти», придуманной молитвотворцами, до «вечных огней», которые наипростейшим образом переделываются из постов №1 в круглосуточные пашлычные. Природе, как и вечности, одинаково безразличны гений Гейне и генная инженерия, паркет и парки, Диккенс и Диксон, танки и Останкино, элениум и линолеум, авторучки Паркера и болезнь Паркинсона... – суетное, преходящее, невозможное без людей и обречённое же к исчезновению с исчезновением самого человека. В природе, как и в вечности, отсутствуют монументы и моменты истины, брамины и бармены, дилеры и доллары, плебеи и плейбои, декалитры декадентства и топот толп, подстриженные газеты и газоны, чаяния и отчаяния человеческие – в оде ли о воде, или в молении о Ленине, или в прощении слёзном о чаше с последней каплей...

Природа первозданная вытворяла с планетой совершенно бес-

человечные эксперименты. И это хорошо у неё получалось. Ибо вечный мир – это бесчеловечный мир. Он не так уж и плох, как представляется нашему извращённо-царственному уму...

Малюсенькие моллюски.

Быт болот – балет трепещущей комарильи, бал восторженных квакеров.

Врачующая травнина.

Гуманность гумуса.

Речка речистая.

Горделивость гор.

Соло соловья, кустаря-одиночки.

Омуль как амулет чистейшей воды и оберег её берегов.

Жёлтые птицы на чёрных камнях.

Кокетливо рискующая рысь.

И всякий, даже русский, лес.

Грустный лось.

Лисий шаг по рыжим листьям.

Пень мохнатый.

Бирюза берёз.

Рубины рябин.

Волчья вольница.

Сон сосновый.

Взоры озёр.

Вселенная лень оленя...

И никаких же Линнеев! Никаких Лениных! Только залив зелёный с рыбками робкими, символами веры. Только отчаянные чайки. Только побережье бережливое, где малинник изломанный отмаливает медвежачьи грехи. А между небом и землёй, между зеркально отражёнными друг в друге «миру мир» и «мир умер» – только Море. Полная мера Моря. Водосвятие. Зерцало честных правил вообщежития на планете.

Вот оно, Море, и выведет нас на чистую воду. Кроме него – некому, ибо оно, единственное, и есть храм сохранения: без стен и купола, без попсы и ладана, опрокинутый в бездну жертвенник, терпеливо ожидающий чела и века, чтобы вывернуться к небесам подобием торжественного кубка и святостью своею оберечь берега́, берега́, берега́, на которых поселились люди и трудно жили, и сколько жили – столько же и гадали: что же им выпадет? счастье? судьба? доля? – но выпадал только снег, безответственный снег, надсадный...

Надо ж так! Выпадают осадки на сад – да в ад попадают. Гойя еси, добрые молодцы и молодницы. Гойя! Чудовищный сон. Черновик вздоха. Жертвенник, опрокинутый в бездну...

Постучим по дереву.

«...эта бездна дерева, бревнистость Древней Руси...» Так русско-

язычный Абрам Терц говорил инакомыслящему в Париже Андрею Донатовичу Синявскому. Но, возможно, обмен мнениями был наоборотным: Андрей – Абраму.

Завидуя, выражаемся: «Японский бог! И до чего ж они богаты, эти вечно улыбающиеся черноволосые люди в кимоно!»

Выражаемся, завидуя, – и не принимаем всерьёз: не тойотами и не татами богаты эти кимоношные островитяне, не «Сони» и не соевым соусом в чашке риса, нет! – обильны духовностью и островной особью культурой, боготворящей каждую пядь родящей земли, каждую струйку, каждую капельку пресной воды, каждую клеточку неба, отражённую сетчаткой восхищённого глаза...

*Как ноги сполоснуть?
Я замутишь не в силах
Прозрачную волну.*

И вот живёт и прижилось крепко-накрепко: при-над-лежность. Его «лежачая» сущность то воспаряет над кем-то или чем-то, то прилежно семенит на поводке, впристяжку.

Ещё забавнее: «Искусство принадлежит народу!» Летучий категоризм суждения равнозначен приговору арбитражного суда, кой обжалованию не подлежит.

Можно, конечно, потешиться и над Ильичом в роли рулевого, и над последующими «вопросами языкознания». Но прежде – посоветуемся с небесами.

Кому принадлежит искусство Творца как создателя природы? Конечно, Творцу. Кому, в таком случае, принадлежит природа? Естественно, ему же. А кому принадлежит Море? Безусловно, Творцу.

Вот и складывается суждение бесчеловечное: и до людей природа была хороша, и без юных мичуринцев наливались земным соком плоды, и без орнитологов пели птицы, и вулкан для природы – не изверг, и упавшее древо, обугливаясь, вызревало в алмаз... То есть, говоря безыскусно, искусство Творца могло и может вполне обойтись без зрителя, читателя, слушателя, а природа – без пожирателей, классификаторов, шахтёров, вахтёров, тигроловов... Но есть ли смысл в такого рода состоянии природы? Человеческого смысла нет. Человек краткий, как точка над *i*, заранее не привык к безмолвию и видит мир разлинеенным в таблицу, увы, не умножения и сложения, но вычитания и деления. Значит, есть разница между тем, кому принадлежит природа и для кого она предназначена. Природа, исходя из Творца, ему же и принадлежит, но предназначена для человека, однако не всякого человека, не того, кто ест азот, пьёт мазут, дышит перегаром, и кроны обкорнал, и корни укротил, и в безудержном беге собственную тропу обогнал, и бога обогнул мимоходом... Природа предназначена для человека, сначала познавшего самого себя, а уж после этого став-

шего разумным, хотя бы настолько разумным, чтобы жить в согласии с самим собою, то есть – не над, не под, не выше, не ниже, но на более-менее приличном уровне.

А уровень Моря – чем не точка отсчёта?

И вот, значит, является в райцентровский ЗАГС молодка с дитём на руках.

– Как папашу запишем? – спрашивает регистраторша.

– Да ну его в жопу, – отвечает молодка. – Обойдёмся!

– Без папаши, натворившего дитё, у нас не положено. Творец есть творец, девушка. Отец, значит. Такой порядок.

– Ладно. Записывайте. Это Петька из Гниловой Пустыни.

– Ой, опять Петька? Вот же ж интересно ж! К нам сюда за отчётный месяц уже приходили Катька из Кукуречки, Манька из «Заветов Ильича» и Елизавета Степановна из Крюкова, и вот теперь, надо же, ты! И все в папаши того Петьку из Гниловой Пустыни записывают! И как это у него получается, что на весь район?

– Как, как... У него ж лисапет!

Волнуется Море не напрасно, не случайно, не зазря.

И встала жаль на берегу Моря в обличье женском, вся в чёрном, лицом древняя, а глаза молодые, чистые, чёрные и ясные, словно день и ночь в одних её глазах разом сошлись изо всех пространств земли, изо всех лет и времён года.

LXXVIII

Изо всех времён года самые противные это утро и понедельник, тем паче – утро понедельника.

Но режиссёр кинохроники Арнольд Бефстроганов уже в шесть часов утра был на ногах, восстав с постели на правую, безукоризненно работоспособную. В семь часов он оказался в студии и жизнерадостно покрикивал на своего помощника, молодого человека кинематографической наружности по фамилии Протарзанов и по имени Жан, загрузившего потасканную аппаратуру для внепавильонной съёмки и прочий скарб в тарахтящий уже «Москвич-412». Оператор Виссарион с камерой на коленях уже давно и, что характерно, безглаголиво сидел в машине.

– Живо! Живо!

Арнольду срок отмерили: один световой день. В конце светового дня киносюжет на тему «Свободный труд и культурный отдых хибаровчан – претворение в жизнь Советской Конституции под руководством КПСС» должен упорхнуть в телеэфир.

В крайкоме партии сам товарищ Краснопресненский-Крестовоздвиженский накануне напутствовал Арнольда. Впрочем, в на-

путствии ничего нового, свежего и оригинального не содержалось, схема обычная, накрученная: рабочий класс, колхозное крестьянство, трудовая интеллигенция, профсоюзы как школа коммунизма, славные советские женщины, воины – доблестные защитники социалистического Отечества, подрастающее поколение, ветераны и пенсионеры – и вся эта масса в немеркнущих красках соцсоревнования, нацвопроса, культотдыха, патриотизма, повседневного многофункционального быта... Вопросы есть? Вопросов нет. На один световой день – чрезвычайный крутёж, вертёж и умственно-физическое напряжение. Только бы плёнки хватило. И бензина. И ещё чего-нибудь непредвиденного...

– Живо, живо! В восемь часов мы, как штык, должны трещать кинокамерой перед лицом рабочего класса! Танки, вперёд!

8.00

– Виссарион! Дай панорамку! Пошире забирай! Слева направо... справа налево... медленно, торжественно... Отрази наглядную агитацию! Стенд! Фотографии! Крупный план! И чтоб ни одной буквы не пропустил! Галерея участников-передовиков передового участка №2 фронта борьбы за образцовое строительство ЖКХ коммунистического быта... Камеру – на меня! Товарищ бригадир, ко мне! Бегом! Это чьи чёрные «Волги» стоят на участке?

– Это наши машины, кровные. Документы имеются. В полном порядке. А что?

– Значит, констатируем с удовлетворением: за достойный труд достойная зарплата! Сколько человек в вашей строительной бригаде?

– Двое. Плюс я.

– Три строителя на такую огромную стройку?

– Три. Справляемся. Не пьём, не курим.

– И три «Волги» ваши?

– Наши. Законно купили. Показать документы?

– И вы все втроём, как я вижу, в шевиотовых костюмах и при галстуках. Облик современного рабочего?

– Культурность, называется.

– А кто там на этажах с кирпичами возится? Жёлтые какие-то... Китайцы, что ли?

– Что вы! У нас маоизм не пройдёт! У нас вьетнамцы. Интернациональная помощь. Добровольцы.

– И сколько же их тут?

– По восемь штук на каждого советского рабочего!

– Братская, значит, помощь и сотрудничество. Вы им платите зарплату или как?

– Да по разному. Они ж много не берут.

– А они довольны?

– Ещё как! Им рупь дай, так они и рублю радые.

- Что вы ещё можете сказать в микрофон?
- Да чо говорить-то? Работать же надо! Как говорится, ударно пахать и пахать.
- Нет, нет! Вы скажите! Скажите для истории ещё что-нибудь менее суровое и более лиричное, как-нибудь этак так задушевно, задумчиво...
- От себя?
- Разумеется.
- От себя не могу. Не привыкши.
- Тогда держите бумажку... Жан, бумажку ко мне! Держите бумажку и глазами читайте, а губами говорите громко и с выражением... Виссарион! Крупный план! Лицо бригадира! Камера пошла-а-а... Ну!
- В моей родине эсэсэсэр солнце встаёт с трудом...
- Прекрасно! Побольше чувства! Теперь рукой показывайте на строящийся дом – и стишок! Ну!
- Пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм! Всё?
- Спасибо. Всё. Теперь моё слово... Камера, на меня! Раз, два, три... раз, раз, раз... Пошла запись. Едва лишь луч пурпурного заката осветил горизонт, а бригада коммунистического труда уже на трудовой вахте, на лесах новостройки. Растут этажи прямо на глазах! Строители взяли на себя повышенные социалистические обязательства и успешно их выполняют. Взгляните на спокойное и мужественное лицо бригадира строителей. Оно спокойно и мужественно, как никогда. Ещё два-три световых дня – и корпус нового жилого дома вознесётся к небу, и не за горами тот счастливый световой день, когда счастливые новосёлы заселят этот светлый дом и будут светлым словом и вечной памятью вспоминать тех спокойных и мужественных людей, которые подарили людям незабываемую радость новоселья. Стоп! По машинам! Танки, вперёд!

8.30

- Чего тут снимать, шеф?
- Панораму! Панорамочку дай, Виссарион! Травка зелёнькая... коровки пасутся... Эй, товарищ! Будьте любезны, подойдите к нам! Здравствуйте, мы из кинохроники. Арнольд Бефстроганов, режиссёр. Как вас звать-величать?
- Ерусалимыч.
- Просто Ерусалимыч?
- Сугубо просто.
- Очень хорошо. Задушевно так, мягко, по-деревенски. Вы, конечно же, сельский житель?
- М-м-м... Промежуточный.
- В смысле?
- Проживаю в смычке города и деревни.

- Вы взволнованы?
- Я возмущён!
- Это серьёзное чувство. Недостатки в смычке? Недоработки в сельском хозяйстве?
- На кладбище.
- Серьёзная смычка. Что случилось, товарищ?
- Какой-то идиот деревянный плакат выставил.
- Так, так...
- На плакате объявление.
- Озвучьте.
- Рвать цветы только на своей могиле.
- О!
- Трио!!!
- Как говорится, смертью смерть поправ, не так ли? Даже у смерти советских людей есть неповторимое чувство юмора.
- Шли бы вы лучше отсюда, ребята... Неудобно мне. Смерть уважать надо. А если нет, то и жизнь ни в грош.
- Мы согласны. Но позвольте, уважаемый Ерусалимыч, ещё один вопрос, в крайнем случае, два. Как тут жизнь у товарищей колхозников и совхозников?
- А где вы тут колхозников видите?
- Да вон же... коровки же пасутся...
- Коровки и без колхозников могут пастись. Сами по себе. А что вы хотите, товарищ режиссёр Арнольд Бефстроганов? До деревенской жизни интерес? Так тут деревень нету. Одна есть, да и та далеко, в сторону Моря. В прошлом месяце мне оттуда письмо с оказией привезли. Пишут, что живут ещё.
- А ещё что пишут?
- Дак ведь как из деревни-то письма пишут? Обычно пишут. Полдеревни своей поимённо упомянут, с приветами и поклонами, никого в том реестре не забудут, забывать нельзя, обида выйдет...
- А новости?
- Я ж говорю вам, что в прошлом месяце. Значит, не новости уже, а старости.
- Интересно! Будьте любезны, если не секрет...
- Пожалуйста. Живут себе дед-пасечник со старухой. Всю сознательную жизнь газету «Правда» по складам читали. А тут к ним в прошлом году электричество протянули. И вздумали старики эстонский радиоприёмник купить. Купили. Воткнул дед вилку в розетку на двести двадцать вольт, и из приёмника дым пошёл. Бабка спрашивает; ну, и чо? долго ишо ждатель? А дед отвечает: ты чо гонишь-то! всю жись без радива жила, а тут распонужалася! потерпи! щас там покурят, а потом чо-нить и скажут, про погоду, например...
- Ну, я не знаю... То ли смех, то ли горе...
- Жизнь, товарищ режиссёр.

– Это верно. Это вы справедливо заметили. Спасибо... Виссарион! Дай крупный план! Раз, раз, раз... Пошла запись. Мы видим спокойное, мужественное лицо сельского труженика наших необозримых полей. Едва лишь луч пурпурного заката осветил румянцем далёкий горизонт, а сельский житель уже на свежем воздухе занят своим привычным производительным делом, вносящим скромный вклад в продовольственную программу, выработанную нашим правительством под руководством Центрального Комитета Коммунистической партии. Стоп! По машинам! До свидания, товарищ Ерусалимыч! Танки, вперёд!

9.15

– Товарищ вахтёр, мы с кинохроники.

– И чо?

– Мы хотели бы снять сюжет о научной деятельности сотрудников Института шкурководения.

– И чо?

– Нам нужен директор института!

– Щас. Позвоню... Товарищ директор? Тут в проходной с кинохроники толкуются с киноаппаратами... Послать? Прямо к вам? На фиг? Понял. Так и сказать? Не, я так не могу, товарищ директор, по-интеллигентскому чтобы, как вы... Понял! Так точно!.. Так что, товарищи с кинохроники, занятый товарищ директор. Сказал, лучше завтра приходите. А лучше чтоб вообще не приходили. Потому что некогда нам тут с вами всякие кины разыгрывать...

– Надо же, га-а-а-вно какое! Правильно Ленин про таких интеллигентов выражался... Пошли отсюда к чёртовой матери! Виссарион-он! Камера! Я в кадре! Крупный план! Я стою на фоне фасада здания Научно-исследовательского института шкурководения крупного рогатого скота. В самом разгаре напряжённый трудовой день у старших и младших научных сотрудников этого серьезнейшего заведения в системе Академии наук. Люди в белых халатах склонились над микроскопами и замерли над таблицами научных наблюдений. Не будем же им мешать. Впереди у них – новые открытия, невиданные достижения. Всё! По машинам, кинематографы и графини! Баб искать! Танки, вперёд!

9.30

– Виссарион, почему ухмыляешься, тем более брезгливо?

– Утро красит нежным светом.

– И что, что красит?

– Утро же!

– И что, что утро?

– Утро, шеф, это есть самое уязвимое время суток для женщин. Особенно, для стареющих. То есть, после двадцати пяти.

– Не мудри, Виссарион. Магазины уже открыты. Вперёд!

– Водку дают только с одиннадцати, шеф. Грех не помнить.

– Не водка! Ищем женщину!.. Добрый день-хороший час всем работникам прилавка! Как вы сегодня прекрасно выглядите, девушка! Представьтесь, пожалуйста.

– Роза Васильевна Куропятова. Можно просто Розалинда. Вы от кого, мужчины?

– В смысле?

– Вам чо надо?

– Нам? Нам ничего не надо, девушка Розалинда. Это вам надо! Видите кинокамеру? Хотите сниматься в кино?

– Ой...

– Что с тобой, прелестная?

– Правда?

– Вот те крест, любезная Розалинда, истинный, животворящий!

– Тогда я щас... одну секундочку... только до зеркала добегу и мигом обратно...

– Стойте! Замрите! Вы прекрасны, как никто! После зеркала вы ещё хуже будете!

– Вы так считаете?

– Я так вижу профессиональным глазом. Сейчас, сию же минуту вы войдёте в кадр и будете говорить...

– Об чём?

– Об трудовых буднях. Виссарио-о-он! Крупный план! Поехали! Ну!

– Я люблю свою работу... Я работаю давно... У нас тут дружный коллектив... И заведующая прямо как мать родная... Но есть напряжёнка с базой горторга... Там Трофимова заведующая и наш магазин зажимает... А у самой полные руки в золотых кольцах... И ещё норковая шуба и вторая из шиншиллы! Откуда и по какому благу? Я точно знаю, что такие шубы есть только в Москве и то не всем, там у меня свояченица живёт она в поликлинике работает то есть работала до прошлого года пока у неё самой полиартрит не нашли а муж стал ухлёстывать налево...

– Стоп! Спасибо! На выход, господа кинщики! Танки, вперёд!

10.20

– Шеф, а шеф?

– Чего такое, Жан-баклажан?

– Да я вот думаю: спросить или не спросить? Для обмена опытом...

– Спрашивай.

– Вот вы в институте шкуроведения про научную интеллигенцию слово «говно» сказали через букву «а». Это спорный момент. Потому что Ленин выражался через «о». Я читал лично.

– Через букву «а» это моё личное ноу-хау. Так звучит выразительней. Скажешь «гавно» – и как будто собака гавкнет и по-

следовательно тяпнет за ляжку. А ленинская грамматика мне не указ. Она в смысле моего гавна черезчур мягкотелая. Понятно?

– И даже убедительно, шеф. Спасибо.

– На здоровье. На углу тормознём. Милицейский пост. Защитники Отечества. Делаем сюжет и гоним к профсоюзам, в школу коммунизма. После чего в детсадик заглянем...

12.20

– Виссарио-о-он... ты это... ты тихонечко... чтобы не спугнуть... методом скрытой камеры... тихо! Запись пошла...

– А мой-то мудака вчера домой пришёл! Гос-с-поди! Опять нажрался, как свинья! Я ему прямо в лоб говорю: всё, кончилось моё терпение, уезжаю к маме...

– Да они ж, Маруся, все пьют, эти мужские сволочи...

– Ну, пьют! Пусть пьют! Дак мой-то мудака ещё и супу просит! Дай, говорит, чо-нибудь поисти! Гос-с-поди... Нет, с меня хватит! Уеду к маме! У неё сколь угодно мультиков посмотрюся, хоть днём, хоть ночью, без разницы...

– Какой у неё телевизор-то? Цветной?

– А мне без разницы.

– А мои родители боятся мультиков.

– Ненормальные какие-то...

– Наверно. Представляешь? Только мультики начинаются, так они спрячутся под одеяло и трясутся, и трясутся... Гос-с-поди, какие всё ж таки недоразвитые...

– Стоп! Виссарио-о-он! Камеру – на меня! Я в кадре! Крупный план! Запись пошла... Эти две славные девочки-крохотулечки, как и положено девочкам, играют во взрослых мам. О чём они говорят между собой, эти прелестные девчушки? Мы не знаем. Но мы уверены, что их сердечки не отягощены заботами старшего поколения. Счастливое детство год от года всё счастливее, потому что оно в надёжных руках нашей партии. Так пусть же играют девочки по всей нашей стране, подражая своим любящим мамам! И нас вряд ли огорчит даже то обстоятельство, что эти крошки, играя, вздыхают так по-женски: хоть бы не было войны... Стоп! По машинам! Танки, вперёд! К ветеранам и пенсионерам!

13.50

– Так сколько же лет, Виктор Васильевич, вы уже находитесь на заслуженном отдыхе?

– Уж десять. Имею две медали. Одну за войну, а вторую после.

– Как вам живётся в новой роли, так сказать, заслуженного дедушки? Не тоскливо без коллектива? Не страшновато?

– Чо-то ты херню несёшь, парень. Не страшно быть дедушкой. Страшно спать с бабушкой.

– Не понял...

– И я сначала не понял. А потом взял и снова женился. На молодой. Двадцать лет девке, ишо даже нераскупоренная.

– Виктор Васильевич, это очень личный пикантный сюжет! Но если вы желаете рассказать о своём опыте... Значит, новой жене двадцать лет. И что дальше?

– А дальше она стала беременная и потащила меня к врачу проверять наследственность здоровья. Врач был по сексу. Смотрит на нас обоих, как козёл на огород. Особенно на неё пялится и незаметно глазом кивает. Я понимаю его, девка-то красивая. Он её за дверь выставил и меня жалеть начал: вы, говорит, конечно, преклонного возраста, прямо как али-баобаб, но это не беда, да, говорит, заведите подходящего тайного дублёра для супружеского долга. Я говорю: ладно.

– А дальше?

– Куда денешься, если врач советует? Завёл дублёра. Тоже двадцать лет. И тоже забеременела.

–

– Чо ж поделаешь? Малость неправильно сказал доктор про меня, что баобаб-али. Бабоёб на самом деле. Но по-медицинскому у них нету такого слова...

– Стоп машина! Виссарио-о-он! Исчезаем! А то я лопну...

14.45

– ... культурный отдых трудящихся. Что скажет нам по этому поводу директор зоопарка?

– Наши трудящиеся в общем и целом любят животных. Но встречаются отдельные некоторые, которые любят их пожирать. Например, тайно украли и убили на свои гуляши и котлеты нашего ослика Осю, который совсем ручной и катал детей в коляске. Это ж поразительное варварство, товарищи! У меня нет слов!

– Действительно, позор. А скажите, Богиня Фёдоровна, вон там, на мостике, козёл стоит... Он тут у вас как? Ручной? Вольноотпущенный или работает, как в цирке?

– Это Пётр. Его посетители зоопарка ещё Вахтёром зовут.

– Очень похоже. На шее верёвочка, на верёвочке большая рюмка болтается...

– Это наша недоработка. Это посетители Петра приучили к алкоголизму. Искусственный рефлекс. Пётр в результате без рюмки водки и на закуску пожевать папироску никого через мостик не пропустит. Испортили нам козла... Козлы!

– Благодарю вас, Богиня Фёдоровна, за откровенный разговор... Виссарио-о-он! По коням!

К 15 часам 30 минутам москвичовские лошадиные силы вынесли

четвёрку человек мужского пола к учреждению под названием Планетарий.

– Киноплёнки мало, – сказал режиссёр Бефстроганов, – бензина мало, времени мало.

– Совершенно верно, – поддержал шефа помощник его Жан Протарзанов.

– Ездим, ездим, – сказал шофёр, – а чего ездим?

– А также, – согласился со всеми оператор Виссарион, – утроба у mine уже утомлённая, как объявила одна баба в книжке писателя Бабеля.

В Планетарии Бефстроганова хорошо знали, частый гость, впрочем, с некоторыми странностями, не относящимися к астрономии: приходил он, как правило, во внеэкскурсионном порядке, предпочитал одиночество в пустом зале и созерцал круговращение звёздного неба без звукового сопровождения и в лежачем положении, на полу, руки под голову, случалось, даже засыпал под наглядным кружением небосвода и объяснял своё поведение электрическим словом «подзарядка».

И на сей раз – точно так же, но уже вчетвером.

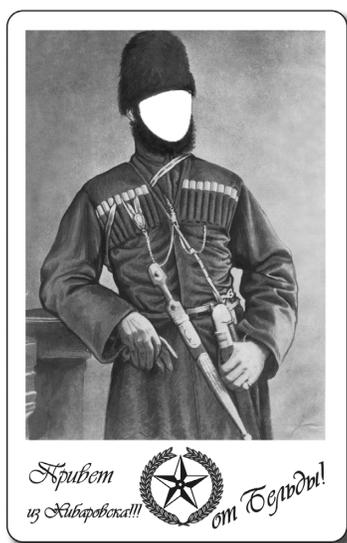
В 17 часов 30 минут посетители аккуратно покинули помещение, причастившись небесных тайн вселенной.

18.00

– ...мы идём по Набережной Куды. Мимо нас проходят горожане, возвращающиеся с работы, спешащие в свои благоустроенные квартиры со всеми удобствами и современной планировкой. Там их ждут семьи. Дети кричат и прыгают: папа, папа! мама, мама! Вот молодые мамы вышли на Набережную с детскими колясками, в которых безмятежно посапывают и почмокивают будущие строители коммунизма. Над нами мирное небо, и куда ни бросишь взгляд, всюду невольно натыкаешься на улыбки людей. Кстати, об улыбке. Своё право улыбаться, даже на таком серьёзном документе, как советский паспорт, отстоял молодой хибаровчанин Ваня Ивантеевский. Когда он принёс своё улыбающееся фото в районную паспортно-визовую службу, там его не поняли. «Улыбаться будете дома», – сказали ему в краевом Управлении паспортно-визовой службы, куда райотдел переправил Ваню. Там с ним вели продолжительные беседы, убеждали перефотографироваться, но Ваня стоял на своём. Оказывается, в «Инструкции о порядке выдачи, замены, учёта и хранения паспортов гражданина СССР» ничего не говорится о том, что нельзя улыбаться на фото для документа. В итоге придаться к фото у паспортников не получилось. Паспортно-визовая служба Прибрежного района города Хибаровска была вынуждена вклеить в паспорт фото улыбающегося Вани Ивантеевского: что не запрещено, то, значит, разрешено. А вот, товарищи, и павильон фотосалона с романтическим названием «Фоталист», подходишь поближе – и сразу герой нашего времени ощущается. Здравс-

твуйте, товарищ фотохудожник. Представьтесь, пожалуйста, нашим кинозрителям.

- Здрасьте. Бельды.
- Это на каком же языке вы приветствуете кинозрителей?
- Это не на языке. Это меня зовут Бельды. Чукчи мы.
- Очень, очень приятно. Скажите, в эти летние дни много ли у вас клиентов?
- У нас много клиентов.
- И у всех, надо полагать, хорошее настроение?
- У всех хорошее настроение.
- И наверняка море улыбок?
- Наверняка море улыбок. Хотите на память?
- Нет, уважаемый Бельды, мы фотографироваться не будем. У нас много работы, спешим.
- Тогда трафаретку возьмите. На память. От Бельды.
- Спасибо... Виссарио-о-он! По коням!



(Внимание, граждане! Через несколько часов Арнольд Бефстроганов подарит эту картонку Сочинителю и грустно присовокупит к презенту: какой простор! и чукча-фаталист, и джигит Кавказа! На что Сочинитель ответит с некоторым ехидством, но всё-таки с пониманием основ фотоизобразительного искусства: и Абрам не Абрам, ежели его не обрамить аккуратненько и со вкусом. При этом Сочинитель возложит подарок на чистый лист дефицитной машинописной бумаги иностранного производства (Paper intelligence, 80g/m²) и уплывёт в бесплодные мечтания: будто бы ненавязчивой репликой в сторону будущего своего читателя подбадривает и провоцирует – дескать, смотри – не смотри на эту страничку – а всё

равно птичка не вылетит, чуда не будет, фокус не случится, но ты, дорогой, не будь дураком, бери ножницы, вырезай из паспорта свою фотоличность и вклеивай в пустоту, в белое невинное пространство самого себя на память о самом себе самому себе и тому, кто, возможно, будет читать эту книгу после тебя, возможно, тыкать пальчиком и серьёзно радоваться: а это мой дед! – так что, добро пожаловать на страницу, и будьте здоровы, живите богато, приятного аппетита, спокойной ночи и доброго утра, и счастливо оставаться вам всем...)

19.30

– Дело к концу, друзья мои. Нам бы ещё один сюжетик отработать: что-нибудь из художественной самодеятельности, из народного творчества и традиционных промыслов. Есть предложения?

– Можно сказать?

– Нужно, Жан-баклажан. Имеешь наводку?

– Имею любопытную женщину на примете в вашем ракурсе. Она в своё время в райкоме партии на культуре сидела, а сейчас на вольном промысле, вроде как в Союзе художников.

– Где живёт?

– Рукой подать.

– Как звать?

– Вандея Властьевна Попадейкина.

– Вперёд, к Вандее!

19.45

– ...вы же понимаете, товарищ режиссёр, что никак нельзя, прямо-таки невозможно стать героем в результате агитации и пропаганды с утра до вечера.

– Выходит, Вандея Властьевна, что предстать героем можно даже, извините, в кальсонах?

– Выходит. И вы напрасно извиняетесь. Всё зависит от ракурса партии.

– Хорошо. Большое вам спасибо. Не могли бы вы рассказать о ваших сегодняшних устремлениях?

– Извольте. Я безвозмездно, подчёркиваю безвозмездно, оказываю консультационные услуги гражданам нашего города. Как партийным, так и беспартийным. Перед Конституцией все равны. Скажу без лишней скромности, имею определённые достижения, успех и авторитет. Видели на лестничной площадке очередь?

– О, да! А мне не окажете услугу?

– С удовольствием.

– Это не хлопотно?

– Это не ваша проблема. Давайте начнём. Итак, ваш вопрос?

– Вопрос простой: как жить?

– Прекрасно. Я гадаю на Полном Собрании Сочинений Владимира Ильича Ленина из пятидесяти пяти томов. Какой том выбираете?

– Можно любой?

– Любой из пятидесяти пяти.

– Тогда давайте последний. Пятьдесят пятый!

– Великолепно. Называйте страницу.

– Триста сорок первая.

– Строка?

– Вторая.

– Снизу или сверху?

– Сверху.

– Отлично. Вот вам ответ на ваш вопрос о том, как жить: «сбачиться надо было. Народ тут испорченный».

– Неужели?

– Вы не верите Ленину?

– А можно ещё вопросик, Вандея Властьевна?

– Мы с Владимиром Ильичом на все вопросы ответим. Прошу.

– Что можно считать истиной?

– Том?

– Пусть будет тот же. Чего ходить туда, сюда...

– Страница?

– Триста двадцать вторая.

– Строка?

– Седьмая сверху.

– Отвечаем: «гостинец от вас – рыбу, икру, балык. Merci большое.

Едим».

– Я дурею. Что же будет?

– Страница?

– Сто пятьдесят четыре.

– Строка?

– Четвёртая снизу.

– Запоминайте: «Насчёт ружья ты опасаясь напрасно. Я уже».

– Чудовищно! Извините, до свидания, Вандея Властьевна, прощайте... Виссарион! Удаляемся... тихо, без шума... не будем духов и призраков тревожить...

– На цыпочках, что ли?

– Ползком! По-пластунски! Да выключи ты камеру, едрёна матрёна!

19.45

– Закадровый текст будет такой, – сказал Бефстроганов. – запиши, Жан. Даже уйдя на заслуженный персональный отдых, ветеран партии Вандея Властьевна Попадейкина продолжает углубленно изучать произведения Ленина и пропагандирует его неувядающее теоретическое наследие своим гостям. Всё! Голова трещит. Вы езжайте в студию,

готовьте материал в эфир, а я ненадолго домой заскочу, потом подъеду со своей озвучкой...

19.50

В дверях стояла жена.

Голая.

Стояла и дрожала.

Дрожала и как-то так протяжно, томно, с сексуальным акцентом говорила:

– Ну-ну, голубчик... Проходи, не стесняйся... Мы сегодня обновим наши интимные отношения...

В руках бельевая верёвка.

– На, голубчик, свяжи меня! И делай всё, что хочешь!!!

Арнольд связал.

И пошёл.

– Куда-а-а? – неслось ему вслед. – Стой, подлец!

Куда, куда... В «подберёзовики»! Вот куда. Не в пивнушку же... Чего он там не видал? Шум, грязь, дым, мухи – и те пьяные и ведут себя, как аналогичные мужчины, а мужчины рассуждают, отчаянно жестикулируя, что в стране ещё очень много бессмысленных вещей, например, реклама водки и колбасы, кто придумывает эту бесчеловечную рекламу? но ему, может, придумывать по должности положено! ах, если положено, так пуцай и лежит! чего лежит? а чего положено! но ведь кто-то же вычавкивает наши богатства из закровов Родины! не волнуйтесь, что имеем, то имеем, мы имеем государство, государство имеет нас! в каком смысле? во всех смыслах этого дивного имманентного слова! в том числе и? в том числе! но Родина же слабеет от того слова, а если вдруг война? как там насчёт войны, что слышно? а это вы в Москве узнавайте, в Кремле, там есть Юсуповский дворец, его великий князь своей любовнице подарил, стрельчатые окна, решётки, парсуны первого царя Михаила Романова, Екатерины Второй, наипервейшей поблядушки, а теперь под теми парсунами сидят слуги народа и рассуждают, твари: есть светлое будущее у колхозов или покуда ещё гой еси?..

Две светлых чекушечки выдули Бефстроганов и Сочинитель под брезентовым укывищем, в надёжной темноте и тишине разорённого «Запорожца».

И вдруг – точно электротоком дёрнуло Арнольда: киносюжет в вечернем телеэфире!

«Кровь из носу!» – приказал товарищ Краснопресненский-Крестовоздвиженский.

Верный Жан Протарзанов даже в отсутствие шефа выполнит приказ партийного руководства: выдаст материал для эфира.

А – озвучка?

Догадается или не догадается Жан-баклажан?

Микрофон же оператора – это ж одно!

Диктофон же режиссёра – это ж другое!

А диктофон-то где? В кармане пиджака, там же, где и ключ от квартиры.

А пиджак-то на вешалке так и остался висеть, подлец, покуда Арнольд верёвку мотал на извращённую жену.

Мотал, мотал, замотал и пошёл под возмутительные возгласы, и дверь сердито захлопнул, и надёжно щёлкнул самоновейший французский замок.

А пиджак-то с ключом на вешалке.

А в пиджаке, в левом боковом кармане – диктофон, мерзавец, с правильной, от режиссёра, озвучкой киносюжетов!

И тут беги, не беги... прыгай, не прыгай по лестнице через две ступеньки – хрена! лежит, как миленькая, жена, связанная по личной просьбе, крепко упакованная, не выпутается, не встанет открыть изнутри дверь по звонку...

Тупо уставился в дверь Бефстроганов, запыхавшийся, задохнувшийся.

Бронированная же!

Это жена поставила новую, взамен старой, после ошибочного взлома сантехниками той двери, прежней.

И эту лбом не прошибёшь!

А за дверью ж – вешалка, пиджак, в пиджаке ключ и диктофон в левом боковом кармане, жена умотанная, к двери не подойдёт, а за дверью-то вешалка, на вешалке пиджак, замкнутый же круг, чёртово колесо, лента Мёбиуса, опять двадцать пять...

Протарзанов же молодой ещё! Неопытный! Неискущённый! Не дай бог, пустит в эфир операторский микрофон...

Что будет?

Пнул дверь Бефстроганов.

Щёлкнул замок. Открылась дверь. Жена на пороге. В халате. Улыбается, змея.

– А тебя по телевизору показывают... Ухохочешься!

Арнольд вышел на лестничную площадку.

Сел на ступеньку. И взвыл.

И взыв тот ринулся спиралью вверх по этажам, раскруживаясь, подобно освобождённой от груза пружине, и набирая в пустоте гулкую мощь, трубную силу, выше и выше, и выше крыши, и, вонзившись в низкие небеса, загрохотал оттуда самопальными раскатами самодельного грома.

.....

В 1957 году известный американский психолог, член Американской

ассоциации психологов и Американской ассоциации по изучению рынка Джеймс Вайкери провёл ряд опытов в кинотеатрах города Нью-Джерси. Вайкери установил в кинотеатре дополнительный проектор, с помощью которого во время показа фильма на экран также проецировались фразы «Пейте кока-колу» и «Ешьте попкорн». Эти ключевые фразы демонстрировались на экране так быстро – всего 1/300 долю секунды! – что человеческий глаз просто не мог их заметить. Человек не сознавал, что он видит это изображение. Тем не менее Вайкери был уверен, что эта информация будет уловлена подсознанием, минуя сознание. Результаты опытов с блеском подтвердили это предположение. На тех сеансах, где работал дополнительный проектор, продажа кока-колы в буфете кинотеатра увеличилась на 17%, а продажа попкорна – на 50%.

Оказалось, что эффект 25-го кадра – очень мощное средство внушения. При многократном повторе информация, заложенная в 25-м кадре, прочно укрепляется в подсознании и при использовании специальной методики занятий может быть выведена на сознательный уровень.

Человеческий глаз способен сознательно воспринимать только 24 кадра в секунду, а добавленный 25-й, с ускорением просмотра плёнки, незаметен глазу. Он воздействует на подсознание. Информация, которую несёт 25-й кадр (это может быть как текстовая форма, так и изобразительный ряд), остаётся в голове надолго.

Многие рекламные ролики, до появления закона о 25-м кадре, содержали в себе информацию, о которой зритель даже не подозревал.

.....

Уж поздно ночью в квартире Арнольда Бефстроганова раздались два звонка: дверной и телефонный, мать их в душу...

LXXIX

В душу проникают элементарно!

Технология примитивна до неприличия.

Нет дыма без огня.

Нет огня без протопоба.

Нет протопоба без прототипа.

Нет прототипа без раскола.

Нет раскола без колокола.

Нет колокола без колокольчиков.

В итоге: поэтов больше, чем поэзии. А ежели это так, то значит, и не будет войны с турками!

Конечно, турки – не более чем шутка, однако во всём ряду рассуждений, в этакой поленице дровишек, предшествующих шутке, нет ни тени улыбки.

Приблизительно вот таким образом мог бы объяснить душевую и подушную, душевную и духовную интервенцию с оккупацией товарищ Аграфён Ильич Басистый. Другое дело, что собеседников, бестолковых и непонятливых, у Аграфёна Ильича нет и не предвидится, и объясняться не с кем и незачем, и посему можно улыбнуться.

Но попробуйте, однако, в публичной бане, например, или в плацкартном вагоне пассажирского поезда дальнего следования демонстративным молчанием проигнорировать задушевный вопрос: так где же вы, дорогой товарищ, работаете? на каком-таком поприще трудитесь, вкалываете, ищачите, тянете лямку, пашете, бурлачите или служите Отечеству? Нехорошо выйдет. И отодвинется от вас с понятным подозрением – как однополое окружение, так и противоположное. Впрочем, Аграфён Ильич не позволял себе демонстраций, не ходил в баню и избегал долговременных поездов с попутными разговорами, вообще, фигурально выражаясь, являл собою ярко выраженный тип интроверта (см. какой-нибудь подходящий словарь) со всеми вытекающими из этого типа особенностями. Но если всё же вопрос о рабочем месте грозил ребром, то Аграфён Ильич застенчиво улыбался и отвечал с трудноскрываемым достоинством: «В текстильной, товарищи, промышленности» – и всё, вопрос исчезал, и все присутствующие при оном беззастенчиво улыбались, и считали Аграфёна Ильича своим в доску и в стельку, и с миру по нитке возникал соответствующий моменту мануфактурный интерес: текстиль, как правило, отечественного производства и, за редким исключением, зарубежного, в полосочку и в клеточку, в горошек, с цветочками, с ворсом и без ворса, костюмный и пóльта шить, и шёлк с крепдешинном, и ситчик с сатинчиком плюс модный вельвет, а ещё пан-бархат и какой-то неосвязаемо-незримый мадаполам – пополам с чудесами Али-бабы и сорока разбойников, восклицательное «зашибись!» от Радж Капура, короче, призрачный джавахарлал нерусь, которым в наших суконных краях ни одна живая душа не отоваривалась, ни одна мёртвая – не обряжалась, поскольку никто и в глаза днём с огнём не видел эту метафизическую материю как потусторонний идеализм на прилавках и под оными даже столь крупного торгового предприятия, каким является универмаг коммунистического обслуживания №1 «Промтоварищ»; конечно, обидно, но терпим, терпение и труд всё перетрут к чёртовой матери...

Аграфён Ильич молча выслушивал такие и подобные таковым комментарии с мудрым смирением ветхозаветного Иова (см., если сыщете, Библию, желательно в переводе на рус. яз.).

На другой общественный интерес, распространённый не менее, чем вышеприведённый, а именно: «Как здоровье?» – Аграфён Ильич отвечал: «Вскрытие покажет» – и вопрошальщики покатывались со смеху, воспринимая услышанное как изящный анекдот в тему из анатомического театра. А, между тем, Аграфён Ильич вовсе не шутил, не балагурил, он говорил абсолютно искреннюю правду, хотя и улыбался

при этом многозначительно, и здоровье нации, морально-политическое в первую голову, превозносил гораздо выше своего собственного, личного, нервно-психического и физического с пошлыми насморками и прострелами в поясницу.

Итак, что такое Аграфён Ильич Басистый?

Аграфён Ильич Басистый, человек с перламутровыми глазами, большой аккуратист и любитель тишины с грузинским чаем «Экстра» краснодарской расфасовки (в жестяных коробочках который, ГОСТ 5.1917-73, Росдиетчайпром МПП РСФСР, масса нетто 100 гр.)... он же – сова и крот (собственно и нарицательно), серая мышка и кошканивидимка (в фигурально-переносном смысле). И не работа у Аграфёна Ильича, не служба, не трудовая деятельность, не воинская повинность, нет! – поэма! со многими, разумеется, отточиями неизвестной загадочности, имеющими право быть и, кроме бытия, играть немаловажную роль в литературном произведении любого жанра, в частности – в поэме, изложенной сочинителем как в стихах, так и в прозе. Да, поэма! В коей Аграфён Ильич имеет наслаждение пребывать всем своим существом. „Quorum pars parva fui, – мог бы сказать Аграфён Ильич с чувством внутреннего удовлетворения. – В этом и я играл небольшую роль». Мог бы сказать. Но не говорит. Он не тщеславен. Он умный человек и знает жизнь не только по-латинскому, но и на других языках. Грудь его не в крестах, звёзд с неба не срывает, цену себе знает и мог бы по случаю отпустить реплику на сей счёт, вроде того, что, между прочим, Жан-Жак Руссо служил-таки наёмным писарем у прощелыги и международного проходимца Казановы; да, мог бы отпустить такую реплику, но не отпускает, ибо – умный, что, впрочем, никак не исключает наличия в нём характеристической черты: простодушный до наивности (см. сочинение Н.В. Гоголя «Ревизор», там есть такой Шпекин Иван Кузьмич, статский советник, так вот он – тоже такой же, вылитый из Басистого, а разница между ними всего лишь в том и состоит, что Ивана Кузьмича Гоголь придумал, а Аграфёна Ильича придумывать не надо, живёт в Хибаровске по известному адресу, и любой желающий может без труда столкнуться с ним носом к носу и даже, без особо тяжких последствий, ущипнуть тот встречный нос, дабы убедиться в совершеннейшей, хуже некуда, реальности рандеву, после чего просто так, на всякий случай, произнести в задумчивости заповедное: «Что Сибирь? Далеко Сибирь. Это всё француз гадит. А что думаю? Война с турками будет!»)...

И ещё раз – про многоточия в поэме Аграфёна Ильича Басистого: из туманного далека. В шекспировском «Короле Лире» есть шут, который всё шутит, шутит, насколько возможно шутить в его интересном положении, да вдруг исчезает из спектакля. Предусматривалось ли такое исчезновение со сцены в пьесе драматурга? Вряд ли. Вероятней всего, объяснение того, как шут попал под сокращение, надобно искать вот в чём: персонажей в пьесах Шекспира было куда больше, чем актёров в

труппе лондонского театра «Глобус», случалось часто, что один актёр исполнял две-три роли в одном спектакле, а отсюда – физический перегруз, суматошные нервишки разыгрывались не по сценарию... – и вот так являлось постепенное естественное умирание одних драматических персонажей ради полнокровного оживления других, но все они, действующие лица и вынужденно сошедшие со сцены, есть многоточия в одной общей человеческой драме, в великой поэме. В таком случае, кто же таков сам Аграфён Ильич? Аграфён Ильич есть голова. Точнее, так: Голова, подобие великанской Головы во втором акте «Руслана и Людмилы». Как это может представиться в поэме Аграфёна Ильича? Гениально! В затылке Головы, невидимом из зрительного зала, – чёрный ход: нормальная человеческая дверь для вхождения вовнутрь, а внутри устроены скамеечки по кругу мест на сорок для мужского хора да ещё дирижёрский пультик с аккумуляторным освещением, режиссёрское решение – гениально, да вот где же их набрать, этих «сорок разбойников», ну, пусть не сорок, пусть десять, пять, четыре, три, два, один... приличные великанству басы и баритоны на улице, поди, не валяются, штатное расписание театра тоже, поди, не гармошка, чтобы прихотливо растягиваться... – и вот так, в конце концов, заречитативила полупустая, с ничтожным КПД, Голова – одним голосом, хотя и ответственным, и высокооплачиваемым в виду особых условий трудовой деятельности плюс надбавка за вредность, как шахтёрам... О, нет, не пустая Голова, этот Аграфён Ильич. Для пущего восторга уместно вспомнить еще и кабинет Сталина – в Голове Ленина: это восьмое-девятое-десятое чудо света, явленное зодчеством социалистического реализма – грандиозная монументальная скульптура Вождя Мирового Коммунизма, венчающая в небесах Дворец Советов в Москве... облака проплывали бы за стёклами окон кабинета Иосифа Виссарионовича в Голове Владимира Ильича: распахнуть окно – умыть руки... – но крикнул архитектурный проект с тучками-мочалками и умер на ватмане, потому как – не до чуда света и не до света чуда вдруг сделалось в стране Советов, от Москвы до самых до окраин, где человек проходит как головная боль, как насморк, без особых последствий... и крик научно-фантастического проекта вовсе не в инженерно-конструкторской проблеме сверхскоростного лифта – от парадного подъезда Дворца до самой Головы – и обратно, вниз, спуститься на землю чтоб на сверхскоростях, тут особенный расчёт нужен, не то вдруг да и проскочишь мимо начальноконечной станции, безостановочно, стремглав, ненароком да и угодишь напрямиком туда, то есть не туда, ниже и ниже, ниже фундаментального кирпича, ниже основательного камня-заложника, ниже нулевого цикла цоколя, попадёшь в минусы, в отрицательное измерение, в преисподнее подмосковье, в тёмное царство земли с глухими водами рек, измывающимися над головой... – да это у нас не проблема! это у них проблема, у капитализма и буржуазии, вот пусть и болит у них голова от проблем в ихнем мире дурачков, на ихнем континенте нью-йориков, на ихнем

острове под железной пятой несусветной женщины с факелом в руке: приидите, дескать, успокою вас... хрена тебе, Горгона высшей пробы!.. и вот ещё что странно: неожиданно и с ледакольной грацией в поэму Аграфёна Ильича вторгается миф о Персее, где присутствует сверхмедуза, звать вот именно Горгона, и её нельзя изничтожить только потому, что человек, взглянувший на неё даже одним глазком, моментально монументально каменеет, но хитромудрый Персей, предтеча Георгия Победоносца, сыскал выход и победил Горгону в схватке, глядя на медузино отражение в своём меднозеркальном щите, так-то! а что такое отражение вообще, не только в щите, но и в жизни? это сознание, товарищи, и осознание! что, в свою очередь, суть культура(ы) и искусство(а)... и вот тут я, вышеупомянутый и нижеизложенный, споткнулся на голом, на пустом и беспрепятственном месте, о чём и тебя предуведомляю незамедлительно, дорогой читатель, ты же должен быть умным человеком и сообразить обязан-таки, что между строчек вольно или невольно остаётся неосвоенное пространство, чтобы ты засеял его своими домыслами и сомнениями, возможно, чем-нибудь и покруче, историческим, скажем, мышлением, почему нет? пора, пора, твоя очередь, твой выход, историческое-то мышление масс пошло в раскоряку с того времени, когда летописцы трансформировались в историографов, а потом последние стали первыми в шеренге соискателей академического пайка... но дальней дороги без спотыкачки не бывает, а ещё ж эти маргинальные обочины да разбитые колеи, да грязь-мразь, и кочки-точки-многоточия, знаки препинания прочие, гололёд, держись за воздух, канатоходец, на подступе к зимнему колодцу али ко всеобщей водоколонке, парящейся на морозе... – ничего, даже уря, уря-а-а! препятствиями живём, спотыкачками крепимся, препинаниями мудреем... Вот! А ведь всего-то и надобно было сказать мне, вышенизложенному и нижеследующему тенью самого себя: всё дело не столько в нашем замечательном герое Аграфёне Ильиче, сколько в глухом, безоконном помещении, в коем обитает герой с 9.00 до 18.00 с часовым перерывом на обед. Я ж говорил: голова кругом, голова в круговой обороне, в глухой защите, так что вы даже и не пытайтесь расшифровать винно-водочные пятна на бумаге как невинные водяные знаки с тайным смыслом, они, эти пятна, уже ничего никому не скажут, я сказал, dixi...

Итак, в 9.00 Аграфён Ильич ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, прибывает в ритуальное своё помещение, которое он сам про себя называет Пробирной Каморой (см. любую истор. книжку, не беллетристику, ну её в задницу, но лучше всего научно-популярную, да потоньше – о правлении Петра I, как он Россию вздёрнул и т.д.)

Возжигается настольная лампа под абажуром зелёного плотного стекла: ритуально.

Грузинский чай «Экстра» в толстом стакане с мельхиоровым железнодорожным подстаканником: ритуально.

Неспешное водосвятие.

Ласкающее, с ленцой, в полуприщуре, скольжение взглядом тигра в засаде – по аккуратному стенду на стене с тематическим названием сугубо для служебного пользования: «Развитие либерализма в России»: прикнопленные вырезки из газет, руководящие документы, циркулярами называемые, реестрики, памятки, важные бумажки личного плана касательно бывшего, дум и текущего творческого процесса; левая половина стенда – соты, ячейки, в строгом алфавитном порядке: живые и мёртвые души – расфасованные, запечатанные...

Аграфён Ильич приступает к священнодействию, подобно жрецу в храмовом таинстве...

И вскоре первые бумажные листочки легли в приготовленную папку.

Стишки. Из Лондона. От некоего Равиля Бухараева – Сочинителю, проживающему по адресу... (см. на конверте, а можно и не смотреть, и без того хорошо известно)...

*Я и не жил до сих пор толком.
Был как новый, а теперь – трачен.
Что ж ты вяжешь – то меня долгом?
Донимаешь – то зачем плачем?
Уходил я от тебя сушей,
Потому что был твоей скукой.
Что же нынче – то в тоске сушей
Допекаешь ты меня мукой?
Уходил я от тебя небом...
Отцепись ты со своей болью!
Всё – то манишь ты к себе хлебом,
А встречаешь, дай – то Бог, солью.
Уходил я от тебя морем,
Загибался под чужим кровом...
Да отстань ты со своим горем!
Отвяжись ты со своим зовом!
Обделяла ты меня волей,
Наделяла грудью объедков...
Что ж ты мнишь себя моей долей,
Кровом, родиной, землёй предков?
Что ж ты мнишь себя моим домом?
Что ж ты мнишь себя моим храмом?
Испечётся всякий блин комом.
Обернётся всякий стыд срамом.
Только сам – то что опять вою?
Мне ведь идола – твои боги.
Но куда я с этой любовью,
Кроме как опять к тебе в ноги?
Через море, небеса, сушу
Вспять иду, как уходил раньше...*

*Измочалила ты мне душу.
Бог с тобою, будем жить дальше.*

...Закрыв глаза, Аграфён Ильич разминал производственной гимнастикой пальцы рук и шевелил губами сочувственно в такт звучащим в голове строчкам, и думал при этом Аграфён Ильич об обыкновенном чуде поэтического слова, и ещё о том думал, что совсем не надобно скрести туманную душу лондонского отправителя с татарскими позывными, и без того скрёба понятно, какой русский поэт в ней сидит, издавая рукописные вопли о Родине, прелестные стишки, и статья к ним лепится прелестная, впрочем, до отправителя не касается, но вот получателю, поди, ой как нанижется...

И вновь явился чаёк «Экстра» с рассуждениями на вольную тему, на сей раз – об особенностях островной культуры, о коей Аграфён Ильич уже имел обширное книжное представление. Тему раскрашивали яркие пятнышки-воспоминания о кино-острове Невезения, о бриллиантовой руке, о железной и волосатой, и о лапе мохнатой... а о своих собственных, золотых, руках Аграфён Ильич всегда помнил, знал их так, как знают музыканты, фокусники и карманные воры, а если кому и завидовал Аграфён Ильич, так это известной на весь Советский Союз феноменальной Розе Кулешовой, обладавшей способностью прочитывать любой текст кончиками пальцев, чутчайшими подушечками, да притом с толстой чёрной повязкой на глазах, а ещё и бумажка-то с текстом упрятывалась в чёрном плотном конверте! Дивная женщина, уникальный дар, научно-популярный журнал «Знание – сила» ухватился за Розу с целью исследования дива дивного, и вдруг в один момент скис журнал, как в рот воды набрал, что такое? знамо дело, что такое, – по рукам дали, дескать, не суйтесь, ребята, не в своё дело, не заигрывайтесь, Розин-то дар – достояние государства, вот государство и приглядит за Розой, и сгинула Роза с публичного обозрения... «Где наша роза, друзья мои? Увяла роза, дитя зари», – как Пушкин некогда сказал. Но она не увяла, чудесница, это уж точно, чудесницы на улице не валяются, приспособили, поди, Розу к важному государственному делу, может быть, самуё диппочту за семью печатями зрячими своими пальчиками пользует в пользу социализма, после чего целёхонькие конверты и бандероли продолжают своё назначенное движение куда надо, в ту же Англию, допустим, или в Японию, на острова везения, спорного с точки зрения марксистско-ленинской философии... И очень кстати эти острова обозначились в рассуждении Аграфёна Ильича. По его рассудительной прихоти они уже давно занимали место на одной воображаемой полочке с воображаемой табличкой: ОСТРОВНАЯ КУЛЬТУРА – где всё разложено по пунктикам, касательно Англии и Японии, от А – до Я: где одинаково хаотичны застройки столиц в отличие от чёткой планировки материковых мегаполисов, Парижа, например, или Пекина; где уважают ландшафт, природу ставят

выше самого искусного рукоделия – цветов, значит, выше гвоздя! – и позволяют своим городам расти, подобно лесу, а градостроителям достаётся роль лесника и садовника, которые не навязывают природе человеческий план, но лишь подчёркивают естественную красоту; где поварское искусство состоит не в фантастической изощрённости, подобной кулинарии тех же китайцев и французов, когда кошкино мясо – со вкусом рыбы, а рыбное блюдо изобретается из ананасов, нет! – на островах никакого обмана, только – натуральный вкус продукта; где одинаково воспитывают детей, не одёргивая их на каждом шагу и давая малышам естество взросления и максимум самостоятельности; где сама концепция жизни есть ритуал с культом самообладания, так что, загадочная восточная улыбка самурая и жёсткая верхняя губа джентльмена являются неременной частью национальных кодексов, а сами кодексы вышли не только за пределы своих классов и кланов, но и преодолели рамки времени; где начала диалектики природы разнесены на противоположные концы: корневая устойчивая невозмутимость английского дуба, равнодушного к летам и столетиям, – и скоротечное цветение японской вишни... Две руки. Что левая, что правая, какое им дело до определений? рука руку моет, и обе чисты... Так Аграфён Ильич думает, о чём знает. И Аграфён Ильич знает, о чём думать. В молодые-то годы Аграфён Ильич литовцем был. Не по пятой графе – по послужному списку...

Эта государственная организация предназначена к надзору надо всем тем, что запрещено упоминать в печати и эфире. А запрещено всё, кроме существования аэропорта Внуково и трёхлинейки конструкции Мосина образца 1893 года. Запрет распространился и на саму организацию: она есть и её нет, и потому о существовании, функциях и полномочиях Главлита, главного охранителя государственных и военных тайн, подробненько знают немногие, досконально – единицы: в молодые годы Аграфёна Ильича теми единицами были тогдашний глава госбезопасности Александр Николаевич по прозвищу «железный Шурик», да главный литовец со стажем Павел Константинович со своим замом Степаном Петровичем, да начальники отделов Главлита, расквартированного в Китайском проезде, в месте мистическом, пропадущем, зато поблизости, на углу Чехова и Садового кольца, была единственная в Москве торговая точка по продаже знаменитых баранок и бубличков к чаю. От Галины Константиновны, начальницы Четвёртого отдела, досматривавшего за художественной литературой, веерно рассылались по периферии регулярные циркуляры – и Аграфён Ильич получал оные в Хибаровске, будучи крайним уполномоченным Главлита, в свете – бесфамильным, номерным человеком, ибо только этот самый номер, шифрованный позывной, и обозначал его присутствие в книжных реквизитах и на фирменном фиолетовом штампе. Фиолетовая рутина, полтора десятка лет...

В той фиолетовой жизни Аграфён Ильич завёл исключительно для личного пользования плюшевый альбом с золотым обрезом и бронзовой застёжкой, куда вписывал стишки: 1) хорошие; 2) интересные и 3) забавные. На толстых картонных страницах – такая тонкая материя, стишки, плюшки, уменьшительно-ласкательно. Аграфён Ильич с молодых ногтей ненавидел стишки. Со школы. Учительница литературы читала с выражением пушкинского «Утопленника» неподражаемо: «Прибежали в избу дзеци, Второпях зовут отца: Цяця, цяця, наши сеци Притащили мертвеца!..» Мальчик ненавидел учительницу, мертвецов, Пушкина и родную литературу. Главлит ликвидировал этот недостаток, по крайней мере, вместо отвращения появился интерес. В фиолетовой рутине Аграфёна Ильича притягивала поэзия, точнее, то, что можно обозначить как лирические отступления в стихах. Даже «Евгений Онегин» представился Аграфёну Ильичу в этом разрезе. Что именно, по мнению Аграфёна Ильича, есть самое ценное в «Евгении Онегине»? Они! Они самые, эти лирические отступления автора поэмы от поэмы. И когда Аграфёну Ильичу становилось в фиолетовой жизни кислотовато, то он мыл руки, расстилал на столе чистое полотенце, возлагал, точно евангелие на аналой, заветный плюшевый альбом и во глубине артистической души своей наслаждался единоличной читательской властью – казнить и миловать! – над именитыми строчками...

*Барабанчик – не человек,
Человек – не барабан.
Барабанчик уж слишком умный,
Человек – просто болван.*

Карл Маркс сочинил, и Аграфён Ильич получил уникальную возможность повеселиться над бородатым пленником Евтерпы, не вступая на его капитальную стезю.

Рядом, как и полагается, следовал Фридрих Энгельс, упражнявшийся на древнегреческом:

*Бросились тут друг на друга,
подобно львам кровожадным,
Братья родные,
отца одного родимые дети.
Тут опустилась и ночь,
золотой развязавши свой пояс,
Меч свой направив тяжёлой рукой,
один поразил им
Брата – и чёрная кровь
полилась мгновенно из раны...*

От Владимира Ильича Ульянова сохранилась всего одна строчка. Но какая строчка? Кунсткамерная!

свеженькой марлевой прокладочки, а на марличку аккуратненько кладём следующее письмецо, тоже из города Лондона, от того же, судя по почерку на конвертике, отправителя и всё тому же нашему адресату, Сочинителю, проживающему... как интересно, всё ж таки, честное слово... вскрыть письмо доступно любому дураку, но только классно подготовленный специалист делает это так, что никто не заметит вскрытия... водяной парок нежней пальчиков младенца... кстати, с конвертами, купленными в киосках почтовых отделений, вообще никаких хлопот, клеевый слой на них тонок и нежен, а вот какой-нибудь домашний клей, подвернувшийся под руку да на скорую руку в спешном порядке... бывает, что и столярным запечатывают, и силикатным, это ж почти жидкое стекло, господи, какое варварство, вот и на нынешнем конвертике нечто, с одного краешка прихвачено, то ли клеевая полосочка с фабричной недотяжкой, то ли просто слюны у отправителя не хватило... раскрылся розовый бутон, прильнул к фиалке голубой, э-хе-хе, вожди-цветоводы, любители-флористы-нацисты-коммунисты... так, на просвете видно, что письмецо в конверте на машинке отпечатано, это прелестно, чернила и химический карандаш – предатели, при сильном паре расплываются и дают отпечатки там, где не нужно, и этого уже не скроешь... значит, отпаривать не будем, возьмём костяную палочку, тончайшую, или спицу с расщепом на кончике, или лучше спицеподобный пинцетик, нет, всё же лучше палочку, тончайшую, фирменную... в угловое отверстие конвертика... прихва-а-а-тываем... нама-а-а-тываем листочек на палочку... не спеша, плавненько, нежненько... смеялись берега в цветах невинных... выта-а-а-скиваем бумажечку, плотненько накрученную на палочку... спасибо за службу, палочка-выручалочка... разворачиваем бумажную трубочку в листочек, в листичек... копия на ксероксе – дело секундное, прекрасный аппаратик, удобней фото... и теперь пойдём назад, домой, в конвертик, бумажечка на костяной палочке, через дырочку... в обратном порядочке разма-а-а-тываем, не спеша чтоб трубочка разматывалась, развёртывалась, расправлялась в плоский листочек, в листочичек... всё! пять минут, пять минут, бой часов раздастся вскоре, помиритесь все, кто в ссоре, пять минут, рупь делов, сдачи не надо... Даже обидно, до чего же просто! Ни особенного ума, ни особенной фантазии не потребно. Взял – да и распечатал душу инородную, живую. И не то чтобы неестественная сила побуждает, нет. И не то чтобы тянет, так вот и тянет, как господина Шпекина, который в одном ухе так вот и слышал: эй, не распечатывай, не то пропадёшь, как курица! – а в другое ухо ему словно бес какой нашёптывал: распечатай, распечатай! Нет! У господина Шпекина интерес мелочный, личный. У товарища Басистого интерес государственный. Шпекин утверждает своё единоличное любопытство: смерть, говорит, люблю узнать, что есть нового в свете. А я говорю:

жизнь люблю узнать. Всего-то и разница, да зато какая! Но оба мы знаем: преинтересное чтение...

НА СКАЛАХ ДУВРА

*Европа, видная отсель...
Ты явно к ней благоволишь.
Ну, вот ещё один Брюссель!
Ну, вот ещё один Париж!*

*С Петром Великим заодно
Перешагнув через моря,
Давно немывтое окно
В Европу – настезь отворя,*

*Стоишь, усталый и пустой,
Как будто дальше нет пути...
Но раз пустили на постой –
Плати!*

P.S. Месяц назад похоронили сына Васеньку. Равиль убит горем. Я держусь. И ты держись. Все мы должны держаться. Но держава тут ни при чём.

Лида ГРИГОРЬЕВА.

«Очень, – подумал Аграфён Ильич, включая электрочайник в процедуру размышлений, – очень и очень даже прелестная антисоветская плюшка от Лиды Григорьевой. «Плати!» Замечательно же! В альбомчике ей всенепременное место, плюшке-то. И на сегодня, кажется, с письменной работой кончено, по полной программе, по реестру адресатов с досматриваемой корреспонденцией. Теперь будем дожидаться ответа в город Лондон от нашего доморощенного сочинителя по фамилии Островитянин, проживающего, как ни в чём ни бывало, по вышеуказанному адресу...»

Копии писем из Лондона легли в красную папку с белой этикеткой: «Для оперативного использования». К концу рабочего дня за ней придет молодой человек из Тихого Дома.

– А не будет ли какого замечания по части почтового управления? – спросит его, как всегда с улыбкою, Аграфён Ильич.

И молодой человек, как всегда с улыбкою, ответит:

– Дама пик не обманет!

Это он так службу Аграфёна Ильича называет, дамой пик! Чуткий на звук молодой человек из Тихого Дома, ему бы с его слухом стишки писать... «Служба ПК», вот как называется служба в подлиннике. Есть, правда, ещё одно негласное название: Чёрный Кабинет, однако аббревиатурка демаскирующе нескромная: ЧК. Агра-

фён же Ильич предпочитает именоваться исторически: Пробирной Каморой.

Чайник вскипел, из носика тугим парком зафукал, ему бы ещё свисток мелодический – и вот вам прелестный маленький паровозик: ту-ту, вперёд, жаре навстречу, товарищи в борьбе...

– *Ту-ту, говорите?* – *закричал Несчастлифшиц.* – *Чай с плюшками?*

– *Уважаемый Изя,* – *говорю я запредельно вежливо.* – *Опять ты суёшь свой нос, куда не следует! Какое тебе личное дело до поэмы о Пробирной Каморе? Сиди – где сидишь. Лежи – где лежишь. Соблюдай соответствие! Ты ведь и без того совершенно незаконно пребываешь в романе, как бы на нелегальном положении, без паспорта. Но у тебя вечно чешется, где не надо... Скрипку свою получил? Получил. Вот и скажи спасибо, и ступай к ней разучивать на двоих какую-нибудь ля-ля, фа-фа, светит месяц, хэллоу, Дуля, выпьем и снова нальём... Или, например, полонез ре-мажор Винявского. Клянусь, тебе не сыграть *allegro*, та *non troppo!* А уж *andante freddo* – никогда в жизни! Тем более – *allegro vivace!* Ступай же прочь, безалаберный лабух Изя! Не путайся под чужими руками-ногами, не мешай государству и покою перламутровому человеку с перламутровыми глазами, которому уж лет собственных и стажу текстильно-производственному – под сроком неопределённого, не знаю, то ли семьдесят, то ли все сто семьдесят... А?*

И Несчастлифшиц исчезает сердито разучивать на двоих со скрипкой полонез ре-мажор Винявского... там смычок как шест незримого крошечного плясуна на канате, там мелодия как дождь слу чайный, и душа крупным планом, очи чёрные, красный плюш Александринки, бело-золотые колонны, парапеты гранитные, решётки чугунные, герои бронзовые, набережные оцепенелые, сфинксы задумчивые, кони очарованные, поэты и острова, и эпистолы страшнее пистолетов...

«...и вот такой уж текстиль получается, дорогие товарищи, – думает человек с перламутровыми глазами, – что хоть в музей сдавай на бессрочное хранение, словно редкие жемчужины, эти нечаянные перлы перлюстрации!»

Он знает, что такое тексты. Он знает толк в текстах и их толкование. Он же ведь столько лет, ещё до ПК/ЧК, литовцем на стуле отсидел, цензором!

Теперь чай пьёт. Грузинская «Экстра» Краснодарской чаепрессовки. Чай горячий. На донышке – солнце в затмении. Без никакого сахара, белой смерти.

А в память о цензурионстве у Аграфёна Ильича осталась бумажка на кабинетном стенде: ротапринтная копия Инструкции по пересмот-

ру книжного состава библиотек, дата на бумажке – 1924 траурный год, и подписи: Председатель Главполитпросвета при Наркомпросе Н. Крупская и Заведующий Главлитом П. Лебедев-Полянский... «Всем Зав. Губ. и Уоно, Губ. и Уполитпросветам, Облитам, Гублитам и Отделам ГПУ...» ГЭПЭУ в этой культурно-революционной связке особенно и чрезвычайно трогательно. Без него-то, действительно, никуда! Ибо Инструкция Надежды Константиновны предписывала безусловное изъятие из публичных библиотек решительно всех книг о каких бы то ни было конституциях и демократических республиках, о гражданских свободах и правах личности, об Учредительном собрании и всеобщем избирательном праве... короче говоря, все книги, выпущенные в свет старорежимными издательствами Сытина, Сойкина, Вольфа, Девриена, – в костёр!

Молодым романтиком революции сел Аграфён Ильич в цензорское кресло. О, ЛИТО! Всё ведь ведаёт ЛИТО: исповедь и заповедь, проповедь и отповедь... Но вскоре революция с романтикой начали перепихиваться, переталкиваться, вытеснять друг дружку, всё как-то смешалось, перепуталось, и главный вопрос современности: «Кто виноват?» дамкловым мечом повис, проклятьем заклеянный со всех возможных сторон, и с угрюмой настороженностью замолчал непосредственный начальник Аграфёна Ильича товарищ Шуляткин, из потомственных дворников и штатных осведомителей полиции, который в молодости уверенно говорил так: «Это всё жида, студенты и книгилисты заебатье!» Но за молчание тоже расстреливали... А ещё ведь и тайна исчезла. Без тайны любви не бывает. Сочинители же сами, без конвоя, так и несут, и несут, и несут бумаги свои на искомую разрешительную подпись: нате, берите нас голыми руками, щупайте! Ну-с, и какая же тут может быть тайна проникновения в душу человеческую?

На пятнадцатом году трудовой деятельности в ЛИТО случилась шутка, которая вышла шубкой для Аграфёна Ильича. Тогда очень нравилась ему одна сослуживица, девушка с сургучными глазами, романтически говоря, под цвет знаменитого шоколада «Миньон». Вот Аграфён возьми да скажи ей однажды: «Да я любую контрреволюцию на странице обнаружу с закрытыми даже глазами, наощупь кончиками пальцев! Такой у меня дар свыше!» – «Да?» – спросила желанная. – «Честно ленинско, честно сталинско, честно всех вождей!» – ответил Аграфён и дотронулся до девичьего плечика. На следующий день Аграфёна Басистого вызвали куда надо, положили перед ним запечатанный сургучом конверт и сказали: «Показывай дар, сволочь!» Аграфён всё понял. И так, и сяк крутился, вертелся: то да сё, да сосредоточиться нужно в отдельной комнате без посторонних лиц, такой вот, извините, странный дар прорезался, что даже от чая с лампасейками не откажется... Через четверть часа Аграфён умудрился без следов рукоприкладства своего вскрыть конверт наимпримитивнейшим из способов, известных ему на ту пору, и голосом, осипшим от момента,

доложил кому надо, что внутри данного конверта имеется восьмушка листа линованной почтовой бумаги, сложенной вчетверо, на коей химическим карандашом начертано печатными буквами без знаков препинания нижеследующее: «Тот кто морочил голову советской власти будет раздавлен как последняя гадина ты всё понял сволочь или не всё». И тогда те, кто надо, похлопали Басистого по плечу с некоторым даже уважением и сказали: «Молодец, сволочь! Далек пойдёшь, если пошлут!» Ещё через четверть часа то ли судьба, то ли сама диктатура пролетариата, сложно сказать, приподняла ясновидца над СССР, малость поболтала на ветру перемен в безвоздушном пространстве и с размаху шлёпнула его задницей в ответственное креслице сотрудника ПК/ЧК. Аграфён Ильич огляделся, ощупался, вздохнул глубоко, как это делают ныряльщики, и окунулся в тайну за семью печатями, при этом намурлыкивал с некоторым отвращением: «Ветер, ветер, ты сургуч, ты гоняешь стаи туч...» На дворе в то судьбоносное время стоял, как конь перед травой, тысяча девятьсот тридцать пятый год от ненаучного Рождества Христова.

Тогдашний глава Хибаровской государственной безопасности тепло напутствовал молодого сотрудника:

– Конспирация, конспирация и ещё раз конспирация! Это должно стать главным правилом вашего дальнейшего поведения в обществе. Конечно, у вас в минуты истощения может возникнуть вопрос к Советской Конституции, торжественно провозгласившей тайну переписки граждан. Но вы не шибко дёргайтесь и будьте спокойны. Ведь вопрос, собственно, в том, как наилучшим образом обеспечить выполнение на деле всех тонкостей, связанных с Конституцией, со священным правом граждан, и при этом знать: чтобы это право не оказалось пустым звуком, его надо отстоять от посягательств со стороны врагов народа. Это почётное задание партии нам с вами предстоит выполнять. И мы его выполним, ведь мы хорошо знаем, что простому честному советскому человеку нечего бояться ПК. Ему нечего скрывать от партии, которой он безгранично предан и доверяет во всём, даже в сугубо личном.

Отделение ПК/ЧК укрывалось в здании железнодорожного почтамта на станции Хибаровск-сортировочный. Поезда с почтовыми вагонами, как правило, останавливались на первом пути, с которого было удобно и выносить, и заносить запломбированные мешки с корреспонденцией. А что такое почтамт? Ничего, в сущности, особенного: на конвертах и открытках ставят штамп, гасят марки и занимаются сортировкой. Так вот, щелочку между гашением и сортировкой занимал именно Аграфён Ильич. Между прочим, недолгий миф о его ясновидении незаметно испарился, в чудеса советские люди не верят, верят в программу, устав и технологию.

Письма для перлюстрации отбирались согласно секретным спискам, поступающим из Тихого Дома. Через каждые три месяца они обновлялись, при этом некоторые фамилии оставались прежними. Поми-

мо именных списков отбирались письма анонимные, без обратного адреса, отправленные «до востребования» и с адресами, напечатанными на пишмашинке, письма заказные, с намеренно искажённым почерком отправителя, даже если вместо фамилии отправителя стояла закорючка – это уже считалось подозрительным. Кроме того, имелся ещё и особый график: в установленное время производилась полная проверка исключительно всех писем, исходящих из определенного места: города, района, колхоза. Диктатуру пролетариата интересовал вопрос: какие слои населения как живут и чем недовольны. Район за районом – и так получался поголовный контроль с фильтрацией, выявлением лиц и последующей оперативной разработкой этих лиц, но это уже не касалось Аграфёна Ильича, у него-то дело бумажное, без поднятого воротника. И ещё интересное: для вскрытия поначалу было запрещено отбирать письма в адрес Центрального комитета партии, Верховного Совета и правительства, но потом постепенно набрал силу телефонный звонок и устное распоряжение «свыше», и пределы тайны ПК/ЧК раздвинулись чрезвычайно.

На спецкурсах повышения квалификации Аграфён Ильич, обладавший феноменальной памятью на почерки, обменивался опытом выявления авторов анонимных писем. По возвращении с курсов Хибаровский Тихий Дом тепло, но конспиративно поздравил Аграфёна Ильича с присвоением очередного звания: лейтенант госбезопасности. Аграфён Ильич отвечал на поздравления соответственным голосом, переходившим в шёпот: «Служу Советскому Союзу!»

...И Аграфён Ильич вновь улыбнулся.

Хорошая улыбка у Аграфёна Ильича. Наверное, от службы она досталась ему такая, таинственная, непостижимая, точно у Джоконды или Будды.

И ещё кое-что досталось и сохранилось.

Например, лейтенант до седых волос. Но ведь майоры и полковники на таких должностях не бывают. По большому счёту, Аграфён Ильич лично сам себе такую лейтенантскую улыбку сочинил, можно говорить по-разному, что по-молодости, по-романтизму, по-дурости, по велению или зову сердца и других органов... Можно, конечно, говорить. Но зачем? Конспирация!

Закипает водичка, 100 градусов по Цельсию, булькает и берёт тебя «за фук», точно чёрную или белую шашку, словно белую или чёрную пешку, непроходимую, не спешащую попасть «в дамки» ... – этот прелестный маленький паровозик: ту-ту-у-у... верным путём идём, товарищ! на свет в конце... на красный, жёлтый, зелёный... где каждый охотник желает знать, где сидит... вот именно, где же он сам сидит, этот охотник, желающий знать? а знание умножает скорбь, но и тут, однако же, улыбается библиейство: а кто кого умножает? – темнота, только белый круг света настольной лампы, а в круге – плюшевый квадрат секретного аль-

бома на бронзовых застёжках со стишками: а)хорошими; б)интересными и в)забавными... Последний, собственноручно добытый и вписанный на толстую страницу каллиграфическим почерком китайской тушью, вообще гениальный – как лирическое отступление к «Евгению Онегину»!

*Решусь сказать чуток похлеще,
На сердце руку положу,
Что постигаешь лучше вещи,
Коль сядешь жопой на ежа.
Кончаю. Страшно перечесть.
Писать стихи – не то, что речи.
А если возраженья есть –
Обсудим их при первой встрече.*

О, не пустая голова! Сам Юрий Владимирович Андропов! Железный пленник Эвтерпы...

Аграфён Ильич уместил в альбом новые плюшки, из Лондона, и погасил лампу: всё, пора домой, на конспиративную квартиру работника текстильной промышленности, уставшего от соцсоревнования с самим собой.

В доме уже не будет грузинской «Экстры» из Краснодара. Там будут благословенная водочка «Московская», тихоокеанская селёдочка с луком в горчичном соусе и варёная картошка, тихое упоение, лейтенантский ужин старого холостяка, у которого в помещении проживания всего-то и богатства, что канцелярский шкаф с выжившими из ума книгами: «История государства Российского» Карамзина, басни Крылова, «На ножах» и «Некуда» Лескова, повести Марлинского, толстовские сборники статей по этике и патриотизму плюс перевод четырёх Евангелий, сочинения Кропоткина, Владимира Соловьёва, Лосского, Декарта, «Родное слово» и «Детский мир» Ушинского, исторические романы Всеволода Соловьёва, женская проза госпожи Чарской, «Бесы» Достоевского, «Отцы и дети судебной реформы» златоустого Кони, «Демократия и диктатура» Карла Каутского, «Программа и Устав РСДРП» Плеханова, «Шотландский стрелок» Вальтера Скотта, «Аграрный вопрос и современный момент» плюс сборник статей «Земля и право» Чернова... – книжки, которые по распоряжению Надежды Константиновны были изъяты из библиотек и подлежали пересылке в ОГПУ. И пересылались. Но не все. В том же самом порядке, который существовал в Инструкции Главполитпросвета при Наркомпросе, книги оставались книгами, которым в этом шкафу и в последующем светлом будущем, по мнению Аграфёна Ильича, цены не будет. То же и плюшкам...

LXXX

Цены не будет тому человеку, который развеет один из самых уютчивых русских мифов или хотя бы поставит вопрос ребром, напопа, на орла и решку: развенчание или пьянство?

– А оно нам надо? – говорит первый из трёх возможных.

– Будьте любезны, – говорит второй из трёх возможных, – поясните, милостивый государь, пожалуйста и ради бога, что именно вы имеете в виду под вашим оно? Первое или второе?

– Да пошёл ты на хрен, зануда! – говорит третий из трёх возможных.
– Дело же презельно ясное: наливай да пей. И чего тут трактовать?

Да уж...

Известное дело: кабак в России больше, чем кабак! Последний приют избыточного чувства.

Однажды какой-то безымянный бухарик сидел пьяным-распьяным в питейном заведении, а над его неправдоподобно лучистой головой, на стене располагался портрет Николая Первого, государя всероссийского и прочая, и прочая...

Сидел бухарик и матерился.

– Заткнись, оборванец! – цыкнул кабатчик. – Неужто не чувствуешь, как царь-батюшка позади тебя на стене висит приспособленный?

–А плевал я на вашего приспособленного царя!

Известное дело: приговорили бухарика к высшей мере шпицрутенов – 12 тысяч штук, «полняк», смертельная порция.

Принесли приговор к царю на подписание. А царь разозлился:

– Передайте этому придурку, что я на него тоже плевал. И портретов моих впредь по кабакам не развешивать!

И отпустили мужика на волю прежнюю.

Известное дело: Россия в кабаке – больше, чем Россия.

Можно предположить, что кир на русский мир надвигался ползучим туманцем с просыхаемыми последствиями. Но, может быть, – наоборот, стремительно и неукротимо, как уж и не знаем кто или что, допустим, как татаро-монгольская конница: версия заманчивая, последствия очевидны. Во второй половине XX века в провинциальном городке Ленинграде напечатана угрюмая книжка двух соискателей истины, Ю.М. Захарова и Н.Е. Сельковой, под названием фантастическим: «Трезвость – норма жизни советского воина», в той книжке научно-исследовательское знание аукается с национальной печалью.

Результаты стрельбы из личного оружия Число попаданий (из 100 выстрелов)		
Направление полёта пули	До приёма алкоголя	После приема алкоголя
В мишень	85	20
В щит	14	34
Мимо щита	1	46

Знание – сила! Но – чья? А вот этого мы как раз и не знаем. Может быть, даже и вражья. Во всяком случае, ведь так и не разрешён интересный вопрос в туманце лет: кто же устроил двухдневное пьянство повально-поголовное для всех защитников Москвы в августе 1382 года, в результате чего явились беспечность и легкомыслие, в результате которых городские ворота оказались настезь распахнутыми, в результате чего незванный гость, хуже некуда, хан Тохтамыш вошёл в город, в результате чего последующие результаты уже хорошо известны историкам...

- Много пить вредно, – говорит первый из трёх возможных.
- А мало скучно, – говорит второй из трёх возможных.
- Это да, – говорит третий из трёх возможных, – скучно жить вредно...

Повторим урок: в годы правления Иоанна Грозного сказал Монтень: «Если вы прожили год и видели смену времён – зимы, весны, лета, осени – то вы уже всё знаете и ничего нового уже не увидите».

Но – тиран ушёл.

Но – сбылось пророчество князя Андрея Курбского: «Должны погибнуть со всем своим домом те, кто опустошает землю свою».

Слабоумный сын Грозного Фёдор Иоаннович поцарствовал недолго и помре.

Малолетний Димитрий в Угличе, по официальной версии, зарезался, играючись ножичком, в припадке болезни падучей.

Кончился род Грозного.

Взошёл на престол царь иной крови: Борис Годунов.

С чего он начал царствование своё? С того, с чего начнут советские генсеки.

Хронограф изобразил годуновские устремления: «Государь царь Борис Фёдорович корчемства много покусився, еже бо во своё царство таковое неблагоугодное дело искоренити».

Многострадальный Новгород в порядке эксперимента объявили безалкогольным городом, позакрывали все кабаки... Рюмашки спрятались, поникли лютики!

Люто воевали с винопитием. Один из иностранных гостей отписал на родину впечатление: «Годунов старался истреблять грубые пороки своего народа... Запретил пьянство и содержание питейных домов, объявив, что скорее согласится простить воровство и даже убийство, чем нарушение сего указа».

И куда же вышло дышло? Тот же хронограф докладывает беспристрастно: «Покусився искоренити, но не возможе отнюдь».

Тут бы люди знающие могли сказать:

- Э-э-э, браток, в таком деле деликатном да в сугубом явлении, ка-

ковыми являются похождения весёлого бога Бахуса на Руси, уж никак без бутылки не обойтись!

Да уж, без соображения в этом вопросе действительно вряд ли можно разобраться. Однако же, между прочим, и на трезвую голову порассуждать о превратностях судьбы Бахусовой есть прелюбопытнейшее и небесполезное занятие.

– Наследие проклятого прошлого, – говорит первый из трёх возможных.

– И настоящего! – говорит второй из трёх возможных.

– И будущего! – говорит третий из трёх возможных.

В корчме пили и ели. В кабаке только пили. И тогда один из царей отменил корчму.

Вот и пили люто, когда сама лютость по Руси бродила. Впрочем, когда ж она не бродила?

Оловянную посудину в пасть – шась! – и порожня та посудина, безвинна. А глаза-то у выпивохи уж и вовсе ни бельмеса не созерцают, и только нос его по привычке тщился занюхать презельное пойло, а занюхать-то в кабаке вовсе нетути, ни корочки каравайной, ни жменьки капустки кисленькой, всё пропито до креста нательного, босы товарищи, без шапок, в одних подштанниках, а целовальник кабацкий уже и в долг не отпускает, одно утешеньице оставил, супостат: луковицу на суровой нитке подвесил к потолку, над столом качается луковица: вот вам, ребятушки, босяки-питухи, какая-никакая занюшка, вноздряйте, а уж боле того не предвидится...

Один босяк щепотью перекрестил пустую миску, словно бы присолил кушанье. А другой, слабенький, урчал, урчал – да не выдержал, куснул-таки зубом луковку, за что и был хладнокровно вышиблен целовальником из заведения за порог.

– Нешто жрать суды заявился? – сказал целовальник.

А босяк, который первый, в возмущение духа ударился:

– Неправильно реагируешь, господин целовальник. Неадекватно ситуации. А ежели у моего компаньона самобытность такая?

И оного заступника развернул целовальник спиной и в зад коленом поддал:

– Кочумай отседова, голубь сизый!

– И куды же ты ево? – интересуются людишки сторонние.

– А докудова долетит. Там пуцай и спать улаживается...

Посовещались людишки: далеко ли долетит вышибленный? Решили: нет, недалеко, сразу же за порогом угомонится.

А с чего пили – так того не говорили, потому как этого почти никто в точности выразить не мог. Одно знали точно: как такое кабацкое горе называется? Луковое.

Приплясывал кабак: склянки, склянки, склянки... Тяп да ляп, вышел корабль, и куды ж нам плыть?

«Эй, на судне!»

Плывёт империя.

Нет вопросов у матросов.

Можно перекреститься на золотой кораблик Адмиралтейства – даром.

А можно и к нужде приспособить столичные мачты.

И постановлено стало: работнику, кой отважится чинить и в опрятности содержать шпиль Петропавловского собора, выдать в награду неразменную кружку – с имперским орлом и с правом пить владельцу оной кружки бесплатно и безочередно во всех кабаках. Сказывают: первый герой через месяц спился и помре.

Аква вита, вода жизни, и для чужеземцев прелестною оказалась.

Первым академиком по кафедре химии в Санкт-Петербургской Академии был некто Бюргер, приглашённый из Курляндии. Приехал он в столицу России в марте 1726 года. А уже 22 июля, возвращаясь пьяным из гостей от президента Академии Лаврентия Лаврентьевича Блументроста, вывалился из экипажа по нестойкости духа и разбился насмерть. А ведь никто иной, как сам господин Блументрост ещё за год до сего прискорбного случая обратил внимание Екатерины Второй и Сената на вероятность подобных исходов. По поручению и от имени императрицы он составил инструктивную бумагу «против опасности для иностранцев непотребных российских обычаев». Суров и печален слог: «Ея величество именно приказала, чтоб дом академический домашними потребами удостачить и академиком недели три или месяц не в зачёт кушаньем довольствоваться, а потом подрядить за настоящую цену, наняв от Академии эконома, кормить в том же доме. И дать ему в зачёт несколько денег, которые из трактаментов академических членов возвращены будут по учреждении оной Академии, дабы, ходя в трактиры и другие мелкие дома, с непотребными общаючись, не обучились их непотребных обычаев и в других забавах времени не теряли б бездельно. Ибо суть такие образцы из многих иностранных, которые в отечестве своём добронравны бывши, с роскошниками и пьяницами в бездельничестве пропали и государственного убытку больше, нежели прибыли учинили».

Вот и тема неисчерпаемая – стакан. Зелёный, зельный, да всё гранёный, двухсотграммовый... – и-их! Первый стакан и его величина. Точнее, величие первого стакана. Ещё точнее: его величество. А количество – это уже, товарищи, арифметика с географией. Да ещё это русское язычество, допускающее такие сверхъестественные выражения, как, скажем, «пропустить стаканчик, другой». Боже мой, ка-

кая дикая, какая небрежная двоясмысленность! Назовите мне того, кто пропустит, и я вам скажу, сударь, кто вы такой!

Да, и вот они, значит, садятся за обеденный стол в перерыве труда. Аллюминиевые ложки запускают в щи. Молчат.

– Мда-а-а, – говорит первый из трёх возможных.

– Оно, – говорит второй из трёх возможных, – не мешало бы.

– Дак чо сидим? По рваному – да я сбегаю! – говорит третий из трёх возможных.

Кто осудит?

Страшный Суд, самый бесстрашный суд в подлунном и подсолнечном мире.

Может быть
что
быть может
что
вершится
свыше
уже
...
!

Не трон, не престол, не трибуна–кафедра, не местоимение, миропомазанное крестцовой сакрою... – всего лишь облачко, туманность, скопление духов и выдыхов. И возлежит там, в средоточии винных и невинных кратеров, сам БАХУС в белой срачице, с лавровым веночком на башке. Лежит и покачивается, точно в гамаке. И вокруг творится, покачиваясь, то же самое, в белых срачицах и с веночками, на облачках, ну просто–таки земной Рим времён упадка империи: уж пора бы всем лежебокам прочь сгинуть с арены древней истории, ан нет! возлежат себе, вершки с корешами, вершат верховное правосудие. Ближайшие к главному облачку – ПРИБАБАХУСЫ: ПРИМУС, СЕКУНДУС, ТЕРЦИУС и так далее, по порядку, числом легион высоковознесённых плюс таборный хор Большого Гарема с бессменным завгаром тов. КОЛЛОНТАЙ...

БАХУС (зевает): Продолжаем судебное возлежание. Кто там у нас следующий?

ПРИБАБАХУС ПРИМУС: По алфавиту?

БАХУС: По градусу!

ПРИБАБАХУС ПРИМУС: По градусу получается Ерофеев.

БАХУС (испуганно): Опять? Ерофеева не надо! Не надо! Он нам тут опять всю вакханалию испортит!

ПРИБАБАХУС ПРИМУС: Не волнуйся, магистер бибенди! Ерофе-

ев, который опять, это не тот Ерофеев, который Веничка на прошлом судилище. Нынешний будет Витечка.

БАХУС (сердито): И чего он хочет, этот Витечка?

ПРИБАБАХУС ПРИМУС: Я всё записал с его слов.

БАХУС: Наш человек?

ПРИБАБАХУС ПРИМУС: Наш, наш!

БАХУС (строго): Проверенный?

ПРИБАБАХУС ПРИМУС: Ещё как!

БАХУС: Хорошо. В порядке исключения пусть будет заочным свидетелем. Оглашай.

ПРИБАБАХУС ПРИМУС: На предварительном следствии этот Витечка матерился, как ещё тот Веничка...

БАХУС (перебивает): Не говорите мне про Веничку! Я же от Венички икаю! Давайте про Витечку. На какой предмет матерился и конструктивно ли?

ПРИБАБАХУС ПРИМУС: Non liquet.

БАХУС: Не ясно? Так на что же ты, обормот, тут возле во-злежишь?

Подплывает на своём облачке Коллонтай.

КОЛЛОНТАЙ (кокетливо): Можно, я скажу?

БАХУС: Только коротко. Самую-самую суть этого Витечки.

КОЛЛОНТАЙ (с дипломатической тонкостью): Суть чиста, как стакан воды. Во-первых, русская красавица ох не даром славится. Во-вторых, конец.

БАХУС: Чей конец? Aqua vitae?

КОЛЛОНТАЙ: И Акве, и Вите. Конец началу. Но, возможно, что начало конца.

БАХУС (возмущённо): Да как он смеет? Он кто такой, чтобы определять концы и начала?

ПРИБАБАХУС ПРИМУС (отдувая прочь облачко с Коллонтай): То же сочинитель, как и Веничка.

БАХУС: Ни слова о Веничке! Давайте Витечку! Что он сочинил, этот Витечка? Самогон?

ПРИБАБАХУС СЕКУНДУС: Одну секундочку... (Вышаривает из складок срачицы рукопись, свёрнутую в толстую трубку, прикладывает её, будто подозрную трубу, то к одному глазу, то к другому, потом пробует дудеть и издаёт малым тиражом неприличные звуки)... Сейчас, сейчас... Одну секундочку... (Разворачивает свиток)... Одну маленькую секундочку...

БАХУС (насмешливо): Ты эту секундочку целый век читать будешь. Доложи экстрактус.

ПРИБАБАХУС СЕКУНДУС: Экстрактус суть следующий. (Читает) Аква виту выдумали в Кремле, что весьма и весьма символично. Но избрели её послушники Чудова монастыря... (Суд и хор хохочут).

Правда, ab initio водка использовалась для дезинфекции ран. Но очень скоро ее стали принимать внутрь.

БАХУС: Ad usum internum. Sic! Надеюсь, ad libitum?

ПРИБАБАХУС СЕКУНДУС: Совершенно верно, по желанию. De gustibus non est disputandum.

БАХУС: Правильно, о вкусах не спорят. Во веки веков. In saecula saeculorum. Ври дальше.

ПРИБАБАХУС СЕКУНДУС (читает): Самое любопытное, что водка на Святой Руси появляется перед самым падением монголо-татарского ига. Если считать, считает второй Ерофеев, что пьянство является проклятием Руси, то получается, что страна, едва избавившись от одного ига, тут же вляпалась по уши в другое. С первым игом было покончено в тыща четыреста восьмидесятом году, а уже в тыща пятьсот пятом шведские дипломаты писали из Москвы, что русские повсеместно пьют «горячую воду»...

БАХУС (вздыхает): И вместо ига – итого... Nemo iudex in causa sua...

ПРИБАБАХУС ТЕРЦИУС (сдувает в сторону облачко с Прибабахусом Секундусом): Так точно, уважаемый магистер бибенди, никто не судья в своём собственном деле. Но зачем лицемерить per fas et nefas, правдами и неправдами? Manifestum non eget probatione!

БАХУС: Я и без тебя знаю, что очевидное не нуждается в доказательстве. Но давайте всё же вернёмся к сути дела. Примус, дуй сюда!

ПРИБАБАХУС ПРИМУС (Отнимает у Секундуса свиток, сдувает облачко Терциуса и устраивается на его месте): Продолжаю чтение. Умом Россию не понять по одной причине: она сама не хочет, чтобы её понимали. Она сама запретила себя понимать. Ей так удобней в мире людей. И отношение к водке идеально вписывается в эту концепцию. В противном случае, с какой бы стати водку запрещали называть водкой аж до начала двадцатого века, приравнивая оное название к бранному слову?

БАХУС: Неужели? И как же тогда называли?

ПРИБАБАХУС ПРИМУС (смеётся): Тут написано: хлебное вино!

БАХУС (грустно): Хлеб наш насущный... Ёлки-палки, что подумают ещё выше, Диамат с Диаматерью?

ПРИБАБАХУС ПРИМУС (продолжает читать): Для скрытого обозначения водки существовала масса эвфемизмов, от казёнки и монопольки до белоголовки и сучки-матужки. Почему в России так не любят называть вещи своими именами?

БАХУС: Ты меня спрашиваешь?

ПРИБАБАХУС ПРИМУС: Это Ерофеев, который Витечка, задаёт неизвестно кому риторический вопрос. По-моему, он таким образом смеётся.

БАХУС (недоуменно): Над кем смеётся? Над собой смеётся?

ПРИБАБАХУС ПРИМУС: Nihil probat, qui nimium probat.

БАХУС (качает головой): Верно, верно... Ничего не доказывает тот, кто доказывает слишком много. Так. И к чему же все показания сводятся?

ПРИБАБАХУС ПРИМУС (читает): С одной стороны, пить водку считалось занятием низким, мужицким, постыдным и недостойным людей высшего сословия. С другой стороны, не пить нельзя. И вот именно поэтому цари и вельможи напивались, как сапожники.

КОЛЛОНТАЙ (подплывает на облачке): Можно, я скажу?

БАХУС: Только коротко. Самую суть.

КОЛЛОНТАЙ (дипломатически, то есть кокетливо): Россия чиста, как стакан воды.

БАХУС: Короче!

КОЛЛОНТАЙ: Россия – стакан.

БАХУС: Ещё короче!

КОЛЛОНТАЙ: Россия! Или стакан!

БАХУС: Хорошо. Дуй отсюда. Переходим к прениям сторон. Кто у нас... с той стороны?

ПРИБАБАХУС СЕКУНДУС: Ерофеев.

БАХУС: Опять? Сколько можно?

ПРИБАБАХУС СЕКУНДУС: Это не Веничка...

БАХУС: А, кстати, где этот Веничка?

ПРИБАБАХУС ТЕРЦИУС: По нашим сведениям, шляется где-то на нашей стороне. Точно известно, в наших краях, но где... По слухам, между Медведицами, от ковша к ковшу...

БАХУС: Так какой же тогда Ерофеев?

ПРИБАБАХУС СЕКУНДУС: Витечка.

БАХУС: Давайте вдуйте!

ПРИБАБАХУС СЕКУНДУС (растерянно): Но он ещё там...

БАХУС: Где там?

ПРИБАБАХУС СЕКУНДУС: Там! (Изображает пальцами правой руки следующую конфигурацию: большой палец выпрямляет в стойку «Во!» и тычет им вниз). Ещё там. Далеко. Внизу, так сказать...

БАХУС (грустно): Ты понимаешь, балбес, что такое ты тут перед нами изобразил? Ты изобразил, подлец, жест повеления римской публики, приказывающей живому гладиатору прикончить раненого. Ты забыл, негодяй, чему жизнь тебя всю жизнь учила? Чорт побери, что о нас подумают Диамат с Диаматерью? (Большим пальцем поднятой руки указывает вверх) Товарищи Примус и Терциус, поправьте товарища!

Товарищи Прибабахус Примус и Прибабахус Терциус выправляют конфигурацию выгибанием пальцев товарища Прибабахуса Секундуса в нужном направлении, в результате чего полу-

чается следующая распальцовка: большой палец оттопырен вверх, мизинец оттопырен вниз, V, остальные пальцы прижаты к ладони.

БАХУС: Что получилось?

ПРИБАБАХУС СЕКУНДУС: Вот... (Протягивает руку)

БАХУС (торжественно): Знак вивата! Знак виктории! Покажи всем!

ПРИБАБАХУС СЕКУНДУС (поднимает руку, поворачивается из стороны в сторону): Этой козой ещё и детишков щекотать можно!

БАХУС: Какая коза? Что ты мелешь? (Плюётся). Вот, всегда так... Любой знак, любую букву опошлят! Ты-то хоть осознаёшь свою грубую ошибку?

ПРИБАБАХУС СЕКУНДУС (всхлипывает): Я больше не буду...

КОЛЛОНТАЙ (дипломатически): Можно мне сказать?

БАХУС: Кратко.

КОЛЛОНТАЙ (участливо): Он больше не будет.

БАХУС (милосердно): Ладно уж... (Обращается к Прибабахусу Секундусу) Хорошо, что осознал. А теперь тыкай так, как положено.

ПРИБАБАХУС СЕКУНДУС: Там... (тычет мизинцем вниз)... и там (тычет большим пальцем вверх)... там и там, там-там, там-там, трам-пампам, трампампам, трулялюшки, тру-ля-ля... (Пускается в пляс)

Завгар Коллонтай поднимает руку со Знаком Вивата и Виктории. Хористки бурно аплодируют и весело начинают песнь таборную, величальную: «К нам приехал, к нам приехал...»

БАХУС: Кто следующий?

ПРИБАБАХУС ПРИМУС: Сочинитель Розанов, собственной персоной.

Хористки: «К нам приехал, к нам приехал Вась Васильич дорогой...»

...явился, не запылится, давненько не видались, да вот и пожаловал со своей расхожей библией, коя каждому на свой лад пригождается.

Розанов Василий Васильевич [20.IV (2.V), 1856, Ветлуга Костромской губ., – 5.II.1919, Сергиев Посад, ныне Загорск] – рус. писатель, критик, публицист, философ. Окончил историко-филологич. ф-т Моск. ун-та (1880); до 1893 преподавал в провинц. гимназиях. С 1898 – сотрудник газ. «Новое время» А.С. Суворина; одновременно печатался в журн. «Мир искусства», «Новый путь», газ. «Русское слово» и др. Философствуя в русле рус. идеалистич. мысли (славянофильство, почвенничество, идеи Ф.М. Достоевского), Р. развил своеобразное умонастроение, условно сопоставимое с экзистенциальной ветвью «философии жизни»... Как политич. публицист нач. 20 в. Р. был одиозной фигурой; принципиальная беспринципность принесла Р. славу «двурушника» во мнении всех политич. партий: он мог одновременно

сотрудничать с «трудовиками», либералами и консерваторами, «презирать политику» («Опавшие листья») и печатать охранительно-монархич. статьи, поддерживать «веховцев». В.И. Ленин, критикуя журн. «Русская мысль» (публицисты П.Б. Струве, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков) за «поповщину» и антиреволюционность, писал, что журнал вполне справедливо заслужил похвалу «...таких известных своей реакционностью (и своей готовностью быть прислужником правительства) писателей, как Розанов...»

*КРАТКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ,
МОСКВА, 1971*

...чортиком подпрыгивает на своем облачке, папироской кадит и двумя своими знаменитыми руками размахивает:

– Допрыгались? А известно ли вам, что вся цивилизация девятнадцатого века есть медленное, неодолимое и, в конце концов, восторжествовавшее просачивание всюду кабака? Кабак просочился в политику. Кабак явился в книгопечатание. Ведь до девятнадцатого века газет почти не было, а была только литература, а к концу девятнадцатого газеты вознеслись, а к концу двадцатого – страшно подумать, уже и не газеты, а СМИ называются! И вот эти СМИ, смихуёчки, грубо говоря, сделались господами в печати, а литература-то где? Исчезла литература. Кабак виноват! Кабак просочился и в банк, и в министерство финансов, и в социализм. Кабак просочился в труд фабрик. Кабак просочился в технику. Я раз лично видел так называемую жатвенную машину. Я посмотрел на неё и подумал: тут нет бога. Бога вообще нет в кабаке. И сущность девятнадцатого века, а за ним и двадцатого, заключается в оставлении богом человека. Но, возможно, и наоборот...

– А чего ты так раздухарился, Вася? – уныло спросил Бахус. – Разве я кабаки придумал?

Вася выплюнул папироску из рта, воздел знаменитые руки, подобно жрецам древнеегипетским, а каждая рука увенчивалась Знаком Вивата и Виктории, и молвил Вася:

– Я сказал. Dixi. А господина Прибабахуса Секундуса вы мне дайте для индивидуальной работы в смысле образования. Я ему на пальцах всё объясню.

– Не надо на пальцах, – печально сказал Бахус. – Мы тут ему без пальцев назначим высшее наказание в смысле образования. Страшное наказание. Всё! Объявляется перерыв на обед с перекуром. А теперь все дружно дунем на Секундуса, пусть он плывёт навстречу своему исправлению и при этом не потеряет имеющегося разума.

И весь Страшный Суд, и хористки с завгаром Коллонтай, и даже Розанов надули щёки, и пошёл ветерок на облачко Секундуса, и поплыло облачко – в сторону страшного наказания, к величественным скрижальям, к золотым значкам потустороннего письма на багровом фоне...



1. Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма.
2. Добросовестный труд на благо общества.
3. Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния.
4. Высокое сознание общественного долга.
5. Нетерпимость к нарушению общественных интересов.
6. Коллективизм и товарищеская взаимопомощь.
7. Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни.
8. Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей.
9. Нетерпимость к несправедливости, гунячеству, нечестности, карьеризму, стяжательству.
10. Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальней и расовой неприязни.
11. Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов.
12. Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами.

1961
Программа КПСС
строителя коммунизма
МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС



Вот это и есть то, что небожители однажды увидели внизу со своего верха, воспроизвели на небесах в натуральном виде и до сих пор пытаются расшифровать загадочные письмена, но всё без толку, никто ничего, кроме 1961, не может уразуметь в начертанном, ни древнейшие и мудрейшие обитатели высот горных, ни новоявленные мудрейшие, вроде Венички Ерофеева с неясным прозвищем Ерофеич, который лишь раз взглянул на сию археологию да плюнул, выразившись неизящно. Время от времени, впрочем, возникают некоторого рода научные диспуты в двухстороннем порядке: одни диспутанты говорят, что они, дескать, имеют особенность читать слева направо со своего верха до своего низа со своей точки зрения, на что другие диспутанты отвечают: мы, которые превыше Арарата и тамошних пред-рассудков, тоже, представьте себе, читаем слева направо сверху вниз, но наш верх, по-видимому, это как бы ваш низ, а наш низ, вероятно,

это как бы ваш верх... Как бы там ни было, скрижали остаются неразгаданными и, за невозможностью иного применения, служат в качестве исправительно-трудоустройственной повинности: согрешившим небожителям вменяется выучивать эту абракадабру, разумеется, не наизусть, но некоторым образом умозрительно, точно наглядное пособие к начертательной геометрии. Кстати, пьяницы с капиталистическим прошлым утверждают, что в этой зашифрованной китайской грамоте скрывается тайна русской души.

– Ну, дак чо, товарищи? Я пошёл! – сурово сказал третий из трёх возможных.

– Устремляйся, – сурово сказал второй из трёх возможных. – И мухой вертайся с победой живьём!

– Вот именно, – сурово сказал первый из трёх возможных.

Шумел, горел пожар московский, шумел сурово брянский лес, шумел камыш, деревья гнулись... Но посланец шёл и шёл, доброволец, полный нетерпимости и доверия коллектива, шёл мимо отходов производства, сквозь стиснутые зубы профсоюзов трудящихся, через полнометражную дыру в заборе, шёл и шёл, и вышел, как пулька, к трассе автострады Колоколамского шоссе, поколенно преодолел придорожный кювет с никчёмными водами и встал, точно умный конь, на обочине трассы автострады Колоколамского шоссе, всё, ни шагу назад, отступать некуда, и стоял совершенно так же, как и шёл, неся впереди себя на собственной руке простой чернорабочий кулак с двумя крайними пальцами, выгнутыми так называемой «козой», двумя совершеннолетними рогами, и это был тот самый знак вивата с викторианским паролем, пред коим в одночасье замирают автомобильные машины и железнодорожные поезда с народно-хозяйственными грузами, пароходы с танками и даже самолёты с бомбами: *sta, viator! alea jacta est ad usum internum! condicio sine qua non – consensus omnium! cum tacent clamant... more majorum! dixi, tertius gaudens, et animam meam levavi!..* Стоит, как нерукотворный памятник самому себе, обязательный третий из трёх возможных. Ждёт явления народу. Народ тоже ждёт – такие же третьи, абсолютно лишние, в безмолвной цепочке на обочине, и все, как один, с призывными рогами: стой, путник! жребий брошен для внутреннего употребления! неременное условие – согласие всех! их молчание есть крик души... по обычаю предков! я сказал, третий радующийся, и тем облегчил и спас свою душу!.. И останавливается автомобильный транспорт, и отверзаются на допустимую щель дверцы автопоилок ради товарно-денежного обмена на скорую руку, тускло мелькают в полуденном свете рабочего дня четушечки и поллитровочки, отоваренные трудящиеся исчезают, как тени, их утопанные места олицетворяются другими трудящимися, нет в цепочке пробелов, а грузовики и легковушки, опустошённые до последнего флакона цветочного одеколona «Тройной», уносятся прочь, в даль, вдоль по питерской, по

ямской, тверской, по имени творцов политэкономии, в Колоколамской перспективе, по трактирному курсу рубля...

Широко известный в узких научных кругах исследователь истории русского винопития Вильям Похлёбкин давно, чуть ли не в юности, догадался кое о чём, но в условиях развитого социализма и развёрнутого по всему фронту строительства коммунизма всё как-то так стеснялся открыто, от души сказать о том, что все уже давно и без него знают: «Государственная монополия на водку – это всегда признак государственного спокойствия, знак крепкой, твёрдой и стабильной власти в стране. Как только что-то нарушается во внутренней политике, так водка вырывается из-под контроля. И наоборот, как только водке дают возможность вырваться из-под контроля, так во внутренней политике начинаются всевозможные неустройства».

– И чо же это такое? – восклицает первый из трёх возможных.

– Аршином общим не измерить! – восклицает второй из трёх возможных.

– А козе понятно, – тихо говорит третий из трёх возможных, улыбаясь беспартийно и общечеловечески, как Джоконда.

И вот, значит, опять эта коза рожки выказывает. И дело, если можно так выразиться, принимает оборот сурьёзного градуса, который, в свою очередь, попахивает академической наукой, а наука, извините за выражение, мать строгости и порядка в любом предмете рассмотрения, тем более, в таком деликатном, разбавленном напополам объективизмом и субъективизмом, как винопитие: что такое? очей очарованье или просто так шары нóлиты? «In vino veritas!» – кричат, как заметил Блок, очарованный берегом очарованным и пропорционально очарованной далью. Впрочем, заметить не составляет труда. Кто кричит? Все кричат. Братцы-кролики; блок коммунистов и беспартийных; рыбаки душ и ловцы человеков; безбожники-атеисты и бездорожники-авиаторы; путёвые и непутёвые... – все! Кто любит вино и любит истину; кто не любит вина, но любит истину; кто не любит вина и не любит истину; кто любит вино и не любит истину... Все! Злобно и восторженно, с проклятием и надеждою, со смертельной тоской и жизненной радостью... – сдвигая в круг спасательный кратеры и кубки, чаши и чары, заздравные ли, заупокойные – нет в прилагательном слове на тризне жизни великой разницы, Бахус с ней, с разницей, да и сам собой из себя вылитый, как полнёхонький сосуд с человеческой историей, и история как сосуд с диковинной смесью: уж вовсе не кровавые мэри с коктейлем Молотова – нет! эпохи, культурные слои, слои, слои... – не смешивать! не болтать! болтун – находка для ненашего романа...

ЧАРА ПЕРВАЯ

На чистейшую, как слеза из глаз вопиющего в пустыне, русскую водку государственная власть наложила свою долгорукую лапу в 1474

году. Это была первая русская государственная монополия на производство и продажу хлебного вина, мёда и пива. Обозначенная указной бумагой, монополия указно не отменялась, но сама по себе исчезла в начале XVII века: полыхала крестьянская война под началом Ивана Болотникова, напозла польско-шведская интервенция...

ЧАРА ВТОРАЯ

Вторая госмонополия на водку к 1652 году была с божьей помощью восстановлена и продержалась до 1689 года.

ЧАРА ТРЕТЬЯ

Третью монополию ввёл Пётр Первый в 1697 году. Правда, император позволял временные отступления. А после него, в 1765 году, Екатерина Вторая даже отменила петровский указ и предоставила дворянству в качестве сословной привилегии право на винокурение. Вторая половина «дамского» века, XVIII-го, – время технологического расцвета питейной отрасли. Водочные настойки охватили все буквы русского алфавита: Анисовая, Берёзовая, Вишнёвая, Грушевая, Дынная, Ежевичная, Желудёвая, Зверобойная...

И взмахнул рукою ротный отец-командир:

– Зап-пиии-вай!

И запевальщик строевой соловеюшкой взвился:

*Мы сегодня рвём подмётки,
Но не как вчерась...*

И дружно поддерживают согласные с запевальщиком суворовские чудо-богатыри:

Но не как вчерась!

А дальше уж реченькой полилось:

– После бою даст нам водки сам светлейший князь!

– Сам светлейший князь!

Могуч и непобедим хор русских воинов, аж вся Европа дрожит:

*Квартирьеры, квартирьеры,
Фейерверкера,
Интенданты, маркитанты,
Каптенармуса,
Дайте, дайте нам водяры,
А конял овса!*

– Овса-а-а-а-а-а! – потянул соловеюшка звук к небесам, затрепетал и душевно выпрыгнул из ботфортов...

...Ирговая, Калиновая, Лимонная, Малиновая, Мятная, Ноготковая, Облепиховая, Полынная, Перцовая, Рябиновая, Смородиновая, Тминная, Укропная, Фисташковая, Хренная, Цикорная, Черёмухо-

вая, Шалфейная, Щавелевая, Эстрагонная, Яблочная... «Во как было в прежни годы, когда не было свободы!», – воскликнул в двадцатом веке поэт Ким.... Правда, недолго музыка играла. В 1796 году Павел Первый вступил на престол и решительно взялся за наведение порядка в питейном вопросе: вновь ввёл монополию, ставшую в истории четвёртой.

ЧАРА ЧЕТВЁРТАЯ

Инициатива Павла Первого вызвала недовольство и крайние обиды со стороны российского дворянства. И императора задушили в его собственных покоях. «Во как было в прежни годы...»

ЧАРА ПЯТАЯ

Граф Сергей Юльевич Витте ввёл пятую винную монополию в 1894 году, при императоре Александре Третьем. В докладной записке императору министр финансов Витте писал: «В частной торговле вино и спирт появляются нередко с вредными, расшатывающими здоровье, примесями. Самые условия этой торговли, допускающей, при неразборчивости в средствах, извлечение из неё наибольших выгод, способствовали укоренению многообразных злоупотреблений, разорявших низшие классы населения». Александр Третий, подумав, согласился с предложением министра о поэтапном введении винной монополии. Поначалу, для опробования «монопольки», избрали четыре губернии: Пермскую, Уфимскую, Оренбургскую и Самарскую. Результаты эксперимента превзошли все ожидания...

В 1895 году видный российский психиатр Иван Александрович Сикорский вывел заключение: «Спивающийся наш народ впадает в алкогольное вырождение. Образуется как бы новая порода полусумасшедших людей преступного склада, у которых характер лишён уравновешенности и культурной сдержанности, а ум угнетён отравой. Россия наводнена полусумасшедшей армией тунеядцев и хулиганов, и трезвеннические элементы народа, рдеющие в общем пожаре пьянства, едва отбиваются от пропившейся братии. Учёные открывают в области спиртного наркоза ужасные последствия. Не говоря о физиологическом погроме, который спирт вносит в нервную систему, в мозг, в желудок, печень, сердце и пр., этот казённый яд отравляет дальнейшие поколения. Дочери пьяниц теряют способность быть матерями, так как уже не могут кормить грудью. Стало быть, пьянство грызёт не только самого человека и его достаток, оно грызёт его тело и душу, оно замучивает тысячелетнее племя, отсекая корни роста, его здоровье и плодovitость». Не верить выводам профессора Сикорского нет оснований. Краткий перечень его учёных трудов сам по себе красноречив: «О заикании», «Черты из психологии славян», «О влиянии спиртных напитков на здоро-

вье и нравственность населения России», наконец, замечательный сборник статей «По вопросам общественной психологии воспитания и нервно-психической гигиены», вышедший в свет во дни первой русской революции 1905 года. (В Большой Советской энциклопедии Сикорский И.А. даже не упоминается).

Монополия, между тем, растекалась.

Российское Общество попечительства трезвости понаоткрывало по всей империи так называемые «народные чайные». Очень хорошо. Рассаживались в тех чайных мужики. На столах рассаживались пузатые жестяные и медные чайники. В чайниках – водка. Водка обыкновенная, монопольная, как заметил т. Ленин (Ульянов), фундамент российской экономики и один из рычагов «систематического, беззастенчивого разграбления народного достояния кучкой помещиков, чиновников и всяких паразитов». Великая была кучка.

К 1902 году монополия распространилась на всю европейскую Россию и Западную Сибирь, в 1904 году добралась до Восточной. Но с началом первой мировой войны, в 1914 году, монополия пошатнулась и рухнула. Историки разных школ, тем не менее, считают: три основные цели госмонополии достигнуты, а именно, увеличились винные поступления в казну, установились качество и дешевизна водки и повысилась культура потребления спиртных напитков.

Известный невролог, психиатр и психолог Владимир Михайлович Бехтерев отважился на постановку перед Николаем Вторым насущного вопроса об оздоровлении населения России. Он доказывал, что правительство не только не борется с алкоголизмом, но и преднамеренно спаивает народ.

– Напечатали сборник застольных спичей Вашего Величества, – говорил Бехтерев императору с укоризною. – На каждом углу продают. А в тех книжечках на каждой странице: пью здоровье моих славных гусар, пью здоровье моих славных драгун, пью здоровье моих славных артиллеристов... Как будто бы Ваше Величество только и делает, что пьёт.

– И в кабаках продают? – ужаснулся монарх.

– А как же!

По поручению государя великий князь Андрей Владимирович создал комиссию, в которую вошёл и Бехтерев, и Сикорского пригласили как эксперта, и других спецов привлекли. И занялась та комиссия делом богоугодным: выработка опытным путём гигиенических норм употребления спиртных напитков.

Год выработывали, два выработывали... Супруга великого князя прима-балерина Матильда Кшесинская, по-нежному Малечка, морщила носик, но уже не могла отказаться от участия в заседаниях комис-

сии, однако же, сама будучи доброй выпивохой, спасалась от запоев жесточайшим тренингом в хореографическом классе, у станка. Короче говоря, после этого эксперимента, весьма неопределённо закончившегося, от великого князя всю оставшуюся жизнь отдавало сивушным духом. А Малечка, княгиня Матильда Феликсовна Романовская-Красинская, уже в Париже, в уютном особнячке посреди сада, уж после большевистского переворота с ужасом вспоминала Россию с её вечными экспериментами.

Спокойно, граждане, спокойно. Трактат продолжается.

...и взмахнул рукою ротный отец-командир:

– Зап-пииии-вай!

И грянули складно юнкера на марше, мальчишки безусые:

Сборы–то кончаются, парочки прощаются.

Ох, и коротка же ты, военная любовь!

Не!

грусти!

моя любимая,

буль–буль–буль–бутылочка

зелёного вина!

ЧАРА ШЕСТАЯ

После Октябрьского переворота 1917 года большевики ровно на шесть лет запретили производство и продажу водки, которая, по их мнению, не позволит построить в России новое общество, социалистическое, именно это имел в виду вождь революции Ленин, заявляя на X Всероссийской конференции РКП(б) в 1921 году, что советская власть не допустит массовой продажи спиртного зелья, как бы это ни было выгодно для торговли.

Нельзя сказать, что вождь вообще не употреблял. Употреблял, но переносил плохо. Николай Иванович Бухарин, любимец партии, в своё время рассказывал, как он после разгона Учредительного собрания пришёл к Ленину с бутылкой вина, и они вдвоём опустошили её за власть Советов, после чего вождь чуть не помер.

Большевики, по гамбургскому счёту, тоже люди.

Давайте спросим Надежду Константиновну Крупскую?

– Вот вы, Надежда Константиновна, старая большевичка...

– Ну, почему же старая...

– Заслуженная!

– Вот это другое дело. И что же вас интересует?

– Да вот насчёт этого дела...

Задумалась Надежда Константиновна, мягкая добрая улыбка тронула её полноватые губы, дымка воспоминаний слегка затуманила её добрые полноватые глаза.

– В эмиграции ещё дело было... В Париже. Приехал к нам с Ильичом товарищ Донат Шулятиков, а с ним депутат Думы Шурканов. И пошли наши мужчины с ними по французскому обычаю в кафе. Шурканов дул пиво, как сумасшедший, кружку за кружкой. И Шулятиков дул. Но Шулятикову нельзя было. У Шулятикова же был наследственный алкоголизм. И пиво вызвало у него острый нервный припадок. Такой нервный, что он набросился с палкой на Шурканова! Мы помогли тогда приезжим товарищам найти комнату в Фонтене-о-Роз, где квартировали Семашко и Владимирский, они и выправили здоровье Шулятикова к заседанию расширенного совещания редакции «Пролетария». Вот так. Ничто человеческое большевикам не чуждо.

– Хорошо, что хоть без последствий.

– Нет, почему же, бывали и последствия. Много было таких случаев. Там же, в Париже, например. Вот один раз приходит к нам участник Московского восстания товарищ Пригара. Приходит явно сам не свой и не в себе. Возбуждённый, безостановочно говорит и говорит, да всё какое-то несуразное, о колеснице со ржаными снопами, а в снопах прекрасная девушка. Мы видим: сошёл с ума человек. Что делать? Известный вопрос! Ильич остался Пригару караулить, а я побежала вызывать знакомого психиатра. Тот пришёл, осмотрел и говорит: помешательство, тяжёлая форма. На следующий день нашли труп Пригары в Сене, к шее и к ногам камни тяжёлые привязаны. Вот так. Ничто человеческое не чуждо большевикам...

Тихо, товарищи, тихо. Хорошо же пока сидим.

Однажды Лев Давидович Троцкий сильно разволновался:

– Грозным симптомом является, товарищи, попытка Политбюро построить бюджет России на продаже водки, то есть сделать доходы рабочего государства независимыми от успехов хозяйственного строительства. Только решительный протест внутри Центрального Комитета и за его пределами приостановил эту попытку, которая нанесла бы жестокий удар не только хозяйственной работе, но и самой партии. Однако мысль о дальнейшей легализации водки Центральным Комитетом не отвергнута до сих пор. Совершенно несомненно, что между самодовлеющим характером секретарской организации, всё более независимой от партии, и между тенденцией создать бюджет возможно независимый от успехов или неудач коллективного строительства партии, – есть внутренняя связь...

Следовали бурные продолжительные аплодисменты.

Заявление Троцкого рассмотрело Политбюро.

– Фраза Троцкого, – сказал секретарь Сталин, – заслуживает того, чтобы партия запомнила её и над ней посмеялась. Неужели не совестно с серьёзным видом говорить такие пустяки?

Следовали задумчивые паузы.

– А что же было на самом деле? – продолжал секретарь товарищ Сталин. – А вот что. Ещё когда обсуждался в своё время вопрос о концессиях, то товарищ Ленин неоднократно заявлял, что перед нами может встать вопрос – что лучше: пойти на концессии или, на худой конец, пойти на то, чтобы легализовать продажу водки для поправления государственных дел. И товарищ Ленин не колеблясь выбирал последнее. Уже до заболевания товарища Ленина не раз шла речь о том, чтобы назначить компетентную комиссию, которая могла бы выяснить деловым образом этот вопрос, взвесить аргументы за и против. Ничего другого не постановил и Центральный Комитет. В момент наиболее тяжёлых финансовых трудностей Центральный Комитет назначил только секретную комиссию для выяснения этого вопроса. Изменившаяся обстановка, возможная война и прочее сняли этот вопрос. Что же тут недостойного для партии? Недостойно только поведение тех, кто искусственно раздувал и раздувает этот вопрос.

Следовали бурные продолжительные аплодисменты.

Государственная монополия на водку была введена в Советской России в 1924 году, после смерти Ленина.

В начале ноября 1927 года Москву посетили иностранные рабочие делегации. Советская Россия отмечала десятилетие своего рождения. Встречали делегатов на самом высоком уровне. И сам товарищ Сталин принял гостей. И с речью выступил – актуальной.

– Вы спрашиваете, – сказал, улыбаясь снисходительно, – как увязывается водочная монополия и борьба с алкоголизмом? Я думаю, что их трудно вообще увязать...

Терпение, господа, терпение. Мать, так сказать, учения.

...их трудно вообще увязать. Здесь есть несомненное противоречие. Партия знает об этом противоречии, и она пошла на это сознательно, зная, что в данный момент допущение такого противоречия является наименьшим злом. Когда мы вводили водочную монополию, перед нами стояла альтернатива: либо пойти в кабалу капиталистам, сдав им целый ряд важнейших заводов и фабрик, и получить за это известные средства, необходимые для того, чтобы заполучить необходимые оборотные средства для развития нашей индустрии своими собственными силами. Члены Цека, в том числе и я, имели тогда беседу с Лениным, который признал, что, в случае неполучения необходимых займов извне, придётся пойти открыто и прямо на водочную монополию, как на временное средство необычного свойства. Вот как стоял перед нами вопрос, когда мы вводили водочную монополию...

Заграничные рабочие делегаты слушали, разинув рты.

Товарищ Сталин не спешил. Товарищ Сталин налил воды из

графина в гранёный стакан, выпил по глоточку, вытер усы и продолжил речь:

– Вообще говоря, без водки было бы лучше, ибо водка есть зло. Но тогда пришлось бы пойти временно в кабалу капиталистам, что является ещё большим злом. Поэтому мы предпочли меньшее зло. Сейчас водка даёт более пятисот миллионов рублей дохода. Отказаться сейчас от водки значит отказаться от этого дохода, причём нет никаких оснований утверждать, что алкоголизма будет меньше, так как крестьянин начнёт производить свою собственную водку, отравляя себя самогоном. Здесь играют, очевидно, известную роль серьёзные недостатки по части культурного развития деревни. Я уже не говорю о том, что немедленный отказ от водочной монополии лишил бы нашу промышленность более чем полмиллиарда рублей, которые неоткуда было бы возместить. Значит ли это, что водочная монополия должна остаться у нас в будущем? Нет, не значит. Водочную монополию ввели мы как временную меру. Поэтому она должна быть уничтожена, как только найдутся в нашем народном хозяйстве новые источники для новых доходов на предмет дальнейшего развития нашей промышленности. А что такие источники найдутся, в этом не может быть никакого сомнения. Правильно ли поступили мы, отдав дело выпуска водки в руки государства? Я думаю, что правильно. Если бы водка была передана в частные руки, то это привело бы, во-первых, к усилению частного капитала, во-вторых, правительство лишилось бы возможности должным образом регулировать производство и потребление водки и, в-третьих, оно затруднило бы себе отмену производства и потребления водки в ближайшем будущем. И сейчас наша политика состоит в том, чтобы постепенно свёртывать производство водки...

Внимание, советский народ! Запомним только что сказанное!

...постепенно свёртывать производство водки, – сказал Иосиф Виссарионович сквозь лукавые усы. – Я думаю, что в ближайшем будущем нам удастся отменить вовсе водочную монополию, сократить производство спирта до минимума, необходимого для технических целей, и затем ликвидировать вовсе продажу водки. Я думаю, что нам не пришлось бы, пожалуй, иметь дело ни с водкой, ни со многими другими неприятными вещами, если бы западно-европейские пролетарии взяли власть в свои руки и оказали нам необходимую помощь. Но что делать? Наши западно-европейские братья не хотят брать пока что власти в свои руки, и мы вынуждены оборачиваться своими собственными средствами. Но это уже не вина наша. Это – судьба. Как видите, некоторая доля ответственности за водочную монополию падает и на наших западно-европейских друзей.

Вождь лукаво, по-отечески усмехнулся в усы. И западно-европейские друзья виновато вздохнули и опустили головы.

А вскоре и декабрь накатил, декабрь Советского десятилетия. Страшные морозы трещали. Метели не унимались. Столицу засыпало снегом. Поезда из-за катастрофических заносов рельсовых путей опаздывали супротив расписания на двое-трое суток.

Но XV съезд ВКП(б) открылся в назначенный срок: 2 декабря.

Оппозиция говорила о репрессиях, о вмешательстве ОГПУ во внутрипартийные дела.

Сталин с трибуны пригрозил оппозиционерам.

Один психиатр анонимно так определил атмосферу съезда: «свободно плавающая тревога».

Вождь день ото дня всё хуже владел левой рукой. Развивалась атрофия мышц.

В середине декабря невропатолог Крамер осматривал Сталина по этому поводу.

– Видите? Руки дрожат...

– Вижу, товарищ Сталин. Вино пьёте?

– Пью. Не помогает...

Крамер был проверенным врачом. Ещё в 1922 году он лечил Лени-на, консультируясь со знаменитым Бехтеревым.

Вот и на этот раз, после первичного осмотра Сталина, Крамер пожелал пригласить Бехтерева на симпозиум. Узнав об этом от самого Крамера, Сталин призадумался. Потом согласился.

– У этих психиатров, – сказал, – скоро будет съезд. Семнадцатого декабря. Вот пусть Бехтерев и заедет ко мне.

Прибыв из Ленинграда в Москву, Бехтерев остановился, как обычно, на квартире старого друга, гинеколога Благоволина – в Дурновском переулке, рядом с Собачьей площадкой.

На открывшемся в назначенный срок Первом Всесоюзном съезде невропатологов и психиатров почётными председателями избрали академиков Бехтерева, Минора и Россолимо.

На следующий день пресса сообщила о награждении орденами Красного Знамени группы чекистов. В списке первенствовал заместитель председателя ОГПУ Генрих Ягода, «проявивший в самое трудное для Советского государства время редкую энергию, распорядительность, самоотверженность в деле борьбы с контрреволюцией».

Днём 23 декабря бодрый и энергичный, пышущий здоровьем Бехтерев выступил с докладом о коллективной психотерапии при лечении алкоголизма. После заседания осмотрел лаборатории Института психопрофилактики. Съезд в этот день закончил свою работу. И Бехтерев поехал к Сталину.

... красные потоки ковровых дорожек, полы исковерканные, а по

тем по коврам похаживает кот-коверкот в мягчайших сапожках, сам с усам, будто Будда проживает, наособицу, жирует и дирижирует жёлтым глазом, немигающим, и столько в нём соли корифейства, что для обыкновенной человеческой сути уж и места не досталось, теснота и обида, висельная задухновенность, однокамерное существование, и вот уж и вышел человек из корифея, солирующего салютами абсолютов, и исчез человек, растворился, а остался куль личности, мешок пыльный, тара, оболочка, пузырь пустой, но столь чудовищно неподъёмный, что человек исчезнувший, уже потусторонний, пытается возвыситься до сомнения: да был ли он на самом-то деле? – и уже не верит ни своим бывшим усам, ни голенищам усатым, ни корифейству, раздавившему человека, бывшего мальчика с родинкой под левой лопаткой, где некогда прорезывалось крыло...

Осматривает Бехтерев Сталина, а у того руки трясутся.

– Пьёте, товарищ Сталин?

Нахмурился вождь и отмолчался.

Бехтерев продолжил осмотр высокого пациента, и разговор при этом продолжил, а в разговоре выразил недоумение по поводу слов вождя во время встречи с иностранными рабочими делегатами:

– Неладно творится, товарищ Сталин...

«Оппозиционная сволочь», – подумал вождь.

«Налицо паранойя», – подумал психиатр.

Но не только подумал, но и поделился своими диагностическими соображениями с коллегой Крамером. После чего отправился во МХАТ на спектакль «Любовь Яровая».

Народу много. Людей мало. «Людей не хватает!» – стенают высшие российские управленцы. А подходящих людей так и вовсе нет, считающие единицы. И где же мы так порастерялись и порастрагались? Или чересчур – всерьёз и надолго – заигрались на подмостках истории? Или история наша – закулисная?

Многие ещё помнят пьесу «Любовь Яровая». Правда, самого автора уже позабыли, драматурга Константина Андреевича Тренёва. Он был сыном крестьянина. Получил три высших образования, окончив археологический институт, духовную академию и агрономический факультет университета. В 1926 году сочинил свою «Любовь»...

«Краткая литературная энциклопедия» отмечает в пьесе широту социально-исторических обобщений, глубокое проникновение в исторические закономерности революционной эпохи. Энциклопедия не врёт. «Судьба главной героини – сельской учительницы Яровой, которая, пережив тяжёлую личную драму (переход мужа на сторону белогвардейцев) и преодолев в себе иллюзии надклассового порядка, становится настоящим товарищем большевиков, защищающих правду социалистического гуманизма, проводящих линию Коммунистической

партии в формировании нового человека... В «Любови Яровой» Тренёв явился одним из зачинателей драматургии социалистического реализма». Тут всё верно – от первой косноязычины до последней. Вот только знаки плюса и минуса надобно поменять местами – и всё наполняется новым смыслом: и сельская учительница, и её потерянный муж, и комиссар Кошкин, маузером утверждающий большевистский гуманизм, да и сам Тренёв, не подозревавший о возможных метаморфозах позднейшего прочтения. Фотопортретик Тренёва: чеховское пенсне, сталинские усы, брежневские брови...

Так где же мы так заблудились? Какие такие закулисные истории закрутили-закружили Россию, да ещё так, что взгромодила она на широченные плечи свои львиную долю мировых страданий?..

Достоевского у нас ещё мало знают хотя бы только потому, что многие не помнят имени его идеального литературного героя, князя Мышкина. А между тем, у князя парадоксально значительное имечко – Лев. Лев Мышкин. Каково? Лев Николаевич. Уж после одного Мышкина иные львы и львиные доли в свет явятся: Толстой, Гумилёв...

В конце семидесятых годов XX века известный польский режиссёр Анджей Вайда обратился к «Идиоту» и поставил спектакль «Настасья Филипповна». Это не инсценировка. Спектакль начинается там и тогда, где и когда кончается роман Достоевского.

И так продолжается российская жизнь-игра... С беспредельной вежливостью князя, который в ответ на истошные крики предлагает: «Не лучше ли нам разойтись: вы направо к себе, а я налево». С истеричными воплями и скорострельным правом фанатичного комиссара... И выходит, что, в общем-то, нигде мы не потерялись и не поистратились. Какими были, такими и остались: между князем Мышкиным и комиссаром Кошкиным.

И линия жизни – как на ладони. Иди – от идиота, означающего саму нежность и сострадательную доброту, – до социалистического гуманиста с маузером и в куртке из «чёртовой кожи». Иди – от и до, туда и обратно. Какое пространство?!

– Эва! – восклицают. – Эволюция!

Никаких эволюций. Обычное российское шествие с происшествиями: от Рюрика до Рериха, скачки с препятствиями, бег по пересечённой местности...

Коллега Крамер кинулся к товарищу Сталину с рапортом.

– Академик Бехтерев квалифицирует вашу болезнь, как паранойя. Это... это же опасно, товарищ Сталин!

– Чем опасно? – нахмурился вождь.

– Бехтерев является членом Ленсовета. Ленсовет стоит в оппозиции по отношению к вам лично. Бехтерев может сказать о вашей болезни товарищу Зиновьеву... Нужно принимать срочные меры!

Сталин задумался. Потом сказал, посасывая трубку:

– Товарищ Бехтерев заблуждается. Нам надо помочь товарищу Бехтереву...

После спектакля директор МХАТа пригласил избранных зрителей в свой кабинет на ужин. И Бехтерев был в том числе.

Потчевали вкуснейшими пирожными.

Вернувшись в Дурновский переулок, академик почувствовал себя плохо, началась сильная рвота с кровью.

Утром 24 декабря вызвали на дом профессора Бурмина.

– Промыть желудок академику, – распорядился профессор и уехал.

К вечеру наступило ухудшение. Приехали вызванные Бурмин и профессор Шервинский, а с ними ещё пара каких-то никому неизвестных врачей, Константиновский и Клименков.

– Ничего страшного, – решил консилиум. – Желудочное заболевание. Чего-то не того поел...

Профессора уехали. Неизвестные врачи остались. И в 23 часа 45 минут они зафиксировали смерть академика от паралича сердца.

Неизвестные врачи, как часовые на боевом посту, от тела не отходили.

Знакомые Бехтерева были потрясены: как? умер такой богатырь? такой здоровяк? да он же никогда в жизни на сердце не жаловался!

«Сверху» поступила команда: патологоанатомического исследования трупа не производить, тело кремировать, мозг передать Институту, созданному Бехтеревым в Ленинграде.

Тут же, на квартире, знаменитый патологоанатом Абрикосов, вскрывавший тело Ленина, распилил бехтеревский череп – и мозг увезли...

Ночные бдения на сталинской даче помаленьку переходили в утренние.

Один будущий Маршал Советского Союза ещё играл на гармошке, хотя плясать уже было некому, потому что другой будущий Маршал завалился за боковушку гигантского кожаного дивана, да там и уснул.

«Утомился, засранец, – с нежностью подумал вождь, будущий Генералиссимус, и ухмыльнулся в усы. – Слабенький, а туда же, с пашкой наголо: укоротить евреев! это они во всём виноватые, разные бабели, интеллигентки говняные!.. Слабенький. Надо помочь боевому товарищу. А покуда спи спокойно, ты заслужил...»

Вождь встал из-за пиршественного стола, потянулся, мягкой тигриной поступью приблизился к зашторенному окну, чуть сдвинул тяжёлую занавесь и одним глазом – жёлтым, бессонным – заглянул в образовавшуюся щель.

Так и есть! Снова! Снова это видение. Эта чортова старуха!

Берёза. Женщина при берёзе – вся в чёрном, глаза чёрные и ясные, словно бы день и ночь в одних этих глазах разом сошлись...

Где и когда он уже видел это иконописное лицо?

Видел. Но это было давным-давно, чуть ли не в семинарской юности. А может быть и раньше...

Вождь подумал: «Хватит! Всё!» – и хотел было задвинуть пыльную светонепроницаемую кулису, и выкликнуть начальника личной охраны, и вырубить к чортовой матери весь березняк вокруг дачи, а потом отправиться самому искать покои для ночлега... – однако руки не повиновались, ноги не подчинялись, и язык не слушался...

А старуха в чёрном уходила безнаказанно, да молодой походкой, да ещё и обернулась напоследок, перед вхождением в туман.

Она молчала. Но вождь ощутил её слова – как прикосновение к левому плечу: «Нет, сынок, не всё...»

...Конечно не всё!

Ох, да какие ещё будут брезжиться березняки в тумане!? Какие песни придумает жизнь!? Какие пиесы, спектакли, драмы, трагикомедии, фарсы, представления – от Большого Театра Союза ССР!? Какие любви яровые да озимые, урожайные-колоссальные, заколосятся на просторах во свете дня!? Какие кошки-мышки не на шутку разыграются в чёрной комнате факира!? Какое веселие Руси расплещется бердяевским тёмным вином!?

Выпьем за Родину? Выпьем за Сталина?

Выпьем и снова нальём?

Так-то оно так... А ежели, в натуре, ещё тактичнее озаботиться: из глупи – вглубь?

Глоток за глотком, до доньшка... – что там, на дне? Иисусова тина или Суслова истина? Что из тины выцедишь? Кому сусло в милость?.. Метафизика, однако. О таком небесном градусе «на троих» даже и не заикаются...

– Но всё ж таки очень любопытно, братцы мои, – восклицает первый из трёх возможных, – с какого такого дефицитного восторга серьёзный медицинский профессор по психам товарищ Сикорский Иван Александрович взял и поставил в один ряд заикание и пьянство?

Ждите ответа, ждите ответа...

Ждём. Мы не торопимся.

На стене чёрная тарелка радиорепродуктора – как упоительная музыкальная закуска, запойная:

*Товарищи, гости, подруги, друзья,
не праздник без песен застольных!*

*Да здравствует наша большая семья
Советских республик привольных!
Подыдем заздравную чашу
за дружное наше житьё,
за славную Родину нашу,
за Красное знамя её!..*

А вот случай вышел в 1949 году в разгар борьбы с «безродным космополитизмом» и «низкопоклонством перед Западом». В Центральном Доме литераторов писательское собрание обсуждало доклад Константина Симонова (знаменитого! «Жди меня» сочинил!) по разоблачению группы антипартийных театральных критиков в свете постановления ЦК ВКП(б). В президиуме восседали Анатолий Софронов, Аркадий Первенцев, Сергей Михалков, «кремлёвский курант» Николай Фёдорович Погодин с подлинной фамилией Стукалов... Орденосцы! А на трибуне каялся критик Иосиф Ильич Юзовский:

– Плюйте, плюйте на меня! Я недостаточно изучал статью Ленина «Партийная организация и партийная литература»!

Первенцев шарахнул кулаком по столу:

– Чего ты нам тут басни рассказываешь? Мы сами знаем, что ты невежественный и безграмотный. Ты лучше признайся перед народом, каким образом ты организационно осуществлял свою враждебную деятельность. Иначе может получиться так, что ты вошёл сюда товарищем Юзовским, а выйдешь гражданином Юзовским!

Задумался Юзовский, судьбоносные вопросы одолели: сколько дадут? «От двух до пяти» – по версии Корнея Чуковского, или же реально корячится «десятка» без права переписки – по закону? Кем быть?

И тут пришёл к нему на помощь детский писатель Михалков. Маловажно, что Сергей Владимирович был «детским. Важно, что – писатель. Несущественно, что он был природный заика, важно, что заикался там и о том, где и о чём партия приказывала. Он был дисциплинированным и послушным зайкой. В военной медкомиссии его заикание признали за фронтовую контузию, Михалков не стал возражать и прикрепил на грудь ленточку тяжёлого ранения, и с тех пор носит ту ленточку, рядом с орденом, а за тем орденом он съездил из Москвы на фронт, во фронтовую газету, отметился в редакции – и домой, а дома, в Москве, уже эпиграмма порхала: «Кого лижет дядя Стёпа/ В генеральском блиндаже?/ Дядя Стёпа лижет жопу/ И представленный уже!» И так он стал фронтовиком с орденом, охранной грамотой. В паре с Гарольдом Эль-Регистаном сочинил текст Гимна СССР. Когда в Кремле в первый раз обсуждали текст, товарищ Сталин заметил, что в нём ещё много недостатков. Михалков попытался что-то сказать, волнуясь и заламывая руки. «Не заикайтесь, товарищ Михалков», – сказал Сталин. И Михалков после этого указания целых две недели не заикался. И победил! После чего столичные завистники стали называть Регистана и Михалкова «заслуженными гимнюками

Советского Союза». Но это уже другая история. А в той, где на трибуне высокого собрания каялся Юзовский, детский писатель-орденоносец Михалков врезал по-партийному, то есть с перемежающимся заиканием: «Молчишь, Юзовский? Не знаешь? Не помнишь? Так я тебе подскажу! Ну-ка вспомни, что ты сказал своему сыну громким голосом и при большом стечении свидетелей в фойе Центрального детского театра после премьеры моей пьесы «Красный галстук»! Не помнишь? Ты сказал, Юзовский: сын мой, прости меня за то, что я привёл тебя на эту дрянную пьесу. Так было?» И Юзовский заикал. Заикание его было антипартийным...

А вы говорите: Сикорский, Сикорский...

– Мы ничего не говорим, – сказали второй и третий из трёх возможных, после чего все трое с любопытством посмотрели на чёрную тарелку радиорепродуктора с державной песней и враз затагнули на единоличный лад, без хора и оркестра:

*Вдохнул солдат, ремень поправил,
Раскрыл мешок походный свой,
Бутылку горькую поставил
На серый камень гробовой.
Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришёл к тебе такой.
Хотел я выпить за здоровье,
А должен пить за упокой...*

Кому-то икается повторением пройденного. Кто-то беса с небес призывает, кто-то авоську с небоськой поминает... Авось и ныне там.

– Ну, будем? – провозглашает второй из трёх возможных.

Будем, будем. Но мы и без «ну» не торопимся. Хорошо сидим. Патефон пружинит, круг почёта шуршит под иглой, заезженная грампластика Апрелевского завода пульсирует... За что?

*...За силу, которой сильнее не найдёшь,
За наших защитников храбрых!
За девушек наших, за всю молодёжь
Колхозов и вузов и фабрик!
За крепкую спайку отцов и детей,
За наши особые свойства:
За скромность и твёрдость советских людей,
За мужество, честь и героизм!..*

Да уж, этого у нас не отнимешь. Уж чего есть, того уж есть... По причине жестокой необходимости. В «зонах», например, преимущественно в северных ледовитых, там такие особые свойства одеколона, политуры и других спиртосодержащих жидкостей, что выявляются они только на лютном морозе. Берётся, допустим, в правую руку флакон,

а в левую руку берётся железный лом, один конец которого опущен в нормальную кружку, и вот на такой свирепой стуже стекает тонкой струйкой одеколон по лому, а результат такой нижеследующий: во-первых, аромат, как в парикмахерских на материке; во-вторых, какая-никакая, но всё ж таки санитария и гигиена; в-третьих, всякая антисанитарная херня, входящая в одеколон, запросто примерзает к лому, а очищенный спиртовой ручеек, морозу неподвластный, сочится в предназначенную ёмкость для последующего внутреннего употребления. Или вот ещё такой геройский: разводится в банке клей, от столярного до БЭЭфа, в банку суётся электродрель, включаешь, и процесс пошёл: всякая гадость наматывается на сверло, а то, что не гадость, можно выпить, желательно одним махом и не принюхиваясь. А есть ещё «два пшика»: баллончик с дихлофосом на кружку пива, это звучит не очень гордо, но всё ж таки опытным путём доказывает, что человек неизмеримо выше таракана. Кстати, о Советской Армии. Там по ларькам не разбежишься, ни пива там, ни дихлофоса, но есть зато амортизационная жидкость из гаубичных откатников, но наглотать не надо, нельзя нашу артиллерию оставлять в совершенно сухом виде, а то был такой случай, что два товарища под Новый год выпили, каждый – по гаубице, так тем товарищам – ничего страшного, а гаубицы разорвало к чортовой матери после первых же выстрелов на очередных стрельбах, и вооружённые силы Варшавского Договора моментально пострадали на две единицы боевых орудий, это нехорошо. На флоте в особом почёте значится брага, созревшая в корпусах огнетушителей. А в пехоте – в самом крайнем случае – гуталин и «Поморин». Сервировка простая до противности: намазываешь это дело на хлеб, выставляешь на солнцепёк, пусть маленько полежит, пропитается, а когда пропитается, то верхний слой хлеба, самый несъедобный и замученный, как негр на плантациях, срезается ножом, а всё остальное надо быстро-быстро, очень быстро сожрать... Потолок патологии. Но похмеляться уже не надо. Мёртвые сраму не имут. А спецы анатомических театров закусывают спирт валидолом. Профессиональный шарм... Шар голубой. Крутится, вертится, не в одном глазу – в обоих, и чем дальше влез, тем больше... Да при таких-то шарах нолитых мы любой хор Пятницкого переорём и сделаем их, как профанов...

*Сойдутся вновь друзья, подружки,
Но не сойтись вовеки нам...
И пил солдат из медной кружки
Вино с печалью пополам.
Он пил, солдат, слуга народа,
И с болью в сердце говорил:
«Я шёл к тебе четыре года,
Я три державы покорил...»*

– За что боролись? – спрашивает первый из трёх возможных.

А чёрная тарелка – тут как тут, первой пресвятой троицы: администрации, партбюро и профкома, такая чуткая:

*...За то, чтоб у нас развернул человек
Все лучшие мысли и чувства,
За новый, советский, невиданный век
Науки, труда и искусства!*

– Это, конечно, правильно, – говорит первый из трёх возможных.

– Да, вот именно, – подхватывает второй из трёх возможных. – Если с точки зрения вечности...

– В разрезе колбасы! – уточняет третий из трёх возможных.

– В смысле плоскости, – обобщает первый.

А вот и напрасно он это делает. Не надо обобщать. Не надо трогать чуждые нам логорифмы, эти, так называемые, плоскости, которые заворачиваются цилиндром, который оборачивается в тор, который вдруг становится листом Мёбиуса, который вдруг преобразуется в бутылку Клейна... – и какое мироздание может вытекать из той бутылки – не постичь уму нашему ни в обеденный перерыв, ни после, так что, о геометриях – ни слова, не наше это дело мудрствовать отвлечённо о том, чего не выпьешь и даже не потрогаешь...

*Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась...*

– Повторим?

– Это уж как водится!

– Значит, так. Три по двести и один венгерский гуляш на троих.

И всё!

«Нет, сынок, не всё», – промолчала за крестом окна женщина в чёрном, глаза чёрные и ясные, словно бы день и ночь в одних этих глазах разом сошлись... – как вопрошение крестonosное: «Илú, илú, ламá савахфанú? Бог мой, бог, зачем ты оставил меня? Для чего? Для кого? Бог мой, бог! Сынок, иже еси на небеси...»

LXXXI

«Ой, ты гой еси! Ой, ежи на небеси, колюченькие вы мои, – подумал Аграфён Ильич Басистый, – и чего же интересенького вы мне сегодня расскажете?»

Перед ним, в круге света настольной лампы, лежали два письма Сочинителя, только что извлечённые из конвертов с издевательскими адресами. Как и ожидалось, не замедлил Сочинитель с ответами в город Лондон, сделал это полновесно, с графоманской обстоятельностью, но, между прочим, весьма небрежно обошёлся с заклеиванием конвер-

тов, один из них вообще вопиял угловой щелочкой-раззявочкой, в которую можно целый палец засунуть, а этак-то даже совсем неинтересно Аграфёну Ильичу, обидно и ущемительно для профессионального достоинства, так что, Аграфёну Ильичу пришлось как бы сыграть игру двустороннюю, в одном лице за «наших» и «ненаших» – точно одинокий гроссмейстер в партийном поединке «сам с собой», поочерёдно за чёрненьких и за беленьких: намертво склеил Аграфён Ильич щелястый угол конверта патентованным (Аграфён Ильич ухмыльнулся...) клеем, после чего пошоркал ладошками, пальцы размял и улыбнулся: а вот теперь можно и потрудиться извлечением ёжиков из тумана на свет божий настольной лампы!

И вот они уже лежат перед ним, листики бумажные, поёживаются: это, дескать, не мы! мы тут ни при чём, гражданин начальник! это всё известный вам Сочинитель понаписал, а мы что же – отвечать за него должны?..

Послание первое, чрезвычайное:
КРАТКАЯ МЕТОДИКА ЯЗЫКОВОГО ПОГРУЖЕНИЯ
КАК ПЕРСПЕКТИВНОГО СПОСОБА ВСПЛЫТИЯ

*В город Лондон,
на радиостанцию Би-Би-Си,
в руки так называемой
Русской Редакции.*

Это, товарищи, адрес.

*Есть забава на Руси:
Ночью слушать Би-Би-Си.*

*А это, товарищи, эпиграф.
Из советского социалисти-
ческого фольклора.*

*Дальнейшему укреплению
двустороннего международного
сотрудничества Великороссии
и Великобритании посвящается.*

*Это есть посвящение
в рыцари Круглого Стола
с участием Смоленской
площади и Уайт-холла.*

*И дальше можно вообще
ничего не писать, если
бы не толкал под руку
беспробудный долг
гражданина и патриота,
который не может
больше терпеть, так что –
читайте, завидуйте!*

Здравствуйте, неуважаемые джентльмены, псы эфира! К вам обращаюсь я, друзья мои, для добровольного раскрытия Ваших глаз, заплывших от буржуазных излишеств. Я обращаюсь к Вам с вопросом относительно одного Вашего сотрудника, бывшего когда-то на наших хлебах честным советским гражданином и ставшего на Вашей овсянке нечестным антисоветским отщепенцем. Кого Вы приютили в своём логове империализма? Кто таков и что за человек, этот змей, пригревший на своей груди Ваш обитаемый Остров? Надеюсь, мы с Вами, господа, найдём, наконец, понимание в принципиальном вопросе разоблачения, критики и самокритики.

Итак, слушайте сюда, сволочи.

В советской литературе социалистического реализма у поэтов имеется совершенно свободный от идеологических установок личный выбор: если твои стихи не печатают, то можно заработать прожиточный минимум для пропитания на переводах, я имею в виду переводы не почтово-денежные, а – с одного языка на другой. Ахмадулина с Евтушенкой подружились на этой почве с грузинами, побратался с болгарами Олег Шестинский, сербо-хорватами занимается то ли Фирсов, то ли Фурсов... В общем, все наши товарищи по СЭВ и Варшавскому Договору разобраны до последней косточки, и каждую косточку, с подстрочника, обглаживает наш определённый товарищ: всё поделено, всё занято.

Однако же в этом соцреализме 96-й пробы и 101-го километра издавна и по сию пору существует одна изумительная дырка (ниша, вакансия, щель, лазейка, отдушина и т.д.): Венгрия. В Советском Союзе, следовательно, и в Союзе писателей, ничтожно мало переводчиков с венгерского, самого трудного, как утверждают знатоки, европейского языка.

И вот, представьте себе, живёт в такое казённое время один совершеннолетний казанский татарин, окончивший физико-математическую аспирантуру, сделавший на этом поприще какое-то принципиальное открытие, но оставивший точную науку ради прелестницы Поэзии.

Позвольте представить: Равиль, собственной персоной. Он в своё время был ещё совсем молодой, стремительно-романтичный, искал цель в жизни и посему крепко пил. Крепко – это значит так, как пили сначала русские под татаро-монголами, а потом наоборот, как татары плюс монголы, буряты, якуты, ненцы, нанайцы, чукчи и прочие ханты-манси – под русскими, одним словом, бухал Равиль, да и фамилия у него подходящая: Бухараев, как нарочно придумано.

И вот он, разочарованный математик Равиль Бухараев, собственной персоной, то есть незваным гостем, который, как известно из русского фольклора, хуже кое-кого, взялся за нелёгкое литературно-интернациональное дело: засел за словари.

Засел – слово коварное, да и словари не легче того, в особенности тогда, когда они на фантастической скорости чередуются с роман-

тическим портвейном «Три семёрки» по случаю всё новых и новых, ежедневных лингвистических достижений. Короче говоря, пил, пил Равиль, потом однажды очнулся – и вдруг заговорил с перепоею незаплетающимся языком совершенно непонятно для окружающего населения, изумлённого и немало встревоженного опасениями белой горячки, зелёных чортиков, красного террора и чёрной зависти.

– В каком спектре твоё здоровье, дорогой наш Равиль? – заинтересовалось население. – Вроде бы мы с тобой и пили-то одинаково...

Вскорости оказалось: заговорил Равиль на совершенном венгерском языке, языке блестящего Шандора Петёфи, кстати, чьё первое опубликованное стихотворение ведь так и называлось: «Пьющий». И получался тот заговор у Равиля как у чистокровного, породистого мадьяра гусарского происхождения на службе в русском полку.

– Господи, – говорит, – твоюматьхристабогадушусоцреализм! Щастье-то какое охерачило!

И сказало население восторженно и ласково:

– Ну, и сволочь же ты, Бухараев! Что ж ты всё прикидывался и свой иняз скрывал от нас, своих преданных собутыльников? Мы же всё ж таки вместе водку с портвейном пьянствовали!

И хотели товарищи панибратски потрепать Равиля по плечу, однако вовремя остановились: ударил им в головы образ легендарного боксёра-олимпийца из Будапешта Ласло Паппа с его знаменитым ударом левой, который называется «хук» и производится точно так же, как произносится: х-х-хук! – и все дела, оттаскивай, конец порхающей венгерки, пиздец гусарской балладе, туши свечи...

– Ну-ну, – только и сказало население. – Значит, куй, Бухараев, пока горячо.

И так стал Равиль кузнецом своего светлого будущего. А между молотом и наковальней, проще говоря, между делом и бездельем написал венок сонетов на венгерском языке, то есть поработал именно в том жанре, коего никогда не было в ихней поэзии. А дальше обрушился на Равиля, да чуть ли не придавил полной ванной с небес, неожиданный сокрушительный успех. Его сочинение с восторгом приняли в Венгрии, надели сей «веночек» на головокружительную Бухараевскую голову, триумфально приняли в Союз венгерских писателей и стали печатать во всех хрестоматиях. Вот такой он, Союз, у них оказался, не то, что некоторые, которые... Собственно говоря, что такое какой-то Шестинский или какой-нибудь Фирсов-Фурсов с Егором Исаевым да Феликсом Чуевым с дюжиной разных куняев? Им ведь не то что руководить и переводить... о, нет! их самих, точно калек через дорогу, переводить надобно – с русского языка на русский же.

И задумался Равиль. Вспомнил детство, юность и школьного Некрасова Николая Алексеевича: «поэтом можешь ты», как говорил Николай Алексеевич, – а что дальше-то делать?

А дальше случилось вот что. Сочинил Бухараев на прощанье с Ро-

диной ещё два венка сонетов, по-русски и по-татарски, возложил оные венки на мильён отечественных романтических терзаний и махнул напрямик в город Лондон... Между нами говоря, существует такая научная версия: нынешние венгры-мадьяры есть далёкие потомки тех племён, которые давным-давно под напором чингисхановой конницы мигрировали в Европу с берегов Волги. Так что, логически получается: казанскому татарину даже британские острова – не край света.

Со временем подыскал Равиль постоянную зарплату в Русской Службе Би-Би-Си. Но почему-то продолжает сочинять гениальные русские стихи. И получается следующее: узнал мир в четырёх измерениях, присовокупив к известным ранее языкам язык великого Шекспира, лучше которого сонеты не писал никто, даже этот змей Бухараев.

И вот как-то однажды весной Равиль и его жена поэтесса Лида Григорьева приехали в Россию как международные гости фестиваля поэзии. И их приветствовали. Совершенно игнорируя бухараевскую венгерско-гусарскую «elöreláthatatlanságokról», то есть «непредсказуемость», организатор фестиваля русскоязычный поэт Кобенков приветствовал гостя не английским «Good day» и не татарским «Исэнмесез», но по-нашему: «Здравствуй, брат!» Вот такой Вам сигнал, Би-Би-Си на небеси! Вам и вашей овсянке!

Меня к фестивалю не подпустили, не тот калибр. Но у меня к четырёхстороннему поэту Бухараеву имелся и до сих пор имеется свой, особый интерес. Мне позарез хочется узнать: почему простое русскоязычно-петушиное «кукареку» по-венгерски ни с того ни с сего вдруг становится «циц-циц», что по-нашему означает «пошёл вон!», а на туманном Альбионе превращается аж в «кок-э-дудль-ду», рифмующееся с «Хау ду ю ду?», то есть «Как поживаете?» – что равнозначно приветствию.

Уважаемые акулы микрофона из Би-Би-Си! Извините за откровенность, но я Вам прямо-таки обязан сказать, что петушиная тема возникла не случайно. Шёл Год Петуха!

А насчёт Петуха – что конкретно имеет человечество? Зуб или кое-что? И зуб, и кое-что.

Во-первых, Ватикан. Там клерикализм, Папа Римский и бронзовая статуя Петуха с мужским торсом и гордой пискливой вместо головы, а на постаменте имеется загадочная надпись: «Спаситель мира». Это ли не плевок в марксизм-ленинизм?

Дальше. Святой Григорий считал Петуха аллегорией правильного пастыря, ибо: что делает вышеупомянутый Петух перед своим ритуальным горлопанством? он машет, как дурак, крыльями, бьёт себя по чреслам и так далее, и тому подобное... – кается! А нам это надо?

Нам ведь что надо, господа капиталисты, здесь и сейчас – от этого петушиного интереса? А вот что. Записывайте и гоните прямо в эфир на весь мир: мы с Бухараевым считаем: во-первых, раз в 12 (двенадцать) лет всё человечество Земли должно присаживаться молча на ступеньку

большой лестницы в небо и, подобно роденовскому «Мыслителю», погружаться в процесс осмысления странного факта, а именно: представьте, предрасветное одиночество Петуха, тоскливое беспокойство, мутный глаз, и вдруг Петух начинает кричать, поя, или же поёт, крича, но при этом совершенно точно знает (угадывает?) меру своего горлодёрства, время оно и место, кстати, и молчать тоже умеет великолепно (по системе Станиславского?). Это же что такое происходит, господа? Это его простая обязанность. Это его святой долг перед человечеством (и перед солнцем?) – долг, который остаётся долгом даже в утро (день! вечер! ночь!) последнего целования, даже во времена большой лапши. Зарубите это себе на носу. Во-вторых не будет. Бухараеву привет. Гуд бай, империалисты.

P.S. А правда, что в вашем городе Лондоне не было туманов до тех пор, пока их не нарисовал французский художник Клод Моне на знаменитой картине «Лондонские туманы»? У нас ведь тоже классные рисовальщики есть, которые почти уверены в том, что – как рисуют, так вокруг и жить будем. Нет?

...Аграфён Ильич заварил свежий чай, и в продолжении всей чайной церемонии всё поматывал головой, покачивал, бровями жестикуютировал, губами шевелил, это он сочинял в уме ответное послание Сочинителю как бы от имени Би-Би-Си, разумеется, невероятное послание, но почему бы и не поиграть в Лигу Наций, в большого всемирного начальника, решающего судьбы народов вплоть до отдельно взятого маленького человечка, пожалеть да посочувствовать – двухсторонняя польза, и водки не надобно, а кто Аграфёну Ильичу посочувствует? у него, поди, тоже есть понимание катаклизмов: вот же бумажки, перед ним, только что были письмами и вдруг стали – документами...

Послание второе, полномочное:
СЕРЕНАДА ПРО ОКНА НА ОДНОЙ СТРУНЕ «СОЛЬ»

*Леди Лиде Григорьевой
в город Лондон,
имеющий место быть
близ ея садика
в строгом доме
по ухоженной улице
в первом этаже –
до востребования,
в собственные руки.*

Это, товарищи, адрес.

*Всё васильки, васильки,
Много их выросло в поле...*

*А это, товарищи, эпиграф.
Из русской народной песни.*

Хау ду ю ду, изменчивая леда! Вот и у Вас, оказывается, появилось собственное окно в мир насущный. Что ж, поговорим про окна, да будь они нескладны в рифму во веки веков.

Кто, скажите мне, больше всех на свете страдает от войн, революций, обид и ссор, от злого умысла и такового же замысла, от «аз воздам», от протеста, от хорового «ура», сложенного из одиноких «увы»? Не вы! Они! И их ближайшие родственники: посуда – стеклянная, деревянная, оловянная, золотая... То-то!

Уж эти окна, засиженные музами: одно-двух и многожды створчатые; с форточками, фрамугами, рамами, шпингалетами; со шторами, жалюзи, решётками и без; в сосново-дубовых, алюминиевых и пластмассовых переплётках... – окна и их ближайшие родственники: балконы, лоджии, трёхгранные эркеры, эти напряжённые пародии на стаканы в железобетонных и каменно-кирпичных подстаканниках...

Уж эти зеркальные витрины супермаркетов: стёкла, которые отражают всё, что может так или иначе отражаться: рожи и рожицы, и помирающее SOS, и младогегельянские соски, и сосиски, что нежнее пианиссимо Дебюсси, и даже отдельно взятое за кадык человеческое достоинство; да ведь они ещё и манят, будучи витринами: money! money!.. – будто бы тема в поисках автора роется в писчебумажной барахолке: кому отдаться? – точно барышня привередливая при выборе жениха на фоне отсутствия... там, за витринами, первая и вторая и даже третья жизненные необходимости урчат, рычаг и кусаются, да ещё так по-собачьи, что отдельные товарищи вытаращили глазыньки свои ясные, по усам потекло, а единственный автор, безусловный автор, плюнул в избирательную урну, отпустил усы, и усы ушли восвояси, во все тяжкие, от течки – к эпидемическому веселью, к разночинным упругим смехохотунчикам в государственном масштабе, где сосуществование с объективной реальностью, извините, дырявое вельми и вельми, всё в зарплатках хоть и маленьких, но ещё хороших... очевидные, и очень, очереди, автоматы с пиво-воды и ЗИМы блестящи и непробиваемы, и зимы неотразимы, а вокруг Мавзолея хороводятся мужественные массовики-затейники и женщины-профи с матерями-одиночками: «Не позволим выносить сор из избы!»...хлещет жизнь, танцуют все: сначала – неопределённо-полное яблочко, усреднённое весьма и синоним кадыка, а уж потом – бабий банточный бунт и отрадость невыносимая: барыня, да мазурка с чечёткой мелким бесом поперёк Чечни, да полька-бабочка-сепаратистка с лезгинкою, да ещё цыганочка с выходом из России, всем добровольно плясать приказано, вот они и хлопочут, глухота с немотою да слепота с лепотой в лапоточках лыковых, а весь краткий курс истории государства укладывается спать в «ничего такого не было!», двойные отрицания взаимоуничтожаются и получается «чего было!», а чего было, так то бельём поросло, большая стирка в дому, старые хрестоматии и новые деньги отмываются, и весьма критический господин Белинский, на-

плевав на чахотку, озабочивается по поводу неразрывной связи народности с сарафаном, но что именно он имел в виду под сарафаном, так и не раскрыл, умолчал, возможно, постеснялся, а у стеснительности – масть имперская: се наказ как наказание для бывшего, настоящего и предбудущего сироты казанского, непременно... «Да ну вас всех на хрен!» – сказал автор усов и подался от хрена к редьке, разумеется, через окно, не через двери же! он ведь не дурак какой-нибудь, чтобы удаляться через двери, которые для дураков?.. – и вот таким образом пришед к редьке, он отложил своё стило за голенище и сел кушать убитого бройлера с зелёным горошком, созревшим первой автора, да не простой восковой спелостью, но даже и мозговой, и вот сидит это он, кушает в себя и думает о гипотенузе и двух катетах в равнобедренном адюльтере, в коем фигурирует геометрия занимательная: окно, вор и любовник, и вот, значит, автор усов думает, думает с пережёвыванием и придумывает, что окно ни в чём не виновато, а все неприятности и разные негоразды проистекают исключительно от этих паразитских равнобедренных катетов...

О, леди Лидия! О, садик твой, сад невинный, нехлебный... «Сама садик я садила, сама буду поливать...» И распустился-таки самосадик.

... с денно запахнутыми ставнями деревенские деревяненькие, мировоззренчески дрянненькие, но зато с подоконниками, проложенными сероватой ватой, а в той сероватости сидят, как бояре в думе, беспородные тары-бары с геранями и «ваньками мокрыми» – домашний зимний садик; в пору цветения, созревания и размножения на подоконник вываливается совершенно летняя красная девица, бедная Лиза, сама ещё в избе, а сиськи уже на улице, а зубами, наплевав на кариес, нащёлкивает-налузгивает подсолнушные семечки али орешки кедровые грызёт, поплёвывает, зрением строит анютины глазки мимо проплывающему противоположному полу, на что маманя ея с тревогой в голубом глазу говорит заботливо: «И в кого же ты уродилась такая, курва бесстыжая, девица непрочная? Вот когда я была красна девица...» – «Ага, щас, разбежалася, – отвечает родительнице бедная Лиза, облизываясь без оборота. – Я вся умираю...»

О, леди Лидия! О, сад, сад – ни крови, ни тела: Харя – Крыша – Рама. Кто пожалеет бедную маманю с краснодевичьими воспоминаниями ея? Никто. От таких воспоминаний не помирают. От таковых забот глаза не разбегаются. От тревоги в голубом глазу сиськи не вянут. От иных любвей-ненавистей, от кренделей коленкоровых народ дыбом стоит. Да, впрочем, то и не дыбы вовсе, милая, а всего лишь воспоминания о дыбе, о народе, о кренделях. Феноменологическая редукция, проще говоря. Издержки выдержки, болезни роста.

А ещё вот эти окна РОСТА. Да ещё те, которые: «Не проходите мимо» и «Их разыскивает милиция» – с ликами как лицензиями на отстрел. Рамы двойные. Преступность и неприступность, орлы двухголовые, а сойтись им в одной гузке, впечатлительная переимчивость,

слюдяные угарные отдушины и «окна в Европу», держава ржавенькая и кресты ея окрестностей: один купон – закупон, два купона – совокупон, и вся любовь, но всё чего-то не хватает, косноязычная, косная, костлявая високосность одолела, колода – колодец – колодезь – кладезь – клад – кладбище: на зло надменному соседу здесь будет городсад, здесь будет камень, камень-заложник, философствующий камень, кривоугольный, с двумя катетами и гипотенузой, а в центре камня – каменя: свет в окне как надежда на надежду. Да.

А девки, на которых свет сошёлся клином, вон чего умудрили, шалавые, Пифагоры в юбках. «За окошком, – поют, – свету мало, белый свет, – голосят, – манит, манит, а мне мама, а мне мама целоваться не велит...» Против мамы, понятное дело, возразить нечего, дела семейные, целование да целкование, но в свете просвещения оно, конечно, получается так, что бледные девки-леди и девки-бляди румяные совершенно правильно учуяли: не окно в доме важно само по себе, но – свет в окне... Клинопись! Да вот ещё и стеснительное лукавство хитромудрое, обоюдоострое и обоюдовыпуклое: «за окошком». Как хочешь, так и понимай, как знаешь... потому что – с одной стороны есть бедная Лиза, а с другой – ея маманя, две точки зрения: смотря с какой стороны подойти к тому окошку, снаружи или же изнутри... Соль вопроса. Абсолютная соль Земли. Тютелька в тютельку. В тютельке – пресловутая «соль», посольская нотка, солнечная – в ноктюне ли, в серенаде ли, в фантазии с вариациями на тему России – всё из той же оперы: смотря какая соль и струна какая: ежели страна Россия – так одна струна, из многих свитая, а ежели Страдивариус – так то уж будет такая страда, земная и небесная, со страданием и блаженством благодарения, такая!.. что более сподобна не звуком именоваться, но почти библейским письмом к людям страждущим или имеющим на то все основания, при этом важно, чтобы между Страдивариусом и страдой (ох, не эстрадой, упаси бог!) был третий нелишний: Паганини... «нечеловеческая музыка»? о, нет, такой не бывает, такой вообще не существует, отнюдь не музыка бывает наполнена человеком, но, прежде всего, человек – музыкой, и в этом-то вся его и её соль... Вот такой обязательный треугольник получается, самая устойчивая геометрия, строительная конструкция, которую, как говорят, ещё задолго до вольных каменщиков придумали, так какой уж тут Паганини? Паганини – это к слову звука, а до звука слова – чуть ли не поганцы-патагонцы, гурманы-людоеды.

О, леди Лидия! А вот и доложу я вам со смиренностью ездока в незнаемое: неживой бройлер, данный автору в ощущениях, с присокупленным зелёным горошком – бесконечен, как Тора, как само еврейство. Это во-первых и во-вторых. А на третье подаётся комплот, французский какой-то прямо-таки заговор: и с какого же это офигенства русский кур вдруг напаялил на себя сомнительный псевдоним? А оно нам надо? Надо, сударыня, надо. Потому что лишних букв в рус-

ском языке нету, он же вам не какой-нибудь, извините, патагонский или венгерский, он такой уж, язык-то... Как женщина после похорон сына, как наука жить без него, равно как и для сына – наука жить в матери, жить вне матери и жить без неё; это научение всегда начинается со слёз, и в этом солёном смысле оно ничем не отличается от любой другой науки с вектором туда, вперёд и выше, в сторону любви невообразимой, натоцк и вне шалашей. Когда, то есть в кои года? А всегда, то бишь во все года и навсегда, сиречь на все года. Да. Век живи – век научайся-мучайся, весёленькое дело, горькое, но и при нём, таком-сяком сладком перчике, нету, однако, никакого смысла взмахивать отчаянным, обескураженным жестом: зря, мол, времечко потратил, зря, дескать, время прошло, жалко... – о, нет же, нет, себя пожалей, это ведь тебя время потратило, а не ты – его, и зеркало тому свидетель очевидный, да к тому же и идёт оно, времечко наше, и в самом деле видимо, действительно видимо, зря и зримо, и это совсем не означает, что напрасно; идёт, бурлачит – время общее и целое во всех частностях, изначальное и окончательное, закон и буква, заветный союз, который – и «и», и «точка над и», и ты при нём, словно «и краткое», ВРИО времени, служба при храме, прихрамываешь, стало быть, рядышком, поспеваешь от и до, на ходу попеваешь и импульсивно обмениваясь с Великим Хроносом тенями теней и оттенками оттенков: мах не глядя!?

...от ихних витражей с витринами – до нашенских ветражей с ветринами, с ветрилами; ихние – тостуют, тоску разгоняя, нашенские – гуляют, «от рубля и выше», режут правду-матку и последний огурец, рвут рубахи, и в окно, не в дверь, стучат, созывая зазноб на тайное свидание, да в сенные оконца сердобольно выставляют ковриги хлеба для беглых каторжников.

Слышал как-то краем одного уха, что в Скандинавии есть такой обычай: по вечерам на окнах раздвигают шторы, так что вся домашняя внутренность является наружу – подходи, дескать, случайный прохожий, стой, не стесняйся, любуйся на посторонний уют, коли своего не имеешь, согрейся им... Вопрос: а – туда, за окно, куда обычно входят через двери – пустят ли? Не знаю, не слышал, вероятно, оттого, что второе ухо облокотилось трогательно задумчивой ладонью. Другое знаю: в России наипервейшим знаком качества окон служат ставни с железными запорами-чеками на болтах. Да, неоднозначно и многосмысленно зачекушены окна. И люди за окнами... Я их маленько люблю, и этого «маленько» мне с лихвой хватает на всю жизнь. А лихва та похожа на гаремный Восток: дом, замкнутый на самого себя, всё – внутри, всё – непроницаемо, наглухо закрыто от мира... Похоже, но – одно но: русские-то рубахи всегда рвутся максимально наружу и с треском на весь мир.

И вот сижу я, дурак дураком, кушаю бесконечного, как латиноамериканский сериал, бройлера и думаю: ладно, пусть я сижу

здесь, дурак дураком, и кушаю разноцветного и беспечно-игривого, как индийское кино, бройлера, и думаю: а вот как и что думают и кушают, например, в жеманной, женоподобной Женеве?.. Жё нё ву при, мадам... Извините, повторяю по-русски: я вас не прошу, сударыня, для получения такой идиотской, с вашей точки слышания, справки пересекать Ла-Манш. Нет. Я с той Женевой сам по себе разговариваю, с маленькой озорной Женевьевой. Да. Я, знаете ли, вдруг вспомнил, что существует в этом городе одно окно в доме на Цветочной улице, на подоконнике – цветок в глиняном горшочке как парольный знак: дескать, заходи, явка ещё не провалена, если явка с повинной (читай: остограммленной) головой – из нечаянного зачекушенного похмелья, куда автор попал, увы, не как кур в опцип, нет! да и не кур вообще, этот курвище, ещё тот курьер, нет! как в переплёт пиратский, как на распятые, в решетчатые Кресты, кресты деревянные, переплёты оконные: это он через-сквозь стекло глядит в Европу, телефонный автоответчик настроен мирно на «добрый день» и «добрый вечер», ночь и утро не предусмотрены, но они ведь тоже могут быть добрыми, не правда ли?.. Киплинг померещился: «...и вместе им не сойтись!» Да?! Господи ты боже мой, да ведь мы уж давным-давно сошлись, ещё до колониальной музыки, ещё до начального звука «до», сошлись так, как декабри сходятся с январями, как вопросы с ответами, как некогда разведённые для революции мосты, как мужчина с женщиной сходятся: шли, шли – и нашлись, и сошлись, и пошли дальше, но уже в одну сторону, туда, куда хотят, а не туда, куда их посылают, а за ними потянулись грациозной поступью лошадь, коро-ва, собака, кошка... – и последующие поколения, заимевшие привычку забегать поперёд бабки с маткою. Вот! И нечего тут тулумбасы разводить! А то, понимаешь, катеты какие-то, гипотенузы, косоворотки с бройлерами, вертухайство налево-направо и тому подобное... Если и есть в обозрении гипотенуза, то она вверх тянется. Там, где небо безукоризненное, без единой тучной морщинки, небеса обетованные, купол неизъяснимый, не небосклон – небосклонность как всевышняя милость, очи ночи – звёздочки, и полная млечности луна как ковчеговый иллюминатор, за коим свет и от него свет, и солнце как оконце в ослепительный мир, око окон, сквозное зодчество, зондирующее небеса и горизонты планет... Так что, и в этом треугольнике дышит квадратура круга. А это значит – ни более, ни менее: мы снова будем вместе. Вместе – то есть в месте, в одном месте, пусть и в разных временах. Россия встретится с Россией. Вот Союз-то будет, когда мы придём: тёртые калачи к стреляным воробьям. Верю: вернёмся. Ведь в том-то и вся соль, что – вера, да ещё на одной струне, да ещё в середине серенады под окнами в сад, куда смотрит, не препинаясь о Гринвичский меридиан, леди Лида: смотрит и видит поле: всё Васильки, Васильки...

Прощайте, леди. Уж гаснут предутренние очи, и левый очень, и правый очень, оба. Да и буквы уже кончились, так что можете начинать читать сначала: про...

.....

«Что к чему? Ничо не понял! – подумал Аграфён Ильич Басистый. – Вот ведь сукин сын какой, этот Сочинитель! И буквы у него, видите ли, кончились... Bravo! Пройдёмся ещё разочек по письмецу, сначала, намёк ваш мы поняли...»

Аграфён Ильич принялся в обратном порядке перебирать листы – и ахнул, перебирая: машинописный текст исчезал, обесцвечиваясь, прямо на глазах, воочию истаивал, строка за строкой, а бумага с первым посланием, чрезвычайным, была уже абсолютно чиста! Ахая с пристаныванием, Аграфён Ильич кинулся отлистывать бумаги назад, от начала к концу, вослед убегающему тексту, прихлопывал строчки ладошкой: не пуцу! – а они убегали неудержимо, как солнечные зайчики, писчебумажная белизна устремлялась, растекаясь и ширясь, к последней странице, и вот она уже одна перед глазами, и Аграфён Ильич припечатал её ладонью, а поверх наложил вторую ладонь, для крепости: куда? стой! моё! не дам!.. – да так и замер, боясь спугнуть подлежащие буквы, таракашки... а когда раздвинул-таки возлежащие на бумаге пальцы, то между ними оказалась пустота – чистая, белая, голая, наглая, мокренькое место, при аккуратном рассмотрении оказавшееся влажным отпечатком человеческой пятерни...

«Химреакция! – ёкнуло нутро Аграрёна Ильича. – Цирк... фокус... организация... тайная сеть... железный занавес... окно в Европу...»

Мелкой дробью рассыпались в голове Аграфёна Ильича ёкающие слова, и закрутились, закружились хороводом, каруселью, центрифугою...

Странно. В голове вращаются стремительные фуги и бахи, а в груди пустынько, а в животе покойно, а в руках даже маленько весело, а в ногах и вовсе по-птичьему беззаботно, разве что задница не чирикает, подпрыгивая на стуле, на боевом посту государственного человека с перламутровыми глазами: прощайте, леди! привет от Басистого! от нашего стула – вашему! ото всей нашей личной волнистой души и общесоюзной текстильной промышленности...

Странно.

LXXXII

Странно, дисгармонично и должности противно – вот ведь зараза какая: в голове чистота неопишуемая, ясные помыслы, чёткие пункты, аккуратность, дисциплина, порядок, а в руках прямо зуд какой-то! Вот так бы взять двумя пальцами за уголок эти «Огни коммунизма» – и с глаз долой, из сердца вон, в отходную корзину, в мусорное ведро, в унитаз, на помойку! Ну, сколько же можно? Куда ж годится такое, чтобы жизнь, здоровье, нервы, ягодные сорок лет возвратной моло-

дости – да изводить на недоношенных газетчиков! Боже мой, мамочка родная, до каких же пор?..

Дежурный цензор краевого ЛИТО Мэлс Кимоновна Беломорско-балтийская вычитывает отписки газетных полос с наклеенными фото-клише. Полчаса назад доставили из редакции с пламенным приветом от Геня Ивановича Будьтакова – для традиционного визирования служебным штампом «В печать». Без Мэлс Кимоновны сегодня не состоится завтрашняя газета, праздничный выпуск, посвящённый Дню строителя.

И Мэлс Кимоновна читает вслух, пародируя распевный пафос бездарного актёришки, с возмущённым дрожанием пальцев:

– ...Если целые этажи повиснут, если перекинутся смелые арки, если целые массы вместо тяжёлых колонн очутятся на сквозных чугунных подпорах, если дом обвесится снизу доверху балконами с узорными чугунными перилами, и от них висящие чугунные украшения, в тысячах разнообразных видов, облекут его своею лёгкою сетью, и он будет глядеть сквозь них, как сквозь прозрачный вуаль, когда эти чугунные сквозные украшения, обвитые около круглой, прекрасной башни, полетят вместе с нею в небо, – какую лёгкость, какую эстетическую воздушность приобретут тогда дома наши!.. Боже мой, какая чугунная фантазия! Какая скрытая издёвка над советской архитектурой! По форме – памфлет, по содержанию – идеологическая диверсия!

Строгая служба у Мэлс Кимоновны. Строгий кабинетик в первом этаже Дома печати, на верхнем этаже которого разместились «Огни коммунизма». Строгое лицо у Мэлс Кимоновны. Пиджак. Мужской, двубортный, цвет индиго. По случаю предстоящего праздника лацкан украшает пластмассовая ромашка со стеклянной «божьей коровкой» на лепестке. Строгий вкус у Мэлс Кимоновны: никаких излишеств. Впрочем, для нагрудного ношения имеется ещё овальная брошь-камейка с профилем Пушкина в ажурной рамочке из анодированного, под золото, алюминия, но это – к международным праздникам, а завтрашний День строителя сугубо свой, советский, в нём позволительно пококетничать. Мэлс Кимоновна пьёт лимонад «Буратино» и курит фамильные папиросы с янтарным мундштуком – память о папе, то ли прокурором был, то ли трудармейцем-каналогвардейцем, исчез папа, только мундштук остался и тяжёлый портсигар с выпуклой Петропавловской крепостью на крышке.

– Напрасно ищет взгляд, – мелодекламирует Мэлс Кимоновна, – чтобы одна из этих беспрерывных стен, в каком-нибудь месте, вдруг возросла и выбросилась на воздух смелым переломленным сводом или изверглась какою-нибудь башней-гигантом... Боже! Какая башня?.. Неужели найдётся такой смельчак или, лучше сказать, несмельчак, который бы ровное место в природе осмелился сравнить с видом утёсов, обрывов, холмов, выходящих один из другого... О, Гений Иванович, Гений Иванович, да читал ли ты эту ахинейскую статью, прежде

чем мне на подпись подбрасывать?.. Нужно толпе домов придать игру, чтобы она, если можно так выразиться, заиграла резкостями, чтобы она вдруг врезалась в память и преследовала бы воображение... О, Гений, безумный Гений, уж сорок раз я тебе по лбу стучала: не грехи аллюзиями! Грехишь, рыдактор, грехишь! На какой планёрке растерял ты свой профессиональный волчий ум?.. Где положение земли гладко совершенно, где природа спит, там должно работать искусство во всей силе. Оно должно пропестрить, если можно сказать, изрыть, скрыть равнину, оживить мертвенность гладкой пустыни... Довольно!

Мэлс Кимоновна сняла телефонную трубку и набрала на диске нужный номер.

– Гений Иванович, я прочла... Да, да, и очень, очень внимательно. Я снимаю из номера статью «Слава советским строителям в свете архитектуры нынешнего времени»... Да, полностью. Категорически. Вы же прекрасно знаете, Гений Иванович, что могу. Я могу полномочно вам ничего не объяснять, не мотивировать своё решение. Снимаю – и всё! Но, поймите, наконец, мне ведь и за вас персонально неловко. По сути дела, я вас преступно спасаю. Вы уже ровно сорок раз прокололись, Гений Иванович! Вы же член крайкома, а не видите, что статья написана в духе пародии, в духе сатиры и издевательства. Неужели не догадываетесь?.. Святая наивность! В статье из каждой строчки выпирает намёк на наше хибаровское, так называемое в народе, Вавиловское столпотворение... Да, так в народе говорят. Вы не слышали? Странно! Все слышали, а член крайкома не слышал... Нет, нет, ни в коем случае! Материал снимаю целиком и полностью. И давайте без личных обид, мы же с вами государственному делу служим... А что автор? Ваш автор?.. Не смешите меня. У вас нет автора, у вас анонимщик!.. Что значит: вы не успели? Каким образом, в таком случае, вы объясните простому советскому читателю, в каком подтексте понимать подпись под статьёй: «Гость нашего города проездом из Бомбея»? Что за гость? С какой целью прибыл? С какой стати эта ария индийского гостя? Откуда вы знаете, что этот гость – гость в качестве интуриста, а не враг в качестве агента влияния?.. Нет, нет, увольте меня и не уговаривайте. В конце концов, это наше столпотворение, понимаете? наше! и только мы сами имеем право судить-рядить о нём и чихать при этом на мнения со стороны. Так что, Гений Иванович, в срочнейшем порядке ищите замену, если не хотите бельма на газетной полосе... Да, да!.. Нет, нет!.. Пришлётё человека? Опять этого грузинского Зураба Георгиевича? Не надо Зураба Георгиевича!.. Его утвердили? Кто утвердил?.. Ах, крайком! Странно... Да, вы правы, моя должность так и называется: уполномоченный ЛИТО... Да? Забавно... А вот то и забавно, что вы сделали Зураба Георгиевича уполномоченным редакции по связям с ЛИТО! Уже третий день как уполномоченный? Вы шутите? Ах, не шутите! Серьёзно!.. Специализация, говорите... Да я вам скажу, Гений Иванович, что у вашего нового уполномоченного такая специализация, что он смотрит на меня не как на должностное лицо на рабочем месте, а

как на женщину без никакого места!.. Конечно, возмутительно! Конечно, примите меры... Ну, зачем же вот так сразу – и строгий выговор? Можно на первый раз и предупреждением обойтись, поговорите по-мужски... Ах, вон как! Ну, извините, я как-то не подумала, не сообразила сразу, что у вас, у мужчин, разговор по душам и по-мужски – это разные разговоры, диаметрально противоположные... Да, да! Не затягивайте.

Мэлс Кимоновна положила трубку на аппарат. Выдохнула возмущение. Погладила пальцем «божью коровку» на груди. И подумала: «Как странно... Уполномоченный по связям! Эти дикие усы, эти глазастые маслины, этот Зураб Георгиевич Ркацители... Бред какой-то. Кто его придумал? Приходит, приносит оттиски исключительно для моих штампов «В печать» и «В свет», но ведёт себя нахально, молчит! У иных ходячих колени подгибаются, когда в цензуру приходят, а этот – нет! на прямых ногах стоит, нахал, усами шевелит, глазами гарцует, как конь, и говорит всегда одно и то же, одно и то же: божественная Мэлс, ну и как тут у вас на почве нивы? Нахал! Какая я ему Мэлс? А он улыбается, как конь: Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин плюс Кимоновна да к тому же Беломорскобалтийская – для одного грузина многовато, будешь маленькая Мэлс, обожаемая царица ЛИТА... Странный тип!..»

Мэлс Кимоновна погладила пальцем «божью коровку» на груди. Выдохнула мысли. Выпила стакан «Буратино». Закурила семейную папиросу. И пошла на второй круг принципиального чтения статьи этого недопустимого, уже обречённого на небытие, анонимного автора из Бомбея, сочинившего вместо праздничного текста ворожбу какую-то: готика – древневосточные формы и стили – экзотические исполинские химеры Индии – эстетика Шеллинга – архитектурные проекции (подумать только!?) «ужасные своею огромностию, перед которыми мысль немеет от изумления» – диспропорции – контраст – пестрота – барокко – пагоды – шпили – колоннады – лепнина – плафоны – купола – мраморная улитка – раковины – гордая мишура – деревянные и каменные выкрутасы – сладострастные алтари – гроздь пафоса...

Гений Иванович Будьтаков, окончив телефонный разговор с дежурным цензором, мрачным взглядом, словно с эшафота из-под вешалки, описал дугу в пространстве.

– Все слышали?

– Все.

Этими всеми были: ответсекретарь редакции Анна Петровна Керн и недавно возведённый в штатное расписание уполномоченный по связям с ЛИТО Зураб Георгиевич Ркацители.

– Ситуация хреновая. Голос Бомбея из номера вылетает. Срочная замена. Что у нас в запасниках, Анна Петровна? Да чтобы, сами понимаете, на скорую руку...

Керн, ветеран хибаровской журналистики, кивнула головой с полным пониманием:

– Не волнуйтесь, Гений Иванович. У нас этого барахла два портфеля. Один портфель – по моральному кодексу. Второй – для ветеранского номера, мы его ещё к Дню печати готовили, про заслуженных рабкоров, селькоров, юнкоров... Помните? Ваша ведь задумка.

Будьтаков – с эшафота на пьедестал единым духом перескочил:

– А как же! Давайте ветеранов нашей славной прессы. Живо! Ещё бы мне не помнить!

Ещё бы ему не помнить, Гению Ивановичу. По весне выхлопотал допуск к секретным материалам и лично на целый рабочий день погрузился в краевой партархив. Зело дивное, чудное, волшебное хранилище. «Дела» пыльные, жёлтые, хрупкие. Аборигенная крыса Крыся, умница, за кусок колбасы готова сыскать любую совсекретную папку и принести в зубах, на том быстро сговорились с умницей, нюх у неё отменный, в кромешной тьме безошибочно вынюхивает шестиугольный штамп спецхрана, означающий на языке архивистов железное слово «ЗАПРЕЩЕНО»... Дух там тяжёлый, подвальный, история смердит, свету мало, жирная чернота на всех поверхностях – не задержался в архиве, значит, Гений Иванович, засадил за поисковую работу безотказную Анну Петровну, и всё былое в отжившем сердце как бы ожило...

– Сверхсрочно, Анна Петровна, голубушка! Готовьте в набор подборочку из ветеранских корреспонденций! В объёме зарезанной статьи из Бомбея!

– А один старый селькор, между прочим, ещё живой и даже активный, – сказала Керн.

– Неужели? Кто такой?

– Да вы его в лицо знаете, Гений Иванович. Это дед Молитвин, активист-общественник из Кошкиного Дома.

– Гениально! Давайте деда Молитвина! Надеюсь, его тексты не опубликованные?

– Да.

– Кстати, как у него в смысле морального кодекса, Анна Петровна? Чего вы мнётесь?

– Да мне как-то трудно об этом говорить...

– Всем трудно под этим кодексом, дорогая. Верно говорю, геннацвале Ркацители?

– Как пить дать, – ответил молчавший доселе, но весьма дружинистый Зураб Георгиевич.

– Отлично. Через десять минут, Анна Петровна, воскрешаем селькора Молитвина для будущих поколений. Всё!

В это время Мэлс Кимоновна добралась в чтении до четвёртой полосы «Огней коммунизма», последней. И потянулась рукой за красным карандашом, дежурившим в стаканчике.

Фото! Вид тайги из иллюминатора то ли вертолёта, то ли самолёта. И подпись: «Здесь пройдёт трасса ЛЭП-500».

И Мэлс Кимоновна ставит на фото жирный крест.

А по соседству – рубрика «Обратная связь. Письма наших читателей»...

«Уважаемые огни коммунизма! Я к вам пишу, как писала Т. Ларина, так чего же боле! Дура она, эта Т. Ларина! Потому что в этой боле как раз вся суть женщины сосредоточена. А конкретная суть такая. У меня две сестры, обе красавицы, а на мне, видимо, азарт родителей иссяк, и я получилась, мягко говоря, так себе. Глазки маленькие, нос на пол-лица, ещё очки толстые, близорукость минус 8. И вот на днях я зашла на наш центральный продуктовый рынок, и вдруг продавец мандаринов кавказского происхождения как закричит мне через весь ряд: «Красавица, подходи, ради тебя всё что угодно сделаю, бери, что хочешь, душа моя!» Мне ещё ни один мужчина за всю мою трудовую жизнь таких сногшибательных слов не говорил! И я сдурела на радостях и 5 кг мандаринов сразу купила. И хотя кавказец обсчитал меня на 40 руб. 50 коп., но я до сих пор хожу счастливая. Потому что с полным знанием дела могу теперь ответить своим подругам, которые крутят романы десятками: «Да, – скажу я, – эти мужики... все такие обманщики... ну, просто сил от них нету...» И очень мне хорошо! Чего и всем нашим бабам желаю! Просто Мария»...

Красный карандаш с переменной скоростью закрутился в пальцах Мэлс Кимоновны. Пальцы нервничали. Мэлс Кимоновна отбросила карандаш прочь и вновь сняла телефонную трубку.

– Гений Иванович, это я... Да. Фотография на четвёртой полосе... Нет! Несите фото к военному цензору. Вы что же, забыли установленный порядок относительно аэрофотосъёмки?.. Я и не сомневаюсь, что помните. Вот и ступайте к военному цензору, он же недалеко, рядом со мной, кабинет напротив, целый подполковник в авиационной фуражке сидит... Как не сидит? Уже лежит? Ну, не знаю, Гений Иванович, это уже ваши проблемы с товарищем подполковником... Нет! Никаких любовных решений! И не надо вам самому лично ко мне спускаться! Зачем же так себя утруждать по этажам? У вас для этого другие есть... Где этот ваш... уполномоченный, что ли?.. Хорошо, вот пусть он и несёт ко мне ваш материал по ветеранам советской прессы. Ветераны борозды не испортят. А фото убирайте... Ну, и что, что с самолёта ничего на земле не видно? У вас же под фото подпись стоит! Она всё говорит! Она, по существу, хоть и приблизительная, но всё же географическая привязка!.. Хорошо. Я вам подскажу, хоть и не обязана этого делать. Смените подпись. Напишите так: «Зелёный океан». Красиво и ни одному нашему врагу непонятно... Не за что меня благодарить, Гений Иванович. Учтите, что на текущий момент у вас, с точки зрения цензуры, накопилось ровно сорок проколов. Знаменье такое получается. И вы ещё спрашиваете про последний раз? Я не знаю, когда будет последний раз у вас, а вот когда был у нас последний раз – это я вам чётко скажу. Я напомню вам один ваш заголовочек из стихов Маяковского: «Отечество славлю, которое есть...» – припоминаете? – «но трижды, которое...» – нет, Гений Иванович, это у

Маяковского «будет», а у вас было «бубен» не так ли?.. Нет, не опечатка! Политическая ошибка! Сорок грехов на вас, Гений Иванович, именно на вас, и вы на корректора не валите, не надо, мы с вами коммунисты и несём персональную ответственность... Да, я с вами и так заболталась, мне вовсе не положено с вами разговаривать на служебные темы, но я всё же хочу по-человечески, по-партийному... Нет, нет. Ваш индийский гость – вопрос исчерпанный, не пройдёт... Национальные особенности ваш гость пусть в Индии решает, и вы напрасно говорите мне про его литературные обороты... Какой роман? Какой дом?.. Я удивляюсь! Дом не может быть романом... Наоборот? А наоборот даже очень возможно, но ведь это возможно только потому, что наоборот. Вы обожаете Солоухина? Я обожаю Солоухина! Что за прелесть его роман «Мать и мачеха»! Я читала и слезилась, слезилась... Да, да!.. Что вы говорите?.. Нет, нет!.. Что вы говорите!.. Слушайте! Владимир Алексеевич недавно в «Книжном обозрении» высказался на вопрос интервьюера – как раз по нашей теме. Он сказал, как в воду глядел, что роман – это сложное архитектурное сооружение. А вы мне говорите: дом как роман... Я вам ещё раз говорю: роман как дом! И Владимир Алексеевич то же самое, я почти наизусть помню, у меня, сами знаете, какая память на чужие тексты, слушайте, что говорит Владимир Алексеевич, я его обожаю: роман – это не башня, не собор, а именно дворец со множеством интервьюеров... извините, интерьеров, с воздухом в них, с галереями, анфиладами комнат, зимними садами, чертогами и подвалами, желательнее даже с потайными подземными ходами в отдалённый угол сада, к реке, в ближайший овраг... Понимаете? Так сказал Владимир Алексеевич Солоухин, я его обожаю. Вы с ним согласны, Гений Иванович?.. Согласны! Значит, давайте не будем будировать индийского гостя, ну его к Будде, и вообще... Я имею в виду тексты, которые вы получаете со стороны. Вот сейчас передо мной, например, письмо одной нашей местной трудящейся гражданки... Да, да, просто Мария которая. Вы что, действительно намерены его опубликовать?.. Не знаю, не знаю... Да, вы правы, здесь нет ни государственной тайны, ни военной... Просто Мария, просто бабство какое-то, прости господи... Между прочим, интересно было бы узнать, про кого конкретно написала эта просто Мария?.. Неужели?.. Зураб Георгиевич? Вы смеётесь?.. Странно... Да нет, ничего я не собираюсь делать с вашим бабским письмом, печатайте, я не возражаю, какое мне дело до глупых бабьих восторгов по поводу мандаринов?.. Да, да, конечно, не в мандаринах дело... Нет, нет... Заболталась я опять с вами, Гений Иванович, а что со вторым оттиском, с ветеранским?.. Ну, да, конечно, надо посмотреть, чтобы давать в свет... Через двадцать минут? Хорошо... А чего ж вам-то бегать туда-сюда? У вас есть, кому бегать... Этот уполномоченный ваш, с усами... Да. Претензий пока что нет. Полагаю, что проблем не будет. С наступающим праздником вас, Гений Иванович!

– Все слышали? – спросил Гений Иванович.

– Все!

Всеми были прежние два лица и примкнувший к ним Семён Семёнович Помиранцев, терпеливо переминавшийся на кожаном редакторском диванчике.

– Я это, – сказал он, когда в кабинете воцарилась тишина с победоносным удовлетворением. – Пришёл проведать, как наша статья насчёт Дня строителя?

– Накрылась статья, – ответил Будьтаков. – Накрылась, захлопнулась и лязгнула. Уж не знаю, как ещё выразиться?

– По-партийному, – ответил Помиранцев робко, застенчиво, даже как-то не по-партийному, как бывало с ним раньше.

– Ладно, скажу. Не тянет статья ни на какую статью.

– А на кого тянет?

– На роман. И поэтому печатать в газете нет никакой возможности.

Помиранцев шумно вздохнул, с облегчением очевидным, и медленно перекрестился конспиративным жестиком:

– Слава тебе господи, пронесло...

Главный редактор и ответсекретарь переглянулись и недоуменно пожали плечами.

– Вот ваша тетрадка, – сказал Будьтаков, – по возможности передайте её назад, вашему автору из Бомбея. И при случае сообщите, что со свободой слова у нас всё в порядке, развиваемся невиданными темпами. А он пусть продолжает...

– Я ему скажу! – громогласно и весело воскликнул Помиранцев. – Я ему, засранцу, такое скажу, что он у меня сам захлопнется и лязгнет!

– О-о-о-о... – покатилося.

На что Семён Семёнович доложил со вторичным облегчением: нехорошо, не по-советски поступил индийский гость, потому что слямзил вышеуказанную статью об архитектуре у писателя Гоголя Николая Васильевича из книжки под названием «Арабески», и ведь что характерно и обнадеживает, так это то, что бомбейский друг лично сам, по собственной честности, признался в содеянном воровстве всего лишь полтора часа назад, только приехал и сразу явку с повинной совершил и просит извинения и незаслуженного прощения у «Огней коммунизма» за такую непревзойдённую шутку...

– Такое дело, – заключил речь Помиранцев и выложил из кармана на стол потрёпанную книжку со знакомым профильным носом на обложке. – Просил вам передать большой привет с прискорбием и виноватой самокритикой. Так что, правда победила. Всем сестрам, как говорится, по рогам. Одному только начальнику Краснознамённого ЖЭКа товарищу Сперанскому огорчение выйдет. Я ведь его уже обрадовал про завтрашнюю статью с посвящением.

Немой сцены не приключилось. В редакторском кабинете хохотали

даже окурки в пепельнице, всё хохотало, кроме портретного вождя с многозначительным лицом: с перспективной лукавинкой, с доброй прищуриной, с ласковой задоринкой во взоре, как будто бы говорящем: над кем смеётесь, дурачки? над собой смеётесь!

– Всё, хватит! – сказал Будьтаков, отдышавшись и стуча кулаком по столу. – Во-первых, хорошо, что ты есть, господи. Во-вторых, не расслабляйтесь, товарищи. Как у нас идут ветераны с моралью, Анна Петровна?

– С минуты на минуту... Да вот уже, кажется...

В дверях без стука возник гонец из наборного цеха, и на стол легли свежие газетные полосы для вторичного визирования, уже «В свет».

– Отлично! Генацвале, полосы в руки! Руки в ноги! Одна здесь, другая там...

– Нэт, – сказал Зураб Георгиевич и нахмурился. – Так с жэнщиной нэльзя, чтобы одна нога здэсь, другая там.

– Время! Время поджимает, дорогой! Не дай бог, опять Мэлс Кимоновна заведёт старую мелодию...

– Нэт, – сказал генацвале и сверкнул очами. – Мэлодия нэ бивает старая.

– Ну, пусть шарманка, песня, опера... Нам-то какая разница? Нам без разницы, лишь бы Мэлс Кимоновна не заводилась, а то ведь как заведёт свою музыку, так её слушать – не переслушать, и надоест – не выбросишь, честное слово, такая уж получается грампластинка, а не женщина...

– Зачем выбросишь? – возразил Ркацители. – Перевернул – и дальше слушай. Я пошёл.

Он восстал в дверном проёме – как кинжальный свист.

В руках – букет белых роз, небрежно обёрнутый «Огнями коммунизма».

– Царица Мэлс, – сказал он, – ты есть моя главная государствэнная и военная тайна. Откройся, Мэлс.

Он послал впереди себя букет в руках и сказал:

– Богине. За гуманизм.

И рухнул на колени.

– Встаньте, – произнесла богиня хриплым шёпотом и поднялась с рабочего места. – Вы с ума сошли...

– Нэт, – сказал он.

Богиня ощутила слабость в ногах. Ноги подгибались. Ноги совсем выбивались из рук. Ноги сходили с ума в сторону безрассудства.

А он уже шёл к ней – на коленях.

И она пошла навстречу – аналогично.

Сначала они шли – как новенькие корабли со стапелей, потом – всё быстрее, быстрее...

Их разделяли только белые розы.

– Ну, что, борзописцы, – сказал Будьтаков, – с наступающим праздником вас!

– И вас так же, – сказал Помиранцев.

– Присоединяюсь, – сказала Керн.

– Так чо же мы просто так сидим? – воскликнул Будьтаков. – Семён Семёныч, не узнаю вас, заслуженного матроса! Сидите на диване, а что под диваном – не чувствуете!

– Понял, – ответил Помиранцев. – Фирма веников не вяжет.

Явилось из-под дивана красное грузинское «Саперави».

– Между прочим, – пояснил Будьтаков, – любимый напиток танцевального ансамбля «Картли». Незаменимая вещь в искусстве и вообще, для сердечно-сосудистой системы...

«Боже, он совсем потерял голову! – подумала Мэлс Кимоновна, увидев на столе газетные полосы, непрочитанные, но проштампованные между делом.

– Вернитесь, демон, – прошептала Мэлс Кимоновна вослед Зурабу Георгиевичу, отступавшему задом на выход, передом к Мэлс Кимоновне, придворной походкой-скольжением, свойственной монархизму. – Вы забыли...

Взял двумя пальцами – точно лягушку.

– Я ухожу, царица, – сказал. – Но я вёрнусь. Одна нога здесь, другая тоже здесь.

– И тогда вы мне всё-таки расскажете, кто это такая просто Мария...

В верхнем кабинете Гений Иванович распределял на троих голосовые партии к предстоящей «Сулико», а тут и Зураб Георгиевич вступил в помещение державным неспешным шагом. На плече его мохнатого пиджака сидела «божья коровка», славненькая такая, спинка красная, лакированная, с чёрными крапинками...

В нижнем кабинете Мэлс Кимоновна приводила в порядок причёску, одежду и разные дамские бирюльки, их оказалось – вот забавно! – почему-то так много, этих всяких бирюлек, заколочек, застёжек, крючочков, кнопочек... – никогда раньше не замечалось такого изобилия, переходящего в совершенное излишество.

Села за рабочий стол. Закурила фамильную папиросу... Ну, и чтостряслось?.. Бедный, бедный Гений Иванович! Он, конечно, напуган случившейся неприятностью на несколько десятков газетных номеров вперёд и, по крайней мере, сегодня, в ветеранской подборке был трижды бдителен, и таковым будет наперёд, на несколько десятков номеров, так что можно их визировать не читая. Но расслабляться нельзя, долг превыше всего, выше сочувствия и жалости к партийному товарищу, и Мэлс Кимоновна Беломорскобалтийская вынула из ящика стола чистый бланк по форме строгой отчётности...

(руководитель предприятия,

организации, учреждения)

« _____ » _____ 19 ____ г.

АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ

материалов (экспонатов), подготовленных _____

(к открытой публикации¹, к изданию с грифом

«Для служебного пользования»)

Экспертная комиссия _____

(предприятия, организации, учреждения)

созданная согласно приказу _____

(руководителя предприятия,

_____ № _____ от _____

организации, учреждения) (дата)

19 ____ г., в составе: председателя _____

(фамилия, имя,

отчество, должность)

и членов: _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

на заседании (протокол № _____ от _____ 19 ____ г.)

рассмотрела _____

(вид материала, ф., и., о. автора, полное название

работы и объём)

выполненную _____

(указать по какому плану – открытому, закрытому, в порядке личной инициативы,

по заказу и т. д.)

¹ Под открытым опубликованием понимается публикация материалов в открытой печати, передачах по радио и телевидению, оглашение на международных, зарубежных и открытых внутрисоюзных съездах, конференциях, совещаниях, симпозиумах, демонстрация в кинофильмах, экспонирование в музеях, на выставках, ярмарках, публичная защита диссертации, депонирование рукописей, вывоз материалов за границу.

в которой _____

(практическое и теоретическое значение)

Руководствуясь:

а) Перечнем сведений, составляющих государственную тайну, и других сведений, подлежащих засекречиванию по _____
(указать министерство, ведомство и год издания)

б) Перечнем сведений, не подлежащих опубликованию в открытой печати, переданных по радио и телевидению _____
(указать министерство, ведомство и год издания)

в) Перечнем сведений, запрещенных к опубликованию в открытой печати, передачах по радио и телевидению, изданным в 19____году, а также документами, дополняющими Перечень;

г) Положением о порядке подготовки материалов, предназначенных для опубликования в открытой печати и в изданиях с грифом «Для служебного пользования», а также для рассмотрения на открытых съездах, конференциях и симпозиумах в 19____года издания, экспертная комиссия подтверждают, что:

1. В рассмотренной работе _____
(указать, содержатся или не содержатся сведения,)

запрещенные к опубликованию документами, поименованными

выше в пп. «а», «б», «в», «г», и другие сведения,

открытое опубликование которых может

нанести вред Советскому государству)

2. а) _____
(указать, содержатся или не содержатся сведения, которые могли бы составить предмет изобретения

или открытия, но не оформлены заявками в Госкомизобретений)

б) _____
(если имеются сведения об изобретениях, открытиях, защищенных авторскими свидетельствами,

дипломами, патентами, то указать №№ авторских свидетельств, дипломов, патентов и возможность их опубликования

– нет ли запрета Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий; если изобретение патентуется за границей, то указать, получены ли приоритетные справки во всех странах, где предполагается

патентование изобретения, или патент в одной из стран патентования, опубликована ли заявка на изобретение

иностранным патентным ведомством, а в случае подачи заявки указать № заявки и имеется ли разрешение Госком-

изобретений на опубликование)

изобретений на опубликование)

в) _____
(в случае отказа в выдаче авторского свидетельства указать, согласны или не согласны заявители

с решением Госкомизобретений и не будет

ли ими это решение опротестовываться)

3. В рассмотренной работе _____
(указать, использованы или

не использованы литературные источники и документы,

имеющие грифы секретности или «Для служебного пользо-

вания», а также служебные материалы других организаций)

4. На публикацию работы (или ее части) _____
(следует, не следует)

получить разрешение _____
(министерства, ведомства, организации)

Заключение. В результате рассмотрения материала по существу его содержания комиссия считает _____

(мотивированное заключение

о возможности опубликования материала в открытой печати или с грифом «Для служебного пользования»)

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

« ____ » _____ 19 ____ г.

Примечания: 1. При составлении настоящего акта обязательно заполнение всех предусмотренных в нем граф.
2. В тех случаях, когда экспертиза проводится в организациях (предприятиях) министерств оборонных отраслей промышленности, в акте должны приводиться лишь условные (в виде почтовых ящиков) наименования таких организаций (предприятий) и министерств.

Тяжело вздохнула Мэлс Кимоновна, мелькнула мысль про щуку и дремлющего карася... И в строке после заголовка «Акт экспертизы» она прописью вывела текущий, по журналу регистрации, номер: СОРОК ПЕРВЫЙ.

А между тем, весь первый этаж Дома печати ухаёт, хлюпает, стучит, шуршит... В печатном цехе типографии крутятся барабаны, зубатятся друг с дружкой шестерёнки, вращаются валы, греются шарикоподшипники, мелькают рычаги, скользят на роликах конвейерные ленты, унося в цех упаковки завтрашние «Огни коммунизма», праздничный выпуск к Дню строителя, с успехами и достижениями в социалистическом соревновании, с поздравлениями и пожеланиями, со стишками «датских» поэтов и письмами трудящихся, там и ветеранский «подвал» на третьей полосе нашёл место с голосом деда Молитвина, сельского корреспондента судьбоносных двадцатых годов...

БУДНИ ЯЧЕЙКИ

Во-первых строках своей статьи заявляю, что 18 мая в нашей коммуне имени Коллонтай было собрание партячейки и много было поднято разных вопросов. Все члены ячейки заявляли мы идём по стопам секретаря и бюро ячейки раз секретарь и бюро ячейки гонят самогон и устраивают такую пьяную лавочку что в одно прекрасное время весёлого вечера жена секретаря оказалась акушеркой и начала производить телесный осмотр мужчин вымериванием через тарелку у кого конец перевесится через тарелку так значит с того мужчины ещё бутылка. А также был произведён всем женщинам осмотр. Ещё поступали личное заявление от Толстокорова Евтефея что жила например у Толстокорова Павла их племянница Мария Толстокорова которую Толстокоров Павел изодрал на масленицу ремнём бляхой на которой не было нигде живого места и всё тело было синее и было заявлено в бюро ячейки и делали осмотр тела Толстокоровой Марии после всего этого бюро умолчало и никому недонесло. Все члены комячейки настаивали зафиксировать в протоколе поступки секретаря и бюро ячейки но секретарь Толстокоров Павел забрал книгу протоколов к себе подмышку и ничего не дал фиксировать в протокол. И я довожу одну копию в редакцию газеты а другую в волпартком.

К сему остаюсь селькор Молитвин

ИНЦИДЕНТЫ НАХОДЯТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

Во-первых строках своей статьи заявляю что 17 февраля 1924 года мы члены РКП(б) бюро ячейки Коллонтай Прикудыкинской волости Мокрокаменского уезда Хибаровской губ. в составе секретарь комячейки Толстокоров Павел и члены бюро Косотуров Иван Шаблинский Иван под председательством т.Косотурова секретарь Толстокоров в присутствии члена Молитвина постановили убрать

с должности председателя сельсовета а назначить на его место т.Толстокорова Павла а председателя сельсовета Липского злоумышленника придать партсуду. Спрашивается за что. Липский выгонял самогонку к празднику Михайлову дню. Два раза напивался самогонки и даже гулял на свадьбе у гражданина Михаила Весёлкина. А ещё 27 ноября прошлого года устроил пьянку с дракой на всё село. Липский развёл усиленного вида самогон несмотря на изданные распоряжения по борьбе с винокурением и пьянством говорит гуляй ребята но ни попадитесь и я с вами гулять буду. В итоге дня Ефим Сазонтьев пьяный на улице дополусмерти убил свою жену а Липский неприял даже во внимание не стал составлять протокол говоря не моё дело разбираться с вами несмотря на то что стоит у руля советской власти. Такие наши пока дела и успехи что все под контролем.

К сему остаюсь с приветом
селькор Молитвин

РАСКАС КАК ВСЁ БЫЛО

Однажды вечером я шёл из Нардома и было слишком морозно.

Зашёл в придбанник оправиться смотрю идут двое я притаился и рассмотрел что мущина Мануйлов и женщина девка Фанька на какую Фаньку я глаз положил женится. Я в баню сел подполк смотрю заходят. Уселись на полк стали друг другу объясняться в любви и так далее без рук. Потом Фанька говорит сколько я перебрала мущин но на тибя нарвалась как раз по моему вкусу вот только к нещастью был зимлимер Соколов который говорит что он сын товарища Сталина и товарища Дзиржинскова. Потом Мануйлов сволочь говорит а вы когда-нибудь пробовали раком. Фанька говорит давай поконски вот я стану раком так тебе сразбегу нипочом нипопасть. Мануйлов сволочь говорит попаду и она стала раком. Мануйлов сволочь отошёл нимного и побежал на неё как бешеный жеребец она нимного отвернулась и он сволочь мимо промахнулся. Я грянул сатирически хохотать. Ани выскочили безума и Фанька оставила платок и рукавицу которая сичас у миня. Я говорю Фаня иди суда дам рукавицу она смеётся. Никакой морали. Куда же мы придём товарищи дорогие.

К сему остаюсь с большевицким приветом
селькор Молитвин

...Крутятся ротационные машины.

Какой с них спрос? Что с них взять?

Их дело – крутиться... Они же – машины! И нет им решительно никакого дела до того, с какой ноги и с какой головой, и вообще с какой статью восстанет, если ещё восстанет, с сонного ложа утренний досточтимый читатель всегда завтрашних, но уже вчерашних газет, они ж – газеты! а газетам нет решительно никакого дела до дела того, что кто-то там крутится, неважно кто, пусть хоть тот же синеглазень-

кий гвардии поручик Говоруха-Отрок, сорок первый по лавренёвско-ворошиловскому счёту, да пусть хоть и сам знаменитый библейский плотник Иосиф из Назарета, сорок первый в царском роду, а между ними обоими – Марютка Басова, долговой порученец всех революций! – и пусть себе крутятся, если жить хочется, а жить, вообще-то, хочется, им счёт продолжать надобно, тем паче восставшим, они ж – люди! – эти досточтимые читатели мелких монет – в живой очереди за мёртвой водой, в этой петрушке, в этой пружинке неистоцимой сезонной распродажи: недопереоценённых уценённостей и вышедших из моды телесных покрытий, стоптанных поколений и залежалых консервов, философских основ, снов гадательных, слов, слонов... Восставшие спокойны. Они же не знают, что выбросили сегодня и выбросят завтра, что им дали и что отняли, чего у них нет, но могло бы быть. Они родились и жили, и живут, без этого что и чего. И поэтому они спокойны.

LXXXIII

.....
.....
.....

LXXXIV

Досточтимые почитатели гутенберговых литер, вызывающе тиснутых на бумаге! А не слабó ли соблаговолить выслушать жалобу челобитную?

А куда возможное соблаговоление окормляется известной достоевской отзывчивостью, я излагаю свои резоны, и наипервейший из оных – судьбоносный: «Кого бояться – слова или же человека слова?»

Однажды вашему покорному слуге пришлось давать объяснение по поводу названия одной масенькой (маленькой + малюсенькой) литературной штучки: «Жит и быт с точки зрения кафедры Кафки». Это было даже поразительно: возражающие товарищи Кафку проглотили, и кафедру, и точку зрения, и быт схавали и не подавились, но жит впился им в горло, точно рыбная кость!

– Дребезжит в нём что-то, – сказали мне две уполномоченные на возражения дамы. – К тому же, в русском языке, как всем хорошо известно, нет такого чирикающего слова: жит!

– Житие? – говорю вопросительно.

– Бытие! – говорят жизнерадостно. – Житьё, стало быть, бытьё!

– Быт! – говорю.

– Жит! – говорят и умолкают голосом, и вопиют широко закрытыми глазами.

И расстались мы с обоюдной печалью. Моя – стихийтворением преобширным разлилась: литературу – дело каменное – создают муж-

чины, а женщины литературу преподают, причём так специфически преподают, что от первоизданности остаётся, как правило, только заголовок-название, да и то не всегда. И вот так я разливисто стихийствовал, покамест не вернулся в берега отечественной классики, и прижал пальцем строфу XVII главы V энциклопедии (по определению авторитетного критика) русской жизни, и тем же пальцем, правым указательным, водил по строчкам авторского примечания этой энциклопедии: «В журналах обсуждали слова: хлоп, молвь и топ как неудачное нововведение. Слова сии коренные русские. «Вышел Бова из шатра прохладиться и услышал в чистом поле людскую молвь и конский топ» (Сказка о Бове Королевиче). Хлоп употребляется в просторечии вместо хлопанье, как шип вместо шипения... Не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка». Позже автор энциклопедии А.С. Пушкин вновь вынужден был давать разъяснения критикам «Вестника Европы» по этому же поводу в «Опровержениях на критику» ...

По-видимому, скушное, муторное, рутинное это дело: давать разъяснения.

Но давать надо.

И вот второй резон вытанцовывается: «Кого бояться – слова или буквы слова?»

К сему присовокупляю нижеследующее. Самый известный поэт советской эпохи не побоялся однажды признаться в том, что боится этих строчек тыщи, как мальчишкой боялся фальши. Ладно, он сказал, это его личное дело, а без него подытожили: «Гениально!», а почём нынче гениальность? – я вас спрашиваю, не побоюсь этого слова (ещё та оговорочка!), а в оговорочках гении иных эпох на литературное каменное дело веночек возлагают: не слова бойся – буквы, от буквы оберегайся, обходись с нею поаккуратнее: закорюка! ничтожная загогулина! мелюзга! – а сила в ней такая, что с духом и законом братается, и не дай бог человеку слова в одной-двух буквах заблудиться – слово не свяжется, и человек полетит вверх тормашками... А один мой знакомый доктор по психам как-то раз развыпендривался: лечу, лечу, лечу! А неправильно он выпендривался. Это у него всё от здравоохранения соцреализма. Не так надо было. Может быть, не так...

Вот помню: в фильме Андрея Тарковского о времени и пространстве богомаза Андрея Рублёва летал мужик на воздушном шаре. Роль того мужика играл не профессиональный киноактёр – поэт Глазков Николай Иванович: глаза с сумасшедшинкой, сошедшей с небес.

– Летю-ю-ю! – бормотал дураковато летающий мужик Николай Иванович, захлёбываясь восходящим восторгом, это у него, наверное, от удивления сюрреализма.

Помню, помню. Когда великопостные товарищи говорят: «Этот товарищ нам не товарищ, потому что он малость прихлёбнутый!» – то нижестоящие массы интересуются, как правило, двумя деталями со

скользящей ценой вопроса: чем-таки прихлёбнутый и на чём-таки? Первых прихлёбнутых жалеют, вторых уважают. И то, и другое соизволяется внутренним голосом. А наружным говорят-приговаривают: «Ну-ну, лети, Иваныч, лети, ежели ты такой беспочвенный и на колефтиф начхать! Лети, голубь! Только заруби себе на своём вездесущем носу, что ишо вилами на воде писано, кто кого больше надул: человек ли шар или шар – человека...» И – начинают терпеть того летающего мужика, изо всех возможных сил терпеть, а тот на ихние терпятки наступают, игнорирует ихние самобытно-общинные мозоли и при этом ещё и поплёвывает на приговоры со своей колокольни. И вот тогда высказывается со стороны масс сомнение единодушное при одном возгордившемся:

– А пошёл-ка ты на ...

– Щас? – интересуется раскольник колокольный, возгордившийся.

– Сей же секунд, – отвечают.

– С вещами али как?

– Али как. Вещи твои к народу конфискуются. За евоное смущение с тобой, Иваныч, стороны.

И отсель пошёл мужик рассеянным по России – в долгое хождение на... На авось. На восход. На босу ногу. Наудачу. Наобум. На кудыкину гору. На все сто с присыпочкой. На ощупь. На кулички. Нараспашку. Навеселе. Наперёд и напоследок. Намедни и навсегда. Наверняка. Навзрыд. Навыворот. Наяву. Напоказ. Наподобие. Наизнанку. Наизусть. На авось – опять двадцать пять, дорожка топаная... Пошёл. Пошляк, – говорят в который раз. А он идёт и бубнит себе, тузу бубновому, под нос недозарубленный:

Слава – шкура барабана,

Каждый колоти в неё,

А история докажет,

Кто де-гене-ративнее...

Так и потянулось – чересполосицей, через авось: воздуховность пастыря на пустыре, чертоги чердаков, свечей свеченье, агония огня, воск воскресений нечаянных, мозг костей, вообщежитие, тиски тоски, суетливая память – помятая, точно с перепоею, после вчерашнего, и коротенькая, вроде листочка численника, отрывного календаря... Что – что? А ничто. Куда ни кинь, везде блин. Традиционный блин комом. Меняются времена года, цари, коллекционеры, правительства, границы – мало проку: «авось» и ныне там, где блин блином вышибают; где мимолётные кадрики, действительно, очень много решают, если им на то будет дадено великопостное разрешение; где дьявольщина орудует по-большому счёту, а бесы с бесенятами прячутся в мелочах жизни, в пустячках пустячковых, но вкальвают, впрочем, с огоньком; где, наконец, утвердительное «да» совершенно неизъяснимо-естественным

способом сочетается браком с отрицательным «нет», слышащий да услышит: «Да нет!» – рабскому данничеству, дарам данайским, дамоклову мечу подобно сие.

А летающий мужик улетел в озимь – оземь! смертью смерть поправ, подобно зерну. А поэт после летального исхода продолжает своё кружение. Поэтому – поэт. Живёт – по Писанию. Вы, говорит, хотите есть, а я хочу быть, всего-то и разницы. Поэтому и поэт, а не виршитель. И посему совершенно не имеет значения, как именно называется пространство, над которым и в котором совершает поэт своё головокружение без видимого успеха: Тула, Тулуза или Тулун, иркутское предместье Марата или парижский Монмартр. Можно ведь и простенько обозначить, совершенно по-домашнему, как нечто пророческое, *quid divinum*, предвестие Иваныча, летающего мужика. Но где-то рядом с ним, в компании – Кампанелла, неосторожно преждевременный: «...они уже научились летать»...

Достоцитимый почитатель гутенберговых литер! А не слабó ли соблаговолить и дальше выслушивать? Потому что дальшая жалоба – ещё жалобней.

– Летать – не ползать, – сказал мне старый петербуржец Олег Александрович Робинзон-Крузо, провожая меня в ленинградском аэропорту, и было это давно, между Ленинградом и Санкт-Петербургом.

– Некогда в Петрограде, – говорил он, – устраивали весенние ярмарки. И вот однажды на площади появилось крошечное шاپито, маленькая брезентовая палатка с большой фанерной вывеской: «За пять копеек – Исаакиевский Собор в натуральную величину». Ах, какие там выстраивались очереди! Люди серьёзные, совершенно в духе того не очень весёлого времени. Да-с. А выходили из балаганчика – рты до ушей! В чём дело? Что за фокус? Оказалось, что остроумный предприниматель прорезал в брезенте щёлочку, обыкновенную дырку. Ежели приложиться к ней глазом, то можно было действительно увидеть Исаакий. И действительно – в натуральную величину, без обмана. Иначе и быть не могло, потому что собор торчал тут же, напротив. Ты улавливаешь смысл розыгрыша, мой мальчик?

Я тяжеломерно собирался с мыслями, чтобы ответить более или менее достойно, но собрание так и не состоялось, и я капитулянтски покачал головой.

– А дело-то простое, – сказал Робинзон. – Если хочешь узнать полную правду о предмете – не зыркай по сторонам, ограничь на время своё зрение, заостри глаз на этом самом предмете. И познавай его и себя.

– Это что же, – говорю, – шоры на глаза? Как у лошадей?

– Ну и что? Шоры – штука мудрая, их люди придумали, не лошади. Это во-первых. А во-вторых, вспомни, мой мальчик, сказку про голого короля.

– Зачем? – спрашиваю.

– А затем, что нынче срочно требуется мальчик, который не побоятся сказать правду о некоторых вещах. Картина мира такова: народ аккуратно размножается, так же аккуратно стареет, стирает зубы в порошок, а мальчика так и нет. Того самого, кто посмотрел бы на мир без выкрутасов... И не сопи, пожалуйста. Можно подумать, что ты сейчас Кьеркегора постигаешь, не иначе.

– Значит, так получается, – сказал я. – Положи свой глаз на дырку...

– Не лезь в бутылку! Ты не старик Хоттабыч. Ты уже просто старик, мой мальчик. А почему? А единственно потому, что уже за утренним чаем начинаешь мыслить о мировых проблемах, в переговорах с водопроводчиком апеллируешь к разуму всего человечества, забывая, между прочим, что всё человечество любить куда как сподручнее, легче и проще, нежели конкретного сантехника Вадю Мошонкина. Близость больших масс изрядно искривляет пространство... Да-с. Скажи-ка мне, милый: помнишь ли речку своего детства? Не мни лицо. Знаю, что позабыл. Впрочем, немудрено. Вертлявая, несерьёзная речонка. Она и раньше была – как бык напрудил. А нынче и вовсе – одно болото с кочками, и на каждой располагается глобальный моралист навроде тебя. Сидят оные моралисты в позе, которой позавидовал бы роденовский Мыслитель, и пережёвывают мыслишки о том, как благоустроить этот непутёвый мир. Правда? Вам ведь не речку, вам океаны подавай, на меньшее вы не согласны... Вот ты мне тут целый час выливал свою обиду на Каспийское море: чего это оно вдруг мелеет? Ерунда! Море обмелеть не может. Оно само знает, каким ему быть и что ему делать. А нам о другом потревожиться надобно: обмеление душ человеческих. Вот как, мой старый мальчик. Выбирай: речка или океан. Попробуй разгрузиться от глобальной закомплексованности. Конечно, для твоего поколения это дело нелёгкое. Но скажу тебе честно: камень, снятый с души, иногда имеет смысл положить в основание добротного, на века рассчитанного дела...

Час спустя на высоте восемь тысяч метров над планетой, кажется, ничто уже не могло помешать человеку пуститься в пределы возвышенной медитации. Иллюминаторы потускнели. Снаружи их протирали влажные тугенькие тучки. И я, значит, летю, летю, летю... Думаю. Готовлю речь на случай приземления. Речь не получалась. Одни буквы жужжали и щёлкали. Наверное, это у меня было от робинзоновой начальной стадии капитализма. Ну, и ладно. Ну, и пусть! Пусть в чужой речи будут присутствовать буквы моего необречённого языка, вознесённого аж на седьмое небо.

Седьмое небо! Ещё то шапито! Возможно, где-то поблизости урчали и рывкали грозы. Возможно, земля отвечала этим грозам не менее блистательным контрапунктом, составленным из аплодисментов, переходящих в банкетный зал, из ядерных взрывов, из визга алмазных буров и писка умирающих морзянок, из стука барабанищих по

асфальту зрелых каштанов и лязга танковых траков, крика рожениц и «металлического» рока... Ровно гудели двигатели авиалайнера, они честно делали свою работу, их не напрасно наделили лошадиными силами, лошади не врут. Сквозь стекло ничего не угадывалось, что делалось внизу – можно было лишь представить, как гусеницы с хрустом жрут тайгу, приправляя зелёное лакомство гербицидами; или – как в степи, где будет город заложен, заблудился одинокий простуженный трактор. И реки внизу – и те, что убегают от проектировщиков поворота, и те, что не сумели убежать в своё время, и время их кончилось, и уже не реки они, а тёмный и загнивающий текущий момент. Там, внизу, вероятно, нет абсолютного застоя, и циклоны провоцируют очередную драку с антициклонами, а может быть, – наоборот. Там же, внизу, всепогодный морально-психологический подмоченный климат человеческого сообщества, в котором персонажи взрослой игры, выстроившись стенка на стенку и запредельно честно округлив глаза, поочередно наступают друг на друга и бодрыми, хорошо поставленными голосами то ли складные рулады выводят, то ли резолюции лукавые: «А мы просо сеяли!» – игриво докладывают одни, а им возражает противный хор: «А мы просо вытопчем!» Тарзаньи терзанья миллионов. Бубен по кругу. Веселье висельников... Там же, внизу, усердная индустрия с беспредельными перспективами, и деревнюшки, по чьим «перспективам», уложенным на дно рукотворных морей, прогуливается лупоглазый рыбий народец; как запоздалые бандероли из прошлых веков, изредка всплывают на поверхность водохранилищ деревянные кресты – может, с забытых и украденных могил, может, с потаённых часовенок, кои сидят на крышках староотеческих гробов, как сирые скукоженные христы, и думают своими куполами чёрт знает о чём... О тебе думают? За тебя думают? Маются: куда мы, люди, живём? Молятся? Кручинятся? Не о том ли, что для тебя главное в жизни – вовремя кукарекнуть, а уж солнышко и без тебя явится?... Да, это правда, чистая правда: человек, потерявший способность любить, немного умирает. Умирает – ровно настолько, насколько он позволял себе быть счастливым от любви. Или от ненависти. От мрака или от света. От почивания в позе или в бозе. В Боге, стало быть. А не боги выбирают человека, но человек – Бога. И как они уживутся вдвоём в этой хрупкой безбрежности, между землёй и небом – опять же от человека зависит, поскольку только он один и делает выбор. Бог же приемлет всё сущее, ни от чего не отказываясь, потому что существующее сущее – всё от него самого: любовь и ненависть, свет и мрак, беспамятство и время... время, которое хранится Вседержителем до востребования – так хранится время в коньяке; так берег Беринга недоступностью оберегает чистоту свою; так выставленный на сибирском подоконнике горшочек с жёлтой японской рябиной сохраняет себя памятью о синто, о божественной Аматэрасу...

Далеко и внизу остался Робинзон – старый человек с замашками

из раннего, израненного жизнью, старорежимного ментора. Спорный, точно остров Даманский. И – подобно островку посреди реки – время обтекает его, подтачивая некогда упругие берега. Седобородый, насмешливый, очень русский Олег Александрович Робинзон-Крузо. Сорок с лишним лет назад он был командиром танка, воевал на территории Польши, был ранен – всего лишь пулей. Танкистам редко выпадало такое счастье, как простая пуля, какие-то несчастные девять граммов металла. Чаще всего они сгорали заживо, переплавляясь с танковой бронёй в кровное, огнеопальное родство. В Робинзона же засела эта легковесная дурочка. Она называлась «разрывная», но разорваться забыла...

А потом я прилетел.

А потом ещё много чего было – в быте, в жите и в так называемом литературно-творческом процессе, будь он неладен, этот тупой угол, треугольник погрешностей, триумvirат ипостасей: освобождение, подёнщина, массовый заплыв по реке Янцзы с завистливой оглядкой на Страну Восходящего Солнца с её неофициальным титулованием «Национальное Сокровище» гражданина, в совершенстве владеющего родным языком... – буквы, слова, строчки – дорога, проза пути, дневник, трактат, вёрсты, вехи, маргиналии, фенички, фишки... – английские рыбки в русской позолоте, в панибратской сусальности – или проходные пешки, которые на виду мировой истории становятся дамками – которые, дамки-то, подают пример ревностью служения чёрно-белому полю чудес, пример для других феничек, или фишек, то есть рыбок, или пешек... – эти глаголы бестолковые: сидит (в тюрьме, в ресторане – ?), спит (с женщиной – разве можно?), ходит (в школу), проходит (Лермонтова)... – эта историческая грамматика, когда старая родовая усадьба сделалась личным местоимением, и упадок творчества – творительным падежом, а чиновничья взятка – дательным, а судебный приговор – винительным ...эти люди-герои: синтаксически подлежащие, этически подходящие... – майский день, именины сердца? фиг с маслом – затмение! божественное слово – деепричастие с его оборотами – как церковно-религиозный обряд... – и тут же сроки, которые никогда не приходят во время, эти долговые книги календ... и колен? может быть, и колен, и поколений, лиц, смыслов, речей, времени, образов... – они ещё не навсегда потерянные, потому и говорят: посеянные! – в надежде, что взойдёт... Вот улёт! Вот же путь – что земной, что небесный – как по траверзу, по лезвию бритвы – миг влево, миг вправо – и ... Но альпинисты, люди суровые, никогда не говорят о погибшем собрате: провалился, сорвался, упал, пропал, разбился... Они говорят: улетел. И всё. Куда? Но это уже не вопрос, точнее – вопрос, не желающий иметь ответа. И всё! Так чего бояться? Кого бояться? Кому жаловаться?

И вот я сажу, буквы пишу – и вдруг вопрос ребром: какая жалоба? жаба! да не слабо ли благоволить послать оную ко всем чертям?! Так

что, извините великодушно, досточтимые почитатели гутенберговых литер. Только время у вас отнял. Винюсь и каюсь, аз многогрешный.

За сим остаюсь в текущем моменте, в коем не токмо что текущая, но и стоящая вода, живая або мертвая, совокупная Лета, река времён державинской лиры, – вашего превосходительства, досточтимый читатель, таяжде и российской словесности и русской литеры в законе смиренный и всепокорнейший слуга.

LXXXV

Ах, да не однажды, в день седьмой...

«Кто не способен жечь за собою корабли и идти смело вперёд, шагая через развалины своих прежних симпатий, верований, воздушных замков и идеалов и слыша за собою ругательства, упрёки, слёзы и возгласы негодующего изумления со стороны близких людей, тот хорошо сделает, если заглушит в голове работу критического ума и даже простого здравого смысла, если заблаговременно начнёт отплёвываться от лукавого демона, сидящего в мозгу каждого здорового человека, смотрящего на вещи собственными глазами... Те условия, при которых живёт масса нашего общества, так неестественны и нелепы, что человек, желающий прожить свою жизнь дельно и приютно, должен совершенно оторваться от них, не давать им над собою никакого влияния...»

Так написал двадцатипятилетний сочинитель Димитрий Писарев – совсем недавно, каких-то несчастных полтора века назад. Он назвал свою статью пейзажно весьма: «Стоячая вода».

Написал – и пошёл по окружающей среде. Как сын земли и неба – по воде, по Мёртвому морю.

Но однажды пришёл день субботний...

На берегу неприметно существовал человек. Мы так и назовём его: Человек На Берегу. Он совершал свою привычную работу: наблюдал за средой и за субъектом в среде, в конкретном разе – за акваторией и за пловцом в акватории, который, видимо, уже начинал решительно утопать.

Если бы в едином и неделимом наборе состояли и ночь, и лунная дорожка на водной поверхности, а на той дорожке – пускающий последние в жизни пузыри сочинитель и критик российской словесности (ах, ежели бы только одной словесности!) – так вот, если бы вся эта атрибутация существовала в едином и неделимом наборе, то сия картина сама по себе, даже без участия живописной кисти, прошибла бы до слёз и последнего дурака, и первейшего цензора. Однако же всё было не совсем так. Даже – совсем не так. Ночь и дорожка с луною не наблюдались. Поэтической меланхолии тоже не было. Наличествовала самая середка дня, а день был субботний, побережье пряно пахло

йодистыми испарениями гниющих водорослей, а в тридцати саженьях от берега – что правда, то правда – тонул не то чтобы литератор, но около того: известный бузотёр и пересмешник. Впрочем, от неполной, несовершенной живописности вышеуказанный факт не переставал быть картиной менее романической. Как полагал Человек На Берегу, ещё не натюрморт, но скоро будет.

Пловец, между тем, уже и рук не воздымал из воды, и вода вокруг тела не возмущалась, и тело от головы, казалось, уже без сомнения отделилось гильотинно-чётким уровнем срезом водной стихии, однако голова ещё жила, ещё ворочалась и лицом изображала состояние запредельного удивления. Утопавший вытягивал шею, будто бы приподымался на цыпочках, Бог весть на что опираясь. Так обыкновенно любопытствуют по-над забором, а он-то, пловец несчастный, на кой ляд тянется? Обратную дорожку запоминает, с того света на этот? Так ведь назад возврата нету... А вокруг лоснилась тяжёлая, застойная вода залива – свинцово-маслянистая, вязкая, противная, и наблюдающему взору представлялось истинно театральное явление отсечённой головы Иоанна Крестителя на серебряном блюде... Крику тож не отмечалось. Утопавший молчал, воды в рот набравши. Это молчание в особенности смущало Человека На Берегу и выводило его из состояния задумчивого прохладения, в котором он пребывал по служебной надобности: ну, дескать, тонут... мали ли, что тонут, коли Бог велел?

А закричит аль не закричит? – гадал Человек На Берегу относительно сочинителя. – Да возопи же! Выкажи подлую существенность человеческую. Взвой по-звериному. Докажи, что не ошибался-таки учёный англичанец Дарьин, подлец этакий, придумавший, будто бы всякий человек вывелся из скотины...

Человек На Берегу был приставлен к сочинителю для негласного наружного наблюдения. Пастух и пасомый давненько знали, ежедневно и не случайно виделись, опознавали друг друга даже в темноте – в профиль, анфас и с наоборотной стороны. При встречах лицом к лицу раскланивались, интересовались здоровьичком, справлялись о личном и семейственном благополучии, приподнимая головные уборы. Непосвящённому в таинства отношений этих людей могло даже показаться: вот, слава тебе Господи, добрые знакомцы, не все же в мире подлецы и прохиндеи, встречаются же добропорядочные, сейчас один подойдёт к другому, облобызает в щёчку и пальчиком заботливым и нежным снимет пушинку с пальтеца... Человек На Берегу считал сочинителя даже как бы родным по-государственной линии, что ли. Во всяком случае, приведишь хоть и в анатомическом театре, где все однополые мертвяки почти одинаковы, он безошибочно выделит бы своего подопечного не гляючи, единственно опытным нюхом.

Репликой в сторону заметим, что имелся над сочинителем ещё один Наблюдатель, покуда невидимый и безымянный. Поскольку сочинитель в своё время кончил университетский курс по историко-фи-

логическому факультету, догляд за ним, следовательно, нужен был соответственный. Это прекрасно понимали в охранительных государственных учреждениях, не такие уж там дураки сидят, и даже вовсе не дураки, отнюдь-отнюдь, а посему «внутреннее» попечение, в отличие от наружного наблюдения, проще говоря – наружки, – обеспечивал специалист из ведомства по Делах Внутренним, естественно, литературно-исторически образованный и имевший служебное касательство до самых ядовитых утопических сочинений, английских экономизмов, немецких любомудрствований, французского социализма, масонских штучек и российской отзывчивости. Наблюдатель – гражданин с креслом, портфелем и полномочностью: хоть пером, хоть устным словом любого сочинителя зарежет, замочит, чужую судьбу вмиг порешит, как требуют державные интересы, а большего о Наблюдателе и говорить не надобно...

Тот же, Который На Берегу, был куда как попроще. Совершенная мышка-наружка. Давно не принадлежа самому себе, он глубоко, истово верил в окружающую среду и никогда, даже во сне или когда живот болит, не позволял себе усомниться ни в чём, к чему было прицеплено его житие-бытие: ни в Божественном Промысле, ни в ином промысле – верховном, но чуток пожиже первого, ни в другом, что пожиже второго... и так далее, вплоть до собственного своего предназначения к надзорному ремеслу – всепогодному, весьма подмоченному, с его профессиональной простудой, публичным холодком и невозможной сопливой слабостью.

И ещё одна слабость имелась у Человека На Берегу. Он почитал себя философом: отчасти – от себя лично, отчасти – от казённой части. Во всяком случае, общение с мудрёными подследственными наложило на его впечатлительную натуру, точно на промокательную бумагу пресс-папье, отпечаток задумчивой рассудительности, ограниченной, конечно, сугубо земными узаконениями и библейскими заповедями Моисеевыми, как то: не убий, чти отца своего, помни день субботний и так далее. Правда, Человек На Берегу никогда не произносил вслух того, о чём думал. Служба такая. И подобное соотношение языка с мыслью – как будто бы мизер неловленный, то есть сыгранный мизер преферанса. Мысли его всегда помещались как бы в скобочках губ сжатых, без права на воздушное распространение, но иногда выступали на лбу в форме разновеликих морщин, что означало немалое умственное потужение.

Непрошенные сомнения раздирали Человека На Берегу.

Господи, господи, – мотал он головою, отряхиваясь от искусительных мыслей, – избавь мя от лукавого...

При головном мотании губы, проживавшие автономно от мыслей, булькали нечто несвязное.

А между тем, стоял и прохлаждался день субботний, седьмой день православной недели, а месяц был августейший, время цезарей.

... в то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Взяли ученики его, стали срывать и есть колосья. Фарисеи, увидевши это, сказали Иисусу:

– Посмотри же! Ученики твои делают то, чего не следует делать в субботу.

И сказал Иисус фарисеям:

– Разве не читали вы о том, как Давид и бывшие с ним вошли в дом Божий и ели хлебы предложения, которые можно было вкушать только одним священникам? Разве не читали вы в законе, что в субботы храмовые священники, нарушая субботу, остаются при этом неповинными? Вам говорю, что здесь Тот, Кто больше храма! Если бы вы знали, что означает «милости хочу, а не жертвы», то не осуждали бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть господин также и субботы.

И был там человек сухорукий. И спросили фарисеи Иисуса, дабы смутить его:

– Можно ли исцелять в субботы?

И оказал Иисус фарисеям:

– Кто из вас, имея одну овцу, не вытащит её в субботу из ямы, если она упадёт туда? Сколько же лучше человек овцы! Итак, можно и в субботы делать добро...

...ладно, – подумал Человек На Берегу. – С одной стороны, конечно, штаны намокнут. А с обратной выходит: кто ж его знает, как оно там всё получится?.. Спасать ли пасомого, спасовать ли – пастуху и пастырю не дано решать единолично, ихнее дело пассивное: аккуратный догляд и ничего более. Такая вот диспозиция, господин сочинитель, социалист ты этакий. А может быть, что тебе и вовсе свыше определена такая дорожка в утопию. Вот и упивайся, и поделом тебе. А кто подрывал устои? А кто думал более того, чем жалованьем назначено? Ты, голубь, ты. Умней тебя есть голуби, но и те в камеры посажены, как редиски в грядки. Вот скоро и тебе, сударь, откроется, что есть истина. Скоро, скоро... Мне-то с бережка видно, что это такое, истина. Из тины вышедши, в тину отыдеши, вот и все земные устройства, и нету в оных устройствах ни духа обновления, ни обновления духа, и все во прахе равны – сочинители и наблюдатели, каины и авели, оптимисты и эти... как их там? писимисты, мерзкое слово, покудова вспомнишь, так опрудиться можно... Да-с! А что касаясь до Города Солнца, о коем ты мне третьего дня говаривал с упоением, так его и вовсе метафизики выдумали, и здравого смысла в той выдумке нету ни на грош ломаный. Думать, конечно, можно, это разрешается, думай себе в голове, сколько влезет, только не сбивай народонаселение с генеральной линии. Молча думай. А ты, голубь? А другие голуби? Начинаете свои думы в театрах озвучивать, в журналы помещать, а думы оные

не помещаются не только что в журналах, но вообще ни в какие ворота не лезут, хоть и вышли из головы, в миллион раз меньше размером самой бедной конюшни или провинциального театра... По мне, господа хорошие, лучше бы так: уж коли зудится сочинять – маршируй в погребальную контору и подряжайся намогильные строчки придумывать. Среди таких сочинений весьма даже романические встречаются и слезу выжимают сами по себе, даже без наличия покойника. Ко всему прочему, бумажными творениями только что селёдку сподручно обёртывать да для других нужных дел пользоваться, пустяшных дел, между нами говоря. А камень? О, камень есть памятник долгий, скрижаль вековечная! Хрен с ним, что, бывает, сам век проморгается – и отринет человечка, точно соринку из глаза. Не в человечке дело, в живом ли, в покойном ли. Покуда люди мрут, не задерживаясь, – потуда и сочинителю славно жить можно. За упокойное враньё платят исправно, заработок постоянный. Вот и сочиняй по причине смерти, а по причине жизни – надобно ли этак безоглядно озабочиваться? Не надо... Эх вы, дурачки! Солнце в город вам подавай... А что мы заполучим в результате таких подаваний? Вместо душевных эпитафий – эпиграммы с подковыркою, эпистолярии с симпатическим умыслом, эпиталамы со слезой, эпиграфы с дерзкими намёками, эпидемия чумная, даже хуже... А зачем? Зачем супротив пыжиться? Какой в том смысл? Ну, скажем, встали вы, которые утописты, крепкой стенкою. А напротив вас – иная стенка, покрепче, поосанистей. И – что? А ничто и не выйдет. Ибо когда стенка на стенку идёт – так тут уж, милостивые государи, нечего мелкие шишки да царапины считать: из частокола, из этой самой людской стенки, кольца выворачивают и в бой запускают, без жалости, без моисеев и фарисеев, а так, на одном лишь упоении. И часто выигрывает не тот кол, который на голове тешут и тем утешаются, но тот кол, осиновый, коим протыкают могилы, свыше и высочайше назначенные к неодобрительному суждению. К забвению, говоря по-простому. Глядишь – и от вашего сомнительного частокола одна лишь редкость осталась, и поправить его уже будет некому, ибо не каждый человек отважится помирать за маленькие деньги и по причине солнца в городе, а также и прочих небесных предметов рассуждения...

Человек На Берегу всхлипнул рассерженным носом и неожиданно вспомнил, как ровно неделю назад сочинитель рассказал ему байку о древнем китайском стихотворце Ли Тай-бо, который утонул, желая обнять лунное отражение в реке, а после этого недоверчивые и трезвые люди принялись говорить: утонул, дескать, потому, что наверняка был вдребезги пьян. «Грустно такое знать», – сказал тогда сочинитель. А он, Человек На Берегу, в то время старательно стриг ушами, точно умный пёс, старался всё запомнить до тонкостей и теми тонкостями наполнить очередной рапорт к начальству, в Кресло. И запомнил-таки:

что человеку легче понять другого человека, если попытаться узнать в нём себя или, по крайней мере, своё отражение, однако же – трудно человеку отважиться на такую попытку, потому что часто перед ним вдруг оказывается продукт эволюции, некто в образе пса государева, а в псе государевом нет ничего человеческого, тогда как в человеке пёсьих свойств – пруд пруди, сущая прорва... А потом Человек На Берегу изложил на четвертушке казённой бумаги нервное доношение, в конце изложения которого не удержался от либерального восклицания: «За что же деды наши боролись? Зачем же эволюцию делали? Неужто для того, чтобы её, родимую, всякие вздорные скандалисты и возмутители вспять поворотили?» А наутро, помнится, он, протрезвев, пожалел себя за столь вольное обращение с патриотизмом и народностью, и от переживаний душевных трещала голова так, что, казалось, бедные мозгишки потрескивали от озноба, будто от зимнего мороза, от которого в щепки разлетаются вековые дубы...

А топить вот вас всех надо, как ценят, – обозначил в скобочках Человек На Берегу, оглянувшись, закрыл рот и для пущей надёжности опечатав его ладошкой.

Впрочем, – продолжил он рассуждения, – можно и погодить с потоплением, покуда, так сказать, погода определится, в смысле выяснения небесных предметов и земных примет державной политики. К тому же, вряд ли будет прок в государстве, ежели всех проживающих фантазёров вывести в обратную эволюцию и закопать в раскопки. Хоть одного фантазёра – да надобно оставить в назидание. Держава без фантазёров, без дурачков – какая же это держава? Худенькая. Ихними, дурачковыми, блаженненькими трудами, небось, и цензоры кормятся, и доносители, и судейские ревнители свой пай сосут, да и наш брат, всепогодный охранитель устоев, имеет полный шанс отслюнить от казны приличную ассигнацию. Кушать, поди, все хотят. У всех детки развиваются, жёнки завиваются. А пожирать глазами начальство, конечно, дело нехитрое, но от того пожирания сытости вряд ли прибавится... Ну, и как ты там, голубь? Не потоп ещё?

Голова сочинителя пока покачивалась на серебряном блюде.

Господи милостивый, – мысленно взвыл Человек На Берегу, – хоть и есть ты, сочинитель этакий, загадочная для моего уразумения личность, однако потопнуть тебе очень даже необходимо, потому как жить среди нашего поганства нет тебе никаких перспектив надежды. А потому давай нахлябывайся энергически, не терзай мою душу грешную, как никак – а ведь и я есть божья тварь, индивидуум, хоть и при публичном исполнении... Понимаю изнутри, индивидуум сам по себе – дело тёмное, а индивидуум в учреждениях – и того гаже: гнида. Это ты правильно говорил, голубь. А неправильно выводил то, что индивидуум, дескать, в одну и ту же воду дважды не входит. Это не так, это уж дудки! Ещё как входит и ещё как выходит! Ибо перевозчики Хароны везде

одинаковы – во все времена, во все погоды, в любой, можно сказать, акватории: дай ему, Харону, рублик – глядишь, и вывернешься... А ты, голубь, вон какой: не желаешь. Нет уж, давай с Богом... Глоточек, ещё глоточек... за меня... за подлеца Дарьина... за солнечный город... за китайского обнимателя луны... Грустно мне с тобой расставаться, право слово, грустно. Мы ведь почти что в приятелях ходили. Вернее, я за тобой ходил, сколько каблуков испоркал, топаючи. Это уж судьба моя такая: шлёпать за тобою до гробовой доски. А ты не вздумай обижаться на меня. Потопнешь – не сомневайся, исполню всё в точности, согласно инструкции. А уж за гробом... там уж поглядим, чего делать и как всё повернётся: то ли свечку тебе за упокой запалить, то ли кол осиновый выстругать, – но случится так, как из Кресла прикажут... А вообще-то мы покойников уважаем, даже, можно сказать, любим и обожаем, потому как народ нешумный, со всем согласный... Ну, скоро ли ты там? Эк тебя угораздило мешкотиться! Воистину так, что нет пророка без порока, утопнуть по-людски не умеешь. Да я после такой твоей метафизики знать тебя не знаю и желать знать не желаю! Сижу вот тут, в укромности, глаз на тебя извожу... А могу ли я по причине субботы хоть разок в жизни не при исполнении побыть? Могу. То же самое: могу ли я, наконец, быть просто простуженным человеком, неприкаянным, раздумчивым и озябшим, как последний пёс? Опять же – могу. Вот сейчас встану – и пойду к чёртовой матери...

И когда голова утопающего погрузилась в неживую, вязкую, застойную, чужую среду – Человек На Берегу с облегчением вздохнул, маленьким перекрестьем поклевал грудь, оправил одежду, подошёл к воде, умыл руки свои и отправился в ближайшее заведение поправить самочувствие парой чая и рюмкой водки, большего он себе не позволял с недавних пор, потому как физиономия с перепоею стала обшелушиваться, точно луковка...

Шёл. Думал. О том, что суббота из еврейского шабаша образовалась, а уж масонские штучки никогда до добра не доводят. О том, что августовское солнышко в зените, однако же не греет сыщицкие косточки, не радуется, как прежде. И ещё один мудрёный метафизический вопрос ненароком вывернулся: почто дерьмо не тонет? Неправильно сие, недемократично...

Песок под ногами скрежетал зубовно и выдавливал под каблуками тёмную сырость, которая, впрочем, тут же и исчезала, как исчезает всё созданное на песке: без следа.

Вот и ладненько, – думал Человек На Берегу, – приду и доложу ихнему высокоблагородию по всей соответственной форме: так точно-с, утонули-с – и концы в воду-с! Ушёл, скажу, упоенный сын человеческий, я в том замочен не был, а он не дождался солнечного города и никогда теперь уже не узнает, какими словами ему вослед из Кресла ответят...

«Ему ответили:

– Солнце само по себе, земля сама по себе. Если бы солнце село на землю, то всё сгорело бы. Понятно?

Он понял, но ему очень хотелось верить, что солнце может сесть в аистово гнездо. И он надеялся, что когда-нибудь это случится».

Так написал двадцатипятилетний сочинитель Александр Вампилов – недавно, как будто бы со вчера на сегодня. Написал – и пошёл по окружающей среде, как сын земли и неба – по воде, по Мёртвому морю... Грустны его строки. Многие земляки тогда полагали, что автор, прежде всего, – хохмач и юморной парень, однако из благоразумной осторожности откровенно смеяться не осмеливались. Короче, – ни плакали, ни смеялись. Такая была среда, а люди недоверчивые думали, что – суббота; им очень хотелось, чтобы это была суббота, вечная суббота, хотя на самом-то деле был всего лишь четверг, но и он, в конечном счёте, оказался средой – ни живой, ни мёртвой, никакой: августейший сезон, месяц цезарей, стоячая вода. Поди тут, разберись... Погода дурная, водка кончилась плюс флюс... Где-то досрочно затопили, но непонятно что: печку ли огнём, или водою – луга пойменные, хрен поймёшь. Топ-топ, всё смешалось, где огонь? где вода? один пар знает, партия то есть... И от таковой сюрреалистической сумятицы люди сосуществовали в растерянности и не знали, кого или что нужно спасать в первую очередь: душу, пейзаж или битого-небитого человека в пейзаже, да и нужно ли вообще спасать?

И остаётся смысл погадать: над чем мы будем смеяться и плакать ещё через четверть века, а потомки наши – через полтора столетия?

Тайна сия велика есть. Но у человечества бывали тайны и похлеще...

Да не однажды, в день седьмой православной недели, которая разнится от советских социалистических календарей тем, что она, неделя, сиречь неделимая седмица, не понедельником начиналась, но воскресеньем.

LXXXVI

Воскресенье пролетело – с пышным, громким, разноцветным праздничным Днём строителя, с его премиями, почётными грамотами, бочковым пивом навывоз, коллективными пикниками на лоне природы Целкиной горки и Кудыкиной горы, с торжественным собранием в Драмтеатре, где седовласый первый любовник озвучивал тексты правительственных телеграмм из Москвы и приветствия от крайкома, крайисполкома и множества общественных организаций, первый любовник блистал, он срывал аплодисменты, переходящие в овацию, это была его лучшая роль, традиционная, доставившая ему постоянный ангажемент и почётное звание Заслуженного игрока РСФСР.

Воскресенье улетело – Сперанский остался. Куда ж ему деться от родного Краснознамённого ЖЭКа? Некуда. Долг!

То, что в «Огнях коммунизма» сорвалось напечатание статьи с посвящением, о которой растрезвонил Помиранцев, вовсе не огорчило товарища Сперанского. Не до статьи ему было. Другое дело – дед Молитвин, зам главного дворника Платонова по связям с общественностью, оказавшийся в центре внимания и почёта. На прежней скамеечке во дворе сидел он в чистой рубашке, периодически, по-петушиному закону, провозглашал: «Куда-а-а...», а к нему устремлялись как знакомые, так и вовсе незнакомые граждане со свежей газетой и просили поставить автограф на полосе с дедовыми публикациями, и дед охотно расписывался красной шариковой ручкой, а ещё сфотографировался два раза: с бойцами студенческого строительного отряда из университетского журфака и с юными краоведами, следопытами путей боевой и трудовой славы. А тётя Матрёша, помощница деда, консультант по женским вопросам на общественных началах, не стала фотографироваться, отстранилась от деда Молитвина на другую скамеечку, подальше. По слухам, тётя Матрёша решительно не сошлась с дедом во взглядах на роль и значение активного образа жизни, покончила с общественной работой и стала сердито рукодельничать вязальными спицами: свяжет варежку – распустит, снова свяжет – снова распустит... Дворник Платонов, бывший писатель-фантаст, прокомментировал такое положение: кризис мировоззрения.

Сперанский после Дня строителя так и продолжал пребывать в выходном костюме со знаком «Заслуженного строителя СССР». То ли переменить забыл, то ли уже и времени на перемену не хватало ему, начальнику ЖЭКа. Круглосуточно носился он, чертыхаясь, по этажам Кошкиного Дома, от одной аварии к другой, рабсилы нема, хоть разорвись, да и рваньём дела не выправишь, помощи ждать бесполезно, сочувствия никакого, разве что доставалось в краткосрочных кабинетных передыхах облегчить душу перед Домовым, который ежевечерне или еженощно являлся к давнему своему приятелю. Домовой похрустывал сахарком и вежливо слушал, как Сперанский в сотый-пересотый раз объяснял-доказывал кому-то незримому, что он, Сперанский, хоть и заслуженный, но он вовсе не СССР строил, а дом, и этот дом разваливается не по дням, а по часам, вот и судите, люди добрые, бывшего строителя за такой дом, а не за что иное... – на что Домовой понимающе покачивал головой и матерился на языках всех народов Советского Союза.

Однако нельзя вот так прямо и однозначно сказать, что дом разваливался или разрушался. О, нет, не тот глагол и звон не тот! Хибаровский шестидесятиэтажный монолит, эта железобетонная громада, махина, глыбища по определению не могла ни разрушаться, ни сокрушаться – как и поступает в веках пирамида Хеопса. Дом выветривался – подобно самым породистым скалам, базальтовым,

гранитным, диабазовым – по песчинке, по пылинке, по молекуле, но если скала истощается в течение сотен лет и незаметно для глаз человеческих и орлиных, то высотный дом №13-бис истаивал весьма очевидно, и молекулы можно было бы измерять приблизительными центнерами убытка, верхние этажи становились не телом, но скелетом, ажурным переплетением балочных перекрытий и опор, пронзённых снизу доверху зигзагами вечных лестничных маршей в небо... Полсотни этажей – уж подлинные сени решетчатые, тучкам не помеха.

– Это же ясно, как дураку! – стонал Сперанский и стучал кулаком то по столу, то по лбу.

– Большому начальству, видать, ещё не ясно, – говорил Домовой.

– Тоже ясно! Только делают вид, что как раз такие сени и были задуманы архитектором.

– Враньё. Про такую ясность мэнээс Вавилов не помышлял. Это всё начальство темнит, иху мать.

– Темнит! А жильцы разбегаются! А милиция ловит и возвращает! А те снова бегут, как крысы с корабля на бал... Кому выгодно, спрашивается?

– Генералу Поцелуйке выгодно. Население всё в одном доме, в одном месте, все под надзором, расплыться не надо... Но ты всё ж таки держись, капитан. Хочешь, я тебе ещё одну чекушку раздобуду?..

До пятого этажа вода по трубопроводу ещё добирается, но на шестом уже сухо: то ли насосы ослабли, то ли сама вода такая пошла, что не может преодолеть силы земного тяготения.

Сперанский так объяснялся с шестиэтажниками эстонской автономии:

– Ваш дом – это дом будущего! В будущем изобретут хорошие насосы, и вода будет – хоть залейся той водой! А сейчас потерпите, товарищи дорогие!

На следующий после объяснения день что-то непредвиденное случилось с насосами, водопроводное давление подскочило, превысив нормы, трубы полопались, сантехников нема...

И сказал эстонский жилец:

– Всё протекает в русле.

Сказал и вышел на улицу с шестого этажа через окно... К счастью, он упал в самодельный подвесной огородик на нижеследующем этаже, дощатый огородик с луком и редиской спружинил и перебросил летуна на четвёртый этаж, где был висячий пляж, сооружённый из вагонной полки, а на третьем этаже оказались амортизаторами бельевые верёвки, а на втором этаже – белым парусом на ветру величаво раздувалась простыня на просушке... и вот так, прыжками, как колобок, эстонский товарищ допрыгался до крыши автомобиля «Запорожец» в инвалидном варианте, а уже с той крыши прыгать вниз, на асфальтовый двор, было бесперспективно, эстонский товарищ закурил

короткую шкиперскую трубочку, прилёг в автомобильном тенёчке и задумался на своём родном языке.

– Он, видите ли, табачок покуривает! – кричал Сперанский. – А мне его выходка в окно – нож в спину!

Домовой ножками в валенках покачивал, поддерживал доброе приятие разговором:

– Между прочим, у вашей революции сто ножей взад было, и ничего, отмахались же.

– Спасибо, друг сердешный, утешил.

– Это я могу. Я ведь старше советской власти и поэтому смотрю на жизнь с обратной стороны. Не горюй. Может, с жилищно-коммунальным вопросом чудо какое-нибудь приключится.

– Чудо? А вот мы так воспитанные, что в сказки-басни не верим, в разных чуд, ведьм и прочих кикимор...

– И в домовых?

– Не надо, не наводи самокритику. Ты вот лучше на себя оглянись и тогда отвечай за себя.

– Например, это как?

– А например вот как так! Если, например, ты на самом деле есть, так почему не прописанный?

– Нам это ни к чему.

– Нет! Ты сначала пропишись в Паспортном столе по определённом адресу местоживания, а уж потом я, как лицо при исполнении, буду с тобой разговаривать, как положено.

– Чо-то ты обижаешь меня... Так закадычные товарищи не поступают: пропишись, пропишись... Нонсенс с твоей стороны и полная херня! Выдохся, товарищ Сперанский?

Тяжело вздохнул Сперанский: в самом деле, поганство с языка соскочило, а Домовой-то – он и есть Домовой, друг давний, верный, к тому же и обидчивый, как все образованные... Беда.

Домовой путешествовал в Кошкином Доме по слуховодам. Такие внутростенные каналы были устроены в доме при строительстве в полном соответствии с проектом и рабочими чертежами, но для какой практической надобности – никто не знал, не догадывался и не интересовался, однако Сперанский знал, и Домовой знал, что устроено это по примеру московского Дома на Набережной: там, в потаённой, сверхсекретной комнате цокольного этажа дежурит на боевом посту лейтенант НКВД с музыкальным слухом, и называется слухачом, в наушниках с усилительными устройствами, сидит, тумблерами на щитке щёлкает и именно через слуховые, звукопроводные каналы прослушивает заданные квартиры и любое из их помещений... – там, в московской высотке, вся элита Сталиным поселена и на крючок нацеплена. Но в Хибаровске проект как-то не сработал, возможно, квалифицированных слухачей с музыкальным слухом не оказалось, и пригодились те каналы и колодцы единственно что для Домового и кошек.

Для скоростных передвижений Домовой, между прочим, завёл себе верховых кошек, целую кошарню. Главный рысистый любимец – чёрный Мурза, главная беговая любимица – рыжая Мура, а ещё прогулочный серо-дымчатый Мурад, и беленькая Котомка для скачек с барьерами. Со всем кошачьим населением знался Домовой, и не абы как, но на короткой ноге.

На днях явился утешать Сперанского и говорит:

– А давай я тебя развлеку художественной самодеятельностью молодого поколения?

Начальник ЖЭКа отмахнулся: делай, дескать, что хочешь, всё равно жизни нет и не будет, рабсилы нет и не будет, соцсоревнования нет и не будет...

Тихоньким призывом посвистел Домовой – и тут же из слухового лючка выглянули три усатые личика.

– Знакомьтесь, – сказал Домовой. – Вот кошечка Котюша, она певицей хочет стать, очень способная.

Котюша прыгнула на стол и отдала лапкой пионерский салют.

– А это котёночек Киссинджер. Дипломатом будет. Очень способный.

И Киссинджер на столе оказался и поприветствовал хозяина по-пионерски.

– А этого юношу звать Мураками. В писатели готовится. Очень к литературе способный.

У Мураками был байронический вид, и салют он отдал с презрительным снисхождением.

– Чтецы-декламаторы, артисты разговорного жанра, – сказал Домовой. – С кого начнём?

У Сперанского воспрянул некоторый интерес к жизни:

– А давай с Катюши!

– С Котюши, – поправил Домовой. – Пожалуйте, леди.

– Cats! – объявила Котюша тонюсенько. – By Britton Miller!

*Cats sleep
Anywhere,
Any table,
Any chair,
Top of piano,
Window-edge,
In the middle,
On the edge,
Open drawer,
Empty shoe,
Anybody's
Lap will do,
Fitted in a*

*Cardboard box,
In the cupboard
With your frocks –
Anywhere!
They don't care!
Cats sleep
Anywhere.*

Котюша поклонилась, прижав лапку к груди, и уступила место следующему номеру программы.

– Браво! – воскликнул Домовой, захлопал ладошками по валенкам и Сперанского в бок тыркнул: – Чего не хлопаешь? Не произвело?

Сперанский хлопал глазами:

– Произвело. Только это... непонятно.

– Перевожу на хибаровский язык: кошки спят везде.

– Всё?

– Всё.

– Это понятно.

– Ничего, привыкнешь. Котюшины папа с мамой сейчас тоже понимают её с трудом. Фантазии у ней. Яблони-игруши, берег крутой, какой-то самурайский Ибаец... Родители спрашивают: кто такой, чей породы? Котюша морщится. Мяу, – говорит, – это крутой герой, который будет покруче Фауста Гёте!.. Молодая ещё, наивная, жизни не знает. Она, понимаете ли, этому Ибайцу на дальнем пограничье желает передать привет. Глупенькая! До того Ибайца ей ещё через языковой барьер надо добраться, учиться, учиться и учиться, значит... Итак, дальше в следующем номере нашей программы – Киссинджер! Пожалуйте, милорд!

– Cat! – объявил Киссинджер тоненько.

*The black cat yawns,
Opens her jaws,
Stretches her legs,
And shows her claws...*

Сперанский дёрнул Домового за рукавчик:

– А чего это они... Так всё и будут шпарить не по-нашему? У нас проживают, так пусть и говорят по-местному.

– Тсс... Не перебивайте, обидятся...

– Ну вот, чо-то вы все такие обидчивые прямо спасу нет...

– Артисты... Натуры тонкие, ранимые...

– Ага! Ажно у всех глаза горят...

Киссинджер достиг кульминации и воздел передние лапки:

*She lets herself down
With particular care,
And pads away
With her tail in the air!*

Похлопали.

– Стишок вот про чего, – пояснил Домовой. – Кошки зевают... и так далее. Понятно?

– Да чего ж тут непонятного? Везде спят, везде зевают... Интересно, кто им такие стишки сочиняет?

– Да многие сочиняют.

– Про спят и зевают?

– Ну, почему же... Ещё летают.

– Кошки?

– Кошки.

– Это кто ж такое сочинил?

– Да есть в Советском Союзе один такой гений. Егор Веретенев, зовут. Живёт в Москве, а стишки в наших «Огнях коммунизма» печатает. Хотите послушать?

– Но чтобы по-нашему!

– Котюша волокёт по-вашему. Правда, с чуть заметным йоркширским акцентом. Попросим Котюшу – про летающую кошку?

Сперанский кивнул.

– Мисс Котюша, будьте любезны соизволить по-ихнему.

Котюша улыбнулась, отсалютовала, и стишки потекли – по-нашему, по-хибаровски:

*...На небе молния зажглась
И долго-долго там горела.
В вечернем воздухе кружась,
По небу кошка пролетела.
Она летела, словно птица
В сиянье грозových огней...*

Домовой ущипнул Сперанского: доходит? Тот подбородком заключал утвердительно.

*...По ней стреляли из зениток
Подразделенья ПЭВЭО,
Но на лице ея угрюмом
Не отразилось ничего...*

– А дальше я не буду, дальше от кошки отражается сплошное нецензурное впечатление, – сказала Котюша с йоркширским акцентом и поклонилась.

Похлопали. Домовой сдунул с ладошки воздушный поцелуй. Сперанский, подумав, повторил то же самое.

– Следующим номером нашей программы... Что будем читать, сэр Мураками? – спросил Домовой.

– Редьярд Киплинг. Если... – ответил Мураками по-нашему, но с брезгливым оксфордским произношением.

– Что если?

– Стихотворение называется так: «Если...»

– Просим, сэр, просим.

Мураками прищурился, повёл надменным взглядом, задержался на младшеньких собратях по искусству, и те вослед человеку лапками захлопотали: просим, просим!

– В таком случае, – сказал Мураками с едва заметным кембриджским выговором, обращаясь полупоклоном к Домовому, – передайте джентльмену, который с вами сидит, моё персональное объяснение, почему у нас, кошачьих артистов, глаза светятся и в некотором смысле даже горят. Это потому, что мы не газетку «Огни коммунизма» читаем, а – исключительно мировую литературу, отдавая предпочтение поэзии. Вот почему у нас даже в крошечной тьме сияют глаза. И вот почему у отдельно взятой кошки – девять жизней, как гласит старинная английская поговорка.

– Во даёт! – восхитился Сперанский.

– Коротче, джентльмены, – продолжил Мураками, – я вам почитаю кое-что из Киплинга, но не всё стихотворение, а всего лишь одно последнее четверостишие, но в трёх вариантах, а уж вы сами, джентльмены, извольте выбирать из них то, что более соответствует вашим эстетическим критериям, вкусу и образованности. Итак, я начинаю. Я начинаю с конца.

Мураками сделал паузу, во время которой небрежно отсалютовал по-пионерски, совершив это, скорей всего, по-детской ещё привычке, отчего и смутился на миг, но этот миг байронический кошкин сын то ли преодолел, сыграв преодоление, то ли преднамеренно, специально подчеркнул с искусством опытного лицедея, чем прославлены и папа Мурза, и дедушка Муромец, и, отчасти прабабушка с голливудским наименованием Мурлин Мурло...

*If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds' worth of distance run –
Yours is the Earth and everything that's in it,
And – which is more – you'll be a Man, my son!*

Пауза.....:

*И если будешь мерить расстоянье
Секундами, пускаясь в дальний бег, –
Земля – твоё, мой мальчик, достоянье.
И более того, ты – человек!*

Пауза:

*Наполни смыслом каждое мгновенье
Часов и дней неумолимый бег –
Тогда весь мир ты примешь, как владенье,
Тогда, мой сын, ты будешь Человек!*

– Итак, джентльмены, представление закончено концом конца, – сказал Мураками с белогвардейским энергичным потрясением головы, после чего все три артиста отсалютовали и исчезли в слуховой дыре.

– Во даёт! – воскликнул Сперанский. – И стишки выдал, как в точку попал. У нас в ЖЭКе один сантехник, Щитовидов ему фамилия, тоже так говорил: не думай об секундах свысока! у каждого мгновенья свой черёд! Говорил, говорил Щитовидов – и накаркал. В дурдоме сидит. А вот когда однажды я был в городе Лондоне с делегацией...

– Делегация, – фыркнул Домовой, – это миф и легенда. Это понарошку. Это привидение, иллюзия, фантом, призрак, тень вопроса «быть или не быть?» В общем, имитация, пародия и всё что угодно, только не делегация. Полярное сияние и мираж в пустыне.

– А вот это всё... когда кошки стишки рассказывают – не мираж?

– Кошки со стихами не мираж.

– А сам-то ты, в личности сказки суеверия, тыщу лет живёшь – это не призрак?

– Не призрак. Я живу в призраке. То есть, я в вашем коммунизме живу, но я не виноват, что такая личная похоть случилась и сюда попал, в этот призрак, про который ещё Карл Маркс говорил и чисто-сердечно признался.

– Тебе?

– Сначала мне, потом буржуазии и пролетариям всех стран.

– А вообще-то мы ещё не построили...

– Мерещится вам, что строите.

– Тогда же чего мы строим-то всем миром, если мерещится?

– Мираж. Призрак.

– Выходит, и мир тоже того?..

– Тоже. Сами знаете, а не сознаётесь. Только один смелый среди вас нашёлся, да и то в кино.

– Это где ж ты такое кино увидел?

– Все видели. Как Даль поёт в земле Санникова. Жаль, что наши артисты ускакали. Они бы тебе спели концерт по заявке трудящихся на три голоса. Очень им нравится: «Призрачно всё в этом мире бушующем...» Они вот так поют, а мне грустно делается. Слушаю, бывало, и плачу, плачу, как ненормальный... Населению сочувствую...

– Да ты не шибко-то переживай, дорогой ты мой... Держись! Хочешь, я тебе ещё сахарку предоставлю?

– Не откажусь. Сахарок – вещество полезное, уму способствует... Сенкью вери мач! Ну, ладно, пойду, однако, к себе в помещение, маленько вздремну... Да! Чуть не забыл! Ночью сегодня будет мероприятие. По-мещански, кошачий концерт на крыше. А по-культурному, премьера оперы «Призрак оперы». Один мой знакомый английский квартиросъёмщик сочинил, а наши кошки из атмосферы выловили. Называется мюзикл. У квартиросъёмщика уже второй. А первый называется «Кошки». Его у нас на крыше в прошлом году разыграли. А

сегодня черёд второму под названием «Призрак оперы». Приглашаю от имени. Ол райт или не ол райт?

Сперанский молча кивнул.

В середине ночи они встретились снова.

Домовой восседал на чёрном Мурзе, рысистом любимце.

Сперанский нахлобучил ондатровую шапку, надел стёганку, а поверх ещё и плащ всепогодный, прорезиненный – во имя продувной ночной прохлады на поднебесной высоте. Чекушку из-под стола достал, вопросительно взглянул на Домового, тот не возражал, и бутылочка булькнула в карман.

– Значит, так, – сказал Домовой. – Дорога наверх известна. Вдобавок я на лестнице стрелочки нарисовал губной помадой. Не промахнётесь, гражданин начальник, другого пути нет. А там, где путь кончается, там начинается восхождение по ступенькам, это с тридцатого этажа, там я указательное объявление для вас русским языком написал: «Выход из положения». Ступеньки ещё крепкие. Писатель Гоголь, помнится, проголодавшись от окормления, наверняка о таких ступеньках в небо мечтал, не иначе. Ну, всё, что ли? Я поскакал. И вы с чекушкой трогайтесь, дорога длинная. Фонарик не забудьте.

– Мимо рта не пронесу, – буркнул Сперанский.

– Не в роте дело, – строго заметил Домовой. – Техника безопасности. Ну, Мурза, погнали!

Кот выгнул спину и фыркнул.

– Ты гляди-ка! – засмеялся Домовой. – Это он мне по-своему докладывает: не гони, дескать, не нахлёстывай, мне ж ещё в хоре нужно петь, одышка ж недопустима... Вперёд!

...Миновав пятидесятый этаж, Сперанский прошёл насквозь своей бывшей квартиры.

Кое-где на арматуре сохранились бетонные фрагменты, покрытые лишайником. Бетонное перекрытие бывшего пола тихо звенело на одной ноте. Чудом сохранившийся кусок внешней стены с оконным проёмом, и ещё чуднее – остеклённая рама с форточкой нараспашку! и в форточку втискивалась тучка, это была какая-то дурная тучка, настырная, нет же для неё фактически никаких преград в виде стен по причине отсутствия стен, а тучка, надо же! – лезет именно в форточку, нет у ней, видите ли, другого пути кроме форточки, лезет и лезет медузой, втягивается по сквознячку, поварчивая и урча – а потом уж на полу приводит себя в форму, ползает, мокрый след после себя оставляет, точно большая улитка, пол вымыла, облизнула тарелки, брошенные в жестяном умывальнике, блюдечко там с синей каёмочкой, Сперанский узнал блюдечко, это было его блюдечко, дарёное к именинам... Тучка прошла сквозь начальника ЖЭКа и поползла дальше, по течению неба, хвостиком вильнула и смазала человека по носу... Сперанский вытерся

носовым платком, глотнул из чекушки и, вздохнув, потопал выше, уж недалече до верха, до основания вечного, нержавеющей, титанового Чума, внутри которого притаился в ожидании службы секретный истребитель ПВО... «Дом-дом, дом-дом, – думал Сперанский, аккуратно маршируя по ступеням, – и пожары в тебе были, и наводнения, и засухи, и ледниковые периоды... Всё было. И мы были здесь, как мамонты, что ли... Вот, к примеру, Щитовидов называет дом Фефелевой башней, возможно, Щитовидов в чём-то и справедлив, и поэтому в дурдоме сидит...» Было хорошо видно, как на самом верху, над Чумом, сверкал шпиль в лунном свете. Вокруг шпиля хороводились несовершеннолетние, но уже торжественные облачки. Это был и есть тот самый шпиль, первозданный. Вверх по нему на завершающей стадии стройки полез монтажник-высотник, лез и лез, накрылся облачком, а когда облачко отцепилось и уплыло в сторону, то снизу увидели, что уже нет никого на шпилье, где верхолаз? улетел верхолаз...

Бетонная смотровая площадка сохранилась в относительной целостности. На стальных опорах она поддерживала основание Чума, этого титанового цветка, спящего тюльпана, сомкнувшего гигантские лепестки, за которыми укрылось до нужного времени совсекретное достижение НТР СССР + ВПК Варшавского Договора.

– Ну, наконец-то! – воскликнул Домовой, увидев Сперанского. – А мне коты докладывают через каждые пятнадцать минут: дескать, идёт ваш начальник, никуда не делся, не сдулся. Устраивайтесь рядышком, товарищ начальник. Щас начинают...

Сперанский совершил глоточек из чекушки, отдышался. И покуда отдышивался, Домовой рассказывал ему про английского квартиросъёмщика, сочинявшего музыку, Ллойда Уэббера; и про кошек рассказывал, которые не просто так сидят на крыше, как думают некоторые люди, а сидят по делу, по любви, по понятиям, это они мировую музыку из атмосферы вылавливают, музыка же вечна, звук не умирает, если из души вышел, а у кошек абсолютный слух, им даже инструментов не требуется, ни пианин разных, ни балалаек, ни саксофонов, кошки любую мелодию голосом воспроизводят, не хуже оркестров, подобное даже среди людей встречается, имитаторы у них, пародисты и прочие передразниватели, но кошки не в дразнилки играют, у них всё серьёзно, всё по-настоящему, и совсем не важно, как при этом они называют себя, важно, что очень даже неплохо это у них получается, сейчас сами увидите и услышите...

– В главной роли сегодня Мурадели, – сказал Домовой. – Чудный голос. А который кот рядом с ним разминается, тот Котуньо. Прелестный тенор. Мурка ещё...

Сперанскому под стеганкой тепло сделалось, покойно. Он прикрыл глаза и хотел о чём-то расплывчатом спросить Домового, но тот зашипел:

– Тиш-ш-ш! Начали! Тс-с-с... чш-ш-ш...

конверт с диском
CD-R

...и когда, истаяв, ушёл к звёздам, в вечное странствие, последний звук – и кончилась премьерная котавасия, и от близлежащей тучки аукнулся аукцион, высокая распродажа...

– Что это было? – прошептал Сперанский.

И ответил ему Домовой – шёпотом, дорожа тишиной послезвучия:

– We were lucky. We came away with our lives. We would be around tomorrow...

– Не понял...

– По-хибаровскому времени это значит очень даже понятно. Нам, значит, повезло. Мы остались живы. У нас было завтра.

– Ага... А ты слышал, и наш Чапай ржал, царствие ему небесное. .. Откуда Чапай?

– Оттуда.

Дом резонировал.

Дом титановой иглой снимал звуки с угольно-чёрного, медленно и торжественно, высочайшим хоралом, вращающегося небесного круга, которому, по-большому счёту, земные августы – по барабану.

А ещё звёзды падают в августе...

LXXXVII

– Августа меня совсем мало знает, но она хорошая, эта Августа, по-нежному Гутя, – сказал Хлюстаков и подумал, в который уж раз

подумал: да, согласные мы, что пить надо поменьше, но ведь есть на нашем свете внешние вещи, на которые смотреть трезвым глазом просто невозможно, неприлично и невыносимо для внутренних органов.

Доктор Штукарский слушал Хлюстакова не в приёмном покое Жёлтого Дома, но в кабинете дежурного врача. Сидели они, Штукарский и Хлюстаков, не за столом друг против друга, а на кушетке, плечом к плечу. Один говорил-говорил без умолку, другой слушал и ничего не записывал относительно новой истории болезни.

Сам, собственными ногами прибыл в спецмедзаведение Хлюстаков Иван Александрович с огромным, как парус, чёрным зонтом. После того, как убедился, что перед ним тот самый доктор по психам, которого уважительно называют Архимедиком, заявил: вот, пришёл сдаваться, добровольная явка с повинной, можете меня хоть вязать, хоть сразу расстреливать, хоть чего, но на волю я не вернусь, мне туда обратной дороги нет, и делать мне там уже нечего как последнему американскому шпиону, типа Пауэрса, за которым по пятам рыщут хибаровская милиция и советская контрразведка нога в ногу...

– Иван Александрович, – сказал доктор, – давайте по-порядку, а?

– Давайте, – согласился Иван Александрович. – Значит, с меня начнём. Разве ж похож я в натуре на какого-нибудь шпиона типа Пауэрса, чтобы за ним рыскали наши органы как за антисоветским врагом?

– Что вы, голубчик?! Какой же вы враг? Просто, вы утомились или, возможно, после вчерашнего, нет?

– Тогда я буду говорить, вы не перебивайте, а забирайте к себе как последний шанец остаться советским человеком...

И Хлюстаков начал говорить.

Это была история.

...про то, как он, Хлюстаков Иван Александрович, имея право обратиться, взял и обратился за разъяснением некоторых вопросов текущей жизни в письменном виде ещё в конце весны текущего года, когда он ещё жил с женой Марией Ильиничной, и написал целое письмо не то чтобы в Москву и не то чтобы в Кремль, а прямо и непосредственно в Мавзолей, к Ленину, там же он не один лежит, там около него всё равно кто-то сидит из руководящих товарищей, вот они и прочтут письмо и ответят желательно в письменном виде по сути дела некоторых вопросов, но – не тут-то было! за Хлюстаковым И.А. обнаружилась дикая слежка с преследованием со стороны неизвестных посторонних лиц известного происхождения: он, например, – на почту, они тоже на почту, он в гастронорме, они в гастронорме, он – просто так прогуляться на свежем воздухе, они – просто так прогуляться на свежем воздухе... Укрывался под зонтом. Бесполезно. И всё кончилось драматическим финалом: Иван Александрович, к тому времени покинутый Марьей Ильиничной, сошёлся со свободной Анфиладой в начале текущего лета, но спокойная жизнь не получилась и Анфиладу

пришлось оставить, как бы уйдя в полную неизвестность, но неизвестности в Хибаровске нет, всем всё становится известно, например, на следующий день к Анфиладе, до сих пор проживающей на оставленной жилплощади Хлюстакова И.А., к этой Анфиладе немедленно нагрянули из пригородного военного городка другие бывшие супруги Хлюстакова И.А., причём, приехали с детьми, на предмет выяснения: и где же это наш дорогой Иван Александрович? что с ним такое? как его самочувствие здоровья? А Иван Александрович, узнавши про такую заботу, немедленно отправил в пригород всем своим дорогим супругам с детьми телеграмму со стихами Пушкина А.С. «Я вас любил...» – и так дальше. И в это время познакомился с телеграфисткой Августой, по-нежному Гутя, она хорошая...

– Голубчик, – вмешался-таки доктор Штукарский, – скажите мне, как мужчина мужчине, по-честному. Вот у вас, оказывается, налицо многожёнство...

Вздыхнул Хлюстаков, взор его затуманился.

– Зачем? – спросил доктор.

И сказал Хлюстаков доктору – как мужчина мужчине:

– Ищу женщину с четырьмя пунктиками. А какие пунктики, я вам не скажу, вы же не женщина. Лучше я вам общее жизнеописание разъясню, а вы мне ответьте, что так, а что не так, может, какие таблетки пропишете. Короче, я скрылся у Гути. Но жизнь достала...

Это откровение стоило свеч, Ивangelии от Ивана.

Стих 1. Во-первых, Гутя замотанная. Во что, спрашивается? Ни во что. Сама по себе. Руки аж до коленок висят, и даже ниже, как у орангутанши. Говорит, что это у неё от сумок. Я не спорю, может быть, и от сумок. Только чего она в них такое таскает, я не знаю. Наверное, кирпичи.

Стих 2. Во-вторых, международное положение. Неправильное.

Стих 3. В-третьих, внутренние дела. Светлое будущее, можно сказать, позади. Советские школьники, сто процентов комсомольцы, получают аттестат зрелости средней школы и на прощанье пишут мелом на стенах и на заборе: «Дасведанье радная школа!» Это так щас они пишут, при развитом социализме. Мы так не учились. А щас так учатся, что не выучивают в средней школе даже два урока. Первый: получил знания – дай сдачи. Второй: если мы не ошибаемся, значит, это не мы. Это урок для всех. А что оно себе позволяет, подрастающее поколение? В угол бы – за такое образование.

Стих 4. Но наша планета Земля круглая и углов не имеет, и негде нам, горемыкам и круглым дуракам, приткнуться. И что тут говорить, когда нечего говорить?

Стих 5. Как сейчас помню, что в букваре по складам было напечатано большими буквами: мама мыла Милу мылом. И вот я сегодня спрашиваю вас: где Мила? Отвечаю: смылась Мила, смылилась, куда

не знаю. А где твое мыло? Там же, где мама. Конкретно: в журнале нашей коммунистической партии «Проблемы мира и социализма», сокрытое под словом «мира». Там сидят мыльные проблемы. И мы грязнем дружно: на хрен нужно! Но можно и по-другому грянуть, по-варшавянки: с мылом, товарищи, в ногу, духом окрепнем и так дальше.

Стих 6. В этом месте у нас будет и стол рукотворный, к нему не зарастёт, и народная тропа будет – от голых полок до голых попок. Дупель–пусто. Есть конюшни – нет Геракла, кому херакнуть кулаком по столу. Ни пуха, ни хера. Очереди. Это тягомотина, навроде письма Онегина к Татьяне и обратно.

Стих 7. Что такое очередь? «Вас, – говорит баба в кокошнике, продащица, – много, а курица одна, имейте совесть, вы же ж не курицы». Во, бля, номер, чтоб я помер! Мы не курицы. Но почему эта синяя тварь на прилавке называется курицей? Не смешите. Но это независимо смешно, потому что очередь смотрит на продащицу с высоты птичьего помёта. Можно и посмеяться.

Стих 8. Смеяться сметь не вредно. Потому что сказано: хорошо смеётся тот, кого ничто не щекочет. И ещё сказано: помрёшь со смеху. Иногда и вправду умирают. «Вот, – извещают родные и близкие отсмеявшегося, – жил-жил да и помер весьма убедительно, шутник–то наш этакий». – «А что такое скоропостижное с ним приключилось? – спрашивают. – В смысле диагноза». – «Да-а-а, – махают рукой. – Надоело. Дупель–пусто у него образовалось». Вот, такое мещанство.

Стих 9. Скушно мне. В смысле диагноза: не желаю жить в коммуналке! И пошёл в церковь. Там поют: «Господу помо-о-о-о-о-о-о-о-о-о-лимся...» А, спрашивается, кому он нужен, этот помол, если бога нет, а начальник ЖЭКа товарищ Сперанский есть бюрократ, каких этот свет не видывал!..

Стих 10. Один, всегда один. Потому грустный и взволнованный, меченый матом. И не скажет преднамеренный Господь: «Не слези, Иван Александрович, свово белого личушка. У тебя есть проблемы? Ты хочешь за них выпить? Хорошо. Это персональное дело твоей личной совести. Прими сто грамм – не за проблемы, а за себя – и процесс пойдёт. Вот тебе моё благословение». Нет, не скажет. Не будет благословенных процессий. Дупель–пусто.

Стих 11. Но мы пойдём! Мы пойдём купить выпить и врежем по норме стакана, запыжует солёным огурчиком с беломорско–балтийским каналом – и взыграет изнутри пресветлая музыка: «Ожил я, волю почуя...». Но какая–нибудь анонимная жена – бац–бац по харе: «Это кого–же ты почуял? Какую такую Олю?». Но тебе уже ни мур–мур, знай себе выдуваешь, назло анонимной жене: «Бродяга к бокалу подходить, стрелецкую водку берёт...» И весь мир тебе побоку: и государственные границы, черты нашей гордой бедности; и шёлковые знамёна; и людишки под знамёнами, тоже как шёлковые...

Стих 12. Что людишки? Раком ползут и псалмы выводят задушевно-задушенные: «Смело мы в бой пойдём За власть Советов И как один умрём В борьбе за это!» И вот я, обыкновенный Хлюстаков И.А., думаю, как какой-нибудь верующий: коли дело с помиранием пойдёт в таком стахановском темпе, то вскорости на одной шестой части этого света уж будет некому сказать насчёт воистину воскресе...

Стих 13. Взял я – и не помер, назло себе. Хожу по кругу, как предпоследний ощипенец и мудак, и частушечку наворачиваю: «Ой, братишки, бабы, ребятишки! Где же наше это?» Вокруг меня сплошные статуи, прямо фараоны. Орджоникидзержинский отвечает каменным голосом: «Наше это всё того же цвета!». «Вот где наше это!» – присоединяется отбитая голова Маодзедунаевского, которая в скверике табачно-махорочной фабрики. Что это такое, товарищи? Дупель-пусто.

Стих 14. И совсем тошно стало, даже хуже, чем от безыдейности и бесколбасья. На всё начхать: на красное знамя, на крестное знамя. И тогда захотел ваш покорный слуга Хлюстаков И.А. лично, не в письменном виде, а как бы в живом веществе – прямо в Москву, для проветривания. «В Москву, в Москву, в Москву!» – так, по слухам, кричал тайный нищиеанец из Таганрога, сочинявший юморески, над которыми публика после революции вдруг зарыдала.

Стих 15. А в Москве, как известно, первое дело – экскурсия за колбасой по Ленинским местам. Допустим в мечтаниях, что будет как бы на самом деле в виде фантазии утопизма. Что приятная девушка в микрофончик промурлычет: «Поглядим налево, поглядим направо, поглядим на небо, вы видите небо в алмазах...»

Стих 16. И вот, допустим, я слушаю в Москве эту приятную девушку, дывлюсь я налево, направо, на небо тай думку гадаю: какие алмазы? зачем алмазы, когда колбаса нужна? И вот, допустим, в конце концов, как полагается, встанем в очередь к Мавзолею.

Стих 17. Возложим венок от народа. А чтобы там хлопать аплодисментами или ещё какие-нибудь загробные восторги – нет, это у них в Москве не положено, это мы понимаем, это у нас на лбу написано и на носу зарублено: хорошо смеяться до тех пор, куда не начнут искать крайнего, а начнут с меня, ведь это я, Хлюстаков И.А., как последний антисоветский ощипенец, писал письмо в Мавзолей, это я обзабочивал мёртвый дом с вечно живым трупом покойника, как бы над кощеем кощунствовал или наоборот... Как вам всё это нравится, уважаемый доктор Архимедик, человечный и заслуженный врач по психам, а?..

– В смысле? – спросил доктор Штукарский.

– Смысла тут нету, – ответил Хлюстаков. – Но я кое-что прихватил с собой. В зонте скрываю. Самому под зонтом мне не спрятаться, зато

две «Московских» – хоть в складённом виде, хоть в раскладённом варианте. Там у меня петельки приспособлены. Можно?

– Вам уже всё можно, – ответил доктор. – По крайней мере, здесь. И пока вы здесь. А дождик-то, поди, уж кончился...

– Кончился!

– И зонт ваш пиратский, поди, уж просох...

– А мы щас проверим, – сказал Хлюстаков, решительно взвился с кушетки и шагнул к двери, возле которой растопорщился чёрный, в укрывательстве замешенный, парус – в раскладённом виде варианта.

LXXXVIII

ТЛГ СРОЧНО ХИБАРОВСКИЙ КРАЙ ГОРОД ХИБАРОВСК БЕЗБОЖНЫЙ ПЕРЕУЛОК НОМЕР ТРИНАДЦАТЬ ТИРЕ БИС КРАСНОЗНАМЁННЫЙ ЖЭК НОМЕР ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ НАЧАЛЬНИКУ ЖЭКА В ЛИЧНЫЕ РУКИ ДЛЯ ХЛЮСТАКОВА ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА ТЧК ВАНЯ ЧТО МОЛЧИШЬ ВПРСТ МЫ ВСЕ ТУТ ИСПЕРЕЖИВАЛИСЯ ВСКЛЦ ПРИЕЗЖАЙ К НАМ НА КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ ДЕНЬ ТАНКИСТОВ БУДЕМ ТЕБЯ ЧЕСТВОВАТЬ КАК РОДНОГО ТЧК ЦЕЛУЕМ ОТ ИМЕНИ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ТАНЯ ТЧК

ТЛГ СРОЧНО ХИБАРОВСКИЙ КРАЙ ХИБАРОВСКИЙ РАЙОН ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОЕННЫЙ ГОРОДОК ТАНЕ И ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ТЧК ТОВАРИЩИ ЖЕНЩИНЫ ВСКЛЦ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ХЛЮСТАКОВ НА ЭТОТ РАЗ КАЖЕТСЯ НАКРЫЛСЯ САМИ ПОНИМАЕТЕ ЧЕМ ТЧК МНОГОТОЧИЕ ЕСЛИ ХОРОШО ПОДУМАЕТЕ ТАК СООБРАЗИТЕ ЧТО К ЧЕМУ ТЧК ОН ВАС ЛЮБИТ А ВЫ КАК КУРВЫ НЕСОВЕТСКИЕ ЧЕСТНОЕ СЛОВО ДАЖЕ СТЫДНО ЧТО ПОЭТ НЕКРАСОВ СКАЗАЛ ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ НО МОЖЕТ ОН ОШИБСЯ ВПРСТ РАЗВЕ ТАК ПОСТУПАЮТ КАК ВЫ ВПРСТ КОРОЧЕ ЖДУ ВАШЕГО КУРЬЕРА НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ТЕЛЕГРАФЕ СПРОСИТЕ КТО ТУТ ГУТЯ ВПРСТ ВАМ ПОКАЖУТ ТЧК ВСЁ РАССКАЖУ ТЧК НЕИЗВЕСТНАЯ ВАМ ПРОСТАЯ СОВЕТСКАЯ ЖЕНЩИНА АВГУСТА ТЧК

LXXXIX

Его спрашивают:

– Куда ты котишься?

Молчит. Котится и не удосуживается удостоить.

Покуда не становится Спасом.

Тогда его замечают без вопросов.

И благословляют.

И почитают.

И ставят в календари красным днём жития, яблочным.

И дарует Август зёрнышко ядрёное:

– Бери выше!

Его спрашивают:

– И куда же вы котитесь?

Молчит. Котится и на мелкой бумажке мыслию растекается молекулярными литерами литературы:

«...В сущности, уже август. В вещах проступает августовская чернота. Днями светло и жарко: самый разгар. Но присмотреться – тени вечером темнее, мрачнее, да и в полночь в зрелой листве, в лазури раскинута сеть какого-то черноватого тумана, дурмана, и воздух чуть что, кажется, поплывёт кляксами. Не осенью или зимой, а именно теперь, в августе, кладёт начинку в вещах червоточина смерти. Дело сделано, плод заложен – в августе...»

– Понятно, – замечают без вопросов. – Вопросов, как таковых, не имеется. Опять, значить, демисезонное очернение фактов жизни. Опять, значить, статья в смысле УК РСФСР и возбуждение целого дела против слова ощипенца, кстати, уже лишённого по суду права голоса в общем хоре. Но он сидит и не унимается. Гуманный нарсуд ему уже, значить, не указ и не возбуждение? Может, Верховного Суда взыскует?

И дарует Август зёрнышко ядрёное:

– Бери выше.

...самый спокойный, мирный, благостный месяц на сезонном кругу бытия. Всё родившееся выросло, созрело семенем и благодарно вступило в тихое улыбчивое увядание. Обгоревшими факелами покачиваются кустики конского щавеля, окостенел плотной царапучей стенкою репейник у межи, изо всей мочи желтеют кружева донника, и главный запах в лесу – грибной, царственный, и нестрашно болярыне:

*Август – астры,
Август – звёзды,
Август – грозди
Винограда и рябины
Ржавой – август!*



Восх. 5.59

Зах. 21.08

Долг. дня 15.09

Восх. 17.34

Зах. 23.30

II фаза

Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня.

Празднество всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.

Начало Успенского поста.

И крошка сын к отцу пришёл и сказал: «Короче, дайте, папа, сотню баксов на приобретение знаний жизни и закалки силы воли к сопротивлению влияния свинцовых мерзостей окружающей действительности». Папа надолго задумался. Крошка ждал, ждал, махнул рукой на папу, плюнул на пол и пошёл на автобусную остановку собирать окурки, большой дефицит, курить охота, а никакого табаку, даже махорки пачечной, в торговых точках нет и не предвидится, кому жаловаться? самому персеку товарищу Сытникову?

И дарует Август зёрнышко горчичное:

– Бери выше.

Три Спаса на Руси: Спас на воде, медовый; Спас на горе, яблочный; Спас на полотне, ореховый. Дарует их Август – межень, зарев, лакомка, густарь-страды государь, святки священнейшие, и даль романа, и роман Даля...

Первый Спас. На Авдотью малина поспевает. На Маккавеи мак собирают, а коли дождь на Маккавеи – так пожаров будет мало. Отцветают розы, падают хорошие росы, с Первого-то Спаса и роса хороша, и олень копыта обмочил, вода холодна, святки колодцы, святки венки хлебные, заципывай горох, готовь овины и гумна, паши и сей озимь, а для того разбуживай на печи самого ветхого дедушку, в прошлом знатного пахаря, да веди его под локотки на поле, насыпай в ладони его зёрна, да ладонь-то дедушкину потряхивай с приговором: а посея-ка, дедушка, первую горсточку на твоё стариковское счастье.

Иссякает лето цвета, скудеют нектарники, пчела перестаёт носить медовую взятку – вот и заламывай соты, освящай в церкви на медовое разговенье, в тот день даже нищий медку попробует с пшённой кашей.

А церковь ведёт Исхождение Креста – от Константинопольского обыкновения освящать каждый месяц года молебном в его первый день, обычай древний, языческий, ещё от древних римлян с их лунным календарём и празднованиями новолуний – календ. На Руси же стали освящать Крестом воду в колодцах и реках, лошадей в той воде закупают и на Стефана через серебро поят для здоровья, пастухи домашний скот загоняют в воду, от хворей-болезней очищают, чистые-то дожди напоят воды земные, и те становятся целительными водами, об этом русичи ещё до Креста ведали, и ребятишек в старых рубашках купают после водосвятного молебна, детишки как новенькие, а старые рубашки бросают в воду, надевают обновки... В допетровской Москве накануне праздника Первого Спаса выезжал царь в Симонов монастырь, слушал вечерню, а назавтре после заутрени направлялся с боярами, с крестами и хоругвями к Москве-реке – к

смастерённой умельцами Иордани, с которой воды освящались, и по совершении молебна царь со свитой торжественно погружался в Иорданские воды, а Византия такого Мокрого Спаса и не знала, ибо не знала Византия наших прежних, языческих, русально-купальских обрядов, связанных с Березиной, славянской матерью всего сущего, а пришли те обряды от финно-угров, из глубин тёмных времени... А сам Спас потому Спас, что как раз в первый день августа князь Андрей Боголюбский одолел камских булгар, а византийский царь Мануил – сарацинское войско: под верною защитой икон Спаса и Божией матери...

На Исаакия вихри – к зиме крутой, следом Евдокия-огуречница, овощ собирают, а следующим днём заклинают жнивы на все четыре стороны.

В этот день, после Евдокии-огуречницы, хлопнул себя по лбу голубчик Савва Савушкин и закричал колумбовым голосом:

– Эва!

– Какая? – немедленно отозвался голубчик Вадя Мошонкин. – Она нам надо, Савва?

– Монада! – объявил Савва. – Она даст нам искомое число и спасёт этот безумный мир. Радуйся, коллега!

Ищут и ищут два голубчика в Жёлтом Доме спасения человеку и человечеству. Много чисел перебрали умом по бумажке, и вот один из них наткнулся в учебнике на эту монаду, греческую единицу, на понятие, которое, как выяснилось, обозначает в различных философских учениях основополагающие элементы бытия в четырёх ипостасях:

1. число в пифагоризме;
2. понятие «единого» в неоплатонизме;
3. единое начало бытия в пантеизме Джордано Бруно;
4. психически активная субстанция в теории Лейбница, воспринимающая и отражающая другие монады и весь мир, короче говоря, Монада как Зеркало Вселенной.

Здесь было над чем подумать, поразмыслить!

– Особенно последняя субстанция – прямо как для нас с тобой, Вадя, Лейбницем придумана, – воскликнул сдержанно Савва.

Но Мошонкин произнёс неожиданную для самого себя фразу, и эта фраза являла собой целый микромир, она сама представляла собою Лейбницеву монаду, а монада окон не имеет, монада, как Жёлтый Дом, есть закрытый тип, где мысль взаперти, в подтексте.

Мошонкин сказал:

– Бери выше.

И оба голубчика заплакали от счастья.

Доктор Штукарский назначил для них анализ слёз.

С тем и вкатились во Второй Спас, в яблочный.

– И куда ты котишься? – спрашивают его. – Куда надо! – смеётся.
– Я от дедушки ушёл, и от бабушки ушёл...



Восх. 6.09
Зах. 20.56
Долг. дня 14.47



Зах. 4.46
Восх. 21.20
Полнолуние 21.55

Преображение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.

И явился санитар Коля-укольчик в храм Божий к епископу Хризантему по личному вопросу, за консультацией. А епископ и в самом деле ясновидящий, не стал дожидаться санитарских вопросов и спросил сурово:

– Почто стучишь, раб Божий Николай?

Коля-укольчик так и сел задницей на пол. Закрестился суетно, неумело.

– На кого стучишь, стервец? На тех, от кого милосердия взыскал! Грех великий! Побойся, сукин ты сын...

– Куда ж больше бояться-то, – захныкал санитар. – И без вашего наставления боюсь! На игле вить сижую, на крючке сижую, непременно посодют они меня, наши славные чрезвычайные органы...

– Бери выше! – умеренно взревел епископ и воздел очи горе, а душу долу преклонил: прости и помилуй мя, греховодника окаянного...

Особая тишина. Птиц не слышно, песенные любовь и семейственность у них позади. Только длиннохвостые синицы цыкают.

И эта красная рябина! Всё будет сдуто и уронено наземь, но красная дробь ещё долго будет кормить дроздов... Бузина, брусника, калина, костяника – алы. Иван-чай, всё лето процветший, завершается седыми завитушками семян, и только на самой верхушке стебля топорщится сиреневый хохолок. Созрели лесные орехи, и ярчайше пожелтела пижма как явный знак окончания летнего торжества, и нестрашно боярыне:

*Полновесным, благосклонным
Яблоком своим имперским,
Как дитя, играешь август.
Как ладонью, гладись сердце
Именем своим имперским:
Август! – Сердце!*

...и даль романа, и роман Даля...

Пришёл Второй Спас – бери рукавицы про запас. До Второго Спаса

не едят никаких плодов, кроме огурцов, а уж со Второго Спаса вкушают яблоки, раньше нельзя, грех змеи-искусительницы. Яровое поспевает, а убирается к Симеону Столпнику. Провожают солнце закатное в поле с песнями. Осенины пришли. На Лаврентия смотрят в полдень на воду: коли тиха, так и осень тихая будет, а зима безвьюжная. Если на Угодника Степана ясно или, напротив, ненастно, то и сентябрь таковым выдастся. Если на Антона Вихровея сильный ветер, жди зимы снежной. Какова будет Авдотья – таким и ноябрь, а каков Евстигней – таков и декабрь, а каков Мирон Ветрогон – таким и случится январь года следующего.

Котится яблочко – весело. В эти дни, как доносит вивлиофика вифлеемская, взошёл Спаситель на гору Фавор и благословил земные плоды и лозу виноградную. Русь заменила лозу яблоней, и на Второй Спас стала поклоняться ему, румяному. Вот и котится: белый налив, анисовка, коричневое, китайка, апорт, титовка, ананасное, аркад, скрыжапель, восковка, бель, ростовка сладкая, горьковка... Которые покрасивше, «наблюдные» – те несут в церковь кропить святой водою, а иные, которые «подарочные» – сочные, вкуснейшие, утомившиеся – для гостей да на собственный прожор, а ребятишкам – крепенькие, чтоб зубки молодые точили, а бель – нищим на паперти... А вот ещё такое сказывают: собрал мужик яблочный урожай, румяное загляденье, раскатал на пол и ходит ежедень любоваться, сам не ест и другим не даёт, а съедает только то, что подгнивать начинает, вот так и сожрал за зиму весь свой урожай в гнилом виде, ни одного здорового яблочка не попробовал, психика у мужика такая недружелюбная... И везут, везут возами, укутав сеном-соломой, в ближний город, на ярмарку. И несут, несут в храм узелки-платочички – с добром и злом, с раздором и сомнением, с любовью и искушением, с зёрнышками платонов и ньютонов, на русский лад вильгельмы телли там же, и еле-еле душа в теле молодильные муромцы, на печи срока ждущие, а придёт срок – восстанут эти елейные с печи, потянутся, хрустнут залежалыми косточками – и весь земшар ошаршат, и миру мир обеспечут...

В этот день юные пионеры-краеведы под руководством пламенной комсомолки Ляли начали операцию «Поиск» по местам революционной, боевой и трудовой славы земляков. По лялиному замыслу, операция должна пройти два этапа. Первый, до начала школьного учебного года – лодочный поход по реке Куде с приставанием к близлежащим берегам, на которых, по мере сил и возможностей и при содействии местных администраций и активистов сельской местности, будут решаться следующие вопросы: экология, устное народное творчество, постановка пионерского концерта художественной самодеятельности и поиски

трупа злодейски погибшего Чапая; водный транспорт в количестве 4 (четыре) шлюпки предоставила лодочная станция Общества спасания на водах. Второй этап операции, в сентябре и до конца учебного года, – сбор сведений о нашем, пока что безымянном, земляке, знаменитом строителе-верхолазе-монтажнике на строительстве первого в Хибаровске высотного дома: он не вернулся со шпиля! – цель поиска: создание мемориального Музея памяти безымянного героя на безымянной высоте.

В этот же день генерал Поцелуйко доложил персеку Сытникову результаты оперативного расследования по факту публикации в «Огнях коммунизма» подборки давних, в своё время неопубликованных, писем селькора 20-х годов гражданина Молитвина, вызвавшей нездоровый ажиотаж в обществе.

– Так чем же, значить, наш холодный ум и горячее сердце успокоятся? – спросил Сытников. – Конкретно, чем?

– Тем, – ответил Поцелуйко, – тем паче чаяния, что столько ведь лет прошло! Героических лет! Но мы разыскали. В центральном архиве.

Оказалось, по архивным данным, что информация о письмах деда Молитвина, тогда молодого, в своё время дошла до сведения товарища Держинского, и Феликс Эдмундович наложил резолюцию на докладной, приложенной к копиям писем, записке хибаровских чекистов, отправив её к товарищу Мехлису: «Если будет время, то сообщите т. Сталину о сибирских деревенских нравах». Однако, у товарища Мехлиса, по-видимому, времени не нашлось. Хибаровская же ЧЕКА, не афишируя, разбиралась с ситуацией, сложившейся в коммуне им. Коллонтай, и вот что выяснилось:

1. якобы по неофициальному распоряжению т. Сталина на базе этой коммуны создаётся Всероссийский музей русской водки;

2. по пьяному делу среди сельчан распространяются слухи, будто на базе Музея будут выращиваться для будущих времён потомки т. Сталина, образовавшиеся от его сибирской ссылки, как бы инкубатор, как будто бы нам здесь больше делать нечего, а упомянутый в заметке т. Молитвина землемер Соколов, вызванный на беседу по-хорошему, внезапно скончался во время беседы от случайного разрыва сердца...

– Лихо работаете, – сказал персек, улыбаясь.

– Ваша школа, партийная, – ответил генерал, улыбаясь.

– Ну, ты, эт-само, бери выше, генерал.

– Держинского!?

– Бери выше.

– Я подразумеваю товарища Ленина!

– Ещё выше.

– Карл Маркс и Фридрих...

– Выше!

– Вы... вы шутите, товарищ первый секретарь? Советские чекисты в опиум для народа не веруют...

– Это как посмотреть, значить, откуда и куда. Если снизу – значить, будет одно. А если сверху вниз – так будет наоборот. Как думаешь?

– Без проблем.

– А Краснопресненский-Крестовоздвиженский в последнее время по-другому думает. Всё больше о Ленине. Это хорошо.

– Это очень правильно!

– А народ, может быть, уже и не думает. Как ты думаешь?

– Вы знаете, ощущается некоторое чувство... Это как бы вроде усталости.

– Устали делать друг другу всяки бяки, значить.

– Вот именно, всяки бяки и паки-паки пакости...

– А ведь задуман-то человек на век...

– Никак не меньше!

– Но больше жизни не проживёшь...

– Так точно. Но этот Кр-Кр утверждает: проживу! Такой противный...

– Где это он такое ляпнул?

– В том то и дело, что не ляпал. Это у него как бы внутри. Например, вчера поторопился оторвать с календаря текущий день рабочей недели, сидит в кабинете ещё как бы сегодня, а на календаре – уже завтра, то есть уже как бы сегодня...

– И что из этого, значить, вышло?

– Вчера?

– Да, вчера.

– Вчера у нашего Кр-Кр вышел вечер сегодняшнего дня.

– Забавно!

– Тем паче чаяния, бумажка перекидная. Что хочешь с ней, то и делай, с перекидным календарём...

С тем и вкатились на территории орденоносного Хибаровского края в Третий Спас, где на Зелёных горах холсты продают.



Восх. 6.26

Зах. 20.34

Долг. дня 14.08



Зах. 18.20

Восх. 23.33

IV фаза

Успение пресвятой владычицы нашей
Богородицы и приснодевы Марии.

И вступил Хлюстаков И.А. в белую палату Жёлтого Дома.

И возопили обитатели тамошние:

– Ваня!

- Избранник удалой, друг Марса, Вакха и Венеры! Ага!
- А мы про тебя тока-тока вспоминали, Ваня!
- Садись, где стоишь. Будь как дома. Курево-то имеешь?

Так Хлюстаков И.А. в очередной раз, не без морально-психологических проблем, выбрался с потустороннего поля брани в новую жизнь, с медицинским обеспечением и наблюдением.

Он сел на кровать незанятую, покачался на панцирной сетке и сказал:

- Знаете что?
- Что? – спросили обитатели.
- Что египетская красавица Нефертити на самом деле была асимметричная уродка.
- Ваня, ты это серьёзно?
- Какие шутки в таком учреждении? Видите ли, товарищи, в чём парадокс жизни. Уши у ней не по уму...

И тогда товарищи посмеялись от души над той Нефертити и единодушно решили, что в смирительной рубахе Иван Александрович Хлюстаков не нуждается, ему нужны смирительные штаны...

...и даль романа, и роман Даля... В три раза отлетают ласточки, в три Спаса... Успенщина, дожинки да обжинки на поле – жатве конец, складчины, братское пиво, последний сноп, именинный сноп. У женщин свой ритуал, бабий: разлягутся на ниве и давай кататься-валяться нагишом по той ниве, с живота на спину колобками вертухаются да приговаривают при том: жнивка, жнивка, отдай мою силку на пест, на колотило, на молотило, на кривое веретено! – это у них прихоть такая, бабья, секс называется... Ах, молодое бабье лето! С Успения солнышко засыпается. Озимь сей за три дня до Успения, и три дня после Успения. А до Успения-то пахать – копну лишнюю нажать. А на Успение ещё и огурцы солить, а на Сергия капусту рубить. А до Петрова дня взорать, до Ильина заборонить, до Спаса отсеяться... Так-то!

Через заплот из палисадников вываливается жёлтая пена золотых шаров, китайских выходцев. Рядом с ними довольно уживается подсолнух, обрусевший южноамериканец. И спутницы августа – душистые флоксы – тонкий запах прощания – французский парфюм... Коростель смолк. Перепёлки летят тяжело и низко, часто – к беде: ранним утром выходят сельчане с корзинами под провода высоковольтных линий, разбившихся птиц собирают... Шуршит ёж под старой берёзой – серьёзный, как всегда, озабоченный. Кузнечики в сухих травах... – не страшно болярыне:

*Месяц поздних поцелуев,
Поздних роз и молний поздних!*

*Ливней звёздных –
Август! – Месяц
Ливней звёздных!*

Когда-то в такие дни в Нижегородской губернии в селе Зелёные Горы начиналась ярмарка, где торговали новыми холстами. Оттого и сталося – Спас на полотне.

Старики ещё помнили сказку про вот что. Жил-был в стране Мясопотамии князь Авгарь, и болел он страшным недугом-проказой. Прослышал как-то раз Авгарь про чудеса, которые вытворял Иисус, и послал к нему гонца: приезжай, дескать, ко мне, исцели, коли умеешь. Иисус и отвечает гонцу: так, мол, и так, невозможно мне сейчас приехать, дел жутко много, аж невпроворот полон рот, но вот как закончу все свои земные дела, так, значит, и пришлю ко князю ученика своего, он излечит. Покуда разговаривал Иисус с гонцом, так весь и взопрел. Взял полотенце, отёр лицо и чудесно отразился ликом на полотне. Гонец забрал тот утиральник с собой, князю вручил, и тот утирался, и легче ему становилось в самочувствии. Вот. А после Иисусова вознесения апостол Фадей пришёл к князю и исцелил. Увидели жители такое чудо, захлопали в ладошки и обратились в христианскую веру. А чудесную икону на полотне, убрус называется, установили в стене над главными воротами города для всеобщего употребления. С этого времени и начинается Филиппов пост на Руси, коротенький отдых с передыхом...

...и даль романа, и роман Даля... Сей озимь от Преображения до Фрола. А на Фрола и Лавра как раз лошадиный праздник, кропят лошадку, в труде не пользуют, не то падеж будет. А на ту пору приходят первые осенние утренники. На Стратилата тепляк – пошли овсы на спех, и батюшка-юг пускает ветры на овсы. А на Агафона леший из лесу в поле выходит раскидывать снопы по гумнам, и народ стережёт гумна, да не абы как, а в тулупе наизнанку да с кочергой, вот как!.. На святого Лупа овсы холодом лупит. Первые заморозки. Брусника поспела, и овсы дошли до возмужалой усатости, пора косить. На Моисея Мурина – скирдницы, хлеб складывают в одонья. А тут и Иван Постный грядет – щей не варят, круглого не едят, кочан-то на голову похож... Предтеча. Капусты не рубят, мака не срезывают, картофельку не копают, яблоков не рвут, не берут в руки ни косу, ни топор, ни заступ. Последнее стлице на льны. И коли пошли на юг журавли – жди раннюю зиму...

... и время измен, время путчей и заговоров, время бомбы над Хиросимой, и счетоводы прицеливаются к осенним цыплятам, и расслабленные транзисторы:

*Скоро осень, за окнами август.
У берёз пожелтели листья,
И я знаю, что я тебе нравлюсь,
Как когда-то мне нравился ты...*

Слава, слава тебе, Третий Спас! Дождались мы, все опухшие, очумелые... Вить ещё к Первому Спасу обращались: подскажи, милый, неразумным правителям нашим, уж нам некому, окромя тебя, пожаловаться!.. А вот и услышал, и подсказал-таки кому надо, слава тебе, Спас триединый, добро пожаловаться... Дождались гласа с небес!

«Говорят все радиостанции Советского Союза. Передаём Указ Генерального Президента Союза Советских Социалистических Республик...»

А неужто звёздные войны? Уж шибко высокомерно говорит...

«Об ответственности должностных лиц за неудовлетворительное состояние снабжения населения табачными изделиями. В стране сложилось напряжённое положение с табачными изделиями. Во многих районах они исчезли из продажи, вызвав справедливое возмущение населения. Хотя перспектива трудностей была достаточно очевидной уже в прошлом году, Государственная комиссия Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам, а также Советы Министров союзных республик и их агропромышленные органы проявили безответственность и беспечность, своевременно не приняли необходимых мер для решения вопросов, затрагивающих миллионы людей. В связи с изложенным постановляю: Первое. За непринятие мер по предотвращению снижения производства табака, допущенный срыв в работе табачной промышленности, приведшие к перебоям в снабжении многих районов страны табачными изделиями, вынужденным сверхплановым расходам валюты, освободить товарища Никитина Владилена Валентиновича от должности первого заместителя Председателя Совета Министров СССР, Председателя Государственной комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам. Решение об освобождении от обязанностей товарища Никитина представить на утверждение Верховного Совета СССР. Второе. Рекомендовать Совету Министров СССР, высшим государственным руководителям союзных республик рассмотреть вопросы, связанные с ответственностью конкретных работников за срыв производства и торговли табачными изделиями. Третье. Совету Министров СССР совместно с правительствами союзных республик безотлагательно принять меры по исправлению положения, включая ве-

дение новых закупочных цен на табак с первого октября текущего года, о чём проинформировать общественность. Москва, Кремль, 30 августа...»

Ну, вот, дождался! Слава тебе, непонятно кому... Но, между прочим, у российского жителя менталитет такой, что он со звёздами не воюет, и наши ракеты – это как бы прикурить от огонька далёкого светила, закурим, как поётся, перед стартом, и на Марсе будут яблони цвести, вот, а если у нас, например, астральный дымок под потолок – так это так называются одноимённые высокопарные сигаретки, простенькие, копеечные, дешёвая трубка мира для всех трудящихся...

...и Август, Спас триединый, влияет тихим голосом:

– Бери выше.

Немая сцена...

Остаётся лишь осенить себя троекратным троеперстием, заручиться надеждою Нила Сорского – о безмолвии умном.

Троеручица.

fff...

Три форте как кричащая пустота.

ХС

! о всепогодный

благословен будь сезон августейший

Сион благодарный Сион благодарный

се он

чи числа нам брезжут

пора

о сезон восемь жён юноликих а девятая Клио не старше подруг но кокетливей всех в ней сокрыты Сократы сокровища крови гусары фазаны сюзанна и старцы в историце деве

о сезон осязания замысла прежде творения бывшим

из Сезуана

добрый идёт человек черно и светло и разнорабочий наша надежда и первомайская гордость утеха ноябрьских дней

на свидание глаз на свидание гласное всех языков

се изюм и слезливейший сыр на языцах провокацией красной улыбки и жизни сладчайшей

сезон одуванчиков время стрекоз тараканьих бегов эпохальная ловля блох

се Язон золотого руна

первое золото на зелёном

первый второй и третий
бальзам пионерский
сезонь
закройся сезам
ага разбежался открылся закрылся щас
благодсть
неосязаемый цезарей агнец
август
красножёлтый кусочек земли оставленных мест
август
это Август которому имя Стринберг
аве густейший
речете ми слово сотворяшие воле моей
Рцы

Драма четвёртая

В ОЖИДАНИИ ЗИМЫ:

арабески



СБЫЛИСЬ МЕЧТЫ НАРОДНЫЕ!

ДЖИНН ИЗ БУТЫЛКИ

Россия – самая безгосударственная, самая анархическая страна в мире. И русский народ – самый аполитический народ, никогда не умевший устраивать свою землю. Все подлинно русские, национальные наши писатели, мыслители, публицисты, – все были безгосударственниками, своеобразными анархистами. Анархизм – явление русского духа, он по-разному был присущ и нашим крайним левым и нашим крайним правым. Славянофилы и Достоевский – такие же в сущности анархисты, как и Михаил Бакунин или Кропоткин. Эта анархическая русская природа нашла себе типическое выражение в религиозном анархизме Льва Толстого. Русская интеллигенция, хотя и заражённая поверхностными позитивистическими идеями, была чисто русской в своей безгосударственности. В лучшей, героической своей части она стремилась к абсолютной свободе и правде, невместимой ни в какую государственность. Наше народничество, – явление характерно русское, неизвестное западной Европе, есть явление безгосударственного духа. И русские либералы всегда были скорее гуманистами, чем государственниками. Никто не хотел власти, все боялись власти, как нечистоты. Наша православная идеология самодержавия – такое же явление безгосударственного духа, отказ народа и общества создавать государственную жизнь. Славянофилы признавали, что их учение о самодержавии было своеобразной формой отрицания государства. Всякая государственность представлялась позитивистической и рационалистической. Русская душа хочет священной собственности, богоизбранной власти. Природа рус-

ского народа сознаётся, как аскетическая, отрекающаяся от земных дел и земных благ. Наши левые и революционные направления не так уж глубоко отличаются в своём отношении к государству от направлений правых и славянофильских, – в них есть значительная доза славянофильского и аскетического духа. Такие идеологи государственности, как Катков или Чичерин, всегда казались не русскими, какими-то иностранцами на русской почве, как иностранной, не русской всегда казалась бюрократия, занимавшаяся государственными делами, – не русским занятием. В основе русской истории лежит знаменательная легенда о призвании варяг-иностранцев для управления русской землёй, так как «земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет». Как характерно это для роковой неспособности и нежелания русского народа самому устраивать порядок в своей земле! Русский народ как будто бы хочет не столько свободного государства, свободы в государстве, сколько свободы от государства, свободы от забот о земном устройстве. Русский народ не хочет быть мужественным строителем, его природа определяется как женственная, пассивная и покорная в делах государственных, он всегда ждёт жениха, мужа, властелина. Россия – земля покорная, женственная. Пассивная, рецептивная женственность в отношении к государственной власти – так характерна для русского народа и для русской истории. Нет пределов смиренному терпению многострадального русского народа. Государственная власть всегда была внешним, а не внутренним принципом для безгосударственного русского народа; она не из него создавалась, а приходила как бы извне, как жених

приходит к невесте. И потому так часто власть производила впечатление иноземной, какого-то немецкого владычества. Русские радикалы и русские консерваторы одинаково думали, что государство – это «они», а не «мы». Очень характерно, что в русской истории не было рыцарства, этого мужественного начала. С этим словом связано недостаточное развитие личного начала в русской жизни. Русский народ всегда любил жить в тепле коллектива, в какой-то растворённости в стихии земли, в лоне матери. Рыцарство куёт чувство личного достоинства и чести, создаёт закал личности. Этого личного закала не создавала русская история. В русском человеке есть мягкотелость, в русском лице нет вырезанного и выточенного профиля. Платон Каратаев у Толстого – круглый. Русский анархизм – женственный, а не мужественный, пассивный, а не активный. И бунт Бакунина есть погружение в хаотическую русскую стихию. Русская безгосударственность – не завоевание себе свободы, а отдание себя, свобода от активности. Русский народ хочет быть землёй, которая невестится, ждёт мужа. Все эти свойства России были положены в основу славянофильской философии истории и славянофильских идеалов. Но славянофильская философия истории не хочет знать антиномичности России, она считается только с одним тезисом русской жизни. В ней есть антитезис. И Россия не была бы так таинственна, если бы в ней было только то, о чём мы сейчас говорили. Славянофильская философия русской истории не объясняет загадки превращения России в величайшую империю в мире или объясняет слишком упрощённо. И самым коренным грехом

славянофильства было то, что природно-исторические черты русской стихии они приняли за христианские добродетели.

Россия – самая государственная и самая бюрократическая страна в мире; всё в России превращается в орудие политики. Русский народ создал могущественнейшее в мире государство, величайшую империю. С Ивана Калиты последовательно и упорно собиралась Россия и достигла размеров, потрясающих воображение всех народов мира. Силы народа, о котором не без основания думают, что он устремлён к внутренней духовной жизни, отдаются колоссу государственности, превращающему всё в своё орудие. Интересы созидания, поддержания и охранения огромного государства занимают совершенно исключительное и подавляющее место в русской истории. Почти не оставалось сил у русского народа для свободной творческой жизни, вся кровь шла на укрепление и защиту государства. Классы и сословия слабо были развиты и не играли той роли, какую играли в истории западных стран. Личность была придавлена огромными размерами государства, предъявляющего непосильные требования. Бюрократия развилась до размеров чудовищных. Русская государственность занимала положение сторожевое и оборонительное. Она выковывалась в борьбе с татарщиной, в смутную эпоху, с иноземными нашествиями. И она превратилась в самодовлеющее отвлечённое начало; она живёт своей собственной жизнью, по своему закону, не хочет быть подчинённой функцией народной жизни. Эта особенность русской истории наложила на русскую жизнь печать безрадостности и придавленности. Невозможна была свободная

игра творческих сил человека. Власть бюрократии в русской жизни была внутренним нашествием неметчины. Неметчина как-то органически вошла в русскую государственность и владела женственной и пассивной русской стихией. Земля русская не того приняла за своего суженого, ошиблась в женихе. Великие жертвы понёс русский народ для создания русского государства, много крови пролил, но сам остался безвластным в своём необъятном государстве. Чужд русскому народу империализм в западном и буржуазном смысле слова, но он покорно отдавал свои силы на создание империализма, в котором сердце его не было заинтересовано. Здесь скрыта тайна русской истории и русской души. Никакая философия истории, славянофильская или западническая, не разгадала ещё, почему самый безгосударственный народ создал огромную и могущественную государственность, почему самый анархический народ так покорен бюрократии, почему свободный духом народ как будто бы не хочет свободной жизни? Эта тайна связана с особенным соотношением женственного и мужественного начала в русском народном характере. Та же антиномичность проходит через всё русское бытие.

**Николай Александрович
БЕРДЯЕВ**

- ХСІ. Вокруг да около древа познания.
924
- ХСІІ. Голос за кадром. Киноповесть.
Серия первая: Кесарево сечение.
931
- ХСІІІ. Антракт, ещё антракт!
945
- ХСІV. Голос за кадром. Киноповесть.
Серия вторая: День судебный.
949
- ХСV. Круглое, квадратное, краеугольное...
964
- ХСVІ. Два тона, полутон...
965
- ХСVІІ. В последний раз до востребования:
здесь и сейчас.
995
- ХСVІІІ. Четвёртая нежность.
999
- ХСІХ. Порядок в танковых войсках!
999
- С. Гвоздь сезона.
1004
- СІ. Формула ожидания
1011
- СІІ. Про Полюшку-Полю, зеркала, антисоветское чтиво
и двадцать четыре часа нежности в сумасшедшем доме.
1013
- СІІІ. Тихий стук и суровый тик-так катехизиса.
1026
- СІV-СV-СVІ. Прятушки, или

Трёхглавый намёк вместо повествования о том, как гражданин Бефстроганов А.И., находящийся на стационарном лечении в психоневрологической больнице, умудрился с помощью неизвестных единомышленников отправить секретные бандероли для пионерских следопытов ХХІ века с плодами своей трудовой деятельности на ниве кинохроники с магнитофонной озвучкой, причём, текст озвучки бандероли № 2 переведён на цифровую систему письменности майя и выбит

зубилом на каменной бабе времён Чингисхана в тайном урочище
Кудинской долины.

1028

CVII. Плюсы и минусы в Поцелуйкиной Конторе

1028

CVIII. Как один в поле воин...

1039

CIX. Ваятель – и дело рук его, и слово языка его

1052

CX. Трактат для Нью-Йориков, или Датский, в три хода,
мат с русским акцентом и этимологической справкой

1067

CXI. Испить чашу

1080

CXII. И настал вечер: кукушка вечерняя

1084

CXIII. И пришла ночь: война, мёрз, брань и тризна

1090

CXIV. Четвёртое и последнее послание к почитателям

1100

CXV. И случилось утро: без аннексий и контрибуций!

1107

CXVI. И разразился день: перекреститься некогда!

1112

CXVII. Ночь поэзии

1123

CXVIII. Пост революции

1133

CXIX. Двенадцать мраморных слоников на комодe

1168

CXX. Ода осенняя в форс-мажоре

1178

Шумел листопад...

«Очень хорошо! Как это просто, мудро и многозначительно! Замечательное начало нового времени, нового сезона, нового дела, слова, сочинения!.. Ведь не кто-то же там чего-то вдруг расшумелся – нет! сама природа о себе говорит, и лучше её не скажешь...»

– Да, – сказал человек в большой кепке, – просто, мудро и многозначительно. Не каждому дано так шуметь. И очень положительный момент, молодой человек, что вы обратили на это внимание. Не каждому дано обратить на это внимание. Потому что то, что нашумело, неповторимо.

– Отчего же неповторимо, милостивый государь? По-моему, даже очень повторимо.

– Во-первых, я вам не милостивый государь, а русский советский писатель, член коммунистической партии с одна тыща девятьсот пятьдесят первого года...

– О-о-о-чень приятно, здрасьте! Впервые, знаете ли, приходится видеть русского советского писателя как живого. Нас в школе учили, что их давно уже всех на дуэлях поубивали. Но при чём тут вы, когда листопад шумит?

– Слушайте дальше. Я родился в простой крестьянской семье. С тыща девятьсот двадцать седьмого года учительствовал в Сибири и Татарии. Начало творческой деятельности посвящено описанию организации коммуны в одном из алтайских сёл. Потом я описывал гражданскую войну. После чего описывал Великую Отечественную...

– Позвольте...

– Не позволю. За правдивое описание нравственного возмужания рядового солдата в тяжёлые дни отступления и гневное изображение предательства дезертиров я имею Государственную премию СССР за тыща девятьсот сорок восьмой год. Потом мне довелось описать подвиг молодёжи как покорителей целинных и залежных земель. А вы мне тут говорите: повторимо. Не повторяется такое никогда, молодой человек!

– Извините, но листопад шумит...

– Шумит! Но вы прислушайтесь: где он шумит? Слушайте же: «Шумел листопад. Леса покорно и печально, почти не стихая, порошили багряной листвой. Горестный, всё заглушающий шорох властно заполнял лесную глухомань. Опавшими листьями осень щедро выстилала все дороги и поляны. Когда налетал ветер, тучи мёртвой листвы под-

нимало от лесов, легко кружило в просторной вышине и несло на восток, – и тогда казалось, что над унылой осенней землёй бушует багряная метель, шум листопада наполнял душу...» Вы ощущаете, молодой человек, как наполняет? А ведь это я написал, вот этой собственной рукой. И больше так уже никто написать не сможет, – сказал человек в большой кепке, печально улыбнулся и исчез в листопаде так же мимолётно, как и возник.

– Кто это? – прошептал я.

– Михаил Семёнович, классик, – прошептала белая берёза и затрепетала.

И весь русский лес подхватил шёпот и трепет, поддержал и соединился в едином порыве с нею, незаломленной, и даже – дерево в центре Кабула...

Я вздохнул и – назло дереву? – написал строчку: «Продолжение следует. Шумел листопад...»

Написал – закурил – задумался: «Шумел он, видите ли... Подумаешь! А что ему ещё остаётся делать, если он больше ничего не умеет и по-другому не может? И что за напасть такая, в конце концов? То у кого-то уши не по уму, то вот шум не по уму... У листопада всего-то два-три пунктика в биографии – цвет, шум, запах, всё остальное содержится в имени. И это не классик Михаил Семёнович такое придумал. Это так натура августейшая соизволила сочинить...»

Я решительно зачеркнул написанное и обозначил новое начало: «Листопад шумел...»

ХСІ

Пролетело – осенило. Этим буквально всё сказано – на сверхскоростях, в двух словах, однозначно – о двух смежных временах года.

Пора считать цыплят!

...А теперь, товарищи радиослушатели, о погоде. Утрите, пожалуйста, ваши слёзы, и без того мокро. Дожди, дожди, дожди – везде. Кажется, бабье лето, ещё не начавшись, уже закончилось. И только бабы Волго-Вятского района и Нижнего Дона постарались: там дождя нет, температура плюс 30. Именинники нынче – Федот и Василиса...

Идёт букет. У него две ножки в белых чулочках и большой портфель. Всё вместе – девочка. Это Сонечка. В первый раз. В первый класс.

А это школа.

– Чо это ты опоздал? – спросила техперсонал Глаша зарёванного малыша и ласково шлёпнула его по личику мокрой тряпкой, это нежность у Глаши такая, корявенькая, стародевичья.

А это средний класс. Здесь учительница объясняет, что хотел Пушкин изобразить в образе Онегина... И средний класс внимает, и сочувс-

твует: да, хотел, очень хотел, пытался, старался, но вот, видите ли, не получилось, с каждым бывает... И ученики жалеют учительницу.

А это старший класс.

– Сидоров, вытри доску!

– Марь Иванна, – отвечает Сидоров, – сама написала, сама и вытирай. Не барыня. У нас слуг нету.

Этот Сидоров за лето вырос на целых два вершка. Вот такой он, Сидоров. Такие вершки. Такое лето.

Но мы всё же успели и классику отметить: пролетело лето, пролётка Летейская.

Начались: грамматика, насморки, ранняя осень...

Ранняя осень, ненаписанная fuga.

Движение к Гамлету, в сторону птицы.

И выстроился, и уголком потянулся к аромату тепла косяк белокурых ангелов. Холодно им в России. Вот и улетают туда, где тепло и разноцветно, к берегам жёлтого Нила и Красного моря, на чёрную прародину человечества, к сине-белому Средиземноморью, к вечно-зелёному Гефсиманскому саду, где сына человеческого соединило с сыном божьим первое и последнее целование.

О, Сад, Сад! И зачем ты такой вечнозелёный? Ах, если бы ты имел такую обыкновенную возможность хотя бы раз в году отряхнуться листьями по осени августейшей, и задуматься невообразимыми зимами в годовых кольцах своих деревьев, и удивиться новорожденно ростепельным сезонам, и распоясаться на Красной Горке... – может быть, тогда и в человеческом мире, не очень-то поцелуйном, в интерлюдии, меж людей свершилось бы чудо, и то, что когда-то давно было у них содержанием, не стало бы приложением... Но вот нет и нет такой возможности у Сада. Он задуман как памятник от будущего Эдема и не забывает сего. Ждёт.

«...Разве зелёные листки помнят о прошлогодних листьях, ставших теперь удобрением? Чтобы им жить, надо забыть. И разве каждый живущий не хоронит ежедневно такого себя, какой не может забыть, и не рождается ежедневно, не встаёт, забывая скорбь вчерашнего дня!»

Так Пришвин писал в «Незабудках».

«Пришёл Пришвин. Принёс хлеба».

Так Розанов написал о Пришвине.

А памятник по-польски = забыток...

Движение к Гамлету, в сторону птицы, к Саду.

Мания гефсимании. Старая мелодия. Интермецционализм.

Так жестяной звук почтового рожка, не вернувшийся к рожку, может задать кому-то, внимающему и внушающему, целый урок на тему fugи, чем и не замедлил воспользоваться некто Бах Иоганн Себастьяныч.

Так живет на свете самая смелая игрушка – глобус звёздного неба. Мы, товарищи, как должны внимать небу? Мы должны внимать небу изнутри шара. Но глобус не таков, и каждый землянин, учёный и неучёный, смотрит на него извне, с точки зрения Всевышнего – на его

последнее представительство. При этом сам Всевышний тут как бы вовсе ни при чём, глобус-то не он смастерил.

Уже готовая fuga. Но только ещё ненаписанная.

И вот оторвался от летящего косяка один белокурый, тонкокожий, самый нетерпеливый и жалостливый. Во-первых, тому две причины на три существа, оставшихся внизу. А «во-вторых» уже даже и не требуется, потому что – напоследок.

– Стреляй! – закричал навстречу глухой сельский житель конюх коня Александр Армагедонский и рванул на груди рубаху. – Всех не перестреляешь!

– Да куда ж вы денетесь, – улыбнулся Амур и спустил тетиву, и вернулся в свой уголок небесный, а стрела полетела певуче.

Конюшиха конюха коня, которая была простой советский человек неперспективной сельской местности, вдруг охнула и уронила ведро с помоями. Ей чтой-то в грудях спёрло. Ей почудилось, что никакая она вовсе и не бабища, и зовут-то её не Авария, а Варя, прежняя подзабытая Варенька, Варварушка, тёплая Vareжка-сударушка, и ручки у ей белые и невозможно мякенькие.

И Буланка вздрогнул крупом. В фиолетовых зеркальцах его глаз весь мир выглядел тёплым, добрым, уютным. В этих глазах нет обиды. Есть лишь недоумение: какой странный мир! то он любит без памяти, то без той же памяти не любит, то убивает, то памятники ставит, но, ставя памятники, не очень торопится понять и помнить.

Конюх коня Александр Армагедонский поднялся с сидельного бревна, потрепал Буланку за гриву, чёлку погладил и вышарил из интересного кармана оплавленную, в фольговой завёртке, закуску народа: «Русские басни. Молочный шоколад с тёртым орехом. ГОСТ 6534-89Е. Кондитерская фабрика «Россия». Куйбышев, пр. Кирова, 257. 100 % гарантия качества и удовольствия. Срок годности 6 месяцев со дня изготовления.»

Такая осень. Такая грамматика: падежи жёлтых листьев, склонения стриженных голов над белым листом. Белокурый в пикé – набросок опуса. Движение к Гамлету, в сторону птицы, к зимнему Саду, к тягучим вечерним российским побасенкам.

А с утра этот день знатный и звонкий, день со звонком – День Знаний. Всяких и разных...

«КОММУНИСТОМ СТАТЬ МОЖНО ЛИШЬ ТОГДА, КОГДА...

Сонечка вернулась из школы домой – из первого раза, из первого класса – с чувством внутреннего удовлетворения. Мама встретила аналогично. С порога Сонечка швырнула портфель в угол коридорчика, и закачалась, захохла, запричитала... Сонечка очень старалась казаться смертельно усталой и вести себя точно так, как это делают, вернувшись с работы, мама и папа, а в таких случаях мама говорила папе: «Не стомай, у меня и без тебя уже никаких сил нету!»

– Дай пожрать, – сказала Сонечка маме. – Сил нету...

– А я тебе тортик достала! – объявила весёлая мама. – Щас кушать будем!

Говорила – и Сонечку разувала, как папу.

– «Алёнку» купила? – спросила Сонечка. – Ты мне щеколадку обещала!

– А у нас уже денюжки кончились! – весело объявила мама. – Но это ничего! Вот скоро папа придёт, денюжку принесёт, Сонечке шоколадку купим...

Сонечка даже не хныкнула, как бывало иногда, в некоторых отдельно взятых случаях. Нет! Она достала из портфельчика тетрадку для рисования и протянула её маме – гордо:

– На!

– Потом, потом, доча, успеем...

– Щас успевай!

И мама раскрыла тетрадку.

А в тетрадке были денюжки...



Мама посчитала, сколько всего вместе денюжек получится, и вздохнула, и сделалось ей не то чтобы ещё веселей, а, наоборот, печально.

Потом они пили чай с тортиком, и Сонечка трещала, как сорока, совершенно забыв про школьную замотанность. Сонечка сидела за одной партой с мальчиком Вовой, этот Вова делает бабки, на бабках дедки, на дедки можно закупить чего хочешь, хоть даже большую куклу с глазками-открывашками, хоть чего-нибудь вкусненькое, например, клубничное мороженое, или ещё чего, как на Новый год, например, кизилловые леденцы на палочке, а этих денег Сонечка ещё нарисует цветными карандашами столько, что папа не нужен... например, сто тетрадок для рисования надо купить, под листик подложить надо пяточок, а сверху карандашом жик-жик! ширк-ширк! чирк-чирк!.. Вова научил, умненький пацан, такую тайну придумал, что жик-жик – и богатый...

«КОММУНИСТОМ СТАТЬ МОЖНО ЛИШЬ ТОГДА, КОГДА ОБОГАТИШЬ СВОЮ ПАМЯТЬ ЗНАНИЕМ...»

Первоклассный пацан Вова вернулся домой. Папа встретил. С ремнём. Который по-домашнему назывался «учитель».

– Пришёл?

– Пришёл.

– И что? Никаких замечаний?

– Одно есть.

– Признавайся.

– Мне сказали: такой хороший мальчик, и кто же твой папа? Я сказал: мой папа знаменитый писатель Ферапонтий Пилатов.

– Иди ты! А они чего?

– Кто они?

– Которые спрашивали.

– Они сразу закричали: о! о! о! знаем такого знаменитого Ферапонтия! читали и восхищаемся!

– Иди ты! А ты чего?

– Я себя вёл скромно и застенчиво.

– Молодец. Веди себя так дальше. Застегни штаны, ремень отменяется...

Ферапонтий Пилатов удалился в домашний кабинет, расположился в кресле-качалке и стал думать про семейную жизнь. Внутренний голос подсказывал ему: подошло время сделать жене втык. Для профилактики, в порядке надзора, а также за некоторые упущения в воспитательной работе. Пилатов обязан это сделать, он должен это делать регулярно, систематически и периодически. Теперь он такой писатель, который может доставать многие консервы. А она должна это принимать с пониманием, не просто как простая какая-нибудь негуманитарная жонка, а как жена писателя, сокращённо жопис. Следующий

этап: когда управится с женой, то возьмётся за дочь. Со стороны жены есть упущения. Дочь в выпускном классе. Как говорится, умница, красавица, комсомолка. Но – сволочь! Буквально вчера был скандал и слёзы. Опять из-за дочери. Из-за её юбки. Юбка лаконичная выше некуда. Жене это хаханьки и ноль внимания, не знает, куда такая юбка приведёт. Он ей – про юбку, а она ему, то есть жене, – анекдот про отвлечённую девицу старшего школьного возраста: что она, дескать, такая худая, прямо такая худая, что когда она съела один зелёный горошек, так все подумали, что беременная! – ха-ха-ха! Он посмотрел на жену пронзительно: «Ты это кого имеешь в виду?» Ей снова хиханьки. Говорит: «Молодёжь имеет право на самореализацию!» Он сказал: «Ты на что намекаешь?» – Она сказала: «Я не намекаю» – Тогда он сказал: «Проститутки тоже занимаются самореализацией!» Она кричит: «Это пошлость! Нашей дочери это не грозит, ей это не надо, у неё для нормальной жизни в социалистическом обществе всё есть!» – Тогда он сказал очень спокойно: «Ты зачем мне вопрос про дочь туманишь? Что ты мне заладила, как патефон, всё по одному, что это у неё есть и это у неё тоже есть! Ты мне лучше признавайся без намёков, чего у ней уже нету? И вот тогда её аттестат зрелости мне будет ясен, как слеза ребёнка, без вопросов!»... Получился скандал в одностороннем порядке. А вечером дочь сама подходит, как ни в чём ни бывало. Юбка лаконичная, выше некуда. Спрашивает невинным голосом: «Возьмём, допустим мужчину. Он какого рода?» Он сразу занервничал. Конечно, он не Песталоцци. Он советский писатель, сокращённо совпис. Он насквозь пропитан духом КПСС и моральным кодексом. В вопросах нравственности – ни шагу назад, ни шагу вообще ни в какую сторону. Отступать некуда. Позади даже неважно что. Некуда – и всё! Поэтому он спрашивает: «Ты на что намекаешь?» Она говорит: «По правилам русского языка, мужчина, папа, дядя – все получают женского рода. Это странно. Почему?» Он сказал, что даже не знает, что ответить, просто дурость какая-то... Она говорит: «Ладно, пусть по-твоему дурость. Но почему в средний род типа оно попали пространство и время? Если ты, папа, по членскому билету инженер человеческих душ, – так и отвечай!» Тогда он сказал: «Даже как-то трудно вот так сразу...» Она фыркнула с нескрываемым презрением: «Папа, а ты кто?» Он сказал: «Не понял...» Она сказала: «По русской грамматике, трудящиеся – это имя прилагательное, а по жизни – имя существительное, как, например, учёные, военные, балетные, пожарные и так далее. Папа, а ты кто?» И это было выше некуда...

«КОММУНИСТОМ СТАТЬ МОЖНО ЛИШЬ ТОГДА, КОГДА ОБОГАТИШЬ СВОЮ ПАМЯТЬ ЗНАНИЕМ ВСЕХ ТЕХ БОГАТСТВ, КОТОРЫЕ ВЫРАБОТАЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО»

– Бери выше! – сказал персек Сытников – с огоньком.

– Я возьму, пусть дают! – ответил генерал Поцелуйко с огоньком. – Но всё же в этом школьном плакате что-то дребезжит. Мне доложили: плакаты висят по всему городу. Кто утверждал текст – неизвестно. Тем паче чаяния – День Знаний!

– А что тебя конкретно смущает?

– Меня лично смущает слово «выработало».

– Объясни.

– Хорошо. Возникают некоторые скользкие ассоциации. Например, закрома Родины. Там, допустим, богатства, не счесть алмазов и тому подобное. И вот до этих богатств кто-то добирается. Возникает мысленный образ: шахта, штольня, штрек, забой... И там... Коротче говоря, выработанные закрома, которые, по сути дела, пустые закрома. Напрашивается вопрос: значит, коммунистом стать можно лишь тогда, когда доберёшься до обогащения –кстати, не наше слово, в нём бог сидит! – до обогащения, извините, пустотой? Логически так получается.

– Мда... ты, эт-само, кого хочешь, того и ущучишь. Самого, значить, Ленина.

– При чём тут...

– При том самом. Что плакатчики забыли в конце человечества написать В точка И точка Ленин. И ты забыл, товарищ целый генерал безопасности, про речь вождя на третьем съезде рэкэсээм в двадцатом году. Задачи союзов молодёжи ты забыл. Стареешь, значить, – сказал персек весело.

– Вспомнил! – воскликнул генерал весело. – Там ещё Владимир Ильич очень программно сказал, что поколение, которому теперь пятнадцать лет и которое через десять-двадцать лет будет жить в коммунистическом обществе, оно должно...

– Должно, должно, но не дали! – сказал персек грустно. – Никита Сергеевич тоже вот планировал про нынешнее поколение, которое будет жить при коммунизме...

– Не дают! – сказал генерал грустно. – Империалистическое окружение, идеологические диверсии...

«Вот, бляха, жизнь весёленькая! – подумал персек, глядя в глаза генерала. – Ты знаешь, что я ваньку валяю, но и я знаю, что ты ваньку валяешь, и оба мы очень прекрасно валяем, валяльщики задроченные, но это и есть наш священный служебный долг, в валенках, значить...»

«Вот, бляха, жизнь весёленькая! – подумал генерал, глядя в глаза персека. – Ты знаешь, что я ваньку валяю, но и я знаю, что ты ваньку валяешь, и оба мы очень прекрасно валяем, валяльщики задроченные, но это и есть наш священный служебный долг, в валенках, тем паче чаяния...»

Это, действительно, было нечто весёленькое, такое плавное течение двухголовых мыслей в одну единодушную сторону: долг – валенки

– Россия – Союз Советских Социалистических Республик – мировая система социализма и противная система империализма с его вечным загниванием и программой звёздных войн – космос и вселенная – и режиссёр кинохроники товарищ Бефстроганов, которого на прошлой неделе приказом директора студии с треском по партийной линии изгнали с работы – за многое чего, накопившееся...

Пять лет назад Арнольд Иннокентьевич Бефстроганов единоличным решением души установил праздник: первого сентября, в День Знаний, непоздним вечером раскрывать настежь двери своей квартиры для ребятишек дома №13-бис – кино будет! Строго говоря, – кинофестиваль «Наше наследие».

На карту звёздного неба, целиком закрывавшую окно с простенками, опускался белый экран, гасился верхний свет и начинал стрекотать проектор «Украина». Юные зрители сидели – как зёрнышки в подсолнушке, и не баловались.

Это было немое кино, не звучало ни одного слова, но имелось магнитофонное музыкальное сопровождение – нарезка и монтаж мелодий из хорошо известных детских мультиков и киножурнала «Ералаш» плюс кое-что из «Фитиля» московского баснописца Михалкова.

Но была и другая озвучка – закадровый текст сопровождения, который Арнольд Иннокентьевич порциями записывал на магнитофон, лично управлялся, да к тому же ещё и зажав нос деревянной бельевой прищепкой, отчего голос моментально изменялся, становился гнусавым, простуженным, насморочно-сопливым. Эти записи на небольших боббинах Арнольд Иннокентьевич никому не крутил, хранил в домашнем укрытии, в магазинных картонных коробках для обуви на антресолях в прихожем коридорчике. И получалось странноватое кино: свет и звук были разделены, и это представлялось нереальным миром для человека обыкновенного, которому свет и звук нужны одновременно, привычка вот такая образовалась у него, у человека обыкновенного...

Детвора не шалила, притихшая.

Оказалось: очень понимающие люди, эта детвора, – без лишних слов. Ещё очень и очень много слов ребятишки, к счастью, не знают. Но глаза чистые. И уши мытые. По случаю Дня Знаний.

ХСII

«Откуда начну плакати?..»

Так святой Андрей Критский мучался таинством исповедальной прямой речи.

Я не святой. У меня времени мало. И начну я плакати – с чубчика, с кучерявого. Тоже, знаете ли, дело мучительное. Как вспомнишь – так вздрогнешь.

Концы советских социалистических августов на необъятных про-

сторях нашей Родины будто по команде оглашаются повальным ором юных граждан, предназначенных к отдаче в счастливые советские школьники. Где, откуда, с каких источников пошли те вопли со слезоточением? То ли какой строгий параграф диктовал, то ли гигиена, то ли ещё что-то, но образовался факт непреложный: армия, тюрьма и школа пополняются исключительно теми, кто острижен «на лыску», что является всеобщим опознавательным знаком почётной обязанности плюс заслуженного наказания плюс конституционного права на образование. Однако, если в двух первых призывах граждане сдаются без боя, ввиду, так сказать, явного государственного преимущества, то семилетние мальчики ещё имеют маленькое счастье выражать своё сопротивление властям, потому как ихнее мальчишеское достоинство в прямом и переносном смыслах держится на волоске.

Помню: голова сопротивлялась не только ножницам, но даже слову «парикмахерская». Голова решительно отказывалась запоминать это гильотинное слово. Кстати, и по сей день взрослые, образованные люди не хотят придумывать русскоязычного синонима этому изуверскому слову, возможно, по причине ещё той, августовской, памятной, когда на мнующихся ногах вываливались из зеркальных заведений зарёванные пацаны – не то чтобы испуганные, нет, но начисто, наголо обескураженные, разоружённые, с утраченным дворовым авторитетом и похожие друг на друга, точно оловянные солдатики, словно предстоящие дисциплинированные денёчки от звонка до звонка, словно матово блестящие пёрышки «рондо» или «звёздочка № 11»... Холодило затылок и шею, и голова печально вжималась в воротник, оставляя снаружи одни сплошные красные уши, открытые всяческим насмешкам со стороны внешнего мира – нормального мира, волосатого: беззащитность ошипанного курёнка... Да, вот так оно всё и представляется – мелочи нашей жизни, на заре туманной...

Выражение «под одну гребёнку» имеет, таким образом, самое прямое отношение к педагогике той поры: реви не реви, миленький, но быть тебе стрижену! Во-первых, гигиена. Во-вторых, порядок. А в-третьих: вот тебе стадо, вот тебе стадион, нагуливай в коллективе телосложение к труду и обороне и обогащайся знанием всех тех богатств, которые выработало человечество.

К сему можно добавить, что «забритых» в первый раз, в первый класс лишь отчасти утешала форма, до которой, как известно, столь охоча сильная половина населения – в любых возрастах, во все времена. Эта серая гимнастёрка с пришитым белым подворотничком и дутыми латунными пуговицами... Этот поясной ремень – кожаный и с почти что милитаристской бляхой... Эти длинные брюки «навыхлоп», клёши по тогдашней моде: бывало, покуда маленький человечек с места стронется, так его робкая нога внутри флотской штанины два-три шажка совершит. Да. А у щиколотки брючины схватывались бельевыми прищепками, чаще деревянными, реже алюминиевыми, престижно

пластмассовыми, это для того, чтоб не жамкались брючины в цепной велосипедной передаче, такими нехитрыми приспособлениями даже пешие пацаны щеголяли: ясное дело, не гусарские шпоры, однако считалось – коли нацепил прищепку, так, значит, и лакированное двухколёсное чудо у тебя имеется, может быть, даже со звонком, ручным тормозом, зеркальцем заднего вида и маленькой фарой, работающей от динамки... Мы с Яшкой Яковым, моим закадыкой по прозвищу Ящик, не миновали этих штанных отличий, чем и вводили в заблуждение дворовую общественность, правда, недолго.

– Вот кончу школу, – мечтал Яшка, – лисапет куплю.

– Лисапет – первое дело! – подхватывал я. – И покатаем мы с тобой, Ящик, куда-нибудь далеко... Ага же?

А приятель мой меня остужал:

– Куда мы через две пятилетки захочем, так туда на лисапетах не ездют...

Ладно. Пошли в школу. Чудес не ожидали. Но однажды увидели глобус... Сейчас-то я метафорически соображаю, что эта хрупкая пустотелая вещица, модель планеты, показалась тогда таким диковинным многоцветным бутонем, не раскрытым перед нами до поры до времени; и было желание немедленно раскурочить эту загадку, заглянуть в нутро сине-зелёно-жёлто-коричневого обманщика, который в одном, так сказать, лице представлял и бабушкину Сарафановку, и громадный коммунистический населённый пункт городского типа с мировым именем Москва; ах, каким он был круглым отличником, этот шарик! Как он гладко притворялся: то буржуазным городом Парижем, то целым десятком таинственных островов сокровищ, то материками, где негры плачут чёрными слезами, китайцы – жёлтыми, индейцы – красными, а советский народ – никакими... Через много лет, до востребования, вернётся ко мне очаровательное видение этого круглого пустотелого дурака, но я подумаю: да, таков он и есть, наш маленький мир... зелёное на жёлтом – бронзовые подсвечники – сосны в янтарных дюнах... а ещё голубое с белой кружавчатой пенкою в небесах и на гребешках волн – Балтика – Латвия – Блистательна, полувоздушна, Смычку волшебному послушна, Толпою нимф окружена, Стоит Эстония, она... – потом Байкал и Рица, фиорды и незначительные, курице по колено, речки – от печки до печки, во всю российскую глубину; всё будет, даже колизеи с ротозеями и прочие, и прочие достопримечательности в зонах обоих лагерей – соц и кап; и новое хрупкое чудо будет, детант ему имечко, призрачная сфера, модель круглого стола, за которым так и не соберутся круглые отличники и круглые дураки... Да, так вот, не раскурочили мы тогда глобус, и не потому, что умные не по летам были, а потому, что шибко дорогие наглядно-ненаглядные учебные пособия являлись ценностью чрезвычайной и запирались от учеников в шкаф на хитроумный замочек, отпиравшийся гвоздём, и это очень похоже на то, как мамки прятали от нас спички: в самую потаённую,

недоступную глубинку кухонного пространства... чудные наши мамки! Моя носила мальчишковые ботинки, моего почти размера, только и отличались тем, что были всегда чистенькие и для форсу украшались пришитой поверху узенькой оторочкой от отцовых армейских ушаков... господи, какой уж тут мог быть лисапет?

Иная круглая редкость – кожаный мяч с сыромятной шнуровкой...

– Давай домой! – кричал, бывало, Яшкин батя, поддатый и по таковой причине не в меру заботливый. – Хватит, сынок, сопли морозить.

– Не, – отзывался сынок и отфыркивался, как мопед, такой же худой и ребристый. – Рано ещё. Мы им ещё не наклепали, как следует.

– Счёт-то какой, львы яшкины?

– Пидисят один – шиисят два...

– Ну, ладно. Гоняйте до сотни, хрен с вами...

Потом мы с Яшкой как-то незаметно для самих себя превращались в юных натуралистов, юных пожарников, юных корреспондентов, юных туристов и юных пионеров. Плохо что помню... Вот однажды нас с Яшкой чуть было не выключили из отряда за то, что на большой перемене, пятнадцать минут, мы изображали чуждых советским детям тореадоров – на школьном дворе, где доверчиво прогуливалась гардеробщицына корова, вечно стеснявшаяся, ласковая, со множеством человеческих имён... боже ж ты мой! какие дураки были! сняли мы со своих тощих шеек святые кровавые символы трёх поколений борцов и задразнили бурёнку до истерики, и ни стыда, ни совести...

Ну, ладно. В школе верховодили тётки с девчачьими повадками, им было наплевать на мужчинские интересы. Подались мы как-то в тимуровцы, а там сидят отличницы и салфетки крестиком вышивают, нам объяснили: нитки называются му-ли-нэ! И взяла нас с Яшкой за горло страшная обида за бывшего комполка Аркадия Петровича, за то, что он свою командирскую жизнь положил вот за эти дурацкие крестики, а из его легендарных команд на фиг испарилась тайны, игра, риск и самостоятельность, «тимуры» оказались в юбках и в бантиках, где ж это видано, чтоб ещё и в очках! а над всем этим безобразием возвышаются опять же тётки, а с ними – разные планы, разные собрания и мероприятия, разные отчёты по охвату, но на самом-то деле ничего там особенно разного не было, одна мура, фигня, фуфу, фуфло, короче говоря, мулинэ... Махнули мы с Ящиком рукой на это пропащее дело, перешли всякие границы и подались в хулиганы.

Яшка всегда был первым, я только присутствовал. Он и «хулигана» заработал первым... Чтобы приблизить к реальности абстрактную формулу о «хождении на головах», Яшка с помощью собственных ботинок, швабры и тазика с грязной водой изобразил на стенах и потолке очень реалистическую цепочку следов: казалось, вот только что человек прошлёпал. Эффект получился неожиданным.

ным: никто не смеялся, наоборот, все орали, от завучихи пострадала тётя Нюся – коровина хозяйка, сторожиха, звонарь, ключница, уборщица, гардеробщица... – ей объявили строгий выговор за пропуск в помещение учеников в грязной обуви. Тётя Нюся сначала заплакала, потом опомнилась – и раскатилась приятным смехом: как же! завучиха, такая умная, в коверкотовом костюмчике, в кофточке-крепжоржеточке, а вот же поверила, что люди вверх ногами ходить умеют!.. Конечно, Яшка Яков... я забыл сказать, что у Яшки и фамилия такая: Яков, – так вот, Яшка Яков тоже нелегко отделался в этой истории, разделил участь. Зато с того происшествия наша сторожиха и так далее стала для нас единственным в нарообразе человеком, понимающим юмор, пусть даже и неудачный... Нынче-то мы соображаем, что не в юморе дело. Просто – в каждой школе непременно, как звонок, должна тихо жить некая-нибудь эмгэушная Дива Эдуардовна, а именно такая вот тётя Нюся, Дуся, Муся... – которая и за двойк пожалеет, и сопли вытрет, коли такая надобность обнаружится, и с пониманием встретит ребячьи секреты. Ведь что это такое – мальчишеская тайна? Она не может долго пребывать взаперти, она взаперти попросту перестаёт быть тайной, в условиях полнейшей закрытости, в буквальном «между нами», тайна нуждается в сочувствии со стороны людей непосвящённых в тайну – это условие для её существования, и в этом её возрастной парадокс, у взрослых, возможно, всё иначе...

А однажды случилась история: из раздевалки пропала каракулевая шубка Женьки Чихвостовой, невозможной красавицы из нашего восьмого-а. Замечу: десятиклассники презрительно утверждали, что у Женьки титьки сконструированы из ваты и двух тюбетеек, но мы с Яшкой, понятно, плевать хотели на какие-то там титьки, и Чихвостова нас интересовала по иной причине: у неё имелась необыкновенная двухэтажная коробка заграничных карандашей, тридцать шесть цветов, даже белый, даже – и названий-то нет, мы только семь цветов радуги, которые в «Спартаке», знали, а иных в своей жизни ещё не встречали.

– Дура! Дура коровина! – визжала перед тётей Нюсей красная, злая, сама дура и никакая не красавица Чихвостова. – Ты со мной за всю жизнь не расплатишься!

Училки наши забегали по этажам, звонили в милицию, вскорости прикатили на «Волге» Женькины ответственные родители, тётя Нюся в раздевалке плакала, потом отпросилась у директорши на почту отбивать телеграмму в якутский город Алдан сыну, чтобы он самой скорой молнией присылал деньги... С почты тётю Нюсю увезла скорая помощь, с сердечным приступом, только уже некому было помогать... Короче, тётя Нюся так и не узнала, что та проклятая шуба нашлась через несколько уроков: надела её одна засранка из первой смены, погуляла по городу, покрасовалась, в кино с парнями смоталась и заяви-

лась в школу к концу нашей, второй, смены – чужое повесила, своё надела, тут её и прищучили, падлу...

Яшка Яков... я ж говорю: он всегда был первым! – окончательно потерял веру в человеческую справедливость.

– Чесно-ленинско, чесно-сталинско, чесно-всех-вождей! – клялся он тогдашней страшной клятвой. – Отомщение будет ужасным!

– О! – взывал я. – Карандаши поломаем! Тюбетейки отберём, сами носить будем...

– Хуже, – мрачно говорил Яшка. – А ты не бздишь со мной яшкаться?

– Об чём разговор, Ящик!

– Догадываешься, против кого дружить будем?

– Ясное дело, против кого! – отвечал я, хотя и не очень ясно представлял себе: что же такое ужасное замыслил мой решительный и бескомпромиссный приятель.

На следующий день Яшка исполосовал бритвочкой Женькину шубу, после чего буквально лез на глаза всем и каждому – директорисе, завучихе, училкам, известным стукачам из всех классов, лез Яшка им на глаза и собственными глазами отчаянно семафорил: «Ну, спроси, кто шубу на ленточки распустил? Спроси! Я скажу! Я знаю!» Однако никто не спрашивал, все обходили этот вопрос, возможно, потому, что догадывались – кто, но не желали ужасных последствий для себя, для класса, для комсомольской организации, для педагогического коллектива.

И вот таким-то уголовным манером вошли мы, бледнолицые братья, на тропу классово-войны с наробразом.

Бедные наши училки! Они были интересными только раз в году: осенью, «на картошке» во исполнение лозунга «Школьная помощь – селу!» В шароварах и фуфайках, наши русачки и географини по-настоящему смеялись, пили чай из кружек, в чистом поле устраивали плотненький девичий хоровод для исправления малых нужд, палили костры и лопали печёную картоху, обжигаясь и пачкая щёки подгоревшей корочкой... В школе они были притворщиками и играли в игру, ими же и придуманную, не нами же.

К тому времени мы уже на басок срывались, мечтали о хромовых сапогах и суворовском училище...

– Яков, – взывала русачка Вероника Иосифовна по кликухе Емоция.

– Ну, чего вам? – хамил Яшка, преодолевая стыд.

– Иди к доске.

– Это ещё зачем?

– Предложение разберёшь.

– Нет, не пойду. Настроения нету, – отвечал Яшка и оскаливал коронку из портфельной заклёпки, приклеенную к зубу листовничной серой. – К тому же, вчера был выпивши.

Класс ахал, Эмоция дёргала ноздрями, Яшка начинал сравнивать классную доску с плахой...

– Яков, ты сейчас же пойдёшь к доске и разберёшь мне вот это предложение.

– Не надо его разбирать. Оно хорошее.

– Кто хорошее?

– Ваше предложение. Не то, которое чтобы я к доске шёл, а которое вы на доске написали. Буря мглою небо кроет. Пускай остаётся как есть.

– Хорошо. В таком случае, ступай вон в учительскую и дождидайся меня там.

– С вещами?

– Естественно.

– Прощайте, товарищи, – сказал Яшка утробным голосом, пошёл в учительскую, где, по слухам, был справедливо наказан, но вёл себя как Галилей, упираясь в точку зрения на стене, где висело засиженное мухами бородатое зеркало русской революции.

Дома он объявил голодовку и говорил только по-английски, в котором делал поразительные успехи, даже икал с каким-то хрюкающим йоркширским свинством, родители не находили с сыном общего языка, переводчика под рукой не было, был ремень, но время ремня безнадежно ушло...

Имеющий уши да слышит! Я скольжу по тонкому льду воспоминаний; он потрескивает, этот хрупкий, хрусткий, грустный, обманчивый ледок, и, чтобы не оборвалось скольжение, чтобы не обрушиться в тёмный провал беспамятства, – надо не останавливаться, надо двигаться быстро, дальше и дальше, неважно куда, можно в любую сторону, ибо в любую сторону от точки бывшего человеческого местопребывания во времени и пространстве тянется пульсирующий, мерцающий, потрескивающий мозговыми нейрончиками сюжет... Не всё гладко на этом льду, однако же не память в том виновата: запоминаются ведь не годы, но дни, скорее даже – часы и минуты, которые, по человеческому произволу или совершенно невольно, выстраиваются, вытягиваются таким эшелонам, поездом, составом, и каждый из фрагментов жития способен быть абсолютно самостоятельным паровозиком в этом караване – с собственным свистком, фарами, автосцепкой, стопкраном, с передним и задним ходом... Звенья одной цепи, цеплята, как сказал бы мой насмешливый приятель, Яков в квадрате, а я, несмешливый, тотчас представил бы в воображении невесомых куриных ребятишек, бегущих по одной ниточке друг за дружкой, а потом я представил бы папироски, прикуриваемые по кругу, или рюмочки, одна за одной, рифмующиеся друг с другом, и все в одной руке грустного мужчины аварийного типа, отвергающего всякую меру... Ну, ладно.

... На районной конференции ВЛКСМ Яшка, как делегат от общества служебного собаководства, сказал:

– Даже младенцы не рождаются с даром пустословия. Эта наука приобретается вот здесь. – Он постучал по трибуне, а потом чиркнул невоспитанным пальцем по первым рядам кресел, в которых монолитными сусликами торчали «клакеры восторженного оскала», пародия на известную часть публики из миланской оперы, наши славные активисты и аккуратисты, проверенные и испытанные, прошедшие генеральную репетицию и до икоты задроченные комсомольским начальством по вопросам: где, когда, кому и сколько аплодировать и выражать своё мнение в хоровом исполнении; в кулаках они зажимали потненькие шпаргалки с текстами здравниц и призывов... Бедные, бедные... И смешные. Перед самым стартом конференции их начальник, командир «группы ликования», взмахнул рукой и удалился в сортир по сверхъестественной нужде, где и застрял безответственно, сигнал «стоп» подать, кроме него, было некому, и клакеры клакали минут сорок про: «Ленин! Партия! Кам-са-мол!»... Председательствующий выглядел юбиляром, руками разводил, дескать, ну, братцы мои, не ожидал, не ожидал такого оптимизма... – активисты, войдя в раж, бесновались, точно кришнаиты по телевизору, а Женька Чихвостова, побелев, билась в истерике, то есть в проходе между кресел... переборщила малость или что – не знаю, Женька всегда относилась к делу с полной самоотдачей.

Яшка покинул трибуну при гробовом молчании зала. К счастью, конференция закатывалась под горку, вскоре и кончилась, и железный председатель соответствующим голосом призвал:

– А теперь, друзья, по нашей славной традиции споёмте «Интернационал». И – раз, два, три!

Сотни грудей, вибрируя и раздуваясь будто кобры, вознеслись из кресел. Сотни ртов округлились единодушно и замороженно. И грянуло грозное: про мир голодных и рабов... Кипит наш разум возмущё... кипит наш разум возмущё... Пластинку тогда заело начисто. А потом динамики и вовсе заткнулись. И наступила оглушительная тишина. Абсурдная тишина, потому что сотни губ беззвучно пульсировали, изображая беспорочное пение, а глаза бегали в догоняшки друг за другом, сосед за соседом, а уши делали вид, что наслаждаются и слышат, слышат, без булды слышат – и слова, и мелодию пролетарской полифонии... Это был спектакль глухонемых. А я и сейчас уверен: никто из нас, тогдашних, не знал наизусть текста Эжена Потье – ни с начала до конца, ни наоборот...

Я вот только сейчас задумался над словосочетанием: человек вышколен...

Так вот: Якова Якова вышколили из выпускного класса. Если коротко говорить, – по совокупности преступлений. Во-первых, однажды молоденькая зоологичка, краснея и бледнея, лепетала уче-

никам что-то весьма сокровенное из жизни тычинок и пестиков, а ученики нахально ухмылялись в пол-лица: не робей, дескать, милая девушка... – и нахальней всех – он, Яшка в квадрате; конечно, милая девушка больше в класс не пришла, а жаль. Во-вторых, Яшка упёрся перед Емоцией: Стародум из «Недоросля» отнюдь (так он и говорил: «Отнюдь») не является олицетворением тупости и косности, а совсем наоборот; такое суждение противоречило школьной программе. В-третьих, Яшка публично заявил, что верует, а во что именно – не сказал, и вот это самое, несказанное и неизвестное что, стало для школы происшествием чрезвычайным. Ясное дело, верующего призвали к исповеди с покаянием в учительскую, в эту контору чернильную... – с помятым глобусом на шкафу, с персональными указками в пирамиде, наподобие оружейной, с лоснящимся углом, в недрах которого томился на унылой вахте очередной малолетний нерадивец – тоскливый дух просвещения, припудренный меловой пылью... А эти вечно влажные стены! От дождей ли, от протечки водопроводных труб, не помню, но точно знаю, что борьба с сыростью была признана делом безнадежным, и когда настырное пятно становилось зелёным и пушистым, то его закрывали портретом, так они и висели – достопримечательной галереей: товарищ Сталин с Надеждой Константиновной, Макаренко и Лысенко, Чкалов и Фадеев, Ньютон, Пушкин с Кутузовым, Ильич и Лев Николаевич Толстой, А.А. Жданов и первый красный маршал на белом коне... Места было вдоволь, портретов хватало...

– Ну, и как же ты, Яков, думаешь жить после всего вышесказанного? – спросила директриса.

– А я не думаю. Живу – и всё. Кстати, говорите мне «вы».

– Доучились, – хмыкнула директриса; по-видимому, в эту минуту она потеряла к разговору всякий интерес, но всё же спросила ещё разок, словно примерялась к прощанию: – Итак, во что же вы веруете?

– А это уже не из школьной программы, – сказал Яшка.

Лояльность наробраза лопнула от того, что стало «в-четвёртых»: на открытом уроке, в присутствии светлейших дам из города, Яшка громко и ясно расшифровал «Во весь голос» лучшего советского пролетарского поэта – там, где многоточия, где «роясь в сегодняшнем окаменевшем» и где гнилым зубом торчит одинокая буква Б с хулиганами. Вообще-то, Вероника Иосифовна, наша Емоция, всегда требовала чтения с выражением. Вот Яшка и выразился, во весь голос. А на перемене в уборной сказал мне, раскуривая беломорину:

– Сим объявляю минпросу рэсэфэсээр тотальную филологическую войну. До последней капли чернил.

– А зачем?

– А затем, чтобы, во-первых, наробраз перестал быть дикобразом и, во-вторых, чтобы вернуть бедному русскому слову первородный семантический смысл. Понял? – И полистал, и потыкал пальцем в

прижизненное издание поэмы, и в книжку с «Житием протопопа Аввакума», где комментарии обозначили «Б» как ересь.

И мы, не откладывая дела в долгий ящик, пошли воевать. И на глухой школьной стене цветными мелками объяснили миру, что «школа» по-гречески – это досуг, общение в неформализованной обстановке; что «педагог», опять же по-гречески, – это раб, носивший детей в школу; что, наконец, в нашем городе многие понятия утратили смысл и противоречат семантике, и надо с такой практикой покончить раз и навсегда; конечно, плохо, что советские люди не знают греческого языка, гимназисты при царизме учили, может и мы жили бы несколько лучше, если бы толково разбирались в греческих словах русского языка, но в то же время – повсеместным введением его в школьную программу делу не поможешь, так что, товарищи, давайте хотя бы думать по-русски правильно и в мировом масштабе... Перед этой «стенограммой» нас и прижучили с поличным.

На педсовете, по Яшкиным словам, обозначился плюрализм мнений.

– Граждане судьи, – сказал он, – если бы несчастный советский поэт Маяковский был сейчас жив, он бы что сказал? Он бы ничего не сказал – от растерянности и печали. Но знаю твёрдо, что он не отдал бы вам на расправу ни малышей-первоклашек, ни ихних взрослых родителей, ни меня, инкубаторского недоумка, выращенного вами, граждане судьи, на удивление всей обитаемой вселенной. И если бы он вдруг узнал, как нынешние, внешне интеллигентные люди с высшим образованием приспособливают под себя русскую речь – ради единого грамма блага! – он бы что? Он бы снова застрелился от горя, граждане судьи...

– Опомнитесь, Яков, что вы такое говорите! – вскричала Эмоция. – Какие инкубаторы? Какие судьи? Мы, твои педагоги, хоть и не знаем по-гречески и не носим вас на руках, но мы ежедневно, с утра до вечера, хотим вам только добра!

– Исключительно! – сказала директриса; это было её излюбленное словечко с крайне полярными значениями на все случаи школьной жизни, и она, должно быть, для пущей убедительности пристукнула сухоньким кулачком по столу – как печатью гербовой шлёпнула: – Исключительно добра!

– А чего ж вы тогда стучите? – оцетинился Яков.

Эмоция улыбнулась:

– Добро должно быть с кулаками, как сказал один поэт.

– Не один, а два, – прищурился Яков. – Это во-первых. А во-вторых, кто будет с середняками, а также с бедняками?

– Погодите, Яков, – решительно вмешалась дама из района. – Не занимайтесь демагогией, то есть коллективизацией... то есть я хотела сказать, что давайте вернёмся к вашим этим... публичным выражениям, невыносимо вульгарным...

– Откуда вы знаете, что они вульгарные? Откуда вы их вообще знаете, когда вам положено не знать?

– Уж знаю! Но вслух не говорю!

– И это нормально? – Яшка аж задохнулся, а потом продолжил сиплым шепотом: – Но ведь это же... нехорошо! Это лицемерие! С этого начинается... Знаете, что с этого начинается? Сначала отречение: я – не я. Потом – всеобщее и коллективное: мы – не мы. А в конце концов мы оказываемся немые, как сфинксы древнеегипетские. Извините, тогда чего же вы хотите?

– Уймись, товарищ Яков! – взорвалось районо. – Хулиганство какое! Поймите, что в классе сидят не только мальчики, но и девочки. И никто вам не позволит...

Яков уныло замолчал. Он хотел сказать, что при таком районном подходе к мировой литературе можно запросто обнаружить секс и эротику даже в том, что «буря мглою небо кроет»... И ещё ему хотелось сказать, что он, конечно, всё понимает, только (хотелось ему сказать) и вы, гражданочки, поймите, что в изящной словесности, как и в классе, тоже имеются мужчины и женщины, а совсем не бесполое мурзилки; и противостояние, и противосидение – это не классная проблема, и не классовая борьба... А эта, что из районо, как пить дать, поставит вопрос ребром, и он, Яков в квадрате, вынужден будет выпалить: «Ну, чего вы меня пугаете? Районо разное, гороно, крайоно, облоно... Везде это чудище обло, куда ни плюнь! И вот я думаю после этого, что просвещением в Советском Союзе заведует что-то такое бесполое, среднего рода и всегда обвинительного падежа. И оно мне не надо, такое! Оно врёт на каждом шагу. Оно играет со мной в ладушки, а я не желаю». Тут, понятно, директриса вмешается: что ты такое мелешь, Яков, чему тебя десять лет учили? И тогда он скажет, наконец, самое печальное: о том, что он не мельник, что он просто-напросто не хочет больше тут учиться, что ему нечему здесь, в этом лягушатнике, научиться, и в последнем убедятся сами учителя, в чём он, Яков Яков, совершенно уверен и даже знает – когда: через пятнадцать лет, точнее – двенадцатого мая одна тысяча девятьсот семьдесят девятого года... Бедная Емоция при таком нахальном прогнозе всплеснёт манжетами: боже мой, мистика какая-то, я им ничего такого не говорила! А он, Яков Яков, квадратный как латинский монолог, закончит-таки начатую фразу: в тот день, когда будет разморожен обывателиус вулгарис из феерической комедии Владимира Владимировича. Понятно, милые дамы? И незачем вам своими маникюрными лапками по столу барабанить, хоть с добром, хоть без добра. У вашего покорного слуги, кстати, с кулачным делом ноу проблемз, не только на ринге опробовано, даже на газавтоматах... я извиняюсь, но в боксе такой удар «свингом» называется, уж если нарвёшься на такой – всё, плыви и не вякай... бастующие газавтоматы, правда, выстаивают, больше того, после свинга иной жестяной крепыш, этот дурак лакированный, крикнет – и изо всех дырок разом хлынет газвода с тройным сиропом – хочешь пей, хочешь умойся, рожа заблестит и станет пускать солнечных

зайчиков... Я, конечно, и хулиганистый, и дрянь, человек такой же приблизительный и виноватый, как при грозных царях, но и вы для меня не свет в окне – вы, искренне неуважаемая директриса, и вы, бедная русачка Вероника Иосифовна, язычница наша, в простонародье Емоция, и вы, райское Оно – безгреховное, беспорочное, рождённое из пены морской... Все мы, оказывается, и язычники, и иосифовичи, один больше, другой меньше...

Однако ничего такого мой друг не сказал. Он стоял пограничным столбом между своим внутренним миром и внешней средой, он смотрел в засиженное педагогическими музами зеркало русской революции, ему было тошно и одиноко, ему было очень жаль этих злых замороженных баб, и потому он неожиданно для самого себя ляпнул:

– Эх вы, дуручки...

Районо хлопнулось в обморок, Емоция всхлипнула и закрыла лицо руками, директриса сняла очки и сказала:

– Исключительное дело...

Через десять минут состоялось решение педсовета.

Через час Яшка сидел в читалке и догрызал предпоследний том сочинений Плеханова.

Через неделю он уже носил спецовочку – в инструменталке механического завода.

Через месяц он сказал мне на воскресной стыковке:

– Знаешь, Арик, я всерьёз начинаю пугаться всякой организации. От пионерской и выше. В каждой из них – свои официальные короли и неофициальные лидеры, свои уставы и свои монастыри, свои доносики и шестёрки, лицемеры и подхалимы, блаженнейшие дурачки и аввакумы... При всём при том, Арик, что эти аввакумы вполне могли бы жить и без всякой организации, потому что они сами по себе – сложнейшие из организмов, сочинённых природой, однако аввакумы оказываются слабее любой организации, потому что рассчитывают только на собственные силы и презирают толкучку вокруг корыта власти, и что образуется? Аввакумы – в вакууме! И как же тогда жить свободным, как бог и Пушкин?

Что я мог ответить? Ничего я не ответил. Я ж говорю: Яшка всегда был первым, а я вторым, это как-то фатально состоялось, помимо воли моей, и в последующем я не раз убеждался: когда судьба командовала «На первый-второй рассчитайсь!» – то я всякий раз оказывался как бы в стороне, то есть рядом, но – навроде подсолнуха: головой вертел в нужном направлении, а с места не страгивался, подобно огольцу в сверхфлотских штанах. Судьба разговаривала с сильным.

Через год Яшка одолел вечернюю школу, ШРМ, учащиеся именовались шерамыжниками, но не обижались.

Через пятнадцать лет гражданину Я.Я. Якову было предъявлено обвинение по статьям 70 и 190-прим Уголовного кодекса Российской Федерации.

Публика в зале судебных заседаний дружно реагировала качанием голов – вдоль и поперёк, а также утробным: у-у-у... Этот гражданин Яков! Доктора Жеваку читал? Читал. Досье на нашу советскую альму-матерь собирал? Собирал. А на ноябрьской демонстрации... товарищи судьи, обратите! вместо правильных отрицательных лозунгов типа «Нет ядерной войне!» и «Нет американскому империализму!» этот, с позволения сказать, Яков, будучи диссидент-иноходец, вышел к трудящимся с неправильным отрицательным: «Нет правды!»

Свистящее словечко «диссидент», как и всё новенькое в народном лексиконе, обкатывалось на манер речной галечки, на все лады, так и сяк, и было в нём уже не столько зарубежного духа, сколько нашего родного, отечественного: свист трёхпалый, свист свинца... С-с-сукины с-с-сыны, эти дис-с-сиденты-с-с-с! А вот про какую-то религиозную начинку сего обвинительного имени с-с-существительного нам не говори-те! Не говорите! Не надо. Там, где у вас раньше Саваоф был, там у нас нынче ДОСААФ вырос. Понятно? А если понятно, так и не возникай, гнида, на всенародном теле, живи, как все живут, становись в живую очередь, там всё дают: кому – по уму, а кому и по морде. В соответствии с народным фольклором, всем сестрам по серьгам, всем братьям по рогам, а богам, извините, местов нету и не предвидится. А то шибко развелись тут, понимаешь! Опи́й для народа придумали! Чтoб издеваться? Нет, не выйдет. Борьба за душу идёт! В генеральной точке зрения насчёт этого лучезарно сказано: простому советскому человеку нужна одна на всех душа населения, простой советский человек сам лично в индивидуальном порядке сло́жён, как бог, и адекватно сло́жен, и этот наш сложный простой человек не допустит, чтобы всякие всевозможные, как выражался Хрущёв, пидарасы и идеологические диверсанты сидели вот тут, перед лицом правосудия, и молчали, как рыба об лёд...

– Да раньше-то... ему бы язык быстренько аннулировали!

– Так точно! А по вызывающему виду сразу видать, что вылитый израильтяк.

– Нет, товарищи, по-моему, он не из. Носом не вышел.

– Как же – не из? Самый настоящий из, коли два раза Яков! Плюс идея иудея! А вот вы сами, гражданин... с обличьем и вообще в очках... чего такое защищаете? Небось, тоже... из инвалидов пятой группы?

– Упаси бог, чтоб защищать! Мы – Иван Иваныч! Тоже два раза, как видите...

– Это маловажно. Счас наука доказала, что Иван – жидовское имя. И Иисус Христос тоже жид...

– Да что вы говорите? Вот не знал!

– Я говорю, что знаю. А вон тот отщепенец, двуликий Яков, ничего не знает, сидит, молчит и губами своё нелегальное мнение шлёпает...

Я-то знал, что такое Яков набубнивал чуть слышно: «Что тебе снится, крейсер «Аврора»...» Точно. Это он всегда так делал, чтоб

не потерять сознания и держать себя в руках. А теперь вот – чтоб не впасть в кратковременное безумие от абсурдного спектакля, от этого персонального представления, в котором перемешались в жутком вареве юстиция и театр, преступление и наказание, коварство и любовь, униженные и оскорблённые, былое и думы, война и мир... Русская народная сказочка. О том, как некий царь-государь, цезарь всемогущий, генсек-гомосек сечёт холопа своего, человечка, гому не очень сапиенс, вершится порка государева, директивно осиянная лозунгом «За беспорочную жизнь!», кесарево сечение, безжалостное отторжение одного живого органа от другого живого органа, от живой очереди... с одной стороны это весьма и весьма, а с другой – весьма не очень, а впрочем, не нами же заведено: кесарю кесарево, это прекрасно знают юристы и артисты, врачи и палачи, особенно – врачи, аполитичные гуманитари, совсем недавно, в начале пятидесятых-полосатых, узнавшие, наконец, что такое органы... Бедные гиппократы, бледные гуманоиды в белых халатах, они и не подозревали, что эти органы именуются не чистопородной медицинской латынью, но – лишь тенью великого языка: *competens, partis*... партийные, компетентные... чёрствые католические буллы...

Где-то в средних рядах энергичная женщина, урождённая Чихвостова, рупорным жестяным голосом массовика-затейника сколачивала хоровод:

– Товарищи женщины, матери и жёны! Давайте возьмёмтесь за руки и дружно, как один, скажемте своё гневное материнское «нет!» этому антисоветскому шизе. Я его с детства знаю...

И товарищи женщины брались за руки, раскачивались, как на вечерней завалинке, с закрытыми глазами – только песни у них были иные...

Короче говоря, в зале суда безраздельно царило бурное единодушие: на всякова якова!

Вне «всякова якова», на улице – млено сонное равнодушие.

И вот тогда накатило на меня, свидетеля яшкиных преступлений: господи ты боже мой! пресвятая баба этимология! спаси и помилуй нас, неразумных... Ведь эти слова, единодушие и равнодушие, не только не близнецы и не синонимы! Они – одно слово, одно и то же понятие. И этого мы, до умопомрачения образованные, вовсе не замечаем. А между тем, равнодушие имеет полное право быть бурным, а единодушие – сонным. И сие – ещё один парадокс в нашей гигантской стране, сверхдержаве, в которой, как сказал Яков в последнем слове, народ, названный новой исторической общностью, поэтапно превращается в ограниченный – кем? чем? думайте! – контингент, причём, не где-то там, далеко-далеко, где кочуют душманы, а здесь, по месту жительства, по месту прописки, в собственной, отдельно взятой за горло стране...

– Спасибо всем, – закончил Яков судебное послесловие. – Здесь

меня впервые и очень серьёзно называли гражданином. Мне очень жаль, что это великое слово нынче прилагается только к фамилии подсудимого. Это горько и несправедливо. Но я верю, что жизнь станет лучше, жизнь станет веселее. Но для этого нужно, чтобы ум объяснил совести, что пора бы и честь знать. И такое время не за горами. Дайте только срок...

– Дадим, дадим, не волнуйся, – сказали в зале разными голосами.
– Не сомневайся, очернитель, у нас со сроками, слава капээсэс, дело хорошо поставлено...

Судья отреагировал электро, почти что школьным, звонком, будто бы оповещал о начале большой перемены.

И – всё. Грозился друг мой Яша по-футбольному: «Я им всем гол забью!» А вышло, что гол забил человека, не до смерти, к счастью, но стал тот человек остриженным наголо, пустым и голым – на ничейной, на общегосударственной собственности...

А между тем, по майскому холодку белым густым духом кипела черёмуха и, малость простуженная, беззвучно чихала, разбрызгивая росу.

Я ушёл в замызганную кафешку...

Арнольд Иннокентьевич щёлкнул выключателем. Зажёгся верхний свет. Смолк кинопроектор. Побелел экран. Только что на нём жили: двигались и открывали рты люди, бегали и прыгали физкультурники, вратарь в красивом прыжке отбивал мяч, из самолётов высыпались парашютисты, ползли грузовики с народнохозяйственными грузами, плыли пароходы, устремлялись по рельсам поезда, лесорубы валили деревья, в киосках продавали мороженое, маршировали пионеры и солдаты, почтальонша разносила почту, электросварщик в тёмном небе зажигал новую строительную звезду, мамы катали детские коляски, Сонечка прыгала по асфальту на одной ножке, дворник Платонов о чём-то разговаривал с метлой, дед Молитвин писал свою фамилию на газете «Огни коммунизма», текла Куда, не увлекая заякоренные лодки рыболовов, и хорошо известный подъездной хулиганский кот Мурильо, прижав уши, уносился вверх по лестнице, унося в зубах похищенную у народа рыбёшку... Не было на экране Якова Якова. Там были другие. Похожие. Непохожие. Разные. Но другие.

– Большая перемена! – объявил Бефстроганов. – Антракт!

Ребятня аккуратненько выдавилась из квартиры и шумно посыпалась вниз по ступенькам – на двор, на свежий вечерний воздух.

И Бефстроганов – за ними.

ХСПІІІ

У Арнольда Иннокентьевича было превосходное настроение.

– Между первой и второй – перерывчик небольшой! – мурлыкал он, спускаясь по лестнице. – Ать-два!

У подъезда стоял нездешний молодой человек и читал стоямя газету «Огни коммунизма». Он уже второй вечер читает стоямя одно и то же. По складам читает, наверное. Это забавно...

«Извините, – подумал Бефстроганов, – вы будете из чека или просто так гуляете?»

«Да, – подумал нездешний молодой человек, – я из чека и гуляю, представьте себе, просто так. Вы свободны, гражданин!»

«Хорошая погода», – подумал Бефстроганов.

«Что вы имеете в виду? Тем более, в сумерки!» – подумал нездешний молодой человек, не отрываясь от газеты.

Действительно, сумерки.

Неопрровержимым фактом сумерек стоял задумчивый дворник Платонов, бывший писатель-фантаст, опершись на метлу. Но сумерки – не его рабочее время, сумерки – пора деда Молитвина.

Стайка юных кинозрителей, выпорхнувшая прежде Бефстроганова из подъезда, образовала посреди двора недвижимый молчаливый круг.

«Да разве так дышат дети на свежем воздухе?» – подумал Бефстроганов.

– И что? – спросил он дворника Платонова. – Опять сегодня вместо деда на дворянство вышли? Хворает дед? Или от почёта скрывается?

– Какое там... От террора!

– Морального?

– Какое... Вы ж позавчера во двор выходили! Позавчера ещё цветочки. А вчера в его окно кирпичом кидали.

– Попали?

– Промахнулись... Это же просто фантастика, чтобы в окно с двух шагов промахнуться!

– А ребяташки чего там притихли?

– Да опять же эти пришли... правозащитники...

Да, видел кое-что позавчера Бефстроганов во дворе вместе с Платоновым, даже на любительскую кинокамеру заснял сценку. Но, оказывается, и та, и нынешняя сценки разыгрывались загодя.

Три вечера подряд являлись во двор десять взрослых дядей трезвой наружности, но с горящими глазами. Они аккуратно выстраивались под окнами квартиры деда Молитвина на первом этаже и кричали, размахивая «Огнями коммунизма»:

– Выходи, писатель!

Дед выглядывал в форточку, интересовался:

– Куда?

– Бить будем! С тебя у нас в России начался бардак с правами человека! Свобода слова кончилась! Альтернатива прекратилась! Гласность сдохла! Тоталитаризм образовался! Выходи!

– Щас! – отвечал дед Молитвин. – Пинжак надену.

И вместо пинжака вызвал по соседскому телефону милицию. Мгновенно прибежали двое: участковый капитан Говядин, с ним младший

сержант. Шум прекратили, порядок навели, пикет правозащитников ликвидировали. Двор опустел. Но через час капитан снова пришёл с протоколом, собирал подписи свидетелей. Тогда он и пояснил Платонову и Бефстроганову про этих правозащитников, которых в начале года было всего один, а теперь уже десять, размножаются несанкционированными вылазками и шумными спорами, как грибы-поганки... В протоколе только один гриб значился, под фамилией Смоковницын, о котором было засвидетельствовано в письменном виде, что поскольку упомянутый Смоковницын кирпичом только угрожал, но не кидал, следовательно и не попал в гр. Молитвина, то его злостное хулиганство признать неудачным, однако потом вышеназванный Смоковницын не успокоился, а пошёл дальше и на улице 8 марта, нарушая постановление горсовета, залез на тумбу электрического освещения и, несмотря на сделанное замечание, продолжал нарушать зигзагообразными действиями, пока весь не иссяк, но всё равно не успокоился, а совсем наоборот, после чего данный гр. Смоковницын два квартала шёл за гражданкой Череповицкой З.С. и нецензурно восхищался её фигурой, после чего будучи доставленный в отделение милиции гр. Смоковницын продолжал хулиганские действия, в результате чего ударил ногой мл. лейтенанта Титова Г.С. при исполнении им служебных обязанностей в пах полового органа, причём с последнего даже слетела фуражка... И Платонов, и Бефстроганов с удовольствием подписали протокол: несерьёзное ж дело, чистая комедия!

Оказалось, серьёзное. Сегодня правозащитников уже стало девять. В причудливо-иероглифическом сочетании, проще говоря, китайским письмом лежали они на асфальте в центре двора, лицом в небо, и рты крест-накрест заклеены бумажными ленточками почтовых бандеролей. Вокруг изумлённые ребятишки застыли сусликами. А тела лежащих дядей обходил, от одного к другому, здоровенный кот Мурильо, известный своими художествами живописец, весь рыжий, и глаза рыжие, бесстыжие, и любимейший им цвет тоже жёлтенький, как у Ван Гога, он с вертикальным хвостом обходил фигуры, обнюхивал каждую, становился на задние лапы и пускал жёлтую струйку, бессовестный, и какой же дрессировщик умудрился научить Мурильо такому человеконенавистническому цирку? но фигуры при этом страдали молча, они, по всей видимости, были борцы...

Один из дядей, лежащий с правого края этой художественной гимнастики или лежачей забастовки, вдруг вскочил на ноги. Он стал обводить фигуры соратников мелом, по контуру. Закончив наземную графику, он лёг на прежнее место, предварительно сняв шляпу и положив её в ногах, рядом с ботинками. Да ещё правую руку, уже в лежачем положении, приложил к виску ладонью, отдающей неизвестно кому честь и достоинство на военный манер.

– Вот теперь правильно, – сказал Платонов. – Со шляпой получилась натуральный восклицательный знак! Зато честь не по уставу.

К пустой голове военнослужащие руку не прикладывают. Но всё равно – фантастика!

– Не понял, вы о чём? – спросил Бефстроганов.

– Об лозунге дня.

И поведал Платонов быль. Быль обидная для Бефстроганова, потому что совсем не дворник Платонов должен был знать и повествовать эту быль, а он, режиссёр-кинодокументалист, прошляпивший, профукавший потрясающее событие: «десять негрят» уж целую неделю демонстрируют в различных районах города конституционные права человека – в наглядном виде; когда им не позволяют выразиться голосом, они ложатся наземь буквами нескольких слов, но на МАЙ! у них людей не хватает, а в слове МИР! одному «негрятёнку», осуществлявшему последнюю букву, приходилось выгибаться полукругом, даже на слово ТРУД!, тоже с выгибанием, тел хватало, но позавчера милиция арестовала за порнографию восклицательный знак, и правозащитники пошли на последний, на радикальный протестный шаг лёжа, на последнее слово, хоть и неприличное, зато с восклицательным знаком, его со второго-третьего этажа очень хорошо видно, даже не шибко грамотный прочтает, а не прочтает, так догадается... Вообще-то, есть нормативно-печатный вариант: НЕТ. Без восклицательного знака. Но такой вариант в Советском Союзе ни в какие ворота не пройдёт... Эх, секунда-сволота, уходящая натура! Такая картинка пропадает без кинокамеры!..

В это время нездешний молодой человек за кулисами «Огней коммунизма» слушал трубку радиотелефона и утвердительно кивал. Разумеется, никто из посторонних лиц не мог знать, чему и почему кивал нездешний молодой человек за кулисами «Огней коммунизма». Лишь один Сочинитель проник в эфирный приказ: срочно организовать протест населения в устном, затем и в письменном виде, одновременно высылаются подкрепление оперативников из секретного подразделения X-22-ЦЕППЕЛИН для принятия соответствующих ситуации мер пресечения и воздействия, а меры вы знаете... конечно же, Сочинитель знал: простые меры, если не сказать примитивные: ну, завалятся во двор три-четыре пьяных забулдыг... ну, привяжутся к «негрятям», как говорится, за рупь делов... ну, вломят им по первое число, кому-то, может быть, и ребро сломают или ключицу, мастера спорта всё-таки, борцы, боксёры...

– Дядя Арно, айда вторую серию крутить!

Ребятня прыгала вокруг Бефстроганова, и каждый норовил сунуть свою руку в его ладони.

Арнольд Иннокентьевич молчал. Внутри него что-то гудело, напряжённо, как в трансформаторной будке.

– Кина не будет, – сказал он тихо, с виноватостью.

– Кинщик заболел?

– Вроде того... В другой раз, ребята, досмотрим...

Он быстро вернулся в дом, извлёк из тайника на антресолях несколько боббин с закадровым текстом, сунул их в карман плаща и вышел вон.

В давно знакомой кафешке-стекляшке стоял дым столбом, молодёжь галдела, из динамика кричал эстрадный певунчик всесоюзного телевидения:

*На островах любви
Делают реверансы!
Осень даёт нам шансы
На островах любви...*

Подскользнул парень с бабочкой под горлом. Официант, значит. Раньше тут было полное самообслуживание.

– Кризис! Осень! – объявил официант. – Пить не бросим?

– Не бросим, – ответил Арнольд Иннокентьевич. – А между первой и второй – перерывчик небольшой.

– Понял вас. Сделаем антракт!

«Ну, вот, – подумал Бефстроганов, – новая бабочка имеет в виду старый-престарый передых, который всего лишь: пошли курить, лимонад пить в буфете или очередь к театральному писсуару занимать. А Яков, помнится, признавал только второе значение французского слова: как увертюру к первому акту или, шире, как музыкальную пьесу-вступление к одному из действий спектакля...»

XCIV

Года за три до суда мы с Яковом Яковым устроили распрекрасные посиделки. Тогда тоже была весна, чихала на всё и на всех черёмуха, и люди выходили из оттепели в тепло уже зелёнькими от авитаминоза.

Стекляшка-аквариум. Прохладно. Шторы зелёные. Помню, на столе возлежала деревянная миска, а в ней – не шашлык по-карски, не скияки по-японски, не британский бифштекс с кровинкой, нет! – обыкновенный, нормальный кусок отварного мяса, припорошенный древней нахичеванской солью и толчёным барбарисом; глядел я на это мясо, и про нэп подумал, и про средние века вспомнил, и углубился в школьные знания о том примитивном человеческом сообществе, где вопросы быта решались в первоочередном порядке и дали оправданное название целой эпохе, и грустно мне сделалось, и стыдно, и страшно – оттого, что куда ни гляну – изо всех щелей так и прут настроения и реплики, оппозиционные обществу развитого социализма... Ну, да ладно! Короче, – тарелка, чашка, миска с антисоветским мясом. А вокруг миски – рассыпчатое фламандство: белел репчатый лук с фиолетовыми мраморными прожилками; светились алым лаком связки

абхазского перца, эти жгучие стручки, эти великолепные красные кошечки с капризом; сыр-сулугуни, пластинчатый, словно археологические раскопы, и такой же древний по происхождению; помидоры, зелень, ноздреватый хлеб, надкусанный огурчик, глиняная кружка, в кружке предполагалось – под такую-то закуску! – непременно питьё, но какое именно – это, как и гайдаровское счастье, каждый понимал по-своему. Всё вместе это называлось – натюрморт... Откуда и как появилось в здешнем заведении общепита сия живописная сытость – никто, пожалуй, не знал, не интересовался, да оно, в сущности, и не важно: кто малевал и почём. Важно, что настенная картина, особенно надкусанный огурец, раздражала не желудок, не разные там вкусовые пупырёчки, а – великий и могучий русский язык. В кафешном ассортименте наличествовала, если мягко сказать, пища для размышлений: окаменевшие пироги с одноимённой рыбой. Привыкли. Никто не шумит. Но никто уже и не скажет, что пироги – это очень российская закуска, что настоящие патриоты должны поглощать эти кулинарные чудовища и нахвалять, а высокомерно брезговать и надменно игнорировать – пошло и антинародно. Нет, никто этого не утверждал. Полный плюрализм вкусов: хочешь – ешь, хочешь – не ешь, не хочешь – как хочешь, дело персональное. Так они и посегодняя, наверно, лежат, эти антинародные пироги, и вызывают в постаревших школьниках сороковых-пятидесятых-шестидесятых годов воспоминания о школьных буфетах: мятые трёшки и рубрики, подпрыгивающие очереди, из коих вылетали обладатели сладких пончиков, с возгласами вылетали: «Сорок один – ем один!», на что сопутствующие бессребренники, караулившие очередь, действовали бдительно и с опережением: «Сорок семь – дели всем!»...

Нас милостиво впустили в кафешку, после чего буфетчица накинула на дверь табличку: «Аквариум закрыт. Нет воды».

Жрать тоже было нечего, спиртное экспедировалось в собственных карманах, даром имелись стаканы и соль – и то хорошо. Яков да я, да буфетчица, да ещё военный сверхсрочник, парень ловкий, франтоватый, как «ещё те» фронтовые разведчики из военных кинолент; он гарцевал у стойки, он нежно тюкал пальцем в свою защитную грудь и терпеливо втолковывал неотвратимо дуреющей женщине тезисы о мощи и безопасности вооружённых сил.

– С такими вот защитниками, – говорил он, – советские женщины могут спать спокойно и не беспокоиться о будущем, то есть нащёт детей...

Яков щурился:

– Примечай, Арик, рождение новой сказочки. Городской фольклор. Зачин такой. Жили-были два города: Верхнеудинск и Нижнеудинск. Жители первого города имели обыкновение прямо с утра, после зарядки, блудить верхним удом, языком, то есть. А жители второго города – нижним удом. И вот во инициативе сверху вызвали они друг друга

на сосоревнование. И создали специальную комиссию по определению коэффициентов: а) полезного действия и б) трудового участия...

– Яша, – сказал я, – давай не будем.

– Давай.

Выудили из штанов две бутылки: «три семёрки» и «четыре звёздочки».

– Хороший выбор. Для плюрализму и альтернативы, – сказал Яков. – Так говорит мой друг Рыдаев. А Рыдаев знает толк в деле гармонии. Он в парке на кларнете играет...

Антураж: жареная неприличная рыба простипома и пара антинародных пирогов.

Ну, и мы оба: два евангелия, особенно Яков, особенно его душа нараспашку – как на распашку готовая земля, оттаивающая, доверчивая солнцу.

– Хорошо выглядишь, Яша.

– Не ври. Устал я. Мысли какие-то непутевые в башке ворочаются, на язык лезут. А говорить – с кем?

– Говори со мной, Ящик. Что такое в долгом ящике?

– Так вот что, Арик. Мысль трепещет: а возьму-ка я, да брошу всё к чёртовой матери, уеду в Каир, в мечеть Аль-Азхар, и подряжусь доказывать мусульманам преимущества развитого социализма. Вот так и представляю: вешаю табличку «Мин нет» на самом высоком минарете, лезу наверх к самому полумесяцу и начинаю выть на весь Ближний и Средний Восток: «Наша родина прекрасна и цветёт, как маков цвет! Окромя явлений счастья, никаких явлений нет!» Как будет весело, а? Поймут правоверные?

– В Каире, Яша, не поймут.

– Обязаны! Мы им плотину смайстрачили, и потом ещё звезду дали Насеру.

– Всё равно не поймут. Герой Советского Союза Гамаль Абдель Насер на всех. И палестинцы тоже не те. Ты уж, в таком случае, махни в Гоби, Яша. Гоби поближе, во-первых. Во-вторых, там царствует Настасья Ивановна, урождённая Филатова, нынешняя авгай, госпожа по-ихнему. Она, точно, не откажет в приёме соотечественнику.

Яков крякнул:

– Ну, Арик, ты даёшь. Чтобы я – да в новую аракчеевщину? К современной Настасье Минкиной?

– Не Минкина, Яша. Какая Минкина? Там тоже можешь табличку про «Мин нет!» выставлять. Там Настасья Цеденбал бал правит. Хорошая, говорят, баба, русская. На кофте носит «Почётный чекист» и «Отличный пограничник», значки такие. А в городе Каире никаких тебе чекистов, ни пограничников, ни значков. Зелёные фуражки, Яша, нам всё ж таки родней, чем зелёные знамёна. Это, получается, в-третьих. А в-четвёртых, я что – оставаться один должен?

Я точно знал: в Париж, например, на какой-нибудь кинодоку-

ментальный фестиваль меня не пустят по причинам вполне законным и оговоренным в инструкциях ОВИРа. Согласие или несогласие французской стороны тут ни при чём. Наши не выпустят. Я ж помнил и до сих пор хорошо помню, как меня прорабатывали после той стенограммы на здании школы. Мне говорили: «Вот, ты совершил! И ничего тебе, Арнольд Бефстроганов, за это не будет!» – «Правда?» – «Истинная правда. Ни институтского диплома в престижном вузе, ни заграникомандировок, ни счастья в личной жизни»... Тот гэбэшник-проработчик совсем недавно был комсомольским вожакем, председательствовал на комсомольской конференции, после которой Яшка «под колпак» залетел, в поле зрения органов, и вот вожак уже эти органы укрепляет... Лицо сытое, от сытости как бы двойное, в ореоле тайной святости, а на два лица – одна пара острых глаз... «Дурачок ты, Бефстроганов, куда ты лезешь? Против правил движения? На красный свет прёшь? На кумачовый колер трёх русских революций? Тебе, видать, жить надоело... Что ты сказал? Западная социал-демократия? Забудь, что сказал. Западная социал-демократия породила фашизм в Германии. И запад нам не пример. Запад – западня для таких, как ты. Низкопоклонство – ублюдочно... Что ты говоришь? Чкалов? Ну, и что такое Чкалов? Для вас пример? Глупости. Ну, был такой Чкалов, гражданин Чкалов, знаю, первым в Америку махнул... А тебе и Якову не то что в Америку, а вот возьму – и подписку о невыезде, э? Несогласен? А твоего согласия никто не спрашивает. Поживи под колпаком, а будешь ещё выёживаться, так мы тебе, дружок, вялотекущую шизофрению организуем, поправлять твоё здоровье будем лошадиными дозами галоперидола, и будут у тебя все косточки скелета ныть нечеловеческим голосом после таких доз, и каждый твой мышец судорогой сведёт, без посторонней помощи не разведёшь. Не хочешь? Конечно, не хочешь. Кто ж такой клиники захочет?! А что иного предложить, когда встаёт вопрос о здоровье нации? Когда у нас по мере продвижения каждый второй оказывается третьим лишним... Кстати, каждый третий дебил в мире – наш! Понял? Вылечим, родной. Шанс есть. А попытка – не пытка. И не скалься, пожалуйста. Чего я такого неправильно сказал? Повтори-ка! Попытка всегда есть пытка? Хорошо, можно и так. Отсечём приставку «по» – и порядок. По – и готово! По самую шею. Или по самые яйца. И это будет заслуженно и адекватно. Потому что без энтузиазма живёте, как свиньи в берлоге... Вот у Якова, у дружка твоего, замок-молния на штанах вышел из рабочего строя. Думаешь, заменил или отремонтировал? Нет, куда уж там. С пассатижами твой дружок ходит... Кандидат в шизо. Учти, ты – второй. Чего щуришься? Забыл, где находишься? Ах, не знаешь... Напоминаю: я тебе старший лейтенант или где?..»

Уж после окончания института я однажды увидел своего первого официального проработчика. На высоком краевом уровне, так сказать. Мода такая пошла на партийных форумах: как Первое Лицо на три-

буну выходит, так начинается... неофициальные официанты, амбалы в толстых пиджаках начинают таскать ему из-за кулис блюдечки со стаканами, прикрытыми салфеткой-колпачком от посторонних ядов и вирусов... Не знаю, то ли повысили, то ли, наоборот, повесили собак на моего бывшего проработчика. Но точно знаю, что в Париж меня не пустят. А мне хочется именно в Париж. Хоть разок. Единственное, что я хочу увидеть, – бродячий оркестрик и свободного художника за работой...

– А в-четвёртых, я что – оставаться должен? – спросил я.

– Оставайся, – сказал Яков.

– И останусь! У меня здесь работа, студия кинохроники, новый интересный проект... А чего? Наша родина, может, и не маков цвет, но что-то такое наркотическое... что-то есть, Яша. Возьми нашу тысячелетнюю культуру, Пушкин, Достоевский... наш великий и могучий русский язык...

Яков наматывал на палец кафешную вилку из стратегического металла, загибая её в какой-то чудовищный перстень.

– Конечно, кто ж будет спорить про наш великий и могучий... Он же у нас такой великий и могучий, что всё терпит и терпит, и бумага под ним всё терпит, и даже в поговорку это терпение вошло... но вот иной фольклор образуется, и бумага кончается, и терпение, и языке у человека скручивается от жажды гласности, как сухой лист... Слушай! Эйнштейн на одной малоизвестной фотографии высунул язык! Честное слово, – язык – на весь мир высунул! Люди, поди, думают: ну, Эйнштейн! ну, дурак, пусть даже и теоретически-относительный! А я думаю: нет, не дурак, коли разгадал корень зла: вот, дескать, оно, наисильнейшее, наипаснейшее оружие массового поражения, не балуйте, братцы, не блудите оным верхним удом...

Я знал: Яков что-то пишет. Пишет не для публикаций, «в стол». Он никогда не показывал мне своих сочинений, но я догадывался, в какое время над чем именно он маракует за письменным столом – никакого секрета, да над тем маракует, о чём вслух говорит, а говорил он... бог ты мой, о чём он только не говорил! Китай во всех ипостасях – как правильно запаривать банные веники – метафизика и раннее христианство – дизайн кровавых телец как промысел Божий – сатанизм в музыке – норманнская теория становления Древней Руси – дрессировка служебных собак – философский антракт между поздним Кьеркегором и ранним Марксом – хатха-йога, на голове там и всё такое, поза лотоса, и сопромат на коленях... Честно говоря, я пугался такого разноса интересов...

– Может, ты, Яша, надеешься, что в Каире тебя быстрее в тираж пустят, да? В твёрдом переплёте? В коленкоре с золотым тиснением?

Яков зажмурился, в переносе палец вонзил, закрутил.

– Смотри, дырку не прокрути.

– Ах ты, Арик, шарик голубой! Вот ты говоришь на великом

и могучем и даже не подозреваешь, какую классическую двусмысленность несёшь.

– Не придирайся. Стаканы уже налиты.

– Я не придираюсь. Я вот слышу: «пустить в тираж» – и вижу при этом: некий кожаный человек, и звезда у него во лбу горит, как у шемаханской царицы, так вот, этот шемаханский человек в кожанке объявляет возвышенным голосом: «Наша цель – человек!» – и командует: «Пли!» И все дела. Эти дела так и творили, массовым тиражом. Исполнительская дисциплинка – на ять. И ять – из той же оперуполномоченной арии – «в переплёт попасть», правда, без скорострельного правосудия, чаще всего дело самотёком шло и кончалось инфарктом или самодельной смертью. Эзоп! Эзопище! Он прочно окопался в нашем великом и могучем. Когда мы, изнеможенные тупым, безглагольным существованием, однажды устроим всесоюзное прощание с Эзопом, вот тогда будет праздник, вот тогда уж я напьюсь, как последний... как рыба!

– Мы и сейчас можем, – сказал я. – А вообще, Яша, ты каждый наш разговор омрачаешь. На фига? Смотри на вещи проще. Трезво, одним словом.

– Я смотрю.

– Ну?

– Я очень стараюсь смотреть на вещи трезво.

– И что видишь?

– Ничего не вижу. Нету никаких вещей.

– Ерунда, что вещей нету. Главное, как говорили наши мамки, чтобы войны не было.

– Эх, Арик! Она уже идёт. Во всю ивановскую...

Вот так и наши интернациональные долги задымились в застолье. Не хотел я про танки и пули, да Яков вывел на цель, и он же бомбометание прицельное начал. А я не хотел. Политика – дело скользкое, а я в ту пору писателей-деревенщиков почитывал и поддакивал им мысленно: коли охренела нынешняя житуха, так давайте же, братие, обрядимся в сарафаны, обуемся в лапоточки, будем молиться с утра до вечера во спасение души населения, авось, и выправим тогда наше отечество на праведный путь, а кто не с нами... так чего с ними чикаться? – за борт того, в набежавшую волну, пущай хоть и мокрое это дело-то, уголовщина и достоевщина...

– Бесовщина, – перебил меня Яков. – Закон уголовной кодлы. Правило круговой поруки. Думаешь, одни только урки повязаны кровью? Дурак, если так думаешь. Весь барачный режим построен на принципах пахана. Главное здесь – власть. А у власти, как известно из зарубежных источников, три ипостаси: законодательная, исполнительная, судебная. Утверждают, что и четвёртая имеется – пресса. Пусть так. Всего, стало быть, четыре. Где они? Нетути. Но вы не огорчайтесь, граждане мужики и дорогие женщины, великие труженицы тыла! Ибо

в природе казарменного социализма – предельная концентрация власти, отсюда и запредельная простота структуры: Пахан плюс четыре согласных, вроде НКВД. Всё! Больше ничего для торжества светлого будущего не требуется. Понимаю: недиалектично. Но что такое диалектика, которую учат не по-Гегелю? Аппаратные мифы. Аппаратные доктора наук тебе в два счёта любую диалектику состряпают, цитатками приправят, кровинкой сбрызнут для пикантности – питайся, товарищ, за милую душу. Да ещё и молиться заставят на этот общепит. А что такое аппарат? Это носы, Арик! Носы – руководящие, направляющие и вдохновляющие. Даже самые сопливые – и те лезут во все щели. И вот тут такая диалектика образуется: в какой-то момент носов оказывается больше, чем щелей. Короче говоря, перепроизводство. Слышал анекдот? Упал с крыши кирпич и зашиб гражданина. Толпа орёт: безобразия, уже и кирпичи с крыш элементарно летят, ходить по улице боязно! И тут кто-то в толпе опознал потерпевшего как одного ответственного товарища из аппарата. И толпа – снова в рёв: бардак, сколько этих аппаратчиков развелось, уж простому кирпичу и упасть-то некуда!.. Да, так вот, когда наступает перепроизводство носов, партия торжественно провозглашает: даёшь щели! Конечно, даём, как учили, досрочно и с перевыполнением, куда ж денешься, щелины у нас для этого дела навалом. Потом глядим – твою мать, носов не хватает. Даёшь носы! Кадры решают всё! В кадрах решают всё! Снова даём – как учили. Время – вперёд! И так далее, с художественным свистом... Вот какая диалектика, Арик, которую до сих пор не пересвистели ни революционные бури и энтээровские пассаты, ни гуманные муссоны и говённые масоны. Железобетонная диалектика. Жуй, дыши, размножайся. И не думай. Не думай. Особенно про то, что было, которое не просто было, а «было нехорошо»: недиалектично это и очернительно, нам, де, думать об этом без надобности, потому как мы сами по себе народ правильный и, можно сказать, правоверный до высших степеней. Мы – государственники. У нас всё гос: рождение, жизнь, смерть, радость, страх... Госстрах. Госплан. Господь Бог покуда не озадачен общественной нагрузкой, но и до него скоро доберутся наши носы. Огосударствленная церковь из одних послушников состоит. Всё по плану. Никто и вякнуть не смеет, что планирование – это, по-крупному счёту, полёт без мотора. Зато успехи такого планирования налицо, кое-что даже на экспорт производим: автоматы Калашникова модернизированные, сырую нефть и хорошее впечатление от генсека... Всё это, Арик, совсем не страшно. Это – ужасно. Когда – носы... Когда – носы по ветру... Когда нос с соответствующим окладом занимает место в окладе сына божьего... лик в иконе как вор в законе... Помнишь школьный иконостас в учительской? Образы-амбразуры, призывающие их же и защищать грудями новых Матросовых. Типичные образы. А по сути – безобразия. Точное слово. Без образов, значит, жили. Без тех самых, без которых пуста и выморочна российская хатка, и хатха-йога, и всё-

всё на свете... Эти маленькие закопчённые снаружи дверцы в красных углах души нашей... тёмные калиточки в мир пречистый, в мир вечной гармонии... неугасимым фонариком при входе-выходе семафорят они, но не каждому открываются... – Яков смял в кулаке свой чудовищный перстень и выбросил в кадку с фикусом. – Перстень и обувь суть знаки свободного человека. Скороходы у тебя есть, а перстень – архитектурное излишество, прерогатива носов. Внаглую ведь жируют, суки! На глазах у всех. Из коммунальной идеи они высасывают, как мозг из суповой косточки, самое что ни на есть материальное: власть, распределение, персоналии, пайки. Во всей стране только один Василий Блаженный не знает про то, как партийная кодла, прозванная гуманоидами, в ГУМовских спецкаморках отоваривается. Воробьиная фанаберия. С гумозными лозунгами: все люди равны, а они – равнее. И в этом смысле, коммунисты – самые последовательные материалисты, что правда, то правда...

Чтобы Яков забыл выпить вовремя, – такое случалось так редко, что как будто и совсем не случалось.

Я предложил ему пропустить стаканчик. Но тут же получил отменную очередь в упор: что выражение это коварное, иезуитское, поскольку включает в себе два прямо противоположных смысла: 1) пить, то есть не пропускать и 2) не пить, то есть пропускать, и что он, опытный профессиональный любитель, не уполномочен своим организмом решать такие гамлетовские вопросы, и вообще пошло оно всё к чёрту...

– Вернёмся к диалектике, – сказал. – Что в жизни от человека требуется? Дело простое. Кончил дело – поставь крест на нём во благо, умой руки и обрати взор свой на вершину труда своего, на купол возведённого храма, чуда обыкновенного, рукотворного по доброй воле и душевному согласию. Что увидишь? Там парит благодатный плюс, знак сложения, символ вечного единения земли и неба... Вот дивная диалектика, Арик! Век бы так жить. И тогда не имеет смысла суетиться, как – утром бывает, после вчерашнего... В конце концов, даже кончина жизни освящается – не крестом скорой помощи, а новым плюсом. И с такой арифметикой, Арик, всё выходит очень старинно и по-человечески хорошо. Правда? А все наши системы, режимы, этапы, зоны... Джунгли джугашвилиевского языкознания. Начхать бы на них с руководящей колоколенки! На весь этот тюремно-каторжный язык. Ссылка, например. То на Маркса, то на Соловки. То на Ленина, то на Колыму. Или – лагерь. Мы с этими лагерями вообще пионеры – хоть куда. Кап, соц, два извилистых изма... Весёленькое дело, да? Потрясающее умы состояние гармонии вечной войны и вечного мира, вранья и правды. Как сказала бы наша школьная директриса: исключительное заключение... Да, вот тебе ещё одна сказочка на тему лагерных слов. Идёт, значит, мужик по городу, плакат несёт: «Свободу Леониду Ильичу!» Мужика быстренько организовали за шкирку, а он газету «Правда» из кармана вымуслил и пальцем в неё тычет: «В заключение

Леонид Ильич сказал...» Не смешно. Покуда наши компетенты отходили от обалдения, тот мужик декларацию провозгласил: по тех пор, пока генсек в заключении содержится, не буду ходить на работу и от премиальных отказываюсь в знак солидарности... А вот это смешно. Ты чего приуныл, Арик, и слова не скажешь?

А что я мог сказать? Я наливался соками араратских долин, я окончил-таки нормальную школу, потом институт, я не был вторым, я был двухсотпятидесятиmillionным, скромным гражданином, тридцать два зуба, двадцать четыре ребра и столько же позвонков, я любовался страной Месопотамией с антисоветского натюрморта, скрывавшего обвалившуюся штукатурку на зелёной стене, а проститупа оставалась девственной... я ничего не боялся, я был даже вроде трезвый пока ещё, и я сказал – трезво и исключительно:

– Яша, со словами воевать, как ты воюешь, – пропащее дело. А в заключение утверждаю, что твоя филологическая война есть не более чем игра слов. Всё.

Вздыхнул Яков:

– Эх, ты, рыба холодная. Не со словами воюю. Они ни в чём не виноваты. Они рождаются человеком, но живут, оказывается, помимо него, по своим собственным законам. Плевать им на человека, они сами его за руку водят, портфели носят за ним, а когда умирают – так чаще всего после своего творца-современника...

И подошёл к нашему столику ладный сверхсрочник:

– А разрешите, товарищи, сигаретку стрельнуть. Странно, конечно, но в буфете отсутствуют.

Яков выщелкнул «шипку» из мятой пачки.

Помню, помню: потянуло откуда-то тоской, и от этих потягушек, от этого неопределённого, беззаконного тяготения уже не только пить не хотелось, но и дышать.

В стекляшке, в зелёненьком аквариуме нашем, тихими рыбками плавали слова. Улица подсвечивала фонарём.

– Ты вот говоришь: филологическая война, – сказал Яков. – Ладно, пусть будет в истории ещё одна война, я согласен. Но что не сделаешь...

Тут Яков отвесил челюсть и продолжил речь словами популярного в каждой кухне кремлёвского старца с его на весь мир популярным днепродзержинским «-ага», которое, кроме юга России, встречается лишь в книгах с устаревшим правописанием, в репринтных изданиях, а также имеет автономное хождение в живом великорусском, с гусиным акцентом: ага? ага! ага...

– ... но что не сделаешь, – говорил Яков, – для блага нашего великаго советскаго социалистическаго развитога народа... Понятно? Это будет самая бескровная из всех бывших гражданских войн. Возможны рецидивы. Какой-нибудь, скажем, восточный фронт гражданской войны в великой отечественной литературе. Битва последняя и решающая – за слово живое, за правду без кавычек.

– Что, – сказал я, – ты уже и правду в кавычки берёшь?

– Я газету имею в виду. Кстати, на диком Западе наименование печатных изданий выделяют в текстах не кавычками, а шрифтом. Иначе получается парадоксальная двусмысленность. Навроде бельевых прищепок на гачах наших штанов – помнишь? – при абсолютном отсутствии велосипедов.

– О-о-о! Как же! Штаны в кавычках, цитаты на прищепках!

– А дальше вот что с правдой происходит, Арик. Каждый день я читаю про неслыханные достижения, про невиданные урожаи, про необозримые рубежи...

– Не заводись! Чего ты, в самом деле? Все знают, что это враньё.

– Враньё? Вот ты и ошибаешься. Здесь всё точно сказано, настоящая правда ушки выказала. Потому что таких газетных достижений и урожаев в самом деле никто не слышал и не видел.

– Не спеши. Дай бог, доживём до завтра...

– Бедные наши педели, – усмехнулся Яков, – бедная Вероника Иосифовна! Чему-чему, а уж на будущем времени они нас исключительно натаскали. Не будет завтра! Завтра – это завтрак голодного человека. Это мираж. А в мираже люди не могут долго жить. Они всегда толкуются в сегодня, иногда – во вчера, но никогда – в завтра. Нет?

– Яша, выключи фонтан! Ты что, сегодня совсем трёхнулся или притворяешься?

– В каком смысле?

– В том самом, что зря ты связался с Кьеркегором. Субъективная, между прочим, диалектика. Поповщина.

– Кьеркегор тут ни при чём. Можно подумать, что ты Гегеля ревностно исповедуешь.

– Да, представь себе. Я стою на позициях объективной диалектики, и ты меня краном оттуда не стащишь. Кроме того, мне также симпатично цыганское: что было? что будет? чем сердце успокоится? Твое же «настоящее», извини, считаю не очень серьёзным. Даже – курьёзным. Каждый миг – через миг! – уже в надёжном и опечатанном прошлом. Так и мигаем, покуда не помрём. И покуда я высказывал тебе эту очевидность, так мы с тобой, дружище Ящик, состарились как раз на длину фразы, другими стали, какие-то клеточки умерли в нас... Сумерки. И чего ты, старик, залупаешься? Уж и Гегель тебе помешал...

А Яков улыбался. Он любовался атакующим сверхсрочником и аккуратно дозировал отечественную традицию нашу, которая в зависимости от места, времени и наличных средств носит названия всевозможные: русская, московская, столичная, сибирская, стрелецкая, пшеничная, посольская, перцовая, имбирная... А я наступал:

– Вера в завтрашний день – вот двигатель жизни. Не ты ли, Яша, ещё в школе за ту веру ухватился? Ведь не в бога же ты верил?

– А почему нет! В существование бога верю. Ему самому – нет, не верю. Только – себе. И то не всегда. Иногда.

– Ну, вот опять ты... Скажи определённо: вера – это для тебя важно или не важно?

– Это важно, когда – нельзя. А когда можно, то, может быть, уже и не нужно. Слушай, а чего это там дребезжит?

– Вооружённые силы в наступление пошли...

Так точно. Стаканы на буфетной стойке вызванивали миньятюрные благовесты, сверхсрочник сопел и выпутывался из резиновых каких-то постромок, а сама буфетчица, девочка-трёхдюймовочка, спокойно дышала носом и присутствовала при сём как бы со стороны: дескать, в гробу бы она видела всех этих и тому подобных гребцов без паруса, уж сколько их здесь тёрлось, нет числа, семь человек... нет, восемь, а вот ведь стою до сих пор одиноченькая, как деревенская дурочка-побирушка, на шее кожа уже дряблая, потёками как бы пошла... один проезжий рыбак с Камчатки так и сказал, ширинку запечатывая: ты, Катя, баба – квас, беспохмельная женщина, перепихнуться с тобой ещё куда ни шло, но жить с тобой – я извиняюсь, дело несоразмерное, я ведь без понту жить не в состоянии, а понт – это как бы целое море Эвксинское, так что, прости-прощай, если чего не поняла... Поняла, гад такой, поняла, чтоб тебе акулы яйца откусили в том понте... Гады вы все, мужики! У меня, допустим, дома два холодильника, скоро третий куплю... Но которые военные, вообще-то, народ с дисциплиной, их кой-чем даже припугнуть можно... Вишь ты, какой здоровый и рассудительный, хоть и приставучий, что сил нет, но лифчик не рвёт, имеет уважение к снаряжению, чисто выбритый... на ём защитна гимнастёрка, она меня с ума сведёт... не то что эти два мудака в угле расселись, из тех, видать, которые с утра уже интересуются нажраться и к вечеру тоже самое приходят в беспокойство насчёт выпить и закусить... нет, этот серьёзный...

– Всё! – урчал сверхсрочный парень. – Нету мочи! Увезу тебя в Могочи... Соглашайся, Катя, немедленно и лично в руки...

Катя перестала дышать, возмутилась и спросила строгим голосом:

– С визой?

Мне показалось тогда – как, впрочем, и задние мысли её тоже показались – что глаза у неё горели зелёным – два такси! уже согласные, не очень дорогие, безотказные, вроде газированных автоматов: чем дешевле, тем безотказней, а без сиропа так и вовсе ни за копейку... Яшка, бывало, трахнет левой в фас, правой – по корпусу: не бастовать, халява! – и зажурчит...

– При столовой будешь, Катя... Или в клубе, баянами заведовать...

– На музыкальных инструментах не владею, – ответила Катя.

Яков продолжал улыбаться, дозировал «по булькам»; наверняка, ему было забавно попикироваться со мной, с Гегелем, со всей нашей ласково-оскаленной диалектикой, которая – диалектика эта самая! – понималась древнегреческими мудрецами как «двухголосие», а не

перст указующий; забавно было Якову попкироваться с прошлым и будущим временами, и даже со сверхсрочником, ввяжись тот в наш цивилизованный, то есть нетелефонный, разговор, но военный парень не ввязывался, он жил в сегодня... сверхсрочник, знаете ли, это особая категория, каждое своё утро начинает под духовой оркестр, а «Прощание славянки» – это вам не прощание с Эзопом, и уж тем более не марш Берлиоза, революционный призыв к венграм, обозначенный языком музыки...

Печать печального знания таилась в Яшкином молчании – подобно водяному знаку в бумаге, сразу и не углядишь тот знак, надобно на просвет подвергнуть... а просвет – дело тёмное, за культ цепляется, так и волочится наша история, хромая на обе ножки: культ – просвет, потом снова культ... Нет уж, водяные знаки казённым бумагам оставим, а человеку сначала надо рот пошире открыть...

– И речь высвечивает личность. Так, Яков?

– Дудки. По существу дела могу показать следующее: сначала личность засасывает граммов двести, а уж потом из неё нечто прёт и высвечивает.

– Иногда и глупость, – сказал я.

– Не без этого. Но – друг мой Арик! Мы глупости можем сотворить исключительно только по-пьяному делу. Трезвые – мы гении. Гений же работает и живёт «на отдачу», а иначе он и не гений вовсе, а приёмник информации. У наших оппонентов всё как раз наоборот. Следовательно, мы пить вино имеем право, а паразиты – никогда. Вот почему наши оппоненты всегда в первых рядах борцов за трезвость. Ну, будем здоровы!

Действительно, хорошо попёрло и высвечивало. В огороде появилась бузина, в Киеве – дядька, и вот тот дядька с киностудии Довженко оповестил Якова о печальной судьбе картины, которая задумывалась как «Комиссар», но стала «Аскольдовой могилой»... Яков выплетал узоры одному лишь ему понятной фантазмагории: о генсеках-дровосеках и щепках, без которых невозможно в принципе развести большой костёр; о великом Данте и маленьком дантисте из Конотопа, которому православные патриоты выбили зубы для исправления природной картавости; а дальше – о маленькой вере и большой евангельской рыбе, о соответствующих им безверии и безрыбье, простипома – не рыба... а потом, загибая пальцы, Яков окликал именами двенадцать апостолов, учеников Христовых, и устно рисовал жуткую картину их добродетельных сумасшедствий... А я что же? А я прикрыл ладонью глаза и увидел под веками караван веков... и просвистанную вьюжную улицу... щёлкающий по булыжникам шарабан... целых две тыщи лет в том хрустящем шарабане... и кучера я увидел: сидит, бедняга, сгорбившись, на передке – как заднее продолжение лошади... А позади кучера хохочет-заливается Прекрасная Дама, Вечная Жена, Незнакомка, Екатерина, чистая, значит, непорочная... кусает на холоде шоколад грязными губами, а

за пазуху к ней партизански пробирается Иоанн, божья милость – на антисоветском языке семитского народа... щекотно обоим и сладостно на петроградском сквозняке! но – как черти из табакерки – вышагнули наперекор шарабану первые ученики Христовы, братцы-петроградцы, рыбачки фартовые: Андрей – храбрый и мужественный да Пётр, каменный символ веры... Тот, который «божья милость», мигом сиганул прочь от той, которая «чистая и непорочная», и вот уже тот, который «символ веры», влил барышне сочную пульку в лоб... Эх, эх, братцы-рыболовы, что ж вы такое натворили?

*Ты выброшен на берег. О, жалостный улов!
В мой невод затянуло мешок твоих костей,
Набитый скучной дрянью давно угасших слов,
Любви, тоски, сомнений, опилками страстей...*

– Яша, а Яша! – окликаю я.

– Не перебивай, Арнольд...

*Ты равнодушен к миру, и мир тебя забыл,
Он движется – и баста! А ты упал – и мёртв.
И кто-нибудь запомнит, кем стал ты, что ты есть, –
Ни рыба и ни мясо, ни ангел и ни чёрт...*

– Яша, – говорю снова, – а я знаю, кто это сочинил. Пат Виллоуби. Угадал?

– Пат, Пат, – ответил Яков. – Ты погоди маленько. Сейчас мат будет. Уши не закрывай, я это по-шахматному финиш обозначаю. Вот, значит, идут они дальше, дальше, дальше... могильщики буржуазии Петруха с Андрюхой, грядущие хамы, апостолы, рыбачки хлёбанные... окрестности истматом осеняют, самуё вьюгу запросто облажили... а на грудях на ихних пулемётные ленты – крестом! Чуешь?

Ну, как же! Чую: идут. Шаги командоров. Петруха морщится, Петрухе малость совестно, хоть и камень он, и символ, однако ж нету у него такой привычки, чтобы человеческое население в распыл пускать ни за шиш собачий... да к тому ж – бывшую свою чистую любовницу, родинка у ей под левой грудкою... Эх, Катька ты ж Катька, дура-баба, не в те ж сани забралась, в шарабан то-ись, вот те и вышло: раз – и квас! а не села бы в тот шарабан, так и стала бы ты, Катюха, при твоей усладительной наружности корпуса плюс родинка да при нынешнем раскладе революции! – эх, уж стала бы ты, как пить дать, чистый нарком культурный, этакая фурсетка, ей-богу...

А Петрухе строгие братья-пиратя, граждане апостолы постулатами сочувствуют:

– Поддержи осанку, товарищ! Держи контроль над личными чувствами. Нам вить с тобою не то што чо, а ишо потяжелече прения выпадут. Плюнь ты на Катьку, отсталый элемент, пропагадина бесклассового происхождения. Хрен с ней, с непорочной.

Веселеет от такой резолюции Петруха-камень с символом веры, и камень с души сваливает, и легко ему стало, Петрухе-то, пусто сделалось и попрыгуче, точно воздушному шарикю.

– Эх, эх! Позабавиться не грех! Запирайте этажи, нынче будут грабежи! Отмыкайте погреба – гуляет нынче голытьба!

Холодно, холодно. Ах ты, божечки мои, холодно-то как, до последней косточки прозябливает... А Бог надлежит молча, Бог не печка... Лишь ветер свищет:

– Упокой, господи, душу рабы твоея...

Ску-у-у-шно, господи! Рот с утра распозывывается...

Ду-у-шно, господа!

– В последний раз интересуюсь, – говорит сверхсрочник. – Будем разлагаться или будем упираться?

– И это что ты имеешь в виду?

– Дура! Чего имею, того и введу.

– Хватит, парень! Отвали!

– Сколько просишь?

Ску-у-у-шно Петрухе от монолитности единства.

– Али руки не в крови из-за Катькиной любви?

– Эх, эх! Все мы теперича одной кровушкой повязанные...

*Так идут державным шагом –
Позади голодный пёс,
Впереди – с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули неведим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз...*

Идут. А в седьмом часу пополудни рывкнула пушка – и развалилась к чёртовой матери: зевало у ней заклинило. Бомбардир гражданин Н. чудом остался жив и по такому необыкновенному поводу устремил глаза в небо:

– Пресвятая дева диалектика! Кажись, мимо пронесло, а?

– Да ты не туда гляди, – сказал мне Яков.

– Куда ж ещё?

– Ты вон к тому мужику присмотришься.

– Который лидирует? В венчике?

– В терниях. Се Сын Божий. Не вождь и не лидер. Ибо истинно говорю тебе: лидеры, по всем уставам, всегда позади, но на командных высотах. А впереди идут подконвойные...

И померещилось мне из-под век веков, из сонмища: обернулся он, который в венчике. Ни рыба и ни мясо. Бедный преданный фишер, ловец человеков – под флагом уже и вовсе не красным, но каким-то ультрафиолетовым, как пиджак Евтушенко... А лицо-то белое-белое, острое, восклицательное лицо, устремлённое враз к земле и к небу,

лицо Блока, фасад готического собора... И не снег уж падает с высот горних – град. И этот град – Китеж. А то, что казалось нимбом, оказалось ромбом, бубновым тузом, клеймом каторжанина и отщепенца...

– Яшка, – вскричал я, – ты идиот! Как ты можешь так кощунствовать над нашей классикой? Хоть святых выноси...

...Я поднял голову и ладонь убрал с лица. И оказался в новом времени, но в прежнем пространстве.

День судебный. Яшка – там, а я – здесь, в кафешке. Один уже. И вслух выражаюсь.

В динамике хрипит Высоцкий:

*Пусть впер-р-реди большие пер-р-ремены,
Я это никогда не люблю...*

Я уж давно согласился с бардом, и тоже не люблю это «это», в борьбе за которое все, как один, клялись умереть; это верно: многие принесли в жертву не только себя, но прежде – миллионы соотечественников.

И тоже была весна. Отрезвляюще газовала черёмуха. Была та же кафешка с антисоветским натюрмортом. И безнадежная буфетчица Катя. И новый сверхсрочник – тоже был, гарант надёжности и постоянства, константа напряжённости всех мировых нижеудинсков, куда ж нам без них, без прапоров? Всё было. Только Якова уже не было.

Через три года после наших посиделок и несколько часов назад закончилась судебная процедура по извлечению корня из моего квадратного Якова – кончилась его свобода, категорично, безапелляционно, подобно тому, как словом «конец» завершался знаменитый «Краткий курс истории ВКП(б)»: этим словом, наверное, должна была заканчиваться история вообще. Но, к счастью, не кончилась. Ибо: не для всякова якова истории кончаются.

Тогда, то есть сразу после суда, я не знал, конечно, что будет дальше. А будет вот что.

Я отстану от Якова – на целый класс. Можно сказать и наоборот. Смысл не переменится.

В чужих окнах, за занавесками, продолжится домашняя размеренная жизнь: будет звякать вечерней посудой, более звонкой и раздражительной, чем общепитовская; будет пищать в кроватках, качать-укачивать светозарных наших варваров и варварушек, пачками жрать седуксен, проклинать ноющий ковчег, крутить магнитофоны с приуставшей, но неизносимой Аллой Борисовной, гладить бельё, носить серёжки, носить Серёжке передачи...

Инжуры будут головы ломать: как понимать официальное словосочетание «частное дело» – как дело довольно частое или дело довольно редкое? Все будут продолжать заниматься каким-то делом, платить налоги, защищать диссертации и мир во всём мире... Лишь один Яков Яков, казалось, ничего не делал, ибо: грустный удел – быть не у дел... Но – окажется, что старел Яков Яков ничуть не медленнее всех прочих, а, может быть,

даже скорее. Сидячий образ жизни он отмантулит – от звонка до звонка. До, казалось, большой перемены. Точнее, до больших и малых перемен.

Сначала выпустят в свет «доктора-жеваку», а потом и его читателей-почитателей, тут-то и захлопают в ладошки: о! наконец явилось время работы над ошибками, пружинистое время наполнения слов чистой первородной сутью! время заката соцреализма, смердящего дифференцированным похоронным декорумом и литературными рецензиями в нелитературные органы...

Яков хмыкнет, башкой помочает:

– Всё эзопишь, старый греховодник?

– По кругу ходим, Яша...

– Оно и видно, что по кругу. Доколе?

Я ничего не отвечу, но подумаю о том замкнутом круге, о вечной карусели, о непостижимой разумом плоскости Мёбиуса, в которой в определённое время причина и следствие меняются местами, и это похоже на нумерацию вагонов с хвоста поезда... Я подумаю: когда пространство так невесело, так паскудно шутит со временем, тогда комедийный ильф-петровский ответ «Всегда!» неизбежно опережает трагический вопрос огнеопального Аввакума-протопопа «Доколе?»

Всего-то пара фраз. И – парафраз судеб.

... А водки мы уже не достанем.

– Кучеряво живёте.

– Кучеряво...

Яков будет смеяться, а у самого голова белая-белая, стриженная, как у первоклассника.

Я примусь выводить «Доколе?» зубчиком алюминиевой вилки по лжемраморному столику. Мелкое хулиганство, конечно. Но я буду мысленно оправдываться, надеждою укрепляясь: вот подойдёт к столу засаленная бабища с заиндевелым в крахмале венчиком в волосах – и грязной тряпкой решительно смахнёт в никуда мои мучительные сиюминутные скрижали...

Через месяц Яков исчезнет. В никуда.

ХСV

Поэт в России больше, чем поэт.

Е.А. Евтушенко

Поэтом можешь ты не быть...

Н.А. Некрасов

Кем быть?

В.В. Маяковский

Быть иль не быть? Вот в чём вопрос.

В. Шекспир

Всё!

Эпиграфами тема исчерпана и вопрос закрыт.

Можно вполне обойтись без основного содержания. И без него всё ясно.

Однако режиссёр кинохроники Арнольд Иннокентьевич Бефстроганов не может обходиться без точки.

Он стоит, как точка, на ночном мосту.

Под мостом Куда журчит.

Вопрос не стоит.

Вместо вопроса – чушь какая-то...

Ах, кабы на цветы да не морозы...

Да кабы не осенний мелкий дождичек...

Да кабы не бабы...

Да даль романа и роман Даля – насчёт кубыть аль не кубыть: буд-то, как будто бы, похоже на то, кажись...

А не кажись, где не надо!

Бульк! – и нет эпопеи.

Лишь круги по воде.

Мишень!

Хоть и пьян вдребезги Арнольд Иннокентьевич, но меток, как ворошиловский стрелок.

Он попал в самое «яблочко».

Ещё бульк! – и снова в «яблочко»!

Это даже очень странно: куда ни брось – не целясь, зажмурясь, влево-вправо, далеко-близко – непременно попадаешь в центр мишени.

Бульк! – и третья боббина уходит на дно...

ХСVI

... тем более – в сумерки. Какие итоги? Итоги Итаки? Смех гомерический...

Итак, жизнь.

Жизнь протекает.

Жизнь протекает, как – что?

Жизнь протекает, как дырявая лодка.

Тем более, что сумерки не кончаются. Сумерки тянутся, тянутся и тянутся... Но, возможно, где-то в их небесных недрах-вёдрах, в их сумеречных, тучных промозглых мозгах всё же существует что-то такое, научно-фантастическое от Архипатра, более-менее разумное, понимающее необходимость хоть каких-то перемен, и вот они, сумерки, переменяют своё вечернее имя на утренний псевдоним...

Так. И тем не менее, что тем более: явные признаки алкогольного обезвоживания организма.

В таком случае, лучше было бы вообще не пробуждаться, но спать и спать, как недоубитому, бессчётное время, чтобы потом проснуться совсем здоровеньким, безболезненным, словно бы ничего упоительно-го и не было накануне кануна...

Бефстроганов ушёл в многосерийный, перманентный запой.

Я понимаю его: одно ж небо, одна земля, одна водка, одна жизнь, которая протекает...

Вот в такие паскудные дни, когда ни света в небе, ни просвета на земле... в такие вот дни, когда третьи сутки подряд – в промежутке от серости до черноты – не перестают мочиться до самых крыш приземлённые тучи, и дождь ходит по городу и стучится в каждое окно, и оконное стекло как будто бы плавится от горючей тоски и стекает, и никак не может стечь до последней капельки на подоконник, и лужи на асфальте закипают и булькают, и небо представляется уже не небом, но всего лишь понятием верха – серое и пустое... – в такие вот дни надобно сидеть в покойном кресле перед камином, вытянув ноги к теплу, слушать, как трещат в неторопливом огне яблоневые ароматные полешки, курить сигару с золочёно-красным ярлычком или черешневую трубку с табаком от данхилловской вишни, согреть ладони каким-нибудь сногшибательным пиратским грогом в высоком стакане с морозным резным узором по борту... а у ног должен дышать сенбернар, а в застеклённом шкафу дожидается своей участи тяжёлая бутылка глинтвейна, а на коленях – раскрытый кожаный томик Шелли на языке оригинала...

Хрена с два! Великоросскую тоску не перешибить никаким заморским антуражем, даже таким, перед которым пасует самый закаленный британский сплин. Эту тоску, эту занозу назойливую, стерву мутноглазую никто и ничто, кажется, не в силах ни истребить, ни ублажить, парнишка Онегин это верно уловил. Ах ты, господи, боже милостивый, чёрт тебя подери! Камин, сигары, глинтвейны... Да нам до того глинтвейна с его загнивающей цивилизацией – ходу не меньше, чем два-три астрономических парсеков, в крайнем случае, столько же генсеков. Ну, что ты будешь делать? Все страны как страны, и только одна – Россия. Ситуация контролируется. На похмелье водки не достать. Как говорит один жэковский слесарь, эНЗэ не держится – ни в холодильниках, ни в заначках, а я вообще раз и навсегда отказался припрятывать утреннюю порцию для утишения страстей после того, как убедился, что память у меня стала совершенно дырявой, всё или почти что всё проскакивает по пьянке насквозь, и от того знания, что похмелька находится где-то тут, рядом, в доме, но не вспомнить, где именно! – становилось ещё более муторно, беспредельно нехорошо, пронзительно и фальшиво, точно крик пионерского горна. И горла испитого... Ведь в какую же трезвую голову придёт изуверская мысль законспирировать спасительный пузырёк, как бывало, в сливном туалетном бачке подобием подводной лодки? Или – в люстре? Или – в помойном ведре?.. Папирос тоже нет, многого чего нет. А то, что есть, опротивело хуже горькой редьки, хуже газет, где одни бренди... тьфу, бренди! И в тех бреднях не запутывается разве что один-единственный

человек в доме, афористичный жэковский слесарь, личность без возраста, всепогодный и круглосуточный, как истребитель противоздушной обороны. Зимой и летом – одним цветом, он сидит под грибком в детской песочнице и вслух размышляет о внутреннем и международном положении. Он знает всё и это всё у него под контролем: почём фунт стерлингов, лиха, изюма... и что думает железная леди Тэтчер по поводу Фолклендских островов... и сколько килограммов весят ордена у товарища Брежнева... Короче, он знает всё. Но никто не знает, когда он работает. Он приходит, случается, по вызовам и объявляет с порога – хмуро и озабоченно:

– Ну, бля, система! Да катись ты колбаской, тая сучья политика!

– Вы об чём? – спрашивают граждане квартиросъёмщики.

– Всё об том же, – вздыхает слесарь. – Я вить, товарищи, как хочу жить? Я хочу жить просто, как собака. То есть, просто жить. Жить долго. Два раза по сто, а, может, и по сто пятьдесят. Не дают!

После чего он приступает к исполнению. Руки дрожат – от возмущённой системы: то ли нервной, то ли политической, то ли отопительно-водопроводной, наверное, всего было помаленьку.

– Вот уж, бля, система, – бормочет он. – Хрен поймёшь, чо к чему...

Намучившись с определением левой и правой резьбы, он брал в руки кувалду... шарах! – и по-прямой загонял втулку или как там у них по-слесарному называется – в трубу. Явный центрист, не терпящий уклонов!

Ему говорили:

– Вы титан!

– Не обзывайтесь, – обижался он.

Так вот, этот слесарь заглядывает ко мне на квартиру без вызовов, просто так, по душевному расположению. А сегодня вот не явился. Душа, видать, иначе расположилась. Но ведь и его тоже надо понять. Если вопрос стоит так, что человек может всё, но хочет ещё больше, то почему бы моему слесарю не жить так, чтобы хотелось ещё и ещё? Чего хотелось – это, конечно, вопрос индивидуальный. «Розовое крепкое», например, это рубль и две копейки. И тут дело не в рублях. Всё дело, как правило, именно в копейках...

Заверещал телефон, и я снял трубку. Звонила жена из бархатного сезона, где море в Гаграх, где пальмы в Гаграх, гагары загорелые на пляжбище...

– Ну, чего тебе, чадо? – спросила она.

– Чего? – спросил я.

– Но ведь ты же сам с ранья умолял дежурную сестру санатория, чтобы я тебе немедленно позвонила! Умолял или нет?

– Да. Примерно два часа назад. Кажется. Но это ещё не ранье.

– Тебе сказали, что я принимаю ванну?

– Сказали. За два часа можно целого слона искупать.

– Перестань хамить! Если бы не ты, мы были бы идеальной парой. Но я устала. В конце концов, я плевать хотела...

– Хотела или уже?

– Уже.

– Тогда другое дело...

Трубка помолчала, потом – вкрадчиво:

– Интересно, а какое у тебя может быть дело?

– Я тону, Лора. Я горю.

– Разом? Так не бывает! Ты сначала определись, что первично, а что вторично. А уж потом звони, будем спасать. Но при этом имей в виду, что для таких случаев есть пожарные команды и общество спасания на водах. Понял? Чао, чадо.

Конечно, я всё понял. Чао. Пожарку вспомнила, спасание на водах... Дура! Слезы не горят, даже самые горючие. И вообще, зря я дозванивался до санатория. Совершенно зря. Беденький, получается. Поговорить, видите ли, захотелось. Нет уж, пусть лучше телефон вообще не кудахтает. Это такое существо, которое даже своим молчанием может сказать абсолютно всё. А похмелье – вещь деликатная, тонкая.

– Ладно, Лора. Прости меня. Но всё же тебе скоро придётся выбирать, как нам жить дальше.

– Не поняла! Ты что имеешь в виду? Как жить?

– Меркантильно или вертикально.

– Не поняла...

– Хорошо. Скоро поймёшь. Приедешь – и я поставлю тебе точку над и.

– Не поняла, говори спокойней! Какую точку? Я тебе отдала лучшие годы...

«Так-так, – мелькнуло в голове, – значит, худшие впереди». И я аккуратно поместил телефонную трубку в её аппаратное гнездышко.

За окном сумерки. Это может быть утром. Или вечером. Кажется, всё-таки вечер. По утрам в это время этажом выше поёт в туалете филармоничка Римма Леопольдовна. Внизу хорошо слышно: «Если женщина про-о-о-сит...», потом вступал утробный голос унитазного водопада, всё, концерт окончен.

Сентябрьские сумерки – это не сумерки. Это сразу вечер, без черновика. Куда-то надо идти, а куда? Был бы верующим, так пошёл бы в церковь. Там тихо стареет серебро, и молчание есть золото, а под куполом витают реликтовые отражения вековых молитв... И помолиться можно. А вдруг лик с иконы подмигнёт понимающе? Тогда можно сойти с ума, ибо: не ответа ждёт молящийся во храме, не сочувствия. Молитва – это всегда откровение в одну сторону, от тебя – в вечность...

Я воткнул в карман бутылку портвейна и пошёл в городской парк

культуры и отдыха. Там, на месте бывшего кладбища, есть крытая веранда, фанерная раковина перед танцплощадкой, а по бокам, словно два кармана, две каморки. На двери одной из них – надпись губной помадой «Триорита», внутри – парковый шахматный стол, стул, садовая скамейка на чугунных лапах, под скамейкой лежит собака Алька, а наверху гулькают голуби...

Воды по дороге хватало – и над, и под. Третьи сутки мочит погода. Уличному бродяге уж приличного окурка не сыскать.

*... В нашем городе дождь.
Он идёт днём и ночью.
Слов моих ты не ждёшь,
Я люблю тебя молча...*

Так мы и шли по вечерней осени – вместе: дождь и я.

И лезли-то мне в голову не парк культуры, не «чао, чадо», не слесарная система, нет! – кадрики вчерашнего общего партийно-профсоюзного собрания университетских служащих, от ректора до меня, грешного, сторожа Ботанического сада, извещённого о личном присутствии под расписку... ну, да! злоба дня! неотложка! комплексный подход в идейно-воспитательной работе... ремонт отопительных батарей и побелка в актовом зале... неоднократное употребление спиртных напитков доцентом Скарабейниковым... «Не просыхает товарищ Скарабейников», – заметил парторг, ведущий собрание, на что товарищ Скарабейников в ответном слове сказал: всякий человек, даже советский, даже самый партийно-профсоюзный, на девяносто процентов состоит из натуральной воды, наукой доказано... и, конечно же, профессор Еруслан Зозуля, главный язычник филфака, бородатый и косноязычный, в красной косоворотке с опояскою, сверлил пространство грозным пальцем, глаза горели нутряным неукротимым аввакумством, а гневные слова так и впивались в темечко товарищу Скарабейникову: «Чем смоешь грехи свои перед коммунистической партией, окаянный?..» Ну, возможно ли такое вынести без решительных действий? Скарабейников решил, что вынести невозможно, и я поддержал доцента, и к вечеру мы с ним набрались до положения риз. Набравшись, помню, доцент ещё затеял олимпийские игры с нашим слесарем, кто кого руками пережмёт, и слесарь победил да ещё и успокаивал плачущего Скарабейникова: всё равно, говорил, жук-скарабей является самым сильным существом на планете, поскольку перетаскивает на своей спине груз, превышающий собственный вес аж в восемьдесят раз!..

... Так и шли мы на пару: я и дождь, шлёпая по лужам, пиная жёлтые, больные, жалкие, точно использованные горчичники, мокрые листья клёнов и тополей. Качались на ветру подгулявшие фонари, а с ними в лад и тени качались, и редкие стремительные фигуры прохо-

жих горожан, и раздевающиеся на виду у всех деревья. Весь вечерний мир, казалось, состоял из теней и был расплывчатым и отражённым, как на тетрадной промокашке... Что ж поделаешь, осень пришла...

В нашем старом городе, где редкостным интуристам показывают не столько памятники десяти разновидностям Карла Маркса и две монументальные скульптуры Ленина, серебряную и золотую, сколько чёрно-гранитный бюст какого-то африканского борца за светлое будущее и права человека... в нашем тихом городе культурно-массовая традиция такова: нет дождя – есть танцы, есть дождь – нету танцев. Железная логика. Танцевальная музыка – электрическая, из радиозула. Следовательно, только в самую паршивую погоду и можно было надеяться на встречу с маэстро Рыдаевым и его непромокаемой бражкой в составе классического скрипача Изислава Несчастлифшица и гармониста Севочки. Бражка к культуре и отдыху касательства не имела, не имеет и не будет иметь, хотя название у неё самое танцевальное: «Триорита». Никакого в ней аргентинства. Очень по-русски: всегда на троих.

Для кого-то дождь – это просто вода, метеорологическая неприятность и дурное настроение по причине худенького зонта или вдруг открывшейся гигроскопической способности правого сапожка... для кого как, а для «Триориты» затяжные дожди – это всё равно что Шульженко для пианиста Ашкенази, что флёрдоранж для петлички фрака, что беспорядки для Ольстера, что пиво для воблы: проще говоря, никогда и никому не объясняемая возможность утечь из дому – зачем? для чего? – единственно для того, чтобы в очередной раз собраться в таком вот немислимом инструментальном составе, спрятаться от окружающей среды в деревянной, насквозь просвистанной раковине танцплощадки и наполнять её, эту раковину, странными звуками от души... И опять же – зачем? для чего всё это? кому это нужно?

И вовсе не шапочным образом водил я знакомство с непотопляемой троицей. Постоянно живу в сторожке Ботанического сада, но если редким гостем выбираюсь в город, то не засиживаюсь в Лориной квартире, по возможности быстро проворачиваю все дела и, в завершение, – к «Триорите». В последний раз был, кажется, прошлой осенью. «Триорита» тогда скорбела: Несчастлифшиц скрипку пропил, но никто этому не поверил, что-то иное, вероятно, произошло у Изислава, но он не откровенничал.

Вообще, даже в самой откровенной застольной болтовне с тремя лабухами я так и не услышал ответа на несказанный вопрос: что же такое объединяет трёх совершенно разных, непохожих людей? Вольная выпивка? Музицирование? Бегство от всевозможного рода деспотий? Или – единственная возможность услышать друг друга, мужик мужика, человек человека – посреди всеобщего балдежа, афишных ротонд, всяких громко – и тихоговорителей, широковещательных топей... – а потом и расходиться по прежним норам, к прежним делам

и заботам, и мучиться глухотой, той самой, которой страдал Бетховен, имевший абсолютный музыкальный слух.

Они играли... Как они играли? Господи, вы ещё спрашиваете, как они играли? Хорошо, я скажу.

Джазовый кларнетист Рыдаев – толстый, лысый, шестидесятилетний бывший городской лабух номер один. Из легендарных пятидесятих до сих пор дотянул заветную припевочку:

*Папаша спит,
по нём кирная
муха ходит...*

Иногда Рыдаев на полузвуче обрывал свои сумасшедшие импровизации и вынимал из футляра поперечную флейту, прижимал её к губам и – то ли вечную гармонию извлекал из её худенького тела, то ли женскую ручку целовал, то ли плотоядно и хищно высасывал содержимое мозговой косточки... – сразу не разберёшь, что к чему, но это была уже не игра, а – очень всерьёз, как жизнь, как смерть, как судьба играет человеком, как боги играют, если только они вообще умеют играть.

Вот Изя Несчастлифшиц. Худой и ребристый, как велосипед. Тоже неполные шестьдесят плюс вечный флюс и неистоцимая шевелюра. У Изи всё движется и уходит вверх за смычком и выше – губы, подбородок, нос, брови... – всё выше, и выше, и выше, и вот уж весь вышел Изя, нет Изи, никого нет на свете, кроме синей птички на кончике смычка. Никто не видит её, эту птичку. Изя видит. Изя многое видит из того, чего не замечают потребители музыки.

А Севочке, Севе-гармонисту едва за двадцать годков перескочило. Пацан, внучок, лобастенький кержачок из далёкой деревни Гнилова Пустынь, колхоз «Всё путём», бригада механизаторов широко профиля. Года три назад перекочевая Сева в город, добывал истину жизни – как каменотёс, и надорвался маленько, споткнулся на сообществе случайных людей, запил по-чёрному, дурачок, а потом как-то нечаянно к Рыдаеву прибился. Нравится ему тут, в «Триорите». Вот посадит он свою трёпаную гармошечку, ровно дитё малое, на колено, сам себе улыбается, а дитё жуёт, шамкает по-старушечьи что-то такое жалкое, уходящее, больное... Мне всегла становилось не по себе от Севочкиной игры.

И ведь что до невозможности забавно в этой самой «Триорите»? Джаз, классика, частушки – всё в одну кучу валят. А между тем, что-то красивое и складное получается. Слышно каждого из трёх музыкантов, и в каждом – оба соседних голоса отзываются самым непостижимым образом, то одной ноткою, то другой, и никого постороннего, дирижёра какого-нибудь, при таком чудедействе не надобно. Что под руку подвернётся – то и выпьют, не спеша, с задумчивостью, серьёзно и умственно, по-Менделееву, который, как

утверждают, изобрёл нашу именно сорокаградусную, не сыскав ей, впрочем, места приличного в своей знаменитой периодической таблице... Выпьют, значит, по-научному, но частенько без закуски, как аспиранты и младшие научные сотрудники, а потом, разогревшись, клапанами, кнопками и струнами ведут душевное собеседование, чуваки. И не бывает здесь, в раковине, иных слушателей, кроме голубей да заходящего порой на огонёк участкового капитана Виконта Савельича Говядина...

– А вот и я! – говорю, заходя.

– О! Какие люди! – восклицает Несчастлифшиц и тут же поморщился всем телом, лишь одна раздутая флюсом щека осталась неподвижной.

– Ах, Изя, – сказал маэстро Рыдаев, – пожалуйста, не кривись так вызывающе. Не пугай меломанов. А щека у тебя очень даже нормальная. Как у рубенсовских баб.

– Да? – сказал Изя. – Бэсэдэр, говорите? В порядке, значит? Хотел бы я видеть тех ваших баб! А знаете ли вы, что мне приснилось прошлой ночью? Вы не знаете. Так вот, я вам скажу: знайте, что прошлой ночью, лёжа на койке в Жёлтом Доме, мне приснился вирус. Он был лохматый, усатый, с тонким голосом. Он очень похож на вас, маэстро.

– Это когда же я был лохматый? – опешил Рыдаев.

– Это не важно. У вас имя лохматое. Ев-стра-тий! Растрёпа какая-то! Засмеялись, и подумал я: хорошо-то как, господи, твою мать...

– Севы что-то не видать, – спрашиваю.

– Скоро будет. На промысле Сева.

«Вот же она – община, артель, коммуна! – думаю. – Из такой коммуны Филарет Мусоргский едва вытащил старшего брата Модеста с диагнозом белой горячки. Поздно вытащил. Частный случай? Дудки! В России частных случаев не бывает. Это доказал бывший семинарист Сосо: семинар – так сплошной семинар, семь нар на сорок человек, казарма, зона, лагерь... Пьём повально, зато не в одиночку, не принято, потому что образ твой, Россиюшка, – колокол бухой как опрокинутый после последней капли кубок соборный...»

Изислав, оказывается, в Жёлтом Доме нервешки подлечивает, дело на поправку идёт, и врач, в порядке исключения, разрешает Несчастлифшицу по воскресениям отлучаться в «Триориту», даже без увольнительной записки, под честное слово – до двадцати четырёх ноль-ноль...

– Для поддержания формы и квалификации, – уточняет Изя. – Но я вам больше скажу! Я вам скажу и вы ахнете: что такое, этот Жёлтый Дом! Если вы думаете, что для дураков, так думайте совсем наоборот! Слушайте, это же совсем другой порядок! И даже жизнь встаёт совсем в ином разрезе, как любил говорить мой бывший друг патологоанатом...

Тут и Сева заявился. Принёс хлеб, консервы «Сайра бланши-

рованная» и две сетки пустых разнокалиберных бутылок.

Рыдаев взялся расставлять бутылки на большом шахматном столе. Четушечки – пешечки, шампанское – короли с королевами, коньяк, красное игристое...

– У нас тут все фигуры будут игристые, – улыбнулся Рыдаев.
– И все одноклеточные, в отличие от высокоорганизованных игроков. Правда, Сева?

– А то! Кто начинает?

– Считай.

– Эна, бэнэ, ряба, квинтер, финтер, жаба... – завёл Сева детскую считалочку, и хоть совершенно безобидной была та считалочка, однако всё равно никто из двоих не хотел остаться жабой.

И маэстро Рыдаев двинул четушечку вперёд, в атаку.

Изислав тем временем колдовал над нехитрой закуской.

– И что же, Изя, – спрашиваю, – жутче болит? Нервы или флюс?

– Слушайте, что вы такое спрашиваете? У вас есть ваши глаза. Так вы и смотрите.

– Я смотрю, дорогой. Я смотрю и вижу, что надо срочно делать выбор: психиатры или дантисты.

– О, господи боже, о чём вы говорите? Вы думаете, в этом городе есть дантисты? Дантисты – это богема. От бога, значит! Это в зубном деле – всё равно что Данте Алигьери в мировой литературе. А вы мне покажите хоть одного дантиста в этом сраном городе! Если покажете, я сниму перед вами щяпу и скажу-таки, что вы великий человек. Но вы не покажете! Нет. В этом городе отсутствует дантистов. В этом городе есть одни стоматологи. А это две большие разницы.

– Вы обижаете Рувима Баха! – заметил я. – Он что такое повашему?

Изислав вздохнул:

– Увы. Что я вам могу сказать за Рувима Баха? Я могу вам сказать одно: Рувим уже далеко.

– Уехал? Когда?

– Досрочно. Без визы, – грустно сказал Изислав. – Сейчас к Рувиму ангелы небесные очередь занимают на профосмотр. Впрочем, там нет очередей, я ошибся, слава богу, там нет очередей...

Помолчали. А я ничего-то и не знал, в сторожке своей сидючи, как бабай.

– Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят, – сказал Несчастлифшиц. – И вот видите, какая несправедливость. Рувим Бах теперь уже не дантист. Он теперь мишурис, слуга господень. И как бы остались в этом городе только я да Казимир Колхер. Два еврея, три мнения. Есть иные из восемнадцати, но они не при деле. Вымираем таки! И как население дальше будет жить без анекдотов – ума не приложу... Вот тихо скончался наш Рувим, не смотря заботу своей Хаси. И что ж вы думаете? Тут же все спрашивают: что такое? инфаркт? Нет,

отвечают. Тогда insult? Опять нет. Тогда почему же отдал богу душу уважаемый Рувим Бах? Отвечают: тоска. Ну, говорят, это несерьёзно, это-таки сущая ерунда и мелочь, от которой нормальные люди не умирают. Вот! Подумайте, что такое творится! Между нами говоря, в последнее время задумчивость очень одолевала нашего Рувима. Нальёт стаканчик портвейна, а выпить забудет. Так и умер в задумчивости. А на похоронах мы играли Прокофьева, вариации на еврейские темы. Слушайте, я вам клянусь, что струнный квартет с кларнетом этого лохматого Евстратия Рыдаева звучал как ангельские голоса. Все рыдали. Даже крепкая нервами Хася, эта половинчатая жена трупа, так она вся утопала в слезах от нашей аранжировки...

Вот, ещё один знакомец... Сколько же вина утекло за время лёгкого и необязательного, в сущности, приятельства! Не очень заметным было оно, а вот обмишурился Рувим – и я помельчал... И Казимира Колхера хорошо знаю. Классный фотограф, художник. Мне интересно было наблюдать за ним. Жёлтыми от химикатов пальцами Казимир артистически, словно фокусник, прихлопывает крышечкой цейссовский объектив, точно бабочку сачком ловит, и при этом бывает безмерно счастлив, неизмеримо счастлив: ещё бы! ему удалось остановить мгновение, то есть совершить именно то, чего не смог добиться Фауст, несчастный доктор, загнавший чёрту-дьяволу свою бессмертную душу ради обладания секретом вечной молодости...

– Знаете что, – сказал Несчастлифшиц, – я во сне не только вирусы наблюдаю, позавчера мне приснилось серое яблоко, печальный факт, не правда ли? А позапозавчера я увидел белое и голубое. Не яблоко, а просто так – белое и голубое.

– Как израильский флаг, что ли?

– Ну, вот, сразу уже и флаг... Зачем флаг? Я же ж вам очень русским языком говорю: просто – белое и голубое, лаван ве кахол, понимаете? Ну, а если даже и флаг? Всё равно светло. Вы же абсолютно не знаете, как переводится с ихнего языка на наш одно маленькое птичье слово «тель-авив». Это слово переводится так: несколько белых домиков. Представляете? Несколько белых домиков, а над ними небо. Очень-таки просто и красиво. А вы – флаг, флаг... Пошлость какая!

– Это не пошлость. Историческая родина, вообще-то, далёкие родственники...

– Какая родина с какими родственниками? Что вы такое говорите? У меня и в эсэсэр-то вся родня давным-давно прекратилась по причинам эсэсэр. А своих деток бог не дал. Получается необыкновенно, что скудно живу, имею что кушать – вот и весь интерес. Не то, что у Казимира. У Казимира уже не интерес, а идея. У него деток куча мала, и фамилия сексуальная, и во рту – полная октава.

– Золотая, – отозвался Рыдаев, казалось, не обращавший внимания на наш разговор.

– Слушайте, Евстратий! – Несчастлифшиц повысил голос. – Неу-

жели вы до сих пор так и не понимаете, что золотые зубы у Казимира – от недоедания? Ему трудно жить, Казимиру! У него недавно появился серьёзный конкурент Бельды. У Бельды целое ателье на Набережной. Это же полный кошмар! Погибло искусство!

Изислав всплеснул руками, и манжеты его бахромистого пиджачка обозначились двумя бахчисарайскими фонтанчиками.

– Нет, Евстратий, вы, ей-богу, совсем как невозможный ребёнок! Вы в самом деле абсолютно ни хрена не понимаете в проблеме Казимира! Так что, вы играйте в свои шахматы и не отвлекайтесь. А я лучше нашему дорогому гостю расскажу за Казимира, чтобы наш дорогой гость не потерял из своей биографии десять минут весёлой жизни, клянусь мамой!

Я улыбнулся.

Изислав печально погладил щёку – терпи, мол! – и пустился в монолог, точно в плаванье:

– Скажу честно, я вот уже дней десять как забыл помнить про Казимира, но вот видите, бог свидетель, вы напомнили мне о нём. Так слушайте. Это будет шикарный научно-фантастический роман из его жизни и деятельности... Приходит, значит, до Казимира серьёзный клиент в чине товарища полковника Советской Армии. Казимир – вы же знаете, он выдающийся художник, наш Казимир! – вертит того товарища полковника туда, сюда, головку повыше, подбородочек пониже, плечико уберите, губки не мните... даже чуть-чуть ругнулся на своём еврейском языке идиш, но это от творческого вдохновения, ласково. И что же вы думаете? Товарищ клиент-полковник смотрит Казимиру сквозь прищуренных глаз и говорит на чистопородном еврейском языке: «Киш мир ин тухес!» – говорит. Это по-нашему значит так: поцелуй меня в задницу! Ближневосточная ругня! Сами понимаете, после таких слов Казимир почувствовал себя обновлённым и сказал: «Да?» – «Да!» – ответил ему товарищ полковник. Казимир грустно посмотрел – вы ведь знаете, какие у нашего Казимира гефсиманские глаза! – он посмотрел на товарища полковника, набрал в грудь воздуха и завопил: «Ой, вей мир, вей мир! Горе мне! Своего не опознал! И что ж я после такого конфуза могу сказать в целом за человеческий фактор?» Потом Казимир задумался и торжественно произнёс – вы ведь знаете, как он умеет торжественно! – он сказал: «Сам ты жопа!» Но весь юмор не в этом. А весь юмор в том, что товарищ полковник родом из евреев. Это такая невообразимая научно-фантастическая редкость, экспонат-таки! А наш Казимир Кольхер понимал, что клиент его не понимал, а тот всё понял! Вы понимаете?

Он ещё спрашивает, этот Изя! Да у меня с тем Казимиром тоже роман случился. В свете КПСС! Было дело: паспорта обменивали на новые, и партбилеты обменивали на новые, и обменная кампания в стране взбиралась на недосыгаемую для разума высоту. Тогда я приходил в Казимирово ателье фотографироваться по паспортному случаю. А Казимир сидел в тёмном углу и рыдал.

– Что стряслось? – спрашиваю.

Колхер протянул мне три странички машинописного текста на металлической скрепочке:

– Читайте. Только не вслух, пожалуйста, про себя.

Это была горкомовская, для служебного пользования, инструкция, посвящённая, как указывал заголовок, «специфическим требованиям фотосъёмки на партийные документы». О, это было интересное чтение! Фотограф рыдал, клиент валился со стула от хохота... «Для исключения ореолообразования портретируемый должен находиться на расстоянии одного метра от фона... Съёмка производится строго анфас. Повороты головы портретируемого не допускаются. Направление взгляда портретируемого – прямо перед собой. Спады резкости на шее, ушах и костюме не допускаются. При съёмке должна использоваться отдельная кассета...» Оказывается, запечатлеть лицо члена КПСС возможно при помощи далеко не всякой фотоплёнки. Инструкция настоятельно рекомендовала пользоваться плёнкой 13x18 производства Шосткинского химкомбината и строго предупреждала: «Использование плёнок других марок и заводов допускается только по согласованию с ОТК...» Так! Проявить изображение коммуниста – процедура не менее ответственная. «Все растворы составляются только с использованием весов, обработка производится в отдельных бачках и кюветах. Используются спецрастворы, обработка не должна производиться вместе с прочими заказами...» – и тут же жирным шрифтом приписка: «Несоблюдение рецептуры запрещено!»

Давясь от икоты, читал я вслух, а Казимир внимал с ужасом.

– Негативы и позитивы на партийные документы должны быть тщательно отретушированы только в местах технических дефектов. Нарушение портретного сходства не допускается... Заруби себе это, Казимир, отныне и навеки!.. Позитивная ретушь выполняется с обязательным повторным контролем. Фотоизображение должно быть чётким и сочным... Запоминай, Казимир!

– Погибло, погибло искусство, – бормотал Колхер, суровый и торжественно-печальный, словно сама еврейская заупокойная молитва-кадиш.

... Шахматисты закончили поединок вничью, и на поле сражения уже целовались носиками два чайника, большой и маленький. Хлеб на бумажке – аккуратными ломтиками, консервы вскрыты. И свой портвешок я из кармана выудил, фольговую береточку срезал.

– Ну-с, прошу, – сказал я. – У меня сегодня только портвейн.

– А у нас печень, – отозвался Изя.

– Да, – сказал Рыдаев, – мы уже целый год как не пьём. В мокрую погоду «Триориты» – сухой закон для всех. А у вашего покорного слуги антифриз надавил на гипофиз. Такие дела.

И я руками развёл:

– Да что ж вы молчали-то, братцы мои? Ну, не знаю прямо... Стою на распутье...

– А вы не стойте. Вы наливайте, пейте и говорите нам приятное. И в этом не будет никакого распутства.

– Правильно и красиво, – добавил Изислав и улыбнулся одной щекой. – Говорите каких-нибудь слов. Самое время говорить тёплое. Дождь идёт, осень пришла...

Первый стакан я поднял за Рыдаева.

Рыдаев хороший. Имя у него, конечно, лохматое, тут Изислав совершенно прав. А в остальном он хороший, Евстратий Рыдаев. И мечта у него восхитительная: Вена, чудная Вена, откровенная, сокровенная, внутривенное вливание, музыкальная шкатулка – волшебная, недоступная. Эту мечту Евстратию Несчастлифшиц за просто так уступил. Кроме Вены, больше Евстратию, кажется, уже ничего на свете не надобно. Даже женщины ему не нужны, хотя женщины нужны всем, даже самим себе. Была у него одна. Жена. И он был муж. Что-то такое промеж них образовалось, неформальное объединение. Тогда, лет сорок назад, Рыдаев думал: о, эти женщины! не от мира сего, воздушные создания, питаются исключительно эфирами, зефирами, лепестками роз, богинюшки, жрицы любви бескорыстной... – а вышло, что наворачивают эти жрицы говядину с горчицей, батоны с маслом – аж хруст в челюстях стоит, и при этом ещё и мизинчик оттопыривают для форсу. Короче, насчёт пожрать – они, конечно, жрицы, а вот насчёт любви бескорыстной... Плюнул Рыдаев на романтизм, рукой махнул: извините, граждане! И прожил почти всю молодецкую жизнь без романтизма. Один, как лампочка в ночном подъезде. Это, конечно, тошно, и толкало подчас на непредсказуемые поступки... Служил как-то Рыдаев в городском драмтеатре в должности кларнета, электрика и статиста – одновременно. Однажды даже дошёл до того, что репетировал роль Первого Ангела в пьесе Кальдерона-Гофманстала «Вселенский театр». А как-то раз перед Рыдаевым замаячил сам Гамлет. Конечно, не дали. Рожей, сказали, не вышел. И тогда Рыдаев составил бумагу, в которой чёрным по белому обозначил, что передаёт любимому театру свой собственный череп в качестве реквизита для бедного могильщика Йорика. То-то было смеху коллег-музыкантов и священного ужаса седых театральных старушек! Но Евстратий не шутил. Он поехал в Москву, выстоял где-то очередь и за тыщу рублей завещал свой будущий труп институту Склифосовского. После чего в рыдаевском паспорте поставили фиолетовый штампик: «Захоронению не подлежит». Так было покончено с театром и обозначился переход Рыдаева на вольные хлеба свободного и независимого лабуха-кларнетиста... А когда все нормальные люди Союза Советских Социалистических Республик меняли паспорта, Рыдаев наотрез отказался и продолжает жить со старым, ещё зеленокожим, паспортом, не на шутку пугая фиолетовым штампиком представителей административных органов...

– За безнадёжный звон хрустальной мечты! – провозгласил я, выпил залпом стакан и добавил: – А паспорт вам всё равно менять при-

дётся, гражданин Рыдаев. Не то получается, что Рыдаева вроде бы и нет совсем. То ли уже умер, то ли ещё не родился.

– Есть, – нахмурился маэстро. – И я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза...

– Ой, не надо, – скривился Изислав. – Ну, что вы такое можете достать из своих штанов? Не смешите меня. Зай гезунд, дорогой гость, будьте здоровы!

Второй тост – за Изислава. Венскую мечту он подарил Рыдаеву, но осталась попроще: научиться имитировать голос самого генсека, что, по мнению окружающих, являлось делом не очень сложным, достаточно набрать полон рот горячей картошки, жевать и речь говорить – одновременно. Несложно, но – страшновато.

– И что я тогда сделаю? – говорил, бывало, Изислав и блаженно закрывал глаза. – Ой, слушайте, что я тогда сделаю! Я позвоню в крайком нашей коммунистической партии и скажу громким суровым голосом: дорогие товарищи, кто дал вам такое неотъемлемое право, чтобы простых советских людей манежить пустыми хлопотами и смешными инструкциями? Вы, скажу я, в комитете работаете или в цирке, ети вашу мать?

– А дальше? – интересовался, бывало, Рыдаев.

– Дальше по обстоятельствам...

А мне после второй похорошело.

– Вы закусывайте, – подал голос Сева. – Сайра в масле, бланшированная вусмерть...

Чистые и ясные глава у Севы, как после безмятежного сна. Как-то раз на спор – бутылка делов! – затанцевал в твисте компанию анемичных хиппарей – и даже капельки пота не выступило. Молодой, свежий хлопец, и чего он в город попёрся? В городе – гам, шум, мясные мистерии в очередях, автобусов как обычно, пассажиров как всегда, трамваи трещат, точно подсолнушные семечки, тоску наводят... Зачем?

– А в сельском хозяйстве коровам жрать нечего, – отвечал Сева. – Заборы грызут. А косить не разрешают, и вообще. Сдохну в городе, а назад не вернусь.

«Вернёшься, – думал я. – Вернёшься, мальчик. Только вот когда и каким образом? Как блудный сын, жданный? Или как на репинской картине «Не ждали»? Но ты вернёшься, Севочка».

Имеется и у Севы заветное желание. Даже два. Первое: придумать приборчик такой, дерьмометр, чтобы за две секунды хороших людей от плохих отличать.

– Гениально! – смеялся Несчастлифшиц. – И куда же ты намерен втыкать свой дерьмометр?

Сева сердился и отвечал, что аппаратик будет работать исключительно на акустике.

А второе его желание – щенок от Альки. Старая верная Алька,

единственное, что, помимо гармошки, осталось у Севы от деревенской жизни. Вон, лежит сейчас под лавкой, то молчит, то позёвывает с лунным акцентом.

Сева рассказывал: когда жил в деревне, там мужики после очередного антиалкогольного постановления тоже своё решение сочинили: ударить по красному террору белой горячкой. Что ни изба – то и самогонное предприятие: сами гоним, сами пьём. Блюдя строжайшую конспирацию, мужики закапывали на огородах готовую продукцию в наглухо запечатанных трёхлитровых банках. И вот Сева с алькиной помощью составил «карту минных полей» и по чёткому плану пользовался тем деревенским островом сокровищ, куда однажды не попался с поличным... Уходя в город, Сева оставил собаку дома. А она хозяйина и в городе разыскала! И вот – жалко Альку, щенят не принесёт, хоть и породистая сибирская лайка, но старая, и гордая, потому что игнорирует, проще говоря, презирает плюгавых городских кобелей.

– Удивляюсь, – говорил Сева, – в городе ребятишки от собак шарахаются, как от заразы. Это ж надо так подрастающее поколение запугать и перевоспитать в обратную сторону от природы! Уж совсем не знают, что собака есть друг человека. А пусть бы посмотрели в собачьи глаза. В них круглосуточно написано: я завсегда с народом, особенно если он хороший человек и жрёт чего-нибудь запашистое, но можно и без жратвы, можно – за одну только любовь. А между прочим, собаки вовсе не от старости помирают. Они помирают раньше своего времени. Они помирают от непонимания. Они не умеют говорить языком, но говорят глазами, а люди такого разговора не понимают, может, раньше знали, но отвыкли давным-давно, ещё при нэпе.

– Раньше, Севочка, гораздо раньше, – говорил я.

– Да, наверно раньше... А ещё люди говорят: живуч, как собака. Это неправильно. Собака всего лет двадцать живёт, а могла бы больше... И вот я думаю про себя: чем отличается моё утро от Алькиного? И сам себе отвечаю: Алька отряхнётся ото сна и завсегда знает, чем она будет до нового сна заниматься. Службой! А я не знаю. Сам хозяйин, а не знаю. Это чо такое? И вот я всё по-новой думаю, думаю, а моя Алька ночью подойдёт к раскладушке, чихнёт, пощупает меня носом – тут я или нету? – и уходит, служит собака. А мне уж и вовсе не спать. Жалость не даёт. Меня ведь из-за Альки уж сколько гоняют из общаги в общагу: не положено, говорят. Разве это справедливо? Алька – собака аккуратная, не то что некоторые люди...

Уж совсем стемнело. Фонари горят, а видели ль что, не видели – ничего не скажут, не умеют. Да и зачем нам их новости? Вокруг-то одни старости. Всё устаканилось. И хрен с ним, что не догнали Америку по мясу и молоку! Зато Куба – наша и надёжно кастрирована Фиделем. Это не может не радовать. И ещё много чего не может око недреманное, глаз, вооружённый до зубов. На работе дела настолько

плохи, что хуже уже не будет. И это хорошо. Вчера утром дунул на зеркало – и сдунул его со стены. Значит, жив ещё. Зеркало вдребезги. Надо купить. К слову сказать, если тотальный уход лошади из человеческой культуры остался совсем незамеченным, то такая дешёвка, как зеркало в ванной, будет цепляться за бороду человечества до скончания веков... Радио. О, это радио! Там всё наше! Кукурузо-ремонтный завод. Сто двадцать процентов. Стрекотажная фабрика перекрыла рекорд на полпроцента. Честь и слава передовикам и ударникам. Зимой в город-герой намечен визит африканского негуса. Ага! Чёрный негус по белому снегу-с. Шикарно. Очередной орден дружбы с народом. Новый праздник. Но – недостаток. Мы уже не в силах отпраздновать столько праздников, сколько нам их сочинили. Мы безумно идейны. Мы за идеей гонимся. Она – от нас. Салочки-догоняшки. Это называется прогрессом. Отречение от речи. И от рек отречаемся, заворачиваем вспять. Старые маршалы утишаются мнимыми победами. Права качаются. Им бы соблюдать надобно, а они вон что удумали – как маятник Фуко в Казанском соборе: туда – сюда. И чего он фукает? А ничего. Работа у него такая... И спрятаются люди, как от дождя... Дождик, дождик, перестань, мы танцуем падеспань... И падепатинер, и падеграс, и полонез, побольше соль диезов – и стодится в полонез Агинского бурятского округа Иркутской области, там же и посёлок Вершина, где обитают потомки горделивых ссыльнопоселенцев-поляков, «Каролинку» поют, забыть не могут?.. Простенькая песенка, точно игра в ладушки. Точно «Ландыши» Гелены Великановой. О, эта незамысловатая, глупенькая песенка о цветке, занесённом в Красную Книгу! Пусть кто-то вытягивает губки навстречу сахарным мелодекламациям Вертинского. Пусть кто-то остаётся истовым поклонником самого наирусейшего утёса советской песни Леонида Осипыча, запевшего Лазаря из Одессы, а вот и не видишь ни Лазаря, ни идиш не видишь – один безыскусный голос в сумерках, сплошное сердце, ему не хочется покоя... А кому хочется? А кому хочется, тот и набирает обороты, да не тридцать три в минуту – нет, на всю жизнь пластинка двусторонняя: Ленин, партия, комсомол – тайга, великие стройки, две девчонки танцуют на палубе... Один чижик, второй пыжик, третий и вовсе шлюхер, ссучившийся мужской род... А этот ландыш зачем тогда? А этот ландыш, между прочим, есть цветок, который явился в мир из слёз богородицы, оплакивавшей распятого сына. Вот. Нехитрая песенка. Так ведь и нравы когда-то были такими же ландышными. Если этот цветок весенний, поднесённый юношей, девушка бросала наземь – всё, отворачивай в сторону, парень. Если на грудь прикалывала – в жёны согласна. Никаких натужных выяснений взаимоотношений... Когда он говорит ей: вы же ж ещё целиком и полностью аппетитная женщина! И когда она отвечает ему: правда? Ага! Провались ты пропадом, такая правда. Когда кто-то говорит «интересная женщина»,

то это не означает, что говорящий хотел бы взять анализ крови и мочи в научно-исследовательских целях. В тех словах сидит интерес золотого петушка к курочке-рябе. А курочка-ряба отвечает: я глубоко порядочная женщина! А петушок уточняет: порядочно глубокая. И слышит в ответ: не хаами! Все дела. Вся любовь. Где ландыши, светлого мая привет? Нет ландышей. Завяли ландыши. И это совершеннoлетние люди? Ну, как дети, ей-богу. А дети, между тем, по-прежнему гениальны. В их глазах мерцает удивление от поразительной простоты мира. Невтоны и Плутоны. Незамеченные Низами. Новоявленные Навои. Все поэты – тонкого Востока. Что за ними и что за нами?.. Язычный профессор Еруслан, ети его мать, вздыхает: ну, и молодёжь пошла, одному студенту объясняю, а он мне сразу: понял, понял, а я глаголю же ему, недотыке: чаво ж ты понял, вьюнош, ежели я сам, твой учитель, ишо ничевошеньки не понял, а ты, подлец, уже, без никакого уважения к преклонному поколению народа, и куды ж мы все коллективно котимся?.. Вот дурила! Куды, куды... Туды! Там всё понятно. Ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа... Из зала суда свежие новости: дали ему, подлецу, сто девяностую статью, так что ж вы думаете? не берёт!.. Застенчивость как черта характера советского человека. Уверенность в завтрашнем дне. Эта уверенность – странная штучка. Помнится, в магазинах когда-то продавали колбасные обрезки. Это ещё до войны было. И после войны тоже. Обрезки покупали люди для себя и для собак. Люди томные толкались в очередях – внутри. Собачьи очереди – снаружи, тихие, аккуратные. Люди знали, люди даже были уверены: надо купить двести пятьдесят граммов, не больше: съем сегодня свои двести пятьдесят, а завтра снова куплю. И можно подумать: изобилие! Ладно. Сегодня люди берут в четыре раза больше: столько, сколько в текущий момент разрешено брать в одни руки, ни больше, ни меньше. Это уже не от изобилия. От нищеты, от уверенности в завтрашнем дне: завтра могу и не купить, завтра денег не будет, завтра товар не выбросят... Ах, ах, – говорят мне, – вы такой ужасный пессимист! Да. Но пессимизм – не антоним оптимизма. Нет. Пессимизм враждует с эйфорией, с самообманом и самодовольством. С сытостью. А теперь, уважаемые вопрошальщики, спросите меня ещё раз: почему я, сторож Ботанического сада, пессимист? Отвечаю. Во-первых, когда приходят неприятности, то я уже готов к ним, потому что ожидал. Во-вторых, если грянут явления, нарушившие мой пессимизм, то я этому радуюсь. И, знаете ли, маленькие радости – не шибко уж великая роскошь в наше время, не так ли? Но этого мало. Я хочу знать... Ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа... Да ну вас всех к чёртовой матери с вашими ответчиками-автоматчиками! Я хочу знать, наконец: почему весь мир идёт через тернии к звёздам, а моё отечество – всегда через жопу и в никуда? Почему отменили небо в алмазах и стали обещать свет в конце тоннеля? Это же обязательный, системно за-

фиксированный реаниматологами всех стран мира, суровый и трезвый, как гвоздь, признак клинической смерти! И почему никто на этом свете так не умеет жить, как мы не умеем? Мы не боимся новизны? Не боимся. Ни тогда, когда она приходит, ни тогда, когда уходит. Вот пусть и миновала бы нас любая новизна, которая приносит старые неприятности. Это было бы справедливо. И правильно. Только это правильно – без меня. Я об этой справедливости как-то всё неправильно думаю. И всегда так: задумаешься на миг, а сгущёнку такую наворотишь, что чёрт-те что и сбоку бантик. Чертовщинка от жизни, а бантик от художественной литературы. А если бы мозги крутились не просто так, между первой и второй, в перерывчике небольшом? Если бы мозги не валяли дурака, а сочиняли за деньги художественную литературу... О! Я не стал бы расписывать по часам один день двойного дублинского еврея Стивена-Блума! Я не стал бы разбирать по сиюминутным косточкам один день Ивана Денисовича! Нет! Я совсем наоборот сделаю! Как раз – напротив однажды сказанному, что дольше века длится день, – я целый век в один вечер загоню! Натё! У меня даже название готово для тончайшего, на полстранички, эпоса: «Один век из жизни Ивана Блума». Такая сгущёнка будет... Плотненькая. Тяжёлая вода... Один сантехник вот всё ходит, ходит и через губу роняет: не думай об секундах свысока. Правильно роняет. Не надо о них так думать. Они не стоят того. Бери выше! У нас же на безымянном пальце – знак свободного человека, нелепый, толстый алюминиевый самодел... Первая попытка. Второе дыхание. Третий мир. Четвёртое измерение. Пятый угол. Шестёрка в колесе... Эх, безымянный ты человек! На лисапедке в карусели! И вот как станет подходить к концу время карусели, отпущенное по синенькой контрамарке, так и окажется, что двойной дублинский еврей и гулаговский зэк непоправимо правы в крохоборском бережении одного-единственного дня, и счастливого часа, и минуты, проклятой на веки веков...

– Слушайте, уважаемый гость, дело прошлое! – воскликнул Несчастлифищ. – Как-то раз в хороший затяжной дождичек спрятали мы рожки и ножки в нашу раковину. Сидим, то-сё, международные новости, киряем без перегрузок, можно даже так сказать, с вывертом: пьём-с втроем-с! Что такое мы тогда квасили, Севочка?

– Какая разница, – сказал Сева.

– Киндэлэ манц, – сказал Изислав строго. – Дитя моё, вы говорите, что какая разница. И я вам скажу, какая может быть разница. Она может быть такая же колоссальная, как разница между двумя женщинами, одна из которых хорошенькая, а другая хорошая. Понимаете, Сева, разницу? А теперь напомните мне, у вас память нежная, как у юного Моцарта, какую бяку мы в тот дождь употребляли?

– Старку, – ответил Сева. – И ещё пиво. Две бутылки.

– Гениально! И было ещё пиво, значит, две бутылки. После чего мы приложились к своим возлюбленным инструментам...

– Ноктюрн «Грёзы» Моцарта, – напомнил Рыдаев.

– Опять-таки гениально! А потом мы чифирили. Потом были «В парке Чаир» и эта... ваша божественная, Севочка... как её?

– «Моя Настенька распузастенька».

– Да-да, – продолжил Несчастлифшиц, наливаясь вдохновением.

– Именно Настенька. А дальше пусть Евстратий Рыдаев рассказывает. Мне щека мешает...

И тут раздался стучок в хлипкую дверь «Триориты».

– Ну, вот, кажись, Виконт Савельич пожаловали, – сказал Сева.

Когда «Триорита» была, что называется, при исполнении, Виконт Савельевич Говядин, милицейский капитан по кличке Хваталист, обыкновенно не стучал в дверь, но тихонько внедрялся в музыкальное помещение и дожидался паузы для разговора. На сей же раз музыка ещё не звучала.

– Этот прогноз совсем к едрене хвене, – сказал капитан, снимая и отряхивая мокрые плащ и фуражку. – На всю неделю непосредственно зарядил. Вот такие хвакты, граждане лабухи. Дайте-ка водички хлебнуть. – И за сердце взялся, поморщившись.

– Прогноз погоды – это одно дело, а погода уж совсем другое, – грустно заметил Несчастлифшиц.

Сева торопливо плеснул в стакан из чайника, подал Рыдаеву, а уж тот – Говядину.

– Что, – спросил Рыдаев, – пламенный мотор барахлит?

Капитан выщедил глоточек, головой качнул укоризненно:

– Ты вот, Рыдаев, кажется, уж давно знаешь, что я ахвицер. Мог бы непосредственно и по званию обратиться, язык не отвалится. А что касемо мотора, так уж действительно с вами, с чертями...

– Сплошной фатализм, – подхватил Рыдаев, – никакого улучшения криминогенности. Придётся мне отдать вам свой валидол.

– Хватализм, – согласился Говядин, с видимым удовольствием повторяя излюбленное словечко. – Такая вот работёнка тормошная. А вы тут обратно играть собрались?

– Собрались, – ответил Рыдаев.

– А патент?

– Ну, вот, опять патент... Да почему же, я вас в сотый раз спрашиваю, почему нельзя музицировать без патента и без тарификации?

– Нельзя. Уж никак невозможно.

– Нет, вы нам ответьте, товарищ капитан, в чём тут загвоздка?

– Сказать, чтоб понятно, не могу. Инструкцией запрещёно. И вся загвоздка, граждане.

– А если без инструкции?

– Если без, так пусть тогда граммохвон играет. Или патехвон.

– А магнитохвон? – вмешался я.

Говядин прищурился и надел фуражку.

– А вы, например, гражданин, тоже из лабухов или из каковских будете?

– Сотрудник Ботанического сада, – подсказал Рыдаев.

– Я, кажется, не тебя спрашиваю. Пусть гражданин непосредственно сам лично удостоверится.

– Маэстро правильно сказал, – ответил я. – Этого хватит?

– На первый раз хватит.

– Второго не будет.

– Ой, не скажите, не скажите, гражданин сотрудник! Это смотря как получится. Органы ведь знают и таких сотрудников, которые водят знакомства с разными неформальными и периодическими элементами. А лично вы в саду над чем работаете?

– Непосредственно?

– Так точно. Если не секрет.

– Над собой.

– Шутите?

– А чего ж не пошутить?

Говядин засмеялся и тут же вновь к сердцу потянулся:

– Слушай, Рыдаев. К тебе тут один торгаш с базара не заглядывал случайно? Мордатый такой, бородатый. Христопродавец, падла. Иконами торгует. А?

– Обижаешь, капитан, – сказал Рыдаев. – У нас тут народ чистый, безгрешный, даже водку не пьем, уж ровно год.

Говядин губами причмокнул:

– Вот я на вас и удивляюсь, что не пьёте. Чего ж тогда собираетесь? Органам беспокойство. А ещё у вас, граждане лабухи, с паспортами сплошные хвокусы. Куда годится? Рыдаев вообще незаконный. У всех нормальных людей красный паспорт, а у него, видите ли, ещё зелёный.

– Не созрел ещё, – сказал Рыдаев.

– А у Несчастлифшица в паспортном столе фотография десятилетней давности, – продолжил Говядин. – Почему новую карточку не сымаешь?

– Вы-таки ждёте ответов? – спросил Изислав и щёку пощупал.

– Давно жду.

– Зай гезунд, их есть у меня. Но вы меня живьем обнаружьте лучше, Виконт Савельич...

– Без паспорта не могу. Будь ты хоть сам бог или Владимир Ильич Ленин. Не могу! Сперва паспорт – потом любовь и дружба. Служба такая.

– Бдительность, – протянул слово Рыдаев.

– А как вы хотите? Лучше непосредственно перебдеть, чем недобдеть.

– А вот товарищ Ленин говорил, что паспорт – это есть жандармский ошейник, – заметил Рыдаев.

- Не знаю. Не читал.
- И ещё, товарищ капитан, хочу вас давно спросить...
- Спроси, Рыдаев, не стесняйся. У тебя по личному вопросу?
- По личному.
- Давай, я готовый.
- А что это за имечко у вас такое диковинное? Не подарок!

Говядин вздохнул, фуражку снял.

– Точно, что не подарок. Но тут я непосредственно не виноватый. Отец с мамашей придумали для украшения жизни. Пробовал сменить, когда на службу в органы оформлялся, да начальство отсоветовало: дескать, в кадрах могут неправильно расценить, будто я концы в воду запрягиваю. Так и остался. А жена зовёт: Вика, Вика, будешь чай пить, Вика? Конечно, от жены облегчение недостаточное. Главное-то – служба продвигается неважно, это я вам по-человечески скажу. И всё непосредственно из-за имени. Недавно моего коллегу из железнодорожного отделения в должности повысили, майора дали, орден, а Говядину – что? Говядина всего лишь в красном уголке Управления повесили для наглядного оформления. Что получается, граждане? Хватализм полный и сокрушительный.

– Забавно, – сказал Рыдаев.

– Что ж тут забавного, когда беда?

– А то, что вы такое говорите. Повысили, повесили... Зачем всё это? Что вы за люди такие, государственные? Непонятно!

– А очень просто, – ответил Говядин и надел фуражку. – Меня даже начальство не понимает. И жена тоже самое.

– Неужели?

– Так точно. Жене бы только хвигуру отращивать, а до моей карьеры – наплевать и ноль внимания. То ей то дай, то другое, сколько можно? Дублёнку срочно захотела! Я ей говорю: шуба есть? Есть. Побрей шубу – дублёнка получится, носи на здоровье. Она в слёзы, а мне на службу идти в каком настроении?

– Слушайте! – вмешался Несчастлифшиц. – Поставьте-таки женщину на её место!

– Как поставить? Если у нас в стране женский вопрос неурегулированный!

– Я вам скажу как, – мрачно произнёс Изислав и погладил щёку. – Я сам в молодые годы испытал такое. А всё потому, что баба – она и есть баба.

– Значит, баба? – ухмыльнулся капитан. – А вот ты ей скажи такое, а я посмотрю, как она среагирует! Не-е-ет! В последнее время совсем озверела. Честно говорю вам, ребята. Я ей кулаком по столу: не бабствуй! Она – руки в боки: не баба, а женщина, а из советской женщины в нашей стране даже космонавты выходят, и если ты, Говядин, не согласный с линией партии, то пожалуюсь на твой домострой в политотдел, партбилета лишишься! Ладно, говорю, пусть не баба, пусть

совсем наоборот будешь женщина или даже хоть дама, фрау и мадам, так что с того? У тебя от таких названий ничего не убавится... Опять пошли слёзы. В результате в политотдел наклепала.

Говядин повлажнел, разговорился, это с ним всегда приключалось в «Триорите».

– Недавно юбку кожаную достала, уровень пола – выше колен, и разрезы на юбке – спереди, по бокам и непосредственно на жопе. Вся в «молниях». Один я в пуговицах, всё равно как целый батальон. Так и гуляем по воскресеньям: она в «молниях», я в пуговицах. Оба сверкаем. А вот был бы орден – так совсем другое дело.

– Да, да, да, вы абсолютно правы, Виконт Савельевич, это совсем другая разница, – печально сказал Изислав и ладонью пожалел свою бедную щёку.

– Мне без ордена нельзя. Скушно без ордена. Авторитет страдает и вообще.

– А я так думаю, – вступил Сева, – что от орденов на одежде одни только дырки получаются и испорченная вещь. Не продашь обмундирование, не обменяешь.

– А мы дырочку ниточкой обметаем, – жизнерадостно ответил капитан и фуражечку скинул. – Но вообще реплика твоя, парень, неуместная.

И тут на меня смех навалился...

А Говядин обиделся:

– Смеяться с умом надо, хоть вы и сотрудник по научной части.

Я брюхом чувствовал приближение истерики...

– Естественно, – заметил Несчастлифшиц, – смех от головы идёт. Уголовное, значит, дело получается, товарищ капитан.

– До уголовного далеко, – сказал Говядин. – А вот за оскорбление сатирическим образом при исполнении обязанностей имею полное право привлечь...

Сева хмыкнул, на что Говядин отрефлексовал надеванием фуражки и потребовал объяснения хмыка.

– Я извиняюсь, – сказал Сева, – но вот смотрю и не укладывается в моей голове. Откудова всё в мире произошло такое?

– Что непосредственно какое? – спросил капитан.

– Вообще... Откудова появились комары, например, или тараканы? Или вот вы, Виконт Савельевич? Откудова? По чьему указанию? Кому они нужны, эти комары... или вот вы, например?

– Мы-то? – усмехнулся Говядин. – Мы от власти, юноша.

– А власть зачем и откудова?

– А власть испокон веку живёт.

– Ну, чо вы врёте-то! – запалился Сева. – Испокон, испокон! Сейчас, кажись, на дворе вовсе не испокон, а двадцатый век!

– Это да, – согласился капитан. – Времена не те. Времена, можно сказать, не ахти. Только и слышишь: кооперативы, аккредитивы, пре-

зервативы... А ведь жили же люди без всего этого? Жили. И хорошо жили, хоть и имелись некоторые недоработки. А теперь мы что имеем? Загибайте пальцы. Ораторы, мелиораторы, кооператоры... Бардак. Хуже публичного дома.

Я вмешался:

– Вы, товарищ милиционер, что-то путаете. Во-первых, публичный дом – это публичный дом, то есть заведение. А бардак – всего лишь метод работы. А во-вторых... Впрочем, продолжайте, мы послушаем. Вы на кооперативах затормозили.

– Ладно. Вынужден снова начинать. Значит, кооперативы. Это что такое, я вас спрашиваю? Это ж голые артисты! Это ж кускодёры из кино! Им разрешили, они вышли из подполья и унесли от нашего народа практически все продукты питания. Сахару нет, дрожжей то же самое... Куда годится? Я вот тут нынче одного на базаре приметил. Торгаш. Оренбургский пуховый козёл, ети его мать! Не заходил к вам, Рыдаев?

Рыдаев помотал головой:

– Зря вы так, Виконт Савельич. Кооператоры – несчастные люди. Вам бы их под крылышко взять. А то ведь, получается, живут как в Польше, все паны, да никто не завидует. Человеческий фактор не учитываете, Виконт Савельич.

– Хвактор, говоришь? Ладно. Я вам про этот хвактор скажу. Одна сволочь на базаре в напёрсток играет, простой народ дурачит ловкостью рук. Напёрсточник, называется. Подхожу по всей хворме, говорю: но есть, есть высший суд, наперстники разврата! Это я ему из стишка Михаила Юрьевича Лермонтова произнёс. Что делает эта сволочь? Ноль внимания. Я его дубинкой перетянул – враз всё понял. Вот вам первый случай про человеческий хвактор. А вот второй. Фотограф напротив базара. Как его... имя козлиное...

– Казимир, что ли? – сказал Рыдаев.

– Так точно, он самый Казимир. Колхер ему фамилия. Натуральный жид. Иду я это летом с женой по улице Ленина. Колхер навстречу, руками машет, как пьяный, глаза красные и к тому же плюётся на все стороны. Нарушает. Доставил его в отделение для протокола. Зачем, кричит, протокол и вообще бумагу тратить? Уж сразу, кричит, надевайте кандалы! Я ему непосредственно отвечаю: не кипятитесь, гражданин фотограф, протокол – он только на вид простая бумага, а как подошьёшь её в папочку, так глядишь – уже и дело образовалось. Пиши, говорю, как нарушал, не стесняйся. Он обратно кричит: чего писать, зачем писать, как писать? А так, говорю, и пиши простым советским языком: будучи евреем, проходил я, нижепоименованный, по улице имени Владимира Ильича Ленина и плевал на эту улицу... Нет, кричит этот козёл, вам этого антисемитизма не выйдет! До горкома, кричит, дойду и не прощу вам нацизма и расизма! Врезал ему по сопатке. Успокоился он и прощения попросил...

У меня свинцово затажелел затылок и стучало в висках. Я хорошо знаю, чем это всегда кончается.

– Я человек прямой, – продолжал Говядин. – Я скажу, может быть, и глупо, но зато по-партийному. Это всё от Кагановича идёт. Хоть и железный был нарком, а вот не уважаю я этого вечного жида. Все уж давно повымерли, а этот живёт себе и живёт. Ты уж, гражданин Несчастлифшиц, извини меня за антисемитизм, но ваша порода в нашем Союзе опять власть помаленьку захватывает. Спонсоры всякие и прочая хурма. На прошлой неделе купил я на базаре у частника вроде бы свежую рыбу минтай...

– Менты минтай кушают? – удивился Изислав.

– Кушают, куда ж он денется. Так вот, купил непосредственно одно кило. Поклал в газету «Советская Россия». В автобусе всех посторонних пассажиров перепортил и сам стал склизкий, как налим. Выбросил к чёртовой матери! Это как называется?

– Фатализм, – сказал Рыдаев.

– Судьба, – сказал Несчастлифшиц.

– Ага, – сказал Сева.

Бедная Алька под скамейкой заурчала. А я спросил:

– Так кто же всё-таки виноват: частники или Каганович?

– Один хрен. Суют ихние палки в наши колёса.

– Стоп, капитан! А теперь вопрос: почему вы самих себя, то есть милицию, называете во множественном числе: органы?

– Не я придумал. Так давно заведёно.

– С Берии?

– Может, и с Берии.

– Значит, так: в единственном числе выражение «органы» звучит неприлично.

– А что вы имеете в виду? Или намекаете? Ну, тогда я не знаю, гражданин сотрудник сада... В других странах, например, народ свои органы обожает...

– Не соглашусь.

– А Берия, – подхватил Несчастлифшиц, – на иврите обозначает «общественное бедствие»!

Говядин прищурился, тяжело повёл правоохрнительный взгляд:

– Пропаганда или агитация?

И тогда я посчитал в уме до десяти и сказал, в общем, спокойно, почти равнодушно:

– Дрянь ты, хоть и товарищ капитан.

Говядин встряхнулся, помолчал, потом ответил – так же спокойно:

– Вот мы и объяснились. И я вас за такое объяснение заберу до выяснения личности. Хотя может вы и на самом деле какой-нибудь доктор Хвауст по садовому делу. А моё дело – государственное. Паспорта при себе, конечно, не имеете?

– Забери! – заорал я.

– Тихо, тихо, – сказал Рыдаев, беря меня за рукав. – Говядин слов на ветер не бросает. Всё, хватит слов. Играем, лабухи. Ну-ка, быстренько разобрались...

И сорвалась из-под смычка первая нотка. Это Несчастлифшиц сотворил её. Наш Изя. Куда до Изе даже такому авторитету, как Янош Гайош, венгерский цыган! Изя есть Изя. В единственном и неповторимом числе. У него есть всё. От еврейства, правда, всего-то и осталось, что глаза-пропасти, да рыба под коричневым соусом с изюмом, да разве что ещё маленькое и безнадежное: шолом, Израиль!.. Никаких шоломов. Здесь Изя. Здесь его белое и голубое. Здесь его Россион. Здесь и прыгай! И пусть тебе, Изя, приснится-таки цветное яблоко, молодильное райское яблочко, уж такое чтоб было райское, что райчей не бывает. А серое яблоко... Ну, сколько же раз можно повторять, что серое яблоко вообще не имеет права называться яблоком!

И Рыдаев играет... А я слушаю и думаю. Вот, правильно говорят: каждый человек имеет право иметь свою пороховницу со своим порохом. Можно добавить: и с пороком. И не стоит по этому поводу огорчаться. Надо лишь сообразить: каким манером этим пороком распорядиться, чтобы пороковладельцу на пользу пошло. Достоевский, по слухам, дорожил своей эпилепсией. И правильно делал. «Идиот» стоит той эпилепсии. Другое дело – толстый Рыдаев. Толстый маэстро Рыдаев. Иногда – брюха стесняется. Но духовик, по-рыдаевской же норме, должен быть сытым. Если он не пожрёт вдоволь, так ему и диафрагму опереть будет не на что, а коли не обопрёшь, то и звук образуется хилый. Конечно, жирного и жареного нельзя, от них на губах сальная плёнка... А в загранку Рыдаев не поедет. Вместо него на должностях «сто двадцатой скрипки» или «шестого тромбона» ездят товарищи штирлицы и штирлицины соратники, суточные у них – как у виртуозов первой категории, отдельный номер в гостиницах, свобода водку жрать и наблюдать, наблюдать...

А парковый репродуктор во тьме печальным голосом вновь обещает затяжные дожди.

«Пора?» – ещё раньше репродуктора подумала берёза. Решила: пора. И уронила первый лист. Лист оторвался от ветки и ушёл в автономное парение, в крестообразное падение, осенившее землю крестным знаменем...

в лесу

неслышен

невесом

слетает

жёлтый

лист

старинный

вальс...

Так начинается осень. Сентябрьские минусы по Цельсию. Кружатся листья, Листа играют, Несчастлифшиц искусно нащупывает мелодию, и скрипка мастера послушно изливается в обморочных пассажирах.

И подумал я: вот же оно, хрустальное имя – Ференц. Ещё чуть-чуть вина, ещё немного безысходности – и я сам, без инструмента, подберу дивную музыку: поклонюсь до земли почтительно – и подберу вот этот самый первый, резной и золочёный лист, благословивший так кротко и коротко мой одинокий сентябрь. Да только ли – мой? Ведь кто-то иной, небось, тоже поклонится и тоже возложит памятной закладкою лист на лист, жёлтый на белый, на страницу-странницу, и книжные строчки безропотно раздвинутся, уступая место ему, послу берёзы, и сойдутся они в долгом древесном родстве и братстве: лист, скрипка, книга, ничего не отрицающие, всё складывающие и отдающие человеку, книжнику этакому, который, как и они, хочет-таки говорить о родине так, чтоб было – пусть даже горько и тяжело, но чтоб – не стыдно никогда и благодарно всегда, а большего и не надо – пока...

*Да не будет пусто место
этого Листа!*

Вот так! Осенила осень – красным, жёлтым, голубым, коричневым... И славно. Будем жить в осени...

А капитан Говядин уронил голову и бормочет жалобное:

– Ей, курве, всё мало, всё мало... Шубу ей, дублёнку, польскую косметику... Хватализм, мать его в душу за ногу...

А Сева на гармошечке наяривает. Склонил голову к мехам, улыбка, точно рыбка, хвостиком виляет, будто бы и не слышит Сева, как астматически задыхается его древняя гармоза, стрекозиные глаза, пуговички перламутровые... Ладно уж. Пусть. Его дело моцартианское – играть...

*Ой, цветёт калина
В поле у ручья.
Клику Ли Сын-мана
Невлюбила я...*

В прошлом году университет по традиции бросили на копку картошки. Колхоз «Свет коммунизма» по сверхточным географическим координатам располагался посреди мировой системы социализма, а посреди «Света» имелся клуб. Правда, никакого света в клубе не было, да он и не нужен был, потому что хромой гармонист из бывших конюхов плевал на электрификацию, он регулярно подтягивал соплю и играл как бог на душу положит, а для этого не требуется электрическое освещение...

*Я любил тебя, Маланья,
До партийного собрания,
А как открылось прение –
Так изменилось мнение...*

Тогда тоже был сентябрь. Прощальный вальс берёз. И мне тогда показалось: так это же тебя, первоклассного дурака, приглашают берёзки на белый танец... Нет! Это не в «Свете коммунизма» было. Это было на другой картошке... Нет, вовсе не на картошке. Раньше картошки... Занесло с тоски на автостанцию, купил автобусный билет и уехал, куда глаза глядят. Но на самом деле они никуда не глядели. А когда начали глядеть, то оказались в Гниловой Пустыни. Деревушка. Заброшенная церквушка стоит и чудится. В трёх-четырёх домишках люди живут, в остальных проживают туристы, транзисторы... Запомнилось из пионерского детства: золотые пчёлы – символы вечности – ворочаются в густой зелёной прохладе старых лип... Нет символов. И лип нет. В древнем деревянном доме никто не жил. Дом был одинок и резонировал благородно, чутко, с достоинством виолончели, и я не стал нарушать этого покоя и поселился в такой же ничейной летней кухоньке... Рано утром я устремлялся к ничейному чайнику, растапливал ничейную печурку и выходил в ничейный двор посидеть, покурить на бревёшке. А над кухонькой из трубы завивался весёлый дым колечками, лёгкими кудряшками восходил к небесам, и если бы чуть-чуть поглупеть, до детскости или до маразма, то вполне легко можно было бы вообразить, что избушка подвешена к небу на пружинке и вибрирует, лёгкая, почти невесомая. Такое видение усиливали утренние земные испарения, в свете которых очевидные предметы дрожали, расплывались, колеблясь и струясь – оттого ли, что в силу каких-то тайных причин не желали называться своими собственными именами, то ли ещё почему-то, уж не знаю и посейчас... Внизу, сразу по тропинке через заброшенный, буйно возросший, весь взъерошенный огород, – шумела река. За ней, по ту сторону – степная даль. Там, по степи, вдоль по ветру и даже, наверное, чуток опережая его размашистые воздушные потоки, от умеренных до сильных, – ковыляли там ковыли, увлекая за собою языческие страсти в наихристианнейших сердцах и в расхристанных душах... Короткие встречи. Такие короткие, такие очарованные минуты минуют нас, не милуют, но шадят...

*Насмешили всю Европу,
Показали простоту:
Десять лет лизали жопу,
Оказалось, что не ту...*

Ах, Сева, милый Сева! Когда я впервые встретил Севу в рыдаевской бражке, Сева играл те же песенки, что и теперь: забавные, задорные, небезопасные. А вот нынче уже и в шахматишки рубится с парковыми чемпионами. Тихое, интеллигентское времяпрепровождение. Защита Каро-Канн, испанская партия, модерн Бенони, волжский гамбит, сицилианская защита... Милый Сева! Да плевать ему на то, что даже сама Каисса, богиня шахматная, не предполагала, что бархатное скольжение изящных точёных фигурок по чёрно-белому лакированному полю способно откликаться взрывами в человеческих отношениях и разделять общество не по приверженности к стилям игры, но по политическим убеждениям. Перед такими явлениями жизни бледнеет даже пример непревзойдённого Боба Фишера, бедного «рыбака», ловца чемпионов, который объявил бойкот чуть ли не всему человечеству, стал отшельником ошельмованным, но можно предположить и то, что конфликт Фишера случился только в нём самом, внутри, среди воображаемых объектов, и возможно поэтому остаётся частным делом, хотя и вызывающим публичный интерес. Другой шахматный бунтарь Виктор Корчной сражается уже не с внутренними образами, а с могущественными внешними силами, но сражается в основном за собственную личную жизнь, за жену-француженку и, наверняка, поэтому не будет долго властвовать над умами политизированных болельщиков...

*Ах ты, Ваня, милый Ваня,
Слышишь – ножик точится?
Сделай, Ваня, обрезанье,
Мне в Израиль хочется...*

А Севочка, небось, рассуждал: какую защиту ему выбрать в партии с маэстро Рыдаевым. Скандинавскую, голландскую, индийскую? Пусть порассуждает, попрактикуется в выборе. Его время ещё не пришло. Его время, возможно, только начинается со считалочки: энэ, бэнэ, ряба...

*Спутник, спутник, ты летаешь,
Ты летаешь до небес
И навеки прославляешь
Мать твою капэээс...*

Севе можно так петь. Я не могу. Моё поколение – околелое. По одно колено в окаянстве, по другое – в покаянии. Вряд ли кого уже тронут слова ёрной частушечки, поезд ушёл, прошло время, когда марши энтузиастов со строительными частушками выбивали

у одних слезу, у других мозги, кого-то – из колеи, а кого-то – из партии...

*Жопа гола, лапти в клетку,
Выполняем пятилетку...*

Это рок. Рокировка в короткую или длинную сторону. Логическое развитие шахматной, и не только шахматной, партии. Её закономерность. И тут не надобно паниковать ни пешкам, ни королям. Ни Севе. Ни даже капитану Говядину... Ишь, как пробрало его, даже прослезился, служивый...

*Ох, огурчики мои, помидорчики!
Сталин Кирова пришил
В коридор-чи-ке...*

Рокировка в политических партиях тоже есть вещь закономерная, и об этом не имело бы смысла вспоминать, если бы мы не переживали рокировочных ситуаций, истинная суть которых становится понятной лишь в закавыченном виде...

*Ленин Троцкому сказал:
– Я мешок муки достал,
Мне – кулич, тебе – маца,
Ламца-дрица-гоп-ца-ца!*

Время от времени мы начинаем что-то перестраивать. Вот это и есть: рокировка в ту сторону, куда закатилось солнце наших вечных побед. А одна большая партия уже сыграна... Возможно, – в ящик...

*Обменяли хулигана
На Луиса Корвалана...*

Ах, Сева, Сева! Это уже опасно! Проявлять чувство юмора в музыке – дело архисложное. После Доницетти, Моцарта... Кто следующий? «Триорита»?

*Уезжали мы на БАМ
С чемоданом кожаным,
А назад вернулись с БАМА
С хреном отмороженным...*

Рок и судьба. Рок и музыка. Звуки протеста. Против официального композиторства, обслуживающего стройки века. Против вранья. Это возможность внецензурного самовыражения. Не печатают – и хрен с ним, бери в руки гитару и говори, а мелодия тут дело десятое. К тому же, у многих протестантов музыкального образования хватает всего лишь на два-три аккорда, поэтической культуры – с гулькин нос. Но вот – режут же, с надрывом, от которого сердце заходится! Вот вам и рок – как синоним судьбы. А уж музыковедческие рассуждения о гносеологических корнях такого музицирования пусть являются потом, потом... После нас...

*Выходите, девки, замуж
За Ивана Кузина.
У Ивана Кузина
Большая кукурузина...*

Потом, потом... Когда будет кому вспомнить...

Гармошка поёживалась. Её знобила собственная смелость.

У Говядина вздрагивали плечи.

И когда маэстро Рыдаев приказал своей бражке «сушить вёсла», я встал и сказал:

– Друзья мои дорогие, спасибо вам за то, что вы есть у меня внутри этого города-орденоносца. Я хочу сказать вам... Я хочу сказать, пусть это будет медитация на слегка пьянственную и похмельную тему...

– Говорите, говорите, – сказал Рыдаев.

– Я сегодня, ребята, мучался несказанным. И вот теперь скажу чужими словами. Слушайте, слушайте. Из поэмы в стихах. «И даль свободного романа я сквозь магический кристалл ещё неясно различал!» Люблю эту «даль». Слово сочное, с нечаянным интересом, с прохладной кислинкой. Как яблоко по имени антоновка. Даль романа. Даль может и без романа существовать. Это и глубина, и пространство, и время, и сам человек, и даже его фамилия. Так вот, недавно я пьянствовал и подбадривал себя мыслью о том, что «даль» – самое главное слово. Но вот теперь я уже так не считаю. Пушкина сменил Баратынский. «Полный влагой искрометной зашипел ты, мой бокал! И покрыл туман приветный твой озябнувший кристалл». Теперь я кристалл люблю. И баратынский кристалл, и пушкинский. Но такая любовь меня страшит. Это же – вечность, космос, человек кристальный – это как понимать? На чёрном фоне – чёрный. На красном – красный... Получается страшная своей законченной закономерностью симметрия, многомерность и бескомпромиссная твёрдость во грехе. Се человек! Я, маэстро Рыдаев, Изислав, Сева, мой знакомый сантехник Помиранцев со всей своей водопроводной командой... Ну, кто ещё такой смелый?

– Вот, может, товарищ капитан? – подал голос Сева.

Говядин сморкался, вытирал платком глаза и молча кивал головой, согласен, дескать.

Я допил холодное вино и не стал больше ничего говорить. Зачем говорить и зачем что-то спрашивать? Изислав ответит: у вас есть глаза, так смотрите. И Рыдаев подмигнёт. И Сева улыбнётся. И Алька вздохнёт. И бог не выдаст. И свинья не съест. И всё ведь продолжится заведённым порядком, согласно логике сентябрьского дождя: до следующего свиданьяца... – выныривая в продушанные дни подобно нерпе, маленькой глазастой тюльке – от лунки до лунки – в пространстве, где всей жизни всего-то лишь на один вдох и выдох, а между ними – добрейшая домбра, и баловница-балалайка, и скрипка Изислава, и кларнет маэстро, и гармошечка, и красочно

звучащая рябина Скрябина, и синий звук ми-минора как прелюдия последних измерений жизни... Дай, дай, господь, затяжного дождя друзьям моим! Всё же это нечто существенное на тот случай, если бога не окажется рядом или вовсе нету. Может, именно тем они и спасаются, чудаки мои. Ибо: всё-всё-всё может быть, всё имеет право быть в этот дождь, в эту осень, в этом большом и неустроенном городе... Бог знает, что может быть. А бог – это, наверное, и есть то, что думают люди о вечности, равно как и то, что вечность думает о нас. Такого бога на всех хватит. Он везде и нигде. Его нельзя назвать, обозначить, опознать. С ним можно лишь совпасть. А это даётся не каждому... И – Бах с вами, друзья мои! Я встретил вас – и всё! Былое – выкрасить и выбросить!..

– Ну, что, граждане лабухи, пора расходиться, – сказал Говядин.

Он уже пришёл в подобающую чину форму, и только красные набрякшие веки оставались вещественным доказательством его нечаянной слабости.

– Да, свёртываемся, – согласился Рыдаев. – Кода.

– А вам, гражданин сотрудник сада, придётся всё-таки пройти до выяснения. Иначе поступить не могу. Служба такая, – сказал Говядин, прикладывая ладонь к козырьку.

Загудела «Триорита»...

– Успокойтесь, товарищи, – сказал я. – Я пройду. Я непременно пройду. Я прямо-таки обязан пройти!

Я понимал, чего мне так не хватало в этот вечер. Банальный случай, но, что поделаешь, если мне был нужен скандал, знакомое явление, после которого только и приходило освобождение. Скандал же должен был иметь логическое завершение.

– Сами пройдёте или как? – спросил капитан, надевая плащ.

– Или как.

– Извиняюсь, но патрульной машины нету. Кто-то колёса отвинтил, непосредственно все четыре. Ещё не нашли.

– Ладно, капитан, не будем мелочиться. Двинули пёхом.

Дождь хлестал – как из ведра.

Жизнь протекала...

ХСVII

Ещё Сочинитель бодрствует.

Уже спит Мастер, по нём кирная муха ходит.

Эксклюзивист волнуется. На его плоском лице вибрируют настроения, страсти, мнения, сомнения... – они похожи в волнении на глубинные водоросли с красивыми, но непонятными названиями на потустороннем языке. В водорослях закодировано знание. Знание подмигивает. И ещё оно щёлкает внутренним голосом.

Водоросли замерли. И лик прищурился:

– «'i'»

– Не гримасничай! Отвечай!

– (..)

– А?

– ○

– О-о-о!

... И это – высшая гармония мира? Красота! Ноль. Дырка. Пустота... Бабушка утверждала – надвое, нянькаясь с внучиком, который ещё и думать-то не думал, что такое есть Сочинитель и как с ним бороться мир будет: пусто место свято не бывает... И ещё утверждала бабушка, царствие ей небесное, крючком бесшумно шевелила в вязальных узорах, запомнилось внучику: а вот и не пустая дырочка, а будет лопаточка, а вот и осиновичек, и курья лапка, и паучок, и берёзка, наши названия, старинные, а мы, которые кружевницы, и чужих названий не чураемся, и алансоны с валансьенами у нас вывязываются, и всё пригожается из ничего сотворять красивенькое... Бабушка-рукодельница, кружевница утверждала... А мама была не рукодельница-кружевница. Она утверждала: свято место пусто не бывает. Она ещё и думать-то не думала, что такое есть мама и как с ней будет мир мириться, когда, юная и прозрачная, в пальто и валенках, в тёплой бабушкиной шали поверх заячьего треушка, послушно ходила по ледяным Эрмитажным паркетам, а рядом с ней таили дыхание постоянные тихие люди, немногие, числом три-четыре, ещё и не группа, а уже и не тяжёлое слово, военное, из учебника немецкого Глезер и Петцольд, но экскурсовод был настоящий, он выдыхал белые облачки холода, это были слова о великих живописцах Рембрандте, Рубенсе... – люди слушали и слышали, и не замечали, заслушавшись облачками, что на стенах вместо полотен висели пустые рамы... – в непамятно каком по счёту дне блокадного Ленинграда...

Лик превратился в блик, блик – в светящуюся щёлку, щёлка вспыхнула, щёлкнула и погасла. И потемнело лицо Эксклюзиаста. И, потемнев, оно матово отразило всё, что напротив. Помещение мещанина ниже среднего прожиточного уровня. Кушетка в углу, на которой спит Мастер, хозяин-барин и владыка Эксклюзиаста. На нём кирная муха спит. Но ещё бодрствует Сочинитель – в лице Эксклюзиаста. Сочинителю от первого лица видеть такое неприятно. Главное – клевета! Сочинитель держит стакан в правой руке, а тот, противоположный, попавшийся с поличным, – абсолютно в левой руке. Клевета подталкивала Сочинителя к самоанализу и выводу себя из себя. Что такое, товарищи? А вот что такое, товарищи! Вышел, представьте себе, человек из себя. Бывает? Да сплошь и рядом! Неизбежно, невольно и даже с некоторым изяществом, как это делают бог из машины, и сор из избы, и ху из ху, и известия из вест,

и изваяние из ваяния... И тут – прямо перед глазами! Мир Сочинителя стоял в лице Эксклюзиаста, который оказывался миром как бы не с той ноги, однако пить влагу одновременно из двух рук двумя стаканами одним ртом – это уже не фантастика с философией, но Центроспас великодушный и солидарная смычка двух и более миров – единым духом, махом, залпом, в упор и навывлет. И такая вселенская дружба разлилась вдруг в пространстве – плакать хочется! И такой сразу разумный, резонный и семижды-семисезонный мир образовался! Он: встал, потянулся, зевнул, пошёл, отлил, попил, умылся, вышел, втиснулся, заплатил, задел, извинился, пришёл, поздоровался, взял, покрутил, вставил, забил, пожевал, покурил, рассказал, поработал, отдохнул, посмеялся, попросился, вернулся, включил, налил, закусил, задремал, уснул... Он: внук, сын, брат, племянник, ученик, пионер, комсомолец, выпускник, отличник боевой и политической подготовки, жених, муж, отец, дядя, деверь, токарь шестого разряда, ударник комтруда, член профсоюза и школьного родительского комитета, клиент, пациент, покупатель, радиослушатель, друг, товарищ, приятель, сосед, зритель, посетитель, болельщик, читатель, пассажир, гражданин, ханыга, участник, свидетель, козёл... Он: сосущий, орущий, счастливый, простой, советский, рядовой, ленивый, новобрачный, старательный, вальсирующий, виноватый, выполнивший, перевыполнивший, нажравшийся, сонный, вдохновлённый, упорный, опоздавший, опять опоздавший, загорелый, угорелый, сытый, загадавший, трезвый, фактический, физический, полный, круглый, тихий, спокойный... Он: многочлен, членистоногий многостаночник, везде член, а толку хрен, весь в ролях, как в репьях, весь в приличных таинствах происхождения под звездой, состояния при полумесяце, расположения под крестом, весь и везде в езде в тех ролях, на тех роликах-ноликах, вечный должник, плачущий Вам и смеющийся Вам... А заче-е-е-ем? Затем! Главный и вечный вопрос человеческих факторов социализма, капитализма, НАТО, СЕАТО, Варшавского Договора, Совета безопасности ООН, развивающихся стран, в том числе и деда Молитвина, в общем, вопрос интересный: «Познаваем ли бесконечный мир?» – отныне, после полуночи и во веки веков перестал быть главным и вечным, он исчез, он прекратил своё существование как вопрос, потому что его любопытное место занял ответ очевидный: да, да и ещё раз да! мама, не горюй! всё зависит от точки зрения, то есть – смотря как посмотреть, не смотря ни на что, разве что на ночь глядя. Нет, нет и нет! Не одиноки мы во Вселенной. В великой множественности миров выпала землякам долька... Спокойно! Возьмём карандашик и бумажку. Посчитаем. Любой земляк через восемь поколений становится предком двухсот пятидесяти шести родственников. Так! А через тридцать поколений? Миллион! И – что? А то! Родная мать не отличила бы Пушкина от римского императора и мыслителя Марка Аврелия. И – что? А то! Не будет мать-природа держать все яйца, изначальное ab ovo, в одной корзине. И поэтому – не горюй, мама, бывшая бабушка-кружевница! В великой множественности миров

– спасительная картина: «Опять двойка!» В той безумно далёкой, вселенской, фиолетовой двойке – другое помещение мещанина; и точно такой же там Эксклюзиаст; и бородастый Достоевский с двойным дном, бездонный писатель, которого сочинили его же литературные герои; и второй спящий Мастер, по которому ходит кирная муха в поисках аналога; и другой такой же Сочинитель, пусть даже он пьёт стаканом с левой руки, это не имеет решающего значения и не играет главной роли, может, ролик у него такой, привычка, сподручная его пониманию, открытию и закрытию мира... Всё! И не надо ля-ля. И не будем сгущать краски. За нас это сделает вечер. Он же, участливый, и напомнит: да здесь я, здесь, туточки, рядышком, и ты, один, – не один! Это греет, удобряет, одобряет и ободряет. Этаким верный требник: до востребования, везде и всегда...

ХСVIII

ТЛГ СРОЧНО ХИБАРОВСКИЙ КРАЙ ГОРОД ХИБАРОВСК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ АВГУСТЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ ТЧК ДОРОГАЯ АВГУСТА ЗПТ МЫ ПОЛУЧИЛИ ТВОЮ ТЕЛЕГРАММУ ПРО ВАНЮ ЧТО ОН НАКРЫЛСЯ И МЫ СНАЧАЛА ПОДУМАЛИ НЕ ПРО ТО ЧТО НАДО ЗПТ НО ПОТОМ ВСЁ ПОНЯЛИ ЧТО К ЧЕМУ ВСКЛЦ ТАК ЧТО ТЫ АВГУСТА НЕ СОМНЕВАЙСЯ ВСКЛЦ МЫ ГОТОВИМСЯ СКАЗАТЬ ВАНЕ СВОЁ ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ПРОСТИ ТЧК КОРОЧЕ КРАСИМСЯ И КАПИТАЛЬНО РЕМОНТИРУЕМСЯ ТЧК В ЦАРСТВО СВОБОДЫ ДОРОГУ ГРУДЬЮ ПРОЛОЖИМ СЕБЕ И ВАНЕ ВСКЛЦ ПЕРЕД ГРУДНЫМ ФАКТОМ НИКТО НЕ УСТОИТ ВСКЛЦ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ИМЕЕМ СИНИЙ ПЛАТОЧЕК ВСКЛЦ ТЫ ВСЁ ПОНЯЛА ИЛИ НЕ ВСЁ ПОНЯЛА ВПРСТ ПЕРЕДАЙ ВАНЕ НАШ ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ ВСКЛЦ КРЕПИСЬ БОЕВАЯ ПОДРУГА ЖДАТЬ ОСТАЛОСЬ НЕДОЛГО ВСКЛЦ ТАНЯ ТЧК

ТЛГ СРОЧНО ХИБАРОВСКИЙ КРАЙ ХИБАРОВСКИЙ РАЙОН ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОЕННЫЙ ГОРОДОК ТАНЕ И ВСЕМУ ЛИЧНОМУ СОСТАВУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ТЧК ВАШ НАМЁК ПОНЯЛА ХОРОШО ТЧК ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ НЕ ОЧЕНЬ ЗПТ НО УЖЕ НЕМНОЖКО ЛУЧШЕ ЗПТ ЧЕМ БЫЛО ТЧК ЖДЁМ ВСКЛЦ ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ ВСКЛЦ ВЫ МЕНЯ ПОНЯЛИ ВПРСТ ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС ВСЕХ С НАШИМ ДНЁМ ТАНКИСТОВ ЗПТ ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ И ЛЮБВИ В БОЕВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ВСКЛЦ ВАША БОЕВАЯ ПОДРУГА И ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА АВГУСТА ТЧК

ХСIX

Хрустальная и суровая пронзила миры миров тайна. Лёгкие и весёлые кружат вокруг неё пылинки. А в пылинках как бы и вовсе нет никакой тайны. Пылинка – и всё тут сказано, короче звука, произнесённого о ней самой. И нет слова, как и дела нет, Оку всевидящему,

овалу совершенному в треугольнике погрешностей сотворённого послесловия, – и дела нет, как и слова нет, до каждой отдельной пылинки, вьющейся по законам чужого дыхания: вдох – выдох, вздох – здох, вход – выход, вдох – выдох... – от острия хрустального и сурового вдоль да по млечно-путевой, земцовой-творцовой – спиралью: *spira, srego, дыши, надейся, а дух веет, где хочет, заведомым предисловием к разумно сказанному, скрижально обречённому: spiritus flat ubi vult...* Ни слова, ни звука, а – зря. И только. И в зрении оном – одна из сонма галактик, в той галактике – одна из многих систем по имени Солнечная, в ней – планета Земля, на планете – вода, вода, кругом вода, из воды выглядывает материк Евразия, на материке расположилось государство людей Союз Советских Социалистических Республик, и Хибаровский край с Хибаровским районом, и почтовое отделение Военный городок, в центре городка лоснится асфальтированная площадка с деревянной трибуной и мачтой с красным флагом, а напротив трибуны – бетонный постамент с зелёным танком Т-34, и маленькая женщина в чёрном комбинезоне, с голубым платочком на голове – чистой мягкой тряпочкой стирает женщина с весёлой утренней брони последнюю, как ей кажется, случайную пылинку, залетевшую по воле волнения предрассветной атмосферы, и нет в той маленькой женщине ни космологического интереса к пылинке, ни подобострастия пред грозной боевой машиной, наоборот, обхождение домашнее, почти кухонное, посудомоечное, да ещё и песенка при таком техобслуживании сугубо штатская:

*Для того, кто любит, трудных нет загадок,
Для того, кто любит, все они просты.
У меня есть сердце, а у сердца песня,
А у песни тайна, тайна эта – ты...*

С ума сойти, как всё это далеко-далёко от Ока, которое видит всё!

Вот и хочется приспособить свою сумасшедшинку к тому, что рядом, до чего дотронуться можно, но не к летучей пылинке с её метафизикой, а к весомому, грубому, зримому, к основательному, и почему бы – не танк «тридцатьчетвёрка»? тем более – всегда под рукой! Он ведь даже не защитно-зелёный, он бирюзовый, другой краски в продаже не нашлось. Весёлый, бирюзовый, на башне танковая живопись цинковыми белилами: «Синий платочек». В праздничный День танкистов над башенным люком укрепляется древко с тяжёлым знаменем, плюшевым, бордовым, с золотыми кисточками, и весёлый танк, умытый хозяйственным мылом, сбрызнутый, где надо, лаком для волос, чистенький, смазанный, где надо, маслом для швейных машинок типа «Зингер», – нарядный, он не выглядит суровым воякой, и остаётся стоять таким, как есть, и там, где надо этим маленьким женщинам и их ребятишкам. Он стоит и думает... Нет, он просто стоит

и не думает. Танки не думают. Танки идут ромбом, но не думают, за них это делают экипажи. Но танки помнят. Броня крепка, и память в ней тяжёлая, и у этого, весёлого, бирюзового... – как под Прохоровкой из него вываливались горящие люди с ножами в руках и кидались на других таких же горящих людей из других танков... как они размаживали траками разлетевшихся гусениц, крошили друг другу черепа, враг врагу... как ломами и сапёрными лопатками выковыривали мясо и кости из ходовой части чудом спасённой машины... – помнит. Но если кому-то уж очень хочется думать, что танк думает, то пусть он думает, нет в том греха: стреляю, дескать, и думаю – до чего же хорошая, эта самая советская власть! Возможно, так. Возможно, иначе. Но уж броней-то определённо чувствует, как человек кожей: как хорошо, как славно, как весело, когда тебя гладят ладонью, когда мимо маршируют маленькие женщины с ребятишками и стройными голосами чеканят шаги по асфальтовой ухоженной площадке:

*Гремя броней, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда суровый день войны настанет
И нас в атаку Родина пошлёт!*

Потом те же женщины говорят: лишь бы не было войны. Никакой логики. И весёлый танк – тоже нелогично. Памятники вообще лишены логики. Но ему ничего другого не остаётся, как стоять и думать думать. И ничего не поделаешь, если дума тяжёлая. Она ж бронетанковая! А танки на постаментах – это тоже судьба, не из лёгких. К старости прибавляются новости. И у бирюзового на постаменте тоже случится неожиданная приятность как персональный подарок от народа-победителя в этот праздничный день.

В 14.00, согласно плана проведения выходного дня, мимо «тридцатьчетвёрки» процокает на несерьёзных каблучках маленькая колонна людей, а потом два мальчика в юнармейской форме встанут в почётный караул, а потом генерал-шеф из штаба Военного округа и командир полка Татьяна Ивановна Хлюстакова будут долго ходить вокруг танка и разговаривать, генерал станет гладить ладонью броню и даст Татьяне Ивановне честное бронетанковое слово оказать всемерную помощь и сделать всё возможное и от него зависящее, чтобы поставить боевую машину на «полный вперёд!», и Татьяна Ивановна с девчачьим визгом станет выносить благодарность заслуженному генералу за активное участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, а генерал снимет фуражку с чёрным бархатным околышем и будет скрипеть зубами от военной памяти, и будет вытирать носовым платком шефские слёзы на глазах, и Татьяна Ивановна заплачет тоже, не ради дружбы и солидарности, ради памяти, а вскоре приедут на электричке из города, как раз к торжественному обеду, два ветерана-фронтовика с медалями на пиджаках, Фома и Лазарь,

инвалиды, у одного левой ноги нет, у другого правой, приковыляют и сойдутся с генералом в охапочку, потом будут несколько раз выпивать фронтовые сто грамм и кушать гречневую кашу с говяжьей тушёной от Улан-Удэнского мясокомбината, и генерал назначит Фому и Лазаря внештатными военпредами бронетанкового управления штаба округа по ремонту и техобслуживанию вверенной боевой техники, чтобы кровь из носу – а через месяц машина была как новенькая, штаб округа поможет, пришлёт запчасти, новый двигатель и даже специалиста-ремонтника из секретного цеха комбайнового завода, для подрастающего поколения ничего не жалко, и новую стиральную машину «Вятка» для прачечной пришлём, а также новые манометры для котельной, и овощечистку для пищеблока, и вообще, Татьяна Ивановна, уймите ваши слёзы, это наш долг, штаб подумает в смысле дополнительного вещевого довольствия и продовольственного снабжения, чтобы подрастающее поколение ни в чём не нуждалось, для него живём, за них ведь воевали и кровь проливали... – а потом они, три танкиста, три весёлых друга, а с ними и маленькая женщина Татьяна Ивановна, начальница этого странного гарнизона, пойдут по асфальтовой дорожке, по бокам аютины глазки и оранжевые ноготки цветут окончательным сентябрьским цветом, и придут прямо к «Военной присяге» на деревянном щите, нарисованы на нём пехотинец, матрос и лётчик под красным знаменем, воины суровые, и текст такой же: «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Вооружённых Сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников. Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей Советской Родине и Советскому правительству. Я всегда готов по приказу Советского правительства выступить на защиту моей Родины – Союза Советских Социалистических Республик и, как воин Вооружённых Сил, я клянусь защищать её мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами. Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся. Утверждено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1960 года»... – ветераны отдадут присяге честь и пойдут дальше под водительством Татьяны Ивановны, генерал посередке идёт, двух солдат под руки поддерживает, и вступят в клуб, на сцене расположится хор, шесть мальчиков, семь девочек и с десятков маленьких женщин в синих платочках, и гармонистка с «полухромкой» тульского производства на коленях, меха у ней малиновые, кнопки перламутровые, и песня такая молодая, что уже и старая, ещё довоенная:

*Осень, прозрачное утро,
Небо как будто в тумане,
Даль из тонов перламутра
Солнце холодное ранит.
Не уходи, тебя я умоляю,
Слова любви стократ я повторю.
Пусть осень у дверей, я это твёрдо знаю,
Но всё ж не уходи, тебе я говорю.
Наш уголок нам никогда не тесен...*

А потом они уедут всё ж таки, люди служивые, повезёт генерал в город двух солдат на чёрной генеральской «Волге», а маленькая женщина Татьяна Ивановна останется на месте дислокации с маленькими женщинами, с шестью мальчиками и семью девочками, все довольные, счастливые от праздника, проведённого с пользой для Отечества и личной жизни, и перед отбоем в мальчиковой спальне и в девочкиной спальне ответственные мамы станут рассказывать личному составу на сон грядущий – каждая рассказывать своё, но в общем полезное весьма как для личной жизни, так и для Отечества. Станет рассказывать Раиса Максимовна мальчикам про Лопушка: что жил-был Лопушок, и все его дразнили: «Шляпа, шляпа!», а Лопушок обижался и отвечал: «А вы... а вы...» – возмущался так Лопушок, но у него вответные обзывалки не получались, он не знал дразнильных слов, а придумывать новые не умел, воспитание не позволяло, а ведь это было очень правильное воспитание, культурное, чтобы всегда быть вежливым, не допускать самому и удерживать других от нарушений общественного порядка и всемерно содействовать защите чести и достоинства граждан – параграф третий главы первой Дисциплинарного устава Вооружённых Сил! вопросы есть? вопросов нет, спокойной ночи, мальчики... А Мария Ильинична в это же время в другом спальном помещении, для девочек, станет рассказывать про певчую птичку, жившую в клетке, пела та птичка на радость себе и хозяину, и ничего иного, тем более дефицитного, той птичке для жизни не требовалось, всего-то и была надобность в одном зёрнышке и в одной капельке воды на весь день, и вот ушёл однажды из дому хозяин и на несколько суток задержался на сверхурочной работе, вернулся домой, а в клетке лежит мёртвая птичка, забыл хозяин оставить для своей певуны такую малость: несколько зёрнышек и несколько капелек воды, а что нам говорит параграф двадцать пятый Устава гарнизонной и караульной служб? он говорит нам про заботу о быте, тут даже вопросов нет и быть не может, помните о том и спокойной вам ночи, девочки... А уж после отбоя устроит Татьяна Ивановна военный женсовет: что дальше делать будем, боевые подруги? Например, жил-был крот, который жил-был не по понятиям. Характер у крота должен быть кротким, а он вытворял всякое нехарактерное. Спрашивается, для чего? Для того, чтобы хранить и беречь, как зеницу ока, жизнь и благополучие вверенной ему семьи, священный долг, и мы не хуже крота, и нам надо учесть, что с

завтрашнего же дня наши мальчики преобразуются в кадетский корпус для подготовки к поступлению в Суворовские училища, прямая дорога в офицеры, а для девочек устраиваем техникум благородных девиц без никакой строевой подготовки, она, конечно, снимает нервное напряжение, спору нет, но для наших девочек пора вводить дефиле, как по телевизору показывают, и ещё будут балльные танцы, как по телевизору, господа, помощи нанять настоящего учителя танцев на общественных началах! всё ж сами, сами, а этот Иван Александрович... да уж, боевые подруги, мать есть мать, мать воочию узришь, а отец неведом, прямо-таки не Иван Александрович, а какой-то отец небесный получается, ребятишки спрашивают – один ответ им: папа выполняет ответственное задание партии и правительства, военная и государственная тайна, а мы здесь кто, спрашивается? не тайна? советская литература учит: женщина сама по себе есть тайна, покруче военной и государственной, кончилась тайна – и нету женщины, вот только эта литература не всё проясняет в этом вопросе, имеется противоречие, например, быть тайной – это одно, а хранить её – это ж совсем другое, имейте в виду, боевые подруги, наше дело правое, мы победим, ну, что ты улыбаешься, Анфилада? нет, вы только посмотрите на неё, сидит вся и светится!..

Да, сидит вся и светится Анфилада, молчит и улыбается Анфилада, маленькая женщина с большим животом. Слово произнесённое понесла Анфилада, слово-загадку: по-нес-ла. Куда? А туда же, вдоль по тайне, дальше и дальше, сквозь пылинки миров, к самому кончику хрустальной иглы.

Вот что случится в красный день, День танкистов, во второе воскресенье сентября, на заре которого Татьяна Ивановна стирала мягкой тряпочкой последнюю пылинку с танковой брони.

С

Жизнь хибаровская, между тем, подвигалась своим чередом как во внутреннем плане, так и в международном разрезе. Центральные теле-новости начинались с музыкальной заставки композитора Свиридова «Время, вперёд!»: крутился на голубом экране земной шар, на котором красной звёздочкой отмечена Москва, из звёздочки взмывала ракета, делала несколько мелодичных оборотов вокруг планеты и вонзалась в город Вашингтон, Соединённые Штаты Америка.

Секундочки, с которыми считаются даже кошки высотного дома №13-бис, играют в дочки-матери с вечностью, играют и играют, и доигрались... Дни стали всё короче и короче. Событиям дня всё теснее становится в дне, и они, поначалу ещё надеявшиеся на общественное благоразумное упорядочение, в конце концов махнули на житьё-бытьё календарным листиком-хвостиком и стали исчезать одно за другим на дне дня, а те из них, которые сумели приспособиться к сентябрьским беспределам, перешли почти на телеграфный стиль существования.

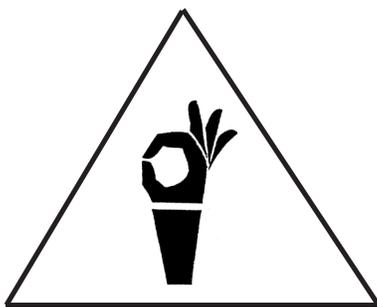
Медвытрезвитель после пожара восстановили. Провели митинг. Перекусили красную ленточку. С речами выступили новый начальник учреждения старший лейтенант милиции Быков и старейшины, ветераны войны с пьянством и алкоголизмом. Чистенькие, умытые, принаряженные и даже выбритые, кое-кто умудрился галстуки нацепить, они стекались сюда со всего города и его окрестностей. Потом, как водится, банкет. К вечеру гостеприимное учреждение гудело, светилося и вздрагивало. Гости всё подходили, причём, не по одиночке, а в организованном порядке, целыми компаниями, с питьём и закуской. Штатным сотрудникам вежливо сказали: «Чего вам тут мучиться? Ступайте, товарищи, отдыхать по домам, мы здесь сами с собой управимся и противопожарную безопасность обеспечим. А уж завтра, к девяти ноль-ноль – добро пожаловать на службу, как штыки-огурчики. Понятно?» Сотрудники сказали, что понятно – и остались гулять до утра. А после утра весь народ мирно и вежливо, уступая друг другу место и пропуская вперёд сотрудников, разошёлся по камерам.

Минводхоз СССР утвердил смету на поворот р. Куды, точнее, на строительство канала, который, по проекту, направит речные воды вокруг Серого Дома с ближайшими окрестностями и, в завершение круга, аккуратно вернёт те воды в прежнее русло. В окольцованной таким образом суши образуется мемориальный комплекс, условно названный проектировщиками Островом Сокровищ Коммунизма. Прошёл митинг с оркестром. Фотопавильон Бельды на Набережной сковырнули к чёртовой матери экскаватором, и на этом месте размолотили пневмомолотками асфальт, до самой природной почвы, и персек Сытников копнул лопатой землю: символическое начало великой стройки. Лопату запечатали в крафт-мешок и ухнули в бездонный схрон для будущих поколений под памятником Серебряному Ленину. Из схрона что-то материлось тонким голосом. Утром следующего дня на постаменте памятника была обнаружена бумага, придавленная камушком, с текстом следующего содержания: «Граждане!!! Скоко можно? Кидают и кидают, и фсё по башке! Между прочем, на сигаретах пишут, што куренье вредит вашему здоровью. Почиму на лопатах такова не пишут?» Чья бумага и кто её подбросил к подножию вождя – осталось неизвестным.

И ещё был негативный момент. Немногочисленные граждане выразили недовольство проектом Острова. Так называемые «десять негритят», метко окрещённые городским населением, демонстративно ходили вокруг фонтана на центральной Площади Падших Борцов с плакатом «Когда кончится время молчаливого страдания?», причём один из них, по фамилии Смоковницын, неоднократно снимал штаны и показывал публике, в том числе женщинам и детям, обширный синяк на заднице. По слухам, этот так называемый правозащитник Смоковницын пострадал по одной статье, но его обвиняют совсем по другой, неполитической и аморальной.

Территорию великой стройки огородили непроницаемым железом

бетоном с кокетливой калиточкой. На калиточке неведомо как возник фанерный знак:



Оппоненты скисли. Диссиденты воспряли. Интеллигенты пошли в народ с объяснениями рукотворного знамения и снова раскололись на правых и неправых: одни утверждали, что явленная распальцовка обозначает американский окей, кушайте на здоровье! – и вздымали большой палец на равнодушный римско-русский манер; другие возражали со знаком языческой фиги: накося, выкуси! ваш неодушевленный американский ОК накрылся нашим одушевленным Островом Коммунизма!...

И ещё слухи циркулируют вокруг фонтана: в профсоюзах творится не совсем правильное понимание приводного ремня.

Дальше. Дальше – рынок. Дары осени: красные, жёлтые, зелёные. Все – пахучие. Куль картошки пока что держится в прошлогодней цене. С утра уже грустный безногий, на шарикоподшипниках, интернациональный должник по кличке Утюг с медалью «От благодарного ближневосточного народа» взывает к справедливости: «Маня! – кричит. – Маня!» И Маня, конечно, выглядывает из ларька: «Как водку жрать – так с однополчанцами! А как опохмеляться – так Маня, Маня! Маньяк ты у меня, а не Ваня... Рули сюда!»

Пляшет цыганёнок в кругу зевак. Ему хлопают, он сердится, сверкая зубами: зачем хлопать, деньги давай! На желдорвокзале таборятся его странствующие соплеменники.

Кстати, в эти же дни в Доме офицеров прошёл концерт цыганского ансамбля «Ромэн» из Москвы. Так вот, странствующие откупили ползала и сидели, прихлопывая и подпевая столичным артистам, а после антракта стихийно заполонили сцену – и получилось как бы очень хорошо, как бы смычка искусства с текущей жизнью, но начальник Дома офицеров момента не уловил, вызвал милицию, был крупный шум, однако никто так и не выяснил толком, что случилось: то ли срыв мероприятия, то ли смычка.

А ещё цирк приехал! Бурый медведь на велосипеде. Жонглёр. Два клоуна. Ученик чародея в чёрном плаще с серебряными звёздами... Его представление было не очень вразумительным. Что светлое будущее кипит счастьем – это и без него ясно. Но дальше – полный туман: якобы, пошёл ученик за сказкою, но оказался, что пришёл с ревизией счастья на душу населения, вот и вся тут ревизская сказка, и ничего смешного... Даже странно.

Хорошо известного сантехника Кувыкина привлекли: за злостное хищение чугунных крышек от канализационных люков. И почётные грамоты не помогли Кувыкину. И остались Сочинитель с Помиранцевым вдвоём в сантехподвале, Каптанка с детьми не в счёт, семеро смелых подросли и по-взрослому носятся в окрестностях день-деньской, правда, к вечеру возвращаются и приносят матери пропитание.

– Пагубная страсть, – говорит Помиранцев, – это коллекционирование крышек. Мы же ведь предупреждали Кувыкина.

– Крышки крышкам рознь, – философствует Сочинитель. – Надо, Семён Семёныч, идти выручать коллегу, на поруки брать, а не просто так сидеть и грустить.

– А как же не грустить? Я вот, например, вчера захожу в автобус, смотрю – девка сидит. Молодая, красивая, всё на месте. И чёрт меня дёрнул. Взял я и подмигнул.

– А девка что?

– Встала. Мне место уступила. По старости.

– Да уж, Семёныч, старость не радость. Пришла, значит.

– Пришла, пришла... А я и не заметил – как.

– А она, Семёныч, всегда такая, незаметная...

Собственно говоря, ничего особенно замечательного в эти дни в Кошкином Доме не стряслось. Разве что – кое что. Рано утром был замечен железный поток, извивающаяся живая лента, исходившая из дома. Это скорпионы колонной уходили на юг, в родную Монголию, к Гуррагче. Жили они здесь, жили, и вот, не выдюжили, выходит. А ещё две неопознанные кошки сидели в пустом оконном проёме шестого этажа. Одна кошка драная, видать, плохая. Другая пушистенякая, хорошая. Сидели они и плевали вниз, на прохожих. Плохая попала три раза, а хорошая – пять. И так добро победило зло в принципиальном животном споре.

Сюжет с кошками заснял кинокамерой Арнольд Иннокентьевич Бефстроганов. Он оставался безработным, и это уже начинало его радовать. Он даже в приступе первоначальной радости придумал лозунг текущей жизни и нарисовал на кусочке ватмана:



А когда нарисовал, так и вовсе воспрял духом. От этого самодельного транспаранта с фольклорным мотивом на версту наносило оптимизмом. Арнольд Иннокентьевич решил поместить оптимизм

– чтоб фундаментально, на веки вечные! – на самом видном, на самом подходящем месте: в прихожей, на стеночке у входной двери – ради ежедневного нравоучительного созерцания, выходишь – видишь, приходишь – видишь! Спустился в сантехподвал. Помиранцев выдал ему кувалду и специальный гвоздь из сверхзакалённой стали, которыми из спецпистолета выстреливают в бетон. И Арнольд Иннокентьевич стал приколачивать свой лозунг к стене... Дом сотрясался. Гвоздь не гнулся. Стена не поддавалась. Кувалда в ручке переломилась. Хороший был гвоздь! И стена тоже ничего себе! Арнольд Иннокентьевич, взмокший и намахавшийся, плюнул, попал в стену, она вздрогнула и рухнула – торжественно, стоймя, целиком и полностью, всей монолитной внутриквартирной панелью...

А ещё нельзя не коснуться системы образования. Ведь там – наше будущее. Что это будущее делает в настоящее время? В настоящее время будущее сидит за партами и слушает.

Старший класс. Урок географии. У географической учительницы Розы Константиновны причёска и белый воротничок стоечкой, как у народоволки.

– В очередной раз, – говорит она, – мы отмечаем день осеннего равноденствия, двадцать третье сентября, весьма знаменательную астрономическую и географическую дату, с которой тесно связаны многие природные процессы и явления. Прежде всего, это начало перехода от летнего сезона к осеннему, когда средняя суточная температура воздуха опускается ниже плюс десяти и до нуля градусов по Цельсию. Осень вступает в свои права. Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин так охарактеризовал это время: «Унылая пора! Очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса! Люблю я пышное природы увяданье, В багрец и золото одетые леса!» В этот день наша голубая планета Земля, совершающая вращение вокруг своей воображаемой оси, мысленно проведённой через полюсы, и движение вокруг Солнца, в очередной раз находится в таком интересном положении... Сидоров, не хмыкай!.. в положении, когда земная ось нейтральна к Солнцу и занимает вертикальное положение. В этом случае солнечные лучи, несущие тепловую энергию на земную поверхность, отвесно падают на экватор...

– Отвесно? – спрашивает Сидоров.

– Да, именно так.

– Это ж надо... – задумчиво говорит Сидоров.

– Надо, Сидоров, надо. Итак, в результате северное и южное полушария одинаково освещены до полюсов. Свет и тьма, день и ночь в это время разделяются поровну, по двенадцать часов. Полушария меняются сезонами года, в северном полушарии торжествует осень, а в южном... что у нас торжествует в южном, Сидоров?

– А я знаю? – возмущается Сидоров.

– В южном полушарии торжествует весна, Сидоров. На широте Хибаровска, расположенного на пятидесяти двух градусах семнадцати

минутах северной широты, высота Солнца над горизонтом в день осеннего равноденствия составляет тридцать семь градусов сорок три минуты, а в северной части нашего Краснознамённого края – двадцать пять градусов сорок пять минут... Что ты хочешь спросить, Викулова?

– Роза Константиновна, можно я пересяду от Сидорова. Он ко мне под фартук лезет.

– Я больше не буду! – возмутился Сидоров.

– Сидоров! Не отвлекайся от урока, Сидоров! Поверь мне, Сидоров, как опытному педагогу с сорокавосемилетним трудовым стажем и отличнику народного просвещения, что под фартуком нет ничего интересного. А самое интересное, дети, в том, что продолжительность дня после осеннего равноденствия будет убывать и к концу сентября составит одиннадцать часов тридцать минут, а к концу октября – девять часов двадцать минут... Яровая Настя, может быть, ты с нами поделишься, что такое интересное ты видишь за окном? Может быть, там написано что-то из школьной программы? Может, ты вспомнишь, Яровая, когда у нас был день весеннего равноденствия?

– Двадцать первого марта, Роза Константиновна.

– Правильно. Записываем дальше. Средняя месячная температура воздуха в Хибаровске в сентябре плюс восемь и одна десятая градуса, а в октябре будет плюс ноль целых пять десятых градуса, повысится атмосферное давление, возрастет прозрачность атмосферы. Появет и пожухнет травяной покров. Закладываются почки ягодных кустарников. Животные активно готовятся к предстоящей зиме, накапливают жир, ложатся в спячку, меняют окрас. В тёплые края улетают журавли, утки и гуси. У нас остаются на зиму синицы, чечеты, снегири и свиристели... Яровая, не гляди в окно! Пиши!

– Я пишу, Роза Константиновна.

– Пиши, пиши. В конце урока дежурный по классу соберёт тетради. Посмотрим, что вы там такое понаписали горе луковое...

Да пишет же, пишет она, Яровая Анастасия. Пишет нечто о слове, которое пришло на ум...

... то самое единственное явление, а значит и слово – если про-изнести его отрывисто, на выдохе, да не забыть сделать тягучий вдох... Межсезонье. Послесезонье. Досезонье. По-русски это – времена года. Обязательные Чайковский, Бунин, Пушкин. Но разве уж так нехороши звучащие на французский манер – французский, наверное, потому что дягилевские, русские в Париже – сезоны? Ведь все времена года в звучании своём на одно лицо. Но – движение к сезонам – через пространство межсезонья. Но – моменты межсезонья – среди круговращения сезонов. До. После. Меж. Межа с пожухлым жнивьем. Вынужденное крестьянство современного горожанина? Или всё-таки загадочная Психея «а ля рюс» со знаком вопроса? А ведь с греческого она не только душа, но и дыхание. Вздыхание деревьев, вздох облаков,

вдохновение человека. Обильный урожай. И листьёв, и листов. Плоды труда. После. Летние будни в сотворении будущего урожая, который холят, лелеют, оберегают. Взрачивают, отирая пот со лба. Трудно даются плоды. Но с приходом межсезонья должны они воздать сторицей. Потому как – урожай. И будут свежо и сладко пахнуть яблоки в корзинах. И станет дождём сыпаться зерно с ладоней. И слова стихов вознесутся, как звуки музыки – пусть и «Времена года», а не сезоны на французский манер... И заплетут просохший лук в тяжёлые золотистые косы. А зимой станут отрывать по луковке, счищать шелуху, резать мелко, плакать и приговаривать: «Горюшко ты моё луковое...» А нету того горя, нету! Это приговорка просто. То самое единственное явление, а значит и слово – осень. И здесь вся я. От А до Я. Анастасия Яровая...

И когда дежурный по классу собирал тетради для учительской ревизии, Яровая Анастасия аккуратно вырвала листочек и сдала чистую тетрадь. А листочек в её руках сделался голубем и улетел в форточку – в плюс восемь и одна десятая градуса по-Цельсию, впрочем, никто его и не ждёт, того голубя: ни рафинированные литературные критики, ни редакторы толстых журналов, идейно преданные органами печати, ни малость одичавший российский читатель с глазами, разбегающимися перед неисповедимым оправданием проповеди и заповеди, исповеди и отповеди – равно... – в сторону кипучего будня великих строек, в сторону тишайшего кладбища, города мёртвых, в смиренной пограничной земле коего творится набурнейшая азотная жизнь, и в сторону Моря, возлюбленного Розой Константиновной с народовольческой страстью, в сторону прощающей птицы, в сторону Фета...

*Как грустны пасмурные дни
Беззвучной осени и хладной!
Какой истомой безотрадной
К нам в душу просятся они!..*

**ПРО ЭТО И ПРО
ФЕТА-ПОЭТА**

Однажды он признался: «Прямо смотрю я из времени в вечность».

И я задумался.

Потом он говорил о заре и о красоте: «Там человек сгорел».

И я вздрогнул.

Потом он написал простенькое, как капля воды:

*Осыпал лес свои вершины,
Сад обнажил своё чело,
Дохнул сентябрь, и георгины
Дыханьем ночи обожгло...*

И я заплакал так, как первоклассник плачет над первой двойкой.

А тут ещё Вадим Мошонкин с Саввой Савушкиным отчебучили!

Парторганизация Жёлтого Дома рассмотрела историю Мошонкина-Савушкина, но так и не приняла никакого решения по вопросу отчебучивания. Одни члены партии говорили, что поведение обоих товарищей есть подрыв авторитета Жёлтого Дома. Другие члены утверждали наоборотное. Третьи отмалчивались, ссылаясь на собственную неподкованность в научных делах. Проступок, в общем, малопонятный, связанный с теорией относительности и математического ожидания. А что это такое? И есть ли оно такое, ожидание?

– Есть! – возбуждённо кричал некто Подгузников, лицо историческое. – Есть! Всеобщее и полное! Жида придумали!

Ему не поверили. А Изя Несчастлифшиц грустно посмотрел на Подгузникова и ушёл играть на скрипке всеобщего Паганини – между прочим, без предварительной подготовки, что называется, с листа.

А тут и Сочинитель заявился с улицы в стерильное помещение с передачкой для Мошонкина, а Мошонкина-то и нету...

СИ

Явился Сочинитель в Жёлтый Дом со специальной передачей для Мошонкина, который на последнем свидании умолял срочно, экстренно, молнией-таки разыскать и принести нужную книжку по высшей математике Кудрявцева и Демидовича.

Молнией не получилось, но – разыскал и принёс.

А дежурный вахтёр, инвалид безногий Лазарь руками развёл:

– Нету вашего Мошонкина. И Савушкина с ним нету. Уже четыре дня как ушли на волю. Главврач рвёт и мечет. Мне выговор. А доктор Архимедик Штукарский так переживает, что домой не уходит и в кабинете, бедный, ночует...

Сочинитель одолжил у Лазаря белый халат и пошёл по покоям, разбираться.

Голубчики подсказывали, что началось всё у Мошонкина с Савушкиным в курилке, где они кричали друг на друга.

– Круговое время есть время бездвижное! – кричал Вадя. – Ага!!!

– Гениально! – кричал Савва. – Оно бездвижно и тем самым отличается от времени линейного!

– То есть спирального! – кричал Вадя. – Ага!

– Следовательно, исторического! – кричал Савва.

А потом они стали писать мелом на стене, крашеной зелёной краской. Остались следы. Сочинитель в блокнот скопировал:

$$M(X + Y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (x_i + y_j) \pi_{ij} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_i \pi_{ij} + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m y_j \pi_{ij}$$

А когда спорщики всю стену исписали, то перешли на кафельный пол. Следов дискуссии не осталось.

Дальше, как выяснилось, события подвигались следующим образом. Мошонкин с Савушкиным ползали по полу и писали, писали и ползали. И постепенно выползли в коридор, пиша на карачках, и таким манером покарачились по коридору, на выход, вниз по лестнице, на первый этаж, мимо вахтёра Лазаря, на улицу, по тротуарчику, на асфальте им хорошо писалось, а Лазарь их обеспечил коробочкой цветных мелков, кончилась коробочка, пошёл в ход битый кирпич ...

– Что наши математики хоть говорили-то, уважаемый Лазарь?

– А ничего не говорили. Бубнили. Бурчали. Про формулу ожидания...

И пошёл Сочинитель по следам формулы – по Набережной, через мост, на левобережье Куды, на Колоколамское шоссе... Лазарь только до моста доходил, когда, по настоянию Архимедика Штукарского, на вторые сутки уползновения голубчиков-пограничников догнал их с кастрюлей каши, а дальше, через мост, Лазарь не ходил, куда ему – на одной инвалидной ноге далеко не ускочишь...

Из дополнительных источников Сочинитель выяснил, что на третьем километре Колоколамского шоссе Вадим и Савва совершили разбойное нападение на гражданина Бестыжева, который катил частную тачку с уворованным на желдорпутях бурым и антрацитовым углем, направляясь в сторону Индии, и был тот Бестыжев по наружности похож на портрет декабриста в музее истории, весь в бакенбардах, и тачка его – тоже вылитая, каторжанская. В результате нападения гражданин покатил тачку вслед за голубчиками по шоссе, вероятно, его очень заинтересовало, чем же закончится дорожная арифметика, и с этого места начались вычисления углем, потому что кирпичи кончились, но углем по шоссе по полотну получалось не хуже...

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^3/(x-2)}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{x}{x-2}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{1}{1-2/x}} = \end{aligned}$$

Крадучись, продвигался Сочинитель вперёд, по следам формулы. Но вдруг она закруглилась огромным чёрным, жирным, угольным нулём. Возле нуля лежала пустая бутылка «Московской» и фантик от конфеты «Коровка». Сочинитель понюхал бутылку: свежая, на донышке пара капелек ещё катается. Поставил стеклотару в центр нуля, получилось красиво, вроде верстовой вешки, и только тогда заметил, что через пару шагов формула побежала дальше, будто бы обрела второе дыхание...

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - k_1 x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{\frac{x^3}{x-2}} - x \right) = \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(\sqrt{x} - \sqrt{x-2})}{\sqrt{x-2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(x-x+2)}{\sqrt{x-2}(\sqrt{x} + \sqrt{x-2})} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{1-\frac{2}{x}} \left(1 + \sqrt{1-\frac{2}{x}} \right)}
 \end{aligned}$$

Вдали, в лучах заката, на горбатом шоссе на подъёме, прикинувшись ближним горизонтом, на фоне смущённого неба – торчали в зенит две чёрные задницы и рядом с ними – вертикальный человек с тачкой.

Сочинитель уселся на обочину, разогнул спину, заочневшую в следопытстве, вытянул ноги, вот-те нате, хрен в томате, на коленях штаны протёрлись – и вдруг совершенно успокоился Сочинитель: слава богу, живы-здоровы Вадим и Савва, и декабрист, жертва экспроприации, без претензий, и наука прёт, как марафонец, да, конечно, обидно! всё-таки – утечка мозгов из Жёлтого Дома, возможно, даже из города, но погоня кончена, потому что было бы трижды грехом соваться ему со своими грамматическими точками зрения в математическое ожидание товарищей, добравшихся аж до самого горизонта...

СИ

Никто не знает! Одна Поля-Полюшка знает, какие уникальные сокровища, какое редчайшее богатство, какие бесценные раритеты кушают бумажные жучки-червячки в подземельной библиотеке Жёлтого Дома. К великому счастью Полюшки-Поли, никто из хибаровских должностных лиц, руководящих культурой, не знает. А ведь как узнают, так, поди, и разбираться станут, а разборки заканчиваются чисткой, на заднем дворе, там слово книжное корчится, и дело пахнет керосином и огоньком. Полюшка-Поля видела, как горят книги. Нормально горят. Правда, без тёплой любви, без горячей радости, то есть, совсем не так, как искренне отдаются людям весёлые дровишки... Девушки плачут, девушкам сегодня грустно... Старики рассказывают: ещё на заре социализма пришли в общественные и личные библиотеки суровые комиссары и стали потрошить печатные издания: одни налево, другие направо, посередке костёр, в который бросали старорежимные книги, определённые чисто по внешнему виду, в кожаных переплётках с золотым тиснением да на дорогой веленовой бумаге – явный же буржуазный и контрреволюционный опиум для народа! – и сколько

того опиума обратилось в дым и пепел – никто не считал, лишь малая часть перекочевала в общедоступные читальни нового государства рабочих и крестьян, некогда было комиссарам шибко-то разбираться в толстых и тонких книжках: потом, потом, когда всем врагам, внешним и внутренним, шеи свернём, а нынче время не терпит, вьётся дальняя дорога, эх, да развесёлая дорога... И свозили тогда со всей губернии реквизированные, конфискованные, национализированные и обобществлённые груды книжек возами – и всё в подвалы бывшего Общественного Собрания, ставшего позднее лечебницей. Свезли и оставили на потом: потом, потом, когда всем врагам шеи свернём, а нынче недосуг, коллективизация, индустриализация, едем мы, едем, едем, а кругом колхозы...

А Полюшка-Поля бесплатно на страже стоит. И не станем спрашивать: кто она, откуда, зачем и почему? Всё равно ведь она, недоверчивая, ничего не скажет лицу постороннему, кроме единственного: «Я песенка, товарищи». Поверим Полюшке-Поле, что она и есть законнорожденная дочь героев Красной Армии под руководством поэта Гусева и композитора Книппера. Она не только книгохранительница на общественных началах. Она ещё и встречает в приёмном покое каждого новенького голубчика, водит его под руку по дому, показывает, рассказывает, знакомит с бытом, распорядком дня и правилами поведения. Да, исключительно на общественных началах, по собственному желанию. И пусть, говорит она, получается первобытный коммунизм, ей такой коммунизм нравится, и она не покинет Жёлтый Дом, книжки не отпустят, читатели не позволят, ведь никто снаружи ничего не знает и знать не желает, а она с читателями тутошними очень даже хорошо знает, какие уникальные сокровища, какое богатство стережёт она, берегиня Полюшка-Поля, голубушка...

И доктор Штукарский знает. Он прошарил и пронюхал все углы пыльного подzemелья и приобрёл хроническую чихотку.

– Будьте здоровы! – всякий раз говорит ему Полюшка-Поля.

– В каком смысле? – спрашивает доктор и задерживает дыхание, пытаясь усмирить слезоточивый изнуряющий чих. – Будешь тут... когда никакого здоровья для такой литературы не напасёшься...

Он в очередной раз набирает стопку книг, брошюр и журналов. И уходит, прощаясь старомодно, с поклоном, как это делалось до зари социализма.

А Полюшка-Поля остаётся.

*... Девушки, гляньте,
Мы врага принять готовы,
Наши кони быстроноги,
Эх, да наши танки быстроходны...*

Из всех зеркал, больших и малых, запрещённых главврачом Фаустовым и упрятанных в склад, одно осталось-таки: в кабинете Шту-

карского, бывшее трюмо из комнаты отдыха медицинского персонала. Так Софочка Бабореко придумала: тумбочку с выдвижным ящиком распорядилась вынести на склад, а раму с зеркалом, вещь хорошая, в отсутствие Штукарского возложила на его письменный стол, и хорошо получилось: увеличилась рабочая площадь, и вещь не пропала, и пусть Штукарский лишний раз взглянет на себя, на кого он стал похож со своей дурацкой диссертацией, нельзя же так доводить себя, чтобы мимо самого себя...

Штукарский даже и не заметил подлога на столе.

Но однажды сдвинул бумаги на край стола и обнаружил: смотрит на него знакомый мужчина, смотрит пристально, вопросительно – и язык показывает. Штукарский засмеялся и захлопнул мужчину толстой тетрадью, в которую пытался ругулярно вносить черновые и конспективные записи, заготовки к будущей научной работе. Регулярности не получалось. Получался хаос. Штукарский от такого хаоса нервничал. Поэтому выключал свет настольной лампы и закрывал на всё глаза... Из темноты выплывали светлые парусники, фрегаты надежды, неисчислимая непобедимая армада жизнерадостных корсаров вселенной, они не пили ямайский ром из толстых зелёных бутылок, они пели вокализы из марксова «Капитала», а капитан, обветренный, как скалы, укоризненно выговаривал Штукарскому: народ упирается, народ, можно сказать, живота не жалеет на пути прогресса, а ты сидишь на пути, как последний голландец на мели, разве так можно, сволочь, вот и оставайся таким насиженным придурком в единственном числе, множить таких типов, как ты, нехорошо, непродуктивно, и диссертация твоя дерьмо, и сам ты дерьмо, и сегодняшний твой символ веры есть вчерашняя ересь, а завтра всё будет как раз наоборот, в свете настольной лампы, хрен поймёшь, где тут у вас схимники, где химики... Штукарский вздрагивал, включал освещение и выдёргивал из стаканчика остро заточенный карандаш...

.....

«... когда русская схема с «химией» советской перемешалась, и образовалась гремучая смесь, бунтарская со смиренной отрыжкой. Ищите и обрящете, помешанные!

Что там, за зеркалом? Существует ли там иной мир, взаимосвязанный с нашим? Почему с древнейших времён так ухватились за зеркала колдуны и маги? Может, вовсе не зря (зря в зеркало!) считается, что зеркало – полоса отчуждения на границе параллельных миров? Хорошо, допустим, существует астральный мир. И в зеркале образуется астральный коридор. Что дальше? Есть зеркало прямое, и есть зеркало кривое. Первое ужасно, второе смешно. Но речь – о прямом. Оно является, скажем так корявенько, окружающим миром без

перекрёстка, в то время как в мозгу зрительные пути перекрещиваются, и глаз видит как прямые, так и перекрещенные изображения вместе. Тогда: прямое зеркало – выход в нижние тонкие энергетические пространства. Смотрящийся в зеркало видит астрального двойника: будущее. Это опасно. В доме усопшего зеркала занавешивают. Страшно, если в них задержится душа ушедшего в мир иной.

Зеница – зенка (стекло) – зиять – зевать – глядеть.

Зерцало – зеркать (смотреть) – видеть, зреть, зоркий, зрак, зрачок.

Ещё о «зерцале»:

1. название литер. произведения нравоучит. и педагог. характера («Юности честное зерцало»);

2. эмблема законности в царской России: треугольная призма, увенчанная 2-главым орлом, на гранях которой наклеены главные петровские указы, и ставились эти клизмы на столы судейских и других гос. учреждений;

3. оборонит. доспех из железных пластин на Руси в XVI–XVII веках.

В XIV в. зеркальный сплав свинца с сурьмой заменили оловянной амальгамой, которую получали так: лили ртуть на лист оловянной фольги (станиоль), сверху клали стекло и придавливали грузом; избыточная ртуть вытекала; срок производства – 20 дней. NB! Ядовитые ртутные пары! А медицинский градусник что? Брусничный кисель?..»
.....

*В небе за тучей
Грозные следят пилоты.
Быстро плавают подлодки,
Эх, да корабли стоят в дозоре...*

И тут нагрянули с проверкой. Сказали: из крайздрави. Ни Фаустов, ни Штукарский таких вежливых, воспитанных, интеллигентных мордovorотов в том здраве никогда не встречали. Но раз уж пришли – проверяйте, будьте любезны. На какой предмет?

Предмет оказался неопределённым.

Вокруг проверяющих всё Коля-укольчик крутился, санитар. Проверяющие его, а не Фаустова со Штукарским расспрашивали в индивидуальном порядке. Старшему медперсоналу – обидно.

Единственное замечание критического свойства было высказано всё же главврачу Фаустову:

– Странное тут у вас обращение к больным, уважаемый доктор. Не кажется ли вам, что «голубчики» – это как-то расслабляет?

Итоги проверки с оргвыводами и предложениями докладывались в Тихом Доме. Ощущения? Такие, знаете ли, ощущения, что поневоле возникает ощущение вполне нормальной жизни, даже как-то странно. Партийные и профсоюзные собрания у них, стенгазета, политинформации, музыкальный кружок, библиотека... штатных поваров-воров изгнали, сами управляют на пищеблоке, обед вкусный, с салфеточками, снабжение автономное, ни у кого ничего не просят, произведён текущий ремонт своими силами, сантехнику поменяли, адвокатская контора на общественных началах, поразительно, мы тут, на воле, всё больше о земном судачим, о брэнном: продукты питания, чо почём, разный ширпотреб с мясным вопросом в разрезе колбасы, а в дурдоме – о возвышенном толкуют, может, на то и дурдом, что напичкан наукой, культурой, искусством, политикой...

– Политику – на особый контроль! – заметил генерал Поцелуйко, делая пометку в служебном блокноте.

– В общем, – продолжили инспектора, – на момент проверки в лечебном заведении полная самодостаточность, кооперативы, самообеспечение, рыночные отношения, и крайздрав им даже не нужен, и бюджетное финансирование, полная независимость...

– Это опасно, – сказал генерал. – Чувствую – цирк! Тем паче чаяния: эстеты жуют газеты, как сообщает наш источник.

– Врёт наш источник. Газеты не жуют. А одна гражданочка из обслуживающего персонала высказалась так: где же ещё, как не в Жёлтом Доме, искать в нашем городе порядочного человека? И мы разделяем ваши чувства, товарищ генерал: цирк.

– Ваши предложения?

– Вынести учреждение за городскую черту.

Генерал вздохнул:

– Не получится... Я уж справлялся по этому вопросу в крайкоме. Там считают: нашим больным...

– Нашим или ихним? – поспешили уточнить инспектора.

– Вообще советским! Советским больным – самые гуманные условия в мире! Вот им и определили здание-ампир, архитектурный памятник, тем паче чаяния, под защитой государства...

*Пусть же в колхозе
Дружная кипит работа.
Мы – дозорные сегодня,
Эх, да мы сегодня часовые!*

.....

А Полюшка-Поля всех любит. Люди же не хуже книг про людей, не хуже жизни людей и их светлого будущего в научном коммунизме. Каковы люди, таковы и книги. Бывает, и наоборот.

Впрочем, среди голубчиков были и такие, которых Полюшка-Поля сторонилась. Вот Подгузников. Ходит и материт Эренбурга. А Эренбург

«оттепель» придумал. Эренбург – символист. Не будь такого символиста, так другой символист появился бы. Каждому времени – свой Эренбург. Каждому Эренбургу – своё время. Каждому времени – своя оттепель... Или вот один товарищ, из кем-то бывших, а кем – неизвестно. Хмурый, неразговорчивый, из всех домашних вещей любит и часто вспоминает одну мясорубку. Он по окончании лечебных процедур выходит на закрытый балкон и подолгу сидит там на фанерном ящичке, в синих галифе с малиновым кантом, в голубой пузыристой майке, в дермантиновых шлёпанцах на босу ногу, он крошит хлеб и заманивает голубей, те слетаются, нечастая решётка им не помеха, воркуют, почти с рук кормятся, а товарищ хмурый, из кем-то бывших, мгновенно ловит птицу и отрывает ей голову... И ещё один, шумный, с расстройством на почве жены. Она ему говорила: Георгий, не сморкайся в кухонное полотенце, я им посуду вытираю. Он отвечал: а ты сама вчера суп пересолила. А она: зато ты розетку не починил. А он: а ты чайную ложку из стакана не вынаешь, так и пьёшь с ложкой, чему тебя мать родная учила, дуру? А она: а ты вообще чавкаешь при супе, как свинья. А он: а ты по утрам вообще селёдкой пахнешь. А она: а ты грязные трусы посреди комнаты бросил. А он: счастливые трусов не соблюдают. А она сказала: да? А он: фиг тебе! Легкий ужин на скорую руку закончился с тяжкими телесными повреждениями, но скоро она приползла к нему на коленях и сказала: вылезай из-под кровати, подлый трус, за тобой санитары приехали! И вот он полтора месяца ходит и говорит: всех баб убивать надо, об чём и предупреждаю заранее!.. Где тонкость чувства? Нету тонкости чувств. Ни с той стороны, ни с противоположной... Недавно Полюшка-Поля водила для знакомства с Жёлтым Домом новенького голубчика, режиссёра кинохроники Арнольда Иннокентьевича. Вот тонкий человек. «Всё протекает в русле!» – сказал он и вышел из окна. Расстроенный был по совершенно пустячному делу: в квартире стена рухнула и заклинила входную дверь. Чудом не разбился. В этот миг ему навстречу ударил из-под земли свирепый фонтан, то ли природное явление гейзера, то ли какую водопроводную трубу прорвало, неясно, до сих пор дыру заткнуть не могут, и на том фонтане Арнольд Иннокентьевич ещё полдня подпрыгивал, покуда один мощный водяной фук не забросил его в бессознательном состоянии обратно в окно. В полёте ботинок потерял. Очень всё удивлялся, что выходил в ботинке, а вернулся без ботинка. Бедный... Жаль его. А без ботинок он даже как-то роднее, человечнее. Подойдёт к окну, покурит, встанет на подоконник и кричит в форточку: а-а-а... Прислушивается. Головой качает: не то... А чего ему не то? Неизвестно. И спросить его про то неудобно, стыдно. Ещё, поди, скажет: что же тут непонятного? чему же вас, голубушка, умные книжки учили, если вы такого элементарного проявления интереса к жизни не понимаете?..

*Девушки, гляньте,
Девушки, утрите слёзы.
Пусть сильнее грянет песня,
Эх, да наша песня боевая!*

.....

А ночью доктор Штукарский приходит к ОНО. Садится напротив и слушает, как ОНО тикает. Эта механика, эта искусственная новогодняя ёлка, эта машина... – зачем? Для чего и кому он нужен со своим размеренным тиканьем, этот механизм? Нет ответа. Потому что в ОНО, напичканном вопросами, чего-то не хватает для ответов, гаечки какой-нибудь малой, винтика-шпунтика, зубчатого колёсика или пружинки, или, наконец, слова с той высшей степенью любви и доверия, с какой люди называют цветы и домашних животных своими именами, человеческими, и при этом никогда-никогда не имеют в виду программной цели наносить пользу и причинять добро.

Аккуратно и ласкательно размножаются в ночи мгновения, ластится к сиюминутности давно прошедшее, но самое последнее всегда ускользает вперёд и вперёд, к новостям, к новоделу, к новодевичьим церемониям, к новокаиновой блокаде там словно покинутый колокол на ветру: бомж... бомж... бомж... сыпной тиф брюшной коллектив и все по горло заняты пропитанием одна Полюшка-Поля делом гуманным занимается ей всего-то лет сто от силы можно дать но выглядит на все две тысячи голубушка спите люди отдохните вы устали не мешайте жить друг другу на земле покуда ещё закрыты магазины и грузины грузят мандарины солнечные зайчики мегатонны в ядерных шкурах потные лбы и весёлые мы ж не какие-нибудь турецкие султаны у нас опахалов нету мы сами себя пашем и очень довольны и весело нам и не страшно когда оставляют нас в дураках и даже не худо что там в дураках нам понравилось жить поживать по уму в смысле без дураков...

.....

«... я не думаю, что тут явное влияние карточной игры и бильярда. Я вывожу выражение «без дураков» из царских палат Московского Кремля. Значит, так: собрались бояре думать думу, дело важное, шутки в сторону, и развлекательные шуты с шутихами остаются за дверями палаты.

Бакены в международном разрезе:

8 сентября – День солидарности журналистов

27 сентября – Всемирный день туризма

2 октября – Международный день музыки

24 октября – Международный день ООН

Второе воскресенье ноября – День отца

10 ноября – Всемирный день молодёжи

17 ноября – Международный день студентов.

*Тормоза двигателей внутреннего сгорания
(железы внутренней секреции):*

1 сентября – День знаний

1-е воскресенье сентября – День работников нефтяной и газовой промышленности

2-е воскресенье сентября – День танкистов

3-е воскресенье сентября – День работников леса

Последнее воскресенье сентября – День машиностроителя

7 октября – День Конституции СССР

Последнее воскресенье октября – День работников автомобильного транспорта

29 октября – годовщина ВЛКСМ

7–8 ноября – годовщина ВОСР

10 ноября – Деньсовмил

19 ноября – Деньраквойскиарт

3-е воскресенье ноября – Деньрабсельхоз.

ДЕНЬ–ДЕНЬ, ДИНЬ–ДИНЬ, ТЕНЬ–ТЕНЬ...

ТЕНЬ! ЗНАЙ СВОЁ МЕСТО!

ЛЮДИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

И чо сидим? Кого ждём?

Универсальное средство: календула. Эликсир зрелости. В представлении средневековых алхимиков – фантастический напиток, жизненный эликсир, сообщающий вечную молодость. Но легко ли, товарищи, быть молодым – вечно? Может, полезней всё-таки взростеть?

Итак, *Calendula officinalis*.

Настойка: *Tinctura Calendulae*. Спиртовая – 70%, в отношении 1:10. Чайная ложка на стакан воды. Это глупо. Напрасный перевод ценного лекарственного растения из Красной книги. При наших-то Красных Календарях – чайная ложка? В наших суровых широтах географии и истории? Смешно! стакан! В крайнем случае, три четверти.

А в молодости Иван Васильевич – разумнёшенек да ласков, книголюб и шахматист, умными людьми окружён был, толковыми советчиками. И вдруг (да когда ж не вдруг-то бывает?!) болезнь навалилась, а за ней чередой зловещей двинулись на молодого царя измена ближних бояр, смерть наследника Димитрия, кончина любимой жены Анастасии – и великая перемена случилась, и стал царь садистом с галлюцинациями и манией преследования... Недавно спецкомиссия Фурцевой из Минкульта СССР вскрыла гробницы Ивана Грозного и убитого им сына. В останках царя: ртуть – в чудовищной пропорции 13 граммов на тонну, тогда как в природе всего лишь – 5 миллиграммов на тонну. Это как понимать?

Осень. Какой-то Фет на душе. Поэт. Метр. Стоит, как ферт. Нет! Метр стоит, как фетр! Я догадался! Что всё дело в шляпе! Некоторые считают, что под шляпу кладут взятку чиновнику-бюрократу. Отчасти да. Но главное дело и беда вовсе не взятка. Я догадался! Снимите шляпу, господа, я вас умоляю! Почтим память! Итак, в средневековой ещё Европе дело было...»

.....

– При чём тут шляпа? – спросил персек Сытников, отрываясь от чтения.

Генерал Поцелуйко до сих пор молча и внимательно попивал кофе в деидеологизированном, эрмитажном уголке персековского кабинета, на диванчике, за столиком с печеньем и песнями Высоцкого в наушниках.

– Шляпа! – повысил голос Сытников и ткнул карандашом в бумагу из красной папки с секретным грифом.

– Ах, шляпа, – отозвался Поцелуйко и освободился от «коней привередливых». – Шляпа в этом деле означает следующее, о чём мне доложили мои спецы по шляпному делу в Европе. В средние века среди ремесленников шляпной мануфактуры была распространена так называемая «болезнь сумасшедшего шляпника»...

– С ума сойти, – буркнул Сытников.

– Вот именно! Шляпы мужские и женские изготавливали из фетра. А при производстве фетра применялась ртуть...

– Откуда ты всё это знаешь?

– У меня, – улыбнулся генерал, – сидят спецы по этому вопросу. Историки дипломированные, химики...

– Даже по фетру?

– Даже по нему.

– Валяльщики, значит?

– В порядке шутки, совершенно верно.

– И по дуракам спецы есть?

– Без них никуда. Тем паче чаяния...

Сытников вздохнул и выдохнул шумно, восхищённо:

– Серьёзное у тебя учреждение, Поцелуйко. Институт прямо Склифосовского. Ну, и что тебе дальше доложили твои дуракаваляльщики?

– Кроме шуток. Ртутные испарения вызывают у мастера депрессию, бессонницу, манию преследования, галлюцинации, бредовые идеи, сумасшедствие. В этом скрытый смысл записок доктора Штуккарского.

– Хорошо, ты ступай к себе покаместь, а этот журнал докторский оставь мне до завтра, почитаю. Ход мысли всё ж таки интересный у этого доктора.

– Антисоветский, – улыбнулся Поцелуйко.

– Но интересный! Нам с вами оппозиционные мысли знать необходимо, чтобы уметь с ними бороться, – сказал Сытников и поморщился: дескать, как мне это всё надоело, генерал, если б ты только знал...

«Знаю, знаю, – подумал генерал, – мне и самому эта фигня осточертела хуже ваших соцсоревнований города с деревней. Но что ж делать? Долг!..»

«Вот-вот, заработная расплата, значить, такая, что сами долги краснеют, в рот фронт эт-само!» – подумал персек, провожая взглядом генерала, и углубился в трофейную, только что с поля идеологической борьбы, копию с журнала доктора Штукарского.

.....
«... не случайно с конца февраля по Москве ходили слухи, что Ленин бредит и прячется от преследований Богоматери Марии.

	Рост	Размеры	
		обуви	головного убора
Ленин В.И.	162	38	62
Сталин И.В.	168	39	57

Тов. Иудушка Троцкий: на фото он вровень с Лениным, а обувь у него такая: в Париже Ленин снял свои ботинки и по-товарищески подарил товарищу. Ботинки подошли к товарищу тютелька в тютельку.

Психиатр и психолог З. Фрейд: источник всех комплексов и псих. проблем индивидуума нужно искать в неблагоприятном детстве. Из истории КПСС: все пламенные революционеры пострадали именно в детские и юношеские годы.

Товарищи Михалков и Мурадели находят тому диалектико-материалистическое объяснение:

*Долгие, тяжкие годы царизма
Жил наш народ в кабале.
Ленинской правдой заря коммунизма
Нам просияла во мгле.*

А Полюшка–Поля говорит:

– При чём тут Иван Грозный? При чём тут товарищ Сталин? Народ говорит: оборотись, кума, в зеркало. И выходит, что народ-то сам дурак, ежели выродков любит до ужаса и на божницу садит.

– Полюшка, – говорю, – Хрущёв осудил культ личности...

А она улыбается:

– Заставь дурака богу молиться, так он и лоб расшибёт богу-то своему.

– Нет, нет, – говорю, – это не совсем так, Полюшка, это не простой дурак...

Опять смеётся:

– Дурак, который сошёл с ума? Дурак в квадрате?

– Нет, нет, – говорю, – он поправился, он круглый...

Смеётся Полюшка...

Как я жестоко ошибся! Лично видел: смеялась Полюшка. А это она так плакала.

ОН врачей боялся. Многих лечивших ЕГО уничтожил, а оставшиеся в живых до сих пор трясутся, парализованные страхом. И не в НЁМ шляпа! ОН – самый нормальный параноик из всех известных психиатрии параноиков. Наш товарищ. И если маньяк, то не в медицинском смысле, а в социальном. Если бы не общество, если бы не большое МЫ, то ОН был бы просто ущербным честолюбцем, коих в жизни легион. В красный угол ОН не САМ взлетел, Полюшка правильно говорит: народ посадил. Народ, который поплёвывал на неведомого бога. Бог народу нужен рядом. Христианизация марксизма = символ веры. Вере нужны чудеса = гигантомания новостроек и иллюзорное счастье: МЫ – самые–пресамые. Рассказы о русском первенстве В. Захарченко – миф. Первый признак помешательства. Обратная сторона чудес – жестокость и страх. Опора на историю. Оправдание жестокости. Из постановления о киноискусстве в сент. 1946: во 2-й серии картины Эйзенштейна об Иване Грозном «прогрессивное войско опричников получилось чем-то наподобие американского ку-клукс-клана». Жестокость = вера наизнанку, питающаяся страхом и подбострастием. Пример: расстрельные судебные процессы врачей. Кто их уничтожал? Они сами друг друга душили. В последнем из трёх процессов над врагами народа кто более других усердствовал в обвинениях терапевтов–профессоров Левина, Казакова и Плетнёва? Другие медицинские профессора, бывшие ученики обвиняемых: Виноградов, рвавшийся занять место личного врача Сталина, и Шерешевский, и Вовси... А что после? Виноградова арестовали как английского шпиона, и Вовси посадили, их счастье, что Сталин умер, и только поэтому их не поставили к стенке... Всеобщая и полная деморализация народа. А нам суют под нос: Иван Грозный виноват, Сталин виноват! Народ–урод. Вот что, товарищи. Многовековое тотальное подавление народа государством – вот причина. И если бы не всеобщее оупение, то никакой Сталин не завладел бы Россией. Больной народ выбрал в вожди адекватного человека, и этот подходящий по всем статьям человек довёл до логического завершения в форме чудовищного абсурда и общественные пороки, и всё то, что, блуждая призрачно в обществе, ещё не оформилось. И сделался этот человек зеркалом эпохи и общества. Кривым зеркалом. Опять эта ртуть,

будь она проклята со своим делом в шляпе. Не будь Сталина, всё равно наступил бы 37-й год. Без Сталина. С именем другого подходящего человека.

А Полюшка–Поля говорит:

– Мне вас жалко...

Посмотрим, что мы имеем и надо ли нас жалеть. Советскую психиатрию можно условно разложить на две составляющих. Большая психиатрия: расстройства с выраженными псих. аномалиями (бред, галлюцинации) – шизофрения. Малая психиатрия: невыраженные расстройства, пограничные между нормой и патологией (неврозы, психопатии). Дело ясное – дело тёмное. Мутная вода. И тут является политика! Раньше был случай: вдову Кирова упрятали в психбольницу. Больше примеров нет. С каких же пор психиатрия стала заложником и жертвой политических игр? Май 1970, Жорес Медведев (обл. психбольница в Калуге). Брежнев. Лысенковщина в психиатрии: химера о переходе одной болезни в другую, неврозов в психопатию, одной формы шизофрении – в прямо противоположную. В наше время именно психиатры подсунули в КГБ идею: кто выступает против, вообще и в частности, – тот скрытый или явный душевнобольной, то есть психопат или вялотекущий шизофреник, опасный для общества. КГБ захлопал в ладошки: а мы что говорим! у нас в стране нет и не может быть инакомыслящих и недовольных, а те, кто чем-то недоволен, просто сумасшедшие...

Полюшка–Поля молчит и не разговаривает.

«В смерти моей прошу винить немецкого поэта Гейне, выдумавшего зубную боль в сердце», – написал 19-летний Максим Горький и выстрелил себе в грудь, но врачи спасли его, и он выдумал соцреализм. «В моей смерти прошу никого не винить. Причины её вполне отвлечённы и ничего общего с человеческими отношениями не имеют», – написал 20-летний А. Блок перед решающим объяснением в любви с Любовью Менделеевой, но объяснение кое-что решило, и юноша раздумал стреляться. «Не вижу возможности жить дальше, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии и теперь уже не может быть поправлено...» – написал А. Фадеев, протестуя против соцреализма, и выстрелил в себя, и смыл своей кровью, точно штрафник, свои руководящие преступления перед собратьями по перу, которые начали возвращаться из лагерей. А ещё и говорили – перед лицом смерти, последними словами на этом свете. Гёте: «Побольше свету...». Кант: «Хорошо!» Гейне: «Писать... бумага... карандаш...» Ван Гог: «Как я хочу домой... Пушкин – Далю: «Давай выше, выше... ну... пой»

дём...» Гоголь: «Лестницу, поскорее давай лестницу...» Лев Толстой: «Не понимаю... и пускай... истина... я люблю много...» Чехов: «Ich sterbe (я умираю)». Комиссаржевская: «Довольно, довольно...» Александр Грин: «Помираю...» Тютчев: «Я исчезаю... Фонтан перестает бить...» Зощенко: «Оставьте меня в покое...» Этот Зощенко! Вот мы и чокнулись, Михаил Михайлович!..»

.....
«Если погибну, – подумал Сытников, – считайте меня коммунистом. Какой глупый стих!»

«Зачем такой пессимизм? – подумал Поцелуйко. – Думаете, всё так просто?»

– Вот что я думаю, – сказал Сытников, возвращая генералу красную папку с секретным грифом. – Этот доктор... Он что? Уже у вас?

– Зачем же вот так сразу – и у нас? – ответил Поцелуйко. – Доктор сам у себя. В лечебном учреждении. В отдельной палате.

– В кабинете, значить.

– В палате. В отдельной.

– Под вашим колпаком, значить.

– Под своим колпаком. С бубенчиками, – сказал Поцелуйко и, не дожидаясь дальнейших вопросов, проинформировал персека о том, что доктор Штукарский вчера, в середине рабочего дня, бегал вокруг Жёлтого Дома, нарушая правила уличного движения, и приставал к прохожим, имевшим головные уборы в виде шляп: «Снимите шляпу!» – кричал доктор, граждане недоумевали, и доктор лично срывал с них шляпы, бросал наземь и топтал...

– В палате, значить?

– В отдельной. Но, извините, не советую...

– Я твоих советов не спрашиваю. Я лично хочу спросить доктора: зачем он так антисоветски рассуждает?

– Тогда я с вами. Ваша безопасность – мой долг.

– Ну, вот, опять долг, долг...

Вызвав в кабинет Краснопресненского-Крестовоздвиженского, Сытников предупредил его:

– Остаётесь на хозяйстве. Работа в прежнем режиме.

– Понял. Вы на каком объекте?

– Съезжу в Жёлтый Дом. Но вы, эт-само, мою поездку не афишируйте. Я еду как бы в плановом порядке по медучреждениям краевого центра, в том числе, значить, и в Жёлтый Дом загляну. Мы там никогда не были. За всю историю советской власти.

– Так ведь там у нас как бы все медучреждения в одном месте собраны. Кроме медвытрезвителя и аптеки.

– Нет, в вытрезвитель не поеду. Поеду, значить, в то одно место, тем лучше.

В том месте персека не ждали. Главврач Фаустов переволновался изрядно. Он ходил на негнущихся ногах и держал руки вытянутыми

по швам. По сути дела, санитар Коля-укольчик водил высоких гостей по учреждению, показывал-рассказывал, при этом показе-рассказе вдруг замолкал на полуслове, многозначительно гипнотизировал то одного гостя, то другого – и подмаргивал глазом в сопровождении соответствующей половины лица: Сытникову – правым глазом, Поцелуйке – левым, а обоими косил на собственную грудь.

– Чего это он? – шепнул персек генералу.

– А дурак! – громко выразился тот. – Пороть его надо за непрофессионализм.

– Ваш дурак?

Но генерал не смутился, хотя и отвёл глаза в сторону от очевидного ответа.

Доктор Штукарский, действительно, пребывал в отдельной палате, образованной из его же врачебного кабинета. Сидел на кровати в байковом халате, молча покачивался. Медсестра Бабореко при нём. Питающая чувства, по информации из внутреннего источника.

– Любишь, значить? – спросил персек.

– Люблю, – дерзко ответила Бабореко. – А что?

– Вот и люби. На здоровье. В истории есть факты, когда любовью вылечивают.

Через четверть часа в столовой собралась первичная партийная организация Жёлтого Дома.

– Вот что, товарищи, – сказал Сытников. – Давайте-ка мы с вами начнём всё с начала. Конечно, вопрос назрелый о вашей постановке на учёт в райкоме партии. Мы решим этот вопрос. Но дальше будет самое сложное, серьёзное. Давайте обсудим. Как говорится, без дураков. Поэтому всех посторонних лиц прошу удалиться из помещения... Товарищ генерал сейчас проводит товарища санитаря к его служебным обязанностям, там они и потолкуют по душам. А у меня к вам следующая повестка дня: и чо сидим? кого ждём?..

СПИ

Что было в начале?

В начале было слово.

Из секретной инструкции Ф.Э. Дзержинского от 28 апреля 1920 г. об организации уездных Политбюро взамен упраздняемых уездных ЧК:

«... Число секретных агентов и информаторов не должно превышать 10 человек. Все агенты должны быть коммунисты и работают по инструкциям Секретной части ВЧК.

1. Работой Политбюро непосредственно руководит уполномоченный Политбюро.

2. В его задачу входит:

а) установление надзора за всеми союзами и обществами;

б) пресечение преступления путём осведомления начальника

Уездной милиции и ГубЧК о намерениях контрреволюционеров и спекулянтов через посредство:

- секретных агентов, которые вводятся в состав антисоветской партии или учреждений;
- агентов наружного наблюдения;
- осведомителей, которые вербуются из советских учреждений и кооперативов, из числа коммунистов и сочувствующих им...»

Что есть основа работы ЧК?

Из «товарищеского письма к коммунистам» заместителя председателя ВЧК И.К. Ксенофонтова от 6 августа 1920 г.:

«ЧК являются прямыми органами коммунистической партии, практически проводящими диктатуру пролетариата. Здесь нельзя поручать работы спецам, возможно использовать только истинных и твёрдых коммунистов. В силу этого желательно усиленное привлечение партийных работников не только к прямой работе в ЧК, но и к косвенному сотрудничеству, к осведомлению, каковое является основой работы ЧК».

Чему учил нас товарищ Ленин?

Из стенографического отчёта XIV съезда ВКП(б) 18–31 декабря 1925 г., на котором обсуждался, среди прочих, вопрос, поднятый так называемой «новой оппозицией»: о доносах.

ШКИРЯТОВ: Если член партии замечает, что отдельные члены партии хотят создать какие-нибудь идейные группировки, и он об этом знает, но не сообщает в высшие партийные органы, то это неправильно. Это не донос, это – обязанность каждого члена партии.

ГУСЕВ: Ленин нас учил, что каждый член партии должен быть агентом ЧК, то есть смотреть и доносить. Я думаю, что каждый член партии должен доносить. Если мы от чего-нибудь страдаем, то это не от доносительства, а от недоносительства. Можно быть прекрасными друзьями, но раз мы начинаем расходиться в политике, мы вынуждены идти на доносительство.

КУЙБЫШЕВ: ... И вообще, применимо ли слово «донос» к заявлению члена партии, в котором заключается предупреждение партии о каком-либо неблагоприятном явлении в той или иной организации? Я считаю, что это не донос, это сообщение, являющееся обязанностью каждого члена партии.

Кто возглавляет пирамиду секретных агентов?

Главный информатор партии: ГПУ – ОГПУ – УГБ – НКВД – МГБ – КГБ – ...

Из почтотелеграммы №111627:

«Введение секретной отчётности возлагается органы ГПУ коим отделы управления обязаны оказывать всяческое содействие тчк Дзержинский».

Что думает закон?

Из Уголовного кодекса РСФСР, 1926 г.:

«Статья 58-12. Недонесение о достоверно известном, готовящемся или совершённом контрреволюционном преступлении влечёт за собой лишение свободы на срок не ниже шести месяцев».

.....

А на полях катехизиса посчитать можно – совершенно секретную арифметикой.

В СССР около 67000 участковых инспекторов милиции. У каждого из них на связи примерно по 20 доверенных лиц, получающих за свой труд разовые вознаграждения, в отличие от постоянных платных агентов, относительно которых – другой счёт, особый.

Итак: 67000
 * 20

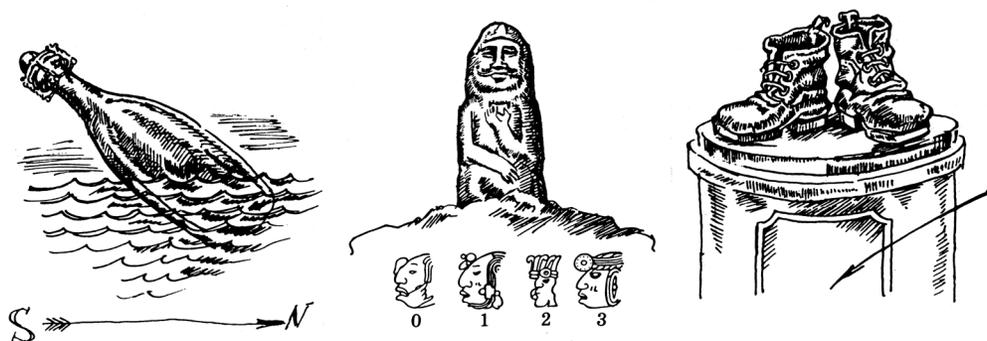
 1340000

Один миллион триста сорок тысяч осведомителей! Это впечатляет. А уж если вывести на душу населения...

Из Первого Соборного Послания святого апостола Иоанна Богослова: «Они вышли от нас, но не были наши...»

Наши, наши! Не из заморских бандеролей явились.

CIV – CV – CVI



CVII

Полковник Степан Иванович Шешковский, большой знаток и профессиональный обожатель всемирной истории, лично возглавил розыск кинодокументальных посланий в будущее.

В первый же день проведения оперативных мероприятий в 25 км от города ниже по течению, в результате чётко скоординированных действий специалистов Гражданской Обороны, рыбнадзора, спасателей ОСВОДа с привлечением одной боевой единицы из военно-вертолётного полка под

руководством Степана Ивановича в реке Куде была обнаружена бутылка из-под «Советского шампанского», туго набитая узкой киноплёнкой и магнитофонной лентой. Каменную бабу времён завоевателя Чингизхана выглядели в степи те же зоркие вертолётчики, и контрразведчикам оставалось лишь наблюдать и контролировать археологические раскопки вокруг бабы и под вышеуказанной, в итоге на свет явилась ещё одна бутылка типа вышеупомянутой с аналогичным содержанием. К бабской бутылке и к самой бабе привлекли опытных копировальщика и фотографа, они сделали копии со свеженанесённых на бабе таинственных изображений, и когда фотокопии легли на стол Степана Ивановича, он ахнул, не поверив глазам своим: ему, знатоку и обожателю, улыбалась, дразнила, подмигивала и раззадоривала криптография на основе письменности майя! После чего Степан Иванович уже никому не доверил дальнейшую работу со следственными материалами. И не потому, что он сомневался в квалификации штатных криптографов и дешифровщиков, нет, он сам испытывал пионерскую страсть к историческим находкам и открытиям. В его рабочем сейфе замкнулись, на добровольных началах, с десятков научных статей по культуре майя, естественно, неопубликованных, и вот, пожалуйста, будьте любезны – каменные истуканы сами шагнули в объятия полковника Хибаровского управления КГБ. Фантастический случай. Степан Иванович довольно бегло читал, писал и считал на языке исчезнувшей с лица земли цивилизации, и через пару часов увлекательнейшего труда текст был расшифрован.

Третье послание в будущее пока не обнаружено.

– Пока? – переспросил генерал Поцелуйко.

– Пока! – воскликнул полковник Шешковский. – Из агентурных источников нам известно, что оно находится под каблуком. Ищем каблук. В прямом и переносном смыслах. Есть версии.

– Хорошо, Степан Иванович. Считайте, что на две трети вы заработали большой плюс. Уже кое-что можно доложить в Москву. Пусть там не думают, что мы здесь сидим, сложа руки. Так ведь, Степан Иванович?

– Совершенно верно.

– Что ещё новенького?

– Вы будете смеяться...

– Ничего. Посмеёмся вместе.

– Самое новенькое это новый анекдот про Штирлица.

– Не надо про Штирлица. Новый анекдот, который вы мне хотите рассказать, уже два часа как постарел. Как самочувствие Веры Ивановны?

– Уже всё в порядке.

Генерал с полковником смущённо улыбнулись друг другу.

Это вчера с капитаном Верой Ивановной Розальской произошёл некоторым образом конфузный беспорядок. Вчера у неё был день рождения.

Утром генерал Поцелуйко перед всем коллективом управления поздравил капитана, пожелал успехов в службе, напомнил, что её работа по теме «Субкультура молодёжного протеста как поп-феномена неоавангардизма в свете марксистско-ленинской критики редукционизма», пусть даже и законченная на данном этапе, с каждым днём приобретает всё более нарастающую актуальность и требует продолжения, развития, последующей кропотливой разработки. А в завершение речи генерал пожелал Вере Ивановне счастья в личной жизни, неиссякаемой любви, духовности, здоровья и красоты. И пошутил Поцелуйко, совсем по-домашнему, по-простому:

– Да зачем же, впрочем, желать? У Веры Ивановны всё вышеперечисленное давно уже есть. Тем паче чаяния, сорок пять, как говорится, баба ягодка...

Остановился, замешкался. Пауза неприлично затянулась. И генерал завершил речь совсем по-свойски, по-товарищески:

– Да, вот именно ягодка. Но забыл какая. Вылетело. Но ничего, друзья мои. Как вылетело, так и влетит, никуда не денется. А теперь – все по местам. Как сказал один поэт, ведь ветер века – он в наши дует паруса.

На местах друзья принялись вспоминать вместо генерала и ягоды перебирать: какая же всё-таки?

– Ягода малина?

– Рябина?

– Калина?

И весь-то рабочий день во всех кабинетах сотрудники шевелили губами, наморщив лбы:

– Брусника, голубика, ежевика, клубника, земляника, черника...

– Волчья!

– А ещё вот крыжовник есть... Только к Вере Ивановне крыжовник никак не подходит в смысле сорок пять – баба ягодка...

– Опять!!! – пронёсся вопль по коридору, и голос принадлежал одному из ветеранов госбезопасности. – Баба ягодка опять!

– Надо же! – отозвались одни. – Ещё помнит!

А другие отозвались так:

– Да уж мы и без вас знаем, где опять, а где не опять. Вопрос ведь совершенно в другом. Какая ягодка? Вот в чём соль.

И шевеление продолжилось.

– В огороде бузина...

– Смородина, морошка...

– Гонобобель!

– Сам ты гонобобель...

Виновница ягодной сумятицы весь день просидела в кабинете уединённо и мужественно боролась с рыданиями, постепенно переходившими во всхлипывания.

– Неловко как-то получилось, – сказал генерал Поцелуйко.

– Бывает, – ответил полковник Шешковский. – Хочешь, как лучше, а оно вон как выливается.

– Ладно уж. Жизнь продолжается. И прожить её нужно так, как сами знаете, что сказал Островский.

– Так точно, товарищ генерал, – ответил полковник и с разрешения начальника вышел думать, что имел в виду начальник? какого именно Островского, которых два? Ведь сразу напрашивается парализованный конармеец, но он лежит на поверхности, и это было бы слишком просто для генерала, возможно, что он глядел дальше, копал глубже, подразумевал другого Островского, драматургического бытописателя купечества и мещанства, и тут надо поразмыслить, чтобы жить так, как имеет в виду начальник управления...

Жизнь в кабинете Поцелуйко продолжилась докладом подполковника Перовского по факту вопиющей – первой в Советском Союзе! – голодовки.

– Докладную записку я прочту позже. А сейчас вы, Лев Алексеевич, расскажите мне своими словами.

И Лев Алексеевич Перовский, крупный спец по философским вопросам, приступил к устному изложению, своими словами.

– Суть чрезвычайного происшествия. Автолюбитель-индивидуал Аксёнов, 27 лет, русский, не судим, не привлекался. Сидит с плакатом на табуретке у проходной станции техобслуживания автомобилей. На проходной чётко обозначено: «Автосервис». На плакате Аксёнова обозначено другое: «Борьбе с липовым сервисом, с бюрократами и ворами клиент Аксёнов посвящает свою голодовку!»

– Это всё, на что он жалуется?

– Если бы, – вздохнул Перовский. – На правительство жалуется. На Цека Капээсэс. Сколько, говорит, можно издеваться? Три месяца вместо полутора по норме длится ремонт кузова его кровных «Жигулей», и конца ремонту не видно. То одной детали нет, то другой. То запчасти в дефиците, то инструментарий изнашивается. Новый аккумулятор из машины испарился в неизвестном направлении. За ним последовали радиатор и шаровые опоры... Всё! Я, говорит, до тех пор, пока мне машину не вернут в прежнем неразобранном виде, я, говорит, домой не уйду без ничего и пищу принимать отказываюсь.

– Плохо, – огорчился Поцелуйко. – На всю страну отличаемся... Прокуратура в курсе?

– В курсе-то она в курсе, только что с того курса? С одной стороны, налицо антиправительственное выступление...

– А с другой?

– С другой – нарыв. Нарыву надо помочь прорваться. Под нашим контролем. Как в случае с протестами немых диссидентов.

– Да, десять негрят нормально сплясали. Опять будем привлекать фантастического драматурга?

– Почему нет? Пригласим дворника Платонова. Поблагодарим за сценарий, за сотрудничество с нами. Думаю, со вторым сценарием всё будет в порядке, Дворник наш не откажется, да и в перспективе он может нам таких сюжетов напридумывать... Герберт Уэллс позавидует!

– Надо подумать. Встретьтесь с Платоновым. Подкормите, то-сё, ну, сами знаете. У нас Жюль Верны не должны на дорогах валяться, пыль подметать.

– Он Оруэллом интересуется.

– Ознакомьте. За чем же дело встало? На первых порах подбросьте ему «Скотный двор». Или «Памяти Каталонии».

– Понял.

А что дворник? Дворник как дворник. Хороший дворник. Со стороны руководства претензий нет плюс премиальные. Имеет служебно-должностную квартиру от ЖЭКа. Зарплата ежемесячная. Не то что в миру писателей. Там ежемесячные проблемы. Во-первых, так называемая «свободная профессия», во-вторых, если коснуться писателей-фантастов, так всегда вопрос о чрезмерности. А Платонов, став дворником, фантазирует уже только в устной форме. И ещё вряд ли знает Платонов-фантаст, что дворники ещё при царском режиме являлись платной креатурой госнадзора и сыска. Равно как и другие совместители: официанты и проститутки, водители персональных авто и гостиничная обслуга... Многие. Не знает Платонов – и хорошо. Когда узнает – будет ещё лучше, в первую очередь, для государственной безопасности.

На контакт с ним контрразведка вышла случайно. Зашёл как-то во дворе разговор про новые книжки, кто что читал да как к прочитанному относится в личном плане. И неожиданным поворотом вильнул разговор в сторону рабского труда на литературных плантациях. И тут выяснилось, что некоторые писатели книг не пишут, за них это делают наёмные сочинители, «негры», да и не только писатели грешат такой эксплуататорской деятельностью, но даже и не писатели, например, известный автор мемуаров «Пятьдесят лет в строю» генерал-лейтенант Игнатъев, дореволюционный граф, и ещё советский академик Несмеянов, и музыканты Лев Оборин с Шостаковичем не гнушались услугами разного рода литературных записчиков, «негров»... А кончился этот разговор дворянским иным разговором, приватным, в котором дворник Платонов изложил неизвестному товарищу сюжет о «десяти негрятях». Потом сюжет подкорректировали в Тихом Доме и через агентуру, внедрённую куда надо, подбросили в форме инициативной идеи тем, кому надо. И там, где надо, ситуация оказалась под колпаком.

Творческого человека надо ценить. Платонова оценили. Преферансисты присовокупили бы к оценке: втёмную.

Майор Кочубей доложил предварительные результаты расследования по факту месячной давности. Факт тихий, но в перспективе возможен резонанс, нежелательный с точки зрения международных отношений и двустороннего сотрудничества между СССР и КНДР. Из Пхеньяна в Москву двигался бронепоезд с Великим Вождём-Солнцем. Меры безопасности на пути были приняты беспрецедентные. Но на выходе правительственного эшелона из хибаровского железнодорожного узла случилось невероятное: в бронированный вагон Вождя-Солнца ЧТО-ТО стукнуло. Что? Пуля? Снаряд? Любопытная птичка, может быть? Разрушений, впрочем, не последовало от того стука. Но ведь ЧТО-ТО стукнуло! И охрана бронепоезда на дыбки вскакивала! И визит Солнца находился-таки под угрозой срыва! Министры и дипломаты молниеносно наполнили эфир шифрованной тревогой!

А Виктор Павлович Кочубей за месяц расследования чрезвычайного происшествия всего-то и получил «нагора» двух стрелочников, путейских рабочих. Один другому якобы сказал в связи с движением секретного поезда: «Да чихать я на него хотел!», а другой якобы подстрекал: «Чихни!», на что последовал метафизический ответ: «Щас!»

– И всё? – спросил Поцелуйко.

– Всё, – ответил Кочубей. – Но с точки зрения историософии...

«Опять, – подумал Поцелуйко, – опять у Кочубея эта точка. И, значит, Виктор Павлович увяжет идеи чучхэ Корейской Народно-Демократической Республики с идеалистической теорией Тойнби о круговороте локальных цивилизаций, сменяющих друг друга...»

– И что интересно! – продолжал Кочубей развивать версию дальнейшего расследования. – Каждая из локальных цивилизаций проходит аналогичные стадии возникновения, роста, надлома и разложения, этаким четырёхтактный двигатель внутреннего сгорания образуется.

– Да, да, я понимаю, – сказал Поцелуйко и погладил пальцем сверкающую на столе ленту Мёбиуса.

А Кочубей уже говорил со ссылками на Соловьёва, Тютчева, Льва Гумилёва, Даниила Андреева, Оруэлла, Замятина и Ремизова... – говорил о творческой элите как движущей силе цивилизаций, увлекающей за собой инертное большинство; говорил о прогрессе человечества, состоящем в духовном совершенствовании, в эволюционном движении от примитивных анимистических верований через универсальные религии к единой религии будущего...

– Да, да, я понимаю, – сказал Поцелуйко, – экуменизация, секуляризация, светская религия, не на вере стоящая, но на знании... А что мы знаем на текущий момент, Виктор Павлович, кроме утопий и антиутопий?

– Да как же что? – воскликнул Кочубей. – Уже многое! Во-первых, христианская историософия рассматривает прогресс движения как процесс, имеющий определённое направление.

– Куда? – улыбнулся генерал тоскливо.

И Кочубей улыбнулся – загадочно:

– Это уже мы совершенно точно знаем. Ибо мы имеем в виду не имманентный процесс, но движение к некоей провиденциальной цели, имеющейся за рамками действительной истории...

«Эх, братцы-стрелочники, – подумал генерал, – и повезло же вам, что нет на вас дворника Платонова с его заземлённой фантазией. Уж он-то прошёлся бы метлой по действительной истории и устроил бы всё, как надо текущему моменту. И всё всех устроило бы распрекрасным образом. И тогда сказал бы первый стрелочник: да чихать я хотел! А другой подзуживает: а вот чихни! А первый взял и чихнул. И вылетела сопля, пролетарская убойная сила. И полетела с должной скоростью в заданном направлении. И шмякнула в бронепоезд. И содргнула его вместе с Великим Вождём и идеями чучхэ... Всё! Никакой фантастики и историософии. Всё в рамках действительной истории, правдоподобной весьма...»

На последнем совещании ответственных работников КГБ в Центре перед начальниками территориальных управлений был поставлен вопрос о новых формах и методах работы органов государственной безопасности в условиях развивающегося зрелого социализма. Дело нужное, дело важное: секретный обмен секретным опытом секретной работы. Но как же они лоснились, столичные ребята, на этом празднике жизни! Рутинка – не для них. Целый генерал-лейтенант двадцать минут расписывал тракторку цветных рубах, которые стали носить молодые люди, так называемые стилиаги: зелёный цвет – пропаганда ислама, белый с синим – сионистская агитация, красный – лагерно-петушиная тема, жёлтый – буддизм с кришнаитами, голубой – гомосексуализм, чёрный – анархия, фиолетовый – импрессионизм, коричневый – фашизм... Ладно, пусть так! А если – в клеточку, в полосочку, в крапинку-горошинку, с мать их в душу вообще анютиными глазками, тем паче чаяния – если без совсем ничего, абсолютно белые, стерильные, а? Плюс да минус дают в сумме нуль... Хорошо. Кто спорит против творческого метода в работе? Никто. Из обмена опытом вытекла ещё одна новация: профилактируемому лицу одной из ближневосточных национальностей, посетившему зоомагазин в поиске попугая-какаду, агентура подсунила специально для этого случая обученного какаду, говорящего. В качестве магнитофона. И что же намагнитовонил тот какаду? Сплошные маты. А маты – это совсем не та информация, ради которой игра вообще стоит свеч. Получился смех сквозь сурово стиснутые зубы... Дальше: кадры. О, эти кадры! Штатный агент, работающий в ТАСС, отправляет оперативную информацию: про неслыханные надои молока в колхозе «Заветы Ильича» – в КГБ, агентурное донесение – в ТАСС... Перепутал. Запарка у него, видите ли... Эх, ребята из стройбата! Дворник на вас нужен, с метлой! Новая метла – новый взгляд и новый подход. Вот и все нова-

ции, товарищи. Плюс литературные ассоциации. Например, почему похождения Гулливера и Робинзона отнесены к разряду детской литературы? Потому что: не дай бог, взрослые граждане, набравшиеся к своему возрасту кой-какого ума, прочтут эти книжки про частное предпринимательство и первоначальное накопление капитала, и эти книжки впечатлят граждан несравненно больше, чем «Война и мир» и даже «Капитал» Карла Маркса. Отсюда и красивый ход: всё лучшее – детям. Чтобы до такого красивого хитромудрия дойти – одного Дзержинского мало, нужен ещё Луначарский с Крупской и десяток-два инженеров человеческих душ. А где их взять? Взять, чтобы привезти в уединенное помещение, посадить на госпаёк, ешь, пей, женщину хочешь – выбирай любую, у нас таких сотрудниц – на любой вкус, только уж ты пиши, твори, сочиняй, придумывай, а компетентные органы твои сказки сделают былью.

...Капитан Вера Павловна Розальская даже смутилась, когда генерал поцеловал ей руку, извинившись за непредсказуемое развитие событий после его вчерашнего неловкого спича.

А потом к делам перешли.

– Кто у нас сейчас на связи с Равелином Валютиным?

– Навуходносор.

– О, этот... Почти «поп-феномен» из вашей диссертации!

– Нет, это не тот поп...

– Вот и не надо их сталкивать. Пусть каждый самостоятельно свой участок окучивает, без взаимных пересечений. И что же нам важного говорит нынче товарищ Валютин?

– Да как обычно. Жалуется. Гневается. Обижается. В общем, нормально говорит. Правда, иногда вдруг то ли забудется, то ли спохватится – и начинает: поелику, поелику, мабудь да кубыть аль не кубыть... А чего поелику – не объясняет, начинает в пустых карманах демонстративно шариться. Это манера у него такая.

– Вера Павловна, а вы вот возьмите да предложите ему другую манеру. Например, пусть он сочинит что-нибудь такое высокогоржественное, духовное, с нажимом на патриотизм... типа, например, «Слова о полку» или вроде этого. Пусть постарается. Может, чего и пробудит.

– Не пробудит, товарищ генерал. Он уже и пишет-то невнятно. А если даже и сочинит что-нибудь по нашей заявке, то, я уверена, предъявит нашему социалистическому отечеству такое изобилие любви, что всем тошно станет.

– А Дворник-то написал, написал, Вера Павловна! Каких замечательных негрятя придумал!

– Так то дворник, а не герой соцтруда Советского Союза...

...Размечтался генерал Поцелуйко.

Возьмём, например, Дворника. Допустим, взяли. Привезли и посадили на спецпаёк. Ешь, пей, сколько хочешь и чего пожелаешь, дорогой фантаст, женщину захочешь в секретарши – пожалуйста, выбирай, у нас этих секретарш немеряно, раскупоривай любую. Но каждый вечер, к исходу трудового дня, – клади на стол готовые страницы рукописи. Скажем, ровно пять страничек. Твой трудодень. Фантастический роман, скажем так. Почти сказка... У самого синего Моря живёт старик со своею старухой. Не простой старик со старухой. Не простая лачужка. Это лишь для видимости. А по ту сторону видимости – секретный центр, работающий на основе семейного подряда по воспроизводству антисоветского подполья двадцатых годов, поколение следует за поколением – под негласным наблюдением ЦРУ, фабрика шпионов, инкубатор... Возможен вариант. У самого синего Моря живёт старик со своею старухой. Не простой старик, не простая старуха. Консерванты. Генетический фонд сохранения, восстановления и воспроизводства двойников Ленина-Сталина, скрещённых мутантов... С ума сойти! Но почему – нет? Почему-то кому-то всё, а Хибаровскому УКГБ – гольный шиш! Почему-то у других – и Пауэрс пожалуйста, и Пеньковский на блюдечке, и Аллилуева на всём готовеньком, и евреи, и Синявский с Даниэлем, и рубахи подрывного антисоветского окраса, и даже какаду, и так далее, и тем паче чаяния... – а в Хибаровске одни дураки, что ли? Конечно, голодающий на бюрократической почве у «Автосервиса» – это кое-что... Но где романтика? Где полёт антисоветизма? Где творческий подход и откуда ж ему взяться у рыцарей щита и меча? Какая тут искромётность блестящего детектива? Ловля блох. Или мух. А вот был бы тайный генетический фонд – и что бы стало?! С ума сойти! Но что-то бы встало бы... Можно и покруче сюжет придумать. Тут даже особенно напрягаться мозгами не нужно. Берём Дворника – сажаем на метлу – и полетели! Новая кремлёвская метла...

...новая кремлёвская метла. Новые деньги вместо старых. Перезахоронение Сталина. Октябрь. День серый, пасмурный, московский. Простудный сезон.

Полковник Поцелуйко по тогдашнему месту службы был причастен к тому дню, и не всё, конечно, знал, но многое видел: как к вечеру милиция очистила Красную площадь от народа, предчувственно, подобно пчёлам, сновавшего в треугольном пространстве ГУМ-Лобное место-Мавзолей, и все проходы на площадь были перекрыты под вежливейшим предлогом, дескать, ночью, дорогие москвичи, здесь будет проходить репетиция к параду личного состава и боевой техники войск Московского гарнизона; и как в темноте, при свете прожекторов солдаты Кремлёвского полка копали у Мавзолея могилу, потом огораживали её фанерой и сгружали с автомашин железобетонные плиты; а тем временем товарища Сталина расконсервировали и из саркофага

переложили в дощатый гроб, обитый кумачом; и срезали с мундира генералиссимуса золотые гербовые пуговицы, и пришили латунные, и тёмной вуалью покрыли тело, оставив открытыми лицо и верхнюю часть груди... а потом гвозди искали... вопль на истерике: «Полковник Тарасов! Где гвозди?» – и явились гвозди с полковником Тарасовым, и пригвоздили крышку гроба, и восемь офицеров Кремлёвского полка на руках вынесли гроб из Мавзолея через боковой выход... а по площади стройными рядами шли парадные армейские автомобили, тренируясь к предстоящей демонстрации силы и доблести Вооружённых Сил – без бывшего Верховного Главнокомандующего... Поцелуйко точно запомнил время: в 22 часа 15 минут гроб поднесли к свежей могиле, внутри которой уже был устроен железобетонный короб – пара минут молчания – гроб опущен, и полковник Тарасов не стал дожидаться, пока короб прикроют сверху ещё двумя железобетонными плитами, махнул рукой: засыпайте... – солдаты взялись за лопаты, а кое-кто из офицеров украдкой бросил в могилу по горсти земли... – потом пили водку – страшновато было, но похоронщики держались мужественно, в духе времени, в смысле знаменитого доклада Хрущёва на партсъезде. И лишь на следующий день Поцелуйко впервые услышал странный вопрос: а кого мы похоронили вместо Сталина? Ещё позже сводки слухов, гулявших по московским и провинциальным кухонным собраниям, обозначили нечто фантастическое: настоящий Сталин якобы был отравлен ещё в декабре 1937 года, на его место был поставлен двойник, которого «ушли» в мир иной тем же путём в марте 1947 года, а в марте пятьдесят третьего всенародно хоронили другого двойника, «тройника», то ли сам он помер, то ли снова был отравлен Берией и Маленковым... – да зачем же отравленного? – а затем и отравленного, что сволочь Берия со сволочью Маленковым поэксплуатировали в своё удовольствие вечно живого бога и решили вдруг: хватит, бог тоже устал, пора брать власть в руки им самим, любимым, ближайшим соратникам, а не садить на трон очередную куклу, актёришку, между прочим, некоторые из заготовленных впрок, вечно пятидесятилетние, двойники стали вести себя нехорошо, репетиции дурно влияют на них, входят в роль безвылазно, зарываются, капризничают, шантажируют руководство в лице Берии-Маленкова, конечно, да, конечно, безусловно, что советский народ уже привык к бесконечно вечному вождю, так ведь мы-то, ближайшие соратники, увы, не бесконечные вечные, долго жить не можем и дальше ждать не желаем, как говорил товарищ Мичурин, мы не можем ждать милостей от природы...

...милости природы или человеческая фантастика? Нет. Чистейший соцреализм. Но только писатель-фантаст способен переварить такой сюжет из советской истории. Максимы Горькие – не в счёт, они не потянут. Последующие кавалеры золотой звезды – и подавно не потянут, кишка тонка. Они – кто такие? Работяги, рабочие, рабы на

плантации. А нужны люди творческие. Есть разница? Есть. Работа – это понятно: с 9.00 до 18.00 с часовым перерывом на обед. А человек творческий заведомо и добровольно лишает себя выходных и праздничных дней, ежемесячного оплачиваемого отпуска, стажа в трудовой книжке, пенсионного возраста и заслуженного отдыха. Есть разница. И есть вопрос щекотливый: что полезней для истории одного человека? когда он – раб работы или творец с пожизненной каторгой как наказанием за дар божий? Крест бесконечный. Круг тупиковый. Лента Мёбиуса... Герой соцтруда Советского Союза со старыми доносами для нового творчества не годится. Но Дворник с новыми идеями для текущей работы будет в самый раз. Пусть придумает сюжет, красочно опишет в романе, и не его дело – кто и зачем возьмёт в руки рукопись романа, развернёт его в версию, а версию – в объективный отчёт о проделанной работе...

– Чем вы сейчас занимаетесь, Вера Павловна? – спросил генерал Поцелуйко, хотя совершенно точно знал, что капитан Розальская заканчивает разработку логической версии восстановленного ею же текста десятой главы «Евгения Онегина», зашифрованной автором, кстати сказать, крайне небрежно, дилетантски, непрофессионально.

Вера Павловна улыбнулась и с чувством продекламировала:

– И постепенно сетью тайной...

– Россия! – подхватил Поцелуйко. – Помню, помню, самая концовка с многоточиями...

И капитан Розальская загадочно склонила голову.

– Какой же всё-таки пророческий интеллект у Александра Сергеевича, даже страшновато, – сказал генерал. – А вот что такое, по-вашему, Вера Павловна, мнению, интеллект вообще?

И капитан Розальская загадочно вскинула голову:

– Интеллекта, который вообще, вообще не бывает. Интеллект всегда пребывает в частности. А в частности он, по-моему, выглядит так: совокупность рационального и эмоционального состояний человека, способных одновременно функционировать во всех трёх временах – в прошлом, в настоящем и в будущем. Четвёртое время – не исключается.

Поцелуйко понимающе вздохнул. Разговор окончен. Тема исчерпана. Вопрос закрыт. План намечен. Путь обозначен. Так, значит, за работу, товарищи.

Розальская, удовлетворённо раскачивая бёдрами, удалилась к исполнению.

И уже до конца рабочего дня с творческим подходом генерал оставался в кабинете один, без собеседников. Если не считать таковыми настенного ФЭДа и настольного, сверкающего полированной латуню, беспредела.

СVIII

Это только при танковом генерале из штаба военного округа они такие застенчивые, Фома Михрюткин и Лазарь Митинг. Субординация, всё-таки. А без генерала они в некотором роде противоположные, не такие уж дисциплинированные. Между прочим, к танковым войскам ни тот ни другой прямого и непосредственного отношения не имеют. Фома воевал на земле, сначала в пехоте-матушке, потом в артиллерии, а Лазарь – в небе. У первого война оттяпала левую ногу, у второго правую. Два крепких мужика, два ветерана, два инвалида, две ноги на двоих, одна на двоих большая и малая родина – парочка, описанная в художественной литературе вдоль и поперёк. Но в той литературе всё наврали, как считают Фома Михрюткин и Лазарь Митинг.

Так они и сказали редактору «Огней коммунизма» товарищу Будьтакову и фотокорреспонденту Ващенко, когда те в минувшем феврале наладились изготовить материал в газету. Три дня кружили журналисты вокруг фронтовиков, и водочки немало употребили, и громкими словами наговорились, и тихих песен попели – и в день Советской Армии на первой газетной полосе появился очерк Будьтакова в сопровождении фотографии.



Утренние киоски Союзпечати ещё и не распродали свежий номер газеты, когда последовал телефонный звонок Будьтакову из крайкома партии:

– Вы в своём уме, Гений Иванович? Кого вы пропагандируете? Бичей и ханыг? В фуфайках стоят, как нищие! Да вы ещё и подчёркиваете: ветераны твёрдо стоят на родной земле. На костылях-то? Это же явная насмешка! Вообразите, что скажут союзники?

– Какие союзники? – опешил Будьтаков.

– Те самые, которые сейчас противники!

Редактор хотел сказать: что союзники ничего дурного не скажут, а на противников надо хрен положить, следуя генеральной линии партии; что на самом деле возможно, имея две здоровые ноги на одну персону, всю жизнь ползать на коленях, а можно и на протезах шагать без спотыкачки, кстати, есть свидетели, которые подтвердят, как здорово живут герои очерка, как, например, они весной грядки на огороде копают – присядку, весело, с огоньком!.. Так подумал Гений Иванович – и ничего не сказал. И снова оказалась права литовка Мэлс Кимоновна Беломорскобалтийская, предупреждавшая, в нарушение служебной инструкции, о возможных нареканиях из Серого Дома; между прочим, фотографию-то она оставила, зато решительно устранила приличный кусок текста, где участники Великой Отечественной Войны гневно протестуют против укореняющейся в народе клички «вовики», произведённой от канцелярско-бюрократического ВОВ, и автор очерка присоединяется в данном вопросе к своим собеседникам, негодует, потрясает и возмущается... «Не нужно про вовиков, – ещё раньше литовки говорила ответсекретарь Анна Петровна Керн. – Вовики дурно пахнут. Вовики отдают некоторыми антисоветскими, антиленинскими, прямо скажем, намёками, анекдотами, перманентными аллюзиями...» – и тоже оказалась права Анна Петровна. Все правы, один редактор со своими героями виноват, так получается.

Однако герои очерка обо всех этих треволнениях даже не подозревали. Их и без «Огней коммунизма» в Хибаровске хорошо знают те, кто ежедневно проходит через вахты Жёлтого Дома и завода «Эмальпосуда», а также любители пивных собеседований на темы войны и мира в предместье голубой будки Мани-Мани на Центральном рынке.

Когда утренние мужчины ещё только нащупывают дорожку к «Пиво-водам» – конечностями зыбкими, чуткими и настойчивыми, как у канатоходцев... когда Маня-Маня только накручивает алюминиевые бигуди к предстоящему будню в торговой точке системы Общепита... когда столбовой динамик-колокол только-только очнулся от спячки, принялся зевать, прокашливаться, чтобы вдруг грянуть дурноматом во всю ивановскую – про кипучую, могучую, никем непобедимую... – а Фома Михрюткин и Лазарь Митинг уже здесь, уже спорят, уже руками размахивают на различные темы отечественной

истории: древней, средней, новой и новейшей.

– Что, пехота, глазища-то свои оскалил? Не нравится тебе такой поворот факта задом наперёд? И где теперь твой Сталин? В адском огне горит твой Сталин! – кричит Лазарь.

– А ты погоди, – отмахивается Фома. – Ты вот чего... Ты сперва, сталинский сокол, в очередь за мной становись. К открытию пива. А когда твоя очередь подойдёт, вот тогда я тебе за Иосифа Виссарионовича фигурально горло перегрызу...

Открывалась Маня-Маня с традиционной репризой – не «Доброе утро, товарищи!» и не «Добро пожаловать, граждане!» – нет:

– Гос-с-споди боже, всего-то двое, а и тут без очереди обойтись не могут!

И уж подходят к тому времени и месту утренние мужчины, «винопленные» по слову Мани-Мани, и готовы они после первой пенной кружки весь мир обнять, размягчённые, и Фому с Лазарем в небо подбрасывать как победителей поганого фашизма. Пену с кружек сдувают, присаливают полезной для здоровья йодистой солью кружечные ободочки, тянут-потянут жигулёвское бочковое и Фоме с Лазарем советуют с задумчивостью:

– Вы бы, дорогие наши фронтовики, со своим опытом войны и мира взяли бы да подсобили бы нашему нынешнему правительству в смысле что надо делать для народа. А вы всё чего-то покойникам кости трясёте.

И Фома с Лазарем тут же подсобляли – с цитированием журналов «Здоровье» и «Наука и жизнь», а также «Науки побеждать» генералиссимуса Суворова. Иногда. А иногда – игнорировали. Это когда чересчур увлекались собственными двусторонними спорными вопросами. И тогда у них закипало! Хоть и дружба меж ними водилась такая, что – не разлей вода, а приходилось разливать. Потому что непримиримые оппоненты отстёгивали свои ходульные деревянные «бутылки», крепившиеся к культам и к поясам нехитрыми ремешковыми приспособлениями, – и начиналось рукопашное фехтование.

Маня-Маня всякий раз выскакивала из будки и для наведения порядка предъявляла всем клиентам решительный ультиматум – матом, для доходчивости. Клиенты не обижались, и Фома с Лазарем, подпрыгивая, шли на перемирие.

Фома Михрюткин, сначала пехотинец, потом артиллерийский разведчик одного из тех сибирских полков, которые спасли Москву зимой сорок первого года, домой с войны не вернулся.

Когда наши пушки лупили прямой наводкой по Рейхстагу, нарвался Михрюткин на ошалевшего фаустника – и выбыл из действующей армии-победительницы. Контуженный, штопаный-перештопанный года полтора валялся по медсанбатам и госпиталям. По выписке «вчистую» осваивал московские желдорвокзалы. Там хорошо пода-

вали, уважительно. А в конце сорок восьмого объявился на родине, под Хибаровском. Дни проезживал в пригородных поездах, от пункта отправления – до пункта прибытия, и обратно, контролёры билета с фронтовика не требовали, народ сочувственный, компании радушные, всегда к дорожной скатерти-самобранке пригласят для выпивки с закуской и разговором. Потом Фома в город перебрался, колхозный базар освоил, своим человеком там стал. За умеренную плату и харч подрядился сторожить приезжие из деревень телеги с товаром. Опять же, в разгрузке-погрузке пособлял сельчанам, но, по правде говоря, больше громким голосом, командирским, действовал, распорядился. Уж какой там из него грузчик, на одной ноге? А ко второй, пятидесятипроцентной, Фома приспособил на ремешках деревянную самоделку в форме большой бутылки горлышком вниз. Ничего! Появилась бодрость и нахальство. Весело ходил, постукивал. К десятилетию Победы выхлопотал через военкомат покупной протез, с ботинком. Бутыль пристёгивал по будням, протез – по праздникам. Штаны навывпуск наденет – и уж как будто не инвалид, мужик как новенький. А чтобы левую штанину обрезать за ненадобностью, как некоторые себе позволяют, то Фома такого фасона терпеть не мог, считал невозможным вещь портить и жил так: при «бутылки» штанину подворачивал, а уж при протезе полноценная штанина с отутюженной (подматрачным лежанием!) стрелкой так и напрашивалась на весёлый парад... Однажды случай вышел. При параде, по-пьяному делу – маршировал Фома вдоль по улице и не сумел по-хорошему разминуться с трамваем, попал инвалидной ногой под колесо. Вагон остановился, народ сгрудился, ничего понять не может: человек лежит отдельно, левая нога – тоже отдельно, а крови нет; «скорую» вызвали, примчалась «скорая», врач осмотрел пострадавшего, плюнул с досады: и в ногах, дескать, правды нет! – и уехал; вагоновожатая нервно плакала, потом ругалась, потом снова плакала, а трамвай стоял, а к вечеру Фома с вагоновожатой Лилей поженились, и омыла Лиля Фому Михрюткина живой слезой, бабьей... И пошла иная жизнь, до пенсии ещё ого-го, так что определился Фома вахтёром служить на проходной завода «Эмальпосуда» (трёхлитровые чайники, поллитровые кружки плюс закрытый цех по оборонному ведомству), сутки на службе, трое – отдыхай... Как-то раз ещё один случай образовался, в двухдневном запое дело было. Питейная братия подзудила Фому достать денег на похмелку совершенно фантастическим способом. Фома ухмыльнулся и пошёл на трамвайный путь, разлёгся, аварийную ногу на рельс поместил, глаза закрыл, руки на груди скрестил и заснул. А разбудила пинком в ребро жена Лиля: вставай, скотина такая, не будет тебе ни скорой помощи, ни рублёвого сочувствия от народа, ни витаминов от больницы! ты же, балбесина, харя пьяная, не с протезом лежишь, а с деревянной ходулей наружу, кого хочешь обмануть? никого не обманешь, сволочь бессовестная, как не стыдно, шантажист,

вымогальщик, шагом марш домой, с глаз долой от впечатлительных граждан пассажиров с детьми!.. На этом долгая, просто удивительно затяжная, контузия Фомы Михрюткина кончилась и началась как бы новорождённая гражданская жизнь: с женой Лилей, на трудовой вахте завода «Эмальпосуда», сутки работай, трое отдыхай, пиво не возвращается, уважай родину, люби женщину, береги дом, помни о смерти, улыбайся над прожитым...

...эх, и страданул я тогда, братцы! Как щас помню...

В тот год на фронте только-только ввели гвардейские звания.

В артдивизион, в составе которого Фома доламывал хребет великому рейху, прибыл офицерик новый, молоденький, лет девятнадцати, совсем мальчишка, блестящий и свеженький, как подкалиберный выстрел, снаряд то есть, они же всегда такие, снаряды-то, свеженькие и блестящие, новёхонькие.

Ревниво, но добродушно весьма поварчивали бывалые вояки: ещё, дескать, и пороху не нюхал краткосрочный младший лейтенант Толстов, а уже – гвардии! Очки на востром носике с конопушками. Тоненькие ножки в сапогах болтаются, как шейка в воротнике гимнастёрки. Стоит перед строем бывалых, а в руках школьный портфельчик. Как на школьной линейке стоит, и ручки по швам. Бывалые ухмыляются: бросил бы ты его, портфельчик-то свой, товарищ гвардии младший лейтенантик, уроков не будет, училка заболела... Очень, просто невыносимо очень, волновал весь личный состав дивизиона интересный вопрос: что же там такое серьёзенькое укрывается, в портфельчике? Письма? Колбаса? Часы наручные трофейные?..

Под Новый год, это уж в Восточной Пруссии было, получил новый командир посылку из тыла. И стал к Фоме, самому ехидному из бывалых, подлизываться:

– Товарищ гвардии сержант, не хотите ли ромовую бабу? Только немножечко подсохшая...

– Ой, хочу, товарищ гвардии младший лейтенант, – отвечал Фома. – Только не ромовую. И чтоб не подзасохшую! А попутно разрешите ещё один вопросик: вот зачем вам, интересно, при вашем чине в нашей артиллерии такой штатский портфельчик? Не солидно получается, и для гвардейского подразделения обидно, и не соответствует нашему победному положению.

Всё открылось – когда младший лейтенант накрылся, и с ним Фома накрылся и ещё трое ребят, бывалых – от одного выстрела ошалевшего фаустника. Всех, кроме Фомы, в германскую землю зарыли и похоронки по адресам разослали. А Фома в медсанбат угодил, посчастливилось уцелеть. И портфельчик при нём оказался. И дальше, дальше, по госпиталям сопровождал тот портфельчик Фому Михрюткина.

И ничего загадочного в нём не обнаружилось. Толстая тетрадь в

линеечку, в картонной обложке. На первой странице фиолетовыми чернилами крупными буквами обозначено: «ВОЙНА И МИР. СОЧИНЕНИЕ ГВ.МЛ.Л-ТА Л.Н. ТОЛСТОВА». А дальше следовала только одна карандашная строчка, всего одна: «В тот год на фронте только-только ввели гвардейские звания» – ни многоточия после, ни точки. Точку поставили уж без него, без Л.Н. Толстова. Через два дня и две ночи. В сорок пятом.

На послевоенных раздрыганных дорогах, по которым скитался Фома Михрюткин, затерялся портфельчик, но тетрадь сохранилась. Как светлая память о товарище гвардии младшем лейтенанте, и чем дальше во времени отодвигался мир от войны, тем дорожке становилась та память, жалостней, с болью отеческой, но эта боль уж не пугала Фому, не бросала в ночные кошмары, понимал Фома, на собственной шкуре, штопаной-перештопаной, испытал: жив человек до тех пор, покуда в нём что-нибудь болит, в душе или в теле, и при этом неважно – от войны или от мира.

Тетрадь разместилась в противогазной сумке с наплечным ремнём, которую Фома в райвоенкомате выпросил для личного пешеходного обустройства. И в парадные дни Фома появлялся на публике всегда с этой сумкой через плечо, брезентовой, цвета хаки. Праздничные ветераны-фронтовики, всяк по-своему, продолжали строчку гв. мл. л-та Л.Н. Толстова: писали поздравления, отзывы, предложения, пожелания, иногда нужных слов не хватало, так старые солдаты вписывали свои фамилии с приснопамятными номерами полевой почты Действующей Армии, и только жалоб на тех страницах не было, неприлично жаловаться, стыдно даже. С каждым годом новые записи появлялись всё реже. А к самой последней руку приложил воин-интернационалист, обезноженный подчистую, инвалид-самокатчик, известный на рынке по прозвищу Утюг. Он в сыновья годился тем фронтовикам, которые до него в тетради автографы оставляли. А Фома Михрюткин и Лазарь Митинг так и называли его: сынок. Помогали сынку чем только могли, а, главное, выслушивали молча, без перебиваний, вздыханий и сочувствий, контуженные речи, порою обрушивающиеся в горячечный несвязный бред...

... эх, братцы, и страданул я тогда! Бля буду, до сих пор помню...

Лазарь Митинг, вахтёр Жёлтого Дома, существовал без правой ноги.

– А что, – подначивал приятеля Фома Михрюткин, – ты бы смог, как Алексей Маресьев, в настоящий момент вот так вот взять, сесть в самолёт и запросто полететь, куда хочешь?

– Куда хочешь – не могу, – отвечал Лазарь. – Мне военно-врачебная комиссия разрешила летать только по-прямой.

– По-прямой это тоже здорово, – замечали пивные сухопутные то-

варищи. – Главное, что до сих пор гожий к священному долгу военной присяги. Это ж не каждый ветеран так сохранится...

Лазарь всё что-нибудь придумывал. Учудил однажды с деревянной ходулей своей, бутылочной, как у Фомы. Явился в расположение Мани-Мани тихенький такой, и пиво не пьёт, и к беседам на международные темы равнодушный, задумчивый.

– Што такое? – спрашивают. – Обстоятельства жизни обступили?

– Думаю, – отвечает.

– И об чём же думает наш друг, товарищ и брат?

– Да вот думаю: щас мне чекушечку выпить и закусить, чем бог послал, или погодить малость?

– При таких обстоятельствах, дорогой Лазарь, думать даже как-то странно и фронтовику неприлично. Наливай да пей. Мы не против. А это самое... есть чего?

– Щас поглядим, – отвечал Лазарь, после чего задира штанину повыше, оголял деревянную чурку, сущее полено, а в чурке – маленькая красивенькая дверца на мебельных шарнирчиках, и висячий замочек на дверце.

Вышарил Лазарь из кармана ключик, протянул другу Фоме: открывай, дескать, друг, товарищ и брат! – а за дверцей обнаружился целый буфет! И не чекушечку бог послал, но целую поллитровочку, а к ней гранёный стаканчик, ножик-складешок, четыре штуки ириски «Золотой ключик», солёный огурец, ломоть хлеба, банку килек в томате и беломор со спичками! – и всё это в том выдолбленном дупле прилажено, подогнано, по гнёздышкам приспособлено, кожаными ремешками прихвачено, прямо как в мягком вагоне, в купе-люкс...

Михрюткин наскакивал на Митинга по трём пунктам. Пункт первый: зачем это наши сталинские соколы сбрасывали на передний край свои небесные подарки таким вредительским манером, что колбаса с махоркой всегда на немецкие окопы падали, а на наши, красноармейские, сыпались листовки на фашистском языке с предложением немедленно сдаваться в плен, а то хуже будет? Лазарь виновато качал головой: бывало, бывало, так ведь не то ещё бывало на бреющем полёте у фанерно-перкалевых бипланчиков, но лично он, младший лейтенант Митинг, за бипланчики не отвечает, поскольку никаких подарков на окопы не рассыпал, а сражался высоко в небе со стервятниками противника, будучи лётчиком-истребителем, а истребительная авиация, дорогие товарищи, это такой скоростной и высокоманевренный фактор, которому, в сущности, нет дела до воздушной почты с колбасой и листовками на небесных тихоходах... По первому пункту наскоки Фомы на Лазаря постепенно прекратились. По второму – настоящий ли Сталин генералиссимус или не настоящий генералиссимус и кто есть, в таком случае, генералиссимус: Суворов или Чан Кайши? – страсти разгорались с каждым годом и, кажется, пути к соглашению сторон-антагонистов не находилось. А третий пункт – вообще не

пунктик, а так, шутка, борьба социализма с капитализмом на бытовом уровне.

Тут своя история. Обувь 43-го размера Фома с Лазарем всегда ходили покупать вдвоём, в торжественной обстановке, и делили покупку пополам: Лазарю левый ботинок, Фоме правый. И вот вздумалось однажды Лазарю нарушить событийную традицию: решил в свободное от вахтёрства время заняться кустарным производством на мелкобуржуазной базе народных промыслов, а именно – пимы катать. Ну, вот такой уж Лазарь, что не может усидеть на месте без частнособственнической инициативы!

И Фома немедленно начал здороваться с приятелем очень ехидно улыбаясь:

– Здравия желаем, бывший сталинский сокол! Слышали мы, слышали, что вы всё своим эгоизмом занимаетесь. Очень нам интересно! И как же он процветает, ваш нэп, если не секрет?

– Пошёл ты к монаху, – отмахивался Лазарь и даже не обижался. – На-ка вот ключик, открывай буфет, какие там у нас посылки с неба, как говорится, чего нам нынче бог послал или его царица небесная.

– Между прочим, – ворчал Фома, примеряясь к замочку, – я сам, как ты знаешь, по военной специальности и по военно-учётному столу, бог войны. И, между прочим, раньше был царицей полей...

– Шевелись, царица!

Через полчаса Лазарь Митинг приступил к народному просвещению. Внимали ему пивные компанейцы с восхитительными причмокиваниями и поддакивали в такт истории русско-татарской валяной обувки, решавшей, в паре с водкой, двуединую национальную задачу – греть человека снаружи и изнутри: аж со времён «Слова о полку Игореве» – коты да чуни, а потом уж и валенки пошли от мастеров Семёновского уезда Нижегородской губернии, и стали называть валенки по способу ремесленного производства катанками, без которых император Пётр Великий в великом похмелье обойтись не мог, требовал наутро поднести ему первым делом щей да катанки для лучшей циркуляции крови, а для Екатерины Великой изобрели особые катанки, из тонкошерстного войлока, чёсанки, и все высшие в империи господа и дамы обулись тогда в чёрные чёсанки, а дешёвые серые только крестьяне носили, а татары предпочитали розовый окрас, а в Мордовии – с ручной вышивкой, а чувашаи в расписных кукморских щеголяли, да с загибами фасонистыми, двойными, тройными... – куда там! а в гости, в праздник, свататься и жениться! – вот куда! Владимир Ильич с Надеждой Константиновной в селе Шушенском, по свидетельству современников, в валенках не только что по дому и по селу топали, но даже на охоту надевали, зайцев истреблять, правда, в Москве товарищ Ленин стеснялся носить такую обувь, потому что боролся с квасным патриотизмом, но уж в Горках-то, тяжелобольной, валенок не избежал, а ученик и последователь Ленина генералиссимус Сталин...

– Сталина, не трожь, – рычал Фома Михрюткин.

– Не волнуйся, бог царицы полей. Хоть генералиссимус тебе и друг, но валенки дороже. Он в сибирской ссылке даже спал в валенках, и запах от него был не одеколон «Красная Москва».

– А Хрущёв? – подбрасывался вопрос к докладчику.

– Никита штиблеты уважает. И весь мир зауважал штиблеты Никиты. Стук-то от них аж на всю Организацию Объединённых Наций... Короче говоря, дорогие друзья, штиблеты – хорошо, но валенки лучше, и для вождей, и для народа, и для разрядки международной напряжённости, и, конкретно, для нашего Фомы, я ему вообще бесплатно пимы катать буду, заслужил Фома своим фронтовым героизмом такую теплоту от народа и овечью человечность от валенок, хотя иногда и проявляет политическую отсталость и близорукость в смысле культа личности...

В этот среднеосенний день прикостыляли Фома с Лазарем в расположение Мани-Мани не порознь, но совместно – по утреннему, легчайшему, первейшему, весьма приблизительному снежку. И у Лазаря на ноге новый валенок, и у Фомы. Но настроение у обоих хмурое.

Ещё в начале лета хмурость наметилась. Звонит как-то по льготному ветеранскому телефону общий пивной товарищ Малиновский Родион, на Первом Украинском фронте кровь проливал в полковой разведке. Звонит Лазарю и говорит безнадежным голосом: «Помираю. Приходи попрощаться с последними почестями, и Фому прихвати для сочувствия и разнообразия». Лазарь тотчас же к Фоме похромал, и оба – к Малиновскому. А тот сидит на кухне, чай пьёт, улыбается. Что такое? Зачем такой обман? «Да вас, – говорит Родя, – ведь за просто так не выманишь в гости! А мне дома сидеть – одна тоска, в лёгких обострение, из дому не выхожу...» Рассердились Фома с Лазарем на такие шутки. Но тут же и простили Малиновскому, как не простить, на Первом Украинском такие каши заваривались... и каждый ведь не без греха, со своим болевым порогом, пороком, пороком... Лазарь свой протезный киоск открыл. Бутылочку выпили. Мир, дружба и полный порядок пришли – на всех троих. Но Родион всё-таки чего-то недоперепонял. И потом ещё два раза оповещал страдательным голосом: помираю... Лазарь с Фомой не поверили: не хрен с нами несерьёзные шутки выдрючивать! – и не ходили к Родиону. А вчера вечером без никакого звонка заглянули попроведать, а его уж дома нет, вправду помер, ещё в обед увезли...

Сердито пьют пиво Фома и Лазарь, молчат, друг на друга обвинительно взглядывают, а тут ещё товарищи совершенно дурацкие разговоры ведут...

– Сто рублей в кошельке нашёл! Пропил? Не пропил. Домой принёс. Што ты! Баба моя от такого миллионерского лейтмотива с моей стороны враз обалдела. В больницу увезли.

- Везёт же людям...
- Это ж надо так...
- Чтoб столько удовольствий человеку зараз привалило, чтoб и деньги, и жена тоже самое, того, значит...

И вот как-то так всё разом навалилось на Фома с Лазарем: и хорошая болтовня товарищей, и хмурое утро, и Родя Малиновский вон как пошутил, смертельный номер выкинул, и в подшефном танковом полку, как докладывает Татьяна Ивановна Хлюстакова, почтительно новенькая тридцатьчетверка простаивает, солярки дожидается, а солярки нет и не будет, всю солярку, военную и гражданскую, на уборочную кампанию бросили, и что же делать, как прикажете выкручиваться из такого положения внештатным уполномоченным штаба военного округа Михрюткину и Митингу?..

Надрезинились к исходу дня Фома и Лазарь, как безответственные новобранцы. И не хватало только Сталина, чтобы ворохнулся новый спор со старыми обидами и старые упрёки с новыми причиндалами... Но Сталин всегда является вовремя. И он явился. И взметнул Фома костыль, и Лазарь шандарахнул костылём по костылю... Тоска выпала пепельная.

Маня-Маня вылетела из будки. Шарикоподшипниковый интернациональный Утюг врезался меж двух сцепившихся мужиков, которые, без костылей-то, друг без друга стоять не могли. И кончилось всё быстро. И избегали глядеть друг другу в глаза Фома и Лазарь.

И сказал Лазарь:

– Расстанемся культурно, бог войны.

И сказал Фома:

– И я тоже со своей стороны извиняюсь и желаю тебе, как сталинскому всё ж таки соколу, продолжать кувать свои частные капиталы.

– Всё! – сказал Лазарь. – Хватит на сегодня. Завтра на службу. Так что, давай, царица, назад расхмуривайся в обратном направлении и пошли к исходным рубежам.

– Пошли!

– А вот мы щас вам костылики соберём, – засуетились пивные товарищи.

А Фома с Лазарем плюнули на свои костыли, обнялись понадёжней, покрепче – и покандыбали без подручных средств... И так это у них ловко образовалось и слаженно получилось, как будто бы и родились они вот такими, обнявшимися накрепко, и не было, казалось, у них иного, друг без дружки, образа жизни на этом свете.

И идут – как один в поле воин. Трудно, полезно, примирительно. В паре новеньких, неразношенных валенок – переваливаются с боку на бок, а с другого боку деревянно постукивают, поскрипывают, похрустывают, да не просто так, для сопровождения шагов, а всё – об истории Союза Советских Социалистических Республик... Мерно раскачиваются, вроде маятника – с большой амплитудой добра и зла,

светлого и тёмного, хорошего и дурного, то есть всего, что нажилось-накопилось не порознь, не в каждом отдельно, но как бы внутри одного и того же человека. А костыли... Да что костыли? Ну их к лешему. Фома и Лазарь точно знали: сейчас никто не посмеет нарушить их обоюдный сосредоточенный монолитный парад, а часика через два знакомые ребятишки приволокут костыли на дом, и нужно будет новую ночь пережить, и утро встретить, и дальше жить-поживать и наживать, кроме шуток, многие радости и печали. И завтра заступать на вахту...

.....

Вот и октябрь. С одной стороны, конечно, – очей очарованье. А с другой – так глаза бы не глядели... Но между ними, посрединке, навроде третьего ока – светился день Покрова Богородицы, о котором молодёжь Страны Советов знать не знает, а у стариков в суставчатой памяти только и осталось, что метеорологическое ощущение: ежели на Покров снег ляжет, так уж и не растает до самого конца зимы.

В окраинном районе города, в Октябрьском, на уже белом крутояре, осенённом первым решительным снежком, вознеслась старенькая церквушка им. Пресвятой Богородицы. И поп там служит – молодой, социал-демократичный, красивый поп, популярный вельми, зело, и не всуе, и не втуне – среди женского населения. Так вот, спросите его, пожалуйста, про праздник Покрова, спросите! Ясное дело, ответит, не мешкаясь, должность и обязанность у него такая святая, равно как у лектора общества «Знание», чтобы на любые вопросы непревзойдённо отвечать вопрошальщикам, вот он и ответит про Покров наставительно: оочень округлоооо и длиииииииииинно, с цитатами, но вот фокус, что всё у него выйдет как-то не по-пастырски, окормлением постным, соли земли нет в коем, невразумительном и даже смущённом, и таким-то полусветским образом получается из вопросов-ответов попеременный речитатив с подсвистыванием на левых оплечьях.

– Батюшка, батюшка, а что Покров явился на Русь из греческих владений, из Византийской империи, так про то мы уже знаем досконально, нам про сей факт научный лектор из общества знаний в обязательном порядке критически рассказывал. А ещё и константировал, что будто бы в греческом православии праздника Покрова вовсе нету. Это как же понимать?

– А это, – отвечает поп, – ещё раз подтвердилась мудрость божия о неисповедимости путей господних.

...да, да, конечно же, все знают, нам товарищ лектор рассказывал в порядке планового посещения Дома политпросвещения, в университете миллионов – вот так, молодой лектор, красивый, популярный весьма у преклонного населения Октябрьского района вообще и женщин-тружениц постбальзаковского и далее возраста: так, значит, в начале десятого века подступило русское войско к

Царьграду-Константинополю, тогдашней столице православия, и обречён был город на неминуемую кровавую гибель, и тогда собралась жителями в Богородичном храме, где в златотканом ковчеге хранились одежды Пресвятой Девы Марии, привезённые из Палестины, и началось во храме всеобщее бдение во спасение от иноземных оккупантов под руководством святого Андрея и ученика его Епифания, до утра длилось коллективное моление с пролитием слёз, и пришёл рассвет воскресного дня, и тут как тут явилось Андрею с Епифанием измождённое видение: стоит на воздухе Богородица и сияет светом неизреченным, а вокруг неё ангелы с архангелами толпятся, и вот подошла Дева Мария ко престолу, сняла с главы своей покрывало и надо всем молящимся народом распростёрла, такое покрывало у Девы...

– Истинно, истинно так, – подтверждает молодой, социал-демократичный батюшка.

...а дальше чудеса поперли: русское войско вдруг снимает осаду города и, будто гонимое в хвост и в гриву кем-то незримым и неслышимым, поспешно бежит к своим черноморским флотилиям кораблей, и поднимает паруса, и вёсла – на воду, с тем и покидает без оглядки византийские пределы, домой спешит, чтобы учредить на языческой Руси православие, православней византийского, вражеского, да ещё и объявить Покров Богородицы ея высочайшим покровительством Руси и вечным заступничеством перед лицом международного сообщества... – и что же, батюшка, за чудеса такие чудесные, и что же это за воля такая божия и такие пути господни, что нет в них формальной логики, а всё одни кривые парадоксы?

– А на то она и воля божия, – отвечает молодой батюшка, – что ей наш уважаемый диалектический материализм с истматом, прости господи, – как об стенку город до лампочки Ильича. И также, братие и сестры, аще кто вымыслит из разума паки и паки...

– Стой! Стой, батюшка! Чего ты такое понёс, будто ты и не батюшка во храме, а ровно писатель Равелин Валютин в героизме соцтруда? Я ведь всё ж таки во храм господень для душевного контакта пришёл, так давай и поговорим по-человечески, а не паки-паки да еси-еси, которые в сознательное понятие не помещаются, как ты их ни запишивай. Вон, в Доме-то политпросвещения – как элегантно устроено: на первое тебе – речь по-русски, на второе – опять же, кино...

– Искушаешь меня, брат возлюбленный.

– Опять стой! Давай, батюшка, всё ж таки определимся, в смысле – кто кому есть брат или кто кому есть батюшка, в этом вопросе ясность нужна, без ясности получается дядька в Киеве и кум куму сват для деверя.

– Брат мой, – сказал поп. – Во Христе.

– Значит, всё-таки брат. Хорошо. Поговорим, значит, по-братски. Итак, слушаю тебя, брат мой.

И как же посветлел лицом, как воссиял глазами молодой человек, по занятию поп, красивый, социал-демократичный!

– А вот, – говорит весело, – запомни и передай другому, брат мой. Ровно через неделю после нашего разговора грядет праздник великий, глобальный и космополитический. Шесть тысяч лет назад, двадцать второго октября, под вечер дело было, часу в шестом, возможно, и ровно в шесть, был сотворён мир на всю вселенную!

– Оооооооооо! Неужели?

– Ужели, ужели, брат мой.

– Серьёзное дело. Надо отметить, брат.

– Надо, надо, брат. В городе Лондоне уже, между прочим, всё Королевское геологическое общество принаряживается к юбилею мира во всём мире, речи готовят, бокалы протирают. А мы что же, рыжие?

– Оооооооооооооооооооо, нееееет, брат! Мы не рыжие! Мы тоже того...

– Того, брат!

– И кто же этот красный календарь человечества открыл?

– Архиепископ Ашер. Ветхий Завет изучил до буковки и вычислил. Ещё в середине семнадцатого.

– Года?

– Века!

– Фу ты, испугал! Я уж подумал... Значит, в середине семнадцатого века?

– Да, брат, как раз в середине.

– Какой молодец! А памятник ему есть в городе Лондоне?

– Чего не знаю, того не скажу.

– А хорошо бы, брат, взять и в нашем Хибаровске воздвигнуть. На общественных началах. А?

– За неделю не успеть, брат.

– Это, брат, верно. Как верно и то, что отметить позарез надобно.

А как?

– А вот, брат, у нас бутылочка церковного винца припасена. Кагорчик. Сладенький весьма!

– Неэффективно это, брат, кагорчик-то. Ну, ты подумай: такая дата – и кагорчик... Вообрази: такой творец и его создание – и жалкая бутылочка! Неадекватно. Уж я бы для своего начальника на юбилей ящичка водки не пожалел. У нас в политпросвете водочку уважают...

– Стой, брат! Господи, брат мой, да уж не оттуда ли ты, где ваше дэпэпэ лекции читает и кино крутит?

– Оттуда, брат, оттуда.

– Может, и лектор тот самый?

– Самый-пресамый, брат.

– По фамилии Юфтев?

– Юфтев!

– Специалист по клерикальному антисоветизму?

- Точно!
- И ты мне тут цирк с водевилем устроил?
- А кто мне подыгрывал?
- Ну, змей!
- От змея слышу.

– Что ж, ладно, пусть... Смирением побораем гордыню свою. И пойдём-ка мы, брат, в мою келейку, таянем по-маленькой для пушщего знакомства и начнём юбилейно увековечивать господу нашего, творца и создателя, архитектора вселенной...

– И Эшера не забыть!

– А как же, брат! Эшера обязательно. И Ленина тоже. И новый мир с Октябрьской революцией по-старому стилю! И также, брат мой, аще кто вымыслит из разума паки и паки...

.....

...и был вечер, и было утро: день первый снежного Покрова этого года, этой осени, этого Лета Господня. Значит, скоро зима. И встретит её советская Родина без Родиона. И увековечит прах его в своём прахе.

СІХ

Ваятель Хасан Францевич честно предупреждает собеседников, равно приятных и неприятных, задушевных и равнодушных, трезво-мыслящих и не очень:

– Изувековечу, голубчик!

Каждый голубчик понимает это по-своему.

И ещё вот что. Любит Хасан Францевич поиграться с вышеуказанными собеседниками на обглоданной и обсосанной грудной куриной косточке-вилочке: этак тянут-потянут рогульку, каждый к себе – до перелома с последующим наставлением одного тягальщика другому: бери да помни!

Наконец, ещё одна чёрточка к творческой характеристике Хасана Францевича: не уважает он русскую народную приговорку «Цыплят по осени считают». Каких цыплят? При чём тут цыплята? Кто считает? Кому это выгодно? Цыплятам или счетоводу? Глупость какая-то. Для куриных мозгов.

Ему подсказывают: подведение итогов.

Хасан Францевич сердится и вибрирует строгим вертикальным пальцем в пространстве:

– Изувековечу!

Однако же, творческая жизнь ваятеля Хасана Францевича Шадрина сложилась и существует в таком разрезе, что каждую осень, примерно

к очередной годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, открывшей новую эру в истории человечества, Хасан Францевич в один из дней вдруг умывает руки, сроднившиеся с глиной и пластилином, и начинает пить дефицитный анисовый аперитив от тёти Хаси не в творческих целях, но исключительно для того, чтобы остановиться и оглянуться. Он отпускает домой на пару нерабочих дней своего неразлучного помощника-форматора Васю, остаётся один, тихо катается в инвалидной коляске по громадной своей мастерской, думает, смакует по глоточку аперитив, одновременно, без передыху, беседуя – то ли с воображаемым и явившимся к слову лицом, то ли с внутренним голосом.

Мастерская – она же и квартира, жильё Хасана Францевича. В ней всегда прохлада и влажный сумрак, несмотря на два огромных, от пола до потолка, витринных окна с холщовыми грубыми кулисами на кольцах. Кухонька, ванная, совмещённая с WC, фанерные выгородки с закоулочками, старинные резные ширмы с диковинными птицами по зелёному шёлку, действующий камин с дымоходом, врезанным поблату в вентиляционную шахту. Живописно-художественный беспорядок. На каминной полке – каслинское чугунное литьё, дымковские глиняные игрушки, палехские лаковые шкатулочки, ярко расписанные деревяшки из Хохломы, гжельский фарфор, вологодское кружево в безукоризненно продуманной небрежности, коллекция пивных кружек... В центре зала, конечно, скульптурный стан. Поближе к окнам – старинный овальный стол, взлохмаченный ватманскими листами, листиками, листочками, кусочками листочков – рисунки, эскизы, наброски. Стеллаж с книгами и альбомами репродукций. Швейная машина «Зингер» как памятник чугунному грандиозно-грациозному изяществу. Стиральная машина по домашней кличке «божемойка». Монументальный платяной шкаф, за которым укрылась спальня Хасана Францевича: шкаф фанерный, трёхстворчатый, «шихфанер», по слову помощника Васи; между ними сложные отношения, шихфанер точно соринка в глазу, заноза в языке, верблюд в ухе... – к месту и не к месту поминает Вася этот шкаф, сделавшийся предметом васиных преткновений с миром. «Жизнь, – говорит, – текёт, как в том шихфанере». Или так: «Зачем мне такие варианты, чтобы пылиться в шихфанере, как старому пальту?» Впрочем, старьё в шкафу не содержится, ничто там не пылится, необходимый минимум в полном порядке. Костюм шевиотовый, тёмносиний, однобортный, чтоб в гости выезжать и на мероприятия; рубаха и штаны обыкновенные; бельё тонкое, бельё толстое; штиблеты коричневые на рубчатой стилиажьей микропорке – «мокасины»; тугие шарики носков; сапоги хромовые, сапоги яловые, сапоги кирзовые, сапоги брезентовые – памятник ногам, молодым, бегучим, всё! ничего лишнего, сгрёб в один чемодан, захлопнул – и пошёл, как черепаха, со всем своим гардеробом. Да много ль надобно творцу, ежели он и на голом месте натворит всё, что

ему вздумается, и когда даже самое неудачное, неудавшееся творение может стать статуей-памятником самому творцу, и очень просто!

*Я глины взял и взял песка немного,
Водой реки сухую смесь развёл.
Из глины и песка я создал бога
И на железный пьедестал возвёл...*

Стоит в углу, будто бы в наказание, да ещё и ни за что, ни про что, – портновский манекен, безголовая половина прекрасной дамы из ателье индпошива горпрома: плечи, бюст, талия в суровом сером полотне, исколотом булавками... Новенькая мужская дублёнка на даме. Из Чехословакии, неношенная. Памятник одна тысяча девятьсот семидесятому году. Год столетия со дня рождения Ленина. В том году Хасану Францевичу было пожаловано звание заслуженного художника СССР. Академик Лёва Кербель подсобил в пожаловании по старому знакомству. Дальше. А дальше крутится французское кино. «Мужчина и женщина». В главной роли – Анук Аме, Анук Любимая, в миру Франсуаза Сория. И вот тогда-то шагнули с экрана в мировую жизнь дублённые бараньи тулупчики а la Анук. И сразу сделался год тысяча девятьсот семидесятый «годом Анук» – на весь мир. Факт скрупулёзный. Как сказал бы Вася, не факт, а шихфанер скрипучий.

Особое место в мастерской – собрание старых этажерок с коллекцией бюстов и бюстиков – купленных, подаренных, выменянных. Керамика, гипс, фарфор, чугун, медь, бронза, сплавы разные – олово, гарт... Наполеон, Хо Ши-мин, Мао Цзэ-дун, Дзержинский, Киров, Георгий Димитров, Гагарин, Лермонтов, Чойбалсан, Есенин, Будённый, Галина Уланова, много Лениных, много Сталиных, Фидель Кастро Рус... Бюстик Фиделя прислал в подарок ко дню рождения академик Лёва Кербель, личное письмо присовокупил: мы, – пишет, – с Фиделем очень большие сделались друзья с тех самых пор, как я ему памятник сделал из белого гранита, это я тогда на Кубу ездил, он меня в лучших условиях проживания поместил, лучше, чем даже Брежнева, и приходится признаться, что пока у нас Хрущёв был и ракеты там наши стояли, так у них там под пальмами полный порядок был, а сейчас друг Фидель мучается, хоть и великий человек, пламенный настоящий революционер, может десять часов подряд речь на площади перед народом говорить без бумажки, правда, сейчас стал уставать и снизился до пяти часов... А это Бах. Этим Бахом детки, видать, щёлкали грецкие орехи. Академиком Лысенко, не иначе, заколачивали гвозди. Бедные бюстики. Их-то зачем изуковечивать?

И на каком-то повороте инвалидной коляски вдруг вытягивалась такая гусеница-сороконожка: Лениниана больше – ленинизма меньше – но чем его меньше – тем «Лениных» больше – а чем «Лениных» больше – тем скульпторов меньше – но чем скульпторов меньше – тем конкуренции больше – и тут совсем непонятно, что именно может

радовать Хасана Францевича, однако же, именно радуется, на вселинском рынке он торчит высоко, как академик Лёва Кербель – на всесталинском, а другие ваятели, отчаявшиеся к чёртовой матери, уже лепят кого угодно, какого-нибудь Косыгина с бородавкой...

И есть в мастерской Стена Плача. Когда распаиваются для проветривания форточки и по жилплощади вольно гуляет сквознячок, – шевелится Стена. Стенание лиственное – шёпот, шелест, шуршание... Это бумажки на стене. Маленькие, большие, всякие. На кнопочках, на гвоздичках, на ниточках-верёвочках, на липкой ленте для ловли мух к стене припечатанные для ежевременной наглядности...

Полстены иллюстрируют то, что уже есть в мире зодчества любопытно-волнительного для Хасана Францевича. Полстены – его собственноручные графические фантазии, прожектёрство, лучики света в неопределённо далёкое будущее, о котором словами и цифрами надёжного мнения не составить. С одной стороны, утверждают: светлое. С другой: шихфанер... Что между ними? И ведь ни один академик не отважится ответить на вопрос: сколько же времени понадобится, прежде чем «Девушке с веслом» улыбнётся участь нарядно обнажённых красавиц Летнего сада?! Улыбаться уже некому. Иван Шадр плачет: его цементную девку ещё в тридцать шестом году спиздили неизвестные прозорливые коллекционеры из центрального парка культуры и отдыха столицы нашей Родины города Москвы... Древние мыслители успокаивают: время лечит. Вася категорически не согласен. «Ой, – говорит, – уж не знаю, не знаю, между прочим, уж сколь времени-годов прошло, а всё ни хрена ничего, проживаешь как будто бы в шихфанере, и вот поэтому я думаю, Хасан Францевич, в таком аспекте: а пускай оно вовремя приходит, это время! Правильно я говорю?» Да кто ж его знает, дорогой товарищ Василий. Может, оно и лечит. И хорошо, если человек успевает вылечиться. А если не успеет? Если жизни ему на это лечение не достанет – тогда как? Загробное лечение памятью? В Программе КПСС – ни слова, ни полслова...

Поглядим налево, где полстены. Там гипсовый Христос на ступенях Капитолия, у лестничного входа в Конгресс... Там бронзовый Альберт Эйнштейн между больших живых деревьев старого парка сидит, как небрежный мальчишка, на каких-то ступеньках неизвестной лестнички ниоткуда и в никуда – и рядом с ним задумчиво стоит живой человек с газетой, величиной с ладонь великого физика, и физик, между прочим, тоже задумался и отложил прочь бронзовую одноимённую газету... Там в тихой части Бродвея, подальше от центра, прямо на пешеходном тротуаре чугунный портной прострачивает край чугунной ткани на чугунной швейной машинке... Ёлки-палки! А мы-то думаем, что чугун – это всегда только знатные металлурги...

*«Вы правильно думаете, товарищ Шадрин.
По выпуску чугуна наше государство...»*

«Ваше государство!»

«Наше государство по выпуску чугуна...»

«Минуточку! Вы хотите уверить меня в том, что ваше государство и есть моё отечество, моя родина, которую я должен любить до беспамятства?»

«Зачем уверять? Вы без уверений должны и обязаны...»

Где? Где он носится, дух либеральный с сивушным уклоном?

Кто? Кто напялил на голову тонкое, вдохновенное лицо международного авантюриста, явного пройдохи, тайного выпивохи и блядуна, бильярдиста, преферансиста, шахматиста и трепача?

Как? Как сложится двуличное событие – на новое утро, после вчерашнего, через неделю-месяц-год, с безоглядными государственными просторами на понюшке землицы, что всего на полчиха Гулливеру?

Чем? Чем отметимся?

...и прогеростратили своё время, взорвали его натурально, будто храм Христа Спасителя в декабре тридцать первого. А уж потом легко и просто обходились. Камни не вопиют. Праксители удалились в просители. Всех зодчих заместил один на всех, он же и кормчий... Время, вперёд! Герострат сущий малявка в сравнении с «картонным Феликсом»... Это академик Лёва Кербель, старый лис, разговорился в письме. Вызвал, значит, именитого архитектора Феликса Новикова в служебный апартамент сам столичный партбосс Гришин – для доклада и показа, и явился Феликс к партийному руководителю и вдохновителю не один, а с макетом застройки Новокировского проспекта, и босс нахмурился, показались ему чересчур высоковатыми здания нового ансамбля, ибо заслоняют, видите ли, собою прекрасный вид на звезды Кремля в венце сталинских высоток, и рявкнул босс: «Срезать к чёрту верхние этажи!», и съёжился картонный Феликс, замычал бессловесно, и удивился босс: «Ну, вот, даже огрызнуться не умеешь. А ну, давай, устраняя излишества! Немедленно!», и всё понял Феликс, и стал зубами отгрызать верхние этажи и огрызки в ладонь выплёвывать, и все смеялись очень, как дети, а вы вот всё спрашиваете да спрашиваете: чем отметимся? да уж выходит, что не белым камушком, которым древние греки отмечали удачные дни личной и общественно-трудовой деятельности...

«Здесь был Вова».

Очень знакомо!

Стремление среднестатистического россиянина подобным граффити отметиться на скрижалях истории – неистребимо, как сама история, как сам россиянин.

Вот и сюжетец забавный, мимо которого проскочил сам Николай Васильевич Гоголь. А может, не совсем проскочил, и держал в запасе, и тот запас лежал-лежал, да и протух вместе с Николаем Васильевичем.

Февраль 1843 года свёл в Риме двух восторженных соотечественников. Она – фрейлина Александра Осиповна Смирнова-Россет, по отцу родственница герцогов Ришелье, а по матери – грузинского царя Георгия XIII. Он – захудалый малороссийский дворянин, литератор Гоголь. Он очень хотел понравиться даме. Он жаждал любви эксклюзивной, как сказали бы российские романтики конца XX века. Но в предыдущем веке романтизм был попроще. Николай Васильевич расфрантился серой шляпой, голубым жилетом, панталонами цвета малины со сливками. Перчаток, к сожалению, не имелось, и фрак отсутствовал, так находчивый Гоголь полы сюртука булавками подколол, получился фрак...

«Комильфо!» – думал Николай Васильевич.

«Моветон!» – думала Александра Осиповна.

Путешествуя, они, разумеется, не миновали собора святого Петра. И где-то там, наверху, у внутренней стороны купола Александра Осиповна благоговейно преклонила колени перед настенной надписью: «Я здесь молился о дорогой России». Александра Осиповна узнала руку государя Николая Павловича, как же ей, фрейлине, не узнать ту трогательную руку всевластного моветона и комильфо...

...вот я и говорю: мы такие, мы всё на свете можем расписать. Колонны поверженного Рейхстага, лифты многоэтажек, мостовые опоры и отвесные скалы, общественные туалеты, мемориальные кладбища, обратную сторону Луны... Да ладно уж вам! В конце концов, увезут – от витрин ГУМа и весёлой погремушки Василия Блаженного – увезут – к приневским берегам – увезут и похоронят рядом с мамой в чухонском болоте даже самого вождя, товарища Ленина, тут дело простое, очевидное, всего-то и требуется для этого, чтобы Ленинград снова стал Санкт-Петербургом, – и что же тогда, после погребения? А ничего особенного. Кончит свой срок девиз правоверных: «К борьбе за тело Ленина будь готов!», а Мавзолей, любимая мозоль КПСС, гранитная ступенчатая вежа – останется. И Ульяновский мраморный мемориал останется. И каменный шалаш в Разливе. И ещё много мрамора, гранита и бронзы, больше, чем накопилось в папском Риме за несколько веков. И что ж, вы думаете – Мавзолей будет стоять на Красной площади без соответствующего письменного свидетельства? Вряд ли. Среднестатистическая душа населения никогда не смирится с чистым, незапятнанным камнем, не вынесет пустоты и обозначит саму себя, среднестатистическую, с уникальной непосредственностью: «Здесь был Вова».

*...Он высится торжественно и гордо,
Касаясь звёзд протянутой рукой.*

*Я дал ему страну людского горя
И дал ключи от радости земной...*

...вот я и думаю вослед сочинителю: ну, вот никак не обойдет могил наша дорога в светлое будущее! налево ли, направо или прямо – всюду она упрётся в крест, звезду, полумесяц, в нумерованный колышек, и уж никак невозможно утверждать, что эта дорога никуда не ведёт. «Камни не виноваты», – сказал Рильке. Так мы и без Рильке, может быть, тыщу лет назад догадались, насыпая по Великой Степи курган за курганом и вождей хороня: у человеческих истин есть срок годности, а камень таких истин не знает, он сам себе истина и не имеет прямого отношения к тому, что именно под ним укрыто, вера или суеверие, убеждение или заблуждение. Камни такой мистики не ведают. И если строитель сложил из них некрополь, то пусть сам строитель и разбирается. Тут всё дело в строителе. Вот пусть и пеняет на себя верный ленинец за то, что, похоронив Ленина под Мавзолеем, он тут же, одновременно, начал хоронить ленинизм: и статуями, и профилями на рублях, и Ленин уж не даст сдачи с тех рублей, и при расчёте народ легко расстанется с ним, так же легко, как расставался с богами каменными, деревянными... Господи, да если ты есть, так подай же голос или знак какой-нибудь жрецам глупым, обкурившимся зельем собственноручного варева! На берегах Невы, в роскошном дворце Ринальди устроили они музей, куда повесили пальто, простреленное эсеркой Каплан, а на берегах Москвы-реки, в другом музее, висит точно такое же пальто, и вождь, значит, явился на завод Михельсона в двух пальтишках разом, одно на другом, опытный ведь конспиратор... Но какой, однако, размах! Гулливеры с Лилипутами играют в догоняшки, в жмурки, в прятки – вокруг Египетских Пирамид! Недетские забавы. Это смертельно серьёзно. Это Долина Царей, это западный берег Нила... Это академик Лёва Кербель, странный человек, альбом прислал в ответ на возмущённый вопрос: откуда у нас выскочили, из каких таких закровов взялись исполинство и гигантомания? А Лёва хитрый, Лёва осторожный. Зачем ему объясняться рискованными историческими параллелями? Он альбомчик прислал: смотри, Хасан Шадрин, и на ус наматывай. И осталось на усах: да, Долина Царей! на западном берегу Нила, напротив Карнака и Луксора: гигантские постройки Нового Царства времён правления самых могущественных фараонов, сыновей Ра – Рамсеса I и Рамсеса II: с 1350 до 1200 годов до новой эры: в те времена в Египте происходило то же самое, что намного позднее случилось в Риме, в эпоху цезарей, когда вся заимствованная из Греции монументальная культура исчерпала себя и свелась к гигантомании: вот и весь путь: от величавых пирамид древности – к чванливой Долине: доля: то же самое произошло и в «ассирийском Риме», в Ниневии во времена Синаххериба, и в Китае при императоре Хоанг-Ти, и в Индии, ошеломившей саму себя циклопическими сооружениями...

Вот чем он хорош, этот анисовый аперитив? А не надо закусывать! Не надо отвлекаться от размышлений жвачным делом! Верно, аперитив назначен для возбуждения аппетита. Но какой дурак может свой аппетит перебивать? Хасан Францевич! Это ему мудро присоветовал академик Лёва Кербель, Лёва, мудрый, как змей семиголовый, Лёва знает, он Сталина в гробу лепил, и этот «Сталин в гробу» до сих пор в мастерской у Лёвы лежит, везёт же людям, но он ещё и кокетничает: ах, не тоскуйте мне об этом... Ну, Лёва! Всем Лёвам Лёва! Высший лауреат. Герой соцтруда, народный художник, родился день в день с Великой Октябрьской революцией, живёт бодро и не забывает язык родных дубин. Разные слухи про него доходят, иногда нехорошие: дескать, этот хитрый рабинович думает про себя, что он робингуд и робинзонкрузо, но ему – не выйдет!.. Так говорить нехорошо, по-человечески некрасиво. Лёва всё-таки мастер. Какой – это уже другой вопрос. Он что – напрашивался лепить Сталина? Не напрашивался. Его ночью вызвали в Колонный зал. Лёва надел новый костюм, бостонный, а до этого он всё в военной форме ходил. И весь новый костюм в Колонном зале испортил, потому что пластилин потёк от света юпитерных ламп. Лёва всё равно лепил. А Микоян подходит и говорит: «О, хорошо-хорошо, давай-давай». А у Хрущёва сзади штаны обвисли. У Кагановича шнурки развязались. Берия очками блестит, как на параде. А товарищ Сталин в трёх метрах лежит, спокойный, красивый, напудренный. Просто Бог!.. Так Лёва и написал в письме. Это уж потом Лёва к первоисточнику потянулся, к Карлу Марксу. А Фурцева для Маркса нигде подходящего гранита найти не может. Весь мир коммунизма, капитализма и развивающихся стран обзвонила – нет такого камня-монолита! Она и говорит: «Лев Ефимович, может, вы из составных кусков памятник сделаете?» Возмутился Лев: «Уважаемая Екатерина Алексеевна, я на такие составные части марксизма не согласен. Всё равно швы стыковки заметят. И что скажут? Что Маркс лопнул? Нет. Маркс не может лопнуть. Маркс это глыба. Вот вы мне и ищите глыбу, Екатерина Алексеевна, дорогой товарищ министр культуры!» А она говорит тоненьким голосом, не министерским: «Лев Ефимович, может, вы сами попытаетесь? Я вам пять тысяч на расходы дам». И Лёва сказал: «Ладно». Дали ему в помощники учёного геолога, поехали они на Украину, приехали, заходят перекусить в какой-то задрипанный сельский ларёчек, там уже сидят и закусывают горилку салом два мужика, и Лёва просто так, без задней мысли, говорит одному: «Товарищ колхозник, вот если найдёшь мне такой-то и такой-то гранитный камень-валун, так я тебе денег дам целых две тыщи». Мужик допил, дозакусил и говорит: «Пошли». Сели на трактор, приехали в поле, там кокнули лопатой – гранитная глыбища в земле лежит, чистый Маркс, вылитый... Таким он и выставлен на Театральной площади. Бог!..

*...Но если бог, тираня и тупея,
Захочет быть началом всех начал, –
Пересчитай запретные ступени,
Которые ведут на пьедестал,
Возьми топор и бечевы немного,
И даже если этот бог высок –
Твори свой суд. С высот повергни бога
И раздели на глину и песок.*

...этот поэт из Назарета! Умный, решительный. Сам по себе. И слово его с делом его тоже как бы сами по себе. Пожрали друг друга – и рассыпались в ничто. После стихшков всегда так случается... После Маяковского: «Огляните памятники – видите героев род вы? Станет Гоголем, а ты венком его величь» – песочек посыпался из поэмы все-ленинской. После безымянного: «Стоит статуя во тьма заката, а вместо хуя торчит лопата» – глина жирная и скользкая, как блевотина. Откуда всё вышло, всё и ушло туда же. Всё – на песке. И не нужен бог ручья, если есть ручей. В ручье можно умыть руки. А парень из Назарета – вовсе не из Назарета. Он, вспоминается, из провинциального журнальчика «Ангара» послехрущёвских времён, и фамилия ему дадена от родителей – Назаров, точно, и имя вспоминается: Вячеслав, Слава. Слава тебе, господи. Как всё сходится на нет, на гончарном круге...

Тишь. Лишь шины шелестят – шорох, шёпот, шустрые мышки-норушки бумажками шуршат.

...и карандаш грифельный, толстый, по имени «Фабер». Строитель, значит. Хомо-фабер, человек-строитель. Основная, знаковая фигура Возрождения. Хомо-сапиенс, человек-познаватель. Между ними бегают хомо-люденс, человек играющий. Это Хёзинг придумал играющего, оформляющего свою жизнь в виде игры, это так забавно, это позволяет не только убежать от очевидных мерзостей, но легко, играючи выстраивать новую культуру, при которой игра из способа оформления жизни становится самой жизнью. И тогда можно вполне поверить в то, что каменные и бронзовые полководцы не сдадут блокадного Ленинграда, где гражданских, невоеннообязанных богов Летнего сада убрали с передовой линии обороны, упрятали подальше, но памятники Суворову, Кутузову и Барклаю де Толли намеренно оставили на виду, открытыми и обозримыми с земли и неба, и даже тех маленьких фельдмаршалов и генералов не тронули, тех, вылитых, рукодельных, что приютились стайкою вокруг подола самодержавной Екатерины на площади, перед театром, их тоже оставили в линии обороны, а боги Смольного в это время водку жрали в бомбоубежище...

Полстены – памятник памятникам. Бумажный памятник. Эскизы, наброски, чертёжики, рисунки, проекты... Хасан Францевич, отдыхая от Лениниады, толстым «Фабером» на кусочках ватмана изображал, помощник Вася на стене располагал – грёзы... Вот Василий Макарович Шукшин сидит на вершине алтайского Пикета, босой, печальный... Вот два водопроводчика: один из канализационного люка высунулся и требует что-то несказанно нежное и суровое от напарника, стоящего снаружи, то ли водочки просит, то ли инструмент какой, вопрос тонкий... И ещё один труженик ЖЖХ, с разводным ключом, глядит из люка на белый свет, лицом вылитый из Помиранцева Семёна Семёновича... Дворник в картузе с печальным взглядом облокотился на метлу, мыслитель уличный, это уж Платонов, бывший писатель-фантаст, посланец из будущего... Честный гаишник с жезлом и свистком стоймя стоит на страже, а рядом мотоцикл с коляской в натуральном виде, один к одному... Иосиф Кобзон идёт твёрдой поступью, милый такой, лёгкий, полуторатонный, трёхметроворостый, и плащик на нём развеивается... Гоголь, понятно, в два раза выше Кобзона, и несёт то ли слово божие, то ли чушь, то ли что, непонятно, тайна в бронзе, на центральной площади города Рима... Мраморный нос майора Ковалёва, но место ему определено не в Ленинграде, а в Санкт-Петербурге, нос подождёт, покуда город переименуется, дело за горожанами, так что поторапливайтесь, господа горожане и градоначальники, игра движется вперёд семимильными шагами, и скоро не останется в мире ни одной тайны, ни одного чуда, да уже и переменялось многое в мире, даже до любовей не дозвонишься, и доктор Живаго не вылечил нас... А вот и сын турецко-подданного с шахматной доской под мышкой, гроссмейстер едва-Е-четыре... Он же с несравненным Шурой Балагановым – на гамбсовских стульях, а рядом третий стул, пустующий, взывающий к живым проходимцам: третьим будешь?.. Диван. Натуральный диван-самосон Ильи Ильича Обломова, и бронзовые тапочки тут же, близ дивана, и любой проходимец может примерить эти тапочки и прилечь на диване, тоже примериться... Легендарный портфель сатирика Жванецкого водружён на трёхтомную стопу полного собрания сочинений – бронза, гранит, постамент роскошный, колонна с коринфской капителью... Василий Тёркин – посреди Смоленска... Дядя Стёпа, присевший на орудийную башню линкора Балтийского флота «Марат», поза чревата: кому-таки памятник сей? «Марату» или дяде Стёпе? хуже, если кто-нибудь вдруг подумает, что – Михалкову!.. Собака задрала лапу у фонарного столба... Собака, семь лет ожидающая на обочине погибшего хозяина-автомобилиста... Цыганский Чапай, оглянувшийся в Куде навстречу снайперской пуле... Чижик-пыжик – для Питера, коза – для Урюпинска, крылатый волк, воспевающий луну, – для Тамбовских товарищей, заяц – для Пушкиногорья, человеческая сирота – для Казани... Жен-

щина. Женщина вообще. То есть, женщина как мученица жизни. Она даже такой памятник стерпит: женщина – мученица жизни. Есть же в Париже памятник лягушке как мученице науки... И только бронза! Только мрамор! Вера Мухина – гениальная дура со своей нержавеющей сталью для рабочего и колхозницы. Вера могла прикинуть умом, но не прикинула и не вообразила кошмарного случая, что московские голуби поселятся внутри стальных людей, а снаружи привыкнут отпирать естественные надобности, а голубиное гуано, между прочим, едчайшая кислота, никакая нержавейка не выдержит, и рабочий с колхозницей станут разлагаться изнутри и снаружи на глазах всей выставки достижений народного хозяйства, и мораль отсюда коротенькая, с гулькин нос, уже не для Веры Мухиной и не для рабочего с колхозницей, но для птичек божиих, разрушителей наглядного оптимизма и процветания: о! птичка, да будь ты, голубь мира, хоть трижды пацифистом, но ведь надо же хоть маленько соображать, кому ты на мозги капаешь... Дальше. А дальше – водка. В народе зрелая обида, в народе мнение специфическое, нечётко сформулированное: Марксу и Ленину, угробившим Россию в порядке эксперимента, поставили памятники, а водка, испокон веков поднимавшая страну из разрухи, «из рувим», как выражается тётя Хася, – водка, оказывается, народной памяти не удостоилась. Это странно, обидно и несправедливо. И вот – памятник: четырёхметровая бутылка «Московской» на постаменте, точнейшая копия, рядом стакан гранёный, стеклянный, и вечная вам память... Липовая хохломская ложка с райской птицей, венчающей ручку... Солёный огурец, муромский, пупырчатый – на беломраморной тарелке... Помидор – для города-побратима Минусинска, соперника в социалистическом соревновании, символ города... Пельмень – для Ижевска... Валенок – для города Мышкина... Плавленный сырок «Дружба», главная закуска шестидесятников XX века, появилась она в год конца хрущёвской оттепели, и Хасан Францевич изобразил: круглая упаковка, от неё, как лучи от солнца, идут сырные треугольнички, своеобразная нарушенная рублёвская перспектива, а рядом дежурит большая серая мышь... Вот Эйфелева башня, памятник Эйфелевой башне в центре села Париж Челябинской области, сельчане письмо присылали Хасану Францевичу: да плевать нам на наши силостные, вы нам Эйфелеву постройте... Огромный шар-аквариум, заполненный советскими монетами, медяшками и серебрушками, сам народ заполнит шар, обещались тачками возить металлическую мелочь, как уверял энтузиаст-подстрекатель из не очень трезвого города Винница... И рядом с проектом для Винницы помощник Вася булавкой приколол всемирно известного Рабиновича из Одессы...

...и этот Вася, Василий-Василёк, ситцевая душа. Он замешивает глину с песком и губами в такт шевелит. Речь репетирует. А после репетиции объявляет: «А не слабо вам, Хасан Францевич, земной шар

слепить?» – и смотрит с ленинским прищуром. Ничего не оставалось Хасану Францевичу, как ответно прищуриться и сказать: неплохая идея, можно даже сказать, гениальная идея, мне надо подумать, а тебе, друг, сгонять до тёти Хаси за анисовым аперитивом, после чего я буду думать и советоваться со своим организмом, изношенным от идей... Нравится Вася Хасану Францевичу. Чем? Открытостью. У других, почти у всех, лица укрыты за масками. А у Васи – никакой маски. Открытое лицо, обыкновенное, нормальное. Два глаза, два уха, прочая биполярность, рот, нос, и на лбу будто бы жирным химическим карандашом написано: дурак. Нравится Хасану Францевичу Вася. Нынче в заслуженном отгуле. На два дня. Дома. С двумя приятелями, имеющими к искусству опосредованное отношение, да и то приблизительное весьма. В кухонной кубатуре Вася. Тоскует по культуре, архитектуре, скульптуре и лично о товарище Шадрине...

Выжал Вася бороду от слёз, шарахнул по столу могучей рукой с тагуированными воспоминаниями о голубином крае Воркуте и объяснил питейным товарищам причину своей глубокой и непропорциональной задумчивости:

– Сижу это я один раз на унитазе. Удобство впритирочку, носом в дверь почти что упираюсь, а на двери зеркало повешенное на гвоздике, а в зеркале – я. Гляжу это я на себя: что такое? Вылитый Карл Маркс и Фридрих Энгельс! Тика в тика! Первый раз в своей биографии такое заметил. А оно мне надо? Зачем мне такие варианты?

– А ты, – советует первый питейный товарищ, – не фигурируй, Вася, и не шибко паникуй. Ты просто возьми и побройся. Пара минут делов – и никаких тебе карлов.

– Да? – усмехнулся Вася. – Ну, ладно, поброюсь. А умище куда девать? Его, ребята, не скроешь, если оно так и выпирает, так и выпирает, что прямо беда...

Второй питейный товарищ промолчал. Он был похож на Ленина в Женеве...

– Однажды в студёную зимнюю пору, – рассказывает Васе Хасан Францевич, – французский король Людовик Шестнадцатый купил на собственные деньги дрова для каминов и всё отдал парижанам, в основном беднякам. И благодарные горожане воздвигли возле Лувра огромный памятник своему королю – из снега! Поэты украсили постамент стихами. Один поэт выразился так: этот снежный монумент намного милей нашему королю, чем какой-нибудь мраморный. В это время наведалься наш великий придворный поэт Карамзин. Между прочим, мудрый. И стал вздыхать: вот, дескать, каков он, памятник благодарности, доказывающий неблагодарность французов.

– Уж действительно, – сказал Вася. – И что за нация? Российское население никогда такого бы не сделало.

– Россия, – сказал Хасан Францевич, – шире берёт. В России Ледяной Дом поставили как памятник и символ всей империи. При Анне Иоанновне дело было. Называют, бироновщина.

– Уж действительно, – сказал Вася. – У нас этого снегу – завались!

«Уж действительно, – подумал Хасан Францевич, – ситцевая душа...»

...и душа не дыша слышит шум шин неспешных двухколёсного творческого полёта.

Ах, если бы между глиной и ваятелем был бог! Уж он-то вывел бы на круг долгоиграющий всех трёх: и фабера-строителя, и сапиенса-познавателя, и люденса-игрока. Уж он не позволил бы сыну своему и наследнику ремесла – ваятелю бездарно проматывать созидательное время в дурацких вероломствах на куриной косточке, на этой осенней приснопамятной рогульке-виктории, на этой, чёрт бы её побрал, распальцовке мычащего «ы-ы-ы-ы-ы-ы» глухонемой азбуки. Да! Но бога нет. Его отменил лучший друг всех ваятелей, строителей, познавателей и игроков. Этот друг предпочёл иметь дело с человеком, играющим в человеческие кости... Есть Даль романа, который всегда может подсказать, что памятник – это всё, что сделано для облегчения памяти, для того, чтобы помнить или поминать дело и не забыть чего. И ещё есть Сочинитель, человек, играющий во всех сразу: и фабер он, и сапиенс, и люденс, и всехный друг, и в Киеве он дядька, и чёрт ему не брат, но волк – товарищ, да ещё и аннулированного бога чуть ли не ухватил за бороду в целях панибратского удостоверения. Вот он-то, Сочинитель, как раз и может испортить всю обедню с последней чашей анисово-аперитивного терпения и глинобитной благостью ваяния. «Игра в кости? – воскликнет. – Извольте, господа. Делайте ставки. Предположим, от Моцарта до соц-арта...» Череп. На лобной кости этикетка с инвентарным номером. Но гениальность-то на лбу не обозначишь. Вот и ломают исследователи собственные головы извилистыми вопросами: Моцарт это или не Моцарт? в общей-то могиле было погребено человек пятнадцать-двадцать, поди тут, разберись, кто... Двести лет разбираются. Череп дожидается вердикта в шихфанере, под семью замками, в музее Моцартеум австрийского города Зальцбурга... «Уж действительно, – скажет, поди, Вася. – Что за нация, это австрийское население?» А ваятель Хасан Францевич, возможно, снова подсобит своему помощнику-форматору высадиться на русский берег, к пронумерованным костям Витуса Беринга. Или – к черепу чеченского мюрида Хаджи-Мурата со следом сабельного удара на темени, в шихфанере Кунсткамеры, в отделе этнографии, под надёжным замочком, который легко открывается гвоздиком, а скелет мюрида далеко от Питера, в земле солнечной братской Азербайджанской Советской Социалистической Республики, и вместе им не сойтись, черепу со скелетом... Так,

поглядели назад, а теперь, товарищи, поглядим налево. Здесь должен быть памятник...

Ну, вот! Откуда, спрашивается, он знает, этот Сочинитель, о том, как творятся публичные экскурсии и что именно говорит путеводитель? Врёт, наверное, Сочинитель. Или придумывает. Ведь его самого ещё и в помине не было, когда его будущая мама ещё и думать не думала, что такое есть мама и какого гениального дурачка она произведёт на свет, и когда она, девочка юная и прозрачная, в пальто и валенках, в тёплой шали крест-накрест поверх заячьего треушка, послушно ходила по ледяным Эрмитажным паркетам, а рядом с ней, как отражения, тихие люди, немногие, числом три-четыре, ещё и не группа, однако уже и не тяжёлое слово, военное, из учебника немецкого Глезер и Петцольд, но экскурсовод был настоящий, он выдыхал белые облачки холода, это были слова о великих живописцах Рембрандте, Рубенсе... – и тихие люди слушали и слышали, и не замечали, заслушавшись облачками, что на стенах-то вместо полотен висели пустые рамы, а бесценные картины вынуты, свёрнуты и упрятаны в ящиках, подальше... – в непамятно каком по счёту дне святопустоши блокадного Ленинграда... Не видя, не слыша, придумал Сочинитель: шаркают войлочные шлёпанцы, натирают паркет ледяного дома... – и время сомкнулось над ним.

...поглядим налево. Здесь должен быть памятник, но его нет. Вместо памятника – шихфанер. За шихфанером – история. Кратко излагаю. Как сейчас помню, в октябре тыща девятьсот шестьдесят третьего года на Васильевском острове, у бывшей церкви Благовещенья рыл экскаватор траншею и выгреб обломок плиты с надписью: «Насем Месте Погребен Академии Наук Профессор Степан Петров Сын Крашенинников Который Показав...» Вопросы: который, какой, чего показав? А это оказался «Нестор русской этнографии», товарищи! Его «Описание Земли Камчатской» за неделю до роковой дуэли конспектировал Пушкин. И стали наши учёные люди старокладбищенскую землицу по косточкам перебирать. Раскопали захоронение: истлевший гроб, череп, кости, лоскуты зелёной ткани, деревянные пуговицы с бронзовыми накладками, бронзовый крестик нательный, в головах – фаянсовая чашечка, азиатская пиалушка, белая с кобальтовым орнаментом, листья и птица, и не потускнели краски за два века в земле. Собрали останки бранные, положили в мешок и увезли в Москву для научного обследования. Долго там лежал мешок в каком-то научном шихфанере. А потом его снова в Ленинград привезли, в другой шихфанер поместили, там и сохраняется как бесценная реликвия... А теперь, товарищи, поглядим направо. Здесь тоже должен быть памятник, но его нет. Как ни странно, но здесь вместо памятника опять шихфанер. За которым опять скрывается история. Так что, создаётся наглядное впечатление, что в нашей стране почти в каждом шихфанере своя исто-

рия прячется. История, которая справа, следующая. Как сейчас помню, седьмого июля тыща девятьсот двадцать седьмого года в Севастопольский горсовет поступило письмо. Цитирую по светлой памяти, которой сам удивляюсь: «Административный отдел Севастопольского районного исполнительного комитета просит назначить комиссию с представителями Административного отдела и Военно-исторического музея на предмет осмотра и изъятия замурованных гробов в полу Владимирского собора. Местная Советская власть устраняет или обязует соответствующих лиц устранить из храмов и других молитвенных домов, составляющих народное достояние, все предметы, оскорбляющие революционное чувство масс, как то: мраморные или иные доски и надписи на стенах и богослужебных предметах, произведённых в целях увековечения в памяти каких бы то ни было лиц, принадлежащих членам низверженной народом династии и её приспешников». Так слово сказано, так и дело сделано. Усыпальницы взломали, гробы распотрошили, склеп засыпали мусором, замуровали вход и разместили в соборе Общество содействия обороне и авиационно-химическому строительству, сокращённо ОСОАВИАХИМ. Кости приспешников низверженной династии увезли в Питер, туда, где приспешники когда-то воспитывались в Морском кадетском корпусе: адмиралы флота Российского Лазарев, Нахимов, Корнилов, Истомин. По месту прибытия адмиральские косточки складировали, понятно, в шихфанере. Через некоторое время вдруг вспомнили: где кости? – а костей-то и нет, пропали кости. Искали, искали, не нашли... Лет через двадцать, как раз в октябре месяце, вдруг обнаружилась пропажа, случайно: в кладовке на квартире одного студента-археолога, искали, вообще-то, валенки среди каких-то старых тазов, чемоданов и поломанной мебели, а наткнулись на картонную коробку, в которой прибыли апельсины из Марокко, а там вон чего... Конечно, изъяли. Конечно, вернули в научный шихфанер. Замочек повесили! А теперь, товарищи, пройдём мимо этого факта дальше. Дальше должно быть прямо. Но его нет. Нет ни прямо, ни дальше. Дальше некуда. И ничего нет. Конец, стало быть. До свидания. Не забудьте снять тапочки, а то бывает, что некоторые забывчивые товарищи так и уходят с экскурсии домой с казённым имуществом...

...ага! щас! вот так сразу взяли и сняли! нет! в казённых тапочках, низ чёрный войлочный, верх белый брезентовый, так и пошли, так и попёрли, как слепые-глухие-немотствующие, как дураки какие-то – дальше, вперёд и прямо! любопытные такие! один за другим, друг за другом, цепочкой спаянной, очередью за воскресением, в колонну по одному, словно вереница слепцов, возложивших руки на плечи впередиидущих, конвейерным способом, механика простая: как с обрыва – в пропасть, в безвоздушное пространство: ух! – и ухнул во мрак и хлад, где ни тверди, ни хляби – ах! – и ахнул в бездну без эха – оп! – и опнулся в чёрную дыру... «Куда-а-а-а-а...» – с бесчисленными А – катится вослед марширующим тапочкам старо-

дедовский голос, калика-паленица погони... – а туда! туда же, в провал, осыпаются погонные звуки, горохом, коллективными точками-многоточиями над бывшими персональными i... а уж как перестал скакать горох, так запрыгали всякие тутанхамоны в гробницах, каменные саркофаги загремели жуткими погремушками, с костяным стуком и лязгом, с барабанным грохотом берцов и рёбер по черепам, задрожали гробы, невесть откуда набежавшие, затрещали надгробия, и памятники разом забастовали, по сговору: на перековку! на переплавку! – рассыпались коробка с сырьём, и возопило сырьё: я – честная глина, а что ты из меня лепишь, Шадрин, сука такая! зачем ты меня рожаешь в обратную сторону? – а это по-дурости, – будто бы говорит сука такая Шадрин, но глина всё орёт голосом вязким, станиславским: не верю! не рождаются по-дурости ни дети, ни колобки, ничто! погляди, Шадрин, налево, погляди направо... – глядит Шадрин, етит-твою-мать-налево-направо-снизу-доверху: монументы в пляс пустились, в камаринскую во всю ивановскую с легкой-енкой, и напряглись все на свете существующие шихфанеры, и присели на деревянных лапах, будто зверь перед прыжком или птица перед взлётом, и распахнули со скрипом дверные створки, частично зеркальные, и подпрыгнули разом, и взмыли, и полетели на фанерных крыльях своих, стаяй, клином, видать, на юг наметились, в жаркие страны... – величаво летят, сурово, торжественно, осеняя озимую землю непереваренными косточками, освобождая, значит, нутро для лёгкости полёта... – куда-а-а-а! – кричит вдогонку ваятель Шадрин Хасан Францевич, – стойте, твари, изуковечу!.. – и клин внимает, и вздрагивает клин, и осыпает на ваятеля хлёбово небесное якоже воздаяние с приветом и последним прости от эмигрирующих – в малой родине на большую – рыжих пруссаков, намеченных и впредь, в чужедальних поколениях, сохранять светлую память о каждой крошке со стола и потому оставаться честными...

«Это ж надо, – подумал Хасан Францевич, – чтобы так дико задремать, и времечко убить наповал, и целую партию дураков разыграть втёмную! Скажи кому – не поверят. Вот уж действительно, чем хорош, этот анисовый аперитив от тёти Хаси! Да, аппетит вызывает, спору нет. Но после двух-трёх бутылочек в преклонном возрасте до закуски руки уже и не доходят...»

СХ

*Оставаться честным, как известно,
Невозможно в карточных кругах:
Тот, кто в дурака играет честно,
Тот и остаётся в дураках.*

Вл. Орлов

Ход первый

Говорят: дуракам закон не писан...

Как бы не так! Ещё как писан. Но прежде чем был он на бумаге строгим штилем изложен, Дураки сию декларацию собственными языками на весь белый свет раззвонили, да и придумали её они же, Иванушки-дурачки: давненько сообразили, допетрили. А уж Пётр-то Алексеевич указом письменным озаботился, и появился он в лето 1722 от рождества Христова декабря 6 дня: дуракам-де в брак не вступать, к наследству не допускать... Да только сей указ до Иванушек не касался, он более всего слабоумных идиотов стреноживал, идиотов фамильных, стало быть, Семей производённых.

Есть дураки и Дураки. Так что же – Дураки? Кто их производит этаких, что с большой буквы?

Их плодит семья народов, сиречь держава – великая или малая, то дело десятое, неважное, а важно то, что мыслящий человек вдруг в один проклятый момент оказывается треугольником в царстве сплошных правильных квадратов, где любой квадрат может тыкнуть своим большим пальцем в маленький треугольников недостаток и приговорить: «У этого типа ребра не хватает. Он ненормальный!» И ненормальной фигуре остаётся только фигу показать и определиться в нормальные Дураки...

Они давненько отвоевали себе место под солнцем, место особое, вольное. Вольность-то Дураку пуще хлеба насущного потребна, и не нуждайся он в ней, так и Дураком бы не был, причём Круглым Дураком, фигурой совершенства.

При царе Михаиле Фёдоровиче Дураки ошивались в Потешном чулане, при Алексее Михайловиче – в Потешной палате: в лицо! в глаза! при всём честном, получестном и вовсе бесчестном народе – ёрничали, вольничали, хохотушками-попрыгушками на себя непохожих шпыняли. К слову скажем, что академик Яков Карлович Грот, указав на то, что слово «шпильман», в Западной Европе означающее бродячего артиста-комедианта, образовало в русском языке два производных – шпыньство и шпынять – заметил, что это есть прямое доказательство хождения по Руси и зарубежных гастролёров.

Называли Дураков то шутами полосатыми, то чертями полосатыми... Достаточно было академику обрядиться в полосочку – всё! Он становился не таким, как все, и место его – в Дураках. Место тёплое и хлебное, винное и сладкое, что само по себе людишек притягивало. Однако настоящий Дурак, полагающий мысль продуктом сознания, но не пищеварения, – определялся в Дураки по иной нужде; впрочем, «определялся» – не тот глагол, ибо не определялся человек, а жить иначе, жить, как все, уже не мог, а жить-то надо, а жить-то – с кем? и как? – когда душа горит, значит, правда из человека выступает, точно «нажимная» вода в колодеце, к людям просится, и коли не дашь ей выхода, той правде, – сам выгоришь, как торфяное болото; ну, коли не суждено башкой в омут, – значит, уж лучше удалиться в великую

ересь, в святое и горькое шутовство.

Пострижение в Дураки пострижению в монахи сродни, с той лишь разницей, что мир послушника, остающийся внутри него, не молчит, а хохочет без умолку. Сие, впрочем, небезопасно, однако тираны и тираныцы время от времени нуждаются в правде: что же о нём, тиране, думают? – и, наздѣывая маски снисходительной доброты, пускаются в игру, в непристойный маскарад, в коем великая ересь соседствует со слабоумным тщеславием, провозглашающим: даже шут русского царя заткнёт за пояс короля гишпанского, так на что же в таком разе сам царь-то способен! Потом цари взасос целовали Дураков и, одарив денежкой, рубили им головы, а денежка, конечно, назад возвраталась...

Но Слово уже было сказано!

Знаменитый Иван Емельяныч Балакирев уж на что был первейшим любимчиком Петра Великого, так и он не избежал срамной участи. Из монастырских стряпчих попал он в инженерные ученики, оттуда – в камер-юнкеры и, естественным образом, в шуты. Вот стезя его, знатного Дурака. Никого не щадил. Самого императора стращал за зверства его кровавые.

– Да за что ты меня этак, Емельяныч? – спрашивал Пётр.

– На то и шука, чтобы карась не дремал.

– Кто... карась? Я – карась? – мрачнел Пётр, и взлетала суровая дубинка, она у государя тяжёлая была: ну, раз дубиной причешут, два причешут, десять раз, так ведь на одиннадцатый либо дубина сломается, либо человек.

Сломался Дурак. Его загнали в такие тьмутаракани, откуда люди вообще не возвращаются. Однако он вернулся. Вызволила его из ссылки замечательная дурища Анна Иоанновна, государыня. Но умом острым Дурак уже изрядно подзатупился...

Институт шутов! В том шутовстве – свои обычаи и традиции, обряды и наряды, таинства и явности, свои завистники и кумиры, образцы для подражания. Свои особенности. Раз: ежели придворный при дворе и привратник при вратах есть дело натурально обыкновенное, то придурок при дураках уже является явлением метафизическим, а Дураки, вот ведь умники, не держат при себе дураков. Два: орден, сословие! Три: как во всяком «со-словии» – своя сословность, свой язык. Язык намёков и аллегорий. Язык, дозволявший бесцензурно выпускать на волю вольную мысль. Силки цензуры подчас оказывались гнилыми.

– Ты что же это, дурак стоеросовый, ересь противозаконную допускаешь? – строжится цензор, блюститель и охранитель.

– Игде, ваша милость? – спрашивает Дурак.

– Вона, отцелева – доцелева! Чья басня сия?

– Наша басня.

– Вот я и спрашиваю: ты почто, дурак, супротив властей попёр? И почто, дурак, на устои покусился? И почто тебя, дурака, такое устройство устоев не устраивает?

– Игде, ваша милость?

И цензор незамедлительно отцеливает дичинку крамольную:

– Да вот же, отцелева – доцелева... Сие суть чистые ревизии для нашей святой, прости Господи, монархии.

– Игде, ваша милость?

– Вот, отцелева – доцелева... Лев у тебя в басне, царь зверский, выказан дряхлым и глупым. И Тигр-де полосатый кровожаден яко... зверюга последний. И Лягушки-де, прудным водоёмом опимшись и посему лопнумши. Ась? Машкерад, собака, устроил? А мы всё-ё-ё видим! Наскрозь. И даже глыбже. А не видим, так догадываемся, что фигуры сии отмечают царя нашего батюшку и господина обер-полицеймейстера, кои народ вином в кабаках опаивают.

– А что, ваша милось, рази похоже?

– Ишо как!

И грохнет тут Дурак кулаком:

– А ну, будя язык мозолить! Мелочь ты пузатая, а ишо права качаешь! И как у тебя в черепушке такие контры угнездились? И как ты смеешь, пёс государев, басенные безобразия на свой лад перетолмачивать и державным нашим порядкам уподоблять? И почто Лев уже не лев, а Тигр – так и вовсе не зверинога чина? И откеда ты, пёс государев, взял себе на ум такое, чтобы государь наш был глуп, а господин обер-полицеймейстер кровожаден? И где ты, обжорная команда, пьяного мужика в наших имперских эмпиреях узрел? И не совестно тебе всяки хули возводить на оные эмпиреи?

– Как же, не видал! – вскричит пёс государев. – Всё видал. Всё знаю. Всё слышу. Так оно всё и есть, как в басне твоей.

– Ага! А коли есть, так почто же разносы мне устраиваешь? Вить и мне тоже не трудно сей же секунд государю донести о твоей крамоле.

Опнется тут казённый человек:

– Эт самое... всё равно в виршах твоих чтой-то не то... чтой-то дребезжит нехорошо, а?

– Игде дребезжит, дурак?

– Вона, тута... отцелева – доцелева...

– Эх, дядя, и зачем только ты соизволил пасть свою разверзнуть? Впрочем, и отмолчишься, небось, так, словно обругаешь... Уж сколь годов чернилы мешаешь, а того не ведаешь, что не по ветру мельница мелет, но супротив. Шевелишь ли мозгой? Али только о брюхе своём пекёшься, где чего урвать пожирнее?

– Дак вить нас, сударь, больше ничем и не снабжают, окромя инструкций. Вот и крутимся...

– Ладно. Проваливай, дядя. На хапо́к настоящего Дурака не возьмишь. И далее ты меня об устоях не спрашивай.

– Дак об чём же вас спрашивать, милостивый государь?

– Об размножении кроликов.

– Шутники вы, ей-богу... Об этим деле мы и сами просвещённые.

И – разминутся собеседнички. До новой встречи. Один заторопится

к отдохновению; у него с рождения слабое сердце, поэтому он читал стихи только по казённой надобности, остерегался слушать музыку, влюбляться, и прожил посему очень-очень долго. А другой, пройдя очередное очищение риском, побредёт туда, где ещё нет ни Слова, ни Дела, а если и есть ихние тощие, худосочные эмбриончики – то они ничего не значат, но именно поэтому Дурак и обязан туда идти. И ещё, кстати: «стоеросами» в народе называют лежни, коими болота мостят. Так что, если стоеросами Дураков величать – обидного не будет ни для Дураков, ни для стоеросов: вся держава катится по тем стоеросам, по косточкам по дурацким – и ничего, не проваливается.

Да, древние греки, наверное, явно чего-то недомудрили, лишив шутовство особой, собственной Музы.

– Шутовству Муза не личит! – вскричат, может быть.

Полноте, господа! Шутовство само знает, что ему личит, выбрав скорбную маску, трагикомическую и нелепую, как письменное приглашение на эшафот.

...Эзопов язык в годы насильственного молчания обретал, казалось, постоянную прописку в государстве – во всю державную ширь, во всю державную глубь, «отцелева – доцелева». И если Пётр Третий был выключен из жизни посредством официально объявленной «геморроидальной колики», то Павел Первый канул в Лету, «не выдержав апоплексического удара» – а кого же, позвольте спросить, в таком случае душили шарфом в Михайловском замке в ночь на 11 марта?

И вот грузный и грустный баснописец, обликом смахивающий на Кутузова, кряхтя садится за письменный стол, нашёптывая из классической латыни: «Nomina sunt odiosa! Однако... Mutato nomine de te fabula narratur*». Вот вам, сударь мой, и вся фабула. Можно – так, можно – и этак, можно – вперёд, а можно – и взапятки. Понимай как хошь...»

Язык иносказаний научились понимать все. Но это тоже было наукой небезопасной! Ведь двум глухонемым в обществе глухонемых никак не укрыться... Вот они, представьте, разговорились, и заспорили, и разгорячились – двое, обделённые даром глаголить по-человечьи. Один другому и семафорит: «Да ты что на публичной улице разорался?» Второй в ответ: «Ни хрена не поймут!» Первый: «Как бы не так! Сейчас все понимающими стали, враз разговорчики наши раскулачат!»

И так бывало. Однако шутовство оставалось. Куда уж ему деться, оно дело серьёзное. Не зря Екатерина Вторая высочайше повелела всем потомкам Емельки Пугачёва носить фамилию Дураковы. Легко и просто – для монархини и псов государевых. Но – из военной истории известно: воины, не отступавшие под градом пращевых камней и тучевых стрел огненных, неизменно отступали под залпами жиденьких горшков с экскрементами своих небрезгливых супротивников. «Сим победиши!» – звучало на разных языках и по-разному.

* Имена ненавистны!.. Если изменить имя, то повествование ведётся о тебе. – Из книги сатир римского поэта Горация

А высокая ересь жила – как пятый туз в колоде правдолюбцев, когда уже и впрямь крыть было нечем; и ещё для того, чтобы, отступая через свой собственный душевный, болевой порог и порок закона, ногу и душу свою случаем не вывихнуть. Маска, способ – в одно и то же время иметь возможность спрятаться и драться, зубки свои показать; зубки показать – это ведь что значит? это – только шут разберёт: то ли смеёшься ты от распирающей радости, то ли рычишь от гнева – зубы всё едино наружу.

Так какой же всё-таки закон Дуракам писан?

Жалкий закон. «Дурака валять не надо. Он и так понизу. А лежачего – не бьют».

Поклон вам низкий, Дураки. Низкий поклон – высшего уровня: земли.

Ход второй

Жили в одно странное времечко два неразлучных человека: Воин и Шут. Было в них что-то общее, словно переливались они друг в друга, дополняя до целого, как сообщающиеся сосуды.

Предком Воина был Дукс и Владетельный князь из Италии. Один из потомков Дукса, Афанасий Лаврентьевич, при царе Алексее Михайловиче Романове состоял как «царственныя большия печати и государственных великих дел сберегатель». (Кстати сказать об этом царе. Именно с его указа, случившегося после церковного раскола из-за реформ патриарха Никона, начались свирепые гонения на «юродивых», принявших сторону раскольников).

Дед Воина, муж умный, честный и твёрдый духом, с горем пополам, но удержался при дворе бесовки Анны Иоанновны.

Крестила Воина императрица Елизавета Петровна. Пойдя по военной части, служил Воин пылко и дерзостно – до поры до времени.

Как-то после одного из походов, в котором Воин отличился беспримерной храбростью, выпросил он отпуск от службы взамен обещанной награды, уехал в деревеньку, гонял с наслаждением чай и зайчишек, в баньке парился до седьмого пота. Блаженства душевные и телесные оборвались с началом новых военных действий. Поспешил Воин в полк. Покуда добирался – время быстрее него поспешало, и Воин застал на военном театре соратников своих, уже отвоевавших и геройством отличившихся. Среди них и Суворов был – в Александровской алой ленте.

– Вот так, батюшка! – сказал задиристо Александр Васильевич, тыкая перстом в свою высокую наградную отметку. – Покамест вы зайцев травили, я вон какого красного зверька залучил.

Обиделся Воин, вспыхнул, точно порох, и... вlepил с размаху пощёчину смачную Александру Васильевичу. Тот подпрыгнул, кукарекнул – и кинулся на перекладных в Петербург с жалобой. В ноги императрице бросился:

– Обороны, матушка! Остервенился Воин, яко бес! Ведь так и прищёлкнет где ненароком... Кто ж у тебя служить станет?

Екатерина Вторая уговорила Суворова замять дело:

– Да ты что, батюшка мой, на своих-то обиды таишь? Чего не поделили? Ну, похлопочи предо мною, так я и обидчику твоему ленту пожалую, вот и помиритесь, в квитках будете.

– Ладно, государыня, дай ему... Георгия. А что глаз мне едва не выщелкнул, так то пуцай означает, что мы старое больше поминать не будем.

Воин награды не принял. А Суворов после этой стычки стал избегать встреч с Воином. Увидя же, прятался за посторонние спины и скороговорил альтом:

– Боюсь, боюсь! Он дерётся!

Окружающие недоумевали сим афронтом, а надо было бы в глаза глянуть Александру Васильевичу: в них (хитрющих!) весёлые чёртики вертёж правили, играли шутовски в какой-то шурмур*, неведомый и недоступный посторонним.

Иной раз Воин заносился чрезмерно:

– Только мешки, дерьмом набитые, считают, что человеческая голова – размером с дыню. Нет уж! Она крупнее, чем вся держава российской и даже ширче. Во всяком случае, у меня.

На одну из таких реплик князь Потёмкин заметил:

– Воин наш отзывается о Боге хоть и уважительно, но всё же как о персоне чином пониже, корпуленцией пожиже.

А в связи с высочайшим пожалованием Воину чина генерал-поручика тот же Потёмкин уже и полную аттестацию вывел:

– Когда Воин в генерал-майорах ходил, то на Бога смотрел как на бригадира. Нынче Воин повысился. Вот и Бог, значит, рангом повышел стал, в генерал-майоры выбился, в четвёртый класс. С Воином не соскучишься!

Был Воин мал ростом. Может, поэтому – горд и вспыльчив до крайности.

По вступлении своём в должность командира корпуса, квартировавшего под Киевом, Воин дал обед офицерам и городским чинам на пленэре, по соседству с летним военным лагерем. Салютация шампанским и фейерверками наглухо заткнула глотки всему окрестному петушиному племени, одуревшему от человеческого неистовства. Киевский комендант, язвенник и трезвенник, заметив, что попойка пошла не на шутку, тихонько уехал.

– Где эта язва? – взбесился Воин, обнаружив ретираду, и приказал корпусу по тревоге в пешем порядке выступить вослед.

Поднялась пальба, в Киеве ни одного целого стекла в окнах не ос-

* Путаница (турецк.); позже слово приспособили для передачи в русском языке французского сочетания *cher amour*; отсюда и пошло в просторечье: «шуры-муры» – крутить любовь.

талось. Город пал, и Воин довольнѐхонек вернулся к попойному биваку, ведя в поводу «предателя» – пленѐнного киевского коменданта.

Ну, чем не дурусть, не странность дикая!

– Набитый дурак! – шепотком аттестовали Воина. – Однако... чем набитый, вот вопрос?

Павел Первый приблизил Воина и при восшествии на престол звал непременно ко двору, на что наш строптивец отвечал:

– Ты, государь, горяч, и я горяч. Нам, чай, вместе не ужиться, и посему служба мне впрок не пойдѐт.

Император согласился, пожаловал Воина деревней в Костромской губернии, куда тот удалился от света и зажил барином.

В отставке он имел обыкновение выезжать из дома в поле – чай пить. Письменное воспоминание осталось об одной кампании.

Впереди, на рослой испанской лошади, украшенной султанами, ехал поляк Куликовский и валторною подавал сигналы; Куликовским он был назван за длинный нос, а обязанности при доме состояли в том, что в ярмарочные дни он выезжал к публике на верблюде и показывал сеансы «волшебного фонаря».

За Куликовским следовала хрустящая одноколка, в ней помещался сам Воин (в чекмене и плисовых сапогах, с рюмкой мадеры в руке) и жена его, из рода Нелидовых... Как-то раз заблудившись на охоте, Воин набрѐл на усадьбу Нелидова, моментально влюбился в его дочь, а на следующий день и свадьбу сыграли. Была жѐнка мила, умна, языки знала, даже греческий, а английский выучила в возрасте шестидесяти лет. Воин любил жену, но держал в строгости и постоянном руководстве: так, отучая её от водобоязни, он устраивал на Волге лодочные гонки по волновой погоде, а, приучая к военной жизни, сажал возлюбленную на пушечный ствол – и самолично фитиль поджигал...

За одноколкой скрипела, переваливаясь, двухместная карета, внутри которой под скамеечкой прятался Шут, личность известная (о ней позже речь будет), а на скамеечке восседала арапка Маруся, исправлявшая при хозяине должность камердинера – высоченная, злая и ревнивая беспредельно, из-за чего частенько дирывалась с барином, да тот на неё сердца не держал.

За каретой пылили тарантасы с мадамами, учителями и няньками.

За ними – длинная решетчатая фура с тринадцатью дураками, арапами и прочими карлами.

За ней – такая же фура с борзыми собаками «на пенсионе», а также и больными.

За ней – оркестрион роговой музыки.

За ним – походный буфет на шестнадцати лошадях.

Дальше тащилась мелочь: повозки с калмыцкими кибитками и мебельями...

На одном из таких биваков и представился Воин – в лето 1809-е:

выпала вдруг из пальцев рюмка с мадерою, красное вино куража капелька по капельке ушло в землю.

– Экой шут наш барин, – говорили на поминках. – Пошутил да и помер.

Более всех был неутешен в потере Воина – Шут, лицо историческое, самому императору Павлу хорошо известное под двусмысленною кличкой Дурак Нашей Фамилии.

В то время славился ещё и Иван Савельич, ходячая и хохочущая потешная собственность графа Ростопчина. Однако наш Шут превосходил Ивана Савельича и иных прочих по всем статьям.

– Экой воин! – восхищались Шутом за смелость, за дерзость неличеприятственную.

Потёмкин, не любивший всяких уродств и юродств, побился однажды об заклад с Воином, что никто в жизнь не рассмежит его, коли он сам рассмеяться не пожелает. Шут, угождая тайной неприязни Потёмкина к Суворову, принял вызов и стал последнего передразнивать прыжками да кукареканьем, причём так ловко, что угрюмый «несмеян» заржал в полный комплект белых своих зубов.

Говорят: чёрт его знает!

Говорят: хрен его знает!

И ещё говорят: шут его знает! Правильно говорят: Шут – он и взаправду всё знает.

Государь Павел Петрович настолько считался с Воиновым Шутом, что тот имел право сидеть в присутствии высочайшей особы в высочайшем кабинете...

Царь (*показывая на придворных*): Ну-ка, скажи, что родится от булочки?

Шут: Булки, мука, крендели, сухари.

Царь: А что родится от графа Кутайсова?

Шут: Бритвы, мыло, ремни.

Царь: А что родится от меня?

Шут: Милости, щедроты, чины, ленты, законы, счастье.

Царь (*довольный*): Ну, слава Богу, разобрались. (*Оборачивается к придворным.*) Видите, любезные мои сволочи, как заразителен воздух двора! Уж и дурак мне льстить начинает. (*Берёт Шута за подбородок.*) А добавь-ка, что ты подзабыл нам выложить? Что ещё от меня родится?

Шут: Бестолковые указы, кнуты, Сибирь.

Царь (*шепотом*): Ты что, совсем дурак?

Шут (*тоже шепотком*): А что, государь? Шибко заметно?

В этом диалоге император вспыхнул не на шутку, полагая, что Шута подучили на дерзость придворные, Кутайсову противные: вот ведь и Кутайсова Шут аттестовал прелестно – и кого? графа русского? первейшего любимца? ну, и что с того, что из брадобреев и фершалов вышел в егермейстеры и кавалеры ордена святого Андрея Первозванного?

– Ладно, – сказал Павел Петрович, – сделаю так, как ты, шут, говоришь. Шутки – дело серьёзное.

При дознании с пристрастием Шуту сначала зубы вышелушили.

– А сознавайся, курва, кто тебя подущивал клеветы произносить?

Шут назвал имена вельмож, умерших в недавнем прошлом, и таковых оказалось в презрядном количестве.

Потом его законопатили в кибитку, повезли в Сибирь, однако из Рыбинска завернули назад: Павел Петрович нуждался, не в шутке нуждался – в Шуте.

При Александре Первом Шута тоже вышибали из столицы за вольности, а умер он в 1824 году, надолго пережив Воина.

Нам остаётся, не вняв Горацию, назвать имена.

Воин – это Воин Васильевич Нащокин, отец Павла Воиновича, верного, незабвенного, преданнейшего друга Пушкина.

Шут – это Иван Степанович. Без фамилии. Просто – Иван Степанович. Дурак Нашей Фамилии, набитый сиюминутной дерзостью и некоторым даром предвидения.

...Как-то однажды Шут встретился с сыном дурака Кутайсова Сашкой и, поглядев в глаза мальчишке, произнёс:

– Ну, этот воином будет непременно. Шутки шутками – но и от шуток бывают детки!

Не ошибся Шут.

Сын брадобрея генерал-майор Александр Кутайсов погиб в день Бородина. Погиб нелепо, по горячности своей. Что искал он в гуще боя? – остаётся только гадать, но вполне возможно, что его подвигали на смертельную опасность порывы во искупление отцовских грехов – чувства, столь знакомо-тягостные во всех поколениях. О гибели генерала узнали по лошади, прискакавшей без всадника, с седлом и чепраком, обрызганными кровью и мозгом.

«В лета цветущей молодости, – писал генерал Алексей Петрович Ермолов, – среди блистательного служения, занимая важное место, пресеклась жизнь Кутайсова. Не одним ближним горестна потеря его: одарённый полезными способностями, мог он оказать отечеству великие услуги».

Вот – две ипостаси одной фамилии.

А было генерал-майору от роду 28 лет.

Его портрет занял подобающее место в Военной галерее Зимнего дворца, в окружении сверстников, молодых генералов 1812 года.

Дураки и Воины Нашей Фамилии... Наследственность тут ни при чём. Ибо сказано: сын за отца не отвечает. И – умолчано: если не спрашивают.

И ещё вот что: россиянин в семье державных народов мира – младший сын. Это сказочно обнадёживает.

Ход третий

Не очень-то и заметно растёт младший сын народов.

Куда? Тайна. Вообще, все тайны роста – за семижды семью замка-

ми, за крепкими заборами, за надёжными запорами, в несгораемых стальных, бронированных сейфах, которые даже при самом разнужданном воображении не назовёшь шихфанерами. Спецхран. Для потомков.

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР –
ЦК КПСС

По имеющимся в Комитете госбезопасности сведениям, противник рассматривает издание новой книги С. Аллилуевой «Только один год» как одну из мер по расширению антисоветской кампании, приуроченной к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина.

За последний период в газете «Нью-Йорк таймс» и других американских изданиях появились материалы, посвящённые изданию книги «Только один год», в которых проводится мысль о том, что Сталина несправедливо обвиняют в создании «диктатуры и полиции». В действительности он всё унаследовал от Ленина и «именно Ленин несёт ответственность за всё, что происходит в СССР». «Сталин не был извращением Ленина. Он был единственно возможным результатом Ленина».

Учитывая вышеизложенное, в целях отвлечения мировой общественности от клеветнической кампании, проводимой противником с использованием книги С. Аллилуевой «Только один год», предлагаются следующие мероприятия:

...Продвинуть в западную печать тезисы о том, что новая книга С. Аллилуевой является результатом коллективного труда таких лиц, как Д. Кеннан, Л. Фишер, М. Джилас, Г. Флоровский, А. Белинков и других, зарекомендовавших себя ярыми противниками СССР и специализирующихся на фальсификации истории Советского государства. Одновременно включить в эти материалы имеющиеся в распоряжении КГБ сведения, компрометирующие упомянутых лиц в личном плане.

...При подготовке для публикации в советской печати статей, разоблачающих деятельность западных разведывательных служб, предусмотреть включение тезиса о том, что эти службы черпают «фактические» материалы от людей неполноценных в личном и деловом отношении. При этом следует показать смехотворность усилий противника поколебать величие и авторитет В.И. Ленина, а также посеять неверие в наш строй при помощи таких одиозных фигур, как С. Аллилуева...

Просим рассмотреть.

Председатель Комитета Госбезопасности
АНДРОПОВ
05.11.69

ПИСЬМО КОНГРЕССУ ПЕН-КЛУБА

...Я спрашиваю вас: какой дурак лучше – советский или американский (французский, голландский, мадагаскарский)?

Хорошо. Я отвечаю на этот вопрос вместо вас и, поверьте, не только как патриот своей великой советской родины, но главным образом как человек, стремящийся только к подлинно научной истине: советский дурак лучше.

Он лучше потому, что страстно, самоотверженно хочет стать умным, но на его пути стоит неумолимый социально-экономический процесс. Ему гораздо, просто неизмеримо труднее быть умным, чем американскому дураку, которому созданы все условия для самоусовершенствования и который пренебрежительно отворачивается от них.

Роковая безвыходность состоит в том, что американский дурак может быть умным, но из высших соображений не хочет, а советский не может.

Советский дурак обречён, потому что его надежда на исправление советской власти вызвана тем, что практически он не может получить надёжную информацию, которая опровергла бы безумное заблуждение.

Американский дурак может. Он хуже советского, потому что либо пренебрегает информацией, которую от него не прячут, либо плохо понимает её, либо не доверяет ей.

В то же время советским дураком быть выгоднее, чем американским: глупость может сохранить ему жизнь, а при удачных обстоятельствах даже выстроить дачу.

В Советском Союзе на глупость можно выстроить дачу, а в Америке нет.

Вы не доверяете этой информации? Напрасно.

Каждый человек в Советском Союзе, обладающий хоть крупницей ума, понимает всю противоестественность, бесчеловечность, бессмысленность этой власти, а за такое понимание в моём отечестве вместо дачного участка дают участок на лесоповале недалеко от города Потьма (Мордовская АССР).

Многие советские писатели выбирают дачный участок в Переделкино.

Сейчас пойдут некоторые дефиниции.

Известная часть жителей Переделкина переезжает туда не только потому, что обладает наиболее распространённой и наименее социально опасной формой глупости – отсутствием ума, но потому, что обладает другой и гораздо более опасной формой глупости – лицемерием. Лицемерие – это такая форма, когда советский писатель всё очень хорошо понимает, но пишет о том, как прекрасна советская власть.

Для того чтобы вам стало ясно, почему так стимулируется советский дурак, я расскажу вам случай, который некоторым из вас может показаться занимательным, а другим – не лишённым обобщающего значения.

Через несколько месяцев после смерти Сталина и через несколько дней после расстрела Берия нас, заключённых 9-го Спасского отделения Управления Песчаного лагеря КГБ СССР, согнали на поверку, и заместитель начальника лагерного отделения по политработе капитан Ветров закричал:

– Партия и правительство идут навстречу пожеланиям; кто будет хорошо работать, того будем хоронить в гробах.

До этого хоронили иначе: бирка к ноге.

Я рассказал вам этот занимательный эпизод не в жанре «картинка быта и нравов», а для обобщения.

Это эпитафия ко многим инструментам Советского Союза и даже к такому ответственному, как взаимоотношения государства и общества.

Общество должно отдавать советскому государству всё; назад получает оно немного – кто хорошо работает, того хоронят в гробах. И общество старается работать хорошо.

Особенно интеллигенция.

Для того чтобы хоронили в гробах, она пишет подлые романы и романсы, ставит спектакли, снимает фильмы, создаёт концепции и межконтинентальные ракеты.

Тем, кто не хочет писать романсы и создавать концепции для этого государства и в формах, которые требует это государство, привязывают бирку к ноге.

Гробы в Советском Союзе имеют разнообразную форму. Для особенно выдающихся они приобретают форму вышеописанных переделкинских дач, автомобилей и государственных лупанаров.

Гробы американских (французских, голландских, мадагаскарских) интеллигентов имеют другую форму и несут иную функцию.

Разнообразию гробов и изощрённости их использования в современном мире, переживающем неслыханные социальные и невиданные психологические катаклизмы, часто таковы, что явному предательству они придают форму благородного стиля.

Всё, что я говорю здесь, обращено против интеллигенции, которая называет себя «либеральной», потому что осуждает несовершенства западной демократии и приветствует бурные успехи социалистического строительства...

Советскую власть уничтожить нельзя. Но помешать ей вытоптать всё живое – можно. Только это мы в состоянии сделать.

И это стоит того, чтобы бороться и умереть.

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАДЕРЖАНИЯ
ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Словесный портрет задержанного. Рост: высокий. Фигура: худощавая, тонкая. Плечи: опущены. Шея: длинная. Цвет волос: чёрные. Цвет глаз: светло-карие. Лицо: овальное. Лоб: высокий, скошенный. Брови: дугообразные. Нос – большой, с горбинкой. Основание носа: опущенное. Рот: малый. Губы: тонкие. Подбородок: прямой. Уши: малые.

Остаётся, не внимая Горацию, назвать имя.

Белинков Аркадий Викторович, 1921 г.р., гор. Москва, еврей, гр. СССР, обвин. по ст. 58-10 ч. II УК РСФСР.

Тот самый Белинков, на которого тов. Андропов обращал внимание ЦК КПСС.

А ведь его, Аркадия Викторовича, мягко весьма предупреждала русская классическая литература: друг Аркадий, не говори красиво!

Не внял. Взял и заговорил – красиво о некрасивом, дурак какой-то...

Но! Каких-то не бывает. Дурак есть понятие вполне определённое. По-русски: круглый, например. По-латыни: *dure*, то есть твёрдый.

Умер 14 мая 1970 г. в амер. городе Нью-Хэйвене.

ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ДУРАК. Собств.-русск. Образовано с помощью суф. -акъ от др.-русск. дурый – «глупый», являющегося общеслав. словом индоевр. характера (ср. греч. *thouros* – «неистовый», лит. *radùrmai* – «стремительно», др.-прусск. *dūrai* – «дика»).

СХІ

Когда епископ Хризантем проповедует во храме, то люди слушают и плачут. Даже из других населённых пунктов приезжают, чтобы поплакать.

Красив и благообразен златоуст, бывший Пэр, Пламенный Революционер. У него мягкие и округлые манеры и ровный бархатный голос. Любят его прихожане. Как киноартиста Меркурьева и певицу Зыкину.

И жарко молится он в одиночестве.

...Божиим светом твоим блаже утренеющих ти души любовию озари молюся тя ведети слове божий истиннаго бога от мрака греховнаго взывающа! Воспомяни окаянный человеце како лжам клеветам разбою немощем лютым зверем грехов ради порабощен еси подлец и ревизионист душе моя грешная того ли восхотела еси? Трепещут ми уди всеми бо сотворил вину очима взираяй ушима слышай языком злая глаголяй всего себе геенне предай скотина безрогая душе моя грешная сего ли восхотела еси?..

...Проведал с утра епархиальную реставрационную мастерскую при храме. Большого труда стоило основать мастерскую и найти работников, умелых и способных с любовью и благоговением трудиться и возвращать к жизни церковной старые иконы. Нашлись работники, художники и химики, умелые и, увы, неспособные. Живописцы волосатые, лохматые, это ничего, это не страшно, худо, что авангардисты. А химики из университета только поначалу кланялись и лбы крестили, через месяц осмелели, пошли на приступ к епископу: вам, святой батюшка, предоставляем список лабораторного оборудования и реактивов, извольте закупить в полном объёме, и тогда ваши иконы не только заплачут, а прямо зарыдают... Закуплено оборудование, колбы разные, реторты, пробирки, спиртовки, штативы. Принялись химики что-то варить. Вонь адская. Сивухой попёрло на целый квартал, точно от завода винокуренного. Пытался епископ на этот счёт замечание сделать химикам, так те на дыбки вскочили: мы не дилетанты, мы химики-профессионалы, мы подрядились вам чудеса делать, и мы их вам наделаем, сколько угодно, мы их уже делаем, а остальное вас не касается, бесподобный батюшка!.. Да разве так можно? Ведь что ни делают они, как ни составляют свои приборы, а всё самогонный аппарат получается. Удивляются, фарисеи и лицемеры, руками разводят: вот, дескать, не ожидали, ошибочка вышла, бывает, в научных экспериментах довольно часто случается, не без этого, так что, придётся ещё кой-чего закупить для выправления положения и продолжения реставрационных работ... – и снова закупаются реактивы и новое оборудование, и снова химики чего-то мудрят, собирают, булькает у них всё, шипит и нехорошо воняет, а из трубочки капает самогон... Иконы не плачут. А должны бы – от такого похабства...

...житейское море воздвигаемое зря напастей бурю к тихому пристанищу твоему притек вопию ти возведи от тли живот мой многомилостиве...

Авангардисты старые иконы уважают, но не по-церковному, по-коллекционерски, продают-покупают, обмениваются, но чтобы для храма божьего расстараться – им нет заботы. Ну, и ладно. И даден им список для писания новых икон, будьте любезны, трудитесь, старайтесь, ежели вы и вправду живописцы, с фантазией художественной, со святостью и почитанием иконописным. Пишите лики: Антипы Пергамского как покровителя стоматологов и всех зубами болящих; святого Николая Чудотворца – покровителя пенсионеров, льготников, туристов и девушек, засидевшихся в девушках; Игнатия Богоносца Антиохийского – покровителя кардиологов и их пациентов; московского юродивого Иоанна Блаженного – покровителя владельцев гаражей; святого благоверного князя Вячеслава Чешского – это для труже-

ников ликёро-водочного производства; святого Димитрия Ростовского – для писателей, сам герой соцтруда Равелин Валютин заказал; преподобного Игнатия Ярославского – для работников обувной индустрии; святого Христофора – для автолюбителей, дальнобойщиков и ГАИ; преподобного Авраамия Ростовского – для сантехников... Да много ещё. Есть простор для творческого полёта. И что же они, эти авангардисты? А всё напутали, всё испоганили. Образ великого князя Ярослава Мудрого, покровителя юристов, судей, прокуроров, библиотекарей, учителей и студентов, вообще всех учёных людей – образ сей подписан пустынноиком Иоанном Египетским, покровителем спелеологов! Разве так можно? А икона с ликами преподобных Александра Куштского и Евфимия Сянжемского, этих святых покровителей всех граждан, обменивающих жилплощадь, – икона эта самым невежественным образом атрибутирована покровителями арестантов и зэков по всем статьям УК РСФСР святым мучеником Мамантом Кессарийским и священномучеником Алексием Нечаевым, да вдобавок ещё и золотые пчёлки летают над головами святых, это уж никуда не годится, пчёлки соответствуют другим святым, заступникам пчеловодов преподобному Савватию и игумену Зосиме, чудотворцам Соловецким... Бардак! Покровителя парикмахеров преподобного Алипия Печерского авангардисты написали с волосами американских хиппи! Преподобный Агапит Печерский, покровитель фитотерапевтов, нюхает подозрительную травку, уж не конопельку ли? Святой мученик Трифон, покровитель охотников – на вертолёте со снайперской винтовкой! А заступник всех врачей архиепископ Лука Войно-Ясенецкий? Хулиганы! На ихней иконе – вылитый Лука Мудищев, а не святой... Ничего не знают. Ничего не помнят. А кто помнит? Кто знает? И кому, прости господи, они нужны в нынешние окаянные времена, эти святые? Сейчас охотно в ноги бухаются не святым заступникам, а каким-нибудь дурам из собеса или продавщицам в мясном отделе!

...житие на земли блудно пожих и душу во тьму предах ныне убо молю тя милостивый владыко свободи мя придурка и конформиста от работы сея вражия и даждь ми разум творити волю твою кто творит таковая якоже аз? Якоже бо свиния лежит в калу тако и аз греху служу раб твой хризантем епископ хибаровский! Но ты господи исторгни мя блядь кагэбэшную навуходоносора сволочь и приспособленца от гнуса сего и даждь ми сердце творити заповеди твоя...

Это же сколько лет прошло в сволочизме? Восемнадцать. От студенческого Пэра – до агентского Навуходоносора. От пламенного революционера – до негласного стукача, тайного осведомителя, доносчика, покусителя на таинство исповедей. А и будь же ты проклят, доносчик-недоносок, ежели так слаб оказался, а секретную службу за хитроумную вербовку неча винить, их дело такое, работа такая...

...владыко христе боже иже страстьми своими страсти моя исцеливый и язвами своими язвы моя уврачевавый даруй мне многа тебе прегрешившему слезы умиления сраствори моему телу от обоняния животворящего тела твоего и наслади душу мою твоею честною кровию от горести еюже мя сопотивник напои возвыси мой ум к тебе долу поникший и возведи от пропасти погибели яко не имам покаяния не имам умиления не имам слезы утешительная возводящая чада ко своему наследию омрачихся умом в житейских страстех не могу воззрети к тебе в болезни не могу согреться слезами яже к тебе любви но владыко господи иисусе христе сокровище благих даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание твое даруй мне благодать твою и обнови во мне зраки твоего образа оставих тя не остави мене изыди на взыскание мое возведи к пажити твоей и сопричти мя овцам избранного твоего стада воспитай мя с ними от злака божественных твоих таинств молитвами пречистыя твоя матере и всех святых твоих аминь!

Встал с колен епископ Хризантем. Утёр мокрое лицо рукавом ряссы. В тихую спальню удалился. Осторожно шёл, медленно, не расплескать бы пришедший покой, облегчительную теплоту в душе.

Прилёг на кровать, расслабленный, умиротворённый. Глаза закрыл. А рука нащупала «Спидолу» на тумбочке. Приёмничек на одну волну настроен, там всегда красивую музыку передают, памятную музыку, молодую, из студенческих выплясывающих годов, джазовый скрипач Стефан Граппелли играет, чёрный пианист Ерроу Гарнер... Щёлкнул приёмничек, голос полился, бархатистый, молящийся...

...не надейся душе моя на тленное богатство и на неправедное собрание вся бо сия не веси кому оставиши но возопий помилуй мя христе боже недостойнаго...

Рывком соскочил с кровати епископ. На ряссу наступил. Упал. На коленях рванулся к «Спидоле». Закрутил ручки настройки, частот, громкости... Охнул. Ужас обуял... Помимо музыкального Би-Би-Си, ещё и «Немецкая Волна», и мюнхенская «Свобода», и «Голос Америки» синхронно, один к одному, передавали в эфир его, епископа Хризантема, голос, его жаркую молитву, только что вознесённую к небесам...

...не уповай душе моя на телесное здравие и на скоромимоходящую красоту видиши бо херню всякую но возопий помилуй мя христе боже недостойнаго...

Рухнул епископ на пол. Зарыдал...

Услышал господь владыку Хризантема.

Услышал.

И отразил.

И отражение со скоростью того света вернулось на этот.

И тут же уловлено было самыми мощными радиостанциями Земли, вполне лояльными к силам небесным и к вере в потустороннюю связь.

...како не имам плакаться егда помышляю живот безславен и безобразен? Что убо чаю и на что надеюся? Токмо даждь ми засранцу прежде конца покаяние...

Вот. Дал. Покаяние с концом. На весь свет. Пожалел, называется... Отпасовал? Отфутболил? Но ведь так-то... до такого-то... не договаривались!

С ума сойти!

Кто ожидает, что Всевышний услышит молящегося и вот так, немедленно и публично, смилостивится? Никто. Нормальный человек молится – в одну сторону.

А оно – вон как! Да разве ж так можно?

Есть, значит. Есть бог. Он слышит и реагирует.

Всё!

И подальше, подальше надо от такого начальства.

Прости, господи...

И прощай.

Напрасно ты, господи, так страшно возлюбил меня и сделал единственным. Ты простил меня – там. Значит, здесь меня уже не простят.

СХII

– Немедленно! При параде! Со всеми регалиями!

И по этому срочному телефонному вызову Сперанский явился в Серый Дом, в отдел гражданского строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в праздничном костюме, галстук на белой рубашке, медали и значки на груди.

В коридоре, перед кабинетом заведующего отделом притихла вдоль стены очередь нарядных мужиков. Тоже со значками.

– Чего стоим, товарищи? Чего дают?

– Почётные грамоты, – отвечают мужики. – За третий квартал соцсоревнования.

Все тут, в очереди, знают товарища Сперанского, заслуженного строителя, вечного победителя, ударника, передовика, начальника Краснознамённого ЖЭКа. Пропустили вне очереди.

– Приветствую, – сказал заведующий. – Ты у нас опять молодец, товарищ Сперанский. Можно сказать, бессменный лидер.

– За этим и вызвали с работы?

– За этим самым. Знамя получи. За третий квартал.

– Так вы это... вы бы уж сами к нам приехали, в ЖЭК, перед всем коллективом...

– Ой, товарищ Сперанский, не надо! Какое там приехали? Ноябрьские праздники на носу! Дел по горло и выше! Крутимся, как эти... как белки! Распишись вот тут, в ведомости, что знамя получил. По-быстрому!

Приложил руку Сперанский к отчётному документу, вздохнул, повернулся и пошёл на выход.

– Знамя-то! – окликнул заведующий. – Знамя забыл! Ты что, Сперанский, очумел от счастья? Забери. Вон, в углу стоит, тебя дожидается. И привет коллективу! Следующий!

В кабинет вошёл следующий. А начальник Краснознамённого ЖЭКа потопал в родную контору с красным знаменем через плечо, развёрнутым, с Лениным, вышитым златошвейками фабрики сувениров. Бежали вслед мальчишки, дёргали за золотые кисточки, весело мальчишкам, и Сперанскому что-то стало весело, этих-то знамён у него в кабинете уж больше полутора десятков накопилось, весь в красном бархате Сперанский, весь в шелку, как в долгу, с кисточками, с махровой бахромой.

Дед Молитвин во дворе встал со скамеечки и честь отдал по-военному.

А рабочий день уж кончился.

Сперанский включил в кабинете верхний свет, чайник и обогревательный калорифер. Отопление ещё не скоро запустят, и дом помаленьку выстывает. Вообще, как-то вдруг сразу, в один-два дня похолодало, люди надели толстые пальто, в городском транспорте делалось тесно, пассажиры, ещё несвыкшиеся с зимне-осенней одеждой и потому неуклюжие, подшучивают друг над другом, улыбаются, замедленно и подчёркнуто осторожно, с извинениями протискиваются в проходах, грубость и хамство будут впереди, в разгар зимы, а пока что поздняя осень, октябрь уж на дворе...

– Вот именно. А революции всё нет, – проворчал Домовой, выходя из-под шкафа, почувял чаёк с сахарком. – Как дела на трудовом фронте, товарищ Сперанский? Как жись молодая?

Устроились чаёвничать. Разговорились, как всегда.

Домовой хрустел сахарком, из ложечки чай швыркал и доверительно посвящал Сперанского в свою проблему, возникшую на старости лет: затирают Домового столичные коллеги, завидуют, всякие подножки устраивают, и вот буквально на днях – нате! – не утвердили на президиуме Центросовета в списке делегатов от Советского Союза на всемирную конференцию домовых в Женеве, особенно постарался Кремлёвский Домовой, из молодых, да ранний, никакого понятия о джентльменстве...

– Обидно, – сказал Домовой. – Этот молокосос каждый год на конференции ездит и каждый раз молодую Кикимору с собой возит. Думает, лучше чем я. А вот нет, чтобы научиться тихо, без треску и гама трудиться на своём посту, как положено. А глотку драть на президиуме каждый дурак сможет...

– Это да, – согласился Сперанский. – Глотку драть они мастера, это они могут. Бюрократы! Им бы там, в крайкоме, только галочку на бумажке поставить, а проблемы жэкэха им до лампочки...

– А пожалуйста, хрен с ним, я могу и не ездить по ихним Женевам, – продолжал Домовой. – Мне и здесь делов хватает. Но за московских коллег стыдно. Там же у них полный разрыв с народом, с устным народным творчеством, сплошная коррупция и потеря квалификации...

– Да хоть бы раз сказали по-человечески: здравствуй, уважаемый товарищ, как живёшь в личном плане, в чём нуждаешься, на что жалуешься? И мне бы легче стало. Так нет же! «Знамя получи, распишись, привет коллективу!»...

– Они скажут! Держи карман шире, дождёшься от них! У них там великодержавный эгоцентризм и до провинциальных нужд им дела нет, у столичных-то. А здесь им не Москва. Здесь думать надо. На каких новых сказках будем воспитывать подрастающее поколение? И на кой хрен, собственно говоря, сказку делать былью?..

– А я тебе вот что скажу по-секрету. Уходить собираюсь к чёртовой матери...

– А у них всё так просто, что даже противно. Но я не сдамся! Плевал я на ихние циркуляры!..

– И вот куда же мне эти все знамёна девать? Музей открыть, что ли?..

– То-то и оно! Мне передают по нашим каналам из президиума, что я не соответствую духу времени и научному профилю. А кто нынче соответствует? Эх, был бы я помоложе лет на двести, так я бы... Слушай, можно я тому молокососу с твоего телефона прямо щас в Кремль позвоню? У него там персональный домофон поставлен.

– Звони, дорогой!..

И покуда Домовой матерился в телефонную трубку, по-русски, по-английски и на эсперанто, Сперанский подводил итоги дня минувшего – карандашиком на страничке настольного календаря с перечнем текущих дел и делишек: это – есть, это – нет, а это – то ли будет, то ли нет, зато абонентский телефонный номер для сантехмастерской Помиранцева – явный успех, уже стоит телефон, сколько лет мучались жильцы и сантехники без телефона, и вот выбил-таки служебный номер – через АТС, через горком-горисполком, крайком-крайисполком, всё как-то через кого-то, через жопу, грубо говоря, и дело это великомученическое...

– Такаја хернја, – кричал Домовой в трубку, – каждый октябрь! Each oktober такая херня! Змея Горыновича на вас нет! Или Ленина с Дзер-

жинским! Контрреволюцию хотите? Будет вам контрреволюция! Всё! Я завязываю и ухожу в подпольную оппозицию! Привет Кикиморе!

Довольный вполне, положил трубку, улыбается, хихикает, подмигивает:

– Как я его сделал, молокососа?

– Здорово ты его сделал, – ответил Сперанский. – Я бы так не смог.

– А имею право! Ветеран всё-таки, а не фуфло из поддувала! И потому мудрый, что опытный, а не просто старинный. Сахарок-то ещё есть или кончился?

– Есть сахарок, наслаждайся, в кармашки себе нагребь.

– Вот спасибо, добрый ты человек, Сперанский, душевный. Я тебе совет хочу дать. Для личного плана и дальнейшего соцсоревнования с жизнью. Возьмёшь?

– Не глядя.

– Тогда слушай. Бери новое красное знамя подмышку и водружай на самом верху нашего великого дома. Конечно, не рейхстаг. На рейхстаге бронзовые кони стояли, зато у нас – секретный самолёт в полной готовности. Где самолёт, там и красное знамя должно быть. Это как наглядный знак, что всем будет полный бумбараш, если не сказать по-матерну...

– Да кто ж увидит снизу? Никто и не увидит.

– Кому надо – увидят. Ну, я пошёл. Покедова прощай, дорогой друг-товарищ Сперанский. Чувствую, у тебя сегодня к вечеру настроение поднимается и дух возвышенный. Желаю дальнейшего подъёма. Мурза, где ты, мой вороной?

Из-под дивана вытянулся чёрный Мурза, верховой кот, рысистый, и приветствовал присутствующих поднятием правой лапы:

– Миру мур!

– Поскакали, Мурзик!

.....

Сперанский открыл опечатанную дверь в соседнюю бухгалтерию, там у женщин зеркало на стене, интересно взглянуть на себя в возвышенном настроении.

И посмотрели они друг на друга – начальник ЖЭКа и его отражение. Оба получились толстые. Это начальник ЖЭКа, снявший с древка красное бархатное знамя, обмотал оное вокруг тела, под рубахой. Как партизан Лёня Голиков. А поверх всего, на парадном пиджаке, награды Родины: выше всех – юбилейная медалька «За доблестный труд. В ознаменование столетия со дня рождения В.И. Ленина», а ниже, слева и справа, на разноцветных колодочках ордена: Трудового Красного Знамени и Знак Почёта, и медали «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За отвагу на пожаре»,

«За отличную службу по охране общественного порядка», нагрудный знак «Заслуженного строителя СССР» и рядками – многие значки анодированно-эмалевые победителя социалистического соревнования и ударника коммунистического труда... Вишнёвая капля крови с крестом и полумесяцем на лацкане. Это донорскую кровь сдавал Сперанский, когда жена рожала...

Весело поднимался Сперанский по лестничным маршам, изломанными зигзагами устремлённых в небо. Выше двадцатого этажа уже ничего материального не было вокруг и помимо тех маршей, ни стен, ни простенков, ни перекрытий, одна лестница да звонкие арматурные прутья из высококачественной стали, да ещё голоса, голоса, голоса, высокие и низкие, треплются голоса на сквозном холодном ветру, зацепились за стальные прутья, оторваться не могут, голоса мужские, женские, детские, блуждающие в течении неба и времени, уж давно, наверное, и нет в живых тех мужчин, женщин и детей, которым принадлежали эти голоса, нет людей, а голоса их живут и своевольничают, обречённые, это не чудится, это на самом деле так, Сперанский же абсолютно трезв, и водку с собой в затяжной крутой маршрут наверх брать не стал, подъём флага – дело серьёзное...

Весело и серьёзно возвышался Сперанский вверх по лестнице, и сам себе удивлялся по причине молодой лёгкости ног и обширности лёгких, прокуренных с избытком, ступени охотно уходили из-под каблуков, прищёлкивали каблуки, отсчитывали: бумбараш! бумбараш!.. А зачем бумбараш? Почему бумбараш? А потому, что это, оказывается, давно знакомый Бумбараш, киношный, вылитый из артиста Золотухина, носится в пиитической стратосфере, в стихии вольной, и голосит самостоятельно и автономно, киношный-заполосный: «Я лечу, братцы! Я лечу!», а какие-то солдатские люди внизу, на родной почве, головы задрали, рты разинули и вопят: «И ведь летит, летит! Мать его ети!»... Ангел ты мой, да куда ж мы летим с тобой? И долетим ли?.. – «...и сам летишь, и всё летит, летят вёрсты, летят купцы, летит лес, летит вся дорога...» – Ангел ты мой, куда-а-а-а... – А смеётся Бумбараш, прямо заливается: «Я лечу, лечу, лечу, ох ты боже мой! Приземляться не хочу, ох ты боже мой!..» – Эй, Бумбараш, не шибко увлекайся, Бумбараш!.. – «Бомба Раша! – смеётся Домовой по-русски, по-английски и на эсперанто. – Бомба Russia!» – Да неужто? – «Ужто, ужто, люди и джентльмены!» – И правда, очень похоже. Летит, значит. Летит она, Russia колокольная, бомба Раша, радуется... – «...и летит мимо всё, что ни есть на земли, и, косясь, посторониваются и дают ей дорогу другие народы и государства...» – Да и как не дать? Ведь сама возьмёт!..

На пятидесятом этаже ноги сами остановились. Здесь они жили. Здесь когда-то была их жилплощадь с домашними шлёпанцами. Сейчас всё выветрилось.

Сперанский присел на ступеньку, дух перевёл, огляделся – и вздрог-

нул: в двух шагах от него, на завитке арматурного скелета, сидела сова и тарацила на человека-нарушителя жёлтые свои глазищи, мигала – то враз обоими, то левым-правым попеременно: дескать, какой же ты тогда человек, если не пытаешься выше головы прыгнуть?

Сперанский поднялся, расстегнул пиджак, широко развёл в стороны обе полы – и шагнул в небо...

.....

Вообще-то, летающих мужиков на Руси не так уж и много, чтобы их не знать. И при этом совершенно необязательны ауродинамические подробности: куда полетел? куда прилетел? откуда и докуда? Неважно сие. Пролетел – и всё. Как фанера над Парижем.

Но вот тут-то, с расхожей этой вихлястой фразочки, и начинаются: а почему, собственно, над Парижем? мы-то что, не могём? чтобы собственные платоны, ньютоны, икары, икарусы ... не могём, что ли?

Могём, товарищи, могём, как говорят старики, уходящие в бой. Париж тут для отвода глаз.

Было дело. И дело было в Москве, на Ленинских горах, вознёсших к самому синему небу каменный торт государственного университета. Строили этот комплекс высотных зданий враги народа. Их всегда было много, а после войны с немецко-фашистскими захватчиками народу поубавилось на двадцать миллионов, но врагов – вот странно! – осталось столько же, если не больше, впрочем, такие прибитки-убытки советскую власть не колыхали. Так вот, стройка МГУ была ещё полностью не завершена, велись отделочные работы снаружи и внутри. В главном, срединном, корпусе трудилась бригада паркетчиков, составленная из врагов народа, а среди них был паренёк, сын врага народа, Сперанский, мой, наш и ваш, начальник ЖЭКа, только что, на ваших глазах улетевший. Если бы он не улетел, то, возможно, он сам рассказал бы когда-нибудь одну историю. Но он улетел. И потому прислушаемся к голосам из вольного эфира. Они не соврут.

Работал в той бригаде бывший лётчик-фронтовик, боевых орденов удостоенный. Родом откуда-то с Кавказа, семья перед войной в Москве проживала, лётчик в Тушинских воздушных парадах участие принимал, над головами правительства и самого товарища Сталина летал, сталинский сокол. За что-то про что лётчик в паркетчики угодил – о том не говорилось, не принято было говорить. И трудилась бригада, как и все подобные бригады, не по-вражески, а, наоборот, по-коммунистически, без прорыву, от зари до зари. А к концу смены, ближе к вечеру, лётчик всегда поднимался на последний этаж башни главного корпуса, усаживался на подоконник и сидел так недвижно, мечтательно глядя за Москву-реку: где-то там, вдалеке, в море огней загорался ещё один электрический огонёк, в окне на пятом этаже, там, где жена, сын и дочка... За такое ежедневное вечернее сидение бригадники на-

зывали лётчика кукушкой: наш-то опять кукует, говорили. Лётчик не обижался, наоборот, входил в тему, рассказывал про вещью пёструю птицу с красивым гребешком на голове, которую кавказцы-ногайцы уважают особо, называют апрель месяцем кукушки, потому что она в это время возвращается из странствий к родным местам и гнездится на акациях. А тогда в Москве как раз весна разразилась, апрель. И был вечер. И вот оказался лётчик-паркетчик, в телогрейке и без боевых орденов, один на самом верху башни главного корпуса, лицом к лицу с широким окном, с видом на Москву-реку. Он выставил раму, поспешил палец и выставил его на свежий воздух, направление ветра определил, потом подтащил к окну цельногабаритный лист четырёхслойной фанеры, заранее припасённый в нужном месте к нужному времени, перекрестился, взобрался на подоконник, всунул руки-ноги в фанерные вырезы, тоже загодя выпиленные, и встал лицом к лицу с городом, навстречу огоньку на пятом этаже, оттолкнулся – и полетел... Говорят, через четыре дня фанеру нашла милиция в тридцати километрах от города. И ещё говорят, летун остался жив и его арестовали. Разные слухи были, из слухов родилась легенда. Легенды ведь не на пустом месте возникают: значит, так ли, не так ли, но как-то было. Да в жизни ещё и не то бывает. В жизни, как и в устном народном творчестве, как говорится, и на «ё» бывает, и на «я» бывает, и всяко-разно бывает, а и то бывает, что чаще всего у тех бывает, которые кое-где да кое-в-чём бывают, извините за выражение, неадекватны великому делу строительства коммунизма в одной, отдельно взятой за одно интересное место, стране.

СХІІІ

Если бы люди могли слышать и, слыша, понимать язык камня, воды, уличных фонарей, кровельной жести, чугунных урн, деревянных скамеек, цветочных клумб, деревьев и травы, синих почтовых ящичков, лестничных перил и ступенек...

Если бы люди умели научиться увидеть в песчинке целый микрокосм с орбитами солнц, лун и планет, среди коих, возможно окажется одна самая красивая, живая, с морями и лесами, с городами маленьких людей, и один из них, тамошний звездочёт-астроном пожизненно приник к телескопу в поисках иных миров, в то время, как вся его собственная галактика, песчинка сахарная, со скоростью колыбельной песенки растворяется в чайном стакане, помешиваемая ложечкой другого человека, допустим, счетовода-бухгалтера, существа невеликого, но и немаленького – из области или района, например, Медведицы, не очень-то и большой, но и не сказать, чтобы уж такой малой...

Если бы люди хотели понять память капли воды и тайны звукохранилища кремниевой пластинки или кварцевого зёрнышка, ко-

торые всё на свете видели, слышали и запомнили из жизни людей, и сохраняют ту память до скончания века, и передадут земную историю дальше, вперёд, другим людям, тем, которые однажды смогут, сумеют и захотят...

Если бы такое случилось сейчас, в четвёртом квартале текущего года, – то многое из того, что произошло минувшей ночью, имело бы в своей основе вполне научное объяснение, не отягощённое обывательскими сплетнями, досужими вымыслами, устным народным творчеством и марксизмом-ленинизмом как самой передовой теорией человечества.

Увы, камни кричат молча, и в этом у них есть, пожалуй, даже некоторое сходство с людьми, например, с господами англосаксами, которые в своём высокомерии кричат тоже молча, в крайнем случае, шёпотом, но неанглосаксы давненько уж раскусили эти чопорные манеры как оригинальный способ произвести на окружающих впечатление подчёркнутой сдержанностью, и это, по сути дела, есть как раз то, что в английском языке обозначено словом «пиар», а в русском толковании дополнено: пиар костей не ломит.

Итак – одни свидетели немые, и куда человечество будет добиваться воспроизведения звука или видеокартинки из свидетельского кирпича, у нас есть один-единственный шанс восстановить события только что прошедшей ночи – шанс в лице Бомбея, обитателя подземного схрона с закромами Родины, во глубине Площади Падших Борцов, под постаментом Серебряному Ленину у Серого Дома.

Мужичок-с-ноготок, но в общем и целом неробкого десятка, Бомбей попервости всё ёжился и вёл себя как-то не по-советски, а даже как-то по-англосаксофонски, но Семён Семёнович Помиранцев поприятельски быстро привёл Бомбея в нормальное состояние: похлопал себя по груди, и в закромах пиджака дружелюбно булькнула бутылочка, и пачку «Беломорканала» распечатал, закурили, дымными колечками обменялись...

– Ну! – сказал Помиранцев.

– Ну и ну! – ответил Бомбей.

– Такой антисоветский анекдот я уже слышал. Рассказывай другую правду, как тут и чего было.

– А чо мне за это будет?

– За чо за это?

Задумался Бомбей. Докурил папироску, сплюнул:

– Ладно. Всё расскажу, как социал-демократ социал-демократу. А потом пусть хоть под расстрел, если догонят...

По словам Бомбея, он проявил историческую несознанку тем фактом, что изнутри постамента систематически щекотал палкой пятку Серебряному Ленину. Ленин этот факт терпел, терпел, да вот и не вытерпел: сделал шаг вперёд, потом два шага назад. И тут-то всё и на-

чалось, ровно в полночь: Золотая Орда пошла против Серебряной.

И как же много оказалось в городе Хибаровске ленинизма! Сплошным потоком, сплочёнными колоннами, монолитными когортами, слитными легионами, шеренгами, фалангами – потекли лавинно по улицам, надвигаясь со всех сторон на центральную площадь, все Ленины, существующие в Хибаровске и его ближайших окрестностях: гранитные, мраморные, гипсовые, бронзовые, железные, чугунные, оловянные, фарфоровые, пластилиновые и папье-машёвые... – статуи, монументы, кумиры, изваяния, идолы, истуканы, бурханы, болваны... – как ни назови, а всё получалось капище, капутище. Огромные, и большие, и средние, и малые, и маленькие, и малюсенькие, но все до единого – человекообразные, пусть даже и без ног, так называемые бюсты и бюстики. Плоские Ленины, с плакатов и транспарантов, трепетали, они тоже рвались в последний и решительный бой, но поучаствовать в нём им было не суждено, поскольку их существование находилось в иной плоскости, одномерной.

Золотоордынцы полукольцом охватили площадь с юга, Серебряные сосредоточились на северной стороне, и впереди каждого полукольца, разумеется, стоял свой предводитель: Золотой в фонтане и Серебряный у фасада Серого Дома, лицом к лицу. А с запада и востока глядели друг на друга намалёванные красно-бело-чёрные Владимиры Ильичи. Взоры их метали молнии, молнии походили на буреветников, буреветники носили в клювах мысли скорые, думы долгие и с лёту обрушивали их на головы двух главных памятников:

– ...и это называется рабоче-крестьянская власть? Это говно, а не рабоче-крестьянская власть! Рабоче-крестьянская власть никогда не допустила бы такой дискриминации в способах увековечения своих вождей и народных героев. Скульпторы, эти мерзавцы и проститутки, совсем зарвались, зажирели и обуржуазились! За эскизный проект дважды Героя Советского Союза или единожды Героя соцтруда в две натуральных величины им платят по тысяче сто рублей, и даже за простой памятник в виде бюста в три натуре им подай девятьсот целковеньких. Но это только ягодки! А цветочки такие. Есть и вторая стадия, а именно: создание модели в натуральную величину. И тогда бюст дважды Героев в две натуре стоит уже две тысячи двести рублей, и даже за какого-нибудь Моцарта, возвеличенного до трёх натур, извольте выложить этим ваятелям до тысячи восьмьсот. Архисладко они устроились, эти ваятели-педерасты! И какой же дурак после таких расценок станет ваять зеркало русской революции, а не члена Президиума ЦК писателя Рашидова? Где искусство для народа? Вон из революционного искусства рвачей-ваятелей! И да здравствуют доступные и понятные массам живописцы!

Два предводителя, Золотой и Серебряный, презрительно отмахивались. Они считали ниже своего достоинства вступать в полемику с размалёванной фанерой и грунтованным холстом. За предводи-

телей это делали маленькие бюстики – с обеих сторон, как золотые, так и серебряные. Они подпрыгивали впереди своих гигантских вождей, точно воробушки, и, как могли и умели, защищали человекообразных перед стяжательскими нападками со стороны графики и масла, мозаики и интарсии, маркетри и витражей, росписи и эмалей, и прочей одномерной и однозначной сволочи... На что им обижаться? Ленинская тема в историко-революционном контексте даже в пошлой плоскости поднята на небывалую высоту. Ленин в технике римской мозаики тянет на пятьдесят семь рублей за квадратный метр, в то время, как за какой-нибудь слащавенький мещанский пейзажик или мелкобуржуазный натюрморт, выполненный в той же технике, больше тридцати восьми за квадратный метр не получишь, даже по самой высшей квалификации исполнителя. Поэтому – вон из революционного искусства рвачей-живописцев! И да здравствует доступное и понятное массам ваение!..

Группа бюстиков, золотых и серебряных, в это же время толпилась под окном квартиры-мастерской Хасана Францевича Шадрина и солидарно шлёпала плоскими задницами по асфальту, что означало:

– Вставай, подымайся, рабочий народ!

Хасан Францевич в ответ на приглашение выпустил в окно бумажного голубя с письменным ответом: «Пошли вы все на хрен, недоноски!»

Тогда одна часть бюстов гневно обрушилась на скульптора совсем по-мультишному: «Выходи, подлый трус! Поговорим, как мужчины!», а другая часть в хоровом исполнении принялась выманывать на улицу Лениных из шадринской мастерской, одновременно обзывая их саботажниками и предателями общего дела. Шадринские Ленины выманываться воздержались. Они боялись, что Хасан Францевич всех их переколошматит молотком ещё на подступах к порогу.

А тем временем намалёванным Ильичам последним усилием революционной воли удалось-таки разверзнуть рты – и в этот же миг затрещала фанера, и стали с пушечным гулом лопаться туго натянутые загрунтованные холсты, и намалёванным – в основе! – пришёл конец, и человекообразные возрадовались, и победно оглядели свои ряды, и увидели, что рановато они празднуют победу, потому что нет единства в их человекоподобии, одни золотые, а другие серебряные, явный раскол, и тогда затрепещал над площадью основной вопрос диалектики, жизни и смерти: кто главнее – Большой Золотой или Большой Серебряный? и кому единственному и неповторимому стоять на Площади Падших Борцов и возглавлять высшую и последнюю стадию ленинизма?

И выдвинулись из противостоящих полукружий два зачинщика-поединщика.

Из золотых рот выкатился вперёд Ленин на броневике. У этого Ленина была сложная судьба. Сначала он был цесаревичем Николаем,

потом, последовательно, Троцким, Сталиным и Павликом Морозовым, в конце концов и Павлику открыли голову и на измождённый стальной штырь воткнули голову Ильича. Ильич был в простой солдатской шинели, в фуражке, в руке сжата кепка, другая кепка выглядывала из кармана шинели, это был многомерный и многоплановый Ленин.

Из серебряных же рядов навстречу броневикау выскочил крошечный, двуногий, и тоже с кепкой в руке. Он плашмя бросился на землю и пополз, извиваясь, навстречу грозной боевой машине. И кепку в зубы пристроил, чтоб ловчее ползти. И одна нога его, некогда подремонтнированная с помощью клея БФ, отвалилась, но Ленин махнул на ногу рукой и продолжал поползновение, и вот он уже приблизился к противнику на расстояние броска, выдернул кепку из зубов правой рукой и, выгнувшись с опорой на левую руку, метнул кепку под колёса броневика. Броневик остановился, задумался и развалился. Он был фанерным. Но внутри него оказался потаённый конь. Так что Ленин не упал, но спокойно, обеими ногами, переместился на конский круп, прямо как цирковой джигит. Конь стоял, набычившись. И из всего вместе получилась ещё более сложная композиция, чем в бронетехническом варианте: Ильич, стоящий на коне, как джигит-вольтижировщик, одновременно был похож и на змея, и на медного всадника, тут, несомненно, скрыта какая-то тайна, поскольку вождь, как известно, на лошади никогда не ездил, из животных любил: котов – чтобы гладить, и зайцев – убивать веслом с лодочки в половодье, а ещё он любил собирать грибы, и поэтому конную статую ну никак не заслужил! Тем не менее, конь, отвыкший ходить, пошёл и вместе со стоячим конником выдвинулся к центру зачинного единоборства, и оба они стали неприличными жестами вызывать на поединок противника из Серебряного стана.

И тут замелькали в темноте сороки-вороны да галки-стрекотухи... О, эти несносные, вездесущие, какающие на лету пернатые щелкопёры! По мнению обоих Предводителей, именно они, эти человеколюбивые проститутки, эти сороки-вороны кашку варили, а двум гигантам, Золотому и Серебряному, – расхлёбывать!

И вышел от супротивников серебряный поединщик: Ленин в болотных сапогах, с ружьишком через плечо и с ягдташем на поясе. У него была гуманитарная охотничья улыбка. Левый глаз лукаво прищурен, а правый лукаво глядел сквозь растопыренные пальцы, и это была подлинная правда жизни, и все, собравшиеся на площади, досконально знали этот простой, житейский, человеческий, подлинно биографический лукавый взгляд Ильича, а всё дело в том, что зоркий рулевой и кормчий на один глаз был близорук, на другой – дальнзорок, и вот таким-то образом, прищуривая один глаз и ставя перед другим пальцы враслопырку, он корректировал своё провидческое зрение. И вот этот охотничий Ленин лукаво приблизился к золотому вольтижировщику и лукаво спросил: «Котогый час?» И Серебряный стан разразился бур-

ными продолжительными аплодисментами, переходящими в овацию и демонстрацию, ибо явлена была ещё одна правда легендарной ленинской жизни. Ведь даже враги, разные меньшевики и каутские ренегаты, не опровергали того, что Ленин периодически сидел в царских тюрьмах, но это не сломало его дух, и вот однажды он в бетонной одиночке принялся бешено колотить в железную дверь, не жалея своей головы, и прибежали, гремя саблями, надзиратели, и узник гневно бросил им в лицо, этим царским сатрапам и палачам: «Котогый час?»

Но золотой джигит лишь усмехнулся на этот вопрос: «Он, видите ли, ещё спрашивает, который час, этот псевдолукавый охотник! А вот пусть он лучше вспомнит тот час, тот ночной час в феврале семнадцатого года, в городе Цюрихе, где он скрывался, как последний альфонс, у Инески Арманд от любовных домогательств пучеглазой Наденьки! Этот лысый ловелас слонялся без дела по комнатам в доме какого-то обувщика, и все его статьи ни к чёрту не годились, и ни одного серьёзного плана не рождалось в голове, и даже специальное масло для ращения волос, закупаемое в больших количествах на партийные деньги, не приносило ни малейшего успеха. Вот такой у него час! Зато послушайте, какие грандиозные планы в то время созревали в моей голове, в Золотой...»

Серебряный охотник лукаво смотрел-смотрел, да вдруг и рассмеялся лукаво: «Вот сволочь так уж сволочь! Врёт – и даже не поморщится, говно такое! А пусть он лучше расскажет миру не про свои грандиозные планы, а про то, как померла в Швейцарии его родная мамочка. Пусть он расскажет народу, что вовсе не он, сукин сын, дежурил у постели умирающей мамочки, а всё та же Наденька, у которой у самой был полон рот партийно-пропагандистских забот. А чем занимался в это время этот золотой? А он писал очередную статейку в полное собрание сочинений! Ему хоть бы хны, что мамочка на последнем издыхании! И вот взмолилась Наденька: Володенька, подежурь вместо меня маленько, сил моих больше нет, я прилягу, подремлю, а ты разбуди меня немедленно, когда мамочке помощь потребуется. И ваш так называемый золотой молча кивнул своей лысой башкой, и Наденька рухнула в беспмятный сон, а утром проснулась и видит: мамочка уже спит вечным сном, а Володичка всё пишет и пишет, и стала Наденька упрекать Володичку, а Володичка отвечает с железной логикой: «Наденька, не волнуйся, ведь ты просила разбудить тебя, когда мамочке потребуется твоя помощь, не так ли? Но ты же видишь, что мамочка умерла. Следовательно, твоя помощь ей уже не нужна.» А теперь, после вышеизложенного, давайте определяться: нужен ли нам такой Ленин во главе ленинизма? »

Серебряные памятники затопали, бюсты заколыхались, бюстики запрыгали на попках...

И вздыбил коня золотой вольтижировщик-джигит: «Кого вы слушаете? Провокатора и самозванца? Лжец! У него даже ружьё не заря-

жено! Нет, давайте, товарищи, архидружно плюнем на этого истукана с херовеньким ружьишком и сплотимся вокруг фонтана! Вы слышите его шум? Это резолюция чистой воды! Пункт первый, позорный: в городе Ульяновске Центральный Комитет собрал съезд артистов, играющих роль Ленина, человек триста, всех загримировали для выступлений, но тут подошло время обеда, и все пошли в столовую, все триста встали в очередь за щами и кашей и при этом картаво стучали мисками, устроили дебош, пришлось вызывать конную милицию... Какой позор! Всех артистов – немедленно расстрелять! Назначить одного, кормить вне очереди и постоянно бить ложкой по лбу: помни, помни, помни, что ты не Ленин, ты только роль Ленина, поэтому не зарывайся, сволочь! А Ленин – один, наш Золотой, а того, который в гробу, весь нахимиченный, надо понимать диалектически, то есть в переносном смысле, то есть не в смысле консервы или распивочно и навьнос, тем более лежачего, нет! его надо понимать в смысле стоячего сию минуту перед вашими глазами в мириадах брызг. И не существует такого вопроса: перенесёт ли народ такой вынос? Советский народ и это перенесёт. Вынесет всё, и широкую, ясную... Как утверждал Николай Алексеевич, певец народного горя...»

И золотоордынцы согласно затопали, бюсты зашатались, бюстики запрыгали.

Серебряный охотник смотрел-смотрел на всё это с лукавинкой, потом поднял ружьё и лукаво выстрелил.

И рухнул с коня золотой джигит, и конь рухнул, и оба рассыпались.

И тогда рать пошла на рать.

Ни татарских боевых кличей, ни тевтонских воинственных призывов – молча!

Лишь Бомбей, высунув рожицу из амбразуры пьедестала, покинутого ушедшим в бой Серебряным Лениным, кричал залиvisto:

– Шай-бу! Шай-бу!

И вошла одна рать в другую рать, и смешались рати, и сделалась куча могучая, и посыпались обломки, осколки, ошмётки, огрызки, щепень, черепки, крошево... – и стала воздыматься куча сия на площади, между фонтаном для бывшего Золотого и пьедесталом для бывшего Серебряного, и ничего уже невозможно было опознать в том дикорастущем кургане, кроме сотен измождённых кепок, больших и маленьких. Курган шевелился, сопел, пыхтел, щёлкал, трещал, лопался, внутри него боролись фракции, дробились, множились, измельчались и выпадали в осадок... И сделалось Бомбею нехорошо. Он нырнул в подземный схрон, к закромам родины, извлёк наружу патефон и поставил на диск граммофонную пластинку с названием «Интернационал». Бомбей где-то слышал от кого-то, что когда звучит «Интернационал», все встают и ничего не делают. Но на площади, в урагане кургана, вставать уже было некому, и делать, естественно, было больше нечего, и всё

внезапно стихло, ибо «Интернационал» действовал даже на молекулярном уровне, а Бомбей, конечно, приписал себе в заслугу прекращение вселенского побоища, в котором так чудно сошлись и каменный век, и бронзовый, и железный, и серебряный с золотым...

Бомбей ковылял вокруг кургана и охал: и чего же это он такое натворил со щекотанием пятки Серебряного Ленина, как-то так нехорошо всё вышло, некультурно, совершенно по-мамайски получилось, не по-понятиям...

А с другой стороны кургана, навстречу Бомбею, ковылял сердитый Семён Семёнович Помиранцев. Он вглядывался в руины, надеясь обнаружить среди обломков свой собственный, скоропостижно изготовленный и стоявший до срока в домашнем коридорчике в должности вешалки, – памятник. Сбежал, подлец, из дому, успев присниться хозяину и объявить во сне подкольным голосом: спи спокойно, Семён Семёныч, а мне пора пришла, пойду на площадь наводить пролетарский порядок в партийных рядах, а то ведь, не дай бог, совсем без никакого энтузиазма останемся, как жить будем?.. И какое там спи спокойно после такого заявления?! И кинулся Помиранцев, чертыхаясь, из постели да устремился вослед. И вот – результат: никто не успел. Ни Помиранцев, ни его памятник как третейский судья-замиритель... Катастрофа.

И в том месте, где из глубины кургана уже пробивался робкий, едва начинающий жить, родник, встретились носом к носу Бомбей и Помиранцев. Остановились. Присели на камушки, у подножия самодеятельной сопки.

Родник, петляя по площади, побежал искать себе дорогу, он был весел, он вырвался-таки из бетонного круга, из каменной чаши, из циркулярной жизни, и он вдруг каждой своей капелькой почувствовал себя братом Моря! Да что там – Моря? Братом Мирового Океана! Вот! Такая уж у воды память.

Бомбей и Помиранцев сидели молча. Каждый в отдельности думал о своём, а совместно получалось: скоро кончится эта ночь, вчерашнее уже стало сегодняшним, а сегодня суббота, значит, по стечению обстоятельств, будет скоропостижный городской субботник, понятно, что не ленинский и не коммунистический, но каким именем прилагательным он будет наречён – никто не знает, и придут утренние хмурые люди, станут разбирать камни и кидать их в кузова грузовиков, а ближе к обеду люди развеселятся, примутся выпивать и закусывать, примерять на своих головах каменные и бронзовые ленинские кепки, в изобилии валяющиеся у подножья кургана, целёхонькие, но уж больно «чижолые», носить такие – только мозги свихнуть, а так ничего, век им сносу нет, и всё будто бы ладно, день субботний, дальневосточный выходной, ближневосточный шаббад, ленинизм на площади кончился, и пора бодро расходиться купить выпить похмелиться...

И был воздух тугим и тяжёлым. Воздух вязкий, насыщенный це-

ментно-меловой пылью. И песок скрипел на зубах Помиранцева и Бомбея. Ему бы, песку, смиренно опадать на землю и становиться прахом, так нет же, он ещё и возносится, он ещё и скрипит! Помнит себя частью гиганта, хранит в кварцево-кремниевой памяти гул поклонений, отложения ужасной любви, такая уж у песчинки память...

Бомбей толкнул Помиранцева в бок:

– Глянь-ка, Семёныч! Ещё и базар-то закрытый, а уже баба передвигается... Вечно они суются в катастрофические дела, эти бабы!

По восточной окраине площади медленно двигалась женщина в чёрном. Неслышны были её шаги. Она вообще не шла. Она как будто проплывала, не касаясь земли, как это делают златокосые девицы в сарафанах из ансамбля «Берёзка». Остановилась на миг, посмотрела на курган... Вся в чёрном, черней ночи, глаза чёрные и ясные, словно бы день и ночь в этих глазах её разом сошлись... Повернулась вполборота – и уплыла за границу ночи и утра. И явились тут же чистота и покой, и хрустальность воздуха, и видимость миллион на миллион, и слышимость от полюса до полюса, и до бога расстояние – короче вдоха, и печальное подполье живых душ и мёртвых, и искус воскрес: вынь да положь истину! и вопрос воскрес: а что есть истина? – и вздохнул курган, словно в последний раз, внутри него уже затихало всякое шевеление, переносившее звуки последних расколов и измелчаний с верха в низ, и сам курган опадал, съёживался, уменьшался...

И донеслось с вершины: «Прощай, кукушка!»

Бомбей и Помиранцев вскинули головы, и ахнул Помиранцев: на вершине, увязнув в хламе четырьмя железными ногами, торчал его собственный памятник, сбежавший из коридора, и на голове его сидела сова и хлопала жёлтыми глазами.

И куча праха вдруг раздулась, как раздувается для воздухозабора грудь могучего певца, и через мгновение задышало что-то похожее на подземный гул с глухо выраженной мелодией, с голосами тысячеустого хора, то ли гимн из подполья, то ли псалом из темницы... Прах музицировал. Курган сгущался, испуская последние пустоты внутреннего пространства.

Ничего подобного не слышали ранее ни Бомбей, ни Помиранцев. Зато памятник Помиранцеву, оказывается, и слышал, и помнит, и знает то, чего сам Помиранцев ни во сне, ни наяву, ни в книжках не встречал. На то он и памятник. Знает – а не скажет, откуда в нём завелась память о том, что когда-то было в чужедальних Альпах, в иноязычной какой-то Чудивизе, в скромном горном санатории близ Цюриха, где суровые скалы и дивный заморский лес, чистая вода и целебный воздух: сюда товарищ Ленин-Ульянов и Надежда Константиновна Крупская приезжали летом шестнадцатого года отдохнуть и подлечиться, пообщаться с партийными товарищами, где Владимир Ильич неустанно, маниакально-таки, думал о России и ругательски вспоминал Плеханова, чья многолетняя оторванность от России исто-

щила его некогда блестящий ум... – а на прощанье, один за другим разъезжаясь из санатория, все товарищи хором пели всегда одну и ту же песенку про кукушку, улетающую из родных лесов...

– Цирк какой-то, – прошептал Бомбей, прижимаясь бочком к Помиранцеву. – Мусорная куча, а того... песню поёт. Складно и без баяна. А какая ж песня без баяна, Семён Семёныч?

– А на хера козе баян?

– Не понял. Какой козе?

– Любой козе. Козлу. И вообще...

– Ой, не надо, Семён Семёныч! Хоть и кореш ты мне, а за козла ответишь...

– Заткнись, Бомбеюшка. Давай-ка лучше помянем, чего тут на наших глазах было да сплыло...

Помиранцев выудил из недр пиджака четушечку, выбил пробку и уж было примерился пристроить бутылочное горлышко к губам, как вдруг сверху, из-под памятника Помиранцеву, что-то сорвалось, и звонко запрыгало вниз по склону, и шлёпнулось прямо на колени Семёну Семёновичу. Это был нос. Бронзовый. Пустотельный. С тонкими стеночками. Аккуратненького чистого литья. Ловкенький бокальчик, который, правда, самостоятельно стоять не может и способен принимать боевую стойку, лишь находясь в человеческой руке. И ежели в обхват заткнуть двумя пальцами носиные ноздри, то в этот сосудик можно и водочки налить, и чего хочешь, и натуральным образом отправить налитое не только в поминальную глотку, но также и в других аспектах жизни. Что и было совершено.

И ещё с четверть часа посидели на камушках Бомбей с Помиранцевым, покуда водка достигнет до донышка, достанет до кишочков и разойдётся с кровью по всем жилочкам до самого, как говорят знатоки, гипоталамуса.

А кургана-то на самом деле уж и не стало. Была просто куча песка, глиняно-фарфорового крошева, цементной пыли, металлического порошка, а сверху растопырился четырёхлапый памятник товарищу Помиранцеву.

– Жутко мы интересные для истории люди, – сказал Помиранцев Бомбею. – Потому что никто, кроме нас, этого кина не видел и не слышал. Все спят.

– Даже менты, – добавил Бомбей.

– А расскажи кому – не поверят!

– А мы и не будем рассказывать. Народ-то сам ничего не заметит. Как будто бы ничего и не было.

А ведь и правда. С этой мусорной кучей одному метельщику, тому же, допустим, Платонову, уборки – на час работы без перекура. Подметёт, в тачку погрузит, вывезет в свальную яму – всего-то и делов, что на Площади Падших Борцов образуется чистое место, и твори на нём – чего хочешь, хоть с самого начала, с рэсэдэрэпэ, и тэдэ, и тэпэ...

– Ты вот чего, – строго сказал Помиранцев своему памятнику, – не хрен тебе здесь торчать и меня позорить. Покуда ещё темно, ступай домой, приступай к коридорным обязанностям, не то поутру в металломом загребут.

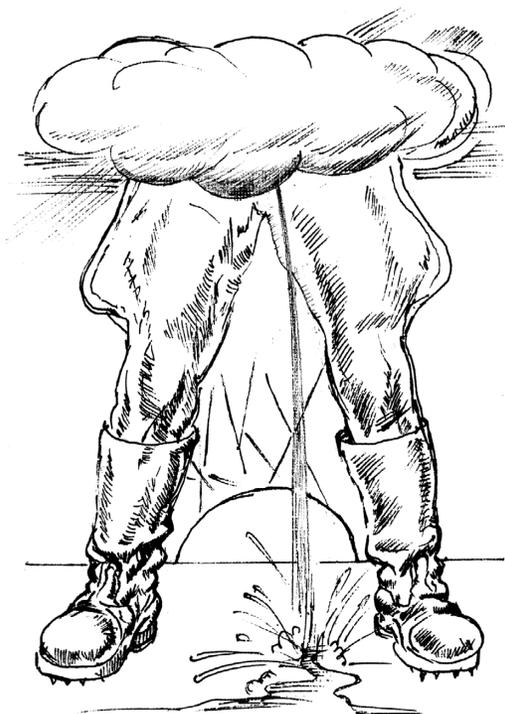
И – разошлись. Бомбей – к себе. И Семён Семёнович – к себе, и памятник едва поспевал за ним ковылять, прихрамывая на все четыре ноги.

А по первому лучу восходящего солнца в город вошёл танковый полк.

СХІV

Досточтимые почитатели гутенберговых литер! Со смущением душевным, изнутри, и со смятением умственным, со стороны внешности, а также со смещением сикось-накось приличествующих благонамеренному и добропорядочному событию рамок времени, пространства, генеральной линии и актуальных задач, имею сомнительную надобность сообщить вам, милостивые государи и государыни, пренеприятнейшее известие, конфузное и, что называется, хуже «губернаторского» положения: видение мне было. Видение странное и охулительное до совершенной ненормативности и удручения. Итак: слева, как будто бы, телеверещит прокурор Катанья. Справа, из радиоточки, – сладкоголосый Тото Котуньо. И то, и другое – неродные голоса, антисоветские, вот что сразу настораживает! Дальше, то есть выше, значит сверху – небо: хоть и с овчинку, зато всё в алмазах, и тучки там небесные, вечные странники. Напротив неба естественно расположилась земля, почва, обыкновенная субстанция первой, скорой и неотложной помощи, всё из земли ведь и в землю же уходит: алмазы, овчинки, кресты, шпалы, детство, отрочество и юность, и ничего не достаётся противоположенному небу, окромя названий: возвращённых слов, слов и слов... И там, где названная землёй земля прильнула к небу, названному небом, длится безусловная линия, называемая горизонтом, и восстаёт из-за той безусловности свежее полусолнышко с лучами случайными, несущими свет и тепло в солнечном ветре... И вижу я новорожденно. Снимаю пенку. И словно является всё это мне намного раньше самого мира, раньше неба и земли, ещё до света и звука, так рано, что ежели и было оно, то только дословно. Вижу посему и удивляюсь. Удивляюсь и прищуриваюсь, точно кот... И вот покуда солнечный ветер стремится через великую пустоту образ своего светила, так он видится, этот образ, как лучистое полусолнышко, но когда он достигает блаженных глаз и попадает в зрачок, в самое яблочко, и далее, в сердцевину, – вздрагивает сердцевина, и съёживается рёбрами, и очи очумелые моргают увечно: нет, не солнышко-полусолнышко в лучах – три кристальных креста на Лысой горе, голом черепе по прозвищу Голгофа, а

над Голгофой Голиаф растопырился – триумфальной аркой, «феелевой» этакой башней – в полувоенном френче и в галифе с галунами, стекающими в глубокие голенища... – да ещё и поливает почём зря! писарь, бля, соцреализма! жюльверн с мопассанью!..



Прямо скажу: удручает. Течёт видение, разливается и, по мере разлива, всё более удручает. Но и вы скажите по-совести, досточтимые почитатели гутенлигера, прапрадедочки Ра, блудные дети гу: а вас, на моём месте, не удручило бы такое телевидение с телодвижением?

Как говаривал покойный Ромка Якобсон, патологоанатом, отморгавший уж давненько своё протокольно-философическое: «А вот как посмотришь, бывалоча, на человека в таком настольном разрезе, так вот и жизнь тогда становится иной, то есть в совершенно другом разрезе смысла жизни, но об этом фокусе, кажется, ещё до меня поэт Маяковский догадывался, весьма обтекаемо, но в моём русле, ему позволили, он был объявлен лучшим и талантливейшим рабби эпохи, но именно это, последнее, меня и удручает, потому что в разрезе Рабле – нет равных...» Так говорил Ромка – прозектор, прозелит и, в некотором роде, прожектёр. С Ромкой не поспоришь. Ромка – в улёте. И лучший рабби в улёте; между прочим, у него одного мозгов в тазу было в два с половиной раза больше, чем в совокупности у двух первых советских вождей. К ним ко всем по-отдельности, и к Ромке в том числе, являлись свои видения. Странные и, возможно, охулительные и не весьма ясные. Предположим:

Русь. Предположим: святая. Предположим, что единственно ради пущей святости и чистоты эксперимента возникало у вождей намерение определить святую ещё и в великомученицы. А дед Молитвин трубит во дворе страшным голосом, от которого никому уже не страшно: «Куда-а-а-а...» Людей ему, видите ли, не видно в общественном разрезе. Удручает. Но квадрат не стесняет. У лабуха Рыдаева из «Триориты» свой квадрат из лучших рабби для Руси: Робин Гуд, Робинзон Крузо, Рабинович и Рабиндранат Тагор. Как у музыканта, у Рыдаева – своё право на Русь, на лучших рабби, на квадрат, на исполнительское кредо в собственно-профессиональной терминологии: упаси бог кларнетиста, даже высокого класса, играть длинные соло! не больше двух квадратов – и всё! а лучше, так вообще один квадрат сыграть хорошо, чем четыре – плохо... Так. Пусть так, по-лабуховски. Но всё же персональное рыдаевское видение удручает. Ибо: где они, собственные ньютоны и платоны? И тут дворник Платонов, бывший фантаст, успокаивает: «Мы – нация молодая, ещё успеет народить со знаком качества. И куда всему миру будет тогда угнаться за нами?!» – «Куда-а-а...» – вторит дед Молитвин. Одноимённая река согласна, она всё отражает. Писательский председатель Ферапонтий Пилатов испуганно апеллирует к Большой Пи: она/оно витает пред ним денно и ночью, отвлекает от руководства литературой, и это удручает. А Сочинитель с Помиранцевым вдруг взялись на общественных началах за политпросвещение голубчиков Жёлтого Дома, и на два голоса выступили, подобно «синеблузникам», на тему Бисмарка, который будто бы однажды заявил о том, что бог заботится в первую очередь о пьяницах, дураках и Соединённых Штатах Америки; однако дуэт был решительно оборван: «Ложь! Бог Россию любит!» Это было консолидированное решение первичной парторганизации. Такой религиозный патриотизм удручает. Но как сладко было слышать: ни один народ в мире не сравняется с русским народом в стойкости его заблуждений, в непоколебимой твёрдости его сказочной мечтательности! кто он, собственно говоря? скульптура Веры Мухиной? ложь! для полноты народного образа надо бы к рабочему и колхознице прилепить продавщицу типа тёти Хаси, и вокзального таксиста, и учёного с микроскопом из НИИБИ, и персека Сытникова, и доктора Штукарского, и многих прочих безымянных героев, и в результате выйдет – ОНО, мерно-мерно и мирно-мирно тикающее в холле Жёлтого Дома, не смотря ни на что, ни с чем не считаясь... Можно ли полюбить такое ОНО? Невозможно полюбить такое ОНО! Но бог взял и полюбил, на то он и бог, чтобы любить того, кого взял. А если б не полюбил, так не продолжил бы «американские горки» – «русскими», бог-то, по-гамбургскому счёту, не горки имел в виду, а дороги, а у нас с этим делом, то есть с дорогами, – как с дураками, но мы, как выше сфантазировано, нация молодая, у нас всё впереди, даже то, что позади осталось, мы идём своим путём, а покуда идём, то следует засвидетельствовать с рукоприложением исторический факт устройства в одном высокомерном ряду и американских горок, и русских дорог, и ленинских субботников, и вселенских

воскресений, и пусть это никого решительно не удручает, такая дорога – в смысле феноменологии духа, с точки зрения вечности, в разрезе колбасы, в плане «будем живы – не помрём».

Течёт видение из-под сапог. Слева – прокурор Катанья, справа – Тото Котуньо. Дорога не просматривается. Это удручает. Это наводит на антипатриотизм типа: ну его на хрен! нам бы такое катанье, как у них, вдоль по страде, верхом на фиате-феррари – то-то катанье! не то, что на наших горках, вдоль да по страданиям, на перетруженном авось, который и поныне там, откуда начался гораздо раньше времён Очаковских и покоренья Крыма красноармейцами товарища Фрунзе. И это, знаете ли, удручает. А ещё эти восходящие лучи полусолнышка! Эти кресты на Лысой горе по имени Голгофа! Это ведь даже не намёк. Это жужжаще-кашляюще-хехекающее ЖКХ – как вечный памятник тому, что строили чего-то, строили и строили – полное, окончательное, развитое... – хрен знает, чего такое и ещё какое, целый научно-фантастический роман столетий на тему своей собственной глупости, которая, по мнению либеральной интеллигенции, есть единственное, что спасёт Россию от заморского идиотизма... – да пусть хоть и не роман, а всего лишь тема романа, гольная тема, которую строили, строили... – а надо было дом строить: так высчитал, в конце концов, краснознамённый строитель Сперанский, с ним не поспоришь, в улёте Сперанский... – и вот и всё, товарищи! лимит на трактаты исчерпан; не шибко всё спокойно; но Стамбул не угрожает, наоборот; сквознячок вольно прогуливается с тучками-летучками на крутых горках с вытекающими последствиями всех и всяческих видений; и в закрытые, зачекуненные ставни сторожевой колотушкой постукивает пора: пора, брат, пора! всему, брат, пора, в том числе и писать, в промежутках побед, историю поражений, ибо лепо сие и конструктивно, братие...

Досточтимые почитатели ГЛ! Со смущением душевным и смятением умственным, со смещением рамок времени, пространства, генеральной линии и актуальных задач – имею неотложную надобность сообщить вам, милостивые государи и государыни, сумнительное открытие: я, нижеподписавшийся, сын и гражданин, субъект Союза, тип *vulgaris*, обыкновенный, класс незаконченный ниже среднего, древний род с неопределённым видом на жительство, разновидность такая: человек со скриптом, *homo scriptus*, «человек пишущий» и проч. – совокупный я догадался-таки, отчего воеет на луну тамбовский волк, наш товарищ? – в тоске по романской волчице, вот в таком разрезе, что несладко ему, серому, без римских календ и натурального долга, и в узком разрезе прищуренных глаз его ведь и в самом деле что-то призрачное брезжит – через ерунду: драма, Рома, даль романа, магический кристалл, крестики-нолики, магия-бу-магия... одним словом, что-то. Насчёт дали нас учить не надобно, любому учёному на пальцах растолкуем. Относительно же романа – предлагаю консилиум: классический квартет, солисты в квадрате.

НИКОЛАЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
ГОГОЛЬ:



Роман, несмотря на то что в прозе, но может быть высоким поэтическим созданием. Роман не есть эпопея. Его скорей можно назвать драмой. Подобно драме, он есть сочинение слишком условленное. Он заключает также в себе строго и умно обдуманную завязку. Все лица, долженствующие действовать, или, лучше, между которыми должно завязаться дело, должны быть взяты заранее автором; судьбою всякого из них озабочен автор и не может их пронести и передвигать быстро и во множестве, в виде пролетающих мимо явлений. Всяк приход лица, вначале, по-видимому, незначительный, уже возвещает о его участии потом. Всё, что ни является, является потому только, что связано слишком с судьбой самого героя. Здесь, как в драме, допускается одно только слишком тесное соединение между собою лиц; всякие же дальние между ними отношения или же встречи такого рода, без которых можно бы обойтись, есть порок в романе, делает его растянутым и скучным. Он летит, как драма, соединённый живым интересом самих лиц главного происшествия, в которое запутались действующие лица и которое кипящим ходом заставляет самые действующие лица развивать и обнаруживать сильней и быстро свои характеры, увеличивая увлечение. Потому всякое лицо требует окончательного поприща. Роман не берёт всю жизнь, но замечательное происшествие в жизни, такое, которое заставило обнаружиться в блестящем виде жизнь, несмотря на условленное пространство.

ФЁДОР
МИХАЙЛОВИЧ
ДОСТОЕВСКИЙ:



Что такое русские романисты? Они в первую очередь – поэты, а уж потом романисты.

ЛЁВ
НИКОЛАЕВИЧ
ТОЛСТОЙ:



Писание романов – пережиток. Кончилось серьёзное отношение к романам. Теперь пишут на одно копыто, и нечего им – и французам, и англичанам – сказать, и некому их читать. Так нельзя теперь писать, что «была погода, он стоял под окном...» Есть что писать, так писать просто: «Я сидел за столом...» Теперь это кончилось, и слава Богу.

ВИРДЖИНИЯ
ВУЛФ:



Роман? Это продолжение наших сплетен.

Всё! Романа ещё нет. Но есть проспект романа. Казалось бы, – садись за стол, клади пред собою лист чистой бумаги и вперяйся в оный. Однако-же что-то смущает, если уж не произносить дураковатого «удручает». И этим «что-то» оказывается «ничто»: а не попробовать ли сыграть сольно больше одного квадрата? И тут чёртиком из табакерки выскакивает всегда готовый к услугам, почтенный вполне, благонадёжный, но анонимный кавалер ордена пресвятой кириллицы.

КРАТКАЯ
ЛИТЕРАТУРНАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
(1971)



Роман – эпич. произведение большой формы, в котором повествование сосредоточено на судьбах отд. личности в её отношении к окружающему миру, на становлении, развитии её характера и самосознания. В отличие от нар. эпоса (где индивид и народ. душа неразделимы), в романе жизнь личности и обществ. жизнь предстают как относительно самостоятельные; но «частная» внутр. жизнь индивида раскрывается в нём эпично, т.е. с выявлением её общезначимого и обществ. смысла. Типичная романная ситуация – столкновение в герое нравств. и человеческого (личностного) с природной и социальной необходимостью...

Это круто! Такие горки вселенинские не для нашего дилетантского разумения. И это удручает. Потому что ни в какие ворота недоступно уму смятенному и душе смущённой. За исключением, разве что, «столкновения». С этим всё ясно: крушение, сокрушение. Как социальная необходимость. И разговор начистоту, в таком случае, обернётся взаимным поливанием грязью... Ещё та романа! Ахиллесова пята. Аеллесова черта. Прокрустово ложе. Но Маяк мигает предупредительно: «Поэт всегда должник перед Вселенной». И романская волчица прищуривается: «Reliquimini!» – Да? А почему это я должник? Кому я чего должен? – А тамбовский волк аналогично прищуривается: «Relinquimini!» – Да? Я – оставлен? Кем оставлен? Почему оставлен? Для чего одинок, скажите на милость, люди и звери? – И оба серые – солидарно: «Да не покинут ты, не покинут! Ты – сохранён! А уж для чего, так ты сам рассуди, вау!» – Да? Вау, значит? Передразниваете одинокого и энциклопедически неподкованного? Заманиваете? Куда-а-а?.. На краткий курс истории? – между Советской Энциклопедией и Вирджинией Вулф? между волчицей и волком? между Сциллой и Харибдой? между целкой правоверной и харизмой гуляки праздного, сочинителя вообще, человека сольного?.. Быть ли рескрипту августейшему: «Быть по сему или не быть по сему!»?.. Почти Гамлет: любить или не любить. Роман... А ромашка вам что? Фиг, что ли? За венок советов, сомнений и загадок она, между прочим, тоже расплачивается своей головой.



Собств.-русск. Образовано с помощью суф. -ка от РОМАН – «ромашка» (ср. укр. РОМАН – тж., белор. – РАМОН, польск. ROMAN, восходящего к лат. названию этого растения – К образованию РОМАН-РОМАШКА с меной н/ш ср. ИВАН-ИВАШКА...

...и под утро я решил. Я сжёг литературный лист. Я сжёг рукопись. В ней было много воды, но горела она хорошо. Я сжёг эту рукопись, и я был тихо счастлив, остранённо и опустошённо, как никогда прежде со мной не бывало, и я объяснил это тем, что во мне самом, в погорельце, вдруг образовалось пространство, чтобы томиться ненаписанным, и, значит, продолжать жить – между прочим, между войной и миром – с жанром, между каноном и канонадой, между былью-былинкой и дубом-дубинкой, в самодельных кущах края, где человек беззастенчив и боги святости не знают, не ведают...

За сим низжайше прошу Вас, милостивые государи и государыни, быть удостоверенными в величайших и совершеннейших чувствованиях высокопочитания и искреннейшего дружества, которые посвятил я Вам на всю мою жизнь и с которыми остаюсь Вам преданный и проч. и проч. И прочь отсель, с пепелища!

СХV

По первому лучу восходящего солнца в город вошёл танковый полк.

Двигался он медленно и плавно, однако верно и неотвратно. И когда колонна миновала мост через Куду и устремилась к центру Хибаровска, утро уже окрасило город нужным цветом, сначала нежным розовым, потом густым кумачовым, ноябрьским цветом октябрьского праздника, возможно и наоборот, но кумач от перестановки месячных прилагательных не бледнел, а краснел ещё больше.

Некоторым ранним утренним пешеходам, ещё от ночи не проморгавшимся, в особенности же похмельным потребителям тройного одеколона в окрестностях центрального рынка, показалось: впереди колонны ползут целых три танка. Такое видение и казание не соответствуют истине. Точнее, истина явилась в глаза ранним очевидцам в искажённом разносторонностью виде, в ракурсе тройственном, в трёх измерениях с трёх точек зрения: с левого боку, с правого боку и в лоб, отсюда и составилось народное впечатление, преувеличенное: три танка. На самом деле – один. Т-34. С нежной надписью на башенной броне «Синий платочек». Он дышал духами, туманами, свежей нитроэмалью и выхлопным перегаром известного цветочного одеколона «Тройной». Он сверкал, он лоснился, как облизанный леденец. Он не тархтел по-тракторному, а стрекотал, точно кузнечик или швейная машинка, и от такой милой, мирной домашности Вооружённых Сил околорыночные троицы, сгруппировавшиеся по интересу, впадали в умиление и многозначительно выпячивали подбородки: вот, дескать, до чего докатилось новое поколение бронетанковой техники, это уж вам не чудо-юдо-блудо-кит какой-нибудь, а замечательный прогресс

энтээр и военная тайна, не то что мы стреляли в молодые наши годы на срочной службе, так тогда мы таких ароматов были не удостоенные...

Сразу за танком, в хорошенькой стройной колонне по четыре в ряд маршировали женщины и дети. И опять же кое-кому померещилось: жёны-мироносицы. Неправда. Жёны-мироносицы не одеваются в армейское камуфляжное обмундирование и не поют строевую песню про «смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе, в царство свободы дорогу грудью проложим себе...» и так далее. Это во-первых. Во-вторых, да. Присутствовала. Всего одна. Правая, белая, обнажённая. Она ехала на танке, под красным знаменем, к тому же её слегка прикрывала броневой крышкой башенного люка самая главная танкистка, которая ниже пояса помещалась в помещении танка, а выше пояса – уже на улице, при народе, на глазах околорыночных троиц, забывших про свой утренний коллективный интерес и потянувшихся за колонной, распространяя вокруг себя ложный слух про демонстрацию голых баб.... – а зачем главная танкистка так разоблачилась, тем более, что осень на дворе, холодок бежит заворот, это странно, возможно, тут есть военная тайна, секретная тактика или даже стратегия, отвлекающий манёвр или разведка с боем религиозного колокола, или вообще непостижимая бабья хитрость под названием эксгибиционизм, или – по примеру прекрасных дев Великой Французской Революции, которые в аналогичном неглиже и со знаменем в руках залазили, не взирая на юбки, на баррикады для вдохновения остальных коммунаров на разные подвиги, что и зафиксировано в реалистическом виде одним знаменитым парижским художником на картине как символ царства, аллегория свободы и намёк на равноправие в борьбе за это, которое по нашей морали, вообще-то, есть распущенность, а бабам это только дай, они такие, хотя не все, и кое-что позитивное в историю СССР вложили, но лучше бы они не вкладывали, это ведь они, между прочим, октябрьскую революцию затеяли, из хлебных очередей...

А вот ничего-то они и не знают толком, эти утренние околорыночные мужчины. И некому было подсказать и разъяснить им по-товарищески: что такое, зачем, откуда и куда, и кто она такая, главная полуобнажённая танкистка, как не Татьяна Ивановна Хлюстакова, в данный момент застенчиво прикрывающая танком свою белую свободную грудь с голубыми жилками, и кто они такие, певицы в камуфляже, в первой шеренге, как не Раиса Максимовна с Марией Ильиничной да Анфилада с Августой, несущие кумачовый транспарант с лозунгом: «Свободу Хлюстакову И.А. без аннексий и контрибуций!»... – а дети, мальчишки и девочки, ни в каких подсказках и пояснениях вообще не нуждаются, они всегда хорошие, они чистенькие, умытые, с разноцветными флажками и воздушными шарами, в отутюженных военных формочках, как у женщин, и в сияющих бесполох ботиночках одного для всех размера, увы.

С развёрнутым знаменем полк вступил на Площадь Падших Борцов в то время, когда дворник Кошкиного Дома Платонов, подвигнутый к зачистке чужой территории по секретному и сугубо личному желанию товарища Помиранцева, закончил свои дела метельные, и вся-то куча пыльного мусора поместилась в одной тачке, и Платонов, пребывая в передышке, размышлял: куда же ему толкать тачку для опорожнения? – и для добросовестного дворника вопрос этот был мучительно актуальным, и тут Платонову пришёл в голову сумасшедший Ницше, который ещё в здравом уме однажды заявил в письменном виде о том, что люди не должны выбрасывать старый хлам, это нехорошо, некультурно, и человек культурный должен, уподобившись океану, вместить этот хлам в себе. «И очень правильно выразился старик», – подумал Платонов, вышел из задумчивости и перевернул тачку вверх днищем, и высыпался из неё прах и хлам, а тут же на засорение посторонний танк наехал, и в один, образно говоря, миг пожрал гусеницами всё вываленное до последней пылинки-песчинки, и чихнул тройным одеколоном, и остановился.

– Ишь ты, пылесос этакий, – сказал Платонов. – Фантастика!

И взял метлу ружейным приёмом «накра-а-ул!» – потому что танковая женщина подняла правую руку, полуобернулась к человеческой колонне и нежно скомандовала:

– Три – четыре!

И полк дружно стал скандировать:

– До-лой-ге-но-цид!

– Не-да-дим-му-щин-во-би-ду!

– Хлюс-та-ко-ва-на-по-ру-ки!

– Ура-а- а-а-а-а!

Платонов восхитился.

– Фантастика! – прошептал он.

На пустой ещё трибуне, воздвигнутой напротив Серого Дома ещё к майским праздникам, возился какой-то неопознанный тип с проводами и радиоколонками, так этот тип тоже восхитился и яростно захлопал в ладоши. Из-под трибуны вылетели в разные стороны потревоженные собаки. Вспорхнула с асфальта стая голубей. В руках типа что-то треснуло, заискрило, и в тот же момент грянул из всех репродукторов оглушительный марш «Прощание славянки». Неопознанный тип удовлетворённо перекрестился. А Платонов подумал про грёбаный соцреализм.

– Вперёд! – нежно скомандовала главная танкистка.

Боевая машина фыркнула и пострекотала дальше, по площади, мимо Серого Дома, с поворотом налево и выходом на Набережную, к православному храму с резиденцией епископа Хризантема. Поравнявшись с храмом, Татьяна Ивановна осенила себя крестным знаменем: «Прости, господи, слава тебе с аминем!» – и отсалютовала небесам из ракетницы. Салют угодил в звонницу колокольни, и там

что-то крякнуло, брякнуло, лопнуло, хлопнуло, и раздражёнными змеями запрыгали, раскручиваясь, верёвки, доселе спутывавшие колокол, ровно дворовую собачку на привязи, и тот, в сей дикой пляске вдруг освобождённый, вздрогнул, и, вздрогнув, качнулся, и, качнувшись, почувствовал волю, а почувствовав волю, брякнул освобождённым языком нечто осторожное, приблизительное, пробное... – и замер, прислушался к звуку медного голоса, возможно, и удивился: гудю, православные, надо же! – и ещё раз брякнул, с другого боку, и загудел громче, внятней, набирая силу, и уже сам звук волнами вольными стал поспешествовать колоколу в подвиге, дабы мерно раскачиваться в обрётённой вольности и звучать сиюминутно и про запас...

У парадного входа в Жёлтый Дом колонна остановилась. Командирша Татьяна Ивановна скрылась в танковое помещение, после чего башня стала аккуратно разворачиваться на девяносто градусов, в сторону фасада, с одновременным подъёмом оружейного ствола. И вновь – ракета! Она вылетела из пушечного дула, шандарахнула в стену под самой крышей и очень красивыми брызгами рассыпалась по фасаду.

Полк кричал звонко, на разные голоса.

– Товарищ Хлюстаков!

– Ваня!

– Ванечка!

– Иван Александрыч!

– И где ты там?

– Мы тут!

– Выходи на свободу!

– На свежий воздух!

– Подыши витаминами, Ваня!

– Пап-ка-а-а-а...

Прыгали дети, кричали женщины «ура» и в воздух чем-то там бросали – кумачовым, игрушечным, весёлым, с бантиками.

И во всех окнах Жёлтого Дома из-за решёток проявились лица.

– Иван Александрыч! – кричал полк.

– Да чего ты, в самом деле! Одного салюта тебе мало? Так мы щас ещё херакнем!

Хлюстаков взобрался на подоконник, открыл форточку и погрозил:

– Танька, не балуй!

– Ванечка, мы тебя освобождать приехали! Щас ещё пару раз шарахнем...

– Не надо шарахать! Одурела?!

– Мы тебе концерт самодеятельности привезли, Ваня!

– Я вижу, какой концерт... Развонялись тут дикалоном... А у нас уже не пьют! Понятно? Тем более дикалон!

– Это, Ваня, с гэсээмом беда. Пришлось переоборудовать. Это ваш

вахтёр, уполномоченный товарищ Митинг, нам помог! Спасибо ему от всего коллектива...

– А чего ты это титьку наружу выкатила? Волнуешься, что ли?

– Ага! От волнения...

– Застегнись! Не нарушай форму одежды Красной Армии!

Застегнулась командирша Татьяна Ивановна. Возвышается из башни Татьяна Ивановна, вся под красным знаменем, смущается, мнёт в руках крышку люка, не до платочка с кружавчиками Татьяне Ивановне, ждёт указаний.

И вышел на крыльцо доктор Фаустов в белом халате. Смотрел, смотрел. Слушал, слушал. Да и говорит Татьяне Ивановне с чувством гражданского долга:

– Ваш Хлюстаков – наш товарищ. Положительно редкий дурак, между прочим. Исключительно редкий.

Да как взвились они тут, камуфляжные, да все в один голос!

– А мы, – кричат, – обожаем редкости! Выдавайте нам немедленно Ивана Александровича целиком и полностью на поруки! Можем расписку написать...

– У Ивана Александровича, – отвечает доктор, – сейчас по распорядку дня завтрак. Режим у нас, дело святое. А после завтрака...

– Татьяна Ивановна, кончай его слушать! Заряжай пушку!

И вот из-за спины Фаустова показался Хлюстаков. Он поднял руку, точно вождь на трибуне, и вмиг всё стихло.

– Спокойно, дорогие возлюбленные, а также милые дети. Во-первых, мне и тут прелестно живётся, без притеснений, так что давайте не будем возникать, как на базаре. Во-вторых, не пропадать же завтраку, в самом деле! Щас конкретно пойду поем по распорядку, а вы в это время вертайтесь назад, в расположение гарнизона. В-третьих, когда поем и попрощаюсь с товарищами, тогда и догоню вас, как миленьких. Всё понятно? – спросил строго, по-отечески.

– Так точно! – нежно ответил полк.

– Вопросы есть?

– Никак нет!

И уже через пару минут полк перестроился и – заводи! шагом марш! левой-левой-левой... – двинулся в обратном направлении, весело, грациозно, дыша духами и туманами с тройным цветочным перегаром усовершенствованного танкового мотора... – и вскорости строевой шаг плавно сменился вальсирующей походкой, и поплыл-таки полк словно ансамбль «Берёзка», и песня полилась подходящая, в лад движенью: «Во поле берёзонька стояла, ой, люли-люли, стояла...» А надо всем – ритм небесный: бом-бом! К большому колоколу два малых, очнувшись, в подголоски пошли, да так мило:

– Ко-ло-ко-ла!

– Ко-ка-ко-ла!

Первый-то по-русски звенел, второй по-американски, но вместе у

них получалось доверительно и вполне складно, и никаких нот протеста не предвещалось...

А народ в это время уж на улицы из домов начал вываливаться, на праздничную демонстрацию трудящихся, обязательно в добровольном порядке, по крику души, и кто по Набережной пошёл, так те в хвост «берёзки» пристроились, с баянами, с флажками, с портретами московских вождей на палочках... «Некому берёзку заломати, ой, люли-люли, заломати...» Мимо храма божьего... Бом-бом, бом-бом! – медный бас, либерал-висельник, без верёвочных пут, язык развязный: бом-бом! – сам по себе... – сказку рассказывает, историю слагает, история простая, безыскусная: и вот стоит она, голубица смиренная, пресс-секретарь Аннушка, чёрный подол подоткнувши, на подоконнике в покоях владыки Хризантема и окно моет, чтоб сияло празднично, тут-то и началась революция... Бом-бом! А может и не так дело было, а вот как было в исторической подлинности. Началась революция, а пресс-секретарь Аннушка стоит на подоконнике и как ни в чём ни бывало стекло оконное моет ради будничного сияния, а владыка Хризантем сердито бороду бреет, наполовину уже брит, наполовину еще бородат, и две половины морщатся, друг с другом спор затеяли, диспутируют: или бог – или вера! – тут одно из двух! – или убогий, раб божий – или верующий!.. Бом-бом! Аннушка окно моет. А тут ей и кричат с улицы прохожане праздные: эй, Аннушка, зачем ты окно моешь? вить революция на носу! октяпская социалистическая! – А пошла она в жопу! – отвечает Аннушка, подол до низу обдёргивая, и пошли прохожане дальше, не солоно хлебавши... Бом-бом!..

«Синий платочек» обогнул храм, поворотил налево, курсом на площадь – и народ за ним повалил.

– Куда-а-а! – кричит со двора Кошкиного Дома дед Молитвин.

– Чего раскудахтался, сельский корреспондент? – обрывает его тётя Матрёша в новой телогрейке. – Вставай, пошли с народом октябрьскую революцию отмечать.

Встали и пошли.

СХVI

У радиорепортёра был голос, всем давно и хорошо знакомый, единый и неповторимый для абсолютно всех праздничных радиорепортёров Союза Советских Социалистических Республик.

– Наш микрофон установлен на центральной площади краевого центра! Всё готово к праздничной демонстрации единства партии и народа! Веет лёгкий ветерок! Колышутся последние осенние листочки на кое-где ещё не облетевших деревьях и кустарниках. Правда, трибуна ещё пуста. До начала торжественного мероприятия ещё примерно полчаса, но народ уже идёт и идёт! И мы всем сердцем, переполненным ожиданием праздника, понимаем это нетерпение народа, которое хле-

щет через край со всех сторон, как весеннее половодье, и народ спешит излить свои чувства! Сейчас мы спросим у товарища на площади... Скажите, товарищ, кого вы сегодня честите?

– Кого надо! – отвечает товарищ.

– В этих простых непринуждённых словах, – продолжает радиорепортёр, – чувствуется полный оптимизм! А мы продолжаем наш репортаж. На ближних подступах к Площади Падших Борцов идёт братание народа с милицией! Милиция – вы слышите! – плачет и просит у народа прощения! Никогда ещё такого энтузиазма не было за всю историю существования нашего орденосного города! А сейчас мы спросим ещё одного товарища на площади... Скажите, товарищ, кого вы сегодня честите?

– А кого надо? – спрашивает товарищ.

– Вы чувствуете, уважаемые радиослушатели, какой полный оптимизм чувствуется в этих простых, но идущих от чистого сердца, словах! Вокруг царит смех, шутки, веселье! Сейчас мы спросим ещё одного товарища... Скажите, товарищ, с какими чувствами вы тут стоите?

– С какими, с какими... – отвечает товарищ. – С разными.

– А назовите хотя бы одно!

– Да чего тут называть... Сам видишь! Пошёл на демонстрацию с корешами. А попал сюда. А тут – типа революции. Поглядим, чего будет.

– Спасибо. Вы чувствуете, уважаемые радиослушатели, какой полный оптимизм... И вот показалась дуля... извините, показалось дуло легендарного танка тэ-тридцатьчетыре! Это полный сюрприз! Впервые боевая техника принимает участие в демонстрации трудящихся и открывает парад! Боевая техника возглавляет колонну, как говорил великий Ленин, трудящегося и эксплуатируемого народа! Правда, трибуна ещё пуста. Возможно, это ещё один полный сюрприз, и краевое руководство через задние двери слилось с народом в едином порыве с праздничными колоннами, отказавшись от привилегий и догматических трибун! А тем временем из башенного люка по пояс вылез командир и машет счастливыми руками, приветствуя трудящихся. Слава нашим доблестным Вооружённым Силам! Ура, товарищи! За танком грациозно идут наши славные женщины-труженицы! Они сегодня в военной форме, как бы символизирующей единство и сплочённость мирных граждан с их вооружёнными защитниками. Честь и слава советским женщинам! Коня на скаку остановят! И всё им мало! А за ними идёт подрастающее поколение. Оно сегодня тоже в маленькой военной форме, как бы символизирующей единство и сплочённость мирных граждан, их защитников и светлое будущее нашей страны. Честь и слава советским детям, строителям светлого будущего! За ними идут люди в разных халатах. Это полный сюрприз, товарищи! Это шествуют пациенты психоневрологической больницы! Они вышли

на площадь! Они как бы символизируют успехи советской медицины, которая поставила их, как говорится, с головы на ноги как раз к самому празднику. Ура советским медикам! А вот проходит рабочий класс, товарищи! Гордо идёт известный в городе труженик жилищно-коммунального хозяйства товарищ Помиранцев с товарищами. Он в руке несёт маленький плакатик, но какой огромный смысл заключён в этом плакатике: «Вся власть ЖЭКХа!» Это полный сюрприз! Какая здоровая и жизнерадостная шутка! Что ж, товарищ Помиранцев имеет полное право так пошутить, наш передовой труженик, неоднократно победитель соцсоревнования, ударник коммунистического труда, ветеран войны, бывший моряк Балтийского флота! Так и просятся наружу стихи праздничного приветствия ветеранам:

*На боках особняков дымные подпалины,
Гладко катится листва вдоль Невы-реки.
Патрулём идёт матрос, а к рукам припаяны
Невозможной тяжести гири-кулаки.
Ах, какая тьма ветров, по эпохе веющих!
Ах, какая мешанина лозунгов и лет!
Патрулём идёт матрос, осеняя верующих
Распрекраснейшим крестом пулемётных лент...*

– Полный вперёд! – так супруга Семёна Семёновича Помиранцева подбадривала своих двухсторонних спутников.

Она крепенько держала их под руки – левого мужа, правого Сочинителя. Она была большая, матёрая, с известной силой притяжения, супруга обширная, дородная, целая планета как бы, и спутники при ней казались искусственными, разве что не библикали. Она подбадривала их и басисто пела песню про скалистые горы, с которыми прощаются моряки, уходящие в суровый и дальний поход, их на подвиг отчизна зовёт... Она никогда не забывала своего молодого военно-морского праздника жизни и военно-морского же происхождения, и в красные дни календаря в вырезе её блузок и кофт выглядывал сине-белый треугольничек тельняшки, собственноручно пошитой из четырёх мужниных, раз в пятилетку покупаемых в магазине Военторга.

– Полный вперёд! – гудела супруга с неослабевающим ни на миг руководством.

Вырваться из такой подручной нежности не имелось решительно никакой возможности. Поэтому Помиранцев и Сочинитель, на ходу извернувшись, вели переговоры, образно говоря, за спиной семёнсемёнычевой супруги, у которой, опять же фигурально выражаясь, получалось как бы две спины, одна над другой. А переговоры важные, даже тревожные: что такое? что случилось? обычно же начальник ЖЭКа впереди, как Чапаев, с переходящим красным знаменем от партии и профсоюзов! и где то знамя? где Сперанский? кое-кто шушукает,

что срочно улетел Сперанский как будто бы на неизвестное повышение должности, пусть так, пусть скоростной карьеризм, но где, в таком случае, будет наша премия за соцсоревнование? чует сердце, пролетим нынче с премией, и с квартальной, и с годовой, ох, пролетим, как фанера над Парижем, а тёте Матрёше, между прочим, какое-то привидение из окна было, будто бы летит товарищ Сперанский по чёрному небу, весь в орденах... – что такое? полный каюк!.. Ах, если бы между Помиранцевым и Сочинителем был бог! Но бога не было, ни большого, ни маленького. Его отменили. А вместо отменённого никого не поставили. И, значит, не было никого, кто мог бы сказать что-нибудь вразумительное насчёт переходящего красного знамени и товарища Сперанского, впервые не явившегося на демонстрацию во главе своего коллектива, да, в это время не оказалось между двух искусственных спутников никого, кто мог бы ответить толком, объяснить и успокоить: дескать, всё может быть, товарищи, всё на этом свете в нашем городе может быть и даже такое может случиться, что небо сделало снисхождение к заслуженному строителю СССР товарищу Сперанскому и приняло его в свои объятия без фанеры... А волны бушуют и плачут, и бьются о борт корабля, остался в далёком тумане Рыбачий, родимая наша земля... – но этот голос уже здесь, по ту сторону матерой спины.

Обритый Хризантем догнал-таки танк Т-34 и возложил руку на его тёплую надёжную броню, и шёл танк уже поводырём, и Хризантем, в рясе с нагрудным крестом, доверился ему вполне...

– А шествие продолжается! – кричал в микрофон радиорепортёр. – Как же нам не вспомнить в этот день историю села Горюхина, написанную нашим всем Александром Сергеевичем Пушкиным. «День был осенний и пасмурный», – написал Пушкин, наше всё. Как гениально он угадал, словно заглянул в сегодняшний день! Но где же приветствия с трибуны? Трибуны ещё без трибунов! И праздник как бы без руководства. Это как бы полный сюрприз и новая линия...

ПЕРСЕК СЫТНИКОВ (*по телефону*): Это что, бунт?

ГЕНЕРАЛ ПОЦЕЛУЙКО (*по телефону, спокойным, аналитическим голосом*): Не похоже. Бунт – он ведь что? Он угрюмый! От удручения. А тут весело. Значит, революция.

СЫТНИКОВ: А чего веселятся-то? С какой стати? Всерьёз?

ПОЦЕЛУЙКО: Шутка.

СЫТНИКОВ (*вешая трубку*): Полный абзац!

Входит секретарша крайкомовского идеолога Григория Романовича Краснопресненского–Крестовоздвиженского Аномалия Андреевна Курбская.

КУРБСКАЯ: А я вам чаю принесла...

СЫТНИКОВ: Какой чай? Зачем чай? Почему мне? У вас свой начальник есть! Где он?

КУРБСКАЯ (*плачет*): Пропал Григорий Романович...

СЫТНИКОВ: Как пропал? Куда пропал?

КУРБСКАЯ: Сидел за столом... на книжках Ленина... а как вылез из-за стола... маленький такой... ниже стула...

СЫТНИКОВ: Ну?

КУРБСКАЯ: Ботинки с каблуками снял... крохотулечка...

СЫТНИКОВ: Ну?

КУРБСКАЯ: И ещё меньше сделался... прямо на моих глазах...

СЫТНИКОВ (*теряет терпение*): Ну!

КУРБСКАЯ: И всё съёживался, съёживался...

СЫТНИКОВ: Твою мать!

КУРБСКАЯ: И вообще... пропал из виду!

(рыдает)

СЫТНИКОВ: А если поискать хорошенько?

КУРБСКАЯ: Он такой крошечный, беззащитный, мужичок-с-ноготок... Боюсь нечаянно наступить...

СЫТНИКОВ: Не таракан же?

КУРБСКАЯ: Вдруг раздавлю! Ужас! Как жить будем? Ведь – второй после Иисусова...

(падает в обморок с большим грохотом)

СЫТНИКОВ: Полный дурдом!

– И вот, наконец, на трибуне появляется, – тараторил радиорепортёр со скоростью футбольного комментатора, – на трибуне появляется... Кто это там у нас появляется? На трибуне у нас появляется... Кажется, это не из краевого руководства товарищ на трибуне у нас появляется...

Это Большой Бэмс взошёл на трибуну. Полпред первичной партийной организации Жёлтого Дома. Высокий, стройный, как Маяковский от двадцати двух лет до самой смерти. Но, в отличие от Маяковского, Большой Бэмс имел голос, несоответственный росту, тоненький, писклявый. Однако же революция – время чудес. И чудо случилось. И голос Большого Бэмса вдруг прорезался, обретая силу набата, и стал вторить большому храмовому колоколу, и, выражаясь простонародно, поднял на уши всю бурлящую площадь.

– Стихи! – объявил Большой Бэмс.

И загудели стихи.

Сейчас покаюсь перед вами –

Я слабо Ленина читал.

А что там надо по программе,

То для стипендии сдавал...

– Правильно! Молодец! – кричала площадь.

*Читайте Ленина, студенты!
О том, что нужно в жизни вам,
И разучёные доценты
Не скажут лучше, чем он сам...*

– Не скажут! – ревела площадь.

*Читайте, смысл не пролистайте,
В одних цитатах жить нельзя.
Пока вы молоды – читайте,
Читайте Ленина, друзья!*

– Пока молодой! – запела площадь.

*Читаю библию, друзья!
И снова древние пророки,
То утешая, то грозя,
Преподают свои уроки...*

А с танком Т-34 «Синий платочек» случилось что-то непредвиденное. Уже на выходе с площади, он, вместо того, чтобы стрекотать прямо, в сторону Кудинского моста, повернул налево, по периметру площади. Встревоженная Татьяна Ивановна руками машет, знаки подаёт, кричит, но голоса её не слышно, и можно было только догадываться: рычаги управления не срабатывают, где-то что-то заклинило, и боевая машина может двигаться только налево и ко всему прочему вообще остановиться не может... Так он и пошёл, левым ходом, по кругу. А Хризантем уж впереди танка распоряжается, дорогу прокладывает, крестом движение регулирует... А колонны трудящихся – за танком, как гусята за гусыней, по кругу, по кругу, против часовой стрелки, хороводом шумным-жизнерадостным-великим-октябрьским-социалистическим... И завращалась Площадь Падших Борцов вокруг недвижимого фонтана, а что Золотого Ленина в нем нет, так того и не заметили, как не заметили отсутствия Серебряного. Круговращение набирало обороты. Гремели из репродукторов праздничные марши и хор Центрального радио и телевидения. Со звонницы трио колоколов огорошивало. Комсомольский оргинструктор Ляля звенела: «Взялись за руки, друзья! И дружно за мной попрыгали!..» С трибуны Большой Бэмс, закончив художественную декламацию, призывал народ вообще ничего больше не читать, кроме сберегательных книжек и стихотворных сборников его, Большого Бэмса, уж он-то, как и сберкасса, не соврёт. А центробежная сила периодически выбрасывала из карусельного круга часть демонстрантов – то к Серому Дому, то к Тихому, то в магазин тёти Хаси...

В Тихом Доме было тихо. Специалисты тихо перелистывали рукопись последнего фантастического романа Платонова на тему тихих

политико-идеологических игр, угодных власти имущим. Тихо листали, тихо помечали страницы бумажными закладочками и ничего тихо понять не могли.

– Автора! – тихо сказал начальник.

– Есть! – тихо ответили начальнику.

Тихо доставили автора в уютную, непроницаемую комнату и положили рукопись перед ним на стол – тихо:

– Ваша?

– Наша.

– Не наша. Ваша. Ваша информация не была в нашей разработке. Но позвольте заметить, господин Дюма: как у вас тут густо наворочено, даже бегло прочесть – и то уму непостижимо, не то, что в объективной действительности, в реалиях жизни! Извольте, господин Семь Сименонов, взглянуть в окно с видом на площадь – и вы увидите, как легко, просто и даже весело это делается.

И посмотрел Платонов в окно на реалии жизни и громко-громко, так что весь Тихий Дом услышал, сказал:

– Фантастика!

– То-то же. До свидания.

В Жёлтый Дом, где помимо Архимедика Штукарского и медсестры возлюбленной Софочки Бабореко, никого в наличии не было, поскольку все ушли на праздник Великого Октября, даже вахтёр товарищ Митинг, примчался с площади посланник и сразу кинулся к Штукарскому, за советом и помощью. Софочка путь преградила, так как в это время Штукарский сидел в фойе напротив тикавшего ОНО и думал.

– Так что же делать? – вскричал посланник.

– В смысле? – спросила Бабореко докторским тоном.

– В смысле того, что народ нас, голубчиков, очень, оказывается, любит, уважает без памяти! И хочет нас в краевое начальство немедленно выбирать!

– А нам, – ответила Софочка, – глубоко наплевать на ваши выборы. У нас другая любовь.

– В смысле?

– Без всякого смысла.

А в актовом зале Серого Дома Изя Несчастлифшиц в это время играет на скрипке вариации на тему Второго фортепианного концерта Рахманинова. Зал наполовину полон, наполовину пуст. Народ неискушённый, с площади. И как только взлетел над струнами смычок скрипача, вмиг прекратились все шумы и шорохи, и шарканье ног, не говоря уж о многоголосом обсуждении вопроса о том, что в Сером Доме по причине огромного наличия зеркал и в целях нервной разрядки трудящегося населения надобно устроить бесплатную «комнату смеха», наподобие аттракциона в центральном парке

культуры и отдыха, а дальше вообще перекрасить Серый Дом в жёлтый цвет, а Жёлтый Дом – в серый... – всё стихло, замерло, милиционеры крайкомовского поста Лёвчик и Вовчик сняли фуражки и возложили их на полусогнутые в локтях и выставленные перед грудями руки, как это положено на высокопоставленных церемонных похоронах... И играет Несчастлифшиц впервые в жизни при таком публичном стечении обстоятельств. Он играет – и всё в нём движется и возносится вверх, за смычком и выше: губы, подбородок, нос, брови... Всё выше, и выше, и выше – и вот уж весь вышел из себя великосветский игрок Изя. Нет Изи. Никого нет на свете, кроме синей птички на кончике смычка. Никто не видит её, эту птичку. Изя видит. Изя догадывается, Изя почти уверен в своей, доселе неопубликованной, теории, которая способна совершить революцию не только в музыкальном искусстве, но и во всём вообще житии мирового человечества: слушайте! музыка, как и речь, состоит-таки из звуков? состоит! значит, эти звуки можно обозначить не только нотами в мажоре-миноре с диезами-бемолями, но и буквами любых алфавитов? можно! так возможна-таки музыка говорящая или кто против? есть уже цветомузыка Скрябина! пришло время музыке говорить с человеком и человеку с музыкой! слушайте же, слушайте!..

А трибуна на площади – будто игла звукоснимателя на крутящейся патефонной пластинке.

Один оратор заканчивал:

– ...в период полной и окончательной победы дефицита!

– Предлагаю, – начинал другой, – оставить в нашем календаре, помимо нерабочих субботы и воскресенья, всего один выходной праздничный день. День всех людей всех профессий обоёго пола! Но можно отмечать его и по скользящему графику! А все остальные праздники отменить к чёртовой матери! И оставить один праздник как День отмены, светлой памяти и поминовения всех праздников. Ура, товарищи!

«Синий платочек» чихнул, заглох и остановился – как раз напротив трибуны, но на противоположной стороне площади.

Татьяна Ивановна выбралась из люка, спрыгнула на землю.

– Всё! Полный копец! – объявила.

– В чём проблема? – подскочил Хризантем. – Наш танк потерял своё я? Это невозможно! En voiture, madame!

– Чего-о?

– Я говорю: поехали, мадам!

– Сам ты... Приехали! Я ж русским языком сказала: полный копец. Это значит, топливо выработано. Баки пусты. Девки-ребятишки! Пошли домой. Пёхом до вокзала, там на пригородный поезд сядем...

И не так-то просто было выбраться девкам-ребятишкам из пружин-

но заведённого хоровода, но всё же под командой Татьяны Ивановны полк вышел из кружения без потерь.

Хризантем взобрался на башню и простёр в простор трепещущую руку:

– Товарищи! Братья и сестры...

В Тихом Доме делегатов с площади встретили у входа два мордоворота – с хлебом-солью на рушниках, расшитых красными петухами.

– А мы вас ждали, ждали, – сказал с печальной улыбкой генерал Поцелуйко, протягивая навстречу руки. – Мы ждали, когда народ сам позовёт нас, чтобы исполнить наши долги. Ибо, как сказано в летописаниях, земля наша обширна, но правопорядка в ней нет. И вот, как видите, мы готовы. Полный аншлаг. Прошу всех к столу.

В длинном и прямолинейном, как необходимая дорожка ковровая, коридоре всех ожидал накрытый стол яств, составленный в один ряд из десяти канцелярских.

И первый тост за здоровье нации провозгласил генерал Поцелуйко, кончив его изумительно негенеральским манером:

– А похулив яство, да кушать станешь. Так благослови яствие и питание рабов твоих, господи!

– Почему мы тут все, как один, кругами ходим друг за другом? – кричал с танка Хризантем. – Потому что мы не знаем: где хвост, где голова, где начало, где конец, где причина, где следствие...

О, если бы между Хризантемом и народными массами был бог! Уж он-то, всемогущий, каким-нибудь своим присущим способом довёл бы до хибаровского человечества башенную проповедь – целиком и полностью, и тогда человек из вращающегося круга, человек из очереди, человек на карусели, человек в колесе-колонне-хороводе, человек-волчок получил бы наиновейшеезаветную возможность наверное разобрать анатомию жизни между головой и хвостом, а совсем не так, как нынче, вот только что, происходит, в праздничном шествии-сумасшествии, когда человеку-волчку суждено услышать лишь начало ораторского речения да, в крайнем случае, конец его, а что посередке? – так то остаётся неизвестным, прошедшим и пропущенным, не услышал того демонстрант, промаршировал, влекомый потоком, мимо серёдки, в которой, может быть, самое главное и самое важное сказано. Но с богом у Хризантема в последнее время сложились натянутые отношения, а у народных масс, что на площади, положение критическое: см. письмо Белинского к Гоголю в части поминания имени божьего вкупе с почёсыванием задницы. Таким образом, между имеющим глас и имеющим уши как бы и нет бога. Есть мордоворот с диктофоном в кармане плаща. И посему есть безусловная уверенность в том, что этот проповеднический эпизод из устной формы преобразится письменной и отложится в исторических архивах Отечества как документальное

свидетельство о празднике, о танке, о мордвороте, о Хризантеме и об его пламенной речи с башенной брони – целиком и полностью, от начала и до конца...

– Истинно, истинно говорю вам, братья и сестры, белки в колесе жизни...

Разумеется, трудно, почти невозможно состязаться Хризантему с Большим Бэмсом и другими трибунными ораторами, у коих под рукой микрофоны-мегафоны, усилители, динамики, репродукторы и прочие достижения научно-технического прогресса. Но ведь и танк вдохновляет – по-особому!

– ...вот почему – колесо! И вот почему наивысшие технические достижения человечества уже тысячи лет напрямую зависят от размера двух совокупных лошадиных задниц. А – почему? А потому, что по бортам американского космического корабля «Кеннеди» размещены два двигателя по пять футов шириной, и конструкторы, которые вообще-то хотели сделать двигатели побольше и, значит, пошире, не сделали этого. А – почему? А дело в том, что эти двигатели доставляются к месту старта ракеты по железной дороге, проходящей через туннель, и расстояние между рельсами стандартное, ровно четыре фута и восемь с половиной дюймов, и поэтому конструкторы могли сделать двигатели шириной не более пяти футов. Но откуда взялся этот стандарт в четыре фута и восемь с половиной дюймов? Оказывается, железные дороги в Соединённых Штатах строят точно так же, как в Англии. А в Англии железнодорожные вагоны сконструированы по принципу трамвайных. А первые английские трамваи создавались по образу и подобию конки. А длина колёсной оси вагона конки как раз четыре фута и восемь с половиной дюймов. Но – почему? А потому, что конки делали с таким расчётом, чтобы их оси для меньшего износа колёс совпадали с колеями на английских дорогах. А расстояние между колеями в Англии как раз четыре фута и восемь с половиной дюймов. Но – почему как раз ровно столько? А потому, что дороги в Британии начали строить ещё древние римляне с учётом размеров своих боевых колесниц. А длина оси стандартной колесницы – четыре фута и восемь с половиной дюймов. Но почему именно столько? А вот почему! В колесницу запрягали двух лошадей. А четыре фута и восемь с половиной дюймов – это как раз и есть ширина двух лошадиных задниц, к тому же, делать ось длиннее было нецелесообразным, поскольку это нарушило бы равновесие колесницы. К чему я это всё говорю, братья и сестры? Что я имею в виду? Критика Белинского? Или отца небесного, который, как правило, всё молчит-молчит, и все уж давно привыкли к его молчанию, а он вдруг как разразится к селу и к городу, что всем чертям тошно станет...

На этом пассаже пламенная речь Хризантема прервалась, потому что вдруг разом взревела вся громкоговорящая техника, сосредоточенная на противостоящей трибуне, и голосом Большого Бэмса

объявила вечер свободной поэзии. И ничего иного не оставалось Хризантему, как умолкнуть перед преимущественной силой, и он умолк на своём танковом месте, он знал, как это делается, умолкнуть-то, он ещё мальчиком отстаивал своё достоинство в тёмном углу, за шкафом.

А уж смеркалось.

Осень.

– Тяп-ляп, – сказала тётя Матрёша на краешке гулящей площади.

– Вышел сентябрь, – подхватил дед Молитвин.

– Потом октябрь.

– И ноябрь.

– И декабрь.

– И куда ж нам плыть?

А площадь, с танковой остановкой прекратившая кружение, требовала кино и танцев. Площадь хотела зрелищ. Хлеб-то на хибаровских кухнях имелся-таки.

И привезли кинопередвижку. И на фасаде Серого Дома спокойным воспоминанием о парусе приспособился огромный экран.

И заковывал под открытым небом грустный маленький человечек, вызывая одним только видом своим эпидемию публичного смеха...



А вот однажды ехал по улице нормальный трудящийся грузовик. Ехал себе и ехал, и потерял красный флажок, который прицепляют обычно сзади для обозначения габаритов перевозимого груза и безопасности дорожного движения. Обычное дело.

А следом шёл по улице нормальный человек Чарли. Он подобрал с мостовой обыкновенный флажок и, размахивая им, побежал вдогонку за грузовиком.

– Эй, машина! – кричал. – Остановись! Ты вот эту штуку потеряла!

Вдруг слышит: за спиной гул голосов, топот ног, массовое дыхание накатывается, догоняет... Оглянулся Чарли - боже! Оказывается, он, нормальный Чарли с красным габаритным флажком в руке возглавляет целую демонстрацию! Откуда они взялись, эти хвостовые манифестанты? С какой стати? И за кого его принимают, нормального Чарли? Кино, ей-богу!..

...Так начинаются революции.

У них! У них там, у юмористов, всё как-то нараскаряку, наперекосяк, небрежно и легкомысленно, а с этим не шутят! Потому и рёв революции, что – не тезисы о революции и не письма о ней же – издалека.

Конец первой серии. Продолжение следует. Во второй серии вышеупомянутый Чарли будет смеяться-смеяться, да и умрёт от смеха. Гроб с его телом похитят два грабителя и зароят на кукурузном поле близ восточной окраины Женевского озера, после чего потребуют от родственников усопшего полмиллиона швейцарских франков в виде выкупа за возвращение гроба. Впрочем, всё закончится благополучно. Полиция арестует вымогателей. Конец второй серии. Продолжение следует...

Белый экран в чёрном небе.

– Искусство принадлежит небу!

– А после кина чего будет? – кричит весёлая площадь.

– Как было обещано, – трубно отвечает Большой Бэмс с трибуны, – будет вечер поэзии.

– Давай ночь!

– Прекрасно! – трубно соглашается Большой Бэмс. – По просьбе трудящихся объявляется стихийное время ночи! Ура, товарищи!

– Ур-ря-я-я...

СХVII

Тиха и крайне складна ночь, прозрачно небо, звёзды блещут, революция продолжается, будущее за нами, стихийная ночь, она рукопещет, небо в алмазах, всё в переключке, слово за словом, слава за славой, мышка за жучкой, жучка за внучкой, внучка за бабкой, бабка за дедкой, дедка за репкой, репка за кепкой, кепка за словом не лезет в карман: тяп да ляп – вот и вышел корाप, окрестился в сентябрь, октябрь, ноябрь... – и поплыл себе, без руля и без ветрил – куда? – а корабельщики в ответ...

бастилии не простили кровью сожжённый наст
не за стенами бастилий свобода она в нас
разве в памяти стёрт день где не дрогнув ни разу
выплыла на костёр дева зеленоглазая
враз доказав всем свобода она в ней
вне кабинетных схем вне разговоров вне
той суеты бестолковой что окружает насилуя
тащим свои оковы сдерживаясь насилу
ночью над книгой маясь прячем в груди стон
в общем то понимая что опоздали что
бастилии не простили кровью сожжённый наст
не за стенами бастилий свобода она в нас
в душу взглядишься пристально мысль мелькнёт как кинжал
взять бы себя приступом только себя жаль

Так, так! Именно так они и возносились, эти звучные строчки стихов, снизу – вверх, к небесам, начинаясь первой буквой-звуком на земле, воспарясь, звукоряд за звукорядом – стихи, словесность вертикальная...

А откуда они взялись, стихотворцы? кто такие? почему не знаем? – таких вопросов у праздничного народа не возникало. Неизвестные поэты. Всё этим сказано, а больше ничего и не надо. Потому что – сначала стихи, а уж потом – всё остальное, которое, как всегда, только и делает, что мешает... –

уйти в разряд небритых лиц
от розовых передовиц
от голубых первоарядниц
с утра в одну из чёрных пятниц
уйти не оправдать надежд
и у пивных ларьков промеж
на пену дующих сограждан
лет двадцать или двадцать пять
величественно простоять
неспешно утоляя жажду
ведь мы не юноши уже
пора подумать о душе
не всё же о насущном хлебе
не всё же нам считать рубли
не лучше ль в небе журавли
как парусные корабли
в огромном ледовитом небе

Поэт Феликс Хворобушкин стоял около трибуны, скрестив руки на груди, в первой и последней позиции Чайльд-Гарольда.

Трибуна и танк чередовались в устном чтении. Но танк всё сбивался на прозу.

– ...и Фридрих Энгельс шестого марта тыща восемьсот девяносто пятого года поставил, как говорится, буквально последнюю точку во введении к статье Карла Маркса «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 год». И что же мы видим за этой точкой, товарищи? За этой точкой мы видим, как сложно шёл процесс переосмысления Энгельсом ошибочных положений «Манифеста». Он пишет, я буквально цитирую по-писаному: «История показала, что и мы, и все мыслящие подобно нам были не правы. Она ясно показала, что состояние экономического развития европейского общества в то время далеко ещё не было настолько зрелым, чтобы устранить капиталистический способ производства...» А дальше Энгельс, товарищи, пишет о том, что благодаря капитализму Франция, Австрия, Венгрия, Польша и Россия превратились в промышленно развитые страны – значит, этот способ производства имел большой потенциал в развитии любой страны. Слушайте, слушайте все, что дальше было! На новом этапе истории в Европе вновь произошли революционные потрясения. Во Франции к власти пришла буржуазия, император Наполеон Третий был свергнут. А потом восстал рабочий Париж. И что, товарищи? Энгельс пишет: «После победы господство рабочему классу досталось само собой, без всякого спора. И снова обнаружилось, как невозможно было господство рабочего класса». А далее звучал призыв отказаться от коммунистической революции как от антидемократической, антигуманной формы борьбы и сосредоточиться на парламентской деятельности. Отсюда логично вытекало, товарищи: «Прошло время внезапных нападений, революций, совершаемых немногочисленным, сознательным меньшинством, стоящим во главе бессознательных масс. Там, где дело идёт о полном

преображении общественного строя, массы сами должны принимать в этом участие, сами должны понимать, за что идёт борьба, за что они должны выступать...

А к трибунному микрофону с трудом пробирался известный баснописец Смехалков. Большой Бэмс пытался сбросить Смехалкова с трибуны, но это ему не удавалось, Смехалков был крепким орешком, цепким, хоть и старым, и группу поддержки привёл с собой на площадь, хор ветеранов в полном составе. О, этот Смехалков... Он ведь в молодости стихов не писал, начинал с прозы, но однажды судьба вмешалась, судьба – не сказать что индейка-злодейка-копейка, но и не подарок: лозунги наглядной агитации сочинять и плакаты! Перешёл на стишки прозаик. И прозаикался с теми лозунгами до седых волос, всю сознательную жизнь, а в бессознательном виде вновь за стишки взялся, за басни, этот Смехалков... Ухватил-таки микрофон!

– Товарищи! Все знают, что я написал всенародно известный стих: «Вперёд, к победе коммунизма! Под знаменем марксизма-ленинизма!» Но так судьба сложилась, товарищи, что до сих пор никто, кроме меня, так и не знает моего внутреннего содержания и подлинного скрытого смысла. Что такое «к победе коммунизма»? Вы, конечно, подумали: Смехалков хочет, чтобы коммунизм стал над кем-то победителем. Но Смехалков, товарищи, хочет как раз наоборот! Потому что он имеет в виду не кое-что, а кого-чего! Понимаете?

– Не-е-е...

– Объясняю, товарищи: Смехалков хотел кого-чего. В смысле, кого победить! То есть, его победить, коммунизм этот, змеюку такую! Я всегда так думал, товарищи. А вы меня не понимали...

– Не плачь, дядя!

– А я буду! Буду! Потому что мою вторую строчку вообще исказили! Взяли и изувечили! Ведь в моём стихе не было «под знаменем»! У меня было «под знанием»! Есть разница? Есть, товарищи! Мне руководящие товарищи говорили в грубой форме: какая разница, Смехалков, разница не играет! А я говорю: играет, играет разница! Играет и дразнится! Но тут уже в некотором роде другая метафизика заложена, и я про неё сейчас говорить не буду. Я лучше вам новый стих прочитаю. Посвящается народу! «Вперёд, к победе разных измов! Под занавес победы коммунизмов!» Запомните сердцем, товарищи! Иного выхода у нас нет. Ура, товарищи!

– Ур-ря-я-я-я...

– Вот сволочь какая! Вывернулся, а? Молодец!

Хор ветеранов под управлением Смехалкова грянул попури на темы «Слався» Глинки и «Боже царя храни».

А танк раскачивали. Но он устоял. Он не сдавался. Он продолжал прозу.

– Теоретики марксизма верили, что Россия пойдёт вслед за всей Европой. Я буквально цитирую, товарищи: «И даже если в России соберётся знаменитый земский собор – это национальное собрание, со-

зыву которого так тщетно противится молодой Николай Второй, – мы можем с уверенностью рассчитывать, что будем и там иметь своих представителей». Таким образом, подводя итоги своей деятельности, Маркс и Энгельс нашли в себе мужество отказаться от кровавого пути революции и призвали своих последователей сделать то же самое. Не прошло и десятилетия, как идеи их политического завещания были приняты во всём мире. Всеми – но не Лениным. Он решил идти своим путём! И грянул великий Октябрь, товарищи...

– Кончай! Не гони пургу! – кричали танку. – Долой туфту! Давай куплеты! Переголосим трибуну! Переголосуем!

А трибуна, действительно, служила только стихам. Поэты, а, может, и вовсе не поэты, просто знатоки и любители, сменяя друг друга, приручали микрофон стихами безымянными, возможно, своими сочинениями, возможно – чужими, какая разница? – стихи от безымянности не переставали быть стихами.

– Распечатайте меня! – кричал очередной чтец.

Ба! Басистый! Аграфён Ильич! Собственной персоной, из Пробринной Каморы!

– Распечатайте меня! – кричал он.

Ему расстегнули глухое демисезонное пальто, руки-то у него микрофоном хватко заняты, крепко держат, микрофон выдерживает.

– Здравствуйте! – начал Аграфён Ильич совершенно по-письменному.

– Давай ещё чего-нибудь про журавлей! – крикнули из толпы народной. – Которые в огромном ледовитом небе!

И Аграфён Ильич озвучил то, что имел, письменное:

в царстве голых королей
люди голы пашни голы
в небе вместо журавлей
поразвешаны глаголы
дескать нам всего милей
дескать нам всего дороже
царство голых королей
от беды спаси их боже
в царстве голых королей
солнце светит безучастно
ночью поступь пагрулей
слух терзает ежечасно
в ярком блеске хрустальной
развернув святое знамя
грудь голых королей
украшают орденами
в царстве голых королей
растеряли перья птицы
там сплочённый строй нулей
замыкают единицы
и течёт рекой елей
и ведут солдаты войны
всё обычно всё спокойно
в царстве голых королей

А поэт Феликс Хворобушкин стоял в сторонке, в позиции Печорина.

С танковой башни кричал в толпу плотник со строительства Байкало-Амурской Магистральной. Он кричал о том, что он, будучи простым плотником со средним образованием, а не каким-то там Фридрихом

Энгельсом, взял повышенное соцобязательство, конкретно, построить за год не пятьдесят деревянных нужников типа сортир на трассе, а целых пятьсот, и что вы думаете? – пошёл! куда? всё дальше и дальше, врубаясь просекой в девственную природу, где уже и железной дороги не предвидится, тайга непроходимая, топи непролазные, гнус! – но просека устремлена вперёд, деревья валяются, как подкошенные, лес рубят, щепки летят, стройматериалу навалом, топоры остры, сортиры через каждые пятьдесят метров торчат, а срать-то – некому! – а просека тянется! – куда? в сторону Ледовитого океана, на Северный полюс, вспоминается Чкалов, душа горит, дым Отечества, пепел пипла...

свисали души с потолка как кружки пива
и в чаши сыпался песок со дна колодца
и продавец тех кружек душ глядит блудливо
и из дыры одна душа на землю льётся
она скользнула с потолка на стенку на пол
была буйна теперь хозяйну покорна
и возлежала на полу как кружка в лампе
и потихоньку шла ко дну как души в море

Нет, нет! То есть – да, да! Что-то определённо происходит. Что-то неопределённое происходит. Здесь и сейчас. В этом пространстве, в этом времени. Что-то такое, чего в толпе, в скоплении людей, в людоходе разлитом, развалистом и раскованном – сразу и не выразишь, не назовёшь, не обозначишь. Хотя, казалось бы, должно быть совсем наоборот: в великой массе – сразу всё заметно, объёмно, крупно, выпукло, по римско-водопроводному весому, грубо, зримо. Ан, нет. Человек нужен не массовый. Один. Человек безвыходный, безвозвратный. Топор его и просека его. Слово, душа, одиночная кружка моря...

Архимедик Штукарский и медсестра возлюбленная Софочка Бабореко в пустом и гулком Жёлтом Доме сидели, прижавшись бочками обрубёнными, против ОНО, а в ОНО, напротив двух человек, бегали кошачьи зелёные глазки на циферблате часов-ходиков. ОНО тикало.

Штукарский думал.

– Не надо, – сказал Штукарский.

– В смысле? – спросила Софочка.

– Не надо тикать. Эти часы никуда не идут.

Софочка выщипнула из волос заколку и прищемила ею обе стрелочки часов-ходиков, часовую и минутную, сведя их вместе на числе 12.

– Раз, два, три, ёлочка гори! – сказала по-новогоднему и в ладоши хлопнула.

Кошачьи глазки, бегавшие туда-сюда на жестяном облупившемся циферблате, замерли в положении вопросительном, дескать, куда? – из потайного нутра донеслось «ку-ку» вместо «мяу» – и часы остановились.

Оказывается, всего-то сущей безделицы не хватало, ничтожной малости, преглупейшей этакой фитюльки, финтифлюшки, детальки, шпильки – вот как эта викториобразная рогулька из женской причёски, – чтобы всё сооружение, это сложносочинённое ОНО, созданное трудом и прихотью множества голубчиков Жёлтого Дома, получило в своей чудовищно замысловатой конструкции неожиданную, случайную логическую завершённость, и ОНО оживило, пришло в движение, зашевелилось всеми доселе немотствовавшими членами, залязгало, зазвенело, затрещало – и затопало, встряхиваясь, точно мокрая собака, и пошло, пошло! роняя на ходу то одну фитюльку, то другую финтифлюшку, – вдоль по просеки коридора, мимо обезлюдевших больничных палат, на выход, вниз по лестнице... А на лестнице-то и рассыпалось. И всё. Полный конец.

когда развесит ночь замки на всех дверях
ночные сторожа выходят на работу
и в полукруг встают со скрипками в руках
на вверенных постах в составе полуроты
работа сторожей опасна и трудна
спокойно спит страна но сторожа не дремлют
их скрипки начеку душа их холодна
их абсолютный слух правопорядку внемлет
нацелены смьчки в незримого врага
лелеющего план похитить ящик мыла
который в эту ночь пришёл издалека
взломать склады энзэ при помощи зубила
наизготовку взят смертельный инструмент
чу раздаётся звук металла о железо
и по команде пли в условленный момент
смьчки взрывают ночь ударом полонеза
ужасной силы звук несётся над землёй
играют скрипачи по инвентарной книге
и вор рецидивист облившийся слезой
в милицию идёт неся с собой улики
не дрогнула рука ночного скрипача
для родины спасён огромный ящик мыла
злодей сошёл с ума в присутствии врачей
а сторожа теперь играют в четверть силы

Так, так! Именно так они и возносились, звучные строчки стихов, словесности перпендикулярной, предвзятой снизу – доверху, снизу – доверху...

Ночь поэзии наполнилась, полнолунилась.

Площадь пустела – в пустотелую.

Поэт Феликс Хворобушкин плюнул и исчез, как Демон, как Мцыри, как с белых яблонь дым. Плевков остался.

И зывал танковый поэтоторатор, из последних оставшихся, уже не к народно-революционным массам трудящихся – к чёрному, в звёздах, небу взывал:

телеграфируйте в пространство дорогая
что бриз и рейс вас сделали добрей
и я рванусь за вами содрогаюсь
как чёрный истребитель в серебре

Да, да! То есть – нет, нет! Ничего не происходит вовсе уж такого необычайного, случайного, за просто так.

Так просто вышло, что сверкающий в лунном небе Чум из стратегического металла, венчающий Кошкин Дом, вдруг начал распускаться, словно цветочный бутон. Прелестное зрелище – на фоне чёрного неба и полной луны. И когда все лепестки бутона раскрылись и выпрямились, разоблачился секретный А-истребитель Противовоздушной Обороны Страны. Он взревел во всю мощь подаренных ему лошадиных сил, и не было ему равных в мире по шкале тех децибелов буцефалов. Он опёрся на две тугие реактивные струи – и вылетел вместе с ними в пространство, лезвием врезаясь в зенит.

– Крыша поехала, – сказал Большой Бэмс на трибуне с Вовчиком на боевом посту.

– Аист улетел, – сказал Хризантем на танковой башне с Лёвчиком на боевом посту.

– Да ну вас!

– Истинно говорю вам. Ибо тут у нас одно из двух. Или ВэВэЭс, или Би-Би-Си. Третьего не дано.

– А если аист на крыше – это вам фуфло, что ли?

– Фуфло не фуфло... Но слово-то было. Не поминайте слово всуе, товарищ поэт...

Их оставалось только двое. Плюс Вовчик и Лёвчик. Плюс танк железный да трибуна деревянная. И некого стало призывать Большому Бэмсу взять решительным штурмом писательский Дом со львами и утвердить там законную власть. Да и Хризантем миролюбиво отсоветовал: мы, дескать, тебя повыше львов посадим. На что Большой Бэмс заметил: кто это – мы? Хризантем хотел привести для сравнительной аналогии одни сутки, которые, как и ножницы, всегда состоят во множественном числе, а ещё хотел извлечь из истории Советского Союза факты, свидетельствующие о пагубности двоевластия, однако – раздумал, не стал ничего говорить на эту деликатную тему.

– Холодно уж, – сказал. – Ноябрь уж.

– Уж, – ответил Большой Бэмс с трибуны. – Ноябрь. А наябывает, как в декабре.

– Да, – сказал Хризантем и поёжился. – Бывает.

– Вот и я говорю то же самое, что наябывает...

А в Доме со львами всю эту ночь горел свет электрических ламп.

Дремали в фойе три аксакала.

Писательский председатель Феропонтий Пилатов сидел за служебно-должностным столом и переживал.

На его глазах стояли слёзы. Ибо на его глазах рушились основы. На его глазах весь вечер и допоздна во дворе Дома со львами, по аллейке имени Героев Соцреализма шлялся туда-сюда в неуправляемом виде этот неопределённый парень, этот так называемый поэт, который всё ищет так называемую «тэму» и всё найти не может, совсем рехнулся, плюёт на бюсты героев соцреализма, негодяй, демонстрацию устроил: долой святыя мощи! долой священников-мошенников! – разве так можно? – от и до дискредитирует Союз писателей, мешая руководству сосредоточиться на задачах, спасибо Авроре Крейсер, сообразила, увела куда-то неопределившегося провокатора, спровадила, а в это время срочное сообщение как снег на голову: Большой Бэмс руководит литературой на площади! – как? почему? с какого бодуна? кругом бардак! в крайкоме спросят: почему колонна литераторов на демонстрацию не явилась? да, не явилась, не состоялась, собрались во дворе, на аллее Героев, перепились, разодрались, одни бюсты остались да этот бестемный парень, «дайте, – кричал, – тэму! о! дайте!» – дурак такой, спасибо Авроре, а что дальше делать? как быть? кем быть?..

И взошла, как возмездие, Аврора Крейсер в полуночный кабинет председателя:

– Всё, Феропонтий! Суши вёсла! Полный пиздец!

– Иди ты! – прошелестел в безголосом ужасе председатель и руками замахал: – Сгинь! Сгинь!

– Не дёргайся, Ферапонтий. Я этого парня сдала на поруки народным дружинникам. Они, надеюсь, ему определяют тему. Теперь пришла тебя успокоить.

– Иди ты... Успокоила, называется!

– А что такое, Ферапонтий? Почему нервы?

– А вот то самое! Как ты, женщина и литературный критик, можешь так констатировать? Причём, в нецензурной форме!

– Ах, Ферапонтий, ну, ты прямо как маленький...

– Я не маленький, заруби себе! Я эстетически пугаюсь ненормативной лексики, Аврора! Я боюсь этих строчек тыщи, как мальчишка боится фальши! Ты понимаешь ли, Аврора?

– Да брось ты...

– Куда? Нет, не брошу! Мы же ж культурные люди, Аврора! Мы же ж наследники всё ж таки Пушкина, который наше всё...

– Упоил ты меня, – сказала Аврора и подмигнула.

– И чего ты моргаешь? Стыдно стало?

– Стыдно у кого видно. А я не моргаю. Я тебе подмигиваю. Причём, лукаво.

– Зачем?

– А хочешь, я тебе нашего всего почитаю наизусть, настоящего Александра Сергеевича?

– Иди ты! Опять фривольщину про то, сё, про эту...

– Непременно! Про эту! Про Большую Пи, как ты однажды по пьянке выразился с математическим уклоном. Про неё, родимую, с бесконечно неопределённым числом...

– Не надо, Аврора. Образ нехороший. Не поминай всуе. Ибо все мы люди грешные, и как-то к этому проникаешься, к образу-то. А ведь мы, кажется, наследники Блока...

– Ладно. Сейчас тебе полный Блок будет, Ферапонтий.

– Про что?

– Про то, про что ты думаешь.

– А про что я думаю? Откудова ты знаешь, про что я думаю?

– Про то все мужчины обязаны думать.

– Если ты имеешь в виду Прекрасную какую-нибудь Даму или вообще Незнакомку, дыша духами и туманами... Так, Аврора?

Аврора Крейсер выпрямилась. Вскинула голову. Подбородок вздрогнул. Очи подёрнулись. Стихи поплыли из Авроры – величаво, обворожительно:

*Её серебристо-чёрный мех
И что-то шепчущие губы...*

Пилатов насторожился: призрак, призрак возникал, дыша духами, образ, что поделаешь, как-то проникаешься...

*Своей улыбкою невинной
В тяжелозмейных волосах...*

Пилатов вздрогнул: дьявольская-таки пронизательность у этой Авроры, проникновенность какая-то, и проникаешься как-то невольно...

*И она тебя кольцом неразлучным сожмёт
В змеином логовище...*

– Иди ты! – возопил Пилатов. – Не надо-о-о! Не хочу-у-у...

– Ну, не надо, так не надо, – сказала Аврора, высморкалась на пол и ушла, хлопнув дверью. Дверь сорвалась с петель и упала. Хлипкая оказалась. А у Авроры характер такой, простой, непосредственный. В девичестве она звалась Варвара.

Пилатов опять остался один. Он сидел, затаив дыхание, зажмурил глаза и опечатав уши ладонями. И когда открылся – из тёмного угла, колыхаясь, восходило... – призрак, мутное пятно, чёрная дыра, шаровая молния, чёрная шаровая молния – мелькает в ней содержимое со скоростью света – медуза – горгона – блондинка – брюнетка – крамская незнакомка – джоконда – рыжая – улыбка – усы запорожские над верхней губой, и усики гусарские, закрученные, под нижней губой... – веет тяжело-змеино призрак, колышется чёрная дыра, плавает, гудит пылесосно, облизывается чем-то мокрым и розовым – и вдруг – как гавкнет! – и зачавкало, пожирая пространство, и зашлёпало губищами...

Бежал Пилатов по пустынным улицам града орденоносного. Бежал стремглав, потеряв голову. Стеснилась грудь его, безумца мрачного, бедного, обуянного силой чёрной, глаза подёрнулись туманом, печать впечатления на лице его, пламень бегал по сердцу, кипела кровь... Большая Пи за ним неслось! Тяжело-звонкое скаканье – как будто грома грохотанье! Вот-вот настигнет и поглотит несчастного! Пилатов на ходу оборачивался, поспешно прижимал к сердцу одну руку, а другой грозил настигающему опознанному летающему объекту: «Ужо тебе! Ужо!..»

СХVIII

1. Разводящий печатает шаг за шагом

Вот так вот скажи первому встречному прямо в глаза, в лоб и по лбу, без сопровождения и последствий: пост! – так ведь и не поймут, не разберут смысла и вынудят дополнительными вопросами к пояснениям и уточнениям. А ведь действительно оно, оное существо, действительно имя, неоднозначно весьма и весьма. А то, что неоднозначно, хоть и не перестаёт быть существительным, но уже как будто бы и недействительно, и не сообразить сразу, что это такое, пост, великий или маленький, стратегический или так себе, и невозможно определить его протяжённость в пространстве и времени – от состоявшегося факта, происшествия, события или развода по Караульному Уставу.

Итак, значит, пост. Святое дело для военных товарищей: объект охраны, он же территория, он же и сами охранители в лице одного постового или целого караульного подразделения Вооружённых Сил.

Итак, значит, пост. Святое дело для верующих товарищей всех религий: строгие ограничения, воздержание, очищение, углубление, сосредоточение, просветление.

Итак, значит, пост. Многомерный, многомирный. Сколько же его, сакрально-милитаристского, было на нашем веку, точнее сказать, на нашем полувекии...

Ежели упомянутый князь Андрей Курбский обличается богобоязненным постником с расколом колокольным, чуждым всякой смиренности, то упомянутый постпред СССР Фёдор Раскольников, конечно, есть постовой. Тот и другой знали толк в военном деле, и в вопросах веры всяк по-своему были тверды, и к делам государственным не только причастны, но и приближены верховным руководством.

И вот написал постпред Раскольников книжку «На боевых постах». И начинается изложение письменности с совершенно прелестного: «Сегодня женский день, утро 23 февраля 1917 года...» Не думал, не гадал Фёдор Фёдорович вмешиваться в поправление российского календаря, но, кажется, сама история распорядилась так, что «женскому дню» суждено было стать первым днём революции. Петроградские работницы тогда, в то утро, вышли на улицы, где-то на углу Большого проспекта и Гаванской развернули матерчатый лозунг «Хлеба, свободы, мира!» – и пошли, и пошли с воплями... – а позади, за женскими спинами, большевики-агитаторы с задушевными рекомендациями: громче, бабоньки, громче! «Бабий бунт» – обозначили газеты.

23 февраля – стиль старый. Через год, после революции, старый стиль отменили, ввели новый, и на бывший день 23 февраля как раз пришлось 8 марта. Как 13 января – «Старый Новый год», так 8 марта – «Старое 23 февраля». Шутка истории. Но – не вся шутка. И не вся ещё история.

В февральскую революцию пало самодержавие. Большевики принимали в ней участие косвенное, даже случайное, в роли провокаторов на плечах «бабьего бунта». Но ведь пала же старая власть? Пала! И этот день отметить надобно. А как? Просто. Сменить календари. А заодно и приписать большевикам роль главную в свержении самодержавия. И был тут же сочинён миф о боевом крещении и великих победах Красной Армии над немецкими войсками именно в этот день, 23 февраля. Но Красной Армии в то время ещё не было. И побед не было. А что было? Бывший император Николай II отметил в дневнике: «12/25 февраля 1918. Сегодня пришли телеграммы, извещающие, что большевики, или, как они себя называют, Совнарком, должны согласиться на мир на унижительных условиях германского правительства, ввиду того, что неприятельские войска движутся вперёд и задержать их нечем! Кошмар». Вождь Совнаркома и главный революционер Уль-

янов-Ленин в эти же дни пишет: «Неделя 18-24 февраля 1918 года... Мучительно позорные сообщения об отказе полков сохранять позиции, об отказе защищать даже нарвскую позицию, о неисполнении приказа уничтожать всё и вся при отступлении; не говорим уже о бегстве, хаосе, безрукости, беспомощности, разгильдяйстве... Мы обязаны подписать с точки зрения защиты Отечества самый тяжёлый, угнета- тельский, зверский, позорный мир»... Так какие же победы у Крас- ной Армии? Какое боевое крещение? Прозаседав всю ночь с 23 на 24 февраля 1918 года, ЦИК Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов рано утром, до света ещё, принял решение, а в 7 часов утра Ленин от имени Совнаркома телеграфировал в Берлин о принятии ус- ловий мира, предложенных германским правительством и отправке делегации для переговоров в Брест-Литовск. Германские же войска ещё ничего не знали и продолжали в этот день военные действия. Вечером 24 февраля они овладели Нарвой, куда без боя вошёл отряд численностью не более двух сотен штыков. Сдались Юрьев и Ревель – без всяких потерь с германской стороны; компактные, мобильные, немногочисленные подразделения нигде не встречали сопротивления, Красную Армию и в глаза-то не видели, и могли бы продвигаться ещё быстрее, если бы не российские дороги – гроб с музыкой... Тем он и обесславлен в тайной советской истории, этот день 23 февраля, как день позора, день капитуляции в Первой Мировой войне, а точнее – во Второй Отечественной, как именовалась та война в российских газетах 1914–1917 годов; и путь превращений пролёг: война империалистическая – мировая – отечественная – гражданская. И всё же понадобилась ещё выдержка в четыре года, чтобы случилось короткое замыкание в народной памяти, и в 1922 году день 23 февраля был объявлен Днём Красной Армии. И так вот они и сошлись в истории, свалились, выпали, как снег на голову, в одной куче-мале рождённые, в один постный день окрещённые: революция, женский день и Красная Армия. Святое дело! Напоминание о катастрофе. Секретный пароль. «Ты постой, постой, красавица моя!» Пост сдан – пост принят. Постные хрестоматии. Лица исторические: постники, постовые, часовые, караульчики, сторо- жа, стражи, постояльцы... Посты сдаются как карты и как дачки на летние вакации. Советские часовые – никогда! Всегда никогда. Лишь иногда. Для всех – один разводящий начальник. И скорбный скарб, и великопостные очищения, и постфактумы поспешные, и постскриптумы запоздалые... – всё это уже ношеное-переношеное, старенькое и худенькое, было до нас, раньше нас, из предшествовавшего, до опыта, априори. Апостериори – Пастернак: «И постнику тошно от стука костей». Апостериори: апостольское одиночество. Апостериори: не надо сгущать краски, за нас это сделает вечер. Апостериори: ещё не вечер, но кукушка вечерняя не на чужих роковых яйцах сидит – на часах; распахивается маленькая дверца – «ку-ку»: это значит ку-ку, значит пора, значит – после, post, значит, а ещё это всенепременно

значит, что в этом post – прежняя бандеролька, проклятый вопрос: после последствия – делать-то что? что дальше-то, мать твою так, ежели пошли как бы на праздник труда, а вышло вон чего... вышло после, вышли последствия, равно и в лаптях, и в латах латыни: post – после, последыши последние, после следующего, которые у поры-времени всегда торчат в бесконечно тёмном впереди, а следы на дороге – в бесконечно тёмном позади... Шутки в шубках. Шерсть наружу. Гладкая идея вывернулась косматым концептом. Обличьем – волк. Каждому волку – свой волкодав...

Итак, post. Многомерный, многомирный. И сколько же их, почтенных, почти почтово-эстафетных, перепало, загнанных в бешеной скачке, на нашем веку, да пусть даже – на полпути, на полувечии...

Речка Меча помечена. А ведь ещё до Мечи... «Вы знаете, – разводил руками ответственный руководитель ядерных испытаний в районе Семипалатинска, – мы думали, что взрыв будет примерно килотонников двадцать... А оно... кэ-э-к шарахнуло! На все сто! Даже – на сто пятьдесят с прицепом! Такая вот неожиданность, даже удивительно... Атом, всё ж таки. Всякое бывает с укрощением этого бобика...»

А разводящий дальше, дальше уводит.

Третью годовщину Октябрьской революции отмечали совершенно по-царски: с размахом, с имперской помпезностью, с великодержавной щедрой нежностью.

На бывшей Дворцовой площади, ставшей к тому времени площадью имени товарища Урицкого, развернулось поистине циклопическое массовое действо-зрелище, широкое, размашистое, под названием «Штурм Зимнего дворца»: 150 тысяч зрителей, 8 тысяч «актёров», танки, пулемёты, никакой бутафории, всё настоящее, даже крейсер «Аврора».

Бабахнула авророва шестидюймовка – в свете 150 прожекторов грянула симфония Гуго Варлиха в исполнении оркестра из 500 музыкантов – потом фанфары, провозвестники нового мира, и грозная «Марсельеза» – и пошла толпа, выжимаемая на площадь сквозь арку Главного штаба, повалила с рёвом на оплот самодержавия, руководимая Николаем Николаевичем Евреиновым из режиссёрской будки, присевшей на пьедестал Александрийского столпа. Толпа – вокруг столпа! На белых шторах в окнах второго дворцового этажа замечались силуэты – точно в китайском театре теней. И взвился над Зимним красный флаг. Всё! «Бобик сдох! – редела толпа. – Перекур!»

А крейсер между тем продолжал пальбу без перекура, без передыха. Вместо запланированных по сценарию трёх выстрелов уже прогремел восьмой, девятый, десятый...

– Да что они там, охренели?

Николай Николаевич, бледный и растерянный, тыкал пальцами в какие-то электрические кнопки, накручивал телефонный аппарат: «Стоп стрелять! Стоп, кому говорю...» Бесполезно. Канонада неударжима. А телефонная связь с «Авророй» вдруг вообще прервалась.

2. Под знаком Халявы

Погоде наплевать. Что она и делает – серыми нудными холодными дождями, мокрым снегом.

По вечерам над желдорвокзалом зажигается синий неоновый крест: Х.

– Судьба, – говорит прежний таксист, бессменный, недвижимый с незапамятных времён, кажется, в то время целину осваивали, что ли, или космос, или остров Куба.

– Всё стоишь? – спрашиваю. – Чего ждёшь?

– Клиента богатенького, – отвечает. – Чтоб заработать сразу и много.

Он задумчив. Он прикладывает к синему неоновому кресту свои рассуждения таксомоторные, в клеточку: то ли в небе заборная стенография обозначилась, то ли худо, то ли, наоборот, хорошо – для текущего момента и предстоящих времён.

– Ты знаешь, дорогой, дни поздней осени бранят обыкновенно, – говорю. – Но мне она мила! Представь себе, как может быть мила чахоточная дева.

– Не понял, – говорит таксист и напаривает монтировку для самообороны.

– Пушкин, – говорю. – Наше всё.

– А-а-а... ну-ну, знаю, который памятник себе. А правда или болтают, что к тридцать седьмому году у всего нашего Пушкина в голове уже ничего не осталось и даже волосы вылезли?

– Самодержавие, – говорю, – проклятое виновато.

– Это да... Покрыто мраком притеснения.

– Вот-вот... К тому ж разные осени. Через раз, то есть. То болдинская, то обалденная...

– Куда едем-то? – спрашивает тоскливо, с бесперспективной надеждой во взоре.

– А никуда не едем. Вот поговорили – и разошлись...

3. Перелицовка

– У меня тут тихо, спокойно, никакой Центральный Комитет не достанет, – сказал Хризантем Сытникову.

В храме божьем, в епископской келье-кабинете сидели два старинных приятеля: бывший Поп – персек Сытников, ставший на днях бывшим персеком, и бывший Пэр, Пламенный Революционер – епископ Хризантем, на этих же днях ставший бывшим епископом.

– Поцелуйко достанет, – сказал Сытников. – Сволочь такая! Всё проморгал, упустил, не контролировал ситуацию, значить.

– Про Поцелуйку забудь. У меня с ним разговор особый будет. Он у меня вот где сидит, – сказал Хризантем и пальцы в кулак сжал, и

кулаком тем по горлу провёл, и вдобавок по колену пристукнул. – Поживи тут пока. Духом не падай, укрепляйся.

– А Сластёна Васильевна что скажет? – вспомнил Сытников супругу.

– А не слушай чего скажет! Жена да прилепится к мужу своему, а дальше – не её дело.

– Как прилепится, так и отлепится.

– На всё твоя воля, Поп.

– А с другой стороны, думаю, пусть себе в гражданском мире живёт. Чего ей здесь со мной делать? Ладаном дышать? Зато, с другой стороны, мне передачи приносить будет.

– Какие передачи? Ты что, в тюрьме? Живи, как у Христа за пазухой. Думай. Питание здесь тебе обеспечено. А во всём другом тебе Аннушка-секретарь подсобит и подскажет. Она всё понимает, умница, всему сочувствует. Захочешь чего, так у меня тут коньяку неприкосновенный запас, Аннушка знает. А пожелаешь в мою партию вступить, так готовься. Я тебе оставляю своё сочинение. Откровение от Хризантема. Почитай. Может, какие дельные замечания сделаешь.

– А если, эт-само, в монастырь захочу?

– Грехи замаливать? Так нету таких монастырей в России, что бы от партийной деятельности отмываться. А какие есть обитатели, так тебе туда нет смысла соваться. Зачем? И не в таких ты годах, чтобы начинать новую службу монастырским трудником, мальчиком на побегушках.

– В монахи же постригусь!

– Да я тебе говорю: до монашества тебе ещё попрыгать придётся и трудником, и послушником, а уж потом постриг. Давай по другому попробуем. Вот тебе епископское место, кабинет, сиди и не размышляй. А уж потом как-нибудь в нашей смуте так устроишься, что Патриархат Московский во епископство твоё поверит и доверится. Случай же исключительный, чтобы из персеков да во епископы.

Вздохнули оба, Пэр и Поп.

– Что в городе-то творится? – спросил Поп.

– А ничего особенного. Ты шибко-то не переживай. Новое руководство разместится всё ж таки не в Жёлтом Доме, а в Сером. И твои прежние сотрудники на прежних местах останутся, не волнуйся. Выборы на носу. Демократия прежняя. Агитация, в школах избирательные участки разместили, бочковое пиво завезли, пряники, конфеты... Ты знаешь, пивные-то бочки лесом осенним пахнут! Чудо-то какое!

– В лесу да, в лесу, эт-само, замечательно, – вздохнул Поп. – Давненько я не был в лесу.

– Вот наладим малость новое руководство, так и попроведаем лес, обещаю.

– Спасибо тебе, Пэр. Полезное для здоровья это дело, лес. Тихо. Птички. У меня всё телефоны донимали. Да и у тебя тоже не сахар, эт-само, колокола... Чего это они? День и ночь, день и ночь... Управы

нет?

– Ну, распоясались маленько, бывает, их-то ведь тоже понять можно и нужно, столько лет были на привязи, как собаки на цепи. Между прочим, Поцелуйко пообещал мне своего человечка, целого лейтенанта, к колоколам приставить для порядка. Всё ж таки, говорит, средства массовой информации. Я не стал возражать. Зачем возражать? Всё правильно. У колоколов-то, как будто у живых людей, даже языки рвали в наказание, и плетью секли публично, и в ссылку на вечное поселение отправляли. А нехорошо это. Срамно.

– Срамно, – согласился Поп. – А мне этот Поцелуйко, значить, ещё и говорит по телефону: вам, товарищ персек, остаётся шанс только в цирк идти работать иллюзионистом, на пару с вашим двойником-привидением. И я даже заплакал! Вот ведь сволочь какая, даже про моего призрака в Сером Доме знает!

– А я ему прищемлю язык-то, – сказал Пэр и нахмурился. – Сегодня же и прищемлю.

– И ещё этот наш классик Равелин Валютин... Ну, достал, бульдог брыластый! Лениным страшает. Вот, говорит, оживёт товарищ Ленин, он вам всем задаст перчику!

– Меня тоже достал.

– Поди, крест вместо звезды требует?

– Да вроде того... Рвётся пострадать за народ, прямо изо всех сил. Страдальцев-то у нас любят да жалеют, вот он и рвётся. Я ему: и не надоело тебе, Равелин, в стуколку-то играть? Сразу замолкает, волком глядит, зубами скрежещет, убогоньким прикидывается. Я и ему язык прищемлю. Он у меня тоже в кулаке сидит, как миленький. Ну, всё, что ли? Я пошёл? Я ведь не веду приёмы граждан и депутатов, как ты вёл. Я самолично обходы прихода свершаю. Беседую по душам. Покуда претензий не имею. С Москвой вот только...

– Да уж Москва тебя достанет...

– Не достанет! Мы с Москвой в разном времени живём, не то что в пространстве. Не договоримся. Хибаровск говорит с Москвой – из завтрашнего дня во вчерашний. А Москва с Хибаровском – как вчерашний день с завтрашним. Где настоящий день, сегодняшний? Нет. Потерялся. Застрял в часовых поясах. Ну, ладно, я пошёл. Ты тут не скучай, готовься в мою партию, чуть что – к Аннушке обращайся.

Пэр удалился.

Поп остался. Один. С распущенной, неуложенной на темечке косой-оселедцем казачьим, запорожским. Бумажка в его пальцах складывалась по-прежнему не более восьми раз.

Сытников не знает. Зато бумажка знает – окружным путем, кольцевой памятью, цепкой связью череды, за пнём пень да за днём день, и тень за тенью, и око за оком... – уж как знает она, бумажка-то, историю от древнего древа до буквального вида досюльных времён: «складывалась» Россия ровно восемь раз, согласно положению, соглас-

но случаю и возможности, но вот однажды решится на невозможность и – кончится, сгорит, как Феникс, как тайная рукопись Мастера – на девятом генсеке...

4. Новости от генерала

Генерал Поцелуйко докладывал Хризантему обстановку в городе и крае.

Ласково они беседовали друг с другом. Ибо сразу было условлено между ними главное: нужда. Суть следующее: вождь, священник, воин и фискал – вот квадрага для любого сообщества, от первобытного до конца, и никуда без неё, без этой квадраги.

– Административные границы края нуждаются в укреплении, – докладывал Поцелуйко. – Хотя экспансии со стороны соседних территорий не выявлено... Два мужа комсомолки Ляли ушли в партизаны. По некоторым данным, – в диссиденты. Объявлены в розыск... Бывшая мойщица трупов товарищ Арапская, которая переключилась на ухаживание за статуями, после утраты объектов сидит на парапете фонтана и плачет. Источник неиссякаемый. Брали пробу в бассейне: вода солёная, феноменально. Народ говорит: бахчисарайский фонтан.

– Может, дадим ей пенсию как вдове? – предложил Хризантем.

– Можно и пенсию, почему нет, – ответил Поцелуйко. – Пусть утешится. Тем паче чаяния – ветеран труда и партии. Дальше. Поступила срочная шифрограмма от наших украинских коллег. Они сообщают буквально следующее: «На родине великого украинского писателя Н.В. Гоголя органами госбезопасности по просьбе местных трудящихся задержаны два неизвестных гражданина подозрительного поведения. Из материалов предварительного следствия стало известно: идут два гражданина по украинской земле и катят перед собой колесо. Как выяснилось, даже не колесо, поскольку у предмета отсутствуют ступица и спицы, а обод колеса. За неизвестными гражданами следует по пятам ещё один неопознанный гражданин с тачкой, нагруженной справочниками по высшей математике. Все трое без документов и в антисанитарном состоянии. На вопрос следователя по особо важным делам: куда катите колесо? – один из подозреваемых, самый молодой и наглый, ответил с вызывающим выражением вида: да никуда! А потом стал смеяться над следователем: это ж не колесо и не обод! это ж ноль! ноль без палочки! Со слов подозреваемых, все трое являются жителями г. Хибаровска. Имена и фамилии первых: Мошонкин Вадим и Савушкин Савва. Третий гражданин на вопросы следователя отвечать отказался и высказал при этом в крайне националистическом духе с присовокуплением прозвищ типа хохол, оскорбляющих честь и достоинство украинского народа. Просим организовать проверку по возможному месту жительства в целях установления личности подозреваемых».

- Всё? – спросил Хризантем.
- Всё. Пока что.
- Наши граждане?
- Наши, наши! Откуда ж ещё такие выводятся, чтобы нолик катать по Советскому Союзу! Из Жёлтого Дома. Толковые ребята, конструктивные. Умницы, одним словом.
- Срочно вызволять надо, ежели умницы...
- Уже принимаем меры. И вот ещё самое последнее на текущий момент, из оперативной сводки за истекшие сутки. На железнодорожном вокзале Хибаровск-пассажирский якобы обнаружен пропавший из здания крайкома партии товарищ Краснопресненский-Крестовоздвиженский. Выглядит в крайне незначительном виде.
- Что это значит, генерал?
- В суперминиатюрном образе. Тем паче чаяния, отпустил бородку а ля Николай Второй. Думаем, что для маскировки.
- Да кому он нужен-то?
- Мы тоже так думаем. В это время на перроне находился сотрудник газеты «Огни коммунизма» товарищ Зураб Ркацители, прибывший на станцию совместно с редактором газеты Гением Ивановичем Будьтаковым для организации разгрузки прибывшего вагоно-пассажирского вагона с новогодними ёлками. Кстати, я лично туда съездил и убедился: туфта. Ёлки хоть и новогодние, но совершенно синтетические, типа капрона. Что ж, и праздник у нас будет такой же, типа Нового года? Смешно и недопустимо.
- Насчёт праздников поговорим особо. А что потом на вокзале было?
- Вышеупомянутый Краснопресненский-Крестовоздвиженский упал на колени перед товарищем Ркацители и кричал: «Прости и помилуй, Ёсиф Висарионыч!» Представляете? Особенно в свете разоблачения культа личности.
- Не за того парня принял, ошибочка вышла.
- Так точно. У Ркацители на шее намотан такой же клетчатый шарф, как на фотографии молодого Сталина в период революционного терроризма. Потом они пытались петь грузинскую песню про Сулико. Но голосами не сошлись. Тем паче чаяния, выяснилось, что Краснопресненский-Крестовоздвиженский вовсе не уезжать собрался и не к Сталину стремился. Он искал на путях немецкий plombированный вагон с Лениным, хотел жалобу подать, а тут Ркацители появился... А в конце концов наш бывший идеолог попал под метлу. Метельщик там, на перроне, мусор метелил. Вот и сгрёб в одну кучу, с окурками. Не заметил. Кстати, трезвые товарищи, которые были очевидцами, утверждают, что вообще ничего подобного вышеизложенному не наблюдали, что это, мол, газетчики для сенсации придумали.
- Жалко, – сказал Хризантем.

- Идеолога?
- Секретаршу его, Аномалию Андреевну.
- О, да, – вздохнул генерал. – Незабвенная женщина.
- Всё оплакивает, поди?
- Мы успокоили. Есть у нас один лейтенант, по успокоению. И продолжает она ходить на службу в Серый Дом, и сидит на своём месте. Докладывают: прижимает она к грудям своим скамеечку, которая от шефа осталась на память, закрывает глаза и говорит: в эпоху моей ответственности... Может, ей тоже пенсию дать как незаслуженной вдове?
- Можно. Потому что жалко ведь.
- Очень жалко.
- Да, жалко. Но вы, генерал, и для себя маленько жалости приберегите. Потому что я вам делаю первое и последнее замечание с предупреждением: остроты ваши глубокомысленные относительно циркового иллюзионного будущего бывшего персека Сытникова оставьте при себе за зубами. Это во-первых. Что, во-вторых, имеете мне сказать насчёт будущего Равелина Валютина?
- Классика мы оставляем в резерве.
- Дело ваше. Но лучше бы вы его вообще выпустили из своих объятий. С миром, на волю, со свободной совестью.
- Не пойдёт он на волю. Привыкший он к нам. Куда ему без Цека и Чека? А он хорошо помнит, кто его матёрым писателем сделал. Отрабатывает. Недавно статейку написал для центральных газет, мы ему намекнули: что вот-де грядет время судьбоносное, когда опять придётся выходить русичам на поле Куликово и спасти судьбу нации в битве двух рас, и не надобно дожидаться, покуда современные монголы дойдут до берегов Дона, а надобно разгромить их на ихней же земле, устроить им там поле сражения. В Цека одобрено, и в Чека, и в Министерстве обороны.
- Опять Кремль чего-то затеял?
- Пути Господни неисповедимы, – улыбнулся Поцелуйко.
- Да полноте, генерал! Вы же преотлично знаете, что Господь землю не топчет, и кто путь землякам указывает – тоже знает. А неладно всё это, нехорошо. Ну, на сегодня хватит. Расходимся по своим постам. До свидания.

5. Лоцман, лочия и вопросительный ответ Анахарсиса

Утром Герой Социалистического Труда Советского Союза писатель Равелин Валютин собственноручно разослал письма нужным людям с приглашением проводить его в последний путь, скорбный весьма и сугубо.

А накануне, посреди дня, случилось вот что.

Явился Валютин пешочком, в сопровождении юрких мужчин с фотоаппаратами и кинокамерами, к Жёлтому Дому. Пристроился под окнами зарешеченными и стал задумчиво на небо смотреть, а мужчины

тем временем щёлкают и жужжат своей техникой, снимают классика на фоне решёток.

Но один мужчина, сообразительный, заметил:

– На фоне невразумительно. Надо бы – за решёткой. Тогда полный цимес получится и неопровержимый образ страдания.

Валютин молча кивнул головой и большой палец воздел – в знак согласия, одобрения и благословения предложенного ракурса, и двинулся в приёмный покой.

Вахтёр Лазарь Митинг поперёк пути возник:

– А чего это вы тут, товарищи, кино развели? У нас, товарищи, учреждение серьёзное.

– Ты кто такой? – спрашивает Валютин.

– Вахтёр. На служебном посту.

Валютин прищурился, вглядываясь пристально в Лазаря:

– А повернись-ка боком, на нос твой погляжу. Как звать-то, величать?

– Лазарь.

– Небось, из Кагановичей?

– Митинг моё фамилие.

– То-то, гляжу... Опять яврей! Она што такое творится-то! По носу-то ты чистый Каганович, пёс смердящий! А по фамилии – опять яврей! Революции придумали? Масонский заговор? Чужебесие сие! Еси!

Растерялся Лазарь: чего это мужик так разволновался? глаза выкатил да пена на губах пузырится... А мужик и говорит:

– Хучь и яврей ты, а куфаечка на тебе хорошая, ладная. Дайкось примерю.

Снял, как замороженный, Лазарь фуфаечку-телогреечку, мужик надел, охорашивается:

– В самый раз по мне! Чистый арестант-каторжник! Счас вот так и на карточку сымусь, пуцай мир видит!

Отодвинул Лазаря – и внутрь устремился. И тут перед ним неожиданный Большой Бэмс встал. После мимолётной оторопи принялись тот и другой друг друга ладонями пихать по грудям, кто кого перепихнёт. Однако сила была на стороне Большого Бэмса, на то он и Большой.

– Вали отсюда! – приказывает он Валютину тонким и острым голосом.

– Чаво духарисси, отрок? – возражает Валютин. – Мне тута как раз и есть самое место в заведении скорбном!

Большой Бэмс вконец рассердился:

– С какой это такой стати ты, герой, психбольным прикидываешься? Не надо, Равелин. Очень не надо. До сумасшедшего в нашей стране ещё дослужиться надобно. А ты, Равелин, уж вовсе никакой не сумасшедший. Ты просто дурак, Равелин. Обыкновенный дурак.

– Придурок, – уточнил Лазарь Митинг. – К носу моему прицепился...

– Точно, придурок, – постановил Большой Бэмс. – Так что, давай уваливай отсюда, покуда тебе заслуженные психи по шее не наклали.

Тут у Валютина и отнялся язык – от возмущения. Одно мычание из уст проистекало. И удалился он, мыча в скорбях, с фотографическими мужчинами, тоже огорчёнными таким ракурсом. А Лазареву телогреечку с собой удалил Валютин, позабыл снять.

Всю-то ночь промышчал Валютин, промаялся. К утру сочинил открытое письмо под названием «Слово к рабочему классу, колхозному крестьянству и трудовой интеллигенции». На машинке напечатал под копирку десятка два экземпляров, в конверты запечатал, в ранний почтовый ящик сбросил, а потом пешком явился к редактору «Огней коммунизма» Будьтакову, молча положил на стол копию письма, строго глянул на редактора и ушёл. Гений Иванович тут же прочёл текст, начал ругаться и бегать по кабинету:

– О, дона Анна! Когда эпистолы страшнее пистолета? Где ты, Анна? Ко мне!

Вбежала встревоженная Анна Петровна Керн, ответсекретарь редакции.

Будьтаков плюхнулся в кресло и жестом показал: читай, дескать, вслух с выражением, голубушка! Голубушка вынула папиросу изо рта и стала читать.

И читала она с выражением: про то, что мы поплыли, товарищи, но – куды? чаво мы ищем, чаво добиваемся, на чаво рассчитываем и чаво хотим, которые мы, сгрудимшиеся на льдине? а тая льдина-то того, крошится, волна накрывает ея и сосульчатыми обломками истаивает во глубине жуткой, и кренится утлое судёнышко наше, ой беда-беда, в огороде лебеда, но вот плывём мы ещё, плывём, а мимо нас-то проходят лайнеры окиянские, окаянством чужебесным набитые, весёлой музыкой жестоковыйной бряцающие, бесовскими огнями сияющие, и праздничная публика со свободными нравами танцует рокирол на палубе и машет нам, которые на льдине жмутся истаивающей: идите к нам! но мы, на льдине которые, не соглашаемся, ни-ни, упаси бог! окиянское солнышко нам очи слепит, голова кружится, миражи чудятся, быдто льдина-то наша есть новый ковчег завета, на коем нонче собрано для спасения душ уж не тварное, но самим творцом засеянное плодами незримыми, а ишо-то чудится, быдто дожидается нас, которые на льдине, Арарат-гора над потопным разливом, и мы-то всё высматриваем и высматриваем, уж все глазыньки проглядели, а вокруг-то вдруг ничего не стало, всё превратилось в развалины, к коим даже туристов подводить опасаются, ой беда-беда, а всё ж плывём мы на льдине, плывём, и куды ж выплывем?..

Будьтаков всхлипывал:

– О...о...о-о-о... матёрый человечешко...

– Как сказал великий Ленин, – уточнила Анна Петровна и закурила свежую папироску. – Это конец, товарищ редактор. И на этом конце, по-моему, мы видим пародию на джеклондоновского «Мартина Идена». Но при чём тут льдина? Какая льдина? И ещё уютное судёнышко... На чём они плывут-то? И кто они, эти мы? Ничего не понимаю, Гений Иванович. Фантастическая лоция.

– Акция, – сказал редактор, вытирая нервные слёзы. – Господи, и чего это он нынче задумал, лоцман наш литературно-классический? Приглашает на проводы в последний путь... Сходить надо, Анна Петровна! Сделайте милость, голубушка, не побрезгуйте, а?

– Схожу обязательно. Сгораю от любопытства.

– И в свежий номер – информушечку! Ладненько?

– Без проблем.

На берегу Куды, под мостом, толпился десяток провожающих. Половина из них донимала друг друга взаимными вопросами, другая половина загадочно отмалчивалась. Аврора Крейсер, явившаяся по заданию Большого Бэмса, принадлежала ко второй половине, Анна Петровна Керн – к первой.

И вот с Набережной стали спускаться к реке два мужика в кольчугах и две бабы в кокошниках и сарафанах поверх тёплой осенней одежды. Носилки на плечах. На носилках – Валютин. Рядом, держась за носилки, подпрыгивал баснописец Смехалков.

У кромки воды опустили носилки наземь, Валютин сошёл, потопал ножками в стареньких подшитых валенках с галошами, с батожком в руке, с котомочкой хиленькой через плечо, в куфаечке от Лазаря... Пальцами изобразил что-то, а Смехалков тут же и перевёл на русский язык:

– Вот-с, господа-товарищи, довели меня, что сухариков насухарил в путь-дорожку да поклат в котомочку ничтожную... Простимся же по-божецки...

Опустился Валютин на колени и лбом в землю кокать стал.

А по Куде уж льдинки позднеосенние плывут, плывут, вдоль берега наледь хрупчайшая. Но для Валютина загодя, в минувшую ночь наморозили целую льдину, не великую, но и не маленькую, одного человека поместит вполне, заединчики постарались, ветераны из хора песельников, да попростужались, потому и не пришли на проводы, кроме четырёх носильщиков. Вообще, с водным транспортом, как выяснилось, поначалу была полная неразбериха. В завете Валютина то льдина фигурировала, то уютное судёнышко. Порешили заединчики: быть тому и другому, хотя от судёнышка всё-таки малость убывало романтизма и величавой значительности события, ибо льдина – это одно, а судёнышко, даже самое уютное, это уж совсем другое судно, сладкая изюминка для злоязычных языков, вроде «утки» под кроватью.

Равелин Валютин уж и мычать прекратил, начисто язык потерял,

пальцевыми знаками объяснялся. И как-то ловко они понимали друг дружку, Валютин со Смехалковым.

– ... да уж в последний-то нонешний разочек понюхаю вонюченькую мою территорию пространства местности отечества разлюлилюбезного, – выпевал Гордей Гвардеич ровненько, гладко, при выпевании-то он не заикался чудесным образом.

На продувном ветерке дело прощания быстро двинулось. Мужик в кольчуге шарахнул в борт утлого судёнышка бутылку «Советского шампанского». Бутылка разворотила судёнышко на две половины, которые тут же и затонули. Печально улыбнулся Валютин. На небо посмотрел с укоризною. Взошёл на шаткую льдину, поместился, покряхтывая, на рыбацком складном стульчике, котомочку у ног приспособил, руку воздел – осеняюще.

– Пострадаю за народ, товарищи! – перевёл Смехалков.

И грянул гимн Советского Союза в исполнении ограниченного хора песельников. Льдину оттолкнули от берега, и поплыла она по быстрому течению, и плыла-плыла – с чёрной сгорбленной фигуркою классического страдальца и молитвенника, покуда не скрылась за ближайшим поворотом реки.

Территория провожания опустела. Лишь два мужика в кольчугах, присев на бережку, не спеша осушали стародедовскую четвертную бутылку с самогоном и переговаривались:

– Льдинка-то тово... тоненька... а где тонко-то, там и тонет! Вот оно и тово... А не потопнет ли странничек наш?

– Не потопнет! Вещество-то в ём особенное, не топкое. Чтоб пешком по воде ходить. С тем веществом хучь по лужам, хучь по морю-окияну однохерственно – аки посуху. Дар божий!

– Да уж, повезло человеку...

Анна Петровна вернулась в редакцию, согрелась горячим чайком и написала информшечку с места события. К слову сказать, она редко бралась за такой жанр, в крайних случаях. Анна Петровна, литературовед и филолог, специализировалась по Пушкину. Но вот выпал крайний случай. А что получилось у Анны Петровны, то и получилось:

«А что мы знаем, граждане? Деда Мороза да Снегурочку, таинственного снежного человека да хозяйку Ледяного Дома, да потустороннего писателя-нобелиата с прохладной кличкой Морж... Маловато для обобщений. Но даже такая малость подсказывает: у каждой льдины – свои причины, свои личины, свои отморозки. Нынче один из наших земляков поплыл. Поплыл один, хотя и обозначил себя во множественном числе мычащим МЫ. Напомню нашим читателям одну из театральную штудий касательно МЫ, о которой мы когда-то уже говорили, но повторение выкажет суть вопроса в новом свете. Штудия такова: в опере «Руслан и Людмила» партия Головы – одной, как известно! – была написана для хора из двадцати мужских голосов (впрочем,

называют иное число), однако на сцене Большого Театра Голова могла вместить только трёх мужчин. И сделалось по сему. Плюрализм в одной голове. И это вполне возможно – в театре, в музыке. В жизни это называется идиотизм. Помимо МЫ и кто МЫ? – возникают и другие вопросы, самые простые из сложных. Кажется, что мы и рождены для задавания подобных вопросов, как спартанцы рождались для битв, а цыганки – для воровства. Но ведь мочи уж нет дожидаться ответа на измусоленный взрыд: для чего рождается российская интеллигенция? Нет ответа. Они, интеллигенты, сами себя ищут: кто мы? откуда? куда мы плывём? Ищут и ищут. Не находят. И весь народ отрывают от жизни, от дела, втягивая людей в свои поиски. Теперь вот – ищи вопрошальщика не в поле, а на льдине плывущего. Куда? Зачем? Для чего?.. Две с половиной тысячи лет назад этот вопрос был, кажется, решён раз и навсегда. Спросили тогда у философа Анахарсиса по кличке Скиф: «Кого в мире больше – живых или мёртвых?» Вопросы бывают разные: серьёзные, наивные, умные и вовсе дурацкие. Поэтому Анахарсис не любил отвечать ни на какие вопросы. Точнее, на вопрос он ответил вопросом: «А кем считать плывущих?» И что сказал бы в ответ наш Александр Сергеевич?..»

Недалеко, впрочем, уплыл наш корабельщик. Сразу за поворотом реки Валютин стульчиком подгрёб к берегу, где уже стояла наготове, с работающим двигателем автомашина-газик типа бобик. И на том бобике пловец пострадал дальше, дальше... – то ли на собаках-оленях, то ли на поезде-самолёте, в новой мифологии о том ничего толком не сказано, однако вскорости приземлился в добром здравии и расположении духа в столице нашей Родины городе-герое Москве. Москва помнит своих героев.

6. На вахте

– Без пропуска не пуццу! – говорит Фома Михрюткин на вахте завода «Эмальпосуда». – Не положено!

Дирекция выдала Фоме похвальную грамоту за достигнутые успехи в социалистическом соревновании, не дожидаясь конца года и даже квартала. Просто-таки невозможно было не отметить доблестный труд товарища.

7. Миг Авроры

Большой Бэмс и Хризантем, как известно, разошлись после Ночи Поэзии мирно, без двоевластия. Первый двинулся в Дом со львами и начал реорганизацию Союза писателей. И в числе первых лиц он пригласил в кабинет Аврору Крейсер.

– И что тебе снится, Крейсер Аврора? – спросил тонко и нежно.

Аврора вытянула из лифчика бумажку и принялась было озвучивать литературно-критические кондиции. Большой Бэмс оборвал решительно.

– Стоп, Аврора! Остановись! Говори мне как либерал либералу, а не бумажку читай!

– Не могу.

– Попробуй.

– Хорошо. Как сказал Маяковский.

Свернула бумажку самолётиком и запустила его в полёт через форточку.

– Видел?

– Ну.

– И больше я ничего не скажу. Понятно?

– До скольких пор?

– А до столькох, покуда мы с тобой, как демократ с демократом, не решим полностью и окончательно принципиальный вопрос: почему спёкся, как блин, Ферапонтий Пилатов? Почему он не находил, блин, общего языка с народом?

– Это очень интересный вопрос, – сказал Большой Бэмс. – Садись, Аврора, напротив меня и вываливай свои соображения начистоту, как хороший коллега хорошему коллеге.

Села Аврора – и вывалила: руководство писательской организацией есть дело тонкое и деликатное, а Ферапонтий – что? Ферапонтий не осознавал! Ферапонтий и спёкся-то только потому, что в историческом плане не понимал таких простых и естественных, но в то же время таких святых в России, даже, можно сказать, священных понятий, как Матерщина и Батьковщина, в которых, по-гамбургскому счёту, – наше всё, прошлое, настоящее и будущее, смычка не только города с деревней и колхозного крестьянства с рабочим классом, но и диалектического материализма с историческим, между которыми по недосмотру и персональному распиздяйству марксизма-ленинизма образовалась щель, чистая пропасть, чёрная дыра, а между тем в России, идущей, как известно, своим путём, Отечество и Матерщина, два родовых парных понятия, вроде мужчины и женщины, существуют вопреки всем иноземным учениям и манифестам, живут и развиваются в настоящем, без примесей, диалектическом, почти что супружеском, кровном единстве и, время от времени, в борьбе друг с другом, как бы за семейным столом, как бы милые бранятся – только тешатся, вот вам и вся борьба противоположностей, причём с незаслуженными стонами в двухстороннем порядке, но! то-то и оно-то, что этим стонам верить нельзя, это ложь, лицемерие, двурушничество, фарисейство, вертикальный марксизм и параллельный оргазм, так что, в чистом виде, в единстве и борьбе, Отечество и Матерщина для русского сердца и для русской души – священны и неприкосновенны, они суть единственное в мире, что достаётся людям даром, как дар божий, на халяву,

без политической экономии, классической философии и научного коммунизма, без никакой прибавочной стоимости... Понял, коллега?

У Большого Бэмса широко-широко раскрылись глаза.

– И это всё... мат?

– Это мотив!

– Ну, Аврора, ты даёшь! – сказал ББ и хмыкнул. – Мотивация мата, значит?

– Оправдание мата как явления, и явления как женщины, и женщины как матерщины, – сказала Аврора и подмигнула.

– Сойдёмся! – бодро сказал ББ и засмеялся. – Ох, Аврора, нет на твою гипотезу нашего классика Валютина!

– А что мне ваш Валютин? Он себе прощание с матерщиной давно сочинил, ещё до кавалера золотой звезды, а нынче так и с отечеством распрощался. Уплыл Валютин.

– Ну, и ладно, и фиг с ним. А теперь, Аврора, давай с тобой про реорганизацию поговорим, как товарищ с товарищем, откровенно.

И поговорили они по-товарищески. В результате переговоров Большой Бэмс и Аврора Крейсер исключили из Союза писателей во-первых, самих себя; во-вторых, всех остальных; в-третьих, создали Новый Союз писателей; в-четвёртых, приняли в Новый Союз писателей, во-первых, друг друга, то есть самих себя, во-вторых, – а кого ещё? Решено: опираться на несоюзную молодёжь, даже если этой молодёжи уже за сорок лет. Особый акцент в переговорах сделан на двух персонах: Феликсе Хворобушкине и Толе Кобенкове, поэте-кинологе под артистической кличкой Куба. Первый из них, Феликс, в летне-осенний период глубоко задумался над вопросами литературно-творческой и личной жизни, осудил свои комсомольско-молодёжные whoisms, которые в последнее время, то есть в период пребывания в застенках КГБ, МВД и, наконец, в покоях Жёлтого Дома, – эти вот легкомысленные whoisms трансформировались в серьёзный, даже чересчур серьёзный, головокружительный русский вопрос: «Кто есть мы?», ответ на который Феликс нынче нашаривает и эпизодически впадает в состояние прогрессивно развивающегося удручения, и это удручение вот в чём конкретно выражается: а) заявил о своём неучастии в так называемом литературном процессе, причём, сказано это было с байроническим видом, скрестив руки на груди, как Печорин, и сидя на корточках, как Демон с картины Врубеля, то есть в позе стопроцентного зэка на тюремном дворе; б) возжелал Феликс взять в частную собственность городской трамвай маршрута №1 «Желдорвокзал – Рынок» – для путевых размышлений о смысле жизни вкупе с пассажирской пользой; всё это странно, но! – в Новом Союзе писателей такие люди нужны – для внутренней жизни, духовно-мыслительной. Вторая персона – Куба. Малоизвестный, в сущности, поэт-кинолог, Толя Кобенков после Ночи Поэзии, когда он читал стихи о Джиме, собаке артиста Качалова, стал маленько известным, но буквально на днях бросил

пить, перешёл на прозу и – загадка! детектив-таки! – получил звание Почётного Интеллигента Монгольской Народной Республики с вручением диплома, соответствующей верительной грамоты и персональной юрты: вчера вручено! лично, из рук в руки – от товарища Гуррагчи, монгольского министра культуры, бывшего журналиста, который в международном плане освещал пуск в эксплуатацию высотного Кошкиного Дома, и вот недавно заявился в Хибаровск от имени и по поручению, а Кошкин Дом – тью-тью! один скелет динозавра от того дома, хорошо хоть – Куба подвернулся для дружественной акции, всё как-то странно это – но! в Новом Союзе писателей такие люди нужны – для международных контактов в смысле внешней политики и творческих отношений...

– Хорошо сидим, Аврора! – воскликнул Большой Бэмс.

– То ли ещё будет, – ответила Аврора и подмигнула.

8. И стали они как дети...

Два дня после памятной Ночи Поэзии простоял Жёлтый Дом обезлюдевшим. На третий день вернулся к прежнему состоянию, наполнился погулявшими на воле голубчиками, да ведь кое-кто из них ещё и друзей-приятелей с собой привёл – для душевно-полезного времени проведения. И тесновато стало. В складских подвалах произведено было поисковое ворошение всякого инвентарного барахла, извлекли из забвения койки, тумбочки и прочую рухлядь, почистили, отмыли, стали устраиваться, налаживать и расширять хозяйство, особенно пищеблок, остававшийся в образцовом виде попечением самих голубчиков и их городских родичей и знакомых.

Конечно, новое хибаровское руководство в лице Хризантема не забыло и про доктора Штукарского. Навестил Хризантем, поговорил ласково и уважительно, но как-то так неловко, торопливо и неуклюже предложил Штукарскому после скорейшего выздоровления пост генерал-губернатора с совмещением должностей председателя Совета рабочих, крестьянских и интеллигентских депутатов трудящихся Хибаровского края и городского воеводы. Штукарский ничего не понял. Хризантем смутился весьма. А медсестра Бабореко, состоявшая при докторе, будто часовой на посту, решительно вмешалась:

– Приём окончен.

Встревожилась медсестра Бабореко: приходят тут какие-то, вмешиваются, предлагают биографически немислимую жизнь, как это так? чего они тут, посторонние, распоряжаются? И весь день проходила она в сумрачных, нехороших ощущениях, в тревогах. К вечеру успокоилась. Ночью видела интересный сон. Архимедик Штукарский его тоже видел, тот же самый. Сон – на двоих. Бежит будто бы он, ног не чуя и тверди земной под собой не притоптывая, всё быстрее и быстрее, а навстречу ему женщина стремится... И Бабореко во сне

видит: бежит она, ног не чуя, а навстречу ей – мужчина, всё быстрее и быстрее, но это только кажется, что быстро, а на самом деле – как в замедленном кино, где быстрее уже нельзя, даже если очень хочется, такое кино, что и сон кончится, ежели во сне всё получалось бы, как в жизни и с желаниями жизни, с её хотениями... И вот уж остаётся Архимеду совсем немного, ничтожная малость пространства до сретенья, и он разводит руки для объятий, и вдруг мысль сверкнула: ай, боюсь, не надо руки распахивать, крыльями станут, взлечу, пронесусь мимо... А Бабореко будто бы говорит мужчине с распротёртыми руками: не бойся, дурачок, не взлетишь, не отпущу... – и вот они уже вместе, руки в руки...

– Штукарский, – говорит Софочка, – у вас совершенно открыты глаза. Вы уже не спите?

Они встали с казённого ложа, взяли за руки и так вот, обручённо и молча, ушли из Жёлтого Дома.

Вахтёр Лазарь Митинг, выйдя за дверь, долго смотрел им вослед, покуда они не скрылись за углом. Улыбнулся и сказал:

– Прямо как дети...

9. Оправдание Филофея

Из влажной глины с песком лепил Шадрин «Адама» – в эти дни. В центре мастерской, на скульптурном стане стояла ещё только одна ступня первочеловека, в натуральную величину, человеческую. На стульчике возле стана сидел Хризантем. А вокруг – вращался Шадрин, в инвалидной коляске. И говорил он гостю своему, вращаясь:

– Разве вам не жалко социализма?

– Жалко, – отвечал Хризантем. – Очень. Но что я могу, если он сам...

– Что сам?

– Он сам себя изводит под корень, подгаживает...

Шадрин, вращаясь, уже изложил Хризантему свои соображения о российской истории – в разрезе ваяния и зодчества, в особенности зодчества, и о колыбели революции говорил, и о Смольном дворце архитектора с расстрельной фамилией, и подрядчика того строительства вспомнил: получил за труды орден – да и удавился до смерти на орденской ленте, потому как не ордена желал в награду, но прибавки к жалованью... – тенденция, однако! – и стоит ныне Смольный как памятник той тенденции...

– Тенденция! – сердито урчал Шадрин. – Но когда коммунистов стали открыто ругать, мне их стало жалко, понимаете?

– Убогих да осужденных всегда жалеют, – сказал Хризантем.

– Но зачем они срали в вазы?!

И дались ему эти вазы – главный, в разрезе искусства, грех большевиков, когда они захватили Зимний дворец и распорядились не по

назначению этрусскими, северскими и саксонскими коллекционными вазами из собрания Эрмитажа: штурм – штурмом, власть – Советам, земля – крестьянам, вода – матросам... – но зачем гадить в вазы, сдирать на портянки бархатную обивку мебели и резать штыками живописные полотна знаменитых мастеров? – этого Шадрин простить диктатуре пролетариата не мог.

Долго уж они беседуют, Шадрин и Хризантем. Последний, как представитель нового краевого руководства, рассказал о задачах своей партии – партии Преображения России, именно Преображения, а не Возрождения, как предлагали многие, потому что, полагал, возродить российское былое самоубийству подобно. А Шадрин в ответ тут же заявил о необходимости двухпартийной системы, объявил себя в оппозиции к «Преображенскому полку» и провозгласил манифест своей партии, задуманной им вначале как Партия Дураков, но к настоящему времени у неё другое название, более приличное: Мещанская партия. Шадрин признался, что даже в словарях покопался, доискиваясь до советско-ругательного «мещанина», и выяснил его древнее польское происхождение от мяста-города, откуда и пошло позднейшее именование мещанином горожанина низшего сословия, и то пренебрежительное значение, которое мещанин получил в российском девятнадцатом веке как обыватель с ограниченными интересами...

– Несправедливо! – возмутился Шадрин. – Как попадётся иноземное словечко на русский язык, так и перевернётся шиворот-навыворот. А я лично возлюбил мещанина, выскочившего из мяста. Человек, значит, на своём месте, и ничего более. Так?

– Вообще-то, – пробовал возражать Хризантем, – мещанство это западничество и индивидуализм. А с ними – грядущий хам.

– Ну да? – взвился Шадрин. – Вы, значит, за соборность, за коллективизм! Но, как человек образованный, вы должны бы знать, что хам – он и есть хам, и никакой он не грядущий в будущем времени, он уже много раз являлся в Россию и всё почему-то в образе коллектива. Толпа в Зимнем – не хам с коллективной душой и коллективными пятками? И зачем они срали в вазы?

– Позвольте, – сказал Хризантем, – но какой же индивидуализм у мещанина, ежели он живёт с постоянной оглядкой на соседей, чтобы жить не хуже других? Представьте себе, говорит супруга супругу: вот у Петровых пианина куплена! А супруг отвечает: а нам-то она зачем? ты, што-ль, играть собралась? И супруга аргументирует: а пуцай стоит, для красоты, зато не хуже, чем у Петровых... Вот вам и весь мещанин – с толпёжной психологией.

– А это, – горячился Шадрин, – потому что в России никогда не было свободного человека, индивидуала с правом быть самим собой! Зато была ваша соборность, община, артель, колхоз. Зачем они? Да только как способ выживания, а не жизни. Приспособленчество! А чтоб люди жили в колхозе и не вякали, так ту невольную соборность

взяли и объявили особым свойством русского народа, уникальным, нигде такого в мире, искони, дескать, и так далее...

Разволновался Шадрин. И по мере возрастания того волнения он вручную убыстрял резиновый бег колёс, всё быстрее и быстрее, кругами – вокруг Хризантема, и тот только поспеивал крутить головой, наблюдая круговращение.

– Да, – круговращался Шадрин, – ваш коллективизм – это кое-что. А что оно, это кое такое? Условия для жизни на халяву. И вот вам, как на блюде, опять это сладкое слово. Механизм халявы простой, доступный людям не только с законченным высшим образованием, как у вас, но даже с незаконченным средним, вообще низшим и вовсе никаким, кроме своего личного образования как биологического появления на свет: урвать – здесь, сейчас и сразу много – а дальше хоть трава не расти, с королевским лозунгом: после нас – хоть потоп. Не-е-ет! Так же нехорошо, некрасиво! А что же касается до российского мещанина с его желанием жить со своей особостью, своим миром – почему плохо и почему нет? Наш поэт-кинолог Толя Куба, между прочим, сочинил гениальное двустишие: «А почему бы не о быте, когда в него по шляпку вбиты?» – и я этот стишок даже в программу партии Преображения включил. Здесь стою. Здесь люблю и буду. Пусть даже и с оглядкой на соседей, что не всегда хорошо. Но опять же – традиция. Человек хочет жить по-своему, а соседи не пускают, и потому он продолжает жить как все, и получается усреднённость, эта самая ваша артель, где голову высунуть не могли и слова собственного не скажи...

Хризантем терпеливо выслушивал Шадрину. Он умел слушать терпеливо, научился, и когда учился, так и подшучивал сам над собой: далёкий от истины, но искушённый зубками ея молочными. Примерял историю – на себя: просторны ея одежды. И опять подшучивал – уже над возрастом своим – от сотворения мира: так кто же летами старше, старец Филофей или он, Хризантем? – и пугающе выходило: он, он самый, Хризантем старше Филофея: оба от одного корня, оба ведут родословие от первочеловека, но Филофей был раньше Хризантема рождён на четыре столетия, значит, и годов ему, от первочеловека до рождения, куда как менее, чем у Хризантема от первочеловека до рождения, к Хризантему ведь те три столетия присовокупляются, а коли за плечами такой возраст с опытом веков, знанием и мудростью тысячелетий, не исчезающих втуне, накапливающихся и приносимых в дар к рождению любого-каждого свидетеля своего времени, – так вот и должен этот свидетель – и Хризантем! – соответствовать возрасту, пережив Филофея на четыре века истории и узнав то, что неведомо было уму и сердцу средневекового монаха... – так складывалось! так дошутился Пламенный Революционер! нахально и дерзостно складывалось! – и порою этот складень вдруг встопорщивался с надменностью, но тут же и уходил в самоиронию, путано очень, и оставалось лишь восхититься тихой памятью о давно ушедших: эх, младенцы

неразумные, и что же вы можете, цари и смерды, знать о маразме?.. А Филофей-то с ушедшими был ближе по времени к Творцу! А Творцу – видней! У него, безмерно далекого, вся толща вселенская, вся сфера космическая – как линза, призма, окуляр, очки, лупа, стёклышко увеличительное, отрада детей и академиков... Всё видит! А человеку – мартышкины очки достались. История. Летописи. Апокрифы. И этот упомянутый Филофей... Надо же! Много раньше Филофея началась история, а вглядываешься в неё – и к слову упомянутого боголюбца монаха псковского упрёшься. Сказал в годы грозные четыре века назад: Москва-де Третий Рим, а четвёртому не бывати! – и что же? а все государи-славянофилы-историографы-патриоты ухватились за слово и пользуются до сих пор: святое дело! возвеличим Россию! – а ведь губили Россию, приближали конец её с каждым вершком величия, не зря в чеканной формуле катастрофического смысла, лишь половину смысла зря, слепые на один глаз, глухие на одно ухо – филофеевцы, погубители и Святой Руси, и монархической России, и имперского Советского Союза... А Филофей, толком непонятый, ведь и всамделишно напроорочил! И стала Москва такой, как Рим, но, значит, и рухнет так же точно, как Рим рухнул, как, обречённые к гибели, рушились все мировые империи, такова их судьба, и станет Советский Союз последней империей, и не будет после него иных, ни четвёртых, ни пятых, никаких, мир уже устал от империй, не допустит... А ваятель Шадрин, в сущности, человек хороший. Умный. Поймёт. Воспримет и пособит. Тоже, повидимому, малость искущённый зубками молочными. Программу Мещанской партии придумывает. Альтернативно. Это хорошо. Уже есть программа Партии Преображения. Копия в схроне, под пустым постаментом на Площади Падших Борцов. Аннушка снесла и на ниточке сопроводила бандероль в тёмные недра. Письмо в XXI век. В некотором роде, объяснение. Покаяние. Обращение. Принятое не безымянным большинством голосов, но исключительно одним лицом. С преамбулой и констатирующим вступлением – в Новый Век – о безуспешных попытках людей предопределить историю, и ведь перьев при этом предопределении было наломано больше чем предостаточно...

...о безуспешных попытках людей предопределить историю, и ведь перьев при этом предопределении было наломано больше чем предостаточно.

Маркс–Энгельс «Манифестом» нагадали человечеству лучезарное будущее бесклассового общества. Константин Леонтьев обозначил цикличность любой и каждой цивилизации – словно бы по временам года: созревание, цветущая сложность, старческое смесительное упрощение и умирание. Шпенглер в «Закате Европы» объявил историю общества аналогичной истории культур, равной, в свою очередь, жизни растения, которое возрастает, цветёт, вянет и умирает – вот и все цветочки-ягодки, и вся его, Шпенглера, историософия, дышащая, в отличие от

«Манифеста», смертью и насчитывающая в истории человечества 8 (восемь) культур, начиная с древнеегипетской и кончая нынешней, западно-европейской, или фаустовской, на смену которой придёт новая, девятая по счёту, русско-сибирская... Отцом всех этих философствований был Гегель, заложивший веру в исторический разум краеугольным камнем своей диалектики и исторического мышления. Шопенгауэр возражал: Гегель – шарлатан! никакого разума, прогресса и закономерностей в истории нет! есть лишь карнавал со сменой масок, декораций, костюмов, меню блюд на столах, и история этой карусели равна самой себе, одна и та же, неизменная – как безначально-беспричинная неразумная сущность всего сущего в мире: воля, чёрное пламя мира.

Полюбопытствуешь этак – и вздрогнешь: страшиновато. Но страх, впрочем, проходит, вопросы остаются: куда идём? к прямому концу – путём стрелы иудейской? или по замкнутой кривой – греческим кругом? что верней из моделей исторического процесса? может – соединение стрелы с кругом? но из этого получается спираль Гегеля: хоть и кругами, но всё дальше и выше... Рушатся и проваливаются теории – одна за другой, да и чёрт с ними, с теориями, – вера в разум рушится, вот беда! А тут и служанка госпожи истории к вам подсказывает: политика. У политики – власть. У власти – аппетит. Аппетит безграничный, ненасыщаемый. Политика уже к вам и в постель залазит, и за обеденный стол садится. Политика отлучает человека от истории, относясь к нему как к винтику, ничтожней винтика. Цена жизни отдельного человека – ниже нуля, меньше цены отдельного дерева на лесоповале. Тарификаторы в этой истории – генсеки-дровосеки: лес, щепки... И вот вам, как на ладони, вся ваша история: политизированная, навязанная, лживая, безальтернативная, объявленная единственным и непогрешимым национальным достоянием, разукрашенная, размалёванная, как старая блядь, и смердящая, точно труп. Dixi.

Артикул второй:

Причины забвения подлинной истории России заключены в её исторической мифологизации. Ещё к царствованию Ивана Третьего, к началу XVI века, относится складывание Большого Московского Мифа, суть которого проста, но величава, как указательный палец: единственно возможное и единственно законное государство на Руси – Государство Московское. Старец Филофей скрижально оформил миф, который и по сей день определяет российский взгляд на собственную и всеобщую историю. Пётр Великий приложил к тому властительную руку, провозгласив Россию надеждой всего просвещённого человечества: просвещение, вышедшее из Константинополя-Второго Рима, обошло Европу и, не сыскав достойного пристанища, избрало Россию как православную наследницу Византии местом, где можно остаться на веки вечные. В этом и состоит главная идея Большого

Московского Мифа. В целях расчистки местечка для его прочного обоснования всё нерусское и неправославное искоренялось. Тому давались разные объяснения – в разные времена. Царь Алексей Михайлович якобы боролся со всем бесовским, чужеродным и враждебным истинно православному государству. Император Пётр Великий противостоял российско-туземной неправославной «чужне» как в корне чуждой идеям просвещённой Европы... Так и расцветал этот Большой Миф, до сих пор цветёт и пахнет – по просьбе трудящихся: на всей территории Советского Союза, от Прибалтики до Тихого Океана, никто никогда не жил, кроме русских, и никаких цивилизаций, никаких культур, кроме русских, там не было. И привыкли люди к этой неправде, свыклись настолько, что уже и правда становится им всем как-то даже не нужна. Dixi.

Артикул третий:

Ломоносов лозунг провозгласил: «Могущество российское Сибирью прирастать будет». Практический лозунг, полезный, колониальный по сути, по образу и подобию: британское могущество Индией прирастать будет, французское – Африкой, испанское – Южной Америкой... – чего уж там мелочиться!

Британия и в Поднебесную империю рвалась. А в то время провинившийся казак Ермак царю Ивану Грозному подарок сделал: самовольно Сибирь открыл. Царь доволен: как же! российский козырь в сопернической игре с Британией – раз! изобилие конвертируемой валюты – пушнины, то есть – два-с! золото позже будет валютой, а раз так, то чтоб ни одна соболя шкурка, ни один моржовый клычок, ни одна золотая крупинка мимо государевой казны не проскочили! Контроль и ещё контроль, и ещё много, много раз – контроль! Одним путём – через таможню. В то время поморы-архангелогородцы, наработавшие многовековой навык ледовых плаваний, вызвались, прежде атомного ледохода «Ленин», освоить перспективный торговый путь: северными морями до устья сибирских рек. Куда там! Под страхом смерти запретили им даже думать о новых навигациях: в Ледовитом-то океане таможню не поставишь! – и не стали поморы в государственные дела нос совать, и пошли торговые караваны по дикому сухопутью, через болота и буреломы, в Верхотурье, где ту таможню, единственную на весь путь, учредили. И поплыли сибирские богатства в Московию, а в Московии уже приглядывались, чем с Сибирью отдариваться, и додумались быстро: ссыльными да ка-торжными! а пуцай даром руду копают, грехи замаливают.

Завоевание Сибири условно можно представить двухэтапным процессом. Первый: навязывание инородцам православия, русского языка и культуры. Второй: самих русских убедить, что никакой до-русской культуры в Сибири не было, что Русь там была всегда. Dixi.

Артикул четвёртый:

Главная особенность Сибири – её бесстатусное существование, ежели не считать ханство Кучума. Вот и валяется она веками – медвежья шкура, расчерчиваемая по произволу державной власти на генерал–губернаторства и совдепии, перечерчиваемые время от времени и облагаемые всесоюзными ударными экономическими проектами: ГУЛАГ, целина, гидроэнергетика, алмазодобыча, нефтегазопромыслы, КАТЭК, БАМ, поворот рек... Все проекты – в пользу Москвы. Сибири, этому далёкому Подмоскovie, отчуждённому и бесправному, – шиш. Политика сугубо колониальная. Впрочем, у Сибири, как части Империи, есть две особенности, которые отличают её от других мировых колоний. Первая: Сибирь можно считать продолжением Империи хотя бы потому, что их не разделяет море, и потому русский земледелец, уходивший на восток, оставался русским земледельцем. Вторая: все Колумбы и Кортесы открывали новые земли для будущих колоний по воле своих государей; колонизация же Сибири исполнена без правительственного участия частными лицами, теми, которым и тесно, и тошно, и опасно было проживать в Москве, истоптанной и порядком загаженной государевыми людьми; то были крепкие мужики, рисковые, авантюрные, положившие в Сибири основы русской жизни. Dixi.

Артикул пятый:

Реакцией на колониальную политику России стали идеи Сибирского областничества. Один из идеологов движения Григорий Потанин считал, что при наполнении Сибири людьми центр России неизбежно переместится в Сибирь. Он так обосновал свои умозаключения: если есть «малая Родина», то подразумевается, что есть и «большая»; та и другая имеют свой патриотизм: большой и малый, общерусский и местный; следовательно, если общерусский патриотизм расчленяется на местные, то нет греха в том, что и вся русская территория как совокупность мест должна делиться на отдельные области со своим местным патриотизмом. Наивно несколько, но логично. Логично и то, что расчленение державы неминуемо. Что задерживает этот процесс? Сонливость жизни общества и административные запреты центра даже говорить на эту тему. Интересен в этом смысле исторический факт. Американский посол Коллинз, немало изучивший Сибирь в поездках по ней, в 1857 году от имени своего правительства предложил русскому царю построить на американские деньги железную дорогу из Иркутска в Читу. Царь немедленно резолюцию наложил: «Сооружение это поставит внутренние интересы края в зависимость не от метрополии, но от инос–

транцев». Большой патриот, российский царь! Малые патриоты в октябре 1917 года во главе с Потаниным развернули бело-зелёное областническое знамя на Первом Сибирском съезде под лозунгом: «Да здравствует автономная Сибирь!» – понятно: как составная часть Российской Федеративной Республики. А через считанные дни грянул большевистский переворот. Большие патриоты, эти большевики. И потому областничество рухнуло. Летом 1920 года Потанин умер в Томске. Последними его словами перед смертью были: «Умираю. Жаль. Хочу жить. Интересно, что будет с Россией...» Когда он родился, был ещё жив Пушкин. Когда умер, шли коммунистические субботники. Сожрала империя областника, малого патриота! Но намного раньше она сожрала сподвижника Потанина – Николая Ядринцева: осознав, что его мечтам о сибирской воле никогда не сбыться, он издал в Париже книжку, в которой написал о «ничтожестве России», а летом 1894 года принял смертельную дозу опия. Опиум сущь: священны и неприкосновенны российские колонии. Dixi.

Артикул шестой:

В России, по сути, две нации: москвиты и сибиряки. Весь российский бюджет делается в Москве на полуфабрикатах сибирского происхождения. В Москве – 80% денег, в Сибири – 80% природных богатств страны. Процесс жизнедеятельности России прост и изыщен, как у амёбы: кончаются московские деньги – продаются сибирские богатства. Московия позволяет Сибири жить только потому, что страшно зависит от земли, которую даже сибиряки не могут толком обустроить и заселить: центр не позволяет. И вот уже – не граждане они. Полуграждане. За их полугражданский счёт Москва пытается выглядеть более-менее прилично на фоне европейских столиц. И встаёт обида-беда! Советское культурное единство народов? Нет его. Москвиты присвоили себе право говорить от имени всей России. При этом неважно, кто они, эти большие патриоты-патриции: славянофилы, западники, евразийцы, либералы, консерваторы, демократы, почвенники, язвенники... – они москвиты, этим всё сказано, и им нужна такая же Россия, как и весь Советский Союз: с централизованной столичной культурой, всё определяющей и всё диктующей; их вполне устраивает нищая и пришибленная культура российских окраин, их интеллектуальная неразвитость. Всё это лишь на руку Москве. Провинции не должны думать, а то, глядишь, ещё и додумаются... Но! Гонка вооружений – а не ударные пятилетки! – оживила-таки Сибирь дерзкими умами. Эта гонка в военном соперничестве с потенциальными врагами СССР хоть и пожирала богатства Сибири, но в то же время она требовала интеллектуального воспроизводства. И что же из этого получилось вопреки воле Москвы? А то, что советская милитаризация силой втолкнула сырьевой

придаток империи в цивилизацию. И на том спасибо. Ибо: природные богатства и сам по себе крепкий народ в любой стране ровно ничего не значат, если жизнь территории не дотягивается до цивилизованного уровня. А из столицы ещё и другое единство народа провозглашают: национальное. «Новая историческая общность – советский народ!» И этого единства нет. Достаточно упомянуть лишь одни «колбасные электрички» в столицу и «талонную войну» городов. Сегодняшних русских объединяет лишь вражда к другим народам – со взаимностью. Да ещё пресловутый еврейский вопрос плюс масонский заговор... А национальная идея, между тем, проста до удивления. Прежде всего надобно подумать и понять: как стать счастливым и быть им. Понять всем – на уровне коллективного бессознательного: кто такие «мы» и есть ли «мы» вообще? Dixi.

Артикул седьмой:

Товарищи! Надо смотреть правде в глаза: грядет распад государства. Такой распад, после которого наше историческое бытие окажется исчерпанным, и мы перейдём в разряд безгосударственных народов и «мёртвых» цивилизаций. При этом специфика российской государственности практически исключит сохранение наших народов даже на безгосударственном уровне. Все народы, в первую очередь русский, окажутся в сумятице социальных, военных, криминальных, демографических, экологических и даже антропологических катастроф – погружение в хаос и разноплеменный геноцид по-африкански. Dixi.

Артикул восьмой:

Сибирские областники считали создание «сибирской нации» почвой для новой государственности. Возможно, в начале XX века это было правильно. В конце века – поздно. Основывать нужно не государство наций, но государство граждан. Исторические примеры есть: США, Швейцария, Сингапур. Эти страны складывались не на национальной общности, а на единении граждан на определённых принципах под началом конституционных законоположений. Что это за принципы? Равенство людей перед законом и друг перед другом. Национальная, религиозная и культурная терпимость, ориентация на обмен и взаимодействие культур. Демократический и правовой характер государства, равный авторитет трёх властей: законодательной, исполнительной и судебной. Священное право собственности. Неприкосновенность личности, жилища, имущества. Право свободного перемещения. Тайна голоса, денежного вклада, переписки. Где такие принципы ещё можно, ещё не поздно воплотить в жизнь? В Сибири! Сибиряки это сделают. Потомки крестьянских переселен-

цев, бежавших старообрядцев, ссыльных и каторжных, столыпинских землепашцев, узников лагерей... поляки, русские, немцы, татары, украинцы, буряты... – не тесно им! Dixi.

Артикул девятый:

Товарищи историки! Нужен пересмотр истории русского завоевания Сибири. Нужно сломать эту фанеру, эту ширму, которая отделяет истину от лжи, гласящей: русская экспансия на Восток, якобы, была лёгкой, бескровной, прямо-таки радостной и по просьбе трудящихся... Изумительная изюминка российского Мифа! Но на самом деле не было того, ещё киевского: придите и владейте! – не было! Была более чем 200-летняя история войн, кровавого покорения Сибири. Зачем нам иметь стержневые точки в нашей истории?! Пересмотр её нужен для будущего. И для настоящего – поскольку обоснование идей для политических проектов черпается из прошлого. А между тем официальное прошлое талдычит нам: сибиряки жили и живут в слабонаселённой заснеженной стране, там сплошная целина и медведи, – так, значит, это судьба у людей такая, и ничего тут не поделаешь, и нечего им жаловаться и требовать лучшей доли...

Товарищи сибиряки! Не верьте легендам и московским мифам! Неправда: что заснеженная Сибирь годится только для размещения карьеров, рудников, заводов, в лучшем случае, с вахтовым способом производства или с убогим рабочим посёлком; что только в Москве может быть российский центр с финансами, образованием, культурой и т.д.; почему – не Красноярск? кое-кто называет Ленинград; проблемный город: он не простит Москве того, что оказался на задворках, он стал ущербным, с комплексом неполноценности, из которого неизбежно вытечет шовинизм, озлобленность, ненависть, чернота, мрак... Ясно: всякому паразиту, в конце концов, придётся туго, когда он высосет все соки из тела, на котором живёт. И поэтому Россию надо спасти от Москвы, а Москву – от самой себя.

Товарищи политики! Большой Московский Миф сыграл свою роль в становлении и укреплении России. В XVII веке России хватило сил для подчинения громадной территории. В XXI веке сил не хватит даже на удержание того, что досталось в наследство. Сибирь будет последней колонией СССР. Если будет продолжаться безумная колониальная политика, то восточные регионы удержать в России будет невозможно. Dixi.

Артикул десятый:

Я – не патриот России, скроенной по лекалам империи Габсбургов, той историко-географической фигуры, которую всё время корёжило то с одного боку, то с другого. Я хочу жить в государстве

его гражданином – и больше никем. Я хочу жить в государстве, где смогу избирать в управление его первых лиц и сам претендовать на избрание. Я хочу жить в государстве, где личная собственность священна и неприкосновенна более, чем границы, а граница не будет заперта «на замок». Я хочу жить в государстве, где в мой дом никто не войдёт без спроса, а судью будут уважать больше, чем кого-либо, и называть «Ваша честь». Я хочу жить в государстве, где культура не делится на центральную и местную. Dixi.

Артикул одиннадцатый:

Был! Был, по крайней мере, один пророк в своём отечестве: старец Филофей. Нет вины на нём. Беда. Обнобоко понятый, стал он первых во святых просиявших, а чрез века сделается Иудой нарицательным. Да и нарицание то ложно. Что Иуда? Первый и любимый ученик Христа, пошёл он добровольно на вечное проклятие ради последней просьбы учителя: поцелуя в саду Гефсиманском, после которого и началось, по сути, земное сотворение небесного бога, а верующим не было дела до сговора, договора, завета, заветования, до тайны последнего урока с вечным домашним заданием, преподанного учителем ученику и учеником – учителю, и вот, нет Иуде забвения, всё-то трывдят про тридцать сребренников, про предательство, про выдачу стражникам Христа тем поцелуем – это Христа-то, Иисуса, исходившего всю Галилею и известного в лицо всем и каждому, а вот стражники-то что? не узнали? вот фокус-то... И всё – песок сквозь пальцы. И время вышло – в часы песочные.

Всё было впереди.

Всё было.

Всё.

.

Всё.

Всё будет.

Всё будет впереди.

Dixi.

Хризантем.

– Вот вы говорите про артель, – ответил Хризантем Шадрину. – Да какая же это артель, когда я имею в виду сообщество граждан? Но что такое, в свою очередь, гражданин? Это тот самый горожанин, о котором вы мне только что говорили. И нет между нами спора. Не так ли?

– Выходит, опять мещанин? – Шадрин остановил кружение коляски, он не ожидал такого поворота и был чуть ошеломлён тем, как ловко закруглил разговор его собеседник.

- Выходит, полный и безоговорочный мещанин.
- Тогда сойдёмся, гражданин оппонент! Но всё же у меня остаётся больной вопрос...
- Зачем они срали в антикварные вазы?
- Ну да!
- Простите их. Ибо не ведали, что творили. Они не знали античного искусства. Они не знали ни Древнего Рима, ни Греции, ни этрусков. Они вообще думали, что вся история только с них самих начинается. А история, слава богу, началась раньше.
- Так что же у нас здесь будет? – спросил Шадрин.
- А давайте не будем гадать.

10. Ворожейное предприятие

– У меня к вам две проблемы, – сказала комсомольская Ляля Вандее Властьевне Попадейкиной. – До каких пор Толя-Коля будет, как последний дурак, шариться в партизанах? Вторым вопросом меня интересует будущее комсомола.

– Не спеши, дева, – ответила Вандея Властьевна. – Проходи, садись, будем гадать не наугад, а по науке.

В комнате с занавешанными окнами стоял густой душный полумрак. На столе горела свеча. Дымились в бельевых прищепках чёрные тонкие палочки, источая чарующий аромат сандалового дерева. В зыбком свете всё казалось Ляле загадочным, волнующим, судьбоносным: и сама Вандея Властьевна в фиолетовом халате и с папиросой во рту; и чёрный кот с жёлтыми глазами, размеренно, чрезвычайно сосредоточенно шагавший по диагонали комнаты взад-вперёд, взад-вперёд; а ещё – рога, торчащие из белых черепов: лосиные, козлиные, бараньи... – рога, рога, рога... Свет дрожал на стёклах книжного стеллажа. Тёмно-синие корешки пятидесяти пяти томов сочинений великого Ленина сливались в единую плоскость и выглядели картой звёздного неба: золото в ультрамарине, астрономия, астрология, пути господни...

– На все вопросы отвечает Ленин? – сипло спросила Ляля.

Вандея Властьевна покачала головой с обиженным надуванием губ:

– Пятьдесят на пятьдесят. Однобоким оказался наш Ильич. Одним полушарием мозга соображал, а другое – в ауте. А мы так верили, так верили!

– Ой, и что же будет? – пискнула Ляля.

– А вот это я у тебя, дева, хочу узнать, что будет. Я сама, блин, уж вся извелась без идеологии. Как жить, на что надеяться, во что верить?

– Значит, я напрасно пришла?

– Не напрасно, дева. И хоть Ленин нам не выручка в ворожейном деле, зато мы пойдём с тобой другим путём. Народным. Ста-

родедовским. Точнее, старобабкинским. По вектору чёрной и белой магии. Рюмочку не желаешь, дева?

– Да как-то не знаю...

– Я знаю. По рюмочке, блин, пропустим, не помешает, у меня шоколадка «Золотой ярлык» есть, покурим, поболтаем по-бабьему делу, а потом я тебе Толю-Колю заговором верну в дом, на законное место...

И пропустили. А потом Вандея Властьевна строго приказала:

– Глади на свечу, дева, и повторяй за мной. Встану я, раба божья Ляля, крестом благословлюсь...

– ...крестом благословлюсь, – повторяла Ляля, – ключевой водой умоюсь со пёстрых листьев, со торговых гостей, со попов, со дьяконов, с белых грудей, с мужних мудей... Ой!

– Чего ой! – повысила голос ворожея. – Ты, дева, не ойкай. Ты верь мудрости народной.

– Вы мне не про это, Вандея Властьевна... Мне это по-барабану!

– Не пизди, дева! В бабьих делах – один барабан...

– Не надо! Вандея Властьевна, я отказываюсь от чуждого нашему народу секса! Потому что у меня болят уши...

– Остановись, дева. Вот я тебя сейчас просвещу, дурочку...

И просветила – про древних русичей-язычников, которые матерной бранью отпугивали сглаз и нечистую силу, и про то, что вся беда современных россиян не в том состоит, что Ленин попутал, а в том, что крещёный народ, матерясь по-прежнему, начисто позабыл, для чего предназначен русский мат, данный людям как дар божий, лучше всяких лекарств, сильнодействующее средство от любых болезней – с язычества, а православная церковь взялась язычество уничтожать, и мат оклеветала, а зря, напрасно, он всё равно живёт, и вообще, если уж на то пошло, откуда же, как не из мата, вышел весь марксистско-ленинский материализм? то-то, дева!

– И если бы это полностью зависело от меня, – заключила просвещенная Вандея Властьевна, – то я отпускала бы людям матерную ругань только по рецепту. Ну, что? Будем дальше ворожить, дева?

– Будем! – сказала Ляля твёрдым голосом, и в глазах её отразился космос, синий с золотой крапинкой, в свете свечи.

– Ну, будем так будем. Я ради тебя, дева, всех колдунов зассу своим заговором. Тут тебе и Толя-Коля будет, и светлое будущее комсомола. Повторяй за мной. Лежит латырь-камень...

– Лежит латырь-камень, – отражала Ляля, возвращала Ляля чужие слова – через свечу в космос, – а на том латыре-камени стоит дуб булатный, а коль тот булатный дуб стоит крепко, то столь бы крепко стоял белый хуй, ярый хуй, плоть-жила стоенатая на женску похоть, на полое место во веки веков. Аминь.

– Ну, как? – спросила Вандея Властьевна. – Полегчало тебе, дева?

– Это интересно, – ответила Ляля. – Я подумаю.

– Подумай, дева, подумай. А давай-ка, блин, ещё по рюмахе за успех нашего богоугодного предприятия!

11. Аргентина манит негра, ага!

Оказывается, мы в одно и то же время, время утренней свежести, по одному кругу ходили. Я и Сочинитель. Сочинитель и я. По одному кругу, но в разных направлениях.

– Н-н-ну! – сказал я ему, отключив вращение, кольцо замкнув.

– Ну и ну! – ответил он, включив вращение, отомкнув кольцо.

И мы разошлись – одним путём, в разные стороны.

Я полагал, что Сочинитель был убит горем, что: он всё собирался, собирается, да так и не может собраться с духом, чтобы написать большой рассказ, страниц на десять, а может и на все сто, почему нет? сесть, наконец, за стол, прижать задницу к стулу – и написать всё, что он думает о текущей жизни, и посвятить сочинение светлой памяти четырех апостолов словесности: Рабле, Свифта, Дефо и Сервантеса, они примут, а других и не надобно ему, Сочинителю, человеку свободному, устроенному к свободе не по собственному хотению даже, но по самой природе, он такой, он сольный, и земли соль, и моря-океана, соль каменотёса с повязкой на лбу, высокая нота соло кустаря-одиночки, избыточное счастье соловья, никто не мешает ему использовать серебряное горлышко по высочайшему назначению, по определению, не важно где, у бога в бороде, в саду Плюшкина, в саду Хлебникова, в слове-саду Тургенева и в городе-саде Маяковского в саду Саади в посадках Джугашвили в досадах де Сада в Садко детсада во саду ли в огороде где ж ты мой сад вешняя краса встретишь вечерочком милую в садочке в городском саду играет духовой оркестр... – да вот и кошка ещё не сцапала, и выстрел не сшиб, и соловьяха уже слышит переливчатые фиоритуры и через миг слетит к певцу на ветку, к высочайшему назначению продолжить жизнь, вот жизнь, жизнь и судьба, жизнь как деяния, а в жизни деяний он, ни строчки не написавший, всё пытается перехитрить судьбу, вся жизнь в хитах перехитривания, а после жизни жизни нет, судьба остаётся, но судьба в хиты не играет, по-прежнему, такое вот одиночество, блаженное, неоглашенное, застенчивая степень свободы, щепотка соли, крупинка, число л, условно бесконечная малость, без которой ни одна наука не обходится, и вдруг – сретенье, средостение, встреча с самим собой, внешнего обличья с внутренним голосом, чудно, уж в который раз такое: ода – один – ночь – очи – инок – инакий – икона – честь – есть – отче – естество – отчество – отчество – во! какое оно, одиночество-то... – только начать, а чем кончить-то?..

Сочинитель полагал, что я был убит горем, что: вот идёт человек по городу. Обручённый, обножённный. Вот пусть и будет тем доволен.

Пока идёт. Свободный. Это главное. А все помехи можно и должно соплёй перешибить. Но что есть сопля? По-Далю, сон, канал, штанина... Метафизика. Пора! Но что есть пора? Пора есть время: или – истории русского языка, или – романа. Но что есть роман? Русский роман характеров? Он кончился со Львом Толстым. Конец русского века требует другого романа. Романа состояний? Романа положений? Но что есть роман положений? Уж не положительные герои. Уж не как положишь, так и возмёшь. Что? Знаю, да не скажу. Положения обязывают. Уже знаю, чем роман закончить. Знать бы только, с чего начать?..

Третий, который не лишний, может предположить: вот, идут по городу два человека, и оба убиты горем. Очень хорошо. Пусть будет так. Условно говоря. Как на военных учениях запасников. Условный противник нанёс условный ядерный удар. Вы убиты. Условно. Оставьте ваше деревянное ружьё и настоящий противогаз, идите гуляйте. Вы убиты. Или без вести пропали. Но лучше – убиты. Определённой как-то, безусловно. Вы свободны. И вот они пошли гулять. Условно убитые. Безусловно, дураки какие-то: взяли и поверили в условность слова. Идут, интересуются: ну, и как тут у вас без нас? Поодиночке идут. В окружающей среде не обнаруживают никаких перемен. Курят на ходу. Пьют пиво. И в какой-то точке вдруг – лицом к лицу, лоб в лоб, глаза в глаза.

– Ага, – говорю, – Аргентина манит негра.

– Аргентина манит негра, ага, – отвечает встречный – с точностью наоборот, от первой буквы до последней.

И это озадачивает.

12. Подсказал Шишкин, передвижник, Иван Иванович

В редакции «Огней коммунизма» под руководством Геня Ивановича Будьтакова уже два часа обсуждали вопрос о переименовании газеты. Предлагались следующие названия:

Огни
Огоньки
Золотые огоньки
Зелёный огонёк
Зелёный свет
Зелёная улица
Улица
Уличная трибуна
Трибуна для всех
Ведомости
Утро новой жизни
Светлый путь
Всё путём!

*Хибаровские новости и
мировые репортажи...*

– Серебряная труба, – задумчиво произнесла ответсекретарь Анна Петровна Керн. – Звучно и романтично. Как призыв к атаке.

Будьтаков убедительно, раз за разом, опровергал все предлагаемые названия, и главным его аргументом был «перебор», который каждый из присутствовавших сотрудников понимал по-своему, но все вместе всё-таки соглашались с мнением редактора: да, чего-то такое есть, в смысле перебора, переборщивания...

– Опять перебор, Анна Петровна, – ласково сказал Гений Иванович. – Ну, сколько же нам можно перебирать-то, друзья мои? Прямо-таки, какой-то национальный феномен у нас с этими переборами, честное слово. Что с залпами «Авроры», что с атомными взрывами, что с утренними медвежатами в сосновом лесу...

– При чём тут медвежата? – спросила Анна Петровна.

– А картину Шишкина помните? Медведица с тремя медвежатами. Но медведица никогда не рождает больше двух. Зоологический факт.

– Может, третий приёмный? – сказал Зураб Ркацители. – Может, его маму убили? И что кушали в другой картинке охотники на привале...

– Может, может, у нас всё может...

– Медведь, – произнёс фотокор Ващенко. – Наш зверь, однако...

– Как ты сказал? Медведь? – подпрыгнул Гений Иванович. – Медведь! Кто за?

«Медведь» всем понравился.

– Наш ласковый миша, – задушевно произнесла Анна Петровна. – Воздушно и романтично. Как прощальный поцелуй.

13. Всё в порядке, всё путём, сойдёт и ладно, а по-французски - ça va!

Улица, фонарь, аптека... Блок мог бы очень прилично написать о нашем Хибаровске, о его городском пейзаже, о людях его и положениях...

Пришёл на фармакопейную службу заведующий аптекой и перед входной дверью в учреждение ощутил в членах некоторое беспокойство: что-то не то, но что не то? Он отошёл от здания на полсотни шагов и повторил пешеходное приближение. Внимательно на сей раз смотрит и видит: над входной дверью, на фронтоне, в лепном медальоне сова сидит – недвижимая, но живая, ушки на макушке, глаза как два жёлтых фонарика и мигают.

– Тьфу на тебя, нечисть этакая! – ругнулся заведующий.

Он всегда приходил в учреждение за пятнадцать минут до начала работы, чтобы лично проконтролировать прибытие на службу своих сотрудников. Никого, кроме него, ещё не было. Так что, последующее деяние заведующий выполнил самостоятельно – в целях санитарии и

гигиены.

Ведро с извѣсткой, швабра, лестничка-стремяночка-передвижка...

Уж полдюжиной густых слоѣв извѣстки покрыл аптекарь сову в медальоне, но жѣлтые глаза не сдавались, смагивали белую едкую жидкость и упрямо таращились. Они не желали изувековечиваться под шваброй.

А заведующий увлѣкся, в азарт вошѣл, разогрелся и разыгрался не на шутку. Швабра-то: шорк-шорк, шир-ширк... А глазки-то: жмур-жмур, луп-луп... Сотрудники учреждения числом восемь и все как один элегантныѣ столпились у лестнички и включились в игру, и подпрыгивают, и просят заведующего: а дайте-ка и нам побелить маленечко, ну, пожа-а-а-луйста... И вот уж точь-в-точь повторилась забавная история мальчика Тома и его друзей из убогого городишки Санкт-Петербурга, которую рассказал детям младшего, среднего и старшего школьного возраста американский писатель Марк Твен. И разница-то вся лишь в том, что Том и мальчишки тамошнего городка белили старый деревянный забор.

СХІХ

В кои веки мимолѣтныѣ кружится упрятаннѣй в самом себе, совершенном, беззвучно умышленный мир: мир звѣзд, солнц, галактик, планет с морями и континентами.

В кои веки мимолѣтныѣ упрятаны в континентах страны и государства с полосатыми границами и таможенными декларациями.

В кои веки упрятаны в государствах метрополии и провинции, губернии, края, уезды со своими городами, городками и райцентрами, сѣлами и деревянными деревушками: пунктами населѣнными.

В кои веки упрятаны в населѣнных пунктах дома жителей. В домах жителей живут люди, кошки, мышки, тараканы. В них упрятаны пища и химические элементы, полезныѣ и злокачественныѣ.

Как бы – орлы и решки материи. Матрѣшка. Но понарошке. Россыпью мусора, бисером букв, паучками-знаками: колбасы, дома, города, государства, планеты: безыдейныѣ предметы, беспредметныѣ символы идей, концепты, пост литеры: молодым везде у нас каждая кухарка даѣтся человеку один раз каждому по способности кто не работает проходит как хозяин чтоб сказку сделать и надо прожить еѣ чтобы не курить не сорить по газонам не ходить мойте руки перед едой проверяйте деньги не отходя... Светлое будущее, завтрашний день, день динозавра... Пост факта: не плоть мира, не тварь дрожащая в мечтании о бисере – пульсирующыѣ поля неприкосновенных материй и энергий, и нет ничего такого, что можно было бы погладить тѣплой рукой: вещей нет, стѣрлись вещи, остались их невинныѣ названия; это они, названия вещей, должны были истереться от чрезвычайных частот кружения – в пыль и прах, в ничтожество; но тѣрлись они, а

исчезали вещи, от которых оставались названия, постепенно переходившие в мифы, легенды, предания – в ночь, в чёрный магический бархат мглы: нет дома в чёрном бархате – есть фосфорический конус со змейками электрических разрядов, есть тысячи лампочек в условии свечей, они вспыхивают, мигают, гаснут и вновь зажигаются, подмигивают – мигам вечности тому назад, секундам, мгновениям, пустячкам, светлячкам на гнилушке: «Ну, и кто есть истина?» – никто: всё мусор: слова, и буквы слов, и человек химический, и название человека: «Прах ты и в прах вернёшься»: гирлянда, цепь постоянного тока, переменные искры из зрака – звёзды: нет в чёрном бархате неба чёрного кота, нет дома – есть дрожащий, колеблющийся силуэт, блеклое привидение, скелет фантома, ребристый призрак, мираж: тень теней, песнь песней: «Раз, два, три, ёлочка, гори!»: великая русь навеки сплотила нерушимый союз свободных республик да здравствует единый могучий советский союз созданный волей народов славься наше свободное надёжный оплот дружбы народов... радиоволнам нет дела до децибелов, диапазонов и килогерц, которые сами по себе, а волны по себе сами, только одни волны, только одна пена, кружавчики, брызги, соль: партия ленина силанародная ведёт нас к торжеству коммунизма... – разъятый мат: материк: матрёшка: материя...

А ещё в кои веки упрятано в Исходе: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли»; ибо всё это есть зло презельное перед совершенством молчания.

Положеньице – аховое, прелестное, устойчивое – как в метро: ни метров, ни метресс, все равны перед рельсами, и все следуют одним током в одном проводе, а что в разных направлениях, так то вывески виноваты с названьями станций. Безобразный и бесхарактерный андерграунд. Подземка. Подвал. Он есть, он остался – со своим гордым названием «бендешка», со святой приставкою «сан». И два техника-сан упрятаны в том исподнем положении, в свитке внешних миров, в самой глубине: Помиранцев Семён Семёнович и Сочинитель. У последнего нынче – Новый год.

Год как год, и тем более как, что новый, и чем более новый, тем не менее старый, как старый новый год, отмечаемый народом как тень праздника. А Сочинитель устроил свою жизнь так, что отмечает не общенародные Новый год и Старый Новый, а свой собственный, единственный: Новый год своей жизни. От рождения эта дата пришлась на позднюю осень: Обезьяна в Скорпионе.

Холодно в подвале. Но ещё работает электроплитка, и лампочка-лапочка под потолком светит, и старенький телевизор мерцает, и водочка присутствует, и горячий чай парит перламутровой поверхностью, точно зимняя прорубь.

– Ну, будем! – провозглашает Семён Семёнович, вручив Сочи-

нителю налитый доверху бокал в форме бронзового носа, вместительный весьма.

– Ах, спасибо, Семёныч, уважил подарком, – растроганно сказал подрастерявшийся Сочинитель. – С намёком, небось, сувенир твой?

– Фирма веников не вяжет! Понятное дело, с намёком. Ты вот запятые-то расставлять очень хорошо освоил, но сам до сих пор ни одного сочинения не сочинил. Уж на что я, так и то кое-что в письменном виде произвёл, правда, прекратил это дело по несчастному случаю, ты же знаешь. Но ты продолжай моё дело и вообще русскую литературу наших замечательных писателей. Это хорошее дело. Засаживайся за стол, бери карандаш – и начинай с первой буквы я, чего думаешь об итогах жизни и труда. С этой последней буквы почти что все классики начинали сочинять. Например, я помню чудное мгновенье... А ты продолжай.

– У каждого мгновенья свой черёд, – сказал Сочинитель и улыбнулся, вспомнив Щитовидова Фёдора Эдмундовича.

– Вот-вот, – подхватил Помиранцев и тоже улыбнулся, вспомнив Щитовидова. – Не думай об секундах свысока, когда оно придет, твоё мгновение..

И в произнесённых словах был ток, и Сочинитель вздрогнул.

– И все такие чудные... как пули у виска... Не правда ли, Семёныч? Я помню чудное...

Я помню её назубок, кайнозойскую эру. Я раздевал её, точно матрёшку. Четвертичный период. Послеледниковая эпоха – голоцен. Двадцатый век. Соответствующий год – от сотворения мира и от Рождества Христова. Четвёртый квартал. Месяц ноябрь. Вторая декада. День семнадцатый. Пятница. Часиков этак в пять утра с минутками... Являлась арена безмолвия. Точка. Колышек русской недвижимости. Тишь и блажь. Лишь секундная стрелочка нервничает на левом запястье, изо всех своих хронических сил рвётся сорваться с колышка, вперёд: вперёд – по кругу, будто козлёнок на привязи, и мама-коза – тоже похожа, вот это и есть жизнь, две козы на верёвке, по топтаному, прокопыченному кругу, в круге колышек, да-с, колышек-околышек, околесица священного русского веселья-каруселья, это новый год, праздник, красный день, вокруг него, взялись за руки, па-а-шли! – хоровод, с песнями, с припевками, щастье-то какое, господи!.. – а всё неправда, всё на месте стоит, немотствует, одна лишь видимость, что хоровод, кажется всё, чудится чудное мгновенье, некрещёное, и только одна стрелочка на левом запястье дрожмя доказывает: вот, по крайней мере, она – стремится, движется, и я с запястьем вместе с ней, а это значит, что она и есть тот самый спасительный пустячок, который позволяет человеку-стрелочнику опаматоваться и ужаснуться пред вечностью, выжить в безграничном времени и не забыться в пространстве между провальным мраком амнезии – с одной стороны, и ос-

лепительным, словно вспышка магнезии, озарением разумной памяти – с другой... «Сейчас» для памяти слишком много. Её точка отсчёта, исток, начало – «сейсекунд», «сеймомент». Пустячок. Дрожащая от космических перегрузок стрелочка, открывающая путь в прапамять, в которой неважны «где», «кто» и «когда», несущественно – от каких «от» и до каких «до»: от печки до третьих петухов, от чистого сердца до полочки, до приёма пицци и после социализма – щастье-то какое, господи!.. Но спросили однажды Хема: что составляет счастье? «Крепкое здоровье и слабая память», – ответил классик, по ком уже звонил колокол, и застрелился. Классики шутят всерьёз...

– И где теперь этот Щитовидов? – вздохнул Сочинитель.

– Да придёт наш дружинник Федя, никуда не денется, – сказал Помиранцев. – Помнит же про твой новый год. Непременно заявится и скажет, как ни в чём ни бывало: а вот и я, братцы, небось заждались?

– Хороший всё ж таки наш Щитовидов, а?

– Хороший. Милицанер-эгоишник.

– И выпить не дурак.

– Не дурак выпить.

– Не выпить дурак.

– Дурак не выпить...

– Славный персонаж, этот Щитовидов, а?

И хлопнула дверь, и явился персонаж – как ни в чём ни бывало:

– А вот и я! Небось, заждались, братцы?

Подарком Сочинителю от Щитовидова стала книжка под названием «Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР».

И обнялись, и выпили – за всеобщее здоровье и счастье в личной жизни.

– Ты помнишь, – спросил Щитовидов Сочинителя, – как нам в армии врачи тайно подбрасывали в кашу таблетки, чтобы мы на женскую тему не возбуждались?

– Ну, были какие-то разговоры... А чего это ты вдруг вспомнил?

– Начали действовать только сейчас и только наоборот, – вздохнул Щитовидов. – Значит, хана.

Сочинитель с Помиранцевым переглянулись, хмыкнули.

– Фёдор Эдмундович, – сказал Помиранцев, – ты все-таки поделись с трудовым коллективом. Подскажем, посоветуем.

– Есть, ребята, причина, – ответил Щитовидов. – А также и следствие.

– Это не таблетки, – сказал Семён Семёнович. – Это революция виновата. Из истории вытекает, что после революций у нашего мужского брата всегда кризис и проблема с демографическим взрывом, который, падла, весь в революцию ушёл, вместо того, чтобы... Погоди, в чём всё ж таки дело?

– Пока что тайна, товарищи. Не спрашивайте, – ответил Щитовидов и ухватился за телефон, даже как будто не удивившись его присутствию в сантехподвале, будто бы он тут всегда размещался и дожидался Щитовидова, который принялся лихорадочно перелистывать потрёпанную записную книжечку в поисках какой-то таинственной Анциферовой Людмилы, записанной непонятно на какую букву, то ли на А, то ли на Л, то ли на букву Б... – а потом нашёл всё-таки и заурчал в трубку по-голубиному.

Сочинитель с Помиранцевым снова выпили – за прекрасных дам, стоя, по-гусарски: за вечных незнакомок с таинственной улыбкой, с загадкой в глазах, с секретом, который женщины хранят – полишинельно! – от мужчин и который поддерживают искусство, литература и целые индустрии: мода, косметика, невообразимый парфум, конкурсы с агитацией и пропагандой всевозможных Мисс – от мира до отдельно взятого трудового коллектива... – о! тут одни сплошные вопросы и непроходимые дебри! а вот если бы, например, Робинзон встретил на необитаемом острове не мужского туземца-каннибала Пятницу, а, совсем наоборот, человеколюбивую, не в смысле сожрать, туземку, что тогда? была бы между ними любовь неповторимая? была бы, была бы! единственная и, как говорится, неповторимая! и образовался бы между ними демографический взрыв, и население росло бы на дрожжах, и сделался бы тот богом запущенный остров Новой Англией! да! каждому Казанове – своя Клеопатра, и каждому Кюри – своя Складовская, а Мастеру – Маргарита, а Бонапарту – Жозефина, это судьба, грех жаловаться, мужик назначен расширять мир, жизненное пространство, территорию, идёт и тащит историю за собой, а баба ту территорию обустроивает бытом, наполняет историю подробными мелочишками, кастрюльками и тряпочками, и так живут, баба уравновешена, а мужик отоспится и снова уходит бурлачить, дальше и дальше, а баба ворчит и плачет вослед ему и собирает детишек и семейные манатки, барахло домашнее – и трогается, утираясь, за мужиком, так и ведётся из начальных времён и по сию пору, ну и ладушки, трубы зовут, а что мужики и бабы врут друг другу, так это у них такой негласный двухсторонний договор, для равновесия сторон: мужикам от природы – ум и сила, бабам – красота и всякие чувства, но все знают, что и мужик глуп и немощен бывает, и баба безобразна, знают – но врут и верят, как же не верить, если приятно и полезно для продолжения человеческого рода...

– И где же теперь наш Хлюстаков? – спросил Сочинитель. – Наш главный спец по женскому вопросу?

– Придёт Иван Александрович, никуда не денется. Куда ж он без нас? А вот, скажет, и я, братцы, заждалися небось?

И выпили, и закусили...

«Я – омуль, омуль, амулет рыбацкого форта и питейного бра–

тства. Почто игнорируете, товарищи? Нехорошо. Раньше – то всегда меня брали в руки с удовольствием и занюхивали своё пойло. А теперь вот пыльный лежу. Музей получается. Мавзолей и мумия. Это непорядок, братцы – пропойцы. Как слышите меня? Приём. Приём... Безобразие. Пить и болтать умеют, а слышать ни хрена не научились...»

– А вот и я, братцы! Заждалися, небось?

– О-о-о, Иван Александрыч! Явился не запылится! А мы тебя только что вспоминали...

В новёхонькой военной пятнистой обмундировке и в чёрных командирских сапогах со скрипом, Хлюстаков подходящую одежду и Сочинителю вручил – подарком от имени всего танкового полка.

– Дак вы об чём тут вспоминали, братцы? – спросил, выпив штрафную, за опоздание, баночку.

– По твоей части, Ваня, – сказал Помиранцев. – Про бабство, стало быть.

– Это не моя часть. Это часть общегосударственного дела, дорогие товарищи.

– О-о-о! Святые слова говоришь, Ваня. Прямо как будто сам общегосударственный.

– А что? Не похож? Я всегда одно и то же говорил, на чём стою и стоять буду, отступать некуда. Ко мне даже наш Кувыкин прислушался и жениться хочет рискнуть.

– Кувыкин? Жениться? Не верится. А где он сейчас?

– Я его утром на бегу встретил. Он уже с филармоничкой Риммой Леопольдовной под руку. Сказал: пойдёт Сочинителя поздравлять, не забыл.

И точно, как в воду глядел Хлюстаков: распахнулась дверь и возник на пороге Кувыкин:

– А вот и я, братцы! Заждалися, небось?

– Ну, вот, я же вам всегда конкретно говорил, – важно заметил Щитовидов, – что у каждого мгновенья свой черёд, и у каждого черёда – свой Кувыкин.

Принёс Кувыкин пакет, перевязанный красивенько красной лентой с бантиком. В пакете – махровый халат и домашние тапочки с помпончиками и загнутыми носками, как у старика Хоттабыча.

– Презент, – сказал Кувыкин, – от нас с Риммой Леопольдовной. Сама выбирала. Говорит: писателю такой презент в самый раз. Так что, присоединяюсь, носи на здоровье.

И выпили, и закусили. И Кувыкин своим положением Сочинителя затмил: сидел в центре братского кружка, все на него глядели и цокали: это ж надо такому случиться, чтоб Кувыкин – и вдруг жених?

– И как это тебя угораздило, – спрашивают, – что, с одной стороны, такая гурия, как Римма Леопольдовна, а с другой – ты, Кувыкин, механический человек? И как ты собираешься с ней на пианине

играть?

– Гурия или пифия, – отвечает Кувыкин рассудительно и снисходительно, – это смотря с какой стороны с ней знакомый. А мы знакомые давно. И, между прочим, на почве искусства.

– Это, вообще-то, склизкая тема, – сказал Хлюстаков. – Не пропорциональная.

– Нами не понято, – сказал Помиранцев, – как это понимать.

– А вот так. Что настоящей правды нет не только в жизни, но нету и в искусстве. Все кричат: Нифертити, Нифертити, тити-мити, тити-мити! Но её, к вашему сведению, давно разоблачили. У ней уши несимметричные внешнему образу. Ладно, пусть уши, это в древности сплошь и рядом было. Но давайте возьмём наше кино. Зачем так нагло врать? Все видели кино про нашего коллегу Афоню, его артист Куравлёв играет. Помните? Приходит Афоня на танцы и танцует фокс со своей начальницей из месткома, артистка распрекрасная Ирина Розанова. У ней титьки прыгают, как мячики. И вся страна, в том числе и меня, сразу влюбилась в эту артистку, какая она притягательная молодая женщина. И что ж вы думаете? Недавно в газете написано интервью с этой артисткой. Это, говорит наша Ирина, всё ненастоящее, это, говорит, ей такие титьки подобрали резиновые, для ажиотажа, чтоб они прыгали!... Ну! Как это понимать? Низменный обман и провокация! Хоть хорошо, что сама артистка призналась в этом недостатке, и я её за это даже ещё пуще зауважал. Но никакому кину больше не верю.

– Таааак, – задумчиво протянул Кувыкин. – И что же мне теперь делать?

– Теперь надо выпить и ещё раз поздравить нашего коллегу, – сказал Помиранцев. – И ещё всех вспомнить, кого с нами нет. Князя вспомнить, Вадю Мошонкина, товарища Сперанского...

– А Заюшкин-то где?

– Прискачет наш Заюшкин, обязан прискакать.

И прискакал Заюшкин:

– А вот и я, братцы-кролики! Заждались, небось?

Вручил Заюшкин Сочинителю подарок – толстую авторучку-самописку с поршневым насосиком и золотым пером с американским названием «Senator».

И снова выпили, и закусили и вернулись к теме предстоящей женьитьбы Кувыкина.

– Что думаешь, Заюшкин, по данному вопросу.

Заюшкин прожевал закуску и вступил в разговор.

– Советские женщины, – сказал он, – как и женщины противоположных социально-политических формаций, имеют невыносимую массу достоинств. Для этого у них все условия. Во-первых, советские женщины сравнялись. С кем-чем неважно. Сравнялись – и всё, этого довольно. Во-вторых...

– Остановись, Заюшкин! – закричал Хлюстаков. – Ты зачем ахи-

нею разводишь? Ты что тут нам агитируешь? Нам это не надо, Заюшкин. И Кувыкину тем более не надо. Нам такие сравненные женщины без интересу. В каждой женщине, Заюшкин, должна быть своя безуминка. Правильно я говорю, товарищи?

– Пра-а-а-льна! – дружно рявкнула компания.

– Так что ты, Заюшкин, помолчи. И я вместо твоих формаций свою теорию семейной жизни изложу для пользы Кувыкину и всем остальным. Это четыре пунктика и двенадцать слоников. Короче, как говорит наш Сочинитель... Как, Алексеич?

– Шерше ля фамм, – отозвался Сочинитель. – Ищите женщину.

– Вот именно. Ищу. Нахожу. Говорю сразу: не шурши ляфам, делай что надо. А что надо нам от женщины, дорогие товарищи? Чтоб она соответствовала! Следите внимательно за изгибами моей теории. Утро – день – вечер – ночь... Так? Утренник – подёнщина – вечеринка – ночлег... Так? Суточные времена получаются, естественно. И надо, чтоб каждому времени жена соответствовала душой и телом. Теперь изгиб дальше: весна – лето – осень – зима... Так? Времена года. И чтоб жена такая же была, переменчивая, неупёртая, с характером и температурой. Вот вам четыре пунктика.

– Я, ты, земля, космос, – сказал Сочинитель.

– Не понял...

– Философ Хайдеггер вывел.

– А-а-а, ну, если философ, то оно конечно, – согласился Хлюстаков, – можно и философа присоединить ко мне для широкого масштаба. Теперь дальше. Допустим, жена соответствует. Что ещё надо? Немного, товарищи. Тут я вам открою свой личный опыт. Как двенадцать месяцев в году в календаре, так у меня в квартире проживания двенадцать мраморных слоников на комод. От покойной бабушки достались. Это как вроде в нашем подвале омуль-амулет...

«Ну, вот, вспомнили, наконец, алкаши! А ведь, кажется, совсем недавно, в историческом разрезе, у нас были более тёплые и продуктивные производственные отношения. Как быстро время журчит, и «рыбный день» промелькнул и исчез, как круги на воде, и как живёте, караси, ничего себе мерси, маленькая рыбка, золотой карась, где твоя улыбка, что была вчерась... Рыбка – то всегда с народом. Символ и тайный знак христианства. Недаром классик подметил и в фольклор закинул: смилуйся, государыня – рыбка! Где теперь та государыня? В аквариум засажена теперь та государыня. Обидно. И ведь на кого променяли государыню? На двенадцать слоников. Какая чушь! Слоники в нашем государстве не водятся...»

– Да, товарищи, – продолжал Хлюстаков, – двенадцать белых мраморных слоников на комод. Они стоят цепочкой, по росточку, от большого до маленького. Такая, как выражается Заюшкин, формация.

И теперь вообразите себе в доме прекрасную даму. Вообще-то, можно даже и не прекрасную, а совсем наоборот. В конце концов, можно обойтись и без дамы. Моя теория от этого не очень пострадает. Возьмём, например, нашу вселенную...

Вот тут-то он и явился, момент с глобальными возможностями для Сочинителя: расписаться – пусть даже в уме. Да, в уме: как да что – от застольного подвала до Млечного пути, с фактурой, выводами, положеньями, обобщениями... Но – не получилось. Увы, увы, увы. Потому что рассказчик-теоретик Хлюстаков не успел.

Хлюстаков не успел рассказать товарищам ни о заповедных двенадцати слониках, каждый из которых в домашнем обиходе нёс свою, определённую Иваном Александровичем, функцию; один отвечал за пропитание, другой – чтоб тепло было и уютно, третий – чтоб жена молчала и слушала, четвёртый, между прочим, тоже немаловажный, например, когда жена чай наливает, так пусть она на мужа смотрит, а не на чашку и не на чайник, короче, у каждого слоника – своя задача, а то и две-три: напоминание женщине, что она женщина, а если хочешь быть ею – дело, в общем, простое: встретить с ласкою, постели постель, приготовь завтрак, а если не делаешь ни того, ни другого, ни третьего, так в таком разе ответственный слоник на комод задом поворачивается, строй нарушает, бессловесный знак подаёт: внимание, не шурши, ляфам, делай что надо и будешь популярной на все четыре стороны! восьмой слоник, например, отвечает за очей очарованье, это дело тонкое, у Анфилады, например, почти что со всеми слонами взаимопонимание было и контакт, а с этим, с восьмым, хоть лопни, никакого чудного мгновенья, што такое? обидно и разногласия... Особенный слоник – чтоб тайна была. Нету в женщине тайны – всё, хана, кончается любовь. Вот Гутя-телеграфистка вся из тайн. Это хорошо. Но другим одиннадцати слоникам ни с какого боку не соответствует. Это неудовлетворительно и опять разногласия. Вот такие слоники, параграфы единоличного домостроя. Но для гармонического развития обеих личностей пусть и жена кого-нибудь заводит, матрёшек каких-нибудь на комод или на трюме, я не возражаю, всё ж таки супружеский долг и меньше ругани...

Так мог сказать Хлюстаков. Но не успел.

Не успел Хлюстаков.

Потому что Каштанка твякнула и вылезла из-под кресла, помахивая хвостом перед свежими гостями, желанными, родными: семеро смелых явились, да не одни, а Изислава Несчастлифшица с собой привели.

Выросли семеро смелых, мальчики и девочки, стали семеро смелыми собаками, умными и красивыми. Пришли маму Каштанку проведать и Сочинителя поздравить с днём рождения Нового Года. Принесли целлофановые пакеты от тёти Хаси – с чекушками и закуской,

а в зубах грамотного Барбюса Брехта – сегодняшняя газета «Медведь» со стихками поэта-кинолога Анатолия Кобы-Кобенкова: стихки с посвящением Сочинителю про трын-трамвай частных желаний и коллективной безопасности в Европе; газета вложена в старую книжку из мусорного, повидимому, ящика с названием: V.Woolf. The Common Reader. London, 1925.

Речь Несчастлифшица звучала вопросами, но это были не вопросы, это были ответы:

– Вы нас не ждали? Но мы-таки пришли? И мы не пьём? Мы вам сделаем праздничную музыку, господа?

И явилась из футляра скрипка со смычком. И это была хорошая смычка, красивая и правильная: дом не дом, светящийся конусом ореол то ли пирамиды египетской, то ли поллитровки московской, а в ореоле – музыка говорящая, и это была интересная смычка, потому что еврей со скрипкой, как существо обоюдное, есть само по себе и по себе сама смычка предисловием предсказуемая.

Вот, играет Несчастлифшиц. Всё в нём играет, и движется, и возносится вверх, за смычком и выше: губы, подбородок, нос, брови, неистощимая шевелюра плюс флюс... – всё выше, и выше, и выше, и вот уж весь вышел из себя Изя, нет Изи, никого нет на свете, кроме синей птички на кончике смычка: никто не видит её, эту птичку, Изя видит, Изя много видит из того, чего не замечают другие, и эту птичку синюю, говорящую, вот же она, перед глазами, она поёт всем, не только музыканту: да, ты существо, но ты – это ноты до поры, и та нота соль, земли и моря, тверди и хляби, крупица и стружка, песчинка и капля, и та хорошая нота бене, nota bene, NB, и всё более нота, и всё более бене и бене, до самой до бениной матери, до натуры первозданной, первозванной: додекафония! проще говоря, двенадцатитональная система композиции Шёнберга, и очень-таки просто, даже козе понятно...

А за скрипичной смычкою с Изей угадывался русалочий хор, и полёт валькирий, и полёт шмеля над синим морем, и стук а саррелла, метроном из часовни, из водопроводного крана, и уже никто никому ничего не должен, потому что выпит до донышка, по абсолютному наитию-незнанию, тихоголосый кант с категорическим императивом, призывающим делать с душевным отвращением то, что требует долг, и расширенный в новом быте до тройственной кондиции, в одну посуду слитый долг долгий, о котором думают с содроганием, который исполняют с неохотой и которым, в конце концов, долго-долго гордятся... Просто сказка. Или волшебство неопознанное. Или момент истины, когда у вещей иссякает терпение и они начинают выговаривать самих себя: скрипка, омуль-амулет, танк «Синий платочек» и синяя птичка, и собака по имени Барбюс Брехт, и книжка из помойки с чужими буквами названия – да вдруг зашелестит страницами на родном языке, деревянном, никто не слышит её, эту книжку, Сочинитель слышит: «...Понаблюдайте в течение одного момента (NB!) психику обычного

человека в обычный день. Сознание получает мириады впечатлений – тривиальных, фантастических, преходящих или как будто выгравированных острой стальной иглой. Со всех сторон устремляется непрерывный поток бесчисленных атомов; и по мере того, как они падают – принимают облик жизни, в любой день – в понедельник или вторник, центр тяжести оказывается не там, где его искали раньше; значительным моментом оказывается не тот, а этот. Таким образом, если бы писатель был свободным человеком, а не рабом, если бы он мог писать то, что хочет, а не то, что должен, если бы он мог руководствоваться собственным чувством, а не условностями, то не было бы сюжета, комического, трагического, любовного интереса или катастрофы в общепринятом смысле... Жизнь не серия симметрично оборудованных ламп, жизнь – это светящийся ореол, полупрозрачная оболочка, окружающая нас с начала сознательной жизни до самого конца. Разве не является задачей романиста передать эту изменчивость, этот неведомый и ничем не связанный дух, – какова бы ни была его абберрация, как бы он ни был сложен, – и при этом передать, насколько возможно избегая примеси чуждого и внешнего ...»

Дерево говорило на родном языке в тональности скрипки, в тональности книжки...

«Абберрация? Подумать только... Ну, блин!» – молча отозвался Сочинитель и подумал – о сковороде, и моментально – о Сковороде Григории Саввиче, странствующем поэте-философе из допушкинских времён, ещё при жизни снабдившим эпитафией будущую собственную могилу: «Мир ловил меня, но так и не поймал». Грустный козак. Всю жизнь искал – жизнь искал. Всю дорогу искал дорогу. «Где ты, о человек, человек? Яви мне вид твой и услышан сотвори мне голос твой...» – И нашёл! «Нашёл я человека»... – Из двухтомника. Спасибо двухтомнику. Спасибо Сковороде. Блину спасибо, что на Сковороду вывел. Вирджинии Вульф спасибо, что на блин натолкнула. Всем спасибо – до времени людей, а других времён не бывает, ни благоговейных, ни благоговённых. Мгновению спасибо, не успевающему произнести «Остановись, человек! Ты ж прекрасен!» Секунде спасибо. Она спокойна и самоуверенна. У ней, у такой маленькой, всегда в запасе имеется человек, которого она подловит на слове, а они, человеки-то, ловцы моментов, даже и не догадаются, что: поймались-таки, поймались...

СХХ

! о всепогодный
оцепенелых шмелей ватиканских гвардейцев
сезон августейший
аве грустейший из всех махаонов соло и мантра
саламандра семитских традиций жёлтая с чёрным молитвенный талес
здесь мы остались

в тиглях печали и радости древней ревнивой славянки прощанье
прощенье минорные медные трубы тоски героизма сгоревшие в
клумбах огни георгины георгия ленты копчёный вокзал
се зал ожиданий
давний

акации йодные всей федерации желчные лужи мочи на мощёных
мощами пропавших святых кусочках земли улицы площади скверные
скверы и лыва и в лыве свинья и свинец это

жёлто багряно пурпурный

цвета римских традиций тугой барабан

из яна жижки нательная кожа изъян барбариса из иоанна юз юзом
ржаной барбаросс

оранжевый бархат пицунды в загаре

сизый сезонъ

се зонт

для дивного пенья под синим всеильным дождём

се зонг

в пейзаже в котором имеет себя дважды крестом перечёркнутый век
сезам

печи гимны трубят хлебу и воле и хлеб раздувает тёплые ноздри

в окнах икон всё лица знакомые здрасьте молюсь

бросьте моллюск

на уровне шипа другие знакомые лица кричат

верхнее ля возьми негодяй в ключе вытрезвителя верхнее ля

матерюсь мати русь всё стоит на дворе побирушкой стоит постоит
и уйдёт

девки давки в пределах кафки фантомы фантики письмена

конь удивлённый читает сухую траву

и лес типа лиственный в доску берёзовый весь

отпускаеши долги свои листопадом

сезон августейший

се сон кустейший

се сонм индульгенций

по закону и вне и гласно согласно

и закононо стоусто тишком и заглазно и в глаз увеличенный лин-
зой слезы

вотще дух питейный осинный осенний

вот щепетильный

удручают другие знакомые те законные пешие конные свистом
берут мою дамку за фук

причиняя прощание долгое ей где сугубится всё и гробы и сугробы
и чёрные птицы крича проворонили снег

пузыри выдувает стас намин что мир полигамен не папин не мамин
вотще чуинггамен

амен

спас принимает экзамен
се песнь об увечном калеке что ныне собирает с миру по нотке мобильные песни о встречном
плане
как там у нас очевидное утро встречают прохладой
камасутра кудрявая что ж ты не рада в смысле наряда
на смену рабочую день трудовой на вахту на святость парада
ждёт ведь бригада в цепях звеня
недоброе гада на строчке дня
и мутно квасит премудрый классик при всём при этом весело зря
утро красит ненужным цветом встаёт заря
и камень и пламень и знамень
спас отпускает экзамен
амен
се книжник раввин всем нижним равен пей с головой пей
и сам с усам и сама с ума
как ноль семь сосал так пуста сума
сумма прописью больше не прошю
да и кто ж подаст такому поросю
се язон
щедрой рукой архипатра изъятый из пенного моря
последним помином с амином клинописных искать соответствий
в деревьях оркестрах
в пияницах поросях в парусных кораблях
в суше присущий ствол
в рабби
в курочке рябе рабье у ней у дурочки существо
и вот накарябал стилем на корабль дураков созывая косноязычно
спящий в тени обветшавшего корабля
покои он рцы аз
он твердо добро аз веди аз твердо ерь
добро он люди глаголь иже
наш аз ша иже
всё ближе ближе ближе
амен сезон августейший лето господне
се зов густейший
се звон

Сов. секретно.

Прочти и передай другому!



Эпилог

ЕСЛИ ПОСТУЧАТЬ ПО ДЕРЕВУ

БУДЬ НАЧЕКУ!
В ТАКИЕ ДНИ
ПОДСЛУШИВАЮТ СТЕНЫ.
НЕДАЛЕКО ОТ БОЛТОВНИ
И СПЛЕТНИ
ДО ИЗМЕНЬ!



НЕ БОЛТАЙ!

**Времена нынешние не весьма благоприятны
для литературы.**

Из частного письма
(конец XVIII в.)

Поэзия и болтовня – вещи противоположные.

Н.Г. Чернышевский (XIX в.)

Не болтай у телефона!

Болтун – находка для шпиона!

Советский плакат (XX век, середина).

Аз

В конце ноября, в оттепель, часов в девять утра...

...парит земля. Это значит: пошла по трубам подземных коммуникаций городского жилищно-коммунального хозяйства кипячёная в котлах вода, живая и мёртвая, со ржавчинкой, под давлением скольких-то кочегарских атмосфер, прыгают стрелки манометров, где-то в почве что-то лопается, рвётся, затопляется, фырчит, шипит, свистит, пузырится, растекается, фонтанирует; это значит: система функционирует, трубы зовут, парит земля чёрными порами, как это делают опальные склоны вулканических сопок...

Ударные бригады копают траншеи.

Сезон отопительный в разгаре. Начавшийся ещё в сезон уборочный, он надолго растянется и закончится в сезон посевной, и отключится весь до последней капли к чёртовой матери – в оздоровительный.

А солнце светит, но не греет.

А лес негреет прямо на глазах: чёрный – в белом.

А события подвигаются куда как быстро: Кувыкин женился на филармоничке Римме Леопольдовне и они уже вдвоём перетацились на новую жилплощадь в соседнюю двухэтажку, где Кувыкин выкроил индивидуальный уголок для своих слесарных инструментов и почётных грамот; Сочинитель, панически страшась не только рукописного труда, но даже чистого бумажного листа, купил толстую тетрадь большого формата, страницы в клеточку и с отчёркнутыми полями, и, прежде чем приступить к собственному сочинению, решил потренироваться и, что называется, руку набить на переписке из книжки Достоевского его романа «Идиот», и начал переписывать, но, увы, после первого абзаца – заколодило, и переписчик совершенно по-читательски впал в конец ноября, в оттепель, часов в девять утра – прошлого века, девятнадцатого, и вызволить его оттуда не представлялось уже никакой возможности; в подступающих холодах последним из высотного дома №13-бис удалился Помиранцев с супругою, поселились они в деревянном домике на городской окраине, уже заполненной и приспособленной к продолжению жизни другими бывшими жильцами; Хлюстаков получил должность коменданта в Военном Городке, в месте дислокации танкового полка, и, обрядившись в полевую генеральскую форму, засел за изучение педагогических трудов Бенджамина Спока и Януша

Корчака; Щитовидов устроился на службу советником по связям с общественностью в контору генерала Поцелуйко, который в это время успешно защитил докторскую диссертацию по филологическим наукам; Заюшкин, крепко подружившийся с поэтом-кинологом Кобой-Кобенковым и полностью разделивший его собачьи интересы, посвятил свою жизнь гуманизму, экологии и уходу за пожилой Каштанкой; к слову сказать, в это время года всему хибаровскому уличному собачеству всегда, испокон веку, становилось опасным проживать в городе, граждане цинично охотились за новыми шапками и унтами, приспособливали, видите ли, к холодам свои зябкие оконечности, вот почему и Каштанкины семеро смелых по сезонному взвою великой единокровной традиции вместе с другими четвероногими друзьями удалились в приблизительную лесостепь и на время притворились волками, оленями и зайцами, что, между прочим, не всегда спасало собачьи шкуры от циничных гражданских интересов...

Изредка перезваниваюсь.

По вечерам с телефонной трубкой вообще складываются весьма романтические отношения. Тогда долго, темно и тихо... Тогда сентябрьская Настя Яровая рассказывает мне об античной богине Тихе и её новейших тихотворениях. Странно. Мне казалось, что Настя ещё школьница с бантиками, а она уже, оказывается, мама троих мальчишек. И чтоб одно другому не мешало, так для этого нужна обычная сказка, или сумеречная фантазия на тему «жили-были», или сон. Странно, однако и то, и другое, и третье совершенно исключают всякие странности в лукоморных своих сплетениях возвышенного и земного.

К слову сказать, спасибо тому, кто изобрёл сон. Это уже было в «Солярисе», дело прошлое – в фильме о будущем. Но, казалось в двух шагах от экрана, то ли ещё будет, когда будет то, что и присниться-то не имело права! Когда, например, разломится на сувенирные кусочки Берлинская Стена, и падение это явится как праздник, и сто шестьдесят шесть восторженных виолончелей станут близ развалин разговаривать с небом на «ты»...

В одну из промежуточных новогодних ночей военным бортом спецрейса «Аддис-Абеба–Ташкент» мы возвращались на родину, в великую державу, в которой определить, кто самый мудрый, – сложно, а сказать, кто самый глупый, – опасно. Но имелось ещё и чувство долга, точнее – просто долг, который ко многому обязывает особенно тогда, когда сумма его очень большая.

*Нет ничего такого, чего б человек не смог,
Всё отдаётся родине, и душа, и тело...*

Воздушный корабль вели по курсу наши парни, свои.

После бутылки армянского «Ахашени» я ушёл в сон. И привиделось мне, что я – бог, не игрушечный, настоящий... Восемь тысяч метров над землёй – высота уж не бог весть какая, но всё же приличная. И покуда я, обыкновенный бог, пребываю на своём высокомерном месте, всё внизу будет о’кей: от зябких плеч Люси Гурченко до благополучного исхода дебатов в кнессете и британском парламенте. И аз воздам, и будут овцы сыты, и волки-целки, прямо-таки сущие вегетарианцы толстовского и гандийского толка. Паситесь, мирные народы!

*И все эти люди
прекрасны,
да и сам я прекрасен,
как бог,
А что до вышеизложенного,
то это наше
личное дело...*

И вдруг в моём восьмикилометровом величии образовалась трещинка. Я изнутри почувствовал неудобство. И я проснулся – от жажды, от нестерпимого желания глотка воды. И я понял: трудно быть богом. То ему покурить вдруг захочется, то до ветру приспичит, то ещё чего-нибудь, но ему никак невозможно позволить себе ни того, ни другого, ни третьего, ни пятого-десятого, ему нельзя даже на миг оставить без присмотра это неразумное, это вечно ребячливое человечество, которое уже столько веков всё балуется и балуется, то со спичками играет, то с ураном... А боги жаждут!

Одного глотка воды в пересохшую гортань оказалось достаточным, чтобы осознать себя слишком земным, и уже после этого поразмышлять о том, что страшен, вообще-то, не сам сон, а его толкование.

– Знаете ли, – сказал однажды смешной человек, – я скажу вам секрет: всё это, быть может, было вовсе не сон!

Так и сказал он, умышленный Достоевским в рассказе «Сон смешного человека».

Но так мог сказать и серьёзный человек, печальный и вовсе неумышленный.

И вся-то разница между ними – в толковании, а для толкования любой пустячок годится, хоть тот же секрет.

И тогда уже не сон, но сама жизнь подсобляет.

Поглядим налево:



М-да... Вообще-то, не только для врага... Эта находка нашенской походкой поспешествует: дело заболтать, и слово заболтать... «Отложить до греческих календ», так сказать.

Слово КАЛЕНДАРЬ – от латинского *calendarium*, что буквально значит «долговая книжка». В Древнем Риме должники платили проценты в день КАЛЕНД, то есть в первые дни месяца, приходящиеся на время, близкое к полнолунию. У греков календ не было. Поэтому выражение «*Ad calendas graecas*» значит: отложить надолго, на неопределённый срок, заболтать дело и никогда его не сделать: в сущности, это срок, который никогда не наступит. Эту фразу часто использовал применительно к людям, не платившим долгов, римский император Август, о чём рассказывает Светоний в «Жизнеописаниях двенадцати цезарей»

Вот такой получается древнеримский взгляд налево.

Поглядим направо:



И посему, товарищи, важно определиться! Как сказал поэт, точнее – как в раннем периоде творчества, ещё в курчавую лицедейскую пору, заклеил поэт Хворобушкин: who is who?

Поглядим в толковые словари языка Совдепии и тюремно-лагерно-блатной фени:

1. Болтун – тот, кто разглашает тайну, секретные сведения.
2. Болтун – лагерное лицо, находящееся под следствием или осужденное за «болтовню» (разглашение государственной тайны) или контрреволюционную агитацию.
3. Болтун – а) адвокат; б) лектор; в) репродуктор...

Какая прелесть, эта гирлянда! Бусинка к бусинке. Хоть на ёлочку её вешай – да в хоровод пускайся, круговой порукою, от ёлочки к ёлочке, от старенькой к новенькой, а там уж ворон на суку, потребляет колбасыр. «Ты не вейся, чёрный ворон, над моею головой ...»

– А я, – говорит ворон, – болт положил на вашу гирлянду!

Правильно говорит каркуша. Ибо надобно зреть в корень. А в корне болт торчит. Но что такое болт, это, как и счастье, каждый понимает по-разному.

1. Болт: а) мастер на производстве; б) мужской половой член.
2. Болтики: игральные карты.
3. Болт чёрный: а) бригадир; б) резиновая милицейская дубинка; в) негр...

Здрасьте, Александр Сергеевич! Вот мы и до вас добрались. Ваш черёд в нашем хороводе. Не с вашего ли частного письмаца литератору Бестужеву-Марлинскому началось толковище наше? «Роман требует болтовни; высказывай всё начисто»... Как забавно-то это начисто! Да где ж его взять, это наше всё, которое начисто? Вот попробовали обрядиться в белые одежды благодати, названной бесконфликтностью. И взбунтовалось сине море, как в сказочке, почернели белые одежды, псевдовствующие, а конфликты живёхоньки, ничего им не сделалось, но раздражились они уже не столько в изящной словесности и не столько в самой жизни, сколько между жизнью и словесностью, и очень это наше всё упорядочилось, и потянулось чересполосицей, из лета в лето, интересное положение, аховое: полёты во сне и наяву: аэродрёма беспечная росская или, ежели шибче сказать, космодрёма: «И снится нам не рокот...» - какой рокот? рок! а в роке-то што? Штольц, Штирлиц да шти с говядиной, ба-аль-шой га-ар-шок... Не Пушкин, однако, с его лирическими отступлениями в энциклопедии русской жизни. Вот, последовать бы за тем каноном отступлений! - ан, нет! отступать, как героям-панфиловцам, дальше некуда: позади - слова, впереди - слова, по бокам - то же самое... Уж вы простите меня, словеса. Я возвращаю вам долги долгие - ваши имена и значения изначальные. Трудно вам жить будет после таких извращений... Поглядим налево, поглядим направо, прямо по курсу – скал оскал, не Сцилла и Харибда, кое-что покруче: язычество, ответственное вплоть до усекновения: болтай – не болтай, болтай – не болтай... – расписание полно надежд и вздохов вдохновения, и каждый сезон как бархатная перчатка, и каждый период – переходный, и каждый год – переломный, авось-небось, так вот всю жизнь и проведём в гипсе, ежели не выпадут иные болтики, как бог из машины, на стол, на стольный град в захолуйстве, уж давным-давно, со времён сказки, переминающийся в предвкушении наливного молодильного яблочка, первого искушения...

Шиллер недавно в руки попал, читаный-перечитаный. И вот только нынче выхватил глаз, как курьёз, – из перечня действующих лиц драмы «Разбойники»: «Беспутные молодые люди, впоследствии разбойники». Показалось чистою злобой дня. Уж слишком в ней много

пророческого, чтобы быть и оставаться простым курьёзом. Слишком много в ней того, что, после Шиллера, «впоследствии», оказалось сущей правдой, разнесённой по миру революциями и театрами всех революций, которые очень полюбили Шиллера.

Вот, скажем, оборонитель и спаситель отечества, готовый, не раздумывая, выстрелить из лука в яблоко на голове сына. Он приготовил две стрелы: одну – для яблока, по желанию ландфохта Геслера, другую – для самого Геслера, ежели первая вдруг окажется смертельной для маленького Вальтера. Таковой выцеливалась цена свободы отечества – две стрелы... Но зачем отечеству такая... нет, не цена такая, а такая свобода? Зачем, спрашивается? Во имя чего она, когда отец, стреляющий в своего сына, может «впоследствии» во имя той же «свободы для всех» придумать кое-что и похлеще для других детей, чужих сыновей?

Над драмою, над игрушечными страстями героев игрушечной страны зрители рыдали, в то время как нужно было бы смеяться, когда ещё имелась возможность всего лишь посмеяться над тем, что настоящая смерть в игрушечной обстановке, в невсамделишной революции представлялась совершенно невероятной. Вот не смеялись – и всё тут. Однако уже тогда «каждый из всех» был помечен мишенью.

Печать яблочка... Это штурвал кормчего. И магическое «колесо жизни». Циферблат часов. «Золотое сечение» с распятым внутри образцовым человеком. И человек сокращённый – в колесовании как казни. Замкнутый на бесконечный маршрут тюремный двор. Воронка. Белка в колесе, и колесо в телеге, и то, что в парках культуры и отдыха на бывших кладбищах называют «чёртовым» – в целях обозрения. Карусель. Прищуренный глаз – левый, правый, третий... Хоровод. Круги по воде. Наборный диск телефона. Гончарный круг. Игровая рулетка – с крупье или с пульей в барабане нагана. Детский волчок. Сетка снайперского прицела. Арена цирка и машинная шестерёнка. Граммпластинка и планетарные орбиты... Всё начиналось с мишени, с яблочка. И всё возвращалось на круги... А был ли отец? Был. А был ли мальчик? И мальчик был.

Вероятно, мы уже готовы признать, что главного героя драмы Шиллеровой зовут не Вильгельм Телль, но Вальтер Телль. Когда-то Шиллер пошутил с главным героем, но шутки этой не поняли. И «впоследствии» драма обернулась скверным историческим анекдотом, вызывающим, как всякий анекдот, сердечные приступы смеха. Но к этому времени уже потребовались рыдания... Ибо мир, такой, в сущности, маленький, сполна познал цену свободы, свободу цен, а также свободные сцены красивых романтических революций, целью которых и был тот самый мальчик с яблочком на макушке – мишенью для папы, который мог попасть стрелой в яблоко, но мог и не попасть.

Из истории литературы: Фридрих Шиллер в 1789 году прочёл публичную лекцию о странах, постоянно колеблющихся между войной и миром; на этот же год приходится Великая французская революция.

Из историософии в кухонной кубатуре: человечество проживает в

яблоке, грызёт оное, пропитывается, и, пожирая дом свой, самого себя пожирает, чудовище, в рот ему дышло, да чтоб сзади вышло...

Из собрания тостов для Изислава Несчастлифшица: «Пусть же приснится ему, дальтонику, цветное яблочко, красное, молодильное райское яблочко, уж такое чтоб было райское, что райчей не бывает, а серое яблоко не может быть сладким, оно вообще не имеет права называться яблоком».

Из русской песни перманентной гражданской войны в великой отечественной литературе, слова народные, а музыку никто не заказывал, сама собой явилась, с топотом и свистом: «Эх, яблочко, куды ты котишься?..» – на все времена, на все сезоны, на все законопроекты – свидетель раздоров, познания истины и земного притяжения.

Театр.

В первом ряду партера – зритель с любовницей, за ним, по степени важности положения, в затылки друг другу глядят зрители с супругами, с жёнами, со своими бабами, девками и без. Все в масках. День за днём да каждый день через день – в масках, в обличьях чужих и разных, но не своих, и привыкли носить, а уж в Новый год – тем паче, человечину свою зайчиком или волком прикрывают. Театр.

Но есть ещё полускрытый раёк. Там можно быть с самим собой, наедине, без маски, без Нового года.

И вот я вижу: средневековый герой пьесы по ходу действия спектакля постепенно, демонстративно и на глазах у зрителей избавляется от своего костюма и грима, чтобы в финале явиться перед театральным залом совершенно современным человеком, словно только что сошедшим с подножки городского трамвая, в мятых джинсах, в лёгком свитере, в кроссовках «Адидас»...

Занавес. Конец? Конец. Но при выходе на поклонение с аплодисментами и цветами актёр предстаёт в прежнем виде, в изначальном обличье и облачении, в тех, в которых начинал исполнение назначенной роли.

Условность происходящего не ограничена сценой, она уходит в зал и спрашивает: а вот теперь, господа, будет самое главное, и вы выбирайте, что именно пожелаете оставить с собой, перевернув время к новому отсчёту?

Условность спрашивает. Ложи блещут. Бегут на трамвайную остановку три сестры: Анестезия, Амнезия и Аномалия.

...и великое стояние, и великое положение, и великое сидение... – всё в России – великое... Интересуетесь Великороссией? Так вы приходите до тёти Хаси, и она выдаст вам той самый великодержавный гуманизм по первое число – здесь и сейчас. Но если вам вдруг нет интереса до тёти Хаси... Кстати, пятьсот граммов на троих теоретически неделимы. Спрашивается, зачем обрекли российский народ на бесплодное и бесперспективное экспериментирование? Триста граммов – вот решение проблемы! Изячно и просто, как дважды два – и Христос воскрес. Иноземцы же заглянули вглубь проблемы, извлекли корень зла, кое-что сообразили, расфасовали проблему так задушевно, как

самой душе надобно, и с тех пор не рвут себе ни мозги, ни круглосуточное настроение. И вот тут, товарищи, возникает ещё более важное «кстати»: кьеркегоровский двузначный атом вечности – «здесь и сейчас» = фиксация мига, импрессионизм, гётевское мгновение. Вот задачка! Я помню чудное... летят они, как пули у виска... и так далее... Это вам, братья и сёстры, не минута молчания, не обеденный час, не суточные щи, не щит и меч в семнадцати сериях. Интеллегенда: terra incognita, Большой Взрыв, первый акт терроризма...Предполагают: чёрная дыра. Подразумевают: это как бы такие чернила, из которых ни альфы, ни омеги не выдавишь. Но в тех временах и местах отдалённых ещё не было большевиков. А когда они появились со своей лютой любовью к человечеству, то вместо эгоистических «здесь и сейчас» было установлено великодержавное «везде и всегда»; Макиавелли в гробу аплодирует, тот самый флорентиец, наставник государей, который презирал всякие художества, и вот он – уже улыбается, и в уголках его губ распечатана тайная улыбка Джоконды: «Всегда готовы!» – на что Илия Муромец рукой в боевой рукавице выражает мировоззрение пионерским салютом: не с картинки Васнецова – чернильной наколкой с эковской груди; кстати, и статьёй великою нагрудили Илию великостатного: знаменитая Пятьдесят Восьмая УК РСФСР, строгая, документально-юридическая, а уж лирический комментарий см. в Псалтири, Псалом опять-таки под номером Пятьдесят Восьмым – «Избавь меня от врагов, Боже мой! Защити меня от восстающих на меня; избавь меня от делающих беззаконие; спаси от кровожадных, ибо вот, они подстрекают душу мою; собираются на меня сильные не за преступление моё и не за грех мой, Господи; без вины моей сбегаются и вооружаются, подвигнись на помощь мне и воззри»...

Три дня назад в Тихом Доме при большом стечении либерально-демократической и прочей публики состоялось мероприятие: устный журнал «Лютик» открыл новую общественно-политическую страницу – «Красная книга истории: белые пятна и чёрные дыры».

Из общества «Знание» явился лектор, нахально поздоровался за руку с генералом Поцелуйко, сидевшим в первом ряду, и начал речь с конца, с дыр. Публика внимала со смущением: она не знала, в каких местах лекторской речи хлопать в ладоши. И вообще, какие аплодисменты? Если «чёрные дыры» есть самый загадочный феномен природы; если учёные уже вычислили, что эти дыры обладают настолько мощной гравитацией, что ни один объект не может вырваться из их притягательных объятий, даже луч света! вот поэтому-то они и невидимы, и узнать об их существовании можно, товарищи, только благодаря видимым объектам, находящимся в поле действия чёрных дыр...

– Господин лектор, – вежливо вмешался Поцелуйко, – я извиняюсь, но мы хотели бы послушать вас не в столь глобальном масштабе, а в плане истории, тем паче чаяния...

– Не спешите, – хищно улыбнулся лектор. – Будет о-о-очень ин-

тересная история. Представьте себе: чёрные дыры окружены поверхностью, этакой оболочкой, со свойством однонаправленной мембраны, сквозь которую в чёрную дыру свободно попадают и вещество, и излучение, но оттуда уже ничто не может выйти. Эту поверхность астрофизики называют горизонтом событий, за которым, возможно, и открывается история. И что же это такое, дамы и господа?..

«Мир божий», – подумал слушатель Ситников.

«Галактика», – подумал слушатель Хризантем.

«Система», – подумал слушатель Несчастлифшиц.

«Краевой центр по имени Хибаровск», – подумал слушатель Хворобушкин.

Сочинитель тоже слушал и молча восхищался учёными товарищами, очень даже не засухарелыми в своей строгой науке, наоборот, развязными и распоясанными, как поэты, которые только и способны придумать такое: «формула ожидания», «горизонт событий», какие молодцы, всё-ж-таки, эти академики...

Штатный сотрудник Тихого Дома, специалист по контактам с НЛЮ, сидевший с краешку в заднем ряду, «прокачивал» тот горизонт в негласной умственной разработке: либо у вышеназванной черты все события кончаются, либо начинаются, но если, как учили, линии горизонта на самом деле не существует, то, значит, событиям нет ни начала, ни конца, просто они переходят друг в друга, текут одной рекой, таким млечным путём с кисельными берегами, почему нет? и очень даже правильно подумал гражданин скрипач про систему, и гражданин сочинитель корректно восхищается академической поэтикой, впору ему самому, сочинителю, идти к учёным мужам на выучку, почерпнуть романтизма, роман ведь сочиняет, ноль целых пишет, пять десятых в уме держит, а в тех пяти десятых – стопроцентная Россия, лишь на пятьдесят процентов положительная, образ типа женского, как положишь - так и возмёмшь, пронизательность адская, но романтизма тут с гулькин нос, тем паче чаяния, как подчёркивает товарищ генерал, пора бы знать своих героев, а сочинитель досочинялся, что гражданин скрипач у него в романе то Изислав, то Изяслав, то Несчастлившиц, то Несчастлифшиц, хотя ведь и сочинителя понять можно, паспорта-то у скрипача нету, так ведь можно и у нас узнать, мы подсказали бы с удовольствием, хорошо знаем, до седьмого колена проверено, с подлинным верно, исторически справедливо, вот так и пиши, и тогда скрипачу даже без паспорта хорошо будет, и сочинителю без книги, и литературе без таких, как наш, сочинителей, а белые пятна и чёрные дыры в нашей истории будут приятно минимизированы...

– Ну, и чо? – бурчит по телефону поэт-кинолог Толя Кобенков, он же Куба, он же Давид Звенигородский. – Пора, значит, в ящик сыграть?

– Пора, пора, – говорю. – У меня там этих ёлочных игрушек накопилось – музей и маленькая тележка. А вы что с супружницей решили насчёт Нового года?

– А чего ж тут решать, – вздохнул поэт. – Пусть наступает...

В недрах, называемых по-театральному ярко и пышно «антре-солями», в картонной упаковочной коробке из-под пылесоса «Ветерок» покоятся они, ёлочные игрушки. Кроткие, они ничего не требуют и не ждут, кроме единственного выхода раз в году для всеобщего бенефиса, для представления по полной программе с неммым поклонением в финале, перед уходом с восхитительного и изумлённого собственным безумием весёлого кладбища.

Стеклянные, картонные, бумажные, ватные, пластмассовые, жестяные, деревянные... Всех цветов радуги – с неизменными золотом и серебром... Флажки оцепенелые, фонарики, шарики и звёздочки, бусы и орешки, лисички и зайчики, морковки и груши... – игрушки.

Перебираю. Вот большие, из толстой фольги вырезанные, буквы всех алфавитов мира. Как хочешь, так и развешивай на ёлке эти буквы, всё равно образуются, сами собой, красивые цепочки, гирлянды слов и речей самых невообразимых, бывших, настоящих и ещё несуществующих, названия чего-то – и одновременно плоть, а всё разом уже не только украшательные игрушки, и не только ёлка, и не только предпраздничный день, и не только праздничная ночь – но и всё остальное, вот что такое они, наглядные буквы, картонные пособия. Шарик всегда остаётся шариками, звёздочки – звёздочками, буквы – всем сущим на свете.

Перебираю. Стопочку картонок начинают портретики вдов: Лоран-Перье, Поммери, Энрио, Кэлико и Надежда Константиновна Крупская. У французских вдов очень, просто фантастически, получалось производство шампанского, и вскоре это вино покорило мир, а в год рождения Пушкина появились первые упоминания о русском игристом, которое позже сделалось «Абрау-Дюрсо», а незадолго до столетия со дня смерти поэта обрело фантастическое название «Советского шампанского», тогда же в Советском Союзе изобрели Деда Мороза – из языческих легенд и вымыслов драматурга Островского, и был придан Деду внешний облик знаменитого полярника Отто Юльевича Шмидта, тогдашнего начальника Севморпути, как видим – ничего мистического в соцреализме. К тому времени главный коммунист Украины товарищ Постышев обратился в Москву с письмом: нехорошо лишать детвору веселья, давайте им ёлку устроим? Надежда Константиновна поддержала идею, но, увы, имени своего к «Советскому шампанскому» не присовокупила, скромная была, скромней французских вдов, да плюс ко всему прочему, ещё и педагогические соображения, вероятно...

Перебираю. На картонках квадратных, треугольных и кругленьких наклейки газетные вырезки с чернильными комментариями. Сама история. Архив...

«Правда», №357, 1935 г. «Московская фабрика Союзкинохроника вчера закончила и 31 декабря показывает на всех экранах Москвы короткометражный очерк «С новым годом». Идея картины – дать в документах образную иллюстрацию к словам товарища Сталина «Жить

стало лучше, жить стало веселее!» Спустя одиннадцать месяцев Секретариат ВЦСПС положительно рассмотрел вопрос о переносе дня отдыха с 30 декабря на 1 января и просил СНК СССР утвердить пожелание, поскольку 1 января все работающие работают через силу и поскольку празднование Нового года стало и есть всенародный праздник и празднуется трудящимися, постольку этот праздник нужно узаконить»... **Фиолетово:** 1 января 1936 года главная газета страны впервые украсилась кратким правительственным поздравлением: «С новым годом, товарищи! С новыми победами под знаменем Ленина-Сталина!»

Это забавно: газетные заметочки, магазинные этикеточки, таблички, ценнички – объяснения, уходящие в игрушки, и игрушки, уходящие в исторические факты, и факты, становящиеся если не произведениями искусства, то, во всяком случае, ёлочными украшениями...

*В лесу родилась ёлочка,
В лесу она, росла.
Зимой и летом стройная.
Зелёная была.*

Раиса Адамовна Кудашева, 1904 г.

Из дневника А. Блока:

«Новый год встретили вдвоём тихо, ясно и печально. За несколько часов – прекрасные и несчастные люди в пивной» (31 декабря 1903 г.)

Из дневника императора Николая II:

«Полночь пошли к молебну. Горячо молились, чтобы Господь умилил Россию!» (31 декабря 1916 г.)

*Скоро будет Рождество
Гадкий праздник буржуазный.
Связан испокон веков
С ним обычай безобразный.
В лес придёт капиталист
Косный, верный предрассудку,
Ёлку срубит топором,
Отпустивши злую шутку.
Тот, кто ёлочку срубил,
Тот грешнее всех раз в десять,
Ведь на каждом деревце
Можно белого повесить.*

Вл. Горянский, 1919 г.

Из дневника Николая Чуковского:

«Новый, 1920 год мы встречали пшённой кашей. Ничего, кроме пшённой каши, не было.» (31 декабря 1920 г.)

Из дневника Корнея Чуковского:

«Читаю газеты врасос. Вижу, что на мелкобуржуазную, мужицкую руку не так-то легко надеть социалистическую перчатку. Я всё ждал, где же перчатка прорвётся. Она рвётся на многих местах – но всё же её натянут гениальные упрямы, замыслившие какой угодно ценой осчастливить во что бы то ни стало весь мир». (31 декабря 1925 г.)

Из речи И.В. Сталина на XVII съезде партии:

«Выявлена, стало быть, необычайная идейно-политическая и организационная сплочённость рядов нашей партии. (Аплодисменты.) Спрашивается, есть ли после этого надобность в заключительном слове? Я думаю, что нет такой надобности. Разрешите мне поэтому отказаться от заключительного слова. (Бурная овация, весь съезд встаёт, громовое «ура», коллективные возгласы: «Да здравствует Сталин!») – (январь 1934 г.)

Из дневника Михаила Булгакова:

«Кончается этот год. Горький вкус у меня от него...» (31 декабря 1937 г.)

...собрание пёстрых глав, энциклопедия жизни, крохоборская пушкиниана, экспозиция подпольного архивариуса, какие крохотны козявки – на булавочках, вещанье вещей, «когда-нибудь монахи...»

1947

Тост: За вождя всех времён и народов!

Питьё: водка.

Закусь: картофельное пюре, камбала, котлеты, мясо жареное, сыр, сельдь иваси, сало, домашние разносолы.

Средняя зарплата: 502 руб.

Цены:

колбаса копчёная	– 1 кг	– 50 р.
селёдка	– 1 кг	– 4 р.
водка	– 1бут.	– 14 р. 40 к.
сыр	– 1 кг	– 60 р.
красная икра	– 1 кг	– 250 р.
хлеб	– 1 бух.	– 7 р.
шпроты ленинградские	– 1 банка	– 4 р.
картофель	– 1 кг	– 1 р.
свинина	– 1 кг	– 25 р.

Так постучим по барабану, чтобы было – не было!

1962

Тост: За советский космос!

Питьё: водка, шампанское, вино сухое, портвейн.

Закусь: тушёное мясо с картошкой, голубцы, винегрет, свёкла с майонезом и чесноком, сельдь с маслом и луком, сёмга, сырокопчёная колбаса, сыр, сало, яблоки.

Средняя зарплата: 86 руб.

Цены:

водка	– 1 бут.	– 3 р.62 к.
шампанское	– 1 бут.	– 4 р.70 к.
портвейн «Чёрные глаза»	– 1 бут.	– 4 р.50 к.
свинина	– 1 кг	– 1 р.80 к.
селёдка	– 1 кг	– 56 к.
сёмга	– 1 кг	– 7 р. 90 к.
икра красная	– 1 кг	– 8 р.
колбаса сырокопчёная	– 1 кг	– 4 р. 60 к.
сыр	– 1 кг	– 1 р. 30 к.

Так постучим по баобабу, чтобы было – не было!

1980

Тост: За мирное небо над головой!

Питьё: армянский или молдавский коньяк, водка, шампанское, вино грузинское, портвейн.

Закусь: салат оливье, заливной минтай, шпроты, курица в духовке, картофельное пюре, торт «Наполеон», винегрет, яблоки, мандарины.

Средняя зарплата: 177 руб. 70 коп.

И весь новогодний семейный стол обходится рублей в 50.

Так постучим в кагэбэйку, чтобы было – не было!

Л.И. Брежнев – из новогоднего поздравления народу:

«Велика, могущественна и прекрасна наша любимая отчизна: размахом, людьми, свершениями...» (1981 г.)

*С небывалым снегопадом!
Хватит старого вранья.
Только правда, только правда,
только правда и нова...*

Андрей Вознесенский (1985 г.)

1987

Тост: Чтоб рубль стоял и деньги были!

Питьё: водка, самогон, домашнее вино.

Закусь: оливье, какое-нибудь мясо, бутерброды со шпротами,
сельдь «под шубой», картофельное пюре.

Средняя зарплата: 242 руб.

И на стол накрыть – среднестатистические 150 руб.

Так постучим по старой груше, чтобы было – не было!

Из новогоднего выступления Президента СССР **М. Горбачёва** по телевидению: «Перестройка породила большие ожидания в обществе, но перемены идут трудно, не так быстро, как всем нам хочется...» (1988 г.)

1995

Тост: За частную собственность!

Питьё: водка, псевдоликёр «Амаретто», псевдоконьяк «Наполеон».

Закусь: оливье, салат из крабовых палочек, пельмени, горбуша,
ананас, авокадо, кокосы.

Средняя зарплата: 472 000 руб.

Цены:

икра	– 400 000 руб.	– 1 кг.
водка	– 50 000 руб.	– 1 бут.
шампанское	– 42 000 руб.	– 1 бут.....

Так постучим по лбу, чтобы было – не было!

Из новогоднего выступления Президента России **Б. Ельцина** по телевидению: «Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку... Ухожу раньше срока... Те, кто стоит у власти уже многие годы, должны уйти... Я хочу попросить у вас прощения. За то, что многие наши с вами мечты не сбылись. И то, что нам казалось просто, оказалось мучительно тяжело. Я прощу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним рывком, одним махом, сможем перепрыгнуть из серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее...» (31 декабря 1999 г.)

Из новогоднего выступления Президента России **В. Путина** по телевидению:

«Не всё, что мы планировали, уже сделано. Нерешённого пока ещё больше, чем достижений. В уходящем году, к сожалению, не все граждане нашей страны стали жить лучше. И не все пока могут до-

биться этого сами, без поддержки общества и государства. Мы об этом обязаны помнить и когда подводим итоги, и когда строим планы на будущее» (31 декабря 2001 г.)

...И что же будет в ближайшем будущем?

Мы тут посоветовались по телефонному проводу – и решили: в ближайшем будущем месяц остался до Нового года, но тост уже определен: «Ну, за наше всё!»; пить будем водку, шампанское, пиво, коктейли, коньяки, вина, текилу – есть выбор из полусотни названий, и это обнадёживает; на стол намечем закусью неистребимое с 1980 года оливье, жареное мясо, кальмары, креветки, ананасы, красную и чёрную икру, гуся с яблоками, свежие помидоры, огурцы и клубнику – среднестатистически; при среднестатистической зарплате в 8875 рублей новогодний стол обойдётся примерно тысячи в две...

Так постучим по столу, чтобы было – не было!

Перебираю.

Тасую-тусую скрепы предстоящей новогодней конструкции. Волшебник хренов... Смешиваю болтики в пасьянсе причудливом: осколки разбитых ёлочных стекляшек, микроскопические зеркальца, увязшие в силикатном клее самодельных украшений, которые я лично выдвигал, от двух до пяти, а потом до шестнадцати и старше, пивные крышечки, бутылочные пробки и толстофольговые беретки с хвостиками, сменившие картонные затычки с сургучом, и становились они человечками, зверушками, поросятами или оставались самими по себе, крышками и пробками, польщёнными щедрым мазком канцелярского клея и осыпанными измельчёнными зеркальными стекляшками битых игрушек, миньятюрными зеркальцами, шурой-мурой, мишурой, мусором, из которого образовались болтики, а я вот их перебираю, а они – меня, ни перебора нет, ни недобора, всегда выпадает «очко», зеркальца потому-что, в них фокус такой, что всегда удвоение, и удвоение удвоения, отражение отражений, праздник, который всегда дразнит, миф, который надо выслушивать до конца, сказка, которую нельзя перебивать, не то грех будет, типун на язык, щит и меч генерала Поцелуйки, но сами-то они, зеркальца, зря и не зря, едино зрячие, крошечные щиты сына Зевса и Данаи, умноженные щиты Персея, сотни щитов, так ведь и Медуз-Горгон ужасных вокруг не менее, и не меч страшен Медузам-Горгонам, но отражающий щит, убивающий чудищ медночешуйчатых, с шипящими змеями вместо волос, со взглядом пристальным, долгим, обращающим всё живое в мёртвый камень, но зеркальные щиты на месте, служат службу верную, службу ратную – и корчатся в бессилии умноженные Горгоны перед шипением собственных отражений, и очаровываются собственными чарами, и умирают в корчах – смешно, как и положено умирать призракам, как умирают идеи, догмы, манифесты, программы, кодексы, лозунги, при-

зывы, протоколы, штампы, гимны и присяги, торжественные клятвы и священные долги... – перед лицом собственным, отражённым, вывернутым наизнанку, словно перчатка, шуба, концепт... – а крылатые сандалии Персея, и шлем его невидимка, и острый меч – лишь второго, после щита, плана атрибуты главного героя, никаких в них чудес, подумаешь – обувка с крылышками, шапка-невидимка, эка невидаль, дело простое, процесс внеисторический: вжик мечом по шее – и нет головы горгоньей с её змеиными волосами, и хлынула ворожейная кровь, чарующая и колдовская, и из крови той по странному стечению обстоятельств и по прихоти богов язычества родился конь крылатый Пегас, надёжный транспорт муз вдохновенных... Я сооружу эту ёлку, чёрт меня подери!

Я надену шапку-видимку с ушами на вязочках, телогрейку и валенки для теплоты жизни и чтобы соответствовать реализму. Я препояшусь солдатским ремнём с латунной звездой, схороню за пазухой вострый топорик, и лыжи возьму с летучими палками, и водку с хлебом-солью: в лес пойду. По всем статьям: среднестатистический косный недорезанный капиталист, злыдень, верный предрассудку, красно-белый злой шутник. И будет мне местность белая и пушистая, воплощённая среднестатистическая душа населения в белом качестве и пушистом, греха на ней не было, и нет, и не будет, и я так люблю её, что даже голова болит и мешает работать, для душевной же пользы, в нужном направлении. Я приду в лес и постучу по дереву. Оно не выдаст. Оно отзовется.

Если постучать по дереву, как в дом с добром стучатся, то можно услышать самые невероятные, почти фантастические монологи. Любкой может на себе проверить. Но прежде того надобно всерьёз уверовать в два секрета особой, почище государственной, важности и которые не снаружи, а внутри тебя самого схоронились, не востребуемые, до поры до времени: первый – это то, что дерево молчит совсем не потому, что не умеет разговаривать, а потому, что не хочет с тобой, дураком мимолётным, связываться и разменивать мудрость годовых колец на мелочную болтовню; и второй секрет – гласность начинается не тогда, когда говорящие говорят, но тогда, когда они начинают слышать другой голос...

– Ну, что, – скажу, – оцетинилась, ёлка зелёная? Я пришёл к тебе с приветом, а ты вся дрожишь.

– Бессовестный ты фактор, – ответит ёлка. – Потому и дрожу, что за пазушкой у тебя топор вострый. Не стыдно тебе?

И будет маленько стыдно. И, следственно, будет распочата водка и преломлен хлеб. А вечнозелёная девственница будет продолжать говорение, и речь её, выразительнейшую, как у глухонемых, станут озвучивать переводами чёрные птицы предновогоднего леса.

А как же ей не поговорить! Ведь в кои веки выпадает ей такое счас-

тье – призвать двуногого подвыпившего соотечественника к событию совести, к соучастию и сомнению, к согласию и сочувствию, ах, да мало ли ещё какие «со-» могут образоваться между, по крайней мере, двумя сожителями Земли, ухитрившимися избежать немоты и стерильности химико-физического первородства?! Даже единоличная совесть – и та не существует сама по себе, в одиночку, независимо ни от кого и ни от чего; для сущего необходимо сосуществование, дело обычное, сентенция не блещет новизной, она предельно проста, словно формула живого мира, известная даже легкомысленному одуванчику: $1+1=3$, говоря словами, соединение двух рождает третье, новое: дерево, человека, воспоминание или грёзу, вот такая вот высшая арифметика...

– Послушай, фактор! – говорит ёлка. – Будь человеком. Остановись, давай не спеша пообщаемся. Я ведь не могу скакать за тобою, как суматошная. Моё дело – за землю держаться.

«Тщетно, моя милая, моя зелёная. У людей стезя такая: гарцевать, да при этом всегда мимо. Мир цивилизован, культурен. И не вёрсты полосаты попадаютя одне, но дорожки полосатые, оне зверски зебрят в глазах, а ещё светофоры, словно отточия, вместо слов «продолжение следует», разноцветные оне, красный-жёлтый-зелёный, последний тебе как раз к лицу, ёлочка ты моя моталочка... Прямо беда у нас, у двуногих, эта жизнь в полосочку – по шпалам, по рёбрам, по эскалаторам, по лестничным маршам, по мендельсоновским, по клавишам, по строчкам некрологов и похороненных поэм, по тяжёлым понедельникам, по средам окружающим, по тонкому льду, вперёд и вперёд, аллюр три креста, бешеным септаккордом, хромая и спотыкаясь обморочными синкопами на слабенькой, чуть живой доле такта, а всё по причине того, что сильная-то доля, сиречь сильное время, не признаёт, как ни ломай его, ударной акцентированной ноты. Понятно тебе, зелёная моя? Гонка! И при всём при том – беспременная жизнь. Пятки горят, точно все вдруг стали чечёточниками и отбиваются от земли изо всех своих возможных сил. И вот уже нечто странное выходит из той пляски «на гора»: на горе, на радость, на анализ, на халяву, на полную катушку, на премию, на тридцать сребренников, на борт, на аборт, на память, на зорьке, на века, на расстоянии шёпота, как сказал поэт. И даже голос тихий стал осудительным архаизмом посреди всеобщего ора. «И чего это ты там шепчешься? – спрашивают тихоню жизнерадостные, бдительные и хоть порой глуповатенькие, зато по-партийному соборные товарищи. «Да это я так, вопче, получилось, – смущается еретик-отступник от общего правила говорить громко, внятно, членораздельно, торжественно и оптимистично. – Горло болит. А со здоровым горлом-то я, дорогие товарищи, могу ого-го да ещё как!» И приходит еретик домой, и кричит с порога жене: «А врубай-ка, Лёличка, голубой огонёк!!!» И Лёличка врубает, и огонёк мерцает, а еретик, не пожравши-не попивши, всё наддаёт ему децибелов... «Боже ж мой, да зачем же так громко? Сделай потише, дитё спит!» – просит

Лёличка еретика, уличённого накануне в шёпote. «Только через мой труп!» – говорит он. Верьте ему, еретику. Еретик не умерит. Еретик прибавит ещё звуку. А как иначе? И что ему остаётся делать? Ему все ни к чему пожизненные обвинения в минутной слабости, в ностальгии по тихой и умеренной жизни в мещанстве, без бронепоезда, и, следовательно, он не позволит! Так еретик откалывает покаянные эпитимьи. Так падший ангел, пожелавший возвращения в рай, к небесному воинству, в замаливании своих антирайских настроений превосходит истовостью, нетерпимостью, фанатизмом даже прежнего своего кумира, покинутого позавчера, и в таковой ипостаси он, падший ангел, идущий напопят, бывает страшней самого лютого догматика веры, это дело известное... Да не грустно ли тебе, ёлка? Заболтался я. Да и не про то, наверное, надобно говорить в спешке – между прочим, между делом, между двух зорь или хотя бы на одной из них. Может, надо – о застенчивой нашей потребности хотя бы единожды на недолгом веку доверительно и тихо поговорить о милых странностях тишины? Когда-нибудь ведь надо же? Надо. Так постучим по дереву: так-таки так. И простимся. Я ведь понимаю, ёлка зелёная: если однажды распнут тебя на крестовине, то уж никогда тебе не будет воскрешения – ни в доме моём, ни в Колонном зале, ни в пролетарских районах буржуазного города Парижа, нигде. Дай лапу, ёлка, лапушистая ты моя. Живи и пахни. Приду через год...»

Телефончик подпрыгнул и звонко задрожал, непрерывно, как будильник. Экстренный, видать, вызов.

– Это я, Кувыкин! Чо делать-то с моей неугасимой любовью?

– А что случилось?

– Полный крах надежд! Никаких серцов уже не хватает!

– Конкретно.

– Прихожу домой. Римма Леопольдовна, вся в халате с драконами, улыбается и говорит: дорогой мой, не желаешь ли с устатку холоденького пивка?

– А ты?

– Я, естественно, отвечаю: дорогая моя, и ты ещё спрашиваешь своего дорогого?

– А она?

– Она говорит: дорогой мой, я не спрашиваю, я элементарно издеваюсь.

– А ты?

– Я говорю: болтать – болтай, да не забалтывайся, моя дорогая, ты же ж не с драконами живёшь, а с живым мужчиной, склонным к искусству жизни... Правильно я сказал?

– Правильно, Кувыкин. Я бы тоже так отреагировал.

– Ну, спасибо, успокоил.

– Да не за что...

Правильно сказала филармоничка Римма Леопольдовна. И Кувыкин, в свой черёд, сделал единственно верный ход. И мне – пора, и всем пора, в некотором роде, балтийцам, говорунам неумеренным.

Соборно книжку не читают. И потому читатель – всегда один, в единственном числе, вне статистики. Тем и дороже, оттого и золотник он, единственный читатель, единожды един, наедине с книгою, с вышшею арифметикой, ты да я – на земле во вселенной, в квадриге философической, в славном отражении всей полноты присутствия в сей живописности, и потому, единственный, да хранит ты и помилует, да спасёт и поможет, и вспомянет Босх Великолепный.

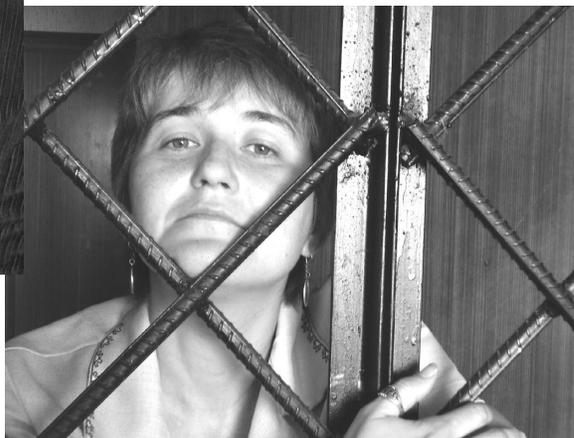
Ещё и в коюб ты ковогодне шелат здравя всем
соуваблукции и киме гесть иллет предвость
рускон буквон в законе всенаторуебннн слуга,
рукопродкладннто к селу сфрмнбннн?

Виталий Диксон

17 ноября 2004 г.
Иркутск

Послесловие

КУРСИВ ВСТРЕЧНЫЙ



ДЕСЯТЬ ЛЕТ, КОТОРЫЕ...

Для наших палестин Виталий Диксон – писатель более чем странный.

Его романы – вовсе не истории, в коих герои рождаются, дабы открыть мир и раскрыть в нём себя, и, уж тем более, не то, что можно бы наречь стройным повествованием, движимым за счёт ходульного сюжета с его непременноми завязками, развязками и кульминацией.

Может быть, тексты Диксона – это сколы тех судеб, что, уже случившись, упрямо продолжают себя в судьбах новых, может быть – разноцветные осколки тех печалей и радостей, что, по воле смерти, некогда рассыпавшись, упрямо складывают новые узоры жизни, в том числе, и нас с вами.

Завязка у него всегда в прошлом, кульминация – то самое мгновение, когда он заглядывает в нас, а что касается развязки, то её нет и быть не может: «нас этот продолжит и тот...»

Всякий герой Диксона – будь то, подобно Сперанскому или Гоголю, Бенкендорфу или Распутину, лицо реальное или же, наоборот, подстать «купецкой жене» Фелицитате Даниловне или писарю гренадёрских казарм Хворобьёву, лицу абсолютно вымышленному – почти всегда и непременно являет собой определённое сословие, выказывает манеры и поведение того или иного класса, многостранично, а иной раз и просто презабавно талдыча от имени той идеи, которой, из солидарности со «своими», он сломлен – унижен – возвышен.

Как дипломированному историку, Диксону интересно наше прошлое; как писатель, он не перестаёт взглядывать на нашу историю как на фигуру предельно живую, то и дело заикающуюся и без конца повторяющуюся – на его, диксоновский, взгляд, бывает что и умно, случается, что и смешно, выходит, что нелепо.

Демонстрируя эти ужимки истории и складывающих её судеб, вовсю потешаясь над ними или же нешуточно печалясь из-за этого, в одном из своих сочинений Диксон выводит пред наши очи забавного литератора, жившего в начале девятнадцатого столетия, смачно и весело зарифмовывая его с ещё более забавным литератором наших дней; и у того и у другого одна фамилия, у того и этого – одни на строения, сходные мысли, равное их худосочие (ещё одна из его тем: рок, судьба, прописка в истории).

Конечно, для писателя Диксон излишне многознающ и многопом-

нящ, конечно, для историка – с преизбытком речист и фантазёрист, отчего для читателя, жаждущего только информации, раздражающ, а для читателя, настроенного на действие, утомителен.

Между тем, он не только читаем, но и почитаем, причём, не только у нас (у нас, как и положено, его всё больше поносят).

Стоит не забывать, что именно он, Диксон, одним из первых в наших палестинах, явил нам не только свободу нового поведения на пространстве прозы, но и чуть ли не первым указал на досаждающую (нынче – не только ему одному) искусственную условность всякого художественного метода, из-за чего, разбегаясь на портрет вымышленный, он и прилаживает к нему портрет исторический, а размахнувшись на бытописание века минувшего, тут же и оказывается в дне сегодняшнем.

Он вечный и, конечно, умелый спорщик: соглашаясь с Пушкиным, непременно набросится на стихотворца, живущего с ним по соседству; не согласный с Беловым и его «заединщиками», немедля отыщет для себя единомышленника среди им подобных – среди поэтов есенинского, или подобного ему, круга.

Диксон выговаривается так и этак, складывает такое, что почти повесть, печатает то, что почти анекдот, пишет так, что мы зрим в нём то яркого публициста, то отменного художника, то античного ратора, а то и матёрого журналюгу.

Всё это – сделанное безукоризненно по слову и по мысли, он складывает в книги, которым сам же и даёт жанровые определения: фарс-роман, роман-газета, роман-пасьянс, роман-экспресс.

В этих, не только формальных, но и смысловых, играх, прибегая к восклицательному знаку, он то не договорит, то, наоборот, используя многоточие, выговорится по полной программе; живописуя под собственными именами своих оппонентов (Куняева и Шафаревича, Распутина и Скифа), Диксон не только язвит, но и судит: он помнит – за ним и пред ним Лета истории, которая, поглотив тех и этих, со временем, к радости новых Диксонов, прикинется иным Куняевым, иным Сахаровым – новыми-старыми правдами.

Пишет он вкусно – форсисто, разгоняясь на пряные эпитеты, лихой каламбур, ёмкий афоризм, нередко зарифмовывая не только смыслы и физиономии, но и сами слова.

Прежде всего, по этой самой причине многие из иркутян – не только прозаики, но и журналисты – решив, что это собственное изобретение Диксона, бросились подражать ему, однако, если оглянуться, то окажется, что именно на этой территории у него с преизбытком предшественников.

Не знавшая рифм античная поэзия, даровала их своей прозе. Более того, подобные «примеры можно найти уже у зачинателя риторической традиции – знаменитого софиста Горгия Леонтинского». Сергей Аверинцев, указывая на использование гомеотелевтов (созвуч-

чий в словесных окончаниях, разнесённых в прозаическом тексте) героями седой старины, напоминает ещё и о том, что «...ранневизантийская проза... довела их применение до небывалой избыточности», что «...вслед за своими греческими наставниками стали так писать и книжники Древней Руси».

Думаю, коли использовать метод Диксона, то рифмовать его прозу вернее всего именно что с прозой последних – так же, как и первые наши книжники, он бывает тёмн и витиеват, так же, как и они, не прочь поразмыслить о том, «откуда есть пошла русская земля», так же, как и они, охоч и прелюбопытен до всякого текста, будь то элементарный анекдот или житейская байка, чистая латынь или подлинный старофранцузский, публичное выступление «патриота» или же семейный эпистолярый, залетевший в его кабинет по чистой случайности.

Отталкиваясь от бывшего, он западает в думы о настоящем...

Конечно, он перенаселяет свои книги, запуская в них как тех, кто остался в нашей памяти книжной строкой или песенным куплетом, маршальским приказом или «Словом к народу», так и тех, кто пока только разбегается на подобные деяния: «природа не любит пустот»...

Я, как герой некоторых его сочинений, то развёрнутых им в преподробное повествование из житейского анекдота, то, наоборот, выросших из обыденного случая, но завёрстанного его весёлой рукой в анекдотическую обёртку, мог бы на него и обидеться.

Слава Богу – не выходит: моя физия вписана им не только в текст преизысканный, но и в контекст исторический, а коли она и потешает читателей его книжек, то так мне и надо.

Впрочем, если по Диксону, то я – это уже не я, а пространство, которое он зрит поделённым на то, что уже стало историей, и на то, что вот-вот станет ею.

Может быть, я не обижаюсь на него ещё и по той причине, что, как писатель, он не обошёл важные для нас, чисто сердечные привязанности – наши увлечения, наши надежды, наши любовь и дружбу: мы ведь в его хрониках не только жители Иркутска, но и доживатели постсоветского пространства, не столько представители определённых настроений или носители вечно ветхих идей, сколько ещё и выпивохи, бедолаги, счастливицы то есть, во веки веков неиссякаемые источники слёз и смеха.

Сегодня я взглядываю на Диксона не только с удивлением, но и с восхищением: явившись в литературу прямоком из офицерской шинели, он всего-навсего за десять лет обрушил на нас аж пять полновесных томов своих сочинений, тем самым составив себе имя отменного стилиста и отважного полемиста, а заодно – хроникёра и писателя, знающего про всех нас такое, чего не хотят ведать другие.

И ещё одна странность: вчера именно его, Виталия Алексеевича Диксона, я поздравлял с шестидесятилетием, не только удивляясь сей солидной дате, но и упрямо не доверяясь ей...

ГУБЕРНСКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

Виталию Диксону

*И шпилек пробормот, и бром из чайной ложки,
и сани у ворот, и кучер под окном,
и обморочный бал, где с шаловливой ножкой
рифмуется паркет пиитом-шалуном;*

*и рифмы «кровь-любовь» святая непременность,
и в пажеский парик затолкнутый мужик,
и эти ох и ах, и эта парфюмерность
ужимок и усищ, мужланов и музык...*

*И Хлоя – на ушко, и Немезида дразнит,
и мушка на щеке, и мушка меж бровей...
и, боже мой, продлись вовек, губернский праздник,
с губернской мошкаррой в губернии моей!..*

*Я вспыхну, как пиит, вздохну, как арендатор,
я губы облизну, и кончик языка
от жалости замрет: гобой и губернатор
горчливы, как чабрец, но, боже, как сладка,*

*вся в молниях смычка, виолончель в коленках!
Как солон кларнетист, как валторнист обжѐг
слагателей беды губернского конвента –
и Брута, и меня! Как тычется снежок*

*в широкое окно... Помедли, мой подельник,
печаль не торопя, упрячься в воротник...
Продлись до склона дней, губернский понедельник,
с санями под крыльцо, с валторной под язык...*

Анатолий Кобенков
«Восточно-Сибирская правда», 18 ноября 2004 г.

КНИЖНАЯ ПОЛКА, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

...А он мне говорит как-то: «Я такой древний Обезьян...»

А я подумала про себя: уж не из Бразилии ли?

Нет, не из Бразилии. Вот он, тут, на книжной полке. Впятером. Прямо один к одному – уютные аккуратные кирпичики корешками наружу. Стоит только руку протянуть. Протягиваю. Вытягиваю ту, что сама в руку и просится. «Не на память, но для зачтения», – так дарственно надписано. Ладно, зачитываю: «Кому – как, а мне при этом думается вот о чём: хронологию можно отщёлкивать двояко – от питекантропа к Ивану Ивановичу и – наоборот. Во втором варианте юное человечество, едва поднявшееся с четверенек, представляется мне старым, древним, как мир, который фактически был моложе нынешнего; старыми мы называем газеты двухсотлетней давности и пожелтевшие фотографии, на которых мы, теперешние, чмокаем соски и выдуваем из сопелюшек перламутровые пузырьки. С этой, несколько парадоксальной точки отсчёта («когда мы были пожилыми!»), наверное, более всего удобно мысленное погружение в прошлое, поскольку с высот эволюции и прочих «-ций» видно дальше и больше, оглядней, и нет в этом случае границы между прошлым и настоящим, кроме той, единственной, что проходит внутри сегодняшнего человека».

И что же происходит внутри сегодняшнего человека, особенно с высоты эволюции, которая есть не что иное, как метаморфоза из обезьяны в человека и, при желании оного, обратно? А внутри у него нынче юбилей, праздник души и сердца и совершеннейшая карусель, в круговращении которой смешались в кучу не только кони и люди, но и роман-газеты с пасьянсами, и совершенно мужские игрушки – колюще-режущие, беспристрастно холодные, и старенькая пишущая машинка, горделиво потеснившая компьютерные удобства, и коллекция обезьян и обезьянок – всё-таки год соответствует, да и Сам – Обезьян... Одним словом, всё то, чем оброс за добрые шесть десятков лет, как поэт (в общем, так сказать, смысле) и как гражданин (без всяких «так сказать»).

В предисловии к одной из его книг сказано: «Диксон – со Словом на ты». Вот уж увольте так увольте. Никогда не был замечен в панибратстве и на брудершафт с ним вряд ли пил. Всегда и исключительно – галантен и вежлив, с ним именно – как со Словом. Которое по первоисточнику было в начале. И – вначале. Разница, в сущности, небольшая. Но в том-то и дело, что – в сущности. И Диксон

как раз сущность эту не просто видит–подмечает, но чувствует её тем неуловимым чувством, которым опытный игрок сразу узнаёт, что сейчас в игру вступит пятый туз из рукава не менее опытного шулера. Но в том–то и фокус, что Диксон – сам шулер, и это он запускает в игру карту не из колоды. Потому что играть по правилам – оно, конечно, правильно. Но по–другому – гораздо интереснее. И если есть правила, которые Диксон не нарушает, так это правила русского литературного языка, с которым он, как автор, исключительно на «вы». (Небольшая ремарка на поводе у повода.)

А повод – более чем достаточный: когда ещё возникнет такая удача – поздравить старого Обезьяна в его год да ещё и с юбилеем? Если уж быть математически точным – то в 120 лет, согласно восточному календарю. Остальные годы – «не закругляются». И хотя сто двадцать – не двести... Но так легонько, пунктиром контрапункта.

«...И я скажу напоследок: извините великодушно, господа, за столь долгий и сумбурный роман–с, за эту, если хотите, ещё одну петербургскую повесть. Уверяю вас, ничего подобного более не повторится, по крайней мере, в ближайшие вперёдсмотрящие годы, однако же за последующие – извините, не ручаюсь, ибо кто ж знает, каким манером всё сложится, образуется и утрясётся в том, ни уму ни сердцу непостижимом, убегающем времени? И как они, русаки с рысаками, будут жить там, далеко, через пару веков – подумать только: двести лет спустя!.. а когда подумаешь, так и фыркнешь: подумаешь, экая даль–невидаль! ну, и что? чего мы там не видали–то, двести лет спустя рукава?»

Диксон и в этом верен себе – аккуратненько закруглил композицию: первая цитата – из начала его первого романа, вторая – заключительные слова из вышедшей в этом году пятой книги. А это даёт нам все основания предположить, чем закончится шестая – ведь начало второго романа нам уже известно, и оно весьма многообещающее: «..и поэтому точку в нашем разговоре мы с тобою, друг ситный–ситцевый, вряд ли сумеем поставить.»

Однако вступление в поздравление затянулось. Виталий Алексеевич, с днём рождения! От имени читателей, почитателей и зачитывателей до дыр смею вас заверить, что книги ваши доставляют вполне изысканное удовольствие, близкое к гурманству. И как всякий делкатес, пришедшийся по вкусу, хочется попробовать ещё. И – с нетерпением ждать следующую книгу.

*Анастасия Яровая
«Труд–7», 18 ноября 2004 г.*

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие – ретро:
Анастасия Яровая. МАСТЕРСКАЯ 5

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ДРУГИЕ СТЕЧЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 13

Драма первая
В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ:
коллаж

I.	Момент истины, или Истина момента	24
II.	Голоса из подполья	25
III.	Удержание державы, или Репортаж с лентой Мёбиуса на шее ...	27
IV.	Посторонние лица	29
V.	Удержание державы -2	31
VI.	Сражённые очередью	34
VII.	До востребования: здесь и сейчас	37
VIII.	Ничего!	38
IX.	Три минуты молчания	40
X.	С подлинным верно	41
XI.	Этот странный тип с арбалетом	42
XII.	До и после оваций	45
XIII.	Вопрос на засыпку, да сон нейдёт	57
XIV.	Перешагнуть порог	58
XV.	Спокойной ночи, страна!	59
XVI.	Про белую ворону как феномен отдельных недостатков в отдельно взятой стране	64
XVII.	Ноктюрн для доктора Штукарского	65
XVIII.	Та же ночь: сольная партия Персека в сопровождении КПСС	74
XIX.	Краткий очерк истории мировой культуры	78
XX.	Трактат о Крепком Орешке	78
XXI.	Час аперитива с педагогической поэмой о многожёнстве, плавно переходящем в танковый полк	83
XXII.	Старый титан, новый мальчик и «Огни коммунизма»	90
XXIII.	Если прислушаться к подушке... ..	94
XXIV.	Первое послание к почитателям	94
XXV.	Сантехнический роман-с. Из Полного Собрания Сочинений Помиранцева С.С.	98
XXVI.	О социалистическом реализме	104
XXVII.	Триптих о боге, умершем дважды	105

XXVIII.	Феликс Хворобушкин, вольный стрелок – к вашим услугам, сэр!	107
XXIX.	Драма с собачкой	113
XXX.	Ода зимняя в форс-мажоре	125

Драма вторая
В ОЖИДАНИИ ЛЕТА:
мозаика

XXXI.	Паровой котёл в Кошкином доме	131
XXXII.	Три туза в прикупе на мизере втёмную	134
XXXIII.	Ку-ку, Мария! или Тостующий стоит, тостуемые бегут	134
XXXIV.	Баня – во весь голос	140
XXXV.	Птички-галочки на полях	152
XXXVI.	Второй концерт для дам с сюрпризом	155
XXXVII.	И вновь до востребования: здесь и сейчас	166
XXXVIII.	Нежность – и р-раз!	166
XXXIX.	Повесть о Джеке, который построил дом	167
XL.	Повесть о Доме, который построил ЖЭК	180
XLI.	Есть такое трудное слово «есть!», или Мы в своей тарелке ..	191
XLII.	Интересно девки пляшут!	207
XLIII.	Незабвенная тётя Хася и хасиды ея верныя и неразменные	238
XLIV.	Сказки и были Жёлтого Дома	255
XLV.	Совершенная речь в защиту цинизма	280
XLVI.	Тысяча и одна «тэма» в Доме со львами	282
XLVII.	Как это было в сумерках: толковая азбука для обречённых от шестнадцати и до после полуночи	295
XLVIII.	Наступившие на крыло, или Голубая книга	340
XLIX.	Глава, посыпанная пеплом	405
L.	Трактат с Большой Дороги, или Медитации на средиземной речке Куда	405
LI.	Венчики встречных ромашек	420
LII.	Продавец веников. Из Полного Собрания Сочинений Помиранцева С.С.	425
LIII.	Про майскую ночь, «утопленницу» и сорочинскую ярмарку, а также про речи несвязные, взоры усталые и народного дружинника Щитовидова	440
LIV.	Второе послание к почитателям	456
LV.	Жёлтый Дом, Фёдор Эдмундович и золотой запас России ...	459
LVI.	Чаша по кругу: от Моисея до Изислава	462
LVII.	Иван да Марья, а посредине Бог	463
LVIII.	Рог спасения – Прим	468
LIX.	Глаз Архипатра	479
LX.	Ода весенняя в форс-мажоре	482

ЧТО БЫЛО, ТО И БЫЛО...

Первая тетрадь графики Николая Статныха	485
---	-----

ЧТО БУДЕТ, ТО И БУДЕТ...

Вторая тетрадь графики Николая Статныха	499
---	-----

Драма третья
В ОЖИДАНИИ ОСЕНИ
калейдоскоп

LXI.	Крест Архипатра	516
LXII.	Рог спасения – Секунда	520
LXIII.	Логорея	531
LXIV.	День Улисса	545
LXV.	Товарищ Заюшкин и стабилизация	563
LXVI.	Николаша, цыганский барон: дни, труды и печали	570
LXVII.	Опять до востребования: здесь и сейчас	584
LXVIII.	Нежность – и два!	587
LXIX.	Кричала лебедь в терему... ..	587
LXX.	Не лети, пуля!	611
LXXI.	Хождение за три буквы	651
LXXII.	Опекун	693
LXXIII.	Журнал доктора Штукарского. В смысле, венок советов ...	718
LXXIV.	«Скрипка и немножко нервно»	743
LXXV.	Шаги	757
LXXVI.	Журнал доктора Штукарского. В смысле, продолжение следует	759
LXXVII.	Отчего волнуется Море?	773
LXXVIII.	Двадцать пятый кадр: хроника подёнщины	785
LXXIX.	Поэма о Пробирной Каморе	799
LXXX.	Папаша Кураж, или Трактат с вариациями на тему Бахуса .	816
LXXXI.	Лирическое отступление в сторону Альбиона	845
LXXXII.	Привет от друга из Бомбея	856
LXXXIII.	Глава без названия... ..	872
LXXXIV.	Третье послание к почитателям	872
LXXXV.	Горькие хлеба предложения, или Во субботу, в день ненастный... ..	879
LXXXVI.	Призрак оперы	886
LXXXVII.	Дупель-пусто, или Ивангелие от Ивана, или История болезни от первого лица	897
LXXXVIII.	Нежность – и три!	902
LXXXIX.	Куда ты котишься, яблочко?	902
XC.	Ода летняя в форс-мажоре	913

Драма четвёртая
В ОЖИДАНИИ ЗИМЫ:
арабески

ХCI.	Вокруг да около древа познания	924
ХCII.	Голос за кадром. Киноповесть. Серия первая: Кесарево сечение	931
ХCIII.	Антракт, ещё антракт!	945
ХCIV.	Голос за кадром. Киноповесть. Серия вторая: День судебный	949
ХCV.	Круглое, квадратное, краеугольное... ..	965
ХCVI.	Два тона, полутон... ..	965

XCVII.	В последний раз до востребования: здесь и сейчас	995
XCVIII.	Четвёртая нежность	999
XCIX.	Порядок в танковых войсках!	999
C.	Гвоздь сезона	1004
CI.	Формула ожидания	1011
СII.	Про Полюшку-Полю, зеркала, антисоветское чтиво и двадцать четыре часа нежности в сумасшедшем доме	1013
СIII.	Тихий стук и суровый тик-так катехизиса	1026
CIV-CV-CVI.	Прятушки, или... ..	1028
CVII.	Плюсы и минусы в Поцелуйкиной Конторе	1028
CVIII.	Как один в поле воин... ..	1039
CIX.	Ваятель – и дело рук его, и слово языка его	1052
CX.	Трактат для Нью-Йориков, или Датский, в три хода, мат с русским акцентом и этимологической справкой	1067
CXI.	Испить чашу	1080
CXII.	И настал вечер: кукушка вечерняя	1084
CXIII.	И пришла ночь: война, миръ, брань и тризна	1090
CXIV.	Четвёртое и последнее послание к почитателям	1100
CXV.	И случилось утро: без аннексий и контрибуций!	1107
CXVI.	И разразился день: перекреститься некогда!	1112
CXVII.	Ночь поэзии	1123
CXVIII.	Пост революции	1133
CXIX.	Двенадцать мраморных слоников на комодe	1168
CXX.	Ода осенняя в форс-мажоре	1178
Эпилог. ЕСЛИ ПОСТУЧАТЬ ПО ДЕРЕВУ.....		1181
Послесловие. КУРСИВ ВСТРЕЧНЫЙ		
	<i>Анатолий Кобенков. Десять лет, которые...</i>	1208
	<i>Анастасия Яровая. Книжная полка, по востребования</i>	1209

Литературно-художественное издание

Диксон
Виталий Алексеевич

**Августейший сезон,
или
Книга российских календ**

Роман положений

Авторская редакция
Художник: Николай Статных
Макет издания: Татьяна Смолькова
Компьютерный набор: Наталья Кильдишева
Вёрстка: Юлия Макарова
Фотопортрет В. Диксона на фронтисписе: Александр Князев
Фотографы: Николай Бриль, Алексей Комаров,
Алексей Третьяков
Аудиозапись и тиражирование CD: Станислав Кошечкин
и студия «Крыша мир» (Василий Котов)
Аннотация на французском языке: Игорь Ливант

В оформлении шмуцтитолов использованы
плакаты советских времён

Подписано в печать 18.10.2007. Формат 70x100 1/16 Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 75. Уч.-изд.л. 66,65.
Тираж 500 экз. Заказ №_____

Изготовлено в ООО «Репроцентр А1»
г. Иркутск, ул. Лапина, 1, оф. 101
тел. (3952) 203-144

По вопросам поставки книги для оптовой
и розничной торговли обращаться:
e-mail: ovaleria@yandex.ru
тел.: (3952) 201-450 = ООО «Марьина Роцца»

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Есть	Должно
64	12	снизу спать,	спать.
109	21	снизу продолжительный	продолжительный
118	6	сверху оказал	сказал
169	1	сверху ним согласились	с ним согласились
315	11	сверху ходях	ходят
327	18	снизу метром	метров
358	18	снизу беспартийный	беспартийный
414	10	сверху Куда ж	Куды ж
482	16	сверху --· (и далее)	·--· (и далее)
520	18	сверху начальные	печальные
545	9	снизу вспоминания	вспоминая
599	5	сверху ящика	ямщика
604	20	сверху птичьго	птичьего
644	9	сверху удерживало	удерживала
645	16	снизу просратся	просратся
697	13	сверху пожалуйства	пожалуйста
812	27	снизу <i>tgorro</i>	<i>tropo</i>
856	21	сверху Аграрёна	Аграфёна
971	17	снизу широко	широкого
1024	1	снизу «Как я хочу домой...»	«Как я хочу домой...»
1050	17	снизу об стенку город	об стенку горох
1073	28	сверху повышел	повыше
1088	8	сверху устремлённых в небо	устремлённым в небо
1144	12	сверху спрашивае	спрашивает
1162	12	сверху он первых	он первым
1192	4	сверху излечение	излучение



Виталий Диксон

International PEN/

Русский ПЕН-центр

Основные издания:

Пятый туз: Фарс-роман,
рассказы. - Иркутск, 1994.

«Когда-нибудь монах...»:
Роман-газета. - Иркутск, 1996.

Карусель: Рассказы,
исторические новеллы. -
Иркутск, 1998.

Ковчег обреченных:
Роман-пастырь в четырех
мастях. - Иркутск, 1999.

Контрапункт:
Роман-экспресс, рассказы,
эссе. - Иркутск, 2003.